6

ВСЕВОЛОД КОЧЕТОВ

ВСЕВОЛОД КОЧЕТОВ



ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»

ВСЕВОЛОД КОЧЕТОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ШЕСТИ ТОМАХ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1976

ВСЕВОЛОД КОЧЕТОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ШЕСТОЙ

УЛИЦЫ И ТРАНШЕИ

ЗАПИСИ ВОЕННЫХ ЛЕТ

●

НОВЫЕ АДРЕСА

РАССКАЗЫ О ЛЮДЯХ И СТРАНАХ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1976

Р2
К75

Оформление художника
А. ЛЕПЯТСКОГО

К $\frac{70302-094}{028(01)-76}$ подписное

Улицы и траншеи

Записи военных лет

Последний маршрут по Прибалтике сложился у меня так, что в числе множества других городов и селений он захватывал и Нарву, живописный древний городок Советской Эстонии. Я постоял над вьющей водовороты и водоворотики студеной Наровой, которая отделяет город Нарву от Ивангорода, походил среди руин средневековой крепости, поразглядывал расщепленную бомбовыми ударами каменную башню неимоверной вышины и зашел в конце концов в местный музей — небольшой домик на пустынном, заросшем травой крепостном дворе.

В одной из витрин музея был развернут номер «Известий Нарвского Совета» от 24 января 1918 года. На желтой, хрупкой от времени бумаге старой газеты отпечатали когда-то образец удивительного документа под названием «Билет принятого в Красную Гвардию». На обороте билета одна за другой шли строгие и непреклонные «Заповеди красногвардейца»:

«1. Все за одного, один за всех!
2. Будь на страже революции.
3. Будь всегда готов выступить против контрреволюции.
4. Помни революционную дисциплину.
5. Долой буржуазию!
6. Долой пьянство!
7. Посещай все занятия красногвардейцев: и культурно-просветительные и военные.
8. Береги оружие!

9. Не играй с оружием.

10. За потерю оружия ответишь.

11. Употребляй оружие на защиту Рабочего и Крестьянского правительства и по приказу Штаба Красной Гвардии.

12. Не прибегай к самосудам».

Документ этот нес на себе огненные черты того времени, когда под Псковом и Нарвой в боях с немецкими частями рождалась наша советская Красная Армия. Но, читая его, я вспоминал совсем иное время — значительно более позднее. Отчетливо вставали в памяти августовские дни 1941 года. Именно тогда, в том первом военном августе, пришлось мне впервые услышать об этих двенадцати заповедях первых советских солдат.

И как бы по велению таинственных, незримых сил на музейной стене, под квадратом зеленоватого стекла, перед моими глазами возникло знакомое лицо того, кто читал их в ту пору мне голосом ровным, спокойным, голосом человека, готового к любым испытаниям. Фотографический портрет его был обведен траурной черной каймой, и пояснение под снимком свидетельствовало о том, что секретарь Нарвского городского комитета КП(б) Эстонии А. Па́ук погиб в дни Великой Отечественной войны советского народа против гитлеровской Германии.

Память ярко вычеканила картины минувших лет. Я сел в машину и отправился по дороге на Кингисепп, побывал на станции Веймарн, в больших и малых селениях Ленинградской области: Ополье, Поречье, Муравейно, Бегуницы и Лялицы, под Котлами и в Копорье, под Ропшей и в бывшем Ораниенбауме, — и, начатая образом павшего в боях эстонского коммуниста Па́ука, потянулась из прошлого длинная цепь героев — такой ли уж давней? — войны. В огне, в пожарах, в орудийном реве, в блокадных ледяных ночах вновь вставала и вся так тяжко прогремевшая война, один ее день за другим, одна неделя за неделей, месяц за месяцем...

Это была *моя* война. Потому что у каждого, кто участвовал в ней, она была именно *своя*, много ли, мало, но отличавшаяся от войны другого.

Для тех, кто вступил в войну с первых ее грозных дней, она была предельным испытанием сил и всего нашего общества и отдельного человека, была вереницей нежданных и потому особенно горьких поражений, отступлений, разочарований, крушений. Но зато явилась и тем огнем, в котором прошла закалку сталь, в конечном

счете принесшая всеискупающую радость великой победы. Эта радость оказалась тем большей, чем труднее был путь до нее.

Может быть, они не слишком «объективны», уже немолодые сегодня люди, честно и мужественно прошедшие войну от первого ее дня до последнего? Они вышли из нее с твердым сознанием того, что партия мудро руководила советским народом в этой страшной битве против гитлеровского фашизма; что жертвы войны не были напрасными; что не трусы, не бездарности и не стяжатели составляли двухсотмиллионную армию советских людей и на фронте и в тылу, а герои, беззаветные сыны и дочери великого народа. Может быть, иначе надо судить о минувшем; может быть, надо судить о нем так, как судят, скажем, иной раз те, мимо кого военные тяготы год за годом проносились стороной? Может быть, для пущей «объективности» в каждом вчерашнем командире надо видеть сегодня живоглота, посылавшего людей на нелепую, напрасную смерть? Может быть, в каждом политработнике следует непременно искать тупицу, начетчика, цитатчика? Может быть, надо полагать, что не фронтовая дружба цементировала людей в боях и в походах и что, может быть, даже и не было вовсе такой дружбы, а было, мол, одно необоримое стремление: пусть погибнешь ты, лишь бы мне еще пожилось, погулялось на свете?

Может быть, может быть... Война, повторяю, у каждого была своя. И, собрав старые дневниковые записи, вытащив из полевых облезлых сумок корреспондентские блокноты тех, пожалуй, и правда уже довольно давних военных лет, я расскажу только о ней, о н а ш е й войне, о войне моих товарищей по Ленинградскому фронту, о войне солдат и офицеров, с которыми пережил тяжелые дни, о войне ленинградских журналистов, надевших в ту пору серые солдатские шинели. Иные из них, отстаивая родной город, пали смертью солдат. Но большинство живет и по-прежнему увлеченно работает в печати; и если та война, о которой я хочу рассказать, окажется уж очень субъективной, отличной от войны, которую прошли они, от нашей общей большой войны, они, конечно же, не постесняются со всей откровенностью сказать мне об этом.

ЗАРЕВА ПО ГОРИЗОНТУ

1

Перрон Балтийского вокзала в Гатчине. Доски нагреты июльским солнцем. Солнце печет вовсю. Небо вокруг него чистейшее, голубое. И вместе с тем такое тревожное.

Тысячи людей на перроне, возле вокзала, под деревьями аллей, ведущих к старому дворцу Павла. Мужчины, женщины, дети. Ходят, бродят, о чем-то друг друга расспрашивают, чего-то хотят, волнуются, плачут. Горы обшитых мешковиной тюков, стянутых веревками чемоданов, пестрых узлов и узелочков. Это скарб перепуганных людей, это часть того, что накопили они в своей жизни, и все, что тащат с собой в неизвестность.

Мимо них, смешиваясь с ними, ревя, гремя, выстреливая клубами синего дыма, тряся сухую землю, идут и идут грузовики с красноармейцами, броневые автомобили, мотоциклы, пушки. У бойцов в грузовиках, у мотоциклистов — новые автоматы. Это отлично вооруженные мотострелковые войска.

На путях вереница сверкающих синей и красной краской, каких-то празднично красивых паровозов. Они невелики по размерам, подтянутые, новенькие — будто бы только-только с выставки. По медным табличкам и надписям видно, что сделаны эти паровозы в Германии фирмой «Хеншель», а принадлежат Латвийской железной дороге. Как попали они в Гатчину? Не с Рижского ли при-

мчались взморья, где еще вчера или позавчера таскали составы пригородных поездов?

За вокзалом сразу же начинается город. Когда-то его называли Гатчиной, потом он был переименован в Троцк, а теперь вот — Красногвардейск. Только у железнодорожной станции Красногвардейска название всегда оставалось прежнее: Гатчина. Да, Гатчина, так памятная со времен революции и гражданской войны. Отсюда, из Гатчины, рука об руку начинали свой марш на красный Питер генерал-монархист Краснов и социалист-революционер Керенский, марш, который закончился тем, что генерала взяли в плен и он был доставлен в Смольный, а «революционер» поспешно переоделся в том вот дворце, может быть, еще во что-то из гардеробов вдовой императрицы Марии Федоровны и, путаясь в юбках, бежал по дороге на Лугу до автомобиля, который поджидал его за железнодорожным переездом.

Они, тот генерал-рубака и тот бывший бесславный премьер Временного правительства, годы спустя исписали пуды бумаги, понося друг друга и обвиняя один другого в том, что поход провалился.

Гатчина... За железнодорожными путями лежит летное поле знаменитого аэродрома, стоят его ангары и бензохранилища. Над этим полем совершал свои «петли» русский летчик Петр Нестеров, повторял и умножал их позже Валерий Чкалов. Здесь же летом 1934 года летчик Евдокимов, не раскрывая парашюта, падал с рекордной в ту пору высоты — почти в восемь тысяч метров. Здесь выросли сотни орлов и соколов советского Воздушного Флота.

А если обогнуть поле аэродрома по дороге слева, выйдешь к усадьбе Красногвардейской МТС, той МТС, где молоденьким агрономом провел я несколько труднейших лет начала коллективизации в ленинградских пригородах. Между домами Мариенбурга, где я жил тогда, и усадьбой МТС лежал вот этот аэродром, и, огибая его дважды в день, я постоянно видел и слышал в небе над собой непрерывную работу и молодых летчиков и их учителей.

Очень важный для меня отрезок жизни связан с МТС в Красногвардейске. Сколько исхожено дорог в изодранных ботинках, сколько встречено людей, узнано историй и судеб, составлено планов посевных, прополочных, уборочных кампаний... Все здесь вокруг безмерно знакомо, близко, свое. Но сегодня в него вошло вот это, тревожное,

суетливое — с тюками, с испуганными глазами, с грохотом машин, с чужими паровозами и с голубым, но страшным небом, из которого в любой час могут ударить бомбы; они уже падали тут несколько дней назад, их следы — разбитые стрелки, согнутые семафоры, раскиданные рельсы и тщательно засыпанные воронки.

Я подошел к одной из мотоколонн, выбрал среди множества лиц лицо посимпатичней, показал редакционное удостоверение и спросил, куда идут эти войска. Симпатичный майор оглянулся по сторонам и сказал вполголоса:

— На Остров. У гансов там, говорят, осечка вышла. Даем отпор. Теперь уж недолго...

Что недолго? До чего? До того ли часа, когда майор вступит в бой? Или до окончания войны?

Сроки войны волнуют всех. Мы вырастали в полной уверенности, что война рано или поздно придет, но продлится она считанные дни; за эти дни мы сомнем врага малой кровью и на его же земле. А вот идет третья неделя, крови пролилось реки, нашей земли вытоптаны тысячи тысяч километров, но враг все еще не остановлен, он рвется и рвется вперед. Где там чужая земля! Фронт, еще несколько дней назад казавшийся бесконечно далеким, придвинулся вдруг к границам нашей Ленинградской области. Остров... Псков... Неужели возможно, что и Гатчина, моя МТС, этот старейший аэродром России, все эти так знакомые Сиворицы, Колпаны, Черницы, Дылицы?.. Чушь, конечно; не может, не может этого быть...

Но люди бегут. Толпы их с тюками и вспухшими чемоданами, выгруженные из поездов, примчавшихся со стороны Пскова, Таллина, ждут отправки дальше. Почему дальше? И куда?

Среди двух десятков разноцветных, явно иностранного происхождения чемоданов, расположившись на одном из них, сидит сухая, строгая женщина. На каждой руке у нее по две пары часов с металлическими (надо полагать, золотыми) и кожаными браслетками. Часы еще и на шее, на тонкой цепочке. Часы в виде брошек пришпилены к ткани жакета. У девушки, которая стоит возле этой женщины и с интересом смотрит на все, что происходит вокруг, тоже несколько часов. И у главы семейства, плотного, розовощекого пузанчика в серой, чуть полосатенькой тройке, часовые цепочки из всех карманов.

Я подошел, заговорил. Англичане. Бегут из Таллина.

Он прилично говорит по-русски. Еще задолго до того, как Эстония вновь стала советской, англичанин был прислан в Таллин в качестве коммерческого представителя какой-то фирмы, прижился там, и только угроза немецкого вторжения сняла его с места.

И он, он тоже задает всеобщий сегодня вопрос:

— Как вы думаете, это надолго?

— А вы как думаете?

— У меня есть предписание ваших властей ехать на Волгу, в Саратов. А когда отправляют так далеко, на скорое возвращение не рассчитывают.

Английская семья сидит на чемоданах в Гатчине вторые сутки. Погрузить в вагоны для отправки дальше их обещают только завтра. Они ждут терпеливо, спокойно. Ночь провели на чемоданах, готовятся провести и вторую.

— Квартира теплая, — говорит мама, подымая взор к июльскому небу, — сухая. Только очень шумная. — Жест в сторону ревущих машин. — И ванны нет.

У нас с главой семьи завязывается серьезный разговор. Он говорит о том, как это хорошо, что его Англия решила помогать Советской России, а Советская Россия поможет Англии. Я говорю о том, что наши люди не очень-то верят английскому премьеру господину Черчиллю, который немало сделал на своем веку для того, чтобы удушить молодую Страну Советов.

— Люди меняются, — говорил англичанин. — К тому же я помню и другие примеры из истории взаимоотношений наших стран. Помню, как Советской стране помогали английские рабочие. Вы учтите, что я не капиталист, я мелкий служащий, который за более или менее приличное жалованье был вынужден уехать из родного дома в Англии на далекую чужбину. Я гораздо ближе к тем рабочим, друзьям вашей страны, чем к нашему премьеру. Уж хотя бы потому, что я лейборист, а он тори, консерватор. Англия — совсем не он один. Имейте это, пожалуйста, в виду.

Потом я рассказал англичанину кое-что из прошлого Гатчины, указал ему на ту часть дворца, где в апартаментах с низкими потолками, в двух десятках комнат устроил когда-то себе мещанскую квартирку русский царь Александр III, прятавшийся от народа; рассказал о круглой комнате в башне, в которой хранятся ботфорты, камзол и всякие иные предметы обихода Павла I, после его убийства перевезенные сюда из Инженерного замка;

о богатейшей коллекции старинного оружия в одной из галерей дворца; о чудесном дворцовом парке, разбитом полтора века назад в пейзажном английском стиле.

Англичанин рванулся было пойти посмотреть хотя бы парк. Но взглянул на гору чемоданов и остался.

Подошел мой поезд, я пожелал англичанину счастливо добраться в конце концов до его Англии, и мы расстались. Мне надо было поскорее в редакцию: я вез корреспонденцию из села Рождествено о колхозниках-ополченцах, которых только что односельчане проводили в армию, на войну.

Война, война!.. Дымное дыхание ее мы ощущали все последние годы, ею запахло сразу же, как только к власти в Германии пришел Гитлер. Кривая, но непрерывно вращающаяся ось Берлин — Рим — Токио напоминала нам об этом ежедневно. С захватом Чехословакии и Австрии, с разгромом Франции, с оккупацией многих и многих стран Европы пожары войны все приближались и приближались к нашим границам. Еще год назад, едва окончилась война с финнами, мы с моим редакционным другом Семеном Езерским заговорили о другой, несравнимо более страшной войне. Семен почти каждый вечер провожал меня до дому, и мы всю дорогу вслух размышляли о том, что надо готовиться к суровым, тяжким испытаниям. Надо писать мужественные книги, ставить героические кинофильмы и спектакли, писать вдохновенные публицистические статьи.

А весной я начал делать вырезки из центральных газет. Первым вырезал из «Правды» сообщение от 30 апреля под заголовком «Высадка немецких войск в Финляндии». До этого были заметочки о полетах немецких самолетов над нашими границами, о передвижениях немцев в захваченной Польше. А тут вдруг Финляндия! Собкор «Правды» сообщал из Таллина: «По полученным здесь достоверным сведениям, 26 апреля в финляндский порт Або (Турку) прибыло четыре германских транспортных парохода, с которых выгрузились немецкие войска в количестве около 12 тысяч человек с вооружением, танками, артиллерией и т. д. 28 апреля эти войска начали отправляться в Тампере».

Мы, значит, 1 Мая, веселые, с песнями, шагали по Дворцовой площади в колоннах демонстрантов, а в тот же час колонны гитлеровских войск двигались по дорогам

Финляндии к нашим границам — больше же им через Тампере из Турку идти было некуда.

Эти восемь с половиной газетных строк соседствовали с сообщениями о ночной бомбардировке авиационными соединениями немцев английского порта Плимут, о продвижении немецких войск в Греции, о боях в других частях Европы, о бомбежках, пожарах, смертях, эпидемиях, которые несли по земле разбойники Гитлера.

9 мая я вырезал из «Правды» «Опровержение ТАСС», в котором опровергалось сообщение японского агентства Домей Цусин о том, что Советский Союз концентрирует крупные военные силы на западных границах, о том, что на запад идут наши войска из Сибири, из Средней Азии, о том, что из двух запасных воздушных армий, находящихся в непосредственном распоряжении Верховного Командования, одна армия — 1800 бомбардировщиков и 900 истребителей — уже передана Киевскому особому округу, что в Черное и Каспийское моря переброшено с Балтики 28 подводных лодок, 45 миноносцев и 18 канонерок и что военная миссия во главе с Кузнецовым выехала из Москвы в Тегеран, дабы договориться там о предоставлении Советскому Союзу аэродромов в центральной и западной частях Ирана.

ТАСС уполномочен заявить, говорилось в опровержении, что «это подозрительно крикливое сообщение Домей Цусин, позаимствованное у неизвестного корреспондента Юнайтед Пресс, представляет плод больной фантазии его автора».

Жаль, думалось, жаль. Пусть бы все это было правдой. Уж коли немцы перебрасывают свои войска к нашим границам, то пусть бы и наши накапливались у немецких границ. На всякий случай.

Надежду на то, что «Опровержение ТАСС» — лишь дипломатический прием — язык, мол, дан дипломату, чтобы скрывать правду, — и что мы тоже не зеваем, давала такая странноватенькая приписочка: «Крупица правды, содержащаяся в сообщении Домей Цусин, переданная к тому же в грубо искаженном виде, состоит в том, что из района Иркутска перебрасывается в район Новосибирска — ввиду лучших квартирных условий в Новосибирске — одна стрелковая дивизия».

Ну если бы дело и впрямь касалось только одной дивизии, следующей из Иркутска в Новосибирск, стоило

бы об этом и поминать! В таких-то пределах читать дипломатические документы мы умеем.

Потом пошли подряд — 13, 14, 15 мая — экстренные сообщения об исчезновении заместителя Гитлера по делам нацистской партии Рудольфа Гесса, который на «мессершмитте-110» махнул из Германии в неведомом направлении. Сначала официальное информационное бюро «Националь-социалистише пресскорреспонденц» объявило, что «Гесс, несмотря на наличие запрета в связи с болезнью пилотировать самолеты, 10 мая в 18 часов вечера стартовал на самолете из Аугсбурга в полет, из которого он не вернулся до сего времени». Делалось предположение, что Гесс свихнулся. Назавтра говорилось уже, что «мессершмитт-110» упал ночью 10 мая недалеко от Глазго, в Шотландии, а его пилот, назвавшийся было Хорном, оказался в конце концов Гессом, который выпрыгнул с парашютом и, не очень удачно приземлясь, повредил себе ногу. Немцы писали: «Он был одержим навязчивой идеей, заключавшейся в том, что хотел путем своего личного обращения к знакомым ему англичанам добиться соглашения между Англией и Германией». Конечно, мол, он «считал бесцельным объяснение с Черчиллем», но полагал, что ему удастся «разъяснить другим английским деятелям подлинное положение вещей», например лорду Гамильтону, с которым Гесс встречался на Олимпиаде 1936 года, и поэтому именно возле его имения выпрыгнул из самолета, когда израсходовал весь запас бензина.

Словом, и эту путаницу не так уж трудно было прочесть, несмотря на уверение, что «национал-социалистская партия сожалеет, что этот идеалист стал жертвой одной из роковых навязчивых идей». Наше поколение хорошо знает историю борьбы классов на земле, отлично разбирается и в причинах мировых конфликтов и в тех основах, на которых время от времени возникают те или иные коалиции подчас остро враждующих сторон. Немецкие войска высаживались в Турку совсем не для того, чтобы собирать бруснику возле советско-финской границы: «нацист номер два» прыгал на овчарню лорда Гамильтона в Шотландии не для того, чтобы закупать там знаменитую шотландскую шерсть. Было ясно, что Гитлер и его окружение хотят или нейтрализовать Англию для каких-то грядущих событий, или даже, если удастся, привлечь ее на свою сторону.

В договор 1939 года, в ту «дружбу», когда наши государственные деятели отправлялись в Берлин, а германские являлись в Москву, мы в глубинах душ, конечно же, не верили. Социализм с фашизмом договориться не могут никогда. Мы знаем, что договор этот заключался как средство оттянуть, отодвинуть то, что случилось сегодня. Слова о «дружбе, скрепленной кровью», вызывали в народе горькую усмешку, и не только у взрослых, но и у детей, которых взрослые настойчиво, день за днем, учили понимать, что такое фашизм и кто такие фашисты. Четырехлетний сынишка моего товарища по редакции районной газеты «Большевистская трибуна» Васи Михальцова, когда газеты и радио сообщали о приземлении на московском аэродроме самолета с Риббентропом, спросил отца в тревоге и в недоумении: «А Ворошилов об этом знает?»

Мы следили за «странной войной» во Франции и понимали, что немцы тянут время, выжидают, не пойдут ли мировые державы вместе с ними против коммунизма. И мы понимали причины, по которым заключен договор с Германией. Нам тоже было надобно время.

Да, мы ждали войны. Мы знали, что она будет. И все-таки война пришла нежданно, внезапно, будто рухнув на нас с июньского неба.

О том, что она началась, мы, сотрудники «Ленинградской правды», узнали несколько иначе, чем обычно пишется о первом дне войны. Сейчас, спустя две недели после этого дня, в газетных корреспонденциях дело изображается так: «Было солнечное воскресное утро. Люди с утра собирались за город...» Верно, утро было солнечное. Это, по сути дела, был первый теплый летний день после холодных ветреных дней мая и июня. Но мы не собирались за город. Мы уже были за городом, на Лисьем Носу, в дачном поселке «Ленинградской правды». Те, кто съехался сюда с вечера, безмятежно расхаживали по сырому лесу или уже отправились на пляж к Финскому заливу. А вот те, кто примчался сюда к полудню, они-то и принесли эту выстрелившую весть: война! Немцы ночью, точнее на рассвете, перешли границу на всем ее протяжении от Белого моря до Черного, их воздушный флот бомбил советские города.

Мы еще не в том возрасте, когда житейская мудрость превыше всего; нам только по тридцать, немножко за тридцать, а то и нет тридцати. Мы журналисты, готовые

в любую минуту бросить «насиженные гнезда» и мчаться, если это надобно редакции, куда угодно: на Северный полюс, на Тянь-Шань, в тайгу. Мы завидуем тем из нас, кому уже выпадало такое счастье.

Словом, мы не только не дрогнули от страшного по своему значению известия. Напротив, оно обострило, взвинтило наши чувства. Захотелось действовать, действовать, действовать.

— В редакцию! — закричали мы на разные голоса и помчались к проходившему поблизости приморскому шоссе Ленинград — Выборг.

Кипение чувств было такое, что в эти минуты мы сделали то, чего полчаса назад сделать, конечно же, не смогли бы, даже и не подумали бы это делать. Решительно ринувшись на дорожное полотно, мы остановили первую попавшуюся полуторку и, как шофер ни протестовал, взобрались в пустой кузов.

— Вези! В Ленинград! На Фонтанку, пятьдесят семь!

Нас было человек пятнадцать — двадцать. Мы держались в кузове стоя, один схватившись за другого, все глядя вперед, туда, где Ленинград, где что-то сейчас определится.

Что? Мы не знали. Мы знали только одно: надо как-то действовать, немедленно действовать. А как — это решится там, в редакции.

Мы мчались молча, нас подбрасывало: шофер мелко мстил. Но мы держались. Каждый думал какую-то свою непростую думу.

Возле Новой Деревни, где дорога ответвляется на Серафимовское кладбище, нам встретилась печальная процессия. Белые дроги, гроб, обтянутый красным, белые кони под черными сетками. За дрогами кто-то плачет. За плачущими — человек пятьдесят друзей. Грустно поет оркестр. Мы пронеслись мимо. Встреча с покойником в такие минуты уж никак не могла способствовать оптимизму. Но один из нас озоровато улыбнулся и, кивнув в сторону того, кому в его гробу уже было все безразлично, сказал:

— Перестраховщик!

Это было неожиданно смешно, молчание сдуло ветром, и вновь волны тревожного возбуждения заходили по коже под пиджаками.

Мы не ошиблись: редакция нас ждала. На месте были редактор, его зам, ответственный секретарь, заведующие

отделами. Никто, правда, ничего не знал сверх того, что уже сообщило радио. Но что тут и знать — надо выпускать газету. Нужны корреспонденции о трудовых подвигах, о подъеме чувств, о патриотизме советских людей.

И мы заработали.

Назавтра наши ряды изрядно опустели: три четверти редакции ушло — кто в газету Ленинградского военного округа «На страже Родины», о чем многие уже давно имели мобилизационные предписания, кто в другие военные организации. Остались или те, кого редакция забронировала, или такие, вроде меня, «белобилетники», признанные в свое время военкоматами безусловно негодными к военной службе по болезням.

В первые дни нас было совсем мало. Спустя неделю кое-кто стал возвращаться, и возвращаются еще и сейчас. Редакция предприняла должные шаги через соответствующие партийные и военные органы. Иначе хоть закрывай газету.

На днях у нас сформировался военный отдел. Возглавил его Вася Грудинин. В состав отдела вошли Володя Соловьев, вернувшийся Миша Михалев, Коля Внук, Ваня Еремин, я, еще кое-кто. Под влиянием нашего отдела работает и спешно созданное дочернее издание «Ленинградская правда» на оборонной стройке» — небольшая газетка, отражающая ход строительства оборонительных рубежей на дальних и ближних подступах к Ленинграду.

Где-то идут бои, в Ленинград то и дело прибывают эшелоны раненых. В школах развертываются госпитали. Сам Ленинград превращается во фронтовой город. Дней пять назад я шел ночью на дежурство в редакцию. Ночь была уже не совсем белая, не июньская, а сумеречная. Но в небе черными четкими кляксами рисовались десятки аэростатов заграждения. Из-за них небо утратило свою обычную высоту, оно висело низко, тяжело и страшно.

В разных местах города появились зенитные батареи. Значит, что же, нас тоже могут бомбить, как бомбят Севастополь, Киев, Смоленск, Одессу?

В последние дни мы с Володей Соловьевым много мотались по городу. В районах созданы команды по борьбе с пожарами, с диверсантами, с парашютистами. Создаются истребительные батальоны. После речи Сталина 3 июля на предприятиях массами записываются в народное ополчение. Мы побывали на Кировском заводе, где формируются части ополченческой дивизии района.

Провели целый день на Пролетарском паровозоремонтном заводе. Обошли цехи, побеседовали с рабочими, поговорили в партийном комитете. Усталые, сидели в скверике перед завкомом. День был жаркий — после 22 июня установилась отличнейшая погода, — в цветочных клумбах возились забредшие откуда-то яркие медно-красные куры. Стучал метроном в репродукторе на столбе. Мы сидели на лавочке и думали. Думалось уже не так возбужденно, как в первые дни. Огромные пространства страны захвачены немцами, немцы идут и идут, немцы зверствуют, расстреливают, уничтожают. Война разгорается такая, каких в истории, пожалуй, еще не было. Война двух непримиримых миров. Мы нисколько не сомневаемся в том, что победа будет за нами. Но когда-то она придет и какой ценой мы ее завоюем? Рассказал Соловьеву о встрече в эти дни на улице со старым товарищем — журналистом, который прибыл в Ленинград из сельского района области. Районное начальство, по его словам, эвакуировалось довольно дружно. Он тоже не стал задерживаться до прихода немцев.

— А как бы мы поступили с тобой, Вовка? Неужели тоже неслись бы, как ополоумевшие от страха?

— Не знаю, — сказал он. — С восемнадцатого года в партии. Еще ни разу с того поста, на какой меня ставила партия, не бегал. Но то было другое дело. Не знаю в общем.

Я уже знал основные вехи биографии Володи Соловьева, рабочего парня, в годы индустриализации пришедшего в журналистику, корреспондента-правдиста, от стройки к стройке исколесившего страну, написавшего поэму, которую когда-то даже напечатали; он получил за нее свой первый литературный гонорар, купил на те деньги свои первые хромовые сапоги и пошел в них в загс регистрировать брак с Мусей. Поэма называлась «В страну железных сосен». В ней Соловьев мечтал о будущем Советского Союза, об индустриальном, богатом, радостном завтра нашего народа. Он многое повидал на своем веку, многое испытал. А тут вдруг говорит: «Не знаю».

И мы сидели и думали, до боли думали о том, почему же отступают наши армии, целые фронты откатываются перед противником. Не может быть, чтобы по той же самой причине, по которой сбежали из района те, кто должен был бы оставаться в нем до последнего вздоха. Мы прислушивались к своему сердцу: как оно там? Способно

ли выдержать в решительную минуту? А такая минута возможна. Не зря же стучит на заводском дворе метрономом. Ударят бомбы, ударят танки, ворвутся на мотоциклах автоматчики.

А сегодня я отправился один, по старой памяти, в район, где когда-то работал агрономом, сюда, за Красногвардейск, в село Рождествено. Из Рождествена, из колхоза «Завет Ильича», вслед за ополченцами Ленинграда, за ополченцами заводов, фабрик, институтов в народное ополчение уходят хлеборобы, животноводы, трактористы, знатоки сельскохозяйственных машин.

Многие из них уже ушли в первые дни войны, еще в июне, по мобилизации — молодые, крепкие, здоровые ребята. А сейчас уходят и те, кто постарше, — добровольцами, ополченцами.

С одним из таких я провел несколько часов. Это Павел Иванович Бирцев — бригадир-овощевод колхоза. Я пришел к нему в дом рано, когда семья еще не встала из-за стола — завтракали, пили чай.

После чая Бирцев принялся собирать кое-какое добришко в вещевой мешок. Видно было, что солдат он старый, бывалый. Ложку взял алюминиевую, несколько иголок с нитками, складной нож приличного размера, эмалированную кружку, пачек десять махорки, спички.

Я следил за его деловитыми движениями. Что у него на душе? Что думает он в эти минуты? Дел у него в колхозе бездна. В этом году значительно расширили площадь под овощами, поработали зимой и по весне хорошо, урожай обещает быть отличным, только ухода, конечно, потребует должного. Работать бы да работать, с радостью работать, как работалось несколько последних лет, когда дела пошли на лад, когда оплата трудодня поднялась, когда уже колхоз не ругают, а хвалят в газетах, посылают на выставку. Нужен Бирцев в колхозе. Да и возраст его к пятидесяти подбирается, еще в германскую воевал Павел Иванович. Никто не гонит человека, нет, идет, идет туда, где уже сражается с врагом и его сын.

В эти дни со всей силой сказался характер советского человека. Не прошли даром заботы партии об идейном воспитании людей, о воспитании в них величайшего патриотизма. Мы были на Кировском заводе, когда в цехах рабочие стояли в очередях, чтобы записаться в народное ополчение. И так всюду: на «Электросиле», на «Скороходе», в научно-исследовательских институтах,

в учреждениях. В нашей «Ленинградской правде», в том косоватом зальце, где проходят летучки, мы все до одного поставили свои подписи под коллективной просьбой принять и нас в народное ополчение. Другое дело, что не всех отпустили, но записаться — записались все.

По всей стране мирные советские люди, подобно Бирцеву, складывают в эти дни в свои заплечные мешки немудреный скарб в дальнюю и трудную дорогу войны. Один вот берет ложку из алюминия, а другой фамильную, серебряную, с инициалами бабушки. Один завертывает в холщовое полотенце махорку. Другой укладывает в чемодан табачок «Золотое руно». Но окажутся они на одних нарах, в одном вагоне, в одном взводе и рядом, плечом к плечу, пойдут в общий бой.

— Я им сказал, нашим начальникам, — говорит Бирцев, возясь с мешком. — Ну вот, не брали в армию, а все равно по-моему вышло: в ополчение ухожу. А то бы все равно дома не усидел. Немец-то прет и прет. Ушел бы я в леса, в наши окрестные. Из-за куста бил бы гитлеровскую нечисть, из-за каждого пня. Округу во как знаю! Село Выру вы, товарищ, проезжали, видели, поди, дом там один, с такой башенкой, с мезонином. Вот в том мезонине в гражданскую войну товарищ Раков с пулеметом сидел, от беляков отбивался. Официантом в «Гранд-отеле» служил до того, а как пошел в революцию, героем себя показал. Мы тоже не лыком штопаны, товарищ.

2

Мы — в действующей армии. Мы — это Михалев и я. За последние десять — двенадцать дней в нашей жизни произошло множество событий. Прежде всего все мы, сотрудники военного отдела, распределились по различным направлениям фронта, по различным частям и решили отправляться в войска не по одному, а по двое, иногда и по трое. Мало ли что может случиться — так чтобы товарищ пришел товарищу на помощь в беде.

Нам, не без боя понятно, выделили из редакционного гаража маленький лимузинчик «форд», темно-коричневого цвета, почти черный, этакую симпатичную коробочку на колесах. Дня три-четыре мы потратили на то, чтобы раздобыть для вождения «фронтовой машины» шофера. В автохозяйстве Ленииздата такого не нашлось:

одни ушли в армию, другие — уже в летах, прочноредакционные, да и просто их слишком мало осталось. С помощью сложнейших ходов, бесконечных телефонных звонков, личных появлений в кабинетах всяческого начальства нам удалось раздобыть веселого молодого парня Серафима Петровича Бойко, которого военкоматовскими документами так и аттестовали: «Водитель машины военных корреспондентов «Ленинградской правды».

Бойко — украинец, общительный, добрый, миролюбивый, машину знает. Но у него беда — работал он только па грузовиках, и ленинградская автомобильная инспекция уж слишком основательно внушила ему, что ездить можно лишь со скоростью тридцать километров в час, как то и положено грузовому автотранспорту на улицах Ленинграда. Мы приодели его в красноармейскую форму, приоделись и сами. Михалев притом на петлицах своей гимнастерки расположил по два красных кубика — согласно аттестации, какую получил в армии: младший политрук. Я ему чертовски завидую. У меня кубиков нет, для армии я не годен. Но чтобы все-таки было известно, что в какой-то мере я политсостав, на рукаве моей гимнастерки, приобретенной в ателье Военторга в Гостином дворе, мы вместе с Михалевым нашили красные звезды.

Дальше начались дела более сложные. Будучи в должных инстанциях утвержденными в качестве военных корреспондентов, получив документы об этом в редакции, мы отправились в штаб бывшего нашего Ленинградского округа, где были уже осуществлены преобразования военного времени, где появилось множество новых людей.

Какой-то майор, а может быть, и батальонный комиссар — мы еще не очень разбирались в таких тонкостях, тем более что петлицы у всех были защитного цвета и знаки различия тоже без былой яркости, — так вот, один из работников оперативного отдела на наш вопрос, куда бы нам отправиться, посоветовал ехать в район Кингисеппа, Веймарна, реки Луги.

— На Ленинград,— сказал он, указывая по карте,— гитлеровское командование, как нам сегодня известно, бросило две армии: Шестнадцатую и Восемнадцатую. Им придана большая танковая группа и Первый воздушный флот. Все это, вместе взятое, называется группой «Норд». Командует ею фельдмаршал фон Лееб. Не думаю, чтобы вам пришлось с ним встречаться запросто,— пошутил

наш собеседник,— но все же знать его вы должны. Этому типу шестьдесят пять лет. Гитлер, как утверждают пленные, его не очень любит, но ценит. Фон Лееб участвовал в захвате Судетской области. Командуя армейской группой «Ц», прорывал линию Мажино. Получил за это звание фельдмаршала и рыцарский крест. Теперь вот идет, видите ли, на нас. Шестнадцатая армия рвется к Новгороду, пытаясь обойти нас с юга. Четвертая танковая группа идет в центре, так сказать, на острие этой вот армии немцев, начавшей свой путь в Восточной Пруссии. А Восемнадцатая армия заходит со стороны запада, через Прибалтику. Это я говорю грубо, приближенно... Вижу, вы записываете. Не советовал бы. В том, как и куда движется противник, секрета, понятно, нет. Но вот как и где расположены наши войска — это полнейшая и строжайшая военная тайна. Так что учитесь лучше не записывать, а запоминать — и то, что на стороне противника, и то, что у нас. Договорились? Ну вот, положение, значит, сейчас такое. Вы знаете по сводкам, что, заняв Двинск, немцы пошли на Псков — Остров. Шестого июля они захватили Остров. Девятого — Псков.

Шестого июля — Остров! Я был на станции Гатчина как раз тогда. Значит, те замечательные моторизованные войска, которые так бодро шли в тот день через Красногвардейск, были обречены на кровопролитнейший встречный бой. Они не успевали занять какие-либо подготовленные оборонительные рубежи, они должны были с ходу контратаковать врага. «На Остров! — вспомнил я слова симпатичного майора.— У гансов там осечка вышла. Даем отпор». Где-то он, этот жизнерадостный командир, жив ли, невредим?

— Но,— продолжал наш собеседник, многозначительно подняв палец,— дальше у немца так гладко не пошло. Блицкриг не получился. Мы их сейчас бьем на подступах к городу Луге. Бьем жестоко и успешно.

— Так, может быть, нам поехать в Лугу?! — воскликнули мы.

— Спокойно, дорогие товарищи корреспонденты, спокойно. Видя, что путь через Лугу для них закрыт, гитлеровцы двинули свои войска в обход слева. Они идут через эти вот леса, точнее, уже их прошли и вырвались к реке Луге вот здесь, юго-восточнее Кингисеппа, в районе населенных пунктов Ивановское, Муравейно, По-

речье, Извоз, Слепино... Это Сорок первый моторизованный корпус Четвертой танковой группы.

Мы уже слышали, что где-то в тех местах танковое наступление немцев застопорилось из-за того, что у них нет бензина. Такие слухи ходили в некоторых ленинградских кругах.

— Ерунда,— сказал наш майор или батальонный комиссар.— Просто мы им там противопоставили должную силу. Вот поезжайте туда, туда. Очень советую. Вам будет интересно. Там, кстати, сражается Вторая ДНО, Вторая дивизия народного ополчения — рабочий класс Московского и Ленинградского районов. Электросиловцы, скороходовцы. На днях прямо из эшелонов они вступили в бой и отбросили противника под селом Ивановское.

Рабочий класс вступает в бой с фашизмом — что может быть интереснее? Конечно же, мы едем туда.

Майор отправил нас в другой отдел. Нам выдали военные карты, научили, как их правильно подклеивать, складывать, как ими пользоваться.

Казалось бы, теперь все, можно отправляться на фронт.

Но у нас не было главного. Не было оружия. А какой же фронт без оружия! Опять звонки, опять хождение, опять бумажки, и вот 13 июля 1941 года в горвоенкомате на проспекте Маклина мы получили два новых, в заводской смазке, пистолета ТТ, тугие, необмятые кобуры к ним, по два десятка патронов и соответствующие разрешения, действительные до 1 сентября. Неужели война закончится через полтора месяца? Вот здорово бы было!

Потом, в гимнастерках, в пилотках, при пистолетах, затянутые ремнями, мы сидели в кабинете Васи Грудинина на пятом этаже, на старых черных стульях с львиными мордами и видавшей виды дряхлой кожей, обсуждали подробности предстоящей нам деятельности на фронте. Мы столкнулись уже с множеством такого, что затрудняло эту деятельность. Прежде всего не было никаких адресов. Где эта 2-я ДНО? Где искать штаб дивизии, штабы полков? Как узнать фамилии командиров, комиссаров? У кого об этом спрашивать? Ехать прямо куда-то в район села Ивановское или Веймарна? Но ведь начни там, в лесах, на дорогах, расспрашивать о номерах и фамилиях, того и гляди примут за шпиона. Ходит немало рассказов о переодетых в красноармейскую форму эсэсовцах-диверсантах, о парашютистах. Их выслеживают

и вылавливают специально созданные истребительные батальоны. Недавно на проспекте 25-го Октября среди бела дня граждане схватили нашего старого ленинградского журналиста Алексея Брусничкина только потому, что одет он был в коричневую блузу, показавшуюся им такой, какие носят немецкие штурмовики, и чуть было не намяли ему бока: дескать, парашютист.

Ничего в общем-то с Васей Грудининым мы не решили. Помог случай. По цепочке от одного к другому выяснилось, что в расположение 2-й ДНО возвращается приезжавший по делам в Ленинград редактор дивизионной газеты «За победу» товарищ Мольво. Он будет рад воспользоваться нашей машиной и укажет, конечно, все исходные адреса. Мало того, обнаружилась жена одного из сотрудников какого-то института, товарища Гродзенчика, который сейчас во втором полку 2-й ДНО комиссаром, и что завтра или послезавтра у него день рождения и хорошо бы отвезти ему торт в коробочке, немного конфет и письмецо.

Взяли торт и письмо. А за Мольво должны заехать поздно вечером на Московское шоссе, дом номер такой-то, чтобы отправиться на шоссе Ленинград — Красное Село — Кингисепп ночью, в потемках, иначе можно попасть под огонь с немецких самолетов, которые, как утверждает Мольво, гоняются не только за одиночной машиной, но и за каждым человеком; самый популярный на фронтовых дорогах возглас сейчас «Воздух!»; при этом возгласе надо бросаться в лес, в кусты, в канавы, но только не торчать на дороге.

Из Ленинграда мы выехали в двенадцатом часу. Июльская ночь достаточно темна, чтобы нашу до черноты коричневую машину не было видно на черной ленте асфальтового шоссе, и достаточно светла, чтобы из машины видеть места, по которым мы ехали. Движения почти нет, лишь немногие встречные грузовики. Людей тоже не видно. За Красным Селом — темные, притихшие деревни. Справа селения Русское и Финское Высоцкие. Вот на дороге Кипень, от которой вправо отходит дорога на Ропшу. Знакомые, знакомые места. В Ропше я когда-то учился, в этих окрестных селениях проходил практику. В Ропше — охотничьи угодья русских царей; там дворец, в котором убили Петра III, а затем вот жили и мы, студенты сельскохозяйственного политехникума. Рядом бумажная фабрика, путь до которой от Красного Села все-

гда усеян обрывками бумажек: всю дорогу они летят с грузовиков, которые возят на фабрику сырье — макулатуру и тряпки. В парковых озерах — огромные карпы, форели, орфы, сплывающиеся к местам кормежки на звон колокола. Есть небольшой прозрачный прудок с голубым дном, отчего и вся вода в нем сказочно голубая. Он называется Иордань. В нем, рожденном подземными ключами, берет начало вся система ниспадающих каскадом ропшинских прудов. Ропша — это сплошная романтика. Не только обширные, красивейшие старые парки с прудами, каменными, обкиданными лишайниками, горбатыми мостиками, не только сумрачные дворцовые недра, но это и место боев времен походов Юденича на красный Петроград. На металлической решетке вокруг дворца остались выбоины, вмятины, сделанные пулями тех времен. Недаром именно в Ропше, вокруг которой еще есть следы артиллерийских позиций, не то наших, не то белогвардейских, мы с таким жаром учились стрелять из боевых винтовок и из пулемета «максим». Всю жизнь, с пионерского возраста, каждый из нас готовился к неминуемым битвам с мировым империализмом. И вот этот час настал. Мы едем на фронт мимо знакомых мест, в которых проходила юность, боевая юность, полная огня и романтики, идейного смысла, да, едем вперед, где нас ожидают неведомо какие испытания...

На одном из поворотов шоссе, в лесу, видим сброшенный в канаву грузовик. Останавливаемся, рассматриваем: вся кабина в мелких дырках, доски кузова местами разодраны в щепье. Мы догадываемся: это сделали пули. Мольво объясняет: «Вот о чем я вам и говорил, товарищи. Это из пулеметов. Позавчера ехал, еще ничего тут не было. Значит, минувшим днем. Совсем недавно».

Серафим Петрович Бойко сосредоточен и задумчив.

Дальше, в одной из деревень, уже не останавливаясь, проезжаем мимо расколотой надвое небольшой кирпичной церковки. Груды битого кирпича. Это уже не пули, это бомбы.

От Ленинграда мы отъехали, наверно, километров сто с чем-нибудь, когда в сумерках увидели надпись на дорожном указателе: «Ополье». Это большое село с множеством хороших домиков, обшитых тесом, крашеных, с железными крышами. Слева протянулись какие-то приземистые старинные строения с арками, вроде как у Гостиного двора. Мольве сказал, что это старинный ямской двор,

или та почтовая станция, на которой меняли, бывало, лошадей. Дальше, тоже слева (без объяснений было видно), стояла белая церковь, и вокруг нее, под кронами густых деревьев, за железной оградой, располагалось кладбище. Сразу же за кладбищем скрывался под деревьями небольшой двухэтажный домишко.

— Вот и наша редакция! — сказал Мольво.

Редакция спала, крошечные ее комнатки были полны посапывающих людей. Мольво почесал в затылке, и мы пошли через дорогу в довольно большой дом, внизу которого был сельмаг, а на втором этаже, куда надо было подыматься по скрипучей деревянной лестнице, в единственной большой комнате без всякой мебели, прямо на полу, тоже спали люди. Но там места еще были, и мы нашли их себе возле окон, расстелили, тоже на полу, шинели, легли и тотчас уснули — было часа три ночи.

Довольно скоро нас разбудил какой-то шум, стук, бряк. Кто-то чиркал спичками, светил ручным фонарем.

— Вот здесь, товарищ полковой комиссар!.. Здесь и располагайтесь.

В свете спичек и фонарей мы разглядели внушительную фигуру, стоявшую посреди комнаты. Человек был плотный, одет в шинель, на шинель накинута плащ-палатка, из-под нее виднелись кобуры пистолетов, футляры биноклей, подзорных труб, полевые сумки; голову его прикрывала каска, в руках он держал карабин. А поскольку приведший все время поминал при этом «полкового комиссара», то есть называл колоссальное воинское звание, за которым сразу же идут звания, равные генеральским, то спавшие тотчас вскочили, кто в чем был, и вытянулись, приветствуя полководца. Полководец скомандовал:

— Вольно, вольно. Продолжайте сон. — И ушел, грохоча сапогами по лестнице. Ему этот ночлег, видимо, не понравился.

Михалев назвал какую-то незнакомую мне фамилию и, перевернувшись на другой бок, добавил:

— Он корреспондент чего-то, не то ТАСС, не то радио. Завтра узнаем. Зовут его Гришкой.

— Полковой комиссар — корреспондент? — Я удивился до крайности. Я плохо знал армейские дела.

— Да, как-то присвоили ему в свое время такое звание, вот и носит четыре «шпалы».

У меня не только «шпал», у меня не было даже и двух «кубиков», как у Михалева. Засыпая вновь, я не без зависти думал об экипировке и об арсенале газетного полкового комиссара. Он был, конечно, во всем этом шикарен и внушителен. Мы валяемся на грязном полу вповалку, а ему где-то, поди, уже взбивают пуховики...

Пишу я эти строки в пустом сенном сарае на околице Ополья. На улице жарища, в сарае прохладно, его продувает ветерок. Мы с Михалевым только что составили здесь свою первую корреспонденцию, помеченную внизу, под нашими подписями, многозначительными словами: «Действующая армия». А в сарай забрались потому, что, по рассказам местных жителей, это самое спокойное место: за сараем лежит большая луговина, на которой оборудован ложный полевой аэродром — стоят фанерные самолеты, вытоптана взлетная полоса, валяются старые бочки из-под бензина. Немцы давно разобрались, какой это аэродром, поэтому и он сам и все, что вокруг него, — наиболее спокойное место в районе Ополья.

Какая же и о чем, о ком написана нами корреспонденция?

С утра мы отправились в редакцию газеты «За победу». Там уже стучала «американка» — печатался тираж очередного номера. Под приглядом старого печатника работе на этой несложной машине училась совсем молоденькая девчушка, лет шестнадцати с небольшим. Она сказала, что ее зовут Машенькой, она тоже ополченка, вступила добровольно, она только что весной окончила девятый класс.

— Машенька, но почему же вы, милая, не пошли куда-нибудь в госпиталь в Ленинграде? Почему непременно на фронт, почему воевать?

— Хочется поскорее узнать жизнь, стать взрослее, полезней народу, — говорит она просто, механически снимая отпечатанные листы с машины. — А то я совсем какая-то девчонка.

Вся редакция — добровольцы, ополченцы — народ дружный, крепкий. Мы позавтракали с ними и хотели тотчас отправиться вперед, в полки, в батальоны дивизии, в боевые порядки. Нам сказали, что одни мы заблудимся в лесах, а вот к вечеру кто-то поедет и нас проводит, покажет дорогу. Запросто путаться по фронтовым дорогам не стоит, можно попасть в переделку.

Мы принялись исследовать село Ополье. Здесь, оказывается, расположена рота ВНОС — службы воздушного наблюдения, оповещения и связи: как раз в тех строениях, где некогда был ямской почтовый двор, и за ними, в землянках, скрытых кустарниками. Надо будет наведаться к вносовцам. Кроме их подразделения в Ополье стоят еще и медицинские учреждения: госпитали, медсанбаты, в том числе и ополченческие. И так как, по рассказам, ополченцы уже побывали в сильном встречном бою — прямо из вагонов на марш, а с марша в атаку, — то медики повидали крови, поработали. Они расположены кто в школе на околице, кто в палатках, раскинутых тоже меж кустами, как землянки вносовцев.

Ну и, конечно же, чтобы не терять времени, мы отправились к медикам. Нам повезло. Мы застали там двух девушек-сандружинниц, приехавших по каким-то делам из батальона, занимающего оборону в районе села Ивановского. Одна из них, Нина Шейкина,— тоненькая письмоносица из 105-го ленинградского почтового отделения. Другая, Клавдия Бадаева, — сестра известного в Ленинграде партийного работника, цеховой диспетчер одного из городских предприятий.

— Знаете, — почти наперебой рассказывали они, — прибыли мы на станцию, здесь, недалеко, уже под вечер. А через час после того, как выгрузились из эшелона, — прямо в бой. Было очень страшно. Но еще больше хотелось преодолеть этот противный страх. Что мы, не комсомолки, что ли! Бойцы идут в атаку на деревню, в которой немец. И мы с ними. Мины рвутся, пули свистят. Уже сумерки немножко, и эти пули, задевая за ветки деревьев, при взрыве светятся. Вы еще не видели трассирующих пуль? Ну увидите. А наши, говорим, все наступают. И мы, конечно. Мы сандружинницы, наше дело — раненые, наше дело — первая медицинская помощь. Тащим сумки с перевязочными средствами.

— У моего первого раненого, — сказала Нина Шейкина, — рана была в ногу, под голенищем сапога. Но я не растерялась. Ножом голенище — раз! — и распорола. А дальше и пошло... Оттуда кричат, отсюда зовут: «Сестрица, сестрица!..» Затихло все только ночью. Посмотрела я тогда на свою сумку — в двух местах пробита. Может быть, осколками, может быть, пулями — еще не разбираюсь.

Нина — экспансивная девушка, трещотка. Клавдия Бадаева — уравновешенная, спокойная. Обычно она ходит с разведчиками, была с ними уже несколько раз. На днях в разведку отправилась большая группа ополченцев — 63 человека. Им предстояло боем разведать огневые точки врага, расположение его оборонительных рубежей. Группа подобралась вплотную к немецким траншеям, установила пулемет и открыла огонь. Немцы было побежали. Но в ближайшем же лесу пришли в себя и ударили по нашим пулеметчикам из миномета. Кому полагалось залечь под этим огнем, укрыться от него, а ей, Клавдии, надо было бежать туда, где гремели разрывы. Там же могли быть раненые!..

Клавдия не впервые имеет дело с больными, ранеными. Еще во время финской войны она ежедневно дежурила в одном из ленинградских госпиталей.

— Не знаю, почему, но я чувствовала большую радость, когда мне удавалось хоть чем-нибудь да помочь этим людям. Подушку поправишь, пить подашь. Больше-то что я могла сделать, я же не врач, даже не медицинская сестра. Так, девчонка была.

Девчонки, девчонки! Милые девчонки! Какими отважными оказались вы в трудный для народа час! Какой огромный запас женской, материнской любви принесли вы с собою сюда, на поля сражений, сколько любви, которая врачует раны, и особенно те раны, которые принято называть душевными... А их, этих душевных ран, пожалуй, еще больше сейчас, чем ран пулевых и осколочных. Милые девчонки, хорошо, что вы были пионерками, что вы комсомолки, что старшие научили вас патриотизму, осветили жизнь вашу такими идеями, от которых светло и в эту мрачную ночь, в ночь войны, в ночь страданий и крови. Не знаю, как будет дальше, но все-таки думается, после того как война окончится, вам — не вам, вы останетесь жить, вы должны жить, а вашему подвигу — поставят памятник. И памятник тот непременно будет из белого мрамора. И будете вы изображены вот в таких аккуратных гимнастерочках, в коротких юбочках, в пилоточках, кокетливо сдвинутых набок, перетянутые ремнями в ваших девчоночьих талиях, в сапожках, тесноватых в икрах, с брезентовыми санитарными сумками на боку...

Первую свою корреспонденцию из действующей армии мы с Михалевым посвятили вам, девчонки. И мы этому очень рады. Дойдет ли она до редакции? Мы переписали

ее набело в двух экземплярах, и Михалев пошел на дорогу, чтобы просить кого-нибудь, кто едет в Ленинград, доставить конверты на Фонтанку, 57. Или хотя бы бросить в городе в первый попавшийся почтовый ящик.

3

Под вечер мы отправились в части. Указать нам дорогу взялся один командир, который возвращался в свой 2-й стрелковый полк, где комиссаром товарищ Гродзенчик, тот самый именинник, кому мы должны доставить торт и письмо от его жены.

За Опольем в нескольких километрах — станция Веймарн. Бомбами разбито станционное здание, раскиданы, согнуты рельсы, порваны провода. Наш провожатый объяснил, что именно здесь выгружались из эшелонов ополченцы и отсюда начинали свой боевой путь.

Последние дни июля. Вечереет, но очень тепло. Стекла в машине опущены, в них входит душистый полевой и лесной воздух. Удивительно мирно. Вокруг стоят пшеничные нивы. Их надо убирать, они перезревают. Трудно верится в войну. Еще и потому трудно, что уж слишком все это близко к Ленинграду, уж слишком знакомы здешние места, исхоженные пешком, ногами корреспондента, сотрудника сельскохозяйственного отдела «Ленинградской правды». Мы едем мимо усадьбы МТС, едем через колхоз, о которых совсем еще недавно приходилось писать. И если что и напоминает о войне — это тревожные, тоскливые взгляды людей у ворот, в большинстве, конечно, женщин. Мужчины, видимо, уже ушли в армию.

Переезжаем противотанковый ров по оставленной для этого узкой перемычке. Ров тянется далеко вправо и влево.

— Только вчера отсюда ушли ленинградцы, — объясняет наш спутник. — А то все дни копали, под солнцем. Немцы налетали, обстреливали из пулеметов. Разбегутся по кустам. А потом снова за лопаты. Теперь отправились к Алексеевке. Копают там.

Въехали в лес, полный людей и автомашин. Люди ходят от палатки к палатке, от землянки к землянке. У всех какие-то дела: они спешат, они озабочены. Выясняется, что это тылы 2-й ДНО. Тут склады продовольствия и боеприпасов, всяческие канцелярии, интендантства, заправочные и обменные пункты.

Отсюда у нас новый провожатый. Едем дальше. Смеркается. Совсем невдалеке слышны выстрелы и разрывы. Для нас это первые выстрелы и первые разрывы этой войны. Я еще не отличаю, из чего стреляют — из орудий, из минометов? А провожатый, хотя он тоже солдат очень недавний — недели три назад был затяжчиком на фабрике «Скороход», — солидно объясняет:

— Из минометов кроет по переднему краю. Что-то заметил, гад.

Значит, где-то неподалеку уже и «передний край» — загадочный, таинственный, героический «передний край», побывать на котором, как представляется нам, само по себе немалое геройство.

Машину нашу загоняют в кусты, где и еще стоят машины. Серафим Петрович Бойко остается при ней в обществе других шоферов, а мы идем мелколесьем дальше. И когда стемнело окончательно, добираемся до входа в землянку. Это землянка командного пункта 2-го стрелкового полка, или, как здесь говорят, 2-го СП.

Внутри землянка неожиданно оказалась обширной. Может быть, оттого, что освещалась тусклой керосиновой лампой, и поэтому углы ее уходили во мрак. Среди нескольких командиров мы нашли там и Гродзенчика. Он был комиссаром полка, но звание носил не слишком крупное, не то что газетный полковой комиссар, — всего лишь старший политрук, одна «шпала» на петлицах. Это общая черта ополченцев: малые и до крайности пестрые звания. Откуда же они их могли набрать, эти мирные ленинградцы? Они с жаром певали: «Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути». Они совершенствовались как специалисты своих мирных профессий, они шли от ударничества к стахановскому движению, они учились работать по-коммунистически, но звания-то воинские у них стояли на запасных путях. И командир полка оказался только майором. И начальник штаба — капитан. И вот комиссар — старший политрук.

Торт, конечно, тотчас был поставлен на стол и разрезан. Появился чай. Начались расспросы: как там, в Ленинграде? Потом была вытащена и разостлана на столе карта. Нам показывали по ней участок, занятый 2-й ДНО, и в частности 2-м СП. Слева от 2-й ДНО, в районе селений Извоз, Слепино, Сабск, оборону держат, оказывается, курсанты пехотного училища имени С. М. Кирова, а

справа, вплоть до Кингисеппа, заняла фронт кадровая 191-я стрелковая дивизия.

— Вот именно сюда, — рассказывал нам начальник штаба полка, — немцы двинули свой Сорок первый мотокорпус после того, как им дали жару под Лугой. Хотели прорваться здесь. Но тоже, видите, не вышло. Правда, реку они форсировали вот тут, в районе Поречья. Это было на днях, четырнадцатого июля. Без боя. Потому что на этом участке просто не оказалось наших войск. Мы только-только подходили. Ну, они закрепились на правом берегу, создавали, так сказать, плацдарм, переправили танки. И решили рвануться вперед, на село Среднее. Чтобы выйти сюда, на шоссе Кингисепп — Красное Село, и к Финскому заливу, к Копорью, и двинуться в Ленинград, обойдя таким образом Лужский узел обороны. Но тут уже подошли мы. Задача у нас была — выбить противника с правого берега Луги, ликвидировать его плацдармы. Пока сделать это не удалось и не удается. Но все же мы его остановили, заставили окопаться. Вот так, дорогие товарищи корреспонденты. Предстоят новые бои. Вы приехали вовремя.

Гродзенчик дополнил:

— Энтузиазм большой, порыв огромный. Только уж очень плохо мы обучены. Несколько дней позанимались боевой подготовкой — и сюда. Но выстоять, конечно, выстоим. Немец еще узнает не раз, что такое ленинградские ополченцы.

Итак, мы всматриваемся в карту. Поречье, Юрки, Ивановское, Сабск — это правый берег, это немцы, переправившиеся через реку Лугу, это плацдармы, где противник накапливает силы для нового удара. Здесь, в лесах, с обеих сторон идет непрерывная кротовья работа: одни подкапываются под других — кто кого. Бои утихли только что. Наши уцепились за северную окраину Ивановского. Теперь повсюду окапывание, уход в землю, создание прочной обороны.

К полевому телефону позвали начальника штаба.

— Ну! — воскликнул он, выслушав какое-то интересное сообщение.— Это здорово! Пусть тащат сюда. Молодцы! — И уже к нам, положив трубку: — Ганса в плен взяли. Ранен, правда. Ну ничего, поговорим. Сходите кто-нибудь, позовите врача и переводчика.

Мы тоже, понятно, взволнованы. Сейчас увидим живого немца, одного из тех, кто победным маршем прошел

почти по всей Европе, видел столицы десятка государств, того, кто, может быть, еще вчера орал «хайль» своему фюреру, кто давил, топтал, резал наших людей в Прибалтике, на Псковщине и кто до этого часа сидел там, в Ивановском, над картой путей к нашему Ленинграду. Человек из того, из другого мира, который нам чужд, враждебен, антагонистичен.

Мы с нетерпением ждали его, но человек этот уже был мертв. Он умер по дороге. Разведчики, огорченные, понурые, доставили на командный пункт полка только мундир немца, его оружие и документы.

Врач не понадобился совсем, а на долю переводчика досталось чтение документов, найденных в карманах убитого.

Рассматриваем темно-серый мундирчик, мокрый от крови, нашитые на нем ленточки и значки.

— Обер-ефрейтор,— поясняет переводчик, листая бумаги убитого. — Двадцать один год. Отличный стрелок... Вот знак, утверждающий это. Ого! Награжден Железным крестом... Вот она, ленточка, на мундире. Родом из Ганновера. Вот письма родителей. Вот его девица, блондинка с пышной прической. Вот и он сам!

На фотоснимке мы видим молодого парня в высокой, заломленной фуражке с нашитым на нее распластанным орлом фашистской империи Гитлера. Лицо с правильными чертами, но в глазах — ничего, никакого выражения. Холодные, бесстрастные глаза. Он сфотографирован в этом же самом мундирчике, в котором и убит. Да, действительно, вот она, эта ленточка Железного креста, вот значки за отличную стрельбу и еще за что-то. Чего только не повидали глаза молодого гитлеровца! Сколько перебили наших людей эти смиренно сложенные перед фотоаппаратом руки... С него сняли — они тоже тут, доставленные разведчиками,— автомат и парабеллум в тяжелой черной кобуре. Переводчик читает вслух письма родителей к этому молодцу. Папаша с мамашей называют его «наш мальчик», «наш Генричек», но перед нами его холодные глаза, ленточка его креста за убийства, его автомат и пистолет с восьмимиллиметровыми пулями в патронах. И мы чувствуем, физически чувствуем, как ненавидим их проклятого «мальчика», их «Генричека», прикатившего на тяжелом дизельном грузовике из далекого, бесконечно далекого Ганновера в район деятельности Кингисеппской МТС.

— Их было трое,— рассказывает один из разведчиков. — Мы лежали в канаве. Солнце уже зашло, но небо еще было светлое. Они шли через рожь в нашу сторону, и все три силуэта хорошо виднелись на фоне неба. Потом мы кинулись на них. Завязалась рукопашная. У нас, наверно, выдержки не хватило: два типа отбились и удрали в темноте. А этого в суматохе мы ранили. Да еще и прикладом по голове стукнули. — Разведчик до крайности смущен и расстроен.

— Ничего, ничего,— утешил разведчиков Гродзенчик. — Все дается опытом. Следующего ганса возьмете аккуратней.

— Это уж точно, товарищ старший политрук. Мы же обувщики, «скороходовцы». С таким делом впервые столкнулись.

Да, все это нам ново, непривычно, оно нам не нужно, оно навязано. И убийства людей, и засады, и вся звериная жизнь в лесах, когда попеременке один — охотник, другой — дичь, и черт знает, от каких сил тут зависит, кто кого. Кто кого перехитрит, переборет, победит в конце концов.

Проведя ночь на топчане в соседней землянке, мы чуть свет отправились в деревушку Выползово, в километре от командного пункта 2-го СП. Рядом с нею, в лесу, нам предстояло позавтракать. А в деревушке решено помыться колодезной водой.

В чистом, голубейшем небе подымалось свежее, выспавшееся солнце. Воздух пах сосновым лесом, скошенными травами, бодрил. Деревушка стоит на пригорке. Вокруг нее — поля, а за полями — леса, как зеленое бескрайнее море. Тишина, мир. Мы сбросили гимнастерки, умываемся возле колодца прямо посреди деревушки. Поливаем друг другу из ведра. Вода холодная, обжигает, но и придает удивительную бодрость. Ни о какой войне даже и не думается.

Но что это? В лесной дали хлопнуло так, как хлопают в ладоши,— негромко и вместе с тем отчетливо. Мысль не успела ничего сказать, как в воздухе над нами визгнуло и рвануло. Горячий воздух и какой-то град пронесся по земле. Хлопнуло снова...

Один из тех, кто должен был показать место, где нам предстояло завтракать, крикнул шальным голосом: «Шрапнель!» И дальше произошло нечто нелепое, странное и стыдное. Заслышав третий хлопок, мы кинулись

в первый попавшийся огород, проламывались через колючие заросли малины, оступались, падали. Это была горячка, паника, страх. Мы искали, куда бы, где бы скрыться, спрятаться от обстрела...

Очнулись только тогда, когда смолкли железные, огненные удары над головой. И что же? Где же мы оказались? Куда спрятались? Мы лежали в траве за ветхим отхожим дощаником, в углу чьего-то огорода.

Поднялись, ухмыляясь теми ухмылками, которые в литературе имеют название кривых. Было чертовски стыдно друг перед другом, но чувство стыда смешивалось с радостью избавления. Мы живы, живы, живы!.. Мы прошли первое крещение огнем. Нет, оказывается, не так-то легко проходит это крещение, не так-то легко чувствовать себя мишенью для вражеских артиллеристов, со своих НП заметивших наше беззаботное, привольное мытье и пощекотавших нас полдюжинкой шрапнели. А каково же было тем, которые прямо из эшелонов, прямо от станков, от канцелярских столов пошли в атаку под огонь пушек, минометов, пулеметов, в гранатные взрывы? И они же шли, они контратаковали, выбивали врага из захваченных селений, они остановили его.

Через полтора часа мы беседовали с группой участников того первого боя. Ополченец Степан Бардин в первых числах июля еще редактировал многотиражную газету на фабрике «Скороход»; он правил рабкоровские заметки, планировал очередные номера, ходил в партком и высказывал там свое возмущение начальниками цехов, которые не отвечали на письма рабочих. И вот несколько дней назад, став политработником, он шел в свой первый бой, этот худощавый мирный человек, журналист, член партии большевиков.

— Было ли страшно? — Бардин задумался. — Да, было, было. И очень даже. Но только в какие-то первые, непреодоленные минуты. Потом стало лучше. Пришло нечто вроде хмельной ярости. Дорваться бы до деревни, на которую мы наступали, и вернуть ее, вернуть, отнять у врага. — Он смотрит добрыми, улыбчивыми глазами, и думается о нем, что совсем не его это дело — проламывать кому-то черепа прикладами, поддевать под ребра штыками, швырять под ноги людям гранаты. Но он это делал. Он насмерть дрался с врагом.

Первый бой ополченцев был нелегок. Нелегок главным образом потому, что бойцы-то были уж очень неуме-

ные. Бардин видел, как бегущий с ним рядом в атаку знакомый ему инженер на ходу вытаскивает из обойм патроны по одному, загоняет их в патронник винтовки пальцем и стреляет куда-то вперед, не прицеливаясь, что называется, «с живота». Значит, не знает, как вложить обойму в магазин, а стреляет, значит, просто в божий свет.

— Это начальник одной из цеховых лабораторий,— рассказывал Бардин. — Умный, думающий человек. Он, знаете, удивлялся: до чего, мол, странная конструкция у винтовки, неужели, мол, не могли лучше-то сконструировать, никакого же смысла нет закладывать пять патронов в обойму, чтобы потом по одному их вытаскивать из нее и загонять пальцем в патронник.

Атака была яростная. До немцев, успевших окопаться, был добрый километр. Люди кричали «ура», стреляли, все друг другу были знакомы по мирным делам, по цехам, по производственным совещаниям. Бежали локоть к локтю, тесно, по лесной поляне, спотыкались о корни деревьев, непривычные к бегу, теряли дыхание. Огонь противника нарастал. Дым разрывов застилал глаза, пулеметные очереди рвали траву, секли ветки кустов. Не выдерживая, люди падали в кусты, в воронки, за пни. Но через минуту кто-нибудь поднимался, не обязательно командир или политрук, нет, любой, кто активнее:

— Ленинградцы, вперед!

И снова бег через кусты.

В этом бою много было работы у известных уже нам Нины Шейкиной, у Клавдии Бадаевой, у десятков девушек-дружинниц. Потери были немалые.

В том бою участвовал и связной Георгий Бунтин. Связным его поставили из-за очков. Куда с очками в атаку! В последние годы он колесил по Карелии, по республикам Средней Азии — изучал залежи слюды, полевого шпата, молибдена — все, что относилось к пигматитам. Кандидатскую диссертацию он посвятил полезным ископаемым, их роли в народном хозяйстве СССР. Совсем недавно Бунтин был геологом. А вот стал бойцом, связным в роте. Когда атакующие ополченцы имели возможность залечь, окопаться или укрыться в окопах, этот человек обязан был пробираться из роты в батальон и обратно с донесениями, с приказаниями. Он ползал под минами, под каскадами цветных пуль, то и дело терял свои злосчастные, так не предназначенные к войне

очки. Когда рвалось рядом, падал на землю, приникал к ней лицом, не замечая ни грязи, ни болотной воды.

— Но, знаете,—сказал он нам с доброй, тоже, как и у Бардина, светлой улыбкой,— сейчас я уже кое-что понял. И прежде всего, что падать надо далеко не всегда. Не каждый снаряд и не каждая пуля в тебя. Надо уметь их различать. Кажется, начинаю это делать.

Самым мирным человеком, с которым мы побеседовали в тот день, был, пожалуй, Николай Максимилианович Гамильтон, экономист со «Скорохода», большой мастер технико-экономического анализа деятельности своего предприятия.

Он сидел на траве, тоже, как Бунтин, поблескивая очками в золотой «профессорской» оправе; гимнастерка на нем по-штатскому топорщилась, а на ногах были огромные ярко-желтые новенькие скороходовские сандалии: сапог на его ногу на военных складах не нашлось.

В первый бой Гамильтон вступил, как Бардин, как Бунтин, неумелым воином. Но сейчас Николай Максимилианович при штабе полка. Дело решило знание немецкого языка. Он стал переводчиком.

И еще, отправившись обедать в хозяйственную часть полка, мы встретили немало интересных людей. Оказался таким и сам начальник хозчасти Иосиф Дворян, недавний руководитель цеха обувной фабрики «Пролетарская победа», добрый, приветливый человек, на котором тоже очень смешно, по-штатскому сидела военная одежда.

Вот что нам рассказали о Дворяне его товарищи.

Уже сутки шли бои за село Ивановское. Часть выполняла приказ высокого командования — во что бы то ни стало выбить противника из этого важного населенного пункта. Задача была настолько ответственной, что в район боев прибыл Климент Ефремович Ворошилов и даже сам лично водил ополченцев в атаку.

— Такое дело,— рассуждал военный хозяйственник Иосиф Дворян. — Я, пожалуй, пойти в бой не смогу: кто же станет осуществлять материальное снабжение боя? Но понимать свою ответственность — прекрасно понимаю.

Он знал, что бойцы устали, что они напрягают все силы, выполняя приказ. Знал, что им необходима горячая, питательная пища, которая для бойцов уж, во вся-

ком случае, не менее надобна, чем снабжение их патронами.

И вот, получив на складе треску, начхоз решил угостить своих боевых товарищей горячей жареной рыбой. Конечно, эта затея была несколько странноватой и, может быть, наивной для тех условий, в каких находились в тот день ополченцы. Но, мирные люди, хотя они и надели военные гимнастерки и пилотки, сознанием своим еще были в кепках и пиджаках и никак не могли расстаться с привычным заводским бытом. Дворяну показалось, может быть, что он все еще начальник цеха, и он, хозяйственник, хотел угостить товарищей повкусней. Но как это сделать? У него не было ни противней, ни плиты, были только котлы походной кухни. А в котлах рыбу, как ни старайся, не изжаришь.

Дворян отправился в ту деревушку, где сегодня нас обстреляли шрапнелью, в Выползово, и именно у того колодца, где мы поливали друг другу холодную воду на руки, собрал колхозниц. Был вечер. Артиллерия обеих сторон работала вовсю; над лесом, из которого нас засекли немецкие наблюдатели, стояли столбы дыма; в нем выло, гудело, ревело. «Слышите, дорогие мои бабоньки, — сказал он женщинам,— там уже целые сутки дерутся наши. Вы должны им помочь».

Наступила ночь. Но женская половина населения колхоза спать не ложилась. Хозяйки то и дело меняли воду в ведрах, лоханях, чугунах, в которых отмокала от соли треска. На рассвете загремели сковороды и противни, из всех сеней на деревенскую улицу потянуло запахом кипящего подсолнечного масла.

И в тот именно час, который установил для себя Дворян, сотни кусков жареной трески, аккуратно завернутых в пергамент, были отправлены в термосах на передовые позиции. Дворян сам под огнем врага раздавал их бойцам, еще теплые, вкусные.

Да, затея, может быть, и странноватая, так сказать, сугубо штатская. Но немцы в тот день были выбиты из северной части Ивановского.

Возвратившись с переднего края, Дворян поспешил поделиться этой радостной вестью со своими добровольными помощницами. Он чувствовал себя так, будто тоже принимал участие в штыковом бою. «Ну, а рыбка-то, рыбка какова получилась?» — спрашивали его. «Рыбка?..» Тут только начальник хозяйственной части полка ощу-

тил, что дьявольски голоден: со вчерашнего вечера он вообще ничего не ел, просто не успел поесть.

Все это мы узнали, повторяю, от других. О себе Дворян говорить не захотел.

— Вы поваром, поваром, Григорием Трофимовым, поинтересуйтесь,— отмахивался он от наших расспросов.

Что же, поинтересовались мы и поваром.

Несколько дней назад Григорий Трофимов приехал с кухней на позицию стрелковой роты, привез бойцам ужин. Позиция была такая, что в немногих сотнях метров от нее уже сидели немцы. Раздавая пищу по котелкам, повар сквозь кусты мог видеть и хождение людей и движение машин во вражеском лагере. Немцы, надо полагать, тоже не могли не заметить появления кухни. Через несколько минут над нею сделал свой круг разведывательный «хеншель». Трофимов сообразил: «Надо немедленно менять стоянку»,— и как можно скорее отъехал на другое место, где продолжал раздавать ужин бойцам. И он был прав: ударило немецкое орудие — снаряд разорвался именно там, где «хеншель» засек кухню. Осколки брызнули во все стороны.

— Что, Трофимыч, испугался? — покровительственно посмеивались бойцы, видя, как побледнел вдруг их повар. — Вовремя ты отчалил с того места. А то бы как раз в твои котлы врезало.

Трофимов улыбался, но улыбался как-то странно, точно чего-то смущаясь. Орудуя своей поварешкой, он время от времени утирал рукой капли пота со лба.

И только тогда, когда была отпущена последняя порция ужина, он сказал:

— Ребята, того... помогите до подводы добраться. Нога у меня... уж и не чую ее. Что полено.

Поэтому-то в какой-то момент Трофимов и побледнел: он был ранен осколком снаряда в ногу.

Нынешним вечером при свете аккумуляторной лампочки в палатке хозяйственников 2-го СП мы пишем вторую нашу корреспонденцию из действующей армии. Мы называем ее «Тыловые люди». Заканчивается она так: «Многие у нас привыкли думать, что мужество — удел летчиков, разведчиков, танкистов. А повара, работники снабжения — это, мол, тыловые люди, у которых жизнь идет спокойнее... Вот почему мы и решили рассказать о начальнике хозяйственной части Дворяне и

поваре Трофимове — двух «тыловиках» одного подразделения».

Сейчас эту корреспонденцию перепишем в нескольких экземплярах, а утром отправим в Ленинград тем же способом: выйдем на дорогу и будем ждать оказии. Какова судьба первой, мы все еще не знаем. Напечатали ли ее, забраковали? Телефонной связи с редакцией в окрестных лесах, понятно, нет. А «Ленинградская правда» что-то еще не пришла. Не скор путь газеты по фронтовым дорогам.

Спим в палатке. Слышим говор близкого фронта. Стрекочут автоматы. Хрустяще рвутся малокалиберные мины.

По туго натянутому полотну палатки проползают световые блики. Это следы осветительных ракет, на которые так щедры немцы. Иногда где-то очень далеко — Дворян утверждает, что на форту «Красная Горка»,— слышен тяжкий удар; за ним тянется длинный вой огромного снаряда, и еще позже — обвальный грохот разрыва в расположении немцев. Нам думается, что это все-таки не форт, а железнодорожная батарея, устроившаяся где-нибудь в районе Котлов.

Что это за стрельба? Да так просто: одни беспокоят других, чтобы не спали, чтобы изматывали свою нервную систему. И верно, хотя до передовой не менее километра, ну, может быть, метров восемьсот, а все равно спится плохо. Может быть, это только от непривычки? Может быть, придет время, научимся спать и под вой снарядов?..

4

Солнечным ярким днем мы бодро шагаем на передний край. Туда, где перевязывают раны Нина Шейкина и Клавдия Бадаева, куда, несмотря на поврежденную ногу, ежедневно ездит — и не по разу — повар Трофимов, где несут свою боевую вахту боец журналист Бардин, боец геолог Бунтин, боец экономист Гамильтон, где был убит «рыцарь» Железного креста из далекого Ганновера и где стреляют, стоят насмерть.

Известными ему тропинками нас ведет туда невыспавшийся, хмурый лейтенант лет двадцати восьми — тридцати. Он молчит, и мы молчим. Идем через обширную вырубку. Всюду стоят подгнивающие пни. Кое-где

меж ними пробивается молодая поросль. В нагретом воздухе густо пахнет земляникой. Спелой такой, сладкой, вкусной. Ее великое множество вокруг гнилых пней. Она так и зовет к себе, даже скулы сводит от нее. Но... но мы здесь не дачники, не экскурсанты. Лейтенант все идет, и мы тоже не останавливаемся. На фронте тишина; трудно поверить, что за этой земляникой есть какой-то фронт.

Что нас гонит туда, на передний край, от этих мирных, поэтичных полян? Нас обязал кто-нибудь идти туда? Нет. Приказ получили? Тоже нет. К бойцам переднего края нас ведет нечто более сильное, более властное, чем любой из приказов в мире. Не пройдя через огонь, мы не сможем прямо, честно, открыто смотреть в глаза тем, о ком пишем; мы не будем иметь никакого права писать о них; и, чтобы иметь на это право, мы идем туда, вперед, где стреляют.

— Прибавьте шагу,— говорит лейтенант неожиданно, а сам шагу не прибавляет, идет, как шел. — Место опасное. Третьего дня двух бойцов убило, и вчера старшину, наповал в голову... Немецкие «кукушки» да снайперы. Вон из того леса, слева.

Смотрим: в нескольких сотнях метров от нас, да, именно слева, стоит темный густой лес. До слов лейтенанта в этом лесу не было ничего особенного, лес как лес. Но лейтенант сказал о «кукушках», и лес стал угрюмым, мрачным, пугающим. Я почувствовал, как голова моя уходит в плечи, вжимается в них, хочет совсем вжаться. Небо над нами уже не голубое, не ясное, а какое-то грязно-серое, свинцовое. Запах земляники развеяло ветром, воздух остыл. И мало того, я ловлю себя на том, что стараюсь идти так, чтобы между мною и страшным лесом с «кукушками» был этот неразговорчивый лейтенант. От этого становится нестерпимо стыдно. Неужели прав безудержный циник Зигмунд Фрейд, утверждающий, что в таких случаях, когда опасно, подлинная сущность человека выражается единственной мыслью: пусть кто другой, только не я? А я, мол, должен жить, жить во всех случаях, в любых случаях.

Поднимаю голову над нестойкими своими плечами, расправляю грудь и захожу так, чтобы самому быть между лейтенантом и лесом. Не знаю, о чем и что думает в эти минуты Михалев, он идет, по привычке подергивая подбородком влево, именно влево, где этот чертов лес,

и молчит. А я вот проделываю все эти психологические опыты. Не может быть, чтобы в минуты опасности человек не отличался от животного, которое, если опасность, просто-напросто удирает от нее. Зря, что ли, он перечитывает на своем веку сотни, тысячи книг о красотах души, о благородных примерах, о человеческих идеалах; зря, что ли, тянется так к жизни осмысленной, освещенной светом больших, красивых идей?

Еще прямее делаю спину. И ничего, оказывается, идется, и неплохо идется под прицелом вражеских снайперов. Только немножко душновато и лоб сырой — не от жары, нет.

Постепенно проходит и это. И когда вырубка кончается, когда мы выходим из зоны возможного обстрела, так в общем-то и не услыхав, вопреки предупреждениям лейтенанта, ни единого выстрела, вновь видим, что небо голубое, и даже еще голубее, чем было, что мир прекрасен вдвойне и земляники будто бы утроилось. Чертовски радостно на душе. Хочется вновь пройти через только что пройденную поляну, пройти уже иначе, по-другому, так, как прошел ее лейтенант: спокойным, твердым, неторопливым шагом. В тебе изменилось что-то. Ты совершил важное преодоление в себе, не совершив которого не мог бы жить дальше. А если бы и жил, то вот так: чтобы между тобой и опасностью непременно бы кто-нибудь был,— прячась за другого, за других.

И когда среди дня, побывав на ротном партийном собрании, где прямо под соснами старого леса принимали в партию троих бойцов-ополченцев, мы вышли на опушку, перед которой метрах в четырехстах впереди лежала занятая немцами деревня, нам уже говорили: «Товарищи командиры, нельзя так, в полный рост. Спуститесь в траншею».

Стоя в траншее, мы сквозь бинокль, совсем близко, видели деревенскую улицу, видели немецких солдат, пробирающихся от дома к дому, видели мотоциклы, скрытые за заборами автомашины. Это был чужой мир, страшный. Во что бы то ни стало его надо было сокрушить. Любой ценой, любой кровью. Иначе погибнет так много, что потерю эту не исчислишь ничем, нет никакой меры для ее исчисления. Погибнет тысячелетняя мечта человечества, которую советский народ воплощает в реальность.

Когда мы вот так раздумывали, вглядываясь в суету немцев на улице нашей советской деревни, к нам подо-

шел высокий худощавый человек с утомленными, но очень живыми глазами.

— Здравствуйте, товарищи корреспонденты! — Он подал руку. — Что это вы так форсите? А вдруг снайпер?.. Вдруг из ротного миномета?.. Для корреспондентов здесь не место.

Мы взглянули на его четыре «шпалы» в петлицах и, еще не зная, кто перед нами, ответили:

— Судя по всему, и для вас здесь не самая лучшая позиция.

— Я комиссар дивизии, дорогие друзья, мое место всюду, где народ.

Мы уже много слышали о Павле Тихоновиче Тихонове, комиссаре 2-й ДНО, о его удивительной простоте, выдержке, отваге, об умении держаться с бойцами.

— В наше время командирам частей и соединений ходить в атаку — глупость: войска останутся без начальников,— заговорил он в ответ на наше высказывание. — А политработник... Ну не станет одного — любой коммунист его заменит. Командир должен быть на КП, возле пульта управления боем. А политработник — среди людей, там, где бой. Иначе что же ему и делать?

5

Нам сказали, что в Ополье, в полевом госпитале, лежит тяжелораненый немец. Его еще не отвезли в тыл, но вот-вот отвезут, и что если мы хотим с ним поговорить, то медлить не стоит.

Живой немец! Ну как упустить такой случай? Мы уселись в свой лимузинчик, Бойко нажал на стартер — и снова замелькали противотанковые рвы, разжеванные танками дороги, разбитая станция Веймарн...

Мы сочли, что нам повезло: немец еще был в Ополье. Он лежал в палатке. Но оказался совсем не немцем, а бельгийцем и говорил не по-немецки, а по-французски. Рана у него была тяжелая, в живот и в грудь,— осколками гранаты, брошенной прямо ему под ноги.

Одна из женщин-врачей госпиталя, еще совсем недавно работавшая в Ленинграде, в больнице, взялась переводить наши вопросы и ответы раненого. Прежде всего нам почему-то захотелось узнать, был ли у него автомат, когда он шел в бой. У нас уже прочно сложилось

некоторое представление о наступающих немцах: или летят на мощных мотоциклах с колясками, или идут цепями в атаку, предварительно хватив шнапсу для храбрости, или таскаются по селам от двора к двору с воплями: «Матка, яйки!» — и всюду, во всех случаях у них автомат, выставленный дулом вперед. Немецкий солдат и автомат — это единый организм, машина для убийства.

Поэтому мы настойчиво на всех языках называем пленному слово «автомат». Оно на всех известных нам языках, по нашим представлениям, так и звучит: автомат. «Был ли у тебя автомат?»

Оказалось, что автомата у него не было, была винтовка, а автоматический пистолет-пулемет, о котором мы его так старательно расспрашиваем, по-немецки называется «хандмашина» — «ручная машина». Ничего себе!

Звали пленного Шарлем Кринером. Родом он был из небольшой деревушки близ Брюсселя. Молодой бельгиец так хорошо рассказывал о своей родине, что нетрудно было увидеть мысленно и эту чистенькую деревушку под черепичными крышами, и старый столярный верстак в мастерской отца, на котором отец учил сына родовому мастерству, и ту девушку, которая по вечерам прибегала к мастерской, чтобы идти потом им вместе в окрестные поля или на танцы на деревенскую площадь.

Это был простой, бесхитростный парнище. Воевать он, конечно, ни с кем не хотел. Но в Бельгию пришли немцы и на бельгийских светловолосых парней надели чужие солдатские шинели и те кованые сапожищи, которыми гитлеровцы истоптали землю не одной европейской страны. Словом, бельгийский столяр нежданно-негаданно стал немецким солдатом.

Настал и такой час, когда их всех погрузили в вагоны. Прокричал паровоз, и поезд тронулся. В последний раз вдохнул Шарль Кринер воздух своей родины — влажный запах моря, смешанный с запахом каменного угля. Тонкое колечко на пальце с двумя буквами на внутренней стороне — все, что осталось теперь у него от прежней жизни. Колечко при прощании подарила невеста, та девушка, с которой так хорошо гулялось и так радостно думалось о будущем. Она отдала за него шестнадцать марок — почти все свои сбережения.

Парень ехал куда-то, и в голове его, заполненной думами о невесте, все отчетливее вычеканивалась мысль: нет, воевать за немцев он, пожалуй, не станет. На черта ему сдалась эта война за них? Немцы уже один раз топтали Бельгию — в первую мировую войну, до сих пор матери рассказывают ребятишкам страхи о тех днях. А вот и снова, уже без всяких рассказов, видно, что это за шайка — немецкая армия. Состоять в их шайке — просто позор.

Но он был чудаком, бельгийский парень. Немцы держались на железной организации, а не на рассуждениях о добре и зле. Посылая вперед бельгийцев, позади них они выставляли своих пулеметчиков. И так Шарль Кринер шел вперед вместе с другими солдатами 36-го моторизованного батальона в составе 41-го корпуса 4-й танковой группы; бывший столяр, ныне сапер, он строил мосты, блиндажи, огневые точки.

В плен к нам он попал в тех боях, когда немцы форсировали Лугу, захватывая плацдарм на ее правом берегу. Был получен приказ навести переправу для танков. Шарль не хотел лезть под огонь советских солдат. Он попросту хотел удрать да и отсидеться от огня в кустах. Но не тут-то было. Немец ефрейтор обозвал его скотиной, пообещал всадить ему пулю в лоб, если Кринер немедленно не пойдет на переправу.

— Я не хочу воевать! — криком на крик ответил наивный бельгийский парень.— Русские мне ничего не сделали!

Он уже и не помнит, как это произошло, как вскинулась сама собою его винтовка, как хотел он выстрелить в рожу немцу, да не поспел сделать это вовремя: немец раньше его выдернул шнур из ручной гранаты. Удар взрыва и звук выстрела последовали одновременно. Ефрейтор и солдат — оба упали в нескольких шагах один от другого.

Спустя несколько часов бельгийца, то и дело впадавшего в беспамятство, перевязал кто-то из советских бойцов, один из тех, кто отбивал в тот день вражескую атаку. Врач полевого госпиталя, осмотрев рваную рану в живот, приказал немедленно нести парня в операционную.

— Скажите правду: мне капут? — то и дело спрашивал Кринер у врачей. — Сделайте, пожалуйста, чтобы я жил. Прошу вас.

Его оперировала Л. И. Кац-Ерманок — опытный хирург из больницы имени Коняшина. Ему вливали глюкозу, растворы солей, делали переливания крови. Врач П. С. Василенко сказала ему однажды:

— Скоро вы станете совсем русским, Шарль. Мы уже второй раз переливаем вам русскую кровь.

— Немцы зря на вас брехали,— ответил он. — Русские — хорошие люди. Очень хорошие!

Вечером мы с Михалевым написали корреспонденцию под названием «Шарль Кринер проклинает». Мы назвали ее так потому, что к вечеру раненый заметался на постели, стал бредить, и мы, стоя возле, слышали вперемежку то: «Мама, моя милая, где же ты, где?», то: «Будь же проклят, Гитлер!»

У бельгийского парня были основания проклинать Адольфа Шикльгрубера. Как, впрочем, и у наших раненых, которые лежали на койках вокруг него, как у врачей, дни и ночи несших свою вахту,— у врачей ленинградских больниц и поликлиник, ставших вдруг военными врачами, как у всех у нас, оторванных от своих дел этим Адольфом, который решил повторить Наполеона, тоже намеревавшегося покорить мир.

6

Корреспонденцию о Шарле Кринере мы писали в оперативном блиндаже роты ВНОС. Часть ее сложного хозяйства располагалась в почтовом дворе времен минувших, а часть — вот здесь, в блиндаже, оборудованном в некотором отдалении от каменных строений двора и тщательно замаскированном.

Привел нас сюда интересный человек, боевой вносовец, политрук Вагурин. Он нам сказал, когда мы встретились:

— Вот люди читают в газетах строки Совинформбюро: «Такого-то числа вражеские самолеты трижды пытались прорваться к Ленинграду, но все попытки фашистов были отбиты...» А кто знает, что скрывается за этими короткими строчками? Вот бы рассказали вы о делах наших вносовцев, здорово бы было! Есть что рассказать.

И мы, переписав в трех экземплярах свою корреспонденцию о Шарле Кринере, остаемся в блиндаже вносов-

цев. Несколько фонарей «летучая мышь» освещают сколоченные из свежих досок длинные столы, раскрытые на них журналы донесений и множество аппаратов полевого телефона, которые стоят на столах, висят на подпирающих бревенчатую кровлю столбах. Возле каждого аппарата — дежурный. Странно, но в этом подземном сыроватом полумраке люди видят все, что происходит за облаками. В самых разных точках пространства между линией фронта и Ленинградом, часто под самым носом у немцев, вносовцами расставлены посты круглосуточного наблюдения. Это воздушные пограничники.

Вагурин рассказывает:

— Нередко получается так, как было с наблюдателями одного поста — с Лукашевым и Игнатьевым. Они несли службу в деревне, на специальной вышке. А деревню стали обходить немцы. Захватив всю аппаратуру, ребята спустились на землю. Отступать они, конечно, не собирались. Но понимали, что на вышке их быстро обнаружат. Они устроились в подходящем местечке на земле и продолжали свою работу. Двое суток без сна и почти без харчей доносили они сюда, на наш КП, не только о том, что делалось в воздухе, но и что было на земле: о движении вражеской пехоты, о фашистских танках, об артиллерии. Их сообщения помогли нашей авиации и нашим артиллеристам дать несколько основательных ударов по гансам.

Вагурина позвали к телефону, он отдал очередное распоряжение, вернулся к нам.

— Ребята наши — истинные герои,— продолжал он рассказ. — Вот вы проезжали станцию Веймарн. Видели, поди, путаницу рваных проводов. Это линии связи железнодорожников, гражданских связистов. А наши линии тоже ведь там проходят. Но они целехоньки. Достигается это нелегко. Пытаясь прорваться к Ленинграду, противник первым делом старается разрушить нашу связь. Возле Веймарна «юнкерсы» на днях разбомбили все, в том числе и наши линии связи. Несколько наблюдательных постов оказались отрезанными от КП. К месту порывов пошли наши красноармейцы, приступили к исправлению поврежденного. Когда все было почти приведено в порядок, фашистские бомбардировщики налетели снова, и снова бомбежка, вой, грохот бомб. Но вносовец есть вносовец. Связисты Балашов, Альмурзиев и Михайлов под свист

осколков, в огне взрывов, на глазах воздушного врага опять полезли на столбы — и на командном пункте, почти не прерываясь, по-прежнему звучали позывные наблюдательных постов.

Вагурин рассказывал это с гордостью за своих бойцов. Но не в подземной тиши блиндажа, как можно было бы предположить, читая эти строки, совсем нет. В блиндаже стоял страшнейший галдеж, как бывает в ребячьей бане. Почти каждый дежурный возле аппаратов что-то выкрикивал, повторяя, как мы догадались, то, что им сообщали посты.

— Правильно,— подтвердил Вагурин. — Это мы принимаем донесения с наблюдательных постов о движении в воздухе самолетов противника и эти данные немедленно передаем на зенитные батареи и на полевые аэродромы, летчикам-истребителям. Не так давно на Ленинград в сопровождении шести «мессершмиттов» шло тринадцать Ю-88. Мы сообщили об этом. С ближайшего аэродрома поднялись истребители. Первым принял бой лейтенант Ткаченко. В небе закипело. Ткаченко лупил из пулеметов то одного, то другого стервятника, сломал их строй, сбил с курса. Они бросились, конечно, на него. Под ливнем пуль Ткаченко делал свое дело. У его машины были уже пробиты и бак и даже кабина. Но он не отступил. Истребителям, поднявшимся на помощь товарищу, оставалось только бить вслед повернувшему назад противнику... Ну это ладно! — сказал Вагурин бодро. — Может быть, слетаем теперь на одну зенитную батарейку? Недалеко тут. Несколько километров.

Мы поехали мягкими, мирными проселочными дорогами, меж нивами перезревающих хлебов, меж цветущими травами. День был тихий, небо в легкой дымке, с тающими облачками.

Батарея артиллерийского командира Привалова расположилась почти у самой линии фронта. У нее нелегкая жизнь: она первой встречает самолеты противника на этом направлении

Мы беседовали с командиром, с бойцами возле орудий, врытых в землю. Рассказывали нам и о родных краях, и о доме, о родителях, о детях и о боевых случаях последнего времени. Пообедали вместе с ними на батарее. Вечерело. Дымка на западе подкрасилась уходящим к земле солнцем. Смотреть туда стало трудно: слепило.

— Вот такая обстановочка всегда опасна,— сказал Привалов. — Чертовски затрудняет наблюдение за воздухом.

И едва он сказал это, как зазуммерил полевой телефон и с КП вносовцев, где мы только что были сегодня, передали сообщение о самолетах противника.

— К бою! — скомандовал Привалов.

Напрягая слух и зрение, бойцы окаменели возле приборов. Через несколько минут за сгрудившимися облаками послышался гул моторов. Заработали дальномерщики, определяя высоту; приборное отделение установило скорость идущих самолетов. Орудия стали бить залп за залпом одновременно, по звуку ревуна.

Где-то по соседству ударила другая наша батарея. В небо поднялась мощная огневая завеса. Немцы рассыпали строй и стали уходить.

Но тут произошло неожиданное. Батарея Привалова располагалась на обрыве древнего плато. Под обрывом шла железная дорога к Ленинграду, недалеко была станция Котлы. И вот над самым полотном дороги мелькнула пестрая тень: шел закамуфлированный, пятнистый двухмоторный самолет. Он шел так низко, что со своей возвышенности мы видели его горбатую спину.

Привалов и Вагурин зачертыхались, заволновались, выхватили из кобур свои ТТ. Мы с Михалевым тоже выхватили свои новенькие пистолеты. Это был смешной человеческий порыв, и больше ничего.

— «Дорнье-двести пятнадцать!» — сказал Вагурин, когда самолет уже скрылся в щели леса, ведущей к Котлам. — На такой малой высоте его из орудия не взять. Из винтовок бы, из пулеметов надо было...

А на станции Котлы уже грохали разрывы. «Дорнье» сбрасывал бомбы.

Тем временем из-за облаков вынырнули несколько «мессершмиттов» и пошли в пике на батарею. Орудия вновь заработали. «Мессершмитты» били из пулеметов, бросали мелкие бомбы. Но все это продлилось какие-то короткие, считанные не минуты даже, а секунды. И снова повсюду тишина, тихое небо, уходящее солнце. Травы вокруг и хлеба.

Вот так это получается, прежде чем в газетах ленинградцы прочтут сообщение Совинформбюро: «Вражеские самолеты трижды пытались прорваться к Ленинграду, но все попытки фашистов были отбиты».

Черт возьми, какие случаются порой странные совпадения! Откуда-то из далекого, невозвратного прошлого, из того, что казалось уже глубокой историей, выползло вдруг нечто, о чем нелишне задуматься и сегодня.

Оно именно выползло. Выползло из-за старых, изъеденных тараканами обоев вместе с походными колоннами взъяренных, воинственных клопов.

Мы с Михалевым в Кингисеппе, на одной из окраинных, заросших травой улочек, в бревенчатом сельском домишке.

Ночь.

А вчера и позавчера было так. Из Ополья, расширяя зону своих корреспондентских действий, мы отправились к соседям ополченцев справа — в 191-ю стрелковую дивизию. Ее штаб, как нам сказали, находился в каменном двухэтажном здании на главной улице Кингисеппа, близ моста через реку Лугу.

Как всегда, для ориентировки нам нужен был оперативный отдел. Едва мы поднялись на второй этаж искомого здания, едва поздоровались с майором, возглавлявшим этот отдел, как начался ураганный обстрел всего квадрата, в котором стоял штаб дивизии. Лупили некрупными снарядами, но чертовски интенсивно и точно. Вокруг рвалось, сыпались карнизы, стены, купола соседней церкви, огонь взблескивал за разбитыми окнами, за хлопающими дверьми.

— Ну чего уж теперь,— сказал майор философски. — Надо пересидеть, переждать этот фейерверк. Все-таки мы за кирпичными стенами. От прямого удара они не спасут, а от осколков уж как-нибудь оградят.

Стрельба довольно скоро окончилась. Майор ознакомил нас с обстановкой на фронте дивизии, и мы отправились туда, где против немецких пушкарей, только что устроивших этот тарарам, стоят наши пехотинцы, артиллеристы, минометчики.

Машину пришлось оставить на опушке и вдоль просеки, отмеченной майором на нашей карте, идти дальше лесом. Лес был черный. Он казался сгоревшим. Но он не горел, а его так, до черноты, до преждевременного листопада, довела немецкая артиллерия. Листья сорваны, сбиты взрывами; стволы, ветви, земля вокруг покрыты пороховой копотью.

Кое-где попадаются оазисы живого, зеленого. В таких местах много грибов. Никто их тут не трогает, не ищет, они растут, сколько им растется, огромные, крепкие, вызывающие аппетит. Вообще в этом году в лесах вокруг Ленинграда грибов столько, сколько, как утверждают старики и старухи, не бывало с 1914 года, что, в свою очередь, дает основания уверять, будто бы изобилие грибов — это непременно к войне. В данном случае примета довольно точная. В этом полумертвом, черном лесу правильность ее не может вызвать ни малейшего сомнения.

Где-то на скрещении просек нас встретили связные подразделения, по телефону предупрежденного из штаба дивизии о нашем походе, и проводили на командный пункт батальона, который занимает оборону на этом участке.

Блиндажи командного пункта батальона — в нескольких десятках шагов от берега Луги, за которой уже немцы. Река и узкие полоски желтой травы вдоль ее берегов отделяют наш передний край от немецких позиций. За рекой мы отчетливо слышим треск мотоциклов, шум машин, какие-то стуки: что-то, видимо, строят, а может быть, и ломают.

Наш берег в жидком осинничке, который довольно хорошо просматривается с противоположного берега. Ходить здесь в полный рост нельзя: тотчас схлопочешь или пулю снайпера, или мину из ротного минометика. А мина в лесу — это почти верная смерть. Она рвется у тебя над головой, задев за ветви деревьев; осколки, как железный душ, бьют сверху по земле. Поэтому до блиндажей КП мы добираемся почти на четвереньках, по канавкам, прячась за пнями и кустиками погуще, не торопясь, осматриваясь, без суеты и лихости.

На КП нам рады. Снова и снова я убеждаюсь в том, как красноармейцы и командиры нашей армии любят печать и ее представителей. Нас угощают консервами, печеньем, чаем из термоса. Нам рассказывают обо всем, о чем бы мы ни спросили. С нами затевают разговоры о литературе, об искусстве.

Но разговоры разговорами, рассказы рассказами, а мы хотим все видеть собственными глазами. Нам рассказывают о нескольких смельчаках, вот уже более двух недель несущих круглосуточную наблюдательскую вахту на самом берегу, лицом к лицу с немцами.

Немцам ненавистна эта маленькая, затерявшаяся в береговых изгибах огневая точка. Немцы знают, что сквозь ее тщательно замаскированную узкую амбразурку за каждым их движением днем и ночью упорно следят никогда не смыкающиеся глаза. Каждое неосторожное движение немецкого солдата влечет за собой меткий выстрел нашего снайпера, каждая перегруппировка войск, каждая подозрительная возня фашистов неизбежно заканчивается точным, прицельным огнем нашей артиллерии.

Чтобы уничтожить эти незримые, вечно бодрствующие «глаза», немцы начинают бить из пулеметов, забрасывают минами весь наш берег. Взлетает в воздух земля, рушатся деревья, в пух раздираются мох и торф. Вот почему так траурно черен лес, по которому мы только что шли в батальон.

Немцы бесятся. А «глаза батальона» по-прежнему живут и бодрствуют.

Нам, конечно же, захотелось побывать в том героическом блиндажике, у тех бесстрашных наблюдателей.

— Что вы, что вы, товарищи корреспонденты! — сказали нам. — Это невозможно. Их там семеро во главе с младшим сержантом Дмитрием Дубовиком. Так вот за две с лишним недели из семерых только он, Дубовик, покидал свой НП. Первый раз, чтобы подать заявление о приеме в партию, второй раз прибыл на заседание партбюро. Пищу туда, к ним, доставляют по ночам, ползком, в ранцевых термосах.

— Ну и мы отправимся туда ночью, ползком, с теми, кто понесет термосы.

— Хорошо,— сказали нам в конце концов. — Вас все равно не удержишь. Ползите.

Но до ночи было еще далеко. И чтобы не терять времени, мы отправились на огневые позиции минометчиков, метров за двести — триста от КП батальона.

В кустах возле батальонного миномета, нацелившего свое 82-миллиметровое дуло вверх с наклоном в сторону немцев, нас встретил двадцатилетний крепыш белорус Данила Клепец. Его нам рекомендовали как отличного мастера минометного огня.

— Ну-ка, покажите, дорогой Данила,— попросили мы его,— покажите, как вы это делаете. Постреляйте из минометика, а мы вас сфотографируем — вот у товарища Михалева аппарат.

Клепец добродушно улыбнулся, застеснялся. Видим, не знает, что и ответить. Его выручил лейтенант, с которым мы пришли на огневые позиции.

— Он у нас отличный корректировщик, наблюдатель. Он дает данные на огневые. А мину-то в ствол бросить каждый сможет, товарищи корреспонденты. Вы Данилу как наблюдателя порасспросите. У него есть что рассказать.

Но и об этом краснеющий парень рассказывать стесняется. По-прежнему его выручает лейтенант. Совместно они все же кое-что нам порассказали.

В одном из недавних боев, когда еще дрались на более далеких рубежах, с Данилой был такой случай. Както под вечер он облюбовал себе местечко для НП в густой кроне высокой старой сосны. Место было хорошее. Впереди в густеющих сумерках лежало большое село, занятое немцами. Перед селом бугрилась какая-то подозрительная высотка, покрытая кустиками. Влево — тоже кустики, вправо — лес.

Клепец закрепил на сучьях телефонный аппарат с уползающим в глубь леса проводом, обломал ветви, которые мешали наблюдению; наконец, и сам привязался веревками к стволу.

Немцы, встревоженные его вечерней пристрелкой, то и дело били наугад в темноту из пулеметов. Клепец заметил, что особенно густо трассирующие пули идут с той подозрительной высотки перед деревней. По светящимся следам он определил число огневых точек противника и, когда занялось прохладное летнее утро, донес командиру:

— Вижу цель — шесть фашистских пулеметов. — И сообщил данные для наводки миномета.

В лесу за ним послышался выстрел, через его голову с воем проследовала первая мина.

— Хорошо! — Клепец был доволен. — По дистанции хорошо. Только чуть правее возьмите.

Он видел, как в кустах на высотке поднялась суета. Фашистские пулеметчики спешили переменить позицию. Мелькали их каски, мундиры с белыми погончиками, лязгали перетаскиваемые пулеметы.

Вторая и третья мины угодили в самую эту толчею.

— Беглый! — скомандовал Клепец, и десятки ревущих молний ударили по высотке. Вырванные из земли,

летели вверх кусты, обломки пулеметов, каски, мундиры...

Покончив с высоткой, Клепец огляделся. Он заметил, как из деревни к лесу, что направо, короткими перебежками пробираются двое. В том направлении, куда они держали путь, на самой опушке поблескивал от солнца какой-то, видимо металлический, предмет.

— Вижу цель! — вновь донес он командиру.

И снова стукнул позади негромкий выстрел. Над головой корректировщика пропела мина и разорвалась чуть левее цели. Клепец скорректировал. В следующую же минуту беглый огонь бросил в воздух огневую точку врага. Это был миномет — зеленая труба на распорках, замаскированная молодым ельничком.

Но настала и такая минута, когда и немцы заметили отважного корректировщика. Собственно, не его самого, а наблюдателя артиллерии, который на этой же сосне, устанавливая себе связь, неосторожно показался меж ветвями.

Противник тотчас открыл минометный огонь. Первая мина рванула метрах в пятнадцати от сосны. Осколки, визгнув, рассекли воздух вокруг. Вторая перелетела. Третья ударила вправо. Четвертая — снова недолет.

Клепец видел место, откуда по нему били, и решил перенести огонь своих минометов туда. Но сколько ни вызывал он командный пункт, аппарат упорно молчал. А медлить было нельзя. Он слез с сосны, чтобы как-то оповестить своих о том, что связь нарушена. Тут снова завыла мина. Клепец едва успел заползти под замаскированный в соседних кустах танк, как громыхнул разрыв. Осколки брякнули о броню машины.

Потом он, как бы оправдываясь, говорил танкистам:

— Если бы не порвало связь, ни за что бы не слез.

— Не сочиняй,— остановили его. — Посмотри-ка вон туда...

Клепец взглянул вверх. Сосна, на которой он только что сидел, была словно подстрижена. Обрубленные осколками ветви печально свисали.

— Да и это откуда у тебя взялось? — снова указали ему.

Футляр бинокля был пробит. Острый кусок рваного металла врезался в крышку.

— Откуда? Бес его знает! — удивился Клепец. И он

отправился вдоль опушки выбирать себе новый пункт для наблюдения.

Остановил его связной, который доложил, что командир прислал смену. Лишь тогда боевой корректировщик сообразил, что уже вечер, что прошли сутки, что целых двадцать четыре часа провел он на дереве, корректируя огонь минометов.

— Вот об этом и напишите,— сказал нам лейтенант, когда мы выслушали их совместный рассказ о том, как Клепец сидел на сосне. — Вот это его настоящая работа.

Но нам все же очень хотелось сфотографировать минометчика с миной в руках, на огневой позиции: мы уже насмотрелись подобных снимков в газетах.

— Ну что же! — Лейтенант вздохнул не без тяжести, переговорил с кем-то по телефону вполголоса. И Клепец перед объективом нашего аппарата опустил в ствол миномета одну за другой три мины.

За рекой ударили три разрыва.

— А теперь тикать! — сказал Клепец.

Минометчики подхватили миномет с тяжелой плитой, ящики с минами, и мы все вместе припустились быстрым шагом подальше от этого места. И то было благо, потому что на прежних огневых буквально через три минуты после последнего нашего выстрела разорвалось не менее десятка вражеских мин.

Едва стемнело, мы, как было условлено, отправились в блиндаж к Дубовику. Долго и медленно ползли по закопченной земле вслед за двумя красноармейцами, которые на спине тащили три ранцевых термоса с горячей пищей, а в руках держали еще и брезентовые рюкзаки с хлебом и сахаром. Потом ползли канавкой. Не раз, когда немцы освещали реку ракетами, замирали, будто камни на оголенном берегу. В конце концов втиснулись в довольно-таки тесное укрытие, сооруженное из бревен и железнодорожных рельсов, как бы вросшее в берег среди общипанных кустиков ракиты и пучков сухой травы. Это был дзот. С амбразурой, с пулеметом. Но в ту минуту, когда мы пришли, амбразура была закрыта фанерой и плащ-палаткой и в дзоте горел свет керосиновой коптилки.

Нам, конечно, и здесь обрадовались, но просили говорить как можно тише, почти шепотом.

Красноармейцы ужинали; одновременно это был и их обед, возможно, что еще и за вчерашний день. А мы

осматривались. Узкие — в два яруса — нары с набросанным сеном, два ручных пулемета: один прислонен к стене, другой установлен возле амбразуры. Ящики с патронами, ведро для воды. Телефонный аппарат. Шинели, каски. Винтовки, автоматы. Люди живут так третью неделю, выбираясь подышать воздухом лишь по ночам. Немец напротив — глаз в глаз. Вот будут опорожнены котелки, погасят свет и отзанавесят амбразуру — мы сами увидим, как близок тот берег.

Тем временем выслушиваем рассказы Дубовика и его друзей. Однажды Дубовик заметил усилившееся движение на том берегу. Немцы что-то строили на возвышенности: видимо, наблюдательный пункт для корректировки огня пушек и минометов. Место они выбрали удобное: с такого места отлично будут видны наши позиции. Дубовик открыл огонь из пулемета. Он бил и бил по строителям, пока те не отказались от своей затеи.

Затем как-то ночью немцы надумали установить миномет прямо против блиндажа наших наблюдателей. Дубовик и на этот раз взялся за пулемет. Точности стрельбы мешала темнота. Необходимо было вмешательство артиллерии, а телефонной связи дзот еще не имел: это были первые дни его жизни.

— Вот что, — сказал Дубовик своим товарищам, — заряжай диск трассирующими.

И тогда сквозь амбразуру хлынул поток светящихся пуль — через реку протянулась огненная нить. Прошло несколько минут, и в том месте, где эта нить угасала, блеснул разрыв снаряда. За ним — другой, третий...

Артиллеристы правильно поняли, что означала стрельба Дубовика трассирующими.

Но светящийся след помог и немцам обнаружить блиндаж семерых смельчаков. Изо дня в день фашисты стали долбить его снарядами и минами. Жизнь стала невыносимой. Но не прекратилась. Дзот Дубовик строил сам, и строил по-хозяйски. Здесь было не столько дерева, сколько железа и бетона. Кроме рельсов с соседней узкоколейки, бойцы натаскали еще и железобетонных столбиков, какие ставятся на крутых поворотах шоссейных дорог. Из всего этого получились такие перекрытия и так надежно обведенная амбразура, что навесный огонь дзоту был не страшен — даже крупные снаряды рвались, не причиняя ему вреда,

Немцы не успокаивались. Во что бы то ни стало хотели они уничтожить «глаза батальона». В одну из очередных ночей они так установили миномет и станковый пулемет, что ход сообщения к дзоту Дубовика попадал под сплошной огонь. А днем чуть ли не к самому берегу вдруг подкатила машина с прицепленной противотанковой пушкой и зарядным ящиком.

Дубовик по обыкновению открыл пулеметный огонь. Машина немедленно умчалась. Пушку немцы тоже успели спрятать в кустах. А ящик с боеприпасами так и остался на берегу. Дубовик никого не подпускал к нему своим верным пулеметом. Оставшись без зарядов, орудие промолчало весь день.

Ночью немцы все-таки оттащили и заряды. С рассветом, приблизившись метров на полтораста, они стали бить из пушки прямо по амбразуре дзота. Пулемет же и миномет ударили по ходам сообщения, не давая бойцам Дубовика отойти.

Те отходить и не думали. Ослепленные разрывами, оглушенные, семеро друзей в течение часа выдерживали ураганный прицельный огонь. Амбразура была разбита, дзот искалечен. Немцы торжествовали: проклятым «глазам» конец! Капут!

Наступившей ночью немецкие солдаты переплыли реку на резиновых лодках, намереваясь произвести глубокую разведку. Но едва они достигли берега, как были встречены точным огнем пулеметов и автоматов. Что за черт! Пришлось удирать.

Днем к немецким позициям подвезли боеприпасы на нескольких машинах. Через считанные минуты по машинам уже ударила наша артиллерия. Снаряды, будто их полет направляла невидимая рука, ложились так верно, что в конце концов боеприпасы были взорваны.

Полет наших снарядов и в самом деле направляла невидимая рука. Огонь артиллерии корректировал Дмитрий Дубовик. Семеро храбрецов со своим боевым командиром перебрались из разбитого дзота в запасной, предусмотрительно выстроенный по соседству,— в тот самый, где мы сидели этой ночью,— и замаскированный еще более тщательно. Теперь они сами не стреляют, чтобы не обнаружить себя. У них уже есть телефон. «Глаза батальона» стали еще более зоркими и настороженными.

С ужином было покончено. Загасили керосиновый фонарь, открыли амбразуру. Чужой черный берег лежал перед нами. Слышно было, как там тюкают топоры.

— Опять что-то строят,— сказал Дубовик шепотом.— Днем посмотрим — что. Если понадобится, дадим жару.

Совсем близко послышалась немецкая речь. Несколько отрывисто выкрикнутых слов. Один из бойцов, знающий немецкий, пояснил:

— Кричит, чтобы вели себя потише, если не хотят получить русскую пулю в зад.

Бойцы с термосами собрались в обратный путь. Надо было уходить и нам. Мы крепко пожали всем руки и вновь поползли по изрытому артиллерией, опаленному огнем берегу, по канавкам, по кустикам. А перед глазами все был этот блиндаж на берегу с его маленьким отважным гарнизоном.

Среди ночи мы попали в одну из палаток политотдела 191-й дивизии. Палатки стояли за окраиной Кингисеппа, в рощице, недалеко от берега Луги, укрытые густыми древесными кронами. Дежурный указал нам место, мы на ощупь расстелили шинели на брезентовом полу, тихо улеглись, слушали дыхание людей во мраке.

Раздался голос:

— Вы откуда, товарищи?

Мы сказали, откуда и кто мы.

— У вас там редактором Золотухин?

— Да, Золотухин,— ответили дружелюбно.

— Штучка первостатейная.

— Что вы, что вы! — заговорили мы с легким испугом: все-таки это наше начальство.— Он из университета. Ректором там был.

— Да знаю, знаю,— продолжал спокойный, какой-то увесистый голос.— Я тоже из университета. Сейчас инструктор политотдела дивизии. А тогда был аспирантом. Хорошо этого гражданина знаю. Еще хлебнете с ним горя. Сделать пакость кому-нибудь — для него высшее удовольствие.

Мы протестовали, отстаивая, так сказать, честь своего руководителя. Но в душе накапливались сомнения. Золотухин сменил недавно нашего прежнего милейшего редактора Василия Васильевича Агапова и с первых же дней не понравился многим в коллективе своей сухостью, непониманием газетного дела, требованием чинопочитания. А какое в газетном коллективе может быть чи-

нопочитание? Там почитают, если уж употреблять это словцо, не чины, не должности, а умение писать, умение добывать интересный материал и интересно о нем рассказывать на страницах газеты.

— Нет, что вы,— все же сказали мы.— Петр Сергеевич — порядочный человек. Он...

— Ну, ну... Вы не очень-то его еще знаете, даже отчество перепутали. Как-нибудь встретимся снова через полгодика, поговорим.— Бывший аспирант был неколебим в своих оценках нашего нового редактора.

В лицо мы его так и не увидели, потому что, когда проснулись утром, палатка уже была пуста.

День мы провели в частях дивизии. А к вечеру, чтобы никто не мешал нам писать, забрались вот в этот домик на окраинной улице Кингисеппа. Еще и потому для своего пристанища мы выбрали не городской центр, что уж очень яркое впечатление на нас произвел бешеный артиллерийский обстрел штаба 191-й СД.

Хозяева домика, когда мы попросились к ним на ночлег, отвели нам горницу и спальню, а сами они, оказывается, в такие теплые летние ночи спят в сарайчике на огороде. Дом все равно пустует.

Допоздна писали мы о «глазах батальона», о минометчике Клепеце, просидевшем сутки на сосне, обо всем, что увидели в последние дни. Потом улеглись — Михалев на плюшевой тахте, над которой по стене было расшпилено не менее полусотни всяческих семейных фотографий, я на металлической кровати с никелированными шишечками, утопая в пуховиках и подушках. Серафим Петрович Бойко давно установил для себя порядок — спать в машине; в дом идти он отказался и после ужина залег в нашем «козлике», загнанном на поросший густой муравой дворик.

Ночью мне приснился жуткий сон: будто бы меня схватили немцы, связали и бросили в муравейник. Муравьи так зверски жрали, мучения были столь невыносимы, что я в ужасе вскочил на постели.

Михалев почему-то тоже сидел на своей роскошной тахте.

— Слушай,— сказал он.— Тут, кажется, питомник королевских клопов. Я уже убил их тысяч пятнадцать. Но еще осталось несколько триллионов штук. Помогай.

Мы занавесили окна маскировочными шторами и зажгли свет. Да, эти триллионы были вполне реальны. По

стенам, по потолку, не говоря уже о пуховиках, среди которых я было уснул,— всюду шла клопиная беготня. Патриархи величиной с ноготь, подростки размером с хорошую головку спички, этакие с маково зернышко дитятки, и уже совсем не было числа тем, которые еле разглядывались на подушках и простынях,— почти прозрачные, двигающиеся, как тени. Все они изголодались за лето, не ведая, куда же делись их хозяева. И вот радостно приветствовали нас.

Я отодрал пласт цветастых обоев, отставший на стыке дощатой стены с круглой железной печкой. За обоями просто кишело. Но там оказалось и нечто такое, отчего можно было позабыть обо всем ином, в том числе и о клопах.

Михалев отправился досыпать в машину, к Бойко. А я сказал, что лягу на столе.

Но я не лег, а принялся отдирать обои дальше. Они были наклеены слоями — слоев десять, двенадцать. Их в свое время смазывали мучным клейстером, и эту смазку когда-то ели мыши и тараканы: вся бумага была в дырьях.

Обои переслаивались газетами. Старыми, рыжими газетами. «Красной газетой», «Крестьянской правдой», еще дальше в слоях шла «Петроградская правда», а за ней замелькали неведомые мне газетки гражданской войны. На их обрывках я прочитал какие-то хвалебные слова о «батьке» Булак-Балаховиче, вступившем в Псков, о выпуске новых денег «правительством» северо-западных областей России с подписью генерала Юденича; попалась даже листовка, сохранившаяся от мышей и тараканов, строки которой я переписал в свой корреспондентский блокнот.

Этот домик в городе, который носит имя Виктора Кингисеппа, а когда-то назывался Ямбургом, многое повидал на своем веку. Не раз туда и обратно через город проходили и красные и белые, не раз на его площадях воздвигались виселицы, не раз гремели выстрелы на улицах. Вот здесь, в газетке, радостное белогвардейское сообщение о взятии белыми Ямбурга. Эх, красные теперь покатятся до самого Питера! А в Питере!.. В Питере тогда вырастут целые улицы виселиц, и «товарищам», комиссарам, советчикам, эх, не поздоровится, задрыгают ногами в воздухе.

Беляки умели это делать, вешать, терзать людей. Возле старых ямбургских казарм они перевешали на деревьях десятки бойцов революции. В знаменитой «Роще

пятисот» каждый может увидеть обелиск с мемориальной доской: «В этой роще в 1919 году белыми бандами зверски замучено свыше пятисот человек рабочих, крестьян, партизан, красноармейцев, краснофлотцев, командиров и политработников». На площади над рекой Лугой юденичевские палачи по личному приказу своего шефа повесили бывшего генерала царской армии Александра Панфамировича Николаева, который встал на сторону революции и в 1919 году командовал бригадой Красной Армии.

И еще я нашел под обоями развернутые листы, выдранные из книги «Ген. А. П. Родзянко. Воспоминания о Северо-Западной армии». Издана книга полностью, как удалось установить по листам, в Берлине в 1921 году. Но часть ее, расклеенная под обоями, перепечатана была ленинградским издательством «Красная газета» в 1927 году.

На сохранившихся страничках я прочел: «В ночь с 9-го на 10-е октября Семеновский и Островский полки 2-й дивизии, неожиданно ударив на противника, сбили его и захватили переправы через р. Лугу у дер. Сабск и Редежа. Образовался прорыв, в который был немедленно брошен вернувшийся из 2-го корпуса конный егерский полк; благополучно переправившись через реку, он двинулся на деревни Устье, Яблоницы, Литошицы и далее на станцию Волосово... Ливенская дивизия, захватив после короткого боя переправу через р. Лугу у Муравейно, двинулась на Среднее село... 2-го числа она вышла на ст. Веймарн и перешла через Балтийскую жел. дорогу. Отдельная группа, действовавшая на нашем левом фланге под прикрытием огня танков, завладела гор. Ямбургом...»

Я читал подробное описание того, как белая армия, руководимая Юденичем и автором этой книжки — генералом Родзянко, рвалась к Питеру, и удивительно, насколько же пути ее продвижения совпадали с теми путями, по которым рвались сегодня к Ленинграду армии Гитлера. И белые стукнулись о Лужский рубеж, и белые начали искать обходных путей через леса от Ляд и Осьмина, и белые жаждали вырваться к ст. Тосно и там перерезать Николаевскую железную дорогу, чтобы изолировать Петроград от страны. «12 октября,— читал я, сколупывая с хрупкой, рассыпавшейся бумаги капли и мазки окаменевшего хлебного клейстера,— на ст. Волосово вышел Талабский полк, конный егерский полк двинулся с боем, захватывая неприятельские обозы и пленных, на Хлопицы и обходом через Гамонтову, Бегуницы и Тешко-

во, на Новокемпелово и далее на север, на Копорское шоссе. Ливенцы отдельной колонной также двинулись на Кемпелово, Кипень, Ропшу и далее на Красное Село...»

Я переписал все, что было можно, испортив хозяевам две стены, с которых почти начисто содрал обои. Я хотел их как-то приспособить снова на место. Но это не удалось, они свисали со стен лохмотьями.

Зачем я это все переписывал?

Мне думалось, что немцы тоже листали всяческие мемуары русских белогвардейцев, в большинстве своем издававшиеся в Берлине, и что маршруты их наступления планировались в немецких штабах не без участия этих когда-то битых золотопогонных вояк, выступавших с оружием против своего родного народа.

Вот что вместе с клопами выползло в эту ночь из-под источенных временем обоев старого домика в бывшем городе Ямбурге: «Воспоминания о Северо-Западной армии», воспоминания о тех временах, когда нашему народу уже пришлось однажды отстаивать красный Питер от вражеских полчищ. Воспоминания были в нашу пользу; если повторяются маршруты, то история-то не повторяется. Такого стремительного марша, какой проделали однажды Юденич и Родзянко, немцам повторить не удается. Уж не та Красная Армия стоит на путях наступления немцев, что стояла перед полчищами белых генералов...

У меня в блокноте были драгоценнейшие записи. Посмотрим, насколько точно немцы будут придерживаться маршрутов, много лет назад проложенных для них белогвардейцами, докуда доползут они, обо что разобьются, на каких рубежах, откуда начнется их обратный бег. Юденич и Родзянко бежали из Царского Села, из Лигова, из-под Пулковских высот, из-под Тосно, они добрались почти до окраин Петрограда. Но что им это дало? Потерю родины, потерю чести их генеральских мундиров, о которой они так всегда пеклись. А что еще?

8

Мыза Лилиенбахи, на северо-восточной окраине Нарвы, в пригороде, который называется Янилинн. Когда-то это был не Янилинн, а Ивангород — крепость, воздвигнутая русскими на правом берегу Наровы, против древней шведской крепости.

Они и сейчас, этим жарким летним днем 1941 года, стоят, две седые стены с башнями, на крутых берегах стремительно бегущей между ними реки. Замшелые кладки из дикого серого камня. Валы, рвы, узкие бойницы.

Мыза Лилиенбахи — в прошлом чье-то имение. Старые, приземистые здания, старые липы и тополя, старые ивы. В цементных бункерах для картофеля и турнепса — штабные учреждения стрелкового полка. В сырой сумрак уходят сплетения телефонных проводов. Мы сидим на воле, на солнце, на затравелом, задернелом покрытии одного из таких бункеров, под ветвями лип. Вдали — нарвские башни и острые готические крыши.

С нами седеющий подполковник, командир полка, и бледнолицый, светловолосый, голубоглазый эстонец Па́ук, секретарь Нарвского городского комитета КП(б) Эстонии. Па́ук приехал в полк, чтобы сориентироваться в обстановке, выяснить, как и что будет с Нарвой, перейдем ли мы в наступление, отбросим ли немцев от города или немцы могут ворваться в город. Партийный актив наготове, вооружен, он хоть сейчас может уйти в подполье, начать партизанскую борьбу. Но хотелось бы знать более определенно перспективы на ближайшие дни.

Над железнодорожной станцией, над городским вокзалом, над путями, забитыми товарными составами, с грохотом рвутся в воздухе тяжелые бризантные снаряды. Желтоватые зловещие дымы долго стоят в голубом небе.

Немцы под самой Нарвой. Они уже заняли Кренгольм с его знаменитой текстильной фабрикой, которая известна под названием «Кренгольмской мануфактуры». А далеко на западе все еще держится столица Советской Эстонии — Таллин. По лесам и болотам ползут, сражаясь, сдерживая врага, истрепанные части 8-й армии. Положение путаное, неясное. Подполковник под вопрошающим взглядом руководителя нарвских большевиков только разводит руками.

А бризантные «чемоданы» все рвутся. Жалобно воют раненые паровозы. Черный дым катится от станции к реке тугими клубами. Что-то уже горит. Где-то за рекой, на подступах к Нарве, как нам известно, сражаются подразделения наших пограничников.

— Я поеду, — говорит Па́ук, пожимая всем руки. — А вас, товарищи корреспонденты, — обращается он к нам, — приглашаю к себе в горком. Мы сейчас в ратуше. Приезжайте, пожалуйста.

Он поправляет на боку кобуру с новеньким кольтом крупного калибра, садится в «эмку» и уезжает. Подполковник смотрит ему вслед и, как бы извиняясь, говорит нам:

— Ну, что поделаешь? Что ему скажешь? Война же. А на войне бывает всякое.

Через некоторое время и мы едем той дорогой, по которой укатил Па́ук. Выезжаем на шоссе возле кладбища. Остановив машину, ходим, смотрим отлично содержащиеся могилы с красивыми памятниками. Через кладбище выбираемся на берег Наровы возле железнодорожного моста. Прямо на мост, ревя, пикирует немецкий бомбардировщик Ю-87. Он кидает две бомбы, и обе рвутся в воде. Мост стоит. Заходит второй Ю-87. Снова истошный рев, снова две бомбы. И снова мост стоит. Зенитные пушки открывают шквал огня навстречу третьему «юнкерсу». Из траншей, из окопчиков на берегу бьют десятки винтовочных стволов. Эта стрельба из винтовок, из автоматов — всего лишь легонькое потрескивание в обвалах бомбового и пушечного грохота.

Третий Ю-87 так и несется до воды, не выходя из атакующего пике. Он вламывается в воду возле моста, и его дюралевые лоскутья взлетают кверху вместе с водяным взрывным столбом. Восторженное «ура» катится вдоль берега, подкидываются в воздух пилотки и фуражки. Удивительно это чувство радости, восторга, азарта, когда видишь побитого врага. То «общечеловеческое», которое пропагандируется и изображается западными писателями, летописцами первой мировой войны, в таких случаях перестает действовать. Нет, в тех двух или трех летчиках, которые только что нырнули в Нарову на своем пикировщике, не хочешь и не можешь видеть людей, человеков. Не хочешь думать, что у них есть родители, жены, дети... На днях в одной из частей мы с Михалевым рассматривали немецкий журнал для солдат, красочный, весь в картинках, который называется «Сигнал». Четыре страницы в нем, с цветными фотографиями, посвящены были «жизни и деятельности» доктора Гиммлера. Да-да, гестаповец Гиммлер, палач, убийца, истязатель, тюремщик, — представьте себе, доктор! Доктор чуть ли не искусствоведческих наук. Среди десятков картинок о нем была и такая: «доктор» изображен за своим любимым, тихим, домашним занятием. Он подклеивает отбитые ручки и ножки старинным фарфоровым фигуркам. Я смотрел на этого

благообразного «доктора», окруженного добропорядочной немецкой семьей, воспитанной в духе традиционных трех «К» — кюхе, киндер, кирхе, — но видел горы голов, отрубленных по приказу этого «искусствоведа», переломанные руки и ноги, моря пролитой им человеческой крови.

Нет, мы против того «общечеловеческого», которое ослабляет бдительность, приводит к тому, что верх берут негодяи, отчего в конце концов страдают люди, много людей, целые народы. Пока есть классы, пропаганда «общечеловеческого», как хотят его представить на Западе, нужна классу эксплуататоров для размягчения воли тех, кого они эксплуатируют или кого хотят поглотить, уничтожить.

Те, на только что сбитом Ю-87, были не люди. Они были нашими врагами. И мы радуемся их гибели. Жестоко, но верно древнее: «Труп врага хорошо пахнет».

Видя, как булькнул в воду один из их стаи, остальные немецкие самолеты — их было десятка полтора — рассыпались веером и повернули на свой Запад.

Мы возвратились к машине, не спеша объехали чистые улочки Янилинна, зашли в две-три эстонские лавочки, хозяева которых — каждый для своих постоянных покупателей — содержит их как крохотные универмаги, торгуя всем необходимым в повседневной жизни — от свежей французской булочки, совсем теплой, мягкой, до запасных ламп к радиоприемникам и принадлежностей для рыбной ловли; купили по огромному тюбику зубной пасты «Хлородонт» и отправились через мост в Нарву мимо нависших над городом хмурых крепостей.

Город Нарва — точно музей средневековой архитектуры. Строгие, тщательно сохраненные в своей первозданности дома далеких суровых эпох. Все подлинное, не испорченное модернизацией или стилизацией — кровли, карнизы, окна, портики. Узкие кривые улицы. Но чистейшие, без единой мусоринки, без пылинки. Многочисленные кафе, рестораны, харчевни пусты. Официанты смотрят без дела на улицу сквозь хорошо протертые стекла витрин и окон. А в нескольких километрах отсюда — враг. Враг кровожадный, безжалостный. Над вокзалом только-только умолкли разрывы снарядов. «Как тут, что? — думаешь. — Есть, наверное, и такие, которые ждут немцев, ждут падения Советской власти. Вытаскивают из подполья

винтовки выпуска 1916 года, старые царские наганы. Многотысячную эмиграцию выбросили за Чудское озеро и за Нарову волны революции; сто пятьдесят тысяч насчитывала ушедшая в Эстонию армия Юденича. За двадцать с лишним лет мельница жизни основательно перемолола эти толпы. Но немало, наверно, и осталось?»

Хотелось бы заглянуть в души, в мысли и этих седоватых официантов, и этих прохожих в заломленных синих фуражках с лакированными козырьками...

В ратуше мы нашли тех, в чьи души можно было не заглядывать. Их души и так были открыты. В большом зале, под темными средневековыми сводами, прямо на полу раскинуто несколько десятков матрацев. Всюду домашний скарб, одежда, винтовки, диски для автоматов. На казарменном положении весь горком и многие из партийного актива.

Нас встретил Па́ук.

— Хочу вам показать, — сказал он, — наши правила подпольного бойца. Мы набросали несколько пунктов. Мы поинтересовались старыми уставами, даже и теми, которые были в гражданскую войну. Нашли кое-что в архивах.

Он стал читать нам из правил «Принятых в Красную Гвардию», составленных в 1918 году:

«1. Все за одного, один за всех!
2. Будь на страже революции...»

И так подряд двенадцать пунктов.

— Многое, конечно, устарело. Мы думаем, надо начать вот с чего...

Удар тяжелого снаряда перед входом в ратушу прервал Па́ука. Посыпались стекла, кто-то страшно закричал.

Мы все бросились на крик. Второй удар сотряс здание с другой стороны. Запах взрывчатки вместе с дымом пронесся по комнатам и коридорам ратуши.

Мужчины с такими же кольтами в кобурах, как и у секретаря горкома, светловолосые женщины в брюках, в курточках, перетянутых ремнями, куда-то уходили группами.

— Пора действовать, — сказал Па́ук. — Я рад, что вы побывали у нас. Это похоже на то, как было в России когда-то?

Он повел рукой вокруг, и мы вновь увидели непривычную военную обстановку в горкоме партии Нарвы. Не так ли, подумалось, было в те времена, когда кто-то написал

ныне знаменитые слова на дверях: «Райком закрыт, все ушли на фронт»?

— Не знаю, — добавил Па́ук, — что ждет нас завтра, но сегодня мы уходим на фронт, будем сражаться рядом с Красной Армией.

Фронт ревел, когда мы возвращались в штаб 191-й дивизии. По всем дорогам хлестала снарядами разных калибров немецкая артиллерия. Наша била в ответ. Загорались, дымили деревни. На бреющих высотах проносились, стуча пулеметами, «мессершмитты». Шла война.

Возле деревни Дубровка поперек дороги стояла легковая машина иностранной марки светло-песочного цвета. Ее прошило пулеметными очередями с самолета. Вокруг машины толпилось человек двадцать с остановившихся на обочинах грузовиков и автофургонов. Мы тоже вышли из нашего «козлика».

В светло-песочной машине было двое мертвых в пограничных зеленых фуражках: шофер, завалившийся за рулем, и на заднем сиденье — молодой капитан. В крови были их выцветшие бумажные гимнастерки. Кровь капала на горячий асфальт сквозь щель из-под автомобильной дверцы. Светился зеленый глазок радиоприемника, и что-то бесстрастное, с длинными раскатистыми «р» говорил, как мы поняли — по-фински, — диктор из Хельсинки.

— Какого черта! — рявкнул вдруг взбешенный подполковник, выскакивая из подкатившей, обтянутой маскировочной сетью «эмки». — Жить надоело? По местам, и чтоб тут ни одной машины не было!.. Через минуту стрелять буду! — Он отогнул рукав гимнастерки и, глядя на часы, стал расстегивать кобуру.

Шоссе опустело. Отъехав с полкилометра, мы остановились. Энергичный подполковник с помощью не то веревок, не то троса пытался взять светло-песочный автомобильчик на буксир *.

---

* После опубликования этой главы в журнале «Октябрь» я получил письмо от москвича, полковника запаса Василия Ивановича Новикова: «У вас есть эпизод с легковой машиной. Действительно, я был капитаном пограничных войск, ездил на трофейном «опель-кадете». Я ехал тогда по дороге Нарва — Кингисепп, и два «мессершмитта» сделали над нами несколько заходов. Когда они удалились, шофер Ершов был мертв, а я ранен в голову; в машине оказалось более ста пробоин».

Ночь на 8 августа была претемнейшая, без луны, и небывало теплая для сырых и мглистых ленинградских мест. Мы ночевали в Ополье, среди могил в церковной ограде. Завернулись в шинели и спали на сухой, теплой земле. Под боком у меня лежал карабин, у Михалева — трехлинейка. В карманах — гранаты, под головами — полевые сумки, набитые блокнотами, полотенцами, мылом и бритвенными принадлежностями.

Такая повышенная вооруженность и боевая сверхготовность объяснялись тем, что политрук Вагурин из роты ВНОС рассказал нам об очень подозрительном поведении немцев. Посты наблюдения уже двое суток сообщают о шуме моторов за линией фронта, о передвижении войск, о том, что кое-где немцы разминировали проходы в минных полях. Не подбрасывают ли силенок и не готовятся ли к новому наступлению?.. Если они рванут тут ночью от Ивановского да от Поречья на Ополье, то есть к дороге на Ленинград, то мы, развались только на пуховиках, не успеем даже одеться.

Проснулись мы одновременно от дьявольских толчков в бока и от грохота, подобного грохоту начавшего действовать вулкана. Так, во всяком случае, мы представляли по литературе начало последнего дня Помпеи.

— Это что же такое? — спросили мы друг друга, нащупывая оружие.

В это время ослепительно, светом зарева, вспыхнуло там, где проходила железнодорожная ветка Котлы — Веймарн, затем земля вновь ударила нас снизу злым трясучим толчком, и уже вслед за этим еще раз грохнуло вулканическим извержением. Железнодорожная пушка, решили мы, слыша высоко над головами шелестящий полет тяжелого снаряда. Через нас наши артиллеристы из района Керстова или Кикериц методично, неторопливо били именно в том направлении — по Ивановскому и Поречью.

Спустя некоторое время немцы стали отвечать, отыскивая наше железнодорожное орудие. Но оно, очевидно, уже ушло со своего места. Оно молчало. На нашей стороне только лаяли тревожно собаки да перекликались перед утром неутомимые петухи.

Утром начался бой, началось немецкое наступление. Сначала долго ревела их артиллерия, а затем, часов уже в десять, как стало известно вносовцам, вражеские части

несколькими клиньями двинулись именно с того проклятого плацдарма в районе Ивановского, Поречья и Б. Сабска. Фронт прорыва был широкий. Наши полковые пушки не брали броню немецких танков, мы не знали, как противостоять огнеметам, смонтированным в их башнях. Особенно губительным был вражеский минометный огонь. У немцев оказалось чертовски много минометов.

Словом, нам стало известно, что на берегах Луги с десяти утра идет жесточайший бой, и часов в одиннадцать мы уже двигались к фронту.

Мирные картины, которые красовались на этом пути дней десять — двенадцать назад, исчезли. По всем дорогам, в том числе и ухабистым, лесным, мчались санитарные машины, из ухаба в ухаб ковыляли связные броневички, тарахтели мотоциклы, катили грузовики с боеприпасами; навстречу нам потянулись местные жители, гоня коров, свиней, овец, толкая тележки со скарбом. В толпах, вывалив языки, метались перепуганные собаки. Над всем этим в небе деловито и по-хозяйски следовали куда-то шестерки и девятки немецких бомбардировщиков в сопровождении длиннофюзеляжных маневренных «мессершмиттов».

На каждом шагу мы застревали, кого-то пропуская, кого-то огибая, закупориваясь в жестоких дорожных пробках.

Мы направлялись к ополченцам, к своим друзьям, во 2-ю ДНО. Но обстановка складывалась уже так, что надежд пробиться туда хотя бы к вечеру становилось все меньше. Мы вытащили свою карту и, тщательно ее изучив, решили, что будет вернее проскочить лесными дорогами на участок, обороняемый соседями ополченцев слева — курсантами Ленинградского пехотного училища имени С. М. Кирова. В общем, ехать не на правый фланг прорыва, не к Ивановскому и Поречью, а на левый — к Б. Сабску. Может быть, в Устье, может быть, в Извоз или в Слепино.

Часам к трем дня мы добрались до деревни Яблоницы, въехав в нее через огороды, со стороны леса. Отсюда надо было держать путь на Извоз. Но это тоже было невозможно. Навстречу нам с той стороны не так чтобы очень торопливо, но могуче катила лавина отступающих войск. Повозки, грузовики, пушки, авторадиостанции... И толпы, толпы пеших. Усталых, измученных, с шальными глазами, в перевязках, в крови, в поту до такой степени, что гимнастерки от пота казались черными. Иные были даже

без оружия, без поясов, с расстегнутыми вóротами. Там, откуда они шли, все стонало от жесточайшего артиллерийского боя.

Неужели же это курсанты, кировцы, которыми в Ленинграде так всегда любовались на первомайском и октябрьском парадах?

Мы впервые видели отступление, нам было больно и страшно оттого, что возможны, оказывается, обстоятельства, когда люди так безнадежно теряют достоинство, всякий воинский вид, утрачивают все, что мы называем словом «боеспособность». И все бойцы, бойцы на дороге, красноармейцы... А где же их командиры? Неужели полегли уже на поле боя, подымая свои подразделения в контратаки против наступающего врага?

Наконец-то, оставив за домами машину, вмешавшись в толпу, мы увидели лейтенанта, с красными кубиками на петлицах. Мы спросили его:

— Кто это, неужели курсанты?

— Всякие, — ответил он. — Из разных частей.

— А где же они, где курсанты?

— Курсанты? Да, наверно, еще там. — Лейтенант махнул рукой в сторону боя. — Все полягут. — И он исчез среди бойцов.

Мы ловили то одного, то другого красноармейца. Нам на ходу коротко рассказывали о минометном огне, о танках с огнеметами, об окружении, о десантах. Немец в этих рассказах выглядел могучим, бесстрашным, непреклонным. У него не армия, а беспощадная наступательная машина.

В человеческом месиве мы натолкнулись на человека в черном кожаном пальто, на красных петлицах которого было по одному ромбику. Человек был крупный, внушительный, и все же бойцы мимо него текли не останавливаясь. Мы поприветствовали его, подняв руки к пилоткам.

— Вы кто такие? — спросил он хмуро, скользнув взглядом по кубикам Михалева и по моим красным звездам на рукавах гимнастерки.

— Военные корреспонденты «Ленинградской правды», товарищ бригадный комиссар, — бодро отрапортовали мы.

— Вот что, — сказал он еще более хмуро: наши чины его не очень обрадовали. — Кроме вас, тут командиров не вижу. Приказываю принять меры, чтобы приостановить драп. Я комиссар этого участка обороны Мельников.

Мы открыли было рты, чтобы спросить, а что же надо делать, чтобы исполнить то, о чем он говорит, но бригадный комиссар сел в ожидавшую его машину и уехал в ту сторону, где шел бой, навстречу отступавшим. Машина его отчаянно сигналила и пробивалась вперед с упорством ледокола.

Что же, мы получили приказ. Его надо было выполнять. Нам помогло то, что в Яблоницы вскоре въехал грузовик, от которого чертовски вкусно пахло свежим, теплым хлебом. Кузов его был наполнен аппетитными, только что из печки, ржаными буханками.

Народ из рассыпанных частей был голодный. Не ели, должно быть, со вчерашнего дня. Всех привлекал этот чудесный запах.

Мы спросили старшину, сидевшего рядом с шофером, куда они везут свой груз.

— А уж теперь и не знаю куда, товарищи командиры,— ответил он, вылезая из кабины.— Все с адреса сбилось. Тыл полка стоял в Брюховицах, никого там уже нету.

— Так вот, ребята, — сказали мы, — есть приказ комиссара участка обороны остановить драп и накормить бойцов. Давайте-ка ваш хлеб пустим в дело.

Старшина пытался возражать: дескать, ему влетит за это. Но мы с Михалевым влезли в кузов и стали раздавать буханки. Собралась вокруг изрядная толпа. Мы требовали, чтобы от каждой группы подходил «старшой». Красноармейцы довольно быстро сколотились в такие группы. «Старшие» появились. Через полчаса Яблоницы с их прогонами, огородами, околицами, дворами превратились в лагерь. Всюду: на земле, на траве, на обочинах канав, на штабельках бревен, на крылечках, под навесами — группы бойцов. Режут хлеб, вскрывают консервные банки.

Тут мы впервые поняли значение всякого организующего начала. Человек, а в данном случае — боец, должен непрерывно чувствовать это начало. Под бешеным ударом немцев сегодня утром такое начало кое-где порушилось: то ли убило командира, то ли связь с соседом разладилась, то ли еще что, — и люди, всего минуту назад составлявшие подразделение, рассыпались на ничем не связанные между собой единицы. А единица — она только мнит о себе много, на самом же деле она и есть всего лишь единица. Она растерялась и побежала.

Грузовик с хлебом, появившийся в трудную минуту, напомнил людям, что где-то есть штаб, есть КП, руководство, которые помнят о бойцах, заботятся о них, что вслед за хлебом руководство пришлет новые части, артиллерию, танки... Вот уже два командира (мы с Михалевым) наводят порядок. И у людей на душе легче. Они снова попали в русло организованности.

Вскоре в деревне появился взъерошенный майор. Он начал сзывать бойцов такого-то полка. Бойцы откликались. Потом подошли, подъехали еще командиры. Порядок в Яблоницах укреплялся. Мы могли покидать свой случайный пост, слагать с себя чрезвычайные полномочия.

Но в небе, довольно низко, появился «хеншель», неуклюжий и не очень поворотливый немецкий корректировщик.

— «Горбач»! — закричали десятки глоток. — Сейчас начнут давать!

И вновь все пришло в полнейшее расстройство. Люди из деревни бросились в разные стороны. А главным образом, конечно, они устремились по той дороге, которая вела к станции Молосковицы, к железнодорожному пути Кингисепп — Гатчина.

«Великая сила — хлеб, — подумали мы, вновь трясясь лесными дорогами к своему Ополью, — но далеко не все трудные вопросы жизни решаются с его помощью».

В Ополье мы прибыли уже под вечер, усталые, взволнованные; машина наша израсходовала весь бензин. Кое-как дотянули до редакции дивизионной газеты. Здесь выяснилось, что ополченцам приходится туго: немцы весь день предпринимали на их позиции одну атаку за другой. Ополченцы, правда, держатся. Село Среднее уже несколько раз переходило из рук в руки. Идут рукопашные бои, штыковые атаки и контратаки.

Нам рассказывали об этом сотрудники редакции, а мы тем временем трудились над котелками с макаронами. Подошел очеркист Давид Славентантор и взволнованно стал рассказывать о том, что на переднем крае обороны дивизии застряла группа наших товарищей — журналистов, отправившихся к ополченцам еще вчера. В этой группе были старые ленправдисты: Володя Карп, Володя Иванов — юморист и сатирик, больше известный по псевдониму Иван Муха, и еще кто-то. Они, как и Давид Славентантор, представляли теперь газету армии народного ополчения «На защиту Ленинграда». Мы знали, что машины

у них нет, что отправились они попутным транспортом, что все они вояки никудышные: половина из них в очках.

А фронт ревел с неугасающей яростью. В районе Ивановского и Поречья над лесами вставали стены черного дыма, горели сами леса. Там рвалось, гремело, вспыхивало. Надо было ехать, надо было подавать руку выручки товарищам. Мы еще, туда-сюда, могли это сделать. Но измученный лесными дорогами Бойко должен был снова садиться за руль, от которого у него и так пекло ладони, он должен был срочно раздобывать бензин и вновь пытаться пробить дорогу к позициям 2-й ДНО.

Едем, однако. Минуем Веймарн. Минуем противотанковый ров, въезжаем в Большую Пустомержу, пробираемся дальше... На дорогах, как и утром, толчея, пробки. Но мы объезжаем это все лесом. Дневная езда в Яблоницы и обратно убедила нас в том, что наш лимузинчик — «козлик» — обладает удивительной проходимостью. У него высокое прочное шасси, он маневрен, не капризен, и мы катим по вырубкам, по минным неглубоким воронкам, перебираемся через канавы — «козлик» выдерживает все.

Посреди пыльной избитой дороги уже в сумерках вдруг встречаем всю корреспондентскую бригаду. Их четверо. Во главе Володя Карп. Грязные, усталые, натерли ноги сапогами: мастеров правильной намотки портянок среди них не оказалось.

— Мы только что сменили позиции, — сказал Карп. — Вот здесь за лесом наш передний край. Комиссар дивизии Тихонов приказал нам немедленно убираться в Ополье и делать свое дело.

Солнце уже ушло. Но небо было багровым от пожаров вокруг. Машина за машиной везли раненых. И когда встряхивало на ухабах, в машинах кричали. Это был крик нестерпимой боли.

Бойко развернул «козлик», мы все втиснулись в него, почти друг на друга, и двинулись к Ополью. Возле противотанкового рва, где был насыпан переезд, в темноте возились минеры — устанавливали тяжелые фугасы.

Из рассказов, которые начались в машине, мы поняли, что ребята хлебнули в тот день кое-чего такого, которое ходит совсем рядом со смертью. Они ночевали в одном из полков дивизии. Утром их подняла на ноги артиллерийская подготовка немцев, а уже через час или два комиссар полка приказал им занимать оборону в окопчиках вокруг командного пункта, который был атакован прорвавшимися

немецкими автоматчиками. Бой вокруг длился весь день с переменным успехом, и только вот появившийся под вечер комиссар дивизии Тихонов приказал всем корреспондентам убираться восвояси.

Поскольку до Ополья пешком было бесконечно далеко, а главное, ноги у них уже не шли, то Давид Славентантор, когда мы вернулись, счел нас их спасителями и с жаром воскликнул:

— Ребята, я напишу о вас очерк в «Большевистскую печать»!

10

Четвертый день на реке Луге идут тяжелые, кровопролитные бои. Мы знаем теперь, что означает в натуре это слово — «кровопролитные», так часто встречавшееся нам в книгах о первой мировой и о гражданской войнах. Буквально это значит, что льется человеческая кровь, много крови льется на землю, пропитывает собою одежду, брезент носилок, простыни медсанбатов, километры бинтов, доски кузовов санитарных автомобилей и просто полуторок, превращенных в санитарный транспорт.

Раненые, раненые, раненые... На всех дорогах к Ленинграду, к его госпиталям — всюду раненые.

А фронт громыхает и днем и ночью. По всему горизонту на западе стеной стоят багровые зарева.

Наши отошли не только в том районе, где мы раздавали отступающим чей-то хлеб, — не только в районе Слепина и Извоза, но и в районе Среднего Села. Немцы приближаются к Веймарну, грозя отрезать Кингисепп, и к станции Молосковицы, грозя перерезать и дорогу на Гатчину.

Базируемся на Ополье. Ночуем у вносовцев, которым известны все изменения на фронте чуть ли не по часам: их посты продолжают нести свою неусыпную вахту в районе боев.

Ездим из штаба в штаб, из полка в полк, из батальона в батальон. Всюду напряженно, тяжело, не до нас. Решаются большие, серьезные судьбы. Чего?

Мы узнали, что на Кингисеппском участке обороны, кроме 2-й ДНО, 191-й СД, пехотного училища имени С. М. Кирова, есть и еще немало войск. Есть тут 90-я стрелковая дивизия, есть 4-я ДНО; сегодня ждут в Волосове высадки из эшелонов 1-й гвардейской дивизии на-

родного ополчения. Где-то в лесах расположены полки тяжелой артиллерии. Есть танковая не то бригада, не то дивизия. И еще что-то есть, что-то подходит, формируется. Командование фронта приказало во что бы то ни стало ликвидировать плацдармы немцев на Лужском правобережье.

Но... вслед за познанием, что же скрывается за словами «кровопролитные бои», к нам пришло и понимание значения тех плацдармов, какие немцы захватывают то там, то тут. Большой Сабск и Ивановское оказались не просто селами, которые мы утеряли несколько недель назад на правом берегу Луги, не только местом переправы немцев через реку, но и теми районами, где немцы поднакопили сил и вот 8 августа ударили по нашей обороне. Позволить врагу захватить плацдарм — это, мы поняли, страшно. И плацдарм, если уж он почему-либо отдан, надо вовремя отбивать. Именно вовремя, не ожидая, пока он набухнет живой силой, танками, артиллерией, минометами и пулеметами.

В очередной заезд в Кингисепп, после того как мы побывали на линии дотов 263-го артпульбата, растянувшейся по реке Луге северо-восточней Нарвы, я решил зайти в библиотеку городского Дома культуры. Тут все уже было почти брошено... Вообще весь Кингисепп выглядел совсем иначе, чем неделю — десять дней назад: учреждения эвакуировались, магазины опустели, множество жителей ушло на восток, а те, что остались в городе, сидят по домам. Странно, но кого-то из библиотеки найти удалось, и, пока Михалев пытался связаться с Ленинградом, с редакцией по телефону, я рылся на книжных полках.

Два тома Клаузевица «О войне»? Годятся! Франц Меринг «Очерки по истории войны и военного искусства»? Пойдет. Шлиффен «Канны» — тоже. Некий Кохенгаузен с его «Вождением войск» — и он в связку взятого мною в кингисеппской библиотеке. Все это для того, чтобы хоть немножко разобраться в происходящем на фронте. Пошли в мою связку и «Полевые уставы иностранных армий», в том числе германский устав, польский и японский, и еще несколько томов из так называемой «Библиотеки командира», выпускаемой Воениздатом.

Выписки из книжки генерала Родзянко, в отдельных листах обнаруженной мною под обоями в старом домишке Кингисеппа, представляли некую ценность. Они давали

пищу для раздумий. Но для раздумий скорее политического характера — о повторении истории вражеских походов против нас. Может быть, отчасти ими можно было пользоваться, чтобы предугадывать направления атак немцев против нашей обороны, — характер местности и сеть дорог мало изменились в этих местах со времен гражданской войны.

Но для того, чтобы понимать войну, надо было знать больше, чем сообщал о ней в своих воспоминаниях генерал Родзянко.

Всю пачку я погрузил в наш «козлик», пообещав работникам библиотеки вернуть взятое при первой же возможности. Но сделать это, кажется, будет не просто: уж очень грохочет вокруг города. Да и в самом городе снаряды рвутся один за другим.

Мотаясь по штабам, выясняя обстановку, собирая материал о героических делах бойцов и командиров, о боевых действиях подразделений и частей, почитываю в редкие свободные минуты собранную мною литературу. Карл фон Клаузевиц — для меня полнейшее откровение. Сколько раз читал каждый из нас эти слова: «Война есть не что иное, *как продолжение государственной политики иными средствами*», приписываемые в разных брошюрах и статьях кому угодно, но только не тому, кто их сказал, и только теперь я узнаю, что сказал их, или, точнее, написал в «Пояснении» к своему труду Карл фон Клаузевиц. Сколько раз мы слышали это имя — Клаузевиц, то произносимое иронически, то с чувством превосходства над тем, кому оно принадлежит, то с озлоблением, чуть ли не как к соратнику самого Адольфа Гитлера. Но только в эти дни понимаю его по-настоящему, убеждаюсь, сколь прогрессивен был ум Клаузевица для своего времени. Почитав Клаузевица, я втайне от Михалева потешаюсь над своими выписками из генерала Родзянко, над моим доморощенным теоретизированием о повторяемости военных событий. Клаузевиц хотя и идеалист, но он же и диалектик. То и другое он почерпнул у Гегеля. И как диалектик, он полностью отрицает возможность «вечных принципов» военного искусства. Мало того, он утверждает, что эти «вечные принципы», если их держаться, и все «неизменные правила», если их не изменять от одной войны до другой, могут стать и являются непосредственным источником жестоких поражений.

Клаузевиц помог нам понять многое, чего мы не понимали, разобраться в том, что было нам неясно: он помог нам отрешиться и от наших собственных «вечных принципов», с позиции которых мы взирали на события. Правда, некоторые командиры, к которым мы вязались с нашими познаниями, почерпнутыми из книги «О войне», отзывались о ней как о безнадежно устарелой и предупреждали нас, чтобы мы ею не увлекались.

Но нам необходима была хоть какая-либо теория, дабы разобраться в практике; тем более что теория Клаузевица казалась такой верной и нисколько еще не устаревшей. Имею в виду потребность в теории, с помощью которой можно было бы предугадать, чем же кончится в конце-то концов наше полуторамесячное отступление на всех фронтах. Наше красивое, мужественное намерение бить врага малой кровью и непременно на его территории оказалось почему-то полностью несостоятельным. Так что же будет? Чем завершится отступление? Что оно кончится рано или поздно и что победа будет все равно за нами — мы в этом, конечно, нисколько не сомневаемся. Но хочется именно с точки зрения военной науки, именно науки, доказать себе и другим, что отступление наше — всего только один из поворотов военной фортуны.

Во втором томе, в главе XXV, которая называется «Отступление внутрь страны», мы прочли у Клаузевица:

«Продвижение наступающей армии связано с потерей сил из-за самого продвижения...» «Такое ослабление наступающего по мере его продвижения развивается усиленным темпом, если противник не побежден, а отходит добровольно со своими несломленными, сохраняющими свежесть войсками, но заставляет оплачивать кровью каждую пядь земли постоянным, строго размеренным сопротивлением, так что движение наступающего вперед является непрерывным пробиванием себе дороги, а не одним лишь преследованием».

Ну что ж, говорим мы друг другу, все именно так и есть. Наши дерутся геройски, ни одну из известных нам частей сломленной не назовешь. Немец за каждый метр захваченной земли платит кровью. Значит, что же? Значит, он ослабевает. Замечательно.

«Такая борьба, — читаем мы еще, — обойдется наступающему по крайней мере так же дорого в отношении потерь людьми, как и обороняющемуся. Если последний время от времени неизбежно несет при отступлении

потери пленными, то наступающий будет нести бо́льший урон от огня, ибо ему постоянно придется сражаться в невыгодных условиях в отношении местности».

И еще читаем: «Итак, нет сомнений, что при больших пространствах и не слишком большом несоответствии сил воюющих сторон подобное отступление приведет к такому соотношению между вооруженными силами, которое сулит обороняющемуся бесконечно больше шансов на успех, чем какие он имел бы в случае, если бы решительное сражение произошло на границе. Но благодаря изменению в соотношении сил растут не только шансы на победу; одновременно с изменившимся положением сторон увеличивается и значение победы. Какая огромная разница между сражением, проигранным на собственной границе, и сражением, проигранным в глубине неприятельской страны! Более того, положение наступающего, находящегося в конце намеченного им себе пути, часто бывает таково, что даже выигранное сражение может побудить его к отступлению, ибо у него нет уже ни необходимого напора, чтобы завершить и использовать победу, ни возможности пополнить понесенные потери».

Нет, наших командиров не этому учили, не оборонительному бою с отступлением внутрь страны, мы все думали только о решительных бросках вперед, и, когда оказалось все иначе, у многих из нас земля стала уходить из-под ног...

В противовес некоторым растерянным командирам, большим и малым, мы с Михалевым, вооруженные военной теорией, которая, как нам виделось, очень точно совпадала с практикой, могли отныне уверенно и гордо смотреть вперед. Противник все равно вымотается, где-то мы дадим ему генеральное сражение, именно там, где он будет больше всего истощен, и придет такая победа, каких история войн еще и не знала: будет разбита не только немецкая армия, будет покончено с Гитлером, с германским фашизмом.

Двухтомный труд Карла фон Клаузевица, немца, который обучал наследника русского престола, служил в русской армии времен Александра I, участвовал в Бородинском сражении, стал для нас настольной книгой. Точнее, не настольной, конечно. От всяких столов мы сегодня очень далеко. Оба тома держим в машине и при каждом трудном случае принимаемся листать их страницы.

Как здорово, когда есть теория! Она не дает тебе растеряться даже в таких условиях, которые неимоверно трудны. Опа тот прожектор, с которым ты пройдешь неведомую, незнакомую дорогу, не слишком сбиваясь с пути.

О том, что свою, так восхитившую нас теорию Клаузевиц разрабатывал более ста лет назад и опирался на практику войн времен Наполеона, — об этом как-то и не помнится и не думается. Уж очень она кажется обнадеживающей, его теория.

ВОКРУГ ЛЕНИНГРАДА СТАНОВИТСЯ ТЕСНО

1

Разбудил нас бешеный удар в стену; хрустнув, раскинулись створы дверей старого почтового двора; на пол, где мы спали, льдисто брызнули стекла из окон; с потолка стало сыпаться в потемках.

Мы вскочили было на ноги, но за окном малиновым пламенем вспыхнул новый разрыв, и тугим ударом горячего воздуха нас бросило обратно на пол. В ушах застучал торопливый звон. Почтовый двор, казалось, кантуется, как ящик, с ребра на ребро, и мы в нем болтаемся, беспомощные, полуоглушенные.

Оставаться под этой сыпавшейся крышей было нельзя: вот-вот повалятся и дряхлые, изъеденные жучком балки. К тому же совершенно неизвестно, а что там, на ночной улице: может быть, это немецкие танки уже ворвались в Ополье и бьют по домам прямой наводкой? Но и выскакивать на улицу или во двор тоже невесело: снаряды гремят без перерыва; это, наверно, и есть то, что в своих газетных корреспонденциях мы называем беглым артиллерийским огнем.

Верх над всем взяло беспокойство за машину. Если случится что-либо с ней, и так достаточно побитой на лесных дорогах, — прощай наша корреспондентская оперативность. Благодаря неутомимому «козлику» положение наше неизмеримо лучше того, в котором находятся многие военные журналисты Ленинграда. Большинство

пз них, и притом подавляющее большинство, путешествуют по фронту на попутных грузовиках, теряют уйму времени, зависят от случайностей, от чьих-то капризов, а то и просто от чьей-либо дурости.

Мы застегнули воротники гимнастерок, затянули распущенные ремни (спали в готовности № 1) и ринулись во двор, где под навесом стоял «козлик». Мотор его работал, Бойко сидел за рулем.

— Завел на всякий случай, — объяснил он. — Мало ли что...

Вносовцы тоже покинули свои блиндажи и, суетясь по двору, сдирали, сматывали провода, взваливали на грузовики телефонное имущество, щелкали затворами карабинов.

— Ребята, — сказал нам комиссар Вагурин, которого мы разглядели в предрассветном сумраке, — сегодня придется, должно быть, отойти на новое место. Немец, видите, с ночи принялся лупить. Посты сообщают: бьет по всем дорогам, по местам сосредоточения наших частей. С утра рванет где-нибудь на участке Большой Пустомержи — Старых Смолеговиц. Молосковицы хочет взять. Кингисеппу тогда туго будет. А?

Он обращался к нам не то за подтверждением его мысли, не то за советом. Но что можно было ему ответить? Начитавшись Клаузевица, мы были изрядными знатоками большой стратегии; с нашими знаниями нам бы командовать как минимум фронтами. А вот тактика в пределах участка Большая Пустомержа — Старые Смолеговицы — этого мы не знали, тут мы были пас. В таком нелегком случае не знал бы, пожалуй, что делать, и сам фон Клаузевиц.

Недели две в своих разъездах по сражающимся частям, в блужданиях по лесам и глухим проселочным дорогам мы базировались на Ополье. Оно стало за это время для нас своим, родным, обжитым. Покидать его было жалко, очень жалко...

Артиллерийский огонь тем временем утих. Точнее, немцы перенесли его на соседнюю с Опольем Алексеевку и на железнодорожный разъезд Керстово. Бушует артиллерия и на линии железной дороги Кингисепп — Молосковицы. Вагурин прав: если немцы вырвутся к Молосковицам, Кингисепп окажется под угрозой окружения; а в другую сторону для них будет открыт путь на Волосово, на Гатчину, тот самый, каким здесь хаживали

когда-то белые генералы, тот путь, по которому от Нарвы до Гатчины катался пульмановский салон-вагон Юденича. Туда вагончик бежал не спеша, в нем за чашками кофе чины юденичевско-лианозовского «северо-западного правительства» составляли планы расправы с защитниками красного Питера. «Вешать, вешать, вешать!» — стучали решительно колеса. «Вешать, вешать, вешать!» — записывалось в план. Обратно вагончик несло уже куда быстрее. «Повесят, повесят, повесят!» — гремело под колесами. Поспешно сжигались бумаги с директивами «вешать, вешать, вешать», заметались следы, будто бы ничего и не было; но, стараясь перевалить свое на других, удравшие за рубежи вояки-вешатели в бесчисленных «мемуарах» и «воспоминаниях» со временем многое выболтали.

Как-то будет на этот раз? Неужели вновь станут кататься по нашим пригородным дорогам пульмановские вагоны с вешателями?

Скажу честно, тревожно было в то утро на сердце. Не съездить ли, подумалось, напоследок в знакомые места, в знакомые части, посмотреть, что у них и как? К ополченцам, например, с которыми мы накрепко связались в минувшие недели, или в Кингисепп.

Сложили вещички, предчувствуя, что в этом почтовом дворе, со всех сторон исколупанном осколками, нам уже не ночевать, и по хорошо изъезженным нашим «козликом» дорогам отправились к Веймарну.

Через Веймарн пути дальше не было. За железной дорогой стояла сплошная стена огня. Горели деревни, горели поля пшеницы, сжатой и несжатой, горели кусты и мелколесье; в этих дымах пожарищ, в разрывах снарядов и мин, наскоро выкопав ровики вокруг, становились на открытые позиции наши артиллеристы и огрызались огнем на огонь; тяжелые танки КВ выползали из одних лесов и исчезали в других лесах — шли они все-таки туда, навстречу противнику. Все как будто бы двигалось вперед, вперед, навстречу врагу. И вместе с тем это был отход, отход, отход. Отход потому, что одни танки сгорали там, впереди; идущие к ним на помощь уже не пробивались сквозь огонь и тоже сгорали, но уже на более близких рубежах к Ленинграду. Артиллеристы, отчаянно выбрасываясь вперед, каждый раз занимали позиции все ближе, ближе к Веймарну, к Ополью.

Потоком катились навстречу нам жители пылающих деревень. В пыли сухих августовских проселков, как се-

рые тени, торопливо, вприскочку, подхлестываемые пастушьими бичами, двигались стада коров, коз, свиней. Свиньи, когда вблизи падал и рвался снаряд, неслись плотной лавой, с визгом, с воплем.

Тракторы тянули на прицепах комбайны, молотилки, сеялки, жнейки. Все это: и жнейки, и грузовики, и свиньи с коровами, и подводы — сбивались по временам в неразберимые кучи. Тогда появлялся «горбач» — «хеншель», самолет-корректировщик, той же формы, которая выпустила и красивенькие паровозы, примчавшиеся в Гатчину с Рижского взморья, и с его прилетом по этим скоплениям людей, машин и животных немцы грохали из тяжелых орудий. А то, проносясь на малых высотах один за другим, «мессершмитты» и «юнкерсы» обдавали дорогу и ее обочины свирепым пулеметным дождем.

Закидав ветками загнанную в кусты машину, мы стояли на пригорке; было тоскливо, скверно на душе. О том, чтобы найти наших друзей-ополченцев, уже и думать было нечего. Никто, кого ни спроси, ничего не знает. Сказать, что люди в панике,— не скажешь. Это отход с боем, с жестоким боем, но отход. А кого же может порадовать отход? Должно быть, и у всех вокруг, как у нас, на душе тоскливо и скверно. Это еще не паника, это не многим лучше ее, но все-таки лучше.

Приняли решение испробовать путь на Кингисепп, в 191-ю СД. Со стороны Кингисеппа — тоже поток на колесах. Пытаемся объехать его справа, через Алексеевку, разными иными дорогами и дорожками.

Возле Алексеевки сотни, а может быть, и тысячи людей, главным образом женщин. Копают. Все еще копают ров, длиннющую, многокилометровую изломистую траншею, широкую, глубокую, с крутыми краями — против танков. Лопатами, ломами, кирками долбят за миллионы лет слежавшуюся до каменной твердости рыжую глину. Обгорелые на солнце, обветренные, усталые, издерганные обстрелами и бомбежками. Лица, руки, открытые плечи шелушатся, на ладонях мозоли — у кого волдырями, у кого твердыми, почти роговыми плитками.

За Веймарном, в лесах, в полях, тоже был — может быть, ими же? — выкопан такой же гигантский ров. Помогает ли он сейчас нашим войскам сдерживать немца? Или тот неистовый, по скоплению людей сравнимый только с трудом на древних стройках у египтян да, может быть, еще у шумеров, а по чувствам тех, кто в нем занят,

несхожий ни с чем, когда-либо имевшим место в прошлом,— неужели весь тот огромный труд всего лишь на одну короткую минуту боя?

Едем дальше, вперед. Но напрасно. Кингисепп в дыму, Кингисепп эвакуируется. По всем дорогам текут из него ручьи людей. А те, во рву возле Алексеевки, копают, все копают. Что же будет с ними? Успеют ли их отвести?

Среди капустного поля стоит одинокая 76-миллиметровая полковая пушка и в предельно быстром темпе шлет снаряд за снарядом туда, вперед, в дым, в грохот. А цель? Где цель? Там, впереди, в дыму, в грохоте.

Оттуда несут на носилках раненых, их грузят и в санитарные фургоны ленинградской «скорой помощи» и в простые полуторки с фанерными или брезентовыми коробами, на которых самодельно выведены красные кресты.

На одной из дорог видим красноармейца. Идет трудным, неживым, усталым шагом; несет винтовку, несет вещевой мешок, весь казенный скарб, который был выдан ему в роте. На гимнастерке, на штанах расплывы густой, застывающей крови.

Остановили машину, всматриваемся в серое лицо, в безжизненные глаза.

— Товарищ, садитесь! Отвезем в медсанбат.

Он не поворачивает лица и все идет. Идет не останавливаясь. Ни сказать что-либо, ни тем более сесть в машину сил у него, по-видимому, нет. Вылезаем, отбираем винтовку, мешок, снимаем подсумки и ремни. Он молчит и тускло смотрит мимо. Кровь плывет у него по одежде, по лицу, по рукам, он весь в крови. Это страшно. Ни я, ни Михалев ничего подобного в жизни своей еще не видели. Кровь капает и бежит струями на сиденье, на пол машины. Человеку, наверно, лет под пятьдесят; в усах, смоченных кровью, уже седина, бледная кожа лица в морщинах.

Мы его ни о чем не расспрашиваем. Нельзя его расспрашивать. Мы ищем медсанбат или полевой перевязочный пункт.

Наконец в мелколесье, на опушке, в кустах, видим зеленые палатки. Туда надо съезжать с дороги прямо по целине. При толчках и встрясках раненый только морщится.

Сдав его сестрам и врачам, мы ждем поблизости от палаток, пока его осмотрят и сделают перевязки.

Когда полчаса спустя к нам выходит военный врач, мы бросаемся к нему:

— Ну как, жить будет?

Врач говорит:

— По законам биологии, по нашим медицинским представлениям он уже давно мертв. Почти все центры, от которых зависит жизнь человека, у него поражены. И вдобавок колоссальная потеря крови. Тридцать две осколочные раны! Вы представляете себе это?

— А кто он, не удалось выяснить?

— Кто? Боец. Красноармеец. Из Ленинграда.

Мы еще посидели, дождались, пока очередная санитарная машина забрала и увезла нашего раненого по направлению к Ленинграду. Он все еще был жив, когда носилки с ним вдвигались санитарами в кузов «скорой помощи».

— Не знаю, не знаю, — повторил врач, как нам показалось, в полной растерянности смотревший вслед машине, которая через пашню выбиралась на шоссе. — Все это за пределами моего понимания, товарищи, за пределами...

Вечерело. Мы повернули назад: вперед было уже не пробиться, да и просто незачем было туда пробиваться. Командные пункты дивизий и полков находились в движении. Ни у кого в эти дни не было ни землянок, ни блиндажей, были палатки, а то и просто открытое небо над головами.

Заехали в Ополье. Редакция дивизионной газеты ополченцев куда-то отбыла. Домик пуст, стоит нараспашку, продуваемый теплым летним ветром. Обрывки газет, бумаг, бутылки из-под изведенных за эти дни лиловых чернил, жестянки из-под консервов, забытый на стене табель-календарь... Кто-то из редакционных ребят подсчитывал дни — а может быть, все они вместе делали, — двенадцать чисел августа перечеркнуты крестиками. Значит, что же? Сегодня 13-е. 13 августа. Как много прошло и произошло с того дня, когда в горвоенкомате нам выдали пистолеты, — с 13 июля.

Вносовцы тоже покинули свой почтовый двор. Осталась небольшая команда для того, чтобы поддерживать связь с постами, пока не вступит в строй центральный узел телефонов, перенесенный на новое место. Отошли медики. Но недалеко. Далеко они не имеют права отходить. Мы нашли их в километре-двух от Ополья, в деревне

Лялицы, на той же шоссейной дороге Кингисепп — Ленинград.

В Лялицах толпилось множество наших товарищей — журналистов из разных газет, из ТАСС, из радио. За деревней в кустах работал, оказывается, передовой командный пункт Кингисеппского участка обороны. Дабы не демаскировать его, туда, через луговину, исцарапанную разрывами мин, никого из посторонних не пускали, и журналисты, не имея возможности проориентироваться в обстановке, были в полном неведении, что же происходит на фронте.

К всеобщей неожиданности, в сопровождении нескольких командиров разных званий из кустов вышел хорошо нам известный Алексей Александрович Кузнецов, секретарь Ленинградского обкома и горкома партии, член Военного совета фронта. Хмуро ответив кивком на приветствия, он прошел через нашу толпу к машине, выползшей ему навстречу из-за дома колхозного правления, сел в нее и уехал.

Можно было, конечно, остановить его, он всегда хорошо относился к журналистам, расспросить обо всем: уж ему-то положение на фронте известно; мы бы так и сделали, нам нисколько бы не помешала наша военная форма с малозначительными кубиками у одних, с пустыми петлицами у других, форма, находящаяся на невероятно далеком полюсе рангов по сравнению с его двумя ромбами, означавшими, что владеющий ими носит звание дивизионного комиссара. Остановило нас хмурое, озабоченное выражение его лица. «Да, — покачали мы головой, — дело, значит, того... Неважное дело в общем». Категорически, но довольно туманно высказался насчет нашего ближайшего будущего Саша Садовский, который после того, как в юности пережил налет махновских банд в Никополе, имеет непреодолимое тяготение к стратегии и тактике.

— Большая заварушка предстоит,— сказал он.

Час спустя, обсудив детали и детальки своего военного быта, нарассказав друг другу разных историй, представители «корреспондентского корпуса» разъехались.

Было темно, когда мы с Михалевым решили устроить привал. На окраине села Большие Корчаны мы присмотрели старый сарай, наполовину заполненный сеном; загнав в него задним ходом машину, запахнули широкие ворота и заперли их изнутри на засов; затем при свете ручных фонарей принялись за ужин из тех военторгов-

ских припасов, которые всегда хранились в машине как некий неприкосновенный запас — НЗ: колбаса, шпроты, сгущенное молоко.

Фронт был километрах в двадцати — двадцати пяти, голос его почти не долетал до нас, он казался ровным, глухим и, как дальняя гроза, не страшным гулом. Только зарева пожаров на западе кроваво плескались в щелях сарая, не давая забыть о летающей над нашими ленинградскими полями беспощадной и жадной смерти.

Раздумывая каждый свое, жевали мы колбасу и черствую булку, запивали сгущенным молоком, разведенным в холодной воде, и с удовольствием поглядывали на вороха сена, почти до крыши громоздившиеся в обоих торцовых концах сарая — справа и слева от машины. Сено было нынешнее, свежее, оно чудесно пахло летними лугами; ляжешь на такое ложе и увидишь сны не иначе как самые райские. А хотелось, очень хотелось таких снов. Минувшей ночью мы почти не спали. Да и несколько предыдущих ночей, начиная с 8 августа, со дня возобновившегося наступления немцев, тоже были тревожные, с пальбой и грохотом вокруг, с раздумьями о том, что вот-де ворвутся в Ополье немцы, захватят тебя вместе с твоей кандидатской партийной карточкой в кармане, с редакционным удостоверением и... Что последовало бы за этим «и», страшно даже представить.

Не удивительно, что, занятые такими размышлениями, мы всполошились, когда за нашей машиной, во мраке сарая, послышался шорох и кто-то кому-то что-то сказал звонким шепотом.

Новый шорох... Мы вскочили на ноги, выхватили из кобур пистолеты. «Кто здесь?» — рявкнул своим громовым басом Михалев. Я щелкнул курком ТТ. Мы приготовились принять бой.

Но из-за машины, из мрака, в свет наших фонарей вышли две маленькие — одна другой меньше — худенькие фигурки.

— Мальчики мы,— ответил один из них дрожащим голоском на вопрос Михалева.

Ему, этому старшему из братьев, едва исполнилось одиннадцать, второму не было и восьми. Родители отправили обоих на лето в деревню. Жили они у бабушки, где-то возле Кингисеппа, купались в речке, ловили пескарей, ходили за грибами. Но вот налетела война, из каких-то дальних далей пришли немцы. Бабушка — она старень-

кая — осталась в деревне. «А мы же никак не можем оставаться у фашистов: я — пионер, Витька — октябренок. За нами должны были приехать. Но папа, наверно, на фронте. Он у нас знаете какой! Он очень храбрый. А мама... Не случилось ли что-нибудь с мамой?.. У нее сердце больное».

Три дня идут они по фронтовым дорогам в Ленинград. Голодные, стесняющиеся попросить поесть, перепуганные, встревоженные за свою маму, не забывающие при всем этом, что один из них — пионер, другой — октябренок. Сандалии их истерлись о дорожный асфальт и гравий, отчаянно «просят каши»; коленки в царапинах, в ссадинах — от ползания под пулеметным огнем с «мессершмиттов».

— Ребятки, садитесь!

Серафим Петрович Бойко раскрывал ножом новые банки шпрот и сгущенки, мы с Михалевым резали булку и хлеб, кусок за куском. Изголодавшиеся парнишки набросились на еду. Маленький многого еще не понимал. А старший... На булку, на шпроты из его серьезных глаз капали и капали слезы. Он не хныкал, нет. Просто слезы сами бежали по щекам. Он, наверное, и о маме своей сейчас думал, и о папе, о бабушке, этот маленький человечек, на которого нежданно-негаданно обрушилось столько тяжких, трудных испытаний.

У мальчишек головы падали на грудь от усталости. Поев, они завалились на сено. Бойко накрыл их плащпалаткой, а поверх нее еще и одной из наших шинелей, и оба мгновенно уснули.

А мы еще все волновались по поводу этой встречи, отбившей у нас так долго предвкушаемый сон. Мы обдумывали, обговаривали корреспонденцию о минувшем дне. В ней должны были найти место и женщины, которые на поле боя продолжали копать противотанковый ров, и одинокие артиллеристы среди капусты, и вся картина большого сражения — с пожарами, ударами снарядов и мин, с дорогами, которые забиты стадами коров и свиней; должны тут быть и красноармеец, бредущий куда-то с тридцатью двумя осколками в теле, и эти вот мальчишки, Колька и Витька, будущие большевики, строители нового, прекрасного мира...

Утром, выйдя на шоссе, мы подсадили ребятишек в попутный грузовик, который шел в Ленинград, и вернулись к сараю; нас трясло от нетерпения изложить на бумаге все то, что принес нам вчерашний день.

Торфянистая земля изжевана гусеницами: следы танков ведут в глубь леса. Свернув с асфальтовой дороги, начинаем пробираться по этим рытвинам и мы в своем «козлике». Сырые торфяники сменяются вскоре сухими, прогретыми солнцем песками. На них растут уже не корявые ольхи и чахлые осины, а высокие, с раскидистыми кронами, золотые сосны. Под соснами, забросанные ветвями, в некотором отдалении один от другого, стоят танки, грозные, могучие КВ и Т-34. У танкистов обед. Гремят котелки, пахнет гороховым супом с корейкой, идут разговоры.

Нашу машину останавливают часовые. Мы выходим, показываем корреспондентские удостоверения. Нас ведут к командиру танкового батальона капитану Шпиллеру. Он тоже обедает; приглашает и нас. Это очень кстати, потому что, гоняясь из части в часть, не находя ни их штабов, ни их командных пунктов, непрерывно меняющих свое расположение, мы уже давненько ничего не ели.

Капитан, сухощавый, с веселыми искрами в глазах, расспрашивает о газетной работе — кое-кого из журналистов он уже знает: заезжали в дивизию, бывали и у него в батальоне. Мы, в свою очередь, интересуемся обстановкой на фронте. Но капитану известна только обстановка того участка, на котором действует недавно пришедшая сюда танковая дивизия Баранова.

— Знаю, что позавчера, то есть тринадцатого августа,— говорит он,— немцы все же заняли, сукины дети, в середине дня станцию Молосковицы, перерезали таким образом железную дорогу Кингисепп — Гатчина. Знаю об этом потому, что весь тот день наш батальон был в бою. Знаю еще, что вчера противник захватил и Кингисепп. Мы дрались в полную силу, мы отошли, но не разбиты, силенки еще есть. Вот мои орлы! — Командир батальона кладет руку на плечо танкиста, у которого в петлицах треугольнички старшего сержанта.— Это Грязнов, радист из моего командирского экипажа. Орденоносец. — Мы видим орден Ленина на гимнастерке крепыша с круглым, улыбчивым лицом. Капитан кивает в сторону еще троих, тоже занятых котелками, молодых танкистов. — Не знающий преград водитель Полюткин, артиллерист Яковых и заряжающий Бондаревич.

Мой, говорю, экипаж. Орлы! Порасскажите-ка, ребята, товарищам корреспондентам что-нибудь из недавних наших происшествий.

— Было, например, такое дело,— начинает веселый радист Грязнов. — Мы их, гансов этих, держали перед железной дорогой довольно долго, несколько дней. У них тоже были танки. Но и у нас, как видите, коробочки что надо. Шел бой... Одиннадцатого, что ли, а может, десятого, не соврать бы?..

— Девятого,— подсказал капитан Шпиллер. — Как раз за день до этого немцы возобновили свое наступление.

— Мы пробивались через ихнюю противотанковую артиллерию, через пехоту,— продолжает Грязнов. — Уже в их тылы вышли. Я, понятно, у рации, приказания товарища капитана передаю, принимаю донесения. Полюткин у рычагов управления. Яковых и Бондаревич возле пушки. А что еще? Больше рассказывать нечего, товарищ капитан.

— Нет, мастер художественного слова из тебя не выйдет! — Капитан Шпиллер весело смеется. — Грязнов мне жизнь спас, товарищи корреспонденты,— говорит он серьезно. — В какой-то чащобе потеряли мы ориентировку. Что делать? Остановились. Полюткина и Яковых я отправил разведать местность перед нами. А мы с Грязновым — пальцы на спусковых крючках — охраняем машину. Тихо в лесу. Пальнут где-то, пальнут — и снова тихо. Вдруг совсем рядом, за кустами, окрики по-немецки. Смотрим: три ганса. Навели на нас винтовки и показывают нам: сдавайся, мол, подымай руки. Не успел я слова сказать, Грязнов мой — раз прыжком вперед, заслонил меня собой и бац из пистолета в одного из гансов! Тот упал. Два других бросили свои винтовки и понеслись от нас, как олени. Мы палим им вдогонку, но где уж в лесу попасть! Удрали, нечистые.

«Черт возьми,— подумал я, вспоминая свой поход через полянку с земляникой на виду у того леса, из которого могли стрельнуть немецкие «кукушки» или снайперы. — Какого внутреннего труда стоило мне выйти вот так, чтобы не заслоняться от опасности плечом и грудью сопровождавшего нас лейтенанта. Велась немалая душевная борьба. А тут — одним прыжком! Просто как само собою разумеющееся: нельзя не заслонить своего командира. Нет, это не только дисциплина, не только выполне-

ние уставного требования. Это нечто иное, несравнимо более важное и высокое».

— А то еще и так было,— продолжает капитан. — Через час-полтора, уже в другом месте, я отправил Грязнова в разведку. Вернулся он и говорит: так и так, есть дорога, но при выходе на нее у немцев устроена танковая засада. «Здоровенные,— говорит,— машины». Так, Грязнов?

— Так, товарищ капитан. Вы еще спросили: «Неужели больше нашей?»

— Ну, а он мне,— Шпиллер улыбается,— преподносит приятное известие: «Пожалуй, больше». Приказал ему снова сходить туда и рассмотреть повнимательней. А чтобы веселее было, хотел и Яковых отправить с ним на пару. Только вылезли они из танка, как по нас дадут, дадут пулеметы! Да как трахнет, трахнет противотанковая пушка! Я, понятно, приказал ребятам быстренько лезть обратно. Закрыли мы люк да, не мешкая, в атаку на врага. Вы только посмотрите на это «хозяйство»...

Мы внимательно смотрим на мощное, окованное тяжелой броней детище одного из ленинградских заводов. Да, это сущая правда — именно «хозяйство», целый сухопутный крейсер.

— Полюткин на всю мощь рвет через лес,— продолжает рассказ капитан Шпиллер,— по обе стороны от нас деревья валятся веером. Позади фонтан земли из-под гусениц. Немцы бьют из пушки нам в грудь, в лобовую броню. Только звон от ударов и скрежет разрывов. Короче, пролетели мы прямо по не успевшим удрать пулеметчикам, по их пулеметам, по орудию вместе с его прислугой. Кашка осталась от всего этого. Ну, а дальше выяснилось, что Грязнов не ошибся: едва мы выскочили на дорогу, глядим — две немецкие машины, стреляя на ходу, уже катят нам навстречу. «Верно,— говорю,— здоровые штуки». А Яковых от пушки откликается: «Оно и лучше, товарищ капитан. Мишень крупнее». — «Нуну,— говорю,— ты с ними не шути. Дай-ка огонька!» И что вы думаете? С первого же выстрела он поразил один из этих танков. Как-то уж очень быстро загорелась их коробка. Дымище повалил, как если бы подожгли бочку с нефтью. Вторая машина от этого ослепла. Яковых и в нее всадил два снаряда. Дело было сделано. И неплохо. Но эти стычки дали и нам себя знать. В нас ведь тоже немало пуляли. Двигатель, слышим, пофыр-

кивает, чихает. Дым и газы лезут внутрь машины. Скорость падает. Полюткин докладывает, что с двигателем беда. Что ж, пришлось выбираться из-под огня, уходить. Кое-как доползли до опушки леса, остановились. «Машину, — приказываю, — не бросать, ребятки. Наденьте противогазы, чтобы моторным газом не отравиться, и еще посражаемся».

— «Умрем, но не сдадимся»,— так вы сказали, товарищ капитан,— уточняет Яковых.

— Ну, может быть. Хотя это слишком красиво, Яковых. Это больше подходит для газетных сообщений, а не для боя. Не обижайтесь, товарищи корреспонденты. Дружеская шутка. Кажется, насчет смерти я все-таки что-то действительно говорил. Но умирать нам не понадобилось. Наши танки окружили нас, прикрыли огнем. Подошел тягач и вытащил из боя. Когда маленько отдышались, гляжу на ребяток: с головы до ног в копоти, физиономии опухшие, воспаленные. Но чего-то ждут. С ног не валятся. Чего ждали ребята, а?

— Чтоб поскорее нашу машину отремонтировали,— откликается Полюткин. — Вот чего, товарищ капитан.

— Совершенно верно,— подводит итог рассказу командир батальона.

Мы пошли с ним к другим экипажам, беседовали с другими командирами, сержантами, бойцами.

— В целом, если вас интересуют дела нашей дивизии,— советует под конец капитан Шпиллер,— поезжайте на КП. У вас карта имеется? Давайте-ка покажу по ней, как туда добраться.

Не успели мы вытащить карту из полевой сумки, в глубине леса суматошно забрякали о железину: сигнал «Воздух!» — и тотчас на лес стали падать бомбы. Немецкие самолеты пролетали низко; хорошо было видно, что это «юнкерсы» — Ю-88. Танкисты и мы вместе с ними бросились под боевые машины. Укрытия были надежные, но страшноватые. Низко над тобой висит стальное брюхо огромного КВ, который еще больше, чем Т-34. По бокам — гусеницы на массивных роликах. Вокруг свистят осколки, трясется земля, бушуют, ломая и опрокидывая стволы сосен, тротиловые ураганы, а под танковым брюхом, как в блиндаже с семью накатами. Это, конечно, хорошо. Но уж очень оно, это брюхо, низко над тобой, чрезмерно низко. Не дает покоя мысль: а что будет, если от бомбовых сотрясений гусеницы маленько

уйдут в песок, если танк осядет и этим многотонным брюхом слегка прижмет тебя к поверхности земли? Картина рисуется до крайней степени неприятная.

Когда в лесу утихает и мы выбираемся на волю, я говорю:

— Ну нет, товарищи дорогие, больше под такую штуку не полезу. Лучше в канавке в какой-нибудь пережидать...

Шпиллер смеется:

— Я, знаете, тоже так думал поначалу. А потом убедился, что все-таки под танком спокойнее, чем в канавке. А лучше всего в самом танке. Привычно, надежно, уверенно. Ну так давайте вашу карту.

Он указывает нам дорогу на КП дивизии. Удивительное дело: танки здесь, в тылу, а КП впереди танков — чуть ли не у самых Молосковиц, только что захваченных немцами. Мы говорим об этом. Шпиллер пожимает плечами.

— Командование есть командование. Мы его действия не обсуждаем. Поезжайте, потолкуйте с ними сами. Командир — Баранов, комиссар — Кулик.

И вот мы путаемся бесчисленными проселками, ищем лесок среди полей, в котором расположился КП танкистов.

День склоняется к вечеру. Небо чистое. Солнце, хотя оно уже и невысоко, все еще и светит и греет. Бронзовые в его лучах, стоят пшеничные нивы. Они тучны — стебель к стеблю, как на подбор. Колосья пшеницы — что патроны в обоймах. Какой богатейший урожай хлебов несла земля в этом году колхозному крестьянству, всей стране!

Мы выходим из машины, дотрагиваемся до колосьев, они будто и впрямь из бронзы, так переспели,— зерно от наших прикосновений с тяжелым металлическим звоном не сыплется, а течет на землю. В полях орут миллионы воробьев, скворцов, еще каких-то чертовски крикливых пичуг. Молчаливо, со знанием дела трудятся грачи. А кроме птиц, вокруг никого, ни одной души. И деревня, которую мы только что проехали, пуста. Люди ушли, угнав скот, забрав кое-какой скарбишко. Урожай они оставили. Рука хлебороба не поднялась, видно, на то, что ею же самой и сделано. А может быть, колхозники наши рассчитывают скоро вернуться?

— Поджечь бы, Миша? — говорю я.

Мы стоим по пояс в пшенице и знаем, что ничего не подожжем, нам тоже этого жалко, а главное — мы тоже верим, что, может быть, немец сюда еще и не придет: вон же КП танкистов как еще далеко впереди от этого места; а если и сдадим несколько деревень на время, то скоро, очень скоро вернемся, и хлеб этот еще удастся спасти: на брезенты, например, можно зерно стряхивать, нагибать стебли с колосьями над брезентами — и стряхивать.

— А горело бы, наверно здорово? — рассуждаем мы, когда окончательно убеждаемся, что поджечь пшеницу не решимся. В эти дни нам приходилось видеть выгоревшие, черные, покрытые пеплом страшные поля. На километр вширь и вдаль лежал мертвый квадрат перед нами — бывшая совхозная нива; идешь по ней — зола и черные хлопья взлетают из-под ног. Ни птиц на том поле, ни бабочек, ни пчел... Мы вспоминаем это, срывая тяжелые колосья, пробуя зерно на вкус.

— Ну, а что же, оставлять такое богатство немцам?

— Зачем оставлять! Вернемся.

В тот день мы так и не нашли КП танкистов. Нашли зато КП стрелкового полка, который тоже участвовал в бою за Молосковицы. Смеркалось, пехотинцы ужинали, раскинувшись по лесу. Нас, понятно, сразу же задержали, доставили к командиру полка. Он рассказал, что действительно еще сегодня утром неподалеку отсюда стоял КП танкистов. Верно, там командиром Баранов, а комиссаром Кулик. Но на их КП напала группа немецких автоматчиков, зашедшая лесом. Командир с комиссаром организовали круговую оборону КП, дали немцам бой, рассеяли их, отбили, а теперь и сами переменили место.

— Упрямо сидели впереди своих подразделений. Отчаянный народ,— не без одобрения сказал командир пехотинцев.

Мы, как всегда, принялись беседовать с бойцами, с командирами. Мне приглянулся симпатичный молоденький красноармеец с живыми, веселыми глазами. Солнце уже зашло, и глаза его в отраженном свете зари казались такими черными, будто это были дикие лесные ягоды.

— Гильмутинов,— назвал себя паренек. —Мурат.

— Поговорите, поговорите с ним, — сказал, проходя

мимо, один из командиров. — Это был его первый бой. Действовал он молодцом.

— Мы сидели так,— заговорил Гильмутинов. — Я в своем окопчике слева, а от меня справа в своем окопчике — Семен Макушкин. Он смирный такой, Макушкин. Я все подскакиваю, мне немца не терпится увидеть: никогда в жизни не видал немца. Так? Так. А Макушкин мне: «Сиди, сиди, Мурат. Куда спешишь? Умереть всегда успеешь. Девятнадцать лет всего, дурачок, и прожил на земле. Еще и не знаешь, какая она, жизнь-то, хорошая. И девок, поди, еще не знаешь». Я сержусь: почему не знаю? Все знаю. Почему жизнь не люблю? Очень люблю. Потому и хочу немца поскорее увидеть да схватиться с ним, чтоб не мешал жить да радоваться. Так? Так. Ну, в общем, сидим, сидим в окопчиках. Через наши головы мины летят, из пулеметов стреляют. А немца все нет. Взялся я банку с мясными консервами открывать: есть захотелось. Открывалки нету, какая на войне открывалка! Подобрал осколок снаряда с острым краем и давай им жесть пробивать. Такое дело канительное, только банкой и занят, вперед не гляжу. Уже минут десять вожусь, полкрышки продырявил, и тут как ахнет, как рванет у меня из рук — куда и эта банка и тот осколок подевались. А впереди как затрещат пулеметы, да автоматы, да винтовки... Крик начался. Поднимаюсь, гляжу из окопчика: немцы! Идут. Мундиры на них темные, серые. Совсем как про них в газетах пишут. Кричат, идут и стреляют. «Макушкин! — кричу. — Макушкин, вот они!» А Семен вздремнул маленько на припеке. Поднялся тоже, протирает глаза. Такой огонь тут начался, вы даже представить не можете. Перед самым моим окопчиком снаряд ударил. Когда я отряхнулся от песка, осмотрелся: винтовка моя, что на бруствере лежала, вся искалечена, ствол у нее погнут, приклад в щепки разбит. Так? Так. А немцы уже совсем близко.

Парнишка-красноармеец принялся закуривать папиросу марки «Красная звезда», которую все называют обычно или «звездочкой», или «гвоздиками». Закурил, выпустил дым.

— Совсем, говорю, близко немцы.

Он так увлеченно, с таким жаром рассказывал, этот плотный крепыш, будто бы снова переживал свое первое сражение.

— Наши выскакивают навстречу им из укрытий, идут в штыки. Макушкин тоже там. А я как дурак: винтовки у меня нету. Чем драться? Выхватил из кармана гранату и бегу вперед. Кричу всякое. Вижу, Макушкин с тремя фашистами дерется, отбивается от них штыком и прикладом. А он здоровый, Макушкин, настоящий богатырь, как из сказки. Выше меня раза в два. Смирный такой, говорю. Как даст одному, как даст другому... Я еще и добежать не успел, а он уже всех троих уложил. Бежим вместе... Вдруг слева — пулемет: та-та-та... Я присел, слушаю, смотрю. Двое немцев возле него, возле ручного пулемета. Недалеко от них — наблюдатель с биноклем. Так? Так. Я к ним по траве, ползком, будто змей. А когда уже совсем близко было, ка-ак запущу в них гранату! А потом вторую вытащил да ка-ак вторую! Ну и прикончил всех. У одного, у наблюдателя, автомат забрал, на шею повесил; не знаю, как из него стрелять. Так? Так. Но тут ранило Макушкина. Упал Семен. Нога перебита, кровь бежит, а терпит, не кричит, не стонет. Поднял я его, чтобы из огня вытащить. Поднял и весь качаюсь: здоровенный он такой. Кое-как оттащил метров на двести, под прикрытие танкового тягача, который там стоял на всякий случай... В общем, мы победили. Немцы отошли, палили в нас издалека. Делать мне снова нечего. Давай, думаю, санитарам помогу, чтобы не оставить раненых на поле. Одного сапера перевязал и тоже к тягачу оттащил. Потом бегу опять по полю — в воронке лежит девушка-дружинница. «Боец, боец! — кричит. — Помоги, плохо мне!» Кинулся к ней в воронку. И верно, плохо. Очень плохо. Обе ноги переломлены. Поднял ее, стонет. Вместе с Макушкиным стали ей ноги бинтовать. Так? Так. Бинтов-то и не хватает. Рубашку свою нижнюю разорвал — на тряпки пустил. Нет, вижу, пропадет девушка, кровью истечет. Взял снова на руки. «Ребята,— говорю другим,— я приду за вами, потерпите. Не могу ее без помощи оставить». Так? Так. Через километр перевязочный пункт нашел, сдал сандружинницу медикам. К ребятам побежал. Хотел за Макушкина приняться: друг же мой. А он: «Нет, Муратик, я потерплю. Сапера тащи. Ему хуже». Оттащил сапера. А тогда только и Макушкина.

— Все правда,— сказал кто-то из темноты. — Мы его, Мурата, к награде представили.

Оказалось, что говорил это командир взвода, в котором служит Гильмутинов.

— Напишите о нем. Стоит, чтобы написали про такого. Настоящий комсомолец.

Я еще долго разговаривал с пареньком, расспрашивал его о доме, о родителях, о том, как и где он учился. Ничего в его ответах не было особенного. Все как у миллионов наших молодых ребят — и комсомольцев и некомсомольцев. Правда, он время от времени говорил: «Ну, а как же иначе! Я же комсомолец!» Было в этом бесконечно много общего с недавно слышанным нами: «Ну, а как же мы могли остаться: я ведь пионер, а Витька — октябренок».

— Девушку жалко,— сказал Гильмутинов на прощание. — Семен-то Макушкин, он ничего, рана небольшая, скоро, сказал, вернется. А она... Плохо у нее. Мучилась очень. Я перевязываю, а ей стыдно. Да и мне стыдно. Все же снять с нее пришлось. Очень себя ругаю: даже имени не спросил, дурак такой.

Заночевали мы у пехотинцев. Ночь была тревожная: массированными залпами не слишком уж и далеко били немецкие минометы. Получалось это так, будто бы адский гром перекатывается за лесом из края в край.

Утром полк получил приказ перейти на другое место. Вместе с ним мы вновь выбрались на шоссе Кингисепп — Ленинград. Но уже ни в Кингисепп, ни даже в Ополье и в Лялицы по нему пройти невозможно. Только в сторону Красного Села. Километр за километром дорогу захватывает враг, изо всех сил стремясь к Ленинграду.

3

Обстановка на фронте неясная, путаная. Нам остро необходима обстоятельная, квалифицированная информация. Решили, что с утра будем искать командный пункт Кингисеппского участка обороны, перенесенный из-под Лялиц на восток — то ли в лес близ Красной Мызы, то ли в район деревень Большое Жабино и Малое Жабино, или, как в полном соответствии с надписями на картах-двухкилометровках говорят военные: «Бол-Жабино», «Мал-Жабино».

В это росное утро, выйдя вместе с восходом солнца из очередного сарая, в котором мы провели очередную

ночь, умывшись, позавтракав, мы по холодку двинулись к шоссе пешочком, с таким расчетом, что, пока мы этак прогуливаемся, Бойко заведет машину и уже возле шоссе догонит нас.

Он еще не выехал из сарая, а мы уже были почти у шоссе, когда послышался густой, массированный гул авиационных моторов. Из-за леса, почему-то заходя со стороны Красного Села, так, что летели они против потока нашего отступления, над шоссе появились «юнкерсы» — за эти недели ставшие такими нам известными по очертанию их крыльев и фюзеляжей Ю-88.

Бомбардировщики шли девятками — в каждой три звена по три самолета.

Мы не стали ждать, пока они приблизятся к нам, кинулись с дороги в поле. Поле было огуречное. Жесткие осенние плети оказались прочными и цепкими, как проволока. Мы путались в них, спотыкались и, когда рев самолетов был уже над самыми нашими головами, плюхнулись на землю.

Не сразу пришло в голову, что двадцать семь своих бомбардировщиков немцы выслали в это утро, наверно, все-таки не против нас с Михалевым. Цель у них была другая. Мы убедились в том ровно через минуту, когда в Бегуницах, от которых наше огуречное поле было не далее чем в полукилометре, раздались первые бомбовые взрывы.

Лежа среди желтых, перезревших огурцов, мы видели, как самолеты, меняя строй, один за другим резко снижались и из-под их крыльев сериями выметывались черные бомбы. Из края в край тройной бомбовой бороздой вспахали эти три девятки село, дорогу и лес за селом. Земля тряслась при каждой серии взрывов, гудела, взлетали над нею вверх бревна, камни, и, когда самолеты ушли, над Бегуницами надолго повисла черная стена густого, плотного дыма.

— Нехороший признак,— сказал Михалев, подымаясь с земли. — За три дня — под двумя бомбежками. Не многовато ли?

— Но ведь не нас же бомбили. Рядом.

— Это неважно, что рядом. Все равно. Так и до нас, по теории вероятностей, дойдет.

К середине дня мы нашли наконец искомый КП. Машину пришлось оставить еще за километр до его расположения, тщательно упрятать под деревьями, чтобы она

никого не демаскировала, долго идти потом след в след за связным красноармейцем путаными лесными тропами до первого дежурного командира. Тот созванивался с кем-то по телефону. Снова мы шли — теперь уже след в след за лейтенантом. И в конце концов среди нескольких зеленых палаток, разбитых в лесу, нас подвели к насупленному плотному человеку в кожаном пальто, на петлицах которого было по одному ромбу.

— Товарищ бригадный комиссар! — громко доложил приведший нас лейтенант. — Корреспонденты «Ленинградской правды».

Мы сразу же узнали бригадного комиссара Мельникова. Это он приказал нам остановить отступление в деревне Яблоницы. Мы напомнили ему об этом, рассказали, какие предприняли тогда меры и чем все у нас закончилось.

Он только усмехнулся.

— Чем могу быть полезен? — спросил.

Начался разговор о положении дел на фронте. Положение — это мы и сами знали — было неважное. В тот день, оказывается (бригадному комиссару сообщили об этом по телефону), в газетах было опубликовано обращение к ленинградцам, которое подписали и такие уважаемые всеми руководители, как К. Е. Ворошилов и А. А. Жданов.

— «Товарищи ленинградцы!» — сказано там,— цитировал на память бригадный комиссар. — «Над нашим родным и любимым городом нависла непосредственная угроза нападения немецко-фашистских войск». — Он простуженно кашлянул и заговорил: — Да, это верно: такая опасность нависла. Мы ощущаем ее каждый день, каждый час, каждую минуту. Мы отчаянно, геройски сражаемся, нанося врагу отнюдь не пустяковые потери. Но мы отходим, понимаете ли, отходим. Мы оставляем село за селом. На участке меж Кингисеппом и Нарвой, в нижнем течении реки Луги, стойко держится 263-й артпульбат, артиллерийско-пулеметный батальон. Вот там действительно немцу пробиться не удалось. Там линия железобетонных дотов...

— Мы были в тех местах, товарищ бригадный комиссар.

— Тем лучше. Значит, знаете, какие это солидные пулеметные и пушечные огневые точки. Да, они держатся. Немец не прошел вдоль Финского залива,

уткнулся в нашу прочную оборону. Обтекает теперь эту линию с юга. Идет он главным образом вдоль дорог: железной — Кингисепп — Гатчина и этой, шоссейной, по которой и вы сюда прибыли, — Кингисепп — Красное Село. Но противник свою тактику изменил, он кое-что уже учел. Лобовых атак, которыми пользовался вначале, стал избегать, перешел на обходы. Он забрасывает десанты в тылы наших частей. Десанты, диверсионные группы, забираясь к нам в тыл, открывают отчаянный огонь из автоматов, пулеметов, легких минометов. Впечатление создается такое, будто бы наша часть или даже целое соединение отрезаны от своих, окружены, и тут начинается страх, чрезвычайно мешающий стойкой борьбе. Немцы поняли эту нашу слабину, нашу острую реакцию на опасность окружения, и стали забираться в леса, просачиваться проселочными дорогами, чего прежде боялись. Займитесь, расскажите об этом через печать нашим бойцам и командирам — о том, что смешно говорить об окружении, когда окружающих всего-то десятки, а окружаемых сотни и тысячи.

Мы заговорили о воспитании воли у людей, мужества, патриотизма.

— Патриотизм мы воспитываем хорошо,— сказал бригадный комиссар. — В массе советский человек — замечательный человек. Такого другого в мире нет. И это потому так получилось, что он идейный человек. Через меня проходят политдонесения из частей и подразделений. Полюбопытствуйте, если есть время, полистайте их. Сколько там примеров изумляющего героизма! Между прочим, на днях товарищ Ворошилов хорошо отозвался об артиллерийском подразделении старшего лейтенанта Яковлева. Съездите туда. Из 152-миллиметровых пушек-гаубиц бьют прямой наводкой. Уже разгромили несколько десятков танков таким образом. Да, патриоты мы прекрасные. Но закалки, воли не всем хватает. Молодежь рвется в бой. А в бою иные теряются. Почему? Да потому, что бой несет в себе такие неожиданности, к каким люди не готовы, никто их вовремя к этому не подготовил. Ничего не скажу, отличная у нас литература, яркая, патриотичная. В кино немало сделано. Сколько прекрасных картин вышло на экраны! Но вот, помню, смотрел я одну картину... Если не ошибаюсь, называется она «Танкисты». Там танки прямо-таки через реки летают. Лавины наших войск без всяких задержек вры-

ваются на территорию напавшего на нас агрессора — понимай: гитлеровской Германии — и раз-два сокрушают всех и вся, противник бежит, сдается на милость победителей. И книги есть такие — облегченно решаются в них сложнейшие стратегические и тактические задачи. А без крови, товарищи дорогие, войны не бывает. Надо бы не скрывать этого от нашей молодежи. На чужой территории, как ни старайся, не провоюешь, война непременно заденет и твою территорию — раньше или позже. Никогда не надо преуменьшать трудности. Вы согласны со мной? Видите, как люди теряются оттого, что Красная Армия все еще оставляет и оставляет нашу территорию.

Мы помянули Клаузевица: дескать, углубляясь на чужую для него территорию, противник неизбежно слабеет.

— Слабеет? — Бригадный комиссар усмехнулся. — Начитались, значит. Это хорошо, что военная теория вас интересует. Но не ищите, пожалуйста, в старых книгах каких-нибудь рецептов ведения победоносных войн. Замечательно сказал грузинский поэт Шота Руставели: «Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны». Не обижайтесь, это не к вам относится. Это относится к тем теоретикам, которые не слишком-то диалектически рассуждают. Немец, мол, слабеет, продвигаясь в глубь нашей территории. Коммуникации его растягиваются, насыщение фронта войсками и техникой делается жиже. Но... «но» заключается в том, что, захватывая и захватывая — и людей и материальные ресурсы,— он ставит это все себе на службу. Он, если так рассуждать, «углубился» во всю Европу. Что там? Из всей Европы только Швеция, Англия да Швейцария не попались в его руки. Не так ли? Ресурсы захваченных стран он повернул против нас. Вот вам и «слабеет»! Это во-первых. А во-вторых, моральный-то какой ущерб нам приносит отступление. Нельзя заниматься подсчетами только материального. Нет, дорогие мои, утешать себя тем, что, чем дальше немец прет на восток, тем ему, дескать, хуже, нельзя, нельзя. Рассуждения о том, что отход наш — это для нас не беда, а сущее благо,— глупость. Мы не должны тащиться на поводу у подобных гнилых теорий. Клаузевиц — человек умный, очень умный. Его труды и мне тоже более или менее знакомы, проходил в свое время, как говорится. Но для войны миров с двумя различными, противоположными, непримиримыми

идеологиями в этих трудах далеко не все верно и далеко не все нам годится. Будьте осторожны с выбором теорий для себя.

Беседа приобретала острый, необычный поворот; нам было интересно с этим человеком, прошедшим, видимо, большую жизнь. Мы спросили его: вот, мол, отступаем, отступаем... Что же, неужели мы слабее немца, неужели у нас меньше ресурсов, оружия, чем у противника? Почему нас так быстро отбросили от границ? Как об этом думает бригадный комиссар?

Он испытующе, быстро, колючим взглядом окинул нас, зашагал по лесу, и мы тоже шагали — справа и слева рядом с ним.

— На эти вопросы уже ответил товарищ Сталин,— сказал он. — Вы же читали, надо полагать.

— Это верно,— сказали мы. — Да, конечно: неожиданность. Но вот, товарищ бригадный комиссар, кое-кто из нас уже с апреля делал вырезки из газет, в которых сообщалось о накапливании немецких войск у наших границ, о высадке немцев в Финляндии, о множестве нарушений немецкими самолетами нашей воздушной границы. Тревожные сигналы были?

— Да, были,— ответил он. — Мало того: и на Семнадцатом и на Восемнадцатом съездах партии говорилось с трибуны о военной опасности со стороны фашизма. Вы правы.

— Значит, мы ожидали, что война будет.

— Ожидали... — Он помолчал. И мы молчали. Только похрустывали под нашими ногами сухие, опавшие ветки. — Возможно,— сказал он,— что там, наверху, преувеличили прочность договора с Германией. Мы же хотели выиграть время. Время! Вы понимаете это? Партия вела решительный и точный курс на укрепление экономической и оборонной мощи страны. Как мы работали, как работали в последние годы! И рабочий класс, и колхозное крестьянство, и интеллигенция... Какие могучие патриотические движения возникали и развивались в народе! Росла продуктивность сельского хозяйства, увеличивалась производительность труда в промышленности... Вы же видите, какими мы оставляем сейчас села. Какие в них магазины — и государственные и кооперативные, сколько там товаров — и промышленных и продовольственных... На фоне общего подъема уровня жизни в стране шло, конечно же, наращивание и оборонной

нашей силы. Созданы прекрасные образцы нового оружия, они пущены уже на конвейер. И танки Т-34 на смену танкам БТ, и КВ на смену пятибашенным устаревшим махинам, и более быстрые самолеты, и ракетное оружие... Над всем этим шла же и идет работа.

— Это понятно, да. Мы понимаем, что не все было готово. Но почему война оказалась неожиданной? Лично мы — и один из нас и другой — в последние годы все время ожидали какой-то подлости со стороны гитлеровской Германии.

— Неожиданность — одно,— сказал, досадливо морщась, бригадный комиссар,— а внезапность — иное. Наверху,— повторил он,— возможно, преувеличили прочность договора с Гитлером.

— Но одно же другому не помешало бы: можно было верить и в договор, а тем временем и самим накапливать войска у границ.

— Вот что, друзья мои, мы с вами этих вопросов сейчас здесь, в этом лесу, пожалуй, не решим.— Бригадный улыбнулся. — Отложим их до того дня, когда враг будет отброшен и разбит. Сейчас это главное — остановить его и разбить. А тогда... Ну, тогда будет свободное время — поразберемся, что к чему. Как считаете?

— Напоследок только, товарищ бригадный комиссар, скажите нам: как вы думаете, где остановится немец? Докуда он может вот так дойти?

— Нелегкий вопрос. Но думаю, не дальше Ленинграда, его пригородов, окраин. Там остановится. Он остановится там по двум причинам. Во-первых, мы его непрерывно бьем и изматываем. А чем ближе к Ленинграду, будем бить все сильнее и сильнее, так как фронт сокращается и возле Ленинграда уплотнится очень сильно. На каждом километре фронта окажется в несколько, во много раз больше и войск и оружия — пулеметов, минометов, пушек. Там немцу будет устроена настоящая мясорубка. Вспомните прошлое. Как бодро ходили на красный Питер Керенский и Краснов, а позже генерал Юденич. Докуда они дорывались? До Царского Села, до станции Александровская, до Пулковских высот. Верно? А вторая причина... Да, собственно, второй уже и не будет. Все решит первая. Но если все-таки говорить о чем-то еще, то знаете вы или нет, сколько надо войск, чтобы штурмовать и взять такой гигантский город, как Ленинград, в котором противнику надо будет с боем

проникать не только в каждый район, но в каждую улицу, в каждый дом, а может быть, и в каждую квартиру? У них, наверно, мороз по коже дерет, когда они это подсчитывают. И если все же они решатся на штурм, если ринутся на Питер, то только из полнейшего авантюризма, в расчете на свои приемчики запугивания — всякие обходы, заходы, десанты и окружения.

Мы расстались с бригадным комиссаром друзьями. Беседа с ним нас окрылила. Жаль, конечно, что авторитет Клаузевица в наших глазах дрогнул и пошатнулся. Зато мы знали теперь, где чертов немец будет остановлен, знали, что в Ленинград ему не войти. Мы и до этого не сомневались в том, что Ленинграда врагу не взять. Но это был ни на чем материальном не основанный протест души и сердца. А тут вновь мы обрели прочные теоретические основы. Мы никак не соглашались быть эмпириками. Только теория позволяла нам прочно держаться на зыбкой почве непрерывно, по нескольку раз в день меняющейся обстановки на фронте. Теперь, что бы ни происходило, какие бы ни грозили нам промежуточные неудачи, мы знаем, что дальше Пулкова не отойдем.

В тот же вечер мы отправились к артиллеристам, о которых говорил бригадный комиссар,— в подразделение пушек-гаубиц старшего лейтенанта Яковлева. Нам повезло: на КП участка обороны оказался один из политработников артиллерийской части, который и взялся показать нам дорогу до яковлевского дивизиона. Но когда мы приехали на то место, где, по сведениям политработника, еще нынешним утром стоял дивизион, там был полный разгром: валялись ящики из-под снарядов, какие-то тряпки, газеты, жестянки из-под консервов. Дивизион почему-то снялся с позиций.

Довольно долго пришлось блуждать по лесам. Мы натыкались на отдельных связных-артиллеристов, заезжали в медсанбаты, отыскивая их по деревянным стрелкам с красными крестами, указующими то или иное направление. Наконец кто-то пометил нам по карте, где найти одну из батарей этого неуловимого дивизиона. Мы поехали туда. Но ехали не слишком быстро: во-первых, была очень скверная дорога; во-вторых, впереди, там, куда мы ехали, явно шел ожесточенный бой: били, били, били пушки, били совсем близко и так отчаянно, как бьют в каких-то очень критических случаях.

Нас остановили на дороге, сказали, что дальше ехать нельзя, что, захватив Молосковицы, перерезав железную дорогу Кингисепп — Красное Село, немцы хотят, видимо, выйти на шоссе этого же направления и таким образом обойти, отрезать те наши войска, которые держатся в районе западнее Котлов и севернее Ополья. Артиллеристы Яковлева получили приказ встретить и отбить танки и пехоту противника. Они только что, час назад, вышли на позицию и уже ведут бой здесь, в нескольких сотнях метров.

— Слушайте,— сказал нам один из командиров,— может быть, вам уехать? И сюда могут прорваться. Через эту рощу,— в руках у него была карта,— идут немецкие танки. От их удара никто не застрахован.

Но мы решили все-таки остаться, отогнать только машину в более безопасное место и вернуться сюда, а потом дойти и до огневых позиций артиллеристов. Есть же у них там какие-нибудь противоосколочные щели.

Когда же мы минут через двадцать вернулись, оставив Бойко на одной из проселочных дорог, ведущих к основному шоссе, пушечный огонь вдруг оборвался; только трещали автоматы и пулеметы.

Вместе с одним из командиров пошли на огневые позиции. Две тяжелые пушки-гаубицы калибрами по 152 миллиметра стояли на опушке леса среди отцветшего, жесткого клевера. Перед нами — по всему полю — танки. Считаем: девять. Четыре из них горят. Дым тянется к роще за полем.

Кто-то подходит, говорит:

— Было жарко. Но все-таки отбили атаку. Здорово! Теперь наши бойцы-пехотинцы гонят ихнюю пехоту.

Начинаются взволнованные рассказы. Танков было, оказывается, десятка полтора. Они вышли вон из той рощи, двинулись прямо на батарею. Шли не быстро, очевидно, боялись минного поля. Они, должно быть, не очень подозревали, какой им приготовлен сюрприз. И вот минут за пятнадцать — двадцать артиллеристы разгромили девять машин. Остальные поспешили повернуть назад, бросив шедшую под их прикрытием пехоту.

Все на батарее возбуждены. Вспоминают отдельные минуты боя. Мы знакомимся со смельчаками и умельцами — командирами орудий сержантами Грибановым и Бахаревым, с командирами взводов лейтенантами Щербаковым и Николаевым, с отважными наводчиками,

заряжающими, с шофером Путашовым, который под огнем танков подвозил к орудиям боеприпасы.

Все это герои битвы, богатыри, и вместе с тем это простые ребята, в большинстве молоденькие, комсомольцы; не многие из них доросли до возраста коммунистов. Комсомол может гордиться такими воспитанниками, он их отлично воспитал. Это подлинные Павлы Корчагины наших дней.

В наступивших сумерках все еще горят и горят на поле впереди немецкие танки. Туда, на это поле недавнего боя, идут разведчики, а люди на батарее приводят в порядок сначала орудия, затем уже и себя. И гаубицы в пороховой гари, жаром несет от их стволов, и людям надобно бы помыться в бане, хорошо, крепко поспать. Но... но снова впереди вспыхивает стрельба пулеметов. Там неспокойно, и никто не знает, что принесет батарее надвигающаяся ночь. С нами толком никто поговорить не может. Узнаем лишь, что в расчетах орудий почти каждый может стать за наводчика — так организовал дело командир дивизиона Яковлев. Молодой адыгеец Кушук Абадзе, который в бою заменил раненого наводчика возле орудия Бахарева, до войны был учителем. Уж на что мирная профессия. Но вот за полтора месяца службы на батарее он не только сам стал отличным наводчиком, а еще и других бойцов обучил этому делу.

Мы спрашиваем, где Яковлев. Говорят, что во время боя был на батарее, но куда-то уехал. «Может быть, вы его видели? У него бинокль на груди». — «Не тот ли это командир, который советовал нам возвращаться обратно, когда мы подъезжали к огневым позициям? У него, верно, был бинокль».— «Может быть, может быть».

«Что ж,— думаем,— оставим беседу с ним до утра, до завтра»,— и отправляемся к своей машине, чтобы ехать к месту ночлега.

Но назавтра на этой позиции орудий уже не оказалось. Незнакомые бойцы сматывали телефонный провод, собирали на грузовик раскиданное имущество артиллеристов. Через клеверное поле, туда, вперед, откуда вчера выходили немецкие танки, неслись теперь на полных скоростях наши танки. Впереди рвалось и ревело. Бойцы сказали нам, что батарея ушла будто бы в Большие Губаницы — под Волосово. Во всяком случае, они-то сами отправятся сейчас туда.

Что оставалось делать? Поехали искать эти «Бол-Губаницы». Снова выбрались на шоссе, снова ехали через Бегуницы, свернули к югу за Красной Мызой; через Кемпелово спустились до Клопиц; дорога дальше была неважная, ехали почти так же медленно, как вчера. Михалев сидел впереди, рядом с Бойко. Я — на заднем сиденье. Так мне было удобней: в нашей бригаде я был как бы «начштаба» — ведал картами, разработкой и составлением маршрутов, и мне в таких случаях, когда путь прокладывался по карте, надобно было много места. Карту я раскинул рядом с собой.

По нашим представлениям, в Волосове уже должны быть немцы. От Волосова до Губаниц — километров семь. Следовательно, в Губаницы артиллеристов послали, чтобы снова бить прямой наводкой по наступающим, не дать немцам выйти через Клопицы на шоссе. И хотя артиллеристы были где-то впереди нас, мы ехали осторожно, в любую минуту лесными дорогами сюда могли вырваться передовые немецкие отряды. Поэтому в гранаты у нас уже были вставлены взрыватели, в патронники трехлинейки Михалева и моего карабина загнаны патроны. Карабин лежал у меня на коленях — аккуратная, удобная винтовочка сильного и точного боя.

Дорога была пустынна. Никого ни туда, ни обратно. Только перед самыми Губаницами навстречу нам на всей возможной для них скорости прошли прицепленные к тракторам-тягачам крупные орудия. Артиллеристы кричали нам и махали руками. Но грохот тракторных моторов был так силен, что не только слов, но даже вообще голоса мы не услышали. Напряженно ехали и ехали вперед и так въехали на заросшую веселой травкой-муравкой губаницкую площадь, широко раскинувшуюся перед белой церковью. И тут, еще не полностью уяснив, в чем дело, не столько по разуму, сколько по интуиции, довольно, видимо, необычным голосом я закричал: «Немцы!» Бойко на этот крик, чего с ним пока еще не случалось, отреагировал мгновенно, дав резко влево руля. «Козлик» шел через площадь по крутой дуге, заворачивая обратно. И в это короткое время быстрых действий мы своими глазами убеждались, что я не ошибся. Возле двухэтажного дома — возможно, что то был сельсовет, так как над ним развевался красный флаг,— стояли два непривычных по внешности чужих грузовика; с них прямо через борта соскакивали на

землю чужие солдаты, в чужих мундирах и пилотках, они стаскивали с грузовиков пулеметы и винтовки; а из улицы на площадь один за другим выходили новые грузовики, и сколько их там было еще, только леший ведал.

Мы уже неслись со страшной, не виданной и не слыханной для Бойко скоростью километров в шестьдесят — семьдесят, в густейших клубах дорожной пыли, по ямам и рытвинам, когда позади нас застучали пулеметы.

Немцы, видимо, поначалу все-таки растерялись: встреча эта и для них была не менее неожиданной, чем для нас. Видимо, не сразу поняли они, чей это «козлик», так нахально вытрусивший им навстречу, и упустили время. А теперь пыль скрыла нас от их прицельного огня.

Не останавливаясь, мы мчались километров восемь — до самых Клопиц. В машине звенело и грохотало: подскакивали, подлетали, раскрываясь, вытряхиваясь, наши чемоданчики, наши вещевые мешки, тома Клаузевица и других теоретиков военного искусства, падали на пол гранаты с вставленными взрывателями; мы стукались головами то о крышу машины, то о свои винтовки и карабины, нас мотало из стороны в сторону.

Остановились только в Клопицах. Вышли на волю, и задним часом нам стало неимоверно страшно. Что было бы, если б при своих партбилетах и кандидатских карточках, при редакционных удостоверениях мы угодили в плен? Живыми мы, конечно бы, не сдались. Это само собою разумеется. Ну, а если бы... если... мало ли что бывает!.. Ранеными, потерявшими сознание, оглушенными могли нас взять. Можно себе представить, как бы тогда порадовались молодцы Геббельса...

Опасность давно миновала, но из сознания она уходила с трудом, и впервые за время наших блужданий по фронту, по соединениям и частям к нам явилась мысль: а не выпить ли для поддержания сил? Бутылка водки на всякий случай у одного из нас всегда хранилась в чемоданчике. Этот случай, кажется, пришел. Да, нам во что бы то ни стало понадобилось выпить по стаканчику. Но, увы, было это не суждено: бутылка разбилась, и содержимое чемоданчика основательно пропиталось живительной влагой — намокли сложенные там рубашки, полотенца, томики Есенина и Блока из «Библиотеки поэта» (малая серия).

Встряска для нервов и для машины была так сильна, что, посидев на теплых от солнца бревнах перед чьей-то избой в Клопицах, через которые в девятнадцатом году прорвался под Красное Село белогвардейский Талабский полк, мы приняли решение ехать в Ленинград. Тем более что обстановка на фронте запуталась до такой степени, когда найти кого-либо, кто тебе нужен, уже невозможно, а в плен того и гляди попадешь.

Помогли Бойко переменить спустившее при этой гонке колесо (отчего нас так и мотало) и тронулись в путь — на Красное Село.

Перед Красным Селом — вновь сотни людей, главным образом женщин, так же, как было в лесах за Веймарном, как было возле Алексеевки. Копают. Копают противотанковые рвы.

На окраине Красного Села — прямо стволом нам навстречу (видимо, для стрельбы по наземным целям) — стоит зенитное орудие. Рядом с ним дзот, которого совсем еще недавно не было. Вот, значит, куда подступает война! До Ленинграда отсюда рукой подать.

4

Пока мы путешествовали по фронту, в Ленинграде произошло немало перемен. Прежде всего при въезде в город, у Средней Рогатки, нашу машину остановил патруль только что созданной комендатуры.

— Товарищи корреспонденты, сами понимаете,— сказал нам старший лейтенант, проверяя документы,— каково положение: вы же с фронта и должны знать, что он недалеко. Верно? А раз недалеко, то под видом беженцев немцы кого угодно могут забросить в город. «Пятой колонны» мы не допустим. Такие комендатуры на всех дорогах.

Проезжая по улицам, на многих высоких зданиях мы заметили будочки наблюдателей за воздухом, за пожарами. В скверах, в парках, в садах рыли противоосколочные щели; некоторые из них были крытые. Появилось еще больше зенитных батарей. Орудия вкопаны в землю, а вокруг них выложены еще и аккуратненькие брустверы из мешков с песком.

Странно и пестро выглядят окна в домах, все до одного испещренные крест-накрест наклеенными полосками

белой бумаги: дескать, стекла не будут лопаться от взрывной волны при бомбежках. Может быть, они не так будут сыпаться — это, пожалуй, верно. Но лопаться?.. Мы уже насмотрелись в городах и селениях области, как они лопаются... Только звон пойдет, допусти немцев до бомбежки Ленинграда.

В старом кафе «Квиссисана», куда мы заехали пообедать, нас застала воздушная тревога. На улицах, в репродукторах завыли сирены. Вход и выход в кафе и из кафе были тотчас закрыты. Торопливо застучал радиометроном. Еду подавать перестали.

Сидели мы так, в полнейшем безделье, с добрый час. Тревогу, оказывается, объявляют во всех случаях, когда даже еще на самых дальних подступах к городу (сейчас, правда, слишком дальних уже нет) появляются немецкие бомбардировщики. Мы-то знаем, как все это делается. Комиссар батальона ВНОС политрук Вагурин преподал нам азы противовоздушной науки. Мы тут сидим за закрытыми дверьми, перед остывшими бараньими котлетами, а там, где-нибудь в районе Волосова, Луги, Новгорода, уже бьются в воздухе с врагом наши истребители, а с земли по самолетам немцев ведут ураганный огонь зенитчики.

А когда в репродукторах заиграли трубы и голос диктора пробаритонил: «Отбой воздушной тревоги»,— это означало, что там, в районе Волосова, Луги, Новгорода, гитлеровские самолеты повернули назад.

Немало новостей мы узнали в редакции. Вася Грудинин, начальник нашего военного отдела, запер на ключ дверь своего кабинета и под большим секретом сообщил нам, что 20 августа состоялось первое заседание на днях созданного Военного совета обороны Ленинграда и что именно по решению этого Совета было назавтра опубликовано то обращение к ленинградцам, о котором нам первым рассказал в лесу бригадный комиссар Мельников. Теперь вовсю пойдет строительство оборонительных сооружений не только на подступах к городу, но и в самом городе. В домах, на перекрестках улиц будут установлены пушечные и пулеметные огневые точки; рабочим отрядам, возникшим на предприятиях, выдаются винтовки, пулеметы, гранаты, бутылки с зажигательной смесью. Есть опасность воздушных десантов, поэтому, очевидно, или перепашут, или затянут колючей проволокой все большие площади в городе, все парки, сады и кладбища.

Странно, но от рассказов этих нисколько не портилось настроение. Мы вспоминали танкистов Шпиллера, артиллеристов Яковлева, корректировщика Дмитрия Дубовика, минометчика Данилу Клепеца, всех наших друзей-ополченцев, пограничников из-под Нарвы, нарвских коммунистов, курсантов пехотного училища имени Кирова; вспомнили и того бойца, у которого было тридцать две раны, но который все же шел и при этом нес, не бросил свою винтовку; вспомнили мальчишек — Кольку и Витьку, и многих-многих других. У городской заставы, проверяя наши документы, нам шепотом сказали, что есть, дескать, случаи дезертирства с фронта, но мы дезертиров не видели. Мы видели дрогнувших, перепуганных, готовых разбежаться по дорогам и разбегающихся. Но разбегающихся только до той минуты, покуда не найдется организующее начало, не встретится сильная, властная, умелая рука, которая останавливает людей и возвращает им мужество. Танкисты Шпиллера нам рассказали о том, как командование их танковой дивизии, в частности сам комиссар Кулик, собирало разбредшихся по лесам красноармейцев-пехотинцев и создало из них боевое стрелковое подразделение при дивизии. А дезертир — это совсем другое. Дезертир — это не тот, кто под воздействием минутного страха дрогнул и удрал из одного леса в другой. Из леса в лес удирает просто струсивший, и это может случиться с любым человеком. Хорошо оно или плохо и как за такие срывы карать — иное дело, иная статья. Но дезертир — это прежде всего тот, кому свое, личное неизмеримо дороже общего, это потенциальный предатель; а в другом случае это и тот, кто не только не согласен с требованием отдать свою жизнь народу, если так понадобится, но и вообще не согласен с делом народа. Таких мы пока еще не встречали. Зато герои стояли перед каждым из нас в памяти во весь рост. Нет, с такими, каких мы знаем тысячи, не страшно; такие врага в Ленинград не пропустят.

И еще мы вспомнили слова бригадного комиссара Мельникова, который сказал нам о том, что немцы в Ленинград не войдут.

Мы рассказали об этом разговоре Грудинину. Он посмотрел на нас исподлобья, искоса, потер ладонью начинающуюся лысину и не ответил. Только вздохнул.

Потом мы перелистали подшивку нашей «Ленинградской правды». Нашли на ее страницах почти все коррес-

понденции, какие посылали из действующей армии. И «Подруг» нашли, и «Тыловых людей», и заметку о том, как бельгиец Шарль Кринер проклинал Гитлера, и очерки о незаметных тружениках воздушных границ — вносовцах, о Даниле Клепеце, большую корреспонденцию о Дмитрии Дубовике, которую мы назвали «Глаза батальона».

Много было напечатано за нашими подписями. Порядочно мы, оказывается, написали за это короткое время. Но не было почему-то самой, как нам казалось, лучшей нашей корреспонденции, той, в которой мы рассказывали о горячем дне прорыва немцев к Веймарну и Кингисеппу, когда наши войска, отходя, все били и били по врагу, когда мы встретили бойца с тридцатью двумя ранами на теле, артиллеристов, установивших пушку среди грядок с капустой, когда ночью встретили в сенном сарае маленьких Кольку и Витьку, которые — «Мальчики мы».

В секретариате нам сказали, что она, эта корреспонденция, была набрана, что начальник отдела товарищ Грудинин ее завизировал, но сейчас она пошла уже в разбор. Так распорядился редактор товарищ Золотухин.

Мы отправились к редактору в кабинет. Он не встал нам навстречу, ни о чем не расспросил, хотя мы о многом могли бы ему порассказать — мы же с фронта, и, где бы сейчас ни появлялись, на нас набрасываются с расспросами. Он даже сесть не предложил. Сидел, не подымая головы, уткнувшись в бумаги. Мы сели без приглашения. Мы на многое уже смотрели иначе, чем месяц назад. После того, что пришлось увидеть на фронте, после встреч с людьми высоких помыслов нас уже не убедишь, будто бы такие вот грошовые ухватки мелкого чиновника — это не что иное, как признак государственных забот, общественной и партийной значительности индивидуума, что это спутники его ума и мудрости.

Когда мы сели на два кожаных стула перед столом, редактор с гневным удивлением поднял на нас глаза:

— В чем дело?

— Вот тут у нас была, как нам думается, неплохая статейка...

— Это вам так думается, — перебил он, не дослушав. — А статейка была вредная. Убитые, раненые, кровь...

— Так война же, товарищ ре...

— Такие статейки демобилизуют, такие статейки па-

рализуют, они вселяют уныние и неверие! — гремел редактор, не желая слушать.

— Но это же правда, — пытались мы сказать свое.— А правда сильнее лжи, она воспитывает мужество. Если мы будем изображать только бескровную войну, а молодой боец попадет на фронт и увидит...

— Слишком много рассуждаете! Надо быть скромнее. Вы здесь два дня, а в коридорах только и слышен ваш топот. Вы вызывающе громко топаете.

— Но у нас же солдатские сапоги. И вы, если наденете...

— Что?! Намеки! Вы ведете себя непозволительно, молодые люди!

Мы ушли, дав друг другу слово никогда больше с этим человеком не встречаться и не разговаривать; мы вспомнили товарища из политотдела 191-й дивизии, который ночью, в палатке под Кингисеппом, кое-что высказал о нашем новом редакторе.

В редакции мы провели еще несколько дней, стараясь ходить по коридорам как можно тише, ни в коем случае не топать. Но сапожищи как на грех бессовестно стучали о паркеты, нисколько не считаясь с представлениями редактора о хорошем поведении подчиненных. Писали мы о танкистах, писали об артиллеристах. Выбрав свободное время, я пошел в редакцию газеты «На защиту Ленинграда» навестить своего друга мирных времен Семена Езерского. Редакция находится там же, где и штаб армии народного ополчения, — в Мариинском дворце. Я никогда не бывал в этом здании, хотя много читал о нем и в воспоминаниях деятелей революции и в мемуарах белых. Отсюда, из окна, кто-то из членов Временного правительства в последний раз видел, как через площадь в автомобиле под американским флагом шастнул на Вознесенский проспект удиравший в Псков премьер этого правительства Керенский; сюда пришли вскоре толпы вооруженного, поднявшегося за Октябрьскую революцию народа. А до того здесь заседали царские сановники, царедворцы. Государственный совет Николая. Для именитых подагриков в здании был устроен па́ндус, по которому, катясь в колясочке или шествуя пешком, можно подыматься без ступеней на самый верхний этаж. Сейчас же здесь штаб ленинградских бойцов-добровольцев.

У редакции газеты «На защиту Ленинграда» несколько комнат на третьем этаже. В этих комнатах собрался

хороший, боевой народ. Отличные журналисты города, многие из нашей «Ленинградской правды». Редактора я не знаю; говорят, он заведовал кафедрой марксизма-ленинизма в каком-то институте. Замом у него наш ленправдист Володя Карп. А еще тут Семен Езерский, Сеня Бойцов, Миша Стрешинский, Семен Полесьев, Женя Негинский, Давид Славентантор...

Зачем-то мы все вместе сфотографировались — так, на всякий случай. Потом пошли обедать. Кормят!.. Должно быть, и члены Государственного совета так не харчились... Отличный, видать, в Мариинском дворце повар.

Кстати говоря, здесь, в редакции «На защиту Ленинграда», я узнал и о том, где же находится 2-я ДНО, утерянная было нами на фронтовых дорогах. Оказывается, она не пошла по шоссе Кингисепп — Красное Село. Она геройски сражается в районе Котлов, то есть севернее нашего Ополья. С нею рядом еще одна или две дивизии и сошедшие на сушу моряки-балтийцы.

Таким образом, удалось установить наконец, куда же нам с Михалевым держать путь дальше.

5

Дорога эта была для нас новой, незнакомой. Мы проехали Кировский завод, миновали Автово, психиатрическую больницу имени Фореля. Обычно так начинался наш путь и в район Кингисеппа. Но за больницей Фореля мы не стали сворачивать к станции Лигово, за которой шоссе шло на Красное Село, а двинулись прямо — на Стрельну и Петергоф.

Справа от нас все время был Финский залив.

Куда мы ехали? Куда-то в район Копорья — Котлов, где должны отыскать 2-ю ДНО и действующих там же моряков-балтийцев.

Не доезжая Ораниенбаума, когда в заливе огромным линкором, с трубами и башнями, уже возник Кронштадт, мы увидели за деревьями и кустами деревянные причалы, к каким обычно на Малых и Средних Невках пристают спортивные лодки. Но тут, возле этих причалов, стояли не лодки, или, точнее, лодки, но летающие — гидросамолеты. Мы сунулись было к ним — нас остановили краснофлотцы с винтовками. Пришлось искать штаб морских летчиков. Он был расположен в Ораниенбауме.

— Летаем вот, летаем,— немногословно сказал нам начальник штаба. — На разведку летаем, в тылы противника. Бомбим. По ночам, конечно. Да и ночью, случается, сбивают. Вот так! — Он сидел, крутил пальцы на животе. Он, видимо, сказал все, что считал нужным сказать. А теперь, дескать, летите сами и на собственной шкуре испытывайте, как оно летается над сушей на морском, тихоходном гидросамолете.

В политотделе народ оказался разговорчивей, чем в штабе.

— Знаете кем поинтересуйтесь,— капитаном Ляджиным,— посоветовали нам.— Интересный человек. Коренной ленинградец. Морскую военную службу начинал на подводной лодке, три года провел на Балтике, а потом отправили парня в летную часть, и так из-под воды он поднялся прямо в воздух. Несколько лет летал над Тихим океаном, не выдержал — вернулся в родные места.

Мы отыскали Сергея Ляджина у причалов, замеченных нами еще из окна машины. Он покуривал на скамеечке, а механики готовили его самолет к очередному полету в ночь. Ляджин встал нам навстречу. Был он невысок и плотен и уже немолод, к старости ему грозила полнота. Лицо у него было добродушное, открытое.

— Не-не-не! — стал он отмахиваться от наших вопросов. — Не буду я рассказывать. Нечего мне рассказывать. Одно разве, что уж очень я люблю нашу Балтику. Глядите, красота какая! Солнце воду в заливе бронзовой сделало. А Кронштадт весь в золоте. Дым и тот золотой. Бывало, лечу над Тихим океаном, гляжу на него — синий-синий, могучий, величественный: господь бог на украшение тех мест средств не пожалел. А все вспоминаю свою Балтику. Свинцовая, мол, серая, туманная, да родная, и красивее ее нет. Не так разве?

Он взглянул на часы, сказал, что ему надо получить какие-то карты и что минут через сорок пять он вернется.

Мы разговорились со стрелком-радистом из экипажа Ляджина — Андреем Жванько.

— Капитан-то?.. — сказал тот. — Замечательный человек наш капитан. Что бы ни случилось, голоса не повысит. Великой простоты и смелости летчик. Пятьдесят четыре боевых вылета совершили мы с капитаном от начала войны. В общем почти каждую ночь летаем. А в которую и по два, по три раза. Что дождь, что ветер, что облака в четыре яруса — ему нипочем. «Чем,— говорит,—

Андрюха, погода хуже, тем нам с тобой лучше: врагу труднее нас обнаружить». Бывает, уж до того ни черта не видно, что другой бы давно повернул назад. А капитан нет: «Вперед пойдем, слепым полетом». А вы знаете, что такое слепой полет? По расчетам, по приборам. Взглянешь иной раз — звезды сквозь тучи видны, если по ним судить, явно не туда тянем. А он смеется: в слепом полете не глазам верь — приборам. Летали над морем, теперь над болотами, над крышами летаем. Бомбим самосильно.

— И всегда благополучно?

— Да как сказать... Что по канату в цирке ходим. Бомбили раз бензохранилище, недалеко тут, на Чудском озере, у истоков Наровы. Немец там уже с месяц, поди. Порт у него на озере оборудован. Ну, дали-дали в темноте. Обработали основательно. Горит все внизу, черно от дыма и светло от пламени. А уходить стали — уже светает, заря занимается. Туда-сюда — летят три «мессера». Треугольничком летят. Увидели нас, раскинулись веером: к атаке готовятся. Один, черт, извернулся, зашел нашей машине в хвост. А вы же сами видите, как турель здесь устроена,— стрелять в таком положении я в него не могу. Летим беззащитные. Немец же стреляет по нас. От зажигательной пули загорелся целлулоид в колпаке над головой капитана, вспыхнуло и на правой плоскости. «Горим,— думаю,— мать честная!» А это всего-навсего осветительная ракета под плоскостью загорелась, должно быть, пуля в нее угодила. А потом известно стало, что капитан и еще одну беду увидел — на масляных манометрах стрелки вниз побежали. Крышку блока пробило, и масло потекло. Один, значит, «мессер» свое дело все-таки сделал. На его место второй стал подваливать, тоже дельце хочет сделать. Но тут уж я не растерялся. Да и с других двух наших машин по нему огонька дали. Все три «мессера» после этого смотались. А мы тянем, еще тянем. Мотор работает уже кое-как. Капитан приказал мне перебраться к масляному насосу и вручную качать масло из лодочного бака. Качаю. Расстарался. Все силы приложил, а она — хрясть! — рукоятка-то, и отломилась. Вытащил я из инструментальной сумки кусачки, ухватил ими остаток рукоятки и опять качаю... Совсем рассвело, когда мы сюда добрались, домой. Подсчитали — тридцать пять пробоин в машине и ни грамма масла на борту. Благополучно это или не совсем, сами судите.

Вернулся Ляджин, сел с нами рядом, посидел молча.

— Давайте лучше я вам свою машину покажу. А что рассказы-то рассказывать!

Вместе с ним мы забрались в «летающую лодку». Ляджин сел на свое место, за штурвал.

— Привычное местечко. Чувствую себя в нем, как другой и дома не чувствует, за письменным столом, за любимой работой. Сидишь тут в полете — широко вокруг видишь. Если днем, конечно. Да и ночью кое-что разобрать можно. И не только видишь тут хорошо, но и думаешь как-то по-особенному. Мы же куда летаем? На Чудское озеро, на Псковское. На озеро Самро. А недавно на Нарву, на Кингисепп стали летать. Огонь под нами, война. Страшная штука. Горят деревни, горят скирды. Видишь, как выплескивает пламя из пушечных стволов при стрельбе. От этих огней иной раз в кабине красно. Два чувства смешиваются в груди — жалость и злоба. Жалость, что в этих пожарищах гибнут наши города и села, наш труд. А злоба... сами понимаете.

Мы обратили внимание на то, что штурвал в кабине был двойной, спаренный.

— Вообще-то это для обучения молодых летчиков, для контроля за их действиями, для того, чтобы в случае чего прийти на помощь. Но вот еще какое от такого штурвала преимущество: можно работать одной рукой. Хоть правой, хоть левой. Смотрите! — Ляджин стал нам демонстрировать, как это делается. — А такая возможность может здорово пригодиться. Я все время тренируюсь. Вполне могу водить одной рукой и одной ногой. Ранит, скажем, в правую — поведу левой. Ранит в левую — поведу правой. — Он смутился оттого, что, как ему, видимо, показалось, выболтал кое-что лишнее, свое, сокровенное. Стал показывать приборы, объяснять.

Мы не столько смотрели на все сложное самолетное хозяйство, сколько на самого хозяина этого хозяйства. Спокойный, сильный человек. Много лет готовился он к тому, чтобы в тяжелый час встать на защиту своей Родины, и вот этот тяжелый час пришел, и с какой честью человек выдерживает его.

Капитан Ляджин не говорит, что он коммунист и что иначе жить и действовать не может. Но и без таких слов ясно, что это представитель следующего, старшего, поколения в цепи октябрята — пионеры — комсомольцы, прочность звеньев которой мы всюду ощущаем в эти военные, грозные дни. Такую цепь можно порвать лишь в том слу-

чае, если одно из звеньев ее заржавеет, ослабнет в слякотные дни жизни без идей. Но таких дней у советского народа не было, и верю, что никогда и не будет.

Попрощавшись с летчиками-балтийцами, едем дальше. Финский залив все время справа. Проехали Лебяжье. Всюду в этих местах моряки, краснофлотцы. Тут царство Балтийского флота. Непрерывно на заставах проверяют документы.

Срезаем мыс, на котором расположены знаменитые форты «Красная Горка» и «Серая Лошадь», выезжаем к селу Устье, на реке Черной. Смеркается. В потемках добираемся до Кернова и там решаем заночевать.

Начинается дождь, мелкий и уже достаточно по-осеннему прохладный: конец же августа, теплые деньки миновали.

Как всегда, ищем сенной сарай. Подходящего нет. В одном дворе находим сеновал под железной крышей. Загоняем машину во двор. Бойко остается в ней, а мы лезем под крышу, на сено. Завертываемся в шинели. Внизу, под нами, похрупывая, жует корова, сверху на крышу сеется дождь; мерно и мирно шумит он по старому железу. Где-то грохочут и грохочут тяжелые орудия. Но мы уже давно научились спать под их неторопливые разговоры, и мы засыпаем.

6

За Копорьем, в районе селений Удосолово, Нарядово, Перелесье, Воронкино, мы отыскали своих ополченцев. Люди были измучены тяжелыми, непрерывными боями, устали смертельно. Многих знакомых уже не было: кто ранен, а кто убит. Командует дивизией генерал И. М. Любовцев. У Героя Советского Союза полковника Н. С. Угрюмова, отлично сражавшегося со своим батальоном в зимнюю финскую кампанию, с командованием дивизией, видимо, не получилось.

Генерал-майор Любовцев, уже не молодой, многое повидавший, многое испытавший командир, был хмур.

— Тяжелое положение, товарищи корреспонденты,— сказал он.— Немец непрерывно атакует. Теперь думаем только об одном: не дать ему прорваться к фортам и Кронштадту. Три дивизии с танками и авиацией теснят нас днем и ночью.

Позаписав всяческих историй в полках дивизии, пробираясь от одного к другому по лесным дорогам, посидев со старыми знакомыми в перерывах между атаками, порассказав им о том, как сейчас в Ленинграде, мы отправились к морякам. Нас поразило то, что у немцев авиации будто бы прибавилось. Сбиваем, сбиваем самолеты, а их все больше и больше. Невозможно было показаться на дороге в машине: немедленно появлялись откуда-то «мессершмитты» или даже спускающиеся до бреющего полета «юнкерсы» и поливали машину пулеметным огнем. На земле же вовсю работали немецкие минометы. Не было места — ни в деревнях, ни на дорогах, ни в лесной чаще,— куда бы ни с того, казалось, ни с сего вдруг не залетала парочка-другая мин батальонного или даже полкового калибра. А то, случалось, мины сыпались градом — и с дневного, и с вечернего, и с ночного неба.

Фронт переслоился: наши были в тылу у немцев, немцы — в тылу у наших. Деревни за день по нескольку раз переходили из рук в руки. Настоящие легенды рассказывались в штабах о геройской борьбе 263-го артпульбата в дотах на реке Луге. Немцы обошли линию дотов, но гарнизоны огневых точек не сдавались, вели непрерывный бой с осаждающими. Нам называли имена капитана Голышева и старшего политрука Гуппалова, которые в критическую минуту, видя, что врага им не отбить, взорвали и дот и себя вместе с дотом.

Мы помнили их, и Голышева и Гуппалова, мы встретились с ними однажды, в дни боев под Нарвой и Кингисеппом, когда каким-то тревожным днем заехали в расположение артпульбата. Обыкновенные то были люди, простые и мирные. Но убежденные. Убежденные в правоте своего дела. И вот они — герои. Истинные герои. И снова думаешь о том, что героизм начинается с убежденности, с идей. Кто сумеет воспитать идейность, тот породит и героизм.

Моряков мы нашли в районе Большого Руддилова, недалеко от Котлов. Прежде всего наткнулись в лесу на перевязочный пункт. Лес был полон матросов. На белых марлевых повязках всюду краснела запекшаяся кровь. Под соснами пахло аптекой. Кто лежал на траве, прикрытый бушлатом, кто сидел на сухой, осыпанной хвоинками земле, кто, превозмогая боль, расхаживал меж деревьев. Непрерывно подъезжали машины: подвозили из боя од-

них, увозили других — дальше в тыл, в сторону фортов и Ораниенбаума.

Увидев, что мы делаем записи в блокнотах (а мы записывали фамилии врачей и сестер, работавших на этом пункте), к нам подошел рослый, плечистый моряк. Бушлат расстегнут, на голове зеленая армейская каска, ленточки бескозырки висят из кармана клешистых брюк. Запыленный, перепачканный в земле.

— Куда записываете? — спросил он басом. — Пишите и меня: Виктор Лысак, краснофлотец.

Мы не сразу поняли, о чем это он.

— Добровольцев, что ли, куда набираете? — пояснил Лысак.

— Какой же из вас доброволец, дорогой товарищ! Вас только что перевязали!

С усмешкой полнейшего пренебрежения он скосил глаза на свою руку в бинтах, скрытую под флотской тельняшкой, через которую проступали алые пятна свежей крови.

— Мелочь.

— Они все такие,— сказал врач. — Это же моряки. Балтийцы.

Немало и друг мой Михалев и я посмотрели на своем веку кинофильмов, подобных тому, который называется «Мы из Кронштадта», насмотрелись фильмов о днях революции, о годах гражданской войны, прочли десятки отличных книг о наших балтийцах, восхищались теми, кого народ именовал когда-то «красой и гордостью революции», перед кем в панике бегали и белые и интервенты, контрики разных мастей. По книгам, по фильмам мы помним их в пулеметных лентах крест-накрест через грудь, в бушлатах и форменках, из-под которых непременно — полосками — тельняшка; помним с наганами за поясами, с лимонками и бутылками у поясов, с трехлинейками на ремнях за плечами. Моряки, которых ленинградцы встречали в предвоенные мирные годы на невских набережных, на бульваре Профсоюзов, на их эсминцах и крейсерах, бросавших в дни праздников якоря на Неве, были уже иными, чем те, из фильмов и книг,— слишком лощеные, слишком чистенькие, слишком красивые.

И вдруг вот оно все, прежнее, вновь во весь его волнующий рост поднялось из далекого прошлого. И ленты с патронами, и лимонки, простреленные бушлаты, рваные тельняшки... Суровый, грозный, бесстрашный народ. Как

в былые времена, сошли они на сушу для борьбы с врагом. Вновь слава летит о них по всему фронту. Балтийцы! Верные защитники Ленинграда. Они презирают боль. Они презирают смерть.

Сколько проклятий обрушили на вас когда-то белые генералы, организаторы контрреволюции, белоэмигранты. И снова вас проклинают — теперь уже немецкие генералы, черные эсэсовцы, коричневые «партайгеноссе» Гитлера.

Может быть, об этом будут со временем рассказывать сказки и будут о том сложены песни — такие волшебные, как о победителях змеев-горынычей. Но сейчас мы то тут, то там запросто выслушиваем один удивительный случай за другим, и рассказывается об этих случаях, будто о чем-то до крайности обыденном, обычном, не из какого ряда вон не выходящем.

Сигнальщик морской службы Федор Ильченко был в бою. Он полз вперед, готовясь бросить гранату. Его ударило в поясницу. Потрогал, что там такое: вся ладонь в горячей крови. Командир приказал Ильченко выбираться из огня. Сигнальщик пополз обратно. В кустах он наткнулся на своих товарищей. Они удивились странному способу передвижения моряка. «Вставай, вставай, чего рака из себя изображаешь! — сказали ему. — Немец уже давно тебя не видит». Хотел было моряк подняться, а не может. «Посмотрите-ка, что у меня там?» — попросил, задирая гимнастерку на спине.

Моряки взглянули: на пояснице рана, а оттуда, из раскровавленных мышц, выглядывает донце пули. Видать, была шальная, рикошетная, полсилы уже утратившая, и вот увязла в мышцах.

— Слушай, может, ее выдернуть тебе, а? — предложил кто-то.

— Дергайте.

Один из тех, у кого руки были покрепче, ухватил пальцами толстый конец пули и рывком вытащил ее из раны.

— Ну как?

— Да легче вроде. Так и есть — легче.

Ильченко встал и пошел к перевязочному пункту.

Израненные, кое-как, наспех перевязанные на поле боя, молча — а то для лихости даже с шуточками — переносящие боль, эти люди в лесу спокойно, не толпясь и не толкаясь, ожидают очереди к хирургам. Ни один не хочет эвакуироваться в тыл. Без протестов уезжает на

санитарных машинах только тот, который уже не стоит на ногах. Но даже и многие из тех, кого увозят, поскрипывают зубами:

— Мы еще с *ним* встретимся, с гадом!

Переехав через речку под названием Сума, что бежит поблизости от перевязочного пункта, мы нашли штаб морской бригады, который располагался в старом баракообразном строении на опушке осинового леса. В бараке все по-морскому: «каюты» для командиров, «камбуз», где властвует «кок», «кают-компания» с общим длинным столом, на котором и к завтраку, и к обеду, и к ужину неизменный у моряков клюквенный экстракт. И если в батальонах бригады краснофлотцы все-таки носят армейские гимнастерки и каски, то здесь, в штабе, командиры со своим морским видом расставаться совсем не хотят.

Четко работает связь у моряков, четко отдаются и исполняются приказания. Все как на море, как на корабле.

В морском штабе мы встретили нескольких журналистов, в том числе отличного фотокорреспондента, молодого веселого парня Всеволода — Севу — Тарасевича.

— Ребята! — сказал он радостно. — Зря вы третьего дня не приехали. Вот был бой так бой! Из шести деревень подряд морячки выбрасывали гансов. Шли в такую атаку, с таким матом!.. Немцы драпали до Алексеевки, до Ополья.

Его товарищи нам рассказали, что Сева и сам рвался в эту атаку и, может быть, только взрыв снаряда перед самым носом остановил его. Севу спас трактор, еще с июля оставленный колхозниками в поле. Сева был *за* трактором: фотографировал атаку. Снаряд ударил *перед* трактором, разбил всю машину, но Севу только отшвырнуло взрывной волной. Тот, кто видел это, рассказал, что в силу давно выработавшегося профессионального рефлекса — реагировать на всякий интересный сюжет — Сева в этот миг выставил вперед, навстречу взрыву, свой аппарат и щелкнул затвором.

— Проявим, посмотрим, что получится.

В штаб, соскакивая с мотоциклов, заходят связные, командиры, возвращающиеся из подразделений политработники. Наши блокноты и так полны записями, а их все прибывает и прибывает.

— Вот было вчера,— говорит один из командиров. — Убили пулеметчика. Командир отделения, недавний даль-

номерщик с эсминца, Погорелов, сам лег к «максиму». А немцы идут, идут цепями, в касках, черти. Идут, этак набычившись, совсем будто псы-рыцари на Чудском озере. Только не с мечами, а с автоматами. Строчат впереди себя из всех стволов. Орут при этом во всю глотку. Представляете? А пулеметчики наши молчат. Ждут. Подпускают. С полсотни шагов осталось. Тут только Погорелов нажал на спуск. Как дал очередь, как дал вторую! Потом перешел на непрерывную стрельбу. А это, сами понимаете, для пулемета во как опасно: в кожухе вода выкипит. Ну и верно — «максим» у Погорелова запыхтел что самовар. Тогда кто-то протянул ему свою фляжку: «На, вылей!» Затем потянулись и другие со всех сторон. А солнце палило!.. Жара была — и от него и от боя — адская. Пить хотелось ребятам — жуть!

В политотделе бригады в очередном политдонесении из батальона мы прочли о пулеметчике Соболеве. Группа моряков пошла в ночную разведку. Но столкнулась с немецким отрядом, и разведка переросла в ожесточенный бой. Силы были неравные, моряки стали отходить. Не двинулся с места только пулеметчик Александр Соболев. Со своим пулеметом он прикрывал отход товарищей и бил по врагу до тех пор, пока все они не вышли из-под вражеского огня.

Соболев погиб. Погиб он геройски, как погибали краснофлотцы-балтийцы гражданской войны.

Краснофлотцы всегда отличались своей боевой спайкой и дружбой, чувством локтя, особого, морского товарищества. Сейчас, в дни боев, в дни тяжких испытаний, это чувство стало во много крат сильнее. Огонь закаляет людей. Люди растут, мужают, в них возникают новые качества. К вечеру этого дня нам пришлось встретиться с долговязым рябоватым парнем — связным одного из командиров в батальоне — Кузьмой Дудником. Рассказывают, что до самого последнего времени никто к нему не относился всерьез — настолько парень был смешлив и, как утверждают, безалаберен. Несколько дней назад мнение о нем изменилось.

Отряд моряков более суток вел непрерывный бой. Краснофлотцы безвылазно сидели в окопчиках под огнем противника, сидели не евши, не пивши: ни самим выбраться, ни кухне подъехать. Кок волновался на КП батальона: «Ослабнут с голоду ребята». Тогда вдруг вызвался этот самый трепливый связной Кузьма Дудник:

«Товарищ командир, разрешите, я накормлю ребят?» — «Ты? Ну давай, давай, пробуй, если не шутишь!»

Кузьма набил мешок консервами и сухарями и ползком отправился к линии окопчиков. Так, ни много ни мало, он сползал двенадцать раз — и все под ураганным огнем противника. Двенадцать раз в тот день он готов был отдать свою жизнь за товарищей.

— Там такое дело было,— рассказывал Дудник.— Между нашим расположением и теми ребятами, к которым я полз, стоял подбитый немецкий танк. Я залез в него — посмотреть была охота на гансовскую коробку. Гляжу: галеты, консервы. Мать честная! Я их тоже ребятам потащил. Потом, ползая так туда и сюда через кладбище, я нашел нашего раненого летчика. Он на парашюте спустился. Младший лейтенант. Здоровенная рана в бедре. Отнес его к дороге, устроил на попутную машину до перевязочного пункта. А еще штука была, поверите ли? Едут прямо к фронту старик со старухой на подводе, четыре пулемета везут. «Может,— говорят,— нашим солдатикам пригодятся. А то брошенные у нас в деревне валяются». Один из этих пулеметов здорово нам пригодился, когда мы отбивали атаку на противотанковый ров *.

Пригодились, видимо, и остальные пулеметы. Атак немецких в эти дни было не перечесть.

Где-то в районе Алексеевки, контратакуя вдоль железной дороги, наши стремительно теснили немца. В цепях пехотинцев шли и моряки краснофлотского отряда. Левый их фланг уже охватывал пристанционную деревушку, но тут движение не только замедлилось, а просто остановилось. По нашим цепям бил пулемет противника. Бойцы залегли. Снайперы во все глаза осматривали через свою оптику открытое, кое-где поросшее кустиками поле. Нигде ничего — чисто. Наконец кто-то заметил, что немец сидел в хитроумно накрытом крышкой окопчике. Крышка была из досок, на нее набросаны дерн и сухая трава. Когда немец собирается стрелять, он приподымает крышку, и так открывается щель, достаточная для ствола ручного пулемета. Стоит выстрелить по нему из винтовки, щель закроется, и снова чистое поле.

---

* Сейчас Кузьма Михайлович Дудник, как он сообщил мне в письме, работает дизелистом сельской электростанции в Черкасской области на Украине.

Никто не знал, как быть. А лежать и раздумывать дольше уже было нельзя: вот-вот накроют массированным минометным огнем, и тогда атаке совсем конец. Поднялся молодой моряк:

— Хватит кланяться этому сукину сыну!

Он скинул гимнастерку и армейскую пилотку, выхватил из кармана родную свою бескозырку с ленточками, на которых золотые якоря, тряхнул на поясе сумкой с гранатами и в одной тельняшке рванулся вперед.

Немец вначале закрылся было крышкой, но, услыхав приближающийся топот, полоснул свинцом навстречу моряку. Моряк упал.

— Пропал парень! — ахнули в цепи.

Но парень пропадать еще не думал. Он пополз вперед, прикрываясь кочками, неровностями почвы. Немец крутил пулемет из стороны в сторону, он что-то чуял, нервничал. И не напрасно: граната моряка срубила ему череп. Моряк вскочил на ноги. Но вот тут-то и пришла к нему смерть. Прямо в его обтянутую полосатой тельняшкой моряцкую грудь ударила очередь из автомата: кроме пулеметчика в окопе сидел еще и автоматчик.

Моряк сделал шаг, другой, упал, а все же у него хватило сил последним рывком бросить вторую гранату. Так был заткнут и автомат. Бойцы ударили в атаку.

После боя моряки хоронили товарища. На опушке леса — нам показали эту двухобхватную сосну в изголовье его могилы — они закопали его в желтый сухой песок. На бронзовой коре старой сосны вырезали ножами: «Наш верный кореш». И ниже, под пятиконечной звездой: «Спи, Балтика за тебя отомстит».

Показывал нам эту сосну и рассказывал о подвиге молодого моряка старшина Горановский, типичный балтиец с плаката: в пулеметных лентах, с винтовкой за плечом — «краса и гордость революции».

Сева Тарасевич проинформировал нас точно. За два дня до нашего приезда моряки, действительно предприняв ночную атаку, безостановочно гнали немцев через шесть селений подряд. Душой этого могучего удара был старший лейтенант Степан Боковня.

Со своими героями в тельняшках, с приданными отряду несколькими танками и артиллерийским дивизионом Степан Боковня, в финскую кампанию командовавший ротой моряков-лыжников и награжденный тогда орденом

Ленина, хорошо подготовился к этому бою. Сам командир бригады подполковник Лосяков сидел с ним над картой.

Сидим и мы над картой, прослеживая по ней движение отряда Боковни. Начав из района Керстова, Боковня в ночном бою прошел деревню Малли, за ней — Горки, дальше — Заполье, Алексеевский рудник, Алексеевку и ворвался в Ополье. В Ополье! В наше Ополье, где остался домик редакции дивизионной газеты, почтовый двор с брошенными землянками вносовцев, остались старики, старухи и дети — все те, кто не успел уйти перед танками врага.

У моряков были трофеи — несколько артиллерийских орудий, десятки винтовок, автоматов. Немцы бежали перед их штыками в полной панике, ревя в сотни глоток: «Черная смерть!»

В том бою был взят в плен один немецкий унтер. Когда немец узнал, что расстреливать его не собираются, он повеселел и попросил, чтобы ему дали возможность взглянуть на Боковню. «О, у нас так много рассказывают о вашем командире! Битте шён! Покажите, пожалуйста!» Ну что ж, если пожалуйста, то можно: его отвели к Боковне.

— Не обманываете? — сказал немец с обидой, представ перед самым обыкновенным с виду человеком. — Все знают, что Боковня — страшный человек. «Шварцер тодт» — «Черная смерть». А это кто?

Страшны врагу наши моряки-балтийцы. Когда, сбросив бушлаты и каски, надев против всяких правил и грозных приказов свои бескозырки, спрятанные до этого в карманах, устремив вперед жала легендарных штыков, подымаются они в атаку, нервы гитлеровцев сдают. Не жалея патронов, бьют немцы из автоматов, пулеметов, винтовок, кидают мины, но им кажется, что там, перед ними, никто не умирает. В глазах мелькают и мелькают полосатые тельняшки, заглушая все остальные звуки боя, гремит в ушах могучее «ура», и уже видны оголенные руки со вскинутыми для броска гранатами. И немцы бегут.

Сейчас отряд Степана Боковни в бою. Подтянув силы, противник контратакует моряков в районе Ополья и Алексеевки, где моряки закрепились. Слышим удары танковых пушек, слышим удары бомб с «юнкерсов» и неумолчный пулеметный треск с обеих сторон...

Вечером, когда стемнело, мы встретились с интересным человеком — старым журналистом, ныне писателем Еремеем Лаганским. Он прикомандирован к морской бригаде. После позднего ужина все вышли на воздух. Ночь наступала темная, поистине августовская. Но на юге и западе небо горело багровым. Вздымались грозные зарева пожаров. Там, в этом мощном пламени, все еще насмерть бился отряд Боковни, там ревело и грохотало.

Грохотало, собственно, повсюду, в том числе и на севере и на востоке: оттуда в сторону зарев били наши тяжелые пушки — орудия железнодорожных батарей, бронепоездов,— возможно, что и форта «Красной Горки» или даже самого батюшки Кронштадта. В эти дни все яростнее развертывается битва за город на острове, на который немцы явно нацелили часть своих наступающих дивизий, а следовательно, идет битва и за наш сосредоточившийся в Кронштадте и вокруг него Краснознаменный Балтийский флот.

Немолодой человек, многое повидавший на своем веку, Лаганский рассказывал нам разные истории из своей газетной деятельности еще в царские времена. Интересно было слушать о том, как он, корреспондент одной из петроградских газет того времени, разыскивал труп Григория Распутина в декабре 1916 года и каждый день публиковал сообщения о ходе и результатах своих розысков. Он сумел проникнуть в Чесменскую богадельню, когда там над гробом «старца» плакала в платочек Александра Федоровна; был он в каком-то погребе в Царском Селе, где гроб Распутина хранился довольно длительное время, пока в Баболовском парке по распоряжению царской семьи возводили мавзолей из белого мрамора.

— Может быть, вы помните,— говорил Лаганский,— за Охотничьим замком, в глуби Александровского парка, на берегу какой-то речонки стоит это полуразвалившееся сооружение? Распутина там никакого нет, и черт его знает, куда он в конце-то концов подевался. Но мавзолейчик стоит. Весь в неприличных надписях — полная энциклопедия от фундамента до макушки. Кто гвоздем выцарапывал, кто какой-то краской, бывало, мазнет, химическим карандашом выслюнит, а кто и штык пускал в дело. Писать начали еще тогда, летом, после

Февральской революции, те солдаты, которые караулили арестованную в Александровском дворце царскую семью.

Хорошо рассказывал Еремей Лаганский. Рассказывал он о неведомой нам жизни. Он посоветовал: когда, мол, будем проезжать через Петергоф, непременно остановиться и осмотреть вагон Николая II, в котором тот на железнодорожных путях Пскова подписывал отречение; чтобы заглянули там же на так называемую «Ферму», в которой состоялось заседание совета министров и где Николай II выразил желание с первых же дней мировой войны стать главнокомандующим русской армией, но где министры набрались отваги и под разными соусами, но все же высказались против этого его намерения, зная слабые силенки и ничтожный характер своего самодержца.

Лаганский рассказывал — и перед нами оживала наша история в лицах, фактах, событиях. Такой мы ее плохо знали. В школах, где нам пришлось учиться, историю не преподавали, преподавали так называемое обществоведение, и преподавали его однобоко, с изъятием больших исторических пластов. А когда какие-либо пласты изымаются при освещении истории, то в ней, как в горных породах под воздействием разрушающей силы воды, образуются пустоты, внутренние пещеры, в них гуляет ветер, в них гулко отдается любое случайное эхо, и все это страшно ослабляет изъязвленный массив.

Мы слушали бы Лаганского хоть всю ночь. Но он сказал, что ему надо идти в оперативный отдел, «информироваться в обстановке».

— А то, ребята, спать ляжешь у своих, а проснешься уже у немцев. Я заяц стреляный, всякое видывал.

Мы же, как всегда, отправились в сенной сарай, который еще засветло присмотрели за селением. Машину, правда, и Серафима Петровича Бойко при ней оставили в лесу, там, где стояли штабные машины моряков и где были бочки с бензином для заправки.

Как обычно, середина сарая была пуста, а обе половины его до крыши забиты свежим сеном. Удивительно, как много в нынешнем году накосили и настоговали сена. Зима была бы отлично обеспечена кормами для скота, если бы... если бы не эта проклятая война, от которой и войска и жители Ленинграда уже стали уставать.

Засветив фонарики, мы взобрались на сено под самую крышу, устроили там себе удобные ложементы, укрылись шинелями и уснули.

Разбудили нас голоса в сарае, внизу под нами. Говорили как-то разом, толпой, и говорили, нет, не по-русски. Вспомнив слова Лаганского о том, что, не выяснив должным образом обстановки, ложиться спать не слишком рекомендуется, мы похолодели.

А там, внизу, болтают вовсю, болтают «по-заграничному», чиркают спичками, прикуривают, закуривают, к нам подымаются клубы дыма от десятка или двух десятков папирос. В довершение ко всему, значит, тут еще и сгореть придется заживо?

Вытаскиваем пистолеты, спускаем предохранители... Но что делать дальше? Каждый из нас по сотне-другой немецких слов знает. Прислушиваемся. Нет, говорят не по-немецки. Раскатисто так и в то же время очень мягко говорят. Неужели финны? Переправились через залив и ударили нам в тыл вдоль побережья? Все возможно.

Сквозь нерусский говор, кое-что нам объясняя, отчетливо прорвалась родная русская речь:

— Вот так, для ясности, побудете, граждане, здесь до утречка. А утречком особисты придут, разберутся. — И тюремным звяком звякнул замок на скрипучих воротах сарая.

Что же там все-таки внизу: неужели и вправду финны? Хоть и с запозданием, но следует выяснить обстановку. Если этих людей заперли, значит, они взяты в плен и, следовательно, разоружены. У нас, правда, оружия тоже не так много — винтовку, карабин и гранаты мы оставили в машине, — но есть два пистолета хорошего калибра и по шестнадцати патронов для каждого из них.

Мы засветили фонарики, устремив их лучи вниз, и задали вопрос:

— Вы кто такие?

После легкой паники внизу нам ответили на довольно приличном русском, что это группа таллинских милиционеров. Уже много дней они уходят и уходят от немцев. Было все сравнительно хорошо. Но вот при пересечении линии фронта их здесь задержали до выяснения, кто же они такие есть.

— А чего же вы, братцы милиционеры, курите в сенном сарае? Так и до пожара недалеко!

— А мы сами по этому делу власть, — пошутил кто-то из них. — У нас даже один пожарный начальник есть. Пока он тут, ничего не случится.

Мы слезли, принялись расспрашивать о Таллине, о происшествиях в пути от Таллина до Нарвы и после Нарвы. Они долго рассказывали о том, как немцы на таллинском рейде и в походе по заливу бомбили наш флот. Мы уже знали, конечно, о героическом, неимоверно трудном отходе наших кораблей из Таллина — при этом погибло несколько наших товарищей-журналистов, погибли женщины, дети, — но милиционеры дополнили картину новыми выразительными штрихами. Думаю, что когда-нибудь об этом отходе будут написаны книги, трагические и вместе с тем полные героизма.

Потом мы стали стучать в дверь сарая. Никто не приходил. Наши бдительные вояки даже часового не поставили возле дощатой темницы. Ограничились тем, что навесили какой-то, поди столетней давности, ржавый амбарный замок.

Мы отлично знали, что ежели часового возле нас нет, то можно без особых усилий выломать пару дряхловатых досок в стене сарая и благополучно выбраться на волю. Но мы знали и другое: лучше всего этого не делать.

— Что ж, поспим, — сказали мы бодро и снова полезли на сено под крышу.

Утром мы были разбужены отнюдь не особистами, а Серафимом Петровичем Бойко. Услышав его оклик, посмотрели вниз. Бойко стоял среди спавших на ворохах сена эстонских милиционеров и, боясь разбудить их, окликал тихим, осторожным голосом. Он был встревожен: здесь ли мы еще?

— Как вы сюда попали? — спросили мы его с немалым удивлением. — Мы же заперты на замок. Что-нибудь взломали?

— Дак замок-то с одной только стороны, на этих вот воротах. — Бойко указал пальцем на ворота, через которые вчера входили мы. Створы были по-прежнему плотно захлопнуты. — А зато эти оказались только палочкой подпертые. — Он махнул рукой на вторые, широко распахнутые ворота, в которые из-за его спины к нам входило свежее росное утро.

Милиционеры тем временем тоже проснулись и стали подниматься. Все вместе мы отправились в селение. Одни, то есть мы, — в штаб, а другие, то есть милиционеры, — отыскивать кого-нибудь такого, кто поможет им окончательно определиться или, уж как минимум, кто накормит: они были очень голодные.

В штабе мы встретили командира связи с морского бронепоезда, всю ночь стрелявшего из тяжелых орудий по немцам. Бронепоезд стоял на станции Котлы, пополнял запас снарядов. Нам загорелось непременно прокатиться на бронепоезде. Командир связи не знал, что и ответить. Он смог только посоветовать ехать в Котлы и самим проситься у командира бронепоезда.

Мы отложили до следующего раза новую встречу с Лаганским, отсрочили знакомство со Степаном Боковней до выхода его из боя: уж очень нам хотелось на бронепоезд, уж очень много захватывающих легенд наслушались и начитались мы в свое время об этом грозном виде боевой техники огненных лет гражданской войны. Мы понеслись в Котлы, благо было это недалеко.

И командир и комиссар разрешили нам побыть на бронепоезде. Узнав, что он вскоре пойдет на форт «Красная Горка», мы сказали Бойко, чтобы тот отправлялся вперед с машиной и ждал бы нас на форту, а мы, дескать, прибудем туда вот этим видом транспорта. Мы не без гордости указали на два бронированных вагона и на железнодорожную площадку с множеством колес снизу и двумя длинными тяжелыми орудиями весьма солидных калибров сверху.

Пока шла погрузка снарядов, пока паровоз набирал угля, мы выслушивали рассказы моряков-артиллеристов. Бронепоезд уже немало поработал. Он бывал и в Кингисеппе, и под Нарвой, и в Веймарне — во всех знакомых нам местах. Возможно, что именно его удары разбудили нас однажды на кладбище в Ополье.

В Веймарне, кстати, был такой случай.

— Мы,— рассказывал командир бронепоезда,—поддерживали своим огнем ополченцев. Бьем по дальним целям. Смотрим: появляются «юнкерсы», штук шесть, и давай бомбить поселок и станцию. А там еще гражданское население есть, железнодорожники, их семьи. Мы посовещались с комиссаром секунды полторы. Приняли решение. Чтобы отвлечь воздушных подлецов от гражданского населения, командую нашим зенитчикам: «Огонь!» Зенитчики заработали. Расчет наш был точен. Такая цель, как бронепоезд, для гитлеровцев куда заманчивее, чем железнодорожные домишки. «Юнкерсы» кинулись на нас всей сворой. Сыплют и сыплют бомбы вокруг. Но зенитчики не дрогнули, били стойко, не давая врагу вести прицельное бомбометание. Ну и в конце концов одного

стервятника все-таки подбили. Задымил, стал падать в лес. Остальные из их шайки струсили, ушли. «Воздух», что называется, очистился.

— Отдохнуть, верно, не довелось,— сказал комиссар.— Сразу же нам сообщили, что возле... забыл название деревушки... словом, возле той деревушки накапливаются немецкие танки. Видимо, готовят атаку во фланг нашим. Хорошо бы, мол, дать по ним крупного огня. Потом дополнительно уточнили: большое, дескать, скопление танков, координаты такие-то. Ну, раз координаты есть, командир батареи сделал расчет, навели орудие как надо, дали залп. Сообщают оттуда: «Хорошо! Просим подкинуть таких штучек побольше». Дали еще... Всего двенадцать «огурчиков». Говорят, здорово получилось. И танки, и пехоту, которая за ними собиралась идти в атаку, и каких-то мотоциклистов поразбросало во все стороны. Атака, понятно, сорвалась. Так и живем. Поддерживаем пехотинцев, ведем огонь на разрушение, ведем беспокоящий ночной огонек...

Пока мы собеседовали, стоя возле огромного орудия на открытой площадке, в воздухе появились три «юнкерса». Сделав резкий разворот, все три устремились на бронепоезд. Мы укрылись под бронеплитами соседней площадки, а зенитчики вступили с противником в бой. Проносясь вдоль поезда, «юнкерсы» один за другим обдавали его ливнем пуль. Кого-то, видимо, ранило. Командир бронепоезда сказал: «Петрова. В руку, кажется. Начальник санчасти Смирнов делает ему перевязку». Он отдал команду на паровоз машинисту, по фамилии Смушко. Мы поняли, что машинист должен теперь маневрировать под огнем врага. Поезд тронулся. Он шел то полным ходом вперед, то резко тормозил. И все это в зависимости от того, что в ту минуту делали «юнкерсы». На полном ходу он успел проскочить под сброшенными бомбами. Они разорвались позади поезда. А когда затормозил, бомбы упали впереди него.

Дальше поезд мчался по дороге, с обеих сторон сжатой высоким, рослым лесом. «Юнкерсы» появлялись из-за деревьев внезапно и тотчас исчезали. Зенитчикам же было очень трудно вести огонь из такой щели. Им удавалось лишь одно — не давать врагу бомбить и обстреливать наш поезд прицельно. Тем не менее раненые на бронепоезде были, потому что никто своих боевых постов не покидал, и хотя бомбы и пули летели не очень точно, без

прицела, они все же летели. Это был сплошной поток бронебойных и зажигательных пуль. В этом потоке каждый на бронепоезде работал удивительно хладнокровно, по-морскому, по-балтийскому. Если кого ранило, ни криков, ни стонов не было. Товарищ сразу же заменял товарища. Командир орудия Лемешев сам стал наводчиком, командир бронеплощадки, младший лейтенант Плотников принялся подавать снаряды. Пулеметчики на паровозе, открытые со всех сторон, как будто и не замечали вражеского огня: ни на секунду не прекращали стрелять по самолетам.

Минут двадцать длилось это горячее дело. «Юнкерсы» были отбиты. Бронепоезд продолжал путь. Можно было торжествовать. Но что такое, смотрим? Командир бронепоезда, комиссар, другие командиры и бойцы скинули свои фуражки и бескозырки. Смертью храбрых пал молодой связист, до конца остававшийся возле своего аппарата на площадке тяжелых орудий.

Уже там, на «Красной Горке», где нас ждал с машиной Бойко, мы присутствовали вечером при похоронах этого отважного, стойкого моряка-связиста.

Товарищи бережно опустили гроб в могилу, вырытую на высоком обрыве над Финским заливом. Было торжественно и грустно. Тяжелые серые волны бились о прибрежные камни под обрывом. Ветер то вскидывал, то прижимал к самой воде черноголовых чаек. Крик их, тоскливый, долетал до берега, до двух шеренг краснофлотцев, молчаливо выстроившихся перед ямой в желтом песке.

Шесть истребителей, возвращавшихся с запада, сделали круг над обрывом и ушли своим курсом. Летчики, должно быть, видели и эту яму в желтом сухом песке, и красный гроб с зеленой каской на его крышке, и блеск винтовок, вскинутых для прощального залпа.

— В память товарища Колесникова Василия Александровича — залп! — раздается команда. И над берегом единым ударом гремят винтовки.

Стиснув кулаки, слушают бойцы-балтийцы слова комиссара: «...За сожженные села, за пролитые слезы клянемся...»

И снова, как там, у тех, кто бьется сейчас в районе Керстова, звучат грозные слова; «Спи, Балтика отомстит».

В тот час, когда краснофлотцы-артиллеристы «Красной Горки» показывали нам казематы форта, свои двенадцатидюймовые орудия с боем на тридцать, на сорок и более километров и когда, ступая по видавшим виды тяжелым броневым плитам, мы старались представить себе обстановку событий, потрясших эту береговую крепость в 1919 году, в дни контрреволюционного мятежа, подстроенного белогвардейцами и приуроченного к наступлению Юденича, — именно в этот час нам сообщили, что нас срочно вызывают в Ленинград, в редакцию. Есть, мол, телефонограмма, переданная по военно-морским проводам.

Что делать? Опять пришлось откладывать новую встречу с морской бригадой подполковника Лосякова. Мы предполагали одно, а в редакции задумали что-то другое. Приказ есть приказ.

Через два с половиной часа мы были в своем отделе, у своего начальника Васи Грудинина.

— Прохлопываете важные события! — сказал наш начальник недовольно.— Немцы пытаются от Вырицы прорваться к железной дороге Ленинград — Москва...

— Они идут лесами через Ново-Лисино, — сказал я.

— Откуда ты знаешь?

— Да так... от фельдмаршала фон Лееба слышал.

А что другое можно было тут сказать, откуда, мол, я знаю. От белогвардейских генералов я это знаю, из их «Воспоминаний о Северо-Западной армии», от Родзянко и от других. Это они еще раньше немцев, в 1919 году, рвались к Николаевской железной дороге, чтобы отрезать красный Питер от Москвы, от всей страны. Но тогда в районе Поповки их встретили красные части и отряды и дали им по зубам, отбросили назад, к Павловску, к Царскому Селу. Сейчас немцы до Павловска и бывшего Царского Села напрямую пройти не смогли. Поэтому хотя и проделывают тот же маневр, с прорывом к магистрали Ленинград — Москва, но по дорогам, несколько дальше отстоящим от Ленинграда — со стороны Вырицы. Им хотелось бы вырваться к Неве выше Ленинграда — это же яснее ясного.

— Так вот,— сказал Вася Грудинин, не принимая наших шуток.— Там, в лесах,— он по карте указал на район вокруг Ново-Лисина, — немца бьют наши войска. Противник отброшен дивизией полковника Бондарева. Взяты

трофеи. В ТАСС об этом знают, в «На страже Родины» — тоже. Одни мы без информации. Есть вот из Политуправления фронта кое-какие данные — показания пленных. И только. Если хотите, вот вам копии. И еще вот о чем я хотел бы попросить вас, ребята: захватите с собой Ваню Еремина. У него машины нет, передвигаться ему трудно, пусть поездит с вами.

Чувствуя себя виноватыми — прохлопали крупные события на фронте! — мы захватили листки, предложенные нам Грудининым, и, пополнив запас бензина, тотчас выехали в Слуцк, бывший Павловск, где, как предполагают, стоит штаб стрелковой дивизии Бондарева. Ехали на этот раз втроем: с нами был и наш добрый, веселый товарищ Ваня Еремин. Конечно же, мы с удовольствием приняли его в свою бригаду.

Вечерело, и в Слуцк мы въехали в этой вечерней, странной тишине. Где же и как искать победоносную дивизию? Здесь, в Слуцке, два с половиной года назад начинал я свою журналистскую жизнь литсотрудником маленькой, но ершистой районной газетки, имя у которой было «Большевистская трибуна». Поссорился насмерть с директором опытной сельскохозяйственной станции в Новой Деревне, под Пушкином, и ушел сюда, в эту газетку. Хорошая то была журналистская школа. Вспоминаю о ней с великой благодарностью. Понятно, что я знал в Слуцке многих, в том числе и секретаря райкома Якова Ильича Данилина, с которым мы были в добрых, дружеских отношениях.

В райкоме во всех окнах стояла темень. Но в эти месяцы мы уже нигде по ночам не видели светлых окон, и такая темнота ни о чем ином, кроме как о тщательности светомаскировки, не говорила. И верно, райком был полон народу. У Данилина шло совещание. Но не такое, как бывало прежде, когда я здесь сиживал в углу кабинета с блокнотом в руках. Не было ни прежней чинной, строгой атмосферы, не было никаких правил типа «Здесь не курят», не было пространных речей. Все курили, все говорили, но говорили коротко, видимо, только самое главное, важное. Данилин успевал слушать одних и тут же отдавать распоряжения другим. Люди входили и уходили. Совещание было не текущее, а текучее.

Нас Данилин встретил радостно.

— Думали ли мы когда-нибудь, — сказал он мне, — что придется в такой вот обстановочке встречаться?

Все капустой занимались да картошкой. Из-за них спорили и ссорились. А сейчас... — Он шепнул: — Сидим, думаем, кого в подполье оставить. Не каждый это может, а?

Но они, как выяснилось дальше, думали еще и о другом — как не оставить врагу скот колхозов и совхозов, собранный с полей урожай, машины; это же богатство, копившееся годами; сколько труда, нелегкого труда потрачено было для того, чтобы встали на ноги, разбогатели наши пригородные колхозы и совхозы.

— Яков Ильич, немец-то, говорят, отброшен, — сказали мы. — Может быть, и нет особой нужды со всем этим спешить — с эвакуацией? Дивизия Бондарева...

— Отброшен, верно, — перебил он. — Бондаревцы здорово бьют фашистов. Но... — Он почесал в затылке. И мы поняли его жест и его мысль. Поняли, что бывает всякое. Этого всякого мы уже насмотрелись.

А где бондаревцы сейчас, поинтересовались мы. Не знает ли кто об этом в райкоме?

— Там, за Ижорой, — был ответ. — В бою. Немцу дали жару, взяли у него трофеи — минометы, пулеметы, но немец вновь контратакует. Мы тоже в тех местах стоим. — Говорил это высокий худой капитан с висящей на поясе туго набитой полевой сумкой.

Данилин нас познакомил, сказал:

— Товарищ из укрепрайона. Артпульбатами ведает.

Артпульбаты, героические артпульбаты! Не многие знают о вас, не много пишут о вас. Но на скольких рубежах вы, именно вы держали, держите, изматываете, обескровливаете немецкие дивизии!

— Поедемте со мной,— предложил капитан.— И наше хозяйство посмотрите, и бондаревцев поможем вам найти. А то где же ночью-то одним плутать.

Распрощавшись с Данилиным, отправились в ночной путь. Капитан ехал на грузовике впереди, мы — следом. В полном мраке остановились.

— Теперь, товарищи корреспонденты, придется пешком. Машины оставим здесь. Дальше ими нельзя. По шуму моторов начнут бить.

С полчаса шли, путаясь ногами в сухой осенней траве, спотыкаясь. Потом стала подыматься над лесом луна, посветлело.

— Ну, теперь и вовсе надо быть осторожней, — предупредил капитан. — Правда, мы уже близко.

Идем вдоль берега. Зыбкая лунная тропинка бежит через реку, за которой лес, а на опушке леса — враг. Там, где лес, и за лесом мерцают огни, будто костры в ночном. Вот, думается, звякнет в кустах колокольчик, фыркнет стреноженный конь и пойдет тяжело скакать по лугу.

Но вместо этого глухой удар и чуть позже взрыв: слева от нас, в отдалении, с хрустом рвется снаряд. За первым — второй, третий... Нет, значит, не костры впереди, не ночное, а то горят, догорают наши села и деревни, уже сожженные, но все еще вспыхивающие под ночным ветерком.

Днем по этому берегу, как говорит нам капитан, не ходят. Мы не спрашиваем почему. О том достаточно ясно свидетельствуют воронки от снарядов, черные при лунном свете и глубокие, как сквозные дырья в земле. Земля между ними изодрана железными когтищами. Это следы мин.

Немцы вот уже несколько дней подряд — как только добрались до реки — шлют на этот берег снаряды, бомбят его с воздуха. Здесь один из очередных рубежей, преградивших им путь к Ленинграду, рубеж, на котором бойцы-ленинградцы изматывают, перемалывают силы гитлеровцев. Глубоко в земле скрыты наши доты и дзоты — пушечные, пулеметные огневые точки. Строили их рабочие и работницы Ленинграда, а теперь защищают тоже ленинградцы, наши товарищи, земляки. Нет, думаем, не зря копались бесчисленные рвы и траншеи руками мирных жителей великого города, не зря люди гнули спины под солнцем и под пулеметным огнем с воздуха. Где-то враг и прошел через эти рвы с ходу, а где-то и споткнулся, застрял. И если хотя бы десять процентов такого труда пошло на пользу, дело уже сделано, труд себя оправдал. Смешно было бы требовать в таком деле стопроцентной отдачи. Война же. Не ты один умный, а и враг не дурак. Не ты один думаешь, а и он занят тем же.

Размышляя так, спускаемся по узкому, извилистому ходу к дверям в землянку командного пункта. В землянке встречаем командира роты Суворова, его помощника Введенского, политрука Алексеева. Еще недавно их всех мы могли бы встретить и в Ленинграде. Алексеева — в цехах одного из больших судостроительных заводов, где он был заместителем секретаря парткома. Суворова — в земельной организации в должности техника по автоделу. Введенского — в учебном отделе спортивного обще-

ства «Спартак». А сейчас вот волею судеб они собрались в этом подземном обиталище, удивительно похожем внутри на обычную бревенчатую избу крестьянина. Видимо, в землю опустили, вкопали именно сруб такой избы. Коптят на столах две керосиновые лампы, непрерывно зуммерит телефон: то некая «Кура» вызывает «Журавля», то товарищ «25-25» просит к аппарату товарища «25-27».

Нас расспрашивают о последних новостях, об улице Марата, Выборгском районе, где живут семьи этих людей. Смотришь на них, и становится особенно ясным глубокий смысл слов, несколько дней назад сказанных командиром Суворовым его бойцам.

Когда рота только что пришла сюда, на этот рубеж, Суворов выстроил всех бойцов и сказал всего одну фразу:

— Запомните, товарищи, отсюда мы пойдем только вперед или... останемся лежать здесь навсегда.

Столкнуться с врагом пришлось им очень скоро. В тот же вечер командир заметил в бинокль движение на опушке, за рекой. Растянувшись на добрый километр по фронту, наступая из лесу к реке, из него цепью выходили люди. Известно было, что где-то впереди находились наши части. Встал вопрос: кто же это — свои или чужие? На всякий случай вся укрепленная линия стала готовиться к бою. Политрук пробрался на правый фланг к артиллеристам, командир остался в центре, с пулеметчиками.

Все стало ясным, когда за рекой застучали выстрелы. Это наше боевое охранение, заранее залегшее вдоль реки на том берегу, уже увидело и различило погоны наступавших солдат, услышало немецкую речь и ударило из винтовок.

За первой цепью немцев из лесу тем временем выходила вторая цепь, за второй — третья...

Выждав момент, рота открыла огонь из всех своих огневых средств. Снаряды пушек рвались над вражеской пехотой, пулеметы били по ее рядам. Немцы легли и дальше двигались только ползком. Но все-таки двигались.

Обнаруживать их стало труднее. Открытое пространство перед лесом тянулось каких-нибудь 300—400 метров, ближе к реке начинался густой колхозный смородинник, а на самом берегу уже была деревня, брошенная жителями.

Цепи немцев добрались сначала до смородинника, а затем вступили и в деревню, под прикрытие изб. Отдельные их группы попытались было с ходу переправиться и через реку.

Смеркалось по-осеннему быстро. Через час должна была наступить полная темнота, и тогда противника будет совсем нелегко сдерживать, он вполне сможет перемахнуть на этот берег.

— Надо осветить реку! — решил командир.

Группа бойцов переправилась с зажигательными бутылками в деревню, занятую немцами. Одна за другой вспыхивали избы. Но, к удивлению, как они быстро загорались, так же быстро и гасли. Немцы, видимо, гасили пожары. Тогда пулеметчики стали бить по горящим избам, не давая гитлеровцам сбивать пламя.

Деревня горела. Горела ярко. Над рекой стало светло как днем. Враг не выдержал и стал отступать. Лишь в отдельных домах засели автоматчики, но и тех перебили в рукопашной схватке переправившиеся за реку бойцы-ленинградцы.

Немцы в этом месте к Ленинграду не прошли. Наши рабочие, наши женщины, строившие эту линию укреплений, эти огневые точки, могут гордиться. Их самоотверженный труд был потрачен не напрасно. Построенное ими попало в надежные руки.

Обо всем этом нам рассказывали наперебой. Рассказывали и случай с бойцом Мишотом. Во время боя одно из орудий должно было сменить позицию. Его прицепили к автомашине, а в ее кузов погрузили снаряды. Машина в дороге попала под обстрел и загорелась. Что же сделал боец Мишот? Он бросился к горящему грузовику, выдернул чеку и так спас орудие, отцепив его на ходу от автомашины.

Мы слушали рассказы о боевых делах отважных, беседовали с ними, когда в землянку вошел старшина роты Послов.

— Товарищ командир, — обратился он к Суворову, — прошу разрешить мне отправиться в разведку.

— Разрешаю, — просто, буднично ответил командир.

Разведка отправилась за реку в лунную и ясную ночь, когда надо быть особенно зорким и втройне осторожным.

Все здесь было интересно, героично, все заслуживало того, чтобы быть записанным в блокнотах.

Одно огорчало: никто в роте так и не смог нам сказать, как же отыскать бондаревцев. Полки и батальоны дивизии несколько дней назад сражались правее укрепленного рубежа, не давая врагу выйти к реке. А где они сейчас, укрепрайонцам неизвестно.

В середине ночи, сопровождаемые капитаном из штаба, ведающего артпульбатами, благодаря любезности которого нам удалось услышать много интересных рассказов, мы шли обратно к своей машине. То и дело нас окликали часовые: «Пропуск!» — всюду на нашем пути слышался стук лопат и кирок по тяжелому, глинистому грунту. За одной линией дзотов и соединяющих их траншей ленинградцы под покровом ночи возводили вторую.

В полной тьме, потому что луна ушла в плотные тучи, мы наткнулись на группу командиров. Они проверили наши документы, а мы выяснили, кто они. Это была командирская разведка ИПТАПа — истребительного противотанкового артиллерийского полка. Командиры шли выбирать позиции для своих батарей. Ожидалось, что немцы вот-вот ударят на Слуцк. Артиллеристы нам сказали:

— Бондарев? Да мы только что были у него. Он в Слуцке. В казармах.

Поспав несколько часов в машине, мы чуть свет заявились в эти казармы. Бондарев принял нас отлично, с широким радушием доброго, сильного, уверенного в себе человека. Он завтракал, сидел за столом, как, бывало, сиживал (если, конечно, судить по кинофильму) Василий Иванович Чапаев, — без поясного ремня, ворот гимнастерки расстегнут. Над клапаном левого кармана — орден Красного Знамени, орден Красной Звезды и медаль «XX лет РККА».

— Пейте, товарищи корреспонденты, — угощал он, — ешьте.

Мы пили и ели, не дожидаясь особого подбадривания. Мы уже давно научились есть «в запас», «на всякий случай».

Шла интересная беседа. Полковник Андрей Леонтьевич Бондарев говорил с мягким, приятным акцентом южанина. Он часто поминал о том, что перед его 168-й дивизией противник бежит, но получалось у него «бегить»; мы невольно улыбались, весело улыбался и он.

А противнику и в самом деле перед его дивизией пришлось немало побегать. Бондарев уже бил врага под Вы-

боргом, на Карельском перешейке, после чего командование фронтом срочно перебросило дивизию сюда, в эти сырые, болотистые леса.

— Дело в том, други мои,— рассказывал он нам, то отпивая чай из стакана, то отчеркивая карандашом на поданной ему адъютантом карте, — в том оно, дело это, что мы с нашей дивизией должны были обеспечить выход из трудного положения тем войскам, которые и сейчас еще выбираются из мешка под Лугой, — войскам генерала Астанина.

Бои под Лугой — одна из героических страниц обороны Ленинграда. Мы жалеем, что не удалось побывать на тех рубежах своевременно. А теперь поздно. Под Лугой мы держали противника сорок долгих дней. Из-за нашего стойкого сопротивления там немецкое командование вынуждено было предпринимать все эти сложные маневры и обходы, одним из которых явился тот, о котором я уже много записал, — через леса к Поречью, Ивановскому — в район Веймарна и Кингисеппа.

Все эти обходы в конце концов дали немцам возможность почти окружить Лугу; войска, геройски сражавшиеся на тех рубежах, оказались в очень тяжелом положении и по приказу фронта стали с упорными боями вырываться из охвата.

Навстречу-то им, чтобы проложить, расчистить дорогу, и была брошена 168-я закаленная в боях дивизия талантливого командира А. Л. Бондарева. Дивизия прорвалась через леса в районе селений Ульяновки и Лисино-Корпус к железнодорожной линии Тосно — Гатчина. Было перебито, как считают, около полка гитлеровцев, разгромлены штабы двух немецких полков, взяты первые на нашем фронте толпы пленных, пулеметы, минометы, орудия.

Сейчас бои идут, не прекращаясь, бондаревцы здорово бьют врага. Это воодушевляет, подбадривает ленинградцев.

Зазвонил полевой телефон. Вызывали полковника Бондарева. Он должен был уезжать.

— Очень прошу, почекайте меня, скоро приеду, — сказал он, затягивая пояс и застегивая ворот гимнастерки.— Еще трошки побалакаем.

— Но нам не хотелось бы терять времени.

— Не хотелось бы терять?.. Ну что же, езжайте пока в полки. К Ермакову, например. Боевой полк. Боевой

командир. Он сейчас в бою. Вам будет интересно и полезно. У нас есть кто-нибудь от Ермакова? — спросил он своих командиров.

— Так точно, командир связи лейтенант...

— Пусть покажет дорогу, а то проплутают корреспонденты в лесу.

9

Мы ехали через Федоровку, в которой мне часто приходилось бывать в ту пору, когда я работал в «Большевистской трибуне», и позже, когда приезжал сюда корреспондентом областной «Крестьянской правды» — до ее слияния с «Ленинградской правдой». Помню, именно в Федоровке отыскивал следы боев с Юденичем. «Крестьянская правда» просила тогда к одной из очередных годовщин разгрома белых под Петроградом написать очерк. Я объездил, точнее, обходил пешком район Красногвардейска, Красного Села, Пулкова, Александровской, Детского Села — ныне Пушкина, многих сел и деревень. Стоял перед намогильными столбиками, разбросанными вдоль наших пригородных дорог, шел путями разных полков и эскадронов, из которых состояли войска Юденича и Родзянки, отыскивал отметины тех далеких и героических времен. Федоровка была селом, накопившись в котором белые предприняли было бросок к Николаевской железной дороге, в район Поповки. Но, как я уже помянул, были встречены там красными отрядами и покатились назад. В бревнах нескольких изб Федоровки я отыскал осколки трехдюймовых гранат. В одном бревне два десятка лет прочно сидела дистанционная головка снаряда.

Сейчас Федоровка — военный лагерь. За каждым домом то военный грузовик, то броневичок или даже танк, то кухня. Здесь был отличный овощеводческий колхоз, тут были замечательные люди. Не видно никого. Может, кто и остался, сидит в погребах на огородах да под домами от непрерывных обстрелов с самолетов, но большинство ушло в сторону Ленинграда. Из пригородных селений перед наступающим немцем уходят и толпами и бегут поодиночке. Все уже знают, дошли известия до народа, какой злобный, безжалостный, жестокий враг ворвался в нашу страну.

Оборону под Федоровкой держит, как нам сказали, 265-й отдельный артпульбат; состав его — рабочие и интеллигенция Куйбышевского района Ленинграда.

За Федоровкой мы должны переехать по мосту через Ижору. Но мост бомбят; бомбят и селение перед мостом. Это близко, все видно. Видно, как летят в воздух балки, камни, листы жести.

— Надо обождать, — говорит лейтенант.

Но мы и сами без особого труда соображаем, что через такое пекло кататься на автомобильчике особого смысла нет.

Заехали в кусты. Лейтенант раскрыл полевую сумку, показывает нам полученные в политотделе для комиссара полка выписки из показаний немецких солдат, в последние дни взятых в плен, касающиеся бондаревской дивизии. Это те же самые выписки, что были и у Грудинина и которые мы хоть и захватили с собой, но толком прочесть еще не удосужились. Читаем сейчас, покуда ничего другого делать невозможно.

Вот кое-что из показания Хельмута Ланге — ефрейтора 121-го саперного батальона 121-й пехотной дивизии Гитлера: «Последнее время немецкая пехота несет большие потери от ружейного огня. Наши солдаты подавлены тем, что сопротивление советских войск возрастает». Как прав был, вспоминаем, бригадный комиссар Мельников, утверждавший недели две назад, что именно по мере нашего отхода к Ленинграду будет возрастать и сила нашего сопротивления. Другой ефрейтор, из 283-го полка 96-й пехотной дивизии немцев, Ганс Курт, показывает: «Мы были рассеяны и обращены в бегство. Вчера перед нами появилась какая-то страшная дивизия, которая не боится ни артиллерийского, ни минометного огня».

Листаем эти выписки, видим в них и такие строки: «Здесь я почувствовал настоящую войну. За каждый метр земли русские дерутся как львы и скорее убивают сами себя, чем сдаются в плен».

Авторы этих высказываний взяты в плен на том участке фронта, на котором сражается дивизия Бондарева. Вдумываемся в их признания, вспоминаем разговор с командиром дивизии, сопоставляем все вместе и, поскольку боевые эпизоды уже достаточно описаны нашими товарищами по оружию в других газетах, решаем

по мере сил и возможностей разобраться и рассказать читателям, в чем же сила бондаревцев.

Когда «юнкерсы» оставили наконец переправу в покое, мы двинулись вперед. По изодранным в щепы доскам и балкам моста переехали реку. Кстати, саперы-строители уже спешили к мосту с топорами и пилами.

За мостом долго петляли по узким лесным дорогам и дорожкам. Машину давно покинули на одной из просек, шли пешком навстречу жесточайшему бою. В отличие от того, что нам приходилось в таких случаях слышать раньше, тут почти не раздавался голос артиллерии — бушевал винтовочно-пулеметно-автоматный огонь да похрустывали мины малых калибров. Стучали, стучали, стучали неутомимые машины смерти, то усиливая, убыстряя темп, то замедляя его, но не умолкая ни на минуту.

Полковника Ермакова нашли в лесу возле завала из подрубленных осин и насыпанной меж стволами рыхлой торфянистой земли. В петлицах его еще были подполковничьи знаки различия — новое звание ему присвоили только что, в ходе боев.

Ермаков долго не мог нам уделить внимания. Он сидел в покрытом дерном шалаше возле телефонного аппарата, и связист передавал кому-то его приказания. Бой шел совсем рядом; лейтенант сказал нам, что не далее чем в нескольких сотнях метров от этого места уже немцы: по треску винтовок можно определить эту близость.

Когда с окрестных болот потянуло вечерней сыростью и меж деревьев стал сбиваться в клочья холодный белесый туман, командир полка вышел к нам, и мы все уселись на толстом стволе поваленной осины.

— В чем наша сила? — заговорил он, когда мы рассказали ему о цели нашего появления в полку. — Ничего особенного у нас нет. Вот вы говорите о показаниях пленных: удивляются, мол, нашему сопротивлению. Чудаки. Храбрость русского солдата известна давно, не одно столетие знают о ней и наши враги и наши друзья. Верно? Верно. У русского солдата простая, отзывчивая душа. Его надо долго злить, чтобы обозлить. Поверите ли, до сих пор, когда все уже достаточно убедились в нечеловеческой жестокости гитлеровцев, находятся бойцы, которые говорят: «Товарищ командир, не могу убивать людей. Немцы же тоже люди. Рука не подымается». Вот

они какие душой, эти наши ребятки. Такие они, конечно, и во всей Красной Армии, в любой дивизии, в любом полку. Но душа душой, а что бойцу надо, чтобы он все-таки дрался, и дрался стойко, мужественно, как лев? Ему нужна вера в командира. Чтобы он верил командиру больше, чем себе. Вот тут-то, командир, и призадумайся над каждым своим шагом...

Ермаков рассказывает о первом пришедшем ему на память случае, когда одно из подразделений полка оказалось, по существу, почти в окружении. «А вы, наверно, убедились уже, какой страх нападает на бойцов от одной только мысли о возможном окружении?» В полку решили послать подкрепление окруженным. Для этого была одна возможность: та еще оставшаяся узкая сырая ложбинка, по которой, стиснутые с двух сторон противником, люди могли пробираться поодиночке, да и то ночью, и к тому же целый километр ползя на животе.

— Трудно? Очень трудно. Но бойцы смело пошли на выручку товарищам. Почему? Потому ли, что оказались они у нас от природы такими храбрецами? Специально, мол, к нам таких отбирали? Нет. Совсем нет. Пошли они потому, что каждый знал: впереди, в темноте ползет их командир товарищ Зверев.

Ермаков, умный, раздумывающий командир, сам увлекся рассказом. Он закуривает одну папиросу от другой.

— Если хотите, чтобы люди у вас были храбрыми, прежде всего будьте сами такими. Если хотите, чтобы они у вас не отступали ни на шаг, сами, дорогие мои, не спешите сматывать удочки, не переносите без нужды свои КП назад, якобы в более удобное место, не «выравнивайте» непрерывно фронт, отходя на так называемые «заранее подготовленные позиции». Именно этого требует от нас комдив Бондарев, сам беззаветно отважный человек. Это подразделение, о котором я говорю, несколько суток дралось в окружении. И как дралось! А почему? Потому что, повторяю, командиры все время были с бойцами. Каждую ночь к ним по десятку раз с двумя-тремя красноармейцами пробирался командир взвода снабжения Семенов, таскал суп, хлеб, патроны, гранаты. В подразделении знали: если кого ранит, тот не пропадет, по ночам по той же ложбине санитары вытаскивали раненых. А санитаров на такое дело водил, работая к тому же за четверых, сам доктор Авраменко.

И подразделение выстояло, выдержало и, наконец, с боем вырвалось из окружения, не оставив врагу ни одного человека, ни одной винтовки. В чем же тут секрет? Все до крайности прописное. Да, — помедлив, сказал Ермаков, — вера в своих командиров — великое дело. Она не просто так, не сама собой возникает. Боец простит командиру ошибку, допущенную в рискованной схватке, пусть даже гибельную ошибку. Но он ни за что не простит ему трусости. Мало того, если и командир труслив, то все, что он делает, бойцу кажется неправильным и несправедливым. А это страшная штука, скажу вам. Зато, где командир отважен, где он требователен к бойцу, но не менее требователен и к себе, там победа. Вот командир подразделения Шишера. — Ермаков и эту фамилию называет легко, по памяти, видимо отлично зная своих людей. — Шишера — это же самородок, талант. Он долго взвешивает все «за» и все «против». Но если принял решение, будьте уверены, не ошибется. Был на днях случай: двое суток ходил Шишера со своим подразделением по тылам противника, громил там эшелоны, штабы, склады, а вернулся целехонек, не потерял ни одного бойца. Даже привел с собой шпиона, которого его красноармейцы ухитрились поймать. А вчера опять совершил такой поход по вражеским тылам. Бойцы ему всей душой преданы. Это даже больше, чем вера. Это, если хотите, и любовь. — Ермаков чему-то усмехнулся. — Комплектовали мы подразделение разведчиков. Дай-ка, думаю, возьму кое-кого у Шишеры. Орлы там ребята! Вызываю одного, другого, третьего. Беседую. Дело ведь такое — добровольное. «С большой охотой пойдем,— говорят,— товарищ подполковник. Только, конечно, если с нашим командиром. С ним хоть под самый Берлин пойдем». А разведка, повторяю, дело особое... Голым приказом тут не возьмешь. Тут человек сам должен идти, зная, на что он идет. А вот Воробьев, командир другого подразделения. В бою это огонь-человек. Умеет уловить такой момент, когда минута решает все, и тогда кидается в самое пекло, увлекая за собою бойцов.

Было видно, что полковник Ермаков любит и свой полк и этих командиров, которыми буквально любуется, говоря о них с таким жаром, и бойцов полка — «орлов» и «героев». Мы слушали и думали: «А как сделать, чтобы на те должности, с которых командуют, попадали бы только вот такие люди, подобные Ермакову, а, ска-

жем, не такие, как наш редактор, для которого важно одно: топают ли его сотрудники в редакционных коридорах или ходят на цыпочках, «соблюдают» или «не соблюдают», трепещут или не трепещут, а что и как они делают, как работают, куда устремлены — плевать. А их же таких, по его образу и подобию, ведь немало в начальстве, таких, которые любят ходящих на цыпочках, которые обожают лесть, подхалимство и своими личными врагами считают тех, кто говорит им в глаза правду, кто не лебезит перед ними, сохраняет свое человеческое достоинство. С теми, которые не гнут шею, которые говорят правду, наверно, общаться труднее, ладить с такими надо уметь. Но с ними же и дело пойдет по-настоящему. Потому что они не служаки, не исполнители, а творцы — маленькие ли, большие, но на своих местах они, безусловно, творцы. А те, у которых шея резиновая, которые каждое словцо начальника встречают радостными улыбками и бурными аплодисментами, — они если что и создадут, то лишь кумира из своего начальника, увы, очень часто посредственного, ординарного».

Мы раздумывали об этом, уже давно пересев со ствола холодного, сырого дерева на охапку еловых лапок, набросанных возле лесной канавы. На такие раздумья нас навели страстные, умные рассказы полковника Ермакова о людях. Он рассказывал и о боях, о многих боях, но то были не просто боевые эпизоды, которых вам сколько угодно порасскажут в любой из сражающихся частей. Через боевое дело он раскрывал характер человека, и человек вставал перед нами как живой.

Командир полка полковник Ермаков знает не только командиров и политруков в батальонах, в ротах. Он называет одну за другой и фамилии рядовых, отличившихся в боях. Стрелок Наумец, артиллерист Чуваев, писарь Касаткин... Командир полка называет и называет их, как бы все еще отвечая на наш главный вопрос: в чем же сила бондаревцев?

— А еще чему учат у нас в дивизии? — говорит он. — Тому, что боец — это хозяин своего рубежа. Занял место — держи его. Не жди: вот, мол, подойдет враг, тогда начну действовать. Есть колючая проволока — протяни ее перед собой, устрой завал на пути противника, расчисть сектор обстрела. А основное — глубже заройся в землю, лучше замаскируйся. Сделай все, чтобы прегра-

дить дорогу врагу, а самому быть неуязвимым. Словом, не жди по любому поводу указаний и приказов, проявляй во всем инициативу, самостоятельность. А когда уже вырыт окоп, когда укреплен занятый рубеж, боец психологически привязан к этому месту. Как бы враг ни напирал, боец не побежит назад, зная, что само это место защищает его. Нынешняя война — во многом война нервов. Противник стремится подавить психику наших людей, сломить нашу волю к сопротивлению. А мы прививаем бойцам выдержку, хладнокровие. Мы говорим: не так страшен немец, как он хочет казаться.

Неподалеку среди деревьев упали и разорвались две мины. Ермаков даже не обернулся на взрывы.

— Было так, — продолжал он, переждав, пока не перестанут валиться сучья, сбитые осколками, — восемнадцать танков почти неслышно, на очень малых оборотах подошли к позиции одного из наших подразделений. За танками, не отставая, двигалась немецкая пехота. Бойцы затаились в укрытиях. Ждут. Пропустили они танки над своими головами, над окопами, а пехоту встретили в штыки. Атака была отбита. Победила выдержка. А начни они палить навстречу танкам... Ну, что бы они сделали со своим легким стрелковым оружием?! Выдержка победила и в другой раз. Полсотни «юнкерсов» — заметьте, полсотни! — целых тринадцать часов без перерыва... одни висят в воздухе, другие несутся за новыми бомбами... Так вот, тринадцать часов они, эти полсотни стервятников, бомбили наше подразделение. Стонал лес, дым и пыль скрыли от нас небо. Ну, ад — и только. Прямо-таки уже на сковороде или в котле со смолой. Но кончилась бомбежка, и из растерзанной земли, из окопов и щелей поднялись люди, готовые продолжать ожесточенную битву. Сотни, а может быть, там были и тысячи бомб, не принесли нам большого ущерба...

Трахнула мина. На этот раз еще ближе. В лица пахнуло взрывным газом, горячим ветром. Мины посыпались одна за другой. Застучали еще торопливей, чем прежде, пулеметы и автоматы, и в притихшем было на какие-то полчаса лесу разбушевались пороховые и нитротолуоловые стихии.

— По щелям! — скомандовал на этот раз Ермаков. И через минуту, когда все, кто был вокруг его КП, укрылись в землю, продолжал: — Теперь молодцы из фатерлянда зарядили на всю ночь. Их беспокоит наша раз-

ведка. Мы тут немцу житья не даем. Но и он не дает нам зазеваться.

— А почему же вы так близко к самому бою, к противнику устроили свой командный пункт?

— Ах, друзья, друзья! Вы же спрашиваете, в чем сила бондаревцев. Вот, в частности, и в этом. Боец все время должен чувствовать, что его командир рядом, что его командир всегда со своими бойцами.

10

Всей нашей бригаде стало ясно назавтра, почему военный комиссариат Октябрьского района с таким упорством отказывается призывать меня в армию. В предыдущий приезд в Ленинград я снова ходил к военкому, тот листал тощую папку с моим «делом», пожимал плечами. «Молодой человек, вы же «безусловно негодный к военной службе». Понимаете ли, «безусловно», так прямо и сказано». — «Я же в редакции, видимо, останусь. Не в нашей, так в какой-нибудь другой — в армейской или дивизионной. Мне ни перебежек не придется делать, ни ползать по-пластунски». — «Всяко бывает, всяко бывает. И журналисты ходят в бой. Вот понадобится идти в атаку, а вы за свое сердце схватитесь — и себя и товарищей подведете. Что тогда?»

Вчера вечером и сегодня ночью это «что тогда» было в какой-то мере продемонстрировано на практике. Длинный переход по лесу до КП стрелкового полка полковника Ермакова и еще более длинный обратный путь, когда мы оступались в темноте, на дорожных колдобинах, спотыкались о проволоку, падали в канавы, добираясь до машины, в которой мирно похрапывал Бойко, сделали свое дело. По приезде в Слуцк Михалев и Еремин щупали мой пульс, прикладывали уши к моей груди — слушали сердце.

— Я не доктор, — объявил Михалев, — и ты и Ваня, надеюсь, это знаете. Но даже и для меня ясно, что сердце у тебя того... или, вернее, не того...

Я не мог идти: подкашивались ноги. Не от усталости, нет, от чего-то более тревожного: в сердечных клапанах явно разладилось.

— Надо найти хороший, спокойный ночлег, — сказал Михалев. — Ты должен полежать, основательно отдохнуть.

Мы заехали к коменданту во дворец Павла I. Комендант сказал: «Ребята, треть домов в городе пустые. Выбирайте подходящие хоромы и ночуйте. Вот вам и все мое решение».

Серафим Петрович не спеша вел машину по ночным, пустынным улицам. Ну где тут можно «отдохнуть спокойно», когда в нескольких километрах от этих улиц идет жестокий бой? В райкоме с затемненными окнами? В типографии той газеты, в которой я когда-то работал? В нашей бывшей редакции, в тесных комнатках старого деревянного дома на главной улице? У кого-нибудь из знакомых?

Сворачивая в ту улицу, где была типография «Большевистской трибуны», мы при свете луны увидели вывеску: «Починка часов всех систем». Под вывеской — входная дверь, направо и налево от двери — две витринки, два окна, в которых старые будильники и старые ходики.

Дверь была не заперта, и мы вошли. Посветили фонариками. Полнейший разгром. Все, что еще как-то годилось, хозяева прихватили, видимо, с собой, эвакуируясь день-два назад, а остальное бросили. Горы хлама, в котором после отъезда хозяев кто-то еще и основательно порылся в надежде: а не осталось ли, мол, тут парочки золотых часов фирмы «Мозер» или «Павел Буре». Прилавок опрокинут, с мягких стульев содрана обивка, пружины поднялись вверх. Ящики, коробки с позеленевшими медными и стальными колесиками, ржавыми спиральками, пригоршнями изогнутых стрелок — часовых, минутных, секундных. Деревянные ломаные футляры от настенных часов, маятники — малые, средние, огромные. Гири, цепи, циферблаты. Банки с чем-то и банки ни с чем. Тряпки, веревки, палки, галоши, ботинки...

Если сдвинуть в сторону этот салат из принадлежностей мастерской часовщика, то откроется еще и старая, промятая тахта, с которой спороли плюш; драли его не целиком, а кусками, отчего тахта вся в лоскутьях. А за дощатой, оклеенной обоями перегородкой, где, видимо, было жилище этой семьи, оказалась и железная кровать — койка с пружинной сеткой.

Выяснив на всякий случай, есть ли у мастерской второй выход — он через кухню вел во двор, — мы залегли спать. Михалев и Еремин на тахте, а меня, как боль-

ного, расположили за перегородкой на койке, постелив, конечно, все, что нашлось подходящего, на проволочную сетку.

Сегодня утром я уже мог бы и встать, ноги уже держали меня достаточно прочно. Но Михалев и Еремин уговорили хотя бы с полдня поваляться. Накормили консервами «Бычки в томате» и сгущенным кофе, по обыкновению разведенным в холодной воде из-под крана, и отправились «на разведку»: «Пошукать, нет ли еще каких интересных частей в окрестностях Слуцка». А заодно и раздобыть ландышевых капель, которыми ограничиваются наши знания лекарств от болезней сердца.

Перебрался в переднее помещение, где светлее. Затворил входную дверь на засов, чтобы не быть захваченным врасплох. Лег на кушетку. Лежу. Вокруг города бахает, трахает. Уже не то, что было полтора месяца назад: теперь я почти профессионально разбираюсь, где выстрелы наши, где чужие, где выстрелы, а где разрывы, из чего стреляют и чем. Над городом по большей части рвутся шрапнели — по живой, следовательно, силе. Идут через город, следовательно, наши войска. Осматриваюсь, с помощью оставшихся мелочей пытаюсь думать о той жизни, какой жили люди здесь, в этой мастерской, и там, за перегородкой, за которой я провел ночь. Они что-то накапливали, что-то тащили в дом — и вот всему конец. Здоровенный сундук — крышка поднята, внутри старые валенки, старые драные платья и пиджаки, возможно, что еще царских времен. Все такое пыльное, латаное, заношенное и изношенное. На стенах цветные картинки — вырезки из журналов от старой «Нивы» или «Пробуждения» — разные «дамские прелестные головки» — до «Прожектора» и «Огонька» — с фотографиями строек в лесах, плотин Волховстроя и Днепрогэса, комбайнов и физкультурников на Красной площади.

Протянув руку, подобрал с пола одну из растерзанных, затоптанных книжек. Страшный вид всегда имеют растоптанные книги, распластанные на полу, на земле, со следами грязных подошв на страницах. Это как с людьми, выхваченными несчастьем из привычного, из обычного. Так и с книгами, сброшенными с полок, на которых они годами стояли в полном порядке, красуясь нарядными корешками. Расправил измятые страницы, посмотрел на обложку. Учебник алгебры.

Листал страницы, вспоминал школу, вспоминал минувшее.

Вспомнились и не такие уж давние времена работы здесь, в Слуцке, в редакции районной газеты. Мое лежание на изодранной кушетке под серой грубошерстной шинелью напомнило об одной ночи, когда, выпустив очередной номер, мы с только что назначенным новым заместителем редактора Алексеем Брусничкиным остались ночевать в редакторском кабинете. Он лишь так назывался, этот чердак, кабинетом, а на самом деле и был чердаком с покатой на две стороны крышей — нечто вроде каземата. Легли — я на кушетке, подобной этой, только поцелее, Брусничкин — на столе; на кушетку ложиться он почему-то не захотел. Я подумал: клопов боится.

Ночью он вскочил со страшным криком, зажег свет и стал поспешно одеваться, в глазах его был страх.

Потом не без моей помощи он сообразил, что оснований для паники нет, напился воды из графина, но спать уже больше не мог.

Разговорились, и он рассказал мне о том, как в годы гражданской войны, будучи политруком в продотряде, превысил, по чьим-то представлениям, данную ему власть и был приговорен ревтрибуналом к расстрелу. Семь дней сидел он в подвале старой мельницы, ожидая, когда будет приведен в исполнение суровый приговор. Сотни крыс плясали по ночам на нем, завернувшемся с головой в солдатскую старую шинель. Визжали, пищали, царапали шинельное сукно.

Вот он и сейчас проснулся оттого, что ему показалось, будто по нему пробежала крыса; из-за боязни крыс он и не лег на кушетку, а взобрался на стол.

Его, как я мог догадаться, не расстреляли.

— Я написал прошение на имя Михаила Васильевича Фрунзе, — рассказывал Брусничкин повесть своей жизни. — Написал, а сам всю ночь жду расстрела. Ждал я этого и на вторую ночь. Двое полных суток не прилег на пол и не закрыл глаз. Все ходил и ходил, а крысы бегали за мной следом. И только на третьи сутки заснул, и тогда-то они на мне разгулялись. На исходе седьмых суток меня отвели к коменданту города Зенькова. Он сказал: «В качестве политбойца, товарищ Брусничкин, вы направляетесь в свою часть. Она сейчас находится на марше и называется уже Отдельным образцовым ба-

тальоном Харьковского военного округа. Торопитесь. Возможна встреча с махновцами. В пирамиде стоят винтовки, выберите себе, какая приглянется, и айда!» — «А патроны?» — спросил я. «Мало их у нас, дружище. Вот тебе одна пачка. Свои отдаю. Понял?» Комендант сообщил мне маршрут, и я догнал свою часть на привале. А через день, 1 мая 1921 года, под селом Озеры, уже участвовал в горячем бою с махновцами. Комиссара батальона ранило, и я вступил в исполнение его обязанностей. Спустя месяц с небольшим, когда Фрунзе руководил операциями по ликвидации банд Махно, рыскавших по селам Полтавской, Харьковской и нынешней Днепропетровской областей, мне посчастливилось встретиться с этим замечательным полководцем. Ожидая нападения махновцев на сахарный завод где-то в районе города Кобеляки, наш батальон приготовился к бою. И тут-то к нам прибыл Фрунзе. Осмотрев наши позиции, он попросил дать ему проводника до станции Перещепино, где стоял бронепоезд. Новый военком батальона, товарищ Рудник, только что принявший от меня мои временные обязанности, сказал: «Вот политрук Брусничкин, он проводит вас, товарищ командующий». — «Брусничкин? — заинтересовался Михаил Васильевич. — Не тот ли обладатель редкостной фамилии, который приговаривался в Зенькове к расстрелу?» — «Так точно, он самый, товарищ Фрунзе!» — отрапортовал я, взяв руку к козырьку. Михаил Васильевич, улыбаясь, стал пересказывать прибывшим вместе с ним командирам содержание моего рапорта. «Человеку совершенно неправильно вынесли смертный приговор — за то, что он для Советской власти старался, а чудак этакий пишет: если, мол, вы посчитаете, что я виноват, то я с радостью встречу смерть». Все засмеялись. Смеялся и Фрунзе. Мне было неловко, я попытался объяснить свои слова: «Я написал, что с приговором-то не согласен, но если вы его найдете правильным, то...» — «С радостью умру? Опять вы свое! А чему радоваться, товарищ Брусничкин? Жизни надо радоваться, а не смерти. Ну, кончим об этом. Так дорогу на Перещепино знаете? Тогда поехали!» Все с трудом разместились в автомобиле, потому что немало места в нем занимал еще и станковый пулемет. Фрунзе хотел втиснуть меня четвертым на заднее сиденье, но я встал на подножку, держась за борт машины, и так мы двинулись. Ехали по песку, машина

шла очень тяжело, медленно. «Не сбились ли с пути?» — спрашивал Фрунзе. Наконец поднялись на горку, с которой открылся вид на станцию. Но и мы стали кому-то видны. Загремели выстрелы, свистнули пули. Одна из них пробила покрышку переднего колеса. Машина рванулась. Я соскочил на землю, сорвал с плеча винтовку, стал стрелять на звук выстрелов. Над моей головой заработал пулемет. Как выяснилось потом, из него стрелял сам Фрунзе. Я был в этой схватке ранен, меня отвезли на бронепоезд, а бронепоезд доставил всех в Харьков. Прощаясь со мной, Михаил Васильевич вырвал из своей полевой книжки листок, на котором было написано: «Политрук т. Брусничкин достоин награды за мужество. Фрунзе». Эту бумажку, полученную от выдающегося нашего полководца, я как драгоценную реликвию хранил долгие годы...

Приговор, следовательно, был отменен, забыт, у бывшего политрука хранилась замечательная записка. Так бы и делу конец, жил бы Алексей Брусничкин, и если бы чего и боялся, то только крыс. Но подошел 1937 год, ежовцы принялись перетряхивать старые дела и папки (кстати говоря, папок Брусничкина они могли бы и не трясти: чистый душой коммунист, настоящий большевик, он во всех анкетах всегда писал про свое — «приговаривался к расстрелу». Иные чиновные умы из отделов кадров, глубокомысленно глядя то в анкету, то на него самого, вопрошали, случалось: «А приговор был приведен в исполнение?»). Заглянули ежовцы и в папку Брусничкина. С работы его уволили. Ни одна редакция в тот горячий год не желала принимать его под свою крышу. Он вспомнил было профессию молодости — пимокатное дело, валяние валенок. Отправился на фабрику одной артели под Ленинградом — не надо ли, мол, пимоката. «Что вы, товарищ Брусничкин! Вы же коммунист, сами должны понять, что с такой биографией мы вас взять не можем». Гримаса действительности: коммунист, сами должны понимать, сколь вы опасны для валенковаляльного производства.

И вот только совсем недавно сошло это анкетное наваждение с Алексея Брусничкина, веселого, жизнерадостного человека, уверенного в том, что перед партией честнее он, чем те, которые его от партии отстраняют, преданный партии до последнего вздоха, убежденный в том, что партия — это не кучка тех, кто творит безза-

кония, прикрываясь именем партии, а прежде всего он сам, Брусничкин, и миллионы других Брусничкиных.

Я много повидал настоящих людей на своем веку — и на заводе, где был рабочим, и в колхозах, совхозах, МТС, где работал агрономом, и в журналистике, в которую, правда, пришел недавно. Брусничкин был из таких, кто мужественно прошел гражданскую войну и нигде потом не согнулся в пути. Я попросил у него рекомендацию для вступления в партию. Не от каждого же хочется получить такое серьезное напутствие в дальнейшую жизнь.

Может быть, я задремал, вспоминая все это. Видимо, задремал. Потому что вздрогнул от шороха, как вздрагивают пробуждающиеся. За перегородкой кто-то ходил, шаркая ногами о половицы.

Что за черт, дверь же закрыта! Вытащил пистолет из кобуры, готов взвести курок.

Из-за перегородки высунулась голова старого человека: пучки седых волос над ушами и вокруг большой розовой лысины. Человек отшатнулся, увидев меня, но тотчас выпрямился, встал в дверном проеме перегородки.

— Здравствуйте, — сказал, добро и хитро щуря голубые выцветшие глаза.

— Здравствуйте, — ответил я, стараясь спрятать под боком пистолет. — Это как же вы сюда попали?

— А через черный ход, через черный. Со двора. Думал, нет никого. Я тут живу неподалечку. Ночью видел — приехали. Кто такие, думаю. Не хозяева ли вернулись. Утром слышу — тишина. Думал, уехали. Хозяев-то я хорошо знал... Часы мне сам мастер чинил. Хороший был мастер, отличный. Еще старорежимный. — Старик добро улыбнулся.

Он все время улыбался, разглядывал мою гимнастерку, звезды на рукавах, посматривал на петлицы.

— А что это значков у вас никаких — ни кубиков, ни ромбиков? — спросил он с какой-то солнечной хитринкой.

— Не имею соответствующего звания.

— Ах, звания. Да, да, звания! — Он помолчал, пристально рассматривая и меня и помещение. — А вы здесь надолго обосновались? Или так, транзитом?

— Да уж как придется,— ответил я неопределенно.

— Понятно, понятно. А может, вам куда в другое местечко перебраться, понадежнее?

«Не за дезертира ли он меня принимает, — подумалось. — Вот было бы смешно, если бы еще и комендантский патруль привел сюда с собой. Бдительный старикашка». И чтобы не заварилась каша, сказал ему:

— Нет, отец, в более надежное место мне пока не надо. Сердце вот расшаталось. Отлежусь и уеду.

— Сердце? Да, да, сердце. У многих оно ныне в расстройство пришло.

Он мне явно не верил. Да и трудно было поверить: какого военного отпустили бы из части в город, в полуразрушенный дом — отлежаться, видите ли. Пришлось объяснить, кто я такой.

— Ну, тогда понятно! — Старик как-то странно воспринял это известие. Мне показалось, что он не только не обрадовался, но даже огорчился, что я не дезертир. «Хотел отличиться, поди», — подумалось. В последние годы немало появилось таких бдительных старичков, гонявшихся за славой доморощенных пинкертонов. За соседями подглядывали в коммунальных квартирах, в замочные скважины лезли, даже содержимое кастрюль исследовали на кухнях: дескать, по средствам ли живут соседи. Когда-нибудь, когда вскроют сейфы недавних ежовских времен да поднимут архивы, сколько обнаружится негодяев — добровольцев «разоблачения» — и стариков и не стариков. Эта мерзость осталась нам в наследство от гнилого российского общества. Мне попалась однажды на глаза книжечка П. П. Заварзина, в разное время побывавшего начальником Кишиневского, Донского, Варшавского и Московского охранных отделений и Одесского жандармского управления. Видимо, в эмиграции кормиться было нечем, вот бывший глава российских шпиков и накатал несколько книжонок — и о том, как охранка боролась против революционного движения в России, и о том, как ставилась охрана царей и царских министров, и о том, как вербовались сексоты в охранку. Чего уж там — разболтался в дальнем далеке. Он сетовал в общем-то на низкий моральный уровень тех, кого вербовала охранка и кто шел туда с доносами добровольно. Чаще всего, утверждал Заварзин, это были люди, утомленные и разбитые жизнью, неудачники, изверившиеся в целесообразности социалистических или иных идейных стремлений. И даже он, сам шпик, предупреждал, что к сведениям, доставляемым такими типами, надо относиться особенно критически, так как чаще всего

они голословны и даже вымышлены. Типы эти неискренни, все они до крайности корыстные, но ловкие и осведомленные; они требуют за собою постоянного наблюдения. Таких при розыскных учреждениях Российской империи состояло много сотен и тысяч. Среди них, по словам Заварзина, были врачи, инженеры, общественные деятели, литераторы, журналисты, студенты — как мужчины, так и женщины.

Мерзость кляузничества, доносительства хвостом тянулась за людьми из старого, дряхлого общества царской России; в дни ежовщины она стала еще и поощряться: «А ты разоблачил хотя бы одного врага?», расцветать пышным цветом.

Так кто же ты, папаша, с такой симпатичной розовой лысинкой?

— Что ж, — сказал он, присаживаясь на табурет, — очень приятно вот так близко познакомиться с новым поколением журналистов. Откровенно говоря, новых-то никого не знаю, ни журналистов, ни писателей. Старых знал, читал, любил. Куприна, Бунина, Потапенко... Амфитеатров гремел. Поэты... Журналисты — Дорошевич... Суворин пописывал остренько. Шульгин... Мы ведь с вами, молодой человек, люди разных миров, разных времен. Я одному царю служил. Вы другому служите... Да, да, не гневайтесь глазами. И вы царю служите, царю. И ничего удивительного в этом нет. Россия не может без монархии, без верховного вождя, без главы. Беда Николая Александровича Второго была в том, что уж очень ничтожен он оказался как личность. Хороший человек, добрый семьянин. А государством управлять не мог. С папаши пошло. С папаши упадок начался в семье Романовых. Ну, может быть, уже и с деда. Последним государственным человеком в их семейке был Николай Павлович Первый. Суров, солдафонист. Но крепок. А дальше — увы!.. Папаша-то Николая Александровича — Александр-то Третий, — он смолоду мещанский образ жизни принял. В Гатчине жил, этакую обывательскую квартирку — самые мещанские комнатки — выкроил из роскошного Павловского дворца. Сам дрова рубил. Щук бил на озере острогой. Дерево ветром свалит, бывало, в парке, он со своими детишками подхватит пилу, топоры в руки да и разделывает ствол на дрова. Может, бывали в Гатчине, видели там в его кабинете чучело такое огромное стояло — царь во весь свой натуральный

рост, с трубой через плечо. И что забавно: оркестр устроить устроил, в котором он дудел в эту трубу, а слушателей у оркестра не было. Запрутся и дудят сами для себя. Замкнутый был человек, нелюдимый. Слова не умел людям сказать. Был раз выпуск — первый при его царствовании — окончивших Николаевскую академию генерального штаба. Стал обходить по фронту всех шестьдесят офицеров и каждого только одно и спрашивал, еле рот раскрывая: когда тот поступил в академию? И в голову ему не приходило, что все они в один год и в один день в нее поступили. Это точные сведения. Это Владимир Александрович Сухомлинов рассказывал, бывший военный министр. А уж он-то в самых высших сферах вращался.

Было интересно слушать старика, я кивал, поддакивая, переспрашивал — был отличным слушателем. А рассказчики таких любят.

— Ну и Николай Александрович всю эту обывательщину унаследовал от папаши. Ничтожный был человек. Почему вокруг него одни проходимцы к концу царствования собрались, через которых он и погиб в конце концов? Да потому, что не под стать ему были люди, большие мыслью и личностью. Терялся он среди них. А раз так, то не любил их, удалял от себя, от государственных дел. А шушеру, всяких Хвостовых, Штюрмеров, Протопоповых, даже вот Вырубову с Гришкой Распутиным, — таких осыпал милостями. Они мразь, низость, ими как хочешь помыкай — все стерпят. Среди них и он орел. А пришел час, герой-то в полном одиночестве остался. Куда и подевалась эта шушера.

Он помолчал, сбился, видимо, с мысли.

— Так я к чему? — вспомнил. — К тому, что России рано без царя. Нужен ей царь. Взяло власть в руки Временное правительство. Демократия, мол! А чем кончилось? Александр Федорович чаи распивал с Николаем да с Александрой в Царском Селе, в Зимнем поселился, в постели бывшей старой императрицы спал, в диктатора превратился: вот-вот, ждали, коронуется. Не он, так кто другой. Корнилов, к примеру, Лавр Георгиевич. К царю у них дело шло, к царю. А я и не осуждаю. Без монархии России не жить. Не доросла до свободы мысли. Не Франция. Вы уж мне не доказывайте.

— А я ничего и не доказываю. Вы такую чушь несете, что на это даже возражать нельзя. Вы же сами

понимаете, что говорите чушь. Верно? Но уж такой у вас приемчик полемический. Я понимаю.

Он уставился в заваленный хламом пол, жевал губами в раздумье. Что видел этот человек внутренним взором и кто он такой?

— Видите ли, я служил царю, да. Я был царским чиновником, — заговорил он снова. — Многие мои сослуживцы сбежали после переворота, то есть после революции, как вы говорите. Кто сразу же двинул в Финляндию или, напротив, на дальний юг — в Киев, Одессу, Ростов, Крым. Кто несколько позже — в восемнадцатом, девятнадцатом, двадцатом годах. Я нет, я честно служил Советской власти, до самой пенсии. Ни в саботаже, ни в чем другом против властей не участвовал. Мой брат родной, тот был офицером, тот с головой ушел в белое движение. Где он, и слыхом не слышу до сих пор. А тогда... Кстати, он был в одной из подпольных офицерских организаций в Петрограде, где-то у них имелись конспиративные квартиры... — Старик спохватился: — Я ведь это вам знаете, почему рассказываю? Да по двум причинам. Во-первых, потому что вы хитрый: умеете хорошо слушать. Такому хитрецу что хочешь и чего не хочешь расскажешь. Но не это главное. Главное, что вы журналист, вам, может быть, пригодится кое-что из того мира, который для вас земля неизвестная, терра инкогнита. Это во-вторых. А в-третьих: придут вот сюда завтра немцы — и не только с вами, а уж и ни с кем из таких коммунистов я не встречусь больше. Все, что знаю, что видел, пропадом пропадет.

— Послушайте, неужели вы хотите остаться у немцев?! — Я почти закричал от удивления. — Где бы мы ни были с моим другом, с кем бы ни встретились в полосе боев — всюду люди бегут от немца. Фашизм — это же...

— Не объясняйте мне, что такое фашизм. Я прекрасно и сам знаю. Но я служил одному царю, служил второму (вашему). Пусть будет и третий, чужой. Лишь бы на старости лет не покидать родное гнездо. Куда мне идти и зачем? Я тут живу полвека. Сначала, до революции, это была моя дача. А после революции — дом. Родной, обжитой дом, в котором и умру, надеюсь. В этом-то немцы, даже и фашисты, мне помешать не смогут.

Да, он был из другого, очень другого мира. То, что мы делали двадцать четыре долгих года, все, что было для меня, для нас кровным, родным, он изо дня в день

рассматривал со стороны. Он не мешал, нет, но и не помогал. Для него все это не свое.

— Вы, наверно, бог знает что думаете сейчас обо мне, — сказал он, как-то ощутив направление моих мыслей. — Напрасно. Я же вам сказал: никогда не бежал от Советской власти, не мешал ей, сотрудничал с нею.

— А почему не бежали?

— А потому, что ни царская власть, ни Временное правительство мне не нравились. Царь вел Россию к гибели, это видело все передовое российское общество. Обыватель, ничтожный человечишка во главе государства — это страшно. И Керенский вел нас в яму. Тоже ничтожная, опереточная личность. «Я, я, я!..» А «я» — это последняя буква в алфавите. То, что стал делать товарищ Ленин, мне было интересно. Мы здорово поцапались из-за Ленина с моим братом. Брат был офицер-боевик, из савинковцев. Не монархист, нет. Из эсеров, говорю. Он, кстати, множество людей переправил за границу, в том числе, знаете, баронессу Врангель, мамашу «черного барона». Видел я эту даму у брата на загородной конспиративной квартире перед вывозом в Финляндию. Ее сынок командовал тогда белыми войсками в Крыму, а она, оказывается, служила совслужащей в Аничковом дворце, где был в ту пору так называемый Музей города. Зарплату, паек от Советской власти получала. Марией Дмитриевной, не соврать бы, ее звали. Ну, конечно, я ее видел уже не той гранд-дамой, какой была она когда-то. Этакая стала тетка в веревочных туфлях и в заштопанном салопчике. Ну, бог с ней. Так с братом с моим мы крепко поцапались. Дескать, легко большевики головы людям рубят. А я ему о другом. О том, что большущую ответственность они на себя приняли. Без уничтожения противников им не обойтись. Представь себе, говорю ему, если бы после Февраля да после Октября вновь бы царская власть сумела захватить Россию в свои руки, представь, сколько голов было бы срублено, дабы привести народ к умиротворению. В десятки, в сотни раз больше. Такая стихиища раскачалась — успокой ее, возьми в руки. Ну он, понятно, свое. Я свое. Мне интересно было, что получится. Страшно, но привлекательно. Вот и не бежал от Советской власти, служил ей честно. А теперь... Теперь я старый. Служба моя никому не нужна.

Рядом трахнуло с невероятным треском. Пылью затянуло халупу, в которой мы находились.

Старик сказал:

— Вы правы: не просто это — встретиться с фашистами. Но что поделаешь! Стар я бегать. Да и убежишь ли от них? На всякий случай достал из тайника... — Он вытащил из кармана брюк старый наган. — С революции храню. В случае чего пущу себе пулю в лоб. У меня будущего нет — терять нечего. Хотя жить хочется: любопытствующий я человек.

— Слушайте, — сказал я, тревожась за этого старого чудака, — давайте мы вас отвезем в Ленинград, где-нибудь там устроим. Даже и не в фашистские времена старые русские эмигранты хлебали горя по заграницам, а теперь-то...

— Нет, нет, — сказал он, — нет. Не могу оставить свое пепелище. Жена здесь похоронена, дочь. Нет. Не сердитесь. Желаю вам поправиться. С сердцем шутить нельзя.

Он ушел через кухню. Мне было и жаль его, и было еще другое какое-то чувство. Он не был таким первым для меня собеседником в моей жизни. Лет двенадцать назад, когда я работал на заводе, у нас на стапелях подсобным рабочим крутился бывший полковник бывшей царской армии. Он «перековывался» в труде. Он нес на Советскую власть такое, что рабочие его несколько раз крепко колачивали. Он сколько-то лет отсидел в лагере, и поэтому главные его рассказы были о той, лагерной жизни. Получалось у него так, будто бы сидели там люди исключительно благородные, вроде него, и все до одного зазря. Какой же он сам был благородный, мы узнали в тот день, когда при выходе с завода его изловили с краденым слесарным инструментом под спецовкой.

Словом, расстроил меня остаток прошлого. Наши что-то не едут, хотя уже и день к концу. Оставил записку, встал и пошел в райком к Данилину, рассказал ему о разговоре со стариком, о том, что тот решил остаться у немцев.

— Знаешь, — ответил Данилин, — полгорода у них останутся. А что делать?

В самом деле: а какой выход? Тысячи, многие тысячи, миллионы уходят перед наступающим врагом. Но разве могут уйти *все* бесчисленные миллионы?

Во дворе райкома жгли бумаги, черные хлопья летели через сады. Данилин сказал:

— По Ленинграду уже бьют из орудий. Четвертого числа дали несколько выстрелов по заводу «Большевик». По осколкам установлено, что из «Берты» в двести сорок миллиметров. Где-то в районе Тосно стоит.

Четвертого? Значит, позавчера, когда мы только что выехали из Ленинграда. Из района Тосно? Значит, немец обтек Слуцк и Федоровку, не пошел путями Юденича — прокрался к дороге Ленинград — Москва из района Чудова и Любани. Вот как ему пришлось петлять, встретив стойкое сопротивление под Лугой.

— Точно, точно,— подтвердил Данилин.— Немцы уже несколько дней как в Красном Бору. От Любани зашли. Заняли, подлецы, отличную позицию на высотах перед Колпином. Рвутся к Ижорскому заводу. Бои идут жуткие. Рабочие отряды там отпор дают.

Тем временем, прочитав мою записку, к райкому подъехали Михалев и Еремин.

— Что же ты удрал? А мы тебе ландышевых капель раздобыли. Чертовски трудно было. В медсанбатах только смеялись: вам, может быть, еще и валерьяночки?

Мы вновь отправились в район боев. Нам снова хотелось в полк к Ермакову. Но переправу и на этот раз бомбили. Оставив машину в кустах, мы пошли канавой в обход деревни, дымно горящей у переправы.

Вдруг слышим истошнейший крик:

— Снайпер, огонь!

Что такое? Мы остановились. Из кустов впереди нас, из этой же самой канавы, навстречу нам поднялся красноармеец с винтовкой СВ, на которой была установлена труба с оптическим прицелом.

— Назад! — закричал он. — Стрелять буду.

— А что случилось? — спросили мы. — Почему такая острая необходимость палить прицельным огнем по корреспондентам «Ленинградской правды»?

Получилась заминка. Из-за спины красноармейца из-под кустов вылез капитан, лицо у которого было чрезвычайно озабоченное.

— Ложитесь немедленно! — крикнул он.— Демаскируете КП. Немедленно!

Мы присели, вроде собрались плясать гопака, и так, на полусогнутых, пошли туда, в эти таинственные кусточки, к снайперу и его капитану.

Устремив через бровку в сторону горящей деревни и переправы свои бинокли, в канаве лежали подполковник и майор. Рядом с ними расположились два связиста с телефонными аппаратами и катушками.

Подполковник и майор взглянули на нас до крайности свирепо.

— Какие вам корреспонденции! — сказал нервно майор. — Вот-вот немцы в атаку пойдут.

Выяснилось, что это штаб, все командование стрелкового полка, номер которого нам назвать отказались. Лишь пятнадцать минут назад они перебрались в канаву из той пылающей деревни, где их разбомбили, а по дороге сюда еще и поливали из пулеметов с воздуха. Они еще не отошли от пережитых волнений. Главное же их волнение вызывалось тем, что этот штаб утерял связь с батальонами. Ни командир полка — подполковник, ни начальник штаба — майор не ведали, где сейчас их войска. Они были растерянны до неприличия.

С месяц назад в деревне Яблоницы мы видели, что́ такое красноармейская масса, оставшаяся без командиров. Это было ужасно. Но вот командование полка, оставшееся без красноармейской массы, — это не менее, а, пожалуй, еще ужасней. Полк — это все вместе, это единый, крепкий, способный на осмысленные, объединенные действия организм — бойцы и командиры. По отдельности и те и другие — ничто. Россыпь.

Было не очень приятно наблюдать со стороны за перепуганными, растерявшимися военными. Они и их поведение были так не похожи на все, что довелось нам увидеть за время пребывания на фронте. Стало тоскливо и хмуро на сердце.

Мы тоже принялись смотреть, правда, невооруженным глазом, туда, вперед. И в этот трагический момент снова капитан, оставшийся на нашем фланге, заорал: «Снайпер, огонь!» Он кричал так в основном с той целью, чтобы напустить на кого-то страху и в то же время подбодрить себя, а совсем не для того, чтобы красноармеец с оптикой тотчас принялся всаживать пули в первого появившегося на меридиане канавы.

На этот раз было отчего всполошиться. По открытому полю скакал на белом коне ослепительный всадник. Тощий, долговязый, как некий рыцарь из Ламанча. В зеленом «английском» обмундировании, в каске — на коне в каске! На тощей его фигуре болтались, подлетая

с ходом коня, карабин, пистолет, бинокль в футляре, полевая сумка.

Странно, но мы узнали всадника. Это был Изя Анцелович, горбоносый, со взглядом беркута, неутомимый и беспокойный Изя.

Мы попросили капитана отменить приказ. Не надо снайперским огнем уничтожать бесстрашного и воинственного главу Ленинградского ТАСС, он сам сейчас придет сюда.

— Будьте вы все неладны! — сказал несколько иными, менее деликатными словами майор — начальник штаба. — Нас всех тут разорвут бомбами из-за вашего шатания по полю боя.

Анцелович спешился, привязал коня к первой попавшейся ему на глаза полевой осенней травинке и на длинных, тощих ногах зашагал к нашей канаве. Он был бодр, деятелен. Перед его напором сдались и перепуганные вожаки Н-ского стрелкового полка.

Глава ТАСС объезжал и инструктировал своих сотрудников: как-де несут службу, все ли видят, все ли замечают и так ли об этом пишут, сообщают читателям. Это не наш редактор, у которого боевой маршрут один: дом — редакция — столовая Смольного — редакция — дом. Анцелович — настоящий журналист, это пишущий человек, а не редакционный чиновник. Он был моряком, поплавал на торговых судах по белу свету, многое повидал, много где поработал. Он типичный представитель кипучего поколения, которое с малых лет строит и преобразует, и, как у каждого из этого поколения, убеждения его определенны и прочны. Я отлично понимаю, зачем он притащился на этом нелепом белом коне сюда, на передовую. Конечно же, не тассовцев инструктировать. Что их инструктировать? Это достаточно отважные ленинградские журналисты, составь из них роту — они без страха пойдут в бой. Нет, начальник ЛенТАСС тоже хочет иметь моральное право визировать для рассылки в газеты сообщения, корреспонденции, очерки о боевых делах ленинградцев, о храбрецах, патриотах, героях.

Анцелович подтвердил нам, что да, немцы обстреливают Ленинград из дальнобойных, что, заняв на днях Мгу, они рвутся к Неве, хотят, видимо, переправиться через нее, обойти Ленинград с востока и где-то на севере, может быть, в районе Белоострова, соединиться с финнами. Тогда мы будем в полном кольце окружения.

— А кто до этого допустит? — злобно сказал подполковник. — Вы думаете, что говорите, или не думаете?

Мы все переглянулись. Не ему бы об этом говорить! Тонкая штука — иметь право изрекать что-либо в подобных ситуациях. Если бы это сказал полковник Ермаков, было бы естественно, правильно, бесспорно. А этот...

Мы покинули негостеприимную канаву. Мы знали, что ничего об этих командирах, обосновавшихся в ракитнике, не напишем. Сказать о них доброе — душа не позволит. Сказать правду — редактор отправит в корзину, да еще и примется утверждать, что мы черним нашу героическую Красную Армию, а следовательно, и подрываем ее боевую мощь, и если рассуждать объективно, то по меньшей мере являемся чем-то вроде агентов Антанты.

На дороге расстались с Анцеловичем. Конь терпеливо ждал начальника ЛенТАСС. Это был отважный конь, никакого внимания не обращал он на близкие выстрелы и взрывы.

Анцелович ускакал к Федоровке. Нас ждала машина. Но только мы выехали из кустов на открытую дорогу, как на бреющем полете в воздухе появился «мессершмитт». Он дал по машине очередь, она ему показалась, видимо, неудачной, и «мессер» стал делать круг, чтобы на этот раз приладиться поточнее.

Прямо через луговину Бойко ринулся к зарослям ракиты. В зарослях оказалась огромная, скрытая ими старая воронка. Машина прямо носом сползла в нее, сверху над нашей крышей сомкнулись ветви, на которых листья хоть и начали желтеть, но еще держались. «Мессершмитт» нас утерял. Он стрелял, но не точно, а приблизительно. Мы отошли от машины шагов на пятьдесят, залегли. «Мессер» проносился над нашими головами, буквально метрах в двадцати—пятнадцати, он почти ползал на брюхе по кустам. Брюхо у него было желтое, как у гада, скользкое, лоснящееся. Угловатый весь, не то что наши И-16 — «ишачки» или новые «миги». Страшные кресты на плоскостях. От них несло средневековьем, псами-рыцарями, пожарами в древнем Пскове, виселицами и плахами. Мы видели и негодяйскую морду в рамке кожаного шлема, видели глаза немца, рыскающие по земле. До чего ж ему хочется поотправлять нас всех на тот свет!

Покрутился, пострелял — ушел.

В сумерках мы возвращались в Слуцк через Войскорово. Возле деревни располагался в блиндажах штаб 1-й роты 266-го отдельного артпульбата. Решили сходить в парочку дзотов оборонительной линии, которая создана на здешних рубежах. Добрались в потемках, пока луна не вышла, до Ижоры. На самом берегу реки, среди старых лип, прочно врыта в землю огневая точка с пушкой и двумя пулеметами. Подошли к ней по узкому и глубокому ходу сообщения. Если бы дело было днем, из амбразуры дзота хорошо бы просматривалась равнина, вплоть до Колпино, до Ижорского завода и даже до того Красного Бора, который на днях заняли немцы, перехватив и в этом месте шоссе Ленинград — Москва.

Командир артиллерийского взвода — молоденький (лет двадцати) лейтенант Вульф Евсеевич Лайхтман — показывает нам свои позиции.

— У нашего взвода, — говорит он, — два дзота, в каждом пушка. Вот в этом — сорокапятимиллиметровка, снятая с миноносца, а во втором, вон там, левее, — противотанковая, на жестком лафете. Сюда эти орудия привезли рабочие Ижорского завода и моряки с кораблей, поднявшихся по Неве до села Рыбацкое. Мы вместе их и устанавливали в дзотах за день, за два до подхода немцев.

Народ у Лайхтмапа такой, что каждый возрастом превосходит своего командира не менее чем раза в два. Бойцы окликают его: «Сынок», и он нисколько не обижается.

Дзоты — только часть линии, подготовленной тут заранее. В глубине ее стоят пушки и покрупнее калибром. Долговременные огневые точки тесно взаимодействуют с ними.

Мы застали в дзоте старшего лейтенанта Горбунова, тяжелые орудия которого расположены далеко за передней линией. Вблизи от дзота — его наблюдательный пункт. Веселый человек этот даже чай ходит пить на КП здешней артпульроты: бойцы взвода отыскали в развалинах одного из домов большой самовар, чему Горбунов очень обрадовался.

— Вчера была изрядная баталия, — говорит он нам с неизменной для него радостной улыбкой. — Луна выйдет — покажу результаты. А сейчас поверьте на слово. Я не охотник и не рыболов, врать не буду. Да и ребята из роты не позволят. Вместе работали. Вон там есть лесок. На опушке стоит сарай, точнее стоял. Мы за ним

вели наблюдение. То пешие к нему идут, то мотоциклисты подкатят, даже и броневички. Что-то вроде штаба. Из дивизиона нам подтвердили: да, говорят, есть такие данные, будто бы должен в этом квадрате быть штаб гитлеровской части, раз сама часть в нем обнаружена, в этом квадрате. Подготовили батарею к бою — у меня провод отсюда на огневые. Я — у стереотрубы, командую, корректирую. Дали огня. Слышу, мои снаряды у меня над головой — приятно так — дерут воздух. Один из них угодил в самую крышу — сарай в щепки. Другие — по мотоциклистам, броневикам, живой силе. Ни сарая, ни штаба, ни вообще шевеления сегодня уже в том месте нет. А до этого случая, дня два назад, мы своим огнем встретили наступающую у Красного Бора немецкую мотопехоту. Большая колонна шла на грузовиках. Получаем приказ сверху: остановить, рассеять. Причем немцев скрывал лесок, а корректировщика у нас там не было — пользуйся чужими данными. Пришлось бить по карте. Ударили фугасными. Как сообщили нам из штаба, одну машину разнесло прямым попаданием. С десяток их раскидало, покалечило разрывами. Остальные повернули обратно. — Пока мы слушали старшего лейтенанта Горбунова, вышла луна, и на окрестных равнинах стало светло, как может быть светло при луне — загадочно, обманчиво, страшновато.

Мы смотрели сквозь рожки стереотрубы из амбразуры дзота туда, где враг, где немец. Сквозь эти увеличивающие стекла, вращай только справа налево и слева направо, виден весь сектор обстрела дзотовой пушки. Слева одна деревня, прямо, километрах в четырех, опушка леса, застроенная легкими дачными домиками, справа другая деревня. А перед самым дзотом, в каких-нибудь пятистах метрах от его амбразуры, словно островок, маленькая фабричонка, полускрытая деревьями. Это бывшая бумажная фабрика, до революции принадлежавшая какому-то немцу.

Люди, которые вот уже несколько дней живут в этом дзоте, пристально изучают всю панораму перед собой. Им уже известны каждый кустик, каждая ложбинка, каждый сарай. На ту сторону реки постоянно — и днем и ночью — направлены бинокли и стереотрубы, и ни одно движение немцев не остается незамеченным.

Даже простым глазом мы видим на опушке леса, в стороне от дачных домиков, результат вчерашней работы

пушек старшего лейтенанта Горбунова — груда обломков на месте штабного сарая.

А вот и работа артиллеристов нашего дзота: разбитая крыша цеха лежащей перед нами фабрички, раскиданный снарядами забор. Что тут произошло?

Артиллерия немцев, как только они здесь появились, повела непрерывный огонь по линии наших укреплений. Снаряды очень точно падали возле огневых точек. Было ясно, что где-то сидит корректировщик.

Командир взвода Лайхтман и командир орудия, возле которого мы находимся, Куракин несколько часов не отрывали глаз от биноклей, пядь за пядью прощупывая всю равнину. И вот ничтожные движения выдали врага. Наблюдательный пункт немцы устроили, оказывается, на фабрике, под гонтовой крышей ее цеха. К этому времени оттуда, но правее, начал постреливать пулемет.

Куракин приготовил орудие. Один за другим ударили четыре выстрела. Пулемет умолк, наблюдательный пункт взлетел на воздух, и сразу же стрельба немецкой артиллерии стала неточной: снаряды падают теперь куда попало.

Немцы приумолкли перед линией наших дзотов, не лезут на нее, стараются обойти стороной. Ленинградцы стойко держатся на этом близком к Ленинграду рубеже. Может быть, это и есть тот рубеж, дальше которого мы отступать не будем, о чем с такой убежденностью говорил нам бригадный комиссар Мельников?

11

На ночной дороге от Слуцка к Пушкину нам попался человек — он стоял на обочине и «голосовал» в надежде, что мы его прихватим и подвезем. Мы остановились. Человек оказался ленинградским писателем. Михалев его знает. Писатель идет из частей, он должен написать очерк для газеты. Мы полагали, что ночевать будем в Ленинграде, и уже держали путь туда. Но писатель сказал, что нет никакого смысла тащиться ночью в город, можно отлично переночевать и в Пушкине, в писательском Доме творчества. Там нам будут рады, там полно народу, поскольку в этом доме обосновался так называемый писательский взвод дивизии, в которую добровольно пошли ленинградские писатели и в составе которой они недавно сражались под Сольцами.

Ну что ж, решили мы, можно и не тащиться в Ленинград.

В Пушкине, на одной из улиц близ дворцов, близ парков, стоит особняк, с воротами, с двором, с таинственной внутренней жизнью. Когда я работал на опытной станции в Новой Деревне, что влево от Детскосельского вокзала, от железной дороги Ленинград — Витебск, то иной раз хаживал мимо этого особняка в Александровский парк. В ту пору здесь жил Алексей Николаевич Толстой. Для нас, простых смертных, жизнь его была до крайности необычной. На рождество в окнах этого особняка жители Детского Села, или теперь Пушкина, с удивлением видели елку с горящими свечами: на Толстого нисколько не действовали установления, в соответствии с которыми рождественские елки отменялись, и отменялись в общем-то очень правильно, потому что на эту затею срубали целые леса, миллионы и миллионы молодых деревьев. На крыльце особняка, встречая гостей, появлялся швейцар, именно такой, какими мы представляли себе швейцаров по литературе о жизни старого петербургского общества. Мелькали в доме горничные в белых передниках, вращались секретарши, помощники, еще кто-то. По виду все это было от старых, давних, минувших времен.

И в то же время хозяин особняка, человек с таким чуждым нам бытом, с такими барскими привычками, писал прекраснейшие книги. Сейчас, когда он жив, естественно, что на него набрасываются и его братья сочинители, никак, видимо, не желающие понять, а может быть, ослепленные блеском своих собственных личностей и в самом деле не понимающие, что он как художник выше их не на голову даже, а на десятки голов; и критики не упускают случая запустить зубы в икры этого великана литературы, и разные анекдотчики-смехачи, распускатели слухов.

Но пройдут годы, десятилетия, может быть, много десятилетий, и тогда по-настоящему, без суеты и наносной дряни историки, подлинные эстетики разберутся в причинах того, что книги А. Н. Толстого, сколько бы их ни выпускали наши издательства, тотчас расхватываются в магазинах, а в библиотеках от непрерывного чтения доходят до таких состояний, когда говорят, что из них уже можно варить щи.

Алексею Николаевичу досталась редкая судьба. В расцвете творческих сил он перешел из одной социальной

эпохи в другую. Он сбежал было от нового — это не так просто: видеть крушение привычного мира, — но нашел в себе силы вовремя вернуться к нему, к новому, — а это еще труднее: за крушением старого, привычного увидеть нарождение небывалого, грядущего на смену старому. Он увидел это, чем прежде всего неизмеримо отличается от Бунина, Куприна и многих других русских литераторов, обладающих талантом, но узких в общественных взглядах. Алексей Николаевич соединил художнически две эпохи. Он сумел из одной перейти в другую, и перейти не механически, а всем своим творчеством, показав в своих книгах этот трудный, но неизбежный переход. Одни литераторы, его сверстники, так навсегда и остались в старом мире, удалившись в Белград, в Софию, в Берлин или Париж, и копаются там в старом литературном тряпье. Другие — молодые — народились и сложились уже в новом мире, не зная, не помня старого. А он — он как литературный виадук над полями отгремевших боев революции и гражданской войны.

Это его социальное лицо. Но он еще и величайший мастер слова. Из русских слов он лепит такие литературные скульптуры, что вторых подобных у нас, пожалуй, и нет. Его язык имеет запах, имеет цвет, имеет объем, вес, его можно воспринимать всеми доступными человеку чувствами. Об этом когда-нибудь еще скажут специалисты. Задумаются над природой его мастерства. А пока... Пока, переехав в Москву, он этот свой особняк передал под Дом творчества ленинградским писателям.

И вот мы входим ночной порою в вестибюль, отделанный деревом, с зеркалами, с ковровыми дорожками. Нас и в самом деле встречают очень радушно. Я, откровенно говоря, никого здесь не знаю в лицо, но народ явно гостеприимный, шумный, веселый. Ведут в комнату направо. Не комната это, а комнатища, она тоже отделана темным деревом, — тут столовая. За этим длинным столом сиживал Алексей Николаевич в кругу друзей или даже случайно забредших застольщиков, рассказывал свои бесчисленные остроумные истории, о которых, в свою очередь, ходят рассказы в народе.

Сейчас за этим столом человек двадцать пять — тридцать. Стоит дым коромыслом, и среди тарелок с закусками много бутылок коньяку. Кто-то предлагает: «Пейте, ребята, не стесняйтесь. Это нам райком прислал в подарок. Финь-шампань!» Нас угощают, к нам подсажива-

ются. Рассказывают наперебой, как писательский взвод участвовал в боях под Сольцами, как, кто и какие совершал подвиги. Время от времени то один, то другой выходит во двор послушать голос фронта: нет ли, мол, пальбы уже в соседнем, Екатерининском, парке или в том, что подальше, в Александровском.

Нам с Михалевым тут что-то не пилось. Кое-как выбрались из-за стола, проверили, хорошо ли устроился Бойко с машиной во дворе, и поднялись на второй этаж, в одну из спальных комнат. Деревянные кровати с отличными мягкими сетками, пухлые шелковистые шерстяные одеяла, все тихо, мирно, уютно. Хороший подарок сделал Алексей Николаевич своим ленинградским коллегам. Творить здесь можно.

Наутро Михалев, который знал кое-кого в этом взводе, принялся что-то с ними выяснять, Ваня Еремин сел писать корреспонденцию о том, что мы увидели в потемках из амбразуры дзота, что там нам нарассказывали артиллеристы и пулеметчики... Если когда-нибудь кто-нибудь вздумает разобраться в технологии, по которой мы создаем свои корреспонденции из действующей армии, он будет в немалом затруднении. То нас было двое, то вот трое — как же мы таким коллективом пишем? Никаких определенных правил для этого нет. Иные крупные корреспонденции мы пишем вместе, обсуждая почти каждую фразу, каждое слово. Спорим, ссоримся. Иногда, когда времени мало, пишет кто-то один. Тогда другой или другие отдают ему свои блокноты с записями. Чаще всего мы подписываемся подлинными именами. Но бывает, что нам вдруг заявляют в редакции: нельзя так часто появляться за своими натуральными фамилиями, надо бы псевдонимчики придумать. А раз псевдонимчики, то какой смысл, чтобы было их непременно по числу писавших. Оказавшись втроем, мы подписываемся загадочным именем «И. Ерчелев». Что же это такое? Это формалистическая конструкция из трех фамилий. От Еремина взяли инициал «И» и первый слог «Ер», от Кочетова — второй слог «че», от Михалева третий — «лев». Вот вам и И. Ерчелев!

Так, значит, Ваня Еремин засел за корреспонденцию. А я отправился посмотреть, что в городе, таком для меня знакомом: года три-четыре мне пришлось пожить в его пределах.

Я очень люблю оба парка и оба дворца. В парках начинали лететь листья — сухое, жаркое лето сделало свое дело. Я ходил по дорожкам — пусто. Только солдаты да командиры, со стуком сапог спешащие по сентябрьской плотной земле. Многих скульптур — бронзовых и мраморных — нет вдоль дорожек. Куда они подевались? Нет Пушкина в лицейском садике, этой замечательной скульптуры: молодой поэт на садовой скамье, задумавшийся, естественно свободный.

Я зашел в хозяйственный флигель Екатерининского дворца, поздоровался, стал расспрашивать о том, как же будет со всем тем, что составляет художественные богатства пушкинских дворцов. Один из сотрудников провел меня в подвалы, где громоздились горы ящиков с номерами. «Для наиболее ценных предметов,— сказал он, — давно заготовлена вот такая тара. Сейчас идет упаковка во всех залах».

В подвалы таскали фарфор — сервизы, отдельные предметы. Это не самое ценное. Оно будет храниться здесь. В залах второго этажа упаковывали картины, вазы. Я смотрел на эту огромную работу и думал: разве все увезешь отсюда, разве упакуешь? Веками накапливались такие богатства. Да, кроме того, как увезешь и куда эти бесценные паркеты из десятков пород дерева, эти двери, карнизы — в резьбе, в инкрустациях, эти наборные — из дерева и самоцветных камней — столики, всю мебель работы искуснейших мастеров XVIII века?

Время тяжкое. Гибнут тысячи, сотни тысяч людей, миллионы остаются в немецком рабстве, горят города и села. Идет дело о жизни или смерти всей страны, нашей Советской власти. И все же и на этом огромного размаха фоне осталось в сердце место для чувств по поводу увиденного здесь, в одном из драгоценнейших дворцов России. Думалось о том, что вот на создание всего этого были надобны столетия, а погибнуть оно может в течение нескольких часов: сгорит в огне, разрушится в бомбовых взрывах. В ящики все не упакуешь. Янтарную комнату никто и не собирался трогать. Как ее увезешь? Сдирать янтарь со стен? Все искалечится. Да и какая была бы это кропотливая работа! А время не ждет, гул боя уже слышен и на юге и на западе.

Зашел в Александровский дворец, в котором бывал много раз с экскурсиями, начиная со школьных времен. Тщательно сохраняется во дворце в полной нетронутости

подлинная обстановка и атмосфера тех десятилетий, когда в этом гнезде догнивала династия Романовых. Все здесь как бы образец, эталон обывательщины, мещанства. Ампиры, тогдашние модерны. Столы, столики. На них рамочки с бесчисленными фотографиями, как, помню, бывало в зажиточных или чиновничьих домах нашего старого Новгорода. Кабинет Николая — кабинет не государственного человека, а дельца, промышленника. Особенно характерна спальня царской четы — вся в иконках от пола до потолка. Много сотен иконок. Заурядная, по мещанским стандартам кровать. Жили Романовы, как все мещане России, без взлетов, без идей, без стремлений. Стоит тут и телефонный аппарат, о котором так много писали в свое время в газетах и еще больше толковали устно,— аппарат прямого провода в Ставку, по которому Александра Федоровна разговаривала со своим Ники. Вот небольшая витринка, и в ней, под стеклами, «бесценные реликвии» — деревянные ложки, которыми Григорий Распутин одаривал поклонниц, «священные» воблы, записочки того известного содержания: «Милай дарагой устрой эту дамочку. Она хорошая. Грегорий».

Вот гостиная, в которой Николай принимал с докладами должностных лиц и где, незаметно подымаясь на антресоли из соседней комнаты, могла все слышать Александра.

Из дворца я уходил парком. Мимо могилы героев революции и сражений гражданской войны, мимо Китайского театра, Охотничьего замка; нашел мраморный мавзолейчик, о котором рассказывал Еремей Лаганский. Действительно, полная энциклопедия настенных изречений. Из Баболовского парка вышел на шоссе к Красногвардейску. Впереди громыхало, горело, плавало в дыму. По этой дороге в ноябре 1917 года в дружном единении Краснов и Керенский шли штурмовать революционный Петроград. Краснов так написал о своем соратнике тех дней: «Сзади из Гатчины подходит наш починенный броневик, за ним мчатся автомобили — это Керенский со своими адъютантами и какими-то нарядными экспансивными дамами... их вид праздничный, отзывающий пикником...»

Они вошли тогда в Царское Село, и Краснов даже свой штаб расположил в служебном корпусе дворца Марии Павловны, но просидели оба вблизи Петрограда очень недолго. И вот снова что-то черное, ревущее движется на

нас по этой же самой дороге. Что оно принесет на этот раз? Вижу противотанковые рвы, дзоты, траншеи... Будет бой, несомненно будет. Но чем он кончится?

В середине дня мы попрощались с писателями, которые тоже складывали чемоданы и вещевые мешки, и взяли курс на Ленинград.

При выезде из Пушкина, у Египетских ворот, стоял, опираясь о гранит, бронзовый памятник поэту. Как известно, он долгие годы хранился в подсобных помещениях Лицея. Когда его несколько лет назад решили установить на этом вот месте, лицом к дороге из Ленинграда, выяснилось, что сначала надо заварить пробоины от пуль, в дни боев с Юденичем угодивших каким-то образом в бронзовое изваяние.

До села Большое Кузьмино Пушкин провожал нас печальным, задумчивым взором.

12

День 8 сентября 1941 года ленинградцам запомнится надолго.

Едва мы приехали в редакцию, нас потащил в мою комнату, где он с недавних пор обосновался, Володя Соловьев. Из «Ленинградской правды» Соловьев уходил в военно-морское ведомство. Переход был затяжной и трудный. Уже несколько дней в моей комнате хранился огромнейший Володин мешок — типа тех дачных матрацев, которые набиваются соломой или сеном. Мешок, притащенный Соловьевым с военно-морских складов, был набит предметами многочисленного и разнообразного морского обмундирования. В нем были одежды — рабочие, выходные и чуть ли не парадные. Были кители, тельняшки, ботинки, клеши — холщовые и черные, суконные. Целый магазин. Заходившие в комнату все это прикидывали, примеряли на себя. Кое-что даже и растащили: уж больно всем нравились тельняшки и робы. «Ребята, — ныл Соловьев, — отдайте. В чем я служить пойду?»

И вот он затащил нас в мою комнату, защелкнул дверь на французский замок.

— Я был в морском штабе, — сказал он озабоченно. — Знаете, где немцы? Сегодня они заняли Шлиссельбург. Ясно? Добрались до Ладожского озера. А через Мгу они вышли к Неве, в районе Восьмой ГЭС... Ожидается, что

попробуют форсировать Неву. А тогда?.. Что тогда? Зайдут за спину Ленинграда... До этого допускать нельзя. Видимо, на невский участок бросят моряков. Вот так, ребята. Пока по фронтам шатаетесь, уже и Ленинград стал фронтом.

Мы долго сидели над картами, чертили, отмеряли, метили их только нам понятными знаками. Да, все может быть, может и так случиться, что будем драться в самом городе. Отступать некуда. На север, на Карельский? Там финны. К Ладоге? Немцы вышли и на Ладогу. Что ж, забаррикадируемся в этом старом здании бенкендорфовских времен — стены толстые, массивные, многое выдержат. Будем драться до последнего патрона, до последней гранаты.

Боевое пришло настроение, никто не думал о сохранении жизни, думали о том, как отдать ее подороже.

Сентябрьский день был на исходе, небо над городом начинало синеть по-вечернему, но на юго-западе, там, где лежали пути из Германии к нам, клубились дымные, грозящие тучи, багрово подсвеченные закатным солнцем.

Издали стал нарастать и приближаться глухой и плотный гул. Будто топот огромного стада неведомых, могучих животных. Он рос, рос, тот гул, и все отчетливей становился бой зенитных орудий. Это их шквальный огонь напоминал издали торопливый топот. Пушки ревели не переставая, ревели всюду, вокруг. Через окно нам было видно небо в сплошных разрывах. В кого, во что била вся зенитная артиллерия Ленинграда, кого она сопровождала таким отчаянным огнем? С 4 сентября каждый день немцы стреляют по городу из артиллерии, было несколько случаев прорыва одиночных самолетов к окраинам. Тогда выли сирены, люди покидали улицы, и все обходилось без особых последствий. Что же такое происходит сейчас?

Кто-то крикнул в коридоре: «Самолеты над городом!» — и мы помчались по нашей каменной крутой лестнице вниз, к подъезду. На улице уже собралась толпа — сбежались со всех редакций.

Прямо над нашими головами четким строем, высоко в небе, медленно, не торопясь, плыла девятка знакомых нам бомбардировщиков. Крестов не было видно, но форма крыльев, фюзеляжей, не наш гул моторов — до чего же они примелькались за эти два месяца фронтовой

жизни!.. Вокруг самолетов бушевала буря разрывов. А они все шли...

Это было так, как хаживали крестоносцы по льду Чудского озера: грозно, неколебимо, неостановимо, давяще на чувства. Страшно не было: мы уже многого перестали бояться, было тревожно, очень тревожно. Наступал новый этап в жизни города, в борьбе за город. Враг уже заглядывает в наши улицы, видит наши крыши, нашу жизнь. И спокойно идет над нами, незыблемый, невредимый.

Мы не видели бомб, мы, наверно, еще не научились видеть их падающими с большой высоты. Кто-то даже с облегчением вздохнул: «Прошли», когда бомбардировщики были примерно над Невой или над Васильевским островом. Но в тот же миг другой крикнул: «Дым! Смотрите, пожар!»

Дымы, густые, плотные, вставали по всей дороге, по которой прошли эти «хейнкели». Вот почему мы и не видели бомб. Это были другие бомбы, не фугасные, а мелкие — зажигательные. Немцы разбрасывали их над городом сотнями, может быть, даже тысячами. Позже среди ночи от соответствующих организаций мы узнали, что их действительно было более шести тысяч и с помощью этих бомб враг зажег в Ленинграде около ста восьмидесяти больших и малых пожаров.

Но сейчас мы еще ничего не знали, мы только видели, выбравшись через чердак на крышу. Мы видели десятки столбов дыма по всему городу. А в Московском районе, на юге, казалось, что дымом затянуты целые кварталы. Дым там буйствовал, всплывал глыбами, громоздился горами, горными хребтами. Сквозь него узкими свирепыми языками прохлестывало рыжее пламя.

А бомбардировщики? Пройдя Неву, они рассыпали свой строй и по одному — их оказалось не девять, а гораздо больше — стали уходить восвояси. Что чувствуют эти негодяи там, в своих стеклянных кабинах, на высоте в пять или шесть тысяч метров? Ленинград дымит под ними, пылают дома — воздушные пираты сделали дело, они отличились, их сегодня представят к наградам. Сегодня же Гитлер будет знать об успешной бомбардировке советского города Ленинграда. Где-то поднимут стопки с фатерляндским шнапсом, бокалы с французским трофейным шампанским, там будут радоваться, ликовать. А мы будем хоронить погибших, гасить огонь, разби-

рать завалы. С редакционной крыши были видны и слышны проносящиеся со звоном колоколов по улицам пожарные команды, воющие сиренами кареты «Скорой помощи».

В наступивших сумерках багровое зарево пожара в Московском районе заняло полнеба. Когда мы спустились с крыши, Грудинин нам сказал:

— Горят Бадаевские склады.

Мы знаем, что такое Бадаевские склады. Мы знаем, что это крупные хранилища продовольствия в Ленинграде, с огромными пакгаузами, холодильниками, подъездными путями. И мы знаем, что это значит — «горят Бадаевские склады» — в условиях, когда уже нет ни одной не только железной, но и шоссейной дороги, которая бы связывала Ленинград со страной.

Но и это еще было не все в трагический день 8 сентября. Ободренные успехом, видя, что наш зенитный огонь не слишком им повредил, немецкие воздушные пираты еще раз набросились на город в одиннадцатом часу ночи. Бадаевские склады все пылали и пылали — там горела мука, лопались, плавились консервы, спекался в черные комья и тлел синим пламенем сахар, чадно жарилось мясо в тушах, и этот пламень гигантским факелом освещал огромную часть города. Немцы при его свете разбрасывали по всем районам новые зажигалки и добавляли к ним большие фугасные бомбы; от их тяжелых, тупых ударов зыбилась непрочная ленинградская почва и пошатывались старые петербургские дома.

На этот раз огонь зенитчиков был точнее. Несколько немецких самолетов разлетелось в куски над Ленинградом.

Всю ночь работали пожарники, медики, группы самозащиты в жилищных хозяйствах — все население не спало. Кто чем мог, тем и участвовал в общей борьбе с огнем и смертью.

Особо тревожно было оттого, что в ту ночь, во время воздушного налета, то там, то здесь над городом вспыхивали сигнальные ракеты, указывая объекты для бомбометания. Кто же это делал? На всех дорогах, ведущих к Ленинграду, стоят контрольно-пропускные посты — КПП, идет строгая проверка документов у тех, кто входит в город и выходит из него. Но это же только на дорогах. А через поля, через огороды иди куда хочешь и кто хочешь. Так неужели к нам все-таки пробрались немецкие агенты-ракетчики? Или это дождавшиеся своего часа, притаившиеся предатели? Или и те и другие? Так что же, и

у нас возможна «пятая колонна», как было в Мадриде, как было в десятках городов Европы, с удивительной скоростью павших перед наступавшими гитлеровскими войсками?

Вспомнился мой недавний собеседник в Слуцке. Нет, конечно, такие уже давно вне игры. Их немало еще, должно быть, в бывшей столице Российской империи, этих бывших царских чиновников, старых, служилых интеллигентов, но они свое отжили. А вот кулачье, в годы коллективизации нахлынувшее к нам, спасаясь от односельчан и от колхозов, с десяток лет назад резавшее приводные ремни на заводах и фабриках, а вот остатки белогвардейского офицерья, торгашей, помещиков, бывшей знати — они почему-то не ушли в свое время вместе с теми, кто поспешно бежал из России под ударами революции, но они родственны им по духу, по надеждам, вместе с ними все эти долгие годы они ожидали чего-то такого, что смогло бы вернуть им былую жизнь. Разве не готовы такие встречать хлебом-солью кого угодно, хоть самого Гитлера, лишь бы вновь пришло их ушедшее время?

Страшно подумать, что может произойти, если немцы займут Ленинград. Сколько негодяев — доносчиков, указчиков — вылезет из щелей им на помощь. Юденич мечтал в свое время на каждом петроградском фонаре повесить по большевику. Был даже произведен приблизительный подсчет фонарей в городе. По аппетитам белогвардейцев получалось, что петроградских фонарей недостаточно для должной расправы. Надо было дополнительно ставить сотни, тысячи виселиц на Марсовом поле, на Дворцовой площади, на набережных Невы. Можно же себе представить размах карательных мер, мер подавления, какие спланированы, должно быть, в казематах немецкого гестапо, и какое деятельное участие в этих делах примут те, у кого Советская власть отняла право эксплуатировать труд рабочих и крестьян. В газетах уже немало прочли мы сообщений об этих добровольных помощниках оккупантов, о городских и сельских головах из бывших, о переводчиках, писаках гитлеровских газет на русском языке, полицаев, жандармов, доносчиков. Все, что притаилось было и угодливо клапялось в пояс Советской власти, ожило вдруг и взбодрилось. Вот оно шлет в небо цветные ракеты, указывая немецким летчикам госпитали, склады, электростанции — цели для бомбежки.

Ночь прошла в раздумьях. Сидели, не ложились, составляли сами для себя списки возможного подпольного партизанского отряда «Ленинградской правды». Трудно сколачивался этот список. Не с каждым, с кем хорошо сиживалось за столиком кафе или ресторана, с кем езживалось в командировку в Псков или Валдай, хотелось бы оказаться бок о бок в подпольной смертельной борьбе. Не каждое плечо казалось таким надежным и верным, что можно было бы прижаться к нему в эти трудные, нерадостные дни. Совсем по-другому смотрелось сегодня на многих. Только один был критерий для оценок: «Верю или не верю; продаст или не продаст».

Утром к нам в комнату зашел Сеня Каминер, сотрудник сельскохозяйственного отдела, того самого, в котором работал и я до создания отдела военного.

— Ребята, — сказал он нам с Михалевым, — у вас есть машина. Давайте сгоняем в Красногвардейск. Там у меня осталось все. Хоть костюмчик какой-нибудь сохранить. А?

Сеня — прекрасный, милый человек, добрый, отзывчивый. У меня к нему еще и особое отношение. Он был тем редактором, который первым напечатал мое первое опубликованное нечто. Это нечто было стихотворение под названием «Дозор», и газета, которая решилась его опубликовать, была «Красногвардейской правдой», редактировавшейся тогда Сеней Каминером. Это было в 1934 году, в день открытия Первого съезда советских писателей. В маленькой районной газетке в тот день на третьей полосе шла литературная страница с приветом мастерам художественного слова. Подвалом печатали отрывок из шолоховского «Тихого Дона». Четыре колонки над подвалом слева занимал отрывок из «Петра Первого» Алексея Толстого. А третьим на полосе — колонка справа — было мое стихотворение. Я неописуемо радовался этой своей первой печатной продукции, гордился обществом, в которое меня поместил добрый редактор. Огорчало одно: что те двое — писатели, а я всего-навсего «агроном Красногвардейской МТС» и стишок мой — «из присланных на конкурс «Красногвардейской правды».

Редактора я, конечно, и в глаза не видел, получил в кассе через некоторое время премию за стих (вторую; первая не была присуждена никому) — 75 рублей, и на том дело кончилось. Познакомились мы с Сеней уже в «Ленинградской правде», куда его, как и меня, пригласили работать собкором. Он собкорил по пригородным

районам и продолжал жить в своей бывшей Гатчине, в Красногвардейске.

— Ладно, — сказали мы, — съездим, Сеня, посмотрим, как там и что.

В эту минуту Сеня поехать не смог; у него было редакционное задание. А мы решили, что докатим до Пулкова, разведаем дорогу — под Красногвардейском же идут страшнейшие бои, через те места все еще отходят части, оборонявшие Лугу. Заодно уж и поспим где-нибудь за городом: ночь-то прошла без сна.

Поднялись в «козлике» на Пулковский холм, с которого нам открылась жутковатая картина. Над Гатчиной запавесями висел дым — и черный, и белый, и желтый. В том направлении отовсюду били наши пушки, оттуда, тоже во все стороны, били чужие пушки. На шоссе — густая толчея. Грудь в грудь к линии боя пробивается воинское подразделение, со стороны боя катится поток беженцев. И снова, как в районе Веймарна — Ополья, — мужчины, женщины, дети, стада коров, свиней, возы, тракторы, собаки...

Увы, дорогой Сеня, придется тебе остаться без костюма, пути в твой Красногвардейск уже нет. И хорошо, если костюм — это и все, что суждено потерять тебе в такой войнище.

13

Вокруг города уже стало тесно: бои приближаются к его окраинам. На приневских равнинах повсюду фронт. На них усиленно копают и строят. Копают рвы, траншеи, ходы сообщения, строят дзоты и мощные доты из железобетона, из несокрушимых броневых плит. С точным расчетом перекрестного огня расставляются орудия, вокруг которых складывают земляные валы.

Самый дальний участок фронта сейчас за Ораниенбаумом. Там сражаются за полосу земли, окружившую береговые форты, которая препятствует врагу совершить бросок на Кронштадт. Кронштадт каждый день, от зари до зари, в воздушных тревогах, каждый день немцы швыряют бомбы в корабли, в причалы. Кронштадт отбивается, громит воздушного врага.

Мы вновь держим путь за Ораниенбаум, туда, где действует Копорская оперативная группа войск. Нам сказали, что в эту группу входит и дорогая нам 2-я ДНО —

Вторая дивизия народного ополчения, что она по-прежнему показывает образцы мужества и героизма.

Снова знакомая дорога. Стрельна, где на кольце разворачиваются пустые трамваи; пустые потому, что сюда уже можно ехать только по пропускам, по разрешениям — это за пределами городских КПП. Петергоф — опустевший и тихий; пирсы с морскими бомбардировщиками. Огромным линкором плывет в заливе Кронштадт. Над ним разрывы зенитных снарядов — очередная попытка немцев бомбить наши корабли. Дальше — Лебяжье, Красная Горка...

В прошлый раз нам не пришлось увидеть Копорскую крепость, пути наши лежали иначе. А сегодня — вот она, обветшалая, но все еще грозная со своими тяжелыми каменными башнями далеких веков. Перед нею невольно думается о том, как воевали в те времена этими крепостями: подступали, осаждали; удавалось взять — победа, не удавалось — поражение. Не бушевал пламень по всем дорогам. Секли головы мечами, проламывали палицами — не рвали друг друга в клочья порохом и тротилом. Стоит она, старая-старая крепость, въелись в ее камни бузина и рябины, пообсыпалось все, пообветрилось, обвалились мосты,— а вот стоит и дремлет, что-то вспоминает, морщинистая, косматая, с нахмуренным лбом, безглазая.

За Копорской крепостью мы смогли продвинуться уже не слишком далеко. Над дорогами, утюжа их и хорошо просматривая, с воем проносились одиночные немецкие самолеты. На этот раз тут были не только «мессершмитты». Нагло, по-хозяйски, ходили на бреющем и бомбардировщики — «юнкерсы» с «хейнкелями». Ста метров нельзя было проехать спокойно. Непременно заметят и проутюжат тебя.

Все части были в бою, измотанные, истрепанные; всюду: в лесах, в кустах — раненые. И небо над этими лесами и полями, хотя и ясный день, полное солнце, — сумрачное, как бывает при дневном затмении, затянутое хмарью, заслоненное от людей.

В этой густой каше мы наткнулись на одну из уже нам известных частей, которая в составе 8-й армии отходила из Эстонии. Произошла интересная встреча. Батальонный комиссар Семенов рассказывал о том, как с группой бойцов он пробивался из немецких тылов к своим.

Семенов, сказали нам, вернулся в часть несколько

дней назад, исхудалый, оборванный, еле стоявший на ногах от переутомления.

— Умер бы, застрелился, но живым в руки к немцу ни за что бы не попал, — говорил он. — Это не люди, не армия, а зверье, банда.

Когда оперативный дежурный недавним ранним утром доложил командиру части, что Семенов прибыл из длительной отлучки, все, кто были в тот час в землянке, буквально дрогнули. Семенова в полку считали давно погибшим. Он был уже исключен из списков личного состава. Но вот, осунувшийся, с ввалившимися глазами, одетый, правда, по форме, с орденом Красного Знамени на гимнастерке и своими двумя «шпалами» в петлицах, он вновь появился в кругу боевых товарищей.

Как же было дело? Месяц назад, после ожесточенного боя, пятеро красноармейцев, среди которых в тот час находился и батальонный комиссар Семенов, увидели, что они отбились от подразделения и уже бродят в тылу врага. У всех была одна-единственная мысль, одно общее стремление: во что бы то ни стало пробиться к своим. Не стали терять времени — пошли. Пошли по компасу, по карте, которая была у Семенова, ориентировались и по звукам боя.

Началось долгое, многодневное блуждание по лесам и болотам, по вытоптанным танками полям, по черным, сожженным и разграбленным гитлеровцами селениям.

— Вот тут-то мы и увидели подлинное лицо германского фашизма. В деревни, верно, заходить избегали, но если уж зайдем — всюду одно и то же: приказы, приказы, приказы, угрозы, угрозы, угрозы. Вот полюбопытствуйте... Это я содрал со стены. Тут и по-немецки и по-русски.

Мы берем у Семенова листок немецкого приказа, читаем:

«Пункт первый. Красноармейцы в течение 24 часов обязаны явиться к военному коменданту. В противном случае они рассматриваются как партизаны и подлежат расстрелу.

Пункт второй. Каждый партизан подлежит немедленному расстрелу.

Пункт третий. Жители, оказывающие содействие красноармейцам или партизанам, подлежат расстрелу, а имущество их конфискуется...»

И так пункт за пунктом, и в каждом непременное слово «расстрел».

— Это не просто слово, не угроза,— говорит Семенов.— Это именно расстрел. Немецких воинских частей там, в тылах, уже почти нет — все на передовой, на линии боя. В одной деревне крестьяне нам рассказывали, что в соседнем селе... название даже запомнил: Омут... стоят, мол, там два десятка солдат при военном коменданте. Но мы лично войск нигде не видывали. Зверствуют, осуществляют эти бесчисленные расстрелы некие другие. Вся контрреволюционная нечисть, которую в свое время пощадила Советская власть, подняла голову, обрадовалась. Пока мы на эстонской территории были, чего только не наслушались об эстонских фашистах, «белоповязочниках», как их называют в народе. Это верные лакеи гитлеровцев. Рыскают по селам, жгут дома своих же эстонских крестьян, если те приютили, накормили красноармейца. А уж на территории Ленинградской области сподобились и бывших кулаков увидеть в новом расцвете. Своими глазами в одном селе узрели сельского старосту. Представитель новой власти, заметив, что мы впятером идем по улице, подхватился да и драла от нас рысью. «Из кулаков,— объяснили нам крестьяне.— Ну, мол, ничего. У соседей партизаны такого уже шлепнули. И наш недолго заживется». Народ, который остался в деревнях, встречал нас хорошо. Снабжали хлебом, иной раз молочишко перепадало. Но в общем с харчами плохо. Ягодами питались — брусникой, сырые грибы пришлось есть, сырую картошку. Честно говоря, из-за этих непрерывных расстрелов — не хотели своих, советских людей подводить под пулю — в деревни не шли, стороной обходили.

Несмотря на зверский террор, рассказывал батальонный комиссар Семенов, борьба советского населения с захватчиками разгорается. В деревне Тихвинке, которую проходили его бойцы, немцы создали даже целый штаб по борьбе с партизанами.

— Чем эти штабы заняты, на это мы налюбовались,— сказал Семенов.

Возле деревни Дубоем группа встретила заплаканную женщину.

«Сына ищу»,— ответила она на расспросы.

Накануне из того штаба, что в Тихвинке, в деревню примчались каратели. У одного из крестьян, у мужа этой женщины, они нашли двоих красноармейцев. Подожгли, конечно, дом и хотели тут же расстрелять его хозяина и хозяйского сына на глазах у потрясенной матери. Но те

расстрела ждать не стали, бросились оба к лесу. Крестьянина, ее мужа, все-таки догнали — уже не молод был шибко бегать — и убили, а паренек скрылся.

— Через несколько минут мы сами увидели это дымящееся пепелище, этого застреленного человека. Соседи сколачивали для него гроб из досок, содранных с крыши. Они нам сказали, что были в деревне еще две беженки. Хорошие, добрые женщины. Помогали красноармейцам. Ну, так их раздели догола, при всех избили вот на этом месте и куда-то угнали. За избой, которая стояла на самой окраине деревни, мы заметили деда. Он копал яму. «Хоть маленько, да хочу хлебца припасти. А то с голоду помрешь, когда подчистую гитлеровцы у нас все выметут».

Время от времени немцы со своими подручными из кулачья устраивают внезапные налеты на деревни. Появляются они группами и непременно на машинах. Подъехав к окраине, останавливаются и тотчас начинают повальный обыск в сараях, в амбарах, клетях: нет ли спрятанных красноармейцев или партизан. А затем, убедившись таким образом, что им не грозит пуля в затылок, заходят уже и в дома. Начинается грабеж. Забирают поросят, коров, овец, бьют из пистолетов кур на улицах, тут же на месте лакают молоко из кринок.

Но иногда устраиваются наезды и, так сказать, с «просветительными» целями. Деревню сгоняют тогда на собрание. С платформы грузовой машины бравый «лектор» держит речь. Он говорит по типовому геббельсовскому конспекту. Здесь и «непобедимость» германской армии, и «новая эра» в жизни человечества, и, конечно, падение большевизма, роспуск колхозов, раздача земли крестьянам. Но конец таких речей странно не вяжется с их началом. Оратор, обещающий роспуск колхозов, урожай-то призывает собирать коллективно и засыпать зерно не куда-нибудь, а в общественные закрома. В отличие от бессистемных набегов и кустарного разбоя первых дней оккупации это подготовка к планомерному, «научно организованному» грабежу. Из общественных амбаров гитлеровцам куда как легче выгрести, вывезти хлеб для своих армий.

Один из подобных «агитаторов» приехал в деревню Родино. Окончив свое выступление, он обратился к первой попавшейся женщине, молча стоявшей в толпе: «Скажи вот ты. Как жила прежде?» — «Ничего жила, хорошо.

Сама пятьсот рублей получала, да муж работал». — «Значит, довольна была жизнью?» — «А как же. Довольна, конечно». С размаху гитлеровский «культуртрегер» ударил женщину ногой в живот.

Для захваченных ими районов немцы выпускают газету. Учитывая авторитет и популярность советских газет, фальшивых дел мастера назвали ее «Правдой». В этой газетке внешне все как в «Правде»: заголовок, шрифты, расположение материалов. Но что там за материалы?! Вы найдете среди них и описание «торжественной встречи» германских войск в Кривом Роге, и статейку невесть откуда взявшегося архимандрита об открытии им новых мощей в Пскове, и всякий подобный бред.

Через Плюссу бойцы во главе с батальонным комиссаром Семеновым перешли по бревнам. Река была запружена лесом, который немцы спешно сплавляют, чтобы вывезти в Германию. Такую же лихорадочную спешку проявляют они и на Гдовских сланцах. Они и не думают откачивать воду из затопленных шахт или восстанавливать оборудование. Напротив, все, что еще уцелело, быстренько разбирается, упаковывается в ящики и грузится в вагоны. «Видно, недолго думают у нас жить»,— сказал бойцам один старый рабочий в Сланцах.

— Так выглядит тыл немцев на нашей земле, — завершил Семенов рассказ. — Не густо у них там. Все силы бросили в бой.

Завязался долгий разговор о стратегии, о том, что если разбить немцев на фронте, то, не имея должных резервов в тылу, они неудержимо покатятся назад. Но вот как их разбить здесь? И когда же это будет?

В обратный путь к фортам мы решили двинуться другой дорогой, точнее, не дорогой, а дорогами. Мы хотели избежать непрерывных налетов авиации и поэтому, сверившись с картой, избрали путаную цепочку неведомых проселков прямо через леса. По шоссе добрались до деревни Лопухинки. Оказывается, здесь тоже было достаточно немецких самолетов над дорогами. Подъезжая к деревне, мы еще издали почуяли вкусный запах свежего хлеба. Вблизи это было не так вкусно, как издали. У деревни стоял на шоссе грузовик и горел дымным, трескучим пламенем. Кузов его был полон буханками хлеба. Горел кузов, горела кабина, горели, дымя и источая хлебный печеный дух, свежие буханки. Два мертвых крас-

ноармейца лежали на обочине дороги, вытащенные крестьянами из кабины.

От Лопухинки мы свернули влево и дремучими глухими лесами двинулись к северу, спускаясь с Копорского плато в прибрежные бескрайние болотистые заросли. Дороги тут были неезженые, скверные, мы проваливались на гнилых гатях, застревали среди пней. Но все-таки двигались. Пересекли так речку Рудицу, пересекли речку побольше — Черную, кое-как добрались до побережья залива. Самолетов над нами не было, это верно, но зато дорожные трудности пришлось преодолеть невообразимые.

Местами даже и в этих дебрях мы натыкались на оборонительные работы. И там копали — рвы и траншеи, и там строили — огневые точки.

К ночи мы были в Ораниенбауме.

14

Еще когда утром мы ехали из Ленинграда, на одной из улиц Ораниенбаума увидели Веру Горбылеву. Их, то есть наше дочернее издание — «Ленинградскую правду» па оборонной стройке», так же, как нас, ходом военных событий в последние дни прижало к Ленинграду. С первых дней существования этой боевой газетки бригада ее корреспондентов — Вера Горбылева, Арон Рискин, Миша Смех и еще двое-трое — работала на сравнительно дальних рубежах, под Лугой, в Толмачеве, там, где в ту пору спешно возводили первые оборонительные рубежи. Сейчас те рубежи, как известно, сыграли свою роль, немцы были надолго задержаны в районе Луги, и вот одна из бригад газетки очутилась в Ораниенбауме, в лесах вокруг него, у подножия Копорского плато, где начаты новые стройки, часть которых мы увидели сегодня в лесах.

Мы остановились, встретив Горбылеву; она нам сказала, что бригада «базируется» на ораниенбаумскую нотариальную контору. Днем в той комнате контора нотариуса, а после четырех или пяти — уже другая контора — контора бригады, одновременно и корреспондентское их жилье. Вот здесь, недалеко. Если будете нуждаться в ночлеге, заезжайте.

Разыскав знакомых нам морских летчиков, поужинав у них, наслушавшись новых боевых рассказов, мы так и сделали: отправились в нотариальную контору, нам по-

надобился ночлег. Возле входа в здание, в котором были собраны все связанные с юриспруденцией районные организации: нотариальная контора, коллегия защитников, прокуратура, народный суд, — перед запертыми «черными» дверьми со двора толпилась в темноте вся бригада «Оборонной стройки». Усталые, голодные, они возвращались с трассы. Стоя возле дверей, которые не хотели открываться, Арон Рискин, тонко чувствующий юмор человек с наблюдательным глазом, как всегда, острил; Вера, понятно, кем-то и чем-то возмущалась.

Наконец нам открыли — один из тех, кто сторожил здание, вышел в исподниках к входу, отодвинул задвижки и снял крючки.

На втором этаже, куда мы поднялись, держась друг за друга и светя фонариками, было пусто и тихо. Только темные, грязные полосы по стенам коридоров на уровне человеческих задов и лопаток свидетельствовали о густых толпах, обтирающих эти стены своими спинами днем, о людях, которые долгими часами дожидаются здесь — кто пустяковой справки, кто вызова к прокурору или решения суда. А сейчас... Сейчас здесь было пусто, угрюмо, уныло. Комнатенка нотариуса оказалась крохотной, с единственным окном во двор. Мы поинтересовались, куда выходит это окно. Оказалось, на юг. Не обрадовались такому известию — может дать снарядом или даже просто осколками. Были в комнатке шкафы с «делами», были железные ящики, два небольших столика, несколько стульев и старая пыльная кушетка.

Щелкнув замками своего чемодана, мы принялись извлекать из него военторговские припасы. Бригада «Оборонной стройки» тоже, оказывается, кое-что имела. Она запаслась жигулевским пивом и чайной колбасой. Начался ужин, и начались разговоры. Рассказывали каждый свое. Мы рассказали о только что состоявшейся встрече с батальонным комиссаром Семеновым, о его героическом походе с пятью бойцами из немецкого тыла, о том, какое впечатление Семенов вынес о немецких резервах, о зверствах, творимых гитлеровцами и их добровольными подручными в эстонских и русских селениях.

И тут заговорил тип, которого мы не сразу приметили в нашей корреспондентской толпе, шумно заполнившей нотариальную контору. Нам думалось, что это один из бригады «Оборонной стройки», а те, может быть, полагали, что его притащили с собой мы. Худой, тщедушный,

с желтым лицом желчного, недоброжелательного человека, сидел он на стуле в углу, до наших харчей и до нашего пива не дотрагивался, смотрел на всех вкось недобрыми, нетоварищескими, узкими глазами.

Судя по знакам различия, у него даже было какое-то воинское звание — не рассмотрел какое, настолько был он нам всем неинтересен, этот малый с внешностью кинематографического кляузника и нашептывальщика.

С немалым апломбом он сказал:

— Чушь это все, о пустых тылах. Немцы — огромная сила. Они нас научат жить и воевать. Сами не учились, так научат они.

Говорил этот человек злобно — и совсем не по отношению к врагу; у него получалось как-то так, что злобу свою он адресовал против нашей жизни, против нашей действительности, против всего нашего, бесконечно нам дорогого. Кое-что было и верного в его речи, такого, о чем бы и мы могли сказать, но сказать иначе — именно как о своем, которое надо бы исправить, улучшить. Он же на все смотрел не просто со стороны, а с *той, с другой стороны.* «Что за гадина? — думалось, видимо, каждому из нас, судя по тому, как мы друг с другом переглядывались. — Откуда такие берутся?» Трусов, паникеров, людей, ничтожных духом, в Ленинграде к этому времени — ко времени, когда вокруг него замкнулось кольцо окружения, — уже не осталось, а если и остались, то единицы. Трусы, мелкие перепуганные душонки первыми ринулись в Смольный, в разные другие учреждения города с требованием немедленно эвакуировать их в глубь страны. Они, мол, мозг, цвет, нервы, соль народа, их надо сохранить, иначе кто же после войны будет восстанавливать страну и бороться за дальнейший прогресс. Кого бы действительно следовало сохранять, тех невозможно было уговорить эвакуироваться. А эти... Эти тряслись от страха: вдруг, мол, придется остаться в Ленинграде? Это тоже была проверка подлинной ценности людей. Мы уже знали, как к Семену Фарфелю в редакцию фронтовой газеты «На страже Родины» забежал прощаться добившийся-таки разрешения на эвакуацию один из недавних друзей дома и спросил: «Что передать Лене (то есть жене Фарфеля, в первые дни войны выехавшей в тыл с маленьким ребенком)? Туда еду». — «Да как сказать, — ответил Фарфель с его мягкой и хитроватой улыбкой умного, отлично все понимающего человека, — особенно-то ничего.

Скажите, мол, что держимся, сражаемся кто как может, постов своих покидать не собираемся». Или известно, как заведующий отделением «Известий» в Ленинграде, старый газетный работник Максим Гордон, узнав случайно, что один из сотрудников отделения, не сказав никому ни слова, спешно отправился на гражданский аэродром, тотчас понял, что означает такая спешка, и ринулся следом. Он ухватил своего сотрудника буквально за шиворот перед самой посадкой в самолет. «Скотина, — сказал он, — ты знаешь, кем бы стал с той минуты, когда захлопнулась бы дверь самолета?» И привез его обратно. Таких, которым что-то или кто-то помешал удрать, в Ленинграде осталось, повторяю, мало, очень мало. Кто же этот узкоглазый тип, так развязно поносящий нашу жизнь? Почему он не улепетнул своевременно за Уральский хребет?

Выслушав вонючую речь до конца, мы поднялись и попросили этого человека покинуть нашу комнату. Мы не хотели быть с ним под одной крышей. У нас темнело в глазах от возмущения и ярости. Когда я был мальчишкой, на меня незабываемое впечатление произвел один случай. Это было в Новгороде, где я родился, на нашей окраинной Никитинской улице. Один что-то натворивший парень, спасаясь от материнской расправы, влез на крышу дровяного сарая. Разгневанная мать пыталась достать до него длинной палкой и, видимо, стукнула разок-другой. Он заревел и стал вдруг осыпать свою родную мать матерщиной. Старшие ребята, которые в другое время, в любом ином случае, попробуй кто тронуть «парня с нашей улицы», вели бы себя совсем не так, тут ринулись на сарай, стащили сквернослова на землю и настолько основательно излупили, что уж сама мать вступилась за своего сынка. За что же его били? А за то, что грязно говорил о матери.

Я вспоминал этот случай, глядя на злобного рассуждателя, которого мы попросили выйти вон.

Он встал, пожал плечами, фыркнул и ушел. Правда, ушел не очень далеко. Кто-то ночью увидел его в зале судебных заседаний спящим на откидных стульях, под шинелью. Он зяб и вертелся на неудобном ложе.

Когда его не стало в комнате, мы задали друг другу вопрос, кто он и откуда. Только один из нас смог сказать, что, дескать, этот тип приехал из Москвы, называет себя писателем, но никто не припомнил ни одного написанного им произведения. Правда, это не удивительно.

Таких писателей, которые писатели по документам, так сказать, не по профессии, а по должности, расплодилось довольно много. В военных газетах даже штатным расписанием предусмотрено: «должность — писатель». Рядом с настоящим литератором на должность писателя могут «назначить» кого угодно.

Кто же этого произвел в писатели? Кто назначил его на такую высокую должность?

Плохо засыпалось после неприятной стычки. Легли на шинелях, заняв весь пол комнаты; двоим счастливчикам по жребию достался диван. Лежали, кипя от возмущения.

Не очень спалось еще и оттого, что сильно грохали пушки кронштадтских фортов и кораблей. Дом дрожал от их ударов. Пушки били методично, с правильными интервалами. Они помогали Копорской группе войск отстаивать плацдарм вокруг Ораниенбаума и Красной Горки.

На рассвете я решил пойти и поискать в здании телефон, чтобы передать нашей редакционной стенографистке очередную информацию. В незнакомых коридорах было полутемно. На глаза попалась дверь с фамилией на дощечке. Дернул за ручку, не заметив в сумраке, что дверь была заперта на висячий замок; одно колечко от этого вылетело, створки распахнулись, и передо мной открылся кабинет некоего, как я сказал себе, судебного бюрократа. Тут был стол, были застекленные шкафы, полные папок; перед столом — для всяких «собеседований», никогда не бывающих приятными тем, кого пригласили «побеседовать», — стояли стулья; а главное, тут было то, что я разыскивал, — телефонный аппарат. Подсев к столу, быстро набросал текст заметки и принялся через междугородную заказывать Ленинград.

Нежданно-негаданно в дверях появился человек.

— Вы что здесь делаете? — спросил он, глядя на меня с холодным удивлением. Я делал, видимо, нечто для него неслыханное, так он был поражен.

— Что надо, дорогой мой, что надо, — ответил я бодро. — А вас что, простите, интересует?

— Меня интересуете вы. В связи с тем, что я хозяин этого кабинета. Я прокурор.

Мы кое-как с ним поладили, хотя он все же добавил, что о моем вторжении в его кабинет непременно сообщит нашему редактору.

— Ну что ж, сообщайте. При таком известии он сам не свой от радости будет.

Тут мне дали Ленинград, но едва послышался голос стенографистки: «Диктуйте, записываю», — как в трубке оборвалось и девушка ораниенбаумского телефонного узла сказала: «Связь с Ленинградом временно нарушена».

В этот день мы собрались отправиться в район Ропши. Нам еще с вечера сказали, что там дело плохо. Значит, бои уже идут там. А если сегодня бои в Ропше, то завтра немец может вырваться и к Стрельне. Уж я-то, учившийся в Ропше, знаю, куда ведут оттуда дороги и какие это дороги. От Ропши до Знаменки, где был дворец дяди последнего царя, Николая Николаевича, бездарного вояки и тупого государственного деятеля-интригана, прямой, по линейке проложенный путь, километров восемнадцать — двадцать. Стрельна же от Знаменки в каких-нибудь трехчетырех километрах. А в Стрельне уже кольцо ленинградского трамвая — той линии, что мимо Кировского завода идет от Нарвской заставы через Автово.

— Вот что, — сказал я товарищам из «Оборонной стройки». — Сейчас мы позавтракаем в военторговской столовой и понесемся в район Ропши. Но вечером ждите, снова приедем к вам на ночлег.

Столовую нашли в парке, в зарослях кустов. Был там натянут зеленый брезентовый тент. Под ним стояли два длинных стола, и в буфете можно было взять сколько хочешь ветчины, сыру, колбасы, шпрот. Были даже горячие сосиски, бифштексы, яйца всмятку. Глядя на это, я невольно подумал о позапозавчерашнем пожаре Бадаевских складов...

После завтрака бригада «Оборонной стройки» попросила нас довезти Веру Горбылеву до трамвая — все равно же нам ехать в ту сторону. Они командировали ее в редакцию с материалами для газеты, поскольку, как мы уже убедились, телефон с Ленинградом не работал.

Опять мы въехали в пустой Петергоф, миновали царский вагон, который стоял возле парка на путях, специально оставленных для него, сделали привал в парке, чтобы обдумать положение. Прежде чем двинуться в Ропшу или под Ропшу, надо, пожалуй, найти хоть какой-нибудь штаб, хоть кого-нибудь, кто бы знал, где находятся те или иные части.

Принялись разъезжать по многочисленным казармам Петергофа. Всюду пусто. Пустые здания, пустые учебные

плацы. Печально стоят спортивные городки: лестницы, турники, бумы, трапеции. Резкий сентябрьский ветер раскачивает кольца и шесты. Светит солнце, но ветер холодный. Застегиваем на все крючки и пуговицы свои шинели. Продолжаем поиски. Наконец с великим трудом нашли узел связистов.

— А вот дуйте прямо по этой дороге! — Веселый лейтенант-связист провел ногтем по нашей карте решительную черту.

Миновав Луизино и Марьино, стали приближаться к деревне Настолово. Дорога была уже изрядно загромождена. Как всегда, когда идет бой, в двух направлениях — туда и оттуда — двигались колонны машин и людей. «Отвезем сначала Веру в Стрельну,— решили мы,— а потом будем думать дальше».

Стрельна была рядом. Посадили свою спутницу в пустой трамвай, помахали руками. Расстались. В таких случаях никогда не знаешь, накоротко ли, надолго расстаешься и вообще встретишься ли. Со многими, с кем в эти месяцы пришлось расставаться, мы уже так никогда и не встретились и не встретимся. Поэтому каждый раз, расставаясь, делаем это так, будто прощаемся навсегда. Не говоря, конечно, об этом, не рассуждая и ничем того не выказывая. Но там, в сердце, всему ведется свой суровый и честный счет.

Снова пробиваемся к Ропше. Колесим проселками. Подбираемся к подножиям высот — от них до Ропши уже километров семь, не более. В укрытии под высотами — штабы полков. Прямо так, в кустах, не только без землянок, но даже и без палаток. А это, мы знаем, скверный признак, очень скверный. Это снова отход. На высотах неумолчно стрекочет винтовочно-пулеметный огонь. За стеной огня — Ропша, моя Ропша, с тихими, зеркальными прудами, заросшими почти до дикого состояния парками, старым, окутанным мрачными тайнами дворцом, с голубым прудком — Иорданью. Десять лет назад там было шумно, весело от студенческих толп — всегда полуголодных (такое было время и такие стипендии), плохо одетых, но неизменно бодрых, радостно и упрямо устремленных в будущее. Мы с увлечением ухаживали за плодовыми садами, выводили карпов из икринок, учились доить коров и чистили коровники, дежурили на пасеке, после чего лица наши дня на два, на три так изрядно меняли свои черты, что таких изъеденных пчелами даже самые

близкие друзья способны были узнать лишь по одежде. Где те веселые парни, где те веселые девчонки? Может быть, иные из них вот на этих высотках лежат за пулеметами или в тех кустах спешно перевязывают раны? Мы же учились этому, стрелять из пулеметов и делать перевязки. Врет желтый от злобы, узкоглазый тип. Мы учились, и неплохо учились. И если чему нам еще и учиться, то только не у гитлеровской банды, не у фашистов, не у тех, кто обалдел от звериной жажды покорять, подавлять, прибирать к рукам весь мир.

Бой впереди разгорается. Воздух вспыхивает от шрапнелей, фугасок и мин. Ревут танки. Смеркается, но над землею светло от пожаров. На дорогах все круче и круче каша отхода...

Поздно ночью вернулись в Петергоф, хотели было забраться в царский вагон переночевать. Но вагон был тщательно заперт. Поехали к морским летчикам.

Утром решили навестить бригаду «Оборонной стройки». В нотариальной конторе никого из наших не оказалось. То ли выехали в леса, то ли уже и в Ленинград. Поколесили по штабам, нашли своих ополченцев, 2-ю ДНО. Ополченцы были, оказывается, уже совсем неподалеку от Петергофа. Они отошли сюда с тяжелыми, упорными боями.

День прошел в метаниях по дорогам. Военные тучи сгущались. Отовсюду шли известия, что враг наращивает удары, вводит в бой все новые и новые части. Ему нужен Ленинград, и вот-вот из пригородных лесов он вырвется к окраинам города, на открытые приневские равнины.

К вечеру и мы отправились в Ленинград. В Петергофе уже не было никакой тишины. На всех перекрестках тут рвались снаряды и мины. Мы буквально без всякого иносказания проскакивали через огонь. Бой шел возле Знаменки и Стрельны. Это означало, что в минувшую ночь немцы еще ближе придвинулись к заливу. Скопление, столпотворение из бойцов смешавшихся подразделений, из верениц повозок, из машин, пушек, тягачей...

Думаю, что мы последние, кто посуху проехал через все это из Ораниенбаума в Ленинград. Следом за нами немцы подходили к самой Стрельне; чуя близость желанного им города-гиганта, они зверели до того, что даже зачем-то лупили из автоматов по застрявшим на стрельнинском кольце нашим остекленным зеркальными стеклами ленинградским трамваям.

Немцам казалось, видимо, что они уже в Ленинграде, по всем направлениям летело их радостное радио.

До улиц Ленинграда от этого трамвайного кольца и в самом деле оставалось каких-нибудь двенадцать километров. А до Автова и того ближе — совсем рядом, шаг шагнуть. Солдаты Гитлера уже видели наш город, видели эллинг завода, на котором я работал двенадцать лет назад и который назывался в ту пору «Северной судостроительной верфью», видели Васильевский остров. По нашим пятам они выходили к заводу «Пишмаш» *.

---

* Двадцать три года спустя, после опубликования этой главы «Записей» в журнале «Октябрь», я получил письмо от тогдашнего молоденького лейтенанта, а ныне подполковника Вульфа Евсеевича Лайхтмана и так узнал, что же происходило в тот день на другом участке фронта — в укрепленной полосе на реке Ижоре под Слуцком, где мы побывали с неделю назад.

«Поздней ночью правее нас затрещали немецкие автоматы, застрекотали мотоциклы, ударили орудия,— рассказывает В. Е. Лайхтман. — Немцы не пошли прямо против дзотов. Метрах в 500 от нашего расположения они внезапно переправились через реку и ударили по флангу роты. У командира артвзвода (тов. Лайхтман пишет о себе в третьем лице. — *В. К.*) связь с КП роты оказалась сразу прерванной, но другие дзоты батальона, расположенные на участке противника, все время докладывали о ходе боя. Кабельные линии, соединяющие огневые точки между собой, действовали до последней минуты. Вот немцы обходят дзот за дзотом. Гарнизоны отбиваются гранатами и винтовками. Один за другим смолкают телефонисты: «Немцы забрасывают нас гранатами! Погибаем, но не сдаемся!»

Что же делать нам? Вытащить пушки из дзотов невозможно (ведь тяги никакой нет). Стрелять из орудий? Но амбразуры смотрят на ту сторону реки, откуда никто не наступал. Деревня горела. Связи уже не было. Десятки глаз смотрели на своего лейтенанта и ждали приказа... Командир орудия поднял бутылку с горючей жидкостью и бросил в погреб, где хранились снаряды. Взвод в полном составе уходит в направлении Слуцка...

На рассвете появился капитан с орденом Красного Знамени на гимнастерке. Собрали мы всех, и он сказал короткую речь: «Вы прос...ли деревню. Теперь должны взять ее обратно». Лейтенант-танкист был назначен командиром роты, а лейтенант Лайхтман заместителем.

Впереди лежало ровное поле. Кое-где желтели несжатые полоски полегших хлебов. Новое подразделение двинулось через поле. Были видны перед нами кирка и остатки домов деревни Войскорово, оставленной нами накануне. Немецких солдат разглядеть было нельзя, но в наших рядах то и дело появлялись раненые и убитые. Когда до деревни оставалось немного, пуля ранила лейтенанта-танкиста. Вся ответственность и «полнота власти» перешли теперь к артиллеристу. Не успел он открыть рот, чтобы сказать что-нибудь, как совершенно неожиданно справа, сзади появились три танка. Не разбирая дороги, они

15

Назавтра, зайдя в продовольственный магазин на улице Лассаля, который напротив входа в Европейскую гостиницу, мы увидели, что со вчерашнего дня нормы продажи хлеба и других продуктов по карточкам, оказывается, ощутимо снизились. В июле, когда только-только ввели эти осточертевшие советским людям карточки, без которых на долю нашего поколения выпали каких-нибудь несколько лет времен нэпа да самые последние годы перед войной, — тогда, в июле, по этим карточкам выдавалось довольно прилично: рабочим — по 800 граммов хлеба в день, служащим — по 600 граммов. Практически

мчались прямо вслед наступающим бойцам. На ровном поле не было ни ложбинки или окопчика, которые могли бы служить укрытием. До этого никто из нас не встречался с танками в бою. И случилось неожиданное. Почти одновременно вскочили все бойцы и с нечеловеческой скоростью помчались прочь от зеленых чудовищ. Так как танки появились со стороны Слуцка и путь назад был закрыт, вся рота стремительно поднялась в сторону деревни, занятой немцами. Когда от сумасшедшего бега иссякли последние силы, новый командир роты упал. Не испытывая никаких чувств, кроме смертельной усталости, он взглянул на танки: их пушки вели огонь по немцам. Тут только он сообразил, что это свои. В самом деле, как потом выяснилось, это были три КВ, в которых находились ижорские рабочие (они прямо с завода ринулись в бой).

То ли эти танки сыграли свою роль, то ли наше бегство от них, которое противник мог принять только за атаку, помогло. К вечеру деревня и знаменитый (описанный вами) дзот были опять в наших руках. Бутылка с горючей жидкостью, брошенная Куракиным при отходе, сгорела, но ни взрыва, ни пожара не произошло. В дзоте оказались немецкие котелки и сухари, брошенные солдатами во время отступления. На КП нашей роты, занятой матросами, «хозяином» был морской командир. Когда лейтенант Лайхтман вошел в знакомую землянку, капитан третьего ранга налил ему стакан водки и подал кусок сухой колбасы: «Надо спасать деревню от немецких автоматчиков! Бери людей и действуй!»

Утром следующего дня бойцы роты лежали, окопавшись на кладбище деревни Войскорово. Немцы возобновили наступление. Теперь все хорошо видят врага. Закатав рукава, изрядно выпившие, наступающие нахально перли на нас, не обращали внимания на винтовочный огонь. Наших на кладбище лежало много. Все стреляли, но кто как: иные нервно, беспорядочно, не целясь. Были и такие, которые малодушно уползали потихоньку по мятой ржи в тыл. Но когда совсем близко стали видны фашистские морды, возросла злость, появилось острое желание убить, уничтожить их во что бы то ни стало. Страха уже не было — только ярость, ненависть. В самый напряженный момент уда-

такую норму было и не съесть. Мяса рабочим в месяц полагалось по 2 килограмма 200 граммов, служащим — по 1200 граммов. Ты приходил в магазин, подавал свои карточки, из них выстригали талончики — хоть за весь месяц вперед. Будь любезен — «отоваривайся».

Кроме того, без всяких карточек работали коммерческие рестораны и кафе. В столовых тоже карточек не стригли. Всюду было сколько угодно мороженого, пива, пирожков и пончиков. Никакого ограничения в пище люди не ощущали.

И вдруг — 12 сентября — как отрезало: хлеба по 500 рабочим, по 300 служащим. Никаких пирожков, никакого мороженого. Магазины опустели в течение одного дня: все брали на карточки вперед. Зайдя вечером в этот продмаг на улице Лассаля, мы смогли на все дни, оставшиеся в сентябре, приобрести по моей рабочей карточке граммов 800 колбасы.

Один пронырливый малый сказал мне, что во дворе штабного здания на площади Урицкого есть «генеральский» магазин, этакого полузакрытенького типа, и там еще всего до черта. Если я чего хочу, то пусть поспешаю.

Конечно, кое-чего надо было, раз уж мы с фронта отжаты в город. Сахару надо, каких-нибудь консервов. Но в «генеральском» магазине вопреки слуху оказалось только шампанское, хорошее, доброе шампанское — сухое, полусухое, полусладкое; в других магазинах оно уже исчезло. «Берите, молодой человек,— сказала приветливая продавщица. — Завтра и этого не будет. Все, что здесь на полках, это и есть наш запас. На складе уже пусто». — «Ну что ж, дайте пару бутылочек». — «Что вы, пару! Берите больше. Это же сахар, витамины. Еще как поддерживает. Если бы у меня деньги были, каждое утро пила бы по бутылке вместо чаю». — «Ну, пяток дайте». —

рили пулеметы, которые имелись у моряков. Куда девалась фашистская кичливость. Оставив несколько десятков убитых и раненых, они откатились назад. Поняли, с ходу нас не одолеешь. С этого момента они пустили в ход минометы. Мины падали среди могил. Осколки срезали кресты, ветви, листья. Когда одна из мин рванула метрах в трех от лейтенанта, что-то обожгло лицо, и казалось, все для него кончилось...»

Лейтенант Лайхтман был тяжело ранен в голову, в плечо, шею, грудь. Его оттащили в тыл, отправили в госпиталь. Но стойкость бойцов на этом участке сделала свое дело. За деревню Войскорово противник, неся огромные потери, продвинулся совсем немного и был остановлен.

«Ах, какой вы непрактичный! Машина у вас есть?» — «Есть, за воротами стоит». — «Ну и все! Платите...» Она назвала довольно солидную сумму — хорошо, что такая сумма у меня нашлась, — отняла мой чек и, пока я число уплаченных рублей пытался разделить на цену одной бутылки, чтобы таким путем определить, обладателем скольких же бутылок я сейчас стану, ловко упаковывала пакеты, а мне оставалось только со страхом смотреть на то, как от ее стараний быстро пустеют магазинные полки.

.Все это основательно упакованное в оберточную плотную бумагу хозяйство я привез в редакцию. Пакеты были довольно неопределенной формы, но каждый встречный почему-то догадывался, что в них не что иное, как именно бутылки. А так как я был человеком почти непьющим, о чем в редакции знали, то мои пакеты вызвали немалое удивление и еще большее любопытство. «Зажигательная смесь, зажигательная смесь, — отвечал я на вопросы любопытствующих, подымаясь с бутылками в лифте. — Против танков».

Надо было эту батарею — она, как выяснилось, состояла из тридцати здоровенных бутылей — разместить получше. Из стола, который принадлежал ранее Ване Франтишеву, я стал выгружать бумаги — папки, подшивки. В ящиках обнаружилось шестнадцать не то одинаковых экземпляров, не то различных вариантов рукописи, называвшейся «Большевики». Под названием стояло: «Литературный киносценарий. Авторы В. Соловьев, И. Франтишев». Эти ребята, оказывается, вот что создавали втихомолку.

Вывалил два пуда их бумаг на подоконник, на место сценария принялся рассовывать по ящикам свою «зажигательную смесь». На пятнадцатой или шестнадцатой бутылке вошел все еще не отправившийся служить на флот Володя Соловьев. Он не смог скрыть своего восхищения бутылями и тотчас приступил к дегустации. Затем последовательно к нам присоединялись другие дегустаторы — Коля Внук, Ваня Еремин, Вера Горбылева, Ольга Смирнова... На улицах в крыши грохали снаряды, у нас в потолок бухали пробки. Верно сказала приветливая продавщица из «генеральского» магазина: в этом отличном вине, которое до войны никто из нас почти не брал в рот, были и сахар, и витамины, и еще что-то весьма приятное и полезное. Только отдельные мрачные ортодоксы, излишне верноподданные нашему редактору и всему тому, что он собою олицетворял, заглядывая в дверь, делали

постные физиономии: дескать, пьянка в рабочее время, да еще в такое время, когда на стенах зданий в городе расклеены призывы: «Враг у ворот Ленинграда», «Все силы на защиту родного города», «Мужественно выполним свой долг перед Родиной»...

В «рабочее время». А какое время у нас в эти дни нерабочее?

Мы с Михалевым, видимо, не давали покоя нашему редактору, как не давали ему покоя и все те в редакции, у кого было свое мнение, кого он считал излишне самостоятельными. Ему казалось — он в этом просто был убежден,— что такие люди чрезвычайно опасны. Для кого, для чего они опасны, этого он еще не совсем уяснил, но факт фактом: опасны. Таких рассуждающих типов надо всячески сгибать и пригибать и не давать им воображать.

Поэтому Вася Грудинин, глядя наискось в стол, сказал нам:

— Вам надо время от времени разделяться.

— Пожалуйста, Вася, разделяй нас и властвуй.

— Нет, я серьезно. Почему бы тебе — это мне — не съездить на фронт с Внуком и еще с кем-нибудь? У нас есть вторая машина, «эмка». А тебе — это Михалеву — в другое место?

— Можно. Пожалуйста, товарищ начальник.

Мы прекрасно понимали, что такую кнопку нажал редактор. Самому-то Васе — на кой ему леший нас сгибать и пригибать? Он хороший, способный журналист. Умеет интересно, остро, ярко писать на самые трудные — на партийные — темы. У многих других на эти темы получается сухо, неинтересно, что называется, тягомотина. У него — читают, обсуждают, ждут еще. Он немножко излишне дипломатичен, он не бахнет, как иной из нас, «да» или «нет», у него возможно и нечто среднее. Но это может с возрастом и пройти. А недоброжелательство к людям, не желающим петь под чужую дудку, то недоброжелательство, которым страдает редактор, оно не проходит никогда. Напротив, оно с годами развивается. Пока, конечно, жизнь не трахнет недоброжелателя по голове. Тогда, понятно, наступает просветление. Но не всех же она трахает. Иные весь свой век только и заняты тем, чтобы в чем-то да мешать другим.

Куда же мы отправимся? — встал вопрос перед Колей Внуком и мною. По нашим с Михалевым маршрутам? Там все объезжено. На Неву, где 9 сентября немцы

в районе Порогов попытались переправиться на правый берег? Туда интересно съездить, это правда. Но куда же еще?..

Решили поехать в Сестрорецк. Говорят, что в тех местах отряд рабочих завода имени Воскова здорово поколотил финнов.

Едем по приморскому шоссе. Новая Деревня, Лахта, Лисий Нос, откуда 22 июня мы в попутном грузовике ринулись на войну. Знакомые дачные места. Они почти не изменились. Люди живут здесь чуть ли не мирной, довоенной жизнью. Правда, в зданиях школ, санаториев, клубов стоят войска, кое-где видны стволы зенитных пушек. А в остальном все так, как было.

Сестрорецк — там уже дело другое. Весь город в следах разрывов снарядов и мин, на улицах колючая проволока, надолбы. В заводском клубе, в некоторых цехах завода мелькают люди с винтовками. Это бойцы того рабочего отряда, в который мы держим путь.

Глядишь на этих людей, и оживают далекие, минувшие времена, те времена, которые нам известны по хорошим, волнующим ленфильмовским картинам, — времена революции, борьбы за красный Питер, за Советскую власть. Вот они, рабочие в пиджаках, кепочках, опоясанные ремнями, пулеметными лентами, с трехлинейками — недавней продукцией завода. И молоденькие парнишки тут, и зрелые мастера-умельцы, и сивоусые деды.

Это одна часть отряда. Другая находится в окопах за городом, в районе кладбища, там, где совсем уже рядом река Сестра. Мы идем туда, идем ельником, вязнем в сыпучем песке дюн. Сестрорецк, его дюны, пляжи, сосны — чудесные приморские места. Здесь был замечательный, известный всей стране курорт. Опытные врачи хорошо лечили, люди здесь отлично отдыхали, набирались сил. Веселое было место, привлекательное для ленинградцев. По воскресеньям Сестрорецк и его окрестности переполнялись приезжими из города.

Сколько прекрасного осталось позади. В какие-то далекие дали оно отброшено сегодня войной...

В окопе рядом сидят два пожилых рабочих: один возле ротного миномета, другой держит в руках винтовку. Первый — это Александр Львов, второй — Иван Яковлев. Кто же они такие? В 1915 году оба были молодыми рабочими парнями. Встретились тогда на призывном пункте, сдружились да так вместе и отправились на фронт.

Прошли годы. И вот снова старые друзья в окопах. Но уже не на полях далекой Белоруссии или еще более далекой Польши, а совсем рядом от своих жилищ, от родного завода. Они уже не те озорники и задиры, а степенные, тронутые сединой, искусные лекальщики — токарь и слесарь восьмого, наивысшего разряда. За их спинами — родная слободка, выросшая в хороший город Сестрорецк, их завод, на который они пришли более четверти века назад. Война на этот раз подобралась к самым их домам — никуда ехать не надо. Снаряды падают в садах, что вокруг бревенчатых, обшитых тесом домиков, разбивают крыши, крошат тротуары, каждая выбоина в которых давно ощупана крепкими, уверенно ступающими ногами в грубых рабочих башмаках.

Вместе с этими двумя друзьями из шестого цеха сидит в окопах их одногодок, такой же старый мастер лекального дела, слесарь Михаил Филиппов. Здесь же и молодые ребята — Алексей Пожарков, Евгений Прусаков и еще десятки, десятки других.

Крепкий, боевой отряд выставил завод имени Воскова на передовую. Наступавшие вдоль залива финны, захватив Териоки, Келломяки, Оллилу, Райяйоки, вырвались к Сестре-реке и с ходу хотели овладеть Сестрорецком. Наши регулярные войска отходили по другим дорогам, а здесь... здесь, как думалось финнам, уже никого и нет. Захватят Сестрорецк, а дальше — вот он и Пьеттари — Петербург — Ленинград, один из богатейших городов мира.

Но в тихих, мирных приморских селениях, в белых береговых песках вдруг застучали навстречу им пулеметы и винтовки. Финны наткнулись на силу, которая заставила их повернуть назад.

Как сейчас оценивают кадровые военные, опасность на этом участке фронта была грозная. Финские войска двигались к Сестрорецку двумя колоннами. Они подготовили внезапный и быстрый удар.

Узнав об этом, партийная организация города подняла на ноги все силы, в бой был брошен еще в июле сформированный рабочий отряд восковцев.

Первый натиск врага принял на себя взвод механика Анатолия Осовского. На взвод прямо по дороге шли танки. Как то ни печально, были эти танки нашими, советскими, но за ними, захваченными где-нибудь в районе Выборга, шла финская пехота. Приказав взводу залечь вдоль дороги

в канавах, Осовский с несколькими бойцами пополз вперед. На дороге, поврежденной недавней штурмовкой с воздуха, стоял трактор. Он годился бы для укрытия, но финны, конечно же, обстреляют его на всякий случай, чтобы обезопасить себе путь. Для засады лучше было избрать глубокую ложбинку, поросшую ракитником.

Бойцы в пиджаках и их отважный командир лежат с противотанковыми гранатами в руках в этой ложбине. Лежат, все ближе подпуская бронированного врага. И только когда до головного танка финнов осталось метров двенадцать—пятнадцать, Осовский метнул свою гранату под его гусеницы. Одновременно бросили гранаты недавний телеграфист Большаков и подсобный рабочий Севрин.

Взрывы были сильные. Вслед за ними лязгнула крышка люка, и два финна поспешно выскочили из остановившегося танка. Одного из них сразил винтовочной пулей помощник командира взвода Владимир Эйхин. Второй удрал.

Новую гранату Осовский исхитрился запустить в самый люк танка. Там грохнуло, и изо всех щелей машины повалил дым. Остальные члены экипажа так и остались навсегда в этом стальном гробу, на их горе захваченном финской армией в качестве трофея у нас.

Два других танка, видя такое дело, постреляли с места из пушек вдоль дороги, разгромили подбитый трактор и повернули назад.

Основные силы отряда восковцев тем временем занимали линию обороны на этих вот песчаных высотках перед Сестрорецком, в соснячке. Началось окапывание, оборудование позиций. Финны несколько раз бросались в атаку, но каждая попытка отбивалась с большими для них потерями.

И вот сейчас, один за другим, идут трудные дни обороны города. Финны обстреливают окопавшихся бойцов минами и снарядами, засылают к самым окопам своих «кукушек», что ни день, то снова предпринимают отчаянные атаки. Но рабочий класс — это рабочий класс. Он умеет стоять плечом к плечу. Железная товарищеская спайка дополняется в отряде воинским умением: каждый день проходят боевые учения, рабочие овладевают солдатским мастерством. Они учатся маскировке, тому, как надо ориентироваться на местности, правильно окапываться.

Лесники Дедулов и Ермаченко, недавние хозяева прибрежных сосен, первое время совсем не окапывались, верили в силу с детства знакомого им леса: дерево-де, оно не выдаст. Но, попав несколько раз под мины, оба отлично сооружают теперь стрелковые окопы в полный рост.

Минометчикам пришлось учиться прямо в бою, на огневых позициях. Так на поле боя учился минометному делу и наш знакомый — старый токарь Александр Львов. А его друг Иван Яковлев пристреливался по «кукушкам», выводя их из строя одну за другой.

Все последние дни финны усиленно били по высоткам из минометов. Командир отряда Тихон Побивайло и комиссар Николай Дружинин решили разведать, где же находятся эти вредящие вражеские батареи. Несколько ночей подряд командир разведки младший сержант милиции Богданов ходил со своими бойцами в расположение белофиннов, благо места вокруг каждому из них — во как! — знакомы: и рыбу на реке ловили и за грибами, ягодами хаживали. Каждый раз с бойцами отправлялись две смелые разведчицы — Зоя и Шура Ивановы. Мне невольно вспомнилась ополченка Клава Бадаева, которая тоже ходила под Ивановским в отчаянные разведки. В недавнем прошлом эти девушки — Зоя и Шура — работали бухгалтерами в торговой конторе, крутили ручки трескучих арифмометров, а сейчас они пулеметчицы, их оружие — трескучий ручной пулемет.

Разведка в конце концов установила расположение финских огневых средств. Стала известна и вся система оборонительных сооружений противника. Вышестоящий штаб принял решение — отбросить врага, вышибить его с участка, языкообразным клином врезавшегося в лощину перед городом.

Дня три назад ранним утром начался бой. Все минометы отряда били по врагу. Миномет Александра Львова с первого же удачного выстрела вызвал пожар горючего у финнов. Над лесом, где был враг, повалил черный дым.

Отряд приготовился к броску. Командир с грозной фамилией Побивайло и комиссар Дружинин развернули людей в цепь и, стреляя из пистолетов, с криком «ура» рванулись вперед. Рабочий класс ударил вслед за ними. «Ура» покатилось по всему лесу; сверкали штыки, летели гранаты.

Финны, хотя они, как мы знаем, солдаты хорошие, стойкие, повыскакивали из окопов и стали отступать.

На чужой-то земле, которую финские правители хотели заграбастать с ходу, воевать не так уж уютно. В лесу остались брошенные микрофоны и рупоры, с помощью которых враг создавал устрашающие шумы, грохоты и трески, брошенное оружие, даже одежда и обувь — так внезапен был удар восковцев. Был захвачен в плен офицер, расстрелявший все патроны своего автомата.

Языкообразный клин в лесистой лощине очищен от врага. Задача, на которую в штабе планировали два часа, выполнена за 40 минут. Финнов отбросили на полтора километра.

Об этом бое рассказывают охотно и увлеченно. Рассказывают о медицинской сестре Марии Гультяевой, которая под непрерывным огнем минометов, автоматов и артиллерии ползала по полю боя и оказывала помощь раненым. Ее самое ранило в ногу, но Гультяева продолжала свою работу. В тот день она перевязала раны двадцати бойцам. Вместе с нею работала и санитарка Ольга Мельникова, перевязавшая на поле боя девятерых бойцов.

Бойцы рабочего отряда лежат сегодня в окопах почти у порога своего родного завода. Мы в редакции тоже не впервые задумываемся о том, как бы получше встретить врага огнем на нашем родном редакционном пороге. Так, видимо, обстоит дело во всем Ленинграде. Рассказывают, что Изя Анцелович, тот самый, что гарцевал возле Федоровки на белом коне, не только составил список отряда ЛенТАСС, но даже выработал устав этого отряда, партизанскую клятву, памятку бойца. Острословы утверждают, будто бы в ЛенТАСС два дня не выходил бюллетень только потому, что печатались уставы и памятки, разработанные Анцеловичем.

Это не шутка о родных порогах. Восковцы уже бьются с врагом у своего порога.

Лежат в окопе, готовясь к отражению новых вражеских атак или к атаке на врага, испытанные, неразлучные на поле брани друзья Александр Львов и Иван Яковлев, лежат молодые воины — мастера своего дела, командиры отделений Борис Никифоров и Николай Мурыгин.

Когда будет создаваться история завода имени Воскова, авторы ее назовут не только имена героев трудовых заводских будней, но и имена тех, кто защищает завод в эти военные дни. Они напишут и о пулеметчике Марке Михееве, который уничтожил группу белофиннов, опасно

заходившую во фланг одной из наступавших рот, и о командире взвода Васюкове, который в атаке не потерял ни одного человека, напишут о многих — о десятках и сотнях.

А пока никто ничего не пишет. Пока только сражаются, стоят насмерть.

16

Мы снова вдвоем с Михалевым. Планируя дальнейшую работу, мы с ним побывали в оперативном отделе штаба фронта. У нас там уже есть знакомые — читатели наших довольно многочисленных корреспонденций; они нас хорошо встречают и хорошо информируют.

Сегодня днем нам показывали точную карту расположения и наших и немецко-финских войск вокруг Ленинграда. Под Ораниенбаумом и Красной Горкой — от Кернова, где мы когда-то ночевали на сеновале под железной крышей, по которой так усыпляюще настукивал дождь, фронт идет дугой к Петергофу — через Лубаново, Закорново, Мишелево. «Немцы укрепились на высотах,— сказал наш знакомый полковник,— позиции у них удобнее наших. Хотели они рвануть и дальше, но с помощью тяжелой артиллерии фортов и кораблей мы их отбили». На участке от Петергофа до Стрельны, точнее, до завода «Пишмаш» немцы вышли к заливу, а дальше их фронт снова идет посуху через Урицк — Пулково — Колпино к Неве и вдоль Невы по ее левому берегу до Шлиссельбурга. На севере же — от Сестрорецкого курорта через Белоостров — Лемболово — Юшкелово — к берегу Ладожского озера. Сообщение со страной возможно только или по воздуху (но немцы сбивают наши транспортные самолеты), или же через Ладожское озеро, где по воде прокладывается трасса от Осиновца до Кобоны и дальше — к станции Войбакала. «Но это, конечно, не все, не окончательная линия,— сказал полковник. — Что будет завтра — увидим. Слышите, какой бой идет?»

Бой идет страшный. Ленинград сотрясается от грохота тяжелой артиллерии. По врагу бьют все пушечные стволы, какие только нашлись в нашем городе. И артиллерия флота, запертого в Кронштадте и на Неве, и артиллерия бронепоездов, которые долгими годами стояли на запасных путях ленинградских железных дорог, и пушки, спешно поставленные на подвижные платформы, и пушки армий,

дивизий, полков, батальонов. Бьют минометы, хотя у нас, как выяснилось, их значительно меньше, чем у немцев. Все бьет, все крошит врага, но враг прет и прет.

Тяжелые бои идут на рубеже Лигово — Пулковские высоты — Кузьмино — и дальше до Красного Бора перед Колпино. Мы поднялись вчера на Пулковские высоты и долго пробыли на чердаке одного из зданий обсерватории; потом лазили еще и на колокольню церкви в селе Пулково. Но там было страшно от мысли, что при очередном снаряде свалишься вместе с колокольней и тебя раздавит кирпичными глыбами. Мы удалились с колокольни как можно скорее, но в то же время и не очень поспешно, дабы не быть неприлично трусливыми.

С обсерватории и с колокольни открывалась картина почти всей ленинградской войны. Совсем недавно в завесах густых дымов мы видели Красногвардейск. Сейчас и все иное на западе и на юге было в дыму — и Лигово, и Красное Село, и Пушкин, Павловск... Взрывы огромных морских снарядов на десятки метров подымали столбы земли по всем косогорам от Красного Села и Дудергофа; то там, то здесь тройками, пятерками ползли танки, за ними цепями, черными строчками, тянулась пехота немцев. По танкам, по пехоте прямой наводкой била отважная батальонная и полковая артиллерия. Мы видели эти маленькие — а издали и вовсе крошечные — пушчонки на открытом поле, в осенней жухлой траве. Вокруг них горело, рвалось, но они стреляли и стреляли. Гул катился, не умолкая ни на секунду, из края в край по фронту. А оглянись назад, в сторону Ленинграда,— там по-прежнему копают. Копают бесконечно длинные рвы — желтые глубокие раны на приневской болотистой равнине. Ставят доты и дзоты. Из нашей редакции тоже многие пошли копать туда — к Шушарам, к Московской Славянке, за больницу имени Фореля. Журналисты сменили перо на лопату. Так надо.

Где-то у Шушар, в этом длиннейшем рву, второй день работает и Вера Горбылева; в их газетке дел никаких не стало. Оборонные стройки прижались к ленинградским окраинам. Смотрю: где она там, не видно ли ее в желтом просторном мирненьком пальтеце. А там все в мирных пальтецах и в жакетках, и не видно их среди глыб земли. Вижу только всплески огня и дыма от орудийных залпов: пушки стоят по краям рвов, прямо в толпах работающих ленинградцев.

В воздухе вой от моторов и винтов — «мессершмитты», «юнкерсы», «хейнкели» бомбят, палят из пулеметов, швыряют листовки. Этих пестрых, в две краски, летучих листков миллионы. Они лежат всюду на нашей земле, их подхватывает ветер и носит по дорогам, по канавам. И сдаваться-то немцы нам предлагают, и бить политруков, и угрожают страшной смертью всему Ленинграду. Бойцы, землекопы — все, кто может, собирают их и жгут в кострах.

Особо ожесточенные бои, как нам сказали, развернулись правее Пулкова, в районе деревень Кискино и Камень, где немцы, видимо, хотят прорваться на гребень Пулковских высот, перевалить через них на равнину и прямым путем махнуть в ленинградские улицы. По городу ходит слух, что немецкие мотоциклисты уже докатывали чуть ли не до ворот Кировского завода. Но никого, кто бы видел это, мы найти не смогли. Не сами ли немцы пускают по радио подобные слухи?

С утра в этот день мы сидели с Михалевым в его комнате, писали небольшую корреспонденцию, извлекая для нее материал из наших записных книжек,— военный отдел остро нуждался в корреспонденциях с фронта. Сидели за михалевским столом — друг перед другом. Он в кресле, я напротив на стуле. Как всегда, ссорились из-за каждой фразы, из-за каждого слова. И решили, чтобы не перессориться окончательно, поехать туда, к этому Кискину и этому Камню. Позвали Ваню Еремина, который тоже что-то писал, и отправились.

Дорога лежала за Нарвскую заставу, по улице Стачек, мимо Кировского завода, через Автово. Возле больницы имени Фореля попали под сильный артиллерийский обстрел. Вышли из машины, но укрыться было негде: рядом с дорогой лежало болотище, затянутое зеленой ряской. Отстоялись под огнем, подняв для уверенности воротники шинелей, и тогда въехали во двор больницы. Там, как нам известно, должен располагаться штаб дивизии, ведущей бой в районе Камня.

По нашей просьбе ввести в курс боевых действий начальник политотдела дивизии пообещал отрядить товарища, хорошо осведомленного о действиях дивизии.

Кроме нас сюда прибыло еще несколько журналистских бригад и корреспондентов-одиночек. Мы собрались в обширном больничном зале, в котором уже никаких

больных не было. Из высоких окон при каждом близком разрыве сыпались остатки стекла.

Вскоре к нам вышел осанистый полковой комиссар. В нем мы узнали того газетного «полководца», который разбудил нас в Ополье в первую нашу фронтовую ночь. Но он уже был без каски, без бинокля и ремней. Обыкновенный военный. Он принес с собой стул, поставил его посредине зала, основательно уселся и начал информировать.

— Пункт Ка,— заговорил он размеренно,— является ключевой позицией на Пулковских высотах. К пункту Ка немцы устремили свои ударные подразделения... Записывайте, пожалуйста, записывайте. — Он заметил, что мы хотя и раскрыли было блокноты, но к бумаге и карандашам так и не притрагиваемся.

Говорил он долго, слушателей у него постепенно убывало. Одними из последних, вежливо поблагодарив полкового комиссара за информацию, отбыли в район деревни Камень и мы.

Идти надо было пешком. Где только не путались мы по бесконечным кустарникам и кочкарникам, прежде чем добрели до КП одного из батальонов, действующих возле Камня. Поднялись к гребню высот. Сентябрьский воздух был прозрачен, чист. Солнце светило, и с высоты, оглянись только назад, отлично виден весь город с его куполами и шпилями, с дымящими заводскими трубами. Вот как приходится воевать бойцам-ленинградцам: на самом виду у родных улиц. Из города же, если смотреть на эту высоту, тут будут видны лишь взрывы, столбы дыма и земли.

Полк, в который входит батальон, дерется и держится уже четвертые сутки. Казалось бы, что это за деревушка — Камень. Обычная пригородная деревушка, из которой ежедневно утром молочницы ездили электричкой со своими бидонами на ленинградские рынки. Но само командование фронта отдало приказ: удержать этот Камень любой ценой, во что бы то ни стало. Простым глазом видно, насколько важно тактическое, а может быть, даже и стратегическое положение высоты, на которой стоит деревня Камень. Немцы изо всех сил рвутся оседлать высоту и захватить деревню. Они действительно, полковой комиссар прав, для удара по ней собрали увесистый кулак войск. В лесах и ложбинах перед высотой, по ее склонам скрыты их артиллерийские батареи, спрятаны расчеты

минометных гнезд. Используя укрытия, все время накапливаются автоматчики, действуют снайперы.

Позавчера днем передний край нашей обороны, то есть позиции батальонов полка, жестоко обстреливала из пулеметов авиация немцев. После того принялись долбить землю немецкие пушки и минометы. Три часа пролежали бойцы под ураганным огнем. Земля застилала им глаза и уши, заваливала окопы, щели. И она же, земля, спасала людей от осколков. Бойцы выдержали, не отошли. Отбив все атаки противника, они ударили в контратаку, затем пошли во вторую, в третью. Они знают: отступать отсюда нельзя. Просто некуда отступать. Позади он — город, который виден как на ладони.

Мы провели несколько часов среди бойцов батальона. Повидали аспиранта Ленинградского университета товарища Кренстрема, который, конечно же, никогда не думал, что будет военным. Но сейчас, встретив этого умелого командира, ни за что не скажешь, что он когда-то был аспирантом, успешно шел в науку. Подразделение, которым командует этот волевой товарищ, вело бой сорок часов подряд, без сна, без отдыха, без перерыва.

Видели мы и старшего лейтенанта Кузнецова, героя одного из вчерашних сражений. Когда ни артиллерийский, ни минометный огонь ничего им не дал, немцы пустились на авантюру. В обход одного из флангов они отправили группу автоматчиков. Заметив это, старший лейтенант Кузнецов с группой бойцов приблизился к немцам и бросился в отчаянную атаку. Затем, уже в потемках, подразделение Кузнецова, предприняв ночной удар, захватило противотанковую пушку противника.

Всюду здесь впереди — коммунисты. Нам рассказывают о коммунисте Корнилове, который и сам отважный воин и умеет поддержать боевой дух своих товарищей. Коммунистку Соколову бойцы не так еще давно видели в штабе за пишущей машинкой. А в этом бою она оказалась на передовых. Под неумолчным огнем Соколова пробиралась к раненым, выносила их из опасных мест. Секретарь комсомольского бюро Барнаулов вместе с группой смельчаков ходил ночью в разведку. Разведчики пробирались в расположение врага, уничтожали немецких снайперов. Во время боя был убит командир одного из подразделений. Барнаулов взял на себя командование, и бойцы продолжали сражаться.

Огневой рубеж, занятый нашими бойцами, день и ночь помогают защищать танкисты подразделения лейтенанта Шпилина. Когда немцы начали позавчера атаку, танки Шпилина подошли к переднему краю немцев и прямой наводкой расстреливали их.

Атаки врага следуют каждый день по нескольку раз. Но бойцы-ленинградцы стоят на Пулковских высотах насмерть.

У нас был материал о боях за деревни Кискино и Камень. Мы могли уже кое-что написать.

Возвратясь в редакцию и войдя в комнату, в которой семь часов назад создавалась чуть не поссорившая нас корреспонденция, мы обнаружили немалые странности. Стол посредине изодран так, будто его когтили железными когтями: из него выдран длинный клок рыжей клеенки и выщеплены сосновые щепки. У стула, на котором сидел я, разбита — как бы грубо срублена колуном — спинка. Чем-то страшным и острым глубоко пропахана оштукатуренная стена возле печки. Глубокая рана и на самой обшитой жестью круглой печке. А перед ее дверцей лежит, с ладонь размером, тяжелый осколок, видимо, преогромнейшего снаряда.

Товарищи нам рассказали, что полчаса спустя после нашего отъезда этим снарядом ударило на Фонтанке близ улицы Дзержинского и развалило стену дома. Один вот осколочек долетел до нашей редакции и на излете, в одну десятую своей силы, похозяйничал в комнате Михалева. Трогать ничего они не стали до нашего возвращения.

Срубила бы эта штуковина нам головы, как секирой.

Есть над чем призадуматься. Война все глубже и глубже входит в наш город. От нее уже не отсидишься, не укроешься даже за такими стенами, как стены нашей редакции.

В КОЛЬЦЕ

1

Бьют пушки — одни рокоча, подобно разгульному июльскому грому, другие отрывисто, сухо, будто там что-то лопнуло, третьи с длинным ведьмячьим подвывом. Бьют они по всему окружью города. Бьют без отдыха и день и ночь, молотя, долбя, толча,. как в ступе, перемалывая, пластая направо и налево, стирая в порошок все, что в зоне досягаемости их огня. Дома — и старые и новые — зыбко дрожат от этого встречного пушечного боя. Со звоном изо всех окон сыплются осколки изломанного стекла — бумажные полоски их не спасают. По ночам небо вокруг плещется желтыми, оранжевыми, багровыми артиллерийскими зорями.

Немцы то там, то здесь, то еще где-нибудь непрерывно бросаются в нервные, яростные атаки. Они не хотят оставлять в покое Кискино и Камень на Пулковской гряде. Они целятся перемахнуть через Неву в районе Порогов и под Шлиссельбургом. Но сил у них не прибавилось. А чтобы взять с боем такой город, как Ленинград, силы надо наращивать с каждым днем наступления — эти слова, сказанные одним умным комиссаром, мы запомнили прочно. И он прав, наш комиссар: возле Колпина, левее Пушкина и под Усть-Тосно немецкое наступление, кажется, остановлено; на этих участках образуется нечто подобное позиционному фронту, как бывало в первую мировую войну, когда месяцы и месяцы подряд армии воевали, сидя в окопах.

Но до чего же близок этот позиционный фронт к Ленинграду! Нашей корреспондентской бригадой, к которой

время от времени примыкает и Еремин, уже разведано, что все ведущие в город и из города рельсовые, шоссейные и даже пешеходные пути обрываются в нескольких километрах от площади Урицкого, от проспекта 25 Октября, от Фонтанки. В последние дни мы объездили на своем «козлике» все направления. Вновь слетали вдоль залива к Сестрорецку: бойцы-восковцы и подошедшие к ним на подмогу части регулярных войск стоят там же, за кладбищем, перед рекой Сестрой; приморское шоссе, которое еще три месяца назад вело в дачные места Карельского перешейка, кончается среди серых клыков противотанковых надолб, в путанице траншей и стрелковых ячеек. По Петергофской магистрали можно едва добраться до развилки на Красное Село, да и то по твоей машине тотчас дадут очередь немецкие пулеметчики из района завода «Пишмаш». На Пулковский холм по Гатчинской дороге можно подняться лишь на своих на двоих, оставив «козлик» или у дома бывшего правления бывшего колхоза «Пулково», или же чуть выше — возле старинного источника, с устроенным для него еще в давние времена ложем из серого, ныне обкиданного лишайниками дикого камня; а поднявшись на холм, увидишь ленту асфальта на Красногвардейск, за широкой лощиной уже перехваченную траншеями немцев.

Пытались мы поездить и по дороге на Москву, испытанным путем Радищева. Доехали до Шушар, шли дальше пешком — немецкие минометчики повернули нас из-под Красной Славянки назад. Там все эти дни мужественно бьется с врагом 168-я дивизия полковника Бондарева.

Толкнулись было вдоль левого берега Невы, по старинному Петрозаводскому тракту,— перерублен немецким фронтом, пролегшим здесь от села Ям-Ижора до Усть-Тосно на Неве.

И только остался еще путь в несколько десятков километров через Всеволожскую к берегам Ладоги. Заняв Шлиссельбург, немцы не смогли взять петровскую крепость «Орешек». Через Ладожское озеро в этом районе сохранилась дорога; правда, идет она по воде и вся под прицельным огнем артиллерии, под пулеметами и бомбами самолетов; сложность движения по ней такова, что практически этот последний путь тоже почти парализован.

Словом, сухопутных дорог в страну у нас нет, эвакуация мирного населения из сражающегося Ленинграда

приостановлена. Два с половиной миллиона людей — в том числе, и прежде всего, конечно, женщины, старики, старухи, ребятишки — в огненном, тесно стиснутом кольце. Может быть, поэтому гитлеровцы еще громче орут в эти дни по радио, что решили обождать, когда Ленинград «созреет» и, как спелый плод, сам упадет к ним в руки. И верно: там, где немецкие полчища остановлены, они спешно вкапываются в землю — строят доты, дзоты, тянут траншеи, накручивают колючую проволоку, ставят мины — не собираются ли и впрямь осесть возле нас на зиму?

Ночуем теперь в Ленинграде и лишь вот так, совершая автомобильные рейды по остаткам, по обрубкам некогда длинных дорог, выезжаем днями к линии фронта. От нашей редакции до немецких окопов на окраинах Урицка всего 13 (тринадцать!) километров. Тяжелые снаряды летят теперь не только из районов Ульяновки и Покровского, но уже и из Урицка, из Стрельны. Рвутся они в зданиях школ, где сейчас госпитали, в цехах заводов, которые перешли или переходят на выпуск военной продукции, просто на улицах; немецкие артиллеристы стараются попасть в трамвайные остановки, чтобы побольше уложить народа. Каждый вечер, чуть стемнеет, над нами ходят гитлеровские бомбардировщики, сыплют, сыплют пригоршнями зажигательные бомбы, сбрасывают тяжелые фугаски; от них кирпичными пыльными обвалами рушатся стены старых домов. Крыши над нами в дырьях от осколков зенитных снарядов. После жаркого, сухого лета начались нудные дожди — потолки текут всюду; выбитые стекла в окнах постепенно заменяются фанерой, и в помещениях становится темно. Памятники — Ильичу у Финляндского вокзала, Петру над Невою, Кутузову и Барклаю де Толли у Казанского собора, все иные — из бронзы и гранита — исчезли: одни в гигантских ящиках с песком, сколоченных вокруг них, другие закопаны прямо в землю. Говорят, что бронзовые военачальники времен боев с Наполеоном скрыты там же, где и стояли,— в скверах перед собором, а кони с Аничкова моста перетащены в сад Дворца пионеров. Аничков мост без коней выглядит как новобранец, которому только что остригли нулевой машинкой его пышную шевелюру. При виде оголенного моста вспоминаю детскосельские парки, тоже стоявшие странно пустыми после того, как с их дорожек убрали бронзовых и мраморных людей. Что творится теперь

в Пушкине, в тех дворцах? Кто хозяйничает в райкоме Данилина и в брошенной мастерской павловского часовщика? Чем занялся голубоглазый старик чиновник, которому все равно, каким служить царям?

Мысль уносится дальше, на дороги области, в те села и города — Ополье, Бегуницы, Губаницы, Кингисепп, Нарву, Петергоф,— которые мы оставили, так сказать, на милость победителя, а точнее, на произвол гитлеровской солдатни. Страшно даже подумать, что там творится сейчас. Что ни день, то в сообщениях Советского Информбюро встречаем строки, подобные вычитанным сегодня: «На лесной опушке, недалеко от колхоза «Красный Октябрь», найдены 11 обгоревших трупов бойцов и командиров Красной Армии, замученных фашистами. На руках и на спине одного красноармейца остались следы пыток раскаленным железом. На проселочной дороге у деревни Барковичи немецкие солдаты повесили 4 раненых красноармейцев. Колхозник Игнатов — случайный свидетель этого злодеяния — не выдержал и бросился на палачей. Немцы схватили Игнатова и подвергли его зверским истязаниям. Фашисты выкололи колхознику правый глаз, лили в нос кипяток, вырывали волосы, топтали сапогами».

Сообщения о немецких зверствах вызывают у ленинградцев ярость. «Гады!» — только и слышишь возгласы возле газетных витрин. «Гады!» — выкрикивают люди, когда, возвещая очередную воздушную тревогу, в репродукторах начинают выть сирены (а их, этих тревог, за день случается по восемь, по десять, и длятся они в общей сложности по шесть, по девять часов в сутки). «Гады!» — восклицают девушки-дружинницы, унося на носилках с опустевших во время артналета улиц убитых и раненых.

— Гады! — сказал нам один наш знакомый, работник контрразведки. — Засылают в город своих шпионов, ракетчиков, распространителей слухов, листовок с фальшивыми сообщениями. На днях захватили типов, которые даже намеревались сколачивать, видите ли, «боевые группы», чтобы с их помощью подготовить восстание ко дню нового штурма немцев. (Имелся в виду тот отчаянный штурм, который немцы предприняли в первой декаде сентября и который в реве и грохоте пушек не прекращается пока что и до сего дня.)

Но одно дело — поносить «гадов», другое дело — бить их. Главные усилия свои ленинградцы сосредоточивают именно на нем, на другом деле. Пользуясь тем, что враг,

надолго ли, накоротко, все же остановлен, они спешно готовятся к возможному новому немецкому штурму. Несколько сот тысяч рабочих, служащих, людей науки строят оборонительные сооружения: и там, где находятся наши войска,— на внешней линии фронта, и на второй, средней оборонительной линии, примыкающей к городским окраинам, и даже на третьей, внутри города,— по берегам наших рек и каналов. На всех важных уличных перекрестках мы видим в нижних этажах домов пулеметные и пушечные амбразуры, до случая зашитые фанерой и досками. Говорят, что в городе таких амбразур ни много ни мало, тысяч пятнадцать — двадцать. Поперек улиц, выходящих к окраинам, легли мощные баррикады из железобетонных кубов, рельсов и броневых плит. Общая длина их уже исчисляется двумя с лишним десятками километров. Всюду доты, дзоты, траншеи, площадки для пушек, пулеметов. Верим мы в них? Не знаю, кто как, а мы — наша бригада — верим. На путях отступления в пределах Ленинградской области руками ленинградцев было, как нам рассказывали в должных инстанциях, выкопано противотанковых рвов 600 километров, эскарпов и контрэскарпов — 400 километров, устроено неисчислимое множество лесных завалов и надолб. Все они, или почти все, сейчас там, где противник. Но... но они были тем составным звеном в системе нашего сопротивления немецким армиям, наступавшим на Ленинград, благодаря которому от рубежей, где мы с Михалевым впервые услышали грохот боя, немцы продвигались уже не в темпе блицкрига, а едва проползая по изрытой руками ленинградских жителей земле по полтора-два километра в сутки.

Из захваченных у немцев документов мы знаем теперь о специальном приказе Гитлера, которым «фюрер» требовал во что бы то ни стало взять Ленинград к 15 сентября. В приказе говорилось, что «от немедленного захвата Ленинграда зависит окончание военных действий». Наши радисты не раз принимали немецкие сообщения, скажем, такого типа: «Захват Ленинграда является вопросом нескольких дней».

У меня в блокноте выписаны некоторые места из дневника ефрейтора Генриха Майера, убитого на днях в районе Гатчины.

«10 августа. Мы у близкой цели. Сегодня начали атаку Ленинграда. (Это было, видимо, где-то в районе Молосковиц.— *В. К.*)

13 августа. Наступление на Ленинград продолжается. Твердая уверенность, что Ленинград до воскресенья падет. Сопротивление русских полностью сломлено. Конец войны наступит через несколько дней.

18 августа. Русские сопротивляются. Потери велики. Но даже тяжелые потери не должны отвлекать от цели, которая близка. Еще одно усилие, может быть, некоторая передышка для подготовки — и Ленинград будет наш».

Еще одно усилие — и автора дневника убили. А Ленинград по-прежнему не их, а наш, как был, хотя где-то (может быть, в Красногвардейске или в Пушкине) сидит на чемоданах изготовившийся к въезду в Ленинград его «новый комендант», генерал СС, некий «герр» с выразительной фамилией Кнут, заблаговременно назначенный на эту должность гитлеровскими инстанциями. Пленные сообщают, что в немецких штабах уже приготовлены специально отпечатанные пропуска для проезда автомашин по улицам Ленинграда; что установлены якобы день и час победного парада гитлеровских войск на Дворцовой площади; что кто-то даже утвердил меню банкета в ресторане гостиницы «Астория», построенной до первой мировой войны немцами и соединявшейся в ту пору подземным ходом с угрюмым гранитным зданием немецкого посольства.

Товарищ из контрразведки показал нам листовку, отпечатанную в немецких походных типографиях и распространяемую пособниками гитлеровцев в городе: «Ленинград взят! Бои идут на его улицах... Большевистские войска отступают к Васильевскому острову...» Есть сообщения о том, что в районах области гитлеровские пропагандисты устраивают «народные веселья» по поводу «взятия доблестными немецкими войсками Ленинграда».

Так верим мы в прочность возводимых вокруг города и в городе оборонительных линий? Да, верим. Своими глазами на каждом шагу убеждались мы в том, как упорна была наша оборона даже на предыдущих рубежах борьбы за Ленинград. Сейчас она значительно прочнее, мощнее, насыщеннее огневыми средствами. С Пулковских высот по врагу бьют не только орудия частей и соединений фронта, но немалая доля и артиллерии Балтийского флота — и прямо с кораблей и сойдя для этого на сушу. Мы не видели, но один из наших товарищей рассказывает, что там, в районе Пулкова, ведет бой даже

та историческая носовая шестидюймовка с «Авроры», которая ударила вдоль Невы 7 ноября 1917 года. Нет, Ленинград врагу не сдастся. Разве только если это уже будет мертвый город, без единого человека, способного двигаться и держать в руках оружие...

2

Есть надежды на то, что кольцо, которым нас окружили немцы, будет разорвано. Вчера, то есть 20 сентября, мы стали очевидцами продолжающегося и сегодня ожесточенного боя на берегах Невы, в районе Невской Дубровки.

История подготовки этой операции имеет примерно десятидневную давность; началась она уже в тот день, когда немцы с ходу попытались форсировать Неву, дабы прорваться на Карельский перешеек, соединиться там с финнами и тем окончательно замкнуть кольцо окружения. Но у немцев не получилось: их отбили от переправы части НКВД, курсанты пограничного училища и артиллеристы полковника Буданова.

Чтобы не дать противнику собраться с должными силами и сорвать новую попытку его рывка через Неву, командование фронта создало Невскую оперативную группу войск — НОГ. Поначалу тут были, как мы узнали, только моряки-балтийцы да пограничники. А вот появились и дивизии Красной Армии. Появились они для того, чтобы совместными усилиями самим ударить через реку на левый невский берег, захватить на нем плацдарм, двинуться в район Мги, очистить от врага Кировскую железную дорогу, которая вновь свяжет Ленинград посуху со всей страной.

Получив позавчера сведения о том, что на Неве «готовится шум», мы помчались по дороге за Всеволожскую.

Это только так говорится: мчались. Нас непрерывно останавливали патрули контрольно-пропускных пунктов. Сержанты и лейтенанты по нескольку долгих минут вчитывались в наши документы, вглядывались в наши лица, а начитавшись, насмотревшись, не раз порывались или повернуть нас обратно в Ленинград, или задержать «до выяснения подлинных намерений».

Так или иначе, мы все-таки добрались до невского берега, на котором во мраке шло передвижение войск, были проведены в один из блиндажей передового команд-

ного пункта Невской группы, где злой подполковник с мутными от усталости глазами по приказанию какого-то капитана первого ранга кое-что нам порассказал.

Отпив прямо из большого жестяного чайника, стоявшего посреди стола на полевых картах, он начал так:

— А чего вам объяснять? Идите на берег и смотрите сами, какое дельце нам предстоит. Нева-то здесь шириной больше полукилометра! А тот берег противник успел укрепить и насытить огневыми средствами. Вы смеетесь — переправиться в таких условиях и захватить плацдарм!

После этого он закурил, сплюнул на пол и как-то отмяк.

— Смотрите сюда, — сказал, составив чайник со стола и указывая по карте, на которой черно отпечаталось закопченное донце. — Что имеет немец? Он имеет высокий, крутой, обрывистый берег. Это его плюс. Он имеет отличный обзор реки сверху вниз, просматривает при этом и наш берег, низкий и довольно-таки открытый. Что это значит? Это значит, что у немца еще один плюс и что нам будет чертовски трудно. Особенно если учесть, что и опыта форсирования водных рубежей у нас не то чтобы мало, а даже и вовсе нет. Я вас, братцы, не пугаю, я вам правду говорю. Что вам дороже: подсахаренная брехня или горькая правда? Ну, а в целом будем драться. Надо этого сукина сына гнать из-под Ленинграда. Просто удивляюсь, до чего дело дошло, докудова он допер. Вот как,— подполковник провел ребром ладони по горлу,— надобно нам прорваться на Синявино, на Мгу. Каковы наши планы? Ну, как же я вам буду выдавать такие секреты, за которые за ушко да на солнышко? Восемьдесят шестую дивизию знаете? Нет? А Четвертую ополченческую?

— Дзержинскую?

— Так точно. Дзержинскую. Она и есть сейчас Восемьдесят шестая. Боевая дивизия. Ну, имеем еще Сто пятнадцатую, кадровую. Я вам это говорю, потому что вы все равно узнаете от других, а про меня станете потом рассказывать: вот, дескать, барбос, темнил, темнил, крутил, крутил... Верно? Чего там! Сам знаю, что верно. Ну, конечно, еще и моряки. Морбригада, прошедшая огневое крещение под Котлами. Словом, найдите себе местечко где-нибудь в траншее и смотрите, как дело пойдет. Биноклей у вас нет? Жаль. Лишних и у нас не будет. А у стереотруб — у них положено старшему начальству пребывать. Да вас к ним на КП и не пустят.

Назавтра, то есть вчера, начался этот тяжелый, кровавый бой, о котором мы даже не знаем, как и что писать в газету. Полную правду? Она героична, сурова, о ней можно сказать многое. Но полная правда, мы уже знаем, не пройдет, не прорвется на газетные полосы. А что же тогда? «Боевые эпизоды»? Сколько их уже вышло из-под наших перьев! Не надоели ли они читателям?

Подполковник нам многого не рассказал. На рассвете, когда начался бой, мы увидели на берегу Невы густое скопление техники: грузовики подвозили железные ящики понтонов, тащили лодки из тех, что выдавались когда-то под залог профсоюзного билета на лодочных станциях в ЦПКО и на Фонтанке, разнокалиберные челны, моторки, шлюпки, ялики.

Одновременно со спуском этих «плавсредств» началась наша артиллерийская подготовка. Не знаю, может быть, у нас уже мало снарядов в нашем кольце и подготовка была недостаточно мощной, хотя над Невой гремело весьма могуче, но немцы в ответ били ничуть не меньше, а пожалуй, и больше. Они не переставали жить и стрелять под нашими снарядами и минами. Они били по всем этим лодкам и понтонам, по нашим бойцам и офицерам, устилая берег обломками и телами. Обломки и мертвые плыли и по реке, плыли туда, вниз, к Ленинграду.

Ополченцы еще под Веймарном рассказывали нам о том, какое это нелегкое дело — штыковые атаки и рукопашные схватки. Тут, на Неве, было, может быть, еще пострашней и потяжче. Мы сидели в пулеметном блиндаже в стороне от полосы переправы, но и до нас доходило грозное трясение земли, по ушам оглушающе хлестало громом и гулом. А на реке, на открытом месте, и вовсе выли огненные ураганы. Там все рвалось и дыбилось. Вода от взрывов бурлила, вскипая во всю ширь меж берегов. А через все это двигались и двигались к повисшему над рекой высокому чужому берегу понтоны, лодки, шлюпки. Одни из них каким-то чудом оставались на воде, другие, разносимые взрывами в щепки, уходили под воду вместе с людьми.

«Как судить о том, что происходит в этот час на Неве? — думал я, выглядывая из узкой щели амбразуры. — Правильно это или неправильно — гнать людей под такой огонь на верную смерть? А может быть, вернее было бы поднакопить сил побольше, стянуть с других уча-

стков сотни орудий и минометов, обеспечить такой огонь, который бы полностью парализовал противника, и только тогда отдавать приказ на переправу? Но вопрос в том, есть ли эти силы, эти орудия и снаряды к ним? Может быть, их и нет в достаточном числе? Тогда возможен еще один вариант: не спешить с переправой вообще, а попрочнее укрепиться на этом берегу и ждать А чего! И сколько?»

Удовлетворительных решений, таких, которые бы обеспечили победу без крови, не было. Был бой, жестокий, кромешный. Такой, что из него даже «боевые эпизоды» извлечь невозможно. «Эпизоды» эти придется собирать потом, после боя, главным образом по медсанбатам и госпиталям, где действительность в представлении рассказчиков, мы это уже знаем, изрядно видоизменяется.

Надо было только удивляться тому, что десантники наши в довольно широкой полосе переправы, волна за волной, несмотря ни на что, добрались-таки до левого берега и стали высаживаться под его кручей. В упор по ним теперь застучало стрелковое оружие немцев. У нас не было биноклей, не было стереотруб, мы не видели деталей, мы видели лес разрывов и густой дым от сгоравшей взрывчатки.

Так было вчера. Сегодня нам известно, что наши войска все же зацепились за противоположный невский берег и под ураганным огнем, отбивая одну контратаку за другой, ведут бой за расширение плацдарма.

Мысль работает так. Вот был у нас целый длинный берег в несколько десятков километров — от Ивановской до Шлиссельбурга. И мы его не удержали, отступая от Кировской железной дороги, отдали врагу, переправились на другой берег, на правый. А теперь вновь захватили полоску, как сообщают в штабах, шириной менее километра и глубиной метров семьсот или восемьсот и полны надежд на то, что с этого клочка начнется наше мощное наступление. Есть ли хоть какая-нибудь реальная основа у этих надежд? Я вспоминаю плацдарм на реке Луге, возле Поречья и Сабска, захваченный в июле немцами. Он тоже был невелик, но с какой силой рванулись с него немцы в августе. Начав оттуда, они оказались вот тут, на Неве.

Если так могли сделать немцы, то почему это невозможно для нас?

Ищем минометчиков. Начальник нашего отдела Вася Грудинин сказал нам, что Военный совет фронта придает чуть ли не первостепенное значение этому виду оружия. И, по-нашему, правильно делает. Поскольку бои идут на близких дистанциях, миномет в таких условиях проще, подвижней, удобней пушки, даже самой легкой. А снаряд у миномета, мина, — штука увесистая, большой поражающей силы. Причем есть и такие минометы, что мины их равны снарядам тяжелой артиллерии, а есть и другие, которые с большой точностью закидывают свои, подобные ручным гранатам, минки из траншеи в траншею. Конечно, стены ломать из минометов не станешь, их особенность — множество убийственных осколков. И поражают они, как говорится сейчас на языке военных, «живую силу». Минометы легко перетаскивать, они несложны в обращении. Всего и дела-то — зеленая стальная труба на подставке, но если ею пользуются умелые люди, труба тогда становится грозным, страшным для противника оружием. Кроме того, в Ленинграде, который испытывает немалые трудности из-за невозможности какого-либо подвоза, наладить производство минометов и припасов к ним несравнимо легче, чем изготавливать пушки и орудийные снаряды.

Итак, надо печатно отразить роль минометного оружия в гремящих вокруг жестоких боях.

Мы нашли подразделение командира Лушникова в кустах близ насыпи Кировской железной дороги, перед рекой Тосной. На том берегу Тосны — немцы, на этом — наши. По берегам неширокой речки проходят рубежи, на которых уже немало пролито крови.

Стремясь обойти дивизию Бондарева, геройски дравшуюся правее, на реке Ижоре (именно в те дни мы побывали в одном из ее полков, которым командовал полковник Ермаков), немцы прорвались к шоссе Ленинград — Москва. Рассказывают, что первым с ними столкнулось возле Красного Бора какое-то саперное подразделение. Саперы да небольшое подразделение стрелков, что-то около поредевшей в боях роты, сдерживали врага добрые сутки. Затем отошли за Ижору, примкнули к частям Бондарева. Немцы захватили уже Ям-Ижору — на виду у Колпина, на высоте, через которую уходило к столице Московское шоссе. До Колпина с его огромным за-

водом врагу оставалось каких-нибудь четыре-пять километров хода. Но эти-то километры немцам пройти и не удалось. Из истребительных отрядов, созданных на Ижорском заводе в первые недели войны, за одни сутки сформировался рабочий батальон, подобный батальону завода имени Воскова в Сестрорецке; рабочие, техники, инженеры собой, своим огнем заслонили родной город Колпино. Это было в последние августовские дни, числа 28—29-го. Ижорцы оказались соседями слева у бондаревцев.

Так складывалась линия фронта. Возле Гатчины, Ропши, Петергофа, Красного Села немец еще наступал и наступал, а тут он уже был остановлен. Его остановили и левее Колпина, в деревне Усть-Тосно, куда он опаснейшим образом прорвался через Ульяновку и Ивановскую. Его атаковали части НКВД и бойцы той 86-й дивизии, которую мы два дня назад видели форсировавшей Неву у Невской Дубровки. В то время она еще была 4-й ополченческой дивизией Дзержинского района Ленинграда. Части НКВД и курсанты-пограничники отошли тогда под натиском врага на правый невский берег, о чем я уже сказал, а дзержинцы дрались здесь. Они выбили противника из деревни Новой, в которую немцы, прорываясь к Спиртстрою и деревне Корчмино, заскочили из Усть-Тосно.

В этих местах, где бывшие ополченцы сражались три недели назад, сейчас дерутся другие части, в том числе и батальон минометчиков командира Лушникова, на огневые позиции которого мы пробрались вдоль насыпи дороги по кустарникам от Понтонной. Наша боевая задача — срочно написать о минометчиках, и мы стараемся рассмотреть и запомнить каждую деталь их жизни и работы.

На краю глубокой, «в полный рост», противотанковой щели стоит командир минометной роты Калмыков. На дне щели — связист с прижатой к уху телефонной трубкой. В трубке сквозь пощелкивания слышен голос наблюдателя, который сидит где-то далеко, под самым носом у противника.

— В районе торфоразработок артиллерийская батарея,— передает связист командиру роты.

Калмыков смотрит в расчетную таблицу, шевелит губами, прикидывая в уме, командует:

— По батарее противника, левее ноль двадцать, прицел семь сорок один, одной миной...

Мы помним Данилу Клепеца, наблюдателя минометчиков, паренька, встреченного нами под Кингисеппом, и его три мины, которые он выпустил по нашей просьбе в сторону немцев. Какое то было далекое и в сравнении с нынешним почти безмятежное время. Были длинные дороги, были просторы, было такое ощущение: расправь крылья — и полетишь. Сегодня многое-многое изменилось. Сегодня вокруг нас кольцо, о которое ленинградские войска, день за днем, ночь за ночью, с неистовым упорством бьются грудью, идут на него атака за атакой, удар за ударом, теряя и теряя сотни, тысячи убитых и раненых, поливая кровью каждый метр пригородной земли. Мина, выпустить которую только что приказал командир роты, сегодня на таком строгом счету, что ею не побалуешься, она входит в сумму тех факторов, на которых строятся наши надежды разорвать, разрушить это кольцо и тем расчистить дорогу на восток. Маршал Кулик, якобы посланный Верховным Командованием на освобождение Ленинграда, о чем недели две толкуют на всех городских перекрестках, становится мифом (мы это уже начинаем понимать), и не его пушки слышны каждый день за линией фронта, а пушки немцев, все гуще швыряющие тяжелые, дальнего боя снаряды в город Ленина. Не на Кулика наши надежды, а на эти мины, о которых только что скомандовал Калмыков.

По его команде в окрестном кустарнике косо кверху поднялись жерла четырех зеленых труб. Возле каждой встали заряжающие с увесистыми минами в руках.

— Огонь! — окинув это взглядом, выкрикивает командир роты.

Четыре стальные дыни одновременно падают в жерла минометов. Ожидая удара, все на огневых позициях, в том числе и мы, дружно приседают. Ударяет резко, оглушительно; над ракитами — длинные выплески пламени. Каждый миномет отправил в сторону немецкой батареи по одной мине.

— Плюс двести,— передает связист сообщение наблюдателя.

Комроты снова смотрит в таблицу, снова шевелит губами:

— Прицел семь двенадцать, одной миной, огонь!

Новый счетверенный удар, новый выплеск огня.

— Минус двести,— сообщает наблюдатель.

— Прицел семь двадцать шесть,— упрямо ищет искомое Калмыков,— две мины, огонь!

— Цель! — орет связист радостно.

Лицо Калмыкова тоже вспыхивает радостью.

— Три мины, беглый огонь! — кричит он команду.

Земля и воздух вздрагивают, гудят, удар следует за ударом.

Потом наступает звенящая тишина. Длится она, может быть, с минуту, пока наблюдатель там, впереди, выясняет результаты огня своих товарищей, но всем кажется, что проходят не секунды, не минуты, а часы и часы.

Наконец-то из щели слышим голос:

— Цель подавлена. Запишите установки...

Установки еще не записаны, а с немецкой стороны нарастает визгливый свист мины. Мина рвется, не долетев до наших огневых метров двести.

— В укрытия! — подает команду Калмыков. — Опять ищут.

Не первый раз немцы пытаются так нащупать и разбить минометы подразделения Лушникова, вставшие им поперек горла. Недавно, не побоявшись ночи, они выслали в осенних густых потемках целый отряд автоматчиков, чтобы найти и атаковать наши огневые позиции. Немецкие автоматчики, как всегда, подняли отчаянную пальбу с трех сторон. Пули прошивали ночной воздух во всех направлениях. Но минометчики позиций не покинули. Пока одни вели огневую дуэль с батареей минометов противника, другие схватились за винтовки и во главе с командиром Агеевым пошли в атаку на автоматчиков.

Был и такой случай, когда на одну из минометных рот обрушили свой бомбовый огонь «юнкерсы». Но и это не сломило минометчиков. Они отлично делают свое дело. Прав Военный совет фронта, придавая такое большое значение этому роду оружия.

Нам наперебой рассказывают случаи, иллюстрирующие силу огня минометов.

Наблюдатель рассмотрел недавно в бинокль, как по заречной дороге катил немецкий мотоциклист. Немцу дали добраться до лощинки, которая была заранее пристреляна, и понадобилась всего одна мина, чтобы уничтожить его вместе с мотоциклом.

В другой раз кто-то обратил внимание на стог сена среди поля: не служит ли, мол, этот стог укрытием для

вражеских наблюдателей? На всякий случай послали туда «проверочную» минку. Вокруг стога началась суета. Послали вторую мину — угодила прямо в стог, и тогда из-под разбросанного сена высунулись стволы двух пушек. Немецкие артиллеристы пытались вытащить орудия из огня, но несколько мин, посланных еще, полностью завершили начатое дело.

Было замечено, что в сарай на окраине деревни частенько забегают немецкие солдаты. Тоже решили проверить миной, что там такое, в этом сарае. Выстрел, другой — и сарай с неистовым грохотом, в клубах черного дыма, взлетел на воздух: в нем, оказывается, немцы устроили склад боеприпасов.

Идет наша беседа, и шаг за шагом выясняется, что никто из нынешних командиров минбата прежде не был минометчиком. Один до войны специализировался по лесному делу, второй работал инструктором в райкоме партии, третий нес службу на флоте. А послушать их сейчас, все будто бы так и родились минометчиками — с таким энтузиазмом относятся они к своему оружию. Надо учесть при этом, что в подразделении лишь немногие находящиеся на передовых наблюдательных пунктах видят противника, так сказать, в лицо и своими глазами могут рассмотреть работу минометных батарей. Тем не менее горячка боя охватывает людей и тут, на огневых позициях, когда, громя скопления гитлеровцев, минометчики поддерживают пехоту.

Взаимодействие с пехотой — одно из главных условий в работе минометчиков. Было, враг накапливался на опушке леса, в сторону которой вели наступление наши бойцы. Командир стрелковой части попросил минометчиков:

— Прочешите опушку.

Результат прочески получился отличный. Когда разведка вступила в лес, она не увидела там ни одного живого немца. Стрелковый командир просил передать горячую благодарность бойцов-пехотинцев бойцам-минометчикам.

— Выстроили мы свои расчеты,— рассказывает нам командир Смирнов,— и сообщили им это. И тут, в такую-то торжественную минуту, неприятельская батарея открыла по нас сильнейший огонь. Надо было, как положено, укрываться в щелях. «Не хотим в щели! — закричали минометчики.— Давайте новую цель!»

Он же рассказывает нам и о том, как однажды немцы установили свой пулемет на железнодорожном мосту. «Вон на том», — Смирнов указал на железные фермы, скособочившиеся над рекой. Пулемет сильно прижимал нашу пехоту к земле. Но и на этот раз пехотинцев выручили минометчики. Три выстрела — и с пулеметом было покончено.

Нередко минометчики действуют совместно с артиллеристами. На днях они разглядели танки, замаскированные в лесу. Дали по ним несколько залпов; два танка загорелись, но остальные стали уходить, взять их минами было уже трудно. К счастью, на наблюдательном пункте были и артиллеристы.

— Теперь вы им подсыпьте, — попросили минометчики.

Артиллеристы подбили еще два танка, уйти удалось только одному.

С артиллеристами у минометчиков установился такой прочный контакт, что друг друга они понимают уже без слов. Начни минометчики обстрел — артиллеристы знают: цель нащупана — и, ориентируясь на разрывы мин, посылают туда же и свои снаряды.

В этот день блужданий по огневым позициям минометчиков мы установили как родство, так и различие пушечного и минометного оружия: мы поняли, что минометы — тоже артиллерия, но использовать их лучше всего в ближнем бою, в котором они просто незаменимы.

С блокнотами, полными записей, брели мы по шоссе от Саперной к Понтонной, среди кирпичных домов которой спряталась наша машина. Ехать по этой дороге, открытой цейсовским трубам немцев, было немыслимо: разобьют тотчас. В Понтонной и то небезопасно: немцы весь день бьют по железнодорожному переезду, до которого поезда уже не доходят, но людей — и в шинелях и в ватниках — здесь все время движется немало; бьют немецкие артиллеристы и по судостроительному заводу и просто по домам, только что настроенным перед войной для рабочих.

Справа от дороги тянется большой парк с облетающей желтой листвой. Под его деревьями мы услышали выстрелы. Что такое? Установив бутылку на старый пень, молоденький лейтенант одну за другой посылал в ее сторону пули из поблескивающего новизной ТТ. Рядом с лейтенантом жмурилась при каждом выстреле белоку-

рая девушка в гимнастерке и пилотке. Она, конечно же, ждала, когда та злосчастная бутылка будет прострелена насмерть. А бутылка держалась и держалась, пестря этикеткой, прославлявшей не то пиво, не то томатный соус.

Мирный человек, Михалев не выдержал, вытащил из кобуры свой ТТ. Выстрелил он всего один раз и почти не целясь, но бутылку разнесло на мелкие осколки.

— Что вы этим хотели сказать? — спросил, оборачиваясь, лейтенант.

— Да, так, ничего особенного. Уж что сказалось.

Михалев раздулся, шел дальше чертовски важный, как-то по-генеральски ставя ноги и не без презрения поглядывая на все окружающее. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что это был его первый выстрел в жизни и рисковать второй раз ему, пожалуй, не стоит.

4

Сидим в небольшой комнатке старого двухэтажного здания, в селе, которое называется Усть-Ижорой. Раньше мне здесь бывать не приходилось, хотя село это, точнее поселок, стоит в каких-нибудь нескольких километрах от Ленинграда, длинно раскинувшись вдоль высокого левого берега Невы и обступив с двух сторон устье реки Ижоры.

Обычно, когда я проезжал, бывало, железной дорогой на Москву, Усть-Ижора оставалась слева по ходу поезда; издали, сквозь окна вагона, виделись только кущи старых ив, берез и густые яблоневые сады, в которых надежно прятались кирпичные и бревенчатые домики. Между Московской дорогой и Невой лежит еще одна железная дорога — Кировская. Она идет на восток через Мгу, занятую сейчас, как я уже говорил, немцами, идет через Волхов, возле которого разгораются жестокие бои, через Тихвин и далее — на Череповец, Вологду. Дорога эта проходит совсем недалеко от Усть-Ижоры, минует далее станции Понтонную, Саперную, пересекает реку Тосну.

Проезжая через эти пригородные равнины и по той и по другой дороге, прежде всего видишь город Колпино с его могучим заводищем, рабочие которого в конце августа — начале сентября дружной заводской семьей, вооруженные винтовками, отбивали атаки немцев букваль-

но от порога своего дома, видишь незавершенные индустриальные новостройки — Ленметаллургстрой, Ленспиртстрой и немало других.

Корреспондентом «Ленинградской правды» я бывал на Ижорском заводе в Колпине, бывал в Ивановке за Тосной — в богатом овощеводческом колхозе, ездил во Мгу и в окружающие ее деревни и деревушки, трамваем доезжал до Рыбацкого, которое, по сути дела, окраина Ленинграда, — как бы кружил и кружил вокруг Усть-Ижоры. Но вот только сегодня война привела меня в это длинное селение, такое длинное, что дом, в котором мы сейчас находимся, помечен номером 187-м по проспекту 9 Января, а он еще далеко не последний на этом сельском проспекте, идущем над Невой.

— Ну что ж, — говорит полковник Черпаченко, возвращая наши удостоверения, свидетельствующие о том, что редакция прикомандировывает нас своими постоянными корреспондентами к Н-ской армии, оперативный отдел штаба которой возглавляет этот полковник. — Будем знакомы. Если что понадобится, заходите.

Мы побывали уже у члена Военного совета армии, представились в политотделе, были в разных хозяйственных учреждениях, где нас — что до крайности важно — поставили на снабжение бензином из армейских фондов.

Что же после всего этого требуется нам, военным корреспондентам, от начальника оперативного отдела? Надо узнать у него кое-что об армии, о том, где проходят ее рубежи, где и какие стоят части, где расположен противник и что он замышляет.

— Не много ли хотите, товарищи дорогие? — Полковник несмешлив, ему, видимо, не до шуток. — Что замышляет противник?! А черт его знает что. Они там, эти гитлеровские генералы леебы-клеебы, сидят, поди, и тоже кумекают: а что, мол, замышляют русские? — Он с минуту раздумывает.— По логике говоря, что остается делать немцам? Готовить новый удар на Ленинград. А что мы должны делать? Накапливать силы и тоже готовить удар. Вас, наверно, информировали в штабе фронта о том, что созданы новые армии, одной из которых является наша...

Да, перед тем, как отправиться сюда, в Усть-Ижору, мы побывали в штабе фронта, где, зная нас по многочисленным газетным корреспонденциям, нам нарассказывали, видимо, больше, чем полагалось бы в сегодняшних условиях, когда все, что касается войск и ведения

боевых действий, — глубочайшая и строжайшая военная тайна, за разглашение которой — под трибунал и вполне возможно, что даже и к стенке.

Да, мы знаем, что вокруг Ленинграда, на тех рубежах, где остановлен враг, сейчас идет развертывание трех армий. На севере — от Сестрорецка до какого-то Осиновца на Ладожском озере — фронт километров в 90 занимает 23-я армия. От Финского залива, через торфянистую низину перед Урицком, по юго-западным склонам Пулковских высот, через Большое Кузьмино, к самой насыпи бывшей «царской» дороги и немного далее ее — к Витебской дороге, идут позиции 42-й армии. А мы вот прибыли сегодня в «Н-скую» — 55-ю армию. Нам известно, что первая ее линия протянулась от стыка с 42-й армией, от Витебской дороги до Невы, в том месте, где в Неву впадает Тосна, но известно это в очень общих чертах, хотелось бы знать получше, поподробней.

Полковник отдернул кусок зеленой ткани, которой на стене была завешена карта расположения частей армии, и стал показывать:

— Вот тут, восточнее вокзальных строений станции Детское Село... Вот мимо радиостанции и каких-то сельскохозяйственных опытных полей...

Каких-то! Ему они «какие-то», а для меня это поля, на которых три года с лишним ставились мои опыты по мульчированию почвы, по новому агрономическому приему, в наших ленинградских условиях в несколько раз повышающему урожайность теплолюбивых культур. Все те годы я и жил на территории нашей областной опытной овощеводческой станции, расположенной под Пушкином, в Новой деревне. Могу не прибегать к испытанному в литературе способу для вызывания картин прошлого — не прикрывать глаза ладонью, — я и так вижу скрытые в густой зелени деревянные старые здания опытной станции с их скрипучими лестницами, вижу серый домишко, в котором была моя комнатенка, вижу парники, теплицы, делянки на полях, отмеченные белыми табличками... Где вы, товарищи Трулевич, Газенбуш, Лежанкина, Палилов, Гайтерова, все другие — энтузиасты агрономической науки, люди, мысль свою, свои силы и стремления отдававшие тому, чтобы хоть сколько-нибудь плодороднее сделать наши скупые северные земли? Может быть, мы еще и встретимся на этих землях, на полях боев, а может быть, уже и нет, не увидим

друг друга никогда. Загадывать сейчас ни о чем невозможно.

Полковник Черпаченко рассказывает. Михалев строчит в блокноте. А я мыслями в прошлом. Думается в общем-то об одном и том же: воюем у себя дома, на своем дворе, на своих грядках. Как случилось, что немец добрался до нас из Берлина, из Мюнхена, из Кенигсберга? Не были ли мы слишком мирными, слишком беспечными людьми? Кажется, нет. Все годы существования Советской власти мы непрерывно говорили друг другу о том, что порох надо держать сухим, и о возможном враге думали как о враге, с которым не побеспечничаешь. И все же случилось вот так — мы воюем на своих огородах.

Усть-Ижора — самое подходящее место для размышлений о странностях судьбы. Именно здесь, в устье реки Ижоры, произошла одна из знаменитейших битв в истории нашего государства Российского. Я упоминал уже раньше, что мое поколение неважно знает историю. Нам ведома одна лишь ее часть — та, которая касается больших народных движений и революций. Все другое мы, а точнее, за нас посчитали ничего не значащей историей царей и предали забвению. Усть-ижорскую историю тоже можно бы отнести к разряду царских историй и высокомерно не знать. Но я новгородец, а новгородцы — большие патриоты своего города, своего края, всего, что касается прошлого, настоящего и будущего Новгорода Великого. Учили нас этому в школе или не учили, но все мы с детства знаем своего сурового земляка князя Александра Ярославича, сына Ярослава Всеволодовича. Мы знаем, что второе свое имя — Невский — Александр Ярославич получил как раз после того, как здесь, на берегу Невы, в месте впадения в нее Ижоры, он разбил наголову шведов, предводительствуемых грозным ярлом Биргером из скандинавского воинственного рода Фолькунгов.

Еще в мальчишках, из старых книг, которые выдавал мне иной раз, нехотя подпуская к своей библиотеке, отец моего друга детства Славки Силуянова, было коечто вычитано о том, как громил средневековых интервентов наш земляк. Войны в те поры были длинные, очень длинные, многолетние, а иные и столетние, но битвы зато были короткие. Такого, чтобы бой не прекращался две-три недели, как было недавно в районе Луги или только что на Пулковских рубежах, тогда не случалось.

Стремительно развернулись события и 15 июля лета 1240-го.

Здесь, в устье Ижоры, наискосок от нынешнего штаба 55-й армии, на высоком, вдавшемся в ширь Невы береговом мыске, на котором стоит ныне церковь, превращенная в хозяйственный склад, 15 июля 1240 года возвышался шатер ярла Биргера, и пестрые скандинавские флаги на длинных древках весело вились вокруг в теплом, летнем ветерке. Биргер, как сказано в хрониках, располагал крупным отрядом, причалившим к невскому берегу на множестве судов, способных ходить и по рекам и по морям. Шведы намеревались двинуться дальше — через Ладогу, по Волхову — па Новгород.

И вот тут-то, обозревая действия новгородского князя глазами стратега, который мнит себя таковым, видя бой уже даже не со стороны, а просто задним — и весьма-таки задним — числом, не можешь удержаться от того, чтобы не порассуждать о правильности или неправильности его действий. (Утешает только то, что не я первый и не я последний впадаю в этот грех глубокомысленных полководческих рассуждений задним числом.)

Едва с помощью лазутчиков до Новгорода долетела весть о том, что шведы на Неве, Александр Ярославич немедленно двинулся им навстречу. Можно было бы подождать подхода войск отца— Ярослава Всеволодовича; можно было бы также ждать, пока соберутся главные силы новгородцев... Но *можно?* Или *нужно?* Подумаем.

Александр дожидаться никого и ничего не стал; с очень небольшой дружиной он стремительно подошел к шведскому лагерю и так же стремительно атаковал войско Биргера. Тогда не было ни нашей «Ленинградской правды», ни фронтовой газеты «На страже Родины», ни армейских газет, ни дивизионок. Но все же какие-то «военные корреспонденты», наши средневековые коллеги, видимо, существовали. Тогда ли — по горячим следам, позднее ли, а кое-какие «боевые эпизоды» этого победоносного сражения в устье Ижоры они для истории записали. В летописях остались имена воинов Александра — Гаврилы Олексича, Сбыслава Якуновича, Якова Полочанина, особо, как мы говорим сегодня, отличившихся в бою. С мечами и боевыми топорами храбрецы эти все время были в гуще сечи. На глазах князя Александра витязь Олексич гнал самого Биргера до корабля, к которому, подхватив полы княжеских одежд, улепетывал от-

бросивший гордыню пришлый ярл. Молодой парнишка Савва тем временем прорвался к Биргерову шатру, подрубил главную подпору — шатер, естественно, повалился, и это, с одной стороны, сильно воодушевило новгородцев, а с другой — не менее сильно деморализовало шведов. Оруженосец Александра Ратмир дрался так, что вокруг него валом валились вражеские трупы. Он упал только тогда, когда был весь изранен.

Мое воображение особенно поражал некто по имени Миша, потопивший со своим отрядом три шведских корабля. Миша совершил блестящий подвиг, но так в памяти народа и остался просто Мишей, никаким не Невским и даже не Усть-Ижорским — Миша и Миша. Не величают его с подобострастной почтительностью по отчеству, скажем, Михаилом Глебовичем или Михаилом Борисовичем. Не пожаловали ему ни «маршала», ни «генерала» или «адмирала», никто не установил, а не был ли он, часом, каким-либо древним выборным лицом и не венчали ли его чело лавры за успехи и достижения. Нет, был он, оказывается, Мишей, просто Мишей, но вот пролетел семьсот один год, а люди помнят его и, пожалуй, уже никогда не забудут.

Итак, 15 июля 1240 года Александр Невский вдребезги разбил шведов в устье Ижоры, его новгородцы перебили уйму незваных пришельцев. Биргеру, по высокоштильному выражению летописца, новгородский военачальник «возложил печать на лицо» — чем-то угодил по физиономии. Биргер едва унес ноги, с опасностью для Новгорода со стороны скандинавов было на какое-то время покончено.

Так что же, хорошо это или плохо, что Александр Невский не стал собирать главные силы, а, не мешкая, ринулся навстречу врагу. Все исторические книги утверждают первое: хорошо, очень хорошо. Потому, что враг был разбит, а новгородцы потеряли всего человек 20. Ну, а если бы в той битве Александр потерпел поражение — ведь так тоже могло быть: война всегда остается войной, — что тогда? Не сомневаюсь, что тогда его клеймили бы клеймом позора: поспешил, мол, не дождался папиных полков, не оперся на массы и т. д. и т. п. Такое суждение тоже, мне думается, было бы не менее правильным. Но вот что же делать, когда ты побил врага, а тебя все-таки судят, и судят за то, что ты будто бы действовал в бою неправильно?

Я человек невоенный, но считаю, что о правильности или неправильности действий полководцев, как ни крутись, надо судить по результатам действий. Что толку в том, если по приговору теоретиков такой-то военачальник действовал исключительно правильно, а в конце концов потерпел поражение? И какое значение имеет приговор: действовал неправильно, если все-таки оказался победителем? Не зря же с незапамятных времен принято считать: победителей не судят. Ведение боя, как мне думается, не столько наука — хотя книжку Суворова и называют «Наукой побеждать»,— сколько искусство. (Я исключаю, понятно, отсюда чисто технические отрасли военного дела. Я говорю о вождении войск.) Если в делах вождения войск есть свои правила, свои уставы и наставления, то это еще не выводит такие дела за пределы искусства. В живописи тоже есть свои законы, правила и установления: скажем, правила композиции, законы перспективы и т. п., но живопись продолжает быть все-таки искусством, а не наукой. Леонардо да Винчи тоже оставил немало советов, сформулированных как правила, уставы и наставления для живописцев. Их можно уподобить суворовским советам и правилам и назвать «Наукой живописи». Но попробуй воспользоваться «наукой» Суворова или «наукой» Леонардо, если у тебя нет должного таланта, нет должных способностей. Будешь посредственностью в живописи, будешь посредственностью в боевых действиях. Будешь действовать правильно и притом терпеть поражения.

Почему я так пространно рассуждаю на эти темы? Потому, что сейчас, спустя несколько месяцев, некоторые начинают требовать от командиров объяснений: вот, мол, под Кингисеппом вы действовали неправильно, под Лугой тоже, у Красного Села сдали позиции. Там-то и что-то упустили, там-то не предусмотрели...

Да вы же, товарищи дорогие, хочется сказать, посмотрите на дело иначе. Ленинград-то наши бойцы и командиры не сдали и сдавать не собираются. Они отходили, но как отходили? До полной потери крови изматывая противника. Враг не прошел, а мы начинаем трепать нервы тем, кто ему не дал пройти. Не странно ли, не нелепо ли это? Я не знаком с теми, кто находится сейчас на постах, в старину занимавшихся военачальниками, по рангам близкими к рангу Александра Невского; я с ними не встречался, может быть, и не встречусь: они слишком

далеко и высоко; как такие командуют, как и какие принимают решения, не знаю. Но как дрались и дерутся бойцы, как командовали и командуют своими подразделениями и частями лейтенанты, капитаны, полковники, то есть нынешние Миши, я видел и вижу ежедневно, вижу, восхищаюсь и никогда не перестану восхищаться их мужеством, патриотизмом, идейностью. Дай, как говорится, боже, всем нам быть такими, как они, наши простые и удивительные Миши, которых немцы называют сегодня Иванами.

Когда начальник оперативного отдела задернул зеленую шторку на своей карте, мы с ним попрощались и вышли на усть-ижорскую улицу, на бесконечный проспект 9 Января.

Среди хмурого осеннего дня выдался яркий, солнечный час. На дороге ослепительно блестели застоявшиеся лужи; хотя и холодно, но густыми сильными красками отливали серые невские волны; за Невой, отражая косой свет солнца, горели окна домов в селе Овцино.

Раздумывая, куда пойти или поехать, с чего начинать работу в армии, мы долго стояли среди улицы. Нерешенной оставалась и проблема личного быта: здесь ли нам жить или же уезжать каждый вечер в Ленинград? Если жить здесь, то где именно: все село переполнено военным народом; постояльцы в каждом доме, в каждом дворе какая-нибудь техника — от грузовиков до танков и тяжелых гаубиц; невский берег изрыт так, будто сквозь него прошли огромные кроты: здесь строят землянки, блиндажи, бомбоубежища. Ездить, значит, в Ленинград? Горючего тогда не хватит и на пять дней: нам установили твердый, жесткий лимит, и мы отлично понимаем, что сверх него не удастся получить ни грамма бензина. Кольцо, хоть оно и с трещинкой в районе Ладожского озера,— все же кольцо, и с его появлением началось то, что мы называем блокадой. В Ленинграде и на фронте становится все труднее. Несколько дней назад суточный хлебный паек в городе снова снижен: рабочим и ИТР — 400 граммов, служащим, иждивенцам, детям — 200.

Казалось бы, ну разве это беда? На что, мол, нормальному человеку более фунта хлеба в день? Но дело в том, что, когда нет ничего другого, а есть только вот этот хлеб, легко приканчиваешь не то что фунт, а и все два с поло-

виной, то есть полный килограмм, и приканчиваешь не за длинный блокадный день, а за один присест.

Все эти последние осенние недели мы через наш буфетик в «Ленинградской правде» получали сверх карточек роскошнейшие продукты, какие и до войны-то не каждый из нас видывал на своем столе: первосортные консервы из крабов, отличную зернистую осетровую икру. Сейчас это иной раз еще и появляется, но увы, ешь и мучаешься: нет главного — нет хлеба, за сегодня он съеден еще вчера вечером, а оставшиеся крошки прикончены утром, так сказать, на завтрак. Есть хочется все время; чувство это дурацкое, унизительное. Пришлось начать курить. Шесть лет не курил, держался. Теперь сдаюсь: папироса, а за ней другая, особенно рано утром, что называется смешным сейчас словом «натощак», приглушают желание поесть не в пределах, определенных для тебя талончиками продуктовой карточки, а далеко переступая за ее пределы.

В нашем блокированном городе нет не только хлеба и продуктов вволю, но коли все это привозное, то нет, понятно, и горючего для машин.

Итак, куда же направить стопы, что делать?

Расплескивая лужи, на нас шумно едет грузовая полуторка. Кузов ее полон военных в шинелях. Сплошь командиры. На одних еще пилотки, как летом, другие облачились в фуражки. Все почему-то машут нам руками и радостно улыбаются.

— Ребята! Привет!

В 55-й армии возникает, оказывается, своя армейская газета, и выпускать ее прибыли почти все те, кто еще совсем недавно делал газету армии народного ополчения «На защиту Ленинграда». Из кабинки грузовика солидно, не спеша вышел Володя Карп; он, узнаем мы, заместитель редактора, ему и негоже суетиться, да и по характеру это не тот человек, чтобы по-мальчишески выражать свои эмоции. Еще будучи агрономом, я читывал корреспонденции и статьи Карпа в «Ленинградской правде»; каждая из них была проникновением в экономику сельского хозяйства области, автор писал их обстоятельно, серьезно, они побуждали на раздумья, на размышления над острыми вопросами жизни колхозов и совхозов.

С пытливой улыбкой Карп смотрит на нас исподлобья; сняв фуражку, поглаживает ладонью голую голову. Ранняя лысина — семейная черта братьев-журналистов Вла-

димира Карпа, Семена Полесьева и Григория Сожина. Настоящая фамилия у них иная, но, чтобы одного не путали с другим, поскольку все они работают в ленинградских газетах, братья напридумывали себе псевдонимов. У Семена и Григория — этакие географические заменители фамилии, произведенные от местности — Полесье, где все они родились и росли, от реки Сож, в которой ныряли и ловили пескарей. А у Володи вот Карп. И это ему вполне подходит. Карп, как известно всем рыболовам,— рыба неторопливая, мудрая, плавающая в глубинах.

Из кузова тем временем лихо выскакивают Семен Бойцов — улыбчивый добряк Сеня, обладатель мелодичного тенорка Миша Стрешинский, Георгий Тесленко, которого все зовут Юрой, шумливый, но умеющий и поработать Женя Негинский; появляется откуда-то — не из кузова и не из кабины — наш ленправдист Иван Муха — Володя Иванов, юморист и сатирик, за ним вразвалочку вышагивает Лева Писарев... Их всех еще совсем недавно мы видели и в Мариинском дворце, и на дорогах боев в районе Кингисеппа. Здесь они составляют довольно-таки солидное подразделение 55-й армии.

Володя Карп сразу же отправляется выяснять, какое из усть-ижорских помещений армейские квартирьеры отводят под редакцию новой газеты. Экспансивный Миша Стрешинский, обозревая заневские дали, восторженно восклицает на ту приятную тему, какая, дескать, вокруг красота. Всем прибывшим на этом грузовике осточертело сидеть (после расформирования армии народного ополчения и переезда из Мариинского дворца) в сером и хмуром военном домине Инженерного училища на улице 3 Июля. Лева Писарев заинтересованным взором окидывает проходящих девушек-сандружинниц. Володя Иванов тихо улыбается тому, что он, едучи от Ленинграда в кузове грузовика, успел сочинить про гансов и фрицев. А Сеня Бойцов, таинственно поманив нас в сторонку, сказал полушепотом (он любит конфиденциальность в любом деле):

— Ребята, а вам известно, что на этом месте Александр Невский сражался со шведами? Откуда вы узнали? — Он до крайности удивлен и смотрит на нас с недоверием, полагая, что мы его, конечно же, разыгрываем, поскольку сам-то он один из выдающихся мастеров розыгрыша. Но, поняв в конце концов, что с нашей стороны никакого подвоха нет, добавляет: — Вы, наверно, все-

таки не знаете, какая тогда была тяжелая военная обстановка. Тогда нам тоже было здорово трудно. С запада лезли ливонцы, то есть те же самые немцы. С севера — шведы, как сейчас финны. А с юга — Орда, татары. На три фронта приходилось драться нашим средневековым ребятам. А дали противнику прикурить? Дали. — Сеня улыбается улыбкой человека, хорошо проинформированного в должных сферах. Он чертовски доволен: преподал нам урок истории с политграмотой — и, окликнутый редактором газеты Львом Досковским, который только что подъехал на другой машине, пошел таскать пропыленный редакционный скарб в одно из соседствующих со штабом армии кривобоких зданий.

Стало значительно веселей с прибытием к месту Невской битвы наших товарищей по журналистскому оружию. Вместе мы отправились обедать в штабную столовую; у них можно было и переночевать на первых порах — квартирная часть штаба о жилье для своей редакции тоже позаботилась: там же, в редакционных комнатушках, расставили шаткие железные койки.

Мы присутствовали и при рождении первого номера газеты, имя которой отныне и впредь — «Боевая красноармейская».

Если историкам когда-либо вздумается поизучать этот номер небольшой армейской газеты, выпущенной одним дождливым днем осени 1941 года на берегу Невы, пусть их не удивит, что без малого весь он был посвящен ополченцам: уж очень прочно и сердцем и блокнотами недавние сотрудники газеты «На защиту Ленинграда», ставшие вдруг корреспондентами «Боевой красноармейской», приросли к тем, кто добровольно в первые дни июля пошел в бой от станков, из лабораторий, институтов, учреждений родного города.

5

Мы обошли вокруг эту усть-ижорскую церковь, поставленную якобы именно на том месте берега Невы, где Александр Невский громил ярла Биргера. На самом верху церкви, под исщипанным осколками куполом, сидят артиллерийские наблюдатели, а внизу, как сказано, устроен хозяйственный склад: железные бочки, деревянные ящики, веревки и мешки.

Склад этот и по сей день принадлежит не военным, как можно было бы предположить в такой обстановке, а районным, «гражданским» организациям.

— Какого же, интересно, района?

Солидный дядя, классический снабженец в коричневом кожаном пальто и в зеленой суконной фуражке, посмотрел на нас не без удивления.

— То есть как какого? Слуцкого! Все эти места — Усть-Ижора, Металлургстрой, Понтонная, Саперная, Усть-Славянка — до самого Ленинграда — наш Слуцкий район. За Тосной, правда, уже начинается Мгинский. Но от него не осталось и квадратного метра. А мы живем!

Как мне было позабыть об этом! Мне, год проработавшему в слуцкой газете «Большевистская трибуна».

— А где же районные руководящие организации? — не без волнения спросил я.

— Данилин, например, Яков Ильич вон там базируется, за мостом, в том двухэтажном кирпичном доме...

Через несколько минут мы уже обнимались с Яковом Ильичом, секретарем Слуцкого райкома партии. Пошли вопросы, расспросы, воспоминания. Сначала: «Ну, как ты, что ты?», «А как ты и что ты?», а дальше подобрались к делам района, который в большей своей части остался у немцев, а в меньшей — вот поддерживает огонек жизни на этом высоком берегу. Раскинули по столу военную «двухверстку», водим по ней пальцами.

— Совхоз «Шушары»?..

— У нас.

— Большое Кузьмино?

— Половина у них, половина у нас. По овраг.

Вспоминается дорога от Пушкина к Пулкову, вспоминается день, когда мы, оставляя Дом творчества писателей, проезжали мимо бронзового Александра Сергеевича к Египетским воротам и Александр Сергеевич грустно смотрел нам вслед, покуда наш «козлик» не спустился по шоссе как раз к этому оврагу, который сегодня разделяет два непримиримых мира.

— А совхоз «Пушкинский»?

— Не поймешь. На этом участке все время идут бои.

Так мы устанавливаем рубежи совсем еще недавно большого цветущего пригородного района, ныне обгрызенного, общипанного, разоренного. Ныне они почти совпадают с линией фронта, занятого 55-й армией.

— Ну, а как в Слуцке, что слышно о нем? Есть ли оттуда известия?

Данилин гладит небритый подбородок.

— Плохо в Слуцке. На днях вернулись наши ребята, которых вызвал партизанский штаб. Порассказывали...

Данилин угощает нас чаем и тоже рассказывает. Он называет только имена, приводит только факты, но ты же знаешь все поминаемые им места, знаешь людей — и перед тобой во всей их суровой правде встают картины хозяйничанья гитлеровцев на знакомой тебе, исхоженной твоими ногами, доброй домашней земле.

Я вижу полуразбитый, хмурый, мокрый под дождями, некогда веселый и пестрый Слуцк, бывший Павловск, с его пышным парком, с дворцом, полтора столетия хранившим немало ценностей мирового искусства, с курзалом, под кровлей которого звучали, бывало, лучшие голоса и скрипки мира. Вижу облезлый домишко нашей «Большевистской трибуны», белый дом райкома партии, нашу типографию, промкомбинат и фетровую фабрику, на которой изготавливали отличные белые бурки, астрофизический институт, в котором работал папанинец Евгений Федоров, охотно откликавшийся на просьбы нашей редакции написать статью,— все вижу, и все это в рассказах Данилина обретает иной, незнакомый, страшный вид. Улицы города вижу притихше-пустынными. Гулко отдаются в них шаги немецких патрулей. Втянув прикрытые железными касками головы в воротники, немцы топают по разбитым тротуарам; на углах, на перекрестках, чтобы взбодриться, развеять пугающую тишину, щелкают затворами винтовок и автоматов. Для них этот город чужой и вся жизнь в нем чужая, возбуждающая опасливое любопытство пришельцев из Ганновера и Хайлигенбайля. Приподнимаясь на носках, они заглядывают в окна нижних этажей: что там такое, как там живут? Но в квартирах тоже тихо, пустынно. Жители, оставшиеся в городе, прячутся в подвалах, в погребах, долгими днями не выглядывая на улицу. Да, собственно, и что там делать, на улице? Магазины закрыты: немцы, как вошли в Слуцк, их разграбили, все оставшиеся товары повывезли. Может быть, поотправляли посылками в свою Германию. Так что в магазинах делать нечего, а тащиться за картошкой или капустой в соседние колхозы и опасно и бесполезно: там тоже ничего почти не осталось, там тоже бесчинствует

немецкая солдатня. Сколько уже отмечено случаев, когда немцы стреляли в мирных жителей — так просто, ни для чего, развлекаясь.

Данилин рассказывает о том, как в колхозе «Расцвет» гитлеровцы расстреляли из пулемета молоденькую Зину Калугину, которая вышла к колодцу за водой.

«Расцвет»... «Расцвет»?.. Я же знаю этот колхоз. Это же в Федоровке, в той самой Федоровке, возле которой на белом коне недавно скакал Анцелович и которая тогда показалась нам оставленной жителями. Что ж ты не ушла в Ленинград, Зина Калугина? Что тебе, молодой, полной сил, помешало? Или, как многие, понадеялась на гуманизм потомков Шиллера и Гете? Ведь не могла же ты остаться по той причине, по которой остался в Слуцке обломок николаевской империи: ему же все равно, каким царям служить.

Нет, о гуманизме говорить не приходится. Немецкая администрация работает, как машина, машина жестокая и беспощадная. Она выгребла все из магазинов и со складов Слуцка. Она ничего не оставила в колхозах. Поспешая убрать выросший ныне отличный урожай овощей и картофеля, немцы ввели в колхозах режим каторги. Утром люди, работающие в поле под дулом автоматов, получают кружку кипятку и одну вареную картофелину. Днем они «обедают» тремя картофелинами, а в ужин получают еще две. Итого на сутки шесть картофелин и три кружки кипятку. Неважно, если русский или русская упадут от истощения. Их, этих русских, так много, что на место одного упавшего солдаты специальной команды немедля пригонят троих новых. Для этого в Слуцке проводится сплошная регистрация всего населения старше четырнадцати лет. Женщин вызывают в здание недавнего промкомбината на улице Красных Зорь, а мужчин — во дворец. И там и там они заносятся в подробнейшие списки, в их паспортах после этого ставится отметка «Reg.» — зарегистрирован. Без такой пометки на улицу выходить совершенно немыслимо — тотчас схватят и отведут в комендатуру. Но и получив пометку, тоже никуда не денешься от длинных рук немецкой административной машины: из зарегистрированных там же, в промкомбинате и во дворце, составляют «сотни» и так «сотнями» угоняют на работу. Одних убирать овощи, а других уж и неведомо куда, никто оттуда пока не возвращался.

Во дворец, где расположен штаб то ли 122-й, то ли 96-й немецкой дивизии, идти надо парком. До чего же знаком этот путь не только жителям Слуцка, но и ленинградцам! По выходным дням в старый Павловский парк тысячами сходились и съезжались люди — погулять по его аллеям и лужайкам, вокруг его прудов, поваляться на траве, послушать музыку в курзале, потанцевать в Розовом павильоне. Идущим сейчас во дворец на регистрацию трудно узнать знакомые места. Земля на газонах изрыта, всхолмлена, это не что иное, как могилы завоевателей; сотни свежих могил, и над каждой крест; иные из них увенчаны рогатыми касками — в тех случаях, конечно, когда каска пробита и уже ни на что иное не годна. На крестах — дощечки, на дощечках — имена куртов и гансов, а рядом с именами — цифры: 405, 407, 408, 283. Это номера полков 122-й и 96-й дивизий Гитлера.

У пришельцев свои представления о порядочности. Наступают холода — немцы очень озабочены поисками теплой одежды. Если жители Слуцка прячут от них свои валенки, шапки-ушанки, меховые и ватные пальто, рукавицы, шерстяные платки, это называется довольно-таки сурово: грабеж. А вот лихие налеты на квартиры для того, чтобы завладеть чужими теплыми вещами, носят вполне деловое название: экипировка.

«Экипировка» развернулась вовсю. Рыцарей в плащах из байковых и ватных одеял в Слуцке и в окрестностях с каждым днем становится больше. Они подобны воякам Наполеона с верещагинских полотен, кутавшимся в женские шали и конские попоны на снежных дорогах своего бегства из морозной России.

— Побегут и эти, — размышляет Данилин. — Но весь вопрос — когда? Каждый день их хозяйничанья на нашей земле — неизмеримый урон району, нашим людям.

Я смотрю на Данилина и думаю о нем, о таких же, как он, работниках партии. Живет человек в полуподвале прогнившего, старого дома, по сути дела, в дыре, в норе, от большого района у него остались крохи, клочки, а думы думает масштабами не только былыми, но и грядущими, думает о своих колхозах, совхозах, о тысячах людей, об их скорбях, их горе. Не будет спать, не будет есть, умрет, если так понадобится партии, лишь бы шло, росло, развивалось дело, которое он считает партийным. Большевики этой закалки всюду: и в частях Красной Армии,

и в райкомах, и в немецких тылах, и во главе заводов. Ими живет и движется все, что есть в нашей стране. Это люди идеи, строгой, суровой дисциплины, неугасимой энергии. Кто они? Откуда? Не есть ли это драгоценные кристаллы, возникающие из народных толщ под воздействием пламени воспитательной, идейной работы партии? Нет ли тут общего с тем, как из толщ горных массивов в тысячеградусных температурах рождаются алмазы и рубины?

Сравнение красивое, увлекающее мысль дальше. Но вдруг — стоп. Мысль спрашивает тебя: а почему же, прошу прощения, в той же самой огненной температуре появляются и такие люди, как Данилин, и такие, как наш редактор Золотухин? Золотухина, прежде чем он заявился к нам в редакцию, тоже ведь выращивала партия, в чем же дело? Задумываешься, ищешь ответа. Видимо, в том, размышляешь, что во всяком деле, и в деле отбора драгоценных камней, возможен брак. Отборщики просмотрели, не заметили, как рядом с подлинными рубинами проскочил камушек, красный только снаружи, с казовой стороны, а внутри он стекло, простое бутылочное стекло, смазанное суриком. И он, такой смазанный, ненавидит всех, потому что бутылочному стеклу нелегко исполнять роль рубина. Он хочет, чтобы и все вокруг него были стекляшками: он давит, расшвыривает тех, кто не такой. Ему подай мир из материала ничуть не лучшего, чем тот, из которого состоит он сам. А если кто окажется еще из худшего, того он тем более возлюбит, взлелеет, осыплет милостями.

Способен ли Золотухин уронить вот так, как Данилин, голову на руки, сказать из глубины сердца, из глубины души:

— А в общем, чертовски тяжело, ребята.

После консультации с Данилиным мы решили, что более правильным будет устроиться с жильем все-таки в Усть-Ижоре. Тут штаб армии, тут районные организации, тут редакция «Боевой красноармейской» — много друзей и товарищей.

В соответствующем отделе штаба нам выдали квиток на временное квартирование в собственном доме гражданки такой-то, по такой-то улице. Получили мы и постоян-

ные пропуска в штабные помещения — книжечки в ярко-красных ледериновых корочках. У Михалева все было просто — в графу «звание» писарь уверенной рукой вписал ему: «младший политрук» — в полном соответствии с его «кубиками» в петлицах. Со мной заело. У меня же не только нет никакого звания, но я даже не являюсь военнообязанным. Как объяснишь красноармейцу-писарю или его начальнику — майору, почему ты, не имея на то никаких прав, натянул на себя гимнастерку и шинель и к тому же на рукава нашил звезды политсостава?

Пока я топтался перед писарским столом, Михалев бухнул: «Без звания». Писарь что-то начертал в книжечке моего пропуска, и, когда мы вышли из комнаты, в графе «звание» я увидел его пером выведенное: «Без названия».

«Звание без названия» развеселило всю редакцию «Боевой красноармейской». Но рассудительный Миша Стрешинский решил, что с таким загадочным документом мне никуда ходить нельзя, и похожими чернилами зачеркнул буквы «на». С этой подчисткой в конце концов получилось именно то, что хотел внушить писарю Михалев: «Без звания».

На пороге дома номер такой-то по такой-то улице нас встретила его хозяйка — кряжистая, грузная старуха, с угрюмым взглядом, который выражал одну-единственную мысль: кого и зачем к ней принес черт? Дом у старухи был небольшой, но хорошо срубленный из бревен, обшитый тесом, покрашенный, с застекленной верандой. Во дворе, обнесенном забором, длинно, один возле другого, тянулись сараи. В них, как мы поняли, был хлев, где стояла корова, был курятник — там кудахтали и хлопали крыльями куры, был закуток для поросенка — поросенок задумчиво похрюкивал и показывал из-под двери пятачок. Корова, куры, этот хрюкальщик — все они сидели под крепкими, увесистыми замками. Под замком же были, видимо, и дрова, и всякие иные запасы и припасы.

«Ну что ж,— подумали мы,— это в общем-то ничего, что у бабуси такой каменный взгляд. Старенькая, напуганная войной, окаменеешь. Да, поди, и сыны ее на войне. Может, уже и похоронную получила. Ничего. Как-нибудь уживемся рядом. Важно, что дом на вид теплый — дровишки водятся да и харчишки тоже».

— Принимайте, мамаша, гостей,— сказали мы бодро. — Постояльцы, так сказать, квартиранты.— И подали ей штабную бумажку.

Старуха сделала знак рукой возле плеча, будто щелкнула пальцами. Из дома выскочила молодка, взяла нашу бумажку. Затем обе отошли, пошептались в сторонке.

— Ну ладноть,— сказала старуха, и на лице у нее, радуя нас, обозначилось некоторое потепление. — Потеснимся, родимцы. Вы при револьвертах — спокойнее в доме будет. И вроде смирные гляжу. Третий-то кто это такой, шофер, что ли? Ну, входите, входите.

Мы двинулись было к крыльцу, но старуха остановила:

— Не сюды, не сюды. Вокруг идите. Вход вам отдельный определю и ключ свой. Чтоб ни мы вам, ни вы нам — никто никому в помеху не пришелся. Ась?

Она обвела нас вокруг дома, отперла ключом дверь веранды и пропустила внутрь. Вся веранда утопала в хламе. Тут в полнейшем беспорядке стояли дощатые топчаны, лежали тощие, промятые боками прежних постояльцев соломенные матрацы, чем-то не определимым на глаз были набиты старые, разлезающиеся прутяные корзины... Будто бы только что отсюда кто-то съехал.

— Летом дачники у нас жили,— пояснила старуха. — Каждый год веранду сымают. Одна семья. Четыре человека. Сам, сама да ребятишек двое. А этим летом только было въехали, а уже и на выезд: самого-то в армию взяли, где уж семье дачничать. Хотела она, чтобы аванс на будущее лето зачислить. А как же это — за одни деньги два сезона хочет у меня ухватить? Не по закону. И чтобы возвращать ей аванс — тоже закону нет. Вот вам, ребятки, топчаны, постели. Квартируйте с богом.

На веранде было холодно. Мы дернули за ручку двери, ведущей внутрь дома и завешанной с той стороны розовой тряпкой; хозяйка сказала:

— Заперто, заперто. И ключи кудысь подевались.

Что делать — живем на этой холодной веранде. Собственно, только ночуем на ней, укутываясь перед сном во все, что у нас есть шерстяного, суконного, мехового. По утрам обоняем мучительно-вкусные запахи жареной картошки и еще более нестерпимые — оладий, сочащиеся к нам из внутренних апартаментов сквозь щели в дверях. Мы ненавидим мерзкую, жадную бабу. Сын ее — какой-то милицейский начальник в Ленинграде, давно живет там своей семьей. Здесь, с бабкой, проживает ее невестка, жена младшего сына, призванного в армию. До войны

молодые тоже жили отдельно. Невестка перебралась к свекрови, только когда осталась одна. Кстати, молодка сказала по секрету нашему Серафиму Петровичу Бойко, что на огороде у бабки есть ямища с картошкой. Изголодавшийся бедняга каждое утро, чуть свет, крадется через огород, якобы промяться на берег Невы, а сам озирается по сторонам, ищет эту дразнящую воображение яму. Но бабка подымается еще раньше и неослабно следит за каждым его шагом. Невестка, мы это чувствуем, симпатизирует нам, она пообещала даже как-нибудь изловчиться и притащить оладий на веранду. Но вот удастся ли ей обмануть бабкину бдительность?

6

На участке 55-й армии, как, впрочем, и на других участках Ленинградского фронта, немцы, кажется, остановлены прочно. Остановились они, надо отдать им должное, очень ловко — захватив повсюду удобные, выгодные позиции — на высотках, по крутым берегам рек, вдоль насыпей железных и шоссейных дорог, на опушках лесов и парков.

Сейчас идут, как пишется в сообщениях Совинформбюро, бои «местного значения». Наши войска стремятся улучшить позиции, кое-где повышибить врага с высоток, поотбросить его в низины, в болота.

Иногда попадаются пленные. Но редко и мало. Немцы панически боятся плена; их пропаганда убеждает солдат в том, что каждый попавший в плен немедленно расстреливается русскими.

Вчера на наших глазах произошел случай. Из штаба армии после допроса в разведотделе вывели пленного немецкого солдата. Его вели в баню под берег Невы, потому что он весь был во вшах. Немец шел, перепуганно озираясь на автоматчиков, следовавших с двух сторон; был он в длинной шинели, в которой путался и оступался, в неуместной для наших холодов пилотке с отогнутыми на уши краями. На спуске к Неве бойцы копали яму для землянки. Увидав эту яму, облепленные глиной лопаты, комья рыжей земли, немец пал на колени и дико завопил. Он подумал, что его привели расстреливать.

Мы смотрели на него, охваченного, как говорят в таких случаях, животным страхом, цепляющегося за полы

шинелей наших красноармейцев, и не могли не вспомнить рассказ Данилина о том, что творят эти мерзавцы в Слуцке, в окрестных колхозах. Он же оттуда, этот вояка, из Слуцка, из колхоза «Расцвет», где возле колодца была убита пулеметной очередью молодая колхозница Зина Калугина.

У одного из таких трусливых «завоевателей» нашли письмо из дому. Немка пишет мужу: «Все знают у нас, как трудно вам воевать. Русские не люди, а кошмар. С ними, слышали мы, эти ужасные политруки».

Письмо Греты подсказало нам тему. А не написать ли, подумалось, о политруках? Уж очень страшны они гитлеровцам. Настолько страшны, что немцы посвящают политрукам тонны и тонны листовок.

Раскиданные с «хеншелей» и «фокке-вульфов», листовки эти на всем пространстве от передовой до окраинных домов Ленинграда валяются по обочинам канав, плавают в воронках от бомб и снарядов, мокнут на замшелых брусничниках и на картофельных полях. Размытая дождями, дешевая их краска давно расплылась, и трудно уже разобраться в аляповатых, уродливых картинках, в безграмотных стишках на тему, что, мол, «бей политрука, морда просит кирпича». Кто это сочинял? Может быть, один из тех, которых революция выбросила в Европу после 1917 года? А может, и такие, которые остаются у немцев сегодня?

Рассчитаны листовочки эти на наших бойцов. Наслушавшись-де подобных призывов, бойцы Красной Армии озлятся против политруков, возьмут в руки кирпичи и пойдут бить вышеуказанные «морды».

Почему же такой страх прохватывает немцев именно перед политруками?

Попробуем представить себе это, попробуем разобраться.

Если Ганс, побывавший, скажем, во вчерашнем бою, повидавший русских лицом к лицу, останется жив и приковыляет когда-нибудь обратно в фатерлянд, ему до конца его дней будет помниться студеное октябрьское утро под Ленинградом.

Он делал то, для чего за тысячу километров прикатил сюда в сером, многосильном дизельном грузовике. Он стрелял. Он бил и бил, давя на гашетку. Окопы гремели от пулеметного стука. Пули секли траву над головами

русских; изорванный в клочья, летел дерн, никли к земле желтые ветви ракит. Русским, казалось, ни за что не пройти, перед ними пристрелян каждый метр.

Но Ганс увидел в тот день, что есть вещи, которых не учли, не предусмотрели ни имперское командование, ни сам премудрый фюрер. Немец увидел, как над цепью, намертво прижатой к земле, вдруг поднялся человек в серой шинели, поправил ремень портупеи, вскинул штык винтовки и побежал под огонь, вперед. Человек не сказал ни слова, но цепь поднялась тоже.

В этом бою Гансу повезло, он пока избежал смерти. Но в каждую клетку его тела вошел и прочно угнездился там страх. Тот страх, который захватил всю его душонку перед молчаливым человеком, вставшим в рост среди поля, которое звенело от пуль. Он помнит, что бил из автомата, не снимая пальца с гашетки. А человек все бежал, приближаясь и приближаясь. Его обгоняли поднявшиеся с земли русские солдаты.

Ганс подумал, что это командир. Но тогда почему он не орет, как орут в его роте все офицеры перед атакой? Почему не ругается? Почему только молча встал — и за ним пошли?

Немецкий солдат не знал, не ведал, что русский человек, пробираясь под пулями его автомата от одного бойца к другому, в то утро исползал всю передовую в своем подразделении и поговорил без малого с каждым. С одним выкурил «Звездочку», другого угостил глотком воды из своей фляжки, третьему посоветовал по возвращении из боя подбить каблуки подковками — стоптались. И всем, указывая на дымивший позади город, говорил скупо, по-фронтовому:

— Видите?

— Видим.

— Понятно?

— Понятно.

И когда настал час атаки, говорить уже было незачем.

Политрук Литовко — человек тот был политруком, и звали его Михаилом Литовко — погиб. Четверо бойцов вынесли его тело с поля боя. Над свежей могилой вся рота клялась: мстить, мстить, мстить — Михаила Литовко любили. Человек не сможет быть политруком, если его не полюбят бойцы. Политрук — это не столько должность человека, сколько сумма его человеческих качеств.

Мы ездили, ходили по частям, подразделениям, то есть бывали в полках, батальонах, ротах. Отыскать политрука нетрудно. Политруки есть в каждом батальоне и в каждой роте. Но не с каждым из них разговоришься. О них надо расспрашивать бойцов, с которыми политруки едят из одного котелка и спят бок о бок в холодных, заливаемых водой окопах; с которыми делят короткие минуты досуга, если вообще минуты напряженного затишья между боями можно назвать досугом.

Одной из минувших черных октябрьских ночей мы добрались до траншей, до землянок части, которая держит оборону левее совхоза «Пушкинский». До Слуцка, до Павловского парка оттуда, что называется, рукой подать. Рядом и моя опытная сельскохозяйственная станция. Жаль, что стояла ночь и ничего не удалось рассмотреть за брустверами окопов. Только ракеты да ракеты со стороны немцев — желтые, зеленые, красные. Да еще цепочки автоматных очередей трассирующими цветными пулями.

В большой землянке, лежа на полу, вместе со всеми вповалку (потому что, если стоять, низкая кровля не дает разогнуться, а сидеть не на чем), усталые, мы выслушивали рассказы бойцов о политруке Петрове и лишний раз убеждались в том, каких же размеров может достигнуть кажущаяся мелочишка, если ею не заняться вовремя.

Политрук Петров заметил, что многие бойцы что-то уж очень редко получают письма из дому, а если получают, то с невероятнейшим опозданием. А что такое, когда нет писем? Это значит плохое настроение, трепка нервов, душевное угнетение, тревога, всяческие предположения и догадки. Так дело оставлять было нельзя. Петров взялся его расследовать. И что же? Оказалось, бойцы сообщали родным неточные, путаные адреса. Значит, чтобы устранить одну из причин плохого настроения в роте, всего-то и надо было научить бойцов правильно надписывать обратный адрес на конвертах.

И так мелочь за мелочью. А из мелочей складывается то, что носит название «боеготовности воинского подразделения».

Знали бы немцы, кто этот загадочный и страшный для них политрук Петров, может быть, они бы и не стали тратить бумагу на призывы к нашим бойцам вооружаться кирпичами. До войны нынешний политрук был известным

в Горьковской области строгальщиком-многостаночником, таким же рабочим, какими в ту пору были и его сегодняшние бойцы. Он их родной товарищ и брат.

«Люди, идущие впереди» — так сказал кто-то о политруках. Нам это очень понравилось. Да, именно, да, точно: в бой они идут первыми. Сколько гибнет их сегодня на торфянистых полях, раскинутых от Пушкина и Слуцка до Невы, до Усть-Тосно! Все они коммунисты, большевики. В батальонах и ротах они олицетворяют собою партию, которая в этой жесточайшей борьбе с фашизмом идет впереди армии, впереди всего народа.

Мы уже обдумываем свою корреспонденцию, которая так и должна называться: «Люди, идущие впереди». Или, может быть, просто: «Идущие впереди». Но прежде чем сесть за стол и обмакнуть в чернила ручку, нам непременно надо побывать в районе Усть-Тосно, в том горячем месте, где наши роты врылись в берег реки и держат врага на крайнем левом фланге 55-й армии — при впадении Тосны в Неву. Там немало отважных, в том числе есть, конечно, и политруки.

Часов в одиннадцать ночи мы оставили Бойко с «козликом» за незаконченным зданием Спиртстроя и в сыром октябрьском мраке двинулись дорогой на Усть-Тосно. Миновали Новую, которая в последних числах августа побывала в руках немцев; от нее почти ничего не осталось — все деревянное и кирпичное растащено на постройку блиндажей и землянок или ушло на дрова. Этот непрерывно идущий процесс растаскивания можно видеть по всей приневской низменной равнине: села, деревни, поселки как бы тают в жарком огне боев, тают с обеих сторон — и с той, с немецкой, и с нашей. И ничем это быстрое таяние не остановишь. Было острое время, когда немцы атака за атакой шли на Пулковские высоты, когда подступали к Колпину, рвались на север через Неву. В те дни, вернее, часы и минуты было не до раздумий о судьбах наших пригородных сел: все уходило в траншеи и блиндажи, ничто уже не имело цены, лишь бы задержать, не пропустить врага. А сейчас? Сейчас, когда похолодало, когда в лужах лед и дорожная грязь смерзаются в камни и когда все еще не настало время скорбеть о бревенчатых избушках, кому-то милых, родных, с палисадничками, резными наличниками, опустевших, осиротевших, с выбитыми, будто выплаканными окошками,— сейчас их по-

прежнему разбирают по ночам и самым откровеннейшим образом топят ими печурки в землянках. Истопили дотла и деревню Новую.

За Новой дорога ведет по открытому; идешь по ней, продуваемый ветром с Ладоги, и все ближе, ближе линия, над которой одна за другой сгорают сигнальные и осветительные, надолго повисающие в воздухе рыжие ракеты. Одни гансы спят в окопах, в землянках, другие бодрствуют и светят над собой, боясь, как бы на них не набросились наши разведчики с кинжалами. Страшновато спать в чужих-то местах. Это не какой-нибудь Мариендорф под Гумбиненом, что по-нашему было бы Марьина деревня или просто Марьино; это очень далеко от гитлеровских гнездовий. Серые птицы залетели сюда за длинную тысячу верст и на виду у огромного, богатого города, одного из замечательнейших городов мира, изнывают от вшей, от холода и от страха. Они не только светят ракетами, но страх, а может быть, и требование устава заставляют их еще и постреливать время от времени. То застрочит автомат, то ухнет ротный минометик, то примется солидно рокотать крупнокалиберный пулемет. Низко над дорогой, по которой мы идем, время от времени, будто гадюки, шипят тяжелые пули. Они стелются почти по самой земле, и нет никакого смысла падать в канавы, как мы делали прежде; мы даже не останавливаемся, чтобы определить, откуда стрельба; идем и идем — ни на что другое сверх этого силенок-то уже и нет. Примешься искать укрытия — только измотаешься, а в конце концов и не встанешь. Думаем об одном: дорожку обратно надо бы подыскать другую, эта, видимо, уж очень хорошо пристреляна немцами.

По глинистому крутому спуску сползаем к Тосне и длинным ходом сообщения пробираемся в блиндаж. Он полон командиров и бойцов. Светит керосиновая лампа с густо закопченным стеклом, которое сбоку выбито и заклеено газетиной, коричневой от жара. Одни спят на нарах, другие втиснулись под нары; кто на полу, а кто и сидит возле стола. Несколько пластов махорочного дыма вожжами тянется к слегка приоткрытой двери.

Нам обрадовались. В это «уютное местечко» не часто забредают гости. Здесь бойцы-ленинградцы несут одну из самых тяжелых передовых вахт. В сорока или в пятидесяти метрах от их блиндажа — такие же блиндажи и

траншеи немцев. Оттуда слышны голоса, звяк-бряк котелков, щелканье затворов.

Многие из спящих поднялись, повылезали к свету. Пошли разговоры. Добрались мы и до основной своей темы — до политруков. Было помянуто имя Михаила Виноградова.

— Вот о нем и напишите,— сказал один из строевых командиров.— Был ранен. После госпиталя получил отпуск, но гулять не захотел, вернулся в роту, к своим бойцам. Дрались тогда здесь же, на Тосне, только выше по течению. Убило у них командира. Заменил Виноградов. Несколько дней успешно командовал ротой. Пока нового не прислали. А сейчас, сами знаете, с пополнением туго. Неделями сидим без смены.

— Душевный человек товарищ Виноградов. Что верно, то верно,— поддакнул боец, казалось, дремавший возле телефонного аппарата.— В бою всегда первый. Только, если начистоту, зуб у меня на товарища политрука.

— Что так? — поинтересовались мы.

— А вот как было дело. Составляли у нас группу — дзот тут один ликвидировать. Товарищ политрук и скомандовал: «Коммунисты, два шага вперед!» Ну, партийцы, понятно, шагнули. С ними и я. А он: «Ты куда, говорит, отправился? Ты беспартийный. Вернись-ка в строй». И не взял меня. Вот я и того, зуб точу.— Боец улыбается, вспоминая эту историю.

Другой красноармеец рассказывает о том, как политрук Виноградов в нескольких десятках метров от противника разъясняет боевую задачу бойцам, как делится краюхой хлеба или сухарем, как в трудную минуту умеет пошутить и поднять у всех настроение.

— А где он сейчас, товарищ Виноградов? Нельзя ли его повидать?

— Снова в госпитале. Осколком в грудь ударило. Но пишет, что скоро вернется, дело на поправку пошло.

Среди ночи мы собрались в обратный путь. Нам посоветовали прежней дорогой не идти, а прошмыгнуть по береговой кромке под обрывом Невы. Один участочек там, правда, небезопасен. Перед устьем Тосны в Неве лежит затонувшая баржа. Часть ее осталась над водой, и на этой части постоянно сидят два или три немца с автоматами и легким ротным минометом. Но сегодня ночь тем-

ная, небо в тучах, и мы-де быстренько завернем за выступ берега, где немцам нас уже не достать.

Все шло хорошо, пока выбирались к Неве, к той песчаной кромке, по которой следовало идти под обрывом к Спиртстрою. Но едва мы ступили на плотный подмерзлый песок, как в тучах произошли передвижки и туманная белая луна осветила белым все окрест. Черная баржа оказалась совсем рядом, ее выпяченный борт таинственно бугрился над водой, напоминая не то «Наутилус» капитана Немо, не то кита в океане. Вот-вот даст луч прожектора, если это «Наутилус», или, если кит, пустит гейзер воды, раздутой дыханием в мелкую пыль.

То, что хлынуло с баржи, скорее было гейзером, чем прожектором, хотя и светилось: это был поток трассирующих пуль, устремленный в нашу сторону. Вспомнились слова о том, что кроме автоматов на барже есть еще и миномет. Бойцы, рассказывавшие о нем, называли его, правда, минометиком. Но нам достаточно было и «минометика» с его 49-миллиметровой «минкой». Что делать? Залечь тут и ждать, когда тебя проскребет на мерзлом песке осколками этой «минки», смысла не было. Мы подхватились и побежали, стремясь как можно скорее достичь излома берега, того выступа, за которым немцы уже нас не будут видеть. Светящиеся пули замелькали, запели вокруг с остервенением. Хлопнул и «минометик» — «минка» разорвалась впереди. Пока она, весело посвистывая, неслась за нами вдогонку, мы, верно, прилегли на минутку, на время разрыва. Осколки ее тоже не без веселья прощебетали в холодном воздухе над нами.

Так мы бежали, падали, вскакивали, снова бежали до самого выступа. На наше счастье, немцы ни разу не угодили миной позади нас, все время только впереди. Видимо, их как-то обманывал лунный свет и, может быть, наши тени были им видны лучше, чем мы сами.

За выступом, пробежав беспорядочной рысью метров семьсот — восемьсот, мы рухнули на песок, вконец измотанные. Луна удалилась за тучи, снова настала черная темень, в которой справа от нашего пути тускло отсвечивала студеная невская вода.

От шального бега с препятствиями в сердце у меня был такой разлад, что, когда возле Спиртстроя надо было взбираться на крутой берег, Михалев, тоже достаточно запыхавшийся, должен был сходить за Бойко, и они вдвоем помогали мне преодолевать кручу.

Когда мы наконец-то очутились в своем «козлике», я при свете карманного фонаря попытался рассмотреть, который же час. Но часы на руке были разбиты — ни стекла, ни стрелок.

7

Голод все поджимает. Хотя мы и базируемся на Усть-Ижору и чаще всего ночуем на холодной веранде старой кулачки, но время от времени наезжаем и в Ленинград; мы бродим там по настылым комнатам редакции, в которых стук злосчастных наших сапог слышится еще громче, потому что многие сотрудники спустились в подвал здания, переоборудованный под бомбоубежище, и в комнатах четвертого и пятого этажей нет почти никого.

На днях мы с Верой шли в редакцию по улице 3 Июля. У входа в аптеку, которая между Юсуповским садом и Сенной, лежал старик; он лежал лицом вниз, шапка у него свалилась, и по плечам раскинулась косматая грива давно не стриженных серых волос. Я подошел, повернул его на бок: может быть, у него неладно с сердцем.

— Вам плохо?

Едва открывая рот, он ответил:

— Не беспокойтесь. Прошу вас.

Мы пытались подымать его, ставить на ноги — он снова медленно и вяло валился на тротуар.

— Гражданин,— сказала старушка, проходившая мимо с пустой кошелкой,— всех не подымете. Вон в том подъезде женщина лежит упавши.

Я поднялся по лесенке в аптеку, сказал пожилой продавщице о том, что возле их дверей плохо с человеком, нельзя ли принять меры, «скорую помощь», например, вызвать. В аптеке было пусто, продавщица вышла из-за прилавка, отогнула подол юбки до колен, и я увидел ее неправдоподобно толстые, пугающие ноги в грубых чулках.

— Разве для всех для нас «скорую помощь» вызовешь? — Она улыбнулась больной, но не злобной улыбкой.— Голод — страшное состояние, молодой человек. Ваш старик упал от голода, а я вот, например, с него пухну, пухну с каждым днем. И может быть, завтра-послезавтра тоже упаду. А что делать?

Тогда мы отыскали постового милиционера, сказали ему о старике. Нельзя же, мол, так оставлять человека.

— Нельзя, нельзя,— согласился милиционер, а в глазах у него тоже был голод.

Когда мы вернулись, наконец, к старику, ни в какой помощи, ни в нашей, ни в «скорой», он уже не нуждался.

Это была первая смерть от голода, которой мы с Верой стали свидетелями. От растерянности, от неожиданности я не знал, что и делать. Мне скоро тридцать. Лет пятнадцать из них я так или иначе участвую в жизни страны, в жизни народа. Много прошел испытаний, повидал всякого, но не было еще ни разу впереди столь глухой стены невозможности что-либо предпринять, что-либо изменить, остановить, предотвратить. Перед лицом движущегося на город бедствия не пойдешь ни в свою партийную организацию, ни в райком — никуда, не позовешь на помощь друзей, товарищей, единомышленников. Ты только цепенеешь перед грозной, огромной, всепоглощающей бедой.

А тут еще что ни ночь на город падают бомбы, то там, то здесь вспыхивают пожары, на улицах рвутся и рвутся снаряды. Изматывающие обстрелы стали систематическими, регулярными. Нет в городе улиц, площадей, закоулков, где бы то ранним утром, то днем, то к вечеру не рявкали бы тяжелые разрывы, не сыпались от них стены, балки потолков, межэтажные перекрытия, не падали бы на мостовые убитые и раненые.

Установились морозы, метет снежок, и на нем, белом и чистеньком, особо отчетливо печатается черная копоть разрывов.

Мы знаем, что с этими обстрелами наши артиллеристы как-то борются, что есть особые артиллерийские части, ведущие огонь по дальнобойным батареям немцев. Мы решили рассказать об этом ленинградцам: пусть знают, что все-таки они не совсем уж беззащитны, что, если бы их не защищали, смертей от вражеских снарядов в городе было бы в несколько раз больше.

В штабе армии нам назвали артиллерийский полк подполковника Гусарова. Прежде чем оказаться у окраин Ленинграда, 24-й дважды Краснознаменный армейский артполк в тяжелых боях отступления уничтожил и подавил десятка три батарей противника, разбил воинский эшелон, отразил две атаки пехоты и две танковые атаки. Словом, артиллеристы Гусарова повоевали хорошо. Мы

найдем их, точнее найдем их наблюдательные пункты, в районе Спиртстроя. Сегодня батареи как раз в бою, но бьют не по дальнобойным пушкам немцев, а поддерживают наступление нашей пехоты.

Спиртстрой, уже не раз помянутый мною,— огромное недостроенное здание из железобетона. Оно одиноко и громоздко стоит на виду у немцев, среди чистого поля, меж Кировской железной дорогой и берегом Невы. От него совсем близко до Усть-Тосно, до Ивановской, до берега Тосны — до врага. Здесь перед войной подходило к концу строительство спирто-водочного завода большой производительности. Сейчас серая многоэтажная коробка полна людей в шинелях и полушубках. В подвалах ее сидят снабженцы, в средних этажах — связисты разных частей, в верхнем — наблюдатели артиллеристов и минометчиков.

Николая Алексеевича Гусарова мы находим именно там, на самом верху, у заколоченного широкого окна. В щель между досками наружу глядят рожки стереотрубы. Здесь же с биноклями еще несколько командиров, в том числе артиллерийский полковник из штаба армии, комиссар полка Гусарова и два лейтенанта-корректировщика.

Нам объясняют, для чего они собрались все на спирто-водочной голубятне.

— Вот смотрите туда, вперед,— показывает Гусаров, поставив нас возле стереотрубы.— Отрегулируйте окуляры по глазам. Так. Ну вот, что там?

Мы видим унылую, поросшую ракитником торфянистую равнину, закиданную первым снежком. Голые ветви ракит бьются на резком северо-восточном ветру. Меж кустами — серые бугорки; их много, они то растянуты цепочкой, то собраны в тесные группки. Это лежит и готовится к броску наша пехота. Немцы, оказывается, на этом участке сидят до крайности неудобно для наших частей — на левом, «нашем», берегу Тосны. Их решено выбить за реку, чтобы лишить опасного для нас плацдарма.

— А теперь смотрите дальше,— говорит Гусаров, меняя установку стереотрубы.— Там наши цели.

Мы видим три красных кирпичных дома, поставленных в ряд, в одну линию, на том берегу Тосны. В домах — пулеметные гнезда немцев, а в одном из них такой же, как у Гусарова, наблюдательный пункт со своими ко-

мандирами и корректировщиками огня. В эти минуты, когда мы вот так, пристально, следим за немцами, они тоже, наверно, не спускают с нас взгляда, с нашего искореженного снарядами здания и того жидкого ракитника, в котором перед броском в атаку зябнет не очень-то многочисленная наша пехота. Прежде чем поднимутся цепи, средний кирпичный дом с оборудованным в нем НП должен быть уничтожен, иначе немцы скосят пехоту свирепым, точно направленным артиллерийско-минометным огнем.

Отдаются обычные в таких случаях команды, телефонист кричит: «Выстрел!» — через короткие мгновения доносится глухой далекий раскат. Теперь — внимание! Несколько секунд тянутся как добрые полчаса. Наконец перед тем средним кирпичным домом взлетает столб черного дыма. Надо бы левее.

— Выстрел! — снова кричит телефонист.

Черный столб вскидывается теперь слева и несколько позади дома. Командуются дальнейшие поправки.

И вдруг ухо ловит характерный, давно нам знакомый, резкий, нарастающий свист. Секунда, другая — два немецких снаряда разом взрываются метрах в ста от нас. Немцы уже лупят по нашему наблюдательному пункту. Не скажу, что это весело — сидеть на верхотуре, когда прямо в тебя целятся из шестидюймовок; тут только отдайся чувствам, как быстроногой серной помчишься вниз по искореженным лестницам в железобетонные подвалы, к интендантам. Чувства в таких случаях, когда говорят пушки, должны вместе с музами помалкивать. Слово здесь предоставляется лишь сознанию долга, необходимости. И мы все — артиллерийские командиры и корреспонденты ленинградской газеты — стоим как ни в чем не бывало у неплотно, небрежно заколоченного досками окна.

А тем временем снова свист и снова удар, уже совсем рядом.

Это дуэль. Противники отлично видят друг друга. Теперь — кто кого. Хладнокровие, прочность нервов, точность расчетов, быстрота — все брошено на чаши весов пушечного поединка.

— Выстрел!

Облако красной пыли окутало средний дом. Все, кто есть на НП, в том числе, конечно, и мы, не можем, да и

не пытаемся сдерживать радость. Мы с Михалевым еще и вопим во весь голос:

— Прямое попадание!

Никто не усмехнулся, нас великодушно прощают.

Еще выстрел — и снова кирпичное облако над домом за Тосной, еще одна черная дыра в стене.

До чего же радостное чувство — видеть точные удары по врагу, видеть сокрушение врага!

Безудержные гуманисты могут сказать тут: ну и каннибал же ты, братец, радуешься смерти людей. Но я же не смерти радуюсь, я радуюсь тому, что в результате этих ударов не станут пухнуть и умирать на улицах ленинградцы. Я радуюсь их жизни. А другого средства сохранить их жизнь, чем смерть врага, сегодня пока нет.

Мы видим, как немцы, выскакивая во двор и втягивая головы в воротники, перебегают от дома к дому. Их темные в полусумраке октябрьского дня фигурки мечутся, ища спасения. Снаряды ложатся среди них один за другим, точно по цели. Они разбивают крышу, откалывают куски стен. Перед нами зрелище, которое порадовало бы любого ленинградца.

Над ракитником взлетают красные ракеты, наши пехотинцы подымаются, бегут кустами к берегу Тосны. Мы слышим далекое, слабое «ура». Оно гаснет в шквальном стрекоте автоматов и пулеметов.

Радость, вызванная точной работой артиллерии, постепенно проходит. Под ливневым пулевым огнем пехотинцы снова ложатся кто где; к огню стрелкового оружия немцы добавляют уже и минометный, поле атаки кипит огненными всплесками.

Пехотинцы отходят, отползают назад. Но немало их остается на месте, и мы понимаем, почему. Несколько позже, когда закончится короткий осенний день, туда поползут санитары. А сейчас на наших глазах произошло то, что в военных корреспонденциях обычно называется словами «атака захлебнулась».

Это не первая атака, которая вот так захлебывается на наших глазах, и все равно каждый раз это заново горько.

Когда старший артиллерийский начальник идет к лестнице, чтобы возвратиться в штаб армии, мы просим подполковника Гусарова рассказать нам о том, ради чего мы прибыли сегодня в его полк,— о борьбе с немецкими дальнобойными батареями.

— Можно, это можно! — Подполковник оживляется. Его тоже угнетает то, что произошло на торфянике, и он рад возможности отвлечься от тяжелых раздумий.

В нижнем этаже мы находим помещение, где топится печурка, рассаживаемся вокруг нее на ящиках из-под чего-то, и Гусаров рассказывает.

Уже в первые сентябрьские дни, когда на улицах Ленинграда стали рваться первые немецкие снаряды, командиры Краснознаменной гусаровской части часами просиживали у приборов инструментальной разведки, подстерегая звуки далеких выстрелов чужих пушек. Подстерегать их было отнюдь не легко. Как и под Варшавой, немцы прибегли под Ленинградом к своему излюбленному приему — боем ближних к фронту батарей заглушать выстрелы дальнобойных орудий. Бумажная лента, которую наши артиллеристы снимали с прибора, автоматически засекающего звук, была испещрена сетью извилистых линий, сплетавшихся так, что почти невозможно было решить, какая же из них — след разыскиваемой батареи.

Но командиры знали, что, как ни искусно организуют немцы свой «аккомпанемент», момент несовпадения рано или поздно наступит. И они уловили в конце концов несколько моментов, когда в паузах работы ближних батарей вдруг раздавался далекий выстрел, в воздухе шел снаряд, а разрыва не было слышно. Так они определили направление стрельбы. Специальная разведка затем уточнила и местонахождение батареи в районе Поповки.

Пошли в ход другие приборы. Сделали поправки на метеорологию и точку, отмеченную на карте красным карандашом, накрыли тремя огневыми налетами.

С этого участка фронта, где несет свою службу полк Гусарова, немцы по Ленинграду пока больше не стреляют. Зато они упорно бьют по наблюдательным пунктам части, настойчиво охотятся за ее батареями. Но без успеха: за все время войны у Гусарова не было ни одного подбитого или подавленного орудия.

— Почему? — спрашиваем мы.

Командир рассказывает и об этом.

Он понимает свою роль шире, чем понимают ее многие из иных артиллеристов. Дело, считает он, не только в том, чтобы по заявке пехоты положить определенное число снарядов по заданной цели. Нет, артиллерист должен решать тактическую задачу совместно с пехотой.

Он обязан следить за ходом боя и, угадывая его кризисные минуты, давать пехоте поддерживающий огонь.

Для всего этого надобна связь — постоянная, безотказная, не только внутри части, но и связь с ней, с матушкой пехотой. Артиллеристы Гусарова, никого не дожидаясь, сами тянут линию к соседям, используя запасенный вовремя трофейный немецкий кабель.

Подполковник Гусаров — противник шаблона. Он против постоянных дистанций в расстановке орудий и против единообразия в боевом порядке. В таком-то случае он ставит пушки в линию, в другом — веерообразно, в третьем — в шахматном порядке; и если противник засечет батарею и примется обстреливать ее по площади, вероятность попадания значительно меньше обычной.

Наконец, Гусаров не чужд и военной хитрости. Он считает, что ею никогда нельзя пренебрегать. В части применяют и «кочующие» и ложные орудия, обманывая так воздушных разведчиков. Когда, попав на одну из этих удочек, немцы открывают огонь по фальшивым целям, наши артиллеристы засекают их и потом давят массированным огнем своих длинноствольных пушек.

Подполковник Гусаров рассказывает о сети наблюдательных пунктов, об инструментальной разведке, о многих иных вещах, которые все, взятые вместе, и составляют его творческий метод артиллериста. Это самое главное, что воспитывается, культивируется в его полку. А боевые успехи — уже следствие всего, результат.

Спиртстрой мы покидаем в потемках. Перед глазами все еще и удары тяжелых снарядов, и стены кирпичных домов за рекой, среди которых мечутся в панике немцы, и рядом с тем — застывшие навсегда в ракитнике серые комочки наших бойцов. Две неизменные стороны вот уже четыре месяца непрерывно идущих боев: с одной стороны — победное, радостное, с другой — то горькое, чем оплачиваются победы. Но хорошо, если бы вместе с потерями непременно достигались и победы. Когда же есть только потери, а до побед никак не дойти, тогда как? Ждать, терпеть, накапливать силы?

В эти дни «боев местного значения» много думается о военном искусстве. Давно прошло увлечение Клаузевицем. Ни о том, что испытывают наши армии под Ленинградом, ни вообще ни о чем, что происходит сегодня в современном мире, Клаузевиц нам рассказать не может. Довоенные полководческие книги если не совсем, то во

многом устарели, одни больше, другие меньше, но устарели. Новая война принесла и несет новые проблемы, новые задачи, новый опыт, и пора бы уже разрабатывать новые уставы, новые правила и рекомендации командирам и бойцам.

Атаке, которая захлебнулась на наших глазах несколько часов назад, не хватало чего-то очень важного. Но чего? Мы знаем отвагу наших бойцов, командиров, политруков, этого им ни у кого не занимать. Отвага, следовательно, есть. Но, тоже следовательно, одной отваги для выполнения боевой задачи недостаточно.

Обдумывая события дня, приходим к выводу, что не хватило сегодня одного-единственного: не более не менее — снарядов. Батареи подполковника Гусарова отлично поражали цели за рекой. Но они не смогли накрыть необходимым мощным огнем траншеи противника, разбить, подавить немецкие пулеметы, перемешать с землей живую силу возле тех пулеметов, в тех траншеях. Снаряды нужны были не считанными десятками, а сотнями, многими сотнями и даже тысячами. Снарядов же в заблокированном Ленинграде столько нет. И вот перед нами заколдованный круг: чтобы вырваться из кольца, надобны в изобилии, в огромном изобилии боеприпасы, а чтобы получить их, необходимо прорвать это кольцо и отнять у врага дорогу в страну.

Уже в довольно поздний час этого дня мы оказались в землянке другого артиллерийского командира — моего тезки майора Всеволода Лаптева, который за отличные действия в боях зимы 1939/40 года получил звание Героя Советского Союза. В полку Николая Алексеевича Гусарова он возглавлял штаб, был его начальником.

В землянке, спрятавшейся в склоне оврага близ Усть-Ижоры, было тепло и светло. Майор сидел за столом, веселый, праздничный. Вокруг, на табуретках, на скамьях, расположились его гости. Майор, как тотчас выяснилось, праздновал день рождения.

— Побывал вот за Невой, на огневых позициях,— сказал он нам.— И по традиции самолично выстрелил из пушки, в расчете которой начинал свою военную службу. Пальнул, понятно, по врагу, по тем целям, стрельбу по которым вы сегодня видели. Присаживайтесь, дорогие

друзья корреспонденты, гостями будете. А ну-ка, по штрафной обоим!

Сидим, закусываем водку шпротами, слушаем веселый, разноголосый шум подгулявшей компании, и снова думается о контрастах войны. Там, на снегу в кустарнике перед Спиртстроем, кто-то, может быть, все еще дожидается санитаров, а здесь, в нескольких километрах от тех кустов, именинное пиршество. А вместе из всего этого, как из пестрой смальты, складывается многоцветная, казалось бы, ничем меж отдельными штрихами и мазками не связанная и вместе с тем прочно скомпонованная воедино общим своим напряжением суровая картина войны. Может быть, уже завтра те, кто сегодня сидит здесь, за дощатым, самодельным столом, тоже будут лежать там, на прошитом пулями торфянике...

Майор Лаптев как бы угадал наши мысли.

— В основном-то мы воюем, товарищи корреспонденты. Посидеть вот так с друзьями удается редко. Впервые, пожалуй, за четыре месяца собрались все за одним столом. Воюем, бывает, и иначе, чем вы увидели сегодня за Спиртстроем. Случается, как говорят кавалеристы, и в пешем строю ведем бой. Снарядиков, снарядиков не хватает. Хотя, как мы слышали, рабочий класс Ленинграда выпускает их немало, в таких-то чертовских условиях. Было у нас недавно дело... Это я насчет пешей войны... Понадобилось набрать добровольцев в ударную группу для атаки на известное вам Усть-Тосно. Задача нелегкая. Вы же знаете, как немцы насыщают огнем свою оборону. Мы от бойцов ничего этого не скрыли. «Идете,— говорим,— на смерть, товарищи». И что же? Выстроили одно отделение. «Кто?» Поднялись все руки. Выстроили второе — опять все руки. Третье... Словом, добровольцев назвалось раз в десять больше, чем было надо. Пришлось просто отбирать, называя фамилии.

Мы вспомнили рассказ бойца в землянке под Усть-Тосно о том, как он «заимел зуб» на своего политрука, товарища Виноградова, за то, что тот не пустил его, беспартийного, вместе с коммунистами в группу для штурма дзота. Мы рассказали об этом командирам за столом.

— Ну вот, везде так,— сказал Лаптев.— Но вы согласны, что такие случаи переоценить трудно? Они яркие свидетельства патриотических чувств наших бойцов, их боевого порыва. Каждый из них знает, что речь идет о

прорыве вражьего кольца вокруг Ленинграда, о миллионах людей, которых немцы хотят заморить голодом и запугать обстрелами и бомбежками. Вы можете нам сказать: это не дело артиллеристов — бить немцев штыками. На то, дескать, вы и артиллеристы, чтобы громить их из пушек. Мы ответим: дело каждого из нас — бить врага любым оружием, каким бьется. А что касается пушек, то и из них наши ребята стреляют неплохо. Наши пушки тяжелые, крупные. И работа с их помощью проделывается крупная. Кое-что вы увидели сами сегодня, да командир полка вам, надо полагать, рассказывал.

Лаптев говорит с увлечением:

— Некоторые из наших бойцов и командиров уже имеют в своем активе стрельбу прямой наводкой из тяжелых орудий. На днях перед нами была поставлена задача — выдвинуть одно орудие поближе к противнику и бить по видимым целям, по огневым точкам. Мы установили орудие на берегу Тосны, за которой, как вы знаете, сидят немцы. Расстояние до них — ну не больше пятисот метров. Командовал орудием командир взвода Никитин. Вкопанное в землю, насколько это только возможно, орудие Никитина проработало там не час и не два, а целых четверо суток. За это время в Ивановской было разбито и сожжено его снарядами с десяток домов и разрушены два дзота.

Кто-то из командиров вставил:

— Стрельба прямой наводкой — дело не простое. Она требует большой отваги, находчивости, воли. Это же схватка в открытую, один на один.

— Точно,— подтвердил Лаптев.— На четвертые сутки немцы засекли орудие и устроили на него огневой налет с закрытых позиций. Но орудие не умолкло. Тогда и немцы стали бить по нему прямой наводкой. Окончилась эта дуэль, однако, в пользу Никитина. Замолчала все-таки не его пушка, а немецкая.

Лаптев, как и Гусаров, рассказывает о накопленном артиллеристами опыте, о том, что нового внесла война в их боевую работу. Артиллеристы этой части справляются сейчас с чрезвычайно сложными задачами, притом в очень короткие, никакими уставами не предусмотренные сроки. Перестановка тяжелых орудий, расширение радиуса обстрела производятся буквально в несколько десятков минут. Возможно, это потому, что в орудийном ровике уже подготовлены места для разворота вправо

и влево, о чем артиллеристы заботятся заранее. Они уже давно поняли, что война требует смекалки и находчивости, умения предусмотреть каждую мелочь.

Когда мы собрались уходить, Лаптев попросил:

— Дайте кто-нибудь блокнот, черкану пару слов ленинградцам.

Я следил за его рукой. Именинник торопливо писал:

«Товарищи ленинградцы! Посылая сегодня во вражеский стан свои тяжелые снаряды, мы, артиллеристы, вспоминаем вас, делающих их. Знаем, что для этого вы не спите ночей, не знаете отдыха, переносите бомбежки и обстрел города. Мы помним об этом и не допускаем ни одного напрасного выстрела. Вы делаете отличные снаряды — все до единого они рвутся, сокрушая цели. За это вам спасибо.

Давайте побольше вашей продукции. А мы обещаем использовать ее так, что под ударами выкованной вами стали лопнет огневое кольцо вокруг города Ленина и вшивые гансы найдут себе могилу на болотистой невской равнине».

Мы рассказали Лаптеву о том, что увидели в этот день в районе Спиртстроя, о том, как успешно действовали орудия их 24-го полка, хотя и с малым числом снарядов, и как все же захлебнулась наша атака.

— Не знаю, — сказал он, хмурясь, — но что-то тут не того. По-моему, надо поднакопить побольше сил и боеприпасов и только тогда наступать. Но, товарищи дорогие, над нами командование, и ему виднее. Не берусь рассуждать в масштабах не только всего фронта, а даже и нашей Пятьдесят пятой армии, во главе с генералом товарищем Лазаревым *.

---

* Рассказ о действиях артиллеристов подполковника Николая Алексеевича Гусарова после опубликования в журнале «Октябрь» был в декабре 1964 года перепечатан газетой «Кузбасс». Главе этой дали название: «О нашем генерале». Прочитав вводку, я понял почему. В вводке было сказано:

«Уже добрый десяток лет на Кемеровском руднике живет человек, которого называют здесь не иначе как «наш генерал». Это Николай Алексеевич Гусаров. И пожалуй, за все годы не было на руднике ни одного собрания молодежи, где бы не прозвучала пламенная речь этого старого комсомольца, ставшего генералом Советской Армии».

Дальше говорилось, что генерал «человек скромный и о себе говорит мало». Вот почему газета решила опубликовать рассказ об одном из эпизодов его боевой работы на Ленинградском фронте.

«Командованию видней»... Мы призадумались над этими словами.

Нами немало написано в нашу газету, и почти все написанное напечатано. Но о чем оно? О том, как воюют наши бойцы, наши лейтенанты, капитаны, майоры, полковники. А командование-то — это кто? Это уже которые повыше званиями — генералы и маршалы. Это им, значит, генералам и маршалам, «все виднее», и только они смогут по-настоящему объяснить нам причину неудач на берегах злосчастной речки Тосны.

Мы зашли в оперативный отдел штаба армии, к уже знакомому нам полковнику Черпаченко, в ту минуту, когда один из работников отдела кричал в телефонную трубку:

— «Хозяин» приказал любой ценой взять Путролово. Сказал: если, мол, что — пусть Бондарев идет сам.

Мы поинтересовались, в чем дело, куда такой отважный командир дивизии, как Андрей Леонтьевич Бондарев, должен идти сам.

— В бой, в атаку,— со злостью, неведомо к кому обращенной, ответил нам Черпаченко.— Не удержал Путролово своевременно. Вот пусть и берет его снова.

— Но почему сам? Ведь еще Чапаев говорил, что...

— Чапаев, Чапаев... — Полковник плюнул на пол. Это был вполне интеллигентный военный, и нас до крайности удивил его плевок.

Он, наверно, понял это и объяснил:

— Вы же знаете, конечно, что сейчас мы проводим довольно широкую наступательную операцию, ближайшей целью которой является захват Красного Бора, Иванов-

---

А несколькими днями позже пришло письмо от бывшего майора Лаптева. «Вскоре после посещения вами нашего полка Гусаров ушел работать в штаб артиллерии Лен. фронта, а полком стал командовать я»,— написал Лаптев. Письмо его большое, очень интересное. Автор командовал полком около двух лет (потом стал командовать артиллерийским соединением). В начале 1942 года полк был переброшен на Волховский фронт и в январе 1943 года участвовал в прорыве блокады.

Публикуя «Записи военных лет» в «Октябре», я обращался к читателям — участникам и свидетелям обороны Ленинграда с просьбой сообщать мне о всех замеченных промахах, ошибках, неточностях. В. К. Лаптев на это ответил: «Кое-какие неточности есть. Промахов и тем более ошибок не усмотрел».

ской и других расположенных там населенных пунктов, а затем и прорыв на Мгу. Дорога же нужна, дорога! А ни черта не получается. Нет у нас дороги. Сто двадцать пятая и Двести шестьдесят восьмая немножко продвинулись, но об этом продвижении совестно говорить, имея в виду число потерь, ту цену, какой оно оплачено. До двух третей мы потеряли в этих дивизиях убитыми и ранеными.

Вновь передо мной встала обсыпанная первым снежком торфянистая равнина меж Спиртстроем и берегом Тосны и застывшие на ней среди ракитника серые недвижные комочки. А полковник нервно продолжал:

— Ну и вот, командиры, большие командиры сами идут в бой, как рядовые. В ночь с первого на второе октября в передовых цепях наступающего Второго полка Восемьдесят шестой дивизии были не только комиссар полка, но комиссар и командир дивизии. А зачем?

— А зачем это было приказано сейчас и полковнику Бондареву?

— Вы же слышали — «хозяин» приказал.

Из понятной деликатности мы не стали расспрашивать, кто этот свирепый «хозяин» — командующий ли армией генерал Лазарев, командующий ли фронтом. А у полковника, видимо, накипело на душе, наконец-то он дорвался до аудитории, то есть до нас, людей невоенных, с которыми можно отбросить все условности, все требования субординации и почитания чинов. Он говорил два с лишним часа, отрываясь только для того, чтобы хлебнуть густого чая из белой эмалированной кружки, в которую ему все время подливал из чайника сержант-телефонист.

«Да, верно, верно,— думалось в эти часы,— командованию многое видней, чем кому-либо другому».

Полковник говорил о неукомплектованности частей, о нехватке горячей пищи в передних траншеях, нехватке боеприпасов, о том, что в ротах нет командиров — они гибнут в атаках, и некому их заменить. И блокноты и головы наши вспухали от обилия материала, к какому мы до сего времени по-настоящему еще не прикасались.

Из штаба армии мы, взволнованные, двинулись в штабы дивизий и полков. Полковника Бондарева удалось найти на втором этаже административного здания недостроенного завода Ленметаллургстрой. Комдив не был так

бодр, как когда-то в Слуцке, в дни успехов его дивизии. Но и на этот раз он встретил нас радушно.

— Живы, хлопцы? Сидайте, побалакаем, по чарке выпьем.

Мы сказали ему, что присутствовали при том разговоре, во время которого было приказано: «Пусть Бондарев идет сам».

Он усмехнулся.

— А это проще всего — идти самому. Пойдет Бондарев, ляжет там в мать сыру землицу, и все заботы долой. Но Бондарев не порадует врага этим. Бондарев еще будет бить и бить гитлеровского бандюгу.

— А Путролово?

— А что Путролово? У меня в ротах по пятнадцать бойцов. Какое к черту Путролово! Сил накопить надо, новых людей делу обучить, подтянуть артиллерию. Пузом теперь не воюют.— Он тоже дорвался до умеющей слушать аудитории.

Мне вновь вспоминались мои размышления о военном деле: что оно — наука или искусство? Если искусство, как установил я для себя недавно, то вот же и там, в районе Ново-Лисино, и здесь, под деревней Путролово, дивизией руководил и руководит один и тот же человек; но там он одерживал победы, а тут бьется лбом в железную стену немецкой обороны. Мастерство, талант почему-то не помогают ему. Он сидит и называет цифры, цифры, цифры — людей, стволов, снарядов, патронов. Без таких-то чисел, без таких-то количеств, без таких-то факторов взять Путролово, оказывается, невозможно. Значит, военное дело — это наука? Ну, а как же тогда вся история с Александром Невским, с его победой над ярлом Биргером? Вполне возможно, что за долгие сотни лет многое в летописях претерпело изменения. Мы и сегодня, по свежим, горячим следам событий, пишем далеко не всю правду в газетах, стараемся показывать преимущественно одну сторону войны — сторону успехов, вторую же сторону из наших корреспонденций скрупулезно вырубают в редакциях, а за сотни-то лет чего только не натворили люди в старых книгах. Если князя Александра Ярославича понадобилось произвести в святые, то, господи боже мой, сколько нашлось добровольцев сделать это: и подчистили, где надо, и вписали, где недоставало. Недаром один старый ленинградский ученый, когда с год назад я приходил к нему по заданию газеты, сказал мне: «За долгие-долгие

годы я убедился в том, что истории, как науки, молодой человек, нет. История — это видимость науки. Есть политика, и к ней имущие власть во все века подгоняли и подгоняют факты прошлого».— «Извините, а как же древние книги, рукописи, свитки, папирусы?» — «И в них бездна подчисток, поправок, изъятий, приписок».

Для того чтобы прояснить какой-нибудь трудный вопрос, ученые любят преувеличивать, или, говоря их же языком, гиперболизировать. Старичок тоже, конечно, в этом случае излишне обобщил свои мысли о том, как пишется история. Но известные зерна истины в его рассуждениях, видимо, были. Знаем же мы случаи, когда подлинная правда о том или ином событии, о том или ином историческом лице выходит на свет божий, бывает, лишь через сотни и сотни лет, с помощью затерянного в свое время, спрятанного, неуничтоженного документа, письма, строчки из дневника, простой записочки.

Я смотрел на Бондарева, слушал его и все думал о Невской битве, разразившейся в этих местах века назад. Уж, конечно же, не с помощью бога Александр Невский бил шведов; наверняка умный, талантливый полководец собрал достаточное по численности войско, отлично вооружил его и подготовил. Без таких подготовок побед не бывает и быть не может. Приспосабливальщики истории к нуждам своих владык это прекрасно понимали. Но им надобно было чудо. А какое получится чудо, если сказать правду — сказать, что и войск у Александра было сколько надо, и мечей и копий вполне хватало? Зачем тогда старшине земли Ижорской Пельгусию, во крещении Филиппу, пришло бы видение в утро исторической битвы: Борис и Глеб в пурпурных одеждах, святые заступники народа русского, на лодке выплывшие из голубого предрассветного марева?

И не с их помощью разгромил врага новгородец Александр — это тоже ясно, и было бы бесценнейшим приобретением и для истории и для военной науки, если бы не летописцы-церковники, а люди объективные, вместе с Александром руководившие войском, оставили свои свидетельства о битве на Неве при устье Ижоры. Мы бы узнали много волнующего, узнали бы правду, не приспособленную к нуждам служителей господа бога. Эта правда была бы, несомненно, земнее и суровей, как всякая правда о войне. Не 20 человек потерял, надо думать, Александр в нелегком бою — побольше. С уходом веков

мало-помалу отваливались нолики от внушительной цифры потерь, и сотни убитых превращались в десятки. Даже в наши дни сводки Совинформбюро избегают называть полные цифры наших потерь. Мы это все время видим на примере изнурительных боев на реке Тосне.

Нет, военное дело все-таки, пожалуй, наука. Но наука не для тупиц, не для середняков, а для людей искусных, талантливых, не скованных шаблоном, людей без застывших мертвых форм во всем, что они делают, за что берутся. А точнее говоря, это сложный синтез науки с искусством. Вот почему суворовскую «науку побеждать» с полным правом можно назвать и «искусством победы»; мудрые же разговоры Леонардо да Винчи об искусстве живописи, напротив, вполне можно именовать «наукой живописцев».

Много где побывали мы в последние дни, носясь на своем «козлике» по фронту армии, все пытаясь разобраться в сложных и трудных вопросах необходимого и допустимого в деле вождения войск. В одной из частей нам назвали батальон, который только что вышел из очередного безуспешного боя. Во что бы то ни стало нам надо было встретиться, поговорить с комбатом, с командирами рот, политруками. В штабе полка, в который входил этот батальон, долго мялись и не называли, где батальон расквартирован. Наконец кто-то прямо сказал:

— Не стоит, товарищи корреспонденты, туда и ездить. Во-первых, народ смертельно измучен. А во-вторых, их всего-то осталось семеро: командир одной из рот — лейтенант, старший сержант из взвода другой роты и пятеро бойцов.

Холодок прошел по коже от этих слов. Мы повидали достаточно ран, крови, смертей. Но так вот, чтобы от целого батальона, из множества людей после одного боя остались в строю семеро?.. Нет, такого еще не было. Тем более следовало повидать этих чудом оставшихся в живых. Мы разузнали расположение места отдыха остатков батальона и ранним утром прибыли в барачный городок среди снежного поля между Усть-Ижорой и Ленметаллургстроем.

В городке шла суета. Бойцы и пожарники из Усть-Ижоры растаскивали обгорелые, дымящиеся бревна одного из бараков. Возле пожарища стояли несколько командиров, в том числе седой майор из особого отдела армии.

Мы спросили у него о батальоне, который разыскиваем, не знает ли он случайно адрес.

— А вот он, весь батальон,— ответил майор хмуро и указал рукавицей на пожарище.— Все семеро тут, среди головешек. Выпили граммов по сто, растопили печку да улеглись, до смерти усталые, и вот спят теперь гробовым сном.

— Уголек, поди, выпал или головня. Не услышали,— пояснил пожарный начальник.

Мы сняли шапки-ушанки, постояли на ледяном ветру, отворачиваясь от едкого дыма, и приняли решение: обо всем услышанном в последние дни, обо всем увиденном написать непременно. Но куда? Как люди в шинелях и понимающие, что такое дисциплина и субординация на войне, решили написать своему редактору с просьбой довести наши соображения до соответствующих партийных органов Ленинграда и Ленинградского фронта. Когда-то мы давали себе слово больше не встречаться и ни о чем не разговаривать с нашим редактором. Надо бы слово держать. Но тут дело такое, что, пожалуй, большей бедой будет, если мы его сдержим *.

Ответственному редактору
«Ленинградской правды»
тов. ЗОЛОТУХИНУ

Докладная записка

Считаем своим долгом информировать Вас о ряде фактов, касающихся 55-й армии, к которой мы прикомандированы.

С 1 октября, по приказу фронта, 55-я армия начала наступление. Говорят, что план его разрабатывался много дней. Однако на осуществление этого плана было отве-

---

* Мне думалось, что эта «Записка» где-нибудь затерялась, и затерялась так основательно, что найти ее уже нет никаких возможностей. Но М. Д. Михалев недавно отыскал в своих старых бумагах ее черновик. Может быть, в беловике, переданном нами редактору, и были какие-то поправки, но если и были, то очень незначительные, поэтому решаюсь нашу «Записку», точнее — ее черновик, включить в рукопись почти полностью. Она явилась тогда как свод высказываний и раздумий многих боевых командиров частей и соединений 55-й армии, как результат наших откровенных бесед с ними. Это, по сути дела, плод творчества большого коллектива командиров и бойцов.

дено столь ничтожное время, что всякая подготовка к операции почти исключалась.

Пока в штабе фронта разрабатывались планы наступления, немцы усиленно окапывались и укреплялись на занятых ими рубежах. Они пристреляли все подступы к своим позициям. Отсутствие леса, равнинный характер местности облегчали их задачу.

Первый день наступления принес нам большие потери и никакого успеха. 2 октября дивизии снова получили приказ: «Подтвердить поставленную задачу». 3 октября последовал еще один приказ, где указывалось направление движения, взаимодействие, роль артиллерии и авиации. Одним словом, недостатка в приказах не было.

Вот уже сколько дней, как продолжается это наступление, и вот его итог: мы потеряли две трети людского состава 125-й и 268-й дивизий, а продвинулись вперед так незначительно, что об этом не стоит и говорить. Никаких стратегических и тактических преимуществ нам это продвижение не дало.

Надо немедленно приостановить это наступление, превратившееся, по существу, в бесцельное и бессмысленное уничтожение наших людей. Надо дать им возможность закрепиться на существующих рубежах, хоть немного отдохнуть, поесть нормально, отоспаться, привести себя в порядок. Иначе будет очень трудно выдержать новый натиск немцев.

Последнее время среди командного состава наблюдается усиленное брожение умов. Люди пытаются разобраться в причинах наших неудач. Артиллеристы и летчики ругают при этом пехоту — виновата она, почему она не идет? Пехотинцы обвиняют танкистов, а чаще — соседнюю дивизию, соседний полк — они, мол, нас подводят, мы идем вперед, а они нет.

Некоторые пытаются дать, так сказать, исторический анализ происходящего. Они говорят о неправильном воспитании наших людей, о самодовольстве и бахвальстве, имевших место в армии, об отсутствии у нас настоящей пехоты и слабости штабов. В их словах много правильного, но мало практически ценного. Что толку в исторических экскурсах? Сейчас надо воевать с теми людьми, какие есть. Поэтому целесообразнее всего прислушаться к голосу тех, кто ставит конкретные вопросы, говорит о конкретных недостатках, устранить которые в нашей власти. Вот эти основные вопросы:

1. Прежде всего — о командовании. Так, в большинстве рот 86-й дивизии отсутствуют командиры отделений, а следовательно, и сами отделения. Во многих ротах нет даже командиров взводов. Убили командира роты, политрука — и рота превращается в толпу неорганизованных людей, которые не знают своей задачи, не знают, что им делать. Более смелые двигаются вперед и гибнут под вражеским огнем, другие рассыпаются в стороны, отползают назад.

Нужно поставить вопрос об обязательном восстановлении в каждой роте отделений как основной боевой единицы первичной ячейки организации армии.

2. О питании бойцов. Отсутствие леса не позволяет доставлять пищу на передовые позиции днем. Но и ночью это не налажено. В той же 86-й дивизии почти нет ни термосов, ни бидонов — никакой тары, чтобы носить пищу от кухни к окопам. И бойцы, взяв по нескольку котелков, сами ходят за обедом, оставляя свои позиции. По донесению уполномоченного особого отдела 1-го полка 86-й дивизии тов. Виноградова, были случаи, когда за обедом уходило с передовых позиций до сорока процентов всех бойцов. Мы сами были свидетелями подобного случая во 2-м полку этой дивизии в один из первых дней наступления. Командир батальона приказывает продвинуть минометы вперед. Но тут выясняется, что этого сделать нельзя, что минометчики не могут сейчас поддержать своим огнем пехоту, так как больше половины их ушло за обедом.

Надо заставить несколько предприятий в срочном порядке изготовить бидоны и тому подобную тару для доставки пищи на передовые позиции. Надо использовать огромное количество уже готовой тары, лежащей без всякой пользы на складах всяких молочных, заготовительных и т. п. организаций.

3. О роли политотделов. В политотделе армии, в политотделах дивизий множество столов. За каждым — человек со знаками различия не ниже старшего политрука. И все что-то пишут, пишут, непрерывно пишут...

Нужно покончить с этим канцеляризмом, заставить политаппарат заняться живым делом — прежде всего бытом бойцов. Той же доставкой горячей пищи. Борьбой со вшивостью. Ведь многие бойцы по месяцу и больше не были в бане. Обстоятельства не позволяют отводить части

на отдых — надо организовать санобработку людей. Все эти вопросы — кровное дело политруков.

4. О разведке. Стоит почитать разведсводки дивизий, чтобы убедиться в отсутствии у нас настоящей разведки. «Противник в течение ночи вел методический огонь по нашим частям из всех видов оружия» — вот стереотипная фраза, которой ежедневно отписываются дивизии. Материалы особого отдела 86-й дивизии показывают, что командование просто недооценивает значение разведки. Вначале здесь пытались скомплектовать разведроту из уголовников, осужденных в самое последнее время военным трибуналом и посланных вместо тюрьмы на фронт. Когда особый отдел воспротивился этому и сам занялся укомплектованием разведроты, командование систематически стало использовать ее как обычное стрелковое подразделение, наравне с другими посылая ее в бой. В результате люди зря гибнут под вражеским огнем, а рота пополняется кем попало.

Очевидно, необходим приказ, строжайше запрещающий использовать разведчиков не по прямому назначению. Нужно специально заняться подбором кадров для руководства разведывательной работой. Известно, что немцы уделяют организации разведки огромное внимание, и это полностью себя оправдывает.

5. Последнее время, видимо остро переживая свои неудачи, крупные военачальники и политработники доходят до того, что сами идут в бой. В ночь с 1 на 2 октября в передовых цепях наступающих бойцов 2-го полка 86-й дивизии был не только комиссар полка, но комиссар и командир дивизии. Этот бесцельный и неумный риск, не имеющий ничего общего с подлинным героизмом, к сожалению, поощряется командованием 55-й армии. Мы были свидетелями, как работник оперативного отдела передавал приказ командиру 168-й дивизии тов. Бондареву: «Хозяин» приказал любой ценой взять Путролово. Сказал: если что — пусть Бондарев идет сам». *Считаем необходимым категорически запретить впредь подобные эксперименты. Командир дивизии должен руководить боевой операцией всего соединения, а не превращаться в рядового стрелка.*

Просим Вас поставить все эти вопросы перед нашими партийными руководителями.

Коллектив редакции тоже должен сделать для себя выводы. Рассказывая о военных действиях, мы печатаем преимущественно «боевые эпизоды». Все они на один лад. В каждом «фашисты трусливо бегут» и дело кончается их разгромом. Полагаем, что большинство людей даже не читает эти материалы, а кто читает — не верит, хотя сами эти факты и не выдуманы. Ведь народ прежде всего смотрит сообщения Советского Информбюро. Он видит, каково положение на фронтах, и теряет уважение к нам из-за того, что мы не говорим ему всей правды.

Не убаюкивать нужно народ, а открыто и мужественно говорить ему правду, как бы тяжела они ни была. Надо прямо говорить, что артиллерии мало снарядов, которые она получает. Надо разобраться: если на артзаводах не хватает людей — провести специальную мобилизацию рабочих на эти заводы. Если дело за электроэнергией — еще более сократить часы трамвайного движения, но пустить эти заводы в три смены. Если не хватает металла — провести сбор металлолома, организовать сдачу населением всех бытовых металлических предметов, вплоть до самых необходимых. Ведь сейчас дальнобойная артиллерия, призванная подавлять вражеские батареи, сидит на голодной норме — четыре снаряда в сутки на орудие.

Надо помнить, что мы сейчас фронтовая, а не гражданская газета и что вопрос стоит о нашей жизни или смерти. А мы часто делаем секреты из таких вещей, которые отлично известны не только противнику, но всему населению.

Военные корреспонденты (подписи).

«Записка» подана редактору. На душе легче. Хоть в какой-то мере, но мы выполнили свой долг перед теми серыми комочками на черном снегу, которые мы видели на торфянике за Спиртстроем, перед теми семью, которые так и не проснулись, отойдя на отдых после боя, перед теми, кто зябнет без горячей пищи в траншеях, перед теми, кто «в случае чего, иди сам», у кого на орудие в сутки только четыре снаряда, — перед всеми, кто поведал нам свои думы, свои надежды. Будем ждать теперь результатов. Может быть, наши соображения и капля в море. Но ведь и море-то не из чего-либо — из капель состоит.

Немцы под Ленинградом остановлены около 25 сентября. На одних участках пораньше, на других днем-двумя позже, а если брать в среднем, то мы так и считаем: 25 сентября. Теперь началось их бешеное наступление на Москву. Из газет видно, какие ожесточенные бои идут сейчас на подступах к столице. Но газет нам, конечно, мало. Мы же отлично знаем, что газеты сообщают о событиях на фронтах выборочно, кое-что, и притом очень важное не договаривая. Те, от кого это зависит, объясняют такое положение тем, что, дескать, не следует сеять панику и уныние ни на фронте, ни в тылу. Может быть, это и верно. Хотя когда в Ленинграде с предельной правдивостью было объявлено в августе: «Над городом Ленина нависла смертельная угроза»,— никакой паники не возникло; напротив, новые тысячи людей пошли добровольно на фронт, на заводах и фабриках люди еще напряженнее работают на оборону.

Ежедневно, утром и вечером, читаем сообщения Советского Информбюро, стараемся вычитать, что можно, между строк, на вес золота ценим рассказы тех, кто через линию фронта прилетает в Ленинград с Большой земли, особенно из Москвы. Таких, правда, немного, и верить им трудно, их рассказы столь противоречивы, что о подобных источниках информации у нас говорят: «Агентство ОМС», то есть «Один Майор Сказал».

Но тем не менее, сопоставляя слухи, пришедшие по линии «ОМС», с вычитанными между строк в сводках Совинформбюро, мы в какой-то мере представляем себе масштабы развернувшейся битвы за Москву. Может быть, этим объясняются и наши непрерывные наступательные операции на реке Тосне? Стремлением отвлечь немецкие силы из-под Москвы или, во всяком случае, помешать немецкому командованию перебрасывать их туда из-под Ленинграда?

Не хочется верить в рассказы о паническом бегстве из Москвы всяких мелких и средних начальников, происшедшем несколько дней назад, 15—16 октября, о толпах паникеров, катившихся из столицы по шоссе на Горький, о заградительных рабочих отрядах, которые перехватывали драпунов, опрокидывали в канавы их автомобили. Трудно верится, потому что ничего подобного мы не знали у себя в Ленинграде.

В течение такого-то или в течение ночи на такое-то октября, читаем в газетах: «Наши войска вели бои с противником на Можайском, Малоярославецком, Волоколамском направлениях». Враг атакует Москву с запада и северо-запада. О том, что происходит у нас под Ленинградом, в центральных сводках говорится мало, а если и скажут иной раз, то скажут так: «Бои местного значения».

«Боевые эпизоды», которые извлекаются корреспондентами из этих боев местного значения, всем — и читателям и кто о них пишет — изрядно надоели. Мы с Михалевым (Еремин очень болен и теперь уже редко участвует в наших поездках по фронту) решили не тратить подорвавшиеся от голодухи силенки на такую газетную лапшу, а попытаться пообобщенней, покрупнее рассказать о защитниках Ленинграда. Тем более что «Записка» наша, как нам думается, требует подкрепления положительным примером, рассказом о таком соединении, о такой части, где борются с недостатками, о которых мы написали, и где их в упорном труде преодолевают.

На широкой пустынной равнине перед городом, на правом фланге 55-й армии, где проходит линия Витебской железной дороги, возле Пушкина оборону держит одна из стрелковых дивизий, побывавшая во многих боях.

Боевой ее политработник батальонный комиссар А. Е. Гронь горячо одобрил нашу идею собрать полосу о дивизии в обороне, поскольку мы уже писали о ее действиях в контрнаступательном бою, рассказать ленинградцам о тех, кто защищает их труд, их жизнь, их будущее.

В землянке, врытой в склон оврага недалеко от Колпинской дороги, батальонный комиссар Гронь вместе с одним из старших командиров дивизии Королевым рассказывали нам о том, что они хотели бы увидеть в обзорной статье за их подписями. То один из них, то другой отрывались к телефонам, к заходившим в землянку командирам, связным, нарочным. Тогда рассказ вел тот, кого в ту минуту не тревожили. Мы попеременно записывали в блокноты.

— Когда наша дивизия получила приказ остановить наступление врага и прочно занять оборону, — говорит, как бы раздумывая вслух, Гронь, — бойцы и командиры подхватили призыв: «Ни шагу назад! Превратим подступы к Ленинграду в могилу фашистов». И не отступили. Ни на шаг. Враг был остановлен в кровопролитных, жесточай-

ших боях. На Ижоре... — Гронь подымает глаза.— Ижора... Вы приезжали к нам в дивизию. Не забыли те дни?

— Где уж забыть! Помним.

— Мы выполнили тогда главную задачу — остановили немцев.

В разговор вступает Королев. Голос его размерен, хрипловат от простуды.

— Но это еще не все. На Ижоре под шквальным огнем врага мы начали свои оборонительные работы...

Мы слушаем Королева и мысленно представляем себе ту огромную работу, которую дивизия проделала за эти короткие военные месяцы.

Превратить ровное, открытое всем ветрам поле в неприступную, непроходимую преграду для врага — задача не из легких. Научить бойцов окапываться, вгрызаться в землю под вражеским обстрелом, научить их новой тактике боя, изменить всю систему ведения автоматического огня, создать сложнейшие инженерные препятствия...

— Вы говорите, что было мало времени, что было трудно. Не без этого, конечно. Но мы сделали это, потому что хотим не только остановить врага, но и разбить его, победить. — Королев достает папиросу, закуривает.

— На днях в одной корреспонденции я прочитал, что современная война — это война новейшей техники. — Глаза Гроня светятся усмешкой. — Ничего не скажешь, верно: техника — великое дело. Но воюют все-таки люди. А они измотались в боях. Надо было позаботиться об их отдыхе, понастроить надежных блиндажей. Немало пришлось поработать саперам. Зато теперь, сидя в блиндаже с бойцами, можно услышать такую окопную шутку: «Тише, дежурный идет! Проверяет, хорошо ли мы зарылись». «Дежурный» — это немецкий снаряд. Он проверяет прочность наших сооружений.

На сбитом из грубых досок столе лежит записная книжка Гроня — общая ученическая тетрадь в клеенчатом переплете. Гронь подает ее мне.

— Хотите взглянуть? Это не дневник, так — рабочие заметки.

Я листаю книжку и отмечаю: сколько интересных мыслей, наблюдений, находок. Здесь соображения и о новой тактике ведения артиллерийского огня, и о связи и взаимодействии артиллерии с пехотой, и об учебе нового, недавно пришедшего на фронт пополнения... Вот страничка, обведенная красным карандашом. На ней записаны

мысли об организации отделений, взводов, рот, о выдвижении отличившихся в боях красноармейцев на должности командиров отделений, о создании специальных групп разведки из лучших, проверенных, инициативных бойцов. И всюду, на всех страничках мысли о необходимости учебы в бою всех: и рядовых бойцов — минометчиков, снайперов, пулеметчиков, разведчиков — и командиров.

А вот заметка о политработниках. Я вчитываюсь в слова: «Политрук воспитывает в бойце ненависть к гитлеровцам, зовет его к мести за все зверства и злодеяния немцев». Следующая фраза подчеркнута: «Политрук говорит бойцам правду, только правду. Не скрывая, говорит о трудностях и лишениях, о кровопролитных боях, которые еще предстоят».

— Ну, вот вам, товарищи корреспонденты, и некоторые итоги. — Королев поднимается, привычным жестом одергивает гимнастерку. Он крепкий, подтянутый. — Судите сами, какая нашими ребятами проделана работа — большая или маленькая: «блицкриг» на нашем участке кончился, началась упорная и длительная война, инициатива теперь полностью в наших руках. Мы не даем спать немцам — тревожим их ночными вылазками. Стоит побыть в окопах одну ночь, чтобы убедиться в этом. Враг нервничает. Немцы понимают — не все же нам сидеть здесь. Да мы этого и не скрываем, придет час — наши цепи пойдут вперед.

Материала для статьи Королева и Гроня в задуманную нами полосу достаточно. Мы радуемся этой статье. Многое в ней совпадает с тем, что уже высказано нами в «Записке» на имя редактора. У Королева с Гронем тоже сказано о необходимости прежде накапливать силы, а не бросаться в бой, когда в ротах всего по 15 человек. Сказано у них и о роли отделений, взводов, о младших командирах, о правде, которую не надо скрывать от людей. Правда сильнее любой самой изощреннейшей лжи.

Итак, основа полосы есть. О чем же еще следует рассказать в ней читателям-ленинградцам? Мы решаем, что нам необходимы младшие командиры, те, кто сейчас организует оборону на своих участках. И саперы. Они обеспечивают инженерное обслуживание позиций.

О младших командирах охотно рассказали их начальники товарищи И. Варфоломеев и А. Карнаух. Мы записали этот объединенный рассказ:

«Когда молодой красноармеец Михаил Воробей пришел в часть, он убедительно просил назначить его в пулеметный расчет.

— Посмотрим, — сказал тогда командир уклончиво.

Через несколько дней началось наступление на город Н. В том бою новичок вел себя бесстрашно. С группой бойцов под шквальным огнем противника он ворвался в немецкий блиндаж, штыком и гранатой уничтожил троих фашистов, все время поддерживая товарищей.

Когда закончился бой и стали подсчитывать трофеи, Воробей положил на откос окопа пулемет, отбитый у врага.

— Вот теперь видно, что пулеметчик из вас получится, — сказал командир обрадованному бойцу.

Сейчас Воробей уже назначен начальником пулеметного расчета. Боец стал командиром. Его расчет является одним из лучших в части».

Из таких примеров, из рассказа о воспитании младших командиров состоит вся статья Варфоломеева и Карнауха. В ней сказано об отличившихся в боях красноармейцах Барышникове, Герасимове, Вокорине, которые стали теперь сержантами.

«Выдвижение наиболее способных, наиболее смелых, решительных и инициативных красноармейцев на должности младших командиров полностью себя оправдало. Сейчас командование части ставит перед собой задачу укрепить каждое отделение, каждый взвод волевым, авторитетным, знающим командиром. Боеспособность части от этого неизмеримо возрастает».

Покончив со второй статьей в нашу полосу, мы призадумались. Обе статьи такие, что их вполне можно печатать в военной газете, — посвящены они вопросам освоения боевого опыта, организации обороны, укрепления боеспособности войск. Второй статьей, в частности, мы еще раз подтверждаем наш тезис, высказанный в «Записке» редактору, о необходимости укрепления отделений и взводов, о подготовке для них инициативных младших командиров. Если, согласно с Уставом ВКП(б), основой нашей партии является первичная партийная организация, то основой Красной Армии надо считать то же самое, первичное — отделение и взвод, которые, когда им хорошо известен «свой маневр», решают судьбы боя. Мы вспоминаем случай в Яблоницах под Веймарном, когда через деревню в беспорядке катились массы отступавших красноармейцев и появившийся там бригадный комиссар

Мельников приказал нам остановить бегство. Тогда не только мы, но, думается, и ни один самый что ни на есть геройский генерал не сумел бы сделать это. А младшие командиры, окажись они там со своими бойцами, непременно справились бы с разбродом. Каждый собрал бы вокруг себя свой десяток бойцов, и это уже была бы не мятущаяся, перепуганная масса, а пусть небольшое, но организованное подразделение. Сколачивай такие ячейки в роты, в батальоны — и готова боевая часть.

Да, сказали мы себе, наша полоса — это скорее для военных, для «настраженских» читателей, а не для тех, кто читает «Ленинградскую правду», не для гражданских. Видимо, без «боевых эпизодов» не обойтись. И мы, побродив по подразделениям дивизии, записали несколько таких историй.

1. Ездовой Лобанов с двумя другими бойцами вез на днях к передовым позициям бревна для строительства блиндажа. Стояла ночь. Но немцы и ночью имеют привычку устраивать внезапные огневые налеты. Стреляют, ничего не видя, почти наугад. А стреляют.

И вот один шальной снаряд разорвался возле повозки с бревнами. Взрывная волна сбросила Лобанова с сиденья и ударила его о дорогу. А замерзшая дорожная глина — что камень.

Очнувшись, ездовой услышал стоны. Оба сопровождавшие его бойца были ранены. Ранило и лошадь.

Откуда ждать помощи ночью, посреди пустынной дороги? Кого звать на выручку? Превозмогая боль, Лобанов вытащил индивидуальные пакеты и, как сумел, перевязал товарищей. К счастью, оба могли двигаться.

Затем он подошел и к лошади. Отыскав в повозке тряпку, перевязал ногу дрожавшему от боли и страха рыжему мерину.

Первый попутный грузовик прихватил в кузов обоих сопровождающих. Лобанов садиться в машину не захотел. Всю ночь ковылял он по дороге в тыл, ведя под уздцы хромавшего коня. А наутро доложил старшине:

— Попал под артогонь. Все уцелевшее имущество эвакуировал.

2. Рота дралась больше суток. Вынося с поля убитых и раненых, санитары не всегда могли забрать их оружие — так силен был огонь врага. Оружие оставалось там, где его выронили ослабевшие руки.

Когда бой утих, командир вызвал двоих красноармейцев — Солодягина и Матвеева.

— Нельзя допустить, чтобы наши винтовки достались немцу.

Солодягин и Матвеев вышли из окопов. Сразу же по ним застучали автоматы. Завыли и мины — немцы стреляют из минометов даже по одиночному человеку, боеприпасов у них, видимо, достаточно, вся Европа работает на их армию.

Бойцы, однако, поползли на поле недавнего боя. Обстрел усилился. Впереди не было ни деревца, ни даже кустика, чтобы укрыться. Поле боя было действительно полем — ровным полем пригородного колхоза. Но два человека упорно двигались вперед.

Вся рота не спускала с них глаз. Иногда они надолго замирали, и тогда казалось — это конец. Но лишь стихала стрельба, две серые фигурки снова оживали, продолжая свое дело.

Так без пищи и даже без воды целый день отыскивали и собирали оружие Солодягин и Матвеев. К вечеру они доставили в роту 13 винтовок, 2 пистолета и ручной пулемет.

Записав эту историю в блокноты, мы подумали: а ведь найдутся, чего доброго, сидящие сейчас в далеком зауральском или казахстанском тылу «великие гуманисты», которые, прочитав ее, хмыкнут: «Гм, 13 винтовок, 2 пистолета и ручной пулемет! Ну сколько это может стоить? Несколько сотен рублей? И во имя этих жалких рублей командир отправил на верную смерть двух человек, чьих-то сыновей, которые мечтали быть инженерами или скрипачами и, может быть, уже были отцами семейств! Только случай помог им избежать верной смерти. А корреспонденты «Ленинградской правды» такой-то и такой-то восхищаются — чем? Тем, что людей погнали, как на бойню? Погнал бесчеловечный командир роты, которому его дурацкие винтовки дороже людей».

Объяснить что-либо такому спрятавшемуся от войны «гуманисту» будет трудно. Ему важно одно: что он-то останется живым, а какой ценой, ценой чьей крови будет сохранена, защищена его жизнь — это с легкостью необыкновенной отскочит от его сознания. До него не дойдет, что, не возврати эти винтовки, пистолеты и пулеметы с поля боя, — оставишь не прикрытую огнем брешь в оборонительном кольце Ленинграда; значит, будешь

рисковать не двумя, а сотнями, тысячами жизней, если враг через эту брешь прорвется в город. Не две жизни — налево и тринадцать винтовок — направо кидаются тут на чаши весов, а вот так: против двух жизней — сотни, тысячи других, во имя которых вышли под пули и мины красноармейцы Солодягин и Матвеев на открытое поле. Надо уметь различать бесшабашную растрату человеческих жизней и такой необходимый риск, на какой пошли в роте, чтобы вернуть оружие, упавшее из рук раненых, оружие, до крайности необходимое Ленинграду, отрезанному от страны.

Полемизируя с грядущими любителями поахать и поохать, мы продолжали работу над своей полосой. Кто же теперь на очереди? Они. Саперы.

О саперах нам рассказывают младший политрук И. Базаев и лейтенант И. Мазья. Мы записываем:

«Нельзя сказать, чтобы о саперах не вспоминали в печати. Вспоминают. Но, странное дело, о людях этой военной профессии обычно говорят лишь в связи с переправами, мостовыми работами, понтонами. Слов нет, тяжесть и сложность переправ почти целиком ложится на саперов. Но кроме переправ у них множество дел, с виду незаметных, а по значимости, может быть, даже и более важных.

Саперы тоже, как политруки, — люди, идущие впереди. Но в отличие от политруков, которые всегда в первых цепях своих бойцов, саперы подчас идут и впереди самых передовых подразделений; недаром в некоторых иностранных армиях их называют пионерами. Первой на землю, занятую противником, ступает нога сапера.

Блиндажи, долговременные огневые точки, окопы, ходы сообщения — все это создается руками саперов. Создается быстро, под огнем противника, в трудных условиях. Нередко, просыпаясь на рассвете, враг видит, что еще вчера чистое поле покрылось сегодня столбами, опутано колючей проволокой. Это ночью поработали они, саперы. Или, бросаясь в наступление, гитлеровцы взлетают на минных полях. Вчерашняя разведка врагу не помогла: уже после нее саперы успели минировать участок.

Саперы подразделения капитана Долганова славятся в части как люди смелые, решительные, готовые на все. О саперах Зубенко, Сковороде, Кондакове, Чубанове бойцы-пехотинцы с восхищением говорят: «Завороженные они, что ли! Ни снаряд, ни мина их не берут».

Славу ловких подрывников заслужили саперы Брускин, Назаров и Гусев. К деревне М. направлялась колонна неприятельских танков. Когда она вступила на мост, перекинутый через небольшую речушку, раздался взрыв. Головной танк, а с ним и штабная машина с офицерами рухнули в воду. Остальные танки поспешно развернулись и ушли назад. Взрыв был подготовлен Брускиным, Назаровым, Гусевым.

Когда надо, саперы берут винтовки и наравне с бойцами-пехотинцами отстаивают рубежи, часто укреплявшиеся их же собственными руками. Рота саперов лейтенанта Афанасьева была послана на поддержку пехоты с заданием задержать продвижение врага на одном важном рубеже. Условия были тяжелые. Немцы имели там многократное превосходство в людях и вооружении. Но саперы стойко выдерживали огонь, все глубже окапывались и позиций не сдавали. Противник нес большие потери. Смерть командира взвода младшего лейтенанта Агеева не вызвала замешательства: его тотчас заменил помощник Зыков. В этом бою храбро дрались саперы Ярилов, Матвеев, Куницын и многие другие.

В боевых схватках, в будничных делах люди растут, крепнет их воля, утверждается характер. Многие из бойцов настолько выросли, что подают заявления о приеме в партию и в комсомол.

Много можно порассказать о людях скромной, будничной военной профессии — саперах. Но всего не перескажешь, а хочется только напомнить ленинградцам, что люди эти в едином строю с пехотинцами, танкистами, артиллеристами, летчиками сражаются за город Ленина. Они готовятся к еще более жестоким и беспощадным боям».

10

Работа над полосой подходит к концу. Все в ней есть: и обзорная статья больших начальников, и рассказы старших командиров о младших командирах, и описание будничных боевых дел тружеников войны — саперов, и даже «боевым эпизодам» мы отвели место; наконец, сообща придумана «шапка» к полосе: «Обрушим всю мощь нашего оружия на фашистских гадов!» И все-таки полоске, видим, явно чего-то не хватает. Вновь и вновь перечитывая подготовленные нами материалы, в статье А. Королева и

А. Гроня натыкаемся на строки, нашими же карандашами и записанные, но как-то ускользнувшие от внимания: «Стоит побыть в окопах одну ночь, чтобы убедиться в этом». В чем в этом? Да во всем, о чем мы взялись рассказывать читателям своей полосой. И как раз этой-то ночи полосе и не хватает. Ночи в окопах.

Метет, постанывая, злая поземка, метет и метет по открытой всем ветрам стылой приневской равнине. Идем узкой тропочкой, протоптанной в снегу, петляющей лощинами, канавами, редкими кустиками. «Козлик» наш остался далеко позади, в нескольких километрах от Рыбацкого. Серафиму Петровичу дан строгий наказ встречать нас завтра рано утром на том же месте, где мы покинули машину. Идем в шинелях, в шапках-ушанках, в сапогах, в которых портянки навернуты двойным плотным слоем. Поначалу было холодновато, и мы прибавляли шагу. Постепенно разогреваемся от трудной ходьбы на ветру и по снегу, по пересеченной местности и в темноте. Приходится шаг сбавлять.

Справа от нас окраины Ленинграда. Их не видно, они только угадываются. Слева — линия нашей обороны, а за ней — тоже во мраке — немцы. Над их окопами то и дело медленно всплывают, медленно горят и медленно гаснут ракеты.

Мы идем вкось к нашей передовой линии, так, чтобы выйти к ротам и взводам возле насыпи Витебской железной дороги, левее Шушар, к самому Пушкину. Слева от нас остаются Московская Славянка, совхоз «Пушкинский», то, что полковник в оперативном отделе штаба армии когда-то назвал: «Какая-то сельскохозяйственная станция» — наша ЛООС (Ленинградская областная овощеводческая опытная станция) — и примыкающая к ней территория бывшей Царскосельской радиостанции, по которой передавались миру первые декреты Советской власти.

Часам к десяти вечера добираемся до насыпи, находим блиндаж КП батальона, врытый в железнодорожную насыпь. В блиндаже топится печурка, от нее тепло.

— Только с наступлением темноты затапливаем, — говорит комбат в меховой безрукавке. — Днем мерзнем, ночью отогреваемся. Днем никак не затопишь: расшибут из тяжелых орудий. Где-то за Павловском у них есть

железнодорожные артустановки очень крупных калибров. Дадут по дыму из трубы одну штуку — и нет нашего блиндажа.

Он посылает с нами провожатого-красноармейца, и мы все трое вскарабкиваемся на крутую насыпь Витебской дороги. Близко слева удивительно ясно слышится в морозном воздухе неожиданно возникшая музыка. Звучит голос Леонида Утесова: «Товарищ, мы едем далеко, подальше от нашей земли».

— Тут по соседству Детскосельский вокзал, — объясняет красноармеец. — Немцы поставили там радиоустановку. И к тому же еще устроили несколько дотов и бьют вдоль насыпи из крупнокалиберных пулеметов. Они же знают, что мы ночью ходим через насыпь.

Утесов поет: «На палубу вышел, сознанья уж нет, в глазах у него помутилось». Тоскливо, чертовски тоскливо звучит старая матросская песня над промороженной, мертвой равниной. И тут в нее вплетается деловито-неторопливый стук только что упомянутого пулемета крупного калибра. Он простучал, и провожатый наш торопит:

— Скорее, скорее!..

Вскакиваем, спотыкаясь о занесенные снегом рельсы, перебегаем через насыпь, скатываемся по ту сторону ее, в низину. А Утесов все поет: «Напрасно старушка ждет сына домой. Ей скажут, она зарыдает...»

Итак, мы в расположении роты, где командиром младший лейтенант Герасимов и политруком товарищ Васин. Находим их в тесном блиндажике, который скорее просто нора в земле, с трудом выкопанная в склоне водоотводной канавы и накрытая землей по одному тощему накату бревен. Сидят в ней на полу, на слежавшемся сене. Никогда, конечно, не раздеваются. Видят друг друга при свете коптилки, помещенной в нише, которая выдолблена в стене. Днем из блиндажа высовываться не думай: с высоких НП в Пушкине немцы различают даже вход в нее. Вокруг все забросано минами — густо чернеют проплешины разрывов, лежит исковерканная, развороченная земля.

Вперед к Пушкину от землянки ведут изломистые колена окопов; в них стрелковые и пулеметные ячейки, блиндажи и ниши для укрытий. Днем это снежное поле мертво. Слышны на нем только разрывы мин и снарядов. А ночью оно оживает. Ночью происходят смены нарядов. Ночью сюда доставляют пищу. Как раз незадолго перед

нашим приходом, то есть часов в десять вечера, принесли в молочных бидонах обед и ужин, к рассвету доставят завтрак.

— Немцы эти часы знают. — Младший лейтенант Герасимов сворачивает цигарку. — Аккурат в это время они устраивают форменную охоту за кухнями, которые подъезжают к расположению батальона с той стороны насыпи. Дают такой огонь по дорогам, по канавам, что поварам и ребятам с бидонами туговато приходится.

— Снарядов гансы не жалеют, — добавляет политрук Васин. — Лишь бы измотать нас, выкурить отсюда. Мы у них под самым носом. До Пушкина считанные сотни метров. Видите, какая у нас землянка? Кротовая нора, верно? Если бы этого сена не было, хоть помирай. Наша братва в свои ниши таскала его из стогов, которые, на счастье, стояли тут неподалеку. Немцы увидели и давай бить по стогам зажигательными. Один спалили. А второй какой-то прочный оказался: стоит и стоит. Сотни полторы снарядов кинули гансы в него за три дня. А пока вот так старались, мы его и перетаскали.

— Ну, мне пора,— спохватывается Герасимов, при свете коптилки глянув на часы. — Пойду сменять боевое охранение.

— Это где же? — интересуемся мы.

— А там, возле самых немецких траншей.

С командиром роты, конечно же, увязываемся и мы. Иначе, думается нам, полоса будет бедной, бледной и, главное, неправдивой.

Семерых красноармейцев младший лейтенант ведет туда, на снежную равнину, раскинутую впереди окопов; где-то там, в снегу, и лежит оно, боевое охранение роты. Когда кончается ход сообщения, быстренько, пригибаясь, перебегаем лощинку, перепрыгиваем через не мерзнущий в торфянике ленивый ручей и крадемся дальше неглубокой канавой, тоже стараясь не торчать в полный рост на темной равнине.

Как мы ни осторожны, немцы, видимо, слышат скрип снега под нашими ногами и, поскольку время от времени сквозь облака хоть и не ярко, но посвечивает луна, различают и наше движение. В небо гуще прежнего летят осветительные ракеты. Пока они горят, слепя все вокруг своим белым ярким огнем, лежим, притворяясь кочками на болоте.

Немцы встревожены. По совсем уже близкой линии их окопов пробегают вспышки выстрелов, из нескольких мест льются струи светящихся пуль, где-то рядом стучит на фланге и пулемет.

Напуганные своей же стрельбой, немецкие солдаты еще больше усиливают огонь. Палят, наверно, все, кто есть сейчас там, в их траншеях. Равнина и небо исхлестаны огненными вениками пулевых трасс.

Огонь бушует минут пятнадцать, затем утихает, и только тогда мы продолжаем путь. В немногих десятках метров от переднего края врага, в лежбищах, выцарапанных в неглубокой канавке, среди обледенелых камней, лежат те, кто отбыл наряд. Их тоже семеро. Они уступают свои места другим семерым, с которыми пришли мы, отползают назад, ждут там Герасимова, разминая затекшие, одеревенелые мышцы.

Герасимов и мы с полчаса лежим в ряд с новой сменой, всматриваясь в ночную синь, в которой мне отчетливо видятся очертания полуразбитого пушкинского вокзала, привокзальных зданий, черные кущи парков с вершиной «Белой башни» над ними. Красноармеец, который от меня слева, шепчет в самое ухо:

— На той неделе мы втроем из роты ходили на разведку в Пушкин. Здорово все там разбито и покалечено. А на площади перед Екатерининским дворцом — мы к нему парком подобрались — семнадцать повешенных. Так и висят неснятые.

Удивительное это чувство — чувство переднего края, и не просто переднего, а самого переднего — боевого охранения. Ты и твой враг уже ничем не разделены, кроме снежного голого пространства в несколько десятков шагов и двух-трех рядов проволоки, натянутой поперек этого пространства. Эти семеро, которые, когда мы уйдем, останутся лежать здесь до следующей ночи и, если что, первыми примут на себя удар противника. Сегодня они граница меж двумя мирами, они начало начал обороны Ленинграда. Пока мы разглядываем сумрак впереди, эти люди поудобней укладывают на брустверы своих ячеек винтовки и ручные пулеметы, подгребают под бока снежку посвежее, помягче, чтобы не так жестки были ледяные камни. Им здесь, на этом снегу, на этих камнях, предстоит пролежать сутки. И не просто пролежать, а пролежать недвижимо, до боли в глазах вглядываясь вперед, ловя каждый звук, каждое шевеление во вражеских окопах.

Герасимов подает знак, и мы собираемся в обратный путь. Но, оказывается, не так-то просто оторваться от камней, шинели примерзли: несмотря на мороз, в канаве сыро от подпочвенных, ключевых вод.

Кое-как все же «отклеиваемся», ползем назад, к нетерпеливо ожидающим бойцам. Все вместе снова движемся сначала канавкой, потом, перепрыгнув через ручей, лощинкой и, вздохнув с облегчением, добираемся до хода сообщения, до окопов.

Повнимательнее, чего не успели сделать, спеша в боевое охранение, рассматриваем окопы. В стенах ходов сообщения и траншей вырыты ниши — на одного, на двоих. Если забраться в такую нору, занавесить вход в нее плащ-палаткой и на крышке котелка развести костерок из щепок, будет, пожалуй, даже тепло. Отгибая края обледенелых, гремящих, как листы жести, этих плащ-палаток, видим за ними именно так скорчившихся, сонных людей. На своих крохотных костерках они подогревают щи, притащенные в бидонах, понятно, уже холодными. Иные даже пишут письма домой. Проходя мимо, мы слышим и разговоры.

Внезапно фронт оживает. Немцам опять, должно быть, померещилось. Снова гремят пулеметы, хлопают винтовочные выстрелы, в небе горят и гаснут ракеты. И снова на вокзале заводят пластинку с тягучей, рвущей сердца красноармейцев музыкой: «Напрасно старушка ждет сына домой...»

Выбравшиеся из ниш, вставшие на свои места возле пулеметов и винтовок, бойцы вслушиваются в песню. Один из них говорит:

— Покрутят пластинку, брехать начнут.

И верно, когда след волн за кормой окончательно пропал вдали, фельдфебель из гитлеровской роты пропаганды, коверкая русский язык, начинает завлекать бойцов Красной Армии радужными перспективами:

— Товарищи бойцы, русские орлы и чудо-богатыри, бейте своих политруков, переходите к нам с оружием. За каждую винтовку вы получите (столько-то), за каждый пулемет (столько-то)... Мы дадим вам работу, хлеб, суп, кофе...

Герасимов подает команду — оживают и наши окопы. По немецким окопам бьют из трехлинейных русских винтовок, из ручных и станковых пулеметов. А когда со стороны Ленинграда над равниной к Пушкину проходит

в выси несколько тяжелых снарядов, проповедник-фельдфебель на полуслове смолкает.

Идет ночь. Звезды и созвездия совершают свой извечный поворот в небе. Стрельбы уже нет ни с той, ни с этой стороны. В наступившей тишине возникает стук лопат о звенящую землю. Спать бойцы будут днем, а пока они используют время и строят блиндажи — не сидеть же зиму в этих нишах-норах. Люди работают молча, может быть раздумывая каждый о чем-то своем. У каждого есть что припомнить вон тем сидящим в темных окопах впереди. Один, оглядываясь назад, видит над Ленинградом вспыхивающие огненные точки. Он знает: это бьют зенитки. Значит, налет. И может быть, в эту минуту на дом, в котором живет его голодающая семья, падают бомбы. Другой мысленно перечитывает сообщение соседей о смерти жены от снаряда, разорвавшегося на трамвайной остановке. Третий, тот, кто ходил в разведку, никак не может забыть семнадцать мертвых на фонарях придворцовой площади...

Мы попрощались с Герасимовым и Васиным в шестом часу утра возле входа в их земляночку.

— Спешите, — сказали они нам. — Скоро кухни подъедут, пальба снова начнется.

Пальба эта началась, когда мы уже были за насыпью и зашли на КП батальона попрощаться с комбатом.

Комбат сидел возле фанерного столика, из жестяной кружки, обжигая губы, пил кипяток.

За дверью землянки с коротким воем упало что-то неимоверно тяжелое, тотчас рвануло, встряхнув всю насыпь, дверь хрустнула от тугого удара воздуха. Из кружки комбата на колени ему плеснулась горячая вода. Он вяло ругнулся, сказал:

— Я же вам говорил, какими калибрами немцы лупят. Хорошо, что вокруг болото. Этот «поросенок» разорвался в болоте. Шуму много, вреда никакого. Коленки только ошпарил, так его перетак.

Мы двинулись в обратный путь, навстречу бойцам, которые шли к насыпи с ведрами и бидонами: несли завтрак в роту младшего лейтенанта Герасимова.

После морозной бессонной ночи нам тоже, понятно, зверски хотелось есть. Но было бы невыносимо стыдно клянчить котелок супа или каши, с таким трудом доставленный сюда, на передовую. Да к тому же никаких лишних котелков с едой тут и не было.

Мы брели лощинами, кустами к месту, где нас должен ожидать наш «козлик». Путь оказался несравнимо тяжелей, чем был он вчера вечером. Ноги не шли. Ступишь шаг, второй — и стоишь. А чего ждешь? Сил все равно не прибавится. Мало-помалу стала подступать валящая с ног вялость, за которой, наверно, и кончается жизнь.

Полная потеря сил пришла тогда, когда «козлика» на условленном месте не оказалось. В растерянности мы легли на снег и уж не ведали, сколько так пролежали.

Михалев наконец встал, сказал:

— Ну, пойду. Я его кокну.

Наверно, это было чертовски смешно: он кого-то кокнет, этот грозноголосый и вместе с тем мирнейший из мирнейших человек с задатками карася-идеалиста. Но я уже не мог смеяться. Я мог только лежать на снегу. Мне уже было очень хорошо и уютно.

— Вставай! — заорал Михалев, поняв мое состояние. — Слышишь?

— Иди поищи машину. — Я хитрил, чтобы он ушел и оставил меня в покое —вот так лежать и не двигаться.

Но он не уходил. Он кричал, ругался, подымая меня. Это было бесполезно: пройдя несколько шагов, я снова валился в снег.

Тем временем начало светать и, когда вокруг стало видно, со стороны Рыбацкого, подскакивая на снежных ухабах, показался наш «козлик».

Лежа на сиденье, я сквозь полудрему слышал зверское объяснение Михалева с Бойко, которого, оказывается, для каких-то своих разъездов задержал один из фотокорреспондентов нашей редакции: мол, ничего с нами не случится, если и подождем, а ему, дескать, срочно надо туда и сюда.

Потом, как выяснилось, я часов двенадцать (Михалев, конечно, тоже) проспал в редакции «Боевой красноармейской» в Рыбацком, куда перебралась газета 55-й армии. Проснулся опухший и такой больной, каким давно уже не бывал, — пожалуй, со времен сыпного тифа, подхваченного мальчишкой в годы гражданской войны.

Проснулся от шума и криков. Кричал Женя Негинский. Он кричал на поэта Сашу Гитовича. Тот сидел на соседней койке, застланной солдатским одеялом, и бла-

женно улыбался, отчего глаза его совсем исчезли в щелочках век. Негинский кричал:

— Это подло! Это в конце концов, учитывая фронтовые условия, предательство!

— Ты проснулся? — спросил меня Сеня Бойцов, присаживаясь рядом на постель.— Женька уже с полчаса бушует. Саша выпил у него тройной одеколон. Саше, видишь, хорошо. А Женька лишился фундамента своей ежедневной гигиены.

— Что ты ему байки рассказываешь! — Это подошел Володя Карп и отстранил Сеню. — Тащите сюда мясо.

Я ел мясо. Настоящее мясо. Горячее, вареное, вкусное. С каждым куском сил у меня явно прибавлялось.

— Откуда это, ребята?

Разное думалось при виде такого изобилия. Может быть, уже прорван фронт, освобождена Мга, снова у нас есть Кировская дорога и к нам вагонами двинулось продовольствие?

— Глеб Алехин раздобыл.

Голубоглазый Алехин загадочно улыбался.

— А ты ешь, не расспрашивай.

Алехина я узнал только здесь, в редакции «Боевой красноармейской», хотя уже до войны слышал о нем немало. О его романе «Неуч» долго и много шумели в литературной среде. Одни категорически одобряя роман, другие трясясь против него от ярости, понося и презирая.

Неужели прошло только три года с того дня, когда одним декабрьским утром я раскрыл «Литературную газету» с «Письмом из Ленинграда», снабженным заголовком: «Споры о «Неуче»?

«Автор романа — Глеб Алехин. · Герой романа — Глеб Алехин»,— так лихо начиналось письмо.

И дальше:

«Глеб Алехин в романе «Неуч» пишет, что роман «Неуч» написан очень удачно.

Ленинградские критики и читатели, которые выступали на обсуждении книги в Доме писателя имени Маяковского, не соглашались с восторженными отзывами Глеба Алехина о работе Глеба Алехина».

Из этого «письма» можно было извлечь немало фактов, характеризующих странные нравы в литературной среде. Доклад на этом обсуждении делал, как сказано автором письма, А. Рыбасов, который «был в несколько затруднительном положении. Как докладчик, он резко

критиковал редакционный аппарат Ленгослитиздата, не справившийся с работой над первой книгой начинающего автора. Но ведь тов. Рыбасов был главным редактором Ленгослитиздата и, следовательно, несет ответственность за работу с автором». С этим нельзя было не согласиться: да, затруднительное положение; а выход из него? Удивительный: делай вид, что ты не ты и лошадь не твоя, и с легким сердцем поноси эту лошадь.

Судя по «письму», обсуждение было убийственным, и автору романа пришлось на нем солоно. Тем более меня интересует сегодня этот человек — «автор романа» и «герой романа». Человек он, безусловно, интересный, своеобразный. Здесь, на фронте, он постоянно спокоен, он никуда и никогда не торопится, а дело делает всегда вовремя. Пишет рассказы в газету, сочиняет какие-то до крайности замысловатые байки. Отважно ходит на передовую, снарядам и минам не кланяется. Женская часть армии относится к нему весьма благосклонно. А она, эта «часть», довольно-таки многочисленна. У нас с Михалевым был случай. Мы спешили на Понтонную, а в моторе нашей машины от скверного горючего засорилось, и машина застряла на дороге. Мы принялись «голосовать». Нас подобрал нагруженный доверху грузовик. Мы взобрались на поклажу, прилегли рядом с двумя сопровождавшими бойцами. Лежать было мягко. «Что, ребята, везете?» — «Боевое снаряжение».— «А что именно?» — «Лифчики да рейтузы».

Так где же Глеб Алехин раздобыл мясо для своей редакции?

Оказывается, в одном из батальонов он отдал наган за выбракованную по ранению лошадь. А где он взял этот наган сверх своего ТТ, остается его тайной, да еще тайной поэта Володи Лифшица, который помогал Алехину. Но лошадь — вот она, редакция третий день в изобили питается мясом. И акт хранится в кармане Алехина о выбраковке лошади. Там написано: «Конь Зебра, трех лет. Перебиты ноги».

Ну можно ли было Саше Гитовичу устоять перед флаконом тройного, если появилась закуска?

Негинский тем временем более или менее успокоился. Блаженствовавший Саша стал читать только что сочиненные им к Октябрьской годовщине стихи. Он читал:

На праздничной скатерти белых снегов
Не вина, а кровь ненавистных врагов...

— Как, ничего?

— Хорошо даже. Только, понимаешь, на слух получается: «Невинная кровь ненавистных врагов».

— Что ты говоришь! — Поэт принялся шевелить губами. Пошевелил, пошевелил, прилег на подушку, да и уснул, сраженный муками творчества.

11

Четвертого ноября наша полоса верстались. Редколлегия порешила дать ее в канун праздника — 6-го числа. Все идет хорошо, материал расположен как надо, полоска выглядит вполне достойно. У Давида Трахтенберга, который время от времени выезжает с нами на передовую, нашлось и подходящее фото — обсыпанные снегом, промерзшие траншеи, и в них: «Лейтенант А. А. Шедиков указывает сектор наблюдения красноармейцу В. Т. Огурецкому».

Но кто-то в секретариате сказал:

— Хорошо бы еще и стишок тиснуть. Как раз местечко есть под статейкой о саперах, строк на пятьдесят.

Что верно, то верно, стишок было бы неплохо, но где его взять, если полоса послезавтра утром должна увидеть свет?

И тут в редакционном коридоре я встретил Всеволода Рождественского, нашего немолодого ленинградского поэта, у которого учился, несколько лет назад посещая занятия в ныне ликвидированном вечернем рабочем Литературном университете. В июле, августе, сентябре стихи Рождественского постоянно появлялись в газете «На защиту Ленинграда», где он тогда работал, надев военную форму, которая нельзя сказать, что не пошла ему, поэту самых, казалось до этого, мирных поэтических тем.

А теперь вот, оказывается, Всеволод Александрович пришел и в нашу «Ленинградскую правду». Он медленно брел по коридору, высокий, до невозможности худой и бледный от голода. Трудно было узнать в нем того человека, которого я встречал годах в 35, 36-м,— поэта у которого уже была большая биография, были за плечами поиски, блуждания и о котором говорили, что начинал он среди акмеистов. В ту пору я листал сборники его стихов, стихи были хорошие, хорошо написанные, четкие, яркие по форме. Но часто содержание их никак не трогало: оно

было далеким-далеким от того главного, чем тогда жили Советская страна, советский народ. Помнится, на одном из занятий он прочел нам стихотворение о корсаре, который после многих бурь своей жизни был схвачен и заточен в темнице. Морскому коршуну тесно, душно в каменном мешке, он угасает и, чувствуя близкую смерть, чертит на каменных тюремных плитах контуры корабля, чтобы встать на воображаемую палубу и отплыть в небытие все-таки не по сухопутью, а морем. Поэт так закончил свой рассказ о нем:

Все свершил он в мире небогатом,
И идет душа его теперь
Черным многопарусным фрегатом
Через плотно запертую дверь.

Мне нравились эти стихи, но издавались они в последний раз когда-то очень давно, раздобыть их я так и не смог, хотя вспоминал часто, и автор этих стихов виделся мне всегда как-то через волнующие строки о немало погрешившем на земле (точнее, на море) разбойнике, был глубоко мне симпатичен; для меня, излишне в ту пору молодого, он был как бы пришедшим из прошлого, из истории нашей литературы — тем более что ранние его стихи, альбомного толка, я встречал в толстых переплетенных подшивках дореволюционных петербургских журналов, — но был все же таким, который в какой-то мере понятен и сегодня.

Я порадовался тому, что ошибся во взглядах на этого интересного человека, когда одним августовским днем прочел на страницах газеты «На защиту Ленинграда» гневные стихи Рождественского о сбитом немецком летчике, о ненависти к которому поэт сказал со всей определенностью. Он сказал, что фашистский стервятник достоин смерти уже за одно то, что «видел город мой сквозь прорезь пулемета».

Меня обрадовала ясная позиция моего учителя, который прежде казался носителем абстрактного, бесплотного гуманизма, расслабляющего, разоружающего, ведущего к тому, чтобы вместо борьбы не на жизнь, а на смерть ты покорно подымал руки перед противником.

Нет, оказывается, в трудный час, в час, когда допустимо быть только или с этой или с той стороны баррикады и нигде больше, мастер «красивых строк» вместе со

всеми решительно встал в строй защитников города Ленина; слова его обрели твердость каленого металла.

— Всеволод Александрович! — обрадовался я, встретив его в холодном коридоре редакции.— Вот удача! Нам срочно нужны стихи в полосу.

Он постоял, прислонившись спиной к стене, подумал.

— А это не пригодится? Набросал на днях... Называется «У боевого листка».— Он вытащил записную книжку, поправил очки и стал читать:

С винтовкой вместе нам надежно служит,
Уча и помогая побеждать,
Отточенное партией оружье —
Родная большевистская печать.

Рожденная отвагою героя,
Моя разящая врагов строка
Нужна нам, как огонь в разгаре боя,
Как сталь неотвратимого штыка.

Пускай она подругой на походе,
Товарищем в огне ночных атак
Всем говорит о доблестном народе,
Чье мужество сломить не в силах враг.

Пусть будет скорой и правдивой вестью
Цехов завода, боевых полей,
Пусть славный долг свой выполняет с честью.
И от души тогда мы скажем ей:

«Живущее в боях поры суровой,
Внушающее ненависть к врагам,
Твое горячее, простое слово
Крепить победу помогало нам.

Когда за всех сочтемся мы с врагами
И новый хлеб подымем на полях,
Ты славу подвигов разделишь с нами,
Товарищ, вдохновлявший нас в боях!»

— Хорошо, очень хорошо,— сказал я.— Просто даже замечательно, что в полосе будет сказано и о военной печати, которая тоже сейчас воюет, бьет врага.

Через пятнадцать минут стихи, перепечатанные на машинке, были отнесены в секретариат, прочитаны и отправлены в набор. С полосой было покончено, оставалось только завтра вычитать ее начисто. А сейчас надо уходить домой: поздно, улицы темные, на них в этот час одни патрули да возле своих орудий на площадях яростно работают зенитчики — над городом, сверля и сверля

морозный воздух моторами, на больших высотах по обыкновению ходят немецкие бомбардировщики.

Мы вышли с Верой из подъезда «Ленинградской правды», дошли до поворота за угол на Фонтанку, переглянулись: в небе, скрещиваясь, мечутся белые лучи прожекторов, там кипит от разрывов зенитных снарядов, на обсыпанную снегом брусчатку наших ленинградских мостовых железным хлестким дождем летят горячие осколки, звякая, высекая искры.

— И все-таки пойдем. Как-нибудь, держась поближе к домам. Авось!

И тут мы увидели самолет, взятый в скрещение нескольких лучей. Я узнал его по контурам: «Хейнкель-111», бомбардировщик. В ослепительном свете он казался игрушечным, покрытым серебрянкой веселым самолетиком, какие вешаются на новогодние елки; но он нес бомбы, и мы замерли в ожидании: что-то будет? Вокруг собиралась толпа из редких в этот поздний час торопливых прохожих, все смотрели в ясное, звездное, но безлунное небо. Всем до острой боли в сердце хотелось, чтобы наши зенитчики сбили это белое кусачее насекомое с ленинградского неба.

А «хейнкель» шел и шел, ослепленный, но несдающийся. Это было от нас очень недалеко — где-то над Загородным или, может быть, над проспектом Нахимсона. Он постепенно удалялся, он явно уходил.

И вдруг с ним что-то случилось, мы полагали, что его все-таки настиг осколок снаряда,— он странно дернулся, рыскнул влево, кренясь на крыло, затем клюнул носом... Кто-то отчаянно закричал:

— Уходит!

А кто-то еще отчаяннее, но иначе:

— Падает!

«Хейнкель» понесся к земле со стремительной скоростью. Лучи прожекторов его утеряли, и можно было подумать, что он так, клюнув в пике, просто сманеврировал, если бы не всплеск багрового пламени в районе Таврического сада и мощный удар взрыва, спустя несколько секунд докатившийся оттуда. Наша небольшая толпа встретила все это радостными аплодисментами.

Я записываю довольно длинно. Произошло же все за несколько коротких минут. Может быть, и за одну или за две. Каждый из нас на эти минуты был собран в тугой комок волнения и ожиданий.

До середины ночи растапливая печку просмоленными старыми торцами с мостовой, мы переживали это событие, а назавтра всей редакции стало известно, что немецкий самолет был сбит не зенитчиками, а молодым летчиком-истребителем, патрулировавшим в тот час в ночном небе над Ленинградом; и когда 6 ноября вышла в свет наша полоса, в этом же номере «Ленинградской правды», на первой ее странице, было помещено сообщение ТАСС под заголовком «Геройский подвиг летчика Севастьянова».

В сообщении говорилось:

«В ночь на 5 ноября, пользуясь ясной погодой, группа немецких самолетов пыталась прорваться к Ленинграду. Немногим из них удалось достигнуть черты города. Над городом патрулировали наши ночные истребители. Младший лейтенант Алексей Тихонович Севастьянов, нагнав освещенную прожектором вражескую машину, дал по ней несколько пулеметных очередей. Фашистский стервятник стал удирать. Тогда т. Севастьянов решил таранить немецкий бомбардировщик. Он смело направил свой самолет на вражескую машину, протаранил ее, и она, вспыхнув, рухнула вниз.

Тов. Севастьянов благополучно приземлился на парашюте».

Дальше сообщалось, что Севастьянов — молодой член партии. Недавно на заседании партийной комиссии, где его принимали в члены ВКП(б), он обещал оправдать высокое звание коммуниста боевыми делами и с честью выполняет это обязательство. До сегодняшнего дня Севастьянов уже сбил один «Юнкерс-88», два самолета уничтожены им вместе с товарищами по звену.

Над сообщением ТАСС помещен портрет Алексея Севастьянова, сделанный фотокорреспондентом Гришей Чертовым. Лицо молодое, парнишка в общем-то, но парнишка, выращенный комсомолом, парнишка, для которого Родина — все. Веселый, крепкий в убеждениях, смелый. Гимнастерка с карманами, в петлицах по одному кубику, лихо поверх воротника гимнастерки выпущен отогнутый ворот теплого свитера.

В тот же день стали выясняться и другие подробности ночного тарана. В штабе ПВО побывал художник-фронтовик Анатолий Яр-Кравченко. Оказывается, он знал Севастьянова раньше, в его альбоме для набросков уже был рисунок: Севастьянов на том самом партийном соб-

рании, где молодого летчика прямо на полевом аэродроме принимали в партию.

Что рассказывал Яр-Кравченко о Севастьянове?

Да, действительно, летчик очень молод, по возрасту он из тех, кого мы в газетах называем ровесниками Октября; в ту ночь он барражировал над ночным Ленинградом, видел бой зениток, видел взрывы и вспышки бомб среди домов города. С напряжением всех чувств искал он в небесном мраке самолеты противника. И вот увидел освещенный лучами прожектора «Хейнкель-111».

Открыв огонь из пулеметов, Севастьянов пошел на врага. «Хейнкель» тоже отвечал огнем, огрызался. Видимо, он отбомбил и спешил уйти восвояси. Чувство ярости охватило Севастьянова: не упустить врага, непременно уничтожить. Но на борту его истребителя уже не оказалось патронов. Тогда он решил сделать то, что некоторые советские летчики уже делали, правда, не ночью, не во мраке, а в дневных условиях, — рубануть винтом по хвосту «хейнкеля». Враг маневрировал, и удар винтом пришелся по крылу. Именно это мгновение, не видя самолета Севастьянова, а видя только немца, мы и наблюдали позавчера с набережной Фонтанки.

Оба самолета полетели к земле. Севастьянов выпрыгнул с парашютом. Немец сделал то же. «Хейнкель», как нам и думалось тогда, упал и взорвался в Таврическом саду. А Севастьянов опустился на железную крышу одного из зданий завода имени Ленина. Его там схватили бойцы команды МПВО, чуть было не намяли ему бока, полагая, что это летчик с «хейнкеля», падение которого они все видели.

В штабе ПВО Ленинграда, в Басковом переулке, Яр-Кравченко присутствовал и при встрече Севастьянова с пилотом «хейнкеля», который оказался известным гитлеровским асом, увешанным наградами за бомбардировки десятков городов Европы.

Немцу перевели, что он-де видит перед собой того летчика, который его только что сбил.

Немец что-то бормотал о том, будто бы храбрых людей надо уважать, кем бы они ни были, пытался даже пожать руку Севастьянову. Но Севастьянов сказал, что в ночном сбрасывании бомб на женщин и детей храбрости не так уж много и руки фашистам он пожимать не станет никогда.

Теперь надо только добавить, что наша полоса к середине дня была помещена на доске материалов отличного качества, а мы, полюбовавшись на это, вновь выехали в свою 55-ю армию. У нас было срочное редакционное задание: в первом же послепраздничном номере газеты рассказать ленинградцам о том, как пройдет наступающий праздник в траншеях переднего края. Мы уже знали название своей корреспонденции: «Октябрь в окопах». Остальное надо было увидеть, и услышать, а может быть, и испытать.

В своей ободранной полевой сумке среди блокнотов и мелкого дорожного скарба я вез листок бумаги, на котором рукой самого автора было переписано стихотворение «Корсар». Всеволод Александрович, когда я сказал ему, что знаю об этом стихотворении, но нигде не могу его раздобыть, присел к одному из редакционных столов и по памяти тут же, без помарок, переписал все строки своей авторучкой. Наконец-то я знаю не несколько заключительных слов, а все стихотворение целиком.

В коридоре сторож с самострелом.
Я в цепях корсара узнаю.
На полу своей темницы мелом
Начертил он острую ладью.
Стал в нее, о грозовом просторе,
О прозрачных звездных парусах
Долго думал, и пустое море
Застонало в четырех стенах.
Ярче расцветающего перца
Абордажа праздничная страсть.
Первая граната в самом сердце
У него разорвалась.
Вскрикнул он и вытянулся. Тише
Маятник в груди его стучит.
Бьет закат, и пробегают мыши
По диагонали серых плит.
Все свершил он в мире небогатом,
И идет душа его теперь
Черным многопарусным фрегатом
Через плотно запертую дверь.

12

В одном из цехов Ленметаллургстроя, где располагается какое-то из тыловых подразделений Н-ской стрелковой дивизии, мы встретили трех женщин. Они, как и мы, собрались этой праздничной ночью побывать в самых передовых траншеях.

— Софья Глазомицкая, — представилась одна из них. — С текстильного комбината «Рабочий». Привезли вот подарки бойцам.

— Очень хорошо, — сказал командир в белом полушубке, — вместе и отправитесь.

У женщин были объемистые заплечные мешки с лямками. Они навьючили их на себя. Дали и нам увесистые торбы; лейтенанту, который должен был показывать дорогу, тоже достался солидный груз. Все мы намеревались пробраться на самую передовую, под Путролово. Так хотели женщины, на это их уполномочил коллектив комбината.

Миновали Колпино, шли канавами, лощинами. И наконец при полной луне перед нами открылась широкая снежная равнина.

— Надевайте! — распорядился лейтенант, вытаскивая из своего мешка белые маскировочные халаты. — Дальше с полкилометра придется ползти.

Ползем, пыхтим, тащим мешки. Рюкзаки у текстильщиц переваливаются со спин на затылки, пригибают их головы к снегу. Вшестером мы пашем этот сухой, сыпучий снег почти что носами и лбами. В рукава, за голенища сапог лезет снег, там становится мокро. К тому же прошибает испарина, и от этого одновременно и холодно и жарко.

Наконец добираемся до ходов сообщения, до окопов. Нас там ждут. Точнее — ждут этих женщин из Ленинграда, о которых бойцы и командиры переднего края предупреждены по телефону.

Женщины, излишне объемистые из-за своих ватников и стеганых брюк, с трудом поворачиваются в тесных траншеях. Видно, что они не совсем так представляли себе Октябрьский праздник на передовой. Они готовили речи, но речей произносить здесь нельзя. Их сразу предупредили, чтобы говорили только шепотом: неосторожное громкое слово может обойтись дорого. Оно может стоить жизни: враг совсем рядом и все, что делается у нас, днем — видит, ночью — слышит.

Ну что ж, шепотом так шепотом. Дело не в словах. Прежде всего надо раздать подарки.

Со своими громоздкими мешками женщины стали пробираться по траншее, спотыкаясь о комья мерзлой глины, замирая, когда рядом за бруствером с бешеным грохотом рвался снаряд. Где траншеи были по пояс, снова передвигались ползком, пряча головы от визгливых

трассирующих пуль. Со стороны немецких траншей, совсем близко, вкрадчивый голос соблазнял: «Советские чудо-богатыри, труженики, стонущие под ярмом политкомиссаров, переходите к нам!..»

Нам-то уже не в новинку эти ниши, выдолбленные в стенах окопов, где, скорчившись, лежат полуозябшие бойцы, эти гремящие, как жесть, полотнища плащ-палаток, которые закрывают вход в ниши. А для женщин... Они, год назад побывавшие на экскурсиях в железобетонных сооружениях линии Маннергейма на Карельском перешейке, поражены неожиданностью, они взволнованы. Они полагали, что и на нашей передовой живут в блиндажах по крайней мере под семью накатами, изредка поглядывая вперед через амбразуры в стальных плитах, им думалось, что блиндажи освещены электричеством и хорошо обогреты чуть ли не паровым отоплением. Они ожидали, что, как на реке Мустомяки было у финнов, здесь тоже железобетонные комфортабельные сооружения, бункера со всеми удобствами, доты в несколько уходящих вниз этажей, подземные тоннели сообщения.

А тут... Тут все спешно создано в огне непрерывного боя: щели в земле, редкие землянки, ходы по пояс, а то и едва по колено. Здесь врага остановили не глыбами железобетона, не стальными плитами в двадцать—тридцать сантиметров толщиной, а грудью, сердцем, волей и стойкостью.

Не так, как бы надо, как было привычно, но праздник в этих окопах все-таки ощущался. На всем пути посланниц Ленинграда навстречу им, разминая озябшие ноги, поднимались из ниш люди в шинелях. Молчаливые, бойцы стояли, пока женщины проходили дальше, и это было подобно ночному параду — торжественно и сурово. Обычная фронтовая ночь со стрельбой, со вспышками ракет, с крепким морозом стала истинно праздничной ночью. Пришли чьи-то жены и сестры. Три из тысяч тех, ради которых бойцы сидят в этих норах. В окопы к бойцам явился их Ленинград.

И тут мы увидели, чем же набиты огромные торбы текстильщиц. В торбах туго, чтобы побольше вошло, были спрессованы пластами толстые варежки, шерстяные носки, шарфы, которые ночами, при свете коптилок негибкими, холодными пальцами вязали работницы комбината для фронта, были теплые жилеты, телогреи, фланелевые портянки.

Все это доставляло радость бойцам. А иные говорили:

— Рукавицы? Шарф? Спасибо. Только что сами вы пришли к нам — это всего дороже.

Женщины поняли, что их приход — действительно самый дорогой подарок людям передних траншей Ленинграда. Они позабыли об усталости. Они хотели побывать у всех, кто держал оборону на этом участке. Они добирались до огневых гнезд, где и шепотом говорить нельзя. Поманив рукой, командир отделения подзывал двоих-троих ближайших бойцов, те подползали, получали подарки, обнимали своих гостей и, утирая глаза, уползали обратно — к винтовкам, уложенным на бруствере, к пулеметам.

Мы держались близ текстильщиц, подтаскивая их мешки. Мы смотрели на равнину, простирающуюся влево — до Невы, до Ивановской и вправо — до Пушкина, до Пулковских высот, — равнину, на которой то и дело грохали разрывы снарядов и мин, испещренную трассами светящихся пуль, и думали о том, что и в других ротах, на других участках фронта — всюду, где змеятся по этой равнине траншеи, в эти часы так же пробираются от бойца к бойцу посланцы великого города. Где бы ни был советский человек, что бы ни делал он в такой час, а Октябрьский праздник для него всегда будет праздником.

За всю ночь женщинам лишь один раз удалось поговорить полным голосом. Это было в блиндаже у минометчиков.

В землянке под низкой бревенчатой кровлей набилось столько народу, что казалось, люди лежат тут в несколько рядов. Вокруг керосиновой коптилки густо клубился пар от дыханий.

— Проходите к свету, — приглашали радушные хозяева.

К свету еле пробрались, наступая на ноги лежащих. Но зато в землянке и в самом деле можно было говорить вслух. Женщин расспрашивали о Ленинграде, о комбинате: как, мол, живется, работается; как с харчами, с топливом? Они рассказывали правду, но рассказывали так бодро, будто бы и голод не столь уж страшен и обстрелы, бомбежки — вполне терпимая вещь.

За этой бодростью бойцы слышали другое: «Скоро ли вы отгоните врага от города? Скоро ли конец нечеловеческим нашим мучениям?»

— Клянусь беспощадно истреблять фашистских собак! — сказал, подымаясь возле стола, один из бойцов.

— Зря собак обижаешь, — ответили ему из мрака, — собака — друг человека. А гитлеровцы — это выродки.

Гостьям задавали вопрос за вопросом. И по тому, как внимательно выслушивались их ответы, можно было догадаться, что и бойцы и командиры уносились мысленно в эту ночь в свой город, они жили его жизнью, думали о нем.

Потом начались шутки.

— У вас на комбинате девушек много, — сказал командир отделения Бубнов. — Ждите, прикачу за невестой.

— Подберем подходящую! — Женщины смеялись.

Под утро немецкое радио все еще кричало: «Одиннадцатый раз предлагаем вам — переходите на нашу сторону. Будем вместе строить новую, свободную, счастливую жизнь». А женщинам, собравшимся в обратный путь, несли и несли письма для передачи работницам комбината. Когда, где успели их написать химическими карандашами на листках тетрадочной бумаги? В траншеях при свете ракет? В тесных, промерзших нишах, где и лежать-то можно, только свернувшись?

Мы прочли несколько надписей на треугольничках:

«Женщинам комбината «Рабочий» от лейтенанта Комилягина и его подразделения».

«Дорогим шефам — текстильщицам города Ленина от участника боев с фашистскими гадами Новикова Ив. Ф.».

Их было множество, таких писем. Их складывали в один из мешков на место варежек и шарфов. Написали, думается, почти все. Не было письма лишь от командира отделения Бубнова, от того самого, который грозился приехать на комбинат за невестой. Не было и никогда не будет. Час назад его убило снарядом в траншее.

Бойцы третьей роты, не запечатав в конверт и не сложив листок треугольником, написали:

«Благодарим вас за подарки и просьбу, с которой вы обращаетесь, выполним с честью. Не только отобьем противника от города Ленина, но и разгромим его так, чтобы больше не существовал на свете этот бес, вероломный враг».

Снова мы вшестером пашем лбами сыпучий снег, снова пересекаем ползком опасную равнину. Но уже в обратном направлении, в сторону от окопов переднего края.

И когда можно наконец подняться в полный рост, Софья Глазомицкая говорит:

— Сегодня у нас будет торжественное заседание на комбинате. Все, что видели, что слышали этой ночью, подробно расскажем коллективу. Лучше всякого доклада будет. Как вы считаете?

Это было в ночь на 7 ноября 1941 года на снежном пространстве где-то между деревнями Путролово и Московская Славянка.

13

Немцы каждую ночь бомбят город. Бомбят методично, с точностью и исполнительностью равнодушной машины смерти. Тупые, тяжелые удары бомб в промерзшую землю, грохот разрывов и падающих зданий слышатся ленинградцами с позднего вечера до раннего утра. Воют, воют моторы «юнкерсов» и «хейнкелей» в безоблачном ночном небе на высоте, на которой их не берут зенитные снаряды, на которой им не мешают поднимаемые на ночь аэростаты воздушного заграждения. Все ждут облачной погоды, мечтают о плотных, обычных для Ленинграда обложных толстых тучах, при которых невозможны ни полеты, ни, как минимум, прицельное бомбометание. Как на грех, как назло, стоят ясные, лунные ночи. С высоты город наш в глазах воздушного врага — точно макет на столе архитектурной мастерской. Бомбы падают в цель, в цель, в цель. (Да, кстати, в большом городе, куда ни кинь, все в цель.)

Щедро, будто из лукошка, немцы разбрасывают над нашими старыми крышами пригоршни зажигательных бомб — «зажигалок». Если за ними хорошо следить и вовремя принимать меры, вред от «зажигалок» невелик. Но стоит прозевать — беда будет. Во всех жактах созданы группы борьбы с «зажигалками», ведутся дежурства на крышах; на чердаках заготовлен песок, чтобы забрасывать «зажигалки», пока они не разгорелись, клещи для хватания их и выкидывания на снег, всякие багры, крючья, лопаты. Женщины и даже ребятишки научились справляться с этими ядовитыми бомбочками, которые адски воют, пока летят пачками-кассетами к земле. У многих уже изрядный счет обезвреженных «зажигалок».

Не часто, но все-таки случается, что я ночую в Ленинграде, дома. На днях был случай. Поздно вечером от нечего есть мы с Верой под гром окрестных зениток читали знаменитую поваренную книгу Малаховец, взятую у соседей для таких чтений вместо ужина. «Когда к вам неожиданно пришли гости и у вас нет ничего к столу,— читали мы,— то возьмите холодную индейку, возьмите моченый чернослив и яблоки...» Дальше добродушный и щедрый автор рекомендовал быстренько сварить вкрутую несколько десятков свежих яиц, разрезать их соответствующим образом, начинить наполовину черной зернистой икрой и наполовину «значительно более дешевой» красной, кетовой, и таким образом «получатся к столу красивые аппетитные корзиночки».

А когда дело дошло до «позабытого с вечера заливного из телятины», дом наш дрогнул, зловеще качнулся в одну сторону, в другую — с потолка полетела белая пыль, отслоились и стали осыпаться, как цвет черемухи, тонкие лепестки побелки.

Потом на лестнице послышались голоса, а на чердаке над нами — торопливый топот. Мы тоже отправились бегом на чердак. Там вспыхивали веселые бенгальские огни «зажигалок». Одна из них впилась в балку стропил, и по старому сухому дереву начали перебрасываться бодрые язычки пламени.

— Воды! — закричали женщины, швыряя в огонь песок лопатами.

Я спустился — все, понятно, бегом и бегом (когда дом горит, прохаживаться не станешь) — на ближний от чердака этаж, ворвался в одну из квартир, благо все двери на лестнице в такую минуту были распахнуты. Стояла задача непременно раздобыть воду, которая в ноябре уже не подымалась в квартиры: ее брали из крана во дворе ведрами. Я искал такие ведра и в той квартире, в которую вбежал, обнаружил их целых два на кухне. Они стояли рядком, одно возле другого, зеленые, эмалированные, покрытые фанерными кружочками. Они были полны воды. Я схватил их за дужки и бросился к двери.

— Постойте! — крикнула вслед перепуганная хозяйка и квартиры и ведер, старая петербургская интеллигентная дама. — Это же кипяченая!..

Происходит много такого, что трудно воспринимается как реальность, как нечто возможное. У человека горит

над головой, а он беспокоится о воде, потому что это дорого ему доставшаяся — кипяченая! — вода.

Трудно представить себе как реальность и уход нашей редакции под землю, в подвалы, в бомбоубежища. Началось с того, что назавтра после севастьяновского воздушного тарана в наше здание прямым попаданием угодила бомба среднего калибра. Она пробила этажи и разорвалась в переплетном цехе. Война, таким образом, проникала уже прямо в наш дом. Все в цехе было перевернуто, искорежено, завалено. Что же, ждать, когда и всю редакцию искорежит, выбросит через крышу в звездное небо?

Сразу после праздников начался массовый переезд отделов вниз, туда, под своды подвалов, специально подпертых для прочности толстенными бревнами. Туда перетащили столы, диваны, телефоны. Сейчас там наши товарищи и работают и спят. Наверху нетоплено, студено — отопление вышло из строя. Мы с Михалевым, правда, приезжая, сидим в своей комнате — в бомбоубежище лезть страшно: завалит, и неба не увидишь. Редактор злится, считает, что мы фрондируем. Но нам просто там страшно, мы привыкли видеть опасность в глаза, наблюдать за ее полетом и принимать какие-то меры, если она норовит угодить в нас.

У редактора концы не вяжутся с концами. С одной стороны, он считает нас фрондерами, демонстративно пренебрегающими опасностью, с другой, видимо не пожелав толком разобраться в нашей записке, уже несколько раз поносил ее публично и утверждал, что она свидетельствует о пораженческих настроениях ее авторов. Черт с ним, конечно, лишь бы он довел нашу записку до соответствующих инстанций. Там разберутся.

Коллектив редакции голодает. С 13 ноября, о чем мы сами же сообщили в своей газете, по рабочим карточкам дают 300 граммов хлеба, по служащим — 150 граммов. А больше-то почти ничего. Это мучительная норма. Съел свои тощие граммы, и думается: ну хоть бы еще граммиков сто, как бы здорово было.

Страшно смотреть на наших иссохших машинисток — на Елену Сергеевну Кобызеву, на Соню Берж; стучат, как бывало, но уже кажутся потусторонними, призрачными, как из мхатовской постановки «Синяя птица». Растаяла в несколько недель совсем еще недавно такая плотная, отнюдь не хрупкая наша старейшая стеногра-

фистка Людмила Александровна Бацевич. Реже и глуше звенит знаменитый смех ее младшей коллеги, Аннушки Кукиной.

Нельзя не ценить наш редакционный коллектив. Что бы ни происходило вокруг или внутри редакции, ленинградцы рано утром все равно получают свежую газету. Людей изнуряет недоедание, мучит авитаминоз, сон в душном подвале не приносит бодрости, нервы истрепаны. А работа идет, идет, не приостанавливается ни на минуту. Живут боевые революционные традиции газеты, которая возникла в Петрограде в 1918 году. В ее коллективе немало людей, прошедших большой журналистский путь. Одно удовольствие слушать рассказы Аркадия Леонтьевича Леонтьева. Он сотрудничал в «Петроградской правде», в «Красной газете» еще в те дни, когда на город двигались полчища Юденича. Он многое что повидал, много в чем участвовал, много с кем встречался.

— Слушай, — говорит он, прихлебывая пустой кипяток из кружки, — ты слыхал, как я однажды встречал Серго Орджоникидзе на вокзале?

— Нет, Аркадий Леонтьевич, не слыхал.

— Я подошел к нему на перроне и говорю: «У меня задание редакции побеседовать с вами, товарищ нарком». — «О чем побеседовать?» — «О борьбе с бюрократизмом». — «А зачем об этом беседовать? Боритесь!» Здорово? А хочешь, покажу, — он роется в старой папке, перетащенной в бомбоубежище, — хочешь, покажу заметочку о встрече с Михаилом Ивановичем Калининым? Да, кстати, а этот документик видел?

Я читаю текст старого, пожелтевшего мандата на право «беспрепятственного передвижения по всей территории Южного боевого участка Финзалива и на пользование материалами, необходимыми для осуществления возложенных на него обязанностей».

— Это когда я выезжал в Ораниенбаум, в дни подавления Кронштадтского мятежа. А кто подписал, видишь? «Комиссар группы Ворошилов». Да, так где она, заметочка о встрече с Михаилом Ивановичем? Вот! Он же часто приезжал в Ленинград, и всегда меня к нему посылали. Он принимал, никогда не отказывал. А тут... Заметочка, собственно, не о встрече на этот раз, а... Да ты послушай, потом прочитаешь. На этот раз он меня не смог принять, просто я до него не дозвонился. Но побеседовал с одним из его сопровождающих и накатал

это: «Всероссийский староста в Ленинграде». Ну, а теперь читай. Потом кое-что еще покажу.

Я читаю:

«Раннее утро. Кафе-чайная ЛСПО на углу Троицкой и проспекта 25 Октября.

— Смотри, никак, Калиныч? — говорит один из посетителей другому, показывая на столик, за которым сидит просто одетый рабочий в кепке, с небольшой бородкой.

— Ну и выдумал, откуда ему здесь быть-то, просто похож на него.

После недолгого спора его собеседник с ним соглашается — и напрасно: тот не ошибся, это был действительно «всероссийский староста» Калинин».

— Просто, очень просто держал и держит себя Михаил Иванович со всеми, — вставляет Аркадий Леонтьевич, видя по моим глазам, в каком месте я читаю его старую, но дорогую ему заметку. — У него бы всем большим людям учиться надо народности в поведении.

А я читаю дальше:

«Михаил Иванович вышел с Октябрьского вокзала и в течение трех часов пешком ходил по Ленинграду, осматривал внимательно своим зорким глазом здания, мостовые, заходил в торговые предприятия, знакомился с ценами и условиями торговли. Все отмечал, на что нужно обратить внимание, что следует похвалить и за что, наоборот, надо пожурить».

— А потом как-то, уже в другой раз, Михаил Иванович, приехав, взял меня в свой автомобиль,— опять поясняет Аркадий Леонтьевич. — Он тогда смеялся: «От вас, газетчиков, никуда не денешься. Прошлый раз ни с кем из вас не встречался, не говорил, а в газете все написали: где был, что делал». — «А не напутали в газете-то мы, Михаил Иванович?» — «Да нет, все верно. Будто подглядывали за мной».

Они, старые ленинградские журналисты, не часто бывают вот так расположены к воспоминаниям, к рассказам о былом. Только трудные, тяжелые условия блокады, остановившие наше движение вперед, способствуют оглядке на прошлое. Многое может рассказать и Семен Гуревич, умный, сдержанный, острый человек. Я готов без конца слушать его рассказы о любимце ленинградцев Сергее Мироновиче Кирове. Мы все гордимся тем, что «Мироныч» принадлежал к людям профессии, к которой принадлежим и мы. Мы все знаем, что за

семь или за восемь лет своего сотрудничества во владикавказской газете «Терек» он написал до 1500 статей, очерков, фельетонов, заметок. Блестящий, огненный революционер даже после победы Советской власти не спешил расстаться с пером, хотя времени у таких людей на журналистику оставалось до крайности мало. Они строили новую жизнь, новое государство, были политическими руководителями и хозяйственными организаторами одновременно. В декабре 1918 года Сергею Мироновичу было выдано корреспондентское удостоверение РОСТА — Российского телеграфного агентства.

Может быть, поэтому — потому что он всегда чувствовал себя журналистом,— Киров до самой своей трагической смерти не превратился в «вождя». Он не запирался в особняке за четырехметровым забором — все ленинградцы знали его квартиру на улице Красных Зорь, такую же, как у тысяч других жителей Ленинграда. Он не жил в оцеплении, он ничем не отделялся от тех, кто его выбирал на руководящие посты в городе и в партии, — он ходил пешком по улицам, бывал в заводских цехах, сам готовил для себя речи и выступления, нисколько не заботясь о том, чтобы они непременно были застенографированы, опубликованы сначала в газетах и еще при жизни составили бы тома «собрания сочинений». Он говорил не для «томов», а для людей и с людьми. В горячие годы борьбы с уклонами, с троцкистами в Ленинграде его — на митингах, на собраниях, совещаниях — можно было слышать ежедневно, а то и дважды, трижды в день.

Его простота, подлинная, природная, а не показная, не напускная демократичность, его юмор, умение видеть себя со стороны и поэтому никогда не утрачивать чувства реальности привлекали к нему сотни тысяч сердец, в том числе и наших журналистских.

Семен Гуревич рассказывает, что Сергей Миронович отлично знал многих ленправдистов, горячо интересовался работой газеты и не было дня, чтобы не позвонил в редакцию.

На днях мы выслушали Сенин рассказ о том, как Киров по приглашению рабкоров выступал на открытии рабкоровского клуба при «Ленинградской правде».

— На парадных вечерах принято говорить только приятные речи, — обратился к слушателям Сергей Миронович. — Мы подойдем к вопросу иначе. Рабселькор

владеет сильным оружием — пером. Это оружие имеет то свойство, что всякий им владеющий легко увлекается. Есть опасность, что это перо будет легко скользить по нашим достижениям. Но задача рабочей печати — освещать не только достижения, а говорить и о наших недостатках. Здесь, однако, надо быть сугубо осторожным. Надо помнить, что эти недостатки — наши раны. Не надо посыпать их солью.

Я много раздумываю над этими словами большого коммуниста, к которому, хотя его уже и нет, испытываю глубокую человеческую симпатию. Он, безусловно, прав: недалек и негосударствен тот из нас, кто станет заботиться только о всяческом расписывании достижений, побед и одолений. За размалеванным фасадом будут медленно и верно гнить балки здания. Но и тот, кто в поисках подгнивших мест примется разворачивать, расковыривать здоровую древесину, тоже рискует тем, что здание по меньшей мере затрещит и пошатнется и его надо будет подпирать всяческими подпорками. А мы любим здание своей новой жизни, мы любим эту жизнь. Она дает нам интересную, кипучую работу, интересную, кипучую деятельность. Она открывает впереди зарю во все небо. Только живи, только работай.

«Наши недостатки — это наши раны, — вновь и вновь возвращаешься к этой мысли. — Не надо посыпать их солью». В некоторых религиях есть фанатики, которые в культовом исступлении хлещут себя плетьми, колют тело свое ножами, раздирают его ногтями, получают от этого какое-то удовлетворение и, должно быть, всерьез полагают, что делают дело, угодное богу. Чтобы не быть таким тупицей-самоистязателем и в то же время не стать самодовольным, самовлюбленным мещанином, любующимся каждым своим жестом, до чего же умно и тонко надо видеть действительность во всей ее диалектике, и видеть так, чтобы писать, говорить о ней только правду, не прибегая ни к политуре для наведения глянца, ни к разъедающей соли для посыпания ран. Для этого, думаю я, надо прислушиваться к голосу своих убеждений и уж, во всяком случае, никогда не слушать таких людей, как наш редактор. Сегодня, сбегав куда-то на инструктаж, он будет требовать бочками сироп, а завтра, опять куда-то сбегав, потребует цистерну дегтя. Сегодня он нашу «Записку» называет документом, свидетельствующим о наших пораженческих настроениях, а завтра,

случись что с теми, кто распорядился вести безнадежное наступление распыленными силами, будет потрясать ею и вопиять, что «Записка» еще недостаточно решительно «вскрывает».

Но леший с ним, с редактором! Он и окружающие его прихлебатели — это горстка, единицы. А коллектив-то наш состоит из настоящих людей, самоотверженных, готовых на все ради дела, которому служит газета. На днях Лидия Шувалова пришла в редакцию во время жестокого артиллерийского обстрела улиц. Она шла под грохот разрывов: на плечах, на воротнике ее пальто, как елочные блестки, сверкали мелкие осколки стекла из окон.

— Лида, — сказал внушительно один из членов редколлегии, этакий соратник редактора из выгоды. — Ты безумствуешь. Зачем лезешь на рожон? Погибнуть нетрудно, а партия оценит тех, кто выживет.

Она прибежала к нам бледная, взволнованная, недоумевающая.

— Товарищи, товарищи, — только и повторяла в растерянности. — Вы понимаете, что он сказал? Что он проповедует!

Да, он здорово сказал. В этих немногих словах изложена целая философия жизни. Мы с трудом успокоили Шувалову, человека большой и чистой партийной души.

Нет, не такие «философы» составляют коллектив редакции.

Есть, правда, как я уже сказал, и несколько таких, которые плотной стеной стоят вокруг редактора, сами полуголодные, а почему-то с готовностью заглядывают в его жующий рот. Досадно то, что именно они, отсиживающиеся в бомбоубежищах, тайно пожирающие свои полуответственные пайки, вылезут потом на свет божий и примутся раздавать оценки — кто, мол, и как вел себя в дни борьбы с немецким фашизмом, будут делать обзорные доклады, писать статьи и составлять сборники, не только всячески примазываться к сделанному другими, но с помощью ловких финтов, говоря языком футболистов, представлять дело так, будто бы они-то и были главными творцами побед, — прямо-таки по Бывалову в исполнении Игоря Ильинского: «Под моим личным руководством». Я их не называю, и не потому не называю, что, дескать, тешу себя надеждой: сами, мол, узнают свое лицо и устыдятся. Нет, они не устыдятся, они не из таких. Просто не хочется их поминать. Тем

более что уж очень много есть других, о которых перо само пишет.

Я помянул Людмилу Александровну Бацевич. Это она стенографировала доклад Ленина 19 июля 1920 года в Таврическом дворце, когда открывался Второй конгресс Коминтерна.

— Ильича стенографировать было нелегко, — рассказывала нам Людмила Александровна. — Он считался «грозой» стенографисток, потому что говорил так быстро как никто. Но зато какая же это была чеканная, четкая речь! Каждое слово у него было отточено. Все слушали с полным напряжением чувств. Сознаюсь, мне тоже не раз хотелось бросить карандаш и только слушать, слушать, слушать, так Владимир Ильич завладевал твоим вниманием. Но... но долг требовал, чтобы я писала. И я писала не отрываясь. Отдохнуть удавалось тогда, когда время от времени гремели долгие, бурные аплодисменты.

Слушаешь Людмилу Александровну — и смотришь на нее с завистью: видела, слушала Ленина, помогла партии, международному революционному движению сохранить его исторический доклад.

Но Людмила Александровна видела и слышала Ильича значительно раньше, чем мы думаем. Еще в 1906 году, когда она только-только училась стенографии, ей посчастливилось услышать Ленина на митинге в помещении бывших курсов Лесгафта перед аудиторией, состоявшей главным образом из студенческой молодежи. Ленин выступал перед ними по аграрному вопросу.

— Меня тогда поразило, как Ильич, ни на минуту не теряя основную мысль своего выступления, остроумно и мгновенно парировал реплики с мест, выкрикиваемые эсерами.

Как и до войны, Людмилу Александровну сменяет в аппаратной будке ее молоденькая коллега — Аннушка Кукина. Аннушку, или, как для солидности мы ее называем, Анну Павловну, я знал по голосу давно, еще в те времена, когда работал в «Большевистской трибуне». Она принимала по телефону мои коротенькие корреспонденции о жизни Слуцкого района. Аннушку любят в редакции за веселый, звонкий смех, перед которым устоять невозможно, — тоже рассмеешься. Она не ходит, а летает по длинным коридорам. Только стук каблуков и ветер юбок. Правда, это уже в прошлом. Голод скосил и Ан-

нушку. Каблуки ее стучат несравнимо тише. А смех? Смех, пожалуй, остался тот же.

Сейчас Аннушке рассказать пока что нечего. Но когда она достигнет возраста Людмилы Александровны, думаю, ей тоже будут завидовать: участвовала в борьбе с немецкими захватчиками, записывала торопливые строки, шедшие по проводам полевых телефонов в подвал здания на Фонтанке, 57.

Редакция держится. Держится стойко. Газета выходит каждый день. Кто был нытиком, так им и остался, а кто всегда обладал юмором, тот его и здесь не утратил.

14

Что ни день, то в Ленинграде новые разбитые бомбами здания, обнаженные пустые квартиры, у которых нет передних стен и видны нависшие над улицами шкафы, кровати, столы, перекошенные двери. Что ни день — вновь развороченные глыбы мерзлой земли на мостовых и тротуарах, пожары, смерти — от бомб, от снарядов, от голода. Город холодный, сумрачный, скованный, как бы сцепивший зубы в непреклонной, суровой решимости драться до конца.

Падает и падает снег, его не убирают, и однажды, возвратясь под вечер из армии и свернув на проспект 25 Октября со стороны Калашниковской набережной, мы увидели на площади перед Александро-Невской лаврой и дальше по всему проспекту, до Октябрьского вокзала, вереницы пустых троллейбусов, у которых давно выбитые стекла заменяла потемневшая от осенних дождей фанера. Троллейбусы стояли, занесенные снегом, мертвые, тихие. Движение городского транспорта прервалось. До каких пор, никто уже не знает. Люди ходят пешком, скользя на беспорядочных волнах слеживающегося, леденеющего снега.

Из-за этих неимоверных транспортных трудностей, из-за того, что юго-западные и южные окраины города чаще обстреливаются и слишком близки к переднему краю немцев, в Ленинграде идет переселение из одних районов в другие — в более «тыловые» или же в такие, которые поближе к тем предприятиям, на которых работают переселяющиеся. Пустых квартир предостаточно. Формальности для переселения сведены до минимума —

чтобы на преодоление их не тратить оставшиеся силы.

Положение тяжелое не только в городе, но и на фронте. Вчера мы видели, как по дороге от Рыбацкого к Понтонной, то есть из «тылов» к передовой, пешком брело «свежее пополнение». Люди держались друг за друга, чтобы не упасть на ледяной скользкий булыжник. Там, куда они брели, в так называемом первом эшелоне, бойцы в день получают одним сухарем больше, чем во втором эшелоне, но и этого «дополнительного» сухаря, конечно же, далеко не достаточно, чтобы ходить в бой, бросаться в атаку.

А бои, атаки не прекращаются — бои, в результате которых командование надеется очистить Кировскую железную дорогу. Этой дороги ждет весь Ленинград, ждет фронт. Без нее гибель. Но есть ли силы для того, чтобы сокрушить сытого, прочно, глубоко врывшегося в землю, захватившего удобные рубежи немца?

Мы вновь — не только не в первый, но уже и не во второй, не в третий раз — лежим на самом верхнем этаже еще больше разбитого снарядами огромного здания Спиртстроя. Лежим возле щелей в досках, которыми зашита пробоина в стене. Смотрим вперед через стекла одолженных нам командирами биноклей, видим эту желанную линию Кировской дороги, которую так важно, так смертельно необходимо вырвать из вражеских рук.

По сторонам от насыпи линия фронта проходит перед рекой Тосной. На правом, высоком берегу — основные укрепления немцев. На левом — передний край их обороны. Здесь тоже дзоты, ходы сообщения, проволока, минные поля — все как надо! А перед ними болотистая низина. Немцы видят ее всю и давно пристреляли тщательно из пулеметов, минометов, пушек.

Вот уже который день наши наступают по открытому, злому болоту. Другого пути вперед просто нет. Многодневный бой на этом участке фронта, изнурительный, кровопролитный, — это, в сущности, бой за узкую полоску земли с двумя лентами параллельно уложенных рельсов, ведущих в глубь страны.

Нам известно, что батальон Дегусарова уже ухватился за эту полоску. Командный пункт батальона врыт в самой насыпи, а бойцы залегли по обеим ее сторонам. Они отчетливо видят ту железную арку моста, черную на фоне снегов и серого зимнего неба.

Окопов у ведущих это медленное наступление бойцов нет. Торфянистую, пропитанную водой землю рыть нельзя. Сверху ледяная корка, а тронешь лопатой — вода. Ляжешь, промнешь корку локтями — тоже вода. Бойцы укрываются в воронках от снарядов, в которых на дне прочный лед. Все они без маскхалатов. Белое их бы демаскировало: ветер взрывов сорвал снег с земли, растопил его, обсыпал черной копотью. Здесь все: и земля, и колючие обломки стали, и этот черный снег, — все перемешалось.

Люди лежат на захваченном рубеже уже несколько суток. Пищу им приносят ночью — как там, под Пушкином или меж Путроловом и Московской Славянкой. Несут тоже в ведрах, в бидонах, и путь тех, кто доставляет ее, тяжкий путь в два километра, длится много часов.

Днем поднять голову над краем воронки немыслимо. На стороне немцев тотчас взовьется зеленая ракета, и из-за реки градом полетят не крупные, но губительные мины. А если засветится красная ракета — ударит и артиллерия, вновь и вновь перепахивая торфяник. А винтовки, пулеметы, автоматы стучат без всяких сигналов. Немцы готовы обрушить весь свой огонь даже на одиночного человека, который только появится возле дороги. Они, точно клещи, вцепились в эту дорогу. Они тоже знают, что потеря ее — начало их разгрома под Ленинградом.

Только ночью могут как-то передвигаться наши бойцы. Но и тогда это до крайности рискованно. Немецкие снайперы караулят каждый шорох. Они пристреляли все тропинки и бьют на звук. А часто открывают огонь, даже не видя и не слыша цели — так, на всякий случай.

Батальон Дегусарова, за наступлением которого мы наблюдаем с этой артиллерийской голубятни (кстати, тут же находится и НП армии), давно ждал приказа продолжить движение вперед. Приказ был отдан только что, когда уже шла артиллерийская подготовка, когда наши тяжелые снаряды рвались в районе немецких укреплений. Это было так близко от наступающих, что нашим бойцам приходилось еще ниже пригибать головы.

Атака началась в шестнадцать ноль-ноль, в неожиданное для немцев время, когда стало смеркаться, когда немцы считали день оконченным.

Никто не кричал «ура», никто не мчался цепями через поле с винтовками наперевес. Люди, мы видим в бинокли, ползут. Ползут из одной воронки в другую и, думается, ползут молча, плотно прижимаясь к начиненной осколками земле.

Немцы встречают их беглым огнем артиллерии. Над полем наступления — космами, клубами, столбами — черный дым от взрывчатки. Земля дрожит, дрожь ее достигает нашего НП, отдается в локтях и коленях.

Но едва развеиваются ветром дымные марева, как снова видно, что люди ползут и ползут. И не только те, у кого в руках винтовки, — ползут и пулеметчики, грудью толкая вперед свои «максимы». С катушками телефонного кабеля на спине ползут связисты — тянут линию вслед за командирами рот.

Заметно некоторое движение и в обратную сторону: это санитары волокут по земле на плащ-палатках первых раненых.

Мы пробыли на НП до глубокой ночи, видя в черном мраке впереди только вспышки малиновых, багровых огней разрывов, цветные цепочки пулевых трасс, всплески выстрелов и слыша неумолчный грохот боя. Вниз мы спустились, когда батальону был отдан приказ закрепляться на новом рубеже.

В блиндаж КП полка мы зашли в ту минуту, когда начальник штаба отмечал на карте линию этого рубежа.

— Продвинулись почти на пятьсот метров, — сказал он. — Захватили часть траншей, ход сообщения, четыре дзота. Еще натиск — и немец будет спихнут в Тосну. А тогда!..

Мы уже много слышали этих оптимистических «а тогда!..». И все-таки каждый раз хотим верить и верим, что «тогда» непременно враг покатится назад и Кировская дорога будет освобождена. Нельзя ее не освободить. Нельзя.

Нам рассказывают подробности боя. Мы записываем в блокноты о связисте Федоре Лебедеве, который был ранен, но не бросил линии, соединяя и соединяя порванные провода. Лебедев делал свое дело и после второго ранения, и только смерть смогла остановить отважного связиста.

Разведчик Афанасий Потемкин с гранатами в руках лез прямо на ствол вражеского пулемета, поливавшего наступающих свинцовым дождем. Немец-пулеметчик ме-

нял ленту за лентой, а Потемкин полз и полз, и казалось, нет ему смерти. И Афанасий Потемкин взорвал гранатами немецкий пулемет.

Пулеметчик Григорий Куликов, припав к «максиму», не замечая больше ничего перед собой, сосредоточенно бил по вражескому пулемету, который расстреливал наших с фланга. Он отвлек огонь на себя. Может, минуту, а может, целый час продолжалась эта дуэль — времени никто не считал. Замолчал немец.

— Люди сбрасывали с себя шинели, — сказал один из командиров, побывавших в этом бою, — оставляли их в воронках, рвались в рукопашную с врагом. Даже раненые далеко не все соглашались эвакуироваться. Кто мог, продолжал сражаться.

Начальник штаба полка заштриховал отбитый у врага участок красным карандашом, и мы отправились на ночлег в Усть-Ижору.

На нашей веранде был нестерпимый холодище. Мы проклинали бабку-кулачку, наевшуюся оладий, напившуюся парного молока и блаженствовавшую в тепле русской печки. Люди во имя ее жизни лежат в этот час в ледяных воронках на торфянике, иные уже никогда и не встанут с него, а если и встанут, то без ног или без рук, а она, с кулацкой своей психологией, сидит на мешках с мукой, понавесила килограммовые замки на курятники и коровники и зорко следит, как бы Серафим Петрович Бойко не обнаружил среди огорода яму с картошкой и не стащил бы, истощенный голодом, пару-другую картофелин. В лице этой старой мерзавки мы люто ненавидим все кулачество как живодерский, живоглотский, живучий и изворотливый контрреволюционный класс. С кулачьем мне приходилось сталкиваться в годы коллективизации, в годы работы агрономом. Я слышал и голоса обрезов, видел по ночам пламя пожарищ над колхозными и совхозными конюшнями, видел истерзанных, убитых парней, приезжавших на практику в деревню из городских комвузов. Звериные души, звериные лапы, звериная мораль. Меня бабка-кулачка нисколько не удивляла. Но сугубый горожанин Михалев то и дело ахал:

— Но ведь она же человек! Слушай, ну как не впустить в дом при такой холодине! Как не поделиться лепешкой!

15

Заболела Вера. Нестерпимая боль и температура за тридцать девять. Медицинской помощи нет. Врачи из поликлиник — в госпиталях. Госпитали перегружены: к раненым прибавилось несметное число истощенных — дистрофиков. Мне кто-то сказал, что еще работает платная лечебница на проспекте Майорова, так называемая Максимилиановская. Бойко довез меня туда. В коридорах было пусто. Ни одного посетителя. В регистратуре сидела седая, немощная регистраторша с опухшими пальцами.

— Почки? Да, есть такой специалист. Но вряд ли он сможет поехать к вам. Он очень слаб. Попробуйте поговорите сами.

Старый врач с бородкой сидел в белом холодном кабинете за своим белым столом и спал, склонив голову над книгой записей.

— Не могу, молодой человек, сами видите, — сказал он, когда я его разбудил, тронув за плечо. — Ноги что бревна, не ходят.

Но я все-таки уговорил его, довел до машины и привез домой. Минут тридцать мы подымались с ним по лестнице, старик то и дело падал, и его приходилось держать под руки.

— Да, почки. Острый приступ, — установил он, осмотрев больную. — Что ж я могу вам, друзья мои, посоветовать? Диету? Смешно. Поездку в Ессентуки? Еще смешнее. Я ничего не могу посоветовать и ничего не могу сделать. Ставьте грелки, принимайте микстуру, которую выпишу, если у вас не замерзли чернила и если вам ее где-нибудь приготовят. И вот диету бы надо, а? Молока бы хоть по чашке в день. Но это, конечно, фантазия, фантазия, стариковский бред. Простите меня, пожалуйста.

Я отвез врача к нему домой, довел по лестнице до квартиры; дверь отворила его жена, закутанная в платки. Оба эти человека сами были тяжело больны и все же мужественно, из последних угасающих сил, но исполняли долг людей медицины, предписанный им самой их профессией.

Затем в одном из госпиталей по рецепту старика мне приготовили микстуру. Но что же дальше? Не съездить

ли к нашей усть-ижорской бабке: у нее же корова, значит, есть и молоко.

— Молоко-то! Есть, понятно, — сказала бабка. — Давай посуду, плати монету — и получай молоко.

— Посуды, бабушка, у меня нет, налейте в свою.

— Можно и в свою. Заплати или под залог взять можешь.

— Ладно, согласен. Большое вам спасибо, бабушка. Наливайте.

— А ты не спеши, не спеши. По порядку все надо. Монету, говорю, плати. А то налей тебе, ты и лататы задашь. Народ вы, военный, такой! За вами глаз надобен.

— Ну, пожалуйста, получите. Сколько вам за литр?

— Ну, значит, за посуду, за бутылку литровую сотню клади. Да за молоко... Ты не гляди на меня такими глазами. И за молоко — по двести целковых за пол-литра. Хоть литр бери, хоть половину.

Бойко сказал:

— Дать тебе по кумполу поленом, старая ведьма, и лети к господу в рай на тот свет! Ты же бандитка, махновка, тарантульский паук с крестом на шее.

— Но, но, но!.. — подняла руку бабка. — Я советская гражданка. У меня сын в органах. За такие слова ты у меня в кутузке насидишься. По кумполу! Да я только свистну — из тебя коклету сделают, в такие места отправят, что и дорогу назад не найдешь. Нету денег, так и говорите, голодранцы. Другие и двести пятьдесят за поллитру дают. А эти — по кумполу! Ишь вы, гуси лапчатые! А соображать соображаете, сено сколько стоит?

— Но ты же, — Бойко не сдавался, — никакого сена не покупаешь. У тебя своего полный сеновал с лета.

— Не покупаю, верно. А если бы покупала — знаешь, в какой оно цене? Дороже золота.

Иного выхода не было. Пришлось конфликт кое-как уладить и уплатить пятьсот рублей за литр молока с посудой.

На обратной дороге Бойко все время ворчал на ту тему, что он-де, если бы не я, непременно прикончил эту старую жабу.

Вечером к нам с Верой по дороге из редакции зашел Семен Езерский. Он развернул передо мной сверстанную полосу нашей «Ленинградской правды» и указал на передовую, закапанную жирными рыжими пятнами.

Оказывается, с 20 ноября еще раз снижены нормы выдачи хлеба по карточкам: рабочим — 250 граммов, служащим — 125. Дошло-таки дело до той памятной если не «осьмушки», то «четвертки» давних голодных времен, за которой мы с матерью становились, бывало, в хвост возле пекарни в нашем Новгороде с ночи. Но в Новгороде к той «осьмушке» или «четвертке» и еще кое-что было: у окрестных крестьян на «городские вещи» можно было выменять и картошку, и творог, и зерно для каши. А тут, в окруженном Ленинграде, больше в общем-то ничего и нет. «Четвертка» чего-то черного, тяжелого, только называемого хлебом.

И вот по поводу этого нового снижения Езерскому поручили написать передовую, в которой бы он объяснил все ленинградцам и призвал их мужественно перенести новое испытание.

Я пробежал глазами то, что он написал.

— Что ж, Семен, хорошо. Как всегда, ты написал хорошо. Люди поймут.

— Хорошо? — сказал он со злобой. — А это что? — И палец его уперся в рыжее пятно, в одно из тех, которыми была испещрена передовая. — Это у него из чашки сюда капало, когда он читал и одобрял.

Я понял, что капли эти — капли какао. Я понял и кто такой *он*, запирающийся в своем подземном кабинете-блиндаже. И в моем представлении они встали рядом: этот *он* и наша с Михалевым квартирная хозяйка из Усть-Ижоры. Разница была лишь в шелухе, покрывавшей их снаружи, как покрывает она луковицу. А набраться терпения, посдирать все шелушины одну за другой — то там, в середке, они одинаковые. Только бабка откровенней. А этот — прожженный лицемер.

Назавтра представители профсоюзной организации редакции вручили мне две большие плиты жмыха из подсолнухов общей площадью примерно в квадратный метр.

— Это твоя и Верина доля. Мы раздобыли кое-где для коллектива.

Нельзя сказать, чтобы такая пища могла считаться диетической при остром воспалении почек. Я долго и сосредоточенно рассматривал обе плиты, которые в случае чего могли бы стать и надгробиями над каждым из нас. Я вновь вспоминал голодные годы гражданской войны. Да, мы тогда тоже едали эти жмыхи. Но мамаша моя была большой кулинаркой и умела делать с ними что-то

такое, отчего грубый, каменный жмых превращался в ее руках чуть ли не в деликатес. А тут? Что с ним делать?

Подошел Коля Внук, сказал:

— Слушай, моя мама ходит на толкучку. Хочешь, я попрошу ее обменять это на что-нибудь получше?

— Конечно, Коля. Большое тебе спасибо. Здорово будет, если что-нибудь получится из обмена.

Три дня не было ни слуху ни духу ни о жмыхе, ни о Колиной маме, ни о самом. Коле. Он пришел наконец, смущенный, виновато улыбающийся.

— Ты меня извини, старик, — сказал он. — Мама в тот же день обе твои плиты отдала за бутылку портвейна «три семерки». Но мой четырехлетний сынишка, оставшись один в доме, выковырял пробку, да, видно, сладкое содержимое бутылки здорово пришлось ему по душе. Всю ее и выдул. До сегодняшнего утра мы его не могли привести в себя. Сегодня проснулся. Перепугались чертовски. Прости, старик.

Итак, только один вид диеты возможен в эти дни в нашем Ленинграде — голодная. Но лечит ли она?

16

Там, где идут и идут, не прекращаясь, тяжелые бои за Кировскую дорогу, мы нашли своих старых знакомых — ополченцев Московской заставы: рабочих, инженеров, партийных работников с «Электросилы», «Скорохода», мясокомбината... Недавние ополченцы, правда, уже не были ополченцами. И армия народного ополчения и дивизии, из которых она состояла, уже давно выполнили свою огромную роль. Армии не было, а дивизии — одни расформировывались, другие переформировывались.

Таких дивизий, как мы знаем, в дни прорыва немцев на Ленинград было создано десять. 1-я ДНО геройски сражалась под Лугой, оттуда трудно отходила вдоль Витебской железной дороги, непрерывно попадая в окружение. В частности, и для ее выручки громила врага в лесах под Ново-Лисином дивизия полковника Бондарева, когда мы туда приезжали в первых числах сентября. 1-я ДНО в ходе боев понесла слишком большие потери, чтобы остаться самостоятельным соединением; ее бойцы и командиры, вырвавшиеся из болоти-

стых лесов, влились в состав других частей. 2-ю гвардейскую ДНО тоже расформировали: она, как говорят в таких случаях, истекла кровью под Красногвардейском, Тайцами и Пушкином. Не стало и 3-й ДНО, разбросанной по частям на разные участки фронта и тоже вконец истрепанной в контратаках и атаках августа — сентября.

Зато семь остальных дивизий народного ополчения, прошедшие беспощадную закалку огнем, были преобразованы в кадровые дивизии Красной Армии и получили другие, армейские номера.

Наша 2-я ДНО, на позициях которой на реке Луге, за Веймарном, мы услышали первые залпы войны, была переброшена из-под Петергофа, с ораниенбаумского плацдарма, называемого сегодня «Ораниенбаумским пятачком», и находится в составе 55-й армии. Номер ее — 85-я. Бывшие ополченцы сидят в окопах, в землянках, дотах, блиндажах. На равнине за Спиртстроем, перед рекой Тосной, — сотни нор в снегу. Это входы в подземные жилища. Днем вокруг них рвутся снаряды и мины, а ночью прямо из-под земли летят рыжие искры из железных труб земляночных печурок.

В одной из землянок сидит Степан Бардин, тот ополченец, который пришел во 2-ю ДНО прямо из фабричной скороходовской газеты.

— Степан Михайлович?

— Так точно. Он.

Улыбается по-прежнему добро, мирно, смотрит спокойно голубыми глазами. В петлицах у него «шпалы». Он комиссар стрелкового полка. Прежде чем занять такую высокую должность, Бардин успел побыть и политруком роты и комиссаром батальона.

Это уже не только кадровый политработник, но и командир. Ему пришлось даже покомандовать своим полком.

С интересом слушаю рассказ Бардина.

— Ну вы помните, конечно, как мы воевали в лесах за Веймарном? При полнейшей нашей безграмотности в военном деле и то держали немца на берегу Луги почти месяц. А в сражении с 8 по 13 августа положили там не одну сотню солдат и офицеров наступающего врага. Когда это было! В самом начале войны. А теперь мы многому научились. Мы уже не те.

То, что он говорит дальше, можно было услышать прежде лишь от опытных кадровых майоров да полков-

ников, окончивших соответствующие учебные заведения, повоевавших на Халхин-Голе или в зимнюю финскую кампанию, а то и значительно раньше — в гражданскую войну.

Он говорит:

— Теперь мы неплохо изучили наступательную тактику немцев. Прежде чем двинуть в бой пехоту, они проводят сильную массированную артподготовку. Их пушки и гаубицы бьют по нашим вторым эшелонам, стараются разрушить нашу оборону на всю глубину. Минометы тем временем обрабатывают передний край. Танки противник пускает непременно вместе с пехотой. Стремясь воздействовать на наши нервы, наступающие танки, как правило, стреляют на ходу, хотя эффективность такой стрельбы и невелика. Фашистская пехота, идя в атаку, тоже открывает огонь. Создается адский шум, сплошной непрерывный грохот. Всем этим преследуется одна цель: любой ценой подавить наше сопротивление.

Бардин протягивает нам кисет с махоркой. Все закуриваем, с удовольствием разглядывая друг друга: встретились-таки, не растерялись на путаных дорогах войны.

— Разгадав, усвоив тактику врага, мы приучаем наших людей не бояться снарядов и мин, воспитываем в бойцах хладнокровие, выдержку. «Подпусти, — говорим, — противника поближе и тогда прицельно расстреливай его».

Странно слушать, потому что все это говорит добрейший и мирнейший человек. «Расстреливай», «бей», «громи»... Что ж, нам это навязали. Мы хотели только строить, только делать добро человеку на земле. Нас заставили «бить», «расстреливать». Напавшие на нас не посчитались с уроками истории, не вслушались в слова, на весь мир сказанные с киноэкрана Николаем Черкасовым, одним из моих любимых артистов, от имени Александра Невского: «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет». Редактор фабричной многотиражки Степан Бардин сменил перо на меч не потому, что ему нравится рубить головы, а потому, что, не срубив голову врагу, не сносишь и свою собственную.

А Бардин все рассказывает, и беседа наша похожа скорее на разговор командиров, чем собратьев по перу.

— Насчет младших командиров — это вы правы. Вначале мы им тоже не придавали должного значения. Ну что там отделение или даже взвод! А постепенно убеди-

лись, что в современном бою именно от них во многом зависит успех. Отделение — первичное звено в организации армии. Сплошь и рядом взвод решает самостоятельные тактические задачи. Поняв это, мы по-иному стали подходить к подбору низовых командиров. Стали выдвигать на эти должности лучших, испытанных в боях красноармейцев. И боеспособность полка и всей дивизии от этого резко повысилась. И еще я вам скажу. Первое время в ходе боя мы всех командиров и политработников штаба непременно рассылали по подразделениям — вплоть до рот. Поплатились за это излишними потерями в командном и политическом составе. Выбывал, например, из строя помощник начштаба по разведке, и, увы, это сейчас же отражалось на состоянии всей разведки. Бросили мы заниматься такой растратой командных кадров.

Война научила ополченцев многому. В землянку к Бардину зашел и второй наш старый знакомый, бывший рядовой ополченец, — тот, которому не смогли подобрать сапог по ноге, и под Ивановской он наступал тогда в сандалиях выпуска своей фабрики, — Николай Максимилианович Гамильтон. Экономист со «Скорохода» тоже прошел немалый путь. Зная немецкий язык, он вскоре был взят переводчиком в штаб полка, потом стал помощником начальника разведки дивизии, а сейчас уже ее начальник. Говорят, что это отличный организатор разведки. Но если Степан Михайлович по всем статьям стал похож на кадрового военного, то Николай Максимилианович как был экономистом с фабрики, так им и остался. Глядим на него: сугубо штатский человек в военной форме.

Он сегодня в тяжелом, подавленном состоянии, то и дело протирает очки, щурит глаза, в которых залегла скорбь. Несколько дней назад пришло известие из Ленинграда о том, что во время ночного налета погибла от бомбы его единственная дочь.

Бардин сказал нам потом, что все последние ночи Гамильтон сам лично ходит с разведчиками блокировать и подрывать немецкие дзоты. Вылазки эти далеко не каждый раз имеют успех, многие из них кончаются кровью, большими потерями. Но Гамильтон ходит и ходит, точно ищет в опасности средство хоть как-то приглушить свое горе.

В полку Бардина мы встретили и геолога Георгия Бунтина; он ныне в звании интенданта третьего ранга, но занимает должность командира саперной роты. Бунтин горячо говорит о своей роте.

— Вы знаете, что это за люди? Это настоящие герои!

И понятно: он сам создавал свою роту. Отобрал в стрелковых батальонах бывших плотников, каменщиков, подрывников. Раздобыл наставления по саперному делу, разные справочники. Сначала сам тренировался резать проволоку, работать с миноискателем, взрывать толовые шашки. Потом стал учить этому и своих бойцов.

В тот же день мы зашли в землянку к артиллеристам бывшей 2-й ДНО. Если полк, в котором служит Бардин, в основном состоит из рабочих и специалистов фабрики «Скороход», то артиллеристы — главным образом мясокомбинатовцы.

За окном землянки батальонного комиссара Гусева — Нева, скованная льдом, покрытая черными пятнами разрывов. Землянка вкопана в берег. Гусев угощает нас аппетитнейшим супом из горохового концентрата «Суп-пюре-горох», в котором плавают золотисто-коричневые шпротины. Кажется, что ничего вкуснее этого супа мы никогда в жизни не видали и не едали. А когда каждому из нас гостеприимный хозяин наливает по половине алюминиевой кружки темно-фиолетовой жидкости — водки, в которую добавлен черносмородиновый сироп, то нам кажется, что мы на роскошнейшем банкете, какие иногда устраивались до войны для кого-то кем-то или в Екатерининском дворце в Пушкине, или в Большом дворце в Петергофе, о чем ходили потом разные завлекательные рассказы.

У Гусева тоже вспоминаем первые бои ополченцев на Кингисеппском участке, вспоминаем Веймарн, Ополье.

— Мы же прямо из вагонов шли в бой, — охотно возвращается к прошлому Гусев. — Артиллеристы наши, молодежь в большинстве, умели, понятно, заряжать орудия, дергать за шнур. Их этому обучить успели. Но ведь артиллерия — дело точное. Это даже не дело, а наука и, как всякая наука, имеет немало секретов, которые раскрываются перед тобой лишь после долгой учебы или даются долгим опытом, а вернее, знание их достигается и тем и другим, вместе взятыми. Вот я вам назову слесаря Бориса Александрова. У слесаря, как известно, у хорошего слесаря, глаз зоркий, руки привычные к точ-

ности. Поэтому мы Александрову, как только он пришел в расчет, поручили самую ответственную и сложную работу — назначили его наводчиком, от которого, по существу, зависит точность стрельбы, полет снаряда в цель. И вот человек, имевший весьма смутное представление об артиллерии, стал буквально виртуозом наводки, обучил этому и весь расчет, и тогда мы назначили его командиром орудия. Сейчас это настоящий артиллерист. Он умеет предусмотреть любую мелочь. Вот пример. Блиндаж у расчета Александрова двухъярусный. В верхнем отделении живут политрук и командир расчета, в нижнем — бойцы. Выбираться из такого в общем-то сложного сооружения им всем труднее, чем другим, у кого блиндажи обычные. Тем не менее, когда подается команда, бойцы Александрова оказываются возле орудия первыми. Почему? Предусмотрительный командир определил каждому его постоянное место в блиндаже и во избежание сутолоки установил твердую очередь, кому за кем выходить. Казалось бы, мелочь, да? Но многим ли пришло в голову подумать об этом?

Гусев говорит о людях:

— Отличным командиром орудия оказался рядовой Алексей Серебряков, рабочий одного из предприятий Московского района. Стал младшим политруком красноармеец Маурин, политруком — Арсеньев, который, кстати, не раз участвовал в стрельбе прямой наводкой. Его бойцы и знать не знают, что такое трусость. О трусах я вообще вам рассказать ничего не смогу: их у нас нет. А о смельчаках — пожалуйста. Вот Владимир Орлов, съемщик шкур на мясокомбинате. Это истинный храбрец. Разведывать цели он отправляется к самому переднему краю противника. При его участии уже уничтожены две роты вражеских солдат, походная немецкая кухня, хозяйственный взвод, группа автоматчиков. Он же вынес из-под ураганного огня раненого командира батареи. Кстати, не хотите ли посмотреть сводку боевой работы нашего полка? Вот что мы «наработали» своим огнем с начала войны. Сведения, понятно, неполные. Не все мы могли подтвердить документально, да и не все смогли должным образом наблюдать.

Гусев подает листок, на котором мы читаем:

«Рассеяно 15 рот фашистских солдат,

уничтожено и подавлено 40 артиллерийских и минометных батарей,

разбито 29 пулеметных гнезд,
8 минометов и орудий,
11 танков и танкеток,
34 грузовые машины,
2 броневика,
1 походная кухня,
16 повозок,
2 склада с боеприпасами,
40 блиндажей,
3 фашистских штаба,
5 наблюдательных пунктов,
2 зенитных и
8 противотанковых орудий».

— Вот так, друзья корреспонденты, воюют бывшие ленинградские слесари, бухгалтеры, артисты, студенты. Сейчас перед нами важнейшая боевая задача — пробить своими снарядами брешь во вражеском кольце вокруг Ленинграда, одну за другой уничтожая огнем бронированные точки немцев.

Много знакомых повстречали мы в 85-й дивизии. Встретили и старшего политрука Гродзенчика, того, которому июльской ночью везли подарок от жены ко дню рождения — торт и коробку конфет. А старший политрук Тихвинский, помнач политотдела по комсомолу, тощий, бледный от голодухи, долго и горячо рассказывал нам о комсомольцах, какой они боевой и бесстрашный народ.

— Когда мы нынешним летом впервые столкнулись с немцами, многие у нас в дивизии — от рядового до командира — поняли: надо учиться и учиться. Без умения врага не разобьешь. А теперь, встречая очередное пополнение, старые бойцы называют молодым ребятам имена героев дивизии, говорят: «Вот у кого учились мы. Они погибли, но в бою всегда незримо идут с нами, в наших рядах. Помните о них. Учитесь у них». Опыт и боевые традиции — великое дело. Они нам здорово помогают бить врага. Вот вы говорите, были у Гусева и он вам много чего нарассказал. А про комсомольца Шабловского он рассказал? То-то. Сложное дело артиллериста Шабловский освоил в совершенстве. Это он расстреливал танки противника прямой наводкой, это он своими снарядами обращал в бегство вражескую пехоту. Его орудийный расчет, его орудие всегда готовы к бою, всегда действуют безотказно. Точность его стрельбы вызывает одобрение даже опытнейших старых мастеров артогня. И товарищ

Бардин вам много правильного рассказал. Насчет тактики, и немецкой и нашей. Эти завшивевшие фашистские вояки любят давить на нашу психику разными шумовыми эффектами. Излюбленный их прием при наступлении — засылать во фланги нашим подразделениям своих автоматчиков и дикой пальбой создавать видимость окружения. Надо признаться, было время, когда трюк этот удавался и крепко действовал на наши нервы. Теперь фокус разгадан. Однажды мы шли в контратаку. На правом фланге у нас поднялась автоматная трескотня. Что такое? Не окружены ли уже? Секретарь комсомольского бюро Пашков отправился разведать, в чем дело. Подкрался и видит: всего-навсего один-единственный немецкий автоматчик стрекочет. Пашков пристрелил его — и на фланге смолкло. Дело пошло, контратака закончилась успехом. После нескольких случаев к разговорам об окружении у нас стали относиться с осторожностью, и — поговорите с бойцами — слово это они употребляют чаще всего с иронией, когда хотят, например, посмеяться над паникерами и любителями приврать.

Штрих за штрихом собираем мы материал, из которого постепенно складывается широкая картина боевого пути не просто знакомой, но близкой нам бывшей ополченческой дивизии Московского района, боевой путь мирных трудовых людей, ставших бойцами и командирами. Дивизия сыграла огромную важную роль, закрывая собой пустые лесные пространства под Кингисеппом на реке Луге, через которые немцы хотели с ходу прорваться к прямым шоссейным магистралям на Ленинград. Дивизия сражалась героически, и когда-нибудь герои ее сами напишут историю своих сражений.

В землянках, в окопах дивизии мы вспоминаем минувшие дни, но дни нынешние тоже вызывают немалые раздумья. На всех фронтах идут жестокие сражения. Если под Ростовом-на-Дону наши войска успешно громят и гонят зарвавшихся немецких вояк, то под Москвой ситуация еще очень острая. Немцев бьют, но они не оставили мысли овладеть нашей столицей. Тревожные, очень тревожные вести уже давно поступают из района Волхова и Тихвина. Тихвин, как рассказывают, в руках немцев; изо всех сил войска гитлеровского генерала Шмидта рвутся к Волхову. Положение страшноватое. Это расчет на то, чтобы все-таки полностью замкнуть кольцо вокруг Ленинграда. Что не совсем удалось в рай-

не Шлиссельбурга и Ладожского озера, то немцы намерены осуществить броском от Тихвина на север вокруг озера. В штабе фронта нам еще с неделю назад рассказывали о том, что наше командование располагает захваченным у противника приказом, из которого становится ясным задуманное Гитлером. Фюрер решил через Тихвин и Волхов выйти к южным берегам Онежского озера и там соединиться с белофиннами. Вокруг Ленинграда будет двойное кольцо, и уже без трещин, и никакие наши удары «на Мгу» тогда не дадут ни малейших результатов: они будут просто бессмысленны. Вот как хочет Гитлер расправиться с городом Ленина, который не смог взять в лоб: он хочет задушить его блокадой, осадой — голодом. Страшный, изуверский план.

Но одно дело — план, другое дело — его осуществление. Если Тихвин уже взят, то под Волховом и Шумами идут ожесточенные бои, враг успеха там не имеет. Корреспонденты фронтовой газеты «На страже Родины» сообщают, что под Шумами непрерывный бой идет целую неделю — обе стороны дерутся за станцию Войбокала. Деревни вокруг по нескольку раз в день переходят из рук в руки. В Волхове, где стоит первая наша электростанция, построенная по ленинскому плану электрификации России и на стройку которой когда-то пароходом «Коммунар» ездили мы, новгородские пионеры, на экскурсию, земля дрожит от артиллерийской канонады. Слышны уже и пулеметы. Но гвардейцы прославленного командира Гагена не только сдерживают натиск врага, но и отбрасывают его, то и дело переходя в контратаки.

Ленинградцы и Ленинградский фронт с тревогой прислушиваются к тому, что происходит под Тихвином. Для всех нас чрезвычайно важно, чтобы враг не прошел к Онежскому озеру.

В один из дней, когда мы вновь сидели в землянке Степана Бардина и по обрывочным телефонным разговорам пытались представить себе картину боя, разыгрывающегося на торфянике по сторонам от насыпи Кировской дороги, принесли «Ленинградскую правду» с нашей полосой о дивизии. Были тут статьи и самого Бардина, и Тихвинского, и Гусева, Гродзенчика. Была и наша с Михалевым, но подписанная очень странно: «Н. Самсонов». Все дело в том, что, когда статья была уже написана, она нам не понравилась, мы поссорились и сначала один, за ним другой «сняли» подписи под статьей,

то есть попросту каждый в ярости зачеркнул свою фамилию. Но полосе надо было срочно идти в набор, в секретариате требовали немедленно ответить, какая же все-таки будет подпись. Я сказал: «Ну, подпишите: Пушкин. Александр Сергеевич». Михалев рявкнул: «Уж тогда прямо — Лев Толстой». А вот вышло «Н. Самсонов» — первое, что вздумалось товарищам из секретариата.

Газету с полосой вертят в руках, рассматривают, читают. На первой странице я вдруг вижу сообщение: «Награждение бойцов, командиров и политработников Ленинградского фронта», и там, где перечисляются награжденные орденом Красного Знамени, читаю: «Ефрейтор Абадзе К. К.». Кушук Абадзе! Тот самый молодой адыгеец, бывший учитель, который стал наводчиком у тяжелого орудия в дивизионе Яковлева. Удивительно радостно читать об этом. Здорово, очень здорово. Мы же приехали на огневые позиции дивизиона, когда пушки еще были горячими, когда невдалеке перед их стволами горели подбитые танки немцев. Чертовски приятно, когда награждают людей, которых ты знаешь, и когда ты уверен, что они достойны награды.

В передовой этого номера нашей газеты говорится:

«Наши орудия были расположены на открытой позиции и сильно беспокоили фашистов. Немцы решили во что бы то ни стало уничтожить их. Для подавления орудий они двинули 25 танков, открыли бешеный огонь, рассчитывая навести панику в рядах артиллеристов. Но смельчак Абадзе сорвал гнусный замысел врага. Он подпустил вражеские танки на близкое расстояние и прямой наводкой стал бить по ним. В этом неравном бою артиллерийский расчет, где наводчиком тов. Абадзе, уничтожил несколько вражеских машин».

Батюшки! — думаю, вчитываясь в эти строки. — Неужели же и мы с Михалевым пишем в своих корреспонденциях так неточно и сугубо приблизительно, как о наводчике Абадзе написал автор передовой? Танков было — мы это помним, это записано в наших блокнотах — не 25, а десятка полтора. Зачем прибавлять? Пятнадцать мощных машин в броне тоже достаточно. Или автору передовой этого показалось мало? И не один смельчак оказался на батарее — все до одного там были смельчаками и героями. И подбили они дружным своим боевым коллективом из своих 152-миллиметровых пушек-гаубиц не «несколько танков», а девять, о чем мы написали и что

было опубликовано в «Ленинградской правде» 27 августа. Абадзе — герой. Он действительно многое сделал в том бою. Он стрелял из орудия командира Бахарева, когда в расчете ранило наводчика, стрелял из орудия Грибанова, в котором был постоянно наводчиком. Но надо ли писать о героях так, будто они действуют в одиночку: «сорвал гнусный замысел», «подпустил», «уничтожил»? То был блестящий бой, в котором до предела слитно действовали все расчеты орудий, все взводы батареи.

Нам стоит призадуматься над тем, чтобы так не писать, выхватывая одиночек из массы, изолируя их от действительности. А то получается вроде бы и правда, и в то же время покрытая налетом искусственности, которая мешает читателю верить в написанное.

О том, что правдой никогда не может быть плоскостное, однолинейное изображение чего-либо, свидетельствует и другой факт, сообщенный в том же номере газеты. С одной стороны, здесь награждение храбрецов орденами и медалями, а с другой стороны, и вот что.

«Вчера в «Ленинградской правде», — читаем мы, — был напечатан приказ Военного совета Ленинградского фронта о нарушении военной присяги бывшим командиром Н-ской стрелковой дивизии полковником Фроловым И. М. и бывшим военным комиссаром той же дивизии полковым комиссаром Ивановым К. Д. Военным трибуналом фронта они лишены воинских званий и приговорены к расстрелу...

Фролов и Иванов совершили самое тяжкое злодеяние. Получив ответственное задание от командования фронта, они проявили трусость и преступное бездействие, в результате чего выполнение боевого задания было сорвано. Они предали страну, советский народ в трудный и ответственный момент для Ленинграда и Ленинградского фронта, когда бойцы, командиры и политработники напрягают все свои усилия, мужественно, честно, не щадя своей жизни, с боем отвоевывают каждый метр земли, чтобы прорвать кольцо вражеской блокады».

Жестокий штрих, но его никуда не денешь, его не обойдешь, если хочешь, чтобы картина была правдивой.

«Фролов И. М., Иванов К. Д.» — из какой же это дивизии? Мы ее не знаем, мы в ней, очевидно, не были, таких фамилий не помним. Но мысль все возвращается к этим «Фролову И. М. и Иванову К. Д.». Что совершили

они? Может быть, в решающий час бросили свою дивизию, как бросили свой полк перепуганные командиры, дрожавшие в канаве под Федоровкой, под прикрытием снайпера? А может быть, под ураганным огнем противника не смогли поднять в атаку свои батальоны? Но могло быть и третье: они не захотели губить людей, бросая их в безнадежное наступление «на Мгу», не поняв жестоких, но неизбежных закономерностей войны.

17

Не знаю, может быть, роль тут свою сыграли эти непрерывные наступления вдоль дороги и на берегах Тосны, от которых только потери, а выигрыш — десятки метров отвоеванного торфяника, или была и еще какая-нибудь причина, но только наш хмурый друг, полковник из оперативного отдела штаба армии, сказал нам, что в армию на место генерала Лазарева назначен новый командующий — генерал-майор артиллерии Свиридов. У этого, дескать, дело пойдет, потому что в обороне артиллерия — основа основ. А в наступлении — тем более.

Конечно же, нам захотелось взглянуть на нового командующего. С первой попавшейся корреспонденцией, якобы для консультации, мы отправились к нему. Собственно, это была не корреспонденция, а статья одного из крупных командиров о том, как, блокируя дзот за дзотом с помощью небольших ударных групп, прогрызать немецкую оборону.

Свиридов разместился в ничем не примечательном, обычном усть-ижорском домике близ здания штаба. Домик стоит на склоне невского берега, окружен садом и забором, у калитки несет службу автоматчик, в освещенных аккумуляторной лампочкой сенях, возле аппарата полевого телефона, — капитан и майор.

Командующий армией сидел за столом над бумагами с толстым красным карандашом, зажатым в пальцах. Было часов десять вечера. Темная, хмурая ранняя ночь темного, хмурого декабря. Время от времени, сотрясая землю и домик, бьют шестидюймовки с канонерских лодок на замерзшей Неве. С хрустом, методично рвутся мины на одном из перекрестков усть-ижорских дорог (мы уже давно умеем различать по звуку, на каком именно),

тикают на стене оставленные хозяевами гиревые ходики, за вспучившимися старыми обоями шуршит и шуршит мышь.

Свиридов долго читал подготовленную нами статью, изредка делал на полях карандашные пометки. Лицо у него волевое, умное. Сам весь плотный, собранный. Таким нам и представлялся большой артиллерийский начальник, представитель одной из самых «интеллигентных» отраслей военной профессии.

Удивляло, почему сам-то он сидит, а нам присесть и не предложит. Неужели только потому, что у него в петлицах звезды генерала, а у нас на двоих по два михалевских «кубика»? Если так, то это очень грустно для армии страны, строящей социализм и где не только производственные отношения между людьми, но и все иные их отношения должны строиться иначе, чем в мире капитала. У нас не должно быть чинодральства. Дисциплина — это одно, а высокомерие, идущее от высокого звания, — совсем другое. Щелкнет тебя судьба по лбу — и из генерала ты быстренько вновь станешь солдатом. Звание, должность — у нас это совсем не то, что было в царское время — князь, граф, барон. Лучше уж не подражать дурным образцам прошлого, надо всегда предвидеть возможные возвраты и к первоначальным своим состояниям.

Так или иначе, а минут тридцать мы протоптались перед столом командующего, пока он читал подготовленную нами статью. Самое смешное, что я-то человек невоенный и на все правила субординации мне бы наплевать, я запросто мог бы развалиться на стуле перед генеральским столом, мы с генералом были во всем решительно равны перед законами и правилами. Но вот тем не менее и я «нес службу».

Свиридов читал молча, почесывая лоб карандашом. Не поднимая головы, он сказал вдруг:

— Скребет где-то.

— Да вот здесь, за обоями, — ответили мы.

— Нет, я имею в виду немца: где-то скребет минами.

Статью он одобрил, посоветовал сделать два мелких исправления и окликнул кого-то, кто бы проводил нас до ворот.

В эти дни мы уже квартировали не у бабки-кулачки, мы ее покинули и ушли в другой дом, где нам отведен

широкий топчан за русской печкой, на котором мы можем блаженствовать по ночам в тепле.

— Слушай, — сказал Михалев, когда мы пришли на свой ночлег после посещения «генеральской квартиры», — а он бы не обеднел, если бы угостил нас хотя бы чаем с хлебом. Есть жутко хочется.

Мы помолчали, попыхивая в темноте «беломорами», полученными у наших друзей — хозяйственников 85-й дивизии. Нам в общем-то был симпатичен новый командующий армией; в штабе армии, в дивизиях тоже о нем хорошо отзывались; хотелось найти оправдание тому, как он держал себя с нами; не хотелось его осуждать. Может быть, действительно во всем виноват мундир. Может быть, правы опытные виноделы, которые всегда против того, чтобы новое вино наливать в старые мехи. Киснет оно там — свидетельствует древний опыт. Хороший человек, умный артиллерист, а поди ж ты! Увидеть бы его в простом пиджачке — наверно, интересно бы побеседовали.

— А знаешь, — сказал я. — Не будем от этого огорчаться — оттого, что генералы нас с тобой не сажают за стол. Леший с ними. Опыт свидетельствует, что кое-кого из них потом будут долбать со страшной силой: дескать, не так воевали. Судить даже некоторых станут, вот как и этих командира и комиссара дивизии — Фролова с Ивановым. А солдаты — они всегда солдаты. Наше счастье, что мы все время с ними, с красноармейцами, то есть с солдатами. Нам с тобой ничего «пересматривать» не придется, ничего не надо будет стыдливо и крадучись подчищать в наших писаниях, переделывая героев в преступников, а трусов и предателей — в героев. А вот летописцам-то разных высокопоставленных житий предстоит нелегкий баланс на канате. Как считаешь?

— В общем ты, может быть, и прав. Но что он нас чаем не угостил, это нехорошо с его стороны.

Назавтра, напившись до отвала чаю у ополченцев в районе Саперной, мы поздним вечерним часом катили к своей Усть-Ижоре, намереваясь заскочить в нее только на минутку и ехать дальше, в Ленинград. Дул сильный студеный ветер, в щелях нашего поистрепавшегося «козлика» подвывало. Мела поземка, дорогу было видно плохо. И вдруг на повороте от Понтонной к Усть-Ижоре, сторонясь встречного грузовика, Бойко в этой белой круговерти промахнулся левыми колесами, и мы, перекиды-

ваясь через крышу, покатились вместе со своим «козликом» под откос.

Странное это ощущение, когда ты не можешь понять, где низ, где верх, когда становишься то на голову, то плюхаешься на бок, то твои ноги закидываются тебе за спину. А при этом вокруг, бия тебя по чему попало, мотаются разные, в том числе и довольно твердые, предметы в виде чемоданов, дисков с патронами, ручки для заводки мотора.

Переворотов было, очевидно, два или три, осуществлялись они достаточно быстро, и мы оказались на поверхности замерзшего болота крышей вниз, колесами кверху, запутавшиеся друг в друге. А мотор суматошно работал, и слышно было, как из него что-то лилось. Это «что-то» было, конечно, скверное горючее: солярка, перемешанная с плохо пахнувшим низкопробным бензином.

— Мы же сейчас взорвемся!

— Бойко, выключай мотор!

— Ничего не могу найти!

— Рви провода!

— И проводов не нахожу, у меня же голова за рулевой колонкой.

Кое-как заглушили этот злосчастный мотор, кое-как выбрались из кузова на волю. Осмотрели себя, машину — всё и все целы.

Нужно отдать должное шоферу грузовика, который в известной мере был причиной нашего тарарама. Он стоял на насыпи и ждал, не надо ли нам помочь. Вместе с ним мы поставили «козла» на колеса и с помощью грузовика тросом вытащили из болота на дорогу. «Козел» встряхнулся и как ни в чем не бывало побежал дальше. А у нас — горячка-то прошла — начинали ныть растянутые мышцы, свихнутые шеи, помятые ребра.

Дома я был часов в двенадцать ночи. Вера, оказывается, разболелась еще пуще. Снова нужен был врач, а не то подступала беда.

Пошел на Сенную, где живет Бойко, — он еще не лег, машина стояла на дворе, — поехали за стариком из Максимилиановской, квартира которого, как я запомнил, была на улице Плеханова. Дворник не хотел отворять калитку ворот. Ему на помощь подошли мужчины и женщины из домовой самообороны. Едва растолковал им, опухшим от голода, кто и зачем мне нужен.

— А, доктор-то! — сказала одна из женщин. — А он умерши. И жена его умерши. Отвезли обоих на дровяной склад.

Домой вернулся, уж и не ведая, что и как делать дальше, уставший так, что, казалось, вот свалюсь и не встану. Но постучали с лестницы в дверь. Пришлось идти отворять. Оказалось, нарочный из редакции. Срочно требует редактор. Что-то случилось.

Надел шинель и отправился пешком в редакцию.

Редактор сидел в кабинете, помешивал ложечкой чай в стакане. Часы на столе показывали половину третьего ночи.

— Вот что, — сказал он, глядя мимо меня. — Как известно, нашими войсками несколько дней назад освобожден Тихвин. Как известно, через Ладожское озеро на днях пробита линия автомобильной дороги на Новую Ладогу. Надо ехать туда, на Волховский фронт.

Я задремывал в мягком кресле. А редактор, не видя и не понимая причины моего молчания, продолжал:

— Мы обдумали. Кроме вас, пока некому. Одни больны, другие в командировках.

— Пожалуйста, — сказал я. — Только у меня жена в тяжелом состоянии. В редакции это известно. Ее бы в госпиталь устроить...

— Возьмите с собой. Ехать она может?

— Не знаю. Надо спросить или ее, или врача.

— Словом, вот вам командировочное предписание. Сейчас без двадцати три, а в пять от штаба армии ПВО пойдет за озеро грузовая машина. Мы договорились, вас захватят.

Б О Л Ь Ш А Я   З Е М Л Я

1

Позади осталось несколько десятков километров заледенелой, избитой колесами дороги; полуторку на ней то тряско взбрасывало, то как бы испытывало на скручивание или на излом, то сносило в канаву; раз десять машина и вовсе глохла, и происходило это по тем же самым причинам, по каким задыхался, бывало, и наш фронтовой «козлик»: суррогатное горючее, на котором все мы ездим в черте Ленинградского фронта, состоит не столько из бензина, сколько из каких-то масел, а еще точнее — из масляных отходов. Позади ленинградские пригороды, еще несколько месяцев назад такие мирные, солнечные, ныне измятые гусеницами и шинами, тусклые от дыма, от копоти времянок, костров, бомбовых и минных разрывов, серые от шинелей, брезентов, пушек, танков, подвод, хмурые под грузным холодным небом. Мы основательно продрогли в пустом кузове грузовика. Погода неуютная — сыро, мозгло; воздух все еще хранит в себе стылую влагу недавних оттепелей.

Путь от Баскова переулка, от штаба ПВО, у подъезда которого мы забрались под утро в этот гремящий кузов, и до берегов Ладожского озера занял несколько часов. Впереди теперь широкое, далеко уходящее в дымку, снежное озерное поле, белое в черных оспинах пороховой гари, простроченное нитями автомобильных колей,

распаханных, разметенных до льда, отмеченных по сторонам темными вешками.

Перед тем как длинным бревенчатым спуском съехать с высокого берега на лед, мы греемся в одной из избушек, поставленных над озером под кривыми коряжистыми соснами. Мы в Коккореве, где начинается ледовая дорога на Большую землю. Вокруг раскаленной времянки, которую соорудили из двухсотлитровой железной бочки, на ящиках, на табуретах, мешках — шоферы, бойцы, сухие, желтые, голодные женщины, тихие, полуживые дети: возобновилась эвакуация гражданского населения из Ленинграда. Бойцы кормят ребятишек краюхами хлеба, кусками выловленного в карманах сахара, поят чаем. В глазах женщин, стариков, старух не только голод: одним, даже самым всеобъемлющим, самым увесистым словом их переживания выразить нельзя. Уходя от голодной смерти, они уходят и от родных жилищ, от всего того, чем жили долгие годы, расстаются со своим делом, со всеми дорогими — большими и малыми — привязанностями. Им думается, может быть, что, спасаясь от страшного настоящего, они вместе с тем теряют и все свое будущее. Они идут в неизвестность, туда, в глубь страны, куда из западных, захваченных немцем краев уже стеклись миллионы и миллионы людей, не захотевших ходить в рабском ярме гитлеровского «нового порядка».

В избушке появляется капитан-дорожник в извоженном, видавшем виды полушубке.

— Товарищи ленинградцы, нет ли у кого папироски? Сто рублей за одну затяжку! Как там фабрика-то Урицкого, работает?

— Работать работает, да не папиросы больше, а гранаты выпускает.

Порылись в карманах — полпачки махорки нашлось. Бережно разделили на малые щепоти, неторопливо скрутили самокрутки из газетной бумаги; запахло давними колхозными собраниями, рыбалками, ночевками у полевых и лесных костров.

Капитан распустил ремень с кобурой, расстегнул полушубок.

— Сейчас отправитесь дальше, — сказал он, затягиваясь едучим дымом. — Теперь у нас безопасно, лед окреп. А то было...

Он из дорожно-эксплуатационного полка, который прокладывал дорогу через озеро, на озере находится с первого дня — с того самого, когда начались работы; он все знает, по поводу всего волнуется. Мне, как военному корреспонденту «Ленинградской правды», наверняка умеющему хранить государственные тайны, капитан даже называет номер своего полка — 64-й и сообщает название ледовой ладожской дороги: ВАД-101 — Военно-автомобильная дорога № 101.

— Я еще видел, как товарищи Жданов и Кузнецов на озеро приезжали, сами лично знакомились с обстановкой. Товарищ Жданов сказал: «Без такой дороги, без подвоза с Большой земли Ленинграда не отстоять. А отдавать его мы не собираемся, значит, должна быть дорога. Ясно?» Ясно, говорим. Яснее некуда. Не знаю, точно это или нет, но первыми через озеро прошли будто бы всеволожские партизаны — возвращались с задания в Ленинград. От Кобоны, на том берегу, будто бы на лодках до острова Зеленец, или Зеленцы, — по-разному его называют, — а от Зеленца сюда до Коккорева уже льдом двигались. Слабый льдишко был, но держал. Тогда-то будто бы Военный совет фронта и отдал приказ нашим дорожным частям начать работу и вести ее так, чтобы двадцать пятого ноября трасса вступила в строй. За всю стратегию я вам не скажу, но то, что Тихвин мы взяли сейчас обратно, тут наша дорога свою роль — уж это точно — сыграла. Несколько дивизий мы по ней на помощь Волховскому фронту перебросили. Танки туда перемахнули, моряки перешли...

— И лед держал?

— Поначалу не очень. Когда я с разведкой шел, в средних числах ноября, он до того еще был жидкий — подводу с лошадью и то не выдерживал. А позже взялся. Через несколько дней мы уже двести подвод перегнали из Кобоны в Коккорево: мешки с мукой. Конная тяга должного результата не дала. И лошаденки еле дышат, и грузу на подводу положишь — смешно смотреть. Двадцатого ноября по трассе на своей «эмочке» лично проследовал начальник тыла фронта генерал Лагунов, может, знаете? За ним для пробы прогнали несколько грузовиков — туда и обратно, и в ночь на двадцать второе ноября решились: выстроили в Кобоне шестьдесят грузовых автомашин с ценным для Ленинграда грузом. Во главе встал один из наших командиров, майор Порчунов, и двину-

лись. Льдишко потрескивал, гнулся под колесами. Надо было с ходу проскакивать. Остановишься — на дно пойдешь. Шоферы сидят за баранками, а дверцы у кабин отворены: чтоб в случае чего — долой из кабины. Так оно и пошло, и пошло...

— И потерь не было?

— Потерь? — Капитан оглянулся, понизил голос. — Ехать дальше будете, сами увидите. Милый товарищ! Мы тут от южного берега, от Шлиссельбурга, — рукой подать, десяток-полтора километров. Немцы по всей трассе из артиллерии бьют. Что ни день, с воздуха бомбят, пулеметами обстреливают. Лед и сегодня, бывает, ломается. Словом, сами увидите, какое тут местечко для прогулок через озеро.

Я смотрю в окно. На берегу длинными скирдами уложены штабеля мешков с мукой, ящиков с макаронами, вермишелью, бочек с селедками, с треской... Их много, и навезено все через лед батальонами военных автомобилистов и гражданских шоферов-ленинградцев. Дальше припасы для нашего города, для войск, фронта, зябнущих и голодающих в траншеях за Спиртстроем, под Пушкином и Урицком, в районе Ораниенбаума, пойдут железной дорогой. Может быть, и голоду теперь конец? Может быть, и нет нужды в том, чтобы вывозить и вывозить за озеро, в глубь страны, население Ленинграда?

Капитан усмехается на мой вопрос.

— Кое-какие силенки этим продовольствием поддержать, пожалуй, и можно. Но восстановить иссякшие — вряд ли. — Он кивает на голодных людей, задремывающих возле жаркой печки. — Им много, очень много надо. Да и нам с вами усиленная норма нисколько бы не помешала. Вы ели сегодня что-нибудь или нет? — спохватывается капитан.

Конечно, мы ничего не ели, потому что у нас ничего и не было; мы надеялись добраться к вечеру до Новой Ладоги, в устье Волхова, до земли, которая рисовалась нам не иначе как землей обетованной, где можно будет до отвала, впервые за два с лишним месяца, поесть манны небесной, в мечтах наших представавшей в виде больших, очень больших буханок хлеба. Буханки, буханки, буханки... Хлеб, хлеб, хлеб... Ни на что иное фантазии не хватало. Ну, может быть, от силы еще виделся чай. Крепкий такой и очень сладкий.

Была середина дня, когда мы медленно сползли со своей машиной по деревянной дороге на лед. Там еще разок — в двадцать пятый, наверно, на дороге от Ленинграда — у нас проверили документы, и мы двинулись через белую равнину, дальние края которой плавно сливались по горизонту с дымчато-серым небом. Нитка дороги была узкая, дорожными стругами прорезанная в снегу до льда. Колеса машины катились по черно-зеленым льдистым колеям. Ясно просматривалась пузырящаяся от давления озерная вода, в ней мелькали тени рыб — может быть, знаменитых ладожских сигов, за которыми до войны любители вкусно поесть гонялись по ленинградским магазинам.

Прав был капитан. О трудностях освоения озерной трассы лучше всего рассказывала сама трасса. По сторонам от нас громоздились буйные, как торосы, вороха слежавшегося снега, который пришлось сдвинуть с места, чтобы под ним открылся лед. Не трудно было догадаться, что нитка дороги то и дело меняет свое снежное русло: всюду воронки от бомб, от снарядов. Это не воронки, правда, а просто широкие пробоины во льду, черные от взрывчатки. Всюду колотый, перерошенный лед. То там, то здесь стынут в нем мертвые автомашины. Одни наполовину в воде, обмерзшие, присыпанные снежком — те, что провалились в пробоины при артобстрелах и бомбежках; другие — обгорелые, черные, угодившие под пулеметный огонь с неба.

По временам минуем брезентовые палатки, обложенные снегом. В таких палатках обогреваются и даже живут несущие службу на льду дорожники, регулировщики, лейтенанты и сержанты контрольно-пропускных постов. Хорошо, что день хмурый, тихий, безветренный — люди стоят в полушубках среди озера, пропуская нас мимо, не боясь ударов с воздуха, маша флажками: путь свободен. Но нетрудно себе представить, какой тут ад, когда ветер на полную силу рвется с севера через пустые озерные пространства. Тогда просто нестерпимо. А еще совпадает и так: день ветреный и ясный; в таких случаях ледяной ветер и пулеметы «мессершмиттов» объединяют усилия, чтобы согнать, сбросить людей с ладожской трассы.

Спешим, спешим через лед со скоростью километров в сорок, не больше. Зябнут мои спутники — Вера и один из членов редколлегии нашей газеты, тоже едущий по каким-то делам в Тихвин. Они сидят рядком на длинном

ящике, прижимаясь спинами к кабине. Вера совсем больна, ни на что вокруг не смотрит. Член редколлегии тоже не видит ничего, но по иной причине: у него плохое зрение, и он носит многостекольные сложные очки, которые при всей их сложности не очень-то ему помогают. Оба они мерзнут и дремлют, укрытые брезентом. Я в шинели, в сапогах. Под шинелью только гимнастерка, мехового жилета у меня нет, никто мне такого не выдал, я все еще не могу доказать военным комиссарам, что должен быть призван в армию; я по-прежнему лицо «гражданское» и уже давно убедился, что нет ничего хуже такого положения, когда идет война и когда вокруг тебя лица сплошь военные. Словом, чертовски холодно в шинели среди заледенелого Ладожского озера. Одно утешает в какой-то мере: людям-то, день за днем живущим на этом льду, вряд ли теплее, чем мне, а вот живут, работают, терпят, переносят.

Прыгая с ноги на ногу, стараюсь бодрить своих спутников и невольно веду глазом вправо, туда, где за снегами и льдами, в хмуром полусвете декабрьского дня, проходит южный берег Ладоги и где в истоках Невы затворяет собою реку островок, на котором упрямо стоит против немцев древняя русская крепость Орехов, или «Орешек», а по-нынешнему Шлиссельбург.

Удивительно, что бои вокруг Ленинграда, как я уже видел, бывая в Нарве и в Копорье, идут в тех же местах, через которые много веков подряд все лезут и лезут к нам то ливонцы, то немцы, то шведы, то снова немцы. Каждый школьник знает, что, захватив нашу Карелию, неугомонные шведы задумали прибрать к своим рукам и Ижорские земли, лежавшие влево от Невы. Шесть с половиной веков назад, как рассказывают летописцы, в Неву, к устью реки Охты, подошли шведские корабли «в силе велице», подвезли строителей, инструмент, необходимые материалы и принялись городить мощную крепость, которая преградила бы путь вверх и вниз по Неве.

Римские папы добрую тысячу лет зарятся на Русь, никак не желающую подпадать под власть католической церкви; на сколько всяческих ухищрений шли они, чтобы только присоединить русскую православную церковь к римской, но каждый раз неизменно получалась осечка за осечкой. В любой час эти добрые папы готовы помочь любому противнику строптивой Руси. Папа Бонифаций II, понтификатствовавший в ту пору, отрядил шведам од-

ного из лучших своих строительных мастеров. Под его руководством в устье Охты и возвели крепость с красивейшим и красноречивым именем Ландскрона — Венец Земли.

О чем не передумаешь, трясясь на морозе в открытом грузовике, чего не вспомнишь. Стараешься в лицах увидеть, как русские полки, в том числе полки новгородцев и ладожан, уничтожают ее вскорости до основания, эту Ландскрону, а затем вот там, на юг от сегодняшней ледовой дороги, на островке в истоках Невы возводят свою крепость Орехов. Орехов сидит так удачно, что ни в Неву с Ладоги, ни в Ладогу с Невы (а следовательно, и из Финского залива) через него не прорвешься.

Шли годы, десятилетия, даже века, многое менялось на земле. Стойкой и неизменной оставалась только алчность иноземных захватчиков; то и дело нападали они на крепость Орехов, и время от времени переходила она на какой-то срок к шведам. Кончилось это лишь во времена Петра I. В его времена это уже была иная крепость, чем в далеком XIV веке. Новгородские умельцы-фортификаторы превратили ее в мощное оборонительное сооружение. Загляни в старые летописи — увидишь много имен тех строителей. То некто Василий Кузьмин перекладывал крепостные стены и башни, то князь «Василий Васильевич подкрепил Орешка городка», то по общему плану усиления военной мощи государства Москва проводит коренную перестройку своего форпоста на Неве, а затем и еще некто Иван Вахрамеев «город делает».

И не зря они это «подкрепляли» и «делали». У стен Орехова прогремело немало ожесточенных сражений, которые закончились только после победоносных войн Петра. С тех пор военное значение крепость утратила. Бывало, школьником не раз приезжал я на экскурсии в Шлиссельбург, входил в обветшалые казематы; экскурсоводы подробно рассказывали, в каком из них и какого «особо опасного преступника» десятилетиями гноили русские цари. Оживали страшные страницы романов Данилевского, как живые виделись претенденты на престол, убитые в этих каменных мешках, неугодные вельможи, бунтари-ниспровергатели, цареубийцы. Проходила перед нами долгая тюремная жизнь и того удивительного человека, которого мы все с уважением называли «шлиссельбуржцем Морозовым».

Последние два столетия крепость была тюрьмой, из которой никто не убежал.

И вот вновь у стен ее гремят бои. Как всем в Ленинграде сегодня известно, крепость обороняет небольшой гарнизон отважных бойцов. Поначалу мы не очень ясно представляли, что там происходит, в Шлиссельбурге. Город был занят в ночь на 8 сентября, когда к устью Невы немецкие войска прорвались из района Мги. Немецкое радио объявило тогда, что занята и крепость «Город-ключ», «Ключ от Ленинграда». Пропагандистского тарараму было много, и нам казалось, что так оно и есть, что немец нас окончательно окружает. Именно тогда мы стали думать о партизанских, подпольных отрядах для борьбы внутри города: отходить уже было некуда. Но вскоре выяснилось, что дело обстоит не совсем так. Сам Шлиссельбург, верно, в руках немцев. А крепость, до которой от города всего двести метров через левый рукав Невы, немцы все же захватить не смогли. Сначала они просто не решились лезть через воду и прозевали целые сутки, в течение которых крепость на острове была пустой. А через двадцать четыре часа сюда подошли лодки со стрелками и пулеметчиками 1-й дивизии НКВД, установили в расщелинах старых стен свое оружие, заняли позиции. Под их огневым прикрытием затем переправили пушки, минометы, боеприпасы. Через какое-то время в крепость прибыли еще и моряки. И когда немцы попытались было сунуться через Неву, их встретили мощным стрелково-артиллерийским огнем. В Ленинграде рассказывали, что перед годовщиной Октября защитники крепости над одной из полуразбитых башен гордо подняли красный праздничный флаг.

Сейчас они там вновь отбивают, должно быть, очередной натиск врага: в нашем открытом кузове слышен грохот огневого боя в районе Шлиссельбурга. Бьют пушки малых и средних калибров, задыхаются от безостановочной стрельбы пулеметы. Там их совсем немного, наших бойцов и матросов под командованием капитана Чугунова, но от их стойкости зависит слишком многое — зависит существование этой дороги через Ладогу, которую они прикрывают и днем и ночью, зависит подвоз продуктов в Ленинград — вся жизнь нашего города. Стоит немецким лыжникам вырваться сюда, на лед,— они перехватят последние наши пути, последние связующие нити. Но лыжники боятся крепости «Орешек». И только их артил-

лерия буйствует: вот они, пробитые снарядами полыньи, обгорелые, затонувшие автомашины...

Наконец и это все осталось позади, мы въехали в старинное рыбацкое селение Кобону, большое, застроенное вместительными крестьянскими домами, бревна, обшивка, наличники которых темны от времен, от прожитой в них жизни, от ладожских дождей и ветров. Груды стянутых веревками узлов возле них, холмы чемоданов, заплечных мешков, толпы людей, обернутых в платки и шали, запах варева — время обеда приспело и людям раздают котелки и миски с гороховым супом. Перед домами по берегу Кобонки, где вмерзли в лед рыбачьи баркасы, встали табором, дымят походные «солдатские» кухни.

Во время недолгой остановки (шофер наш и лейтенант в кабине спешили в Новую Ладогу) нам объяснили, что люди эти с котелками — эвакуированные из Ленинграда. В Коккореве их накормить вволю не смогли — на той стороне, «ленинградской», продукты, перевезенные через озеро, имеют поистине цену золота; а здесь, в Кобоне, всего больше, здесь специально открыты питательные пункты. Нам нестерпимо хотелось этого вкусно пахнущего супа, но и столь же нестерпимо стыдно было выпрашивать его у тех, кто им ведал. Мы же еще не умирающие, мы не от голодной смерти уносим ноги, мы отправляемся в обычную редакционную командировку. И мы присоединяемся к шоферу с лейтенантом и тоже согласны уже ехать дальше, чтобы поскорее покинуть Кобону, не видеть этих соблазнительных кухонь и котелков, не вдыхать густых гороховых запахов.

На выезде из села я припоминаю, что в Кобоне, именно здесь, в каком-то из этих старых, исщипанных осколками бомб рыбацких домов, на самом переломе двух веков, родился и провел свою молодость наш ленинградский поэт, самобытный, звонкий, красивый мыслью и стихом,— Александр Прокофьев. Сейчас он в Ленинграде, одет в военную форму, ездит по фронтовым частям, пишет стихи, которые передают по радио и публикуют в газетах. Мне с давних пор помнится его портрет: заставский рабочий парнишка в косоворотке и кепочке. А недавно я увидел его возле окошечка бюро пропусков в Смольный: такой, как все вокруг, командир Красной Армии. И тогда я вспомнил и несколько давнишних стихов Прокофьева. Я вспомнил его песни о партизане Громобое с их

безудержно щедрыми гиперболами, с радостным лихим размахом, вроде вот таких:

Шел от гая и до вира,
От сражений в новый бой.
На конях сидит полмира,
Впереди всех Громобой!

Сверху — небо голубое,
Снизу — красная земля,
Сбоку — шашка Громобоя
От Кубани до Кремля!

В народе любят его стихотворения, они не для снобов и так называемых «знатоков», они именно для народа, потому что поэт Прокофьев сам и есть народ, он из этих стародавних изб, которые отходят сейчас назад за нашей машиной в зимние мягкие сумерки. Давно, очень давно, пожалуй, еще году в 1927-м, когда я бегал в школу № 28 на канале Грибоедова, мы, школьники, прочли прокофьевскую «Песнь о Ладоге»:

Мы крыли в хвост и гриву
Обжаренную медь,
Чтобы греметь над Римом,
Над Лондоном греметь.

И каждый парень — Разин,
Иначе не суметь,
Чтоб, прогремев над Азией,
В Америке греметь.

По Ладоге, и Каме,
И по другим рекам
Мы грохотали камнем
Рабочих баррикад.

Мы, рядовые парни
(Сосновые кряжи),
Ломали в Красной Армии
Отчаянную жизнь.

И, клятвенную мудрость
Запрятав под виски,
Мы добывали Мурман,
Каспийские пески.

Мы по местам нездешним
И по местам моим —
Мы солнцем в Будапеште
Стояли и стоим!

И кашу дней заваривать
Пора. Не угорим.
Мы солнцем над Баварией
Стояли и стоим!

За это солнце парни
(Сосновые кряжи)
Ломали в Красной Армии
Отчаянную жизнь.

Стихотворение было близко каждому из нас, мальчишек и девчонок, хотя еще никто из нас не «ломал» отчаянную жизнь в Красной Армии, потому что нам было тогда всего-то по пятнадцати, не более, и о многих друзьях моих того времени, плоскогрудых, очкастых, росших в голодные годы гражданской войны, никак нельзя было сказать: «сосновые кряжи». Но все равно мы чувствовали себя могучими кряжами, изо всех сил стремились быть ими, делали по утрам зарядку «по системе Мюллера», обтирались из-под водопровода, бегали в январе на Неву окунаться в проруби, читали Маркса и Ленина. Зачем? Затем, что чувствовали историческое, революционное назначение народа, к которому принадлежали и принадлежим: стоять солнцем будущего, коммунистического и над Будапештом и над Баварией, в Азии и в Америке. Меньше всего думалось о жизни только для себя, меньше всего хотелось стать обывателями, самоустроителями, благоразумными середняками. Мы мечтали о том, чтобы нести людям всего мира солнце, много солнца. Стихи Александра Прокофьева были нам по душе, поэт высказал в них чувства, думы нескольких поколений, и, может быть, потому, что те горячие поколения не уткнулись мордой в собственные корыта мещанских мирков, сегодня так един и героичен советский народ в жестокой борьбе с гитлеризмом, и, может быть, именно это большое чувство любви к Родине, спаянное в железный сплав с интернациональной ответственностью перед другими народами мира, удесятерило силы крохотного гарнизончика, заметенного снегом и пороховой гарью в древней крепости «Орешек».

В нашей семье нашлись, конечно, и отступники и изменники, продажные, подлые шкуры. У немцев они стали сельскими старостами, городскими головами, полицаями, сотрудничают в гитлеровских газетах; иные из них даже поют и танцуют перед немецким офицерьем. Но это не те, кто понимал себя как частицу того солнца свободы,

которое рано или поздно взойдет над Лондоном и Баварией. Еще в самые первые недели войны перед строем красноармейцев был расстрелян один поэт, который — давно ли то было? — кичился своей интеллектуальной исключительностью, тонкостью чувств, блеском рифм. Расстреляли его по суровым военным законам за самую что ни на есть заурядную трусость, за самострел, за то, что, пробив себе руку пулей, он хотел было исчезнуть в каком-нибудь дальнем от фронта госпитале, а там осесть потихоньку в тылу. Он чванливо вопиял в саморекламных трескучих строках: «Я, я, я!..», не ощутив и не желая ощущать это «я» как частицу великого «Мы». Он охотно плевал на общее и никогда не смотрел на него как на свое родное. И он дошел до логического конца.

Но не из таких состоит наш мир, и поэтому мы верим, верим в нашу победу. И не просто верим — мы в ней убеждены. Нам еще греметь над Баварией и над Будапештом. У нас много дел впереди.

Где же, в котором из этих хмурых домов родился поэт, автор таких горячих, зовущих, полных порыва строк? Их уже и не видно, тех кобонских строений... Мы катим и катим сквозь сумерки все вперед и вперед, к Новой Ладоге. Дорога лежит по льду старинного канала, который двести с лишним лет назад, при Петре, был прокопан лопатами от Шлиссельбурга до устья Волхова, в обход неспокойного, капризного озера Нево, как в древности именовали Ладогу.

2

Новой Ладоге лет двести пятьдесят. По петровскому указу вокруг средневекового Никольско-Медведского монастыря в начале XVIII века вырос бойкий торговый городок. Одни его жители перебрались сюда из Старой Ладоги, которая, поблистав во времена Новгорода Великого своим стратегическим положением в борьбе против шведов, превратилась к тому времени в заштатное сельцо и навсегда захирела. Другие — их было большинство — осели здесь, прибыв попервоначалу из глубинных российских губерний на строительство обводных каналов.

Говорят, что лет восемьдесят назад жизнь в Новой Ладоге кипела что кипяток. Здесь шла торговля рыбой, разделанным лесом, веревками и канатами. Были в го-

родке питейные и увеселительные заведения, богатые торговые дома, конторы и трактиры.

В скопление домов, немалое число которых — двухэтажные, оштукатуренные, из кирпича — «каменные» или «полукаменные», мы въехали поздним вечером. Огней, естественно, никаких и нигде — прифронтовая полоса, и все затемнено по строгим инструкциям МПВО. Народу на улицах много, все спешат, но, надо полагать, не в питейные и не в увеселительные заведения, как бывало, а по совсем иным делам, потому что все тут в шинелях или военных полушубках.

Шофер наш сказал, что маленько отдохнет, заправит машину и в начале ночи двинется дальше — у него с лейтенантом приказ не позже завтрашнего утра быть в Тихвине. А как, мол, мы? Что думаем?

А мы уже были окончательно вымотаны и выморожены. Трястись и мерзнуть в кузове сил больше не оставалось никаких. Если мы тотчас не попадем в тепло и не получим хотя бы корку хлеба с кружкой кипятку, то нам конец.

— Ну, тогда, ребята, ищите политотдел дороги. Он где-то здесь.

Мы попрощались с шофером и лейтенантом, которые и сами-то еле держались на ногах, и стали расспрашивать прохожих о политотделе. Минут через двадцать—тридцать я стоял в теплой комнате перед высоким светловолосым человеком, который ничего не мог сказать, только жал мои руки. Так нас снова свела судьба. Это был Михаил Ильич Житенев, бывший секретарь райкома из Гдова, с которым мы немало провели времени вместе, когда я собкорствовал от «Ленинградской правды» в Псковском округе. Я сиживал на пленумах у Житенева, бывал на заседаниях бюро, знал, пожалуй, все, что касалось пограничного района на Чудском озере. Житенев мне нравился: начитанный, остроумный, веселый собеседник, живой, общительный руководитель, разбирающийся и в сельском хозяйстве, и в народном образовании, и в душах человеческих. Он из поколения до конца верных партии коммунистов, таких, как и Данилин, ныне работающий в Усть-Ижоре. До войны все они были вожаками на фронте мирных строек. Сегодня это политруки на фронте борьбы с фашизмом, убежденные, идейные комиссары.

Житенев обнял меня, усадил на стул. Он ничего так и не сказал, видя, что я вот-вот свалюсь на пол. Он кого-

то вызывал, отдавал какие-то распоряжения, и вскоре мы были в его квартире на втором этаже старого «купецкого» каменного новоладожского дома. Жарко топились березовыми дровами две круглые голландки. Но нам все еще было холодно. Боец, связной Житенева, принес ведро кипятку, заварил чай в большом чайнике. Выложил из мешка на стол буханку хлеба. Здоровенную такую формовую буханищу. Достал из этого же мешка преогромную, с хорошее ведро, банку с чем-то заманчивым, еще несколько банок нормальных размеров: шпроты, бычки в томате, тресковая печень. Все это выглядело как во сне — нереально, призрачно, потусторонне.

— Ну, ешьте,— сказал боец, наливая чай в кружки, и придвинул скрипучие венские стулья к столу.

Странное дело: мы не дотронулись ни до одной из банок, хотя гостеприимный помощник Житенева предварительно все их пораскрывал острым ножом-финкой. Зато буханка хлеба исчезла со стола в несколько минут. Да, хлеб, хлеб — основа всему на земле, — с невероятнейшей, предельной силой мы ощутили это, когда от буханки не осталось даже крошек.

Боец достал из мешка вторую.

— И это нам? — спросили мы робко.

— Вам, ребята, вам,— ответил он не без тревоги.— Только лучше бы вы малость повременили. Многие этого не выдерживают, из эвакуированных которые. Поднавалятся на харч, да, глядишь, уже и на том свете раб божий. Утроба не сдюживает. У нее свои возможности.

— Отрежьте, пожалуйста, еще по куску. А после и повременим.

Среди ночи пришел Житенев. Кое-как мы проснулись, отогревшиеся, но и опухшие от полуведра выпитого чая. Есть, правда, все равно хотелось до жути. И тем более хотелось, что еды было сколько угодно. В огромной ведерной банке оказалось сгущенное молоко. Осенью немцы разбомбили на озере баржу с продуктами, в том числе вот с такими банками. Сейчас их как-то достают со дна.

Мы налегали уже не только на хлеб. Взялись и за эту сгущенку, и за шпроты, за бычков.

Житенев смотрел на нас с испугом: не губит ли он людей своей щедростью?

Потом начались вопросы и ответы. Мы расспрашивали о дороге, которая состояла отнюдь не из одного открытого куска по Ладожскому озеру, но главным-то образом

шла по сухопутью от Кобоны, через Новую Ладогу, где мы находились в тот час, и дальше, дальше — лесами к линии Кировской железной дороги. До освобождения Тихвина это была огромная, изматывающая автомобилистов обходная трасса в несколько сот километров. Для нее прорубали просеки в нехоженых лесах, прокладывали гати через вековые болота; в той глухомани было поломано, побито немало тракторов, дорожных машин, автомобилей. Делалось это в смертельно напряженную пору, когда ленинградцы, нанося удар за ударом, пытались протаранить немецкую оборону в сторону Мги.

Может, потому так отчаянны были все наши тогдашние попытки и усилия, что дело и впрямь неотвратимо приближалось к полной гибели Ленинграда. Не взяв Ленинград с ходу, с фронта, гитлеровское командование стремилось опоясать его тугими кольцами глухой осады. Первое кольцо — ближнее — не замкнулось потому, что немцам не дали переправиться через Неву в районе порогов. Второе кольцо тоже не состоялось — немцы не преодолели сопротивления горстки защитников Шлиссельбургской крепости. Тогда-то и начался этот глубокий обход: от Чудова на Тихвин, с замахом обогнуть Ладожское озеро по восточным берегам и на реке Свири соединиться с войсками финнов. Осуществись такое, у нас бы осталась только дорога по воздуху, над жерлами сотен зенитных орудий.

Гитлеровское командование для прорыва через Тихвин собрало крупные силы. Как сегодня известно из печати, на Тихвин под общим командованием генерала Шмидта шли 39-й моторизованный корпус 16-й армии и 1-й корпус 18-й армии; тут взаимодействовали, таким образом, две уже известные нам армии из гитлеровской группы «Норд». К корпусам были прибавлены дивизии танков, эскадры самолетов, всяких иных специальных войск. 8 ноября они взяли Тихвин. Пробег автомашин с грузами для Ленинграда после того как раз и удлинился на многие десятки километров, потому что трасса пошла крутой дугой к Сясьстрою, на Пашский перевоз, Новинку, Еремину гору, порой неведомыми людям местами; затем через Великий Двор машины спускались к станциям Заборье и Подборовье, отстоящим на восток от Тихвина. Теперь, когда Тихвин снова наш, дорога сократилась почти на 200 километров. От Новой Ладоги она чуть ли не прямиком приводит в Тихвин.

— Туда мы каждый день везем эвакуирующихся ленинградцев. Оттуда — припасы для Ленинграда.

Житенев засыпает за столом. Мы тоже хотим спать. Поэтому ложимся, кто на койке, кто на старом продавленном диване, кто на топчанах, притащенных связным Житенева.

Свет погашен, стучит будильник. Хорошо стучит, мирно, по-довоенному. В комнатах тепло, и даже очень. Пахнет хлебом: еще одна буханка, кажется третья, так и осталась нетронутой на столе. Раскрытые банки с консервами боец вынес в кладовку, на холод. Они там, за стеной и за двумя дверями, но отчетливо видишь их содержимое, за которое можно будет снова приняться утром.

Под стук будильника, под усталое посапывание Житенева, который занимает беспокойную должность на военно-автомобильной дороге, вспоминаю Гдов, совместные поездки с этим человеком по Гдовскому району. Переправы на паромах через тихие речки, лесные живописные селения, причудские пески, рыбацкие деревушки, озерную рыбу ряпушку, удивительно вкусную, если ее умело закоптить. Вспоминаю вечерние передачи по телефону в свою редакцию районных гдовских новостей, когда или Людмила Александровна Бацевич, или Аннушка Кукина торопливо записывали мои корреспонденции стенографическими закорючками, а через день-два, а то и назавтра, записанное ими уже представало на полосах «Ленинградской правды», и Житенев тогда или доволен — если материал «положительный», или хмурится — если «отрицательный», то есть критический. Но он умел мужественно встречать критику. Лишнего я ему и его району не приписывал, а уж что есть, то есть — обижайся, товарищ секретарь, сам на себя.

Неплохо работал и жил район вокруг древнего Гдова, район рыбный, яблочный, луговой, а значит, и скотоводческий, молочный. Богатели колхозы, люди строили себе новые дома, прибывало и прибывало животных в стадах, улучшались земли, прочно входили в систему землепользования травопольные севообороты, с клеверами, с пропашными культурами. На каждом шагу были видны преимущества колхозного строя. На сердце у людей год от году становилось веселее, радостнее. Как-то сами собой возникали в колхозах песенные ансамбли, начали возрождаться народные художественные ремесла. И вот война — топот танков, рев пожарищ!.. Что-то теперь ста-

лось там, в дорогих для нас с Житеневым местах? Что натворил в гдовских колхозах немец? Доходят глухие, скупые известия: террор, огонь и меч.

Назавтра, поскольку иного попутного транспорта не было, нас всех по приказу Житенева поместили в крытый очередной автофургон с эвакуирующимися. Автофургон был почти новый, на его боковых стенках было четко выведено: «Хлеб». Несколько месяцев назад в нем развозили по булочным фирменные изделия ленинградских хлебозаводов. Машина была до отказа набита людьми. Мы кое-как устроились у распахнутых дверей и долго, пока перебирались по льду через Волхов, видели Житенева, махавшего нам вслед. За нашими спинами дышало, шевелилось, постанывало сумрачное человеческое скопление. Люди ехали семьями. Старухи, старики, внуки и внучки. Было немного и из средних поколений — совсем больные, дошедшие до крайности от голода. Некоторые из них в один присест съели в Новой Ладоге пайки, выданные на дорогу до Вологды, то есть дня на три, на четыре, и жестоко маялись животами. В дальнем углу был зажат среди внуков и внучек старый слепой еврей. Он непрерывно бормотал скороговоркой, видимо, молитвы, потому что слух улавливал монотонные повторения одного и того же. Печальные ехали люди, безразличные ко всему. Нас мотало на ухабах разбитой, растолченной дороги. Люди без сопротивления отдавались толчкам, как неживые, стукались друг о друга, о стены кузова.

С нами ехал и какой-то командир со «шпалами» в петлицах. Фамилия у него была Егоров. Мы с ним разговаривали обо всем на свете — начиная с выяснения того, как кто из нас относится к мадоннам в Эрмитаже, и кончая раздумьями на тему: применят немцы газовое оружие или нет. Время от времени в наш разговор вставлял свое слово и слепой старик из угла. Он кричал: «Егоров? У вас есть дети?» — «Да, папаша, есть. Дочка».— «Егоров, вы должны отомстить Гитлеру за наших детей, слышите? И не просто убить его, нет. Убить такого негодяя мало. Вы должны придумать ему казнь, какой люди на земле еще не знали, слышите?»

Егоров сошел в одном из селений, где стояла его часть; старик все перепутал, стал называть Егоровым меня, а Веру моей дочкой. «Егоров, вы меня слышите?» Ему хотелось говорить и говорить о прошлом, настоящем и будущем.

Фургон двигался медленно, почти как фура первых переселенцев в степях Северной Америки, застревал в дорожных «пробках», и, когда по этому поводу возникала зверская ругань, с помощью которой затор якобы должен был немедленно рассосаться, старик спрашивал: «А где же Егоров с дочкой?». «Где Егоров с дочкой?» — спрашивалось и в том случае, когда мы останавливались погреться в попутных селениях, и старик беспокоился, как бы кто, задремав у печки, не отстал от машины.

Когда мы назавтра въехали в задымленный времянками Тихвин, старик был мертв — тряска его доконала. Плакали внуки и внучки, кричала жена. Остальные все стояли и сидели вокруг молча, разводили руками, и никто ничем уже не мог никому помочь.

3

Обосновались в редакции возрождающейся тихвинской газеты «Социалистическая стройка». Здание каменное, полуразбитое, полуразрушенное, но на втором его этаже сохранились более или менее пригодные для жизни и работы две или три комнатенки. В одной из них разместился редактор, приветливый, улыбчивый, гостеприимный человек — Евгений Иванович Негин. У него несколько столов и стульев, диван-канапе, плита-лежанка и скрипучая деревянная кровать за перегородкой, или, вернее, занавеской из плащ-палатки. Редактор здесь живет, здесь работает, здесь принимает посетителей; а еще у него в комнате останавливаются все корреспонденты центральных и нецентральных газет, прибывшие так же, как мы, в Тихвин, чтобы рассказать читателям о серьезной победе советских войск под Ленинградом. Словом, в редакции Евгения Ивановича Негина именно то, что называют проходным двором.

Пока мы оставались в Ленинграде, пребывали в частях Ленинградского фронта, то, что происходило и происходит в районе Тихвина, нам представлялось довольно-таки смутно. Где-то по волховским лесам идет со своими корпусами и дивизиями гитлеровский генерал Шмидт, он намеревается замкнуть второе кольцо вокруг нашего города, но на пути у него стоят части Красной Армии, которые в конце концов перешли в решительное контр-

наступление и отбросили гитлеровского генерала в район Киришей.

Перед самым отъездом из Ленинграда, дня за два, за три до того, я прочел в «Правде» две скупые заметки о боях под Тихвином. 10 декабря сообщалось так:

ЕЩЕ УДАР ПО ВРАГУ

Дней десять назад группа немецких войск генерала Шмидта, действующая на юго-востоке от Ленинграда, захватила г. Тихвин и близлежащие районы. Немцы ставили себе целью прервать сообщение между Ленинградом и Волховским районом и тем поставить ленинградские войска в критическое положение. В течение 10 дней шла борьба за Тихвин с переменным успехом. Вчера, 9 декабря, наши войска во главе с генералом армии тов. Мерецковым наголову разбили войска генерала Шмидта и заняли г. Тихвин. В боях за Тихвин разгромлены 12-я танковая, 18-я моторизованная и 61-я пехотная дивизии противника. Немцы оставили на поле боя более 7000 трупов. Остатки этих дивизий, переодевшись в крестьянское платье и бросив вооружение, разбежались в лесах в сторону Будогощь. Захвачены большие трофеи, которые подсчитываются.

А 12 декабря было напечатано уже и это:

ТРОФЕИ НАШИХ ВОЙСК ПОД ТИХВИНОМ

По предварительным и неполным данным, под Тихвином нашими войсками захвачено: орудий — 42, минометов — 66, пулеметов — 190, танков — 27, бронемашин — 10, автомашин — 102, автоматов — 110, винтовок — 2700, снарядов — 28 000, мин — 17 500, гранат — 30 000, патронов винтовочных — 210 000 и много другого военного имущества.

Сейчас в штабе одной из частей, штурмовавших Тихвин, нам рассказывают обо всем этом развернуто, широко и вместе с тем подробно. Рассказывает средних лет полковник, у которого вся голова в бинтах. («Стукнуло осколком. Лечь в госпиталь не согласился. Лечусь, что называется, без отрыва от производства».) Бинты на голове как шлем то ли летчика, то ли танкиста — видим одно лицо, тесно обведенное бинтами, видим серые глаза и крепкий волевой рот, который не выговаривает, а выстреливает слова.

Полковник показывает по карте положение и наших и немецких войск. Тут только мы в полной мере начинаем понимать, сколь грозная опасность висела над нами еще несколько дней назад. От Волхова, от Волховской ГЭС

имени Ленина, первенца ГОЭЛРО, немецкие части были уже в 3—5 километрах; менее чем в 20 километрах были они от Новой Ладоги, которую мы только что проезжали. Из Тихвина они устремились по зимним дорогам на север к Онежскому озеру, к финнам, и на восток — на Череповец, на Вологду. Прорвавшись клином меж рекой Волховом и поселками Малая Вишера на Московской железной дороге, Крестцами и Будогощью, генерал Шмидт стремительно раздвигал плечами своих корпусов и дивизий полосу наступления. На карте это выглядело как громадный кулак, нацеленный на север.

— И не десять дней бесчинствовал в Тихвине немец,— рассказывает полковник.— Сводки и газетные сообщения поскромничали. Шмидт ворвался в город на второй день Октябрьских праздников, восьмого ноября. Целый месяц его солдатня хозяйничала в Тихвине. Походите, посмотрите на все сами.

Мы так и сделали, мы ходим по городу. Вера преодолевает болезнь и тоже ходит, ходит. Вот оно, настоящее лекарство от блокадных болезней,— чувство победы, чувство радости, какое охватывает человека при виде следов безудержного бегства разгромленного врага.

Город разбит, искалечен. Но зато сколько же на его улицах брошено пушек, танков, автофургонов, всякого иного военного скарба гитлеровцев. На обширном дворе Введенского монастыря, в котором сорок шесть лет своей жизни провела в заточении четвертая жена Ивана Грозного, моя землячка-новгородка Анна Алексеевна Колтовская,— густой лес выстроенных рядами свежих могильных крестов. Сделанные из дерева, они формой своей повторяют гитлеровские железные кресты. В монастыре кладбище особо почетное; под старыми липами закопаны здесь только кавалеры этого ордена. Я читаю надписи на крестах:

«Генрих Кёниг. 1921 — 1941. Брауншвейг».
«Фридрих Шмидт. 1920 — 1941. Свинемюнде».
«Отто Карлштейн. 1920 — 1941. Кенигсберг»...

Стоило ли этим парнишкам тащиться тысячи километров пешком и в кузовах дизельных «бенц-мерседесов», чтобы оказаться закопанными под березовыми крестами в земле, и так переполненной костями чужеземцев? Сюда и до них, до генрихов и фридрихов, хаживали любители вкусно пожрать и попить за чужой счет.

Что их принесло в такую холодную даль? Начитались книжек своего фюрера, наслушались его речей, всерьез поверили, что смогут обратить в рабство великий народ России, понастроить в наших сказочных лесах островерхих замков и осесть тут баронами, устроителями «нового порядка»?

Вереница крестов, в чисто немецком духе выставленных строго в затылок один другому. Над каждым каска, на каждом изображение Железного креста и на каждом надпись: родился — умер, место рождения. Такой «новый порядок» — это еще туда-сюда. Его мы приветствуем.

Из монастырских клетей и келий вышел пожилой человек, подал руку, представился:

— Проскуряков. Константин Николаевич. Местный житель. Директор музея. Если интересуетесь чем, готов и рассказать и показать.

Погода мягкая, благоприятствующая тому, чтобы походить по городу с человеком, отлично знающим его историю.

— Ну вот,— говорит он,— начнем из далекой дали. Триста двадцать лет назад в земле русской была изряднейшая смута. Так и называют его, то время, историки: «Смутное время». Про Бориса Годунова, про Лжедимитрия и прочих широкоизвестных объяснять не буду — о них в школе учат. А вот как после Годунова пришел Василий Шуйский, да, чтобы избавиться от поляков, стал со шведами заигрывать, да как те шведы заявились на Русь под началом Якова Делагарди — это имеет прямое отношение к нашему Тихвину. Шуйский-то вскорости сошел с престола, занимать который у него силенок не хватило... Между прочим, скажу вам, чтобы Россией-матушкой управлять, надо на плечах, ой-ой, какую большую иметь голову. Одной наглости маловато для этого, мудрость нужна, неторопливая государственность. И громадное образование. Ну, а Шуйский — что он? Так себе, выскочка. Покуражился, покорчил из себя царя российского, да и слетел с престола безо всякой славы. Завистник мелкий и дрянцо. Иван Грозный, видите ли, их род обидел. А Иван был личность. А Шуйский — шавка. Нашел с кем тягаться! Натуживался, натуживался, только, извиняюсь, треснуло позади, вот и все его одоление. Ну ладно, Шуйского, значит, сдуло ветром, а кто же платить монету шведскому войску будет? Никто не хочет. Шведы разбушевались, пошли на Новгород, да и захватили чуть

не всю Новгородчину. Всякие происходили в то время путаные истории, вроде переговоров русских правителей со шведскими — дескать, не пришлете ли к нам в цари своего шведского королевича. И так далее. А тем временем шведы большие края русской земли тихо-тихо к рукам прибирали. Представьте себе, товарищи дорогие, как жила бы Русь, ежели б закрепилось подобное положение. Ни Петербурга не было б на свете, ни в Балтийское море не прорвалась бы матушка, ни на Белое море уже не вышла бы. Но вот тут-то и заговорил наш Тихвин, малый, но крепенький российский городок. Он старинный, древний. О нем уже в четырнадцатом веке знали. На этом месте, на берегу Тихвинки, в ту пору якобы явилась людям икона божьей матери. Соорудили тогда церковку для ее содержания, возле церковки поселок образовался, и пошло оно дальше. В свое царствование Иван Васильевич Грозный повелел заложить монастырь. Монастырь перестраивался, обновлялся, разрастался. К одному монастырю второй добавили. Солидная крепость получилась. В 1611 году, в Смутное то время, шведы захватили наш Тихвинский посад. Ну, а в нем бывшая жена Ивана находилась да воевода Трусов был, другие русские люди, патриоты отечества своего. Больно им стало от мысли, что чужеземцы чужие порядки начнут насаждать, нравы российские на свой лад переиначивать. Повели работу исподволь, и через два года собралось немало ратных людей под их началом, напали они на шведский гарнизон в посаде и в монастырях да и прикончили его. Шведы тоже не смолчали, понятно. Начались жестокие баталии. Двинули захватчики под Тихвин новую рать, жгли вокруг все, разоряли, насиловали. Тихвинцы запросили помощи у Москвы. Поспешили на выручку воеводы Семен Прозоровский с Леонтием Вельяминовым, принялись укреплять монастыри Введенский и Успенский. Делагарди крепко рассердился и для того, чтобы окончательно покончить с Тихвинским посадом, отрядил своего лучшего полководца Эверта Горна. Русские войска встретили его возле местечка Боровинки, но натиска не выдержали, отступили. Шведы — уже в который раз! — осаждали Тихвинский посад, нацелив главные силы свои на этот вот Введенский монастырь, где сейчас мы с вами, а в ту пору сидел воевода Прозоровский. И взяли-таки, подлецы, эдакую крепостищу. Прозоровский перешел в Успенский монастырь. Снова загремело оружие. Долго тянулась

осада. А четырнадцатого сентября началась и генеральная битва. Русские вышли на шведов, разгромили их и отбросили от посада. После этого всколыхнулась уже вся земля Новгородская, заклокотала, пошла степой на захватчиков. Вся Русь следила за тем, что происходило на тихвинских рубежах, большие народные судьбы зависели от этих сражений.

Проскуряков помолчал, добавил:

— Заслуга Тихвинского посада перед русской землей очень велика, очень. Он кровью своей остановил распадение русской земли и утвердил мысль, что русский человек должен беречь и защищать свою родину, не щадя ни сил, ни жизни.

Старый тихвинец помолчал, как-то странно развел руками, раздумывая и приглашая нас пройти в полуразбитые, обгоревшие монастырские коридоры и кельи.

— Вот она, новая кровь, где пролилась,— сказал он, входя в алтарную часть церкви, по стенам которой страшно отпечатались густые темно-бурые брызги крови. Застывшая кровь была и на полу, на каменных плитах, на чем-то вроде стола или верстака, на иконах, на обрывках одежд. — Тут немцы пытали наших людей, раненых красноармейцев и командиров, мирных жителей. Тут ломали кости, тут насиловали.

Он умолк. Мы стояли потрясенные. Гробовая была тишина в этом застенке. Но нам слышались крики и стоны, плач женщин, проклятия мужчин. Немцы, немцы, вы сошли с ума, вам тоже станет несладко, когда на вас будут надевать смирительную рубашку. Ваши крокодиловы слезы нас тогда, нет, не разжалобят. Пеняйте на себя, вините во всем тех, кого вы к нам прислали с заплечными кнутами, с крючьями для дыб, с огнем и мечом.

Мы спешим покинуть монастырь. В нем дольше быть невозможно.

— Ну что ж, покажу и кое-что другое,— согласился Проскуряков, выводя нас за ворота.— Вот исторический дом.— Он остановился перед длинным серым строением на берегу Тихвинки, смотревшим окнами своими на монастырь. — В этом доме родился и до двенадцати лет прожил — кто, думаете? Николай Андреевич Римский-Корсаков, знаменитый наш русский композитор. Каждый год он наведывался сюда, здесь он начал писать свою «Снегурочку». Взглянешь вокруг, и понятно тебе, откуда у него народность такая в музыке, откуда сюжеты исконно

русские, характеры богатырские. Прекрасны царевна Лебедь, Снегурочка, сильны русские витязи, велика их ненависть к кащеям всяким. Само окружение навеяло на Николая Андреевича эту музыку. Крепко ушли его корни в народную русскую почву. Он сам писал потом: «Тихвин помнится мне с детства, Тихвин дал мне ту дорогую основу, на которой развилось мое музыкальное творчество».

— А вот,— говорил Константин Николаевич дальше,— вот тут была статуя товарища Сталина. До чего же зверствовали немцы над нею: в куски разбили, видите? Глумились, надругивались. Ни к кому у них, думается, нет такой звериной ненависти, как к товарищу Сталину. А почему? Да потому, что боятся они его, страшон он гитлеровской нечисти. Тяжелая, знают, у него рука.

Старик довел нас до редакции Евгения Ивановича Негина, пообещал принести на днях статью о Тихвине для «Ленинградской правды». Он ушел, а мы все думали, все помнили кровавый застенок в монастыре. Забыть его, наверно, никогда не удастся. А и надо ли такое забывать? И можно ли?

4

Я, Вера и человек в черном полушубке — Николай Луковецкий, председатель колхоза «Лазаревичи», бродим по деревне. Обширное пожарище назвать деревней можно только весьма приближенно. От сорока пяти домов, которые стояли под старыми березами еще месяц назад, осталось пять наскоро подремонтированных, залатанных изб. Они стоят далеко одна от другой. А между ними щедрый разброс черных пепелищ: руины, груды кирпича, едва припорошенные снежком, одиноко-голые печные трубы, так знакомые всем нам по газетным фотографиям, сломанные обгорелые березы — от иных только остались культяпки расщепленных стволов и скопления, бесконечные беспорядочные скопления не убранного трофейными командами немецкого военного хлама. Среди условных улиц, в условных дворах — уткнувшиеся в снег длинными стволами искалеченные пушки, легковые и санитарные машины, грузовики, мотоциклы и велосипеды, повозки, грубые и неуклюжие, неизвестно для чего предназначенные, зарядные ящики, желтые соломенные корзины из-под снарядов, каски, противогазы, консервные банки, обрывки шинелей, мундиров, башмаки, пулеметные диски,

пакеты дымовых шашек и еще что-то, черт знает что, с чем притащились сюда фашистские разбойники. Кое-где из-под снега торчат ноги, сине-желтые руки, седые от инея затылки двадцатилетних генрихов и фридрихов.

— Не убрали еще,— смущенно поясняет Луковецкий и делает это так, как объяснял бы он, стоя на краю перезревшего пшеничного поля; и как в том случае ссылался бы на мокрую погоду или на нехватку жнеек, и на этот раз называет объективную причину: — Никак не выколупнуть из снега, насмерть примерзли. Или ломами долбать, или весны дожидаться. Одно из двух. Может, подождать? Куда спешить-то?

Деревня Лазаревичи помянута во всех сводках, во всех донесениях о борьбе за Тихвин. Она была среди последних и наиболее укрепленных опорных немецких пунктов.

До того, как отправиться в Лазаревичи, мы побывали у одного из секретарей Ленинградского обкома партии, у товарища Домокуровой, которая вместе с другими работниками обкома и облисполкома ведет работу в освобожденных районах области. Энергичная, волевая женщина, в синем тугом жакете, с браунингом в коричневой кобуре у бедра, она порассказала много интересного и важного. По существу, Волховский фронт как таковой возник в первый же день вступления немцев в Тихвин. Домокурова знала о разговоре генерала армии Мерецкова со Ставкой, который произошел 7 ноября, накануне падения Тихвина. Видя, что немцы вот-вот прорвутся в тыл его 7-й Отдельной армии, оборонявшейся на Свири, командующий этой армией, герой прорыва знаменитой линии Маннергейма, Кирилл Афанасьевич Мерецков связался со Ставкой. К аппарату подошел Сталин. У Ставки резервов нет, сказал он Мерецкову. Но противника надо остановить и отбросить во что бы то ни стало. Оставьте в армии за себя своего заместителя, отправляйтесь в 4-ю армию, которая растянулась дугой по лесам и болотам от реки Волхов до станции Будогощь, и организуйте отпор.

Домокурова не знала или не помнила номеров частей, какие собрал в увесистый кулак генерал армии К. А. Мерецков в неимоверно короткое время, но так или иначе кулак этот сложился и из стрелковых, и из танковых, и из кавалерийских подразделений, и летчики здесь появились, и уже к середине ноября немцы были остановлены. Начались активные наступательные бои наших войск.

В один из последних ноябрьских дней положение было такое, что Мерецков смог отдать приказ: «Штурмовать город Тихвин и уничтожить засевшего в нем противника». Битва закипела с новой силой. Немца сначала гнали к Тихвину, потом принялись поштучно отбивать у него опорные пункты вокруг города. Одним из этих узлов, очень важных, ключевых, оказалась никому прежде не ведомая трудовая деревня Лазаревичи.

— Ну, мы, ясное дело, как только бои начались, из деревни-то, из домов ушли в леса, в землянки переселились,— ведет рассказ Николай Луковецкий.— Не дожидаясь, когда эти рогастые гады начнут палить нас бензиновым огнем. В лесу у нас землянки были понакопаны еще когда! Они, значит, из нашей деревни крепость строят, а мы, значит, укрытия себе в лесу. Им тут укрепиться нужда была большая. Железная же дорога рядом. Пятьсот метров, не более. На Волхов. Важная магистраль. Вот они и засели в Лазаревичах. Дзотов вокруг понаставили, избы все на обшивку землянок и блиндажей растащили. В каменных строениях тоже огневых точек насажали. Шикарно жили... Идите за мной!

По скользким ступеням мы спускаемся в блиндаж-землянку. Стены обиты фанерой, оклеены обоями, потолок белый, доски для пола перетащены прямо из чьего-то дома — даже краска сохранилась. Деревянная двух- или даже трехспальная роскошная кровать...

— Крупный чин обитал, не меньше полковника. Да и которые поменьше, те тоже будуары себе заводили под землей. Попервоначалу, когда они заявились к нам, народ ночей не спал в избах. Ввалются, паразиты, раскидают в доме все, до утра печь топят, в карты режутся, шнапс дуют. А наши колхозницы лежат на печках да в постелях, во все глаза смотрят, притаившись: шелохнуться боязно.

Идем дальше. Луковецкий все рассказывает:

— В газете «Красная звезда» примерно так было написано: «Чтобы, мол, окончательно замкнуть кольцо советских войск вокруг Тихвина с его многочисленным немецким гарнизоном, надо было захватить важный укрепленный пункт врага — деревню Лазаревичи».— Луковецкий с горьким недоумением усмехается.— Подумать только: это наши-то Лазаревичи — важный укрепленный пункт врага!

Голова его, видимо, полна планов.

— Ладно,— как бы отмахивается он от прошлого.— Что было, то было. Сейчас за работу взялись. Гадаем вот, как скоро сможем восстановиться. Конечно, не враз отстроишь сожженные скотные дворы и конюшни, разобранные на дрова амбары. Но посмотрите,— он ведет рукой окрест,— в пяти-то избах уже камельки топятся, дым из труб винтом, а? Печеным хлебом пахнет, щами. Чувствуете?

Мы заходим в эти избы. В них плотно, по пять, по шесть семей, живут люди — самое ценное, что сохранил колхоз. Они потеряли почти все свое домашнее имущество: что сгорело, что немцы растащили. И может быть, поэтому, потому что нет личного, особенно дорого сейчас колхозникам их общественное добро — земля, озимые посевы, несколько плугов, сохранившихся в поле, бороны, пара коней, сбереженных от немецких глаз в лесу. Скудное пока что хозяйство, очень скудное, бедное. Но в нем залог того, что все вернется, что колхоз залечит свои тяжкие раны, снова станет богатым, зажиточным, каким был в последние предвоенные годы.

И что очень важно. Теперь, когда не надо прятаться в лесных землянках и совсем не обязательно тесниться в полуразбитых избах, никто не ушел и не собирается уходить из вконец разоренной деревни «искать счастья» на стороне, в Тихвин, например, или куда подальше. Каждый еще крепче держится за артельное хозяйство, за сотоварищей по коллективу.

В Лазаревичах есть уже и план весеннего сева — на днях составили сообща. Откуда семена взять? Перед приходом немцев их роздали по трудодням. Понадобилось несколько коротких декабрьских дней, чтобы снова собрать и ссыпать семенное зерно во временно сколоченные хранилища. За конями уход заботливый, корм для них тоже сберегали в лесу. С первых дней топки печей колхозники собирают золу — знают, что с удобрениями будет туго. Значит, все, что можно, надо заготовить на месте, собрать до килограмма, до грамма.

Мы ходим по деревне, по ее окрестностям до сумерек. Луковецкий рассказывает то о хозяйственных делах, то, завидев мертвый немецкий танк, вновь возвращается к боевым эпизодам.

— Развалины церкви видите? Восьмого декабря жестокая стычка возле нее случилась. Бой-то за Лазаревичи как развертывался? Он начался еще двадцать пятого

ноября. Сначала через Тихвинку переправился стрелковый батальон, занял немецкие окопы на нашем берегу. Потом перетащили артиллерийскую батарею. Все по ночам делалось, во тьме, в тиши, скрытно. Бойцы шли через лес, обходом, понезаметнее чтобы. А пушки лесом уже не протащишь. Поволокли прямо по дороге, которая отделяла наших от немцев. Ну и нарвались на гитлеровцев. Бой развернулся жестокий. Не только из винтовок наши били, из пушек стали прямой наводкой резать. Немцы прут и прут. Наши лупят и лупят. Кое-кто из колхозных подростков бегал утром смотреть, что там и как. Жуть, рассказывали. Вокруг огневых позиций артиллеристов чуть не брустверы понавалило из побитых гитлеровцев. А самые-то решающие бои пошли первого, второго, третьего декабря. Сломили тут немцев, погнали вподхлест. Следом за ними трофейщики заявились — трофеи подсчитывать. Кроме этого барахла, которое вы сейчас видите всюду, нашли они брошенное в горячке бегства штабное делопроизводство одного из немецких батальонов, нашли ящик железных крестов, приготовленных к вручению «героям». А несколько подбитых автомашин было заполнено вещами наших колхозников.

Луковецкий примолк, вглядываясь в темноту.

— Слушайте! — воскликнул он радостно.— Шестая изба. Зайти надо!

Миновав уткнувшуюся в канаву немецкую санитарную машину, подходим к дому, поднимаемся на крыльцо из свежих тесин, распахиваем дверь. В доме с плотно занавешенными окнами, в которых председатель колхоза каким-то чудом увидел свет, топится печь, пахнет щами, свежим хлебом.

Луковецкий представляет хозяина дома:

— Тимофей Веселов, последний, кто оставался в землянке.

Веселов улыбается во все довольное лицо.

— Да крыши, товарищи дорогие, еще нету. Сеней тоже. Одну комнатенку пока оборудовал, к жилью приспособил. Ничего, лиха беда начало.

Сидим, беседуем.

— Ах да,— спохватывается Луковецкий,— я вам про сражение возле церкви начал было... Ну, значит, немца отогнали от Лазаревичей, а через день-два он опять с силенками собрался... да не с силенками — это я так... а с большими силами, побольше, чем у нас, и снова ударил

на деревню. Выбил наших, оттеснил. Верно, тот батальон, который первым шел на освобождение Лазаревичей, еще, как я сказал вам, двадцать-то пятого ноября который, он переправу через Тихвинку не сдал. А тут, в деревне, засев на чердаке, находился, наблюдая за немцами, лейтенант Рябчинский, разведчик из артиллерийского штаба. Смелый человек. Прямо в дом нашим снарядом врезало, а он сидит, держится, ведет наблюдение. Обратно к своим ушел с ценными данными, которые крепко пригодились. С восьмого на девятое декабря снова все заклокотало. Начался общий штурм Тихвина. К нам в Лазаревичи ворвались наши танкисты. В церкви, которую я вам показывал, засели немецкие пулеметчики, бьют по пехоте, шагу сделать не дают. Делать нечего, надо принимать меры. Танкисты младшего лейтенанта Зайцева прямо пошли на церковь тараном, ударили с близи по немецким огневым точкам. Ну и подавили сопротивление.

Посидев, Луковецкий добавил:

— А машину товарища Зайцева они, гады, все-таки подожгли. Погиб герой-танкист за нас вот с Тимофеем.

Луковецкий скинул шапку, Веселов опустил голову. С минуту оба не нарушили тишины.

— Ну что ж, идти надо. Живи, Тимофей, в родной хате. Рад за тебя.— Луковецкий поднялся.

Наконец-то мы отправились в дом, где проживает сам председатель. Мы поднимались на крыльцо, когда Луковецкий шепотом сказал:

— И сегодня пришли! Вот, елки-палки, до чего же здорово!

Загадочное высказывание его относилось к тому, что он только что разглядел в потемках. За березами близ дома скользили по снегу торопливые темные тени.

— Опять пришли! — объявил он, войдя в избу, в которой жил в окружении доброй четверти своих колхозников. К нему устремились взгляды двух десятков людей, и каждый тут знал, о чем говорит председатель: к месту их прежнего расквартирования — к проволочному вольеру — вернулись, оказывается, черно-бурые лисы.

Нам рассказали, что немцы сожгли домики лисьей фермы, поубивали из автоматов и пистолетов почти всех ее обитательниц, содрали с них шкурки, чтобы отправить посылками своим гретам. Но несколько молодых лис оказались половчее и, подобно людям, сбежали в лес. Там они обитали, ни разу не появляясь на виду за все время

пребывания немцев в деревне. А вот неделю назад обрадованный председатель увидел их возле вольера. С той поры дорогим гостьям оставляют корм — мясо убитых снарядами коней. Лисы приходят в деревню каждую ночь.

Мы сидим в комнате Евгения Ивановича Негина. От лежанки тянет теплом. Стучат часы. На стене известная репродукция картины: Владимир Ильич Ленин читает «Петроградскую правду» в своем кабинете в Смольном. Немцы почему-то ее не тронули, хотя, как говорят, в этом здании располагалась их комендатура. Евгений Иванович правит гранки. Мы пишем корреспонденцию в «Ленинградскую правду». Мы, собственно, ее уже написали. Мы заканчиваем:

«Пройдут дни, будут снова отстроены домики для чернобурок, восстановлен вольер — и ферма оживет. Это будет начало. Потом оживут скотные дворы, взмахнет крыльями мельница, звякнут в кузнице молоты, пахнет керосиновым дымком трактор, проходя прогоном в поле...

А люди снова и снова — что ни день — будут чувствовать радость возвращения к жизни».

Остается только найти название корреспонденции. Какое же? Не назвать ли ее так: «Возвращение»?

Назавтра это название закрепилось окончательно. В тот день в Тихвинском райсовете мы присутствовали на необыкновенном совещании. Собрались председатели сельских Советов района. На многих подобных собраниях побывал я за время своей журналистской, а еще раньше агрономической работы, но такое, пожалуй, останется единственным на всю мою жизнь. В зале сидели люди — кто в военном, кто в полувоенном, кто уже принявший вполне мирный вид, а у кого еще кобуры с пистолетами на поясах. Иные всего день-два как вышли из лесов, где вместе со своими партизанскими отрядами доколачивали скрывавшихся в чащобах немцев.

Не все, далеко не все собрались былые сельские председатели. Не было товарища Яблочкина из Ильинского сельсовета. Он остался в своей деревне, не успел уйти. Немцы схватили его, заставили показывать дорогу для прохода танков. Товарищ Яблочкин поступил как Сусанин: он завел немецких танкистов в болото. Он пал смертью героя, патриота. Назвали мне имя и товарища Морозова из Заручевского сельсовета. С текстом ноябрь-

ского доклада Сталина он отправился в тыл к противнику, в села, занятые немцами, и попал в руки полицаев.

Сельские активисты Тихвинского района действовали и в подполье, на партизанских тропах, и сражались в отрядах бок о бок с частями Красной Армии. Сейчас они обсуждали очередные задачи своей работы на селе. Слышалось самое популярное слово: сев, сев, сев... Главное сегодня — подготовка к весеннему севу, как нам рассказывали и в колхозе «Лазаревичи». Говорят о ремонте инвентаря, об организации звеньев высокого урожая, о том, где взять семена для посева, об уходе за сохранившимися лошадьми.

В помянутом уже Ильинском сельсовете, в колхозе «Красный треугольник», решили к государству не обращаться, собрать семена сами, у себя, полагая, что в такие военные дни государству и без них забот хватает. В Клипецком сельсовете колхозники наскребли по сусекам свыше трех тонн семенного зерна.

Мы слушали волнующие рассказы о работе партийных, комсомольских организаций на освобожденной земле. И вновь, как в «Лазаревичах», мысль людей устремлена была не на вопросы личной жизни, а на укрепление общественного. «Обеспечим хлебом фронт!» — говорили здесь... «Поможем армии», «Поможем Ленинграду».

Да, конечно, свою корреспонденцию мы так и назовем: «Возвращение».

5

Оказался ничем не занятый вечер, и мы с Евгением Ивановичем Негиным сидим возле плиты, в которой с пистолетным весельем трещат еловые поленья. Евгений Иванович отлично знает Тихвин и Тихвинский район: он здесь редактором семь лет. А до того три года работал, и тоже редактором, в далеком Кириллове, на Белом озере, куда, окончив Ленинградский институт журналистики, добирался на телеге 140 километров лесными, болотными дорогами.

Евгений Иванович боевой представитель комсомольцев двадцатых годов. На плечи этого предшествовавшего нашему поколения, у которого мы многому научились и которое, в свою очередь, шло за поколением Васи Алексеева, легли самые трудные дела в строительстве первого

в мире социалистического государства. Люди беззаветного, кипучего, революционного поколения все делали или полностью добровольно, или без каких-либо колебаний выполняя требования, постановления, решения и наказы партии. В Кириллов Евгений Иванович отправился добровольно, а в Тихвин приехал потому, что так посчитал необходимым областной комитет партии. Тихвинскому району тогда придавалось огромное значение. Евгений Иванович рассказывает, что в строительство Тихвинского глиноземного завода, цементного завода, первого в мире торфоперерабатывающего химического завода и ряда других важных предприятий в ту пору вкладывалось чуть ли не до 20 процентов затрат Российской Федерации.

Сейчас, после немецкого нашествия, многое изломано, искорежено, почти все надо не только восстанавливать, а просто строить заново, хотя немцы пробыли здесь какой-нибудь месяц.

Удивительно, как у всех, кого мы встречали в Тихвине, идут мысли: немцы находятся где в сотне, а где и в полусотне километров от этих мест, их только-только отбросили от города, но никто и думать не думает о том, что надо погодить, повременить с планами налаживания нормальной жизни на освобожденной территории, никто не пугает друг друга предположениями, что незваные гости, дескать, могут еще вернуться. Немцы изгнаны, и в мыслях людей изгнаны навсегда.

Весь актив района, как только появились гитлеровские войска, ушел в подпольную борьбу с ними, о чем говорилось день назад на совещании председателей сельских Советов. Образовалось несколько групп, тесно связанных со штабом одного из соединений Красной Армии. Евгений Иванович думает написать со временем книжку о боевых делах тихвинцев, блокноты у него полны записей, он листает их, называет имена: Клеопин, Корольков, Кретов, Чихачев, Морозов, Дарков, Калиничев, Афанасьев...

— Какой Афанасьев? — спрашиваю.— Не Леонид ли, собственный корреспондент нашей «Ленинградской правды»?

— Да, Леонид. Где он сейчас, не знаем. Видимо, ушел с частями Красной Армии.

Я вспоминаю симпатичного человека, с которым виделись мы перед самым началом войны на совещании собкоров в редакции. Последняя его корреспонденция из Тихвинского района была опубликована буквально дня за

три до того памятного июньского воскресенья, когда началась война. Это была корреспонденция на очень мирную тему. Да и сам он, автор ее, Леонид Афанасьев, был необыкновенно мирным, добрым, отзывчивым человеком. Тихвинский район был известен ему преотлично: он же и родился здесь — в деревне Журавкино. Он тоже принадлежал к поколению комсомольцев двадцатых годов. Но если Евгений Иванович Негин был из бедных крестьян, то Леонид Афанасьев шел из рабочего класса — отец его потомственный железнодорожник. Работать бы и сыну на железных дорогах. Но он втянулся в комсомольскую кипучую жизнь на селе, боролся за ликвидацию неграмотности среди крестьян, сколачивал бедняков в коллективы, чтобы прочнее стояли они против сельских мироедов, во всю кулацкую, антисоветскую ширь развернувшихся в те годы. Авторитет его как общественного деятеля был таков, что безусого девятнадцатилетнего парня народ поставил председателем сельского Совета. Потом он служил в Красной Армии, а когда отслужил и вернулся, партия послала его в районную газету.

— Вместе с ним были поначалу в отряде,— рассказывает Евгений Иванович.— Скромный, но чертовски смелый человек. Уходили мы из Тихвина, оставляли здание райкома, когда на улицах уже замелькали немецкие каски. К нам почти что ломятся в парадную дверь, а мы через черный ход, дворами, уходим за город, в леса.

Шесть долгих месяцев идет война. За эти полгода мы порядком начитались и наслышались рассказов о зверствах немцев на нашей земле. Но то, о чем рассказывает Евгений Иванович, превосходит все, что я знаю.

— Вы видели полусожженный Тихвинский монастырь? Ну вот, когда я зашел в его Успенскую церковь после освобождения, там и пол и стены были заляпаны кровью, как в мясной лавке: там людей пытали, пленных, раненых красноармейцев, наших тихвинцев, огнем и железом вырывали из них сведения и признания. Это была камера пыток немецкой контрразведки.

— Но мы же видели этот застенок.

— Видели? Это уже не то. А вот когда еще кровь дымилась...— Евгению Ивановичу трудно говорить, он волнуется, вспоминая. — Там наши бойцы нашли труп пятнадцатилетней девочки. Ее изнасиловали, а потом разбили голову прикладом. В монастырской кладовке, как в каменном средневековом мешке, гноили, прокаливали

морозом брошенных туда людей. Я вам даже не смогу все перечислить. А по району что шло! В Киришском селе Мамино осталось много мужчин. Согнали всех в избу, заколотили двери, в окна бросили десятка два гранат. Мужчин не стало. В Оломне три девушки отказались отдать солдатам наручные часы. Всех трех расстреляли. В селе Городище, когда подожгли дом шестидесятилетнего колхозника Василия Гурьева, хозяин не выдержал, бросился гасить. И как иначе! Родной же дом. Он в нем рос, в него привел молодую жену. Детей, внуков тут нянчил. Схватил было ведро... Пристрелили старика. И все у них планомерно, по инструкции, по приказу. К нам в руки попался один такой приказик командира 269-й пехотной дивизии: «Под ответственность командиров. Действия по отношению к мирному населению должны быть решительными и беспощадными. Каждая снисходительность или мягкость является слабостью и грозит опасностью...» Вот так! Ну, мы за это им тоже давали прикурить. Действуя в тылах, громили как могли.

С теплотой, с гордостью называет Евгений Иванович имена товарищей по партизанской борьбе, подполью. Перед нашим ударом на Тихвин партизаны-тихвинцы были сведены в особый ударный батальон, который отлично действовал под руководством регулярных частей Красной Армии.

Мы заговорили о верности друзей, о том, как важно в трудную минуту ощущать плечо друга, и о том, что не каждому плечу в таких условиях повéришь и что не с каждым пойдешь в тыл к противнику или в разведку. Советские люди тоже разными бывают, среди них тоже есть еще изрядные негодяи.

— В июле тридцать седьмого года,— рассказывает Евгений Иванович, подкидывая дров в плиту,— меня вызвали в обком и объявили, что я, мол, человек растущий и мне поручают особо ответственный пост — редактора окружной газеты в Мурманске. Я согласился, но попросил дать мне возможность отгулять очередной отпуск. Ладно. Поехал в Крым. Вернулся шестнадцатого сентября, жена говорит: тебе все время названивает новый секретарь райкома, требует немедленно явиться, как только приедешь. Я человек дисциплинированный — семнадцатого сентября помчался в райком. Там заседает бюро — люди все новые, почти никого из них не знаю. Обвинений мне не предъявляют, говорят вообще и затем —

трах-бах! — исключают из партии. А вечером, часиков этак в восемь, стук в дверь: два оперуполномоченных. Предъявляют ордер на арест, на обыск. Сдаю им коровинский пистолетик, который у меня был еще со времен коллективизации, когда каждого активиста подстерегала кулацкая пуля в потемках. А дальше пошло такое, во что и поверить невозможно. Все перевертывают, перетряхивают, чего-то ищут.

Я слушаю рассказ Евгения Ивановича и тоже почти не верю. Тридцать седьмой год был страшным годом в нашей жизни, непонятным, загадочным. Тогда исчезло немало людей, и страна и каждый из нас в отдельности, веря органам нашей разведки, были убеждены, что все они были врагами народа. Но потом, когда разоблачили Ежова, когда кое-кто стал возвращаться из тюрем и ссылок и скупо рассказывал о том, как арестовали его по доносу, по клеветническим заявлениям, было нестерпимо больно слышать, что доносительство, то есть одно из самых отвратительных проявлений подлости человеческой, привело к напрасной гибели многих людей. Рассказы об этом, слышанные прежде, были до крайности скупы, сдержанны, без красок и деталей. Впервые передо мною развертывается такое доподлинное полотно.

— Ничего, понятно, мои обыскивальщики не нашли, — продолжал Евгений Иванович, — кроме институтских конспектов да рукописи начатой мною повести о лесорубах «Зеленое золото». Их забрали, а мне скомандовали: «За дверь». Все мы — я сам, моя жена, ее мать, дети — были убеждены, что происходит нелепая, отвратительная ошибка. Как один, стояли в ледяном оцепенении. Мы безоговорочно верили, что все разъяснится и очень скоро встанет на свои места. Ну, а пока под вооруженным конвоем я пошлепал знакомыми мне тихвинскими улицами, держа путь прямо к тюрьме. Посидел немножко в предварилке, где меня остригли под машинку, а затем перевели в полутемную вонючую дыру. Там меня сразу окликнули: «Неужто редактор?! Негин? Евгений Иванович? А ты здесь зачем?» Когда я пригляделся и увидел с десяток знакомых лиц, не выдержал, заплакал, как дурачок. Ко мне кинулся наш бывший заведующий райфо Володя Тюрин, обнял, стал утешать. За ним другие подошли. «Брось, Негин, не расстраивайся, — говорят. — Сколько нас тут есть, все мы коммунисты и все честные люди. Это же дикая ошибка, что нас арестовали,

нелепость. Там разберутся в конце-то концов». Я не спал и не ел трое суток. На вторые сутки меня вызвали на допрос. Гляжу: следователь Дмитриев. Знакомая личность. До органов он был в армии, образования имел не то четыре, не то пять классов. Мелкий, дрянной человечишка. А тут сидит, развалясь за столом, этакий хозяин положения. Сначала он принялся стучать кулаком, орать, а потом протянул листы протокола: подпиши, дескать. В этом протоколе — смех сказать — все уже было готово: и вопросы и ответы. Я прочел. В каждом слове по орфографической ошибке. Но уж черт с ней, с его грамотностью. А содержание было таково: «Мы (это секретарь райкома, председатель райисполкома и другие партийные и советские работники) были участниками подпольной антисоветской группировки, критиковали политику генеральной линии и хотели возврата капитализма». Я рассмеялся и смеялся так, что Дмитриев подумал, не сошел ли я с ума. Наконец он понял, в чем дело, и снова стал орать и материться. «Ты запляшешь у меня! Я тебя согну в дугу, вражина!» — «Слушай,— сказал я,— а для чего мне твой капитализм?» — «Чтобы власть захватить».— «Но ведь власть и так в наших руках, в руках народа. Советская власть вывела нас на дорогу, дала знания, работу, свободу для творчества». Он ни черта не понимал. Не знаю почему. То ли оттого, что был полным дураком, или, может быть, твердо верил, что я действительно враг советского народа. Но, словом, ничего не понимал моего и дудил одно свое. Допросы с тех пор стали проводиться исключительно по ночам. Кроме Дмитриева, на допросах присутствовали иногда и другие сотрудники из так называемой «тройки». Им, как я понял, во что бы то ни стало приспичило зачем-то «создать» контрреволюционное подполье в Тихвине, связанное с неким «ленинградским центром». Понял я и другое: нельзя подписывать ни одного лишнего слова в протоколах, мой долг коммуниста — выстоять, выдержать, выйти на свободу и рассказать о том, что творят за тюремными стенами темные, может быть, даже кем-то подосланные антисоветские силы...

Да, повторяю, я почти не верил в реальность того, что рассказывал разволновавшийся от нелегких воспоминаний Евгений Иванович. Это была мерзость, несовместимая с нашим строем. Ежовщина была, мы все это знаем. С ежовщиной партия покончила, осудила ее. Мы помним

суровые решения об этом. Но что ежовщина была именно такой *изуверской*, об этом нам не сообщали, это просто не укладывалось в сознании.

— Мы все, как один, старались держаться твердых позиций и не идти навстречу ухищрениям следователей, которых считали антисоветскими негодяями. Мы пели в камере советские песни. Я целыми днями рассказывал содержание романов «Анна Каренина», «Война и мир», «Отверженные», «Гиперболоид инженера Гарина»... Рассказы мои шли не только с продолжением, но и с добавлением «от себя». Шестого ноября тридцать седьмого года мы решили отпраздновать двадцатую годовщину Советской власти и начали петь во весь голос революционные песни. Нас поддержали другие камеры. Здорово получилось. С нами не смогла справиться даже вся охрана тюрьмы, руководимая мерзким человеком, ее начальником, неким Степановым.

Евгений Иванович помолчал.

— И так,— сказал он,— длилось это почти два года. А потом меня освободили, восстановили в партии с моим стажем с двадцать восьмого года и снова предложили место редактора в нашей тихвинской газете. И вот я ее редактирую, нашу «Социалистическую стройку».

— Но они-то, те, они как-нибудь объяснили это?

— Что?

— А то, что вот держали, держали, а в конце концов подчистую вынуждены были оправдать, освободить, всюду восстановить?

— Они? Они благородно промолчали. А что касается меня, то я объясняю все это тем, что, во-первых, за мною ничего и не было, на меня донесли мои завистники, а во-вторых, я не подписал ничего лишнего, категорически отказывался от подписей, держался, не сдавался. За два года я убедился в том, что скорее погибал именно тот, кто, чтобы избавиться от лишних страданий, спешил признаться в делах, каких не делал, а еще гибли те, кто, чтобы не остаться в одиночестве, сваливал свое, даже несуществовавшее, на других, запутывал товарищей. Тогда другие, в свою очередь, уже несли на них, и получалось вполне солидное дело.

— Но почему, как вы думаете, там непременно стремились очернить человека, сфабриковать на него это «солидное дело»?

— Почему? А черт их знает почему. Одну из причин назвать, пожалуй, могу. Потому, что туда пробралось много скверных, аморальных людей, карьеристов, садистов, мздоимцев. Особенно, скажу вам, страшен карьеризм. Чем больше выколотил признаний, тем, следовательно, лучший работник, тем больше у него шансов шагнуть на дальнейшую ступень служебной лестницы. В таких учреждениях должны работать исключительно честные и чистые люди.

— А тех, кто доносил на вас, вы знаете?

— Конечно, знаю. Сволочи, и больше ничего. Не хочется их и поминать. Ведь когда и зачем доносят? Или когда за это получают деньги, или когда сами погрязли в мерзостях и таким путем пытаются оттянуть срок возмездия. А то еще когда хотят устранить, убрать соперника или того, кому завидуют. В таком случае уж пустят в ход все.

Я вспомнил жандармского начальника Заварзина, книжечку которого читал несколько лет назад. Вспомнил, с каким презрением тот прожженный заплечных дел мастер отзывался о добровольцах-доносителях, как даже он предупреждал свою голубую паству относиться с осторожностью к доставлявшимся этими добровольцами паскудным сведениям.

Мы всегда говорили и говорим, что наша разведка — это «карающий меч революции». Как же случилось, что в такое святая святых пробрался некто, сумевший меч этот обрушить на людей, подобных Евгению Ивановичу Негину, на комсомольцев двадцатых годов, до последней кровинки преданных революции, делу партии, народу?

6

Дня за два до нового, 1942 года в редакции Негина появился тощий, длиннолицый и бледнолицый, даже зеленолицый, человек в шапке с ушами и в шинели до полу, в петлицах которой красовалось по две «шпалы». Одет он был в военное, но ничто военное на нем, как говорится, не смотрелось. Это был сугубо штатский, сугубо мирный человек, по фамилии Фарфель, по имени Семен. Несколько раз я видывал его в Ленинграде, в газетных редакциях. Поэтому мы поздоровались, как знакомые. Но не слишком знакомые. Вышел он, оказывается, из госпи-

таля, в который угодил недели две назад, сильно разболевшись чем-то блокадным, привезенным из голодного Ленинграда.

Он, как мне показалось, покачивался после болезни и вызвавшей ее голодухи, но в глазах у него светился веселый прищур на окружающие и его и нас, всех вместе взятых, тяготы военного времени. Он острил по любому поводу, и было видно, что это его защитное средство против помянутых тягот.

В мирные времена Семен Фарфель был автором солидных газетных статей на партийные или хозяйственные темы, статей увесистых, содержательных, с анализом и со вскрытием причин того явления, о котором шла речь. С ним, думалось, не пошутишь. Но оказалось, что все это совсем не так. Мы быстро подружились и провели вместе дни, оставшиеся до нового года. Фарфель подыскивал оказию, чтобы вернуться в Ленинград, так как все корреспонденции о взятии Тихвина, ради которых он сюда ехал, давно были написаны, отправлены и помещены в газете «На страже Родины», в которой служил этот миролюбивый воин.

31 декабря, когда в городе происходило всеобщее волнение по поводу того, как бы получше встретить новый год, первый новый год в условиях войны, нам с Фарфелем в одном из авиационных штабов, с которым у меня установилась связь, выдали роскошнейший предпраздничный паек. В редакцию Негина мы принесли в своих мешках белые, только что выпеченные пышные хлебы, банки со шпротами, бруски холодного сливочного масла в пергаменте, колотый сахар, кубики какао, сгущенное молоко и печенье. Это было нечто давным-давно не виданное и не слыханное и такое сказочное, будто бы оно прямо из «Тысячи и одной ночи», а не со складов авиационной части.

Часам к одиннадцати вечера в редакции никого не осталось, все аборигены разбрелись по одним им известным адресам и адресочкам; ушел и Евгений Иванович. Остались мы втроем — Вера, Семен и я. Затопили плиту, поставили чайник, разложили на рабочем столе Негина свои припасы, готовясь к достойному переходу из одного года в другой, может быть, более счастливый, чем тот, который отсчитывал последние минуты своей жизни, и вдруг не без ужаса обнаружили, что у нас нет главного

для новогодней встречи: нет выпивки, нет даже самой что ни на есть вульгарной самогонки, не говоря о коньяках или шампанском.

Не знаю, был ли еще кто-нибудь на всем земном шаре в тот час, ну разве что в самых строгих вегетарианских странах Южной Азии, кто, приветствуя новый, 1942 год, чокался не бокалами с вином, а жестяными кружками с горячим какао? Таких, видимо, на земле оказалось всего трое, в старинном русском городе Тихвине, освобожденном Красной Армией от немцев. И ничего, получалось у них здорово.

Потом, разомлевшие от еды и тепла, мы проговорили почти до рассвета.

Уже далеко за полночь Фарфель сказал, усмехаясь:

— Ты восторженный человек, ты думаешь, что после войны все герои будут награждены, что им непременно воздадут должное. Добро восторжествует, а зло, дескать, будет наказано и искоренено. Война, мол, поможет нам от многого очиститься, ее огнем, как огнем паяльной трубки, будет проверено — где золото подлинное, а где лигатура, фальшь, подделка. Видишь ли, сердцем я тоже надеюсь на это, очень хочу этого. Но увы, мне кажется, что этого не будет. Все равно еще на долгие десятилетия останутся процветать жуки с крепкими локтями. Сейчас они работают ими, чтобы вытолкаться подальше от передовой, от огня, от главной линии боя. По окончании войны они заработают локтями в обратном направлении: к главной линии получения наград и всех иных послевоенных благ. Ты смотри: мы с тобой видели здесь ребят из дивизионной газеты. Каждый день они с бойцами, они с ними в землянках, они в наступлении, в атаках — это их повседневное дело. Они подлинные герои военных будней. А кто видит их героизм, кто его замечает, кто о нем говорит? Недавно же — к взятию Тихвина — прикатил из Москвы один газетный тенор. Он сразу шастнул в штаб фронта, ему дали машину, к нему прикомандировали двух автоматчиков. Прокатился залетный соловей на КП армии, посетил пару госпиталей, укатил — и вот подвалище!..— Фарфель потряс номером одной из центральных газет, в котором был роскошно подан очерк помянутого им «тенора».— Так кто, думаешь, нахватает наград? Ребята из дивизионок? Или вот такой трущийся на виду у генералов, у командующих?

Сложный вопрос о должных воздаяниях за зло и за добро мы так и не решили. А 2 января распрощались с Семеном и отправились в Ефимовскую.

Отправились мы попутной машиной. Это была авиационная фотокинолаборатория на колесах. Закрытый кузов с небольшим оконцем в потолке, затягивающимся черной шторкой. Вдоль боковых стен тянулись длинные прилавки с ваннами и ванночками для проявления пленок, различные приборы и красные лампочки. Кузов изрядно промерз, на металлических частях всюду пушился иней.

Было невозможно холодно, и мы с Верой, пожалуй, закоченели бы до смерти, сидя на этих прилавках с ваннами. Но машина то и дело глохла, останавливалась, начиналась долгая возня с мотором, мы выходили на дорогу, грелись тем, что пытались помогать шоферу что-нибудь крутить: заводную ручку, колесо, домкрат.

Наши страдания от холода время от времени вознаграждались. При очередной остановке на пути к большому селению Великий Двор, не раз помянутому в сводках Информбюро, мы ступили на снежную целину, заваленную разбитой немецкой техникой. Этого добра оказалось здесь раз в двадцать больше, чем вокруг деревни Лазаревичи. Грузовики, пушки, повозки, зарядные ящики... И всюду трупы, застывшие в страшных, мучительных, изломанных позах. Обсыпанные снегом каменные руки, ноги, спины, затылки, лица...

Мне хорошо помнилась картина Верещагина: такое же обширное снежное поле, но где-то в Болгарии, близ Плевны, и тоже снег, под которым не сразу разглядываются мертвые тела, много сотен мертвых тел русских воинов. Склонив голову, стоит над полем смерти русский, православный батюшка. Тишина, покой, скорбь.

Мы стоим над полем смерти по меньшей мере батальона, а может быть, и целого немецкого полка, то ли накрытого огнем «катюш», то ли исхлестанного свинцовыми бичами пулеметов, и никакой вокруг не видно и не слышно скорби — всюду жизнь и скупая военная радость. Скрипят полозья саней — колхозники возят удобрения на соседние поля, объезжая свалку мертвяков, весело перекрикиваются с подводы на подводу; в селе стучит движок, повизгивает циркульная пила — разделывают бревна для построек; кричат вороны, сквозь еще не ослабшие морозы уже чуя весну.

Со стороны Великого Двора был нацелен на Тихвин один из главных ударов, и немцы, продолжавшие двигаться от города на север и на восток, попали тут в пекло; их смело огнем, раздавило танками.

Удар по корпусам Шмидта, помимо того, что он принес нам крупную военную победу, еще и знаменует собой огромную победу моральную. Мы можем, можем бить хваленых вояк Гитлера. А раз можем, то и будем бить их не переставая.

Я вспоминаю и вновь продумываю нашу поданную редактору «Записку» о тех неправильностях и недостатках, какие мы увидели в ведении боевых действий некоторыми частями 55-й армии. Верная «Записка», ничего не скажешь. Здесь, на Волховском фронте, это каждому видно, воюют более зрело и потому несравнимо успешнее. А сюда, как известно, переброшен ряд и наших ленинградских соединений и частей, и даже тех самых, которые мы поминали в «Записке». Там, под Усть-Ижорой, они толклись на одном месте, неся и неся потери, а тут идут в стремительном, победоносном наступлении. Тоже, правда, несут потери, но такие, о которых нельзя сказать, что они напрасные; за здешними потерями следует радостный успех для всей страны.

«Записка» правильная, размышляю я перед полем разгрома немцев, но если кто-нибудь когда-либо найдет ее в архивах и положит наш труд в основу своего романа или повести о войне, он неизбежно все перекосит, у него будет как бы и правда и в то же время ложь. То, что рассказано в нашей «Записке», может стать лишь одной из глав в романе, стать главой, касающейся боевых дел только на участке обороны 55-й армии, и то в определенный период нескольких недель октября — ноября.

Без глав о крепости «Орешек», о дороге через Ладогу, без глав о победных боях за Тихвин, без главы об этом поле перед Великим Двором невозможно написать даже небольшую повесть, не то что роман о войне. Когда собираешься что-то писать, очень важно не ошибиться в выборе жанра. Нельзя затевать роман, когда достаточно простой докладной записки. Нельзя раздувать многотомную эпопею, если у тебя есть только материал для «заметок военного корреспондента», и то с весьма ограниченного, узкого участка какого-то фронта. Накатаешь том, два, три, их поиздают, попереиздают, и они отправятся на дальние залежные полки библиотек, потому что всегда

из них будут торчать не совместимые с жанром романа «корреспондентские заметки». Ошибка в выборе жанра — непоправимая, пагубная ошибка. Увидав мусор на лестнице, надо писать заявление управхозу. А если на фундаменте из этого мусора построить роман о неполадках в нашей жизни и несовершенствах нашего строя, который-де не способен сделать так, чтобы не было мусора, то все равно это будет не роман, не художественное произведение, а всего-навсего предлиннейшее заявление, но, к несчастью, читать его придется не только управхозу, а еще и тысячам обманутых читателей.

Вот так думалось и раздумывалось 2 января 1942 года близ селения Великий Двор, перед которым войска генерала Мерецкова нанесли крупное поражение немцам. Здесь и еще о многом ином можно было поразмышлять, но машина завелась, и мы двинулись дальше.

На одной из дорожных развилок настала минута, когда мы попрощались с шофером и с летчиком, ехавшими в кабине, и вошли в ближайший дом, чтобы обогреться. Мы сели на широкие лавки возле окон в избе, нас сморило от избяного тепла, мы опустились на лавки и так, каменным, беспробудным сном на глазах у хозяев спали, может быть, час, может быть, два, а может быть, и значительно больше. Не было ни снов, никаких ощущений, были только усталость и желание спать, спать, спать.

Среди ночи пошли дальше. Шли долго, по трудной, скользкой дороге. Ни одна машина нас не обогнала, не было и ни одной встречной. Был темный, как в сказках, заснеженный лес. Далеко в нем или за ним что-то заунывно и безнадежно выло. Даже не будучи подписчиком журнала «Охотник», каждый бы догадался, что там воют волки. Догадались и мы; пошли поэтому так: дорожный скарб перекинут на ремне через мое плечо, а руки наши — с пистолетами за пазухами шинелей, у меня ТТ, у Веры бельгийский браунинг № 2. Патронов в карманах — несколько горстей.

Но огневая наша мощь нам не понадобилась. Мы благополучно вошли в притихшую под низкими снеговыми тучами ночную Ефимовскую — в административный центр района, до которого немцы не добрались. Явились мы сюда с заданием редакции — посмотреть, как живет такая вот не тронутая врагом Большая земля. Ефимовская, по сути дела,— самый ближний к фронту край этой

земли, потому что Тихвинский район — это уже, конечно, фронт, полоса непосредственно военных действий.

Ночь мы провели в первом попавшемся нам доме, расстелив на грязном полу шинели. Спали так, как в другое время и в другой обстановке не спится и на пуховиках. Проснулись чуть свет от дружного и одновременного галдежа многих голосов. Открыв глаза, подумали было, что уже находимся на небе: над нами плыли пласты того рыхлого белого материала, из которого, если верить итальянским мастерам живописи средних веков, изготавливались библейские облака. Это был пар, подымавшийся над тремя или четырьмя большими лоханями; возле каждой лохани стояли по две, по три женщины, ворочали что-то нелегкое в лоханях, а из-под лоханей при этом бежала мутная мыльная вода и уже подбиралась под наши шинели. Мы устроились, оказывается, прямо в прачечной, в которой с утра до ночи стиралось повидавшее виды красноармейское исподнее.

Ефимовская хотя и была «тылом», частью Большой земли, но и ее изрядно пощипали с воздуха бомбами. В поселке было несколько прифронтовых госпиталей. Один из них немцы недавно разбили прямыми попаданиями бомб. Здание сгорело дотла. Мы остановились перед пожарищем, перед грудой изъеденных огнем, дочерна прокаленных железных коек. На каждой из них перед тем, как сюда упали бомбы, лежал человек; врачи и сестры самоотверженно боролись за его жизнь, за то, чтобы он вновь вернулся в свои родные, может быть, владимирские, может быть, челябинские или красноярские места, вновь бы пахал и сеял или выплавлял бы сталь. Но бомбы упали, и что же сталось с теми людьми после налета «юнкерсов»?

— Многие погибли, — объяснили нам в райкоме партии. — Других покалечило по второму разу.

По распоряжению военного коменданта поселились мы в домике, половину которого занимает райземотдел и райфинотдел. В нашу комнатуху за печкой надо проходить через канцелярии этих двух немаловажных районных учреждений, перебравшихся в такую тесноту, потому что их исконные помещения тоже, как госпиталь, разбиты. Чтобы войти во двор, среди которого стоит этот домик, надобно как-то поладить с хозяйской козой, по имени Роза Викторовна. У козы длинные, как сабли, изогнутые рога и странноватый характер: одних она пропу-

скает беспрекословно, будто бы и не видит, других стремится непременно загнать на поленницу березовых дров возле сарая. А достигнув цели, тотчас с легкостью необыкновенной вскакивает на поленья сама и лихим ударом рогатого лба сбрасывает беднягу наземь. Сотрудники обоих учреждений накапливаются поэтому возле калитки и идут через двор, построившись в каре, готовые к дружному отражению козьих атак. Но коза тоже не дура и в таких случаях ни к кому не пристает. Опыт жизни научил ее в наступательный бой с недостаточными силами не бросаться.

Жизнь райзовцев и райфинотдельцев нелегкая. Время от времени над поселком на большой, недоступной зенитчикам высоте появляется «юнкерс» или «хейнкель». На железнодорожной станции тогда торопливо бьют железиной о рельс или о буфер. И все, кто есть в районных учреждениях, подхватив наиболее ценное и необходимое — главные свои папки, канцелярские счеты, арифмометры, — бегут в соседние кусты. Никому не хочется лишний раз оказаться под бомбами.

В комнатках райзо и райфинотдела холодно. Печка топится, но она не согревает старый щелястый домик. Сотрудники по очереди садятся перед ее отворенной дверцей и чуть ли не в огонь суют иззябшие ноги.

А в остальном... Удивительно, как в остальном все похоже на довоенное. Люди крутят ручки телефонных аппаратов, дозваниваются до сельсоветов, до колхозов, требуют сведений о наличии семян к весеннему севу, о том, сколько отремонтировано плугов, борон, сколько вывезено на поля удобрений. В колхозах развертывается, как бывало, социалистическое соревнование, все делается по-мирному, по-хозяйски. А ведь от Великого Двора до Ефимовской, от того места, докуда дошли гитлеровские полки, оставались совсем немногие километры. Никто не разбежался, никто не демобилизовался — ремонтируют плуги и бороны, возили и возят удобрения под урожай 1942 года.

Я разговорился с секретарем райкома партии о том, насколько же прочен наш государственный строй.

— Мудрость нашей партии, — сказал он, пододвигая ко мне стакан жиденького чая, — в том, дорогой товарищ, что труд в нашей стране она сумела превратить в дело чести, доблести и геройства. Человек, настоящий человек, так устроен, что честь для него превыше всего иного,

доблесть — это высшее его украшение как личности. Ну, а геройство? Во все века, даже тысячелетия, героем мечтал и мечтает стать любой еще с детства. Это сильные, могучие стимулы. Ни в одной стране мира этого нет и быть не может, пока там капитализм. У них что? Только погоня за наживой. Так сказать, голая материальная заинтересованность. А это для человека далеко не все. Успехи мирового значения будут сопутствовать нам всегда, покуда труд в сознании людей будет делом их чести, доблести и геройства. Гитлер это понимает. Он в своей контрпропаганде бьет как раз по самому главному. Дескать, геройствуйте, а что за свое геройство получаете, господа колхозники и господа советские рабочие? На черта вам это геройство? Я дам вам возможность работать не на государство, к чему вас призывают коммунисты, а на самих себя, на себя. Но что у него получается из этих призывов? Не хотят наши русские, советские люди разваливать свои коллективные хозяйства, не желают вновь превращаться в частников-собственников. Не манит их перспективка рано или поздно стать таким путем или батраком-поденщиком, или мироедом-кулачиной. Слышали, в районе Дедовичей целые партизанские края за спиной у немцев существуют? Сельсоветы сохранились, люди колхозами работают, госпоставки собирают, чтобы передать как-то Красной Армии. Даже загсы там есть, райвоенкоматы. В тылу-то у немцев! Не сумел Гитлер и не сумеет отнять этого у наших людей — понимания труда как дела чести, доблести и геройства, присущего только нашему строю и невозможного ни при каком другом. Если кто-нибудь когда-нибудь сумеет это подменить только личной материальной выгодой, индивидуальной, отдельной от того, что делает у нас для человека государство, — тот поставит страну в тягчайшее положение. С приходом этой индивидуалистической выгоды уйдет чувство коллективизма, начнет расти, как плесень, наплевательство на большие государственные дела и проблемы.

Я слушал его и вспомнил деревню Лазаревичи. Если бы колхозникам Лазаревичей разбежаться — кому в Тихвин, кому на Алюминьстрой или на Волховскую ГЭС (всюду сейчас остро нужны рабочие руки), — они значительно лучше устроились бы материально: твердый заработок каждые две недели, хороший паек по рабочей норме. Но они остались в разоренной деревне, на истоптанной врагом земле — они идут на геройский трудовой

подвиг, зная, что их усилия через год, через два окупятся сторицей и вновь они все вместе подымут свои Лазаревичи до уровня передовых, обеспеченных колхозов района, и материальное благополучие придет к ним не через индивидуалистические усилия, а через коллективное хозяйствование, которое вместе с достатком несет им еще и признание их трудовой доблести. Человеку мало корыта, до краев полного харчей: сала, картошки, мамалыги. Издревле сказано: не единым хлебом жив человек. На то он и человек, а не животное. Если все свести лишь к одной материальной личной выгоде, то к чему тогда ордена нашим воинам за их подвиги на поле боя? Выдай каждому герою по аршинному полену ветчинной колбасы — вот и вся награда. А есть же, наверно, такой слепец, который убежден, что именно подобная награда и есть высшая из наград.

7

Из Ефимовской мы вернулись санитарным поездом, нашли в Тихвине попутчика — московского критика Григория Бровмана, который взялся показать нам дорогу до деревни Белой, где расположились штабные учреждения 4-й армии Волховского фронта. Путь не близкий, лесами, дорогой беспорядочного отхода разбитых войск генерала Шмидта.

Денек стоит холодный, сумеречный. Трясемся в кузове. Бровман экипирован довольно основательно, он служит в военной газете, он командир, у него поэтому роскошный белый полушубок, под которым еще и меховой жилет, а под жилетом суконная гимнастерка. Есть у него и валенки. Он сидит, рассказывает разные фронтовые истории. Мы их слушаем с интересом, но зябнем. Я понимаю чертовых фрицев, которые на весь мир воют по поводу наших морозов, особенно свирепых нынешней зимой. Завоешь, если на тебе только шинель да жиденькие сапожонки в этакую январскую стужу.

Бровман рассказывает о дороге, по которой мы едем. Именно здесь он в ноябре видел отход наших войск, под натиском врага откатывавшихся к Тихвину.

— Тяжело было покидать эти места, чистые, теплые, уютные деревни. Людей, правда, в домах было уже мало, единицы. Колхозники все бросали и тоже или отходили

с войсками, или прятались в лесах, откапывая там себе землянки. Пустые, говорю, стояли деревни. Ни собачьего лая, ни дыма из труб над крышами.

— Картина та же, — вспоминаю я. — Так было и на путях нашего отступления к Ленинграду. Бросая все, люди бежали перед кровавым гитлеровским войском.

— Теперь все по-другому,— продолжает Бровман. — Сейчас эта дорога из Тихвина на Будогощь — дорога разгрома немецких полчищ. Они отчаянно сопротивлялись, хотели всячески задержаться, закрепиться. Одна за другой возводились тут линии обороны. Среди дороги сажали дзоты, просто врывали в землю подбитые танки, превращали в огневые точки каждое каменное строение, каждую церковь. А дальше, если из Белой вы отправитесь в Будогощь, и еще многое увидите. Там бои были сильнейшие. К остаткам отброшенных из-под Тихвина гитлеровцев подошла на помощь перевезенная из Франции Двести пятнадцатая пехотная дивизия. Поселок и станцию они заминировали, подъезды и мосты разрушили, сидели, прочно вкопавшись в землю. Но наше командование провело одну остроумную операцию. Отряд лыжников старшего лейтенанта Кузнецова прошел по лесам и болотам с добрую сотню километров и появился в тылу Будогощи. Ударили пулеметы и автоматы. Немцы растерялись, тогда и натиск с фронта принес полнейший успех.

Дорога, видавшая эти сражения, раскатана, разъезжена. По сторонам ее то и дело следы немецкого бегства: все такой же военный скарб, о котором я не раз поминал.

Мерзнем не одни мы с Верой; и шоферу с тем командиром, который сидит с ним рядом в кабинке, видимо, не легче; они тоже вроде нас, в шинелишках. Все мы хотим погреться. Но сделать это можно только в селе Ругуй, примерно на половине дороги к Белой. Командир, высунувшись из кабинки, прокричал нам, что на пути от Тихвина до Киришей сорок девять деревень, но все они превращены немцами в развалины, и лишь в Ругуе есть четыре целых дома. Было там шестьдесят, но до появления немцев. Замечательное когда-то было село, старинное. Народ гостеприимный, жил на шумном проезжем тракте.

Наконец-то мы добрались до этого Ругуя. Для нас с Верой картина оказалась знакомой. Так было и в Ла-

заревичах. Сплошные пепелища, и среди них, далеко одна от другой, четыре избы. Мы вошли в ту, возле которой остановилась машина. Внутри оказался такой кипучий муравейник, какого не было и в Лазаревичах. На полу уйма ребятишек. Во что-то играют, дерутся, скачут, карабкаются на лавки, качаются в зыбках. Женщины возле очага, сложенного из кирпичей, готовят обед. Они обступили большой котел и варят в нем щи на всех. Дни немецкого плена и здесь, как в Лазаревичах, сблизили, сроднили людей. В избе помещаются ни много ни мало восемь семей. Ограбленным вплоть до мелкой кухонной утвари, им нечего делить на «твое — мое». Все, что удалось сохранить, — общее. Сохранился картофель — общий; сберегли зерно — общее; женщина в углу мелет его на древних, почерневших от времени деревянных жерновах — завтра будут печь общие хлебы.

И ребят, выясняем, нянчат сообща. У многих из них нет матерей. У трехлетней Тани мать убита немецкой миной. Таня будет расти сиротой, может быть, смутно, но всегда помня крикливых людей в зеленых шинелях. А сейчас ее нянчит бабушка. Чужая бабушка.

Изба тесна, и что-то в ней видится нелепое, нескладное для глаза. Думаешь: что же? Наконец понимаешь: нет русской печки. Немцы сломали ее, унесли кирпич в блиндажи. А на место домовитой, удобной, теплой печи поставили кощунственную дымную буржуйку из бензиновой бочки.

Бочку уже заменили кирпичным очагом, на котором хотя бы можно готовить. Мы греемся возле него. Колхозник Бойцов рассказывает:

— Не знаю ничего страшнее, чем плен, какой мы испытали. Нашего, русского, они и за человека не считают. У Матрены Петровой, больная она сейчас, пришли корову брать: мясо им понадобилось. Ну, Матрена в слезы, буренку свою за шею обняла, не пускает, кричит. Вытаскивает сукин сын, немецкий офицер, пушку из кармана и раз — прямо в человека, в Матрену. Что ты скажешь! Насмерть не убил, калекой сделал. У других баб — у Соколовой с Осиповой — вон они картошку толкут — тоже коров позабирали. А самих избили так, что узнать не узнаешь. Или вот Чижов такой есть. Шел по улице в валенках. Немецкий солдат автомат к его пузу: сымай, значит, валенки. И пустил человека босым по снегу. А что с красноармейцами делали! На моих глазах,

товарищи дорогие, заперли в избе девятерых бойцов да еще соседа моего, хозяина избы, Ивана Васильевича Гордеева. И подожгли. Выйти не дали, палили в огонь из автоматов. Вовек не забуду. Так и стоит то пламя передо мной. А деревню они прикончили разом: подожгли каждый дом в ту ночь, когда удирали от Красной Армии. Эта изба тоже наполовину сгоревшая. Кое-как залатали вот.

Подсела поближе к нам колхозница, шестидесятилетняя Моисеева.

— Мы, эта, как только почуяли, что немец к нам идет, подхватились да в лес подальше. Пусть, мол, зверь дикий растерзает, чем зверь двуногий будет мучить. Но ведь зима, снег, следы на нем как отпечатанные. Немцы по следу за нами, да и пригнали всех обратно. Ишь вы, говорят, какие хитрые. На армию фюрера не хотите работать. Шалишь, поработаете. Выпороли для острастки всех — и баб и мужиков, как одного, дома наши позанимали, держали всех, что называется, под прицелом. Я, к примеру, у них в свой подвал была посажена. Ежели выйти куда, то только под конвоем. Месяц были тут с небольшим эти прорвы, а сорок мешков картошки у меня сожрали, корову зарезали, три кадки капусты опорожнили. Подчистую, что та саранча из Библии. А отступать стали, взяли, как у других, и мой дом спалили. На фронте у меня три сыночка и доченька — все воюют. Пишу им в письмах: «Ро́дные мои! Бейте гадов-фашистов, детушки. Отомстите им за муки-страдания старухи матери!» Посмотрите, люди добрые, опухшая же я от голоду, водой вся налившаяся. Вот чего наделали изверги!

Люди рассказывают и рассказывают. Но не слеза у них в голосе, не стон, не уныние. Они немало намучились, и еще впереди достаточно тягот. Но головы никто не повесил, нет. Спаянные несчастьем минувшего плена и радостью освобождения, с какой-то новой, неведомой энергией люди берутся за жизнь, как те, в Лазаревичах, хотят поскорее возродить свой колхоз. В Ругуе бережно хранят все, что уцелело. Собрано зерно для посева, привели из леса трех лошадей и две коровы, из-под развалин сараев и кузницы извлекли плуги. Тоже собирают золу для удобрений.

Кто-то организует эти работы, эти дела? Да, конечно, мы в Ефимовской видели, кто это делает. В Тихвинском районе тоже работает райком партии. Сквозь все трудно-

сти прокладывают путь к весеннему севу райземотдельцы, сельсоветы, правления колхозов.

Ругуйский сельсовет с его председателем Калиничевым мы нашли в землянке, где развернула свою работу эта первичная ячейка Советской власти.

Калиничев рассказывает:

— У нас колхозы были богатые. Хлеба, мяса, масла, овощей каждому жителю хватало с избытком. Бывало, идешь по любой из четырех наших деревень, сердце радуется: новые школы, новые дома, новые общественные постройки. Соберутся в избу-читальню вечером мужчины да женщины, размечтаются о будущем — как бы радио в каждый дом провести, где общественный сад разбить, какие новые фермы завести. Если кинопередвижки долго нет — ругаются.

Он ставит печать на бумажку, поданную ему девушкой-секретарем, продолжает:

— Вот вы уже про Ивана Гордеева знаете, которого сожгли в избе. А Гаврилова, того замучили. Старый был человек, под шестьдесят подходило, не пощадили. Молодых парней Матвеева и Иванова до смерти доистязали. Четырнадцатилетнего Васю Матюшина убили. Что говорить, недолго звери пробыли, а успели в одном нашем сельсовете сжечь сто двенадцать жилых домов, две школы, пять скотных дворов, девять свинарников, магазин, клуб, помещение Совета, молокозавод... Все сызнова строить надо. Вот и живем сейчас засучив рукава — и сельсовет, и партийная организация.

Очень важно, что Советская власть оказывает свое влияние на каждом шагу. Люди в разоренном селе Ругуе знают поэтому, что их не оставят в беде, непременно помогут. Им уже известно, что в районах, куда не пропустили немца, для них собирают зерно. Известно даже, что в далеком капшинском колхозе «Шугозеро» для ругуйцев выделили коня с полной упряжью, отсчитали от себя, сколько смогли, плугов и борон и даже кое-что из одежды собрали.

За селом Ругуем, на развилке к Белой, стоит другое разоренное русское село — Кукуй. В нем рядом с кладбищем немецких солдат можно увидеть еще и целый штабель заготовленных березовых крестов. Они были завезены соответствующими службами немецкой армии впрок. Что ж, у каждого свои перспективы. Нам нужны плуги, семена, бороны, им — кресты и могилы.

Базируясь на деревню Белую с ее штабами, колесим по частям Волховского фронта, которым командует генерал армии К. А. Мерецков. Продолжаются сильные бои. Немцы, так стремительно отброшенные от Тихвина, уже собрались с силенками и остановились. Кириши взять с ходу нам не удалось. Сейчас там мощный опорный пункт немецкой обороны. Много крови льется возле Погостья.

Побывали в оперативном отделе штаба 4-й армии, долго рассматривали карту расположения наших и немецких войск под Ленинградом, на всех подступах к нему. До чего же близко подошли немцы к окраинам города с осени, и как близки они, ударив на Тихвин, были к тому, чтобы в районе Онежского озера соединиться с финнами.

Карта все зафиксировала. Вдоль Финского залива, от деревень Липово и Устье до Петергофа, лежит лоскут удержанной нами земли длиной километров в сорок — пятьдесят и шириной, ну, самое большее — в двадцать. Дальше, к Ленинграду, от Петергофа до Урицка, по всему берегу сидят немцы, рассматривают в бинокли Кронштадт, Лахту и Ольгино, Васильевский, Голодай и Елагин острова, что ни день стреляют оттуда по ленинградским улицам из тяжелых пушек. От Урицка, через Пулково, на Пушкин, Ям-Ижору, Колпино — от залива до Невы,— примыкая к окраинам Ленинграда, лежит еще один лоскут, удержанный нашими войсками в сентябрьских боях. На северо-востоке за Невой, в сторону Карельского перешейка — кус побольше, он выгибается к Ладожскому озеру. Но, даже если сложить все кусы и лоскутья, это же малая горсточка советской земли, как бы вырванная из гигантского тела страны, сжатая в чужих железных пальцах. Над нею во всех направлениях снуют крупных калибров снаряды, челноками ходят бомбардировщики и воздушные разведчики, ходят нагло, и даже днем: те зенитные пушки, которыми Ленинград располагает, до них не достают в морозном зимнем небе. Вдоль Ладожского озера, по берегу, от Шлиссельбурга километров пятнадцать на восток — снова немцы, отсекая нас по сухопутью от Большой земли. Пустячный неравносторонний четырехугольник, вытянутый от озерного берега до Мги, преграждает здесь путь к Ленинграду и из Ленинграда. Си-

нявинские торфяники, Синявинские высотки... Волховский фронт рвется через них к траншеям Ленинградского: ленинградские части тоже бьются об эти препятствия, устремляясь навстречу волховчанам.

Мы пишем о героях тяжелых боев, военным телеграфом и разными оказиями отправляем свои корреспонденции через Ладогу, в редакцию «Ленинградской правды».

Живем в Белой, в избе колхозницы, куда нас определил комендант штаба. Деревня большая, живописная, на счастье мало пострадавшая от гитлеровских поджигателей. Дом, в котором мы остановились, теплый. Хозяйка приветливая, гостеприимная, говорливая. У нее дочь лет двадцати. Хозяйка каждый день рассказывает о том, сколько страхов натерпелась она из-за дочки за время немецкого плена.

— Солдатня же, офицерье... Люди они некультурные, дикие. Никто ни с чем не считается, будто мы для них скот бессловесный. Трогать не скажу, чтобы трогали, но и человека в тебе видеть не хотят. «Подай, принеси, вымой, постели!..» Их тут, может, пятнадцать, может, двадцать в дому у нас квартировало. Всю ночь в костяшки играют, в карты, на гармошках пиликают, песни орут. Мы лежим на печи — ни живые ни мертвые, все смотрим и смотрим, беды ждем. Поверите ли, пытка же это египетская, день-то за днем, час за часом в своем дому чужаков видеть и беды от них ждать. А доченька моя, на нее, на беду-то, так и лезет, так и лезет. Что бы смолчать, язык подержать за зубами, нет, режет, что ножом, на любое ихнее слово. Комсомолка она у меня, всегда активная была, бесстрашная. «Дай воды»,— орут ей. «Сам возьмешь, не велик барин», — это она-то. «Почисти сапоги». — «Сам лижи их своим языко́м». И еще, главное, кое-что и на немецкий переведет: в школе отличницей была. А раз я и вовсе обмерла до полусмерти. Сидит солдатня вот на этой лавке, что возле окна, рядком так расселись, рубахи поскидывали нательные и все, как один, вшей бьют. Увидел один, что я смотрю на эту работу, и давай изгаляться: это, мол, такой-то ваш вождь, это такой-то... Выкладывает по одной штуке на лавку, давит ногтем и гогочет. И все гогочут. Девка моя тут и выскочи на них, что огурец бешеный. «Врешь, — говорит, — это не тот, о ком ты мелешь. Это Гитлер твой, Геббельс ваш, Геринг!..» Ну, думаю, конец нам пришел, крестом себя осенила, ноги подсеклись сами собой. А те,

вошебои-то, еще пуще заржали. Только один поднялся так спокойненько и хлестанул мою забиячницу ладошкой по лицу. Не сильно, не для боли, значит, а для порядка. «Но-но-но! — сказал. — Гитлер гут. Геббельс гут, Геринг гут». «Гут» — это по-ихнему «хороший» получается. После этого я ее на сеновале скрыла, строго-настрого наказала не высовываться. Они расспрашивали было: куда да почему пропала такая красивая девушка? К тетке, соврала им, в другую деревню за хлебом пошла. Так беда и миновала нас. А быть бы ей, быть. По всему виделось, доберутся турки эти до нее, до девки моей.

Газеты много пишут о действиях наших советских партизан в тылу врага, о борьбе советских людей на оккупированной немцами нашей земле, о смелых, убежденных, идейных; среди них и старые, и молодые, и зрелые годами, и совсем юные. Я смотрю на дочку нашей хозяйки, а вижу тех, о которых только что прочитал. Задержись немцы в Белой подольше, нет сомнений, что пламенная патриотка эта тоже вступила бы в борьбу с ними, ушла бы в леса, била оттуда партизанскими пулями, жгла бы дома, занятые врагом, взрывала мосты, устраивала завалы на дорогах. Такую не купишь, не разоружишь идейно, у такой ее убеждений не отнимешь.

Несколькими днями позже, в Будогощи, пришлось узнать и нечто другое. Я сидел в тепло натопленной комнате особого отдела, где мне рассказывали истории, касавшиеся пребывания немцев на тихвинской земле.

— В трех шагах отсюда находится под замком одна девчонка, — сказал капитан-особист. — Всего-то восемнадцать лет от роду, а уже успела стать предательницей.

— Как так?

— Да вот так, послушайте. Но эта история невеселая, хотя знать ее полезно всем. Этакая красоточка жила тут недалеко в поселке. Родители и так и эдак наряжают ее, холят, лелеют. Школу окончила — на работу определять не спешат. «Погуляет пусть, — уговаривают сами себя, — поневестится». Платья шелковые, туфельки на самом высоком каблучке, патефончики, танцульки. В общем-то ничего как будто бы плохого в этом нет. Верно? Все же мы повторяли слова: «Жить стало лучше, жить стало веселей». Но вот пришли немцы. Девчонку эту да еще двух-трех ей подобных офицерики из контрразведки быстренько присмотрели. Платья, понятно, еще более модные перед ними раскинули — из «самого Берлина»! Шампанское —

французское. Шоколад — голландский. Апельсины — итальянские. Бусы, браслеты — чешские. Пластиночки — одни фокстротики. «Красивая» началась жизнь. Потом в «общежитие» всех собрали. Дескать, учить немецкому языку будут, чтобы переводчицами стали. Такие, мол, они все интеллектуальные, не похожие на местных фанатичных дикарок, вполне европейские барышни. А там, глядишь, облачая в рубища беженок, стали отправлять через линию фронта, заставили собирать куски в торбу, а вместе с кусками и сведения о наших частях, об артиллерийских позициях, о штабах, лесных аэродромах. Сейчас ее ждет военный трибунал. Она говорит, что все, все поняла. Об одном просит: чтобы отцу не сообщали, в кого она превратилась. Не вынесет он такого позора.

— А кто ее отец?

— Железнодорожник. Машинист. Рабочий человек.

Две девушки — одна из деревни Белой, другая из-под Будогощи — обе из трудовых семей, обе почти одних лет, обе учились в советских школах, были пионерками, комсомолками. Но какими разными пошли они путями. Одна была готова умереть за свои коммунистические убеждения, другая согласилась на предательство за шелковые тряпки, за шоколад и стекляшки. В чем же дело?

— Хотите с ней поговорить? — спросили меня особисты.

Да, я хотел поговорить с ней, я должен был разобраться в этих человеческих загадках.

Она сидела в узкой комнате с ржавой решеткой на окне, смотрела в верх окна, потому что низ его был заколочен досками.

— Скажите, — спросил я, — вы понимаете, что натворили?

— Да, да, да! Понимаю. Слишком хорошо понимаю. Я превратилась в мерзкую шпионку, совсем в такую, о которых когда-то с возмущением читала в книгах.

— Ну, это ладно, — говорю я, — вы не устояли перед заграничными платьями, перед заграничным шоколадом. Вы, в сущности, еще очень молоды, и ничего удивительного в том нет. Но почему же вы не остановились вовремя? Ведь вы могли перейти линию фронта по заданию немцев и явиться к своим, рассказать им все сами.

Она молчала. Потом замотала головой.

— Нет, нет, вы не понимаете. Они уже не давали остановиться, они не давали опомниться. Они держали

меня, как в клещах. Я вся была запутана, опутана. Их платья и шоколад обошлись мне дорого, очень-очень дорого.

— Что значит «держали»? И в каких клещах?

— Тот офицер, по заданиям которого я работала, все время говорил, что любит меня, что увезет меня в Германию, в Европу и там я увижу настоящую культурную жизнь, увижу мир. А потом, когда этот исчез и на его место явился другой, мне уже ничего не обещали. Другой просто грозил: чуть что, милашка, мы повесим твою матку на фонаре в Будогощи. Папа-то у нас уехал вместе с паровозом, когда подходили немцы, а мама осталась. Она уже немолодая.

Тяжелый, холодный камень остался на душе после разговора с этой дивчиной. Нельзя было не видеть: мучилась она не от мысли о том, что с ней *будет*, а от того, что с ней *сталось*. Всю бы свою молодую жизнь отдала она теперь за то, чтобы только не было этого происшедшего с нею. Ей показалось пустячком ответить улыбкой на улыбку элегантного вежливого чужого офицера в лихо заломленной фуражке; пустяком казалось выпить с ним бокал вина и принять в подарок несколько камешков на нитке. Ведь и они, дескать, люди; тем более люди из такой страны, которая так много дала мировой культуре, науке. Девушка из деревни Белой не принимала чужих улыбок, на слово она отвечала еще более решительным словом. Немцы видели в ней потенциального солдата, которого можно убить, но нельзя согнуть; поэтому они и не пытались ее сгибать; ее мать права: они бы ее рано или поздно уничтожили. А эта, забалованная родителями, не знавшая труда, нежненькая, не выстояла перед соблазном. Мастера из гитлеровской разведки, воспользовавшись этим, сделали из нее свое оружие, и кто теперь подсчитает, сколько наших бойцов, офицеров, мирных граждан погибло от этого оружия в Тихвине, в Лазаревичах, в Ругуе, здесь, под Будогощью...

9

Мы попытались пробиться на левый фланг Волховского фронта, по направлению к Новгороду. В Будогощи, где расположены разные штабы, нам сказали, что под Новгород возможен такой путь: поездом до станции

Неболчи, от Неболчей лесной дорогой до Малой Вишеры, которая на железнодорожной магистрали Ленинград — Москва, а за Вишерой лежат проезжие фронтовые дороги к озеру Ильмень. Нам, правда, хотелось еще посмотреть и Калинин, отбитый недавно у немцев. Но первым делом мы все же решили добраться до Неболчей.

Когда темный, переполненный людьми поезд из трех или четырех старомодных вагончиков дотащил нас среди ночи до этой станции, над заснеженной землей стояло звездное небо и крепко, до хруста в телеграфных столбах и дощатых заборах, морозило. Несколько пассажиров, сошедших вместе с нами, мгновенно разбежались по известным им тропинкам, протоптанным в глубоком снегу; расспросить о дороге на Вишеру было уже не у кого. Ночь, как говорится, тиха, пустыня внемлет богу.

Долго путались по затемненному, беспорядочно разбросанному поселку, ища просвета в окнах, зябли, но не теряли надежды на лучшее. В одном большом хмуром доме дверь оказалась незапертой. Мы вошли в просторный вестибюль и осветили его спичками. Из вестибюля куда-то вели другие двери. Одна из них тоже оказалась незапертой. Вошли, нашарили на стене выключатель. Зажглась лампа, и перед нами предстал большой «типовой» учрежденческий кабинет. Тут было все, что в таких кабинетах бывает: длинный стол для заседаний, клеенчатый диван, этажерки с томами классиков марксизма-ленинизма, красные дорожки на полу, по стенам должные портреты, в углу круглая железная печка. Печка была горячая, и мы поспешили прислониться к ней спинами. За печкой обнаружились самовар и ведро. Если бы знать, куда тут ходят за водой, можно бы вскипятить чаю, и тогда наша судьба на ближайшие пять-шесть часов была бы вполне ясной. Мы начали обживаться в неведомо чьем помещении.

Но очень скоро к нам вбежал запыхавшийся, перепуганный человек в полушубке и с дробовиком в руках и истошно заорал: как, мол, мы сюда попали, это же райком комсомола, а он военизированная охрана данного объекта, только вот отлучился на минутку, и — поди же! — такое неслыханное происшествие.

Мы попытались уговорить его принести воды для самовара, но он был непреклонен, вызвал по телефону подкрепление в лице самого секретаря райкома комсомола.

Тот помог нам связаться с военным комендантом, и часа в два или три ночи нас отвели «на постой», в избу, в которой ночевали те военные, путь которых лежал через Неболчи. В избе были две комнаты, отделенные одна от другой дощатой перегородкой, и еще был закуток за печью, задернутый тряпичной занавесью. В первой комнате на стене висела керосиновая лампа с привернутым фитилем, и при ее еле дышащем свете мы разглядели, что пол вокруг нас так плотно занят спящими в шинелях и полушубках, что никто лишний среди них уже не уместится. Осторожно просовывая носки сапог между спящими, кое-как добрались до второй комнаты. Там, под окном, возле комода, оказалось немножко места, и то лишь потому, что на это место так дуло от окна, что уже намело косячок белой снежной пыли. Выбора не было, мы смахнули эту пыль, ослабили ремни на шинелях и улеглись, накинув на себя плащ-палатку. Сон пришел мгновенно. Но так же мгновенно и распался от странных звуков: будто бы кто-то где-то, совсем рядом, бренчал на балалайке. И верно, за тряпичной занавесью сидела на табурете девчонка лет семнадцати и при свете фитиля, плававшего в плошке с маслом, уставясь в одну точку, без всякого выражения в глазах, тренькала одну и ту же мелодию: «Цыпленок жареный, цыпленок пареный пошел по Невскому гулять. Его поймали, арестовали, велели паспорт показать». Наступала короткая пауза, и снова: «Цыпленок жареный, цыпленок пареный...» Из груды тряпья позади этой девчонки время от времени появлялось полуголое существо в распашонке, маленькое, слабенькое, видимо только что начавшее ходить, и, повторяя торопливо-испуганное «пукакать», при этом падая, шлепаясь, опрокидываясь, переползало через спящих к двери и там с треском делало то, о чем так во всеуслышание объявляло. Потом несчастное существо возвращалось на место, чтобы через какой-нибудь десяток минут повторить все сначала. А старшая девчонка все бренчала и бренчала вполструны, вползвука.

Выяснилось, что это сестры: одна не так чтобы очень большая, а другая и вовсе маленькая. Отец их на фронте, известий от него нет. Мать умерла недавно от болезни, названия которой дочка не запомнила. Комендатура снимает эту избу под ночлег военным, платит сколько-то, чтобы девочкам было на что жить. Маленькая исходит отчаянным поносом, потому что каждый ночлежник, жа-

леючи, кормит ее всем тем, что найдется у него в карманах или в мешке; а у старшей от непосильных тягот жизни тихо помутился разум.

Видя, что мы не спим, раздумываем, рядом с нами поднялся сонный боец, свернул цигарку, пустил клуб махорочного дыма.

— Может, и моя семья так же мается, — сказал. — Я сам-то с-под Луги. Немец там свои порядки наводит. Ладно, если еще живы. Санаторий «Красный вал» знаете, за совхозом Дзержинского? Хороший санаторий. Ну, так наша деревня супротив санатория, на том берегу озера. «Наволок» называется. Яблочная деревня, богатая. И тоже вот дочки — одной пятнадцать лет, другой три годика.

Он лег и долго перекладывался с боку на бок, не находя подходящего места усталому телу, а когда заснул, то стонал и вскрикивал.

Дорогу на Вишеру нам толком никто показать не смог; утверждали, что путь через лес заброшен из-за снегопадов и самое верное, если мы хотим попасть на левый фланг фронта, — двинуться на Боровичи.

Так и решили: двинуться на Боровичи через Хвойную.

Боровичи — хороший российский городок; несмотря на войну, он не утратил своих добрых качеств.

После всех странствий, после спанья на полу то в красноармейской прачечной, то в разоренных колхозных домах, то в какой-нибудь комендантской избе, нам показалось тут, что мы угодили прямо в сказку: нас поселили в благоустроенной гостинице.

За полгода фронтовых и блокадных условий многое забылось. Забылись такие вот не тронутые огнем города, гостиницы с чистыми постелями, разметенные от снега улицы, дни без грохота снарядов и ночи без воздушных тревог.

В гостиничном коридоре я встретил Антропова из Гдова. Я его часто видел в Гдове, когда был там собкором, а он работал заместителем директора МТС. Мы вместе знаем Житенева, знаем многих других районных работников. Обрадованные встречей, сидим в моем номере, вспоминаем прошлое: какой это был знаменитый район — Гдовский, какие имел он светлые перспективы.

Заговариваем в конце концов и о том, что происходит в тех местах сейчас. Рассказывает Антропов. Я молчу, слушаю.

— Получилось не совсем ладно, — говорит он. — Мы не собирались сидеть сложа руки в ожидании немцев. Наш актив деятельно готовился к подпольной, партизанской борьбе с оккупантами. Мы заранее распределили обязанности. Кошелев, например... помните, заведующий военным отделом райкома?.. Он командир отряда. Я, поскольку имел опыт хозяйственной работы, — старшина. У всех других тоже свои дела были. Народ боевой. Вы же знаете наших товарищей. Редактора районной газеты Сажина, помощника прокурора Ополченного, судью Рысева, начальника отделения Ленкино Горбунова, инструктора райкома Калинина, Литвинова из Союзплодоовощи, предисполкома Гаврилова... Вначале у нас был истребительный батальон. На нашей территории располагалась Восемнадцатая дивизия Красной Армии. Все бы хорошо, но вот что неладно. Немцев мы ждали от Пскова, а они рванули на Гдов со стороны Черневского сельсовета, со стороны Ляд. Обошли лесами. Неожиданность получилась, смяли они нас прямо с ходу. Народ рассеялся по лесам кто куда. А два взвода отошли в полном порядке. Осмотрелись в лесу, глядим: сорок шесть человек. Из этого и сколотился наш Гдовский партизанский отряд. Базу оборудовали в самой глухомани, на границе с Лядским районом. Помните, какие там дебри? Ну, а действовали главным образом у себя, на Гдовщине. Заскакивали, правда, и в соседние районы: в Осьминский, Полновский. Начинать было очень непросто. Ничего-то мы не умели. Все для нас новое. Да и немцы не дремлют. Мы одно думаем, а они другое, свое. Вот, к примеру, наша первая операция. Из засады в Лядском районе мы разбили гранатами немецкий грузовик с солдатней. Немцы в ответ переарестовали всех мужчин соседней деревни, начали их пытать: укажите партизан. Или другой случай. Сидели возле Черневского шоссе. Видим, идет танк. Один почему-то. У нас были подготовлены на такой случай связки гранат, бутылки с зажигательной смесью. Подпустили мы его, ударили. Загорелся. Стоит и горит. Радуемся. Но тут подошли другие танки и такого огня дали в нашу сторону, что еле ноги удалось унести. Да еще и самолет появился, принялся прочесывать лес. Трудно, очень трудно было поначалу. На каждый наш удар немцы отвечали тройным, десятерным ударом. Не

скажу, чтобы мы трусили перед ними, но все-таки как-то робели. Позже освоились, привыкли. Был случай. Наши лазутчики сообщили, что со стороны Добручей через Плюссу переправился немецкий карательный отряд, ищут партизан. Сообщили соседнему отряду, собрались вместе — всего человек семьдесят. Двинулись навстречу немцам. Глядим, боя не принимают. Повернули, голубчики, да и назад за Плюссу умотали. Силы, значит, боятся. Стали мы тогда активность проявлять. Не спасаться от врага, не отбиваться от него, а самим искать встречи с ним. Есть хороший способ вызвать противника на стычку: оборвать связь, непременно явятся для ремонта. Тут-то их и щелкай по штуке. Мы нащупали линию от Добручей на Рудню и через Осьмино на Лугу. Это у них одна из главных фронтовых линий. И стали действовать вдоль нее. Такой способ у нас назывался «Вызвать фрицев по телефону». Порвали вечерком их провода, «вызвали», значит. Но немцы ночью носа в лес не кажут. Мы знали это, дождались рассвета, а в шесть утра засели в засаду. В полдень к месту обрыва явилось целых семь человек. Двое с пулеметами, пятеро с автоматами. Мы уже руки потирали от удовольствия. Но кто-то из наших поспешил, занервничал, лязгнул затвором. Немцы сразу же залегли и давай палить вкруговую. Мы тоже открыли огонь. Целый час этак перестреливались. Патронов жалко стало. Накопились в кустарнике да и ударили в атаку. Удачно получилось. Прикончили всех семерых. С нашей стороны потерь не было. Принесли хорошие трофеи. А вот был еще случай. В колхоз «День кооперации» Подборовского сельсовета прикатило около десятка автомашин с немцами. За коровами приехали. С этой шатией прибыл и один очень известный в мире немецких интендантов хозяйственный генерал. Послали мы туда разведку: что, мол, и как. А сами в засаде, в лесу. Не успели разведчики вернуться — заготовители уже обратно катят. Мы — в гранаты! Гром, треск, крики. Большой бой получился. Генеральская легковая машина загорелась. Горит, и никто ее не гасит. Бой — всем некогда. Для нас это был очень неравный бой. С их стороны около сотни солдат и офицеров. А с нашей только двенадцать. Мы отошли, чтобы зря не терять товарищей, тем более что дело-то сделано. Трое наших успели подобраться к дороге, увидели, что генерал так и сидит в горящей машине. Мертвый. В немецких газетах после этого

писали и по радио гудели: гитлеровское командование об этом генерале сильно плакалось. Он был одним из лучших специалистов по снабжению армии. А еще вдобавок, поскольку в том бою мы многих перебили, многих ранили, немцы распустили слух, будто бы советские партизаны стреляют отравленными пулями.

Антропов оттаивал от трудных месяцев партизанской борьбы. Его вызвали в областной штаб, он пользовался короткими днями передышки. Смотрю на него: сидит в мягком кресле, курит, щурится, и, должно быть, перед глазами его все снова и снова боевые дела партизан на занесенной снегом Гдовщине. Не может он о них молчать, все рассказывает и рассказывает.

— Подрывали железнодорожные эшелоны минами. Разно подрывали. Иной раз ждем, когда поезд подойдет, и тогда дергаем за шнур, сидя в лесу. А то ставили мины с капсюлями. С чем были эшелоны? Всякие попадались. Одни с войсками. Другие с боеприпасами. Который с боеприпасами — так даст, бывало, что, поди, в самом Берлине, Гитлеру, слышно. Подрывник у нас отличный. Савельев. В лесу его встретили, от части отбился. Ленинградец. Совсем недавно везли полный поезд солдат на фронт. Мы его под откос. На выручку этому, глядим, второй пыхтит. А у нас неподалеку еще одна мина стояла — мы и тот под откос пустили.

Представитель гдовских партизан рассказывает, и передо мною развертывается такая картина. Солнечным морозным утром передовые посты сообщили, что в деревне Щепецы сразу по четырем дорогам движется до тысячи немцев: за рекой в поддержку им установлены орудия; вражеские разведчики уже рыщут в окрестных лесах.

Тысяча против сорока шести — как-никак многовато; надо было отходить.

Партизаны пробивались сквозь лес на север. Но и в лесных чащах уже скрипел снег под подошвами немецких сапог, стучали автоматы и пулеметы. Каратели прочесывали местность, сжимая кольцо вокруг деревни.

Все же прорвались через это кольцо. Только — раненный — остался в глубоком снегу Зайцев, работник одной из заготовительных контор Гдова. Пока мог, он стрелял. Но его оглушили и взяли живым.

В деревне началась жестокая расправа. При свете пожарищ людей избивали прикладами, бросали оземь, топтали ногами.

Зайцев был жителем Щепец. Немцы нашли его дом и тоже запалили, как многие другие. А самого с веревкой на шее подвели к березе. Мужественный, с минуту стоял он, пошатываясь от ран и побоев. Затем сложил пальцы в кукиш и сказал:

— Русской земли вам надо? А этого не хотите?! — Таким было его последнее слово.

Неподалеку на крик кричали женщины. Одну из них выхватили из толпы. Она оказалась женой колхозного бригадира Василия Всеволодова.

— Большевика жалеешь? Значит, сама большевичка!

Два солдата раскачали и швырнули ее в грузовик. В деревне жену Всеволодова больше не видали.

Василий Всеволодов, скрывавшийся в тот час расправы за сараями, откопал под одним из них винтовку, еще с осени подобранную в поле, окликнул старшего сына и ушел с ним к лесу. На опушке оглянулся, чтобы еще раз увидеть могилы близких, за которых он поклялся мстить каждой пулей этой старой, но надежной русской трехлинейки; нашел следы партизан и тоже сквозь чащи зашагал к северу.

Позади еще долго пылали родные Щепецы.

Этот дальний заплюсский край Гдовского района — Ульдигский, Черневский, Щепецкий сельсоветы — немцы называют «Чертов угол» и до зимы сюда заглядывать не рисковали. Сами Щепецы на их картах помечены: «Партизанская деревня» — партизанский центр всей округи. Именно отсюда, из болот, из буреломов и густых ельников, на немцев что ни день обрушивались удары гдовичей.

Партизаны ходили по знакомым местам и всюду встречали следы «нового порядка». Они видели разграбленный Гдов. Перед бывшим редактором «Гдовского колхозника» Сажиным предстало спаленное здание редакции, перед Антроповым — разрушенная усадьба МТС, перед председателем исполкома райсовета Гавриловым — доведенный до нищеты район. Видели партизаны замученных учительниц Добрученской школы. Видели труп пастуха, повешенного только за то, что ему подошла по размеру красноармейская фуражка, найденная на дороге ватагой гитлеровцев.

Жители верили партизанам, помогали им, надеялись на них. Партизаны вылавливали предателей и шпионов и тут же именем советского народа расстреливали. Так

был казнен столяр Гдовского промкомбината, ставший шпионом.

Что дала немцам крупная карательная экспедиция против «Партизанской деревни»? Несколько замученных людей, сожженных домов — лишь капля в море страданий, какие терпит народ в гитлеровском плену. Эта капля только прибавила ярости против немцев. Многие, как Василий Всеволодов, пошли в леса искать партизанские тропы.

— Потеряли мы мало, — рассказывает Антропов. — Двоих убитыми, да вот Зайцев погиб. А еще один был раненый. Посмотрим зато, какой мы нанесли урон. Сожгли танк, разбили двадцать грузовиков и семь легковушек, подорвали четырнадцать поездов, пулевым да гранатным огнем добрую сотню солдат перебили... не считаю тех, кто был в поездах... Нескольких офицеров щелканули, а к ним и генерала добавили. Мы им еще покажем! — вдруг жестко сказал он. — Слушайте! Разве это люди? Сволочь же это! В октябре часть их войск отходила с передовой в тылы на отдых. Толпами мерзость гитлеровская валила через наш район. Грабеж начался, избиения, насилия. Десятки полуживых, истерзанных женщин находили мы вдоль дорог после того, как проходили гитлеровские вояки. Не забудьте сказать об этом, если будете писать о наших делах. У Гитлера не армия, а банда. Пусть потом на себя пеняет, когда его судить будут.

10

В Боровичи через длинную цепь учреждений пришла телефонограмма о том, что в Тихвине нас с Верой ждет телеграмма-«молния» из «Ленинградской правды». Попытку попасть в Малую Вишеру, а из нее дальше — под Новгород — пришлось отложить. Бесконечными, разбитыми, разъезженными дорогами, длинной кривой дугой с востока на запад потащил нас осадистый, не то трофейный, не то пригнанный из Прибалтики автобусище с льдисто-холодным полом, выложенным керамической плиткой. Нам здорово повезло: это был первый в условиях войны рейс пассажирского межрайонного автотранспорта. На вторые сутки, промерзнув так, что дальше некуда, поздним вечером сошли мы с этой колымаги на

площади в Тихвине, недалеко от редакции Евгения Ивановича Негина.

В редакции было тихо. Бои на фронте приняли позиционный характер, корреспондентам многочисленных газет уже делать здесь было нечего, некоторых из них отозвали в Москву. Евгений Иванович сидел один, читая гранки завтрашнего номера.

— Да, — сказал он, — дня три-четыре назад на ваше имя пришла «молния». Чудаки там у вас в «Ленинградской правде»: они думают, что сейчас прежние, довоенные времена — «молния» так «молния». А ее, эту «молнию», может быть, через озеро на попутном грузовике везли.

А в Тихвине и свои чудаки нашлись. Лежит телеграмма и лежит. Это уж он, Евгений Иванович, посоветовал обзвонить возможные места нашего пребывания. Связались с политотделом 4-й армии, со штабами дивизии, где мы побывали, нащупали наконец в Боровичах.

Евгений Иванович азартно рассказывал о том, как восстанавливается жизнь в Тихвине, а мы, намерзшиеся, задремывали возле его гостеприимной плиты.

Утром там, где обосновалась и работает выездная часть Ленинградского обкома, мы прочли наконец эту «молнию». Ничего особенного в ней не было. «Немедленно возвращайтесь в Ленинград. Золотухин». И только-то. Написано это было пять дней назад. Следовательно, мы сильно запаздываем с выполнением редакторского приказа. Обзвонили, обегали все известные нам штабы и учреждения, которые, по нашим предположениям, могли поддерживать колесную связь с Ленинградом. Выяснилось, что завтра или послезавтра в Ленинград пойдет грузовик одной из авиационных частей. Капитан в штабе этой части, ленинградец, инженер по довоенной профессии, попросил нас, как только доберемся до Ленинграда, навестить его родителей — уже два месяца он не имеет от них весточки. А то писали. Он вручил нам письмо и крошечную посылочку для них — пара консервных банок и несколько пакетиков концентратов гречневой и пшенной каши.

Через два дня начался наш обратный путь с Волховского фронта. Мы нервничали, поскольку хоть и не по нашей вине, но получалось все же недельное промедление против требований золотухинской «молнии».

И хотя Золотухин совсем не тот командир, приказы которого приятно выполнять, но, думалось, за ним же стоят редакция, наш коллектив, которому мы мало ли зачем так срочно понадобились. Может быть, все больны и уже некому работать.

Обратный путь лежал другой дорогой, нежели месяц назад. Мы не тянулись лесами через Сясьстрой, Новую Ладогу, прокофьевскую Кобону. Значительно более короткой трассой проехали через Волхов на станцию Войбокало, отбитую у немцев в ожесточеннейших декабрьских боях, и к озеру выехали южнее Кобоны — в Лаврове.

Располагались мы в машине так: за рулем шофер-красноармеец, с ним рядом в кабине сопровождающий груз второй красноармеец с винтовкой и Вера. Я ехал в кузове, лежа или сидя — как было удобнее, довольно высоко на жестких, угловатых ящиках, затянутых брезентом. Груз, надо отдать должное, был серьезный — стокилограммовые авиационные бомбы. Их насчитывалось, кажется, двадцать штук. Они погромыхивали подо мною на ухабах, пошевеливались, каждая в своей отдельной клетке, и все время напоминали о своем существовании. Пока мы ехали сушей, на них можно было сидеть спиной к движению машины, покуривать, раздумывать: мороз не так уж и сильно давал себя знать.

Но вот, когда мы в последний раз обогрелись в Лаврове, загроможденном товарами для Ленинграда, да съехали на ладожский лед, стало плоховато. Под чистым голубым небом закручивал гайки такой мороз и свистал бешено дуя с севера, такой убийственный ветер, что у меня — тут я понял, как это бывает, — стало перехватывать дыхание. Чувствую, что гибну, и все. Замерзаю. Уже и шевелиться не хочется: мол, будь что будет. Два «мессершмитта» над нами кружат в голубой вышине — ну и черт с ними. Рвутся один за другим несколько тяжелых снарядов, кроша и вскидывая вспыхивающий на солнце радугой зеленовато-голубой лед, — и тоже безразлично.

Но что это? Мы стоим? Да, машина остановилась на половине пути через озеро. А есть строгий приказ шоферам не останавливаться на льду, не задерживаться даже для оказания помощи друг другу.

Хлопают дверцы кабины. На лед выходят шофер, сопровождающий боец, Вера. Зовут и меня. Кое-как слезаю на несгибающихся ногах.

Красноармейцы копаются в моторе, мы зябнем, как нам кажется, на сорокаградусном морозе. Ветер не дает стоять, подхватывает и гонит в сторону от машины по льду.

— Что тут случилось?

— Сорвало сцепление. Своими силами не обойтись. «Голосовать» надо.

Шофер и сопровождающий, а с ними и мы дружно подымаем руки, сигналя о бедствии проносящейся мимо машине. Она даже не уменьшает скорости: приказ есть приказ, тем более что «мессершмитты» уже обратили внимание на нашу вынужденную стоянку. Их круги становятся ниже и меньше. Они бы с превеликим удовольствием набросились на нас, но зенитные пушки, установленные на льду вдоль трассы, начинают торопливо бить по самолетам, и те только кружат и кружат, не решаясь спикировать.

— На буксир никто не возьмет,— рассуждает шофер. — А вот пеших подхватить могут. Вы бы, товарищи, да ты, — обращается он к сопровождающему, — добрались до берега или до какого-нибудь технического пункта. За мной тогда тягач вышлют. А то ведь как-никак — бомбы. Если эти исхитрятся, — он указывает на «мессершмитты», — шум порядочный будет.

Идем по льду в сторону западного берега. Шофер, видим, забирается в кабинку — ждать. Он был прав — не первая, не вторая и даже не пятая, а скорее всего десятая или пятнадцатая полуторка притормозила на секунду, чтобы мы успели взобраться в кузов на мешки, и понеслась дальше.

Так мы вновь оказались в Коккореве, откуда в декабре начинали путь через Ладогу.

Военные дорожники приняли наше сообщение о машине, терпящей бедствие на льду, и туда тотчас отправился автофургон технической помощи. А мы настолько промерзли, настолько измотались в трудном пути, что продолжать его смогли лишь поздним вечером, когда нам сказали, что в Ленинград, на Басков переулок, идет почти порожний грузовик.

Опять мы в кузове, по которому — от борта к борту — на ухабах и рытвинах тяжело ползают два таинственных ящика. Едем, едем, едем... Едем медленно, застревая в селениях, где улицы забиты машинами с грузом, — к Ленинграду, и с людьми — в сторону озера. Мотор

глохнет. Шофер продувает ртом бензотрубки, с отвращеним плюется: «Не бензин, а жидкое дерьмо». Сдают камеры в колесах. Все вместе вяло качаем насос. Сил ни у кого нет, и дело движется невозможно медленно.

Среди ночи приближаемся к окраинам Ленинграда. Близ дороги экскаватор на гусеницах сосредоточенно копает своим ковшом длинную и широкую траншею. Неужели еще один противотанковый ров?

Шофер приостанавливает машину, отворяет дверцу, высовывается к нам.

— Могилу роет. Мертвяков-то сколько, видите?

Светит луна, и то, что нам показалось штабелями дров, при ее зеленом свете оказывается именно тем, о чем говорит шофер. Это мертвые, застывшие, обсыпанные снегом люди. Кто зашит, как тюфяк, в мешковину или в полосатый матрац, кто обернут одеялом и обвязан веревкой, а кто и просто так — в чем был, в том его и привезли к этому длинному могильному рву Пискаревского кладбища.

— Их тысячи, — добавляет шофер. — Каждый день почти что мимо езжу, и каждый день новую траншею роют.

Из кузова мы выбрались возле памятника Суворову, на краю Марсова поля. Кругом были сугробы. По ним дошли до моста через Неву, долго преодолевали его и дальше двинулись парком Ленина. Пока достигли Ситного рынка, насчитали трех мертвецов на парковых дорожках. Первый лежал на скамье сразу за мостом, сжавшийся в комок; с одной его ноги кто-то стянул валенок — стащить второй, верно, не хватило сил. Другой недалеко от театра Ленинского комсомола поскользнулся, должно быть, упал да и не смог подняться. Третий привалился спиной к цоколю здания бывшей Биржи труда. Смерть вместе с поземкой разгуливала по заиндевелым пустынным улицам. Кроме мертвых, в них не было никого. Раньше, бывало, хоть патрули проверяли документы. А тут идем, идем — даже и патрулей не встречаем.

Назавтра мы пришли в редакцию. Выяснили в секретариате, что все наши очерки и корреспонденции с Волховского фронта, которые пересылались отнюдь не «молниями», а по военному телеграфу, исправно дошли и почти все опубликованы. Последний из них, «Партизанская деревня» (у нас он назывался «Чертов угол»),

о гдовских партизанах, мы еще можем увидеть на доске «Отличных материалов». Там же, на этой «доске», побывали и многие другие, в том числе «Возвращение», из тихвинского колхоза «Лазаревичи».

Мы порадовались. Каждому журналисту приятно, когда его материал заметят и отметят.

И так, радуясь — и успеху своих материалов, и тому, что кончилась длинная командировка, и тому, что мы снова дома, среди друзей, товарищей,— я и Вера добрались подвальными отсеками до «предбанника», каковым термином именуются комнаты перед кабинетами редакторов во всех газетах на свете. Своды «предбанника» подпирались толстенными брусьями. На одном из них, не веря своим глазам, мы прочли приказ по редакции. Смысл приказа был довольно путаный, из него явствовало только то, что мы за невозвращение в срок с Волховского фронта, как злостные нарушители государственной дисциплины в военное время, из редакции увольняемся. Зато уж совсем явственной была подпись под приказом: «Золотухин». Добрался-таки этот невеликий гражданин до одного из тех, кто, по его представлениям, слишком громко стучал сапогами в редакционных коридорах.

С КЕМ ТЫ ПОЙДЕШЬ В РАЗВЕДКУ?

1

Зимний Ленинград угрюм, прокален морозом, накрыт мглистой шапкой холодных, хмурых туч. Голод надломил людей. Смерть в каждом доме, в каждой квартире. Она во дворах, на улицах, площадях. Перемерзли, перелопались трубы водопровода и канализации; на лестницах, в подъездах — грязные ледяные потоки, застывшие в своем буйном беге по ступеням с этажа на этаж, залегшие пластами у входов, на лестничных площадках. Лед на улицах. В него все глубже уходят вмерзшие трамваи, автомобили, люди, которые упали однажды в сумерках, да так и остались лежать, к утру заметенные вьюгой. Плотные снежные сугробы и глыбы льда, если судить по окнам первых этажей, по входам в булочные и кипяточные, уже достигли толщины в метр, в полтора.

Люди борются за жизнь, никто умирать не хочет, все хотят дождаться минуты, когда будет сломлен хребет у врага; в такую светлую минуту верят, ни на миг не сомневаясь в том, что она непременно придет. Но когда? Нам известно, что немецкими войсками под Ленинградом уже командует не старый знакомец Вильгельм фон Лееб, который после разгрома гитлеровцев под Тихвином ушел в отставку. Место генерал-фельдмаршала Лееба занял его недавний подчиненный Георг Карл Фридрих Вильгельм фон Кюхлер. Кюхлер тоже знаком нам достаточно. Это он командовал 18-й армией немцев, которая входит в группу «Норд» и против которой вот уже полгода, начи-

пая с дальних подступов, с Прибалтики, сражаются наши ленинградские войска.

И у фон Лееба и фон Кюхлера тактика одна, определенная, надо полагать, директивами высшего гитлеровского командования: беспощадно душить Ленинград голодом и холодом. В сочетании одного с другим, в сочетании голода и холода, таится страшная сила. Дровяные склады на пустырях за дощатыми заборами завалены ледяными трупами. Когда на этих пустырях торговали дровами, ворота их закрывались на замок. Сейчас ворота распахнуты на весь размах. Мертвых, надрываясь, родственники притаскивают на решетчатых детских саночках, на волокушах, устроенных из обмерзших одеял, а то и просто так — за ноги по снежным буграм и раскатам.

В иных семьях уже никто не имеет достаточных сил, чтобы дотащить такой груз до склада. Тогда, не слишком раздумывая, оставляют труп в соседнем подъезде. О смерти близких не заявляют, чтобы до конца месяца пользоваться их продуктовыми карточками и получать дополнительные куски хлеба на их имя.

Сопротивляясь смерти, люди идут на нехитрые выдумки. В заледенелых квартирах выгораживают комнату-другую, устанавливают железную печку, которую в годы гражданской войны называли «буржуйкой», а теперь кличут «печуркой», или складывают плиту из кирпича и создают оазис относительного тепла. Дрова еще есть в Ленинграде: не все сожжены заборы, не все разобраны деревянные домишки прошлого столетия. Правда, их осталось уже и не так чтобы много. По вечерам, чуть сумерки, в боковых улицах, в переулках слышен гулкий треск досок. Отдирать начали даже противоосколочную обшивку с магазинных витрин. Рассказывают, что городские власти доложили Андрею Александровичу Жданову: растаскивают, мол, на дрова лари и павильоны на ленинградских рынках. «Отлично, — ответил Жданов. — Ларей, когда они вновь понадобятся, понастроим сколько угодно. А вот что люди проявляют хоть какую-то жизнедеятельность — это сегодня дороже всего. От жизнедеятельных смерть отступает».

Из заколоченных фанерой окон в домах по всем этажам торчат коленчатые трубы из ржавой жести и, покрывая копотью лепные фасады, дымят с утра до ночи. Из-за этих труб, из-за печурок то там, то здесь ежедневно пожары. Ударит снаряд, раскидает головешки — и заня-

лось. Дома горят долго: огонь заливать нечем: с Невы и с Невок воды не навозишься, а в пожарных люках ее нет: замерзли трубы.

Страшно смотреть, когда день и второй, не угасая, горят этажи преогромнейшего дома. Горят, прогорают, обваливаются; огнем полна тогда вся каменная коробка, шальным светом светится она по вечерам сквозь многие десятки жарких окон, искристое пламя за ними кипит, свивается, скручивается, длинно выплескиваясь в улицы и в небо. На тротуарах, на мостовых вокруг плавится снег, натаивают большие дымные лужи. Огонь постепенно затухает сам, когда уже гореть нечему; лужи схватываются льдом, это уже катки, через которые не пройдешь не поскользнувшись. А если свалишься, можешь и не встать, чего доброго.

Людей на улицах мало. Закутанные в платки, башлыки, шали, движутся все медленно. Куда идут? Кто за водой на реку или на канал — к проруби. Кто уже с водой — еле-еле несет полведра, а то и меньше. Кто отправился в булочную за куском хлеба по карточке. Получил да тут же, только выйдя на улицу, и ест его, выдержки добраться с ним до кружки кипятку не хватает.

Я хожу по городу, всматриваюсь в его мучительно-героическую жизнь, хочу увидеть и запомнить все. У меня есть для этого свободное время, много свободного времени. Образовалось оно так. Прочитав приказ редактора на столбе в подвале, я повернулся и хотел уйти из редакции. Один из членов редколлегии остановил меня, привел в редакторский кабинет, и оба вместе — редактор и этот член редколлегии — они предложили мне написать объяснение, почему мы опоздали выполнить распоряжение, отданное в Тихвин телеграммой-«молнией». Я написал и оставил несколько страничек у редактора на столе. «Обсудим», — сказал он, не глядя на меня. «А пока что же?» — «А пока можете распоряжаться своим временем, как вам будет угодно».

Мы решили отнести посылочку, которую привезли из Тихвина родителям авиационного командира. Адрес был и на конверте с письмом, и на самой посылочке, надписанной химическим карандашом. Предстояло найти дом почти на самом скрещении Екатерингофского и Лермонтовского проспектов. День был солнечный, яркий. Высоко в небе ходил немецкий бомбардировщик — вел разведку. Лениво постреливали зенитки, не надеясь сбить на такой

высоте, но хотя бы отогнать его. Преодолевая гребни слежавшихся, утоптанных сугробов, скользя, кое-как удерживаясь на ногах, мы пробирались по отлично, еще, как говорят, с юных лет, знакомому мне району, с которого когда-то, приехав из Новгорода, я начал систематическое, планомерное изучение Ленинграда. Пожалуй, нет ни одного порядочного здания в пространстве, обведенном Фонтанкой, проспектом Майорова и Невой, историей которого я бы не поинтересовался в свое время. Не утверждаю, что все мои знания абсолютно точны; но если соврали книги, если присочинили знатоки старого Петербурга и нового Ленинграда, то, естественно, и я иду по их стопам. О районе Сенной площади и окрестных улиц мне подробно, том за томом, рассказывали «Петербургские трущобы» Всеволода Крестовского, а затем романы Федора Достоевского. Вот между Спасским и Демидовым переулками притих старый домина, в котором был некогда шумный «Малинник», а на углу Таирова можно видеть и дом де Роберти — два знаменитых трущобных притона с их путаными проходными дворами, в которые заведут, бывало, человека, да так никто его больше и не увидит в живых. А поблизости стояла и еще одна достопримечательность, прошедшая через русскую литературу XIX века, — «Вяземская лавра», трущобища между Горсткиной улицей и нынешним Международным проспектом. В Столярном переулке за каналом Грибоедова, недалеко от школы, в которой я учился, стоит дом, где Достоевский писал «Преступление и наказание». Район здесь преподходящий для того, чтобы у писателя создавалось должное для такой книги настроение.

А совсем рядом с моей бывшей школой, на углу проспекта Майорова и канала Грибоедова, Кибальчич «со товарищи» в ночь на 1 марта 1881 года начинял взрывчаткой самодельную бомбу, чтобы утром покончить с ненавистным Александром II. Мы, школьники, старательно разыскивали на черных лестницах квартиру, в которой это происходило и где в канун покушения заседал исполнительный комитет «Народной воли»; мы вламывались в чьи-то кухни, выспрашивая у встревоженных домохозяек подходящего возраста, не помнят ли они Веру Николаевну Фигнер или Софью Львовну Перовскую.

По следам Кибальчича добрались мы тогда до Большой Подьяческой и в доме № 37 отыскали квартиру, где была динамитная мастерская Исаева. Мы толпились среди

чужих комодов и кроватей в комнатах, где бывал Желябов, откуда доставляли динамит для взрыва в Зимнем дворце.

Знал я немало и других адресов. В доме на углу Пряжки и улицы Декабристов писал о Прекрасной Даме и умер Александр Блок. На улице Союза печатников, в квартире декабриста Одоевского, жил Александр Грибоедов. Здесь под диктовку были размножены десятки рукописных экземпляров «Горя от ума».

Известно мне, где помещались знаменитый «Луна-парк» и та сцена, на которой давал представления театр Комиссаржевской; давным-давно я побывал в буфетной Юсуповского дворца на Мойке, где Юсупов и Пуришкевич с одним из родственников Николая II пытались отравить Гришку Распутина, а потом, настигнув у Садовой решетки, дошибали пулями из пистолета «саваДж». В доме № 13 на улице Глинки темной глыбой стынет бывший дворец великого князя Кирилла Владимировича. Этот отпрыск династии Романовых в начале двадцатых годов объявил себя «императором российским», а жену свою, Викторию Федоровну,— «императрицей». «Российский двор» пребывал в немецком городишке Кобурге, из-за чего белая эмиграция, потешаясь над опереточным самодержцем, именовала его Кириллом I, императором Кобургским.

Кто знает, не сидят ли в тылах немецких войск и другие претенденты на российский престол и не ждут ли часа, чтобы вернуться в свои петербургские дворцы?

Бродя по ленинградским улицам даже в одном небольшом районе, можешь вспомнить и прежние века России, и ее недавнее революционное прошлое, и дни Февраля, Октября; в памяти твоей одна за другой будут перелистываться и героические, и стыдные, и грустные, и смешные страницы нашей истории.

Мы с Верой в этот зимний день 1942 года ищем не дворцы и не памятные конспиративные квартиры — обычный жилой дом на скрещении Екатерингофского и Лермонтовского проспектов.

Мы вошли во двор, по широкой, довольно чистой, не запластованной льдом лестнице поднялись на третий этаж, постучали (звонки не работают: нет электрического тока) в высокую двустворчатую дверь из темного дерева, от которого, несмотря на долгую его жизнь, пахнет чем-то лесным, свежим, хорошим. Ответа не было.

Долго пришлось разыскивать управхоза.

— Квартира номер такой-то?.. — сказал он. — А там никого и нету.

— Неужели все погибли?

— Точно не скажу. Собирались уезжать. С первыми эвакуированными по озеру. В декабре еще. А уехали или не уехали — не скажу. Ключи вот кто-то принес, оставил. Хотите, зайдем в квартиру?

Мы не знали, надо ли заходить в квартиру; а если все-таки надо, то зачем. Колеблясь, мы вновь поднялись на третий этаж к той деревянной пахучей двери. Управхоз долго брякал ключами, вставляя их по очереди в замочную скважину. Потом молча, почти на цыпочках, как в храме, мы ходили по холодной обширной квартире, из которой ушла жизнь. Все было на своих местах. Вешалка в прихожей; на крючках несколько длинно висящих пальто, под зажимками для зонтов и палок две пары поношенных галош. На всем пыль, много пыли. И изморози. Пыль и изморозь в гостиной, где овальный столик, мягкие, обитые голубым плюшем стулья, черное пианино, увеличенные фотографии в рамках по стенам. Пейзаж Клевера — яркий зимний закат в морозном лесу. В кабинете до высокого потолка полки и шкафы, забитые книгами. Книги и на столе; некоторые раскрыты на кому-то нужных страницах, заложены в нужных местах закладками. Среди книг — папки с бумагами, вскрытые письма. Ручки и карандаши. Постели в спальной раскиданы. Нет ни одеял, ни простынь.

— Это всегда подозрительно, — сказал управхоз, зачем-то приподымая голые матрацы. — Хотя бывает и двояко. Что там всякие польты, книги, вещи, картины — это не показатель. А вот одеяла и простыни — показатель.

— Чего показатель?

— Того. Когда эвакуируются, это самый первый багаж — одеяла и простыни. А когда умирают — главный расход. На обертку.

— Так что же здесь произошло, как по-вашему?

— Вот и не определить никак. То ли с собой увезли, то ли друг друга в это позавертывали да и отправили куда положено.

— А в домовых книгах разве нет отметки?

— Про одних отметка бывает, про других нет. Я и моя жена сами десять дней в бреду лежали. Ладно, ком-

сомольская бригада наткнулась на нас, кипятком отпоили, отогрели, обоих на ноги подняли. А то уж и конец было.

Он водит нас по этажам, отворяет двери. Некоторые из них и не закрыты. Всюду пусто.

— Дом такой попался. В соседнем добрая половина жильцов на месте. А в этом три квартиры жилых. Кто умер, кто эвакуировался, кто на Петроградскую сторону переехал — там, считается, подальше от обстрелов.

В одной из квартир в проволочной клетке лежала кверху лапками окаменевшая канарейка. В другой стоял полный льда треснувший аквариум. В зеленый лед вмерзли водоросли, всплывшие на поверхность мертвые вуалехвосты и пестренькие гуппи. По анфиладам старинных барских квартир, после революции поделенных на части, не спеша пробегали тощие крысы. Они обожрали корешки редкостных книг, прикончили засохшие цветы в горшках, проели сукно на письменных столах, повытаскивали перья из подушек.

В иных из этих квартир семьи жили по полвека, век; сменялись в них поколения, оставались нажитые вещи — шкафы, книги, гардеробы, трельяжи, абажуры, рояли, фисгармонии, барометры, страусовые перья и моржовые бивни, альбомы с фотографиями, венчальные свечи, курительные трубки, трости с набалдашниками, подзорные трубы и приборы для стереоскопического разглядывания картинок, охотничьи рога и гильзы от трехдюймовых снарядов...

На все это, на неисчислимое добро, накопленное за два с половиной столетия петербуржцами-ленинградцами, и нацеливаются немецкие фельдмаршалы и гауптманы, ефрейторы и солдаты, засевшие вокруг Ленинграда в крытых траншеях и блиндажах. Мы видели, как подчистую, под метелку обобрали они за один-единственный месяц весь древний Тихвин, обглодав его до каменных коробок домов. Они не смогли взять огромный Ленинград с бою, с налета, как взяли Тихвин. Они хотят нас выморозить, передушить голодом. При этом они продолжают изматывать нервы ленинградцев. Обстрелы, обстрелы, обстрелы — каждый день, несколько раз в день. То и дело обрываются передачи по радио, чтобы вместо них завыть тревожным сиренам, чтобы зазвучала воздушная тревога или было объявлено «угрожаемое положение» на то время, пока на улицах воют и рвутся снаряды.

Люди заводов и фабрик, рабочий класс Ленинграда выработал свою тактику борьбы с неимоверными лише-

ниями. Чтобы не тратить силы понапрасну, чтобы не ходить пешком через заваленный снегом город, чтобы не мерзнуть в нетопленных квартирах, не падать на улицах под осколками снарядов, люди фабрик и заводов в большинстве там и живут, где работают, — сообща лишения переносить легче. И многие заводы, многие фабрики не стоят — продолжают выпускать продукцию. Одни ремонтируют пушки, танки, другие производят снаряды, мины, гранаты, третьи ухитряются изготавливать и нечто пищевое, какой-нибудь казеиновый сыр или мармелад неведомо из чего.

Жизнь идет и даже не утрачивает своих диалектических противоречий. На днях я шел мимо Инженерного замка. У входа, со стороны улицы 3 Июля, ведущего под цокольную часть здания, стояли два грузовика. Красноармейцы вытаскивали из распахнутых дверей синие трупы полуголых людей в солдатском белье, умерших, видимо, в госпиталях и своевременно не похороненных, подымали их в кузова, складывая слоями. А из уличного репродуктора, установленного неподалеку от цирка, лились беспечные, веселые напевы.

На углу Невского и этой же улицы 3 Июля на большом ящике витринной обшивки пестрели десятки белых, голубых, розовых листков с частными объявлениями. Я прочел на одном: «За хлеб отвожу покойников», — следует адрес, куда и к кому обращаться. И рядом, совсем рядом с этим объявлением — другое: «Куплю или на что-нибудь обменяю пластинки Вертинского и Лещенко». И тоже адрес. Еще кто-то продает «полные собрания сочинений Леонида Андреева, Эдгара По, Кнута Гамсуна», а кто-то под объявлением об этом умоляет: «Пропала девочка, 7 лет, в красном пальтеце, в меховом капоре... кто видел, кто встретил, очень прошу...»

Тяжелые, крутые дни. А Золотухин сидит в бомбоубежище и все изучает мое письменное объяснение.

2

Я получил открытку от Алексея Брусничкина. «Что же ты, язви тебя в душу, и весточки о себе не даешь?! — набросал мой поручитель в партию несколько размашистых строк, на которых — вкось — фиолетовый штамп: «Просмотрено военной цензурой». — Пишу тебе второе

письмо — удивлен, что ты молчишь. Как вы все там живете? Есть ли какие изменения в «личном составе» вашего «подразделения»? О себе могу сообщить, что я жив. Заворачиваю минбатом. 28 декабря получил звание бат. комиссара. И теперь комиссарю, но думаю, что не закомиссарюсь, — напомнил он о давнем, о том, что с ним было во времена гражданской войны. — Иногда читаю твои корреспонденции. «Прорабатываем» их среди бойцов. Чем объяснить, что твой соавтор — Михалев исчез со страниц газеты?..» Бруспичкин волновался о судьбах многих товарищей по редакции. Заканчивал он так: «Будь друг, напиши, не откладывай в долгий ящик!»

Ну что я мог ему сообщить о том, почему замолк мой соавтор Михалев? Потому что редактор добрался и до него. Михалев, пока мы с Верой были на Волховском фронте, посадил в «козлик» одного из умиравших от голода, холода и туберкулеза наших товарищей и вместе с Бойко отвез его по ледовой Ладожской дороге за озеро; попросту говоря, спас хорошего человека, хорошего журналиста от верной смерти, до которой было уже, пожалуй, еще меньше, чем четыре шага. За «самовольничание» редактор «разжаловал» Михалева из военных корреспондентов, приказал отобрать у него наш «козлик» и держать кипучего очеркиста в подземелье на аппаратной ночной работе — не то полусекретарем, не то полувыпускающим. Поэтому-то и замолк мой соавтор. Он сидит и ждет более грозных событий, поскольку редактор настоял, чтобы против него было заведено и партийное «дело».

Не знал я, не ведал, но такое «дело» ожидало и меня.

Однажды я был приглашен в редакцию и введен в редакторский кабинет в подпертом бревнами подвале. Вокруг редакторского стола расселось несколько членов редколлегии; на середине стола на зеленом сукне лежали листки моего письменного объяснения.

— Нас это не удовлетворяет, — сказал редактор, указывая пальцем на мои листки. — Вы пытаетесь скрыться за спиной объективных причин. Во время войны объективных причин быть не может!..

И такая стала из него изливаться словесная мерзость, что можно было подумать, будто бы прямо в этот подземный кабинет прорвало центральную канализационную трубу. Я сгреб в горсть свои листки со стола и сказал, видимо, не самое лучшее, что надо было бы говорить тому человеку. Я сказал: «Жалею, что писал это, пытался

что-то объяснять. Верно замечено в народе: «Не мечи бисера...» — И вышел.

«Бисер» тот не прошел даром. Назавтра я уже был вызван на заседание партбюро. Председательствовал, понятно, Вася Грудинин. Но тон, это еще понятней, всему заседанию задавал редактор, так сказать, единоначальник в пределах своего учреждения; а единоначалие, как он усвоил, во время войны — основа незыблемой, железной дисциплины как на фронте, так и в тылу.

«Разбирать», собственно, было нечего. Получил «молнию» с запозданием, тотчас выехал из Тихвина в Ленинград, приехал. Со дня отправки телеграммы и до моего приезда прошло семь дней. Ясно? Ясно. Не дождавшись приезда, поспешно издали приказ. Тоже ясно? Чего тут говорить? И тем не менее началось накручивание и навертывание. Пошла в ход «Докладная записка» о положении дел в некоторых частях 55-й армии, стали цитироваться «избранные места» из нее. Зазвучали термины «пораженчество», «неверие» и т. д. и т. п. Я смотрел на этого человека, и мне вспомнился рассказ Евгения Ивановича Негина. Вот так же «припаивали» тихвинскому редактору соучастие в заговорах против Советской власти. «Кто же вы, все эти люди, которые «припаиваете»?» — думал я, слушая вываливаемую редактором мерзопакость. Евгений Иванович, с отвращением вспоминая своего следователя, ссылался на то, что тот был неграмотный, серый, окончивший всего четыре или пять классов школы. Но этот-то имеет высшее образование, он был ректором университета; с какой целью он клевещет сейчас, брызжет слюной, топает коротенькими ножками?

Я не мог не верить рассказу Евгения Ивановича о его мытарствах, и все же верилось с большим трудом, как в нечто невозможное у нас. Сейчас, глядя на редактора, слушая его, я уже думал совсем иначе: я думал не о том, может ли это быть, а почему это стало возможным.

В нарушение партийной демократии меня попросили выйти в коридор и принялись шумно совещаться за закрытыми дверьми. Дверь, перекошенная холодом, не закрывалась, как бы следовало, в коридоре были отчетливо слышны все дебаты за нею. Редактор требовал исключить меня из кандидатов в члены партии. Учительница, почему-то состоявшая у нас в партбюро, долго говорила о воспитании — не совсем ясно, кого предлагая воспитывать — меня или редактора. А Вася Грудинин повторял

одно: «Нет, товарищи, так нельзя, совершенно так невозможно. Согласиться с вами не могу. С чем прикажете мне являться в райком партии?С одними вашими эмоциями?»

Кое-как сошлись на строгом выговоре с занесением в личное дело. Пригласили меня и объявили решение. Теперь, мол, ждите партийного собрания.

Настал и такой день, когда собралось собрание. На нем должны были обсуждать нас обоих — и меня и Михалева. «Дела», как говорится, формально разные, но сапогами-то, раздражая нашего редактора, стучали в коридорах мы оба. «Записку»-то преподнесли ему опять же мы. И вот эти сапоги и эта «Записка» снова объединили нас на какое-то время.

Я был убежден в том, что собрание не согласится с решением партбюро, товарищи отвергнут редакторские инсинуации и если не пристыдят редактора, то, во всяком случае, дадут ему понять, что уж кто-кто, а он-то не имеет никакого права судить и порочить людей, сам даже не нюхавший пороха.

Но когда заговорил один из членов редколлегии, пророча мне босяцкую смерть под забором, когда со своими зловещими заклинаниями «или я, или он» выступил по первому и по второму разу редактор, когда испуганные его речами притихли измученные дистрофией женщины с опухшими от голода и холода пальцами и стали, терзаясь душой, отводить от меня взгляды, уже было над чем призадуматься. А многих, которые бы поднялись и дали отпор редактору, и вовсе в подвале нет. Один в командировке, другой лежит в стационаре — его свалил голод, третий «заворачивает минбатом», четвертый — вот его письмо — шлет «привет с Западного фронта, с дальних подступов к Москве». «Напишите вновь испеченному гвардейцу, как вы там поживаете, кто из общих знакомых остался в коллективе и кто находится в строю» (это из письма Вани Вавилова). Пятый на Волховском фронте. Шестой убит в траншеях под Урицком...

Редактор, опротестовывая решение партбюро, вновь вернулся к своему требованию — исключить меня из кандидатов в члены партии. «Мы сделаем так, и это наш долг, чтобы люди, подобные... (называлась моя фамилия), никогда не были подпущены к печати, самому острому и самому сильному оружию нашей партии!» — гремел он, демонстрируя священный огонь, которым якобы пылала его душа. Были, думаю, и такие, которые ему верили;

а почему бы и не верить человеку, облеченному доверием должных инстанций?

Я не буду подробно описывать это собрание. Пользуясь тем, что он единоначальник «в условиях военного времени», пользуясь тем, что он распределяет скудные материальные блага, перепадающие изредка коллективу редакции, редактор грубо топтал людские воли, души, сердца, давя угрозами, криками, почти истерикой. Я даже не стáну никого обвинять. У каждого останутся свои воспоминания об этом собрании, и каждый со временем сам даст и ему в целом и лично своему на нем поведению должную оценку. Я только скажу, что решение было принято такое (вопреки даже решению партбюро), на котором настаивал редактор, — меня исключили из кандидатов в члены партии. Подняли руки — и исключили. При трех голосах, поданных против такого решения. Я видел руки Грудинина и того члена редколлегии, в компании с которым в минувшем декабре мы ехали через Ладожское озеро. А третьего не разглядел, он сидел, должно быть, за моей спиной. Я только слышал это короткое: «Кто против? Трое».

Такое же решение постигло и Михалева. Могуч наш редактор!

Назавтра я сидел в подвальчике Якова Ильича Данилина в Усть-Ижоре. Кроме нас, был там белокурый, высокий, сильный человек лет тридцати пяти — сорока, в военной гимнастерке, в белых бурках, обшитых желтой кожей, туго стянутый в талии ремнем, на котором располагалась черная кобура с крупным пистолетом.

— При нем можешь говорить все, — сказал Данилин. — Чекист, бывал в немецких тылах за Слуцком, у партизан.

— Меня исключили из партии, — сказал я без предисловий и в нескольких словах передал историю взаимоотношений с редактором, атмосферу собрания.

Чекист, казалось, не слушал, он что-то писал за столом. А Данилин слушал очень внимательно. И мне подумалось даже, что он больше, чем я, расстроен тем, что произошло со мной. Когда я умолк, он тоже молчал очень долго. Потом начал говорить что-то не совсем поначалу ясное:

— Слушай, а ты как это... Ну вот такая штука... Как в общем ты в смысле партии...

Мне подумалось: не хочет ли он знать, нет ли у меня обиды на партию за то, что произошло вчера?

— Во-во! — подтвердил он. — Именно.

— Вот что! — Чекист отложил свои бумаги и вместе со стулом повернулся к нам. — Ты, Яков, ерунду спрашиваешь у этого человека. Я все слышал, что вы тут говорили. Он же, — жест в мою сторону, — и не чувствует себя исключенным, ты не понимаешь, что ли? Для него скорее тот редактор вылетел вчера из партии, а не он. Верно говорю?

— Мне такими словами не думалось, — ответил я не очень твердо, — но, по сути дела, это очень близко к моим мыслям.

— И еще вот что скажу, может, пригодится, — продолжал чекист. — Вы очень интересный давали обзор людям, присутствовавшим на собрании. Вы их не хаяли, нет. Некоторых даже хвалили. Но я не понял, пошли бы вы с ними в разведку?

— Не знаю, я в разведке никогда не был. — Меня поразило то, что уже не первый раз за время войны я слышу о таком критерии оценки людей.

— Ну, а я был и знаю, что это такое. Знаю, что далеко не с каждым решишься пойти в тыл к врагу. Все люди вроде бы хороши. С одним в шахматишки здорово играется, с другим на рыбалке что надо — отличные места знает, с третьим за столом, за рюмкой, расчудесные ведешь разговоры... А вот когда скажут, отправляйся в разведку — ни один из них, бывает, и не подойдет. Совсем другие показатели для оценки людей вступают в действие. Ну, так вот, если тебя в чем-то осудят этакие шахматисты да рыболовы — это одно, тебе от их осуждения ни холодно ни жарко. А вот если суровое слово скажут те, с которыми, ты считаешь, пошел бы в разведку, если они скажут: ты-то с нами готов идти, а мы-то в тебе сомневаемся... Это как будет?

— Да, это будет очень тяжело.

— Ну так пошел бы ты со вчерашними своими исключальщиками в разведку?

— Знаю одно: никогда не пошел бы с редактором.

Завязался долгий разговор о людях, о природе их побуждений и поступков, о верности, о предательстве, о том, как тяжело разочаровываться в тех, кому верил, и о радости от настоящей, верной, подлинной дружбы.

Когда я собрался уходить, настроение у меня было уже совсем иное, чем то, с каким я несколько часов назад

явился к Данилину. Чекист крепко пожал мне руку. Данилин спросил:

— А продуктовые карточки у тебя есть?

— Пока есть. Но февраль кончается. Где буду получать новые, не знаю. В «Ленинградскую правду» уже не вернусь, хоть мне кое-кто и говорил вчера после собрания: признай ошибки, поговори по-хорошему с редактором, еще не поздно, пока дело не дошло до райкома, можно многое изменить...

Данилин сунул мне в руку какой-то пакет: «Потом, потом посмотришь».

В Усть-Ижору я добирался на попутных военных машинах. На попутных же вернулся и в Ленинград. Мы с Верой распечатали пакет Данилина. В нем были рис и банка консервов. Он отдал мне, думается, не менее трети своего месячного пайка.

Райком партии разобрался наконец в моем «деле». Решение собрания, продиктованное злобой редактора, было отменено, или, точнее, не утверждено; на бюро райкома люди — старые большевики, руководители крупных предприятий, настоящие коммунисты — только пожимали плечами, когда инструктор докладывала им это «дело».

— Он что, чудак, этот ваш редактор? — сказал один военный в высоком звании. — Послал «молнию» через лед и думает, человек на экспрессе к нему явится в таких условиях, когда через этот лед люди едут и не знают, доедут ли вообще.

«Докладная записка» на бюро райкома уже не фигурировала, поскольку странно было бы наказывать людей за то, что они выполнили требование Устава партии и высказались, как считали необходимым высказаться; и «пораженчество» отпало, поскольку оно опровергалось многими десятками наших корреспонденций с фронта, опубликованных в газете. И естественно, никто не помянул ненавистных редактору наших сапог, потому что каждый нормальный человек знает, как гремят кирзовые красноармейские сапоги, даже если будешь стараться ходить в них на цыпочках.

Вся эта муть, связанная с именем Золотухина, позади; начинается весна. Карточек, правда, у нас с Верой нет, и, чтобы не умереть с голоду, чтобы хоть раз в день поесть чего-нибудь, надо ходить, много ходить. Ходить

к знакомым командирам частей — к пехотинцам, артиллеристам, минометчикам. Ходить пешком, показывая на контрольно-пропускных пунктах оставшийся у меня пропуск в штаб 55-й армии или просроченные удостоверения «Ленинградской правды». Ходить десятки километров в день.

3

В мои блокноты, точнее, в листки серой газетной бумаги, сложенные наподобие записных книжек, стекается интереснейший материал. Куда девать его? Хмурый, насупленный и вместе с тем предобрейший Арон Наумович Пази, редактор Ленинградского радиокомитета, пригласил поработать для них, для радио. Не скажу, чтобы это было мечтой моей жизни. Работа для радио меня не привлекала никогда: пишешь-пишешь, стараешься, а все это за несколько минут вылетит в трубу; затем иди в бухгалтерию и получай гонорар. Совсем другое дело газета, в которой каждую свою заметочку ты можешь прочесть и перечесть; мало того, подойдя к уличной доске, на которой наклеен номер с твоей заметкой, ты можешь видеть, как ее читают, можешь сам убедиться, заинтересовала она читателей или нет.

Но ничего не поделаешь. Материал пропадает — это с одной стороны, с другой же — сурова правда жизни: карточек на хлеб, на продукты нет, а без этой, пусть до крайности скудной государственной выдачи, в Ленинграде не прожить. И при пей-то люди все еще умирают и умирают, хотя нормы заметно прибавлены.

Пази пообещал как можно быстрее оформить меня в штат, чтобы уже через день, через два я смог получить карточки. А пока пусть я пишу, «радиотрубе» очень нужен материал. За его подписью мне выдали удостоверение все на той же рыхлой газетной бумаге, подтверждающее, что податель бумаги «действительно является нештатным корреспондентом редакции «Последних известий» Ленрадиокомитета».

Ноги ходят плохо. Все реже думаешь о походах в Колпино или на Пулковские высоты. Начинаешь обозревать пространства в менее длинном радиусе вокруг себя. Что-то, например, происходит в Ботаническом саду. Прекрасный был у нас в Ленинграде Ботанический сад. Жив ли он, мертв? Где его люди? Что с пальмами, викто-

риями-региями? Необыкновенности происходят сейчас всюду. На заводе хирургических инструментов вместе со скальпелями и пинцетами научились выпускать тщательно, по-медицински отделанные кинжалы для партизан и разведчиков, этакие светлые острые лезвия с черными эбонитовыми рукоятями. Завод полиграфических машин выпускает пулеметы. А под новый, 1942 год нашлись, оказывается, энтузиасты, не пожелавшие склонять свои головы перед обстоятельствами, и в подвальных помещениях Дома культуры имени Горького устроили для ребятишек традиционную елку. Возле елки детям раздавали по ломтю хлеба и по куску сахару, который взрослые отняли у себя; при свете цветных лампочек ребячьи голоса, как всегда, пели трогательную песенку: «В лесу родилась елочка». А вместе с тем писатель, встреченный мною в промороженном вестибюле радиокомитета, один из тех, с кем сентябрьской ночью я познакомился в доме А. Н. Толстого в Пушкине, рассказал о жуткой свадьбе, устроенной какой-то его знакомой тоже на рубеже двух годов. «Как можно, — говорил он, пошатываясь от голода и крутя пуговицу моей шинели, — как это можно? Там пили и ели, в ее доме орали пьяными голосами. А что они пили, что ели? Откуда взялось все, у кого отнято? Кто должен был умереть во имя их сатанинского веселья?»

Трудно сказать, правда это или нет: от голодных людей нельзя требовать особой объективности. Но известно, что даже в Ленинграде, из которого, казалось, огнем и морозом вымело всю нечисть, разные есть типы. Держится еще кое-кто гнусненький в щелях. Одна бодрая вурдалачка предложила нам пласт свиного сала весом в 900 граммов по цене рубль за грамм. Отдали девятьсот рублей. Садимся поздней ночью перед отворенной дверцей печки, в которой горят остатки соседних заборов, растапливаем пластинки этого сала на сковороде, макаем в него куски похожего на глину хлеба и даем себе неколебимое слово после войны есть только свиной шпик — нет на свете ничего вкуснее шпика, как мы не понимали этого раньше, когда не оцененное нами сокровище лежало на прилавках любого магазинчика, присыпанное солью, розовое, толщиной пальцев в пять.

«Так вот, — подумал я, — может быть, найдется нечто интересное и в Ботаническом саду, благо от улицы Красного курсанта, где мы теперь квартируем, туда идти не очень далеко».

Светит мартовское солнце, с крыш весело капает, но в тени еще холодно, и от щедрой капели всюду образуются ледяные наплывы. Ботанический сад в глубоком снегу. Среди нетронутых сугробов резко чернеют железные ребра разбитых теплиц и оранжерей. Мертвые, стоят в них, спаленные морозом, пальмы, рыжими лоскутьями висят листья бананов. Неужели и тут всюду прошла смерть? Нестерпимо жаль зеленых богатств, которые цвели когда-то — когда в Ботаническом саду приходилось бывать со школьными экскурсиями, когда в горячем влажном воздухе ходили мы по стеклянным залам среди казуарин, араукарий, орхидей и саговников.

В этой мертвой пустыне я отыскал трех человек — Николая Валерьяновича Шипчинского, Николая Ивановича Курнакова и Николая Романовича Жука. Кто они такие, удалось узнать не сразу. Все в старых ватниках, подпоясанные ремнями, все в меховых шапках и валенках с разношенными галошами. Может быть, кочегары или грузчики, подсобные рабочие? Лица у них сухие, желтые от голода, но в глазах свет, жизнь.

По протоптанным в снегу тропинкам Курнаков повел нас всех к себе на квартиру, в здание, расположенное на территории сада. Его квартира — несколько комнат, тесно загроможденных мебелью, книгами и цветочными горшками.

Мы кое-как разместились в этой тесноте на мягких стульях.

— Снимать шинель не советую,— предупредил хозяин квартиры, взглянув на термометр, висевший на стене. — Четырнадцать градусов. Растения, даже теплолюбивые, кое-как такую температуру до поры до времени терпят. А человека она уже через полчаса начинает пробирать до костей.

Николай Романович Жук сказал:

— Вы, наверно, хотели бы кое-что записать. Ну, так запишите для начала: Николай Валерьянович Шипчинский — это заведующий Ботаническим садом. Николай Иванович Курнаков — наш ученый садовод. Я — секретарь партийного комитета.

Потом блокноты были забыты, я старался не говорить, а только слушать и слушать.

До войны на территории Ботанического сада существовал богатый, радостный зеленый мир; он привлекал к себе ежедневно сотни и тысячи любопытствующих посетителей. Обойдя один за другим стеклянные дворцы, посе-

тители покидали их, полные впечатлений. Они уносили с собой память о растениях, из которых в каких-то очень дальних странах туземцы добывают яд кураре, чтобы смазывать им боевые стрелы; помнили, что жители Канады варят сахар не из свеклы, а из кленового сока; улыбались, вспоминая карликовые сады с аршинными дубами и пихтами, которыми окружают себя богатые японцы. Но мало кто или, точнее — почти никто не задумывался о людях, на нашем неласковом севере создавших этот тропический сад, о людях, которые хранят его и берегут, которые посвятили ему всю свою жизнь. Заслоненные великолепием ими же выращенных пышных растений, те люди никому не видны; на беглый, невнимательный взгляд они очень обычны и, как цветы иных, редко цветущих растений, раскрываются в полную меру лишь в дни испытаний.

Ноябрьским морозным вечером, когда часы показывали восемь, среди оранжерей разорвалась тяжелая бомба. Пироксилиновый ураган порвал кружева стеклянных строений; не выдержав огненного удара, опрокинулись вывернутые с корнями пальмы, листья клочьями разлетелись по снегу. И тогда появились люди, которых в благополучное время никто здесь не замечал. Ученые и кочегары, рабочие и их жены, дети и старики бросились спасать то, чему они отдали лучшие помыслы. Всю ночь работали незаметные герои, разбирая груды обломков, вынося сохранившиеся растения. Тихие старушки служительницы, которые только что кряхтели под тяжестью цветочного горшка, тут ворочали кадки с пальмами.

И снова рука об руку, как было в годы гражданской войны, работали ученый Шипчинский, садовод Курнаков и бывший электромонтер Жук. Два с лишним десятка лет назад, когда под Питером гремели пушки Юденича, когда так же, как теперь, не было ни света, ни дров, они трое пилили бревна, разбирали, подобно сегодняшним ленинградцам, окрестные заборы и отапливали ими оранжереи с растениями тропиков. Бывало, взглянут на какую-нибудь особенную резную беседку в саду, оставшуюся от николаевских времен. «Эх, жалко,— скажет тот или иной из них, — в этой беседочке чаек бы с вареньем попивать. Вечерком этак, когда самовар шумит, комаров отгоняет...» Вздохнут все вместе и принимаются крушить беседку.

Сейчас вместе с теми, с кем уже переживали однажды суровые времена, спасают они несметные ценности сада,

лишь приблизительно исчисляемые во многие миллионы рублей золотом. Так же, как и прежде, бережет каждое растеньице садовая рабочая Марфа Яковлева; ночей готов не спать кочегар Илья Иванов; забыла о времени и его жена Елена. Все они в саду по нескольку десятков лет; возрастом не молоденькие, пора бы и отдыхать. Но об отдыхе и об уходе на пенсию никто и слышать не хотел. Для каждого из них любое растение, которое росло здесь, было знакомо, если так можно выразиться, в лицо. И даже повадки его известны садоводам, его биография.

После того ноябрьского налета ученый садовод Н. И. Курнаков долго в путанице разбитого разыскивал пустяковый горшочек с невзрачнейшим, неинтересным на вид растением. Была эта, как здесь называют, цаммия цилиндрика — маленькая саговая пальмочка, единственный (утверждают все трое) экземпляр если не в мире, то, во всяком случае, в Европе. Ее приобрел на Парижской выставке генерал-губернатор Дурново. Высокопоставленный ботаник якобы так трясся над этой крошечной цилиндрикой — вершка в четыре ростом, что, уезжая надолго, непременно прихватывал и ее с собой, чтобы не стащили любители.

Курнаков нашел пальмочку в разрушенной теплице, расправил, отогрел. И вот она стоит, эта уника, на окне, освещенная мартовским солнцем. Она жива; хозяева сада не нарадуются на нее.

Тесную квартиру ученого садовода трудно назвать обычным жильем. Ее всю занимают в общем-то не люди, а кактусы. В нее, да еще в квартиру Шипчинского втиснуты две с половиной тысячи этих колючих штук всех размеров и форм: сохраненная богатейшая коллекция сада. Странные это растения, необщительные; каждое из них навострило на все вокруг свои колючки, даже друг с другом кактусы не желают знаться. У некоторых из этих зеленых ежей возраст неизвестен; смотришь, и кажется тебе, что живут они на земле уже тысячи лет, такие седые все и бородатые.

Люди Ботанического сада, проработав после взрыва бомбы до самого утра, спасли от гибели много ценностей. Редкие мадагаскарские молочаи, богатые каучуком, мелкие пальмы — саговники; больше половины орхидей — около тысячи видов; ананасовые; коллекция роз — двести сортов, георгины — четыреста форм; гладиолусы, водяные

лилии, лотосы... Где они? А в погребах, в подвалах, вот так же, как у Николая Ивановича Курнакова, на квартирах.

— Ну, а виктория-регия? — спрашиваю.

Все трое улыбаются.

— С этой проще всего иного. Расцветет и она, лишь бы с немцами покончить.

Сейчас, когда капает с крыш, можно уже считать, что самые трудные дни испытаний для сада прошли. Люди их выдержали, как и двадцать с лишним лет назад, не сдались. Они даже шагнули вперед. Шипчинский всю зиму работал над докторской диссертацией. Закутается в одеяло, засветит коптилку, сидит возле стола и пишет. О чем диссертация? О зеленом строительстве в песках Казахстана. Пятьсот страниц, покрытых мелким почерком, заслонили собой недостаток пищи и приглушили грохот близких разрывов. Согревая руки дыханием, ученый уносился мыслью на Балхаш, раздумывал о том, как уменьшить содержание соли в степных источниках, как сделать, чтобы голые пески покрылись буйной зеленью.

Мне по душе такой ученый, который за месяцы голодной зимы не утратил ни своей природной живости, ни юмора. Николай Романович Жук рассказал о том, как Шипчинский ответил на днях кому-то на вопрос об одной из частностей жизни сада. «Да я, собственно, здесь недавно, — сказал он с улыбкой. — Вы у Курнакова спросите — тот работает с 1893 года, а я же только с 1909-го».

Николай Валерьянович Шипчинский — настоящий советский ученый, советский интеллигент в самом высоком смысле слова. Он окончил гимназию в Хельсинки, где работал его отец и жила вся их семья. Продолжать образование отправился в Петербург, поступил в университет и слушал курс ботаники у Владимира Леонтьевича Комарова.

Будущий академик во многом определил круг научных интересов молодого Шипчинского. Но надо отдать должное: большевик электромонтер Николай Жук тоже сыграл немаловажную роль, когда формировалось мировоззрение Николая Валерьяновича. Стоя вместе с этим рабочим — энтузиастом растениеводства — на вахте у садовой кочегарки в годы гражданской войны, Шипчинский впервые стал задумываться о том, что происходило тогда в перевороченной России, начал замечать, как менялся мир под руками таких вот спокойных, неторопливых, убежденных рабочих людей. И когда ученый до конца понял, что́ же

заставляло электромонтера, отнюдь не ботаника по образованию, не спать ночей, обогревая растения неведомых стран, он и сам подал заявление о приеме его кандидатом в партию. Это было в 1924 году. В те времена далеко не каждый ученый, не каждый интеллигент решался связать свою судьбу с революцией, с партией.

— Приходите в мае, в июне, — сказал Шипчинский на прощание. — Вот увидите, как все у нас будет снова цвести.

Встреча с людьми Ботанического сада была встречей с чем-то очень радостным и светлым. Одни мечтают выменять у полуживых людей на хлеб пластинки эмигранта Лещенко, другие крутят кощунственные свадьбы на глазах у голодных товарищей, а здесь готовы жизнь отдать, лишь бы спасти своих зеленых друзей — орхидеи и пальмочки, розы и лотосы, кактусы и молочаи.

В тот день, когда я принес в редакцию радио очерк об этом, Арон Наумович Пази сказал мне с тревогой, с огорчением и даже так, будто он один в том виноват:

— Со штатом, а следовательно, и с карточками пока ничего не получается. Не знаю, как быть. Не утверждают вас.

Он назвал фамилию должностного лица (я назову его товарищем Игрековым), которое является, если можно так выразиться, духовным отцом редактора Золотухина на нашем городском «верху». Товарищ Игреков, поблескивая стеклами очков и вертя в руках толстый цветной карандаш, сказал Пази по моему адресу коротко и ясно:

— Пусть походит.

Пусть походит! Что в условиях блокадного, осажденного Ленинграда означает «ходьба» без продуктовых карточек? Ничего иного, кроме голодной смерти. А что же в таком случае значит формула: «Пусть походит»? Она значит: или пусть придет и согнет свою спину в поклоне, раскаиваясь неизвестно в чем, пусть признает неведомо какие ошибки, или же, если такой, видите ли, гордый, пусть подыхает, туда ему и дорога.

Товарищ Игреков, если это так — а у меня нет основания не верить честному человеку, передавшему эти каннибальские слова, — я вас всегда буду помнить. Вы будете занимать разные должности, вы будете время от времени что-то глаголáть с общегородских трибун, якобы от имени партии, но я вас никогда не отождествлю с партией. Партии большевиков не нужны люди с гибкими

спинами; гибкие спины хорошо годились приказчикам, хозяйским холуям; зачем же вы стараетесь недозволенными средствами вырабатывать подобные качества у тех, над которыми, как вам думается, имеете власть? *

Три часа я шел пешком до Усть-Ижоры, чтобы поесть супу в штабе армии; потом решил заглянуть к Данилину, рассказал ему об этом «пусть походит» иезуита с партбилетом в кармане. Мой друг помрачнел, под высохшей кожей на его скулах забегали желваки. Он взял мой блокнотик, в котором были записаны рассказы тех, кто бережет Ботанический сад, врача Косинского из Колпина, недавно встреченных сандружинниц Веры Лебедевой и Наташи Тимохиной, которые стали снайперами — истребительницами немцев, выдрал листок и написал угловато и остро: «т. Стариков. Выдай из семенного пять кг (5 кг) картофеля т. (такому-то)».

Картофель этот Данилин берег так, как не берег самого себя. С приходом весны он собирался возрождать свой истерзанный немцами район и на семена смотрел, как на начало всего нового и доброго. Считанные килограммы картошки были для него дороже золота. Ну можно ли было взять у него хотя бы одну картофелину?

Я оставил эту записочку на память у себя в блокноте, обнял ее автора и ушел обратно в Ленинград.

4

Весна идет прохладная, но ясная, солнечная. Там, где освещено солнцем, вовсю капает, оттаивает, льет. Руководители города, районов, предприятий, вся активная общественность встревожены. И не напрасно. Канализация не работала несколько зимних месяцев, в городе не было никакой очистки, во дворах и на улицах слежались горы всего того, что можно назвать отходами жизни. А вдруг забродит; вспучится эта гадость от весеннего тепла? Вдруг закишат в ней микробы, черви, мухи и пойдет по городу зараза?

---

* Я и сейчас не хочу называть подлинного имени этого человека. Он, один из тех, которые создавали и совершенствовали машину для сгибания чужих спин, лет пять спустя после окончания войны сам угодил в ее шестеренки, его основательно прокатало там, и ныне он очень тихо сидит где-то в редакции одной из газет.

Ленинградцы — народ организованный; как миром, многими десятками тысяч поднимались они на рытье противотанковых рвов прошлым летом и осенью, так сейчас все, кто пережил эту убийственную зиму, выходят на очистку улиц и дворов. Выходят целыми домохозяйствами, всеми предприятиями. Очистить город — задача номер один. Он во льду, в снегу, в нечистотах. Старые петербургские дворы-колодцы начинают зловеще попахивать. К тому же, если не очистить улицы, то нельзя будет пустить трамвай — рельсы лежат под метровыми пластами льда; а городской Совет во что бы то ни стало задумал как можно скорее вернуть трамвай к жизни.

Отправляюсь собирать материалы для радио на одну из трасс весеннего штурма — на проспект Карла Либкнехта, бывший Большой, прочерченный, как по линейке, через Петроградскую сторону. Я выбрал этот проспект потому, что от нашего дома он ближе всего. Прямой и ровный, с красивыми многоэтажными зданиями, весь занятый, бывало, магазинами и потому оживленный, он проглядывается на всю свою длину от Тучкова моста до площади Льва Толстого.

В отличие от других магистралей города проспект Карла Либкнехта имеет важную особенность — обе стороны его солнечные. Утром солнце на левой, четной стороне, вечером на правой, нечетной. Днем же оно освещает и ту и другую поровну. Управхозам, особенно тем, кто с ленцой, всегда было не просто высказываться в том смысле, что солнце, дескать, к ним во дворы не заглядывает, на тротуарах не бывает; они, мол, в тени, вот со льдом и снегом домохозяйству и не справиться. До войны здешние управхозы на «объективные» условия никогда и не ссылались, проспект Карла Либкнехта один из первых очищался лопатами, подметался метлами и продувался весенними ветрами. Солнце вовсю помогало и людям и ветрам. Сейчас проспект похож на каменоломню. Тут долбят ломами, кирками, гребут громыхающими железными лопатами. У изнуренных за зиму людей силы ограничены, умения не так уж много. Прядильщицы с соседней фабрики, сотрудники расположенных в Приморском и в Петроградском районах научно-исследовательских учреждений, персонал больниц, превращенных в госпитали, — врачи, сестры... Который и которая из них, где и когда скалывал или скалывала с мостовых пласты льда

непомерной толщины, кто орудовал грабарскими объемистыми лопатами?

Одни тут в удобных ватниках, другие в перетянутых ремнями пальто из каракуля, иные в сапогах, в валенках, а есть и такие, кто в фетровых ботах, в туфельках. Но все без исключения в мужских брюках, по большей части ватных. Женщины и подростки работают наравне с мужчинами.

Живучи журналистские привычки. Восторгаясь массовым подвигом людей Ленинграда, я не могу не видеть и недостатки в организации их труда; как-то сам собой у меня в блокноте накапливается материал не только положительный, геройский, но явно и критический. В чем дело, думаешь невольно, почему на правой, нечетной, стороне, относящейся к Петроградскому району, почти на всем ее протяжении от Тучкова моста до улицы Ленина громоздятся груды хотя и сколотого, но уже снова слежавшегося, смерзшегося льда? А у приморцев, на их стороне, давно все чисто, там можно ходить по асфальту. По мере очистки трамвайных путей на проспект подавались грузовые вагоны-площадки и отвозили ледяные сколки к Малой Неве.

Во льду обнаруживаются самые неожиданные предметы. Когда видишь санки, галоши, валенки, колеса автомобилей — еще понимаешь, как это сюда попало. Но вот примусы, электрические плитки, часы-ходики — кто и почему растерял их среди сугробов? Нашли несколько мертвецов, вмерзших в лед. Застывшими, грубо обрубленными глыбами так и отвезли их в морг. Уличный лед минувшей зимы мог бы рассказать о многом, но никто не желает его страшных рассказов, с ним хотят поскорее покончить.

На участке от улицы Красного курсанта до Пионерской и мостовая и тротуар были покрыты льдом не меньше чем на полметра толщиной, а местами — без малого в метр. Изо дня в день упорно штурмуют этот ледник петроградцы. Работа тяжелая, требующая многих ударов ломом, многих взмахов кирки. Но взмахи делаются, удары наносятся, и подается, откалываясь пласт за пластом, отваливаясь глыба за глыбой, ледяной панцирь зимы. В домохозяйстве № 264 на очистку дворов вышло сразу более семидесяти человек — откуда они только взялись? За несколько дней полубольные люди сделали огромную работу: не только лед, не только нечистоты, но даже вновь, как на грех, выпавший снег были собраны и увезены.

Управхоз Петров и ночью мотается по городу; он сумел всех вышедших на работу снабдить исправными лопатами, ломами, кирками, раздобыл автомашины для вывозки мусора; с гордостью называет он фамилии своих активисток-помощниц домохозяек Мельниковой, Чесноковой, Кулигаровой, которые, как выразился Петров, о «чистоте дворов пекутся не меньше, чем о чистоте своих квартир».

Я постоял, посмотрел на то, как возле одного из домов работала целая семья: мать — Ураева, ее дочь София, тринадцати лет, и сын Софьюла, десяти лет. То, что так плохо удавалось матери и сестре, мальчуган делал с силой и ловкостью мужчины.

— Мам, Сонь, вы лопатами гребите, за лом не беритесь, — не без превосходства напоминал он своим родным.

И те не обижались: мужчина же, как тут не послушаться. Ломом парнишка бил сам.

Где они зимовали, где прятались эти десяти- и тринадцатилетние ребятишки? Какие пережили трагедии за длинную зиму? На проспекте 25 Октября, на дорогом всем нам Невском, возле витрины Дома книги я увидел мальчонку, тоже вот так — лет двенадцати. На тающем льду широкого тротуара был раскрыт старенький чемоданчик. Мальчик стоял над ним и повторял, смущаясь и краснея: «Купите, пожалуйста». В чемоданчике лежало несколько хорошо зачитанных книг: Фенимор Купер, Майн Рид, сказки, школьные учебники; вперемежку с ними — заводной красный автомобильчик, облезлый пистонный пистолет, еще какие-то игрушки и даже кукла — белокурая растрепа с облинявшим румянцем на тряпичных щеках.

Я не могу пересказать здесь историю этого мальчика: у меня не хватило решимости расспрашивать его. Было страшно прикоснуться к тем ранам, которые, как мне подумалось, нес на своем ребячьем сердчишке этот маленький продавец. Когда-нибудь исследователи, историки, люди, которым будет дано смотреть на наши дни через пласты времени, снимающего любую остроту, притупляющего всякую боль, быть может, раскопают дневник этого паренька, нацарапанный в школьной тетради, и тот, кому это покажется интересным, узнает, когда умерла его мама и куда ее отвез соседский дядя, взяв за это мамино меховое пальто, подаренное маме погибшим на фронте папой; узнает, когда умерла младшая сестренка мальчика, от которой осталась вот эта тряпичная кукла, а торгует он своим скарбишком лишь затем, чтобы «выкупить» хлеб

по карточкам и накормить своего братишку — тот один лежит дома. А сейчас, мне думалось, было бы просто бесчеловечным мучить ребенка вопросами. Сейчас надо было купить у него задачник по арифметике, сделав вид, что это чертовски дефицитная и поэтому архидорогая книга. Пусть он поскорее сбегает в булочную за хлебом, а его история подождет составителя неизбежных сборников к датам и годовщинам, тех эклектических, никем не читаемых книжиц (непременно на «хорошей бумаге» и с «картинками»), в которые обычно рядом с ценными, полновесными материалами насовывается словесный мусор, сметенный с письменных столов составителевых приятелей или тех литературных мастодонтов, без фамилий которых сборник «просто не мыслится».

Я должен оговориться, таких детей, которые оставались бы без присмотра, в Ленинграде очень и очень мало. Общественные комиссии в домохозяйствах, комсомольские бригады, органы здравоохранения — все они делают свое дело, и делают его хорошо. Люди в нашем относительном, я бы сказал, чисто условном, городском «тылу» живут по тем же законам, что и люди в траншеях переднего края у Пулкова или под Ям-Ижорой: главный закон и здесь — высокая сознательность при железной дисциплине.

Но тот, кто почему-либо не хочет посторонней помощи, кто, может быть, стыдится ее из гордости, тот, чего доброго, и затеряется в лабиринтах ленинградских полупустых квартир. Очень многие из старых ленинградцев не захотели эвакуироваться на Большую землю. И никакими мерами их так и не удалось выпроводить за озеро. А это же не прихоть, это совершеннейшая необходимость — эвакуировать детей, стариков, всех нетрудоспособных. Их неимоверно трудно снабжать продуктами, которые доставляются машинами через озеро. И все-таки люди вцепились в свои старые, насиженные гнезда — и ни с места.

На днях был сильнейший огневой налет на тот куст улиц, где мы живем. Один за другим слышались глухие пушечные выстрелы в районе Стрельны или Сосновки, а за ними вскоре с бешеным визгом и грохотом в наших дворах, в чердаках, в этажах рвались снаряды.

Я сидел за столом и писал для радио очередной очерк, когда два сумасшедших, встряхнувших весь дом гулких удара бухнули совсем за нашими окнами. Слышалось, как посыпались из окон стекла, входная дверь

сорвалась с замков, где-то закричали от нестерпимой боли. Я выскочил во двор, над которым пластался прозрачный зеленоватый дым. То ли обоими снарядами, то ли одним из них ударило прямо в крышу флигеля, углом выступавшего на улицу Красного курсанта и на проспект Щорса. Над развороченной крышей торчала клочьями кровельная жесть и стоял столб известковой пыли.

Кинулся вверх по лестнице флигеля: может быть, там нужна помощь. В квартире второго, верхнего, этажа, у которой тоже, как и у нас, выбило входную дверь, все застлало пылью; через пыльные клубы, как через густую завесу, с улицы едва пробивались лучи солнца. В большой комнате, куда я вбежал, обвалилась с потолка штукатурка. Она упала почти вся, изломавшись крупными кусками. Обломки лежали на обеденном столе; среди них можно было рассмотреть битые чашки, тарелки, блюдца. А вокруг стола, тоже все в белой пыли и кусках штукатурки, окаменев, оцепенев, сидели три старые женщины.

— Кофе вот пили,— растерянно сказала одна из них, увидев меня.

Они были целы, эти старушки, но очень перепуганы. Три давние приятельницы затеяли попить кофейку из собранных в Петровском парке желудей. Немецкие артиллеристы, выполняя свой ежедневный план пальбы по городу, с их возрастом не посчитались. На немецких картах все разбито на квадраты, и, кто оказался в очередном квадрате обстрела, гитлеровских канониров не волнует.

Бабки принялись стряхивать со своих юбок и кофт известку, а я начал было разговор о том, что надо бы им собраться да и выехать за озеро. Что тут поднялось! Они меня отчитали дружным хором, стыдя и позоря за гнусное предложение. Здесь, мол, в Питере, все они родились, здесь и смерть примут. Перед Юденичем не бегали, перед Гитлером тоже не побегут. А которые на нервы послабже, те, конечно, пускай... И так далее и тому подобное. Слушать их было одно удовольствие.

Голод в городе в значительной мере преодолен. Начались четкие, строго по календарю, продуктовые выдачи, не больно щедрые, но абсолютно верные, гарантированные. Зато с весенними днями артиллерийские обстрелы все усиливаются. Немцы бьют по скоплениям людей, расчищающих улицы, по остановкам зашевелившегося на некоторых линиях трамвая, по госпиталям, по историческим зданиям; несколько снарядов угодило в Эрмитаж.

Чтобы сократить путь от Дома Красной Армии к нашей улице Красного курсанта, я шел наискось через Неву: спустился на лед у Кировского моста и держал курс на Биржевой мост. Было тепло, солнце припекало, идти по льду, по совести-то говоря, уже и не следовало бы. Лед покрылся натаявшей на нем водой; казалось, его уже и совсем нет и только бежит через сверкающие разливы бело-синяя, натоптанная за зиму, выпуклая тропинка. Кое-где и она ослабла, ноги проваливались в хлюпкое месиво. Сапоги промокли. Ни впереди, ни сзади никого нет, ты один на этой тропинке, как канатоходец на проволоке.

Апрельский день шел к концу, солнце светило уже с запада, оно стояло низко над кранами судостроительных заводов. И вот оттуда, со стороны солнца, не сразу заметные против него, стали одно за другим появляться грозные звенья — тройки немецких бомбардировщиков. Ничего подобного не было с осенних дней. Зимой немцы летали только по ночам, бомбили скупо, делая ставку на голод и холод и еще на то, чтобы изматывать нервы ленинградцам. А тут вдруг массированный дневной налет прямо вдоль Невы. Я не мог сосчитать, сколько их было, бомбардировщиков и «мессершмиттов». Они рассыпались в небе, даже звенья и те распались на одиночные самолеты, и потому казалось, что они закрыли собой все небо. На Неву, на окрестные набережные, на здания и корабли густо падали бомбы. Над городом катился тяжелый, пружинящий грохот, лед дрожал, трескался, вода рябила. Все до единой заработали наши зенитные батареи. Такого пушечного боя Ленинград, пожалуй, еще и не слышал. Навстречу врагу вышли наши истребители.

Надо было или погибать на ломавшемся льду под градом осколков, или бежать по воде, под которой могли оказаться и трещины и промоины, прямиком к Петропавловской крепости. Я решил предпочесть второе — побежал, черпая воду голенищами, к гранитным серым уступам, вжался в одну из ниш в стене и стоял так, пока гитлеровцев не отогнали.

Ленинградцев этот налет встревожил. Так нагло немцы днем себя еще в воздухе не вели.

Ночью они налетели снова. Развесили над городом осветительные ракеты, бросали фугасные и зажигательные бомбы.

— К чему бы все это?

Утром, после бессонной ночи, ленинградцы узнали, что во вчерашнем налете участвовало более сотни немецких бомбардировщиков и истребителей, что многие из них были сбиты нашими зенитчиками и летчиками.

В тот день Вера сказала, что меня разыскивают «настраженцы». Зачем? Им только что стало известно, что я «безработный», и они требуют, чтобы я немедленно шел к ним.

— Но там же военные, «кадровые», у них свои порядки. Там генералы да полковники...

— Какие генералы! Редактор новый, только что назначен. Макс Гордон из «Известий». А заместителем у него Володя Карп.

— Володя Карп? — Это многое меняло.

Я отправился в редакцию фронтовой газеты «На страже Родины», на Невский, 2, в одно из зданий, включенных в ансамбль Генерального штаба, и там за какой-нибудь час все было решено. Из-под власти золотухиных и товарищей игрековых я вышел. Теперь я уже состоял если еще и не в рядах, то, во всяком случае, как говорят, в системе Красной Армии.

5

Пулковские высоты. Залитая солнцем даль. Косогоры, с которых сходит последний снег. Полные водой низины и канавы.

С лейтенантом Семиным — командиром артиллерийской батареи — стоим на НП, на колокольне полуразбитой пулковской церкви. Самого Пулкова уже нет. Большое красивое старинное селение ушло в зимние дни на дрова, на постройку землянок и блиндажей. А исковерканная, ободранная снарядами и минами церковь все еще торчит на возвышении, похожая больше на груду кирпича.

В бинокль рассматриваю немецкие траншеи, знакомые деревни за ними — Синдо, Кокколево, Верхнее Кузьмино, станцию Александровскую, окраины и парки Пушкина.

Бинокль Семина сильный, в него видно, что не только от Пулкова, но и от тех деревень и селений тоже почти ничего не осталось. На месте Верхнего Кузьмина лишь торчит одинокая черная труба. В немецких траншеях различаем суету. Немцы откачивают талую воду.

Лейтенант Семин на Пулковских высотах с 6 октября. Перед его глазами прошло многое.

— С осени немец совсем другой был. Как хозяева по всей равнине фрицы разгуливали. Картошку копали, кур ловили. «Эй, рус,— орали в мегафоны,— скоро вешать вас будем». А сейчас, глядите, какие смирные вояки...

Немцы ходят с ведрами, смешные в своих куцых мундирчиках, тощие, вялые; как блохи, скачут они через канавы, перетаскивая какой-то скарб.

— На новые места перебираются,— поясняет Семин. — Не рассчитали с осени, на мокрых луговинах траншей понарыли да блиндажей настроили. Сейчас на бугры отходят. Видите, где копают?

Длинной вереницей копошатся серые люди вдоль канавы, вязнут в нашей клейкой земле, счищают ее лопатами с ботинок, с сапог.

— Сейчас мы их взбодрим!

Семин командует данные, которые телефонист передает на огневые позиции. Два выстрела за нашими спинами в районе мясокомбината, и среди серых людей взблескивают два разрыва. Вскидываются два столба дыма, земли, воды, обломков, обрывков.

— Не отвечают, слышите? — Семин потирает руки. — Бояться стали. Не хотят обнаруживать свои батареи. У нас сейчас мощные контрбатарейные средства есть. Вот гансики и помалкивают, чтобы не получить сдачи по башке. А с осени ураганным крыли по площадям. Вся земля, видите, в воронках. Как шахматная доска. А рыжая ржа по ней — это окись от осколков. Железа тут тысячи пудов. После войны металлургический завод можно в Пулкове строить. Вы шли сюда, видели у моста «диаграмму»?

Да, я видел то, что Семин называет диаграммой, — десятка два снарядов, выстроенных на дорожной обочине рядком по ранжиру — от маленького, миллиметров в сорок пять калибром, до огромнейшего, чуть ли не в четыреста двадцать миллиметров поперек и в метр с лишним высотой. Снаряды не разорвались, и бойцы по своему почину устроили из них «выставку».

С НП Семина видны и дальние правофланговые высоты, идущие в сторону Урицка. Там, на не отданных немцам рубежах ставших знаменитыми деревень Кискино и Камень, время от времени бухают удары могучей силы. Немцы закидывают туда снаряды из-под Красногвардей-

ска, за десятки километров, стреляя с железнодорожных установок. Они простреливают весь Международный проспект, всю магистраль, ведущую из Ленинграда к Пулкову. Прежде чем попасть на НП Семина, я собственными ногами проделал этот нелегкий путь. То отлеживался от артналета, прижавшись к цоколю Дома пушнины, то сидел в преобширнейших подвалах недостроенного Дома Советов, где полно штабов разных частей и соединений, то никак не мог высунуться из-за насыпи возле Варшавской железнодорожной линии.

— Сейчас самое время охоты на фашистов,— продолжает свое Семин. — Вовсю развернулось снайперское движение. Среди наших артиллеристов в дивизионе есть такие, у которых на счету десятки убитых немцев. Из винтовки, конечно, бьют. Мы вам хоть десяток таких мастеров представим. Но первым делом отыщите Ермакова Михаила Петровича. Это он открыл истребительный счет в дивизионе.

И вот мы стоим с Ермаковым на солнышке среди груды трухлявых бревен, оставшихся от того старого дома, с террас которого, как до войны рассказывали старожилы этих мест, Николай II созерцал маневры гвардейской кавалерии.

— С чего началось все? — Ермаков подает мне кисет, сложенную гармошкой газету, мы свертываем цигарки, закуриваем. — Ну примерно было дело так... В конце января к нам в землянку зашел комиссар батареи. Вот что, говорит, немцев надо истреблять. Поштучно, одного за другим. Придется для этого окончательно позабыть, что они люди. Вон что гады эти с Ленинградом, с ленинградцами делают! Беритесь, ребята, за трехлинейки, и нечего времени терять. Что ж, взяли мы с Никипеловым да с Бахаревым по винтовке, надели маскхалаты, выползли в район «аппендицита», который вдоль Варшавской насыпи аж под самую Александровку подходит. Сидим, сидим в своих норах, зябнем. Немец чистит от снега траншею. Только лопата мелькает над бруствером, а сам ни-ни. «Что за снайперство! — сказал Никипелов. — Пошли, ребята». Они с Бахаревым уползли. А я все сижу. И тут мне пофартило: вылез немец из траншеи на бугор. Я хоть и заволновался, но врезал ему пулю прямо в грудь. Ждал, когда за убитым живые вылезут — подобрать. Не дождался, темно стало. Утром, чуть свет, я опять туда. Но гансы кое-что учуяли и не показывались. Тут подвернулась дру-

гая возможность. На том же «аппендиците» охотились за немцами снайперы-пехотинцы. И не совсем удачно. Троих из них немцы накрыли минами. Ну, думаю, надо тех минометчиков подкараулить. Выбрались мы с Никипеловым за боевое охранение, за минное поле, окопались в снегу и повели наблюдение. И не один так день и не два сидели. Снайперы-пехотинцы постреливают, а мы только наблюдаем. И дождались-таки. Видим, за елочками четыре немца устанавливают миномет, чтобы дать по нашим охотникам. Выпустили мы с Никипеловым по одной пуле — уложили двоих. И третьего вдвоем уложили. Четвертый удрал как заяц, не успели его достать. Подползли к ним, поснимали каски с убитых, всякие знаки — орлы да короны. Ящик с минами прихватили. Миномет утащить не смогли, поломали у него кое-что прикладами, да и назад.

Цигарка догорела. Ермаков бросил окурок в лужу.

— Так и пошло помаленьку... Было недавно в Большом Кузьмине. Вот так, скажем, наше боевое охранение — крайний отсюда дом. А метрах в ста семидесяти к Пушкину уже немцы. Отчего-то у них несколько домов загорелось. Может, от наших пуль, может, сами какое горючее пролили. Горят дома, немцы вокруг суетятся. Я троих уложил. Общий итог за день получался — пятеро, потому что спозаранку, на зорьке, я уже успел двоих взять на мушку. Удачные охоты бывают, когда ходим к насыпи бывшей царской ветки. Там у немцев, что у кротов, землянок видимо-невидимо понарыто, входы видны, как вот перед тобой в нескольких шагах. Другой раз, верно, нарвешься, бывает. Фрицы тоже не дураки, смекают, что к чему. Охотились мы как-то большой компанией, впятером. Увлеклись, до самой луны досидели. Светит она вовсю, не шевельнись под ней. А холодище, мерзнем, сил больше нет. А уйти никак. Сделаешь движение — огонь открывают бешеный. Перевалились все-таки через бруствер из снега, ползем, ветер маскировочные халаты задирает, демаскирует нас. Никипелова ранило пулей. В общем кое-как унесли ноги. Думали, что уже конец.

Идет рассказ, развертывается трудная человеческая судьба.

Среди зимы комиссар, с которым бойцы ездили в Ленинград, разрешил Ермакову забежать домой. Над улицами еще похлестче, чем на передовой, свистели снаряды, где-то рушилось, горело. Сердце стыло, когда поднимался по обледенелой лестнице на свой этаж...

Менее чем через час он уже бежал вниз. И когда вернулся под вечер в свою землянку, товарищи поняли по его лицу: беда у Ермакова. Не спрашивали — сам рассказал: сынишка умер от голода.

В землянке все знали о его старшем сыне, двенадцатилетнем Васятке. Каждую неделю приходили отцу письма от сына, и отец читал их вслух. Знали все, что этот питерский строитель хранит в кармане гимнастерки фотографию, где снят со всей семьей; знали, как ясными днями выходит он на гору, чтобы посмотреть на Ленинград и, может быть, среди моря крыш увидеть крышу своего дома.

Следующий день, как рассказывали мне друзья Ермакова, был горячий. Один за другим падали немцы под злыми пулями снайпера. К вечеру, к заходу солнца, он пристрелил седьмого гитлеровца.

На днях его поздравляли: на счету у истребителя уже девяносто два немца. Жали руку, говорили добрые слова.

— Мне и тысячи будет мало, — одно ответил Ермаков.

На Пулковских холмах не впервой в истории нашего города гремят выстрелы. Подступали сюда красновские кавалеристы, о которых долго помнили люди в деревнях, расположенных вдоль шоссе Александровская — Красное Село; подходили полки Юденича. И вот добрались гитлеровцы. Но добраться добрались, а перешагнуть через холмистый исторический гребень им так и не дали.

Хожу среди изломанных снарядами лип в парке вокруг обсерватории; хожу, но уже с опаской: среди развалин самой обсерватории, над развалинами, в которых прячутся наши стрелки и минометчики, то и дело попискивают веселые пульки. Все здесь изломано, искорежено, доведено до состояния полного хаоса. А помнится, еще корреспондентом слуцкой газеты «Большевистская трибуна», в строгих тихих залах я рассматривал приспособления, с помощью которых изучался мир за пределами нашей планеты. Я запомнил с тех пор двух молодых ученых — Рубашова и Гневышева, которые с увлечением рассказывали мне о том новом, что они нашли на Солнце, о планах своих дальнейших исследований, чтобы люди в конце концов узнали о Солнце все.

А какие здесь были библиотеки! Ветер носит по изрытой бомбами и снарядами, мокрой, оттаивающей земле обгорелые клочья книг. Многие книги вывезены, спасены, но немало и осталось погибать. Погибла библиотека, погибли приборы, здания, погибли и люди.

Но живут идеи. А если идеи живы, ничто не умрет. Появятся снова книги, снова будут приборы в залах, придут в них и люди. Разве не во имя идей на месте ученых сидят сегодня среди развалин наши снайперы-ленинградцы?

Меня знакомят со старшим сержантом Владимиром Никифоровичем Красновым. Если Ермаков рассказывал разные истории из жизни снайперов-истребителей, то Краснов стремится обобщить снайперское дело. Он тоже рассказывает немало историй, но лишь для того, чтобы проиллюстрировать свое представление о месте снайпера в современном бою.

— Снайпер всегда должен быть при командире, — говорит Краснов. — Командир и снайпер, перед тем как снайперу действовать, должны тщательно изучить местность, ее цвет, чтобы соответственно подобрать маскодежду.

Он пересказывает мне целую снайперскую науку. Я все записываю, потому что мне кажется, что в той газете, в которой я отныне работаю, в «На страже Родины», уже нельзя писать так, как было в «Ленинградской правде»; это военная газета, и «боевыми эпизодиками» пробавляться она не может. Весь стиль ее жизни иной, чем в «Ленинградской правде», в ней немало кадровых сотрудников, которые важнейшее значение придают знакам различия в петлицах, должностям, занимаемым ими согласно штатному расписанию, и всякой иной, незнакомой журналистскому миру суете сует. Говорят, что до прихода в редакцию Гордона и Карпа такого казарменного духа в ней было несравнимо больше. Сейчас многое изменилось. Гордон с Карпом, оба настоящие, живые газетчики, собирают в коллектив людей не по принципу умения «нести службу», а по принципу умения видеть жизнь и хорошо о ней писать.

Но тем не менее газета «На страже Родины» имеет и должна иметь свои особенности. Я слушаю рассказ старшего сержанта Краснова, истребившего 102 гитлеровца, и представляю себе будущую его статью под рубрикой «Из боевого опыта».

Поскольку снайперское движение разрастается, мне посоветовали записать в мой блокнот еще и о снайпере-пулеметчике Петре Григорьевиче Григорьеве. Его сейчас на Пулковских высотах, правда, не найти, он в школе младших командиров, которая расположена где-то на Куракиной дороге, в строениях кирпичного завода. «Поищи-

те, дорогой товарищ корреспондент. Очень интересный человек пулеметчик Григорьев».

Долог был путь по ленинградским окраинам, пока я отыскал эту школу.

На открытом дворе, перед обшарпанным кирпичным зданием, выстроились в две шеренги сотни полторы будущих младших командиров Красной Армии. Стояли они потупясь, стараясь не встречаться глазами с пожилым майором, который медленно прохаживался перед строем.

— Я к вам всей душой,— говорил майор не без грусти и тоже как-то потупясь, — а вы мне в картуз...

Курсантские головы клонились еще ниже под тяжестью такого убийственного обвинения.

Конфликт начальника и подчиненных заключался, оказывается, в том, что майор, возглавлявший эту школу, только что получил от вышестоящей инстанции основательный нагоняй за глушение рыбы его воспитанниками в пруду, расположенном поблизости. Ребятки взяли несколько толовых шашек и, взломав рыхлый лед, переглушили всеми позабытых под ним карасей, поджарили их и съели. И вот стоят, не подымая глаз, перед тем, кому за них влетело.

— Я готовлю из вас командиров Красной Армии, а не стукачей,— продолжал майор тихо и грустно. — Я не требую поэтому, чтобы вы назвали мне так называемых зачинщиков — вы к такому кляузничеству лучше и не приучайтесь. А просто я вас всех обложу матом, как распоследних сукиных сынов, и на этом будем считать инцидент исчерпанным.

Шеренги вздохнули с облегчением и виновато заулыбались.

— Да ведь это, товарищ майор, истинная правда. Именно мы эти и есть, как вы правильно выразились, «сыны».

— Разойдись! — скомандовал майор и повернулся ко мне: — Вам что, товарищ? Ах, Григорьева!.. Григорьев, задержитесь!

Подошел плотный, уже немолодой человек, приложил руку к шапке.

— У тебя какой истребительный счет? — спросил его начальник школы.

— Сто сорок считанных, товарищ майор. А есть, должно быть, и несчитанные. Очередями бьешь, за всем не углядишь, все не подсчитаешь.

— Ну вот, давай, Григорьев, что касается пулемета

«максим», выложи по порядочку товарищу из газеты. Карасей-то наелся, вот и пофилософствуй на сытое брюхо.

— Кто «максима» любит,— начал Григорьев охотно,— того и «максим» жалует. Это же такая золотая машина! Я из него еще белополяков косил в гражданскую. В одном бою было: кошу, кошу, а что там передо мной, и не вижу. Потом глянул — целая гора мертвяков.

Мы вошли в здание, майор приказал принести нам по кружке кипятку с сахаром.

— Пулемет, он не поливалка, как думают некоторые,— рассказывал Григорьев, обжигая губы о край алюминиевой кружки. — Это оружие требует точных знаний и умелого применения.

И опять пошел рассказ, по моим представлениям, совершенно необходимый для читателей газеты «На страже Родины». Как, например, во время морозов смазывать пулемет? Григорьев постиг это опытом. Он перепробовал для смазки «максима» всяческие жиры, включая гусиное сало; остановился же в конце концов на керосине. Как выбрать огневые позиции, как подготавливать ложные, для обмана противника, амбразуры? Все это вопросы и вопросы, перед которыми ломать и ломать голову новичку точной стрельбы из пулемета. Или как стрелять, скажем, если уже нет времени устанавливать тело «максима» на станок?

— Клади тогда на плечо второму номеру и жми на гашетку! — советует Григорьев.

Длинный рассказ получился о том, как бороться с задержками в стрельбе. Их у «максима» немало. Григорьев перечислил все, о каждой рассказал в отдельности.

— Ну, а в общем-то, имея в виду задержки,— закончил он,— всегда надо припасать возле себя на всякий случай гранаты. И не одну-две, а так штук тридцать — сорок. Разное в бою случается.

6

Снег сошел почти всюду; только еще лежит он, спрессованный, кое-где за глухими кирпичными стенами, в тени, в наших каналах и речках, свезенный туда с очищенных улиц. Зимнюю грязь посмывали с асфальта весенние потоки; в скверах и парках пробивается травка; тощие травинки лезут даже сквозь камни площадей. Небо над городом голубенькое, дыма в нем нет, как бывало: дымить

нечем, все посжигали за зиму. Народу стало еще меньше, чем зимой. Почти как до войны, оживленно только на Невском да на улице 3 Июля, где все больше открывается магазинов. В других частях города, особенно к вечеру, — тишина. А если через площадь Урицкого пойдешь — непременно вспомнишь времена Акакия Акакиевича: настолько на ней мертво и пустынно. С наступлением комендантского часа, когда без пропусков на улицу выходить не разрешается, замирает жизнь и на Невском.

Почему я помянул площадь Урицкого? По той причине, что хожу через нее ежедневно на проспект Володарского, чтобы пообедать в Доме Красной Армии: так определено талончиками, какие мне выдают в редакции. Можно в этом Доме еще и завтракать и ужинать. Но тройной ходьбы туда не выдержишь. Я только обедаю, а завтрак и ужин, завернув в пакетик, легко умещающийся в кармане шинели, уношу с собой.

Дом отсырел за зиму, промерз. Достаточно тепло только в обеденном зале. А многочисленные комнаты, коридоры между ними, большой и малый зрительные залы стоят темные от щитов на окнах, от затянутых плотных штор, настывшие. Здание Дома не старое, оно построено в конце прошлого века, но уже достаточно историческое, как почти каждое здание Ленинграда. Его возвели в 1890 году для «Собрания армии и флота» на месте небольшого домишки № 20, в котором обитал некогда Аракчеев. После Октября в здании будущего Дома Красной Армии работало Бюро Военной организации Центрального Комитета партии. В январе 1918 года здесь состоялось общее партийное собрание красноармейцев Петрограда. Здесь же началась запись добровольцев в молодую Красную Армию. В этих ныне холодных залах двадцать три года назад выступали с трибун Калинин, Володарский, Урицкий...

Сегодня здесь можно встретить знакомых журналистов — тоже за обеденными столами. Иной раз я вижу поэта Александра Прокофьева, через родное село которого, Кобону, спеша в освобожденный Тихвин, проезжал месяца четыре назад. Бывает в столовой и его друг Виссарион Саянов, жизнерадостный усач, написавший много замечательных, известных всему народу стихов. Появляется тощий Николай Тихонов, автор давнишней «Баллады о гвоздях» и недавно опубликованной новой поэмы «Киров с нами». Мелькнул как-то стремительный Всево-

лод Вишневский, по сценарию которого была поставлена одна из лучших картин нашего кино — «Мы из Кронштадта». Это все те поэты и прозаики, чье перо приравнено ныне к штыку. Их голоса слышны по радио, их строки публикуются в гражданских и военных газетах, они выступают в военных частях, обороняющих город.

Так вот, в Дом Красной Армии и обратно из него в редакцию, на угол Невского, я хожу таким маршрутом, который лежит мимо Инженерного замка, по Мойке, возле квартиры-музея Пушкина, и прямиком через площадь Урицкого, оставляя то справа, то слева Александровскую колонну. Как известно, вокруг этой площади расположены Зимний дворец, Эрмитаж, бывший Генеральный штаб, вобравший ныне в свои апартаменты многие управления и отделы штаба Ленинградского фронта. Поэтому немецкая артиллерия нет-нет да и ударит массированным огнем и по площади и по ее окружью. На асфальте тут, будто листопадными днями в парках, все, как желтым листом, усыпано осколками снарядов. На днях, возвращаясь с обеда, я угодил в один из самых горячих для площади часов. Только было поравнялся с «Александрийским столпом», как в небе и на земле завыло и загрохотало: один за другим стали падать и рваться снаряды. Я бросился к колонне и прилег за ней у самого цоколя. Больше под таким беглым огнем деваться некуда. Снаряды рвались на асфальте, в крышах и чердаках штаба, у стен Эрмитажа, перелетая через Зимний дворец — на набережной Невы, на Невском. «Поле боя» затягивалось удушливым дымом.

Когда все кончилось и можно было идти дальше, я увидел, что далеко не все немецкие снаряды разорвались. Сигарообразные, остроносые болванки то там, то здесь, дымясь, плавили под собой асфальт. Некоторые из них раскололись вкось, из их нутра во все стороны разнесло зеленовато-желтую труху несработавшей взрывчатки. Хотелось думать, что это дело рук немецких рабочих. Не могут же пунктуальные немцы выпускать негодную продукцию просто по халатности, из-за расхлябанности производства. Нет, это сделали антифашисты, наши друзья, коммунисты из партии Тельмана, томящегося, как сообщает печать, в застенках гестапо, закованного в кандалы, но несдавшегося. Вспоминаешь боевые песни Эрнста Буша. «Заводы, вставайте, на битву шагайте...»

— Вот что,— сказал редактор Максим Гордон, когда

я пришел в редакцию,— для вас после этого есть очень подходящее задание. Расскажите-ка читателям о наших ленинградских контрбатарейщиках. Вокруг Ленинграда создан мощный заслон из тяжелых пушек, которые отвечают ударом на каждый удар немецких артиллеристов. Слышите, где-то грохочет, а немецких снарядов в городе уже нет. Это бьют наши по батареям, только что обстреливавшим вас и Александровскую колонну.

Назавтра я ходил по улицам Автова, разыскивая штаб одного из артполков, ведущих контрбатарейную борьбу. Эта часть ленинградской окраины мне знакома еще с тех пор, когда я работал на близкой отсюда Северной судостроительной верфи, называющейся ныне заводом имени Жданова. В конце двадцатых — начале тридцатых годов вот здесь, перед самым Автовом, к верфи сворачивали вагончики Ораниенбаумской электрической железной дороги — «оранэлы», на которые мы садились возле арки Нарвских ворот. А если не сворачивать к верфи, а идти по старинной Петергофской «першпективе» дальше — там и будет Автово, в те времена деревенька, окруженная огородами, теперь же — новый район Ленинграда, застраивавшийся перед войной многоэтажными большими домами. Гражданских жителей в этих домах сейчас нет, одни военные. До переднего края — до торфяников за больницей имени Фореля — совсем близко: отчетливо слышен голос фронта — методичные взрывы мин, стуки пулеметов, раскатистые пушечные удары.

Искомый штаб расположился в обыкновенной жилой квартире. В ней нетронутыми остались хозяйские кушетки, столы, стулья, картинки на стенах. Принял меня командир полка подполковник Витте.

— Я думаю,— сказал он,— что разговор о контрбатарейной борьбе у нас лучше всего получится знаете когда? После того, как вы сами побудете на огневых позициях, познакомитесь с артиллеристами. Сходите, советую, к старшему лейтенанту Пигиде.

Среди яблонь и вишен, оставшихся от сада, которым окружалась много лет существовавшая здесь в деревянной халупке старая автовская школа, за брустверами, выложенными из мешков с песком под зелено-рыжими маскировочными сетями я увидел две могучие пушки в свежей радостной салатной окраске. Диаметр их снарядов — больше двухсот миллиметров, стволы не так длинны, сколь массивны. Они стоят, прочно врезавшись в почву

лафетами. Батареей из этих двух пушек командует старший лейтенант Константин Иванович Пигида. А старший лейтенант Степан Лаврентьевич Мизько на ней командиром огневого взвода.

— Системы новые,— сказал Пигида, проводя ладонью по замковой части одного из орудий. — Очень точные и мощные по огню. Мы их получили недавно. Они еще пахли краской, когда мы приехали за ними вместе с Мизько. Интересно было! Посмотрели на них, обошли вокруг. Пушки, конечно, как пушки: стволы, лафеты, колеса. Но какие стволы, сами можете судить, какие лафеты! «Что делать будем?» — спрашиваю Степана. «Не гармата,— говорит он, скребя затылок,— а цила хвабрика!» Делать нечего, прицепили мы эти «хвабрики» к тягачам и повезли сюда, в полк. А потом взялись за книги, за таблицы, за справочники. Ночей не спали, все копались в книгах при коптилке, чертили, как техникумовцы перед зачетами, задачки решали... А сами от страху млели — вот-вот поступит приказ открыть огонь. Вдруг мазать начнем по цели. А как тут мазать! Каждый снаряд — целое состояние. Никак нельзя, чтобы он гремел вхолостую. Пришел-таки приказ, настал этот день. Я был на передовом наблюдательном пункте, в нескольких километрах отсюда, сидел возле амбразуры, волновался. А Мизько здесь, на огневых, хозяйничал. Скомандовал я цифры, какие получились у меня после расчета, слышу — ударили оба «Бориса», и первый и второй. Это мы их «Борисами» зовем: «Борис-первый», «Борис-второй». Снаряды идут чуть ли не в стратосфере, шелестят, рвя пространство. Долго, кажется, идут, конца не дождаться. Гляжу, встают два столба дыма, и оба за целью. Скриплю зубами, делаю поправку. Новых два удара. Прямо в цель! Накрыли голубчиков. Бревна, камни, рельсы — метров на сто вверх хлещут. Блиндаж в районе Урицка выдернули из земли с корнем. Первый экзамен выдержали.

Пигида рассказывает с увлечением.

Оба они со Степаном Мизько уже убедились, насколько точно работают их орудия. Батарея в последние недели расстреляла десятки заданных командованием целей — блиндажей, дзотов. На днях стерли с лица земли каменный дом, оборудованный артиллерийскими и пулеметными гнездами, окруженный траншеями и блиндажами. Корректировал огонь Пигида, и девятнадцать снарядов из тридцати направил прямо в дом. В случаях

таких прямых попаданий говорят: осталась груда кирпича. Но здесь и этого не осталось. Силою взрывов кирпич разбросало далеко по сторонам.

Другой дом, поменьше, Пигида разнес уже пятью снарядами из шести. Он перестал волноваться на наблюдательном пункте, отлично зная теперь, что Степан Мизько, остающийся на батарее во время стрельбы, пошлет снаряды туда, куда укажет командир.

Оружие изучено, но в свободные минуты артиллеристы по-прежнему снова и снова перелистывают справочники и таблицы. Порой Мизько скажет: «Комбат, вот тут написано: чтобы попасть в заданный квадратный метр на расстоянии в столько-то километров, надо послать четыре тысячи семьсот сорок «огурцов». Ну тот домик был, конечно, не квадратный метр, а, скажем, сто квадратных метров,— все равно полсотни снарядов надо было. Мы же разбили его с шести. Или, помнишь, стреляли не то что по метру, а по трубе, что над блиндажом дымилась? Разбили трубу. Что же получается?» — «Получается стахановское перевыполнение норм. Те ребята — шахтеры — тоже сверх всяких расчетов работали».

На батарее Пигиды и Мизько я провел несколько дней. Не раз приходил к командиру полка, уверяя его, что с практической деятельностью артиллеристов-корпусников уже ознакомился, нуждаюсь, мол, в теоретических обоснованиях и объяснениях.

— Ну что ж,— согласился однажды подполковник,— что смогу, то и расскажу. Артиллерия — бог войны! Это верно. Но бог не подводит в тех случаях, когда командир-артиллерист, и без того хорошо зная свое дело, постоянно в нем совершенствуется, все больше овладевает артиллерийской культурой. Для того чтобы произвести орудийный выстрел, понадобится целый комплекс подготовительных мероприятий. С Пигидой пример очень удачный и показательный. Я как-то наблюдал за его работой на НП. Он открыл огонь — снаряды легли вправо от цели. Он сделал расчеты, подал новую команду, и снаряды на этот раз точно накрыли огневую точку. На первый взгляд — ну что тут такого, пустячок: в первом случае было «0-20», с поправкой получилось «0-16». Мелочи какие-то. В действительности же, чтобы получить цифру «0-16», Пигида проделал большую работу: измерив отклонение разрывов от цели, он умножил коэффициент на отклонение и получил нужный расчет. Достаточно было допустить ошибку,

в сотую долю, и снаряды снова легли бы в стороне — напрасный расход боеприпасов, потеря времени. Пигида работает быстро, все несложные расчеты производит в уме и редко пользуется бумагой и карандашом.

Подполковник щелкнул портсигаром, мы закурили «Беломор», в котором вместо табака было набито мочало; в комнате запахло паленым.

— Надо гнать немцев,— сказал он,— а то совсем без курева останемся. Как там фабрика Урицкого, цела? Мы сейчас не очень-то даем немцам бить по Ленинграду. Одной из главных наших задач становится контрбатарейная борьба. В связи с этим я еще кое-что скажу о старшем лейтенанте Пигиде. Есть разные способы подготовки исходных данных для стрельбы: полная подготовка, сокращенная, глазомерная... Есть и другие. Артиллерийский командир должен знать все, но каждую из них применять в зависимости от обстановки и полученной задачи. Стреляя по немецкой пушке, Пигида сделал полную подготовку данных, хотя можно было пользоваться и упрощенной. На расчеты и стрельбу он затратил столько же времени, сколько ушло бы, учитывая время на поправки, и на стрельбу по сокращенному способу. При этом Пигида сэкономил около десятка снарядов, а главное — с первых выстрелов поразил цель. Вот как складываются артиллерийское мастерство и артиллерийская культура. О, культура!.. Это не только глыбы познаний. Нет, это и мелочи, мелочишки. Какой ты подаешь пример своим подчиненным — это тоже зависит от твоей культуры. «Каковы сами, таковы и сани» — говорит пословица. Если командир разболтан, неаккуратен — и стрельба у него будет такая же, разболтанная. Вот пример важной мелочишки. Карандаш! Стоит артиллерийскому командиру плохо его очинить, как пересечение линий на карте получится жирным, толстым, определить точное местонахождение вражеской батареи уже будет невозможно. На бумаге — миллиметры, а на местности — сотни метров.

Слушая подполковника Витте, я раздумывал о том, какая у него интересная может получиться статья для «На страже Родины» о культуре артиллерийского командира. Но чтобы самому не быть бескультурным в делах артиллерии, решил кое-что почитать предварительно и снова отправился на огневые к Пигиде, посмотреть, какую литературу они с Мизько изучают.

Пигида вынес из блиндажа книги и справочники. Мы уселись на бруствере из мешков с песком, началась популярная лекция для меня об основах артиллерийской науки. Я уже был поставлен к орудию, чтобы на практике освоить преподанное, как вдруг за Урицком, в Стрельне, заревели десятки немецких стволов. Вокруг огневых позиций батареи в течение тридцати — сорока секунд разорвалось штук пятнадцать снарядов. Мы прижались к мешкам. Земля под нами гудела, осколки рвали плетенку маскировочных сетей, мешки разбрасывало взрывами, как подушки, нас осыпало песком, обляпывало жирной огородной землей, заваливало сучьями и стволами яблонь и вишен. За все месяцы войны впервые с такой очевидностью и неотразимостью я ощутил, что для меня все кончается — и война, и газетные корреспонденции, и дружба с одними, вражда с другими — и все вместе взятое, что называется жизнью. В какой-то миг показалось даже, что я переломлен надвое — это мне на спину съехал мешок с песком весом пудов в пятнадцать.

— Гады! — где-то далеко сказал глухой голос.

Я поднял глаза, спиной ко мне у развороченного бруствера стоял Пигида и отряхивал с себя песок.

— Они по всем батареям бьют. В том числе и по зенитным. И понятно почему. Комбинированный налет!

Я поднялся, сел на мешках и тоже понял почему. Под грохот пушек на Ленинград шло несколько больших стай бомбардировщиков. Со стороны вечернего солнца, с запада, как и в тот раз, когда воздушный налет захватил меня на таявшем невском льду.

Гром над землей катился неимоверный: несмотря на бешеный огонь немецких артиллеристов, били все наши зенитные батареи.

Пигида получил приказ ударить по немецким батареям. Тут я своими глазами увидел, как работают его «Борисы». Они грохали так, что все мы вокруг них подскакивали на вздрагивающей земле.

Над Ленинградом тем временем поднялось несколько столбов дыма. Особенно выделялся один, клубливый, густо-черный, плотный, уходящий высоко в небо.

— Нефть горит. Или масло.

На другой день я в грузовике переезжал через Неву по мосту Лейтенанта Шмидта. Шофер сказал, что вчера здесь горело на крейсере «Киров», который стоит против облинялых особняков у гранитной невской набережной.

Крейсер еще слегка дымился, среди его палубных надстроек чернела яма — след бомбы. Казалось, корабль только что вышел из боя: не было одной трубы, обожженная пламенем, рыжела окалиной мачта; на берегу были раскиданы искореженные черные обломки металла.

Третьего мая, когда в «На страже Родины» опубликовали мою корреспонденцию о снайпере Ермакове, которая заканчивалась словами: «Ермаков научился всеми силами души ненавидеть немецко-фашистских захватчиков. Его сердце полно свирепой яростью. И его счет — это только начало расплаты с врагом»,— в этот день я вновь оказался в Автове.

На одном из дворов, превращенных в плац, был выстроен весь личный состав 14-го артиллерийского полка, которому вручалось гвардейское знамя. Вручить этот почетный стяг приехал Алексей Александрович Кузнецов, дивизионный комиссар, член Военного совета фронта. Он прочел вслух приказ о присвоении полку звания гвардейского, поздравил артиллеристов, обнял командира и комиссара.

Дорогое знамя из его рук принял подполковник Витте. Я слушал речь командира, стараясь записать главное.

— Товарищи! — говорил он. — Принимая гвардейское знамя, от лица всего личного состава полка даю торжественное обещание, что доверие, оказанное нам партией и правительством, мы будем оправдывать всей своей боевой работой. В ожесточенных боях с немецкими захватчиками от нашего огня враг понес большие потери. Полком уничтожено до восьми тысяч солдат и офицеров противника, разбито сорок орудий, тридцать шесть минометов, двадцать один танк...

Он перечислял и перечислял потери немцев от огня его пушек. Гвардейцы смотрели на алое полотнище с изображением В. И. Ленина; вновь, как живые, вставали перед ними дела и битвы, через которые полк пришел к знамени гвардии. Месяцы войны пронеслись стремительно. Были они, как жизнь солдата, суровы и трудны. Бойцы учились воевать в пожаре сражений, в бою осваивали оружие, на полях и в лесах били и били гитлеровцев.

Крепко запали те суровые дни в сердце командира батареи Пигиды, который к историческому для его полка событию получил следующее звание и знаки различия старшего лейтенанта сменил на «шпалу» капитана. Он помнит трех офицеров, которых свалил из пистолета в одном из

боев; помнит удары своих снарядов в гущу немецких солдат; помнит стрельбу по тяжелым танкам, по броне германских дивизий, которые осенью рвались к Ленинграду.

Никто тут, в этих шеренгах, ничего не забыл и никогда не забудет.

Подполковник Витте опустился на колено.

— Склоняясь перед гвардейским знаменем, осененным образом великого Ленина, мы, гвардейцы-артиллеристы, клянемся великому советскому народу, партии и правительству в том, что непоколебимо, стойко, беспощадно будем уничтожать немецких захватчиков и с честью оправдаем высокое звание воинов советской гвардии.

Гремит «Интернационал», катится по шеренгам артиллеристов традиционное «ура». Пушки удар за ударом бьют салют, во главу колонны становятся командир и комиссар полка, под своим развернутым знаменем гвардейцы начинают торжественный марш.

Торжественный марш в нескольких минутах хорошего хода танков от позиций врага! Пушки поэтому бьют не холостыми. Это салют особый. Они бьют боевыми по заранее разведанным для этого дня немецким дзотам, траншеям, по дальнобойным орудиям немцев...

7

Сейчас я по-настоящему увидел, какая могучая у Ленинграда артиллерия и как ее много. Наши пушки стоят и поодиночке и батареями, среди пустырей и во дворах окраинных районов; одни из них врыты в землю, другие катаются на железнодорожных платформах; они всех калибров, стволы у иных такой длины и толщины, что, поставь их вертикально, будут напоминать колонны Исаакиевского собора.

С зимы у нас новый командующий фронтом — генерал Говоров. Он генерал артиллерийский, и это заметно уже по тому, с какой силой ленинградцы бьют из орудий по Стрельне, Дудергофу и другим местам сосредоточения немецких батарей, обстреливающих Ленинград.

Но этого мало. Длинноствольные пушки нашего города бьют и дальше, на десятки километров в тылы противника. Мне показали фотоснимки, сделанные с самолета. «Гатчинский аэродром! Узнаете?» Да, я узнал знакомые места, хотя никогда не смотрел на них с воздуха.

Я узнал сплетения железнодорожных путей, очертания зданий Красногвардейской МТС, строения и перроны станции Гатчина Балтийская. Около года назад, возвращаясь из села Рождествено, я в тех местах провожал шедшие к Острову наши мотострелковые части, разговаривал с эвакуировавшимся из Таллина англичанином, который верно предугадывал, что война с гитлеровской Германией не будет короткой.

Увидел я на снимке и аэродром, который начинается сразу за станционными путями,— летное поле, ангары вокруг него, земляные холмы над бензохранилищами.

Но в каком это все виде предстало моим глазам!..

Немцы, приспособившие наш аэродром для своих истребителей, должно быть, и думать не думали, что там, в спокойных гатчинских местах, за несколькими десятками километров от линии фронта, их сможет достать советская артиллерия. Даже грохот своих орудий долетал туда лишь с попутным ветром. А два десятка зенитных батарей и пулеметных установок неустанно стерегли небо над аэродромом. Можно себе представить, как за несколько минут до того, что зафиксировано фотопленкой с нашего воздушного разведчика, немецкие летчики благодушествовали на травке после завтрака, как возились механики возле «мессершмиттов», выстроенных на зеленом поле.

И вдруг ударил гром — земля и дым взметнулись над бетонной дорожкой. Небо безоблачно, чисто, в нем нет ни туч, ни самолетов. Откуда же бьют эти бомбы, оставляющие огромные воронки? Они падают с неумолимой точностью каждые пятнадцать секунд. Горячий ветер сметает с поля машины, ломая им крылья и фюзеляжи, разваливает ангары; с ревом рвутся на складе фугасные бомбы; пылает бензин в подземных хранилищах. Вместе с машинами гибнут фашистские летчики и механики, в обломки превращаются зенитные пушки. Черный смерч бушует на аэродроме в Гатчине.

В немецких штабах трещат телефоны. Немцы подымают в воздух с других аэродромов самолеты-разведчики, включают все средства обнаружения источников этой убийственной грозы. Они засекают в конце концов советскую пушку в районе мясокомбината на ленинградской окраине. И когда она, опустив ствол, укрытая брезентом, отходит по железнодорожной ветке в укромное место, на опустевшую позицию, с которой пушка только что стреляла, обрушивается ураган вражеских снарядов.

Гатчинский аэродром испахала снарядами и вывела из строя установленная на железнодорожных колесах морская сверхдальнобойная пушка, которой командует старший лейтенант Михайлов.

Мы сидим вместе с командиром в его вагоне. Михайлов — артиллерист морской, он в одной тельняшке, веселый, довольный отлично сделанным делом. Одну за другой передает он мне эти фотографии знакомых мест. Аэродром на снимках покрыт крупными оспинами воронок, забросан обломками самолетов; по его окружью — развалины ангаров и плотный дым пожарища.

Командир доволен, это ясно, но изо всех сил старается не показывать этого. «Так себе работка,— хмыкает он. — На троечку».

И снова я убеждаюсь в том, какой сложный путь аналитических вычислений предшествует стрельбе из тяжелых орудий. Михайлов готовится снова открыть огонь. Перед ним раскинута карта с очертаниями вражеских аэродромов, с линиями путей далеких железнодорожных узлов, с квадратиками зданий тыловых поселков врага. А задание он получил такое: разбить эшелоны с новыми, свежими частями немцев, идущие к Ленинграду, и с боеприпасами на станции Вырица.

Я слежу за тем, как он прокладывает на карте тонким карандашом прямые красные линии — это линии полета снарядов. На бумаге возникают колонки цифр, значки логарифмов. Мне это тоже знакомо. Так мой брат, инженер, рассчитывал, бывало, необходимую прочность сооружений на тех крупных строительствах, в которых он принимал участие. Михайлов объясняет, что он обязан учесть все: плотность воздуха, скорость и направление ветра, температуру заряда, износ орудия... Чего стоит, скажем, ошибка в определении степени износа орудия? Расхождение на один процент при стрельбе на такую огромную дистанцию дает промах в сотни метров.

Через четверть часа орудие, подняв длинный узкий ствол круто в вечернее небо, по команде Михайлова «Залп!» хлещет слепящим пламенем. Я поражаюсь, как легко эта махина па колесах повинуется рукам комендоров. Комендор Юдин коснулся приборов, и ствол плавно пошел вверх. Наводчик Гузиков погнал его по горизонтали, когда Михайлов решил изменить направление огня. Снаряды орудия очень тяжелые, но погребные Шакуров и Биктеев подают их с привычной легкостью.

Гудят моторы, возле которых работают Кравченко и Батынин. Коммутаторный Мохов распределяет ток.

От каждого удара, думается, все сооружение па множестве колес сорвется с рельсов и повалится под откос, в соседние огороды, руша опустевшие окраинные домики,— так сильны эти удары.

Отстреляв, стали быстро отходить в сторону платформы Фарфоровый пост, куда вела артиллерийская ветка.

— Нельзя, нельзя мешкать,— сказал, слегка тревожась, Михайлов. — Немцы теперь научились устраивать на нас пушечные облавы. Недавно мы подзамешкались с отходом, так, можете себе представить, шесть немецких батарей одновременно выпустили в нас двадцать четыре снаряда. Вокруг установки стало черно от дыма. Осколки выли и пели. Еще промедли минуту, останься под следующим градом снарядов — и нам может прийти конец. Но машинист паровоза младший сержант Кушак схватился за рычаги, и мы с места взяли такую скорость, что опередили противника. Следующие залпы рвали путь уже позади нас.

На этот раз немцы промолчали. Установка отошла спокойно.

Меня интересовали результаты стрельбы: когда их можно будет узнать.

— Завтра, наверно,— ответил Михайлов. — Когда летчики сфотографируют станцию.

Я, конечно, приду сюда завтра. Хочется проверить себя. Пока орудие стреляло, передо мной мелькали воображаемые картины разгрома на станции Вырица. Я уже видел, как снаряды бьют по эшелонам, как раскаленные осколки рвут в куски гитлеровцев, набитых в товарные вагоны; вагоны опрокидываются, вспыхивают пламенем, огонь переплескивается с эшелона на эшелон, взрывы боеприпасов коверкают все, что еще уцелело от снарядов орудия старшего лейтенанта Михайлова.

8

В газете «На страже Родины» много хороших журналистов. Кроме М. Гордона и В. Карпа, здесь Семен Фарфель, с которым мы встречали Новый год в Тихвине, чокаясь кружками с какао; здесь один из старейших сатириков и юмористов Ленинграда, а точнее, еще и Петро-

града, Александр Флит, чуть ли не в каждом номере острящий по поводу захлебывающихся в воде весенних гансов. На днях Александр Флит, или, как его обычно называют в редакции, «папа Флит», сидел с вечера ночным дежурным у телефонов в «предбаннике» перед редакторским кабинетом. Ударил снаряд где-то очень близко, взрывной волной вырвало застекленную фрамугу над дверью редактора и, накинув ее на плечи дежурному, осыпало его всего осколками стекла. У немолодого человека, должно быть, ноги отнялись от такого сюрпризика. Он сидел на стуле бледный, не шевелясь. Зашел наш художник-карикатурист Борис Лео, со свойственным ему юмором сказал:

— С чего это вы, Александр Матвеевич, свой портрет в рамку вставили? Не генеральское ли звание вам присвоили? — И стал обирать с гимнастерки папы Флита битое стекло. — Из рук, из ног у вас все цело?

В коллективе редакции можно заметить деление на таких, которые уже послужили в армии, «кадровых», следящих за своим внешним видом, надраивающих по утрам сапоги ваксой, раза три в неделю подшивающих чистые подворотнички к гимнастеркам, умеющих лихо вскидывать руку к фуражке или шапке, приветствуя старших по званию, и на таких, которые и в рядах Красной Армии продолжают оставаться «штатскими шпаками»; поясные ремни у них не затянуты, сапоги почищены на прошлой неделе — словом, воинственного вида никакого. На крайнем фланге этой когорты размещается Митя Гольдберг. В его петлицах по одной зеленой «шпале» — он интендант, но, поскольку петлица защитного цвета и «шпала» тоже зеленая, его не так-то просто отличить, скажем, от капитана или старшего политрука. На Невском Митю па каждом шагу приветствуют красноармейцы, младшие и старшие лейтенанты, а он идет и в зависимости от того, с какой в ту минуту стороны окажется приветствующий, ответствует то правой, то левой рукой. Митя запросто может явиться к любому генералу, ошарашив его неслыханной в армии формулой приветствия: «Доброго здоровьечка, товарищ генерал!»

С Митей борется, пожалуй, все управление коменданта города, но безуспешно. Ему устраивают нагоняи, внушения, проработки — Митя улыбается предобрейшей улыбкой и с готовностью обещает исправиться и впредь делать так, как ему советуют.

Вдвоем с Митей нас отправили в командировку на правый берег Невы, примерно туда, где в осенние дни мне пришлось видеть переправу наших частей для захвата плацдарма возле Дубровки.

Сначала попутными машинами, дальше пешком мы добрались до железнодорожного моста через Неву. Он был цел. С той стороны его простреливали вдоль и с флангов немцы, с этой стороны то же, но в обратном направлении, делали мы.

По всему занятому нами правому берегу тянулись почти сплошные траншеи — то среди деревьев, то на открытом месте. От них ходы вели к дзотам, к пулеметным и винтовочным амбразурам. Наблюдатели настороженно следили за левым, высоким, крутым берегом. На нашем, низменном, берегу брустверы траншей были насыпные и укреплены бревнами, а немцы легко и просто врезались прямо в грунт своего берега.

Мы просили у наблюдателей бинокли, разглядывали немецкий берег, их амбразуры, их ходы сообщения, стволы их пулеметов, выглядывавшие из амбразур. Особенно это было видно в стереотрубу на наблюдательном пункте командира одного из стрелковых полков — Мустафина.

Умный, талантливый командир много рассказывал нам о предстоящих боях.

— Мне кажется,— говорил он, раздумывая,— что именно здесь, на Неве, начнется однажды решающее сражение за Ленинград. Сейчас мы ведем бои местного значения. Эти Синявинские болота и высоты на том берегу уже сожрали немало жизней наших бойцов и командиров. Но это еще не главные бои. Главные — впереди. Мне думается, что отсюда мы пойдем на соединение с Волховским фронтом, то есть на прорыв блокады. В районе Синявина — самая узкая полоса занятой немцами суши. Смотрите сюда... — Мустафин развернул карту. — Не более двадцати километров. Преодолеть всего-то двадцать километров — и мы вновь связаны со страной! В других местах возможностей таких не вижу. Вдоль железной дороги через Мгу?.. В два раза дальше. И в десять раз сложнее, потому что для вражеских контрударов будет нараспашку открыт наш обширный фланг.

Рассуждения Мустафина мы с Митей слушали как радостную музыку. Кончилось зимнее сидение в траншеях, кончилось психологическое оборончество. Начались разговоры об ударах по противнику, об ударах на разгром, на

сокрушение, на изгнание врага из наших пределов. Если даже командир полка рассуждает о больших стратегических планах, то в «верхах», в штабах Ленинградского и Волховского фронтов, а еще выше — в Ставке, — там и подавно зреют планы решающих освободительных боев.

Мы с Митей идем через лес вдоль берега, останавливаемся в подразделениях, наши блокноты пухнут от «боевых эпизодов», от рассказов о боевом опыте.

В одном месте понадобилось пересечь открытую луговину, на которой весело выбивалась молодая зеленая травка. Митя и глазом не повел, но я все-таки посматривал на видный с этой луговины левый берег Невы. И не напрасно. В солнечном воздухе пропела одна мина, за ней вторая... Обе рванули поблизости.

— Митя, бежим,— предложил я. — Прямо к лесу.

— Что ты говоришь! — удивился он, называя меня таким ласкательным и уменьшительным именем, какое я слышал только дома, и то примерно лет до трех, до четырех. — Не может этого быть!

— Тем не менее.

Не очень веря в реальность происходящего, он небрежно подобрал полы своей предлинпющей шинели и зашлепал сапожищами сорок пятого размера по сырой земле.

Еще несколько мин пытались нас настигнуть. Митя только восклицал:

— Скажи пожалуйста! Вот никогда бы не подумал.

В лесу, до которого мы добежали, были понарыты землянки — под соснами располагалось артиллерийское подразделение. Запыхавшийся Митя присел на окрашенный суриком цилиндрический предмет и, отдуваясь, принялся утирать носовым платком пот со лба и вокруг шеи.

— Товарищ старший политрук, — сказал ему издали один из артиллерийских командиров, — лучше бы вы с этой штуки встали. Она не разряжена и неизвестно что в себе таит.

— А что это такое? — поинтересовался Митя, приподымаясь.

— Стокилограммовая авиабомба, товарищ старший политрук. Позавчера тут шлепнулась и лежит, ждем минеров...

Мы с Митей долго бродим по невскому берегу, подбираемся под самый Шлиссельбург, разглядываем крепость, над которой виден изодранный красный флаг. Его

упрямо подымают на башнях и над стенами защитники древней цитадели. Везде среди войск настроение уже не окопное, не зимнее.

— Весна, весна! — восклицает Митя и улыбается всем направо и налево.

Но и помимо Мити в редакции военной газеты немало не слишком-то образцовых вояк. Здесь наш ленправдист Иван Франтишев, соавтор Володи Соловьева по сценарию «Большевики», полтора десятка машинописных экземпляров которого я выгружал из ящиков письменного стола в начале войны. Здесь Сократ Кара, отличный рассказчик. Особенно хорошо он пересказывает содержание иностранных фильмов. После того как он расскажет, лучше уж и не ходить смотреть — пересказ Кары всегда интересней самого фильма. Кара — человек творческий, много знающий, но сдержанный. Прекрасный человек и отличный товарищ Володя Ардашников, тоже ленправдист. Они помогают мне осваиваться в новой обстановке.

В эти дни я — или с кем-то из новых моих товарищей, или один — обхаживаю места, знакомые с осени. Что там произошло с тех пор, что изменилось?

Начав путь от депо станции Шушары, в котором чьи-то КП и чьи-то НП, подобрался под Пушкин вдоль насыпи Витебской железной дороги. Дополз до траншей, где в ноябре — декабре располагалась рота лейтенанта Герасимова. Сейчас в них уже другие подразделения. В двадцатых числах апреля здесь была горячая схватка с гитлеровцами. Среди бела дня, открыв ураганный огонь из пушек и минометов, немцы напали на боевое охранение, прорвались к траншеям. Их натиск отбили, но все-таки двоих бойцов гитлеровцы захватили в плен. Люди мучительно переживают эту потерю, готовятся устроить ответный налет на позиции врага.

Деятельно занята этим разведывательная рота под началом капитана Волкова, энергичного, волевого командира. Его разведчики, развалясь на солнышке прямо на земле за насыпью, рассказывают мне о своей жизни. Я интересуюсь тем, что сейчас в Пушкине. Некоторые из разведчиков там побывали. Один даже мылся с немецкими солдатами в городской бане. Встал в общую солдатскую очередь и прошел в мыльню вместе со всеми.

— Вокруг Ленинграда сейчас полно всякого сброда, — рассказывает он. — Затеряться среди них можно очень легко. Это все шкуры, продавшиеся Гитлеру. Есть

голландцы, норвежцы, бельгийцы из легиона «Фландрия», много испанцев. Норвежский легион стоит в районе Урицка. Говорят, к ним сам Квислинг приезжал, бодрил землячков. Но наемники не ладят с немцами: харч, дескать, не тот, что был обещан, и зарплату не вовремя платят. А с «голубыми» испанцами, которые в Пушкине, вообще заваруха. В подвалах Екатерининского дворца сложено много фарфоровой посуды, всяких фарфоровых штук. Немецкие солдаты — народ дисциплинированный, начальство слушаются. Ежели сказано: не совать носа куда не надо, они и не суют. Лежала посуда в подвале в целости-сохранности. Только офицерье кое-что потаскивало, и то с разрешения начальника гестапо, который со своим «хозяйством» разместился в том корпусе дворца, где были китайские залы. Зубовский корпус, если не путаю. Ну, а испанцы как пришли, так и давай по подвалам шарить, тарелки, вазы переть. Немцы смотрели-смотрели и тоже полезли за добром. Начались драки в подземельях между немцами и испанцами. Кого-то штыком пырнули, другого прикладом оглоушили. Гестаповец терпел-терпел, а потом вызвал взвод солдат, те все добро царей русских переколошматили прикладами. Чтобы ни тем и ни другим. Разорение во дворцах идет самосильное. Паркеты сдирают, двери снимают с петель. «Янтарную комнату» всю целиком увезли. Сняли янтарь со стен, в ящики упаковали — и в Германию. Народу нашего в городе осталось единицы. Кого угнали, кто сам отправился по оккупированным областям счастья искать...

Над Пушкином дым стоит несколькими столбами. Что там еще предают разорению? Какими мы увидим вновь наши чудесные пригороды? Что после того, как гитлеровцы будут отброшены, останется в Гатчине, в Кингисеппе, Нарве, Луге, моем Новгороде? Если за один месяц хозяйничания немцы превратили Тихвин в сплошные руины, чего же натворят они в городах и селах за долгие, долгие месяцы, а может быть, и годы?

В конце мая мне вновь пришлось вспомнить Тихвин. Евгений Иванович Негин рассказывал в декабре о собкоре «Ленинградской правды», нашем товарище Леониде Афанасьеве: был, мол, в партизанах, потом ушел с Красной Армией и где-то воюет, известий о нем нет.

Под заголовком «Инквизиторы» мы, журналисты Ленинграда, одним майским утром прочли в «Ленинградской правде» такой, как мы говорим, материал:

«С каждым днем раскрываются все новые и новые кровавые злодеяния гитлеровских бандитов. Отступающие под натиском наших частей, немецко-фашистские войска оставляют за собой позорный след, который они ничем не смогут смыть. Вот документ, свидетельствующий об очередном преступлении гитлеровских людоедов.

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в следующем:

Вблизи деревни Посадников Остров нами обнаружено 33 трупа красноармейцев, комиссаров и политработников Красной Армии, зверски замученных извергами.

1. Фамилии удалось установить трех человек: политрука Афанасьева Л. А., бывшего сотрудника «Ленинградской правды», младшего лейтенанта Мельникова (имени и отчества не удалось установить), гражданина Орлова Михаила Николаевича, 1906 года рождения, уроженца деревни Песчанка, Поддорского района, Ленинградской области.

2. Наличие повязок и медицинских справок дает основание установить, что все товарищи, зверски замученные, были захвачены тяжелоранеными.

3. Все пленные подвергались зверским пыткам, а именно:

а) у всех замученных заживо выколоты острыми предметами глаза;

б) у многих трупов связаны руки назад и вывернуты. Наличие жердей дает основание считать, что пленных поднимали на дыбы;

в) пленным отрезали губы, нос, наносили раны холодным оружием;

г) выкручивали пальцы на руках и вырывали ногти на ногах;

д) несколько трупов изрублено на мелкие куски, в частности один труп изрублен на 8 кусков;

е) многие трупы, облитые горючим, сожжены на кострах, у некоторых сожжены волосы, руки, ноги.

Невдалеке от этих трупов обнаружено нами еще несколько трупов — по три-четыре, всех около двадцати — также зверски замученных людей.

Вечная память товарищам, героически погибшим за Родину!

Клянемся отомстить врагу за смерть и издевательство над нашими товарищами.

Просим поместить наш акт в печати, пусть узнает весь мир о злодеяниях инквизиторов XX века.

Акт подписали: политрук Иванов И. А., военфельдшер Анцыферова Е. П., старший политрук Грищенко П. И., младший политрук Когуменко Ф. А., красноармеец Сапрыкин Г. А., военврач 3-го ранга Турокулов Я. Х.».

Я развернул карту — где он, этот Посадников Остров, близ которого творилась кровавая расправа над советскими людьми? Ровно в 30 километрах от деревни Бе-

лой, в которой мы прожили несколько дней в январе. Посадников Остров еще был в руках немцев, и, может быть, именно в те дни там развертывалась описанная в акте трагедия, может быть, именно тогда погиб наш товарищ по «Ленинградской правде», бывший комсомолец, затем коммунист, активный строитель социализма, журналист и политрук Леонид Афанасьев.

Случается, нам начинают говорить о безбрежном, всечеловеческом гуманизме, призывают жить так, чтобы ягненок бестрепетно шествовал рядом со львом и дитятя своими пухлыми ручонками, греясь в лучах преласковейшего солнца библейской любви, ерошил львиную и ягнячью шерстку — левой ручонкой ягнячью, правой львиную. Мыслима ли эта трогательная сказочка, пока на земле существует фашизм в любых его разновидностях и модификациях? А он будет существовать, все возрождаясь в разных иных личинах, пока существует империализм. Пока существует империализм, любой из трудовых людей на земле может оказаться на месте политрука Афанасьева и быть так же жестоко, зверски истерзанным. Фашизм — смертоносное порождение империализма, он будет каждый раз возникать в тех странах, до правящих верхушек которых дойдет очередь возмечтать о мировом господстве, о господстве их страны над другими странами.

Разговор об этом я завел среди группы медицинских работников, только что отмеченных правительственными наградами. Это люди, может быть, самой гуманной профессии на земле. Когда прогремел первый вражеский залп на нашей границе, люди в белых халатах вместе с пулеметчиками и стрелками встали в один строй бойцов за Родину. Люди в белых халатах вот уже целый год упрямо отвоевывают у смерти жизнь каждого бойца, живут и работают, не зная ни сна, ни отдыха. Среди них заслуженный деятель науки, доктор медицины, профессор Николай Николаевич Петров, военврач 2-го ранга Сергей Матвеевич Симонов, Борис Николаевич Аксенов, пошедший в госпиталь с институтской скамьи и за год войны сделавший 1538 операций (случилось, военный врач Аксенов 76 часов без перерыва провел у операционного стола, в другой раз — 44 часа); старшая операционная сестра Антонина Петровна Тарасова, умелые, ловкие руки которой наложили 8 тысяч повязок, сделали 250 переливаний крови, 50 внутренних вливаний, 615 гипсовых

повязок; заботливая санитарка Наталия Васильевна Семенова, шофер автосанитарной роты красноармеец Василий Евдокимович Карпов, в течение двух месяцев ежедневно делавший по три рейса через Ладожское озеро и вывезший 17 649 раненых...

Не могу перечислить всех, но многим из них показывал я акт о зверствах, учиненных гитлеровцами над пленными в Посадниковом Острове, и спрашивал, что они, гуманисты, думают о гуманизме.

— Высший гуманизм сегодня — это беспощадное уничтожение фашизма на земле, — ответили и профессор с мировым именем, и операционная сестра.

Уничтожать его, в чем мы сошлись полностью, надо всеми видами оружия: и штыком, и скальпелем, и пером.

9

Лежу в госпитале на улице Красного курсанта, на третьем этаже огромного здания.

Через улицу напротив тоже что-то военное, какой-то заводик; судя по оглушительному реву в глубине его обширных дворов, он ремонтирует мощные моторы. Рядом с его воротами до вчерашнего дня стояла проходная будка. Вчера ее вместе с вахтером разнесло ударом тяжелого снаряда. Заодно взрывной волной вышибло и окна нашей палаты, осыпав койки битым стеклом.

При таких обстрелах многие ходячие спускаются в подвал, в бомбоубежище. Это обязательно, таков приказ. Несут туда на носилках и тех, кто не ходит. Но многие увиливают от бомбоубежища. Потому что несколько дней назад немецкий снаряд пробил фундамент здания и разорвался именно в подвале.

Фронтовики тоскуют о блиндажах, о траншеях, просто об открытом поле, где можно залечь в канаве или в воронке и всегда знать — в тебя или не в тебя направлен очередной снаряд. Тут, лежа на койке, думаешь, что каждый раз он в тебя, а главное — нет этой верной, надежной земли, которая не выдаст, спасет, оборонит. Здесь ты совершенно беспомощен.

По два, по три раза в день мы слушаем тугие хлопки орудийных выстрелов в районе Стрельны или поселка Беззаботного, а за хлопками слушаем и вой снарядов, грохот разрывов, частенько очень близко. Большой гос-

питаль и предприятие, ремонтирующее моторы для чего-то, — может быть, для самолетов или танков, — цель до крайности заманчивая и, конечно же, обозначена как первоочередная на немецких картах.

В госпиталь я попал спустя несколько дней после годовщины войны, и случилось это так.

Меня вдруг вызвал секретарь редакции капитан Карелин. В его узкой сумрачной комнатенке с единственным окном на проспект 25 Октября сизыми пластами плавал табачный дым; наш секретарь — безудержный курильщик, табак у него лежит ворохами прямо на столе, на рукописях, на гранках; табаком набиты ящики стола; у Карелина всегда можно стрельнуть на завертку и, завертывая, стащить еще на две. Он не заметит, потому что непрерывно правит рукописи и, даже разговаривая с тобой, смотрит только в них.

— Товарищ Кочетов, — сказал он, решительно перечеркивая большой абзац в чьей-то статье, — когда вы работали в «Ленинградской правде», вы бывали в частях ополченцев. Я читал ваши корреспонденции о них. Послезавтра годовщина народного ополчения. Надо дать в газету яркий материал о том, как из ополченцев выросли кадровые бойцы и командиры Красной Армии. Увлекательная тема. В номер на третье июля. То есть сдать надо завтра, самое позднее — к середине дня.

— А какой размер, товарищ капитан?

— Размером не стесняйтесь. Сколько выйдет. Лишь бы хорошо.

Я стащил у него горсть табаку, благо суровый капитан был увлечен перечеркиванием следующих абзацев статьи, и отправился в отделы штаба фронта выяснить, где стоят части, которые в июле 1941 года были сформированы как дивизии народного ополчения. Связь со своими друзьями из бывшей 2-й дивизии народного ополчения я в тяжелые месяцы блокадной зимы уже утерял.

Мне рассказали, что бывшие ополченцы держат оборону под Урицком; штабные их учреждения расположены в районе больницы имени Фореля, — пусть я отправлюсь туда, там и найду искомое.

Возрожденный трамвай подбросил меня почти до Кировского завода, дальше я двигался пешком до больницы Фореля; потом, тоже пешком, от штаба дивизии шагал до штаба полка, от штаба полка до КП батальона — землянки, врезанной в насыпь мертвой железной дороги Ленин-

град — Гатчина Балтийская. В батальоне мне сказали, что если я проберусь по торфяным луговинам, поросшим ракитой и можжевельником, почти под самый Урицк, то на передовом НП найду замечательного парня, артиллериста, который перед войной был водопроводчиком в Пушкине, а сейчас он старший лейтенант, командир батареи 76-миллиметровых пушек, орденоносец, орел.

Мне дали провожатого, или связного, маленького красноармейца, ростом до моего плеча, беловолосого, голубоглазого, не очень по виду воинственного — доброго, мирного, с веснушчатым молодым лицом. Шли мы с ним долго; шли канавами, пригибаясь; шли кустарником, используя давно позабытый человеком метод передвижения на четырех конечностях; а по открытому месту, которого тоже было немало на нашем пути, ползли по-пластунски. «Хорошо, — думалось мне, — что такая годовщина пришлась на июль, а не на наш слякотный ленинградский ноябрь, вот было бы дело!..» А связной сказал, утирая пот:

— И что вас так припекло на НП днем идти, товарищ командир? У нас тут в общем-то связь ночью. Спокойней.

Кое-как я объяснил ему смысл задания капитана Карелина, на выполнение которого оставалось очень мало времени, ждать до ночи никак нельзя, завтра днем материал уже должен быть написан и сдан в номер.

— Так ведь можно было и вчера это сделать, и позавчера, и неделю назад, — резонно возразил связной.

— Газета... — объяснил я довольно туманно. — У нее свои законы.

Сказал так и стал с нежностью думать о никому стороннему не понятных, путаных, подчас нелепых «законах» редакционной, газетной жизни. Самое удивительное, что их не было. Или, точнее, был один-единственный неписаный, но железный: что бы ни случилось, что бы ни произошло, а материал должен быть доставлен вовремя. Во имя этого не будешь спать ночь, вторую, третью, во имя этого прошагаешь полсотни, сотню километров, во имя этого пропустишь чьи-то очень важные именины и наживешь семейные неприятности, во имя этого обойдешься без выходных, проблуждаешь сутки голодный, обморозишь ноги или нос — если зима, поссоришься с тем, с кем не хотел бы ссориться; на что только не пойдешь во имя этого, чего только не перетерпишь. Таков закон. Если он для тебя суров и ты им недоволен,

уходи из газеты в любую иную профессию, но не прикидывайся журналистом, газетчиком. Все равно у тебя ничего не выйдет. Ты, возможно, пробьешься к каким-нибудь административным газетным должностям, но будешь не журналистом, а чиновником от журналистики. В этом амплуа можно даже процветать, преуспевать: ездить в персональной машине, получать талончики в закрытый распределитель, по особым пропускам ходить в театры и на стадионы, сидеть в президиумах разнообразных собраний, быть чертовски довольным жизнью и собой и при этом где-то в глубинах души... еще более чертовски завидовать настоящим журналистам, завидовать злобно, непримиримо, нехорошо, мстя им при случае за то, что они вот такие, а ты вот другой.

Ну мог ли я обо всем этом рассказать моему провожатому?

Место для блиндажа наблюдательного пункта артиллеристов было выбрано на склоне осушительной канавы, которая тянулась параллельно фронту. Канава была глубокая, но воды в ней стояло едва на четверть, и, если сапоги не протекают, по ней можно было пробираться далеко вправо и далеко влево. К входу в блиндаж НП через канаву были мостиком перекинуты доски.

Хозяин НП, старший лейтенант, встретил нас радушно, принялся угощать чаем из термоса. Связной чаю не захотел, он уселся в уголке на ящик из-под снарядов (из этих ящиков, откуда-то натасканных сюда по ночам, состояла вся «мебель» блиндажа: стулья, столы, лежанки для спанья) и мирно захрапел, уткнув голову в винтовку, положенную поперек коленей.

Я записывал в блокнот биографию командира батареи, его боевой путь. Да, верно, родился и жил он в Пушкине, был водопроводчиком; началась война — пошел добровольно в ополчение; сражался на разных участках фронта, поучился на краткосрочных курсах и вот — артиллерист. Хорошо ли он стреляет? Что ж тут об этом рассказывать! Боевые эпизоды? Их было немало. Но не лучше ли показать все на практике. Эпизоды никуда не уйдут, а солнце уже спускается к земле, скоро начнет смеркаться, тогда ничего наглядного не покажешь. У него есть резерв в три снаряда, которыми он сегодня может распорядиться по своему усмотрению.

Со смотровой амбразуры блиндажа откинули завешивавшую ее плащ-палатку («а то немецкие наблюдатели

засекут блеск наших стекол»), и комбатр подсел к стереотрубе.

— Под вечер у них всегда начинается движение там в Урицке. Пешие. Конные. Пешие нам ни к чему. А ударить по телегам, подводам — можно. Уже несколько дней наблюдаем подводу, в которую запряжена крупная белая лошадь. Что-то возят. Может быть, харч. Может быть, боеприпасы. Вон по той дороге...

Я тоже смотрел в стереотрубу. Отлично видел улицы, здания хорошо мне знакомого Урицка, вокзал станции Лигово, ту дорогу за железнодорожным полотном, на которой надо было ждать белую лошадь с подводой. Видел немецких солдат, свободно расхаживавших среди домов. Один колол дрова во дворе, другой развешивал белье на веревках. Странно было: будто заглядываешь в чужую жизнь. Должно быть, и они так, эти фрицы, разглядывают нас со своих НП, когда мы ходим здесь, у себя, по канавам и тропинкам в кустах...

Комбатр хотел было уже выпустить свои снаряды, направив их в окна кирпичного дома, в котором он заметил проявление жизни; но наконец-то появилась желанная подвода. Да, и я увидел ее. Увидел белую лошадь. Ящики на подводе. Двух возниц.

Артиллеристы обрадовались. Комбатр скомандовал необходимые цифры, телефонист передал их на огневые позиции. Менее чем через минуту позади нас уже бахнуло.

Снаряд разорвался на дороге, вправо от подводы. Лошадь понеслась, возницы отчаянно ее подхлестывали. Второй снаряд ударил или прямо в подводу, или уж совсем рядом с нею: только обломки и обрывки полетели во все стороны вместе с дымом взрыва. Жалости ни к кому и ни к чему не было, даже к лошади, хотя еще во времена своей агрономической деятельности я очень полюбил этих умных, терпеливых, безотказных животных. Была радость: здорово! Очень здорово! Побольше бы таких попаданий, почаще. Тогда поскорее бы кончилось наше изнурительное сидение в осаде, мы перейдем в наступление и доберемся до чертова Берлина с его имперскими канцеляриями, с генеральным штабом, радиостанциями Геббельса, гестапо Гиммлера, тайниками Гитлера...

Да, я напишу очерк о замечательном старшем лейтенанте, который не зря тратит снаряды, с таким трудом изготавливаемые голодными женщинами и ребятишками-

подростками, отправляющимися по утрам не в школу за парту, а на завод к станкам. Напишу о том, как мирный человек стал солдатом. Напишу два подвала: капитан Карелин сказал, что о размерах можно не думать, лишь бы получилось хорошо.

Вечерело, когда мы с провожатым двинулись назад, к Ленинграду. Солнце было совсем низко над землей. Тянуло холодком с Финского залива. Хорошо бы шинельки набросить на плечи. Но мы оба были в гимнастерках. Длинные наши тени поспешали по торфянистым луговинам впереди нас.

Было очень тихо, как бывает летними вечерами в деревне. И в этой тишине вдруг отчетливо стукнул за нашими спинами выстрел миномета. Поблизости от нас разорвалась мина. Стукнул второй выстрел — и мы уже не стали ожидать нового разрыва, легли на землю. Земля была сырая, неприятная, но она спасала.

— Это куда же они бьют? — спросил я.

— А кто ж их знает, — ответил связной. — Может, в нас. Траншеи-то ихние метрах в семистах, не более. Высмотрели в бинокль или в стереотрубу...

Мои недавние мысли обретали материальное подтверждение. Не только мы каждый день, каждый час заглядываем через оптические стекла в чужую жизнь, но и немцы заглядывают в жизнь к нам. Сейчас мы с этим веснушчатым парнем были в роли тех возниц, которые часполтора назад подхлестывали белую лошадь. Неужели и с нами будет то же? Неужели и нас достанут не первой, не второй, так третьей, четвертой, десятой миной?..

Выстрелов больше не было слышно. Мы осторожно поднялись и быстро пошли вперед; пошли, пригибаясь, полагая, может быть, что так будем менее заметны на открытой луговине.

Но нет: снова выстрел — и вот уже третья мина, а за ней — четвертая.

Опять лежим на холодной, сырой земле, на такой сырой, что под локтями, упершимися в грунт, проступает вода.

— Давай побежим, — говорю я связному, — а не то простудимся.

— Можно, конечно, — соглашается он как-то растерянно. — Но я, товарищ командир, с дороги сбился. Должна быть слева колючая проволока. Она — ориентир. А ее нету. Вроде мы на наше минное поле зашли.

— Как же быть?

— Не знаю.

Лежу, осматриваюсь. А что, если в самом деле мы на заминированном участке? Как узнать, где тут мины, по каким признакам их определяют? Я спрашиваю об этом своего провожатого.

— Колышки должны бы виднеться, — отвечает он уныло. — Не вижу их. Вы думаете, я солдат? А я только четвертый месяц в армии. Я же агротехник.

— Агротехник? Я тоже агроном.

Мы лежим, разговариваем. Он вспоминает свою Орловщину, техникум, который окончил три года назад, родной колхоз, куда вернулся после учения, эвакуацию в приволжские села, потом воинскую часть, в которую попал минувшей зимой, переправу по ледяной Ладоге в Ленинград...

Я думаю о том, что и его судьбу надо будет как-то вставить в очерк о мирных людях, ставших солдатами. Удивительно: мысль работает уже над тем материалом, который завтра должен быть сдан в секретариат. Но ведь вокруг, может быть, минное поле. А если даже его и нет, то попробуй подымись — по тебе примутся палить из минометов.

Холод пробирает все основательнее. Лежать и дожидаться, когда окончательно стемнеет, уже невозможно, тем более что в эту пору, на переломе июня к июлю, еще буйствуют белые ночи, и темноты все равно не будет, сколько ни лежи.

Мы решаем бежать. Мы встаем и бежим. Бежим, как журавли — высоко вскидывая ноги. Смешно, но нам кажется, что так меньше опасности напороться на мину, а если и напорешься, то она разорвется где-то, мол, внизу, под тобой, а ты будешь высоко над нею. И еще думается, что при таком быстром и легком касании ногами земли взрывателю мины не хватит нашей тяжести, чтобы сработать.

Словом, подскакивая, еле касаясь земли, несемся по равнине. За спиной знакомый, аккуратненький, нешумный выстрел. Взвизг мины. Разрыв. Но мы бежим. И только когда следующий разрыв очень близко — падаем, и на этот раз — в неглубокое тинистое болотце...

Надо ли описывать весь тот тернистый путь? Достаточно сказать, что среди ночи я прошагал пешком мимо больницы имени Фореля, миновал Автово, Кировский завод, прошел пустынную улицу Стачек, в которой гулко

отдавались мои шаги в кирзовых сапогах, площадь возле Кировского райсовета, заставленную бетонными конусами надолб и «ежами» из сваренных автогеном рельсов — на случай вражеского воздушного десанта, потом по набережной канала Грибоедова, по проспекту Маклина, по улице Декабристов, по набережной Мойки, по улице Герцена — мимо Исаакиевского собора и гостиницы «Астория», а там свернул и на наш проспект 25 Октября, который мы все по старой памяти чаще называем Невским...

В редакцию я вошел в шестом часу утра. Все спали. Только в приемной редактора сидел над листками бумаги дежурный — папа Флит. Он вполголоса прочитал мне только что сочиненные им ядовитые стишки о Маннергейме.

Я ушел к себе, залег на койку. Меня знобило. Но надо было как можно скорее написать материал о бывших ополченцах...

У меня уже было написано несколько страниц, когда нас созвали на обычную ежедневную планерку в кабинет к редактору.

— О том, как из ополченцев выросли кадровые воины, — сказал капитан Карелин, докладывая план завтрашнего номера, — шестьдесят строк дает Кочетов.

Мои два роскошных подвала распались в прах. Но спорить было бесполезно: макет есть макет, железная рука его вычертила, а этой рукой водила железная необходимость втиснуть в номер как можно больше и притом самого нужного, самого важного материала, и ничего уже не поделаешь. Действовали все те же неписаные и никому не понятные, жестокие законы газетной жизни.

Сократил свои страницы до шестидесяти строк. Сдал в секретариат. Их заслали в набор.

Но утром в газете не оказалось и этих шестидесяти строк. Пришел какой-то другой, более важный материал, их сначала отложили — годовщина миновала, миновала и надобность в материале, приуроченном к ней, — а потом отправили в корзину. А меня отправили в госпиталь.

В эти дни завершался первый военный год, самый трудный год для Ленинграда. Впереди были новые бои...

1965

НОВЫЕ АДРЕСА

РАССКАЗЫ О ЛЮДЯХ И СТРАНАХ

ИТАЛЬЯНСКИЕ СТРАНИЦЫ

Стоит взять каталог Библиотеки имени В. И. Ленина в Москве или каталог Библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде, стоит заняться просмотром первых стоп карточек на книги, посвященные Древнему Риму, средневековой и современной Италии, ее истории, ее искусству, ее людям, как через каких-нибудь час-два для вас уже будет совершенно ясно, что только за этим занятием можно провести не один рабочий день.

Пойдут перед вами имена Тита Ливия, Плутарха, Плиния Старшего, Аппиана, Тацита; за ними возникнут имена историков, мыслителей и литераторов более поздних времен; а за именами авторов, если отправиться в хранилища, встанут и сами книги, написанные этими авторами, — сотни и сотни томов, переживших века и каким-то чудом спасшихся от времени и тления, от воды и пожаров.

Ну что тут сможешь добавить к уже сказанному этими томами? Что скажешь нового после написанного тысячами путешествовавших по чудесной стране до тебя? И за перо я, пожалуй, бы не взялся, если бы, возвратясь из Италии, не побывал несколько месяцев спустя в Ленинграде и не сходил в Музей истории религии и атеизма Академии наук СССР, который размещен в бывшем Казанском соборе на Невском проспекте.

В одном из отделов этого отлично организованного музея в глаза бросается большая картина: багровый пугающий горизонт за голыми пустынными косогорами,

в горизонт уходит так же тревожно освещенная лиловатая каменная дорога, и вдоль нее — в нескольких десятках шагов один от другого — бесконечной вереницей кресты, кресты, кресты, сколоченные из тяжелых неотесанных лесин, а на крестах — распятые, истерзанные люди.

Посетитель музея догадывается, конечно, что эти страшные распятия — апофеоз свирепой расправы рабовладельцев-римлян с отрядами повстанцев Спартака; догадывается, что лиловатая эта каменная дорога — древняя Аппиева дорога, вдоль которой, от Капуи до Рима, девятнадцать веков назад легионы Красса и Помпея воздвигли шесть тысяч крестов и прибили к ним гвоздями шесть тысяч рабов, пытавшихся нарушить тот порядок, когда десятки и сотни неустанных рук кормили один прожорливый рот.

Стоя перед этим выразительным полотном, я вновь увидел ее, Via Appia Antica, ведущую из Рима на юг Италии. Мощенная хмурыми глыбами вулканической лавы, змеясь и змеясь меж холмами к горизонту, она третье тысячелетие лежит там неизменной свидетельницей несчетных событий истории. По ней уходили в поход легионы, по ней катились золоченые колесницы триумфаторов, по ней гнали толпы пленников, предназначенных в рабство великолепному Риму; близ нее в катакомбах Каллиста и Себастиана, молясь, скрываясь, хороня единоверцев, о чем-то сговаривались первые христиане; не раз дорога эта видывала на обочинах своих и распятия, подобные распятиям разгромленных спартаковцев; руки древних мастеров век за веком возводили вдоль нее удивительные памятники искусства своего времени, обломки которых сохраняются и по наши дни.

А представив в памяти Via Appia, я как бы вновь увидел Рим, в который она ведет со времен консула Аппия Клавдия, увидел всю эту страну трудной, обагренной большой кровью истории, страну талантливого, горячего сердцем народа, на протяжении более двух тысячелетий непрерывно в борьбе за свободу терявшего миллионы жизней своих мужественных сынов, страну, которая много страдала, много терпела, много мыслила и многое дала миру. И мне захотелось ещё раз, пусть хотя бы и на бумаге, повторить путешествие по дорогам Италии, по векам, овеществленным, материализованным в ее памятниках, сооружениях, в ее искусстве, в истории — во всей ее судьбе.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПО ДВУМ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯМ

1. ВКУС ЖИЗНИ

К Риму французская «каравелла» подлетала уже в ночном, по-южному черном, облачном небе. Позади остались три с небольшим часа лету от Москвы до Парижа на «ТУ-104», остался путь через Париж на автобусе — с аэропорта Бурже к аэропорту Орли, путь, на котором вновь мелькнули виденные пять лет назад Триумфальная арка с могилой Неизвестного солдата, Елисейские поля, Сена, ее мосты, собор Парижской богоматери, шумная, веселая, пестрая сутолока кривых и узких улочек; и вот позади уже и дорога от Парижа до Рима, проделанная на спокойно, с малым шумом летящей «каравелле».

Не знаю, поднимались ли римские декораторы и оформители световых реклам в воздух над своим городом, задумывались ли над тем, как это будет выглядеть сверху, но из тех жемчужных, бледно-голубых, опаловых, не бьющих по глазам и вместе с тем ярких, радостных огней, которыми горела под нами столица Италии, складывалась картина необыкновенной красоты. Цветные огни исчерчивали длинными линиями радиусы улиц, цветными светящимися туманами были залиты площади, в цветных прожекторах выступали рельефами памятники и отдельные здания. Казалось, тут все в этой световой мозаике тщательно продумано, она манила к себе, обещала сплошные удовольствия и радости.

В отеле, или как тут называют, в «альберго», под звучным именем «Empero» нам выпал жребий разместиться в номерке, окно которого выходило в щель между домами,— и световые красоты для нас немедленно угасли. Вступал в силу неколебимый закон капиталистического мира: сколько заплатишь, на столько и получишь. Наш номерок был не из дорогих. Может быть, поэтому и не без претензий: одна пара противоположных его стен была выкрашена в голубую краску, другая пара — в яркую оранжево-апельсинную.

Наутро мы увидели город уже при дневном свете, без прожекторов, без неонов, без цветных туманов. Но зато при ласковом весеннем солнце. Мы проезжали в автобусе мимо угрюмых развалин древних рынков, сохранившихся, впрочем, так, что после небольшого ремонта в их галереях и сейчас можно открывать торговлю; ехали мимо рынков современных, заполненных фруктами, овощами, живой птицей, рыбой и креветками. Мы стояли на Капитолийском холме, и под нами лежали руины римского Форума с каменными останками удивительных времен, свидетельствами поразительных нравов. Здесь, на Священном холме Древнего Рима, можно стоять часами, смотреть и раздумывать. Раздумывать над путями истории, над судьбами народов, общественных формаций, отдельных, больших и малых, личностей.

Римские гиды, то ли потому, что они неважно подготовлены и знают все до крайности поверхностно, то ли по причине службы своей отнюдь не исторической науке, а лишь бизнесу, коммерческому делу, каким в Италии является организация иностранного туризма,— эти гиды (не все, конечно, есть и исключения, я говорю о большинстве), указывая пальцем с Капитолийского холма, назовут вам и Священную дорогу — Via Sacra, ведущую к Капитолию через весь Форум, и фундамент базилики Юлия, и несколько колонн портика храма Сатурна, и остатки трибуны для древних ораторов, и арку Септимия Севéра, фрагменты Дома весталок и множество других свидетельств далекого прошлого. Где-то среди них вы должны себе представить и так называемый Черный камень, под которым находится могила Ромула, якобы основавшего Рим.

Вам все это назовут, на все укажут пальцем. В направлении этого пальца, за долиной Форума, несколько вправо, вы увидите утопающий в зелени Палатин, весь

в громадах источенных временем мертвых императорских дворцов и до сего времени по-настоящему не исследованный. Левее, тоже за Форумом, солнце любезно просветит для вас циклопические аркады Колизея.

Сейчас каждый камень на Форуме расчищен, отчищен, пронумерован, занесен в каталоги, сфотографирован на цветную пленку. «Триста лира» — и один из бесчисленной армии торговцев фотографиями, движущейся за толпами туристов, немедленно передаст вам из рук в руки и такой каталог и такие снимки, раскинув их перед вами яркой цветистой гармошкой.

Да, вам все назовут в соответствии с каталогами, на все обратят ваше внимание, но попробуйте спросить гида (даже хорошего) о чем-либо сверх установленного популярными справочниками, и в большинстве случаев ответа вы не получите. Стойте, вспоминайте сами все когда-либо прочитанное о Риме и раздумывайте.

Вид Форума, как никакое иное место в «Вечном городе», способен порождать раздумья. Позади вас Капитолийский холм со всеми легендами, какие сложены вокруг него за тысячелетия (о Ромуле и Реме, о волчице, вскормившей их, в память о чем здесь и сегодня ходит в клетке живая волчица, о гусях, которые спасли Рим), с тем древним хранилищем государственных архивов, Табуларием, от которого под возведенным впоследствии средневековым зданием Сената остался лишь врубленный в склоны холма нижний этаж.

Вы вспоминаете все, что знаете о Капитолии, но смотрите не отрываясь только на Форум, на его пронумерованные мраморные останки... Вокруг стоят холмы, Форум внизу меж ними. Не слишком-то удобное местечко. Ну что, что могло заставить римлян взяться когда-то за осушение этой, в ту пору болотистой, зыбкой низины? Разве мало места окрест? Когда русский царь Петр I осушал болота на островах в устье Невы, мы знаем, для чего он это делал. Он прорубал «окно в Европу», искал выход для Руси в открытое море. А здесь?

Здесь, видимо, в далеком VI веке до нашей эры первоначально было место для погребения: на Священной дороге найдены следы древних могил. Лиха беда начало. В старательно осушенной долине — следы канализационной системы сохранились и сейчас — позже стали раскидываться торжища, рынки, на которые сходились жители разных концов города. Потом — следующая

перемена: здесь стали созываться различные общественные собрания, устраиваться игры, религиозные процессии.

Время делало свое дело — бывшее кладбище, бывший толчок приобретал все большее значение в жизни Рима, на Форуме возникали строения, одно прекраснее другого.

Сменялись поколения, новые люди сносили то, что было воздвигнуто предшественниками, строили свое. От Форума царей осталось в итоге ничтожно мало, буквально считанные камни. Республиканский Форум сохранился лучше, хотя и его в свою очередь подавил Форум императоров.

С христианством, с его мракобесием и застоем пришел упадок не только в общественной жизни, но и в искусствах, в том числе и в зодчестве. Одни сооружения древних превращались в христианские церкви, другие забрасывались вовсе. Рим испытывал нашествия германских полчищ, над ним бушевали пожары. Гибло былое античное великолепие.

Форум, так же как Колизей, как дворцы Палатина, термы Каракаллы, средневековые строители превратили в каменоломни. Из несокрушимых стен выламывали мрамор, вырывали из них бронзовые скрепы, увозили отсюда целые колонны. На Форуме устроили свалку, его сооружения все глубже погружались в землю, в хлам, в мусор, в вороха навоза и земли.

Я поинтересовался: где же мрамор, которым был облицован Колизей внутри, где мрамор строений Форума, где мрамор дворцов Нерона, Тиберия, Калигулы, гигантских императорских терм? Гиды пожимали плечами: куда-то делся, очевидно, на другие сооружения позднейшего времени, а на какие именно — сказать трудно.

Существует толкование, будто бы такие гиганты архитектуры, как пирамиды Египта, цирки и дворцы Древнего Рима, Московский Кремль, Великая Китайская стена, такие образцы бесподобного внутреннего убранства, как убранство средневековых храмов и королевских дворцов разных стран, можно было создать только трудом рабским, подневольным, крепостным и поэтому-де ни Колизей, ни храм Василия Блаженного, ни все те чудесные художественные изделия, какие хранятся, скажем, в Оружейной палате в Москве или в Палаццо Питти во Флоренции, они-де ныне невозможны, они безвозвратное прошлое народов.

Что верно, то верно, рабский труд был самым дешевым. Известно, что рабом Рима становился всякий, кто был захвачен в плен в завоеванных римлянами странах и в предназначенных к разрушению римскими легионами городах. Хроники утверждают, что только из одного Карфагена в Рим после третьей Пунической войны пригнали пятьдесят шесть тысяч рабов, а из превращенной в римскую провинцию Македонии — и все сто пятьдесят тысяч. Рим же, как тоже известно, воевал почти непрерывно, и приток рабов никогда не прекращался. В старых книгах сказано, что раба можно было купить за четыре драхмы; в переводе на нынешние деньги это означало бы полтора рубля золотом. Конечно, раба неквалифицированного. Рабы с профессией ценились дороже, в зависимости от профессии и от степени мастерства. Палач Спартака Марк Красс имел рабов-архитекторов, рабов-банкиров, чтецов, писцов, ювелиров, домоуправителей...

Можно было согнать тысячи рабов-строителей и — только за стоимость пищи, необходимой для поддержания жизни раба, — возвести Колизей; можно было посадить рабов-ювелиров за верстаки, и они к роскошным одеждам почти даром делали застежки из рубинов или изумрудов, оправляли бриллианты в золото перстней, вставляли жемчужины в подвески к ушам, резали камеи, которым люди изумляются и поныне. Можно было заставить раба, вооруженного резцом скульптора, вырубать из мрамора копии совершеннейших греческих творений, а рабов — зодчих и каменщиков — сооружать многокилометровые акведуки с гор к Риму. Не было, пожалуй, ничего, чего бы не сделали, не сотворили дешевые руки рабов.

И все же это глубоко неверное, глубоко ошибочное утверждение о неповторимых возможностях, какие нес в себе труд рабский, а позднее труд крпостной. Если мы посмотрим сегодня с обрыва Ленинских гор, нависших над Москвой-рекой, посмотрим на чудесный вид — на Лужники, то разве своими размерами, пропорциями, гармонией форм возведенная в наши дни Главная спортивная арена стадиона имени Ленина уступит Колизею Древнего Рима? Она не облицована мрамором. Из мрамора и даже из золота, как предсказывал создатель нашего государства, мы будем строить позже, когда добьемся полного изобилия материальных благ, когда коренным образом решим

проблему жилищ. Мрамора пока нет, это правда. Но есть красота форм и прочность. А это, как показывает опыт, долговечнее, чем мрамор: и от ободранного в средние века Колизея до наших дней дошли совсем не мрамор, а именно красота пропорций и прочность.

Нет, не потому с воцарением христианства античное искусство шло к упадку, что не стало дешевого труда рабов; не мастера мельчали — мельчали хозяева, мельчали помыслы сильных мира сего, мельчали характеры, уничтожалась воля художника. Церковь давила мысль, церковь ввергала народы во мрак мистики, изуверства, отбрасывала человека далеко назад, в темные библейские времена, во времена еще более глухие и давившие еще беспощадней, чем времена римского язычества.

Когда дотла выгорели подожженные и взорванные гитлеровцами дворцы ленинградских пригородов — Петергофский, Екатерининский, Павловский, — тоже кое-кто утверждал: «Безвозвратно. Только руками крепостных можно было создавать такое». Но если кто бывал до войны в Екатерининском дворце, в Пушкине, и помнит его былое великолепие, а затем если он видел эти руины весной 1944 года, то, зайдя сегодня в первые восстановленные комнаты и залы парадной анфилады, он будет поражен и, может быть, даже не поверит своим глазам. Чудесная лепка, чудесная тонкая роспись, сверкающие, из десятков пород ценного дерева набранные паркетные полы, мебель в позолоте и штофе — это же все именно такое, каким было когда-то давно; только, пожалуй, лучше, ярче, праздничней, чем было. И создано это не рабами, не крепостными и не в XVIII веке, а сегодня и советскими искусниками-энтузиастами, мастерами, которые в свой свободный, радостный труд вкладывают огонь души и сердца, полет фантазии, силу разума и всемогущее умение рук.

Да, древние умели. Но не следует самоуничижаться — умеем и мы. А новые, молодые поколения строителей коммунизма создадут такое, чего мир не видал никогда, — ни в «золотой век» Перикла в Афинах, ни в «золотой век» Маурьев в Индии, ни в какие иные «золотые» века.

И когда смотришь на остатки Древнего Рима, то думаешь совсем не о невозможности повторения, а о том, насколько же богаче могло быть человечество, если бы материальные ценности, создаваемые руками сотен поколений, не гибли в пламени войн, не разрушались бы

страшной киркой нерадивости. Рим в равной мере страдал и от того и от другого. Нерадивость, внутренний упадок вошли в него вместе с христианством. Клавдиан, которого называют последним поэтом древних римлян, в первые годы V века еще видел с крыши одного из дворцов Палатина «неописанное великолепие древней столицы, с ее многочисленными храмами, крытыми золотом, с ее украшенными трофеями триумфальными арками, с ее колоннами и статуями, подымавшимися до облаков, и с ее громадными зданиями, в гигантских недрах которых человеческое искусство собрало все богатство природы». Но через двести лет после этого, читая проповеди потомкам древних римлян, епископ Григорий этот город — давно ли мраморный и золотой! — сравнивал уже и с глиняным горшком, и с ощипанным орлом, который ослабел от старости и, умирая, сидит на берегу Тибра. А еще позже, во времена папы Мартина V, автор знаменитых «Фацетий» Поджио Браччолини, сидя на руинах Капитолийского храма, видел Рим, от которого не сохранилось ничего, кроме гигантских развалин, разрушенных храмов, низвергнутых архитравов, зияющих и растрескавшихся сводов и валяющихся во прахе черепиц со зданий Форума, на месте которого паслись волы и козы.

Хорошо это все-таки или плохо, что время постепенно уносит создаваемое руками человека?

Как и во всем, что происходит в мироздании, есть свои противоречия, свои две стороны, так и в этом процессе можно найти неизбежные взаимно противоречащие силы. Представим себе Москву времен Ивана Грозного — вот сохранилась бы она и до наших дней в неприкосновенности! Чему-то мы бы несказанно радовались — тому, что дало бы нам возможность с большей достоверностью заглянуть в прошлое, в быт минувших столетий, в искусство старой Руси, в корни, в истоки различных интереснейших исторических событий. Мы бы, наверно, покрыли стеклянными футлярами отдельные, наиболее ценные здания и сооружения. Но остальные, на добрых девяносто пять процентов, пришлось бы, надо полагать, снести, несмотря на гипнотизирующий флер веков; пришлось бы выравнивать улицы, свозить на дрова прогнившие старые избы и терема, прокладывать водопровод и канализацию, словом, строить ту прекрасную новую Москву, которую мы строим сегодня, в которой жить удобней и радостней, чем в Москве Долгоруких, Грязных, Годуновых

и Романовых. Что-то должно сохраняться, а чему-то положено уходить, уступать дорогу новому.

И даже в Риме, в этом хранилище древностей, которые привлекают туристов со всего света, есть обширные районы новых строительств, новых жилых домов. В этих домах, правда, очень дорого жить. На ежемесячную оплату трехкомнатной квартиры у семьи рабочего или среднего служащего уйдет в таком приятном по внешности доме до пятидесяти процентов заработной платы. Но кто имеет возможность оплатить эту квартиру, предпочитает жить в ней, а не в прославленных руинах, если даже то будут «Золотая вилла» Нерона, Колизей или гигантский дворец Септимия Севе́ра на Палатине.

Дожившие до наших дней древние сооружения Рима прошли, конечно, немало превращений. Арка Септимия Севе́ра, как свидетельствует сохранившаяся на ней надпись, возведенная в начале III века в память победы над парфянами, арабами и ассирийцами и в честь десятилетия правления того, чье имя она носит, будучи к средним векам до половины засыпана землею, какое-то время служила крепостью; к ней даже пристроили дозорную башню. Колизей, тоже в средние века, был цитаделью баронов Франджипани. Может быть, только Пантеон Агриппы, сооруженный в 27 году до нашей эры для прославления рода Юлиев, дошел до нас в более или менее первозданном виде. Его спасло то, что уже в начале VII века он был превращен в христианскую церковь.

Из всех древностей Рима больше, чем Колизей, больше, чем все руины, вместе взятые, производит впечатление именно Пантеон, или, как его называют ныне, храм Санта-Мария Ротонда. Поражает не портик — шестнадцать чудесных коринфских колонн из египетского гранита с мраморными базами и капителями, не те бронзовые двери неимоверной толщины и массивности, которые сохранились до наших дней, не само сознание глубочайшей древности этого сооружения. Поражают соразмерность сооружения, его строгие, точные, гармоничные пропорции, его предельно величавая простота — качества, доступные только величайшим мастерам и художникам. Огромная цилиндрическая целла поднимается до половины сооружения и там незаметно переходит в посаженный на нее купол. В девятиметровом отверстии в зените купола, оставшемся таким, каким оно было и при древних, видно голубое римское небо.

Это единственное «окно» храма. Через него пропикает не только свет — через него на слегка покатый от середины пол, выложенный из круглых и квадратных плит мрамора, порфира и гранита, падает и дождь.

В чем тут дело? Может быть, в пропорциях, когда купол составляет ровно половину высоты здания и по высоте равен половине своего диаметра? Никто толком не знает, но акустика в Санта-Мария Ротонда удивительная.

Когда, получив некую мзду в одну или две тысячи лир, органист заиграл на невидимом органе, торжественные, могучие, полные чувства и красоты звуки заполнили весь храм — от пола до светового отверстия, от правой пиши, где лежит прах первого короля объединенной Италии Виктора-Эммануила, до левой ниши, где покоится великий Рафаэль Санти.

Долгими веками отцы католической церкви вырабатывали свои тонкие и точные методы влияния на чувства, на сознание человека. Заполняя все пространство под гигантским куполом храма медленной, величественной музыкой, которая проникает в душу, доставляет истинное эстетическое наслаждение, органист в рясе вместе с тем опутывает слушающих незримыми музыкальными сетями, приковывает к месту на мраморном полу среди огромного храма, делая все, чтобы человек здесь не только взлетал к небу, к богу, на крыльях божественных звуков, но и почувствовал бы, увидел себя ничтожной песчинкой на фоне этих величавых архитектурных и музыкальных масштабов, чтобы в конце концов колени его сами собою согнулись пред алтарем всемогущего.

Собираясь в эту поездку, я прочел одну старую книгу, в которой о том, что принесло христианство античному Риму, было сказано так: «Базилики и храмы сделались местами христианского богослужения, бани и дворцы — мужскими и женскими монастырями; прочие же здания, несмотря на изображенный на них крест, остались по большей части тем, чем были, то есть жилищами суеверия, лицемерия, разврата и — что у язычников случалось реже — поповского любостяжания и соблазна. Места общественных увеселений и отдыха, вместо того чтобы подвергнуться нравственным преобразованиям, опустели и разрушились, между тем как форумы зарастали травою, золотой Капитолий почернел от грязи, и, наконец, все остальные памятники римской роскоши и величия покрыты копотью и паутиной».

Ни копоти, ни паутины сейчас, понятно, уже нет на памятниках римской роскоши и величия, памятники тщательно сохраняются для привлечения туристов. Но живой, новый, современный Рим уже не фиксирует на них своего внимания. Новый Рим и строится по-новому, его уже не отличишь, скажем, от нового Парижа, от того Парижа, где тоже, как здесь, возводятся кварталы жилых домов, ультрасовременных, космополитической архитектуры, кричащих, с претензиями на сверхоригинальность.

Не могу, правда, не сказать, что в так называемой зоне EUR (Экспозиционе Универсале Романа), на той обширной территории, на которой предполагалось устроить в 1942 году всемирную выставку, архитекторами и строителями тех времен сделана довольно оригинальная и, думается мне, небезуспешная попытка творчески использовать античное архитектурное наследие, попытка строить новый Рим, не отвергая, а продолжая и развивая традиции старого.

К этой зоне мы подъехали по широкой городской магистрали Виа Кристофоро Коломбо, которая начинается возле терм Каракаллы и заканчивается в Остии, на морском берегу, куда жители Рима, имеющие на то средства, ездят купаться.

Под зону EUR была отведена площадь земли, равная площади, которую сегодня занимает вся Флоренция. Мы увидели здесь немало зданий, любопытных по архитектуре. Это и громадный массив Дворца цивилизации, о котором говорят «Новый Колизей», потому что он, подобно Колизею, окружен сплошными аркадами. Это и Дворец конгрессов с его колоннадой, и ряд других зданий, возводя которые архитекторы и строители стремились по-своему осмыслить и переработать опыт своих древних предшественников. Попытка строителей зоны EUR, безусловно, заслуживает внимания. Хотя бы для того, чтобы о ней поспорить, — и уже одно это будет плодотворным шевелением творческой мысли. В градостроительстве нельзя повторять прошлое, возвращаться к тому, от чего ушли; нельзя, чтобы традиции висели гирями на ногах строителей. Но нельзя делать и такой вид, будто бы до тебя вообще ничего не было.

Вопрос, куда же девался мрамор Древнего Рима, в полной мере мне выяснить не удалось. Видимо, его варварски жгли на известь для огромных и мрачных сооружений последующих, и особенно папских, времен. Другое объяс-

нение тому, что он исчез бесследно, найти невозможно. Но на что растащили травертин былых колоссов, видно на каждом шагу. После возвращения пап из Авиньона, после так называемого «Авиньонского пленения», началось большое строительство. Травертин Колизея пошел, кстати сказать, даже на кладку стен собора Святого Петра. Чуть ли не весь средневековый Рим сложен из камней, выломанных в Колизее. Колизей ободрали снаружи, ободрали его и изнутри.

Немало древнего камня извел в XVII веке на свои сооружения Лоренцо Бернини, имя которого то и дело слышится из уст римских гидов: «Вот фонтан Баркаччиа работы Бернини! Вот группа святой Терезы работы Бернини! Колоннада, окружающая площадь собора Святого Петра, она тоже работы Бернини!» Бернини, Бернини, Бернини!.. Любимец папы Урбана VIII, того папы из рода Барберини, о котором, имея в виду его художественные вкусы, итальянцы каламбурили: «Чего не сделали варвары, сделают Барберини».

Бернини в свое время превозносили до небес, работы его долгое время считались шедеврами скульптуры и архитектуры, ему усиленно подражали, и не только в Италии. А сегодня? Сколько же безвкусицы замечаем мы сегодня в его манерных, вычурных произведениях, во всех этих бесчисленных фонтанах и группах! На примере Бернини можно видеть, что получается, если художник владеет отличной техникой, но не имеет ни идеи, ни должного художественного вкуса. И в наши дни подобным недостатком грешат, и не только архитекторы и скульпторы, но и литераторы. Всю душу вкладывает иной в слово, в поиск слов, в то, как бы позанятней, понеобычней расставить их на бумаге. Получается кудряво, завитушечно, а до читателя не доходит — по причине затемнения смысла. Пантеон, например, стоит более двух тысячелетий, без всяких завитушек и лепок, прост он до крайности, а потрясает. То, к чему сегодня иной раз мы второпях приколачиваем этикетку «Шедевр!», завтра может оказаться посредственностью. Время все проверит.

Благословляемый помянутым папой Урбаном VIII, модный шедевротворец Лоренцо Бернини чуть было не изуродовал даже и Пантеон. К античному сооружению он и папа задумали пристроить — ни много ни мало — парочку колоколен. Пристроили. Вид получился настолько ужасным, что, во-первых, нелепые колокольни немедленно

получили в народе название «ослиных ушей Бернини», а во-вторых, их просто в конце концов снесли.

Несколько дней продолжалось наше путешествие по Риму. Будучи гостями, мы не имели возможности пойти или поехать, куда нам вздумается.

Мы зависели от хозяев. И, конечно, не видели тех районов, где расположены промышленные предприятия, где живут римские рабочие, простой трудящийся люд итальянской столицы. Мы видели это все только мельком. Мы видели полчища торговцев сувенирами и фотокарточками, дневных и ночных фотографов, которые, вдруг неожиданно осветив тебя вспышкой в темноте, требовали назвать адрес, чтобы утром принести снимок. Толпы этих людей ходят следом за иностранцами, перехватывают приезжих на улицах, на площадях. Они удручают своей назойливостью, мешают смотреть, думать. Им не дают покоя те тощие лиры, которые у тебя в кармане. В общем-то, это бедняки, голь перекатная. Они готовы повиснуть на твоем рукаве, лишь бы хоть немного заработать на жизнь. Их осуждать нельзя. Трудно осуждать и тех девушек, часто просто девочек пятнадцати — шестнадцати лет, которые с наступлением темноты, поодиночке или парами, выходят к кинотеатрам, к третьеклассным ресторанчикам, тратториям и остериям, на перекрестки не слишком освещенных улиц. Что поделаешь — им нужны лиры, без которых среди материального изобилия, нагроможденного в ярких, пестрых витринах, умрешь голодной смертью.

Видели мы и других охотников за лирами. При входе в любой храм, в любую церковь недвижно стоят молчаливые монахини с железными кружками в руках.

В кружку надо опустить монету, строгие глаза монахинь требуют этого.

Внутри храма, возле той или иной церковной реликвии, тоже стоят монахини и тоже настойчивым взглядом требуют опустить монету в кружку. Облаченные в рясы, особи мужского пола менее скромны в своих требованиях. Они просто-напросто встряхивают кружками, звоном и бряком монет напоминая вам, чтобы вы не очень увлекались созерцанием изображений святых или молитвами, а помнили бы о своем материальном долге перед господом богом. Вы можете даже фотографировать в храмах какие-нибудь «цепи святого Петра» или произведения искусства, принадлежащие кисти или резцу славных мастеров Возрождения, которыми так богаты церкви Рима, вы мо-

жете мешать богослужению, протискиваться среди молящихся, разговаривать — на это церковники посмотрят сквозь пальцы, лишь бы вы за все уплатили. При выходе вас опять встретят требующие глаза монахинь с кружками. Думается, зайди в католический храм сам Иисус Христос или дева Мария, и с них, во имя которых и нагорожена-то вся эта городьба, непременно и неукоснительно сдерут монету.

По вечерам один Рим довольно рано ложится спать, чтобы утром подняться на работу. Другой Рим зажигает те заманчивые огни, которые очаровывают путников, прибывающих в ночной Рим на самолетах. Рим этих огней ищет веселья в ресторанах, в казино, во всевозможных «домах» и «заведениях». Жизнь Рима богатых, пресыщенных с большой правдой показана в фильме «Сладкая жизнь», который демонстрировался в те дни и вызвал немалый шум в Италии. Испытавшие все, что только покупается за деньги, представители «сливок» римского общества, изображенные в фильме, доходят до такого падения, до такого скотства, что мажут, например, пьяную женщину чем-то вроде крема или варенья, обсыпают ее перьями из распотрошенных подушек и на ней, униженной, раздавленной, ползающей по полу, ездят верхом. Что может быть кощунственней, отвратительней и постыдней? И Древний Рим падал, и падал так низко, что потом уже и подняться не смог. Но в современном Риме, пожалуй, способны побить рекорды падения.

Может быть, рекордсмены по разврату и нравственному уродству пребывают в убеждении, что хозяева жизни на земле именно они, сверхимущие, и никто иной? Может быть, в будущем им видятся еще бо́льшие «сладости жизни», чем есть в настоящем?

Но в кофейнях, в лавочках, где продается вино, у стоек за маленькой чашечкой кофе или за стаканом кьянти мы встречали людей с потрепанными шарфами на шеях, в заплатанных на локтях рубашках, в долго ношенных кепи, людей, которые шли с работы домой, усталых и сосредоточенных, людей, дравшихся в партизанских отрядах против гитлеровцев, людей, чьи взгляды совпадают со взглядами партии коммунистов Италии и которые о будущем родной страны думают иначе, чем те, кто мнит себя сильными мира сего. Для простых людей Рима, для его тружеников, для голодных, оборванных, безработных

жизнь имеет совсем не сладкий вкус, она горька для них и солона, как слезы.

Рим был красив в эти апрельские дни. Из Москвы мы вылетали холодным ветреным днем, когда на деревьях, окружающих Внуковский аэропорт, не было еще ни одного листика, когда едва набухали почки; в Париже тоже было прохладно, хотя все уже зеленело; но здесь, в Риме, вовсю цвела весна. Воздух был голубой и влажный; в один, как говорится, прекрасный день даже прогрохотала короткая, стремительная, подобная мощному небесному обвалу южная гроза.

Цветы цвели на бульварах, в цветах утопала Испанская лестница, возле которой плещется безвкусный фонтан Баркаччиа, сработанный Лоренцо Бернини. Во дворах вилл, взбираясь на ажурные ограды, благоухали бледно-лиловые глицинии; цветами торговали на каждом углу.

Если бы тебя неожиданно, не предупреждая о месте посадки, спустили бы с вертолета на улицы и площади Рима, то, даже не увидав ни Колизея, ни Капитолия, ни собора Святого Петра, ты все равно бы сказал, что это именно Рим. Ты узнал бы его по тем гигантским задумчивым соснам-пиниям, которые создают неповторимость в римском пейзаже. Пиниями порос Палатин, пинии могуче стоят в парках, окруживших термы Каракаллы, они высятся среди зеленых массивов чудесных вилл Боргезе и Савойя, теснятся вокруг храмов и в скверах. Пинии — это могучие, подобные колоннам стволы и как бы расштрихованные тонким пером графика, горизонтально раскинутые, легкие, прозрачные кроны.

Ходи по римским улицам и любуйся их красотами.

Но непременно ходи. Или, если хочешь, езди. Полюбоваться на что-либо сидя ты, пожалуй, в Риме не сможешь. Если тебя, конечно, не страшит перспектива схватить ишиас от сидения на каменных скамьях, которые тоже не очень-то часты в римских парках и скверах. А таких удобных и многочисленных уличных и парковых скамеек, как в Москве, в Ленинграде, в Киеве — почти в любом крупном нашем городе, ни в Риме, ни в тех других итальянских городах, где мы побывали позже, и совсем нет.

А если тебе хочется посидеть, иди в кафе, садись там и плати. Бесплатно в капиталистическом мире даже сидеть не полагается. Бесплатно по некоторым улицам и проехать нельзя. Нам показывали такие улицы в Милане,

Это частные улицы. Хочешь проехать по ним — заплати за удовольствие. И за проезд по некоторым шоссейным дорогам надо заплатить. За все надо платить. Частная собственность. Чистоган. Главный кит, на котором держится капиталистическое мироздание, главная приправа, определяющая вкус жизни: для одних — сладкий, для других — горький.

2. ПАУК В ЗОЛОТОЙ ПАУТИНЕ

Путешествуя по Риму, все время помнишь, что в этом прекрасном городе расположено таинственное и страшное государство, оставшееся единственным в мире государством абсолютной монархии, — папский Ватикан. То с одного холма, то с другого, то с берега Тибра тебе видится купол собора Святого Петра, головного храма мирового католицизма. Или вдруг среди невесомых итальянских монет из алюминия, которые ты получил в виде сдачи в кофейной, глухо звякнет монета с профилем папы Пия XII в его трехъярусной тиаре; на монете надпись: «Ватикан». А то с шумом промчится по улицам в роскошной американской машине какое-то важное духовное лицо в пурпурных одеждах — тоже оттуда, из Ватикана. А потом тебе в альберго, в котором ты остановился, преподнесут изданный «Римским областным бюро туризма» коротенький путеводитель под названием «Ватиканское государство». В первой же не очень уклюже изложенной главке этого проспекта, пышно названной «Перекресток всего мира», ты прочтешь, что государство Ватикан — это государство «особого рода», что оно по отношению к числу населения «имеет наибольшее количество вооруженных сил (Корпус почетной гвардии, Корпус швейцарской гвардии, Корпус жандармов, Корпус дворцовой гвардии)»; причем вооруженные силы государства «особого рода» имеют исключительно «мирный характер»; прочтешь, что Ватикан обладает «одной из самых мощных в Европе радиостанций и насчитывает по одному автомобилю на каждые пять человек населения»; еще тебе сообщается, что в Ватикане «каждый вечер в одиннадцать часов запираются ворота, но совершающие обход патрули всю ночь охраняют его границы». «Ни в какое государство не входят так свободно, но в то же время с чувством такого уважения, как

в Ватиканское государство. Ни одна граница так не охраняется, но не является при этом столь же открытой для доступа. Никакой государь по высоте своего сана не стоит так высоко над своими подданными, но в то же время так близко к ним по своему отеческому благоволению и бескорыстной любви. Этикет имеет свои предписания и свои требования, но Отеческое сердце превозмогает не подлежащие обсуждению формальности этикета и железные по своей строгости законы паспортной системы. Для всякого, кто выражает желание видеть папу и соблюдает приличие в своем одеянии, открыт доступ в Ватиканское государство. Дом Отца является домом для сыновей!»

Красиво сказано! Но и в должной мере категорично. Не забалуешь. «Никакой государь по высоте своего сана не стоит так высоко над своими подданными», «не подлежащие обсуждению формальности этикета и железные по своей строгости законы паспортной системы», «дом Отца» с большой буквы — за всем этим, при всей благостности общего тона, видишь железную, ухватистую руку, ощущаешь крепкую организованность, угадываешь скрытые кнопки и пружины, которые приводят в действие отлично отрегулированный механизм.

И без этого наставления ты еще с детства знал о существовании папского государства, или Церковной области, которое было уничтожено в 1870 году и в память о котором пятьдесят девять лет — до муссолиниевских времен — в альбомах филателистов хранились почтовые марки с изображением скрещенных ключей. А в муссолиниевские времена, в 1929 году, папское государство по договору папы Пия XI с фашистским правительством Италии было восстановлено; правда, уже не на территории в шестнадцать тысяч квадратных миль и не с населением в три миллиона человек — всего только в сорок четыре гектара площадью; но все же оно возродилось, это страшное государство с населением в тысячу человек.

Знал ты о нем по книгам, по литературе, по рассказам. А тут, через косноязычный путеводитель, составленный под редактурой кого-нибудь из святых отцов Ватикана, ты начал вплотную приближаться к мощным крепостным стенам из камня, за которыми на римской земле лежат отчужденные папские владения.

Был канун пасхи. Итальянские католики готовились к большим торжествам. В церквах, где, по обычаю, драгоценные живописные полотна уже затянула темная ткань,

шли богослужения, пахло курениями, дымом свечей. По старому римскому мосту мы ехали в район за Тибром. Справа над речным берегом подымались стены массивного каменного цилиндра, над которым летела фигура ангела из бронзы. Страшный замок Святого Ангела, когда-то мавзолей, сооруженный для себя императором Адрианом, позднее крепость, а еще позднее папская тюрьма, о чем, кстати, в благочестивом путеводителе не сказано ни слова. Каких только человеческих трагедий не были свидетелями ступени спиральной лестницы, идущей внутри стен цилиндра, своды и стены подвалов для зерна и масла, превращенные папами в глухие застенки, в каменные мешки! Сколько жизней пожрала круглая мышеловка, осененная крыльями ангела, почерневшего от преступлений, какие творились под его крылами! Вспоминаешь рассказ Бенвенуто Челлини, славного искусника-ювелира и скульптора, о том, как гноили его тут по приказу одного из кровожадных пап, о том, как, задумав бежать, спускался он однажды с этих стен на скрученных из простыней жгутах, как сломал во мраке ногу, разбил голову и, искалеченный, полз к паперти еще не достроенного в ту пору собора Святого Петра, как затем снова гноили здесь создателя «Персея», как травили его сулемой, били, мучили, во что бы то ни стало желая отправить на тот свет.

Ни о чем подобном нет ни слова в рекламе Ватиканского государства. «Дом Отца является домом для сыновей!»

Отцы! В базилике Святого Павла весь храм внутри опоясывает фриз, и на нем плечом к плечу, начиная с мифического апостола Петра, которого церковники объявили в свое время первым римским епископом, размещены круглые медальоны-портреты всех существовавших двухсот шестидесяти двух пап. Успели сюда поместить уже и Пия XII. (Галерея эта рассчитана, кстати говоря, так, чтобы быть заполненной до 2000 года; двенадцать мест тут еще свободны; одно из них, двести шестьдесят третье, уже предназначено ныне здравствующему Иоанну XXIII *.) Если взять в руки хроники и пройти с ними вдоль вереницы портретов, то среди обладателей благообразных поповски постных физиономий обнаружишь и отравителей, и скотоложцев, и морского разбойника, каким

* Эти главы написаны в 1960 году. *(Прим. автора.)*

до папства был некий Иоанн XXIII, от которого в связи с тем, что его турнули в свое время с папского трона и предали анафеме, нынешнему папе — кардиналу Ронкалли, по словам одной молодой итальянки, «остался свободный номер»; увидишь тут авантюристов всех мастей, таких даже, что пролезали в папы через постель всесильных римских куртизанок; встретишь чудовищ разврата наподобие папы Александра VI, вышедшего из страшного рода Борджиа. Кто не знает имени Лукреции Борджиа, которая была и дочерью и любовницей этого «папы» и одновременно, с папиного благословения, грешила и с собственным братцем Чезаре Борджиа! Таких пиров и гульбищ, какие устраивал Александр VI вместе со своими детками, не знали, пожалуй, и самые разгульные владыки Древнего Рима. В одном из дневников того времени рассказано, как после обеда свечи в серебряных подсвечниках со стола были поставлены на пол, как меж ними были разбросаны каштаны и нагие блудницы, став по-скотски на руки и на ноги, перешагивая через подсвечники, подбирали каштаны ртом. Чем не картинка, подобная той, что мы видели в фильме «Сладкая жизнь»! Блудницы бродили нагишом меж свечами, а папа и его детки — герцог Чезаре и донна Лукреция — присутствовали при сем и наблюдали сие.

Святые Отцы! Папа Мартин V, зовя свое Христово воинство на истребление гуситов в Чехии, вопиял: не щадите людей, не жалейте крови! Помните, что нет жертвы более угодной богу, чем кровь его врагов. Действуйте мечом, а если вам не удастся открыто поразить виновных, пользуйтесь ядом. Сожгите все города, пусть огонь очистит проклятую страну еретиков. Пусть на деревьях будет повешенных больше, чем листьев в лесу!

Вот вам и никакой государь не «близок так» к своим подданным «по своему отеческому благоволению и бескорыстной любви»!

Торквемада, правда, не в Италии, а в Испании, но являясь князем той же католической церкви, за семнадцать лет своей «деятельности» сжег живьем на кострах более десяти тысяч человек, конфисковал все их имущество, побросал в застенки до ста тысяч человек. Получивший за великие преступления перед человечеством титул «Великого», он давал такие «инструкции» церковным мастерам заплечных дел: «Если против обвиняемого, который отрицает свою вину, имеется полудоказательство,

он должен быть вторично подвергнут допросу; если он во время пыток сознается, то осуждается как еретик, у которого вырвали признание; если он после пытки берет назад свое признание, он вторично подвергается пытке».

Папы, полный титул каждого из которых: «Викарий Иисуса Христа, преемник князя апостолов, верховный священник вселенской церкви, восточный патриарх, примас Италии, архиепископ и митрополит римской провинции, монарх государства Ватикан», эти живые наместники вознесшегося на небо бога-сына, его земные заместители, утверждавшие и благословлявшие подобные звериные «инструкции», насаждали инквизицию всюду, куда только проникала рука католической церкви, рука Ватикана.

До христианства не было на земле такой человеконенавистнической религии, такой свирепой и нетерпимой. Люди в Древнем Египте, в Древней Индии, в Древнем Китае поклонялись божествам, в которых они олицетворяли силы природы. Боги «помогали» людям в их земной жизни. У богов просили хлеба, счастья, удачи на охоте и на войне; просили у них дождя или солнца, вымаливали хорошую жену.

Было немало богов у древних греков и древних римлян. У первых во главе когорты богов стоял Зевс, у вторых — Юпитер. И тот и другой были громовержцами, довольно-таки суровыми владыками неба, но они если и карали, то карали сами, своими громами, а не требовали, чтобы, клянясь их именем, люди жгли друг друга на кострах и мучили бы в застенках инквизиции. Гефест греков был трудовым богом, он, как истый кузнец, имел мастерские, орудовал клещами и молотами, кувалдами и наковальней. Это был бог кузницы и кухонного очага. Одна из популярнейших богинь того времени, Афина, тоже трудилась не покладая рук. Люди верили, что она изобрела гончарный круг и сама же изготовила первые глиняные кувшины, что она дала плотникам и каменщикам наугольник, что она покровительствовала древним металлургам и литейщикам. Бесконечно много добрых дел числится за богиней Афиной.

Пока не было касты жрецов, не было и богов, требующих крови. Жрецы, попы сделали из религии бизнес. Бизнес надо было охранять — значит, жечь, давить, резать инакомыслящих. «Великий инквизитор» Торквемада делал это отлично. Отлично это делали и папы в Риме. Даже и сейчас, когда костры инквизиций отошли в прошлое,

страшен замок Святого Ангела, который мы увидели из окон автобуса на берегу Тибра.

После его угрюмых стен вид обширной, обнесенной колоннами площади перед собором Святого Петра возвращает тебя из средневековья к жизни и свету.

В тот солнечный день, когда мы прошли через колоннаду на площадь, она кипела народом. Толпы богомольцев поднимались по широчайшим ступеням к входу в собор. Богомольцев были тысячи, их прибывало и прибывало, потому что в тот день в праздничном богослужении должен был участвовать сам папа.

Люди всходили по ступеням к соборным дверям, их там тщательно осматривала стража в старинных треуголках и с палашами в блестящих ножнах — дабы в храм божий не проникли «подданные Отца», одетые излишне легкомысленно: слишком пестро или слишком оголенно. А рядом с лестницей, левее ее, у ворот, ведущих внутрь Ватиканского государства, опираясь на алебарды, стояла другая стража, в еще более допотопных одеждах — в сине-желто-красной полупарадной форме, эскизы которой, как утверждает молва, более чем четыре века назад игриво набросал на бумаге великий Микеланджело.

В эти ворота и в другие, справа, входили пешие из числа той римской знати, которая участвует в торжественных выходах пап, проскальзывали длинные роскошные автомобили. Все они исчезали в загадочных недрах Ватикана.

Этажи ватиканских дворцов теснились справа и слева от собора. Я искал глазами ту знаменитую трубу, из которой во время заседаний очередного конклава, избирающего нового папу на смену умершему, идет черный дым, пока папа еще не избран, а когда папа наконец избран, черный дым сменяется белым.

Последний раз дым здесь пускали в октябре 1958 года, когда, похоронив Пия XII, возводили на папский престол кардинала Анджело Джузеппе Ронкалли. Пий XII, до папства — кардинал Эудженио Пачелли, происходил из богатейшей семьи итальянских банкиров; с 1917 по 1929 год он прожил в Германии, будучи там папским нунцием. Из Германии любострастный поп вывез, в молодости смазливенькую, монахиню Пасквалину Ленхорт, которая бессменно, бок о бок, провела возле кардинала, а затем и папы более сорока лет то ли в должности экономки, то ли в качестве секретаря-«компаньонки». Пат-

риотка Пасквалина и в Ватикане оставалась верной своему фатерланду; всем, чем могла, она содействовала тому, что, став в 1939 году папой, Пий XII неоднократно — и словом и делом — выражал свои симпатии гитлеровской Германии. Верная Пасквалина проводила своего «папу» и в могилу.

Папа Пий XII был, как рассказывают, папой-теоретиком, большим богословом, народу он показывался редко, держался на людях сухо, был недоступен, любил придумывать и организовывать различные «чудеса», в которые из-за их обилия мало-помалу переставали верить даже самые простодушные католики.

Иоанн XXIII, то есть нынешний папа, которому, как сказала помянутая выше молодая итальянка, «отдали номер» отлученного когда-то от церкви папы — неаполитанского пирата, — это уже совсем иной папа. Это папа-«демократ». Свой понтификат, или царствование, в Ватикане он начал с того, что пошел в больницы, в тюрьмы — к страждущим подданным. Он обращается к верующим с проповедями. Он не заумничает, он стремится, чтобы его проповеди были понятны всем; он даже допускает в церквах шутки. Как говорится, и здесь знамение новых времен!

Вместе с толпами желающих послушать очередную проповедь папы мы вступили под своды гиганта собора Святого Петра и, запрокинув головы, где-то очень высоко на фронтоне купола прочли реченное Христом и начертанное золотыми буквами: «Ты Петр, и на сей скале я создам церковь мою и тебе дам ключи царства небесного». Нам объяснили, что «Петр» — это значит «скала» или «камень», а потому и сказано: ты петр (скала), и на сей скале... А ключи, которые имеются в виду, это те самые ключи, что изображены на знамени Ватикана; их мы еще в детстве видели на почтовых марках упраздненной Церковной области. Ключи апостола Петра. Ими запираются и отпираются ворота в рай и ворота в ад. Очень серьезные ключи.

В соборе гулко били молотками — устанавливались громкоговорители и осветительные приборы. Как в театре. Весь центральный неф был разделен деревянными глухими барьерами на множество загончиков — кому где стоять во время предстоящего богослужения; кого куда пустят, а кого не пустят, в зависимости от размеров капитала христианина. Перед иными из сорока четырех алтарей

собора, невзирая на стук и грохот, шли службы: дымили свечи, читались молитвы, люди падали на колени среди любопытствующих толп туристов.

Мы прошли мимо лифта, в опущенной кабине которого за зеркальными стеклами стояло обитое красным папское кресло. Через два часа папу должны были доставить в этом кресле к главному алтарю. Папа спускается сюда откуда-то оттуда, из дворцовых апартаментов, соединенных коридорами с собором; оттуда, где он единовластно правит католическим миром, где на одном из столов, если его не прибрали наследники, стоит телефонный аппарат из золота, поднесенный американскими миллионерами Пию XI в 1930 году; откуда папа может вызвать свой автомобиль стоимостью в три миллиона рублей, отделанный золотом, серебром и слоновой костью в венецианском стиле XVII века, и ехать в нем не на каких-то там вульгарных пружинных синтетических губчатых сиденьях, а, как и подобает представителю бога на земле, восседая в специально установленном кресле. Папа может отправиться путешествовать и в собственном железнодорожном вагоне, конечно, тоже отделанном с неслыханной роскошью: Ватикан имеет железнодорожную линию в семьсот метров, которая связана с итальянскими дорогами.

В данном случае папа не будет тревожить свой золотой телефон, не будет вызывать автомобиль, не побеспокоит и ватиканских железнодорожников. В указанный час лифт подымется вверх, папа усядется там в это красное кресло, съедет сюда, в собор, и восемь здоровяков понесут его на своих плечах к алтарю: папы римские все еще ездят на людях, как и тысячу с лишним лет назад, когда, состряпав фальшивые документы «Дар Константинов» и «Лжеисидоровы декреталии», они объявили себя преемниками Иисуса Христа и апостола Петра.

Богомольцы и зеваки все прибывали. Их набилось в собор великое множество. Нам сказали, что в этот день их может собраться тысяч шестьдесят — семьдесят. Мы представили себе предстоящую давку, без труда догадались, что стоять нам придется в самой дальней, отнюдь не аристократической загородке, и решили, что пусть уж лучше мы не услышим речи папы, чем прозеваем возможность посетить ватиканские музеи с их мировыми шедеврами искусства. И мы отправились в музеи.

Я не буду описывать ни Сикстинскую капеллу, где заседают конклавы, которые о результатах своих заседаний сигнализируют жителям Рима черным и белым дымами, ни Станцы Рафаэля, ни Пинакотеку, ни Рафаэлевские лоджии, прекрасная копия которых имеется у нас в Эрмитаже, ни музеи Этрусский и Египетский, ни собрание скульптуры, в котором воображение по-настоящему поражает, пожалуй, только могучий «Бельведерский торс», сработанный в первом веке до нашей эры афинянином Аполлонием, сыном Нестора. Этот торс, говорят, единственно подлинное, что дошло сюда от древних греков. Остальное — копии; может быть, хорошие, тоже античные, ранние, ценные, но все-таки не подлинники, а копии, в том числе и знаменитый Аполлон Бельведерский.

Если бы я мог, я описал бы лишь собрание рукописей, драгоценнейших автографов, которые хранятся у владык Ватикана. Эти рукописи, эти пергаменты, папирусы, листы желтой бумаги могли бы рассказать о многом, об очень многом. Из чьих только библиотек, из чьих только рабочих кабинетов и рабочих каморок не понатаскала их в папские кладовые «святая инквизиция». Великие полководцы древности, великие мыслители, великие ученые средневековья — это их рука, их почерк, это ими аккуратно выведены или торопливо набросаны штрихи и линии выцветших букв на выцветшей бумаге или полуистлевшем пергаменте. Судьба каждого из тысяч и тысяч собранных здесь листов могла бы стать содержанием волнующей книги. Да, в хранилище рукописей Ватикана есть над чем поработать.

Ватикан располагает несметными богатствами. Мне приходилось слышать, что когда попытались подсчитать эти богатства, выразить их в денежном исчислении, то получились какие-то баснословные, фантастические суммы. Думаю, что расчет этот тем не менее не был правильным. И не мог им быть. Ну разве можно определить действительную денежную стоимость микеланджеловского плафона в Сикстинской капелле? Разве можно исчислить стоимость стенной живописи в Станцах Рафаэля?

Каково же происхождение богатств Ватикана? Ведь «святые отцы» ничего не пашут и не сеют; они только молятся богу. Откуда у них деньги, живопись, скульптура, богатейшие собрания манускриптов? Много веков подряд «святые отцы» присваивали имущество осужденных «еретиков». Борьба с «еретиками» была верным бизнесом.

«Святые отцы» так обрабатывали свою паству, что наследство богатых католиков получали не наследники, а прибирала его церковь, то есть, в итоге, Ватикан. Ценностей накапливалось столько, что уже в 1606 году папство сочло необходимым учредить в Риме «Банк святого духа», Банко санто спирито. Это божественное заведение ныне связано с «Римским банком» и «Коммерческим итальянским банком». Это уже такое мощное «хозяйство», что оно под контролем Ватикана держит три четверти всех капиталов Италии — свыше четырехсот миллиардов лир. Тридцать пять миллиардов франков вложены Ватиканом в промышленность Франции, Испании, США и других стран. Средства наместников бога на земле вложены даже в игорные притоны и публичные дома. Ватикан не брезглив, нет. Он поддерживал фашизм и разбойничьи войны Муссолини. В архивах тридцатых годов можно отыскать католический плакат, на котором изображена не кто-либо, а сама мадонна, едущая на танке. Она, эта «святая дева» ватиканского изготовления, вела за собою итальянских солдат истреблять огнем и мечом мирное абиссинское население. На танках со своими походными алтарями за «святой девой» катили и католические попы.

Ватиканом поддерживался Муссолини, поддерживается Франко, поддерживался Гитлер. Ватикан объявлял в свое время крестовый поход против СССР. В дни контрреволюционного мятежа в Венгрии в октябре месяце 1956 года папа Пий XII послал поздравительную телеграмму кардиналу Миндсенти в Будапешт. Можно привести тысячи примеров борьбы Ватикана против всего передового, прогрессивного, растущего вплоть до удара топором, который Ватикан нанес во Львове советскому писателю Ярославу Галану.

Сейчас с каждым днем крепнет союз Ватикана и Соединенных Штатов Америки. Рыбак рыбака видит издалека. Богатые американцы вступают в один из самых изуверских монашеских орденов — в общество Иисуса. В журналах и газетах Италии одно время мелькала самодовольная физиономия Эвери Даллеса, поселившегося в Риме. Это сынок известного всем нам Джона Фостера Даллеса. Отец был мастером разжигания «холодной войны» и военных провокаций. Отпрыск стал иезуитом.

Иезуиты — ударная сила пап. Здесь гвардия — не та, что зовется Швейцарской и стережет ватиканские ворота, и не та, что носит имя Палатинской, — почетная гвардия

римских буржуа; подлинная гвардия Ватикана — они, эти иезуиты, воинство Иисусово. Иезуиты не только монахи, но и тысячи «светских» воинов Иисуса; «светские» воины не носят ряс, они живут и действуют в так называемом миру. Это шпионы, это организаторы наиболее темных дел Ватикана. В руках иезуитов вся папская разведка, вся внешняя политика; иезуиты ведают церковной пропагандой, католическими школами, цензурой, прессой и т. д. и т. п. Их прародитель и первый генерал ордена Игнатий Лойола учил свою паству: «Входите в мир кроткими овцами, действуйте там, как свирепые волки, и, когда вас будут гнать, как собак, умейте подкрадываться, как змеи».

Волки и змеи Игнатия Лойолы ведают ватиканским «Восточным институтом», ведают комиссией «Про Руссиа» и специальной, в 1929 году основанной при Пие XI школой, которая готовит антисоветских пропагандистов и заговорщиков. Кстати сказать, в этот «Коллегиум Руссикум», в этот канализационный люк для всякого отребья, стеклась русская белогвардейщина, как стекалась она и в Лувенский иезуитский университет в Бельгии. В «Руссикуме» нашли пристанище сменившие православную веру на католическую князья Волконские, Гагарины, Голицыны. Все это боевые, вышколенные иезуитами кадры Ватикана, кадры, предназначенные для борьбы против нас, против стран социалистического лагеря. Бывший русский князь Александр Волконский стал даже одним из самых рьяных руководителей «Коллегиум Руссикум».

Утверждают, что папа Пий XI однажды высказался примерно так: ради того, дескать, чтобы был уничтожен коммунизм, он, папа, рад бы вступить в союз с самим сатаной. Это не слова, брошенные на ветер. Ватикан и его ударная иезуитская сила используют любые нечистоты, лишь бы эти нечистоты, с точки зрения Ватикана, годились для борьбы против нас. На последней Всемирной выставке в Брюсселе рясоносные служители павильона государства Ватикан старались почти насильно запихивать в карманы советских граждан, посетителей выставки, остро раскритикованную советской общественностью книжку Бориса Пастернака «Доктор Живаго», специально изданную для этого на русском языке.

Конечно, не в соборе Святого Петра мы собрали сведения о закулисной, или, точнее, заалтарной, деятель-

ности «святых отцов», не в музеях Ватикана, не в его картинных галереях. Из окон музеев мы смотрели на пустынные строгие дворы, выметенные и вылизанные до блеска, на стоявших там у всех внутренних входов полосатых верзил алебардщиков, которых в папскую гвардию принимают лишь в том случае, если их рост будет не ниже ста восьмидесяти пяти сантиметров, изумлялись красотой ухоженных и тоже безлюдных знаменитых ватиканских садов.

И вряд ли мы могли догадаться, где, в каком здании, на каком этаже, за какими окнами решалось в тот час очередное начинание папы против столь ненавистного ему коммунизма. А может быть, там в этот час простонапросто обсуждались итоги деятельности «Банка святого духа» или мудрецы из ордена Иисуса раздумывали о том, как получше, половчее отпраздновать приближавшееся Первое мая. Не первый год Ватикан колдует вокруг весеннего международного праздника трудящихся, стараясь как-то прибрать его к своим рукам. Принимая первого мая 1953 года группу итальянских рабочих, папа Пий XII глубокомысленно изрек, что-де только религия может придать первомайскому празднику «истинный смысл».

Это было начало. А уже первого мая 1955 года перед лицом рабочих-католиков из организации «Католическое действие» он додумался и до того, что отныне, мол, Первое мая объявляется религиозным праздником, праздником «Святого Иосифа-рабочего», именно рабочего, так как муж девы Марии, богородицы, мадонны, этот самый святой Иосиф, будучи в некотором роде отцом Иисуса Христа, был к тому же ведь простым плотником, тружеником, рабочим. Да и сам Иисус Христос был скромным тружеником из Назарета. Вот так-то, товарищи рабочие: Первое мая — праздник рабочий, вы правы. Праздник «Святого Иосифа-рабочего». Гуляйте, веселитесь, молитесь!

Приспособились, что называется. Шестьдесят лет страшными проклятьями проклинали рабочий Первомай, как могли, так с ним и боролись. А тут «отцов» осенило: лишим-ка праздник сплочения революционных сил его революционного смысла. Вот что такое иезуиты, дети хромого Игнатия, который учил свою паству: цель оправдывает средства и для достижения цели все средства хороши.

Ватикан — враг коварный, опытный в коварстве и беспощадный. Но уже далеко не такой сильный, каким был когда-то. В общем-то он изрядно облинял. Он объявляет «крестовые походы» против Страны Советов, против коммунизма. Но из его походов ничего не получается. Он отлучает коммунистов от церкви, от бога. Но коммунисты живут и не горюют. Он объявляет запрещения на те или иные книги. А эти книги все равно читаются. В открытую Ватикан уже не может. Он вынужден напяливать на себя шкуру кроткой евангельской овечки. Его гонят из многих стран, как собаку, — он подкрадывается, как змея.

Микеланджело, Рафаэль, Браманте, Бенвенуто Челлипи — кто только из великих и славных мастеров Италии не украшал своим творчеством это гнездо крестовых пауков! Какие только сокровища искусств не собраны в этих дворцах и галереях за каменными крепостными стенами! Ватиканский рекламный путеводитель в этом случае не врет. Он совсем не далек от истины, утверждая, что на этом участке Рима находится перекресток всего мира: туристы этот перекресток не минуют. Он влечет их к себе сокровищами культуры человечества, которые страшный паук подгреб под себя всеми своими четырьмя парами цепких паучьих лап, заманивает золотой прекрасной паутиной, которую он неутомимо ткет второе тысячелетие. Иезуиты еще сильны, но уже совсем не так, как прежде, когда силу свою папство укрепляло с помощью живых костров на площадях и изощренных пыток в подземельях. Паук еще жиреет, но, жирея, дрябнет. Он ненавидит все, в чем видит свою грядущую гибель. Он ненавидит рабочих Италии, он ненавидит трудящихся всего мира, он ненавидит нас.

Когда-то на Констанцском соборе, почти пять с половиной веков назад, когда католический мир путался среди трех одновременно существовавших пап, в том числе и пресловутого Иоанна XXIII, страшного своими неисчислимыми преступлениями, один кардинал воскликнул: «Только черт может еще спасти католическую церковь!»

Сейчас расчет почти такой же. Сейчас Ватикан рассчитывает на «Желтого дьявола», которому служит верой и правдой.

3. ПОД ГОЛУБЫМИ НЕБЕСАМИ

Автобус шел из Рима в Неаполь. Он летел с той скоростью, с какой обычно ходят автобусы-экспрессы на линиях Москва — Ленинград, Москва — Симферополь, Ленинград — Таллин. Мелькали городки, селения, серебряные оросительные каналы и желоба, зелень виноградников, пепельно-серые рощи маслин, или, по-здешнему, олив, поля высокой кукурузы; где-то справа, невидимое, лежало море, а слева все время тянулись горы, местами скалистые, дикие, местами поросшие лесом; пейзаж этот до удивления напоминал пейзаж Северного Кавказа, если ехать, скажем, из Грозного в Нальчик.

По временам даже забывалось, что ты далеко от дома, так и думалось, что едешь поездом до Орджоникидзе, там пересядешь в машину и через Дарьяльское ущелье, преодолев в конце его Крестовый перевал, начнешь спускаться в долину Арагви, спеша к своим друзьям в Тбилиси.

Но вот на повороте вскрикнет встречный автобус, вскрикнет чужим певучим голосом; вот увидишь, как движется бороздой пахарь и перед ним, мерно вышагивая, почти белый бык с извилистыми рогами тащит тяжелый старинный плуг; вот среди поля запестреют рекламы чего-то не нашего. Оглядываешь это все — и возвращаешься к действительности. Долбят ломами землю по склонам гор, пробивают ямы, в которые нанесут земли из долин и посадят оливковые деревья, — ряды маслин то там, то здесь упрямо взбираются на каменистую крутизну. Идут монахини, скрыв свои лица в раструбах накрахмаленных косынок. Неторопливо катит на мотороллере священнослужитель. В придорожной остерии, засунув сколько полагается монет в пусковой механизм радиолы, толпятся парни того типа, с которого берут пример наши отечественные стиляги. Радиола издает беспорядочные звуки рок-н-ролла. Парни в этом беспорядке улавливают какой-то понятный им порядок, и под эти звуки кто приплясывает ногой, кто подергивает плечом, у кого конвульсивно ходит бедро. Надо полагать, что они так танцуют.

Но подобных парней мало. Люди работают, люди добывают хлеб, и, судя по всему, не легкий.

Наш автобус тоже снабжен певучими трубами архангелов. Распугивая ими путников, он летит и летит по

дороге, которая не что иное, как продолжение древней Аппиевой дороги. На кручах над нею — развалины старых храмов, возле современных мостов видны остатки огромных мостов древних римлян, видны стены и башни крепостей, сложенных из характерного римского кирпича — он площе обычного, кладка из него выглядит очень плотной, что и есть на самом деле; из такого кирпича сложены и дворцы на Палатине, и термы Каракаллы, и арки Колизея. Чего только не повидала на своем веку эта дорога, прежде чем ее покрыли асфальтом и прежде чем по ней зашелестели шины автомобилей!

Миновав Альбанские горы, мы пересекаем Понтийские болота. В путеводителе, изданном в начале нынешнего века, сказано, что это шоссе, древнейшее во всей Италии, еще не так давно было главной артерией для сообщения между Центральной Италией и Южной, а ныне оно несколько опустело, и «опустело против прежнего времени только вследствие бывшего здесь разбойничества».

Болота осушены и осушаются. На них тоже серебрятся каналы, но уже не оросительные, а осушительные, и тоже раскидываются рощи маслин и заросли кукурузы.

Приближаясь к морю, видим мыс Цирцеи, на котором — этому надо верить — был когда-то замок дочери Солнца. На вершине гигантской известковой скалы и в самом деле видны развалины, там и в самом деле был город Цирцеи, и утверждают, что в нем живали Цицерон и Тиберий.

Через тихий, милый городок, над которым возвышается следующая гигантская скала, мы выехали к морю. Это было Средиземное море — в тот час неподвижное, теплое, бледно-голубое, затянутое легкой дымкой. На самом берегу была остановка, была заправочная станция и конечно же существовал уютный ресторанчик. Поозирались вокруг, порассматривали скалу, на верху которой, глядя на море двенадцатью громадными арками, стоит дворец Теодориха, пожалели, что нет времени туда взобраться, — вид, надо полагать, оттуда великолепный.

Дальше путь шел так, что море почти уже не исчезало из виду. Параллельно шоссе, то приближаясь к нему, то удаляясь, проходила железная дорога. Она пробиралась по горным ущельям, она уходила в десятки, а возможно, и в сотни тоннелей, она бежала по высоченным мостам над бешеными речками. Ей было очень трудно, значительно труднее, чем нашему шоссе.

Миновали городки Фонди и Итри. В каком-то из них, говорят, родился знаменитый Фра-Дьяволо. Мелькнула крепость Гаэты — последнее прибежище последних Бурбонов.

Затем в прибрежных скалах, окруженное обрывами, мы увидели большое круглое озеро. Нам сказали, что это Авернское озеро, или, как здесь называют, Аверно; по-латыни таким словом обозначается что-то вроде входа в ад. Название свое озеро получило потому, должно быть, что расположилось оно в кратере погасшего вулкана.

За «входом в ад», правее его, в море, был виден скалистый, с крутыми берегами остров.

— Искья,— сказали нам.

Искья... Когда-то в Париже я смотрел видовой фильм, посвященный острову Искья. На Искье горячие источники, сернистой водой которых лечат ревматизмы и подагры. Теперь понятно, откуда на этом острове горячая вода, насыщенная серой: из тех подземных глубин, которые лежат под угасшим «адом», под старым, впавшим в дряхлость вулканом.

Снова мягкие, зеленые, цветущие пейзажи. Снова виноградники, оливы и цитрусовые и теплый, ласковый средиземноморский ветерок.

Въезжаем в Неаполь, в его узкие, кривые улочки, через которые, как о том неизменно свидетельствуют итальянские неореалистические кинофильмы, от окна к окну, от балкона к балкону развешано белье. Тысячи белых, розовых, голубых заплатанных «флагов» довольно весело и живописно полощутся над головами прохожих. Может быть, так бывает только на пасху? Предпасхальная всеобщая стирка? Нет, так всегда, каждый день. Вековая традиция — вывешивать свое мокрое исподнее для всеобщего обозрения: дескать, мы, живущие здесь, не грязнули.

Для того чтобы развешивать белье над всей улицей, даже в том случае, если улица и сравнительно широка, придуманы системы блоков, сооружены особые блочно-веревочные конструкции, наподобие тех, с помощью которых движутся театральные занавесы или шторы на окнах.

Из-за этих пестрых «флагов» каждому, кто едет по неаполитанским улицам, может подуматься, что его тут ожидали и вот радостно приветствуют.

Делаем крутой разворот из улицы на набережную — и дальше уже никакие объяснения не требуются. Лазурный, сверкающий под солнцем залив, бесконечная набе-

режная, охватывающая его огромной дугой, вся застроенная на много километров, пароходы и яхты у причалов, лиловатая дымка, и в ней, там, в конце набережной, на противоположной стороне залива, — расплывшийся в дымке, но до предела знакомый по гравюрам, по фотографиям величественный силуэт Везувия. Рима нет без собора Святого Петра, а Неаполя нет без этого, случается еще и оживающего иной раз, немало на своем веку наделавшего бед грозного вулкана. Он высится по ту сторону залива, тяжелый по размерам и вместе с тем легкий из-за той дымки, что висит над заливом. Рассматривать его лучше всего через темные очки — как через светофильтры.

Созерцая залив и Везувий, обедаем в ресторане, расположенном у самой воды. Называется ресторан «Bersaliera». Спасая нас от прямых лучей горячего солнца, над нашими головами передвигаются секции металлической кровли — как закрылки у «ТУ-104» при взлете и посадке. Едим конечно же вездесущие спагетти с томатной подливкой и острым сыром по имени пармезан. Запиваем — кто дьявольски кислым красным вином, кто апельсиновой водой. Апельсиновой воды в бутылочках по всей Италии так много, что удивляешься: сколько же надо апельсинов и сколько садов с апельсиновыми деревьями, чтобы наполнить эти бутылочки?!

От столика к столику движутся пятеро довольно-таки полненьких итальянцев. Двое из них поют традиционными здешними тенорами, трое аккомпанируют на скрипках и на гитаре. Певцы — в черных костюмах, в белых рубашках с «бабочками». Поют они неплохо, они, безусловно, артисты. Но, видимо, очень бедные артисты: костюмы заношенны, завожены утюгами, «бабочки» доживают свой век. Подают им мало — монетку-другую. Большинство обедающих не обращает на музыкантов никакого внимания. Наши товарищи им поаплодировали. Не знаю, может быть, так поступают тут только советские люди, но факт фактом: «ансамбль» страшно обрадовался и тотчас заиграл «Очи черные, очи страстные...».

После предварительного сбора монет с нашей группы музыканты ударили еще какую-то, подобную «Очам», дореволюционную мелодию. Знать, не так уж часто эти места посещаются людьми из Страны Советов: представление о культуре и вкусах русских сохраняется здесь, должно быть, со времен петербургских курортников

и более позднего нашествия на Европу российских белоэмигрантов. Вообще надо сказать, что в Италии нас знают плохо. В ничтожных долях доходит до рядовых трудящихся итальянцев наша литература, а если что и доходит, то как раз не то, что представляет подлинную нашу литературу. Мне рассказывали об одной встрече советских и итальянских поэтов, состоявшейся несколько лет назад. Выяснилось, что большие, серьезные наши поэты, признанные мастера слова, в Италии никому не известны. А известны лишь отдельные формалисты — жонглеры словами и рифмами да подражатели декадентам.

От Неаполя мчимся дальше по отличной автостраде, в начале которой была касса и был пропускной пункт. Дорога принадлежит, оказывается, фирме «Фиат», и за проезд по ней до Помпеи надо платить. Иначе крути и верти какими-то проселками. Плата, конечно, умеренная: чтобы и не отпугнуть и в то же время заработать.

Летим по автостраде, огибая Везувий, все время имея перед своими глазами приземистый лиловато-бурый конус с обкусанными лавой краями огромного кратера. Издалека видно, что к кратеру ведет подвесная канатная дорога. Хорошо бы подняться по ней туда, наверх, заглянуть в жерло вулкана. Но времени и здесь мало, впереди еще множество мест, где мы должны побывать.

Везувий остается позади, но он еще отлично виден, когда автострада обрывается в Помпее. Везувий стоит невдалеке от Помпеи и вот почти уже два тысячелетия созерцает то, что сотворил однажды с этим некогда прекрасным цветущим городом, куда любили съезжаться на лето древние римляне.

Мы видим городские каменные стены, мы видим каменную арку ворот, которые носят название Porta Marina — Морские ворота; за ними довольно круто идущую вверх, мощенную почти черными, отполированными ногами и временем глыбами вулканической лавы (Везувий рядом!) Via Marina — Морскую улицу. Перед нами город.

А сто восемьдесят лет назад на этом месте, как рассказывают, был пологий холм, по сравнению с Везувием — небольшая вспухлость земли. По склонам холма теснились виноградники. Земледельцы сеяли хлеба. Так шли век за веком, и никто почему-то не задумывался над тем, какие богатства человеческой культуры скрыты под толстыми слоями вулканического пепла.

По совести говоря, это очень странно, что не задумывались. Римлянин Плиний Младший, очевидец катастрофы, оставил потомкам и рассказ о том, как погиб возле Кастелламаре его дядя, тоже наблюдавший извержения Везувия, и трагическое описание гибели самой Помпеи. Ведь это же можно было прочесть, и если не ученые, то какие-нибудь искатели приключений или охотники за кладами могли бы поинтересоваться, а куда же тот город, Помпея, подевался. Или, может быть, они полагали, что в августе 79 года нашей эры Везувий обрушил на Помпею потоки огненной лавы, а не горы пепла и пемзы, как было на самом деле, и что в этой лаве Помпея сгорела без остатка?

Какие-то сведения есть о том, что в недрах холма в древности копались одиночки и кое-что они, очевидно, оттуда повытаскали. Но к средним векам Помпею похоронили безвозвратно; прокладывая в конце XVI века водопровод для одного из небольших городков и прорывая траншею через безыменный холм, римский архитектор Доменико Фонтана настолько о ней уже ничего не знал, что не придал никакого значения скрытым в холме останкам каменных строений; мало ли в Италии всяческих развалин, ушедших в землю! Был даже найден камень, на котором прочли вырубленное резцом имя Помпейской Венеры. Помпейской! Лет сто спустя здесь обнаружили еще один камень с надписью: «Pompei». И опять не подумали о городе Помпее; подумали, что имеется в виду Помпей, которому тогдашняя история присвоила титул «Великий».

Только лет через пятьдесят после того, то есть в середине XVIII века, когда один крестьянин, копавший канаву, извлек из земли холма бронзовую статую, начались первые более или менее планомерные раскопки. Хотя исследователи по-прежнему почему-то даже и не предполагали, что под их ногами лежит древняя Помпея.

Но когда выяснилось наконец, какой именно город похоронен под зеленым холмом, и когда из раскопов стали извлекаться чудеснейшие скульптуры, вазы, украшения, началась горячка, начался тот археологический грабеж, какой видывала и Греция, какой испытали на себе Египет и Индия и какому в большей или меньшей мере подвергались в не такие уж давние времена все очаги древних культур; в пещерных храмах Лунмынь в Китае еще

в сороковых годах бесчинствовали американские расхитители древностей.

Горы пепла над мертвым городом перелопачивались с места на место, открытое погребалось вновь, никто ничего не исследовал, только растаскивали всё кто куда: в любых музеях мира найдешь сейчас что-нибудь из Помпеи.

Прослышав об удивительных находках и жаждая увидеть их собственными глазами, однажды на развалины заявился австрийский император Иосиф II. Его сопровождал король неаполитанский — так сказать, хозяин, который решил поразвлечь высокого гостя. В то время как раз откапывали дом одного богатого помпеянина. Из недр раскопа к ногам потрясенного императора хлынул целый поток редкостей: бронзовые сосуды, монеты, глиняные блюда, серебряный лист с рельефными изображениями, стеклянные пуговицы, лампа, голова Юпитера из терракоты и еще великое множество разнообразной драгоценной мелочи.

Всякого рода властители, как показывает практика нескольких тысячелетий, до странности легко соглашаются на то, чтобы им втирали очки в тех случаях, когда это не ущемляет их прерогатив, когда это в какой-то мере льстит их самолюбию, когда это возвеличивает их как правителей. Екатерина II с удовольствием взирала сквозь розовые царственные пальчики на префальшивейшие фасады «потемкинских деревень», щедрейше награждала строителя этих фальшивок сиятельного Потемкина и беспощаднейшим образом покарала Радищева за обнажение действительности, скрытой за картонными фасадами.

Но в деле лести и втирания очков владыкам, так же как и во всяком другом опасном деле, нельзя слишком-то перебарщивать. Австрийский император почувствовал подвох, понял, что ему нарочно подстроили такое изобилие находок, и попросил, чтобы копали в другом месте. Принялись копать в другом месте, и, конечно, уже с иным результатом: нашли всего лишь пару позеленевших монет да грудку костей.

Раскопками Помпеи ведали совсем не люди науки, а прожженные дельцы. Работали у них закованные в цепи каторжники и рабы, которые все еще водились в ту сравнительно недавнюю пору. Работы почему-то были строжайше засекречены, велись до крайности медленно и попрежнему безалаберно.

По-настоящему дело пошло только во второй половине прошлого века, когда его возглавил Джузеппе Фиорелли. Он добивался того, чтобы не только из-под пепла извлекались древности, но чтобы для истории было сохранено буквально все, что осталось от Помпеи. Археологи задумывались над тем, как укреплять отрытые стены зданий, колонны, как консервировать стенную живопись, как предохранить ее от разрушающего действия дождей, солнца, ветров. В музее возле Porta Marina вам показывают как бы окаменевшие в последней предсмертной судороге человеческие тела. Именно Фиорелли додумался до того, чтобы некие рыхлости в уплотненном пепле заливать раствором гипса. Это и дало удивительнейшие результаты: из нескольких залитых пустот извлекли гипсовые отливки человеческих фигур. Восемнадцать веков назад люди были засыпаны огненным пеплом и в нем или тогда же сгорели, или тела их истлели позднее, но факт фактом — плотный пепел сохранил в себе все их очертания, и притом сохранил так, что по отпечатавшимся на гипсе выражениям лиц, по тому, как скорчены тела, можно судить о страшном дне, о страшной смерти в огненном ливне.

Поднявшись по Via Marina к Форуму, мы ходили из улицы в улицу. Перед нами был мертвый город, но мертвый так, будто жизнь из него ушла только что, совсем недавно. Улицы были замощены; на перекрестках, там, где в нынешних городах ставят знак с надписью «Переход», тоже были переходы — крупные камни, положенные через улицу с тем расчетом, чтобы, если дождь, можно было бы и пешеходу пройти, не промочив ног в потоках воды, и чтобы и колеса повозок смогли проехать меж камнями.

В домах, справа и слева, — остатки магазинов; в них каменные прилавки, за прилавками, вкопанные в землю, громадные сосуды для вина и для масел.

Мы ходим и ходим по улицам, погубленным и вот сохраненным Везувием, который неизменно маячит вдали; мы заходим в остатки храмов, древних судилищ, в отлично сохранившиеся бани, любуемся колоннами, окружившими Форум,— и все время перед глазами та картина, которая еще в школьные годы была видена в Русском музее в Ленинграде и произвела такое впечатление, что оно неизгладимо остается в памяти уже добрую треть века.

Не все еще сознают могучую силу искусства, силу воздействия его на умы, на чувства человека. Можно

проштудировать гору учебников, можно перечитать уйму исследований, монографий, докторских работ об эпохе Петра I. Чтение это даст солидные, фундаментальные знания предмета, такие знания, что дальше, думается, и некуда. Знаешь государственное устройство допетровской и петровской Руси, знаешь свод законов того времени, знаешь экономику, знаешь основы производственных отношений, знаешь быт, внутреннюю и внешнюю политику, знаешь, какие велись Петром войны и как они велись. Все знаешь.

Но вот прочитана всего-навсего одна книга: «Петр I» Алексея Толстого. Прочитана — и Петровская эпоха видится тобою уже не через те десятки книг, которые ты читал прежде, а через нее, через эту книгу художника, мастера слова, через ее скульптурные, яркие образы, через характеры ее действующих лиц, через талантливо нарисованные словом события истории. Идет время, те книги тускнеют в памяти, иные и вовсе из нее исчезают, а «Петр I» живет и живет, оставаясь твоим образным путеводителем по далеким петровским временам.

Так же волнующе, но не словом, а кистью написана картина, о которой вновь и вновь думаешь, шагая под горячим итальянским солнцем по улицам Помпеи. Улицы мертвы. Но ты вспоминаешь картину, и они оживают перед тобой. Их оживляет яркое творение большого русского мастера.

Очевидцем страшной катастрофы был, как сказано, Плиний. Он старательно описал все, что видел, все, что прочувствовал. Но его описания остаются достоянием ученых, исследователей, комментаторов. Карл Брюллов, может быть, не один раз перечитывал строки Плиния, и, очевидно, именно они, эти строки, породили замысел картины. Но как все изменилось, когда за дело взялся не старательный летописец, а художник!

Русский мастер бродил по этим улицам в первой половине прошлого века, когда от пепла было очищено еще совсем мало, когда под землей еще находились многие и многие поражающие сегодня посетителей отличной сохранностью чудесные дома богатых помпеян, с их атриумами, окруженными многочисленными комнатами, с их перистилями и прекрасными садиками с фонтанами и мраморными скульптурами, с их драгоценной росписью и тайничками, хранящими такие откровенные, в духе того времени, изображения на стенах, что женщин в тайнички

не допускают; из-под земли к тому времени вышла разве только треть города, и никто еще не видел его самых прекрасных строений и сооружений.

Карл Брюллов не был археологом, он был художником. Подержав в руках черепок вазы, художник дорисовывал в своем воображении остальное: он видел всю вазу. Проходя по нескольким отрытым улицам, рассмотрев несколько колонн, обернувшись на Везувий, он дорисовал все: он увидел весь город в его роковой час.

В 1833 году Брюллов впервые показал свой «Последний день Помпеи» римской публике. И те дни были днями подлинного триумфа русской живописи. Русский мастер Карл Брюллов так же, как другой, совсем не похожий на него русский мастер Александр Иванов с его «Явлением Мессии», не посрамил искусство своей родины. В отличие от картины Иванова, большой успех ожидал брюлловское полотно и на родине, в Петербурге. Перед ним в созерцании, в раздумьях простаивали Пушкин, Гоголь, их большие и малые современники.

Карл Брюллов работал над картиной почти шесть лет. До совершенства отточена каждая ее деталь, каждый камень площади, на которую обрушилось небо, каждая черточка на лицах ошеломленных людей.

В Ленинграде хранится эскиз, который Брюллов какое-то время считал окончательным. Внимательно всматриваясь в ту работу, видишь что она изрядно отличается от картины. И не только тем, что в картине действие из уходящей вдаль узкой каменной улицы вынесено на площадь, но и всем тоном звучания. Эскиз несет нам страшную неотвратимость огненной стихии. Люди тут ничто под разгневанным небом. Единственно красивое, что находит в них художник, — это всего лишь их желание умереть, не утратив человеческого достоинства.

Мотив не нов. Мастер шел проторенной дорожкой. Сколько было их, полотен, живописующих мощь стихий, то есть силу бога, и ничтожество человека! И, надо полагать, Брюллов это чувствовал. Знатоки живописи оценивают эскиз очень высоко, утверждая, что по единству содержания и формы он даже превосходит картину. Но художник все же его не завершил и позже от него совсем отказался. Зависимость человека от стихий, его ничтожество перед силами природы — что может создать своего, нового художник, разрабатывающий подобную тему? Он отбросил пессимистический ключ решения

задачи. Везувий по-прежнему бушует, хлещут молнии, рушатся стены, падают статуи богов, поток камней летит с клубящегося неба, гибнут люди. Но они гибнут уже не как стадо божье, а в борьбе, в непокорности, в упрямом желании найти выход. Всмотритесь в любую группу — всюду борьба за жизнь. Одни стремятся вынести старца из-под града камней. Кто-то поддерживает свою бессильно падающую подругу — он еще не утратил надежды спасти ее. Молодая семья, озираясь на небо, бежит от него... О безволии, о подчинении року уже нет и речи. Разве прежде кто-либо когда-нибудь надеялся убежать от неба, от божьей воли, от руки всевышнего?

И это путь к реализму, к правде. В Помпее было около двадцати тысяч жителей (другие утверждают даже, что тридцать тысяч), а погибло лишь около двух тысяч. Остальные не сдались, они боролись, они вырвались из огненного ада. В доме, в который мы вошли, не было найдено ни одного трупа, ни одного скелета. В нем даже хранилище ценностей — большой сундук — оказалось пустым: хозяева успели захватить содержимое с собою.

Следовательно, не только отличной формой поразил и завоевал зрителей Карл Брюллов, не только монументальностью своего полотна и обращением к одной из наиболее трагических страниц в истории человечества, но и тем своим собственным прочтением и истолкованием этой страницы, какое он продемонстрировал на полотне.

Папа в соборе Святого Петра сколько угодно может произносить проповедей о покорности человека воле божьей. Но стоит его пастве взглянуть на произведение искусства, несущее в себе идею не покорности небу, а борьбы с ним, ощутить впечатляющую силу этого произведения, и от призывов папы не остается ничего. Такова мощь искусства.

Я собственными глазами видел откопанную Помпею. Я ходил по ее улицам и площадям. Я слушал объяснения гидов. Но сегодня, вспоминая это хождение, я вижу не столько те живописные древние развалины, в которые непринужденно врос современный ресторан, бойко торгующий кока-колой, сколько навсегда памятное мне полотно Карла Брюллова. Реально увиденное только укрепило мое давнее ощущение большой правды искусства, скрытой в картине, помогло увидеть ее еще отчетливей и ярче.

Петровская эпоха — она ярче всего видится через затмевающий все другие книги роман Алексея Толстого.

Помпея — чтобы увидеть ее, нельзя пройти мимо полотна Карла Брюллова.

Стоит призадуматься над этим.

4. НАД ЛАЗУРНЫМ МОРЕМ

Близ отвесного каменного обрыва, под которым, пошевеливая зеленые сплетения водорослей, далеко внизу плещет о камни ленивое море, стоит в саду апельсиновых деревьев отель «Cocumella».

Усталые, натрудившие ноги, опаленные солнцем в помпейских улицах, сошли мы с автобуса перед подъездом «Кокумеллы». Вечерело. От расцветавшего куста жасмина волнами плыл вокруг бодрящий, густой аромат. Он смешивался с ароматами глициний, которые, образуя лиловую кровлю, свисали над столиками открытого кафе, объединялся с запахами спелых апельсинов, почти красных в последних лучах солнца, гаснувшего в Неаполитанском заливе. Воздух был морской, свежий, но вместе с тем мягкий, — воздух теплого, субтропического юга. Растительность по-весеннему буйствовала над береговыми обрывами. Цвели азалии, цвели жасмин и глицинии, цвели даже угрюмые кактусы; выбрасывая перья новых листьев, тянулись ввысь колонноподобные могучие пальмы.

Это был рай на земле. Это был Сорренто — город моря, город плодов, город песен.

Отдыхая от дневной жары, от автобусной тряски, от бесконечной ходьбы по развалинам, мы сидели в тишине под глициниями, дышали целебным воздухом, прислушивались — не звучат ли вдали те песни, без которых невозможно представить Сорренто.

И вдруг в узкой улице перед отелем показались четыре фигуры в белых балахонах, в таких же капюшонах с узкими прорезями для глаз. Балахоны шли по дороге шеренгой, шли медленно, торжественно и грозно. Все они несли фонари на полированных палках. За стеклом шестигранных светильников мерцали церковные свечи.

Что это, ку-клукс-клан? — было первой мыслью. А тем временем из-за поворота улицы, метрах в двадцати следом за первой четверкой, появилась вторая и тоже с

фонарями. Из отеля посмотреть на нежданное шествие высыпают иностранные туристы — англичане, западные немцы, шведы, бельгийцы, индусы.

Третья четверка, появившаяся из-за поворота, несет громадные гвозди — четыре гвоздя. Четвертая — молотки. Пятая — большой крест. Начинаешь понимать, что это отнюдь не ку-клукс-клан, но, пожалуй, и не очень-то лучшее, чем он. Это религиозное пасхальное шествие местных мракобесов.

Четверки идут и идут. Свет свечей дрожит на их страшных масках. В прорезях капюшонов поблескивают глаза. Так бывало, наверно, и в те времена, когда на итальянских площадях осуществлялись чудовищные «акты веры» — аутодафе, когда пылали гигантские костры, и в них — непременно на медленном огне, дабы дать грешнику время на раздумья,— сжигались одновременно десятки и сотни живых людей. И как бы для полного воссоздания «доброй, патриархальной» странички средневековья вдали, там, откуда движутся эти четверки, послышался страшный, исступленный вопль многих голосов. Через минуту вопль повторился. Затем через новую минуту — еще раз, уже значительно ближе. И когда последняя четверка пронесла изображение Иисуса Христа, распятого на кресте, вслед за нею в тесном строю вышло пятнадцать или двадцать четверок в балахонах, но без капюшонов, с открытыми головами. Через каждые восемьдесят — сто метров пути они не очень стройным хором орали нечто отчаянное. В их воплях не было и намека на чудесные песни Сорренто, на природную музыкальность итальянцев. Это был именно вопль, устрашающий вопль.

Некоторые из туристов стали уходить в отель. Уж больно от этой процессии несло изуверством, «актами веры», средневековыми застенками.

За вопящим подразделением вновь пошли одиночные четверки с фонарями. На этот раз они несли лестницу, клещи и носилки. Смысл процессии помаленьку становился понятным; первые четверки несли орудия, посредством которых был распят Иисус; затем было и само распятие; за ним шли кричальщики то ли слов скорби, то ли слов мести; а вот появились уже и орудия, с помощью которых Иисус был снят с креста.

Кроме группы кричащих, которая, надо полагать, состояла из монахов, все остальные участники процессии были молодыми парнишками, что было видно по юноше-

ским фигурам под балахонами, по их росту и походке. Какой-то монашеский орден вовсю работал в Сорренто, затемняя ребячье сознание, сколачивая свой «актив». Может быть, это были даже иезуиты, великие мастера заползания в человеческую душу. А может быть, и доминиканцы — отцы средневековой инквизиции.

Впечатление от процессии было столь тягостное, что рай земной вокруг «Кокумеллы» утратил свои радостные краски. Захотелось поскорее домой, подальше от этой чертовщины, от этих громил в масках, вместе с князьями католической церкви скорбящих о том, что никак сейчас невозможно вернуть доброе время костров и пыток во имя господа бога.

Окно в гостиничном номере мы оставили открытым, и на рассвете нас разбудили птицы. Они распевали во все горло, и так самозабвенно, так весело, что спать было просто невозможно. На каждом дереве их, этих певуний, было, думалось, не меньше чем по десятку.

Мы вышли в сад. От птичьей возни на землю с глухим стуком то там, то здесь падали перезревшие крупные апельсины. Они лежали в реденькой травке, на виду, но никто их не спешил подбирать. Вспомнились бутылочки апельсинового напитка, в изобилии изготовляемого по всей Италии. Вот он откуда, освежающий сок для этих бутылочек!

Апельсины перезимовали на деревьях. Еще не сняты в садах плетеные щиты, которыми деревья с плодами защищались от зимных ветров, от непогоды. Сады обширны, плодов в них очень много. Но изобилие это достигнуто не только за счет благодатного климата, а прежде всего большим и долгим трудом многих поколений терпеливых садовников. Накануне, въезжая в Сорренто, автобус задержался в том месте, где рабочие расширяли главную приморскую улицу. Для этого были снесены один ветхий домишко и часть апельсинового сада, уровень которого метра на полтора-два возвышался над мостовой. Лопаты землекопов аккуратно разрезали сад, и на этом срезе мы увидели сплошной, очень глубокий слой культурной почвы — два с лишним метра черной перегнойной земли, накапливавшейся десятилетиями.

Обрывистый берег Сорренто, оранжевый от апельсинов, нам пришлось увидать в тот день и со стороны моря, когда, оседлав старенький тихоходный катерочек, мы отправились на Капри.

Шла небольшая, но достаточно неприятная волна. Разрезая ее носом, катерок высекал потоки водяной пыли, которая обдавала пассажиров прохладой. Цветные медузы проплывали за бортом. Пассажиры — туристы со всех стран — щелкали затворами фотоаппаратов. Пассажиров на катере было довольно много. Не только не пустовало ни одно место, а было и так, что на это одно место приходилось по два пассажира. Позже такую особенность мы заметили и в поездах, и в автобусах, и на самолетах; транспорт вхолостую, и даже частично вхолостую, в Италии не ходит. Монета, монета решает все. У транспорта есть хозяин, хозяин хочет получать прибыль, он следит за тем, чтобы каждое место в любых средствах сообщения было занято и было оплачено.

Наш катерок носил имя «Санта Лючия». Но в этом краю, породившем знаменитую песенку о святой Люсе, именем Санта Лючии называется все — не только наш катерок, но и десятки других катеров, и пароходиков, и крупных пароходов, и гостиницы, и лавчонки. «Санта Лючия» — всюду и на всем.

Через час или полтора неторопливого ходу, обгоняемые более сноровистыми судами, мы приблизились к Капри, крутому скалистому острову с двумя вершинами, и пошли вдоль его отвесных каменных берегов. Где-то там, на этих скалах, император Август строил роскошные дворцы и термы, а Тиберий, по числу великих богов древности, одну за другой возвел двенадцать не менее роскошных вилл. И где-то там, значительно позднее, когда в годы наполеоновских войн остров был захвачен англичанами, на этих грозных камнях стояли морские пушки «Маленького Гибралтара». И где-то там, еще позже, в вечнозеленых тенистых садах жил Горький.

Гиды, сопровождающие туристов, указывая пальцами то вверх — на скалы, то вниз — в морскую прибрежную воду, рассказывают о жизни и нравах императоров. «Вот там, там — выше и правее — была одна из любимых вилл Тиберия, или, как жители острова произносят, Тимберио. Известно, что Тиберий сам отказался от власти в пользу Сеяна и десять лет после этого жил на Капри в полное удовольствие». Гиды при этом, делая свое дело, философствуют: «Утверждают, что Тимберио, немножко одряхлев, предавался радостям жизни, как все старцы, с излишествами. Разврат, жестокость, садизм... С той скалы, высотою в двести двадцать семь метров, будто бы сбрасыва-

лись в море жертвы его прихотей. Это, конечно, преувеличение. Ведь и о капитализме говорят, что он основан на эксплуатации, на угнетении человека человеком. А разве это так?»

Тем временем катер подошел к береговому обрыву и остановился в некотором отдалении от множества вертких лодок, которые окружали пароходик, пришедший перед нашим. Лодки были завалены легкими ворохами пестрых соломенных шляп с широкими полями от солнца. Торговцы — мужчины и женщины — на все голоса и на все лады расхваливали свой товар. Они делали это с такой отчаянной настойчивостью и так энергично, почти насильственно всучивали эти шляпы туристам, что кое-кто не выдерживал натиска и покупал совершенно ненужную ему нашлепку на голову. И лишь когда окончательно определилось, что на окруженном пароходике больше никто ничего не купит, пароходик выпустили из окружения, и на его место подошел наш катер. Торговцы шляпами принялись за свое дело с новой энергией. А в море уже стоял на очереди третий катер.

День за днем, год за годом возле «Лазурного грота» работает сей торговый конвейер.

Туристы, по одному, по двое, иногда и втроем, рассаживаются в лодки, которые должны отвезти их в «Лазурный грот», в заполненную водой пещеру, с непременного посещения которой обычно начинается путешествие по Капри.

Вход в пещеру — прямо с моря, в нору, промытую волнами в камнях. Чтобы протиснуться туда вместе с лодкой, надо в лодке лечь, иначе ударишься головой о камень. Одна за другой лодки проворно ныряют в темное отверстие; из мрака несутся тревожные женские выкрики: «Я туда не хочу, хочу обратно!» Но стоит, претерпев минутное неудобство, въехать в пещеру, и возгласы страха тотчас сменяются бурными выражениями восторга.

Кто-то пещеру, конечно, давным-давно обмерил и столь же давно установил, что длина ее равна пятидесяти четырем метрам, ширина — тридцати двум, высота от поверхности воды до свода — тринадцати и глубина — пятнадцати метрам. В этом весьма ограниченном пространстве, когда въедешь в него на лодке, перед тобой и вокруг тебя происходит нечто поистине фантастическое, такое, что способно напомнить о самых волшебных и роскошных сказках Востока. Вода в гроте светится так,

будто бы там, под нею, в глубинах, горят мощные лазурные лампы, будто лодки плывут по текучему фосфору. Лазурные блики скользят по каменным сводам, по лодкам, по нашим лицам. Лазурное серебро стекает с весел, которые тоже кажутся отлитыми из лазурного серебра. Рука, опущенная в воду, лазурная, светящаяся.

Что тут происходит, отчего так? — никто толком объяснить не может. Уверяют, что грот навещали, бывало, императоры Древнего Рима; сохранились, дескать, остатки лестницы, которая вела, как считают, к вилле Тиберия. Но у человечества в те полтора тысячелетия, которые прошли после императорских времен, было немало иных забот, и об удивительном гроте с его загадкой все позабыли. Вновь отыскали его, и то случайно, лишь к исходу первой четверти прошлого столетия.

Солнце ли окрашивает так воду, пробиваясь сквозь узкое отверстие с моря? Но вода в гроте светится и в пасмурные дни. Может быть, это игра каких-то фосфоресцирующих микроорганизмов? Но вода, если зачерпнуть ее ладонью, прозрачна и чиста, точно хрусталь.

Въезжать в грот с моря, когда надо беречь голову от удара о камни, не очень хотелось. Но покидать его не хочется совсем. Хочется смотреть и смотреть на это красивое чудо. Медленно двигаясь по кругу, лодки постепенно заполняют почти всю пещеру; вот последняя только что протиснулась сюда со стороны моря — и настает момент прощания: одна за другой лодки начинают выскальзывать из пещеры на волю. Продавцы шляп обрабатывают очередной пароходик, собирается очередная партия экскурсантов в грот. Конвейер идет полным ходом.

Хотя за посещение грота было заплачено предварительно, лодочник сдирает с каждого из нас еще по сто лир за что-то, и мы вновь на борту своего катера.

Плывем вдоль берега к гавани, плывем по голубой воде, которая хотя и не светится так, как в гроте, но все же очень ярка и прозрачна. Гиды указывают пальцами туда, где под водой сохранилась часть стен «Баньо ди Тиберио» —древней императорской виллы с купальнями, пляжами и причалами.

Проходят тысячелетия. Волны ломают камень обрывистых берегов; пласт за пластом, осколок за осколком рушатся в море не только скалы, но и то, что было возведено когда-то людьми на этих казавшихся людям вечными обрывах. Глыбы фундаментов и стен, обломки ко-

лонн, драгоценные вазы, утварь, украшения императорских дворцов и сегодня еще находят искатели древностей в глуби голубых вод Средиземного моря.

Наш катер подходит к пристани Капри. Я уже сказал, что нам нравилось его поэтичное название: «Санта Лючия». Но у пристани стоят еще два катера с такими же названиями, и большой теплоход, совершающий рейсы между Неаполем и Капри, тоже называется «Санта Лючия». На берегу всюду «Санта Лючия»: улицы, лавчонки, пансионы. Думаю, не потому, конечно, так распространено это название, что в Неаполе, в Сорренто и на Капри уж очень любят «святую Люсю», но главным образом потому, что «Санта Лючия» красиво звучит для туристов. А турист для местного жителя — это же кусок хлеба для одних, для тех, кто торгует соломенными шляпами, цветными фотографиями и возит вас на лодке в грот, и большой бизнес для других, для тех, кому принадлежат пароходы, катера, автобусы и гостиницы.

Древние называли этот остров «Козьим». Сегодня коз на нем не видно. Сегодня это остров туристов. Туристы разъезжают в автобусах, в такси, в ландо и кабриолетах, запряженных холеными лошадками; туристы бродят пешком, щелкают фотоаппаратами, снимают все, что попадается, на кинопленку, сидят на террасах кафе, тянут холодную апельсиновую воду через соломинки, жуют, загорают, торгуются с лоточницами.

Мы интересуемся домом, в котором жил Горький. Нам говорят, что сначала вот подымемся на Анакапри — на одну из двух вершин острова, между которыми лежит собственно Капри, а потом, конечно, побываем и там, где жил Горький.

Извилистая дорога-серпантин ведет на Анакапри; все время едем над дьявольскими обрывами, с которых видно на десятки километров вдаль. Красота невозможная. Воздух что нарзан, если пить его прямо из каптажа в Кисловодске: свежий, прохладный и, видимо, так богат кислородом, что от этого изобилия захватывает дыхание. Нет, не зря вили тут свои мраморные гнезда римские тираны: не зная еще о христианском рае на «том» свете, они по-язычески пользовались райской жизнью на этом.

Почти на самой вершине горы — торговая часть Анакапри. Торгуют керамикой, терракотой, изделиями из кожи, из дерева, соломки, всяческими мелочами «под древность». Рядами тянутся веселые лавочки, в которых

почти нет покупателей и где торговцы готовы хватать за рукав каждого, кто замедлит шаг, проходя мимо. Лежат на прилавках изящные вещицы, иные из них — редко, правда,— по-настоящему хороши, другие — чаще — только ловкие подделки. Но даже если это и подделки, о них не скажешь, что сделаны они без вкуса. Чувство красоты, присущее итальянскому народу, сказывается во всем, даже в мелочах.

Но вот в галерее одного из магазинов, расшпиленные на шнурках, полощутся по ветру расписные, «с картинками», пестрые мужские кофты. Зрелище нелепое и отвратительное. Кофты бьют по глазам, вносят расстройство в гармонию линий и красок, к которым ты уже привык на итальянской земле. «Нет, синьор,— говорит тебе приятная продавщица,— это не для итальянцев. Итальянцы такого не носят». Это для туристов: для американцев и для западных немцев, которые очень старательно, как хорошие ученики, во всем подражают американцам. «Нет, нет, синьор, я не знаю случая, чтобы кто-нибудь из итальянцев нарядился в такой наряд. Правда, наш остров — не вся Италия,— добавляет она с улыбкой. — Я дальше Капри не была еще. Может быть, в Неаполе или в Риме по-другому...»

Но и в Неаполе и в Риме не по-другому. Девушка права. Трудовая Италия не принимает крикливых шутовских мод, завозимых из-за океана. Есть, конечно, и тут пресыщенные, «утомленные», такие, о которых, стремясь быть излишне беспристрастным и объективным, повествует фильм «Сладкая жизнь». Но это же не народ. Это паразитирующие на теле народа. Как-то в одной из наших газет я прочел статью режиссера, который среди всяких иных откровений рассказывал о своем умилении при виде парней, разгуливающих по улице Горького в блузах навыпуск. Это, дескать, примета нового; одним словом, шаг вперед, окно в Европу. Я не понял, чему он так обрадовался: разве ему кто-то раньше запрещал носить блузы навыпуск? Или ему будет приятно, если все разрядятся в такие блузы, даже те, кому это не пойдет, на ком это будет выглядеть скверно?

От массовых психозов, к которым принадлежит и чрезмерное следование тому, что называется модой, спасает, как известно, вкус. Хороший вкус, воспитывавшийся из поколения в поколение, спасает итальянцев от кофт с картинками и всех иных заокеанских выкриков в одеж-

дах, выкриков, к которым скорее прислушиваются в Скандинавии, в Англии, в ФРГ, но не в Италии.

Мимо лавочек и лотков со всевозможной сувенирной мелочью гиды ведут всех приезжающих на Анакапри куда-то по узкой улочке; улочка вскоре превращается в карниз над морем, и там, на карнизе, нам показывают окруженную садами виллу, которая представляет собой смешение всех стилей: и античного, и византийского, и мавританского, и близкого к современному. Нам показывают чудесные коринфские колонны, вмонтированные в современную постройку виллы; показывают плиты древних дворцов, вделанные в современные стены; показывают различные драгоценные обломки прошлого — битые вазы и пострадавшие от времени и моря мраморные и бронзовые головы каких-то гордых людей с надменными и мужественными лицами, расставленные на постаментах в галерее, ведущей через сад на самый край обрыва.

Словом, вы на развалинах одной из вилл Тиберия — Тимберио. Вот его скульптурный портрет из черного камня, вот его лицо с резкими, жесткими чертами. Девятнадцать с третью веков назад он был жестоким и безраздельным хозяином этих чудесных мест. А в нынешнем веке здесь обосновался было другой хозяин — швед Аксель Мюнтель, историк и писатель. Новый хозяин расчистил развалины, собрал все, что смог, из оставшегося от древнего хозяина; он обшарил для этого море под обрывом; оттуда, из моря, эти стройные колонны, оттуда же и эти плиты с надписями, и эти бронзовые и мраморные головы. Аксель Мюнтель воздвиг здесь, на обрыве, на древнем фундаменте свою виллу, разбил сад, настроил беседок — дышал чистым, продлевающим жизнь райским воздухом, смотрел на море через окна рабочего кабинета и писал книги, у которых очень немного читателей. Он был собирателем. Вот тяжелый византийский стол из мрамора и каменной мозаики. Мюнтель привез его с острова Сицилии. Там, на этом столе, сицилианки много веков подряд выколачивали вальками белье. Собиратель древностей взамен привез женщинам стол стоимостью в несколько лир и увез этот, которому трудно даже дать какую-то цену.

Мюнтель умер, его виллу, как нам объяснили, приобрело шведское правительство. На вилле есть служители, они берут с посетителей плату, чтобы оправдать расходы шведского правительства на приобретение виллы и на ее

содержание, они рассказывают об истории этих мест, об Акселе Мюнтеле, о его жизни и творчестве, о шведской литературе и исторической науке.

Посещение владений покойного Акселя Мюнтеля еще больше разожгло наше желание поскорее увидеть ту виллу, где в первом десятилетии нынешнего века жил и работал наш соотечественник — Алексей Максимович Горький. «Хорошо, хорошо,— сказали нам. — Пойдемте туда. Это где-то внизу, по улице Марина Пиккола, по Малой Морской».

Съехав с Анакапри на автобусе обратно вниз, мы долго петляли пешком по Марина Пиккола; нашли наконец щель в изгороди из камней и кустарника; по заросшим ступеням и тропинкам стали спускаться в сумеречный, неухоженный сад. Высоко над нами была вторая вершина острова Капри. На самом ее острие, на высоченном обрыве одиноко и таинственно высился средневековый замок, превращенный в загородную дачу одного из аристократических семейств Неаполя. Несколько ниже замка и в сторону от моря в густой зелени стояла постройка современного стиля. Нам сказали: «Там живет Эдда Чиано. Дочь Муссолини. Это ее дача. Она приезжает сюда на лето».

А мы шли все ниже, в какую-то балку, шли, пока не прочли на калитке: «Вилла Пиерина». «Здесь,— сказали нам,— здесь, в этой вилле, жил русский писатель Горький».

Двухэтажный невзрачный домик с запущенной территорией вокруг. Из окон домика не видно ни моря, ни неба, ничего, кроме стен Эддиной виллы да старого замка.

В доме тихо. Мы позвонили у входа. Кто-то вышел, возможно, что нынешний хозяин дома — детский врач, и сказал, что внутрь нас пустить не может: к нему приехали гости, они сейчас отдыхают, беспокоить их нельзя. Да и незачем. Ничего от русского писателя, который тут жил, в доме не осталось.

Все-таки он нас впустил в большую переднюю комнату, украшенную залихватскими модернистскими панно. Мы постояли в ней минуту-две и ушли. Было грустно. Было трудно смириться с мыслью, что такое дорогое для нас, памятное каждому советскому человеку место предано столь глухому и безнадежному забвению.

Оказалось, что к «вилле Горького», как мы упорно называли для себя дом негостеприимного детского врача,

можно было пройти и более близким путем, но так как к ней никто из иностранных туристов не ходит, то этого пути никто и не знает. Этот более короткий путь лежит по Via Mulo, по улице Мула; по ней мы и возвращались от «виллы Горького» к тому месту, от которого начали извилистый путь по Малой Морской.

5. ПОТОМКИ ГВЕЛЬФОВ И ГИБЕЛЛИНОВ

Поезд мчал нас из Неаполя во Флоренцию. После спокойных, радушных красот Сорренто и Капри мы вновь провели несколько часов в шумной суто- локе Неаполя, были атакованы толпами уличных торгов- цев сувенирами; нам на ходу, делая ладошку лодочкой, показывали какие-то потрясающие золотые часы «луч- ших швейцарских фирм»; расстегивая пиджаки, предла- гали заглянуть во внутренние карманы, где — «убедитесь сами, синьор» — таились невиданные синтетические сок- ровища с маркой США — от мужских сорочек, умещаю- щихся в наперстке и которые можно никогда не стирать, до женских шуб, нейлоновый мех которых не отличишь от настоящего скунса или соболя.

Неаполь известен миру как город «миллионеров», то есть город бедноты, город отчаянно бьющихся за сущест- вование. Эта неравная борьба порождает многообразней- шее жульничество. Все эти «золотые часы», все эти «ней- лоны» и «шубы», какое бы роскошное клеймо на них ни стояло — швейцарское, американское, английское,— сдела- ны здесь же, в Неаполе, подделаны талантливо, искусно, но из совершеннейшей дряни. Купить что-либо у тех, кто ата- кует прохожих на улицах, — значит дать себя обмануть.

Времени у нас было мало; отбиваясь от торговцев, мы прошли по шумным привокзальным улицам. Вокруг вок- зала все было раскопано, вздыблено — строился новый вокзал. Почти во всех итальянских городах, где мы побы- вали, построены отличные вокзалы, просторные, светлые, удобные для пассажиров. В Риме, Флоренции, Венеции, когда перепадал дождь и на улицах было сыро, мы хо- дили гулять на вокзалы. Там киоски сувениров, там можно выпить чашку кофе, там много места для ходьбы, и, словом, над тобой там не каплет. Никаких перронных билетов и перронных контролеров, конечно, нет.

В Неаполе, очевидно, отстали от других городов, новый вокзал только строился.

И вот благодатный юг Италии позади. Поезд прогромыхал в тех бесчисленных тоннелях железной дороги, которую мы все время видели слева, когда несколько дней назад ехали автобусом из Рима в Неаполь; мы постояли минут двадцать в Риме, прогуливаясь по вокзалу, и теперь впереди Флоренция, город легенд, город множества больших и малых событий истории, город Данте, Боккаччо, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Бенвенуто Челлини, город итальянского протопопа Аввакума — непреклонного Савонаролы, город кровавых Медичи и тех, кто столетиями боролся против них.

В одной из итальянских работ конца прошлого века, посвященной истории Флоренции, сказано так: «Потому лишь, что один из Буандельмонти, вместо того чтобы жениться на девице из рода Амидеи, женился на девице из рода Донати, его не только убили ударами кинжала на Понте Веккьо (Старом Мосту) у подножия статуи Марса, но весь город разделился на два лагеря, на гвельфов и гибеллинов, наполнявших своими междоусобиями целые века и успокоившихся только тогда, когда возникла тирания, придушившая без разбора и тех и других».

Историк, хотя он и не был марксистом, понимал, конечно, что семейный конфликт между родом Буандельмонти и родом Амидеи если для чего и годится, то только для беллетристического произведения, но не для материалистического объяснения истории; поэтому он ниже говорит: «Сколько раз мы спрашиваем себя: что же нужно наконец этим неугомонным флорентийцам, из-за чего они вечно громят друг друга, заливая кровью улицы своего чу́дного города? Неужели это только кровожадность, только ненасытная жажда мести и братоубийства?»

Мы стояли у парапета на площади Микеланджело, расположенной чуть пониже знаменитой церкви Сан-Миньято аль Монте, за спиной у нас высилась внушительная статуя из бронзы — копия «Давида» Микеланджело; влево тянулись развалины городских укреплений, в дни обороны Флоренции возведенных тоже Микеланджело. Под нами бежала река Арно, по берегам которой раскинулся прекрасный старинный город под темными и острыми черепичными кровлями, с его бесчисленными церквами, соборами, дворцами, поразительными сооружениями архитектуры, каждое из которых — памятник

своего времени, памятник своей эпохи. За городом, прижимая его к долине Арно, тянутся покрытые зеленью холмы. Одному из них имя Monte Cecero, что в переводе с итальянского означает гора Лебедь.

Гора Лебедь, гора Чечеро... Знакомое имя. Это ее, эту гору, имел в виду Леонардо да Винчи, когда писал: «Большая птица начнет первый полет со спины исполинского лебедя, наполняя вселенную изумлением, наполняя молвой о себе все писания,— вечная слава гнезду, где она родилась».

Со спины исполинского лебедя, вот с тех зеленых склонов горы Чечеро, предполагал великий Леонардо запустить «большую птицу» — летательный аппарат, над которым четыре с половиной столетия назад работала его гениальная мысль.

Он был прав, Леонардо. Когда в наши дни говорят об истории авиации, прежде всего вспоминается Икар — мифическое воплощение мечты человека о полете по воздуху, а затем идущие рядом бесстрашный московит, который соорудил себе крылья из кожи, и живописец-скульптор-инженер, рожденный близ итальянского городка Винчи.

Путаники-гиды не очень, правда, осведомлены об инженерных и конструкторских работах Леонардо. Они, не смущаясь, рассказывают вам, что Леонардо не только размышлял над конструкцией летательного аппарата, но даже летал на нем, подымаясь со спины исполинского Лебедя — горы Чечеро. «Вот с того места, смотрите! С той вершины, под которой стоит дача... видите, с башенкой, стилизованной под старину. Облезлая такая. Это дача, в которой сейчас живет бывшая королева Румынии, мать Михая. Может быть, слышали?»

Флоренция — город волнующей истории; Флоренция — город несметных художественных ценностей; Флоренция — город прекрасных окрестностей. Куда поехать, куда пойти, окинув вот так, беглым взглядом, с площади Микеланджело, его темные от времени черепичные кровли?

Совершаем поездку по тесным улочкам, по средневековым каменным площадям — хочется увидеть как можно больше.

На площади Синьории перед Палаццо Веккьо, сложенном из грубо отесанного серого камня столь прочно, что дворец этот стоит незыблемо почти семь столетий,

на большом бронзовом диске, который врезан в мостовую, мы прочли слова о том, что диском этим обозначается место казни и сожжения Савонаролы. Железный монах был так страшен и ненавистен своим противникам, что они не только предали огню его тело, но собрали обгорелые останки его с раскаленных камней и бросили в воды Арно.

На площади Синьории, через которую прошли почти все наиболее знаменательные события флорентийской истории, больше всего меня привлекли две скульптуры — знаменитый «Персей» Бенвенуто Челлини и «Юдифь и Олоферн» Донателло.

На площади и вокруг площади сосредоточены многие из лучших художественных ценностей Флоренции. Сам дворец Синьории с его башней — творение высокого архитектурного мастерства, Лоджия деи Ланци, под сводами которой нашел себе место не только «Персей»; здесь люди с восхищением рассматривают и скульптурную группу «Похищение сабинянок» Джамболоньи. К площади примыкает улица Уффици, на которой расположена всемирно известная галерея скульптуры и картин — Уффици, галерея художественных шедевров XIII—XVIII веков, где собраны полотна Чимабуэ, Джотто, Боттичелли, Гирландайо, Филиппо Липпи, Перуджино... Неподалеку от Палаццо Синьории и знаменитая галерея Питти — только перейти через Арно. Там полотна Тинторетто, Рафаэля, Тициана, Андреа дель Сарто...

Ценностей вокруг очень много. И «Персей» с «Юдифью» привлекают внимание не потому, что это главные сокровища Флоренции, нет.

Уроки истории наглядны и поучительны, и все же вопреки им и в наши дни иные эрудиты утверждают, что истинное искусство надклассово и внеклассово, что истинные художники стоят над политикой, что их не касаются ураганы общественной жизни,— они-де должны творить прекрасное вдали от магистральных шумных дорог, по которым человечество идет к своему будущему.

Известно, что Флоренцией почти триста лет — с некоторыми перерывами — правил жестокий род Медичи, крупных торгашей, банкиров, землевладельцев. Медичи и до 1434 года, чуть ли не два столетия, играли ту или иную роль во Флорентийской республике; но в 1434 году, завершив цепь долгих и сложных интриг, внешне соблюдая верность республиканским институтам, они фактически покончили с народовластием, и Козимо Медичи

Старший превратился в полновластного правителя, в тирана Флоренции.

Триста лет стонала Флоренция под властью Медичи, время от времени предпринимая попытки свергнуть эту власть. Триста лет то исчезала с горизонта флорентийской общественной и государственной жизни, то вновь появлялась, приумножая и приумножая свои родовые богатства, кровавая семья жестоких правителей.

Я смотрю на бронзовую «Юдифь», отлитую Донателло. Юдифь взмахнула мечом; тот, кто ей ненавистен, будет сейчас обезглавлен, он возле ее ног, он повержен. Скульптура установлена на флорентийской площади Синьории в 1495 году. В честь чего? Почему? Может быть, это плод «чистого искусства», далекого от политических бурь времени?

Хроники утверждают все-таки иное. Они утверждают, что аллегория «Юдифь» отражает важный этап политической жизни Флоренции — изгнание флорентийцами в 1494 году правнука Козимо Старшего — Пьеро Медичи и восстановление республики.

Я смотрю на «Персея», расположенного наискосок от «Юдифи» под сводами Лоджии Ланци. Персей только что отрубил мечом (тоже меч!) голову Медузе Горгоне (тоже голова!); обезглавленная Медуза придавлена ногой Персея к земле, отрубленная ее голова в его руке.

Что это, скульптурное воплощение мифа древности, сделанное ради «чистого искусства», искусства, далекого от политических ураганов? Можно ведь и так истолковать работу Челлини. Тем более что Челлини и в самом деле не слишком был близок к политике, он служил сильным мира того, он от них терпел, они его обманывали и обсчитывали, они эксплуатировали его искусство, он чеканил им золотые кубки и вазы, он оправлял для них бриллианты, изумруды и рубины; французские короли, итальянские герцоги, папы римские украшали себя произведениями великого ювелира.

И все-таки «Персей» — хотел того Челлини или не хотел — это отнюдь не плод искусства вне времени и политических событий. Пусть он установлен на площади Синьории в 1554 году, когда Медичи уже более двух десятков лет прочно сидели на своем полученном после 1530 года герцогском троне, — он установлен с таким запозданием лишь по вине Челлини, до крайности долго работавшего над скульптурой. Но установлен все же

в честь очередной победы Медичи над республикой, над народом. Так задумал другой Козимо — потомок Козимо Старшего по боковой линии. Так герцог Козимо использовал искусство Челлини в своих родовых целях, которые были вместе с тем и политическими целями.

Две скульптуры на площади Синьории, скульптуры, в которые вложено столько мастерства, столько мысли, со всей своей художественной силой напрочь отметают призванные убаюкивать нас рассуждения о том, что искусства классового нет, о том, что истинное искусство стоит вне политики и не слышит голосов времени, которые, дескать, изменчивы,— оно слышит один голос, не подверженный конъюнктурным тратам, — голос вечности.

Когда рубят головы противникам,— это ли «чистое искусство», это ли отстранение искусства от политики, от ураганов времени? Искусство древности служило рабовладельцам, создавая из камня и бронзы богов, перед которыми рабы должны были трепетать и быть верными хозяевам. Искусство средних веков служило церкви, на все лады — в красках, в мраморе, в архитектуре — прославляя и возвеличивая Иисуса Христа, деву Марию и конечно же папу, наместника бога на земле. Пусть не говорят при этом, что искусство не терпит «заказа». Пантеон был построен по заказу Агриппы, Колизей «заказывали» строителям Веспасиан, Тит и Домициан. «Заказ» Микеланджело на роспись плафона в Сикстинской капелле сделал папа Юлий II; по заказу этого же Юлия II двенадцать лет его жилые комнаты расписывал Рафаэль. Украшающая собрание живописи в Лувре знаменитая «Мона Лиза», или «Джоконда», написана великим Леонардо да Винчи по заказу мужа Моны Лизы — флорентийца Франческо Джокондо. Бесчисленные «мадонны», «дамы в сером» и «дамы в красном», короли, герцоги, римские папы — тысячи прекраснейших портретов, живописные полотна на сюжеты Священного писания, являющиеся сегодня бесценными сокровищами Лувра, Эрмитажа, Дрезденской галереи, музеев Лондона, Вены, Рима, Флоренции, Милана, Венеции,— увы, все они были созданы когда-то «по заказу».

Увы? Нет, «увы» мы сказали бы лишь в том случае, если бы заказ выполнялся руками не мастеров, а ремесленников. Из рук ремесленника, приспособленца «увы» выйдет и без заказа, по так называемому «чистому вдохновению».

По заказу был выполнен мастером замечательный памятник: Ленин на башне броневика у Финляндского вокзала в Ленинграде. По заказу была выполнена скульптура — мужчина с молотом и женщина с серпом, которая возвышается сегодня возле входа на Выставку достижений народного хозяйства СССР. И что же? Разве не радуют они глаз, разве не трогают чувства, не окрыляют мысль человека, созерцающего эти произведения высокого искусства? В конце концов разве не по заказу малюют свои жуткие картинки и сооружают из обрезков жести свои «скульптуры» сегодняшние абстракционисты всех жанров? По заказу делают они это, хотя и утверждают обратное, хотя клеймят тех, кто открыто, честно, по глубокому убеждению служит народу. Они изображают из себя единственно истинных свободных художников, но если им перестанут платить за их стряпню, «свободные художники» тотчас займутся чем-либо иным, за что платить им будут.

Был один из пасхальных дней, поэтому в галерее Уффици, примыкающей к Палаццо Веккьо, происходило столпотворение, подобное тем, какие праздничными днями обычны в Третьяковской галерее в Москве или в Эрмитаже в Ленинграде. Лифты едва успевали подымать посетителей на третий этаж; комнаты были переполнены так, что в иной из них надо было стоять или двигаться, держа руки по швам.

Это радовало. Радовало, что итальянцев и туристов из многих стран привлекает поистине прекрасное, созданное руками великих мастеров, а не то, что бизнесмены и спекулянты от искусства пытаются выдавать за живопись или скульптуру. Абстрактная мазня и «скульптура» из обрезков жести и шлакобетона имеет некоторое хождение лишь в узком кругу снобов, тех, кто идейное довольствие получает с американской кухни. Чувство прекрасного, веками воспитывавшееся великими мастерами, трудовому народу Италии не изменило. Если бы их не подталкивали в спину все новые и новые волны посетителей, люди часами стояли бы и любовались тонкими по краскам и рисунку полотнами Сандро Боттичелли «Примавера» и «Рождение Венеры», мягкими линиями «Венеры Медицейской», вырубленной из мрамора неизвестным мастером Древней Греции еще задолго до нашей эры, но много веков скрывавшейся под развалинами Виллы Адриана в Тиволи; люди раздумывали бы над судьбами

и путями гениев, рассматривая фигуру ангела — одну из первых известных нам работ Леонардо да Винчи — на полотне «Крещение Христа» кисти учителя Леонардо — Андреа Верроккьо.

Мы прошли вместе с ними все залы, ноги уже отнимались, но и уйти от этих сокровищ не было сил. Это было подобно тому, что происходит с иностранными посетителями в нашем Эрмитаже: переполненные впечатлениями, с горящими от восторга глазами, почти качающиеся от усталости, выходят они на невскую набережную из бывшего Зимнего дворца русских царей; им не хочется уходить, им хочется еще и еще быть в только что покинутых залах, но физических сил на это уже нет.

Сил уже не было, а путешествие по Флоренции только начиналось. Впереди был такой же, подобный Палаццо Веккьо, из камня сложенный, грандиозный дворец Питти — второе замечательное хранилище художественных ценностей Флоренции. Среди большого числа наиславнейших полотен здесь сохраняется тринадцать картин Рафаэля и двенадцать картин Тициана.

«Донна Велата»! Пусть наряжена она в другие — мирские! — одежды, пусть нет под ногами ее облаков и не окружают ее святые и ангелы, пусть по-земному розовы плечи и смуглы щеки, но ни этот юный овал лица, ни эти темные живые и вместе с тем встревоженные глаза молоденькой матери не обманут: перед тобой Сикстинская мадонна, или, что вернее,— та молодая женщина, которая послужила моделью и для «Донны Велаты» и для «Сикстинской мадонны».

Устная и печатная молва утверждает, что это была юная дочь булочника из Рима, не слишком умная, не такая уж большая ценительница искусств, но привлекательная, женственная, любящая. Она существовала, ее любил великий мастер, она служила ему моделью. Но правда ли, что и «Донна Велата» и «Сикстинская мадонна» — это именно она, дочь булочника из Рима? Нет, конечно. Искусству нет дела до того, по каким моделям создавался тот или иной художественный образ, так же, как нет ему дела и до рецептов, по которым тот или иной мастер составлял краски для своих картин. Преломленное в гранях «магического кристалла» художника, перенесенное кистью на холст или пером на бумагу утрачивает адрес, какой оно имело в действительной жизни, и становится созданием автора.

Идешь дальше, всматриваешься в портрет могучего бородача, разодетого в меха и роскошные яркие ткани, с кованой золотой цепью на шее, в лицо недоспавшего человека, который всю жизнь гонится за жар-птицей удачи и, видимо, уже немало погрел руки золотыми перьями из ее хвоста. Он такой. В погоне за удачей он пройдет по костям, по телам, по трупам. Кто это? Читаешь надпись: Пьетро Аретино. Да, да, это он, знаменитый друг Тициана, кисть которого оставила потомкам не один портрет Аретино... Портрет, находящийся в Питти, я вижу впервые. Приходилось видеть в репродукциях другой, тоже работы Тициана, с чертами лица, еще более отталкивающими.

Перед портретом некоронованного короля Венеции (или в применении к венецианским условиям — ее некоронованного дожа) размышляешь о странных играх истории, которая время от времени выносит на поверхность общественной и государственной жизни то Чезаре Борджиа, то Пьетро Аретино, а то и Григория Распутина. «Паразит по ремеслу и профессор шантажа, он благодаря клевете и лести, эротическим сонетам и пародийным диалогам сделался судьей репутаций, выманил семьдесят тысяч экю у великих мира сего, титуловался «бичом князей»,— так писал об Аретино один искусствовед прошлого. А сам Аретино о себе говорил: «Столько важных господ одолевает меня постоянными визитами, что мои лестницы истоптаны их ногами, как мостовая Капитолия колесами триумфальных колесниц. Я не думаю, чтобы Рим видел такую смесь народов и языков, какая наполняет мой дом... Я всеобщий секретарь».

Могучий был человек, черт возьми, венецианец Аретино! С него лепили бюсты, выбивали медали с его профилем; о портретах нечего и говорить — даже Тициан не устоял перед великим Пьетро. Краски Тициана донесли его до наших дней облаченным в царские одежды. «Я — свободный человек»,— говорил Аретино. Он мог возвеличить кого угодно, мог и втоптать в грязь. Микеланджело, великий мастер, пренебрег некоронованным королем, он давал Аретино ту цену, какую тот имел на самом деле. Аретино в отместку такую возвел клевету на Микеланджело, что мастер немало от этого претерпел.

Об Аретино ходили тысячи рассказов, легенд, анекдотов. А кто он? Никто. Мелкий, но ловкий, оборотистый литератор, обладавший искусством сообразовываться с обстановкой, с нравами сильных, с их настроениями,

умевший потрафлять, своевременно появляться на виду. И только. А вот поди ж ты, как преуспел: кисть самого Тициана поработала на его бессмертие.

Картинная галерея Питти расположена во втором этаже дворца. В первом собраны и выставлены, как объясняют гиды, фамильные сокровища Медичи: главным образом ювелирные изделия из золота, серебра, драгоценных камней, художественного стекла, слоновой кости, перламутра, редких пород дерева.

Показывая в городе места, связанные с фамилией Медичи, объясняя обилие этих мест, гиды утверждают, что «народ очень любил Медичи», что герцог Козимо был подлинным «отцом отечества», что Лоренцо не напрасно был прозван «Великолепным»: стихотворец, он был ценителем искусств и т. д. и т. п.

Может быть, эти золотые кубки, осыпанные изумрудами и рубинами, эти ларцы из серебра, эти распятия из черного дерева и слоновой кости, эти медальоны, перстни, золотые чаши, блюда, это венецианское стекло, оплетенное кружевами из благородных металлов,— все эти несметные богатства были принесены в дом к Медичи благодарными, любящими флорентийцами?

«Благодарные, любящие флорентийцы», как известно, не раз брались за оружие, чтобы изгнать из города страшное семейство. И не их воля, что семейство возвращалось — то под защитой испанских копий и аркебузов, то с помощью войск «Священной римской империи».

Каждая вещь из этого собрания ценностей запятнана кровью, орошена слезами, трудовым пóтом, каждая из них взята силой или обманом, каждая стóит во много крат дороже, чем Медичи заплатили создавшему ее мастеру. В замечательной книге о своей жизни Бенвенуто Челлини подробно рассказывает о том, как работал он над «Персеем», долгий, напряженный труд вложил мастер в свое создание. А что за него получил? «Отец отечества» затеял мелочный торг о цене. Когда Бенвенуто назвали ту мизерную сумму, на которую расщедрился герцог, гордый человек готов был даром отдать «Персея». Но он не был богачом, жизнь вынудила его согласиться и на то, что давали. Любое из бесчисленных украшений герцогини обошлось герцогу Козимо дороже «Персея»; тем более что герцог выплачивал за него Бенвенуто малыми долями десять с лишним лет, да так, кажется, до конца и не расплатился.

О каждой драгоценности, покоящейся сейчас в музейных витринах дворца Питти, можно писать книгу. Книга будет страшной. Пожалуй, один только Бенвенуто Челлини поведал потомкам о том, как Медичи присваивали его мастерский труд. А сколько было иных славных мастеров — вот же оно! — выточенное, выграненное, выкованное их руками, — мастеров, которые из поколения в поколение работали на «отцов отечества», на «истинных меценатов, покровителей искусств», да так и ушли в безвестность, не оставив никаких повествований о своей нелегкой жизни.

Мастерство флорентийских искусников передается, видимо, по наследству. Во Флоренции и по сей день развиты художественные ремесла. На всех углах торгуют дешевыми, и не очень дешевыми, и просто дорогими изделиями ювелиров, изделиями из тисненной золотом кожи; в галереях Уффици и Питти, на раскладных стульчиках, за раскладными столиками, изо дня в день, с утра и до закрытия, сидят согбенные фигуры мужчин и женщин; с большим тщанием, с великой любовью переносят они на фарфор, на слоновую или черепаховую кость прекрасные черты только что рожденной из пены морской Боттичеллиевой Венеры или Венеры Тициана, имя которой «Урбинская», «Донны Велаты» Рафаэля или какой-либо из мадонн, принадлежащих кисти Филиппо Липпи, Доменико Гирландайо, Андреа дель Сарто. Получаются превосходные, радующие глаз миниатюры.

Мы осматривали церковь, или базилику, Санта-Кроче, известную не только своеобразным использованием северной готики на южный итальянский манер, но и могилами тех, кто в ней похоронен. Под одной кровлей уже несколько столетий покоится прах Галилея, Микеланджело, Макиавелли, Россини, Альфьери и других выдающихся людей искусства и мысли Италии, людей, которые при жизни вряд ли сошлись бы вместе, — столь разными были они по взглядам, по восприятию мира, по убеждениям.

Какие-то путаные соображения об этом нам длинно и нудно излагал флорентийский гид, назвавший себя искусствоведом. Он утверждал, что при жизни, как показывает опыт великих мертвецов, не надо ссориться — ни отдельным людям, ни государствам, ни классам, — все ведь, в сущности, окончится вот так... — энергичный жест в сторону молчаливых каменных гробниц.

Сопровождавшая нас из Рима молодая, приветливая, предупредительная переводчица-итальянка, синьорина Елена, перевела только часть его речи, затем махнула рукой: «Он развивает свои теории. Пожалуйста, не слушайте его. Ничего умного, одни глупости».

Когда его перестали слушать, гид принялся спешить. Нам хотелось непременно попасть в примыкающий к Санта-Кроче монастырский дворик-сад, в глубине которого пять с лишним веков стоит прекрасное создание Брунеллески — капелла Пацци. Тем более что там готовилось венчание: служащие несли для украшения стен капеллы оригинальные панно, составленные из листьев магнолий и живых белых лилий.

Но в капеллу мы смогли попасть только назавтра. А в тот день, взглянув на часы, гид подал знак следовать за ним и с паперти Санта-Кроче стремительно ринулся через улицу, прямо в двери какого-то магазина, витрины которого были уставлены всевозможными кожаными изделиями с золотым тиснением.

В магазине не оказалось ни одного покупателя, и гид объяснил нам, что он привел нас совсем не в магазин, а в мастерскую — она там, дальше в глубине магазина; ведь нам, наверно, интересно посмотреть, как изготавливаются знаменитые флорентийские переплеты для книг, футляры для очков, закладки, бумажники, кошельки, дамские сумочки и множество всякого иного, принадлежность чего к Флоренции узнается по зеленой и красной коже и по вытисненным на коже орнаментам.

Это был, оказалось, довольно примитивный рекламный трюк. Ничего интересного мы не увидели, да и никакой мастерской не увидели. Двое или трое мастеров с помощью трафаретки накатали при нас на кусок кожи золотой узор, и было видно, что настоящая мастерская совсем не здесь, а где-то в другом месте, здесь только реклама, и что гид-искусствовед подрабатывает на хлеб, приводя в магазин тех иностранных туристов, которых в эту часть города привлекает базилика Санта-Кроче с ее известными всему миру гробницами.

Мир капитализма заставляет человека пускаться на любые выдумки, лишь бы человек мог заработать. Как-то вечером, гуляя по узким улицам вокруг собора Санта-Мария дель Фьоре, полосатый розовый и зеленый мрамор которого выглядел в сумерках еще удивительней, чем днем, мы услышали музыку и через два небольших квар-

тала вышли на довольно обширную площадь, заставленную автомобилями. Между автомобилями стояли люди и слушали певца, который пел на эстраде открытого кафе. Территория кафе была отделена от площади ограждением из плотного вечнозеленого подстриженного кустарника. В ограждении располагалось несколько десятков столиков. И если за пределами ограждения толпились десятки любителей музыки, то внутри его, на стульях вокруг столиков, их было всего пятеро или семеро.

Хорошим, чистым и мягким тенором певец пел неаполитанские песни. Затем без всякого перерыва бодро выскочила американизированная дива и, пританцовывая, тем грубым голосом, у которого нет даже названия, и в той лающей манере, которая модна в «долларовой зоне», запела ходовые песенки на английском языке. Диву сменил третий певец; он пел арии из опер. После него вновь вышел исполнитель неаполитанских песен. А за ним — опять американизированная дива.

Прекрасная эмоциональная итальянская музыка, музыка самых прославленных композиторов мира, то и дело сменялась низкопробной стряпней. Хозяин кафе хотел зарабатывать, он хотел, чтобы все его столики были заняты, он хотел угодить всем вкусам. Получалось, видимо, обратное — столики оставались пустыми, хотя были не обычные будние дни, а праздничные, пасхальные, хотя по улицам, по площадям, в скверах и парках гуляло много народу.

Человек не может есть все, он ест то, что отвечает его вкусу,— это относится и к пище телесной и к пище духовной, и, пожалуй, к пище духовной еще в большей мере, чем к пище телесной.

Тем вечером мы вновь вышли на площадь Синьории, к Палаццо Веккьо, к Лоджии Ланци, к «Юдифи» и «Персею», к месту, на котором палачи в сутанах сожгли непреклонного Савонаролу.

Что же нужно наконец этим неугомонным флорентийцам,— вновь вспомнились слова итальянского историка,— из-за чего они вечно громят друг друга, заливая кровью улицы своего города?

Да неужели все это только потому, что много веков назад один из Буандельмонти, вместо того чтобы жениться на девице из рода Амидеи, женился на девице из рода Донати? Неужели только из-за этого разделились флорентийцы на гвельфов и гибеллинов?

История все-таки говорит о другом. О том, что, разрушив окружавшие Флоренцию замки феодалов-германцев, флорентийцы сдвинули эту реакционную массу с насиженных мест, заставили переселиться в город, и феодалы из врагов внешних, открытых, превратились во врагов внутренних, скрытых; отсюда и началось расслоение флорентийского общества и кровавая борьба внутри него. Гибеллины во Флорентийской республике это вовсе не те, кто за род Амидеи, а сторонники германской империи и феодальной власти. И гвельфы — не буандельмонтцы,— это торговцы и ремесленники, противники феодалов, германских императоров.

В письме Горькому на Капри в 1913 году Ленин писал, что в истории были и такие времена, когда «борьба демократии и пролетариата шла в форме борьбы *одной религиозной* идеи против другой». Это были давние времена, но такие времена были. Борьба гвельфов против гибеллинов — это в конечном счете тоже борьба демократии против феодальной реакции, один из этапов непримиримой борьбы классов.

Чего же хотят флорентийцы? Здесь могут рассказать о том, как несколько лет назад, в период острейшей предвыборной борьбы, на площади Синьории, на которой плечом к плечу встало восемьдесят тысяч горожан, созванных на митинг коммунистами, выступал Пальмиро Тольятти.

Более двух часов говорил руководитель итальянских коммунистов. Более двух часов люди стояли на ногах, позабыв о том, что есть усталость. Никто не ушел. Восемьдесят тысяч человек пели «Интернационал». Рабочие и ремесленники, мелкие служащие, люди умственного труда, люди искусства так же, как века назад, как во времена гвельфов и гибеллинов, так и теперь, хотели свободного труда на себя, хотели счастливой жизни без всякого угнетения человека человеком, хотели того, чтобы судьба их родного города, судьба их родной страны была в руках трудового народа. Вот что нужно этим неугомонным флорентийцам.

Талантливый историк Паскуале Виллари, участник восстания неаполитанцев против Бурбонов в 1848 году, не смог переступить через свое идеалистическое понимание процессов истории и, написав немало хороших книг, так и не понял приютивших его свободолюбивых граждан чудесного города, имя которому — Флоренция, Цветущая.

6. КАПЛЯ КАМЕНЬ ТОЧИТ

Живописуя для других или представляя самому себе, для внутреннего потребления, так называемую заграницу (имею в виду, конечно, ту заграницу, где все еще властвует капитал), иные любят умиляться деталями ее быта и состоянием сервиса. Как-то мне пришлось видеть на экране кинематографическое путешествие по Италии: от Рима до Милана. Авторы фильма — и те, кто разработал его сценарий, и те, что снимали фильм на пленку, и те, которые составили к нему текст,— задались будто бы целью показать Италию как страну, в которой полностью построен коммунизм. Красивые улицы, чудесные дома, роскошные автомобили, разодетые веселые праздные дамы, счастливые, плещущиеся в римских фонтанах детишки; люди сидят за столиками кафе, что-то приятное попивают и чем-то вкусным закусывают. Словом, бросай все свои дела дома и отправляйся в Италию — там легкая, радостная жизнь. О деньгах, о заработке итальянцы раздумывать, видимо, не желают. Там все, судя по фильму, для всех по потребности: протянул руку — и взял.

Это был ничем не замаскированный, восторженно слюнтяйский киновсхлип, тем более обидный, что авторы его — наши советские люди, а не рекламщики капитализма.

Конечно, за несколько дней промчавшись по всей стране, далеко не все увидишь; скольжение по поверхности в таком случае неизбежно, и, конечно, далеко не все противоречия капиталистического рая попадут в поле зрения твоего объектива,— гиды постараются провести тебя стороной мимо примеров таких противоречий.

Но все же даже при очень старательном здешнем украшательстве жизни с поверхности шило так явственно торчит на каждом шагу из мешка, что если ты его не увидел, то только потому, что не захотел увидеть. А не захотел увидеть, может быть, потому, что призыв к мирному сосуществованию стран с различным социальным устройством воспринял как призыв сложить не только оружие уничтожения человека человеком, но и оружие политическое, идеологическое и надел розовые очки. Через очки преклонения перед «заграницей» в ней видится только идеальный порядок, только удобства, только красоты жизни и всевозможная бытовая нега.

Откровенно говоря, в этом капиталистическом рае, где, как утверждают, жизнь прелестна и удивительна по той причине, что все построено на конкуренции, и где, следовательно, конкурирующие фирмы разбиваются в лепешку, чтобы только лучше другого угодить потребителю,— и в этом основанном на конкуренции рае мы довольно часто испытывали на себе плоды всяческих неувязок, промахов, откровенного равнодушия и т. п. Возможно, получалось так потому, что деньги за путешествие итальянской туристской фирме были уже заранее переведены. Возможно, еще и потому, что денег этих не было столько, сколько платят американские миллионеры, к тому же время от времени небрежно швыряющие на стойки итальянских отелей и ресторанов лишнюю монету с вычеканенным профилем Джорджа Вашингтона. Все возможно. Но факты остаются фактами: мы путешествовали отнюдь не гладко. И самое досадное заключалось в том, что и пожаловаться было некому и некуда. Жалобы тут ничего не стоят. Тут стоят только деньги.

Во Флоренции наша посадка на поезд напоминала в какой-то мере железнодорожные посадки далеких лет гражданской войны. Вагона нужного не было, мест не было. Носильщики бросали чемоданы как попало и куда попало. По этим чемоданам, загромоздившим тамбур и вагонный проход, ходили. Представитель туристской фирмы «Ромео» в отчаянии метался по перрону: если он нас не посадит, фирма понесет убытки, ему влетит; может быть, его даже и уволят. Скинув полуформенную фуражку, он время от времени подставлял свою разгоряченную лысую голову под меленький флорентийский дождик. Он перекрестился (это мы видели) и с величайшим облегчением сказал «Amen» (это мы не без основания предполагаем), когда поезд наконец-то тронулся.

В последний раз за окнами вагона блеснул чеканными гранями мокрый купол Санта-Мария дель Фьоре, растаяла в дымной сырой хмари тонкая серая башня над Палаццо Веккьо, башня, за которой, видимая только со двора-колодца, подобная ласточкину гнезду, лепилась каморка — последнее место пребывания Савонаролы, мелькнула «спина большого лебедя»— гора Чечеро, и один за другим пошли холмы, засаженные по склонам виноградом тех сортов, из которых приготавливают кислейшее вино, известное под названием «кьянти».

Поезд шел на север, немножко склоняясь к востоку, и поздним вечером за окнами с обеих сторон вагона заблестела вода. В ней, черной и таинственной, отсвечивали огни поезда и фонарей, расставленных на подобном дамбе низком мосту, по которому, пересекая лагуну, мы подъезжали к Венеции. Рядом с поездом — одни тоже в Венецию, другие на материк — мчались автомобили.

Мелькнули короткие минуты, озаренный россыпью огней впереди, светившихся, казалось, где-то прямо в открытом море, четырехкилометровый путь через лагуну закончился, и мы — на венецианском вокзале.

В центральном помещении вокзала нас встретил большой плакат с изображением серого линкора, вздымающего крутым носом белопенные волны. Надпись над линкором призывала молодежь Италии идти на службу в военно-морской флот.

Перед вокзалом лежит Большой канал — Canale Grande — Венеции. Поэтому с вокзальных ступеней ход прямо к пристаням катеров мотоскафо и вапоретто. Катера повезут вас по Большому каналу, повезут к мосту Риальто, к площади Святого Марка, на остров Лидо — вокруг всех ста восемнадцати островов, на которых расположена Венеция, по всем ста шестидесяти каналам, под всеми четырьмя сотнями мостов через каналы; а где не пройдут катера, делу помогут гондолы: вот они, что черные лебеди, плавно покачиваются у причалов.

Но ехать пока никуда не надо. «Гранд отель Принчипе», где нам уготован ночлег,— в трех сотнях шагов от вокзала; и если обычный вход в него — с тесной, отнюдь не главной улочки, то парадный фасад, окрашенный в кирпичный цвет, смотрит прямо на Canale Grande, как лучшие дома города, как самые прославленные венецианские дворцы.

Спать рано, ехать куда-либо поздно. Бродим по улочкам-щелям, по мостам, или, точнее — мостикам, через каналы. Ни мостовых, ни тротуаров в строгом смысле этого слова нет. Ходи где хочешь, ни автомобиль, ни мотоцикл тебе не страшны: в Венеции нет даже велосипедов; владельцы автомашин оставляют их в гараже на Пьяццале Рома при въезде с моста в город.

Еще торгуют лотки, киоски, лавочки сувениров: стекло, изделия из кожи; шумно в кафе и у стоек винных лавок; доносятся выкрики и шумы из-под крыш кинематографов. На улицах людно. Слышна речь почти всех

народов мира. В витринах магазинов покрупнее — надписи: «Здесь говорят по-французски, по-английски, по-немецки». Венеция — город туристов.

Спим на четвертом этаже, в тесном номерочке с до крайности тусклым освещением. Некоторые наши излишне ретивые рационализаторы-упростители утверждают, что в гостиничном номере ничего, кроме постели, стола и стула, не нужно; остальное, дескать, командировочному ни к чему. Как будто бы в гостиницах живут только командировочные. А если ты собрался отдохнуть в гостинице? А если ты проводишь отпуск не в санатории, не в доме отдыха, не у родных в деревне, а в путешествии?

Тем, кто полагает, что гостиницы строятся только для приюта командировочных, наш номерок послужил бы идеалом. В него с трудом была втиснута кровать; возле кровати оставалось лишь столько места, что на нем кое-как размещались небольшой столик и один стул; второй квартирант должен был сидеть уже на кровати.

Створы окна были захлопнуты, ставни закрыты, шторы задернуты, но в комнату — и на четвертый этаж! — все равно проникала удручающая сырость. Мы лежали на влажноватых простынях, под головой у нас были влажноватые, попахивающие сырым пером подушки, мы закрывались одеялами с влажноватыми пододеяльниками. А ведь за окном был итальянский апрель, а не ленинградская поздняя осень. С величайшим сочувствием думалось о венецианских ревматиках: тяжелая у них жизнь.

Проснулись от рева голубей.

О голубях принято писать и говорить, что они-де воркуют. В стихах и отчасти в лирической прозе их воркование выглядит очень мило: еще бы — голубиное воркование! Но на деле это, конечно, рев. Однообразный, немузыкальный, глухой и беспокойный.

Отдергивая шторы и распахивая ставни, мы полагали, что тотчас увидим малахитовую зелень лагун, жемчужно-дымчатые дальние просторы с цепью снежных вершин на материке, струи Большого канала, несущего изогнутые тела гондол, увидим дворцы и храмы из мраморных и золотых кружев. В каком-нибудь метре от своего окна мы увидали серую облезлую стену, которая во взаимодействии со стеной нашего здания образовывала глубокую, до самой земли, тесную темную щель; вверху, над стеной, было немножко почти черной от копоти черепичной

кровли, на которой сидели разожравшиеся мрачные голуби и голубицы.

Все изменилось, когда мы вышли на берег Большого канала, к пристани катерков, когда устроились на скамьях мотоскафо, который, стуча моторами, гоня к берегам волну, довольно быстро поплыл по каналу меж двумя рядами точно на парад выстроившихся прекрасных зданий. Да, вот это уже была Венеция, Венеция песен и легенд, Венеция, навечно вошедшая в историю и в литературу мира.

Нам указывают на Палаццо Лабиа, говорят, что в нем отлично сохранились фрески Тьеполо. Хотелось бы взглянуть на изображенную в красках историю Антония и Клеопатры, но нельзя, в Палаццо Лабиа вас не пустят: он частная собственность. «Мой дом — моя крепость». Вам указывают на украшенный цветными колоннами фасад дворца Вендрамин-Калерджи, на массивные, внушительные стены Палаццо Пезаро, на десятки иных зданий. Тебе кажется, что ты в музее, где собраны архитектурные богатства всех веков, так ошеломляюще разнообразны и неожиданны здания на Большом канале. Этот парадный строй можно было сравнить с шеренгой солдат, в которой вперемежку стояли бы преображенцы Петра Первого, гвардейцы Павла и гренадеры Екатерины, гусары Кутузова и пластуны Платова. «Солдат» нашего времени тут нет, конечно. Все только века, века, и века минувшие.

Наискось от Палаццо Пезаро открывается фасад еще более красивого здания — Ка д'Оро. «Золотой дом» стоит здесь более пяти веков, и позолота, из-за которой он получил свое название, сошла за это время. Но мрамор лоджий, тонкий резной узор по фасаду — они сохранились прекрасно, и дом этот и сейчас воспринимаешь как воистину золотой.

В Венеции могут показать, где жил Марко Поло, где останавливался Байрон, где гулял разносторонне талантливый проходимец Казанова и где работал гениальный Тициан; даже покажут жилища, видавшие-де под своими кровлями Отелло и Дездемону. Легенды, предания и история здесь так перемешаны, что почти уже и не отделишь их друг от друга.

На правом берегу канала нам указывают на готические аркады, что-то объясняют. Но и без объяснений не трудно догадаться, что это знаменитая Пешерия — главный рыбный рынок, на котором продаются только что добытые рыбаками «плоды моря» — всевозможная рыба,

креветки, лангусты, осьминоги. Мы видим их на набережной в корзинах, на лотках, в сетках. Запахом рыбы насыщен весь воздух вдоль Пешерии.

Слово «Пешерия» — рынок рыбы — заставляет вспомнить другое слово: «Эрберия» — рынок овощей, фруктов и цветов. Он тоже где-то на Большом канале. Но, может быть, его уже нет? О нем читано в старых книгах, в книгах тех времен, когда венецианские бездельники, проигравшиеся, пресытившиеся, просидевшие ночь за вином, за картами, шли на рассвете к Эрберии — подышать чистым морским воздухом.

Существует Эрберия или ее уже нет, проверить не удалось: за Пешерией канал сделал крутой поворот. Открылся мост Риальто — знаменитая мраморная арка Понте Риальто, переброшенная через канал четыре сотни лет назад и так прочно вошедшая в литературу, что Венеции без нее в литературе и нет.

Мотоскафо прошел под прохладным каменным сводом и причалил к пристани. Отсюда, держась самой торговой улицы Венеции — виа Мерчерия, мы шли пешком к площади Святого Марка.

Пьяцца Сан-Марко (или просто Пьяцца, потому что второй площади в Венеции нет, есть еще соседняя Пьяццетта да совсем маленькие площаденки — кампо) — скорее не площадь, а огромная парадная зала Венеции длиной в сто семьдесят пять метров и шириной по одному торцу пятьдесят шесть, по другому — восемьдесят два метра. Мощенный, как паркетом, мраморными плитами, этот зал с севера и с юга обрамляется сказочными дворцами Старых и Новых Прокураций; на западе его замыкают аркады Фаббрика Нуова; а на востоке четвертую стену образует фасад собора Святого Марка — сооружения, каких на свете больше, конечно, и нет. Он строился в IX — XI веках, но строительные работы продолжались и позже, вплоть до XV века, и на архитектуре, на отделке собора отразились многие эпохи. Если дворцы на Большом канале представляют собой каждый в отдельности разные века, то собор Святого Марка вобрал в себя все века вместе. Он вобрал в себя несметные сокровища, какие захватывали в различных странах поколения венецианских воинов и купцов. Крестоносцы тащили сюда мрамор цветных колонн из удивительных дворцов владык Ближнего и Среднего Востока; сюда тащили яшму и гранит, порфир и бронзу, глыбы скульптур и пластины

с резьбой; для украшения фасада привезли даже четверку золоченых коней из Константинополя, которые попали в Константинополь чуть ли не с Триумфальной арки Нерона в Риме.

Тучи голубей, то взлетая, будто от порывов ветра, то вновь опадая хлопьями сизого снега на камни площади, вились перед собором. В этой голубиной метели, в свисте подымающих ветер тысяч теплых крыл, трещали механизмы кинокамер, щелкали затворы фотоаппаратов: туристы, говорящие на всех языках мира, запечатлевали друг друга с голубями на ладонях, на плечах, на головах. Голуби площади Святого Марка жирные, об этом печатно и устно говорится всеми, кто побывал в Венеции. И главное — они очень дисциплинированные. Ни один из здешних голубей не подлетит к лотку торговца зерном, даже если торговец, уходя по своим надобностям, оставит на какое-то время лоток без присмотра. Но едва торговцу заплачено за кулек и кулек перешел в руки туриста, как на него обрушиваются сотни алкающих клювов.

В каком-то старом журнале мне запомнился фотографический снимок, на котором прямо перед фасадом Святого Марка была видна большущая груда камней и кирпича. Надпись сообщала, что это развалины знаменитой Кампанилы — колокольни, которая простояла более четырехсот лет до перестройки, а затем еще около шестисот лет после перестройки, но вот летом 1902 года взяла и рухнула. Сообщалось еще и то, что фундамент этого довольно высокого и тяжелого сооружения лежал на глубине всего пяти метров, что лежни, на которые когда-то положили первый ряд камней фундамента, подгнили, и колокольня, дескать, держалась истинным чудом. Зыбкости ее опор не учли и принялись производить какие-то ремонтные работы без должной предосторожности; сняли каменные плиты стен на стыках с листами свинцовой крыши, в образовавшиеся пустоты повалились кирпичи, стены затрещали, и Кампанила «пошла». Когда она грохнулась, от сотрясения пострадали даже здания Прокураций и Библиотеки, а во Дворце дожей — знаменитом Палаццо Дукале — еще больше разошлись старые трещины.

Позже, как было сказано в журнале, обломки колокольни — камни, кирпич, мусор — после специального церемониала погрузили на две баржи, отвезли за пять миль

от берега и торжественно похоронили в море. Многие горожане при этом плакали, как над покойником.

И вот она, стройная Кампанила, без которой невозможен силуэт Венеции, вновь стоит на своем прежнем месте. В 1912 году ее возобновили точно в таком же виде, какой имела и древняя колокольня.

Постояв возле нее, идем к собору, входим под его выложенные золотой мозаикой сверкающие византийские своды. В радиофицированном храме идет служба; перед микрофоном в алтаре что-то читают; горят электрические свечи; пахнет курениями, возможно, что тоже современными, синтетическими.

Обращаем внимание на древний мраморный пол. Он неровный, в буграх и промятинах. Время сделало свое дело, волны лагуны расшатали фундамент в зыбком островном грунте. Говорят, что в Венеции, когда задувает сильный ветер с моря, вода подымается настолько, что на добрых полметра покрывает площадь Святого Марка перед собором.

Где-то под этим взбугрившимся полом — точнее, под алтарем, покоится прах нынешнего патрона Венеции — евангелиста Марка, которым был вытеснен ее прежний патрон — грек Феодор. В какие-то очень давние времена — так объясняют церковники эту замену — означенный Марк возвращался из Александрии в Аквилею, но ударила буря, и судно выбросило на берег острова Риальто. Оказавшись на суше, Марк вздремнул и увидел сон: будто бы с неба к нему слетел ангел и принес весть о том, что на островах в лагуне возникнет город, будет тот город богат и славен и кости Марка будут покоиться в нем.

Так, в общем-то, и получилось. Во времена более поздние, памятуя о сне святого, два венецианских купца с помощью греческих священников заполучили гроб с останками, или с тем, что выдавалось за останки святого Марка, погрузили его тайно на корабль в Александрии и, чтобы турки не обнаружили, завалили святыню свиными тушами, в которых-де, по соображениям религиозным, мусульмане копаться не станут.

Таковы предания. А факты заключаются в том, что храм над тем, что здесь считают останками евангелиста, венецианцы построили, стащив на его постройку бездну художественных ценностей народов Азии и Африки. Храм не похож на строгий Пантеон древних римлян, он

не похож на величественный ватиканский собор Петра,— он совсем особенный, он поражает богатством и великолепием, путаным, разностильным, но все же не показным, не фальшивым, а подлинным.

Выйдя из собора Святого Марка, останавливаемся перед Дворцом дожей — Палаццо Дукале. Долго стоим перед этим творением рук человеческих, которое так удивительно, так необычно по своим решениям, что, даже стоя перед ним, касаясь рукой его камней, думаешь о нем не как о реальности, а как о блестящей иллюстрации к сказкам Востока. Кто-то о Палаццо Дукале сказал, что строили его обычно, а выстроив, перевернули низом вверх и верхом вниз, поэтому так массивна верхняя часть здания и так легка, воздушна нижняя — вся из стрельчатых арок, образующих галереи первого и второго этажей, вся из лоджий, из тонких и стройных колонн.

Розоватый мрамор, которым отделаны белые стены Палаццо, создает впечатление, будто бы по нему всегда, в любую погоду, скользит тихий и ровный свет утренней зари.

Минуя ворота, которые носят название Порта делла Карта, проходим на каменный двор Палаццо, заглядываем в глубочайшие колодцы, которые обязательны для дворов Венеции, любуемся галереями внутренних фасадов, Лестницей гигантов, которую охраняют два каменных великана: Марс и Нептун. Затем поднимаемся на второй этаж, а дальше по «Золотой лестнице» идем еще выше, в парадные залы этого необыкновенного архитектурного ансамбля.

Невольно размышляется здесь о минувшем, о том, что отделено от нас долгими, страшными веками. Гениальная, смелая кисть Тициана и Тинторетто помогает тебе в этом. Проходишь мимо портретов угрюмых, злобных стариков, видишь желтые лица, холодный, до беспощадности презрительный взгляд выцветших глаз под седыми бровями. Это дожи, властители Венеции, которые вершили судьбы своих подданных.

Страшно вершились эти судьбы...

Избирали дожей в роскошном «избирательном» зале.

Заседали они в огромнейшем зале Большого Совета, в котором находится картина Тинторетто, как утверждают специалисты, самая большая в мире: ширина ее двадцать два метра, высота — семь, и размещено на ней до шестисот фигур.

Но были и иные залы: зала Совета десяти, зала Трех высших членов Совета десяти, или Трех инквизиторов; была передняя — перед залой Трех инквизиторов, где рядом со входом находилась врезанная в стену мраморная львиная голова с разинутой пастью; в эту пасть венецианцы опускали кляузы и доносы друг на друга. Львиной головы уже нет, ее когда-то уничтожили, но отверстие осталось — жуткая пасть, которая сожрала тысячи и тысячи жизней. Вот они, эти камеры инквизиторов, куда человека тащили по доносу завистника или соперника. Все здесь мрачно, угрюмо, сумрачно, хотя и великолепно.

Через «Мост вздохов», поднятый высокой аркой над каналом, узников вели дальше, по темным лестницам, в сырые глубины «каменных мешков», в камеру пыток с ее каменным полом, по которому, струясь к каменным желобам, лились реки человеческой крови.

В этом доме, в этом Палаццо, в одних стенах, под одной кровлей было все необходимое для отправления функций государственной власти республики на островах. Все «канцелярии», все «присутственные места», все, что соответствует нынешним парламентам, сенатам, судам, главным штабам современных стран Европы, все это Венеция сосредоточила в одном месте — во Дворце дожей. Здесь были даже тюрьмы — одна под свинцовой кровлей дворца, жуткая тюрьма «Пьомби», ныне уничтоженная, и другая — вот эти «каменные мешки», этажами уходящие в фундаменты здания. Были здесь и места казни. Одно — возле Дворца на набережной, между колонн, другое — по соседству с «мешками», тайное.

Дела венецианского государства эти страшные желтые старики с желтыми глазами тигров-людоедов могли вершить, не выходя из стен Дворца. Им это было очень важно: они знали историю, и история учила их осмотрительности. Из одной старинной работы о далеком прошлом Венеции, принадлежащей перу П. Мольменти, я выписал два десятка строк: «В 717 году Эраклея была сожжена жителями Эквилио, предварительно убившими дожа Анафеста и его сторонников. В 737 году дож Орсо был убит восставшим народом. В 741 году старший военачальник был отстранен от власти и затем утоплен. В 755 году Галла восстает против Диодара, заключает его в тюрьму, ослепляет и садится на его место; но уже через год восставший народ подвергает Галла таким же

пыткам, каким он подверг своего злополучного предшественника. В 764 году нобили составляют заговор, свергают с престола дожа Монегария и вырывают у него глаза. В 801 году дож Джиованни Гальбайо, сторонник византийцев, посылает в Градо своего сына с отрядом военных кораблей, чтобы убить тамошнего патриарха, сторонника франков. Сын дожа берет приступом город, захватывает патриарха и сбрасывает его с верхушки самой высокой башни замка. Но уже через три года и дож и его сын Маурицио принуждены бежать из Венеции, чтобы не стать жертвами заговора, составленного племянником убитого патриарха; при этом партия франков снова становится у власти и избирает дожем Обелярия». Автор работы говорит: «Вся история этого периода представляет собою какую-то оргию огня и меча».

Но разве только *этого?* Кровь продолжает литься и во все последующие века. Дожи построили дворец-крепость, дворец-государство и прятались в нем. Всей силой имевшейся у них власти они защищали свое владычество над подданными, зорко следили за соперниками, настораживали слух, как только где-либо возникал шорох зреющего заговора.

История свидетельствует о том, что в борьбе за власть, в борьбе политической противники никогда не примирялись. Правители и тираны могли простить любое уголовное преступление, но они беспощадно казнили даже по одному только подозрению в преступлении политическом, в покушении на их власть; человек мог погибнуть из-за одного неосторожного слова, из-за одного взгляда, не говоря уже о таких «причинах», как клевета и донос.

В одном из небольших залов Дворца, где собраны образцы старинного оружия и где какой-то бойкий американский папаша среди туристской толчеи снимал на кинопленку свою жену и дочку, с двух сторон нежно обхвативших стальные доспехи, которые Генрих IV подарил Венеции, я увидел два огромных меча с узкими длинными обоюдоострыми клинками и очень длинными рукоятями. Клинки мечей, подобно кухонным ножам, были как бы выедены на половине своей длины — от неоднократной заточки в «рабочих» местах.

— Поработал кто-то этими мечами?

— Да,— ответил гид,— работы было много. Это те самые мечи, которыми в Венеции рубили головы приговоренным к смерти.

Вновь мы стояли перед портретами дожей, перед полотнами Тициана и Тинторетто, прославивших своим искусством родную им Венецию.

Две кисти, две манеры, две жизни, две судьбы...

Тициан Вечеллио, мастер ярких красок — красных, голубых, золотистых, художник по манере ровный и спокойный, создатель безукоризненно блестящей художественной формы, человек, влюбленный в жизнь, но не очень разборчивый в друзьях и знакомых (я вспомнил тут виденный во Флоренции портрет Пьетро Аретино), избегавший острых конфликтов, мудрый мудростью преуспеяния; за его работы ему платили огромные деньги, ему покровительствовали и дожи в Венеции и папы в Риме, его окружали вниманием императоры и короли. В его мастерской побывали монархи Франции и Польши. Ему позировал Карл V. Утверждают, что однажды, когда Тициан уронил кисть на пол, венценосец бросился ее поднимать. Он дал художнику звание рыцаря и графа империи. Тициану подражали, за ним следовали, у него учились. Можно назвать добрый десяток живописцев Венеции, которые были его учениками и среди работ которых, говорят специалисты, найдется по крайней мере по одному произведению, которое можно приписать самому Тициану.

Тициан работал много десятков лет, беря от жизни все, что возможно, не особенно проникая в ее глубину, в законы ее развития и движения и не особенно обременяя себя раздумьями об этом. На его полотнах шумные яркие венецианские карнавалы, холеные лица и богатые одежды вельмож, руки красавиц, пена кружев и волны бархата, сверкание боевых доспехов и драгоценных камней. Он работал не переставая и не уставая. Чуть ли не накануне столетия своей жизни он начал новую картину. И он бы закончил ее, если бы не эпидемия чумы.

И рядом Якопо Тинторетто — ученик Тициана, мальчиком пришедший к нему учиться в ту пору, когда великий художник уже давно вступил в зрелый возраст. Ничто в жизни не давалось Тинторетто легко, все бралось с бою, все достигалось упорным трудом. Началось с того, что учителя одолела зависть к ученику, и Тициан под каким-то более или менее благовидным предлогом выпроводил Тинторетто из школы. Якопо оборудовал себе примитивную мастерскую, в ней не было, конечно, ни античных образцов, ни натурщиков, ни натурщиц;

вместо них молодой художник собственными руками соорудил манекены и наряжал их в соответствующие одежды; он раздобыл рисунки с работ Микеланджело, ходил тайком снимать копии с картин Тициана; он боролся, упорно боролся за свое место в искусстве. И если о Тициане один исследователь сказал, что тот был «художник-эхо», то, по определению того же исследователя, Тинторетто следует считать «художником-голосом», голосом времени, голосом эпохи, народа. Он тоже прожил долго — около восьмидесяти лет, он тоже работал много. Но работал беспокойно и жадно. Его техника не была такой совершенной, как у Тициана, но если полотна Тициана ласкают глаз и приятно трогают чувства, то работы Тинторетто глубоко волнуют, задевают не только чувства, но пробуждают и мысль. Тинторетто работал не для того, чтобы жить, он жил работой. Он писал типы простого народа, простых работников и простых воинов.

Кто-то обратил внимание на то, что если Тинторетто, подобно Тициану, брался иной раз за портреты вельмож — вот они в залах Венеции! — то в противоположность Тициану изображал их отнюдь не такими величественными и отнюдь не в таких роскошных одеждах. Сенаторские тоги под кистью Тициана сверкают бархатом, золотыми украшениями, самоцветами. Под кистью Тинторетто они линяют, превращаются в долго ношенное старье. Тинторетто хотел видеть и писать только правду, он не лакировал, не скользил по поверхности, он шел в глубину жизни, врывался в нее. Стоя перед его огромнейшим «Раем» в зале Большого Совета, поражаешься теми многосотенными толпами людей, которые художник изобразил на полотне. На первый взгляд перед тобою хаос. Но чем дальше всматриваешься, тем больше видишь художественного порядка, тем больше видишь живых реалистических движений.

Тинторетто и в жизни был не таким, как Тициан. Он не заботился о впечатлении, какое производил на сильных мира сего. Он был резок и прям в суждениях и поступках. Известен случай все с тем же Пьетро Аретино, который решил печатно ославить Тинторетто. Художник взял пистолет, пришел к пасквилянту, и пасквили прекратились.

Иной раз говорят: не важно, кто как жил, какие идеи исповедовал, к чему стремился в жизни; важно то, что

он после себя оставил, важны его творения. Конечно, творения важны: художник умирает, творения остаются. Но разве легко оторвать их от личности автора? Даже когда видишь скульптуры безвестных древних мастеров, стремишься представить себе того, чей резец вырубил такое чудо из мрамора.

Празднично сверкают краски на полотнах Тициана. Время не коснулось их. Сильно потемнели краски на полотнах Тинторетто. Но, отдавая дань одному великому мастеру, преклоняясь перед его мастерством, больше симпатизируешь личности второго, кипучего, беспокойного, того, который, если заказчик жаловался на высокую цену картины, был способен отдать ее даром, так был он творчески щедр и неиссякаем.

Уходим из Палаццо дожей, покидаем мрачные залы, хранящие полотна великих. Вновь плывем на мотоскафо. Плывем по тому отрезку Большого канала, который, если ехать от вокзала, лежит за мостом Риальто. Вновь дворцы и дворцы с пестрыми сваями перед ними — остатками того прошлого, когда к этим сваям, как кони к коновязям, привязывались гондолы гостей.

Один из наших товарищей, советский архитектор, сказал: «А вы заметили, что во Дворце дожей вибрировал пол?» Да, мы заметили. Не сразу в это поверили, но нечто беспокоящее ощутили сразу.

Зашел разговор о будущем Венеции. Город на воде давным-давно утратил свое великолепие. Дворцы его вдоль Большого канала облезли снаружи и запущены внутри. Их фундаменты подмыты водой, стронуты с места, фасады дали перекосы, изгибы, и многие из них выглядят так, как человеческие лица, искаженные гримасой. Мало того что делает море, что делает время,— губительная работа усилилась с появлением вот этих повсюду снующих моторных катеров, этих мотоскафо и вапоретто. Они подымают волну, от их моторов и машин вода передает толчки фундаментам зданий. Так день за днем, год за годом. Слагаясь воедино, толчки обретают силу ударов; когда-нибудь они выполнят работу внушительного землетрясения.

Говорят, что муниципалитет Венеции обратился к ученым мира с призывом придумать что-нибудь для сохранения умирающего города.

Придумать? А разве нельзя запретить эти катера и вернуться к спокойным гондолам? Их осталось сейчас

что-то около четырех сотен, и пользуются ими только туристы; утверждают, что местному жителю плыть теперь в гондоле так же нелепо, как москвичу кататься по улице Горького на тройке. Но во имя спасения родного города можно и на тройках поездить в конце-то концов.

Однако нет, пусть лучше рушится город, чем сократятся доходы частных пароходных фирм, владеющих этими катерами. О каком-то ущемлении моторного флота в Венеции не может быть и речи. Частная собственность, капитализм! Они убивают людей, тысячи тысяч людей. Они убьют и этот город. Погибнет он не сегодня и не завтра, а на век хозяев мотоскафо его хватит. О чем беспокоиться!

Жаль удивительного города, города-музея, города, подобного которому в мире нет и не будет. Думаешь: ну зачем, почему люди поселились на этих зыбких островах? На материке им не было места?

Наполеон, побывавший здесь в кампанию 1796—1797 годов, так высказался о Венеции в своих очерках: «Венеция, основанная в V веке обитателями Фриула и Падуи, бежавшими в лагуны, чтобы оградить себя от нашествия варваров, занимала сначала местоположение Гераклеи и Клоджии; затем, в связи с церковным расколом, вызванным Арием, патриарх Аквилеи переселился со своим причтом в Градо. Градо сделался столицей. Первое время венеты подчинялись законам и консулам, назначаемым Падуей. В 697 году венеты в первый раз выбрали собственного дожа. Французский король Пипин построил в Равенне флотилию и принудил венетов удалиться на Риальто и шестьдесят окружающих его островов, где лагуны защищали их от враждебных покушений этого короля. Это и есть место, где расположена современная Венеция».

Французский генерал, а впоследствии и французский император, не был излишне лиричен, он был расчетлив, сух, в его суждениях преобладал материализм.

Иначе излагают происхождение Венеции местные легенды и предания. По одной из них дело обстояло так. Когда к городу Альтино приближались полчища Аттилы, с городских башен поднялись все находившиеся там птицы. В клювах они уносили и своих птенцов. Жителей объял ужас. Они воззвали к богу — как им быть: остаться ли в городе, уходить ли от него сушей или погрузиться

на корабли? Голос с неба сказал им: «Поднимитесь на самую высокую башню и взгляните на восток».

На востоке они увидели плоские, низменные острова в лагунах. Господь бог указывал горожанам путь к спасению.

Когда видишь селения наших горцев на неприступных кручах, где жить тяжело и неудобно, когда видишь русские деревни среди болот или в сырых оврагах, то это вовсе не означает, что люди забрались туда по своей прихоти, потому что им так понравилось. Одни бежали от сильного и жестокого завоевателя, других с хороших земель вытесняли сначала князья и бояре, затем дворяне и помещики.

Жители прибрежной Италии бежали в лагуны, на илистые гнилые острова, спасаясь от конницы свирепых степных кочевников. Тяжелые условия жизни заставили их пойти на всевозможные выдумки, жить в напряженном созидательном труде. Уже через сотню лет слава о них летела вдоль средиземноморских побережий, проникала в глубь материка. Один поэт, только и прославившийся этими словами, сказал, что «Рим был создан людьми, а Венеция богами». Но это лишь красиво звучало, а истине не соответствовало нисколько. Пожалуй, как никакой иной город на земле, Венеция — плод рук человеческих, плод упорного, неутомимого и вдохновенного труда человека. Сохранилось письмо Кассиодора — министра готского короля Теодориха. Кассиодор писал о жителях островов, что на своих кораблях они не боятся ни бурь, ни речных течений; что, укрепляя почву фашинами, они возводят дома, похожие на гнезда морских птиц, что строят плотины и насыпают валы из песка для преграды волнам, что все они деятельно заняты добычей и сбытом морской соли, более ценной, чем даже золото.

Так было в первые времена, в первые столетия, пока сохранялась опасность вторжения противника с материка, пока эта общая опасность объединяла людей. Но опасность миновала, сгладились страшные воспоминания прошлого, и началось другое — началась вражда острова с островом, одного трибуна с другим; пошли ссоры и тяжбы с лангобардами на материке из-за прибрежных земель. Тогда учредили титул главы государства, выбрали первого дожа, который был призван прекратить междоусобицу и объединить дробящиеся силы островитян.

Силы были объединены, начался рост и процветание Венеции. Но вместе с тем началось одновременно и то, что историк назвал «оргией огня и меча». Захваты, восстания, дворцовые перевороты, чаши с ядом, удары кинжалами и мечами, «львиные пасти» для доносов, мрачные залы Трех инквизиторов, «Мост вздохов», дыба и раскаленное железо, «каменные мешки» и темницы «Пьомби» под свинцовой крышей. Длинные мечи палачей стачивались от поистине непрерывной «работы».

Жирела Венеция, владычествовала на морях, богатую добычу доставляли на острова ее бесчисленные корабли. Уже не на птичьи гнезда были похожи жилища, возникавшие вдоль каналов,— строились вот эти сказочные дворцы, мимо которых бежал наш тарахтящий мотоскафо. Это был город богачей. Утверждают, что при переписи 1582 года в нем обнаружили только сто восемьдесят семь нищих. «Дух древних римлян», царивший здесь, по словам одного из историков, в былые времена, уступал духу торгашескому, духу разврата и пресыщения, когда уже не накапливают, не создают, а только проедают и проматывают. Рядом с гениями Возрождения находили себе питательную почву в Венеции проходимцы и авантюристы всех мастей — от блистательного друга Тициана Пьетро Аретино, который, правда, был и литератором, и знатоком искусства, но, как уж очень деликатно сказано в одной недавно вышедшей у нас книге, был при этом и «истинным сыном Возрождения, не стеснявшимся ради достижения своих целей применить любые средства»,— до Джакомо Казановы, похождения которого известны всему читающему человечеству.

Время и люди сделали свое дело. «В 1796 году,— писал дальше Наполеон,— эта республика находилась в упадке и была только тенью былой Венеции. Три поколения сменились, не ведя войны. Один вид ружья,— замечает он иронически,— заставлял трепетать этих недостойных потомков Дондоло».

Смерть к былой блистательной Венеции подступала медленно и незаметно, без взрывов и потрясений. И вот они, полумертвые, утратившие позолоту и сказочный блеск, сонно смотрящие тусклыми окнами в грязные воды каналов, каменные свидетельства шумного и ослепительного прошлого, эти дворцы, под фундаменты которых медленно, но верно, год за годом, капля за каплей,

подкапываются неторопливые, уверенные в конечном исходе теплые воды Адриатики.

В первые часы старая Венеция по-прежнему ослепляет; но чем дольше всматриваешься в нее, чем больше вслушиваешься в шорох времен под ее черными от копоти кровлями, тем грустнее становится на душе, и первоначальный восторг, первое удивление уступают место жалости. Знаешь, что это когда-то кончится, капли подточат камень, и все будет похоронено под водой, как была под пеплом погребена Помпея. Но Помпею люди смогли вновь вытащить из мрака на солнечный свет. Венеция же, уйдя когда-нибудь в пену морскую, вряд ли сможет из нее возродиться.

7. «ХОЗЯИН ОТЕЛЯ» И СИНЬОРА НИНА НИКОЛАЕВНА

Брожу по векам в силу обстоятельств, в силу того, что к сегодняшней жизни, к сегодняшним людям Венеции не так-то легко прорваться. Не многие из них живут в обветшалых дворцах на здешнем венецианском Невском проспекте — на Большом канале. Большинство венецианцев ютится в каменных угрюмых гнездах, нависших над узкими гнилыми каналами, в которых не ощущается никакого движения воды: фундаменты этих зданий позеленели от водорослей и плесени. С улочек пошире, с таких, по которым можно идти четверым в ряд, люди сворачивают в совсем узенькие улочки, туда, где двое расходятся боком и исчезают в отверстиях старинных подъездов.

Кто они, эти озабоченные, утомленные горожане в поношенных дешевых одеждах, всем своим видом, всем поведением так отличающиеся от праздных, гуляющих, едящих, покупающих туристов, которыми заполнена Пьяцца, Пьяццетта и все кампо Венеции?

Это служащие отелей, служащие и мелкие хозяева лавок и лавочек, служащие и рабочие пароходных компаний. Днем они на работе, а в вечерний час их увидишь только возле лотков с моллюсками и рыбой, возле корзин с овощами и фруктами, в булочных и в бакалейных лавчонках. Но есть среди них люди и иных профессий.

С древних времен Венеция славилась своими ремеслами. Уже давным-давно здесь существовали литейные

мастерские — один из дожей IX века преподнес в подарок императору Византии колокол местного венецианского литья. Уже давным-давно здесь были ткацкие и красильные мастерские, были фабрики витражей; производили здесь бархат, ткани — шелковые и льняные. Были меховщики, чеканщики по серебру и золоту, резчики по кости — какой-то дож X века презентовал императору Оттону III трон из слоновых бивней и серебряные часы ювелирной работы. Были шерстопряды, иконных дел мастера, ювелиры — авторы знаменитых тонких цепочек из золота, гранильщики драгоценных камней. Здесь умели с великим вкусом производить все, что относится к категории роскоши.

С конца XIII века производят на островах и художественное венецианское стекло. Когда-то разнообразию его форм не было предела. Стекло покрывали цветными эмалями и позолотой, в него вплетали разноцветные нити, приготовляли стекло так, что на его поверхности сами собой рисовались тончайшие узоры из мелких трещинок. Знаменитое старинное стекло Венеции мы видели не раз в музеях Москвы и Ленинграда, видели его в Версале, во дворце Питти во Флоренции, где собраны фамильные сокровища Медичи.

Ничего подобного в Венеции сейчас уже не делают. Лавки венецианского стекла полны всяческими изделиями; по цене они не очень-то дешевы, но все же это уже ширпотреб, так называемая массовая продукция. Среди этих изделий немало отвратительной аляповатой стряпни. Но попадаются тут и такие вещицы, что, рассматривая их, о тех, кто их делает, думаешь с уважением.

Говорят, что в Венеции до двадцати пяти заводов и заводиков, производящих художественное стекло. Центр этого производства уже семь веков находится на острове Мурано. Мы задумали съездить в Мурано и посмотреть на нынешних стеклодувов — потомков венецианских мастеров.

Казалось бы, ну что тут сложного? Пристань катеров, отходящих в Мурано, находится рядом с нашим отелем: сойти на пристань, дождаться очередного катера, сесть на него и плыть. Но нет, мы добрый час толпились на пристани, пропуская один полупустой катер за другим. Мы недоумевали, мы волновались оттого, что столь бездарно тратим дорогое время. Мы вновь и вновь подходили к витринам соседних лавочек, вновь среди бутылок

местного вина рассматривали бутылки с пестрыми этикетками, которые, на удивление наше, были украшены российскими двуглавыми орлами, и перечитывали надписи — на одних из них: «Vodka» латынью и по-русски: «Кеглевич», на других: «Ivan Sergiu Stefanof». Развлекались как могли.

Дорогое время шло. К нашей группе по одному, по двое примыкало все больше какого-то незнакомого народа. Одни из этих типов были мрачны и молчали; другие беспрестанно улыбались с таким радушием, что вот-вот бросятся тебе на шею; они демонстрировали знание русских слов вроссыпь. Наконец появился черноусый, в меру худощавый, в меру упитанный приветливый синьор в ярко-желтом пальто; заговорив по-русски, он назвался хозяином какого-то отеля, сказал, что очень любит русский язык, изучает его с преподавателем и вот для практики решил побыть в этот день с нами.

Группка наша оказалась в довольно плотном окружении энтузиастов русского языка, именно в этот день, а не в какой другой, пожелавших провести время в нашем обществе. Хотя на черноусом синьоре было пальто ярко-желтого цвета, мы все же довольно быстро догадались, что оно из того же самого гардероба, к которому принадлежали и знаменитые российские пальто горохового колера. И еще меньше труда понадобилось, чтобы догадаться, почему мы оказались в таком почете именно в тот день. В тот день мы ехали на завод, пусть на маленький, пусть полукустарный, но все-таки завод, где работают рабочие. Мы были красной опасностью, рукой Москвы: этой руке надо было во что бы то ни стало помешать соединиться с руками рабочих из Мурано.

Разобравшись в обстановке, мы перешли на юмор. «Хозяина отеля» расспрашивали об его отеле, о том, сколько в нем номеров, сколько служащих, как идут дела, каков доход. «Хозяин», видимо, плохо знал дела своего отеля, — довольно прилично беседовавший по-русски до этого, он начал шепелявить и произносить русские слова до крайности невнятно. У него мало практики, он не на все может ответить квалифицированно.

Так, сопровождаемые почетным эскортом энтузиастов русского языка, мы отплыли в Мурано. Мы плыли по зеленым мутным волнам лагун, мимо острова Сан-Микеле, у которого нет естественных берегов, а вместо них кирпичные глухие стены, отвесно уходящие в воду. Над

стенами печальные конусы кипарисов. Остров Сан-Микеле — кладбище Венеции.

Минут тридцать — тридцать пять ходу, и мы в Мурано. На этом «пригородном» острове все очень древнее; может быть, древнее даже, чем на островах вокруг Риальто; но значительно проще и тусклее. Здесь нет роскошных дворцов. Здесь заводы и фабрики, здесь проживает главным образом трудовой народ.

Идем по заводским дворам, заходим в цех, где ярко светятся печи с расплавленной стеклянной массой. Очень жарко. Жара усугубляется еще и тем, что энтузиасты русского языка — их на каждого из нас приходится по штуке — плотно обступают нашу группу.

Нам говорят, что сейчас придет хозяйка, жена хозяина, она будет давать объяснения, она знает русский язык, она из России.

Полагаем увидеть дочь эмигрантов, а быть может, и какую-либо из аристократических старух, бежавшую лет сорок с лишним назад из Петербурга или Ялты вслед за разбитыми полчищами Юденича или Врангеля. Но к нам, смущенно улыбаясь, выходит здоровая плотная деваха лет тридцати, с румянцем во все щеки.

— Здравствуйте,— говорит она по-русски с некоторым акцентом. — Меня зовут Нина Николаевна. Я немножко забываю русский язык. Вы меня извините.

Очень обстоятельно рассказывает она нам о стекольном производстве, не переступая, правда, пределов того, что у нас знают школьники четвертых классов.

— Наши рабочие,— говорит она,— очень хорошо зарабатывают. До пяти тысяч лир в час.

— Ого! — думаем. Неплохие деньги. За восемь часов это значит сорок тысяч лир. В месяц уже образуется миллион лир, в год двенадцать миллиончиков! Жидковата золотая основа у итальянских денег, покупательная способность их невысока, но все же — в месяц миллион! Этак годик-другой поработать у Нины Николаевны, и сам во владельцы завода выбьешься. Чудаки эти стеклодувы! Почему они до седых волос все стоят и стоят возле жарких огненных печей, вместо того чтобы на деньги, заработанные у Нины Николаевны, строить собственные предприятия?

А какому-то из эскортирующих нас энтузиастов названное Ниной Николаевной показалось даже еще и малым. Он сказал:

— Не пять тысяч лир в час, а до десяти тысяч.

Врать так уж врать. Дескать, не вздумайте подбивать рабочих на революцию, у вас ничего не выйдет, они не просто рабочие, они рабочие-миллионеры.

«Миллионеры» с большим дружелюбием смотрели на нас, улыбались, демонстрировали свое мастерство. Седой, но чернобровый стеклодув, с лицом сухим и благородным, действуя трубкой, как подлинный артист, красиво, точно, изящно, из большой мутной капли расплавленного стекла минут за пять, за семь изготовил сначала пестрый фонарь, затем фонарь у него превратился в сверкающий диск, а в конце концов получилось большое яркое блюдо для фруктов — все из переливавшихся узорами цветных волокон.

Несмотря на суету лиц сопровождающих, мы все-таки пожали руку искусникам и, ведомые Ниной Николаевной, отправились на склад готовой продукции. Там, на стеллажах, было немало привлекательных вещиц, но очень в общем-то дорогих.

Хозяйка всячески расхваливала свой товар, желая сбыть нам красные бокалы, оправленные «под старину» золоченым металлом, цветные рюмки, стеклянные фигуры дам и кавалеров в старинных одеяниях, пепельницы, блюда, вазы, фигурки зверей и рыб.

Нас все время интересовало, кто же она, эта краснощекая молодайка? Как попала в Италию, какими судьбами стала владелицей завода?

Задавая вопрос за вопросом, мы кое-что прояснили. Родилась и жила она в Николаеве. До войны, как все ребята и девчата, ходила в школу, была пионеркой, на призыв: «Пионеры, к борьбе за рабочее дело будьте готовы!» — в общем дружном хоре отвечала, что всегда к этому готова. Началась война, немцы пришли на Украину, пришли в Николаев. Четырнадцатилетнюю девочку угнали в Германию как рабочую силу. Где-то там, на немецкой земле, ее встретил итальянец средних лет, увез в Италию, женился, и вот она хозяйка, синьора!

Синьора забыла своих родителей, которые живы или нет — неизвестно.

— Почему же вы не пытаетесь их разыскать?

— Россия далеко,— отвечает равнодушно.— Куда писать — неизвестно.

— А вы все-таки попробуйте. В Советском Союзе есть

организации, которые вам помогут в розысках. Да ведь и съездить можно. Деньги у вас на это есть.

— Может быть, — отвечает она с еще большим равнодушием. И оживляется, заметив, что кто-то из нас заинтересовался цветной пепельницей. — Очень хорошая работа! — говорит бойко. — Восемнадцать тысяч лир. Завернуть?

Видимо, и на самом деле рабочие этого завода художественного стекла зарабатывают тысячи и тысячи лир. Но не для себя, а для хозяина и его краснощекой хозяйки, синьоры Нины Николаевны.

Когда, по-прежнему окруженные энтузиастами русского языка, мы покидали завод, мастера-стеклодувы, рабочие склада вышли из дверей, смотрели в окна, дружески махали нам вслед.

За заводскими воротами мы с удивлением увидели, что эскорт наш растаял сам собой. Рядовые энтузиасты отправились на очередные задания, обладатель ярко-желтого пальто, «хозяин отеля», помчался, надо полагать, в свой «отель» докладывать о том, что операция завершилась успехом: благодаря принятым энергичным мерам «московские агенты» не смогли поднять восстание на острове Мурано.

8. «ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ»

У нас оставалось мало времени. Завтра самолет должен поднять нашу группу в воздух и перебросить через Альпы в Брюссель. Поэтому, едва сойдя с поезда Венеция — Милан, наскоро пообедав в тесном и грязноватом ресторане близ вокзала, мы ездим и ходим по миланским улицам и площадям тоже с явно повышенной скоростью. Довольно тепло, хотя время от времени накрапывает дождь. Под дождем осматриваем знаменитое миланское кладбище; в лучах выглянувшего солнца предстают перед нами прекрасные парки города, старинные замки и дворцы: из окна автобуса видим здание оперного театра «Ла Скала», куда мы очень хотели попасть, — еще в Риме отдали деньги на покупку билетов. Но купить их нам не смогли — вернее, смогли бы, да места были такие, что предстояло провести весь вечер на ногах — руки по швам, в страшной тесноте. А где уж тут стоять, когда ноги даже ходить отказываются!

Я мог бы еще рассказать о Миланском соборе — поразительном сооружении из мрамора, огромнейшем, обширнейшем и при этом настолько воздушном, что все оно как бы устремлено в небо, как бы вот-вот готово оторваться от земли и оставить пустой окружающую его площадь. Мог бы рассказать о нашем посещении Миланской выставки-ярмарки, которая как раз была открыта в то время, о пестром световом наряде, в какой город одевается вечером, о том, что, несомненно, правы те, кто называет Милан подлинной столицей Италии. Если из Рима убрать его старину, его древности, от «Вечного города» не так уж много и останется. Дороги, правда, туда ведут по-прежнему со всех сторон, но главным образом дороги туристов. Дороги деловой жизни страны ведут больше в Милан.

Но расскажу я, пожалуй, только о «Тайной вечере» Леонардо да Винчи. О «Тайной вечере», как и о «Джоконде», образовалась большая литература. Она до крайности разноречива. В Джоконде, например, одни видят образец женской красоты. Другие пишут, что о какой-де красоте может идти речь, если у Моны Лизы даже бровей нет, что лицо ее одутловато и отечно. Одни пишут о большой душе женщины, изображенной кистью Леонардо; другие о ее хитрости и коварстве. Довольно разноголосо и толкование «Тайной вечери».

В двери старой трапезной монастыря Санта-Мария делле Грацие, не скрою, я входил не без душевного волнения. Много было видено за минувшие дни такого, что поражало, изумляло и тоже волновало — от скульптур, собранных в Ватикане, от «Моисея» Микеланджело в римской церкви «Святого Петра в оковах», от плафона в Сикстинской капелле до творений Джорджоне, Тициана и Тинторетто во дворцах и церквах Венеции. В «Тайной вечере», во всех легендах, сложившихся вокруг нее, было что-то такое, перед чем ты не только благоговейно снимал шляпу, но отчего даже слегка холодел.

Вот она, эта картина, на одной из торцовых стен длинной монастырской трапезной, где монахов ныне сменили туристы и откуда давным-давно вынесли дубовые столы, чтобы ничто не мешало людям рассматривать написанное гениальной кистью.

Вот она, сколько раз, еще с детства, виденная в бесчисленных репродукциях, эта «Вечеря». Длинный стол, в центре его Иисус Христос, справа и слева от Иисуса —

его апостолы. За их спинами открытые проемы в стене, и за ними ясные, мягкие дали. В картине такое чувство перспективы, будто она продолжение монастырской трапезной.

Христос спокоен и грустен, глаза его опущены, ему стыдно смотреть на того, кто прямо из-за этого стола побежит продавать его за тридцать сребреников.

Все двенадцать апостолов взволнованы, смятены только что услышанными от их учителя словами: «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Драматизм момента потрясающий. Ты видишь характер каждого из тех, кто за столом, характер, вскрывающийся в минуту острейшего конфликта.

Сила гения заключается в том, что он изображает не только то, что видит, а вместе с тем и то, что, видя, чувствует. Глаза в общем-то у всех у нас одинаковы — различны чувства и отношения к увиденному. Сила гения заключается еще и в том, что гений умеет находить такие средства, которые заставляют и нас видеть увиденное им через ту же магическую призму, через какую видел и он.

Мы много говорим о значении конфликта в художественном произведении — будь то литературном, будь то живописном. Бывали времена «теорий бесконфликтности»; влачит существование и по сей день «практика бесконфликтности», отображательства, иллюстраторства, благостного описательства, благостного не от желания лакировать действительность, а просто от неумения видеть реально существующие конфликты, реальную жизнь, от плохого знания жизни; а раз незнание жизни, отсюда и незнание того, что же о ней, о жизни, сказать.

Непреходящая художественная ценность «Тайной вечери» Леонардо да Винчи заключается в острой конфликтности произведения, в том конфликте, который способствовал раскрытию характеров изображенных лиц, и в том высочайшем мастерстве, с каким это все выполнено. Во всей наглядности здесь продемонстрировано, что форма и содержание неразрывны, что без остроконфликтного содержания ничего бы не стоила и форма, а без блестящей формы не удалось бы так выразить содержание.

Советский зритель знает картины художников, с формальной точки зрения выписанные весьма неплохо — и по композиции, и по краскам, и по рисунку. Рассматри-

ваешь иной раз внушительное полотно, на котором во всех деталях изображено, скажем, заседание президиума Академии наук; видишь бархат, ковры, столы, стулья — очень натуральные, подлинные; за этими столами, на этих стульях уважаемые, почтенные люди, деятели нашей науки — тоже очень похожие; начинаешь заниматься узнаванием: кто этот, в черной академической шапочке, а кто тот, с белыми пышными усами, а кто стоящий воп там, у окна?.. Кроме желания непременно узнать каждого из изображенных на ней персонажей, иных чувств тщательно выполненная картина не вызывает. Почему? Да потому, что конфликта нет. Получается, что все в академическом мире благостно, заурядно, протокольно.

А что, если бы авторы картины избрали иной момент из жизни академии; например бы, такой, когда кто-либо из ученых докладывал о крупном открытии, о решении важнейшей научной или научно-хозяйственной задачи, о чем-либо, что способно изменить жизнь сидящих за столами и в креслах; или, скажем, такой момент, когда кто-то вносит предложение часть соответствующих институтов перевести из Москвы в Сибирь, на Урал, на Дальний Восток — ближе к жизни? Тут могли бы яснее и ярче открыться характеры. Одни бы радовались, другие как-то иначе реагировали бы на такую весть. Мы увидели бы не статичные фигуры, а живых людей. Пока же видим только формальные старания поразнообразней рассадить участников заседания, поинтересней бросить на них свет, сделать их как можно более похожими на тех, кто значится в составе ученого учреждения.

Были бы обиды на автора или на авторов картины? Возможно. Возможно, что кто-то даже портретно несхожий, но тем не менее опознавший себя в том, кто протестующе машет рукой при известии о переезде в Сибирь, пошел бы жаловаться на художников: исказили, оклеветали. Это не так уж страшно. Это ординарно. У Эразма Роттердамского в его предисловии к «Похвале глупости» по такому поводу сказано: «Итак, если кто теперь станет кричать, жалуясь на личную обиду, то лишь выдаст тем свой страх и нечистую совесть».

Биографы Леонардо в различных вариантах передают одну любопытную историю. Приор монастыря пожаловался герцогу Миланскому, что-де художник мало и вяло работает над «Тайной вечерей» и год за годом тянет с окончанием картины.

Герцог пригласил к себе Леонардо: в чем, мол, дело. Леонардо ответил, что он отнюдь не бездельничает, наоборот, он без устали ищет натуру для Иуды. Ведь ни Христа, ни его апостолов он в действительности не видел, как и никто их не видел. Следовательно, для каждого надо найти натуру в жизни. И вот на картине выписаны и Христос, и его одиннадцать учеников, и даже тело и одежды Иуды. Нет лишь головы, нет лица предателя. Среди тех, кто обвиняет его в бездельничании, объяснил Леонардо, есть немало лиц, удивительно похожих на Иуду. Но, чтобы не заставлять этих людей сердиться на него или мстить ему за это, вот уже в течение года, и по вечерам и по утрам, он ходит в городские притоны, где живут подонки общества и преступники, — и как на грех подходящего Иуды там не может найти. В конце концов, если не найдет там, воспользуется головой и лицом отца настоятеля, который так ему докучает.

Для выражения любой из своих отвлеченных идей великий мастер прежде всего, всегда и непременно, искал живые образы.

Смотришь на «Тайную вечерю» и удивляешься: до чего же мало Леонардо да Винчи заботился о сохранении своей славы в веках! Маслом писать на штукатурке стены довольно сырого помещения — это ли не беспечность художника, беспечность от щедрости, от внутреннего богатства. И конечно же через каких-нибудь шесть десятков лет картина его была на краю гибели. Подкрадывалась плесень, краска осыпáлась; за каким-то лешим монахам понадобилось прорубить в стене дверь пошире и повыше, — прорубая ее, задели ноги Христа и нескольких апостолов. Кто-то — и явно и тайно — картину подправлял, реставрировал. Один из французских королей хотел было выломать стену и вместе с картиной перевезти в Париж. Помешала случайность. Затем, на рубежах XVIII и XIX веков в Милан вошли войска под командованием молодого Наполеона. Утверждают, что приказ об охране картины Наполеон писал, держа бумагу не то на барабане, не то на собственном колене. Но французские кавалеристы, невзирая на приказ, все равно устроили в трапезной конюшню. Наполеоновские войска почему-то очень любили устраивать конюшни в церквах. Картину разъедали конские испарения; солдаты, возможно желая угодить в голову Иуде, швыряли в нее кирпичами... Русский художник Александр Иванов, посетив-

ший трапезную в первой половине прошлого века, увидел на стене только остатки «Тайной вечери». Но все же гениальные.

Как бы там ни было, а картина все жила, жила и жила, все прочнее входя в золотой фонд созданного гением человечества на земле.

Сегодня в трапезной висит фотографический снимок, на котором видишь рухнувшие балки, битый камень, мешки с песком. Из приписки к снимку узнаешь, что 16 августа 1943 года во двор монастыря была сброшена не то немецкая, не то американская тяжелая бомба, что трапезную почти снесло взрывной волной, но, на счастье, миланцы торцовую стену с картиной заблаговременно заложили снизу доверху мешками с песком, и это еще раз спасло гениальное творение от гибели.

9. У ПОДНОЖИЯ АЛЬП

То ли и в самом деле с связи с ярмаркой в Милане не хватало гостиниц, то ли еще по каким соображениям, ночевать нас повезли на озеро Лаго-Маджоре.

Сначала наш автобус мчался по отличной автостраде, так же как автострада Неаполь — Помпея, принадлежащей компании «Фиат». Придорожные кафе, от крыши до пола состоящие из стекла, скрепленного небольшим количеством металла, горели огнями. В этих стеклянных кастрюлях кипела жизнь — сидели за столиками, танцевали, слушали музыку.

Потом дорога ушла во мрак — замелькали рощи, леса; среди рощ стояли сонные селения и городки. А мы все ехали и ехали... Только часа через два достигли наконец прибрежного отеля, который назывался «Милано». За стеклами гостиничного кафе, расположенного на террасе, по легкому плеску, по отблескам огней угадывалась вода. Воздух был свежий, чистый, пахло лодками и какими-то цветами.

За столиками кафе расположилось несколько пар иностранных туристов. Перед полотняным экраном отражательного телевизора сидели три старухи итальянки. Они смотрели кинохронику.

Пока нам несли ужин, хроника окончилась, началась другая передача. Началась она с бешеного рок-н-

ролла: грохотал джаз, и мелькали молодые люди с ошалелыми лицами. Свистопляска резко оборвалась, диктор сказал: «Это, конечно, лихо. Но это не имеет ничего общего с молодостью. У этого общее с одичанием и вырождением, с эпилепсией. Молодость же — здоровье, сила, красота!» И замелькали чудесные спортивные кадры: лыжники, несущиеся с горных круч, пловцы, бросающиеся с трамплинов, дискоболы и копьеметатели... «Вот истинная молодость, вот совершенствование человека, вот полнокровная жизнь!»

Это была хорошая передача, хороший рассказ о спорте, о здоровье молодежи — физическом и моральном.

И в капиталистической Италии есть силы, есть люди, которых волнует наступление на культуру Европы американской безыдейности и разнузданности. Каковы эти силы? Кто эти люди? Возьмите итоговые сводки выборов в итальянские муниципалитеты: почти четверть избирателей в стране голосует за коммунистов. Кто же еще, кроме коммунистов, станет заботиться о будущем своего народа, о его здоровье, о его морали, о его счастье? Кто же, кроме них, способен сделать своей целью народное счастье?

Старухам передача явно понравилась. По окончании ее они встали и, переговариваясь, двинулись к выходу. Из-под стула, на котором сидела одна из них, с некоторым запозданием выскочила дремавшая там мохнатая собачка и поспешила за хозяйкой.

Ложась спать, мы знали, что находимся в красивейшем месте Северной Италии. Но красоту этого места мы смогли увидеть и оценить только тогда, когда занялось раннее, тихое и солнечное утро. Огромное озеро лежало прямо за порогом отеля. Вокруг дымившейся под солнцем водной глади, в дальних далях теснились еще более далекие, окутанные дымкой лиловые горы. Там, где они венчались белыми снеговыми шапками, на севере, была Швейцария; если плыть туда по озеру, доплывешь до вошедшего в историю дипломатии города Локарно.

Солнечная дымка так ослепительно светилась, что озеро в его далях и горы можно было рассматривать, лишь надев темные очки. Сквозь фильтры зеленых и желтых стекол среди озера виделись скалистые кручи зеленых Баррамейских островов.

Берег цвел альпийскими цветами. Сонные в этот час, стояли над водой бесчисленные отели, дорогие, роскошные, окруженные садами и скверами.

Мы вошли в такой вылизанный садовниками садик, чтобы взглянуть на чудесный вид, который открывался с его террас. Но вид был немедленно испорчен криками служителей. Сад — собственность хозяина отеля, его частная собственность, и никто посягнуть на эту священную собственность не имеет права.

Что ж, сели в автобус, повернули назад, к Милану.

Среди дня с бетонной дорожки миланского аэропорта, пробежав мимо транспортных самолетов с опознавательными знаками военно-воздушных сил США, мы на четырехмоторном самолете компании «Сабена» поднялись в воздух и, взмыв над Альпами, вспомнили Суворова и его солдат, которые через эти кручи и ущелья прошагали в свое время пешком.

Через два часа под нами был Брюссель. Завтра сюда придет наш «ТУ-104», и завтра же мы будем в Москве.

Короткое путешествие по двум долгим тысячелетиям оканчивалось. Немного мы пробыли в Италии, но и за такой срок искренне полюбили и эту страну, и ее людей, ее искусство, ее борьбу, ее природу — и, как ни хотелось поскорее домой, расставаться с нею было немножко грустно. Утешало то, что когда-нибудь мы туда еще вернемся: не зря же, чтобы исполнилось это желание, в один из римских фонтанов были брошены через левое плечо наши гривенники и двугривенные.

Нет, монетки не пропали даром. Через шесть лет я все-таки вернулся в Италию. О чем и пойдет рассказ в следующей части.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

СОБЫТИЯ И ВСТРЕЧИ

ЦВЕТЫ И КРОВЬ

1

В грязноватой и шумной гостинице возле нового неаполитанского вокзала, все полы которого, дабы никому и никогда не было скользко, покрыты рубчатой резиной, мы раскинули пеструю карту Италии.

Какой вид транспорта избрать, каким путем двигаться дальше, на Сицилию? Поездом до Мессинского пролива и с переправой через пролив на пароме? Как утверждают итальянцы, дорога эта интересная, есть на что посмотреть из вагонных окон, но смотреть придется довольно долго, а времени у нас лишнего нет.

Может быть, все-таки рискнуть? Как никак, увидим и опустевшее логово чудища — селение Сциллу, поименованное в наши дни меленьким шрифтиком на карте, а переправившись через пролив, и ту деревушку, которой у нас на карте нет, но итальянцы уверяют, что в действительности она есть и является преемницей древней Харибды — логова второго чудища, увиденного некогда Одиссеем.

Остановились в конце концов на прямом пути — он хорошо пропунктирен на карте — через Тирренское море, теплоходом от Неаполя до Палермо. Быть в море, правда, придется ночью, когда ничего вокруг не видно. Зато уж раннее утро на подходах к Сицилии — в нашем полном распоряжении.

Неаполь вступал в часы вечерних гуляний, шумел в сотнях своих остерий, тратторий, таверн и беттол, когда

мы в стареньком таксомоторе въехали на бетонный пирс морской пристани и вступили на борт теплохода «Сардиния», довольно-таки грязненького и не очень уютного, но основательно оснащенного барами.

Я побродил по палубам, посидел в баре, вслушиваясь в певучий, но бурный говор итальянцев. Потом долго с верхней палубы теплохода смотрел на уходящий в ночь Неаполь. Россыпь мерцающих всеми цветами ярких огней прибрежных кварталов; мелкие тусклые огоньки, взбирающиеся на холмы вокруг Везувия. Какой-то большой пылающий факел газа. Он все еще светился вдали, когда я сошел вниз.

Каюта, в которой мне предстояло провести ночь, была на четверых — по две койки в два яруса, но лишь один чемодан стоял возле одной из коек, остальные места, видимо, пустовали.

Пока я устраивался на одной из нижних коек, явился владелец чемодана, смуглолицый, коренастый человек с копной вьющихся черных волос. Взглянув вкось на меня, он отцепил от пояса здоровенный складной нож с костяной белой ручкой и сунул его под подушку. «Веселое дельце!» — подумалось невольно, и в памяти замелькали читанные в романах, очерках, статьях и виденные в кино истории, которые были связаны с загадочной и грозной сицилийской мафией. А ну-к, если этот плечистый дядя... и так далее.

Дядя тем временем почистил зубы, спев при этом со щеткой во рту пару бодрых песенок, и, уже укладываясь под одеяло, о чем-то спросил меня по-своему, по-итальянски, а может быть, и на сицилийском диалекте. Я, естественно, его не понял и ответил, что более или менее способен о чем-нибудь очень несложном потолковать на скверном английском, если, конечно, он согласен это выдержать. Он очень обрадовался и сказал: «Май нейм из Марио». Я понял, что его зовут Марио, то есть так, как зовут почти каждого второго жителя Южной Италии. Но он решил уточнить и сказал по-иному: «Ай хев нейм Марио», — что означало то же самое — Марио. Мы дружно сказали друг другу: «Хау ду ю ду?»; он вытащил из чемодана «вери гуд дринкинг» — «очень хорошую выпивку», оказавшуюся чертовски кислым вином, а я извлек «уан ботл ов олд водка». Не зная, как перевести на итальянский «старка», я сказал: «олдка». Минут через пятнадцать мы друг друга понимали не кое-как, не

через пятое на десятое, а, как нам представлялось, вполне и отлично.

С человеком из Советской страны вот так, лицом к лицу, Марио встретился впервые в жизни и был от этого в полнейшем восторге. Он готов был рассказывать обо всем, что меня интересовало. Но волей-неволей мы говорили лишь о том, что было в пределах наших языковых возможностей.

Прежде чем заснуть, я поинтересовался у Марио, о чем он меня спрашивал вначале на своем языке.

— О, я хотел знать, как вы предпочитаете проводить ночь: в полной темноте или при свете ночника.

Выяснилось, что оба мы ночников не любим. Щелкнули выключатели, за иллюминатором плыла черная итальянская ночь, в стекло плескалась черная вода, слегка покачивало.

На рассвете, когда я вновь поднялся на палубу, из моря начали возникать озаренные еще не видным с теплохода утренним солнцем розовые скалы. В небе держалась густая голубизна, не поблекшая с ночи. Вода отливала ультрамарином. Яркие эти краски, остужаемые свежим ветром, предвещали впереди что-то необыкновенное, невиданное, интересное. И в самом деле, розовые скалы все росли, росли перед нами, особенно лезла в небо гора по правому борту, и наконец у подножия гор открылся, выйдя из волн, белый сверкающий город. Палермо — столица Сицилии.

Затем порт, причалы, пестрая толпа встречающих. Народ, составляющий эту толпу, темпераментный, шумный. К подходившему теплоходу устремились все столь порывисто, что того и гляди повалятся в воду меж бортом и причальной стеной. У сходней — таможенники. Сицилия автономна, у нее своя таможня, и, если таможенным чиновникам вздумается, они могут учинить досмотр чемоданов. Но, как говорят люди знающие, этим чиновникам почти никогда ничто подобное не вздумывается. У сходней, правда, они исправно стоят и на проносимые мимо них вещи остро поглядывают.

Мы остановились в отеле «Медитерание» — «Средиземное море», расположенном в узкой, живописной, характерной для итальянского города улочке, в нескольких ша-

гах от главных магистралей Палермо. С первых же шагов по сицилийской земле у нас установился дружеский контакт с приветливыми, гостеприимными людьми из общества «Италия — СССР», или, как здесь всюду произносят: «Италия — УРС», потому что наша страна в итальянском сокращении — «URSS»; одно «S» итальянцы отбрасывают и произносят: «Урс», — что, кстати, напоминает еще и урса — медведя, а медведи, многим тут думается, у нас распространены так же, как, скажем, в Англии комнатные собачки. Из этого общества к нам пришел его генеральный секретарь Франко Грасси, как оказалось, большой знаток истории и искусства; коллеги называли его «синьором профессором» или «профессором». Пришел молодой сицилиец-рабочий. В 1963 году он с какой-то делегацией побывал в СССР, познакомился с русской девушкой Валей, стал переписываться с ней; в 1965 году вновь отправился к нам туристом, женился на Вале и вот привез ее на Сицилию. Он знал, конечно, что на его родном острове лимонов и апельсинов существуют тайные общественные пружины. Но даже и не подозревал, насколько эти пружины сильны. Полного сил тридцатилетнего человека по чьей-то указке уволили с работы, после этого вот уже который месяц обивает он пороги заводов, фабрик, мастерских — не берут никуда. Семья бедствует. Зарабатывает одна Валя, которая взялась преподавать русский язык членам общества. Но средства у друзей СССР скудны. Вале за ее труд платят очень и очень мало.

Душой всего дела в Палермском отделении общества «Италия — УРС» является изящная шатенка с огромными черными глазами на тонком матовом лице. Ее имя Лаура, она жена племянника известного деятеля Итальянской компартии товарища Помпео Колояни. Луара хорошо говорит по-русски, освоив чужой и трудный язык самостоятельно, и отлично водит тесный старенький «фиатик» модели «500», давно прекращенной производством.

Вместе с Лаурой и профессором, которого Лаура называет «Франка», начались наши путешествия по городу и его окрестностям, начались знакомства с людьми, с их бытом, с думами.

Прежде всего Лаура отвезла нас в парламент и представила вице-президенту парламента, своему свекру Помпео Колояни, человеку того боевого поколения западно-

европейских коммунистов, которое отличается ясностью и прямотой мысли, отвагой, высоким теоретическим уровнем, готовностью жертвовать собой во имя общего дела. Я уже встретил в Италии их немало, и каждый раз такие встречи волнуют. Сколько же душевных богатств эти люди способны передать молодежи, предостеречь ее от скольких ошибок, заслонить собою от скольких бед!

Колояни, крепкий, сильный, несмотря на свои годы, стремительно быстрый, весь точно вырублен из сицилийского, прожженного солнцем камня. Весело балагуря, он показывает нам помещения парламента Сицилии, разместившегося после войны, после установления автономии острова в старом-старом дворце королей. Каких королей? Каких только тут их не было!..

Островная Сицилия легла в Средиземном море так, что с древнейших времен через нее вели пути из Европы в Африку и Азию, с Востока на Запад и с Запада на Восток, из земель одних цивилизаций в земли других. Ходили через остров карфагеняне и греки, римляне и вандалы; были тут византийцы, норманны, арабы. И через тысячи лет после первых древних завоевателей, совсем уже недавно, во вторую мировую войну, именно Сицилия явилась мостом для англо-американских войск, высадивших здесь свои десанты для дальнейшего проникновения в Италию.

Лаура, невестка Помпео Колояни, ловко ведет автомобильчик по узким улочкам среди автобусов и грузовиков. Профессор Франко Грасси поминутно просит ее остановиться то возле одной церкви, то возле другой, то посреди какой-либо площади и все рассказывает. Через архитектуру храмов мы видим сложное, трудное прошлое Сицилии. В знаменитой церкви святой Марии Адмиральской, основанной еще в XII веке, смешаны и норманский стиль и арабский, есть тут что-то и от Византии и от барокко. Каждый новый пришелец достраивал и перестраивал на острове по-своему. В Палермо мы увидели христианскую церковь с куполами исламского храма — будто бы тесно одна к другой стоят пять мечетей. Как же это происходило? Обогнув Европу, морями, сюда пришли норманны и вытеснили арабских эмиров. Но народ-то пришлый, прижившийся здесь за два века, ведь не выдворишь за дверь страны. Он остался и при норманнах. С помощью арабов, арабских строителей, архитекторов, мастеров и начались очередные переделки

на норманский лад. Лад получался новый, а почерк оставался прежний. Все потихоньку и перемешалось. Но перемешалось не механически, не так бездарно и безвкусно, как порой благородная старина перемешивается ныне с крикливым, суетливым, безликим модерном. Архитектурные стили в те времена соединялись большими мастерами по высоким законам подлинного искусства, без того, чтобы «распалась связь времен», а именно благодаря ей, этой связи, основываясь на ее богатствах.

Исколесив город, презрев почти сорокаградусную африканскую жару, мы отправились в сторону розовой горы, которая прежде всего видна с моря, когда приближаешься к Палермо, — в сторону Монте Пеллегрино. Профессор Грасси сказал, что можно завернуть в известные всему миру катакомбы капуцинского монастыря, где несколько тысяч покойников, как мумии, сохраняются в высушенном виде. Недавно, правда, в катакомбах приключился пожар, и посетителей туда пока не пускают. Но у него есть там хороший знакомый, попросить — пустит.

Я вспомнил книгу Карло Леви «Слова-камни», прочитанную несколько лет назад, и те страницы ее, на которых итальянский художник и писатель повествует о своем посещении палермских катакомб при свете свечи, когда он то и дело натыкался на эти высушенные трупы (иные из них даже падали на него), и решил отложить посещение до какого-либо иного раза, если такой когда-либо будет. Профессор сказал, что он со мной вполне согласен. Восемь тысяч мертвяков — зрелище не для каждого. Одни из них лежат в нишах, другие, как бревна, прислонены к стенам галерей, третьи даже подвешены на железных крюках. Нет, хорошо все-таки, что такой средневековый способ захоронения лет восемьдесят назад запретили.

Вместо посещения склепов мы отправились по дороге к горам, мимо строгих, величественных замков, мимо вилл сицилийских магнатов, окруженных садами из тропических и полутропических деревьев и растений, от которых веяло неслыханными ароматами. Сицилийский аристократ ди Лампедуза в своем романе «Леопард» описал один из таких замков. Рассказывая об упадке сицилийской родовой знати, он собрал, конечно, все замки воедино, в одной фигуре старого «Леопарда» — князя дона Фабрицио Салины — свел типические характеры и судьбы

многих их владельцев, создав в итоге образ уходящего представителя былого мира всесильных феодалов.

Постепенно по асфальтированным серпантинам мы добрались до склонов Монте Пеллегрино, где расположен средневековый городок Монреаль. Выйдя из машины на зеленой площади, среди которой высились пальмы, я вновь подумал о книге Карло Леви. О ней мне напомнило здание склада с широко распахнутыми дверьми. У Леви (думаю, что я увидел именно это здание) сказано, что здесь был один из центров таинственной сицилийской мафии.

Я смотрел в распахнутые двери склада. Переставляя какие-то ящики с места на место, там не спеша возилось несколько человек, ничем по виду не отличавшихся от обычных людей Италии. Люди как люди. Может быть, Леви ошибся, а может быть, прошло время, и мафиисты, или, как их здесь называют, мафиози, отсюда выселились. Да и есть ли она, существует ли в наши дни, эта мафия?

Профессор Грасси тем временем вел нас в старинный монастырь бенедиктинцев, в храм, все стены и своды которого внутри выложены богатейшей мозаикой, во двор, окруженный галереей с несколькими сотнями покрытых резьбой мраморных колонн и заросший обильно цветущими растениями.

В тени галереи в прилежной сосредоточенности работал молодой художник. Он рисовал карандашом на больших листах бумаги. Рисунок у него был точный, сильный. Мы разговорились с молодым человеком. Он учится в художественном училище, на днях начнутся экзамены, и свои рисунки он готовит для строгих экзаменаторов. Абстрактное искусство? Формализм? Эти штуки, которые каждые два года возят в Венецию, на биенале? К такой «живописи» прибегают, когда художественного таланта нет, но есть способность к изобретениям. Что ж, может быть, и это когда-нибудь на что-либо пригодится. По тем «полотнам» с биенале можно создавать формы различных машин, приборов, аппаратов для химического производства. Молодой художник никого не осуждает, но лично ему глубоко чуждо так называемое «новое искусство» — причудливое древо, лишенное почвы. Искусство не может быть ни новым, ни старым, оно всегда должно быть настоящим. «Я где-то читал, — говорит он, — о таком способе выращивания овощей и плодов: почвы нет,

есть лишь голый мелкий гравий, его насыщают раствором искусственных удобрений, и затем в это сажают растения».— «Гидропоника?» — «Да, да! Может быть, абстракция в искусстве — это и есть гидропоника искусства? Удобрительным раствором в этом случае служат те деньги, которые за такие искусственные плоды платят заевшиеся потребители».

После полудня мы обедали в загородном трактирчике за Монреалем, куда нас завез Франко Грасси.

— Я не знаю сегодняшней статистики, — говорил он, потягивая вино,— но еще несколько лет назад наш остров производил до девяноста процентов лимонов от всего сбора в Италии. Можете представить, а? По этим цитрусовым мы, сицилийцы, занимаем второе место в мире. После Испании. Давали мы три четверти от общего сбора мандаринов, две трети апельсинов, одну пятую олив...

— А как с виноградом?

Он пожал плечами.

— Это не главная наша культура. Правда, в последние годы стараются больше сажать именно его, виноград. Выгоднее, знаете. Лимоны слишком дешевы, апельсины тоже. А виноград... Это же вино! Иной за всю жизнь не съест ни лимончика, но вина-то непременно хотя бы бутылочку, да выпьет. А есть и такие, что лимона все так же не съедят ни штучки, а вина выпьют не бутылку, а и всю цистерну. Кроме того, вино не испортится от долгих дорог, его можно везти хоть на другой конец земного шара, если предположить, что у шара возможны какие-либо концы. Вино можно хранить десятилетиями...

Шаг за шагом при помощи Лауры и профессора Грасси я все больше узнавал об острове, который мог бы стать одним из цветущих краев земли, но не стал им из-за своей тяжкой судьбины. Народам его — от исконных древних сиканов и сикулов до народа нынешнего — так никогда и не удалось пожить жизнью спокойной, поработать, потрудиться на себя. Сиканов и сикулов обратили в рабство карфагеняне и греки, насаждавшие на плодородных побережьях Сицилии свои колонии, строившие здесь руками, пóтом, кровью рабов храмы и театры, дворцы и купальни. Позже, в латифундиях древних римлян, те же сицилийские аборигены вместе с пригоняемыми отовсюду пленниками вспахивали деревянными плугами на себе землю под виноградники и оливы, под пшеницу и другие злаки, работали на хозяев до смерти в серных,

удушливых рудниках. Сицилия была подлинной житницей для тех, кто ее захватывал. Свистели бичи, плети, палки, лилась и лилась кровь тех, кто не хотел быть покорным захватчикам. Рабы восставали, их распинали на крестах. Сицилийскую землю время от времени сжигают ветры из соседних африканских пустынь, на сицилийцев нет-нет да и извергнет потоки лавы и черного пепла вдруг просыпающаяся Этна, далеко видная с гор и холмов более чем трехкилометровая вышка острова. И все-таки люди здесь живут, они любят свой остров и не теряют надежд на лучшее.

3

На Сицилии работает интересный писатель Леонардо Шаша. Одна из его книг, «Сова появляется днем», была переведена на русский язык и хорошо встречена советскими читателями.

Чтобы повидать Шашу, мы с И. Ф. Огородниковой отправились в центральную часть острова поездом, состоявшим из нескольких обтекаемых вагонов. Поезд из Палермо понесся вдоль морского побережья с пугающей скоростью, за окнами замелькали рощи, рощи лимонов, лимонов, лимонов. Потом сквозь туннели, туннели, туннели он свернул от моря в сторону. Начались горы и косогоры, луга с чахлой травкой, голые камни. Среди камней на косогорах и кручах паслись овцы. Мне припомнился фильм о сицилийском крестьянине, который через такие же горячие каменные гольцы гнал отару своих овец, уходя от карабинеров, потому что нарушил какой-то местный закон; воды в горах не было, солнце палило, и овцы одна за другой дохли, пока не подохли все. Страшная картина. И вот вся увиденная в ней природа, вся та обстановка — въявь передо мной. Только овцы не падают, а, силясь избежать лучей солнца, стоят вкруговую тесными группками, опустив головы к земле, подставив солнцу спины и курдюки.

Не скажу, сколько мы миновали туннелей среди скал и ущелий, пока наконец не вылетели из одного из них, длиной километров в семь-восемь, на равнину возле города Кальтаниссетты, в котором живет Леонардо Шаша. В доме Шаши нас усадили обедать. За столом были жена писателя синьора Мария и две его дочери. Старшая,

Лаура, уже студентка, учится в Палермо, младшая, Анна-Мария, заканчивает школу.

Несмотря на известные языковые трудности, пошел интересный общий разговор. Леонардо Шаша скромен и мягок в манерах, в жестах, в словах. С ним спокойно, неторопливо, как-то надежно. Он родился на южном берегу Сицилии, в городе Агридженто. В Кальтаниссетту приехал когда-то учиться, да так и остался тут, сам став учителем. Первая его книга не была ни романом, ни повестью. В ней Шаша рассказывал о своем опыте обучения ребятишек. Увлекся историческими исследованиями. Рылся в архивах, в документах. Нашел материал об испанской инквизиции, жаловавшей когда-то Сицилию изрядным вниманием. Возник замысел новой книги — «Смерть инквизитора», документального повествования о сицилийской инквизиции, которая последнее аутодафе, когда человека сожгли живьем, устроила не так-то уж и давно — в первой трети восемнадцатого века. Шаша вдруг помянул мафию, страшным деяниям которой в наши дни посвящена последняя, только что вышедшая его книга.

— Значит, мафия существует и действует?

— А как же! Это давняя организация на Сицилии. Когда-то она была совсем другой. Она зародилась как самооборона крестьян от феодалов. Но той мафии уже давным-давно нет. Под таким названием после объединения Италии, и в частности после присоединения к Италии обеих Сицилий в 1861 году, возникла иная мафия, уже более близкая к нынешней. Это была тайная организация националистов, постепенно превратившаяся в оружие феодалов против крестьян. Действовали мафиисты в ту пору только в деревне. А вот теперь они уже и в городах. В Палермо, например. Человек, неугодный мафии, жизни будет не рад, если она против него ополчится. Скажем, он нигде не сможет найти работы. Годами. Пока не покинет остров.

Я вспомнил мужа нашей русской Вали, который именно так обивает пороги в поисках хоть какого-нибудь заработка.

Дружелюбный, спокойный, Леонардо Шаша — отличный собеседник. Суждения его о жизни, о том, что происходит в мире, точны и ясны.

— Насчет тех молодых ваших писателей, которые под псевдонимами печатали за рубежом свои произведения?

Что же тут сказать... Ну, во-первых, сам по себе поступок ваших инкогнитчиков не вызывает никакой симпатии. Если честный человек с чем-то не согласен, он высказывает это открыто. А если он позволяет себе иметь два лица, он уже нечестный человек. А во-вторых, я не читал их широко разрекламированных книжек. Таких книг, вокруг которых начинается политическая шумиха, я вообще не читаю.

Шаша с горечью говорит о том, как повсюду в мире буржуазная печать освещает советскую литературу.

— Собственно, о вашей литературе, о ваших произведениях там почти ничего и нет. Только политика, политиканство и окололитературные скандалы. Мы... вот я, мои товарищи, моя семья... никто из нас ничего толком не знает о советской литературе. На итальянский с ваших языков переводятся крохи и, мне думается, с каким-то особым, тщательным отбором. Вы страна особенная. Но вот этих ваших особенностей в том, что для нас переводят, мы не находим, не видим. Жаль, очень жаль.

Сам Шаша в большинстве пишет о своей Сицилии, о том, что является неповторимым сицилийским. Он превосходно знает свой остров, свой народ. От Шаши я узнал, что далеко не все сицилийцы выдерживают условия жизни на родном острове, далеко не у всех любовь к родине берет верх над трудностями жизни.

— Хотите знать: из нашей Сицилии, где сегодня, по официальным данным, всего-то миллионов пять жителей, за последние пяток лет выехали кто куда, на поиски куска хлеба пятьсот тысяч человек. Десять процентов эмигрировало! Шутка? А с начала века по свету рассеялись миллионы сицилийцев.

— Миллионы?

— Да. Трудно людям живется, неимоверно трудно. Особенно крестьянам. Поездите по острову, поинтересуйтесь.

4

Я смотрю на обожженное солнцем лицо в крупных, резких чертах, на большие, тяжелые крестьянские руки, на то, как вместительные их ладони наотмашь рубят густой июльский воздух. А тот, кому принадлежат они, шагая от окон, за которыми под склоном берега изнывает

в мертвом штиле синее Тирренское море, к окнам, распахнутым прямо в рощу лимонов на крутом каменистом подъеме в гору, читает гулкие, стреляющие стихи.

Читает он на сицилийском диалекте, и, пока это будет переводиться на итальянский, а затем на русский, у меня есть время припомнить недавно вышедшую у нас в Советском Союзе небольшую книжечку стихов хозяина дома над морем — Иньяцио Буттито.

Я не поэт:
Мне соловьи претят,—

вразброс вспоминаются задиристые строки, —

И теплый ветер, лижущий траву,
и листиков трепещущие крылья.
...я чужд поэзии,
коль скоро это слово означает
луну,
зажженную, чтоб озарять влюбленных.

Литературные снобы заявления такого рода, как известно, встречают выкриками: да, вот именно — ты действительно не поэт, коль способен отозваться так о соловьях, о луне, о влюбленных, о пушистом снеге на Никитском бульваре; чувства твои неразвиты, тупы; бесталанен ты, братец, лучше куй что-нибудь там и паши, не оскверняй слух истинных ценителей словесной музыки своим звяком и бряком.

Слыхал подобные выкрики, видимо, и сицилиец Буттито. Не зря же стихотворение свое он с откровенной полемической прямотой так и назвал «Я не поэт», страстно, по-бойцовски утверждая в нем дальше:

Но если ты, поэзия, велишь
звать из лачуг, для холода открытых,
людей больных, задавленных, забытых
и гнущих спину на чужих полях,
что кровь и пот берут в уплату
за корку хлеба и за горсть оливок;
но если ты, поэзия, велишь
из подземелий серных рудников
исторгнуть плоть полуживых созданий,
пожизненно приговоренных к аду
(вот истинное вдохновенье!)...

Буттито прервал чтение стихов, взмахнул руками и стремительно, в полном соответствии со своим пироксилиновым характером, выскочил из комнаты.

О чем же он прочел только что? Когда был закончен перевод, я узнал, что его стихами изложена история рабочего-сицилийца, который, чтобы всей семье не умереть с голоду на родном острове, завербовался и уехал на угольные шахты в Бельгию. Прикопив там денег, он решил вызвать туда и семью. Жена, дети рады: скоро увидят отца; они садятся в поезд, переправляются паромом на материк, пересекают всю Италию и уже на севере ее, включив транзистор, чтобы послушать музыку, слышат известие о том, что при очередном взрыве или обвале в шахте, которые так часты в Бельгии, погиб их родной человек. Трагическая, страшная ночь в поезде, летящем сквозь темень в чужую даль...

Буттито верен себе: и тут нет ни соловьев, ни лун, ни листиков трепещущих крыльев.

Пока хозяин где-то пропадает, я осматриваю его жилище. Постоянно он живет, собственно, не на этом зеленом клочке над морем, а в сельском трудовом городке Багерии, тоже неподалеку от Палермо. Здесь же его дача, врубленная в склон горы, здесь его лимоновая роща; здесь он любит побыть в одиночестве, пораздумать о нелегкой жизни сицилийцев, жизни того обездоленного народа, среди которого он родился шестьдесят пять лет назад. Его родная Багерия стала городком не так уж и давно. В те времена, когда Иньяцио носился по ее улочкам в толпе босоногих смуглых сверстников-мальчишек, она была деревней, славившейся тем, что в ней было много мастеров, сооружавших знаменитые расписные сицилийские тележки, в которые запрягают ослов и мулов. Тележки эти знамениты тем, что расписаны они пестро и очень сюжетно, тут тебе и сценки из Священного писания, и какие-то рыцарские истории, и преступников-то казнят на эшафотах, жгут кого-то, режут, венчают. Фон яркий — чаще всего красный или желтый. Отец Иньяцио Буттито тоже сооружал их, такие удивительные тележки.

Сквозь окна, километрах в двенадцати — пятнадцати по побережью, вижу белые дома Палермо, охватившего полукольцом обширную бухту; за бухтой, еще западнее сицилийской столицы, вижу уже известную мне гору Монте Пеллегрино. Хожу вдоль стен, вдоль полок с книгами. Тут есть даже и на русском языке. Да, это стихи советских поэтов, томики с дарственными надписями: Николай Браун, Сергей Васильевич Смирнов, Александр Решетов, Иосиф Нонешвили... На стенах размещены

рисунки друзей Буттито — Карло Леви и Ренато Гуттузо. Вот Иньяцио Буттито сфотографирован в обществе наших соотечественников — поэтов и прозаиков — за ресторанным столом где-то во Флоренции, куда они приезжали о чем-то спорить. Сидят все, кроме Буттито, поразительно мрачные, угрюмые, с белыми глазами.

Хозяин наш появляется вновь, неся в руках бутылки.

— По стакану местного вина! Кстати, то, что я вам сейчас прочел... — он разливает вино в зеленые бокалы,— это текст кантастории. Вы, конечно, слышали о нашей сицилийской кантастории? Ну да, понятно. Сейчас!

Он опять исчезает и приносит большой рулон, похожий на свернутую школьную географическую карту мира, которую обычно наклеивают на белую ткань, раскручивает его, и мы видим полотнище, разделенное на клетки, и в каждой клетке яркими красками в лубочной манере изображен какой-то пока нам неведомый, но острый сюжет: кто-то кому-то, озираясь по сторонам, передает пачку денег; кто-то собрал вокруг себя молодцов с кинжалами и ружьями в руках и, склонясь к их ушам, шепчет нечто, судя по их напряженным лицам, до крайности важное; в следующих клетках эти молодцы палят из своих ружей по толпе крестьян в горной теснине — кровь, убитые, плачущие женщины; потом какая-то комната, в ней раздумывающий человек; этого человека кто-то... Узнаем его: он тот, кто в одной из первых клеток протягивал пачку денег. А раздумывающий человек — тот, кто получал эти деньги, кто инструктировал молодцов и командовал ими в горах при нападении на крестьян... Так вот, раздумывающего, получавшего деньги, «кто-то», дававший деньги, убивает из револьвера.

Буттито ставит пластинку на проигрыватель, пластинка сильным, приятным баритоном, в сопровождении тревожно рокочущей гитары, поет об очень грустном, но пока нам неизвестном.

— Сейчас вы это слышите в грамзаписи, — поясняет хозяин. — А в натуре оно происходит иначе. Приезжают кантастористы — обычно их двое — в деревню на автомобиле, если имеют его, но чаще, понятно, на мотороллере или просто на поезде. Собирают людей, желающих послушать,— таких в деревне, да и в городах, всегда достаточно: кантастории у нас очень любят. Развешивают кантастористы вот такое полотнище с рисунками. Один поет, указывая указкой на должную клетку, другой аккомпа-

нирует на гитаре. Но их может быть не обязательно двое, может и один все это проделать. Сюжеты кантасторий, как правило, или трагичны, или очень трогательны. Почти всегда они построены на местных, широко известных сицилийцам событиях. Это своего рода глубоко народный музыкальный передвижной театр. В переводе слово «кантастория» — это как бы «история, которая поется». Говорят, что у вас в Советском Союзе нечто подобное когда-то было.

— Да, бывало. «Живгазета», «живая газета». И пользовалась она большой популярностью.

— У всех народов такое было, — подхватывает хозяин дома. — Что же, по-вашему, есть Гомер с его «Одиссеей», как не мастерский свод древних кантасторий?!

Буттито останавливает пластинку с ее печальной песней.

— Вы слушали историю знаменитого на Сицилии бандита Сальваторе Джулиано. Не зная нашего языка, вы, конечно, ничего не поняли и могли только оценить музыкальный настрой кантастории. Я перескажу вам ее своими словами.

Буттито отхлебнул глоток вина.

— В тысяча девятьсот сорок седьмом году, еще при министерстве Шельбы, в одном горном местечке, — оно называется Портелла делла Джинестра — была устроена крестьянами маевка. На поляну меж подступивших к ней скал собрались жители нескольких окрестных селений. Они пришли с флагами, приехали на повозках, на которых были припасы, чтобы после митинга подкрепить силы, с музыкой. И вот, когда люди уже сидели на земле, когда с большого валуна заговорили ораторы, из-за окружавших поляну камней ударили ружейные выстрелы. Вот смотрите: та женщина, схватившаяся за голову, — это Епифания Барбато. На земле лежит ее сын. Он мертв, его сразили пули банды Джулиано. Епифания уже потеряла одного сына на войне. Теперь второй. «Бедные всегда виноваты, — рыдает мать. — Даже здесь. Почему так?» А вот другая женщина, которая лежит, окруженная пятью плачущими ребятишками... Маргарита Клишери. Ее убили, беременную шестым. Глаза, видите, открыты, но она мертва. Здесь точно воспроизведена действительность: Маргарита Клишери умерла именно так — с открытыми глазами, что особенно врезалось в память

крестьян. Многих бандиты убили, еще больше ранили, и спокойненько ушли в горы.

— Ну, а другие картины — перед этой и после нее, — что означают они?

— Дело в том, что Джулиано не по своему почину напал на крестьян, праздновавших Первое мая. Его наняли для этого демохристиане, которые боролись против нараставшего влияния коммунистов в сицилийских деревнях. Хотели запугать крестьян, сорвать праздник. На одной из картин как раз и изображена передача денег вожаку банды. По поручению хозяев эти деньги вручает ему его родственник Пишотто, тоже бандит, состоявший в мафии и в то же время выполнявший задания министра внутренних дел. Дальше, как видите, этот Пишотто после нападения банды на маевку явился к Джулиано, когда тот скрывался в доме сельского священника. Вот Джулиано сидит там и раздумывает. Выстрелами из револьвера Пишотто убил его. Выполнил, таким образом, задание министра внутренних дел. Убить Джулиано понадобилось потому, что он (в чем-то бандит и министр не сошлись) грозился разоблачить тех, кто его нанял. А дальше получилось точно так, как позднее было после убийства президента Соединенных Штатов: Пишотто, убившего Джулиано, в свою очередь, засадили в тюрьму и там отравили. Концы, как говорится, в воду.

— Нельзя ли еще раз послушать эту пластинку? — попросил я.

Теперь, когда мне стало известно содержание кантастории о крестьянах, праздновавших Первое мая, и о разбойнике Сальваторе Джулиано, когда к каждой картине я мог приложить соответствующий текст, слушалось и смотрелось все совсем по-другому. Певец прекрасным голосом вел тебя по сицилийским дорогам и полям, подымал на каменистые кручи, заставлял плакать вместе с убитыми горем матерями над их павшими детьми, разделять неизбывное горе детей, оставшихся сиротами. Нетрудно было представить, какое воздействие кантастория эта оказывала на деревенских зрителей и слушателей.

Буттито водил меня по каменистым террасам на склоне горы над своим домом, показывал ряды лимонных деревьев, густо и грузно обвешанных крупными зрелыми плодами; рассказывал, сколько труда вкладывает он ежегодно в эту рощу, за несколько лет перетаскав на себе в гору тонны земли и удобрений, каждую весну, лето и

осень перекачивая бесчисленные кубометры воды для поливки деревьев, а в итоге имеет одни убытки, потому что перекупщики за килограмм лимонов платят каких-нибудь сто лир, когда картошка на городских рынках стоит в два-три раза дороже.

Он зло поддавал ногой отличные плоды, от спелости упавшие на землю, горячился и шумел, но мне все думалось о той трагедии, которая одним майским днем разыгралась в Портелла делла Джинестра. Что-то уж очень характерное, типичное для сицилийской жизни чуялось в этой истории.

5

Депутат итальянского парламента от одного из округов Сицилии адвокат Людовико Коррао, человек деловитый и обязательный, с уверенностью гонщика управляет своим автомобилем «Фиат-850». Мы минуем длинные улицы Палермо, с полчаса петляем по склонам гор, вновь подымаемся к Монреалю и катим дальше над зеленой долиной, имя которой Конка д'Оро (Золотая впадина). В щедром, обильном плодоношении под нами красуются лимоны, апельсины, фиги. Постепенно они отступают назад, и мы втягиваемся в ущелье, которое становится все теснее, все угрюмее. Уже никаких лимонов: над каменистой дорогой повисают склоны голых гор, башнями встают мрачные скалы.

— Совсем до недавнего времени полными хозяевами здесь были разбойники,— рассказывает Коррао, поглядывая на обступившие дорогу каменные нагромождения. — Путников они останавливали чаще всего в этой самой тесной части Соломенного ущелья.

— Мафия?— спрашиваю я.

— Нет, просто разбойники. Крестьяне, которым нечего было есть. Мафия — сложная организация, с ней ни одно правительство Италии не могло и пока не может справиться. Кроме правительства «дуче». Муссолини упрятал мафиистов в тюрьмы. Теперь на этом основании они выдают себя за борцов против фашизма. Так сказать, жертвы его!

— А почему, собственно, фашизм невзлюбил мафию?

— Потому, что он сам был достаточно мощной мафией. Никакая иная ему была не нужна. Так вот, го-

ворю я, здесь в большинстве орудовали не мафиисты, а те, у кого не было земли, чтобы прокормить себя и свои семьи. Это были люди, пошедшие в разбойники от крайней нужды. А мафия... Мафия — совсем другое дело. Это крепкая, разветвленная организация, стоящая на страже интересов землевладельцев. Вы же знаете, наверное, что земли Сицилии испокон веков расхватаны крупными помещиками: и своими, сицилийскими, итальянскими, и чужеземными. Громадным массивом нашей земли, например, до сей поры владеют потомки английского адмирала Горацио Нельсона. Не забавно ли? В восточной части острова, в живописной местности, совсем не такой суровой, как здесь, вы можете посетить адмиральский замок Кастелло ди Маньячи и в его церковном дворе увидеть крест из вулканической лавы с надписью: «Бессмертному герою Нильской битвы». В большинстве своем, точнее — почти все, крупные землевладельцы не живут в деревнях, а обитают в городах, понастроив там вилл и замков. А земля? Они ее или сдают в аренду, или для обработки полей нанимают батраков; батраками же командуют управители. Это в одном случае. А в другом — земля просто пустует. Ни себе, как говорится, ни людям. Ну и, конечно, при таком положении происходило и происходит немало эксцессов. Крестьяне самовольно захватывали и продолжают захватывать пустующую землю, запахивают ее... А мафия?.. Тут-то и вступает в дело мафия. Наемники помещиков запугивают крестьян: поджигают их дома, вытаптывают посевы, а то и убивают. Выстрел из ружья или из автомата в лицо — и конец.

— Вы говорите, что разбойники — это крестьяне, оставленные без земли, впавшие в крайнюю нужду. А Сальваторе Джулиано, который огонь своей банды направил на крестьян, праздновавших Первое мая?..

— Джулиано? — Людовико Коррао выпрямился за рулем.— Это — дело особое. Кстати, прошу обратить внимание: мы въезжаем, как назвал его Карло Леви в своей книге, в «печальное царство» этого самого Джулиано.— Он повел рукой по сторонам.

Устье ущелья расступилось, и перед нами распахивала́сь широко лежащая среди гор лиловая долина; она покато спадала к извилистому руслу пересохшей реки, над которой тесными скоплениями домиков белело не-

сколько — далеко одно от другого — открытых солнцу, без единого пятна земли, каменных селений.

— Вот там,— Коррао указал на селение, которое сидело справа в горах,— Джулиано убил четырех человек. И вот в том, которое пониже, убивали... И в том, следующем. А мы едем в Сан-Джузеппе и в Сан-Чипирелло. Они рядом. Тут Джулиано встречался и с мафиистами и с представителями полиции. Он был таким разбойником, который отличался от других: полиция его не трогала, он с ней делился добычей. Все это, в общем-то, изрядно переплетается: мафия, разбойники, правительственные органы. И в тот день, в день бойни в Портелла делла Джинестра, разбойник Джулиано, направляемый рукой мафии по заданию тогдашнего министра внутренних дел, был орудием политической борьбы. Вот как у нас все сложно.

Коррао остановил свою машину в Сан-Чипирелло. На главной улице, возле сельского бара, нас обступили крестьяне. У всех у них были веселые, довольные лица. В чем дело?

— Мы крепко победили на выборах неделю назад. Кто «мы»? Ну коммунисты же, о мамма миа! За наши списки голосовали тысяча четыреста избирателей. За списки всех остальных партий — тысяча двести. Теперь у нас и мэр — коммунист! Вот он идет! Знакомьтесь. Джузеппе Итальяно!

После крепких рукопожатий спрашиваю:

— А фашисты участвовали в выборах?

— Фашисты?..— Все почему-то весело смеются.

— Да,— повторяю,— фашисты.

Спрашиваю я об этом потому, что во многих городах Италии собственными глазами видел плакаты, призывающие итальянцев голосовать за кандидатов некоего «Итальянского социального движения», и знал, что под этим псевдонимом ныне выступает фашистская партия.

— Не держим,— ответили мне.— Фашистов у себя не держим. Фашисты гнездятся в городах, а если еще и водятся в деревне, то в местностях побогаче, не в таких голодных и трудных, как наша.

— Фашисты — это одни студенты,— убежденно заявил крестьянин в зеленой старой шляпе.

— Не скажи,— возразил ему плотный, кряжистый Итальяно.— Студенты только на подхвате, для драк и

беспорядков. А главная сила фашистов — ее нельзя преуменьшать,— главная их сила опирается на деньги крупных промышленников и торгашей, на аксельбанты и погоны генералов.

Заходим в бар, стоим у стойки, угощаемся своеобразным сицилийским прохладительным — мелко дробленым льдом, в который выжат сок из лимонов.

— Много дела предстоит нам теперь сделать,— рассказывает Джузеппе Итальяно.— Скверно живут наши крестьяне. Нет воды ни для полей, ни для дома. Нет электричества. Нет школы...

— Земля в этих местах раскалывается от ежегодных засух,— вступает в разговор Коррао. Он депутат парламента как раз от этого округа, он независимый, но избирался по списку компартии, его здесь все знают, и он знает всех.— По нескольку летних месяцев в горах не бывает дождя. Все из-за этого солнца! — Он указывает на огненное небо, в котором дневное светило стоит прямо в зените.— Солнцу помогает горячий африканский ветер.— Коррао протягивает руку в сторону юга.— До Африки совсем недалеко: остров Пантеллерия, а за ним уже и Тунис — пару сотен километров, если не меньше. Без воды получать устойчивые урожаи невозможно. А где ее взять, эту воду? Центральное правительство страны не очень-то жалует вниманием Сицилию. Сицилия — падчерица Италии, золушка. Нам нужны ирригационные сооружения — плотины, водохранилища, нужны электростанции. Вот уже сколько лет идет борьба за постройку одной из таких необходимых плотин. Никто не поддерживает, только мешают. Кто мешает? Мафия! Едва выйдут в поле изыскатели и землемеры — стрельба из ружей. Прогоняют. У активистов поджигают дома. Только в последнее время кое-что начинает сдвигаться с места.

Мы ходим по Сан-Чипирелло. Узкие улочки — в гору и с горы. Вместе с людьми во многих домах находятся и животные — телята, козы. Но есть дома хорошие — это дома тех, кто побогаче.

— Очень-то богатых у нас нет,— рассказывает Итальяно.— Наш крестьянин или батрачит на чужой земле, на земле ее хозяина, или арендует ее. Что такое батрак, все знают. А вот что такое сицилийский арендатор?! Наш арендующий обязан отдавать хозяину пятьдесят процентов урожая. Половину! Сейчас мы развер-

тываем борьбу за то, чтобы отдавать только сорок процентов, а себе оставлять шестьдесят. В перспективах, почти как мечта, видятся семьдесят. А пока вот пополам. Слышали о ваших колхозах. Завидуем. Мечтаем. Два года назад сами организовали кооператив по возделыванию виноградников и переработке винограда. Дело идет успешно. Продаем очень много вина. По сто лир за литр. Но обманывают, конечно, нас перекупщики. Сто лир — это дешевле, чем кусок хозяйственного мыла, или пачка посредственных сигарет, или чашечка кофе с наперсток.

— Мы еще к вам вернемся,— говорит ему депутат Коррао, посмотрев на часы.— Съездим вместе в Портелла делла Джинестра, если у тебя будет время, Джузеппе?

— Конечно. Буду ждать.

Мы едем еще с полчаса по извилистым дорогам, все удаляясь от берегов острова в его гористую, каменную глубь.

Среди очередной долины, на открытом, испепеленном солнцем месте, без единого деревца вокруг, одиноко стоит обширный двухэтажный дом.

— Мое владение,— еще издали указывает Коррао.— «Мандриа нова». «Новое стадо».

Хозяина встречают его работники. Они живут в нижней части дома, где и кладовые, всяческие службы. Наверху, когда подымешься по наружной лестнице, попадаешь совсем в другой мир; там сочетание старины с современными удобствами: стилизованная столовая, собрание всяческих редкостей, вплоть до бесценных греческих амфор, поднятых со дна морей.

Хозяйство Людовико Коррао основано на животноводстве. Под кровлей скотного двора стоят десятка два крупных бурых коров.

— Не выращиваем на своих полях ничего, кроме кормов,— объясняет Коррао.— Ну, правда, еще и виноград, делаем свое вино. Много вина.

Я сказал о роще лимонов Иньяцио Буттито.

— Лимоны — занятие несерьезное.— Хозяин «Нового стада» усмехнулся.— Сто лир за килограмм! Смешно. Без рубашки останешься. Молоко выгодней. Мы делаем у себя сыры нескольких сортов. Сыры могут лежать. Сыры не портятся. Удобны они и для транспортировки.

С высокой террасы его дома видны все окрестности, обведенные вершинами невысоких сицилийских гор. На склонах белеют каменные горные селения.

— Вон то, видите?.. — указывает Коррао. — Которое справа. Это Кампореале. Там жил прекрасный человек, активист профсоюза — Канджиалози. Социалист. Его убила мафия. Жил там другой человек, староста, демохристианин Альмерико. Тоже погиб от руки мафиистов.

— Может быть,— высказываю я предположение,— вокруг вашего дома так пусто, так голо, нет ни деревца потому, что при этом лучше видно, если будут подкрадываться разбойники и мафиисты?

— Нет, совсем нет! Я вырубил, выкорчевал все деревья лишь потому, что они отнимали воду от посевов кормовых культур. Вода у нас, я же говорю вам, пожалуй, дороже вина. А разбойники... Если они задумали тебя убить, от них нигде не укроешься. О, мафия!..

6

Вот она, Портелла делла Джинестра, о которой впервые я услышал в доме Иньяцио Буттито. Ложбина, или, точнее, теснина, между двух горных гребней. Через эту теснину-проход (портеллу) лежит дорога от Сан-Джузеппе и Сан-Чипирелло в другую долину, с другими селениями. Ложбина поросла травами, усеяна валунами, скатившимися с красноватых, нависших над нею клыкастых скал. Угрюмое место, пустынное, глухое. Оно пугало бы еще больше, если бы не удивительно радостный, властвующий над всем иным густой, могучий аромат чего-то такого, что одновременно несет в себе запах и цветущих жасминов, и спелых лимонов, и еще чего-то очень хорошего, но неведомого.

Так пахнет, оказывается, вот эта разросшаяся над обрывами и цветущая желтыми цветами полутрава-полукустарник — джинестра. Джинестру любят в Италии, окружают ее легендами, и она из-за своего радостного аромата заслуживает этого.

К Портелла делла Джинестра первого мая 1947 года, с флагами, с музыкой, пешком и на подводах, как уже сказано, собирались крестьяне из Сан-Чипирелло, Сан-Джузеппе, Кампореале. Это все из одной долины. А шли, ехали и из другой, вон оттуда, где вокруг озера стоят

странные домики, не здешние, не сицилийские... Среди них видны... Неужели это минареты?

— Да, конечно, минареты. Это же деревня албанская. Албанцы живут здесь с пятнадцатого века, когда бегством в чужие страны они спасались от турецких ятаганов. Удивительно, сколько веков прошло, а беглецы сохранили не только веру, но и язык, все обычаи и одежды.

Итак, в тот день на этой поляне, в центре которой сейчас уложена плита с надписью, рассказывающей о трагическом событии, собралось до пяти тысяч человек. С этого места, где сегодня плита, а тогда был крупный валун, выступали ораторы, говорили о том, что в одиночку сицилийский крестьянин никогда не добьется хорошей жизни, что для борьбы за хорошую жизнь надо объединиться. Люди слушали — кто сидел на траве, кто на повозках. Некоторые уже подкреплялись припасами, готовясь к песням и пляскам.

— Я сидел вон там, поодаль. Был я тогда еще молодым и не лез на глаза старшим,— рассказывает Джузеппе Итальяно.— У нас образовался молодежный кружок. Отхлебывали вино из кувшина, закусывали. Хорошо было. Солнце первого майского дня еще не так жгло, как жжет оно летом, оно было ласковое в тот день. И вдруг выстрелы! Сначала никто ничего не понял. Подумали, не фейерверк ли ребята затеяли среди бела дня. Но начали падать люди. А над теми дикими каменьями — смотрите, смотрите туда, к подножию скалы и на ее гребень! — ружейный дым. Первыми испугались лошади. Они шарахнулись, понеслись с телегами на людей. Закричали женщины, дети. И началось... Да, страшное было дело. Восемь человек убито, множество раненных, и не только пулями, но и лошадьми, телегами.

Итальяно умолк, как бы снова увидев перед собою страшную картину, как бы вновь услышав крик Епифании Барбато над телом мертвого сына, как бы опять взглянув в открытые глаза убитой матери пяти ребятишек, беременной Маргариты Клишери... А вокруг было необыкновенно мирно и тихо. Источая клубы ароматов, пышно цвела на земле, политой кровью, джинестра. В глубокой горной тишине было только далеко-далеко слышно успокаивающее звяканье колокольчиков на шеях коров.

— Здесь довольно большое расстояние,— прикинув число метров от камней на скале до того места, где мы

стояли, принялся я демонстрировать свои знания стрелковой техники.— Неужели охотничьи ружья...

— Нет! — воскликнул Итальяно.— Не охотничьи! Бандиты Джулиано были вооружены боевыми винтовками и автоматами. Откуда они их взяли? На суде такой вопрос старательно заминался. Во всяком случае, по заводским клеймам они были американского производства. Шайку Джулиано снабдила оружием мафия, а мафии подкинули его те, кто высадился на южных берегах Сицилии в тысяча девятьсот сорок третьем году. Союзники! Всем же известно, что предварительно они столковались с мафией, чтобы она им оказывала помощь. Одним из главных вожаков мафии в ту пору был знаменитый дон Калоджеро Виццини, сепаратист, оголтелый антикоммунист. Он вступил в сговор с англоамериканцами, и его люди получали от них оружие. Вам бы повидаться с товарищем Джироламо Ликаузи, как его у нас называют, с «главным коммунистом Сицилии», он бы рассказал кое-что интересное об этом. Он ведь сам пострадал от мафии. Года за три до нашей маевки на митинге в селении Виллльальба, близ Кальтаниссетты, мафиисты пытались его убить из пистолета.

— Да, синьор Ликаузи — интересный человек, — подтвердил Коррао.— Но на Сицилии его сейчас нет. Он в Риме. Там заседает парламент. Я тоже завтра улечу самым ранним самолетом.

«Печальное царство Джулиано» — вспомнил я на обратном пути в Палермо слова Карло Леви, приведенные депутатом Коррао. Царство это, безводное, спаленное солнцем, действительно, сегодня не наполнено весельем. Но оно не Джулианово царство. Все-таки это царство Джузеппе Итальяно, его товарищей, неделю назад серьезно победивших на выборах в местные органы управления, царство пока что нищего, неимущего, безземельного, но непреклонного трудового народа Сицилии. В разбойничьи шайки пошли единицы, пошли наименее стойкие, отчаявшиеся. А тысячи-то и тысячи идут с коммунистами. 1400 из 2600, принявших участие в выборах, отдали свои голоса за коммунистов — это ли не знаменательно! Такое не само собою приходит, нет. Немалый труд вложили, чтобы добиться этой победы, сицилийские коммунисты. И труд, и здоровье, и ночи без сна, и кровь. Джироламо Ликаузи... Непременно надо повидать чело-

века, который вышел на открытую схватку с мафией. Надо найти его в Риме...

— Ликаузи? — сказали мне палермские друзья.— Да, да, вы должны с ним встретиться. Мы все, конечно, знаем о делах мафии. Но он больше всех знает. Ах, мафия, мафия!.. Сейчас на Сицилии заново расследуется дело об убийстве журналиста Козимо Кристина. Это убийство хотели выдать за самоубийство: выпал, дескать, на ходу поезда из вагона. Быстренько его похоронили. Это было несколько лет назад. А сейчас подняли архив, и что вы думаете: следы ведут все туда же, к мафии. У Козимо был небольшой прогрессивный журнальчик «Проспеттиве Сичилиане», в нем Козимо не стеснялся говорить правду о мафии, о ее главарях.

7

У входа в здание парламента Италии, по сторонам которого несут службу две пары карабинеров в сверкающей форме, нас встретил немолодой, но очень подвижный, жизнерадостный человек. Опираясь на палку, прихрамывая, он с полчаса показывал нам строгие парламентские коридоры, многочисленные залы: и светлые и сумрачные, и большие и малые, в том числе и знаменитый Зал Волчицы, той самой, без которой невозможна история Рима. Наконец мы оказались в скромных комнатках, отведенных для работы парламентской фракции коммунистов.

В одной из них наш хозяин, Джироламо Ликаузи, «главный коммунист Сицилии», устроился поудобней на диване, все время держа под рукой свою внушительную, увесистую палку, и хорошо, открыто, очень по-доброму, улыбнулся во все большое умное лицо.

— Рад вас видеть, рад. Не раз случалось мне бывать в Советском Союзе. Однажды даже лечился в Кисловодске, в чудесном санатории «Красные камни». Еще бы хотел съездить. Всегда получал большую идейную, нравственную зарядку. Отличные у вас были революционные кинофильмы, фильмы о ваших великих строительствах. Как они помогали нам здесь, всему коммунистическому движению!

Он один из старейших деятелей Коммунистической партии Италии. Сейчас товарищ Ликаузи — заместитель

председателя ревизионной комиссии КПИ. Но много лет он был и на более высоких партийных постах. Годы, годы... Семьдесят лет не шутка. Так, как прежде, в этом возрасте не поработаешь без устали, не покипишь с былым жаром, хотя он по-прежнему бодр и деятелен, этот пламенный сицилиец, еще в 1912 году вступивший на путь революционного движения. Сын кустаря-сапожника, вначале он оказался среди социалистов, но жизнь в конце концов привела его, убежденного марксиста, в ряды коммунистической партии. Почему его называют «главным коммунистом Сицилии»? Да потому, что он всегда в центре партийной работы на острове. С падением фашизма в 1943 году Джироламо Ликаузи тотчас же начал работу по объединению разобщенных, разогнанных фашистами партийных кружков. Страстное его слово, как жаркий ветер, летело над Сицилией.

— Товарищ Ликаузи,— говорю я,— среди цветущей джинестры, близ сицилийского селения Сан-Джузеппе, крестьяне рассказали мне кое-что о том, как вы однажды столкнулись с мафией. Нельзя ли от вас самого узнать подробности того события?

— А что они вам наговорили? — Он смеется.— Ну расскажите, пожалуйста. Чего там наши сицилийцы насочиняли?

— Примерно вот что. Дело было в деревне Виллльальба, близ Кальтаниссетты...

— Правильно, в Вилльальба.

— Вы, товарищ Ликаузи, во время митинга находились на площади и, стоя на столе, специально вынесенном для ораторов из ближайшего дома, выступали перед слушателями. А какой-то мафиист, буквально с десяти шагов, пустил в вас пулю из пистолета. Вы не только удержались на ногах, но еще и крикнули: «Стреляйте, стреляйте, все равно я отсюда не уйду!»

Ликаузи усмехнулся, решительно задрал брючину, и я увидел на его крепкой, жилистой ноге старый рубец большой рваной раны.

— Что касается пули, то вот ее работа. А что я там крикнул, не помню, не в том было дело. Дело было совсем в другом.— Он примолк на минуту, потер лоб ладонью, обдумывая.— Вы помните, конечно,— заговорил вновь,— что союзные войска высадились на Сицилии с необыкновенной легкостью. Почти что шутя и играя. Почему? Ну, начнем с того, что силы немцев на острове

были пустячные. Фактически никакого сопротивления они не оказали. Возможно, что какую-то роль сыграла та ловкая комбинация английской разведки с подброшенным к берегам Испании трупом якобы штабного английского офицера, при котором «случайно» оказались, конечно, специально для этого сфабрикованные, планы союзного командования. О той истории немало писали, вы о ней знаете. Но были еще и иные причины того, почему так легко в руках англо-американцев оказалась Сицилия. Высадку союзников рьяно подготавливали и наши местные, сицилийские феодалы. Особенно они жаловали своими симпатиями американцев. Американцы, в свою очередь, были до крайности заинтересованы в Сицилии, и не только в целях ближней стратегии. Нет, они делали ставку с большим заглядом вперед. Здесь было место стратегии не столько против немцев, сколько уже против Советского Союза, против вас. Американцы уже тогда готовили почву для разрыва союзнических обязательств, для разрыва с Советским Союзом. Сицилия им была нужна как ворота в Африку, в арабские страны. А без разрыва с Советским Союзом такие ворота не получишь: Советский Союз на это не согласится. Верно? Верно. Вообще тогда была чертовски сложная обстановка и во всей Европе и в нашей Италии. На севере страны из движения Сопротивления развертывалась война, носившая уже революционный характер. Магнаты Италии были в панике. Они озирались по сторонам и Сицилию готовили как свое убежище, как бастион на крайний случай. Правительство де Гаспери объявило тогда автономию Сицилии, полагая, видимо, что в том случае, если Советы, пройдя воевавшие против них страны, захватят Германию, Австрию, а затем и Италию, Сицилия-то уже будет вне Италии, будет автономна. Де Гаспери заверял демохристиан, что они окажутся на острове в особых условиях.

Ликаузи примолк, подумал.

— Да,— продолжал он.— Ни у американцев, ни у наших воротил так, как бы им хотелось, не получилось. В апреле, а именно двадцатого апреля тысяча девятьсот сорок седьмого года, состоялись выборы в первый парламент Сицилии. Большинство на этих выборах получили отнюдь не демохристиане, а коммунисты, социалисты и независимые. Де Гаспери не ожидал такого результата: началось зверское наступление на все прогрессивное, и

прежде всего на коммунистическое. Первого мая сорок седьмого года, всего лишь через десять дней после выборов, в Портелла делла Джинестра, о которой вы только что помянули, произошла стрельба по крестьянам, собравшимся на маевку. Дело совсем не в жестокости разбойника Джулиано. Хотя разбойник, под каким углом его ни рассматривай, все равно разбойник. Но в том случае он действовал не от себя, а по указке мафии. Ее, мафию, призвало на помощь демохристианское правительство. Расстреливать крестьян в столь острой революционной ситуации само оно не решалось. Десятки людей, активистов-общественников, были убиты мафиистами в те тяжелые годы. Шла упорная борьба за земельную реформу. Мафия, служа демохристианам, в то же время здорово шантажировала своих хозяев-феодалов: дескать, все равно землю у вас отнимут, продавайте, пока не поздно,— и сама скупала эту землю по дешевке. Видите, сколь сложный переплет: слуга прислуживает хозяину и грабит хозяина. Реформа тысяча девятьсот пятидесятого года была ублюдочной. Земли крестьянам дали до крайности мало, да и то ее надо было выкупать. А не выкупит крестьянин в срок — пропали его денежки. Он платит, платит, не выдержит, махнет на все и идет в разбойники.

Ликаузи поглаживал рукой больную ногу.

— Ну и, понятно, коммунисты завоевали массы. Во-первых, коммунисты не шли на компромисс с мафией, как, скажем, другие партии и организации. Коммунисты не трусили и не стеснялись называть имена мафиистов, когда это было надо. Во-вторых, они призывали к более правильному, радикальному решению земельного вопроса.

Рассказчик как бы вслух обдумывал положение своего родного острова. Он не лекцию читал для нового человека, а решал какой-то сложный вопрос для самого себя.

— Может ли сейчас,— говорил он дальше,— центральное правительство отнять данную Сицилии автономию? Вряд ли. Хотя промышленные тузы Италии очень бы этого хотели. У нас они открыли нефть, вовсю стремятся развивать промышленность. Им что надобно? Чтобы сицилийцы своей автономией не связывали им руки. Не нужна автономия и земельным тузам-феодалам: без нее можно свободнее расторговывать сицилийскую землю. А мафия? Мафия тут как тут. Она лезет

в разные круги: уже не только в землевладельческие, но и в промышленные и даже в те, которые управляют государством. Занятно?

Старый коммунист невесело улыбается. Перед ним, перед его мысленным взором — горные бедные селения сожженного солнцем острова...

— Товарищ Ликаузи,— говорю я,— а все-таки не расскажете ли поподробнее о той истории в Вилльальба, где в вас стреляли?

— А что рассказывать? Ничего не могу добавить к тому, что вы уже знаете. Никого тогда не арестовали за стрельбу, хотя все знали каждого в той шайке, в том числе, конечно, и стрелявшего. Начался было судебный процесс. Длился он восемь лет, покуда стрелявший не умер своей смертью. Вот и все. Пойдемте лучше пить кофе и есть мороженое!

Прощаясь с товарищем Ликаузи, я решил поинтересоваться, что же он думает о дальнейшем существовании мафии, будет ли когда-нибудь с нею покончено.

— Адрес для подобного вопроса вы избрали очень удачный,— ответил он, смеясь. — Я же не кто иной как заместитель председателя назначенной парламентом комиссии по расследованию и изучению деятельности мафии. К кому же еще и обращаться! Но, увы, толку от нас пока немного. Утверждают, что слово «мафия» — арабское слово, а если не арабское, то, во всяком случае, из какого-то восточного языка, и означает оно: «То, что прячут». А кто знает, найдешь ли то, что спрятано так основательно, как наша мафия? Тем более что уж очень много заинтересованных, чтобы ничего не найти.

8

Пожалуй, нет такого иностранца, который, побывав в Риме, не знал бы, что такое Вилла Боргезе, и не постарался бы посетить эту «виллу». Виллой Боргезе у жителей Рима называется обширная зеленая территория, на которой в тени старых садов помещается не только собственно сама вилла, с ходом времени превратившаяся во всемирно известную галерею Боргезе, но и национальная галерея современного искусства Италии, и даже зоологический сад, и много других интереснейших учреждений и памятников.

На территории Виллы Боргезе немало и обычных жилых домов. По мнению римлян, тот, кто здесь живет, счастливец. Ему не надо выезжать за город: он и так среди зелени, дышит свежим, не испорченным бензиновой гарью воздухом.

Чтобы найти дом и мастерскую Карло Леви, надо прежде всего добраться до Виллы Боргезе. Шофер такси отыскал в огромном городе узкую, кривую, идущую в гору улочку Виа ди вилла Руффо, поднялся по ней и затормозил возле дома № 31. Но хотя именно так, на этой улице и под этим номером, был у меня в блокноте записан адрес живописца-писателя, оказалось, что до его мастерской еще далеко. От дома № 31 надо было подниматься по старой каменной лестнице туда, вверх, под сень деревьев, на один из многочисленных холмов Рима (кто сказал, что их только семь?), и уже не смотреть на номера домов, расположенных под этой сенью, а спрашивать, где живет маэстро Леви.

Маэстро встретил нас в обширной мастерской, завешанной и уставленной готовыми и полуготовыми полотнами, этюдами и эскизами и тем всегдашним реквизитом, какой непременно присутствует в мастерской любого художника.

Собеседником Леви оказался превосходным. Покуда шла беседа обо всем понемногу, я вслушивался в его стремительную речь, вглядывался в его быстрые глаза, в энергичные жесты летающих рук. В Карло Леви было что-то сходное с Иньяцио Буттито, недаром два этих человека дружат много лет.

Жизнь Леви была нелегка. Советские читатели, знакомые с книгой его ярких, сильных очерков, объединенных общим названием «Христос остановился в Эболи», знают, что в края, о которых идет речь в книге, тридцатитрехлетний художник отправился не по своей воле. Медик по образованию, живописец по страсти, активный антифашист по убеждениям, он был в 1934 году арестован муссолиниевской охранкой и сослан в Луканию. Со временем, отбыв ссылку, он эмигрировал во Францию, затем вернулся, вновь был арестован, но отправлен уже не в ссылку, а в тюрьму и там поведал читателям о своем пребывании в Лукании, одну за другой развертывая в своих очерках картины жизни тогдашней фашистской Италии.

Очень интересна его книга «Слова-камни» — о Сицилии. Заговорив о ней, я постарался обратить мысль хозяина мастерской к тому, что меня интересовало.

— О, история в селении Виллльальба! — воскликнул он. — Эту историю я хорошо знаю. Очень хорошо. В том селении, когда произошло известное вам событие, жил дон Калоджеро Виццини, глава мафиистов округа, а может быть, и всей Сицилии. Могущественный человек! Это он вступил в сношения с американцами перед их высадкой на южном берегу. Без его воли, как без воли божьей, ни один волос человеческий не мог упасть в сицилийских горах и долинах. Но он был бездетен, и отсюда некий пунктик... — Рассказчик взял мою записную книжку, мое перо и принялся чертить. — Вот площадь Пьяцца ди Виллльальба в центре селения. Его, кстати, это селение, можно называть и городком, если хотите. Но мы о таких селениях говорим: деревня. А вы как хотите. Вот, значит, площадь. Вытянутая прямоугольником. Не велика, конечно: метров пятьдесят в длину, двадцать в ширину. В одном ее торце — тут — церковь, в другом — казарма карабинеров. Вдоль одной длинной стороны — дом дона Калоджеро Виццини, вдоль другой — два дома, принадлежащих семье родовитых либералов девятнадцатого века Панталеоне. Остановим внимание на этой семье. У них был сын Микеле Панталеоне. Это мой хороший друг, от которого мне все так подробно и известно. Вы правильно сделали, что нашли именно меня. Так вот, о пунктике дона Кало, как попросту звали Калоджеро Виццини. Не имея своих детей, он все внимание свое обратил на Микеле Панталеоне. Главарь мафии решил сделать из парнишки образцового мафииста, который бы впоследствии занял в мафии место вожака. Дон Кало наставлял Микеле в соответствующем духе, учил его обращению с оружием — словом, выращивал мафииста. А Микеле, в свою очередь, раздваивался. С одной стороны — дон Кало и мафия, с другой — семья с либеральными, добрыми, старыми благородными традициями. Сложно, да? Очень сложно. В тот день, о котором у нас с вами идет речь, свободомыслящие люди Виллльальбы и ее окрестностей решили провести митинг на площади, вот на этой самой, которую я вам тут вычертил. Одним из главных организаторов этого дела был, конечно, товарищ Ликаузи, с которым

вы вчера встретились. А надо сказать, что до того дня никаких публичных собраний во всей округе не бывало: мафиисты делали это невозможным. Прогрессивные круги учитывали такое положение и, чтобы избежать неожиданностей, снеслись с главой мафиистов. «Что ж, — ответил им местный вседержитель, — говорить говорите о чем угодно, но чтобы и словом не поминались ни вопросы землевладения, ни мафия. А не то... Вы меня знаете. Слов на ветер я не бросаю».

Кто-то позвонил Леви по телефону, чтобы он немедленно куда-то шел. Он только развел руками.

— Всюду все равно не поспеешь. — И продолжал: — Перед началом митинга дон Кало приказал вынести ему из дома стул и уселся на нем посредине площади. С палкой в руках. Положив ладони на ее набалдашник... Стали собираться люди. Поблизости от казармы карабинеров у стены дома установили вместо трибуны стол. Но людей, надо сказать, на площади было очень мало. Боялись. Чего? Мафиистов. Те с ружьями и пистолетами в руках стояли вокруг всей площади, прислонившись задами к стенам зданий, и, как гадюки, смотрели на каждого, кто появлялся на площади. Крестьяне жались в боковых улицах да выглядывали из окон домов. А на самой площади, возле стола для ораторов, толпилась небольшая группка шахтеров, которых привел с собой товарищ Ликаузи. Итак, начался митинг. Первым оратором был приезжий университетский профессор. Он говорил о чем угодно — об истории Венецианской республики, о теории искусства, о жизни Бенвенуто Челлини, о непорочном зачатии,— только не о земле и не о мафии. Когда он закончил, дон Кало снисходительно похлопал в ладоши: все, мол, хорошо, приветствую такой митинг. Крестьяне, конечно, от этого осмелели — стрельбы нет, напротив, аплодисменты,—стали выходить из улиц, площадь заполнялась. Следующим поднялся на стол... Кто бы вы думали?.. Любимец дона Кало — Микеле Панталеоне. Тоже не говорил ни о чем прямо в лоб. Но все же в его речи прозвучали семейные либеральные нотки. Дон Кало едва стерпел такую вольность. Аплодировать не стал. Подошла наконец очередь вожака коммунистов — Джироламо Ликаузи. Он размахнулся на полную мощь. Это же замечательный оратор, трибун, подлинный народный вожак. Мафия в его речи была

названа преступной организацией, названы были имена, факты преступлений. «Баста!» — выкрикнул дон Кало и поднял свою палку над головой. Мафиисты по этому сигналу открыли отчаянную пальбу: кто вверх, а кто и нет. Один из них с нескольких шагов, чуть ли не в упор, выпустил очередь пуль в Ликаузи. Тот выкрикнул свои знаменитые слова: «Стреляйте, стреляйте, я все равно отсюда не уйду!..» — схватился за грудь, за живот... и упал. Упал не на мостовую, а на подхватившие его руки. На чьи? На руки Панталеоне! Микеле Панталеоне. Воспитанник дона Кало подхватил вожака коммунистов, взвалил к себе на спину, и никто — тем более что все думали, будто бы оратор убит, — не успел и глазом моргнуть, утащил его за угол в боковую улочку. Затем выскочил оттуда снова на площадь и стал стрелять в воздух из пистолета, который у него был, как у каждого мафииста. Мафиисты удивились, поразились, прекратили стрельбу. А к тому времени раскачались и карабинеры, высыпали из казармы. Убитых в этой схватке не было, но до тридцати человек мафиисты ранили, некоторых очень тяжело.

— Значит, товарища Ликаузи спас Микеле Панталеоне?

— Да, Микеле. Но еще и то спасло, что, хотя Ликаузи был ранен в ногу, он схватился за грудь и за живот, прежде чем упасть. Он так хотел защититься от новых пуль. А бандиты подумали, что он уже убит.

Заканчивая свой рассказ, Карло Леви добавил:

— Человеку семьдесят лет, но огонь его не ослаб, не остыл. Послушали бы вы, как и сегодня выступает он перед крестьянами Сицилии! Он говорит с ними на их родном сицилийском диалекте, язык его образный, яркий, речь зажигающая. Это не книжник, не начетчик. Это солдат старой партийной гвардии.

Так чье же там царство, в сицилийских горах и долинах,— возвращался я все к той же мысли,— разбойников типа Сальваторе Джулиано, мафиистов, прячущих американские пистолеты в рукавах курток, или же таких, как Джузеппе Итальяно из Сан-Чипирелло, и его единомышленников, сколачивающих крестьян в кооперативы, таких, как Джироламо Ликаузи, всего себя отдающего борьбе за народное благо? Мир подобных дону Кало, ныне почившему в бозе, подобных убитому Сальваторе Джулиано, еще силен. Те, кто окружает Ликаузи

и Итальяно, пока не владеют материальными средствами, которые утвердили бы их как хозяев страны. Но они властвуют в сердцах, в помыслах своих соотечественников. А в конечном итоге, как показывает история, это важнее и прочнее всего остального.

ПРИЗРАКИ СХОДЯТ С ОБЛОЖЕК

1

Едем грузным, но быстрым рейсовым автобусом, часа полтора назад отошедшим из Рима, с площади Республики. Медленно вползаем на подъемы, петляем по кручам, где с каждого поворота дороги открываются картины одна живописнее другой: то тесно сцепившееся черепичными крышами селение внизу, под обрывом, в долине горной речки, то замок из валунов на каменной выси по ту сторону ущелья, то такой же каменный монастырь далеких веков; и всюду щедрая природа по склонам: виноград, лавры, оливы...

Давно остались позади бесконечные римские предместья с обломками акведуков двухтысячелетней давности, столь же древними развалинами крепостных стен и мавзолеев; позади и плодородные долины предгорий. Наш автобус пересекает те гористые места, через которые предшественники древних римлян мчали на конях похищенных ими сабинянок; движемся все дальше, дальше — к горному городку Л'Акуила.

Дорога эта повидала многое и многих. Проезжали по ней, и не раз, должно быть, Саллюстий, родившийся там, в Л'Акуиле; Овидий, родина которого, утверждают, тоже в тех местах; в окрестности Л'Акуилы возили по этой дороге гладиаторов, рабов и зверей для их травли па сохранившейся до сих дней обширной арене. И еще однажды, уже не века назад, а в конце лета 1943 года, в глухом, сверкающем черным лаком вместительном лимузине был провезен по ней арестованный на выходе от короля Виктора-Эммануила III бывший диктатор Италии «кавалер» Бенито Муссолини.

Все мы прекрасно знаем, что такое фашизм, и знаем всю его природу, знаем, что он мрачное порождение

империализма, хватающегося за фашизм как за крайнее средство самосохранения. Но для того чтобы не просто из тех или иных явлений жизни составлять различные концепции общественного развития, но и делать из них такие выводы, которые помогали бы видеть не только пройденную дорогу, а и путь впереди, вооружали бы нас зоркостью, способностью предвидеть, в начатках угадывать неизбежные последствия,— для всего этого мало одних только выстроенных в ряд явлений: ни в коем случае нельзя забывать и человека, особенностей его личности, его характера, его внутреннего мира. Империализм призвал себе на помощь не абстрактную общественную или государственную формацию с отчетливо сформулированной программой. Прежде всего он ухватился за кучку личностей с определенными устремлениями и наклонностями, в числе которых, в частности в Италии, оказался Бенито Муссолини.

Пока автобус берет кручу Абруццких гор, есть время кое-что припомнить. История зафиксировала дату создания первой организации «фашо». Это было в Милане 23 марта 1919 года. Не кто иной, как торгово-промышленный клуб, предоставил для этого свой зал в особняке на площади Сан-Сеполькро, № 3. Там «социалист» Муссолини в единении с несколькими отпетыми националистами начинал свое новое, по лозунгам революционное, а по духу националистическое движение. 23 марта 1919 года говорили о несчастной Италии, разоренной войной, о ее народе, страждущем и голодающем. Все было как бы и за народ, за его благо, и вместе с тем подлинной мыслью о народе не был озабочен ни один участник «исторического» сборища. Каждый по-своему и только для себя предполагал погреть руки у огня, раздуваемого человеком с тяжелой, хмурой физиономией.

От «фашо» Милана метастазы фашизма медленно, но упорно потянулись в другие города, в другие провинции Италии.

«Движение» поначалу было слабенькое, по своим первым проявлениям довольно безвредное; современники утверждают, что в те дни оно влачило жалкое существование и состояло из малозаметных мелких групочек, разбросанных там и сям по полуострову.

В послевоенной Италии стремительно и мощно росло рабочее движение. Один за другим страну сотрясали крупные острые конфликты между рабочими и

предпринимателями, правительством. Полистаем газеты тех лет. Весна 1919 года — сильные волнения из-за роста дороговизны в стране; январь — февраль 1920 года — массовые забастовки на железных дорогах; август — сентябрь — рабочие захватывают фабрики. Не прямой ли это предвестник революционной грозы? Хозяева заволновались. Тут-то и началось разрастание местных «фашо» в управляемую из Милана всеитальянскую организацию, которая, как железобетонная дамба, должна была оградить власть капитала от нараставших волн революции. Фашистские группки при благосклонности, при денежной поддержке промышленных королей и при попустительстве и даже с одобрения правительства стали обзаводиться боевыми, вооруженными отрядами «сквадристов»; то там, то здесь вспыхивали подлинные бои, с огнем и кровью.

«Не поддаваться на провокации!» — вопят, видя все это, «благонамеренные», а «фашо», их боевые «сквадры» громят тем временем помещения социалистических организаций. Их законом становится дубинка. А поскольку руководство «фашо» является уже и трибуналом, оно само определяет, сколько кому и за что выдать этой дубинкой. Разработана даже соответствующая методика: молодых бить по голове, пожилых — по спине и груди.

Бия одних по головам, других — по груди и спинам, вождь фашистов, их «дуче», Муссолини стремительно шел к власти. Начав с небольших скандалов, прощупав слабость противостоящих сил, ощутив поддержку промышленных магнатов, он, как вырвавшийся из бутылки дух, черной тучей застил общественный горизонт Италии. Под его давлением правительство издало декрет о неприкосновенности лиц, нарушивших законы «во имя блага нации», то есть фашистов, совершивших преступления против социалистов. На военных грузовиках карабинеров рядом с казенными треуголками и красными воротниками замелькали и черные фашистские рубашки.

Пришел и такой день, когда перед строем дефилировавших мимо него по улицам Неаполя сорока тысяч чернорубашечников Муссолини кричал: «Я торжественно заявляю, что требование момента таково: или нам дадут власть, или мы возьмем ее, двинувшись на Рим. Надо взять за горло жалкие правящие круги».

— На Рим! На Рим! — завопили черные рубашки.

Так было положено начало фашистскому «походу на Рим». И хотя в столице Италии в то время было двадцать восемь тысяч войск, а у фашистов — всего лишь двадцать шесть тысяч сквадристов, а не сто тысяч, как разносила по стране молва (да и те двадцать шесть тысяч застряли в пути, поскольку движение поездов было закрыто), король Виктор-Эммануил III отказался выступить против Муссолини. Правящий класс, больше всего опасаясь революции, прозевал тот час, когда заслон, выставленный им против этой опасности, сам превратился в самостоятельную силу. Из ненависти к социализму сильные мира сего дали дорогу фашизму, и уже 16 ноября 1922 года Бенито Муссолини, новый глава правительства Италии, открывая заседание палаты депутатов, не без основания изрек: «Я мог бы превратить эту тупую и бесцветную палату в солдатский бивак!»

И конечно же он мог это сделать в условиях, когда правители, боясь народа, предпочитают опираться не на трудовой народ, а на кого угодно иного, вплоть до банд авантюристов, громил, проходимцев, сбитых с толку безусых парней. Не во имя какой-то программы, каких-то высоких целей большинство сквадристов пришло в фашистские формирования, а только потому, что Муссолини, как потом и Гитлер, освобождал молодых людей от моральных обязанностей перед обществом, давал им возможность распоясаться, что соответствовало сущности их натур.

То же самое произошло с самим Муссолини, по натуре бабником, винопийцей и самозабвенным любителем «дольче вита» («сладкой жизни»). Дорвавшись до неограниченной, диктаторской власти, он смог в полную меру удовлетворить и свои безграничные потребности. В постели «дуче» замелькали любовницы одна импозантнее другой; он захватывал и строил заново роскошные виллы, «королевские» дворцы, горные «убежища»; морские яхты сменялись океанскими.

Путь «наверх» типов, подобных Муссолини, их образ жизни «наверху» должны бы стать предметом изучения и анализа, дабы люди и сегодня и в будущем по начальным признакам могли бы в малозаметной зеленой личинке распознавать грозную саранчу с челюстями аллигатора.

Автобус все петлял в горах, то спускаясь в ущелья с возделанными полями вдоль берегов рек и речек, то вновь возносясь на скалистые кручи. Двадцать три года назад Бенито Муссолини сквозь стекла автомобиля смотрел на эти места глазами человека, сброшенного с заоблачных высот безграничной власти. О чем он тогда думал? Как оценивал свою жизнь? Раскаивался ли в чем-либо или только скрипел от досады зубами? Как, должно быть, проклинал он свое недавнее окружение, состоявшее из гуляк, мздоимцев, проходимцев, грабителей, бросивших его теперь, в столь тяжелую минуту! Можно представить, как жестоко жалелось ему, что не успел он расправиться с ними со всеми, не успел поступить так, как поступил со своим зятем, сиятельным Галеаццо Чиано, мужем дочери Эдды.

Черт бы побрал этих зятьев и всяких иных родственничков при сильных мира сего! Сколько старуха история знает примеров, когда зятья эти, дядья да дочечки, на правах «членов дома», чувствуя свою безнаказанность и не встречая никакого противодействия нигде и ни у кого из подхалимствующих главе «дома», расцветали столь пышными цветами, что их истощающее цветение в конце концов доводило до полного краха и весь этот «дом».

Посредственный, но бойкий, пронырливый журналистик, Галеаццо, став мужем дочери Муссолини, завоевал сердце тестя своей угодливостью и преданностью. Ну как не наградить человечка за это! Будь, зятек, главой министерства пропаганды!

Получив же в руки все средства пропаганды в стране, ловкий малый не растерялся: он поспешил обратить их на то, чтобы с утра до ночи — и в печати, и по радио, и в кино, и всюду, где только возможно,— восхвалять, возносить до небес своего тестюшку. Тестюшка там, тестюшка здесь, тестюшка острит, тестюшка произносит речь, тестюшка на выставке свиней, тестюшка морщит свой двухэтажный лоб и государственно думает, а вот он уже и в тюрьме — напутствует жуликов, отбывших срок наказания. Словом: тестюшка, тестюшка, тестюшка...

Естественно, главу государства, падкого на лесть, умиляло рвение оборотистого родственника, и едва зятьку перевалило за тридцать, «дуче» сделал его министром иностранных дел. Кто не слышал в те довоенные

годы о шумных, скандальных деяниях молодого графа Чиано? Пустозвон, недоучка, то, что в народе называют просто «трепач», превращался в крупного богача, в одного из ведущих бонз муссолиниевской Италии, в избранника, заседавшего в Большом фашистском совете. Парень дорвался до орденов, до званий; спеша хватать от жизни все, что можно, потащил в постель и актрис с мировыми именами, и графинь, и герцогинь, и потаскушек с улиц. Ну кто откажет такому зятю, который вот-вот займет место тестя и сам станет новым «дуче»! Галеаццо Чиано гуляет в курортных местечках, стреляя пробками в потолки ресторанов; о нем ходят легенды; любители сплетен начинали день с пересудов о том, что, мол, нового у «нашего» Галеаццо. Он раздавал должности угодным, смещал неугодных. Он рассовывал на всякий случай всюду «своих», благодарных ему, зависевших от него. На каком-то этапе развития тестюшка ему даже начал мешать, становиться в тягость. Дошло дело до того, что в один прекрасный день зятек оказался среди тех, кто тайно сколачивал оппозиционную Муссолини группировку в недрах правящих кругов Италии.

Надо полагать, вспоминая о том, что последовало дальше, «дуче» в черной несущейся через горы длинной машине усмехался. Он поступил тогда ловко. Они, эти мелкие типы, переоценили свои силы. Девять из одиннадцати министров правительства Муссолини, в том числе и Чиано, одним движением пальца Бенито были вышвырнуты вон. Причем их даже никто не пригласил, дабы объявить им такое решение. Они узнали о нем из газет и по радио. В неисчислимых мемуарах сохранились слова Муссолини, небрежно брошенные им тогда гитлеровскому послу в Риме: «Да, я проделываю такое время от времени. И вы должны постепенно привыкнуть к этому».

Но не все было доведено до конца. Чиано вновь оказался среди врагов своего тестя. Он был среди тех, кто какой-нибудь месяц назад на Большом фашистском совете в Палаццо Венеция девятнадцатью голосами против семи и при двух воздержавшихся вынес предательское по отношению к тестю решение: перед лицом наступающих союзников, которые уже высадились в Сицилии, отстранить его, Муссолини, от руководства правительством и всю полноту власти передать королю. Муссолини был вызван на королевскую виллу и там

арестован. Все было сделано против него так быстро, что сам он, «дуче», ничего не успел предпринять. Надо было прикончить тех девятнадцать отщепенцев, которые голосовали против него. И щелкопера Галеаццо, змею, пригретую у сердца, тоже. Удастся ли когда-нибудь это сделать? Не прикончат ли его самого раньше других? Потаскав по различным местам Италии, куда-то везут по приказу маршала Бадольо. Куда? В какие-то горы. Может быть, там ему и конец?..

2

Пройдя мимо статуи Саллюстия, установленной на небольшой городской площади, мы завернули в узкую улочку — виа Паганика — и по тесной лестнице с крутыми поворотами поднялись на второй этаж дома № 3. В нескольких тесноватых комнатках с низкими потолками здесь размещается партийный комитет Л'Акуилы и ее окрестностей. Привели нас сюда встретившие у римского автобуса товарищи Чичероне, Путатуро и еще несколько человек, приветливых и радушных.

Пьем кофе, ведем беседу. Среди наших хозяев есть двое, знающие русский язык. Почти все собравшиеся, за исключением самых молодых, — участники Сопротивления, бывшие партизаны отрядов и групп, действовавших в Центральной Италии, и в частности здесь, в их родных местах, у подножия гор почти трехкилометровой высоты, которые объединяются общим именем Гран-Сассо.

Самый старший здесь и по возрасту и по положению в партийной организации — товарищ Чичероне, плотный, сильный человек, с открытым, волевым лицом, на котором металлическим светлым огнем вспыхивают рубящие тебя клинками отточенных сабель большие, слегка навыкате глаза.

— Били немцев, били... — рассказывает он, раскладывая на столе старые фотоснимки. — Когда гитлеровские шайки оккупировали Италию, особенно когда пал режим Муссолини и нас, итальянцев, они из союзников переименовали в своих противников, началась кровавая резня. В деревне, тут, поблизости, у одного молодого крестьянина гитлеровцы вздумали отобрать лошадь. Крестьянин всегда крестьянин, и лошадь для него всегда

лошадь. Он скрывался с нею в зарослях. Немцы схватили в деревне пятнадцать человек заложников, заперли в одной халупке и потребовали: пусть беглец явится с повинной, иначе заложникам будет плохо. Он не явился. Всех пятнадцать взорвали вместе с халупой... Или вот. Была группа молодых людей, почти школьников: самому старшему двадцать лет. Ну как это случается у ребят?.. Фантазии всяческие, «сыщики-разбойники», на двенадцать человек — один пистолет без патронов. Забрали всех двенадцать, и девятерых из них расстреляли. Прикончили бы и остальных, но уж очень маленькие те были. Вот они, смотрите! — Чичероне повертывает фотографии одну за другой ко мне. — Вот этого взорвали, а это как раз тот, который не отдал лошадь.

Смотрю на молодые лица крестьянских парней Италии. Сколько таких же, ничем не отличающихся от них, наших советских ребят погибло от тех же гитлеровских рук в деревнях Псковщины и Новгородчины, Смоленщины и Днепропетровщины, в лесах Белоруссии и на Дону...

— А возле этого дома,— слышу дальше рассказ Чичероне,— убили нашего товарища ди Виченце. Его именем, именем ди Виченце, мы назвали нашу первую в Италии партизанскую бригаду. Она была интернациональной. Кроме итальянцев, в нее вошли югославы, австрийцы, двое русских. Был даже англичанин. Дальше, в горах, базировалась вторая бригада — «Дукесса» («Княгиня»). В общей сложности в нашем краю действовало до четырех тысяч партизан. Что мы делали? Ставили мины на дорогах, нападали на грузовики с военным имуществом и войсками. Район действий того отряда, в котором состоял я, простирался от Л'Акуилы до Гран-Сассо. Вы хотели побывать в гнезде, где содержался Муссолини под арестом? Хорошо, сейчас поедем. Вот товарищ Марина, наша молодая активистка. У ее отца есть «ситроен». Сама она отлично водит машину, домчит до подножий Гран-Сассо за полчаса.

В руках черноглазой Марины «ситроен» превратился почти в самолет. Не замедляя хода на виражах, по узким горным дорогам девушка вела машину со скоростью не менее ста километров в час. Впереди, все нарастая, надвигаясь на нас, открывался могучий розово-лиловатый горный кряж, посеребренный снегом по острым скалистым вершинам. На каком-то повороте ехавший с нами

Вальтер Путатуро указал рукой на одно из мест среди вершин:

— Вон там, на высоте более двух тысяч метров, и сидит этот отель «Кампо Императоре». Видите, спичечная коробочка бурого цвета?..

Да, какая-то рыжая точка виднелась в невообразимой выси. Как же мы туда поднимемся?

В литературе последних лет — и в книгах, и в журналах, и в газетах — немало промелькнуло всевозможных рассказов о том, как порученец Гитлера Отто Скорцени по приказу «фюрера» вызволил пленного «дуче». Это место — отель «Кампо Императоре» — неизменно упоминается в рассказах. «Герой» того дела, содержащий ныне какую-то контору в Мадриде, сам выпустил объемистые «воспоминания» о своих разбойничьих похождениях, да на основе этих воспоминаний раз в десять больше понаписали комментаторы и компиляторы. Что в этой писанине правда, что вранье, судить трудно. Но факт фактом: Муссолини был вызволен из-под стражи, и вызволил его он, Скорцени.

Во всей этой истории поражает то, с какой быстротой Гитлер отреагировал на арест Муссолини.

Муссолини, как известно, был вызван на королевскую виллу двадцать пятого июля, к пяти часам дня; без четверти одиннадцать вечера по радио уже передавали, что король принял отставку Муссолини; самого Муссолини в это время караулили карабинеры в одной из казарм Рима, чтобы среди ночи тайно доставить на корвет «Персефоне», который должен был отвезти его на один из Понтийских островов. А уже к полудню двадцать шестого июля в «Волчье логово» Гитлера в Восточной Пруссии был срочно вызван мастер кровавых дел гауптштурмфюрер СД Отто Скорцени. «Вчера итальянский король арестовал Муссолини! — орал фюрер, носясь по бомбоубежищу.— Надо немедленно его освободить, иначе он попадет в руки англо-американцев. Вам, гауптштурмфюрер, поручаю, на вас надеюсь. Все должно быть в строжайшей тайне. Действуйте!»

Скорцени и генерал парашютных войск Штудент приступили к разработке подробнейшего плана операции «Эйхе», или «Дуб», который затем был представлен на утверждение Гитлеру.

Мы подъехали к подножию горы, остановились на небольшой круглой площади с цветочными клумбами.

Прямо перед нами было здание станции подъемника подвесной дороги, слева и справа — несколько небольших домиков. Один из них, слева, весело окрашенный, окруженный подстриженными деревцами, носил название «Ла виллетта», то есть «виллочка», «маленький домик».

— Муссолини вначале жил здесь. После того как его по приказу маршала Бадольо решили вывезти с острова в более верное место. Но кто знает, может быть, дело было вовсе и не в верном месте, а уже действовали тайные пружины операции «Дуб»? — Такое предположение высказал догнавший нас у подъемника местный лакуилский художник.— В Л'Акуиле,— рассказал он,— по сей день живет один врач, который там, наверху,— художник указал на вершины, врезавшиеся в голубое небо,— был приставлен к нему, к «дуче». Врач долгие годы молчал и в своем пребывании возле экс-диктатора не признавался. Но недавно осмелел. Мы с ним выпили, и он долго болтал, устав от двадцати с лишним лет молчания. Он и охранники играли с Муссолини в картишки. Бывший «дуче» хотя и жил там, наверху, шикарно (по словам доктора — вино, фрукты), но был чертовски подавлен, не умел держаться достойно, ныл, плакался, вздыхал, как синьорина. Вы же знаете, что, после того как король объявил ему об отставке, наш роскошный диктатор тотчас превратился в хлюпика. Единственно, что он пробормотал в ответ королю своим цепенеющим языком: что же, мол, с ним теперь будет, как с ним поступят. Оказался, словом, зауряднейшим трусом.

Привели худощавого пожилого человека. Он молча подал руку. Мне его представили:

— Старший техник подвесной дороги синьор Ремо Лалли, один из двух гражданских лиц, которые были здесь возле Муссолини среди сотни охранников. Второй была горничная Лизетта. Да, правда, еще тот врач, из Л'Акуилы. Но он, видите, отрекается.

— Было так,— охотно заговорил синьор Лалли.— Сначала привезли его в этот домик, в пансионат «Ла виллетта». Это было двадцать пятого августа, как раз спустя месяц после ареста. Охраняла уймища карабинеров и собак. Во главе охраны был порученец маршала Бадольо лейтенант Файоли. И знаете, что он мне говорил, этот лейтенант? В мои собственные уши. Что у него есть личный приказ. маршала: в случае чего, в случае попытки отбить, освободить «дуче», немедленно пускать в ход

оружие и... «Я могу стать исторической личностью,— говорил он мне за бокалом вина,— когда прикончу «кавалера Бенито».

Мы зашли в садик возле подъемной станции, сели за стол, попросили кофе. Старший техник все рассказывал. Видимо, не часто его расспрашивают тут о былом: в эти места приезжают теперь главным образом молодые, чтобы под видом катания на лыжах поспать со своими беспечными подругами в охотничьих отельчиках, поплясать; двадцатипятилетняя давность для них так же безразлична, как и двухтысячелетняя; что было при Муссолини, что при Юлии Цезаре — все одно. Для таких более важны новые магнитофонные записи и сорта горячительных напитков.

— Вы увидите наверху его «квартирку» — пару комнатушек с окнами прямо в отвесы Корно-Гранде (вершины «Большой рог»). С тех пор эти комнаты зовут «королевскими апартаментами». Ну, словом, так. Недолго он пожил в «Ла виллетте». С юга немцы отступали в наши места. Дабы они не освободили дорогого друга Гитлера, поступил приказ поднять его туда, наверх, в отель «Кампо Императоре». Я включил машину... Девяносто карабинеров остались внизу, чтобы вернуться в Рим, а десятеро, во главе которых были лейтенант Файоли и инспектор, имя которого одни произносят как Гели, другие — как Куели, не знаю, что вернее, повезли Муссолини наверх. Поедем-ка и мы туда!

От одной стальной ажурной опоры к другой, со скалы на скалу, скользя роликом по витому тросу толщиной в руку, медленно ползет все вверх, все вверх вагончик подъемника. Внизу обрывы, ущелья, кручи, кое-где растут сосны, какие-то кустарники, травы. Открываются, если смотреть назад, широчайшие голубые просторы, крыши селений кое-где среди холмов. Далеко-далеко осталась Л'Акуила. А если смотреть вперед, то все камни и камни, уходящие в голубую, прозрачную, легкую высь.

Казалось, мы уже приехали. Вагончик вошел под кровлю здания. Но это только половина пути. Надо сделать пересадку на другую, следующую линию подъемника и еще ехать. Пересаживаемся, едем, вновь покачиваясь над обрывами и кручами. Рядом видны и еще опоры, еще канаты подъемника. То, оказывается, грузовой подъемник. Он был построен до пассажирского, в те времена, когда на Гран-Сассо решили строить отель «Кампо

Императоре». Иными средствами на высоту двух тысяч двухсот метров невозможно было доставить строительные материалы. Иных путей на «Кампо Императоре» (на «Императорское поле») нет.

Когда наконец мы покидаем кабину, после июньской жары в долинах, здесь, наверху, остро чувствуется горный холодок. Местами, не только по вершинам, но и на площадке, посреди которой стоит отель, лежат плешины еще не сошедшего снега; по краям плешин в бурой, прошлогодней траве цветут нежные высокогорные цветочки блеклых лиловых тонов.

Отель, к которому мы идем медленно, дыша сильно разреженным воздухом, угнетает своим угрюмым, мрачным видом. Он как бы отлит из какой-то плотной буро-красной массы обтекаемых форм, подобно грузному кораблю для бурных морей, с маленькими окошечками, схожими с корабельными иллюминаторами.

— Он был построен,— объясняют нам,— в середине тридцатых годов, точнее, в тридцать третьем году, для высших чинов фашистской партии и фашистского правительства. Подручные «дуче» скрывались здесь от глаз народа, бражничали, привозили сюда своих любовниц. Сейчас отель принадлежит муниципалитету Л'Акуилы. Едут в него богатые альпинисты, и свои и иностранные. Их влечет возможность преодоления таких горных трудностей, которые по шестибалльной шкале определяются самым наивысшим баллом — шесть.

Еще не заходя в здание, которое действительно отлито, и отлито из прочного бетона — на случай бушующих в горах, на этой площадке, свирепых бурь,— осматриваю все, что есть вокруг него. Слева вижу острый каменный зуб Корно-Гранде — «Большого рога». Здесь он уже не кажется столь внушительным, как было снизу, хотя высота его — две тысячи девятьсот двенадцать метров. Но поскольку сам отель стоит на высоте в две тысячи двести метров, то «Большой рог» возвышается над его плоской кровлей не более, чем, скажем, Машук над Пятигорском. На пути к нему, несколько левее, расположено вросшее в камни такое же буро-красное здание обсерватории. И все. На восток от отеля легким склоном к километровому обрыву ведет площадка метров в двести длиной.

Спасаясь от холода, устремляемся внутрь здания, ходим по широкому полукруглому залу ресторана, сквозь

окна которого открываются далекие дали, горные и долинные красоты. Все внутреннее расположение отеля тоже напоминает корабль. Коридоры с рядами дверей — как в каюты, мостики, переходы, окна-иллюминаторы. Лакуилский художник, который поднялся с нами, рассказывает, как он помогал расписывать в залах огромные панно. Был мальчишкой, его пригласили в подмастерья, обрадовался работе, работал. Вот они, эти панно, живы по сей день, мрачные, грубые стилизации времен фашизма.

Поднимаемся на третий этаж, по европейскому счету на второй. Дверь с №№ 201—202. Входим в нее. Небольшая прихожая. Прямо от нее — ванная комната. От прихожей вправо — столовая и спальня, обе с низкими потолками и с окнами, выходящими на Корно-Гранде, упирающимися в его хмурые каменные кручи. В другие стороны окон нет. Экс-дуче был тут изрядно изолирован от мира, тем более что в комнате рядом располагалась дежурная охрана. Расхаживая по комнатам, Муссолини мог видеть только камни «Большого рога».

Нелегко было ему смириться с тем, что вокруг нет привычной челяди, нет подхалимов, холуев разных рангов, готовых каждое оброненное словцо делать «достоянием нации», нелегко было существовать без популярности, без шума и треска о нем в газетах и по радио. Путь фашистских главарей — и итальянских и немецких — неизменно лежал через стремление к личной популярности.

Сначала надо было примелькаться. Как угодно, но примелькаться. Радио? Радио. Кинохроника? Кинохроника. Газеты? Газеты. Какой бы ни затевался конгресс или слет — хоть зубных врачей или собаководов,— открывать его должен «дуче», и притом сказать речь, которая бы попала в газеты. Открытие любого клуба, допустим, яхт-клуба, клуба нумизматов или клуба спиннингистов — снова «дуче». Или же на крайний случай — его голос, записанный на граммофонную пластинку. Не было в ту пору телевидения, иначе тяжелую, как утюг, физиономию с утра до вечера лицезрели бы итальянцы в своих квартирах в перерывах между кинодрамами и концертами джаза.

И вот вдруг ничего этого нет, одни камни в окнах. Скрипел, наверно, зубами бывший «дуче» без ежедневных речей и воплей в его честь.

— Угрюм был и подавлен невероятно,— сказал техник синьор Лалли.— Но однажды здорово взбушевал. Было это, если не путаю, восьмого сентября. Это я сам видел и слышал. В тот день радио объявило, что будут переданы важные сообщения. А приемник в отеле как нарочно вышел из строя. Охранники по требованию «дуче» привели его ко мне, в мое помещение. «Радио работает?» — «Да, работает». А передавалось тогда о безоговорочной капитуляции итальянских войск перед союзниками. Рузвельт говорил, кто-то из Лондона... Тут «дуче» и взвился. Рассвирепел, бьет кулаком по столу. До чего, мол, довели Италию! Сдались! Такая армия! Еще можно и сражаться и победить! А потом снова затих, ушел в себя и, как говорят, захлюпал носом. А через несколько дней об эти скалы,— синьор Лалли указал рукой в сторону Корно-Гранде,— стали биться планеры Отто Скорцени.

Да, в тот сентябрьский день, несмотря на то что горы были в облаках (а может быть, именно поэтому), с близкого к Риму аэродрома Пратика де Маре, окруженного виноградниками, из плодов которых делают всемирно известное вино фраскатти, один за другим на прицепе легкого бомбардировщика начали подниматься специально пригнанные из Франции грузовые планеры. Два из них расшиблись еще при старте, несколько других, достигнув «Кампо Императоре», разбились при посадке здесь. Но из ста с лишним десантников, с которыми Скорцени отправлялся в путь, более полусотни остались все же в строю и, приземлившись, тотчас ринулись в атаку на отель.

Охрана не только не оказала сопротивления, но начальники ее даже выпили со Скорцени по бокалу вина. Не пригодились ни пулеметы, ни уйма патронов и гранат, захваченных группой для осуществления операции «Дуб». Для кинорепортера, предусмотрительно прихваченного Скорцени с собой, пришлось кое-что затем инсценировать. Подвыпивший порученец Гитлера вновь вышел из отеля и с пистолетом в руках устремился прямо на кинообъектив. Отбросив в сторону какого-то итальянского карабинера, он расшиб уж давно умолкшую походную рацию. Муссолини был поставлен у окна, и Скорцени полез на террасу, чтобы разбить окно и кинуться к пленнику.

Ну, а дальше, когда фильм для показа фюреру сделали, надо было уносить ноги. Для этого прилетел легкий самолетик «физелер шторьх», сходный с нашим «По-2»,

рассчитанный всего на двух человек. Скорцени втиснул в него хотя и похудевшего, но все еще грузного «дуче», влез сам, будучи тоже здоровенным верзилой, и приказал растерянному летчику: «Вперед!» Подскакивая по этой вот косой площадке среди камней, самолет пошел под уклон к обрыву и уже у самого обрыва утвердился на крыльях. Затем на «Хейнкеле-111» «дуче» был доставлен в Растенбург к Гитлеру. По велению фюрера Скорцени получил там звание штурмбаннфюрера, и Гитлер лично надел ему «рыцарский крест» на шею. Взбодрившийся Муссолини объявил о награждении своего спасителя орденом «ста мушкетеров». А Геринг, тоже безудержный ревнитель своей личной популярности, сделал роскошный жест: от обширной рейхсмаршальской груди отцепил «золотой почетный знак летчика» и собственноручно прикрепил его к мундиру Скорцени.

Предусмотрительно снятый на «Кампо Императоре» фильм сыграл свою роль.

А что же было потом с Муссолини?

«Дуче» вернулся в Италию, с помощью немцев образовал на севере страны правительство того странного государства, которое получило название «республики Сало» со столицей в одноименном курортном городке на берегу озера Гарда, и все свои оставшиеся силы направил на то, чтобы отомстить тем, кто предал его на последнем заседании Большого фашистского совета. Их, как известно, было девятнадцать. Шестерых он схватил. Среди них оказался и его зятек граф Чиано.

«Дуче», позабыв обо всем остальном, торжествуя, потирал руки: «Месть, месть, месть!» За все унижения, которые он испытал, ему заплатят предатели и особенно этот щенок, вскормленный и взлелеянный им.

Фашистские главари, даже и побеждая, никогда не были способны на великодушие. Напротив, они спешили сводить все личные счеты. Известно, что после прихода фашистов к власти в Германии Пауль-Иозеф Геббельс приказал тотчас арестовать директора одного приюта для детей-уродов. В чем дело? Оказывается, тот человек когда-то написал книгу о дефективных детях и помянул в ней его, уродца Геббельса. И конечно же автор книги больше никогда не увидел воли, в тюрьме он «покончил самоубийством».

Что же сделает со своими противниками «дуче», что он придумает для них?

В январе 1944 года в городе Вероне состоялся судебный процесс, приговор по которому был составлен заранее, и пятерых подсудимых, в том числе зятя Муссолини, приговорили к расстрелу. Как водилось у итальянских фашистов при казнях высокопоставленных особ, всех их усадили на стулья во дворе старого форта и пулями в затылок прикончили.

3

Давно нет тех, кто осыпал почестями и орденами верзилу в черном эсэсовском мундире,— нет ни Гитлера, ни Муссолини, ни Геббельса, раздувавшего пропагандистские кадила вокруг «национального героя» фашистской Германии Отто Скорцени, а верзила, этот вот «национальный герой», процветает, как процветают и сотни, тысячи молодцов разных рангов, от нижайших ефрейторских фюреров до фюреров-генералов. Да только ли германских?

Во всех газетных киосках, во всех книжных витринах Италии, с утра до вечера завлекая читателей, ярко и броско пестреют обложками бесчисленные журналы и журнальчики. Одни из них, то ежемесячные, то еженедельные, то с какой-либо иной периодикой выхода, стремятся развлечь итальянцев анекдотиками и картинками прескабрезнейшего содержания, другие набиты сентиментальными историйками, дабы выжимать слезки, а с ними и лиры у немалого числом итальянского обывателя и мещанина, третьи со всего света соскребывают всевозможнейшие политические слухи и скандальчики, смакуют их, обыгрывают и на этой зыблющейся почве глубокомысленно прогнозируют будущее человечества.

Но немало увидим мы среди них и таких, которые страницы свои отдают не настоящему, не будущему, а прошлому, и в частности минувшей мировой войне, ее событиям, ее персонажам, ее тайным и явным пружинам. Такие издания выходят отдельными выпусками за порядковыми номерами; желающие могут переплести их в солидные тома и держать на книжных полках рядом с энциклопедическими словарями.

Каждый день, выйдя на улицу, я вижу смотрящие на меня с обложек глаза покойных Черчилля и Рузвельта, ныне здравствующих английских и американских генералов, испанского диктатора Франко; вижу внушительные

панорамы высадок союзнических десантов на итальянских островах Пантеллерия и Сицилия, на морских побережьях Франции. Стволы пушек, гусеницы танков, стальные колпаки дотов, исчерченные цветными карандашами штабные карты, идущие в атаку доблестные англо-американские десантники... Недели две подряд с обложки повременного издания с эпически спокойным названием «Historia», № 103, во всех городах Италии, где только пришлось мне побывать, на меня, широко распахнув рот в злобном крике, оскалив зубы, таращила шальные глаза дамочка в шляпе с полями и в клетчатом платье с белыми пышными рукавчиками из накрахмаленных кружев.

Однажды я не выдержал и надел очки. «Синьора Гитлер!» — аннотировали содержание выпуска крупные черные буквы. «33 альбома Евы Браун!» Уплати двести лир, и ты сможешь с головой погрузиться в интимный мир любовницы фюрера. Вот ей четыре годика, маленькой, скромненькой немочке в белой наколочке. Вот ей семнадцать лет, и она подставила под глаз фотообъектива обнаженные плечи и спину, на которой, даря кому-то карточку на память, вывела свою роспись. Вот она в фотоателье гитлеровского придворного фотографа Гофмана, на Унтер-ден-Линден, где служила натурщицей, сфотографирована в вольной позе на столе. А вот уже в Берхтесгадене позирует в костюме — итальянцы каламбурят — Евы, игриво прикрытая пестрым зонтиком.

Не только ее фотографировали, но и она фотографировала. Перед вами проходит множество Гитлеров: то на лоне природы, задумчивых и тихих, то обсуждающих что-то со всеми теми, на чьи фото- и кинофизиономии мир достаточно насмотрелся с 1933 года по тот день, когда их вздернули посреди тюремного двора в Нюрнберге, то принимающих парады и дающих указания. А вот «дяденька Гитлер» ведет за руку какого-то парнишку. «Чей он, этот «бамбино», кто он, от кого?» — тотчас подмигивают комментаторы в подписи к снимку.

Увидел я на одной из обложек и лицо того «человека со шрамом», по следам которого только что поднимался на «Кампо Императоре», прославляемого ныне на Западе оберштурмбаннфюрера Отто Скорцени. Он жив, здоров, он весит сто восемнадцать кило, у него рост сто девяносто два сантиметра. Он вспоминает, он рассказывает, он полон надежд и планов.

Весь этот реквизит прошлого извлекают сейчас из старых сундуков совсем неспроста и, как мы знаем, не только в Италии. Задумаемся: кому же так остро понадобилось возбуждать, вновь подогревать в народе интерес к ушедшим мрачным теням?

В Риме, возле арки Константина, близ Колизея, на древних камнях римского Форума мне бросились в глаза надписи белой краской: «Karadonna MSI!» «Baldoni MSI!» Я спросил у одного итальянца, что означают эти слова, не реклама ли они чего-нибудь. «Да, это реклама,— ответил он.— Реклама очень скверного товара. Это имена кандидатов на выборах от фашистской партии». Такая партия есть, объяснил мой собеседник, она существует под названием «Социального движения Италии» (MSI). Подсмеиваясь над фашистами, итальянцы, переставив буквы, называют их «мис», как бы имея в виду определенного сорта девиц. Но лучше бы не подсмеиваться, а непреклонней вести борьбу против реваншистских стремлений этих не таких уж и простоватеньких «мис».

Во Флоренции, на привокзальной площади, я увидел внушительный предвыборный плакат, оставшийся надолго и после выборов. Вертикально повешенное полотнище итальянского флага, разделенное на три полосы — красного, белого и зеленого цвета, — в центре полотнища овал, опирающийся на черное основание с буквами «MSI» и образованный как бы из языков тоже трехцветного пламени, которое вырывается из этого основания. Таков партийный знак, фашистский герб, в неприкосновенности сохранившийся со времен Муссолини. «Мис» хотя и переименовались, но генеалогии своей нисколько не скрывают, гордятся ею, блюдут ее. Фашистские призраки с обложек журналов и журнальчиков тихо-тихо начинают сходить на улицы городов, смешиваются с толпой, подымаются по мраморным лестницам. Их немало и среди промышленников, и среди землевладельцев, и среди военных, которые не только вздыхают о прошлом, но и ведут практическую работу, чтобы оно, прошлое, возвратилось. И вот вам «мис», за которых на выборах голосовало пять процентов избирателей. Вот вам убийство фашиствующими студентами университета молодого человека, несогласного с ними в убеждениях. Вот множество изданий, тихой сапой реабилитирующих муссолиниевский режим, пытающихся представить фашистского главаря в образе борца за процветание нации. Дескать, чего он хотел? Он хотел

полуостровную маленькую Италию вновь раздвинуть до границ древней Римской империи.

Самое страшное заключается в том, что за «мис» идет часть студенческой молодежи, в некоторых итальянских университетах фашиствуют и студенты и многие их преподаватели. Что же это такое, почему? Отвечают: безвременье, отсутствие положительных идеалов, идейный вакуум. Один молодой человек сказал мне так: «А кто и что из всех наших разнообразных социалистов и демократов сумел сделать? Никто и ничего! Под их управлением мы что? Полуколония, проходная страна. У Муссолини, как вы там ни говорите, было по-другому. С Италией считались. Наше оружие показывало себя и в Африке, и в Испании, и в Югославии. Вы знаете сегодняшнюю сенсацию номер один? Сегодня в Италии уже пятьдесят миллионов народу! Что ж, мы так и обречены быть американским ракетным плацдармом да выпасом для туристов? Нет, мириться с этим нельзя. Нельзя, чтобы миллионы итальянцев в поисках работы блуждали по всему свету, гонимые и презираемые. Мы обязаны войти в ряды великих держав мира!»

Кто же внушает молодежи подобные «заманчивые перспективы», кто зовет ее хоть куда-либо, пусть в неверном, в ошибочном направлении, но вот зовет? Тот, кто ловко использует «идейный вакуум» как следствие экономического просперити последних лет.

Всегда страшно, когда молодые утрачивают идеалы. В силу своего жизненного полнокровия, жизнелюбия молодежь одними танцульками, попойками, разнузданностью долго удовлетворяться не может. Начинается поиск нового, и тут-то юным, молодым, неискушенным в качестве идеалов могут подсунуть что угодно, лишь бы оно было выряжено в заманчивые, красивые одежды. А разве не заманчиво бороться за великую Италию под водительством великих личностей, каких-нибудь новых цезарей и новых трибунов?

Мне показывали старые фотографии тех дней, когда итальянский фашизм рвался к власти. Улицы, площади городов, заполненные народом, драки, побоища, и кто же всегда на первом плане? Молодые ребята, не слишком задумывающиеся над тем, что они делают, что творят. Веселые, радостные лица восемнадцати-двадцатилетних парней. Это не звери, нет, это захваченные стихией бурных перемен, здоровые, жаждущие деятельности молодые

организмы, требующие внимания, заботы, умелого направления на жизненном пути.

«Фашизм,— сказал мне много повидавший на своем веку пожилой итальянец,— начался в тот день, когда молодые подняли руку на седовласых. Так было у нас в Италии, так было в Германии». И он указал на снимок 1921—1922 годов. Улюлюкающие, искренне веселящиеся парни, должно быть, студенты и даже еще школьники, обхлестнув веревкой шею высокому седому человеку, волокут его по улице; лицо у старого человека разбито в кровь, на груди плакат с надписью о том, что он противник фашистского движения.

Не для того ли, не для улавливания ли молодых душ и сердец вновь сегодня печатаются жития пророков фашизма?

Однако далеко не вся итальянская молодежь блуждает в политических потемках. И не только гальванизированные фюреры ведут поиск и борьбу за юные, неокрепшие души.

Когда мы возвратились с гор в Л'Акуилу, товарищи Чичероне, Путатуро и их боевые соратники долго расчерчивали для меня на географической карте районы стычек партизан с гитлеровскими войсками. «Л'Акуила»,— читал я названия,— «Риети», «Сполето»... Вокруг них карандаш Чичероне выводил растянутые овалы, неровные круги, ставил вдруг крестики. По вспыхивающим до металлического свечения глазам этого сильного, мужественного человека я видел, что огонь былых сражений для него, несмотря на прошедшие долгие годы, не угас, не остыл и что для его класса, класса итальянских рабочих, главный бой еще впереди.

БОЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

1

Представляясь, Джанкарло Маццола назвал себя так: «Маленький чиновник».

— Да, да, очень маленький. Служу в институте социального обеспечения.

Расспрашивать было не о чем. Огромная северная столица Италии — промышленный Милан — полна чиновного

люда: и в бесчисленных государственных учреждениях и еще в бо́льших числом частных. Быт миланских служащих обыден, неинтересен и однообразен. Все они, счастливые хотя бы тем, что имеют и такую работу, наскоро выпив утреннюю чашку кофе, бегут к автобусам и к станциям метро, весь длинный беспокойный день добросовестно сидят, как в клетках, в своих конторах и конторёшках, все, когда закончен день, вновь устремляются к автобусам и к станциям метро. А вечером или прогуливаются по улицам, или убивают время в тех кабачках, где за кружкой пива или стаканчиком дешевого вина (раза в полтора дешевле лимонада) можно просидеть до закрытия, можно поболтать со знакомым или незнакомым о поджогах автомашин на стоянках, об очередном ограблении ювелирного магазина среди бела дня, об изнасиловании девятнадцатилетним кретином шестилетней девочки, а между всем этим наслушаться музыки из ящика, в который жаждущие ее то и дело опускают свои трудовые монеты.

Но вот, изучая друг друга глазами, не спеша с разговором, зашли мы с Джанкарло в пустынный каменный двор, поднялись по полутемной, пропахшей кошками лестнице, Джанкарло отомкнул ключом высокую дубовую дверь — и что же это такое? Широкие окна, стены, увешанные картинами, набросками, этюдами; банки с красками на полу, кисти, подрамники. Не обычный ли это пестрый, пыльный хаос мастерской живописца?

— Да, здесь моя мастерская. Я снимаю эту конуру за сравнительно небольшую плату и все время, остающееся от службы, провожу в ней.

Смахивая пыль со стульев, Джанкарло продолжал:

— Все началось с десяток лет назад... Стаканчик вина? — Из нагромождения банок с красками он извлекает тяжелую темную бутыль.— Кьянти. Да, так вот. Лет десять назад... Был день рождения моего малыша Диего, девятилетний «юбилей». Серьезный возраст, не правда ли? Что подарить? Над такой проблемой мучаются миллионы родителей во всех странах. И не одну тысячу лет. Ведь что надо? Надо, чтобы это и по средствам оказалось — недорого и было бы полезно, интересно. Ходил-ходил вдоль витрин и — что вы думаете? — купил ящик с красками. Принес домой. Маленький Маццола повозился с ними с полчаса, перемазался весь да и удрал на

улицу. На том его «художества» и кончились. А я вот «вожусь» десять лет. Смешно? Еще стаканчик?

Отхлебнув вина из зеленого стакана, он посмаковал его, отставил стакан.

— Недавно, впервые за десять лет бесчисленных мучений, удалось-таки устроить выставку. Имела успех. Я продал на ней штук двадцать пять своих работ. Платили по нашим временам прилично. Но затраты на холст, на краски, кисти я все-таки еще далеко не оправдал. Жить только живописью у нас может разве что один из сотни художников. Без своей чиновничьей службы я, например, и нескольких месяцев не протяну.

Одну за другой показывает Джанкарло свои работы. Нельзя сказать, что все они оригинальны, самобытны. Большинство из них — нечто среднее, бытующее сегодня в Западной Европе и подобное тому среднему, каким бывает литературный язык школьников, окончивших одну школу, много лет проучившихся у одного ничем не примечательного учителя.

— Иногда я за час создаю по три таких картины,— честно признается Джанкарло.— Я понимаю сам, что это не по законам Леонардо да Винчи. Законы Леонардо мне известны. Они слишком суровы для наших дней и наших нервов. Вскоре после войны я жил как раз напротив всемирно известной художественной галереи Брера. Вы там побывали, конечно? Ну, конечно, будучи в Милане, ее не минуешь. Ко мне постоянно захаживали художники, у меня был как бы творческий клуб. Много говорили, спорили о живописи, об искусстве. Так что я хотя и не учился в академии, но историю и теорию живописи знаю и еще до покупки красок для Диего втянулся в дела своих друзей. Но что знать, что знать, если тебе, твоей семье каждый день нужны спагетти с томатной подливой?.. Сейчас я не могу бросить ни работу в учреждении, ни эти картинки. Учреждение меня кормит — спагетти! Картинки — в них, пусть скоростных, в какой-то мере пока ремесленных,— душа. Вся надежда на пенсию. Когда стану пенсионером — а это еще не скоро, нет,— тогда займусь живописью по-настоящему, буду работать так, как завещал Леонардо.

Миланский служащий Джанкарло Маццола талантлив, по-настоящему талантлив. Среди его скоростных работ есть и просто превосходные. У него чудесный рисунок, он мастер игры светом и тенью; он не фотограф, глаза

его видят мир оригинально, по-своему. Но спагетти, черт возьми,— жестокая действительность. Если бы ему предстояло повозиться четыре года над такой вещью, как «Тайная вечеря», которая находится от его мастерской в трех станциях нового миланского метро, он бы уже года три назад погиб от голода. Из недр этого неумолимого обстоятельства, видимо, и проистекает в немалой мере так называемое «новое искусство». Меценатов, которые бы вкладывали деньги в новых Рафаэлей и в новых Челлини, нет. Новые Рафаэли и новые Челлини служат в конторах и жестоко разрываются надвое меж спагетти с томатной подливой и подлинным искусством. Получается в итоге как раз вот это нечто среднее.

— Да, только на пенсию надежда,— с грустью повторяет Джанкарло, и по тому, как окидывает он взором стены своей мастерской, как смотрит на «серийные» рисунки, на банки с красками, я угадываю его душевную тоску по неосуществленным замыслам.

Мы уже освоились друг с другом, разговор завязался, и разговор для обоих интересный. Джанкарло интересно все, что я рассказываю о наших живописцах и скульпторах: Серове и Томском, Яр-Кравченко и Манизере, Судакове и Вучетиче, о молодом Илье Глазунове, которого то вознесут порой, то вновь опустят, в зависимости от того, кто вдруг и почему поставит ставку на его творчество.

— Ваше искусство рождено революцией. На его пути еще много трудностей. Пока в мире жива контрреволюция, она его непрерывно будет атаковать. Для этого она даже не постесняется вырядиться в революцию. Вы же знаете сказочку о Красной Шапочке и Сером Волке. Как волк превратился в бабушку, лишь бы сожрать Красную Шапочку.

Джанкарло призадумался.

— Вот что,— сказал он вдруг.— Заедем ко мне домой, пообедаем. Сейчас как раз для этого время. А затем съездим в одно очень для вас интересное место. Галерею Брера вы знаете, наш чудесный собор на площади Дуомо — тоже, в трапезной монастыря Санта-Мария делле Грацие, где «Тайная вечеря», бывали, всякие музеи, замки, кладбища видели. А вот есть местечко, куда ни один турист не заглядывает. О нем я вспомнил в связи с разговором о Красной Шапочке и Сером Волке. Там, в том месте, все время идет борьба против волчьих зубов, против волчьих повадок.

2

Это уже не Милан, хотя, как бы вы ни старались, вам не удастся заметить пересеченную вами «пограничную линию».

— Это Сесто-Сан-Джованни, рабочий город,— сказал Джанкарло, когда его маленький «фиатик» застрял на минуту перед светофором.— Здесь нет ни картинных галерей, ни соборов, ничего такого, куда в длинных автобусах возят туристов. Даже подходящих развалин нет. Полсотни лет назад здесь была просто деревня, пригород Милана.

Я смотрю на ряды скучных домов-коробок, на длинные цементные заборы, за которыми скопления заводских цехов и корпусов, на мелькающие вывески пиццерий и тратторий, на людей, торопливых и плохо одетых. Обычная окраина обычного капиталистического города. Такая есть в ослепительной столице Франции, такая есть в Риме, в кораблестроительном шведском Гётеборге и кораблестроительном британском Глазго; так было когда-то — до нынешних строек на Московском шоссе, в Новой Деревне, вдоль Невы,— и в российском Петербурге. И как там, в старом Петербурге и сегодняшнем Париже, заводские вывески во все горло кричат, кто хозяин в этом городе, кому принадлежат заводы за бетонными стенами, магазины, бары, кинематографы... «Фальк! Фальк! Фальк!» — читаю всюду вокруг. «Марелли! Марелли! Марелли!», «Бреда! Бреда! Бреда!». Промышленный триумвират поделил в Сесто-Сан-Джованни меж собою все; из всего три хозяина выжимают лиры, лиры, лиры. На их предприятиях делают для Италии и на экспорт электрические машины, электрооборудование, льют стальное литье. Словом, это — царство металлургии и машиностроения. Крупное, растущее, набирающее силу. До войны здесь было сорок тысяч жителей, а сегодня уже вдвое больше — восемьдесят.

Итак, «Фальк, Фальк, Фальк! Марелли, Марелли, Бреда»... Кучка капиталистов, хозяйчиков, миллионеров, владельцев дворцов и вилл на теплых побережьях Италии, морских яхт в бухтах Специи, Ливорно, Савоны. Стоит им шевельнуть пальцем — и... Но что это? Почему то там, то здесь рядом с «фальками» и «марелли» на стенах зданий, на дверях магазинов я вижу такую знакомую, такую непривычную и почти невозможную

в капиталистической стране огненно зовущую эмблему: скрещенные серп и молот?

— Узна́ете, все узна́ете.— Джанкарло ставит свой «фиатик» перед зданием, по всем этажам которого пестро разбросаны рекламы апельсиновой воды, кока-колы, кинофильмов-боевиков.

Поначалу, увидев световую надпись «Рондо», я подумал, что в этом здании кинематограф. Затем, сквозь стекла больших окон заметив внутри группки людей, сидящих за столиками, закусывающих и что-то попивающих, решил, что тут ресторан или нечто подобное. Но вот над окном первого этажа опять красная эмблема — серп и молот — и четко выведено: «Партито коммуниста Итальяно».

— Да, здесь городской партийный комитет Сан-Джованни,— сказал плотный, коротко остриженный серьезный человек в темно-синем костюме.— Здравствуйте! Рад приветствовать вас в наших стенах.

— А кино? Бар? Они тоже, вижу, под эмблемой труда: серпа и молота.

— Они кооперативные. Принадлежат нашему рабочему классу. Поднимемся к нам, наверх!

Нет, здесь уже не так, как у партийного комитета в Л'Акуиле, где две или три комнатушки под низкими потолками, и даже не как у коммунистической секции в итальянском парламенте. Здесь большие, светлые комнаты. Это комнаты для занятий различных кружков, в том числе и кружка старых партизан, участников Сопротивления. Есть большая библиотека, есть зал для собраний и заседаний. По стенам — фотовыставки. Полы исшарканы подошвами рабочих башмаков: людей в этом доме всегда много.

Товарищ в темно-синем костюме, поначалу сдержанный, суховатый, настороженный, мало-помалу втягивается в беседу, расстегивает пиджак и распускает галстук, поскольку жара в этот день стоит изрядная. Понять его настороженность нетрудно: мало ли кто ездит, зачем, с какими целями! Под боком сидят Фальк и Бреда с их армией подручных, фискалов, провокаторов. Недавно — «Вот взгляните на эти снимки!» — фашисты из Милана затеяли было митинг-демонстрацию в Сан-Джованни. Решили поговорить с народом. И хотя их шайку охраняли буквально сотни полицейских, рабочий класс неплохо разобрался в обстановке. Сошлись партизаны, ме-

таллурги, машиностроители. Фашистам рта разинуть не дали, выбросили их за пределы «нашего итальянского Сталинграда», как жители Сан-Джованни называют свой город. Сталинград для них — синоним стойкости, мужества и победы.

Имя товарища, сбросившего темно-синий пиджак,— Джулио Кеккини. Он сух и насторожен только первые десять — пятнадцать минут. Это жизнерадостный человек, участник Сопротивления, пропагандист и организатор, убежденный, пламенный, неутомимый.

Он тоже втискивается в автомобильчик Джанкарло, и мы не спеша едем по улицам Сан-Джованни. Время дня такое, когда первая смена на заводах уже закончила работу.

— Сейчас любого из наших активистов вы можете найти в том или ином баре.— Джулио поблескивает по сторонам стеклами очков.— У каждого свой бар постоянный. Что там делают? Пожалуйста, посмотрим. Остановись-ка здесь, Джанкарло!

Мы заходим в бар на скрещении двух прямых длинных улиц. Над стойкой конечно же серп и молот. Возле стойки почти никого. Зато в следующей комнате — в небольшом зале со столиками — народу полно. Одни взрывчато, в полном соответствии со своим итальянским темпераментом, шумно спорят. Другие шлепают картами о пластмассовые столешницы. Третьи углубились в газеты.

Джулио всем знаком, все его знают, к нему подходят, о чем-то расспрашивают.

— Каждому что-то надо,— поясняет он мне.— Это активисты из районов деятельности того или иного кружка. Они работают с населением. Что делают? Ну, например, распространяют коммунистические газеты и книги. У людей всегда есть вопросы. Отвечают на них.

Подошли два крупных, уже немолодых, но полных сил и энергии человека. О таких иначе не скажешь, как здоровяки.

— Братья,— сказал Джулио.

Когда братья-здоровяки узнали, что я советский писатель, один из них потащил меня к столу, усадил и потребовал, чтобы я его выслушал.

— Вы знаете, кто такой Фильтринели? Ну, конечно, знаете! Я вам задаю вопрос такого типа, какие риторы

задавали друг другу две тысячи лет назад на римском форуме, не нуждаясь в ответе. Этот человек состоял в коммунистической партии. Он издатель. И он полагал, что можно исповедовать коммунистические идеалы и одновременно выпускать в свет такие штуки, как роман «Доктор Живаго». Я у него работал шофером и однажды высказал ему все, что думаю о его двурушничестве. Что ж, пришлось уволиться от синьора, от господина товарища. Я человек рабочий, в коммунистов-капиталистов я не верю, как меня ни уговаривай верить в них и обожать их.

Снова колесим по улицам Сан-Джованни. То видим надписи «Фальк, Фальк», то изображение серпа и молота, то «Марелли», то опять серп и молот, то «Бреда», то вновь эмблема труда и единения трудовых классов.

— Борьба идет, борьба,— объясняет Джулио.— Капиталисты изо всех сил стремятся проглотить, слопать наши кооперативы. И кино прихлопнуть, и книжный магазин — у нас есть такой,— и пиццерии, бары. Капиталисты располагают богатейшим опытом конкурентной борьбы, пожирания сильным слабого. Но мы не сдаемся, как не сдавался Сталинград. Видимо, не такие уж они сильные, а главное, не так уж слаб наш рабочий класс.

На очередном перекрестке мы остановились рядом с мотороллером, на котором ехали двое. Джулио и седоки мотороллера дружелюбно поприветствовали друг друга. Завязался короткий, но страстный разговор. Потом Джулио передал его содержание.

— Это ребята из внутризаводской комиссии, которую рабочие избирают для борьбы за их интересы. Оба работают у Марелли. Говорят, что назревает острый конфликт с хозяевами. Возможна забастовка. Спешат на собрание.

Наконец мы подъезжаем к небольшому красивому зданию среди зелени. То ли это вилла, отделенная от окружающих ее скучных городских домов садами, то ли ресторан, стремящийся походить на загородную тратторию. Оказывается, что все это — и здание и сады вокруг него — принадлежит Ассоциации, или Союзу, участников Сопротивления. Мэр в Сан-Джованни — коммунист, и городские власти должным образом позаботились о бывших своих партизанах. Мы устроились за столиком в саду среди благоухающих кустов и деревьев. К одному столику

придвинули второй, третий. Собралось с десяток человек, появились бутылки с прохладным пивом.

— А может быть, аперитив? — предложил человек с волевым лицом римского трибуна, в крупных, отлитых как бы из металла чертах.— «Аперитив Ненни»?

Все почему-то весело рассмеялись. Я спросил, почему.

— А потому, что так у нас называют известный аперитив «Россо Антико», то есть «красное старое» — бывшее, словом.

Надо отдать должное, мои собеседники хотя и в шутливой форме, но очень точно и ясно определили современную позицию тех социалистов, которые идут за Пьетро Ненни, порвавших связи с коммунистами: «бывшее красное».

Человек с лицом римского трибуна назвал себя:

— Марио Тераццн.

Ему около шестидесяти, он сражался с немецкими фашистами, один из руководителей Союза бывших партизан.

— Нас многое беспокоит,— говорит Тераццн могучим голосом.— Мы уже немолодые. Мы уйдем туда!..— Он указывает глазами в небо.— А кто будет продолжать начатое? Нас беспокоит наша молодежь. Мы хотим, чтобы она была воспитана на боевых традициях итальянского рабочего класса. Я счастлив, что у меня в свое время были хорошие наставники. Под воздействием их идей я, итальянский солдат-оккупант, ушел к югославским партизанам и сражался в их рядах против фашизма, против империализма, независимо, чей то был фашизм — итальянский или немецкий. И я хочу, чтобы и молодые наши умели на явления жизни смотреть с интернациональной, с пролетарской точки зрения. Мы не сидим сложа руки, нет. Мы много занимаемся нашими молодыми кадрами. Что делаем? Рассказываем им о нашей жизни и борьбе, стараемся почаще встречаться с ними. Мы совершаем с ними походы по местам былых боев. Иной раз даже отправляемся в Германию, в Западную, понятно, в бывшие концентрационные гитлеровские лагеря. Пусть молодые ребята собственными глазами смотрят на машину уничтожения людей. Кстати, в последний раз, побывав там, я был изрядно обескуражен. В одном из подобных лагерей, куда мы, бывало, езживали, уже нет ни омерзительных печей, ни жутких камер пыток. Ничего обличаю-

щего. Всюду клумбочки, цветочки. Этакий райский уголок. Оставшиеся в живых гитлеровцы неплохо поработали, чтобы в своих лагерях-музеях тихо-тихо кандалы и плетки заменить гортензиями и флоксами.

— Молодежь, молодежь!.. — заговорил наш Джулио.— Во время войны я тоже был молодым, студентом. Помню первые месяцы гитлеровского вторжения в Россию. Их дивизии уже у стен Москвы, по радио гремят трубы и барабаны. А мы, молодые итальянцы?.. Наша вера в страну социализма не угасала. На стенах домов мы вычерчивали серпы и молоты. За таким занятием меня однажды и поймали. На допросах мы кричали: «Все равно войну проиграют фашисты! Выиграют ее, победят русские!» Арестовали меня на юге, в Калабрии, где и держали в тюрьме. А когда в сорок третьем итальянский фашизм пал, многим из нас удалось пробраться на север, к партизанам. Я прибыл в Милан и полностью отдался там подпольной, партизанской борьбе. Моя жена тоже была в Сопротивлении. Работала связной у партизан.

Все потягивали пиво, такое приятное на жаре, внимательно слушали рассказ Джулио, хотя, наверно, все это они давно от него уже слышали. Но старые бойцы издревле любят повспоминать «минувшие дни и битвы, где вместе рубились они», и умеют уважать рассказчиков.

— Вы спросите, где мы брали оружие? — продолжал Джулио.— Немцы в Милане отдали строжайший приказ: все итальянцы, главным образом, конечно, военнослужащие из развалившейся итальянской армии, должны были немедленно сдать оружие. А среди карабинеров, которых гитлеровцы заставили служить себе, оказался один наш товарищ. Из сдаваемого оружия он отбирал что получше, поновее, поцелей и передавал нам, партизанам. Это и было наше первое оружие. Потом мы приобретали его в боях.

— Эх,— сказал кто-то,— прав Джулио: много чего было у нас когда-то. Можно книгу написать о методах и тактике, сложившихся во времена Сопротивления. Но стоит ли раскрывать все это? Не рано ли?

— Кстати, — сказал Марио Терацци, — где-то на Ривьере, не знаю точно где, на днях состоится что-то вроде партизанского слета. Прочел в газетах. Там вы могли бы услышать еще немало интересного.

3

И вот, оставив позади себя Турин — царство автомобильной фирмы «Фиат», промчавшись по долинам Пьемонта, перевалив через бесчисленные холмы полной красот Лигурии, прорвавшись сквозь горные прибрежные туннели, мы на берегу Лигурийского моря, в курортном городке Альбенга, который весь в пальмах, олеандрах, жасминах. До княжества Монако с его рулеткой, до границы Франции отсюда полсотни километров. Звучит, правда, всюду: и на улицах, и на пляжах, и в кафе, барах, ресторанах — отнюдь не французская речь. Всюду немцы, немцы, немцы — из Западной Германии. Чистенькие девочки и мальчики в белых чулочках, за руку у белокурых, чистеньких, аккуратно причесанных мам в белых шортиках и пузатеньких, розовощеких хрестоматийных пап в шортищах защитного цвета.

Образованная серыми, очень старыми каменными домами, которые стоят так плотно друг к другу, будто бы они сплошной, единый дом, — перед нами тесная, старая-старая, видимо, средневековая площадь Сан-Микеле, вымощенная старыми-старыми большими серыми камнями, отшлифованными до блеска кожей тысяч и тысяч прошедших и проходящих по ним подошв. На фоне Caffe del Museo стоит дощатое возвышение вроде сцены или эстрады, и на нем десятка два людей, среди которых в глаза бросаются прежде всего те, кто одет в пышные одежды католических священников; но есть среди них и те, кто в партикулярных брюках и пиджаках. Идет, так мне думается, торжественная месса. Богослужение слушают люди, для которых откуда-то понанесли длинных скамеек, рядами расставленных перед возвышением. За спинами сидящих — множество народа, которому скамеек не хватило. Площадь полна.

Стою в затихшей толпе и я, постепенно передвигаясь среди людей влево, по мере того как мою голову все настигает жаркое итальянское солнце, почти вертикально устремившее свои лучи в каменный колодец площади Сан-Микеле.

Над возвышением подняты два репродуктора, и слова службы, сопровождающиеся органной музыкой, записанной, видимо, на ленту магнитофона, разносятся по соседним с площадью улицам,

Наконец богослужение окончено, и мэр города Альбенги, как мне сказали, коммунист, произносит несколько слов о мире во всем мире, сообщает, что собрание это посвящено памяти итальянцев, погибших в боях с немецкими фашистами, что семьям их, родственникам в этот день будут вручены медали отцов, мужей, сыновей и братьев, для чего из Рима прибыли сенатор и депутат парламента, а еще один присутствующий здесь депутат — это депутат от избирателей самой Альбенги.

Первым выступил именно он, депутат итальянского парламента от Альбенги.

Мне не пришлось видеть Александра Керенского. Я только много читал всяческих воспоминаний и высказываний о нем его современников — соратников и противников. И то, что рассказывали они о небольшом человечке, силой обстоятельств вознесенном на противопоказанную ему высоту, на которой бедная его головенка жестоко кружилась, вдруг воочию предстало передо мной в итальянском городке на берегу Лигурийского моря. На эстраде лицедействовал дешевый провинциальный актер, который, как и Керенский, тоже был по профессии не актером, а юристом, адвокатом. Он простирал руки к слушателям, как бы желая их всех обнять и прижать к своему взволнованному судьбами народа депутатскому сердцу; по временам его руки воздевались к небу, и оратор призывал в свидетели господа бога; иногда правую руку он бросал себе на лоб и так, прикрываясь ею, замирал на трагическое мгновение. Брови его то сдвигались в полоску, то из них, резко вздернутых, складывался прямой угол, то они обе вдруг каким-то образом вставали почти торчком, одна параллельно другой. Люди на скамейках внимали ему, аплодировали.

О чем же он говорил? Итальянский товарищ, хорошо знающий русский язык, переводил мне дословно. Керенский из Альбенги принадлежал к партии христианских демократов, или, как называют итальянцы, демохристиан. Он стремился доказать слушателям, что Сопротивление в Италии носило только патриотический и национальный характер. Оно было героическим, да, но не было антифашистским, как сегодня утверждают некоторые. В рядах Сопротивления сражались священники, офицеры и генералы королевской армии, а вовсе не одни только рабочие. Прав синьор мэр: оно, Сопротивление, продолжается и сегодня. Но отнюдь не за мир борются честные итальянцы,

как изволил сказать синьор мэр, а за демократию — за демократию, которую некоторые эгоисты, себялюбцы, не умеющие видеть широко, разрушают, совершая ошибки, грубые ошибки против всей страны, против народа, когда говорят о классах, о своих всем намозоливших глаза классах, о том, что одни эксплуатируют других, а не работают сообща на благо единой для всех родины.

Пошли всяческие намеки, экивоки, демагогические выверты. Но все это не сопровождалось никаким адресом, было выражено общими словами, и тем не менее кое-кого из слушавших оратор растрогал; такие вытаскивали платочки из сумочек, прикладывали их к глазам. И не удивительно: это же были родственники погибших в боях с немцами борцов Сопротивления, люди, потерявшие самых близких и, сколько бы дней ни проходило, неспособные о них позабыть. Адвокат-лицедей ловко эксплуатировал человеческие чувства, играл на их напряженных нервах, бия по ним своими словами, как пальцами по струнам. Он знал, как делать это, он этому учился, он этому посвятил свою жизнь.

Ему горячо аплодировали.

За ним, встреченный столь же дружными аплодисментами, вышел приезжий депутат, точнее, сенатор, старый боец Коммунистической партии Италии, известный и итальянцам и нам, советским людям, Пьетро Секкья. Во внешнем облике его было что-то схожее и с Джироламо Ликаузи и с Помпео Колояни, боевыми сицилианцами, людьми партийной гвардии. На нем не было модного пиджачка с разрезами, с фалдочками, какими только что тряс речистый демохристианин, и ботинки были поустойчивей, посвободней, на толстой, надежной подошве. И весь он был такой, что каждому с ним наверно же чувствовалось надежно и свободно. Он был не из гостиных, не из продымленных кулуаров, не из кружков и группочек, а из народа.

— Хорошо, благородно вы поступаете, — заговорил без всяких эффектных жестов Пьетро Секкья, заговорил, как дома среди друзей, — напоминая в дни двадцатилетия нашей республики о тех, кто отстаивал нашу независимость, о партизанах, об их героической борьбе. Но не только вспоминать надо. Надо продолжать борьбу. Надо бороться до конца, до тех пор, пока идеалы Сопротивления не осуществятся полностью, пока не будут окончательно выдраны из нашей итальянской почвы корни

фашизма. А эти корни еще есть, они еще дают знать о себе. Надо каждый день напоминать и разъяснять молодежи, что такое фашизм. Молодые не только его не помнят, но просто и не знают. Молодежь, конечно, слыхала о концлагерях, о фашистских зверствах. Но кто ей по-настоящему рассказал, что фашизм вырос не сам по себе, как гриб после дождя, а был создан и взлелеян крупным капиталом? В некоторых странах Европы немцы насаждали фашизм, свой нацизм, с помощью танков и дивизий СС. У нас же он возник изнутри и еще раньше, чем в Германии. Пусть молодежь знает, как он возник, в каких условиях, почему. Он начался не расстрелами, а диффамацией своих политических противников, клеветой, национализмом. Как был убит товарищ Маттеотти? Как погибли десятки других замечательных сынов Италии? Задолго до физического бандитского убийства их линчевали морально, закидывали грязью клеветы и инсинуаций. В двадцать первом году фашисты уже совершали убийства. Но они убивали рабочих. А раз так, если только рабочих, то власти смотрели на такие убийства сквозь пальцы, сопротивления бесчинствам не оказывали. Окрыленный фашизм свои «идеи» стал внедрять в умы, в среду молодежи. А идеи эти устремлялись не вперед, а назад, несли в себе дух рабовладельческого Древнего Рима. Мракобес Джованни Джантили накануне убийства Маттеотти изрекал: «Я не делаю различия между моральной силой и силой дубинки. Для меня сила дубинки — это и есть моральная сила». Вот вам он, этот кровавый Древний Рим! Вот вам учитель молодежи!

Площадь слушала оратора в напряжении. Платочков никто не вынимал, но даже крик воробьев на соседних крышах вызывал раздражение; люди посматривали вверх: хоть бы кто-нибудь заткнул глотку крикунам, мешают слушать. Репродукторы делали свое дело: каждое слово оратора было отчетливо слышно. Итальянский товарищ мне переводил, шепча в самое ухо, чтобы не мешать другим, и я, пользуясь его хорошим переводом, записывал все в свою записную книжку.

— Нет, — говорил Пьетро Секкья. — Сопротивление не было движением национальным. Не надо его принижать подобными утверждениями, не надо уводить в сторону. Оно было интернациональным. Все народы Европы боролись против фашизма, а значит, и против капитализма. У нас в Италии в отрядах Сопротивления сражались не

только итальянцы. Были в них граждане Советского Союза, Франции, Польши и других стран. И я повторяю: борьба не кончена, нет. Вспомните, когда двадцать лет назад итальянский народ голосовал, быть нам республикой или сохранить монархию, в Риме, в Неаполе, вообще на юге, чуть ли не большинство голосовавших было за что? За монархию! Как вы думаете, с надеждами, с попытками некоторых кругов восстановить былое уже окончательно покончено? Разве мы не знаем такие страны, где была-была республика — и вдруг вновь появились короли?! И, громя демократию, утверждают сегодня свою монархическую власть. Словом, у нас много еще дел впереди. Французский поэт девятнадцатого столетия сказал: «То, что было, того уже нет. Того, что должно быть, еще нет». Ничто еще не кончено, как бы нас ни уверяли в обратном сладкопевцы в разных перьях. Раз уж я вспомнил французского поэта, я напомню и об испанском писателе, который в концлагере, когда тюремщики стали добиваться от него признаний о борьбе против фашизма, заявил: «Вы ошибаетесь: я не бывший боец, я будущий боец». Победа нашего итальянского Сопротивления была не концом борьбы, а ее началом. Сопротивление открыло, указало прямой путь к цели. Но, чтобы добраться, дойти до этой цели, борьбу надо продолжать и продолжать.

Как было полчаса назад, после речи депутата от демохристиан, собравшиеся дружно и долго аплодировали депутату от коммунистов. Трудно было сказать, на чьей стороне больше симпатий. Но становилось до предела ясным, какой же это великий труд, великий подвиг коммунистов в капиталистических странах — изо дня в день завоевывать сердца своих сограждан! Ты должен доказать, ты должен показать, обязан убедить. В твоих руках нет никакого иного оружия, кроме правды, беспощадной, предельной правды. Жонглирование словами — нет, не поможет.

За Пьетро Секкья, за коммунистом, выступил социалист Пертини, человек тоже немолодой. Я понял, что он был не из тех социалистов, о которых в Сан-Джованни говорили с сарказмом: «Аперитив Ненни», «Россо Антико» — «бывшее красное». Он, я понял, был из социалистов, которые знают, что порывать с коммунистами нельзя, если не хочешь стать предателем дела рабочего класса.

— Да, — сказал Пертини голосом человека, привыкшего говорить с массами, — я всегда поддержу тех, кто утверждает, что Сопротивление было движением классовым. Без предыдущей двадцатилетней борьбы против фашизма оно не смогло бы быть возможным. Прав Пьетро Секкья, мой старый друг и товарищ. Мы можем с ним спорить и порой быть несогласными один с другим. Но, когда надо будет драться, как дрались мы в шестидесятом году против Шельбы, он и я опять будем вместе.

Тут слушатели дружно и радостно зааплодировали. Нетрудно было понять, что трудящиеся итальянцы не хотели бы и не одобряют действия социалистов, направленные на вражду с коммунистами, они хотят совместных, дружных действий, отчего фронт борьбы за светлое будущее будет значительно сильней.

— Борьба, — продолжал Пертини, — началась, да не в сентябре сорок третьего, а в двадцать первом. Правильно: надо ярко и точно рассказывать об этом молодежи. Учебники наших школ историю Италии заканчивают на годах, предшествовавших первой мировой войне. А что было дальше? Молодой итальянец не знает. А надо знать, надо, чтобы не повторить ошибок прошлого. Наши самодовольные филистеры...

Он не указал пальцем, но все и так поняли, что оратор имеет в виду демохристианского депутата от Альбенги, и обратили взгляды к тому. Тот сидел на стуле, будто проглотив палку; руки сложены на груди, взор устремлен в серую стену здания на противоположной стороне площади.

— Наши, говорю, самодовольные, ограниченные обыватели, — накалялся Пертини, — когда фашистские молодчики принялись громить организации рабочих, орали, из трусости закрывая глаза на действительность, что это, мол, ничего, немного шума и беспорядков, зато потом, дескать, будет настоящий порядок. То ли они и в самом деле не понимали, то ли не желали понимать, что так грядет порядок тюрем и концлагерей. Мелкобуржуазная ограниченность, — хлестал оратор альбенгского Керенского по физиономии, — мешает этим господам, на словах пекущимся о демократии, увидеть и понять, что, когда в стране разрушают рабочие организации, этим разрушается и демократия. Не надо валить все в кучу, уважаемые господа! Священники, чиновники, офицеры, генералы, которые участвовали в Сопротивлении, — это одно,

это тоже кое-где было в какой-то мере. Но они и пальцем бы не шевельнули без рабочего класса, поднявшегося на борьбу. Итальянский рабочий класс!.. Из него пытаются сделать сегодня лишь объект истории. Но нет, он был, остается и будет ее субъектом! Три года назад в Генуе фашисты попытались устроить свою демонстрацию. Рабочий класс, а с ним и другие слои генуэзских граждан вышли на улицу и выбросили фашистов из города. Наш рабочий класс борется отнюдь не за одни экономические свободы. Он хочет быть свободным и политически. У нас в Италии уже было «экономическое чудо». Но это «чудо» принесло блага лишь кучке эксплуататоров. Кликуши вопят: «Чтобы цвести стране, от ее граждан нужны жертвы!» Но почему жертвовать должен только рабочий класс?

Пертини перевел дыхание, оглядывая ряды безмолвных слушателей.

— Нет, борьба не кончена. — Он рассек воздух рукой. — Не «была борьба», а «идет борьба». Недавно я ездил в Западную Германию, в одном из бывших гитлеровских концлагерей пытался отыскать не могилу, конечно, но хотя бы то поле, где мог быть похоронен мой родной брат, уничтоженный гитлеровцами. Среди зарослей роз и гортензий я не нашел ничего. Мне указали на сохранившуюся печь крематория: «Может быть, здесь?» Подобно мне, по тем проклятым землям в поисках могил близких бродят тысячи и тысячи родственников. А в Нюрнберге в это же самое время прохаживаются по улицам, сидят в кафе и в своих пивнушках те, кто убивал, кто жег, кто закапывал!.. Они живы и умирать не собираются.

Слова эти звучали как набат.

Кончили выступать ораторы. К возвышению потянулись старые женщины в черных платках и наколках, седовласые, но еще крепкие старцы, совсем юные девушки и смущающиеся парни. Это были те, кто потерял своих родных, павших в партизанских боях с гитлеровцами. Депутаты парламента — и Секкья, и Пертини, и тот, третий, местный адвокат — вручали им награды их мужей, отцов, старших братьев, боевые партизанские медали. Люди плакали, вспоминая былое. Туристы в шортах щелкали затворами фотоаппаратов.

Я записал это все подробно, все речи ораторов потому, что моим глазам открылась в Альбенге такая сторона жизни современной Италии, о какой не очень-то много

пишут. Скорее мы узнаём, какой режиссер какую поставил картину, что экспонируется ныне на венецианской биенале, нам сообщают о юной римской покойнице, пролежавшей тысячи полторы лет в мраморном саркофаге и сохранившей румянец на щеках, о новых находках гончарных изделий в Этрурии, о том, сколько машин в день выпускают заводы «Фиат», какой длины носят сегодня в Италии юбки и какой моден цвет губной помады. Это, конечно, тоже жизнь. Но о том, что говорит и думает итальянский рабочий класс, как он борется, не отступаясь от боевых традиций Сопротивления, — это, мне думается, уж по крайней мере не менее интересно и не менее первостепенно, чем все перечисленное выше.

Он живет, рабочий класс Италии, в своих знаменитых красивых городах, его башмаки стучат по мостовым и северных индустриальных центров — Милана и Турина и на юге — в Апулии и Калабрии; на Сицилии он спускается в вонючие серные рудники. Он растит свою рабочую молодежь, воспитывая ее на боевых традициях долгой, упорной борьбы против фашизма — и своего, итальянского, и гитлеровского.

В Милане Джанкарло Маццола, когда мы ездили с ним по городу в его «фиатике», однажды остановился и сказал:

— Всмотритесь повнимательней. Это площадь Лорето. Здесь немцы расстреляли многих товарищей — партизан, бойцов Сопротивления. Вот здесь, вот там, видите?

Я не знаю, может быть, на площади Лорето в Милане погиб и кто-либо из тех, за кого в Альбенге родственники получали его награды. Но мне давным-давно известно, что именно на этой площади был подвешен для обозрения труп Бенито Муссолини.

Германский «фюрер» не спас итальянского «дуче» от народной мести, напрасно Отто Скорцени расшибал о камни Корно-Гранде планеры со своими головорезами; «дуче» недолго упивался сладостью расправ с мятежными министрами, в том числе и со своим зятем, застреленным в затылок. «Республика Сало» со «столицей» на берегу озера Гарда, которое видно всем едущим в дневном поезде из Венеции в Милан, просуществовала считанные дни. Партизаны схватили Муссолини, переодетого в мундир немецкого солдата и пытавшегося вместе с отступающими немцами улепетнуть в Швейцарию.

В двадцати километрах от Милана, где мартовским днем 1919 года в особняке на площади Сан-Сепolькро Муссолини начинал свое «движение», где возникло первое «фашо», четверть века спустя главарь этого «движения» был убит парой автоматных партизанских очередей.

Таков один из суровых уроков истории.

Фашизм был всесилен в Италии. Казалось, он подмял под себя всю страну, с ее надеждами, мечтами и радостями. Но интернациональное братство людей труда оказалось неизмеримо могущественнее фашистских государств и армий — и муссолиниевских и гитлеровских, вместе взятых. Страна Советов, первое в мире государство рабочих и крестьян, разгромила, раздавила фашизм в Европе. Итальянский рабочий класс не остался в стороне от великой битвы. Мужественно добивал он коричнево-черную нечисть на дорогой ему родной земле Италии.

Нет, недаром на стенах зданий Сесто-Сан-Джованни, «Итальянского Сталинграда», то там, то здесь пламенеют скрещенные молот и серп, недаром!

1961—1968

ТАМ, ГДЕ РОДИЛСЯ И ПОХОРОНЕН ОДИН ВЕЛИКИЙ АНГЛИЧАНИН

1

Теплый, солнечный июльский день. Зеленые пологие холмы с расставленными по их склонам одинокими вязами. Вязы стары и могучи — они как бы взяты с давнишних иллюстраций к английским романам о храбрых рыцарях и благородных разбойниках. Под шатровыми кронами вязов, в долинках среди холмов, по пшеничным и ячменным нивам — деревни, деревушки, селения, городки, отдельные домики. Домики двухэтажные; окна у них фонарями, в мелких, темных от возраста переплетах; окрашено все в спокойные, не бьющие по глазам, неяркие тона. Кое-где видны еще и белые, очень белые приземистые строения; в дубовых, грубо отесанных брусьях, которыми связаны их стены, чернеет цепко въевшаяся краска ушедших столетий. Это лабазы, конюшни, овчарни, заезжие дворы эпохи Тюдоров.

Старая Англия. Когда-то веселая и разбойная, ныне спокойная, не слишком торопливая, задумчивая.

Змеясь и петляя, изворачиваясь меж лоскутьев частных владений — как бы не задеть чей-либо огородик или цветничок, — в нескольких дюймах проскальзывая мимо курятников, гаражей, прудов, древних башен и самых что ни на есть современнейших бензоколонок, бегут по этой многое видавшей земле неширокие, но с превосходным ухоженным покрытием многочисленные автомобильные дороги. Держа курс на северо-запад, солидно катится по одной из них зеленый автобус-дальнеход; в нем

пассажиры из разных стран: скандинавы, австрийцы, испанцы, западные немцы; есть две молоденькие американки, славные, скромные девчушки.

Из Советской страны нас трое.

Все мы едем в Стратфорд-он-Эйвон, в маленькую, тесную, но, как утверждают побывавшие в ней, живописную и уютную «страну Шекспира», Shakespeare country, туда, где родился, где рос и где закончил жизнь и похоронен тот, чьи творения вот уже более трех с половиной веков волнуют сердца и умы живущих на земном шаре. За несколько часов — за шесть или за семь — мы должны проделать путь, на котором у того человека, в его времена, уходило пять добрых суток; мы должны за эти часы пронестись по дорогам, истоптанным башмаками Ланчелотов и Робин Гудов, миновать не один десяток поросших мхом замков и не менее замшелых трактиров, в которых — и в тех и в других равно — разыгрывались когда-то мрачные, кровавые драмы; должны хотя бы минутку-другую постоять возле харчевен в тени дряхлых вязов, под сенью которых конечно же на пути в Лондон или из Лондона сиживал, потягивая эль, если на то были фартинги, и он, чья «страна» ждет нас впереди.

В автобусе тихо: каждый во все глаза смотрит на дорогу, на холмы, на селения — на все вокруг, лишь бы не упустить ни одну мелочь, лишь бы хоть как-то представить себе мир, окружавший великого Потрясателя Копья.

Тогда, правда, когда он жил, его не считали великим; скорее напротив. Истинно великий, как на грех, очень прост и обыден для окружающих, и современники далеко не всегда за простотой и обыденностью во внешних проявлениях способны увидеть, понять огромность его внутреннего мира, его необычную сущность. Скольких великих во все века преуспевающие посредственности похлопывали снисходительно по плечу и, захлебываясь от восторга по поводу собственных успехов, учили жить! Сколько могучих талантов затаптывали при жизни, освистывали, третировали, обходили знаками элементарнейшего внимания, а то и просто тащили на эшафоты и костры! Рядом же с ними возносили временщиков, оборотистых ловкачей, тех, кто раньше всякого другого искусства постигал искусство безошибочно угадывать перемены в придворной погоде и изворотливо приспосабливаться к ней.

Велик не тот, который в лаврах и медалях с головы до ног. Велик волнующий сердца народа, принятый и признанный народом, тот, кто живет и работает с думами о народе и для народа. Величие творцов прекрасного — в народности их творений.

Народ, и прежде всего народ, ломился на смешные и трагедийные представления в лондонском театре «Глобус» — «Земной шар», для которого писал Вильям Шекспир из Стратфорда-он-Эйвон. За спинами бушевавших на театральных подмостках средневековых Ричардов и Генрихов, за любовными трагедиями Ромео и Джульетты, Отелло и Дездемоны, за страшными судьбами Лира, Гамлета, Юлия Цезаря зрители угадывали свои судьбы, свои трагедии, свои печали и радости. Один из современников так и писал, что пьесы Шекспира «трогают сердце простонародной стихии». Другому современнику принадлежит рассказ об атмосфере на тогдашних представлениях шекспировского «Юлия Цезаря»: «Когда стояли они друг перед другом, Брут и Кассий, наполовину обнажив мечи, — ах, в каком восторге были зрители! Они уходили из театра, исполненные изумления».

Не присяжные «ценители искусств» сохранили для веков созданное Шекспиром, — это сделал народ.

«Ценителей» же нисколько не радовало то, что Шекспир свои произведения создавал не по канонам античных мастеров, а широко распахивая перед драматургией двери живой жизни, круша театральные законы трех единств, отбрасывая условности в языке, в писании характеров. «Ему недостает искусства»,— мрачно бубнили литературные и театральные судьи. Шекспира — Шекспира!— обвиняли в недостатке мастерства, в том, что он спешит, плохо — плохо! — отделывает свои произведения. Одни из таких поносили его отнюдь не по неразумению, а вполне сознавая, что́ они делают, поносили из зависти — на его спектакли ходят, а на их нет, из личной неприязни— он не желал любезничать с теми, кто ему не нравился, не лицемерил для того, чтобы только быть милым для всех. Роберт Грин, драматург несколько более старшего поколения, чем Шекспир, и пьесы которого мало-помалу вытеснялись шекспировскими пьесами, даже и не старался скрывать свое отношение к младшему коллеге. В оставленной им литературной исповеди он писал о Шекспире, будто бы это «ворона, украшенная нашими перьями». И еще: «Наделенный сердцем тигра, завернутым в шкуру

актера, считает он, что может греметь белыми стихами не хуже лучшего из вас, и, будучи мастером на все руки, является в собственном самомнении единственным потрясателем сцены в наши дни».

Это голос откровенного противника и злопыхателя. Но были и другие, кому просто не давалось понимание природы гения и творчества Шекспира. Бен Джонсон, драматург и поэт, посвятивший памяти товарища по перу взволнованное стихотворение, все же в своих воспоминаниях так писал о Шекспире: «Помню, актеры часто рассказывали и ставили Шекспиру в заслугу, что какое бы произведение он ни писал, он ни разу не вычеркнул ни единой строчки. Ответ мой был таков: жаль, что он не вычеркнул их тысячи. Слова его лились с такой легкостью, что временами его хорошо было бы остановить».

Счастье мировой литературы, что какой-нибудь самоуверенный «ценитель» и «ревнитель», ложно усвоивший понятие художественности, все-таки не остановил гениальное перо Шекспира в щедром и буйном его пламенном размахе. А могли бы стукнуть под локоть. Сколько было их и есть, таких знатоков и мастаков, которые, на беду, прочно вызубрили, будто бы художественное — это вовсе не то, что в совокупности, в неразрывной своей целостности производит эмоциональное воздействие на людей как раз благодаря своей неразрывности и целостности, а то, из которого прут и прут, как из дырявой торбы, элементы всяческих приемов и средств, якобы благодаря которым создавались прославленные образцы литературы прошлого.

Смотрю в окно автобуса на причесанные лесные куртины, на заросшие кувшинками пруды, на пшеничные тучные нивы, по краям которых для того, чтобы покрасивей выглядело с дороги, вместе с зернами пшеницы разбросаны семена красных маков, и думаю об этих так остро вспыхивающих время от времени распрях из-за художественности и нехудожественности.

О том, что воистину нехудожественно, как правило, не спорят. Иной раз уж такая на свет божий появится поэмища: и современность в ней, и хлесткие словечки, и звяк, и бряк, — а читатели молчат, как их ни подщекотывают под мышками, чтоб разговорились, а критики тоже высказываться не хотят, как их ни призывают к этому. Шумихи о художественности и нехудожественности подымаются в том случае, когда заведомую дрянь

или посредственность хотят выдать за шедевр и увенчать автора лаврами, или же, напротив, когда до лавров не желают допустить автора взволновавшего читателей нарасхват читаемого произведения. Но это интриганская шумиха, идущая от групповщины. Есть же и другого сорта — идущая от вкусов, от вкусовщины. Каждый, видимо, понимает художественное и нехудожественное посвоему, в зависимости от того, кто же он есть сам. Для многих прежде всего красиво то, что розовенько, зелененько, аккуратненько, красивенько. Шекспир такому, нет, не подойдет. Шекспир для такого груб, лохмат и не отделан. Такой не поймет захватывающей красоты горных хребтов, нагромождений скал и гранитных глыб, не придет в восторг на вершине Монблана или Эвереста. Он даже и не полезет никогда на эти вершины. Ему не взрывы чувств понятны, не революции, не восхождения, а переживаньица, со слезкой, с хлюпом в вышитый платочек.

Еще и еще жизнь убеждает тебя — на примерах и давних и свежих — в том, что сплошь и рядом тавром «нехудожественно» присяжные «ценители искусств» вопреки зрительскому или читательскому признанию таврят не принимаемое ими лично, не подходящее им по сумме идей, по силе чувств; и, напротив, полнейшим обожанием окружают они литературные подстриженные газончики, розовые бутончики, всяческие грядочки и куртиночки.

В некоторых случаях художественным слывет то, что привычно, а нехудожественным — идущее против привычек. А еще художественным склонны объявлять такое, чем творец не мог разродиться семь, восемь, десять лет, так сказать, считая, что количество материального перешло тут в духовное качество. Написанное же единым дыханием, кровью сердца, огнем души, но не за семь, восемь, десять лет, а в несколько месяцев, в полгода, а может быть, и просто за одну бессонную яростную ночь, встретит усмешками: жаль, дескать, никто автора вовремя не остановил; слова у него лились с излишней легкостью.

2

За окном автобуса — каменные, в лишайниках, стены, такие же дряхлеющие башни. Узкие стрельчатые окна, узкие улочки. Здесь нельзя не сделать остановку. Здесь и сам Шекспир останавливался у друзей на долгом пути

в столицу или из столицы. Здесь молодые люди зачитывались печальной повестью Джульетты и Ромео и еще при жизни автора ставили своими силами «Гамлета». Мы въезжаем, словом, в старинный, чуть было не написал с разгона студенческий, городок... Но он уже совсем и не такой ныне студенческий, каким был сотни лет назад, и не городок он вовсе, а городище: на одном из крупнейших в стране моторосборочных заводов — на заводе фирмы «Моррис моторс» — и на других предприятиях Оксфорда занято до ста тысяч его горожан.

Но и студентов, будем точны, здесь все еще немало. На шестнадцати факультетах и в двадцати пяти колледжах, входящих в университетскую систему, учатся шесть тысяч парней, главным образом, конечно, из буржуазных и аристократических семей.

Оксфордский университет основан в XII веке, и поэтому все здесь, от зданий до всякого рода правил и установлений, причудливое, чертовски устаревшее и вместе с тем небезынтересное.

Минуя арку ворот под башней, входим в покрытый газоном двор одного из наиболее древних колледжей. Странно, но по газону в этом дворе, оказывается, ходить нельзя, что редкость в Англии, в которой все хвалятся, и не без оснований, непробиваемостью своих знаменитых газонов. Здесь же, как нам разъяснили, прогуливаться по травке имеют право только профессора и преподаватели. Остальные пусть изволят придерживаться посыпанных песком дорожек.

Этому правилу сотни лет, и за три столетия не нашлось силы, которая бы изменила его. А может быть, и не надо его менять?

Стоим у входа в кафедральный собор университета. Внутри идет служба — могуче дышит грудь органа, и этой плывущей музыке вторит хор.

Старинными лестницами подымаемся в большую залу. Средневековый сумрак. Длинные столы из темного полированного дерева. Стены увешаны портретами — от самого старого письма до самого нынешнего.

В ту пору, когда Карл I вынужден был бежать из Лондона, он обосновался в этом монастыре, и здесь, в сумрачном зале, заседал его парламент. Это столовая, в которой каждый студент, дабы не ослабевала его связь с коллегами, обязан хотя бы один разок в день постоловаться вместе со всеми, за общим столом. Время от вре-

мени должны бывать здесь со студентами и профессора. Это демократия, понятно, показная, как все показное у буржуазной демократии. Но если такие обычаи ввести там, где демократия подлинная, — это же очень неплохо, просто даже отлично.

Портреты же на стенах — если исключить королей и королев — память о наиболее видных студентах колледжа разных веков. Какая-нибудь надменная физиономия в напудренном парике, физиономия преуспевающего сановника, а на золоченой раме надпись о том, что вместе с тем это и «студент выпуска 1763 года». Есть тут портрет и бывшего студента не столь давних времен — Антони Идена.

Следующая остановка — замок Варвиков — Варвик-Кастл. В таком местечке тоже нельзя не остановиться. До Стратфорда отсюда какой-нибудь десяток километров. Да где-то на половине дороги должна быть еще и деревенька Сниттерфилд — если она жива, — где пахали землю дед и отец Вильяма Шекспира.

Замок Варвиков сооружен более семисот лет назад. Это один из замечательнейших и известнейших замков Англии, его окружают бесчисленные легенды, всяческие были и небылицы. Кто знает, не близость ли Варвик-Кастла, не его ли бурная история снабдили будущего драматурга первоначальным материалом для раздумий о судьбах великих и малых, сильных и слабых мира сего?

Многоэтажно, обрывно стоят стены замка, повисая над перехваченной старой плотиной зеркально тихой рекой. Серые они, угрюмые снаружи. Узкие окна, еще более узкие бойницы. Башни, массивные ворота. Рвы. Они видели немало сражений. Они видели битвы и той войны, которую называют войной Алой и Белой Розы, десятками, сотнями книг вошедшей в литературу; они были свидетелями жесточайших распрей среди Ричардов и Генрихов, Марий и Елизавет, о которых мы читаем сегодня и в произведениях Шекспира и у множества романистов нынешнего, прошлого и позапрошлого веков.

Внутри замка уже совсем не так угрюмо. Там прекрасно можно жить, и там бывают его владельцы. Наездами и только в части помещений. Остальное можно осматривать, уплатив столько-то и столько-то шиллингов. Мы ходим по рыцарской зале, увешанной, уставленной оружием, боевыми доспехами, охотничьими трофеями. Стоим в столовой, в которой пировали еще в те времена, когда вместо супа люди имущие потребляли вино, запи-

вая им мясо оленей и вепрей, изжаренных на вертелах; когда по темным углам, куда не достигал свет факелов и масляных светилен, на каменных плитах сидели псы и ожидали костей со столов. Для познания масштабов в зале стоит кухонный котел ведер на тридцать — сорок. В нем варили, думаю, овсяную кашу борзым и гончим перед охотой. А возможно, с пяток-другой молодых барашков закладывали к столу после охоты.

Более поздние поколения рода Варвиков собирали картины лучших мастеров Европы. В различных больших и малых комнатах есть и Рембрандт, и Рубенс, и прославленные итальянцы.

Как положено всякому порядочному замку — чему нас учит литература, — Варвик-Кастл имеет, понятно, и комнату с привидениями. Это отделанная почти черным деревом комнатушка в башне, где все загадочно поскрипывает даже днем, даже при солнце, правда, весьма скудно проникающем в средневековые окошки. Где-то в стенах скрыты двери, потайные ходы, можно себе представить, что творится здесь ночью, когда из этих стен выходит кто-то, когда-то задушенный кем-то.

Прекрасные виды открываются из окон замка. Зеленые кущи, водные глади, затянутые летней влажной дымкой дали. Мир и тишина. Вот бы в таком местечке, в таком Кастле устроить дом творчества писателей — все бы привидения разбежались!

Дворы замка обнесены мощнейшими зубчатыми стенами. Глядя на камни, бойницы, ворота в железной клепке, на всю эту боевую мощь и средневековую суровость, не можешь не думать о временах, когда создавались подобные сооружения, о людях, которые здесь жили и бряцали оружием...

Но вот тебя ведут, ведут дворами, и выходишь ты к павильону, где торгуют. Торгуют цветными открыточками с видами замка, разными сувенирчиками — медными пепельницами с надписью «Warwick Castle», медными колокольчиками с надписью «Warwick Castle», ножичками для разрезания бумаг, маленькими сигнальными гонгами — и все это с надписью, которую вы уже знаете. Кто-то из потомков гордых, воинственных Варвиков наблюдает за тем, чтобы торговля шла должным чередом. Да, они, потомки, уже не поджаривают оленей и вепрей, котлы и вертела давным-давно остыли; на них теперь зарабатывают, показывая за шиллинги туристам. За все

здесь надо отдавать эти не дающие никому покоя шиллинги. Гони их чуть ли не на каждом пороге.

За торговым павильончиком (справедливости ради надо сказать, что возле него можно отлично отдохнуть среди цветников) просматривается через зелень глухая, мрачная стена. Вас ведут прямо к ней. В стене обнаруживается таинственная калиточка, точь-в-точь какие сейчас сохранились лишь в романах да вот в этих английских замках; а прежде вокруг них происходило немало разных историй — любовных, детективных, ниспровергательских.

А за калиточкой переулок, и в нем (все отработано до тонкостей) вас ожидает ваш автобус. Индустрия по извлечению шиллингов из карманов, начатая парадными, коваными воротами замка, заканчивается этой калиточкой, этим переулком. Ну совсем как в старинных романах! Но в старину вас могли выбросить в переулок зашитым в мешок и отдавшим богу душу. А ныне... Ныне вы все-таки за свои шиллинги насмотрелись немало интересного.

Едем дальше, въезжаем на мост через Эйвон, по которому еще в мальчишках бегал, конечно же бегал, внук старого Ричарда Шекспира и сын Джона Шекспира, потому что каменный арочный мост этот вот уже половину тысячелетия лежит на одной из дорог, ведущих через Оксфорд, через Стратфорд из Лондона в Бирмингем.

За мостом — родина Шекспира, Стратфорд-он-Эйвон.

3

И вот перед нами пестрый, вызолоченный солнцем, приятный городок, в котором всего-то тысяч пятнадцать жителей. Он, наверно, очень тихий, мирный, провинциальный. Но сегодня сказать что-либо определенное об этом невозможно. Сегодня воскресенье, и сюда, в зеленый уголок зеленой Англии, съехалось еще, пожалуй, тысяч двадцать из Бирмингема, Ковентри, даже из Лондона. Люди сидят, лежат, гуляют по берегам медленно, не спеша текущего Эйвона, вдоль старого канала, в котором эскадрами и поодиночке крейсируют величавые лебеди. (А лебеди в Англии ничьи, потому что с незапамятных времен они принадлежат якобы королям, но королям давно уже не до лебедей.) Немало народу в барах, в пивнушках. Улицы чисты и опрятны. Это не лондонские улицы,

это стратфордские, и не улицы они, а улочки. На них есть строения, которые, как взглянешь на такое, тотчас привлекают к себе внимание.

Первым таким строением, в которое мы вошли, был двухэтажный дом на Хенлей-стрит. Типичная тюдоровская архитектура: каркас из отесанных топорами, вычерненных бревен и между бревнами снежно-белая штукатурка дощатого заполнения. Оконные рамы в частую решетку, темная черепица на кровле. Над входом — герб, известный всем, кто сколько-нибудь знаком с биографией Шекспира: желтый щит и — вкось по нему на черном поле — золотое копье. Копье потому, что в переводе на русский Shakespeare значит Потрясатель Копья.

Мне помнилось, что над щитом должен бы быть белый сокол, который держал бы это копье в своих когтях, и надпись бы должна быть — девиз «Не без прав». Но почему-то ни сокола, ни девиза нет. Неужели владельца герба смутил препаскуднейший шум, поднятый его завистниками в ту пору, когда он, внук землепашца и сын кожевника, получил потомственное дворянство и заказал себе герб с девизом и соколом? Был бы Вильям Шекспир позаурядней, ему простили бы что хочешь, любые причуды, любые промахи и даже не так бы завидовали дворянству, появившемуся известному достатку. Но тут привязывались ко всему, в том числе и к этому соколу с девизом. Помянутый Бен Джонсон в одной из своих комедий зло высмеял деревенского парнягу-простака, который обзавелся дворянским гербом, поместив на нем кабанью голову и начертав девиз «Не без горчицы».

Ходим по дому, из комнаты в комнату: кухня, столовая, помещения, где отец драматурга занимался своими кожевенными делами, — поднимаемся на второй этаж. Полы, лестницы скрипят под ногами, «дышат». Стар дом, стар. Да и конструктивно эта тюдоровская архитектура жидковата. Это не замок, сложенный из каменных глыб на тысячелетия. Это недорогой дом небогатого жителя маленького сельского городка. Приходится только удивляться, что он еще цел до сих пор, этот деревянный ковчег на Хенлей-стрит.

На стенах в рамках, в витринах под стеклом много интересных старых документов, касающихся жизни Шекспира и его семьи, постановок спектаклей по его пьесам, публикаций самих пьес и сонетов. Из документов следует, что в шекспировские времена нелегко было драматургам

сводить концы с концами, и, если бы Вильям Шекспир не стал пайщиком театра «Глобус», он бы вообще прожить не смог на свои трагедии и комедии. За рукопись «Гамлета» он — все ли наши современные творцы прекрасного знают об этом? — получил всего-навсего 7 (семь) фунтов стерлингов.

Рассматриваешь пожелтевшие бумаги, вчитываешься в документы, вглядываешься в гравюры, в картины, портреты и ищешь чего-то еще. Чего? Видимо, такого, что смогло бы вещно, материально рассказать хоть немного нового о том, ради знакомства с кем ты и забрел в этот старый-старый, скрипучий дом.

В осетинском ауле Нар, над кручей в центре главного Кавказского хребта, я заходил в саклю, в которой сто с лишним лет назад родился Коста Хетагуров; бывал на месте рождения Антона Павловича Чехова, в таганрогском, вросшем в землю домике; знаю домик, под крышей которого в столице ныне Советской Киргизии рос талантливый полководец Красной Армии Михаил Васильевич Фрунзе; бывал я в Ясной Поляне, бывал в доме Кашириных над Волгой, в домике Петра I в Ленинграде, в доме, в котором жил и создавал свою музыку норвежец Григ, — близ сурового Бергена, — добирался до последнего жилища великого путешественника Амундсена в окрестностях Осло... Много где бывал. И что волнует в таких местах, что притягивает к себе, заставляет раздумывать, помогает видеть ушедшее и ушедших? Вещи, подлинные вещи их владельцев.

Вещи — они не только мерило степени достатка этих владельцев. Они прежде всего свидетельства вкусов, интересов, особенностей характера тех, кто их приобретал, накапливал, кто жил, воспитывался, работал среди них. Иная вещь скажет о человеке больше, чем несчетные воспоминания о нем, построенные на беспредметных рассуждениях. Мы должны быть бесконечно благодарны тем людям, тем энтузиастам, по большей части бескорыстным, которые, преодолевая подчас неимоверные трудности, берегут и сберегают вот такие дома, как этот на Хенлейстрит в Стратфорде-он-Эйвон, как врубленная в скалу сакля в ауле Нар, как домик Петра, который в блокадную зиму спасала от зажигательных бомб семья старого, больного сторожа, как дом Кашириных в Горьком и десятки подобных им. Когда-нибудь эту не очень заметную со стороны, скромную, тихую работу поколений хранителей

назовут подвигом. Так будет, конечно. Но пока... Пока мы их браним за всякого рода промахи и недостатки. Мне, например, мало было самого этого дома на Хенлей-стрит. Мне хотелось увидеть подлинные вещи Вильяма Шекспира. Но за три с половиной долгих века родственники свели все на нет при очередных дележах наследства. Единственной комнатой, в которой ноги как бы прирастают к полу и откуда не хочется уходить, была та, где, по преданиям, четыреста лет назад родился будущий автор «Гамлета». В ней стоит деревянная кровать с высокими спинками, из того же дерева колыбель-качалка, стулья, лавка. Но это не та́ кровать, на которой видели сны родители Вильяма, и не та колыбель, в которой качался он сам. Это лишь мебель «того времени». Их, этих чужих кроватей и стульев, не видишь. Видишь совсем иное. Перед тобой в этой комнате расступаются столетия. Здесь он родился, в этом доме рос, отсюда через луга ходил в дом богатого крестьянина Хэтевея, у которого была дочь Анна, чем-то понравившаяся молодому Шекспиру, и настолько понравившаяся, что он, восемнадцатилетний, женился на ней, когда Анне стукнуло двадцать пять. А может быть, потому только он на ней женился, что Анна уже через шесть месяцев должна была рожать? Кто знает!

Многого мы не знаем о Шекспире. Доподлинны лишь его не только не умирающие, но и не стареющие творения. Остальное почти все растворено в легендах и преданиях. Сам он нисколько не заботился о двенадцатом томе собрания своих сочинений, в котором обычно в наши дни у наших современников публикуются дневники, письма, записочки, гостиничные счета и милицейские протоколы. Шекспир не оставил для этого тома ничего: ни дневников, ни копий писем, ни автобиографий или хотя бы простых листков по учету кадров. Он не хлопотал и о самих собраниях сочинений. Подлинники его произведений, его черновики и беловики рассеялись по карманам актеров да так навсегда и исчезли.

О Шекспире мы узнаем от других. А другие — они и есть другие. Каждый из них по-своему видел Шекспира и по-своему о нем рассказал. Для одних он был исчадием ада, для других — посланцем небес. В книге одного шекспироведа я прочел о том источнике, из которого Роберт Шильд, двести лет назад выпустивший труд под названием «Биографии поэтов», извлек утверждение, что,

дескать, на первых порах своей лондонской жизни Шекспир стерег экипажи посетителей театра. Шильд, оказывается, услышал об этом от «одного джентльмена», тому в свою очередь рассказал это Ньютон, редактор сочинений Мильтона, Ньютон услышал от поэта Александра Попа, Поп — от биографа Шекспира — Роу, Роу — от актера Беттертона, Беттертон — от поэта и драматурга Девенана, Девенан — от своего отца, который будто бы слышал что-то такое от самого Шекспира.

Игра в испорченный телефон — и только. А не факт из биографии человека.

Запутано все, разноречиво, построено на преданиях, вот так прошедших через десятки, многие десятки уст и ушей. Почему молодой Шекспир покинул жену, дочерей своих и сына и отправился в Лондон? Одни утверждают, что он насмерть поссорился с хозяином, у которого работал в подмастерьях, и вынужден был бежать. Версия других: тоже, мол, вынужден был бежать, но уже потому, что, браконьерствуя на землях местного помещика, был пойман, бит кнутом и ему грозило еще более худшее. А может быть, и жена тут причиной.

Так или иначе, но он сбежал от всех этих деревенских прелестей в Лондон, в столицу, где и началась его театральная жизнь. Может быть, и верно, что вначале он приглядывал за лошадьми и экипажами возле театра, а потом пробился в суфлеры, а еще дальше в актеры. Это не столь важно, это предыстория. История начинается с того, что он стал обрабатывать, улучшать рукописи других авторов. Это уже была творческая работа. И настолько творческая, что, обрабатывая хронику «Генрих VIII», он так много вложил в нее своего, что стал соавтором драматурга Флетчера.

Когда мы стояли толпой в комнате, где жена Джона Шекспира, Мэри, родила ему третьего ребенка и первого сына, Вильяма, одна из наших спутниц-иностранок спросила у меня, издают ли в Советском Союзе Шекспира, ставят ли на сцене его комедии и трагедии. К разговору с интересом прислушивались девушки-американки. Они впервые видели советских людей, они насмотрелись в кино, начитались о нас бог знает чего, не получая ни слова правды о нашей действительности. Каждое слово наше было для них откровением. Я рассказывал о советских переводчиках Шекспира, о миллионных тиражах его произведений, о собраниях сочинений, о том, что ни один

порядочный театр у нас не обходится без того, чтобы время от времени не проверить свои силы на Шекспире, об его огромной зрительской и читательской популярности в советском народе.

Вокруг стояли еще какие-то люди; иные из них как-то странно, с усмешечками не то недоверия, не то иронии, послушав-послушав, уходили. Я поинтересовался, кто это и чему они так усмехаются. Один из англичан сказал, что это англичане. Усмехаются они по разным причинам. Некоторые потому, что им смешно даже от одной мысли, будто бы чтение Шекспира может кому-либо доставить удовольствие, и если у русских это так, то, значит, сущую правду сообщают о них газеты и радио: здорово русские отстали от мировой культуры, если им по душе такое старье.

— У нас, — сказал этот англичанин, — далеко не все являются почитателями Шекспира. Шекспир труден среднему англичанину, он для такого устарел. И не только язык труден. Это бы еще ничего. Между английским языком времен Шекспира и современным нет такой большой разницы, как между нынешним русским и тем, на котором было писано «Слово о полку Игореве». Но тем не менее разница все же есть. Язык Шекспира для нас стар. Многие выражения того времени сегодня непонятны. Но не это главное, не язык. Мир чувств иной.

Да, вот это-то вторая и главная причина, почему усмехались некоторые, слыша о любви к Шекспиру в Советской стране. Иной мир чувств. Обывателю Шекспир не нужен, а что там говорить, обыватель в Англии достаточно силен, как во всякой стране, правители которой столетиями строили ее благополучие на ограблении, на эксплуатации других стран, других народов. Обыватель хочет жить спокойно, без волнений, без особых раздумий. Он отрицает все беспокоящее, для него непривычное, куда-то зовущее, заставляющее пересматривать устоявшееся и застоявшееся. Обыватель если и помянет Шекспира, то в связи с давней, двухсотлетней сплетней — он или не он автор своих сочинений.

Современники Шекспира не оставили ни одной письменной строки, не передали ни одного изустного предания о том, что не Вильям Шекспир, а кто-то другой писал шекспировские пьесы. И сто пятьдесят лет после его смерти никто в его авторстве не сомневался. Но вот в конце XVIII века нашелся «исследователь», который

сенсационно объявил: нет, это не лондонский актер Вильям Шекспир писал бессмертные трагедии и комедии о своем обществе, прикрываясь сюжетами из истории, а великий философ Фрэнсис Бэкон; не мог-де какой-то актеришка подняться до таких высот общественной и философской мысли.

Через несколько десятков лет авторством Шекспира занялся один американец, за ним — американка, опубликовавшая солидную по объему и небезынтересную по содержанию книжицу «Разоблачение философии пьес Шекспира». И пошло, и пошло... В прошлом году в Англии появились на свет божий две очередные книжки о Шекспире. И в одной из них опять-таки поднимается застарелый вопрос об авторстве Шекспира.

Главный аргумент для этих сомнений: не осталось рукописей, подлинников. Но тогда можно легко поставить под сомнение авторство слишком многих великих творений культуры прошлого. Очень немногие из них сохранились в подлинниках. Если бы при жизни Шекспира окружающие знали о том, что он великий, они бы постарались сберечь каждый его черновичок, каждую заметочку; к нему бы на дом явились представители какого-нибудь литературного музея или филиала чего-нибудь, забрали бы под расписку пачки черновиков «Ромео и Джульетты», «Отелло», «Гамлета»; в музее это все было бы пронумеровано, проштемпелевано, положено на должную полку. Хорошо, когда сейчас все знают, кто великий, кто не великий, у кого забирать рукописи в музей, у кого нет. При сомнениях достаточно полистать «Литературную энциклопедию» или позвонить в Союз писателей. А тогда? Кустарщина была в ту пору в делах распределения лавров.

Кстати, о спорах по поводу авторства Шекспира два дня спустя заговорила в Бирмингеме одна молодая англичанка, мисс Б.-М. Ханкок. Это было в городской публичной библиотеке, в отделе, где собраны книги Шекспира, которыми ведает мисс Ханкок.

— Да, да, — говорила она, — большое несчастье, что не осталось рукописей. Из-за этого хотят даже вскрыть могилу, несмотря на предупреждающую от таких глупостей надпись на ней. Полагают, видите ли, что, может быть, рукописи спрятаны в гробу Шекспира. Но неужели кому-то мало этого?..

Мисс Ханкок, звякнув связкой ключей возле сейфа, вокруг которого нам пришлось предварительно разобрать гору пыльных подшивок и увесистых томов, отворяет тяжелую стальную дверь и бережно, словно все это из лепестков фарфора, одну за другой достает старые, более чем трехсотлетние тома. Это он, Шекспир, в изданиях 1623 года, 1638 года и близких к ним.

Листаем эти драгоценные книги. На их страницах чьей-то рукой сделаны пометки, подчерки, зачерки, выброски, переделки. Что это и кто это? Чьи тут хозяйничали перья и карандаши?

— О, это пачкали актеры! — объясняет мисс Ханкок. — Великие актеры. Вот ту, например, сокращал для себя Гаррик. А вот здесь рука одной очень знаменитой актрисы. Она выбрасывала из текста все, что ей казалось слишком грубым. Как видите, у трагедии «Ромео и Джульетта» кем-то переделан финал. Ромео и Джульетта остались жить. Хэппи энд! Счастливый конец очень любят многие.

4

В тот воскресный день мы объехали в автобусе дома и места, так или иначе связанные в Стратфорде-он-Эйвон с именем Шекспира: и дом его жены, Анны, окруженный цветниками, в которых высажены все цветы, упомянутые у Шекспира в пьесах, и дом дочери, Сусанны, один из замечательнейших образцов архитектуры времен Тюдоров, и, наконец, остановились возле отеля того же архитектурного стиля и носящего название «Отель «Шекспир» на Чэпел-стрит.

Видимо, это — тоже очень старое здание, и сам отель достаточно стар. Может быть, когда-то здесь был постоялый двор или трактир с комнатами наверху, и в них хозяева закалывали кухонными ножами тех постояльцев, которые побогаче. Обслуживание в отеле современное, отличное, но старина смотрит на вас из всех углов. Деревянные, крутые лесенки, узкие, запутанные, как на большом пароходе, коридоры, двери из старого дерева, петли и ручки на дверях и окнах, кованные из железа или из меди. Все грубовато, средневеково. В комнатах средневековые шкафы, высокие постели. На дверях, рядом с номерами комнат, написаны еще и имена того или иного

из шекспировских персонажей. Короли Лиры, Гамлеты, Ромео, Джульетты, Ричарды...

Нам отвели комнату № 146. Она носит имя Генриха VIII, того самого короля, который срубил головы семи или восьми своим женам по одной только причине, что все они рожали ему девчонок, в то время как он ждал наследника, сына. Надо полагать, этот метод воздействия на строптивых женщин должного эффекта не дал, так как после Генриха VIII, если я не запутался в историях английских королей, царствовала знаменитая Елизавета I, кстати, тоже срубившая немало голов своих приближенных.

Остаток дня мы провели в городе, на его улицах, на поросших деревьями берегах Эйвона, среди тысяч гуляющих англичан; заходили в старинные пивнушки, слушали говор горожан.

Конечно, прогуливаясь сегодня по Москве, ты слишком далеко будешь от той Москвы, какой была она, скажем, в XVII или в XVI веке. Но все-таки от тех времен остался Кремль, остались палаты бояр Романовых, дом Малюты Скуратова, храм Василия Блаженного, Лобное место, башни, церкви, монастыри, и если прищурить глаза, чтобы не так яростно в них врывалась современность, если при этом еще и пофантазировать, то кое-что и предстанет перед тобой из тех времен далеких. Вот так же фантазировали и щурились мы в Стратфорде-он-Эйвон, дабы в какой-то мере увидеть, почувствовать эпоху Шекспира, представить самого Шекспира на улицах этого провинциального городка. И река Эйвон, должно быть, не слишком изменилась за четыре столетия, и канал с его дряхлой плотиной, и пятисотлетний, поросший зеленью мост стоит, как стоял в ту пору, и башня старой, очень старой церкви Святой Троицы — Holy Trinity Church — отражается в недвижной зеленой воде, как отражалась и лет шестьсот — семьсот назад, хотя воды этой утекло, видимо, достаточно много; и в этих пивнушках трудовые люди сидят перед бокалами пива так же степенно, тихо, раздумывая над сложностями и трудностями жизни.

Нет уже, правда, за городской окраиной дремучего Арденнского леса (тезки того, что во Франции), куда ежегодно стратфордцы сходились первого мая на праздник Робин Гуда и разыгрывали в его память сценки из легендарной Робингудовой жизни. Повывелись в

окрестностях городка, не скачут по утрам конно и не едут колесно знатные и могучие герцоги и графы; остались их ветшающие замки вроде Варвик-Кастла или того, которому имя Кенильворт и которым во времена Шекспира владел блистательный временщик Елизаветы граф Лестер. В недалеко расположенном Ковентри, разбитом немецкими бомбами, вместо известного старинного собора несколько лет назад возведен новый, ультрамодерный.

Мало, мало осталось от шекспировских времен, как, впрочем, повторяю, мало осталось у нас от времен Ивана Грозного или тишайшего Алексея Михайловича. Но что осталось, что сохранилось, то волнует приезжего и впечатляет.

Назавтра, склонив головы, мы стояли возле серых каменных надгробий в церкви Святой Троицы — Тринити, под которыми три с половиной века покоится прах Вильяма Шекспира, его жены Анны и любимой дочери Сусанны. Старыми английскими литерами на старом английском языке стихотворная надпись, выбитая в камне, обращается к живущим с просьбой не трогать, не беспокоить прах поэта. Не лазайте, мол, под плиту ни по каким поводам. Она помогла тому, что могилу Шекспира не перенесли в Вестминстерское аббатство, в Лондон, о чем не раз заходили разговоры; она пока что охраняет прах великого драматурга от искателей его рукописей. Хотя как раз она, надпись эта, и возбуждает фантазии искателей. С чего бы, дескать, Шекспир, которому некоторые приписывают эти предупреждающие стихи, стал бы принимать подобные охранительные меры? Явно, что забрал с собой все черновики.

Слева от могил, в стенной нише, — скульптурный портрет Шекспира. Смотришь на него и думаешь: жаль, чертовски жаль, что при жизни этого человека никто не понял его бессмертия и ни одна талантливая кисть, ни один гениальный резец не запечатлели подлинный образ его для грядущих поколений. Остались два или три портрета неведомых живописцев, возможно, просто любителей. Причем один из них, как полагают, выполнен уже по гипсовой маске, снятой с покойного. Да вот кто-то слепил из глины этот аляповатый бюст. Слепил и раскрасил. Но и за то спасибо. Лепил, должно быть, человек, видевший Шекспира живого. Он передал и подтверждаемый в письменных воспоминаниях карий блеск глаз

поэта и светло-русый цвет его волос, овал лица, его черты, характерную бородку.

Вот так завершился земной путь великого англичанина — от комнатки в доме на Хенлей-стрит до церкви Святой Троицы — Тринити, каких-нибудь несколько коротких сотен метров.

Но как бесконечен путь его творений через века, через сердца и души, через океаны и материки, через крутые смены общественных формаций и государственных устройств! Если он не был нужен и не нужен обывателю, то тот, кто борется, кто ищет дорогу в будущее, кто мятежен и живет с огнем в груди, тому Шекспир — товарищ и друг. Случайно разве, что еще в первые дни революции, в годы гражданской войны Шекспира в Советской стране играли на подмостках красноармейских театров? Он помогал бороться и побеждать.

1964

ОСТРОВ БУРЬ

*Из путешествий на Цейлон**

ПЕРВЫЕ ШАГИ ПО ЗЕМЛЕ НЕИЗВЕСТНОЙ

1

С крытого балкончика моей комнаты, которая под самой крышей отеля «Тапробана», можно рассматривать почти всю территорию и всю акваторию обширного порта Коломбо. Они не просто отсюда видны. Отель этот, старый, солидный, то ли конца прошлого, то ли самого начала нынешнего века, сооруженный не для международных гуляк с фотоаппаратами, а для людей деловых, как бы и сам включается в комплекс портовых причалов, пакгаузов, подъемных кранов. Он стоит на берегу, нависая грузными арчатыми этажами над приземистым зданием таможни, на белом фронтоне которой большие круглые электрические часы. Они идут на два с половиной часа вперед против московских.

У причалов несколько десятков кораблей разного тоннажа. Вокруг их мачт вьются пестрые флаги множества стран. За пределами бухты, огражденной бетонными молами от океанских волн, прямо там, в синем-синем океане, — еще до двадцати судов. Задумчиво дымят, врезав якоря в песчаное дно, чего-то ожидают.

С моей терраски отлично разглядывается и вся та часть города, которая расположена на север от порта, вдоль берега бухты, и дальше. Вижу цветистое кипение прокаленных солнцем крикливых улиц, почти черную

---

* 22 мая 1972 года Цейлон стал независимой суверенной Республикой Шри-Ланка. *(Прим. ред.)*

от времени черепицу крыш, витые минареты мечети, кубические башни костелов и поднятые крутыми уступами кровли буддийских храмов. И еще вижу вдали метелки бронзовых листьев на вершинах змеистых тонких стволов кокосовых пальм.

Если бы не пальмы да не огненно-жаркое солнце, которое, выбелив все вокруг, вертикально уставилось прямо тебе в темя, можно подумать, что ты в голландском Амстердаме или в уэльском Кардиффе, где день и ночь грузятся углем заезжие пароходы. Что касается запахов, то во всем мире портовые причалы пахнут одинаково: мазутом, рыбой и водорослями.

Почему здесь, вблизи экватора, думается о прохладном Уэльсе, почему вспоминается туманный Амстердам? Да потому, конечно, что эта часть столицы Цейлона примыкала когда-то к оснащенному дальнобойными пушками береговому форту сначала голландцев, а затем англичан; белые колонизаторы так и называли ее «фортом», застраивали по образу и подобию своих северных столиц внушительными, отнюдь не рассчитанными на условия тропиков каменными громоздкими зданиями — для контор и оптовых складов, для банков и универсальных магазинов.

Полдень. Вертикальное солнце работает на полную мощь. В соседней Индии, когда ее топтали башмаки колонизаторов, индусы говаривали, что в такую пору дня на улицу выходят только собаки и англичане. А здесь не сильный, но достаточно упругий ветерок с океана гонит на берег влажное, мягкое тепло, умеривающее тропический жар солнца. Но, конечно, после Москвы тепла все равно более чем достаточно. О пиджаке думать уже не хочется, и в то же время никак не решаешься с ним покончить. Еще сутки назад мы шли к самолету по обметанным ледяной коркой бетонным плитам Шереметьевского аэропорта под свирепым ноябрьским ветром: кто чихал, кто кашлял, таща в «боинг» авиакомпании «Эр Индия» московские простуды и гриппы; и когда после этого саднит в горле, когда где-то среди ребер то ноет, то покалывает, ну как расстаться с пиджаком? Держишь его перекинутым через руку, и, что ни час, он становится все тяжелее, все обременительней.

После длинной воздушной дороги в восемь тысяч километров хорошо сидится на увитом зеленью балкончике под черепичным скатом кровли. Балкончик (строго

говоря, это скорее терраска) отделен от комнаты дверью и окном, которые поднимаются лишь на половину высоты до кровли, а над ними уже открытый проем, улица. Над дверью, опустившись на ее верхнюю планку, появляется большая, до гуталинового блеска черная галка с увесистым клювом и внимательно осматривает все, что я извлек из чемодана. На смену галке приходит облезлый, старый котище с мордой льва, что-то хрипло произносит и отправляется дальше по широким карнизам отеля.

Сидишь, смотришь на незнакомую жизнь, вспоминаешь проделанный путь.

Мне очень памятен мой первый полет в Южную Азию — тогда это было в Индию. Бесконечные хребты, складки, нагромождения Гималаев. «ТУ-114» летел, летел над ними, и им все не было, не было ни края, ни конца. Синие льды по клыкастым острым вершинам, сверкающие снега в ущельях, замерзшие озера на высоте, может быть, пяти или шести тысяч метров, в которых вода как зеленый мрамор или малахит. За одной цепью гор — другая, еще более высокая, составленная сплошь из Казбеков и Монбланов, притиснутых тесно один к другому и, возможно, по сию пору не имеющих не только названий, но даже простых инвентарных номеров. А за какой-то уж совсем немыслимой горной грядой, над которой наш самолет, держась на высоте девяти тысяч метров, прошел, чуть ли не бороздя белые скалистые острия своим брюхом, в еле различимой дали, на юге, открывалась затянутая лилово-зеленым сумраком бездонная пропасть чего-то никогда прежде тобой не виденного, необыкновенного — то ли из снов, то ли из сказок. В ней клубилось, в ней дымило, парило, и ничего с какой-либо отчетливостью там нельзя было рассмотреть.

Самолет пошел именно туда, в это первозданное, доисторическое клубление неведомой материи.

И оказалось, что там уже была Индия. Когда мы пробились сквозь тысячелетиями сталкивающиеся массы горячего — с южных долин — и ледяного — с хребтов Гималаев — взметенного ветрами воздуха и вышли в район Дели, страна сказок распахнулась перед нами, зеленая и солнечная.

На этот раз мы тоже держали курс на Дели, но прошли не над Гималаями, а через Гиндукуш. Мы видели под крыльями «боинга» Афганистан, его столицу Кабул и серую нитку автомобильной трассы в горах, которую

советские специалисты и советские машины помогали тянуть афганским дорожникам в камнях, на кручах и в ущельях.

Если в предыдущий прилет столица Индии встретила нас жарой в сорок градусов, то теперь там было только двадцать, и я с нетерпением ждал, когда же мы отправимся дальше, в более теплый Бомбей.

В Бомбее уже стало совсем хорошо, можно было сбрасывать теплое, шерстяное. Но все же, войдя в комнату отеля, в котором предстояло ночевать до утреннего самолета на Коломбо, я первым делом выключил эр-кондишн, эту шумную, беспокойную машину, производящую прохладу в помещениях.

А сегодня утром наконец-то на английской «комете» мы наискось пересекли Южную Индию в сторону Индийского океана. Летели вполне благополучно, при полной, ясной видимости. Под нами были древние горы Индии — Гаты — «священные ступени», сначала Западные, а потом Восточные. Блестели в утреннем солнце горные реки и речки, озера и озерки. Это удивительно отличалось от того, что увидел я здесь несколько месяцев назад, в пору весенней засухи, когда русла рек были переполнены не водой, а нагромождениями камней, гранитных валунов, валами гальки и песка, когда пустыми и мертвыми стояли иссохшие чаши озер, когда пожухли травы и сбросили листья некоторые виды деревьев.

В тот раз, кстати, было так, что, выйдя из самолета, следовало бы заказать благодарственный молебен. Мы летели тогда из Мадраса в Бомбей через бесконечные плоскогорья Декана, тоже пересекая и Восточные и Западные Гаты. Самолет, устаревший по конструкции, поршневой, не первой молодости по срокам эксплуатации, шел на небольшой высоте; покачивало. Две изящные стюардессы в голубых форменных сари хлопотали, устраивая пассажирам ужин; подносы с пищей уже были у всех на коленях, когда в быстро сгустившейся тьме за стеклами иллюминаторов стали свиваться в жгуты и петли толстые ослепительные тропические молнии. Они рвались за бортом с грохотом двенадцатидюймовых снарядов. Самолет швырнуло кверху, вбок, вниз; подносы полетели на пол; чай, кофе, салаты и пирожные — все смешалось на ковриках в узком проходе: на этой слякотной массе скользили перепуганные стюардессы;

команда заметалась. Какой-то смуглый пассажир-бородач на одном из сотен языков, наречий и диалектов Индии принялся вслух произносить молитвы. А самолет тем временем уже ставило почти на ребро, на нос, на хвост, крутило и вертело.

Никому не хотелось падать вниз на эти Гаты, на эти камни, в пересохшие реки и речки, скрытые в кромешной тьме. Молитва бородача сделала свое дело, и мы в конце концов пробились сквозь угрюмый грозовой фронт. Но нас долго-предолго возили после этого над вечерним Бомбеем. Вид сверху на город в огнях был превосходный; особенно выделялась набережная — знаменитое «Ожерелье Бомбея». Мы восхищались им, любовались, отходя душой от только что пережитых волнений. Но когда увидели это «ожерелье» в третий, в пятый, в десятый раз, все кружа и кружа над городом, опять стало как-то не совсем по себе. Наконец, когда все-таки мы рано или поздно приземлились, нам было сказано: «Перед вами только что шлепнулся «боинг». Мы убирали его с посадочной полосы».

На этот раз, повторяю, летелось отлично. Горы и в самом деле подобны ступеням, недаром их так назвали в незапамятные времена; они ступень за ступенью идут от Аравийского моря в глубь страны и далее, к Бенгальскому заливу, от побережья к побережью огромного полуострова, на котором расположена Южная Индия; между ступенями лежат туманы и дымки, и кто знает, что там скрыто, под этим загадочным маревом?

Потом Индия кончилась, отошла вправо, к северо-западу, во всю ширь открылся океан, и в нем, за тесным проливом, мы увидели островную землю, к которой держали путь. В океане под нами были сотни, многие сотни лодок под косыми, темными, почти черными парусами. С лодок конечно же ловили рыбу. Снижаясь, мы прошли над ними, целясь носом самолета прямо в заросший пальмами берег, пересекли длинную песчаную косу, перед которой с океанской стороны кипел белопенный прибой, пересекли лагуну, отсеченную от океана этой косой, и устремились, казалось, падая, в густые заросли пальм, пальм, пальм... Самолет, думалось, уже утюжил и стриг их бронзово-зеленые кроны, катастрофа была неминуема. Но среди пальм в какой-то последний миг отыскалась бетонная дорожка аэродрома, которой и коснулась колесами английская «комета».

После минуты-двух наступившей благостной тишины распахнулась дверь самолета, и мы сошли по трапу в нечто подобное общему согревающему компрессу; было так, как в наших северных ботанических садах — в оранжереях с тропическими капризными растениями: очень тепло и до предела влажно. Вокруг все цвело, на любом пустяковом кустике сидели причудливые, яркие цветы и во всю свою тропическую силу пахли. Как-то нехотя, несмотря на щедрое солнце, откуда-то лился теплый, будто из душа, бесшумный дождичек.

Аэродром, где мы приземлились, носит название Катунаяке; его строили для себя англичане, и здесь у них еще совсем недавно была военная авиабаза.

От Катунаяке до Коломбо путь в несколько десятков миль. Хорошая асфальтовая дорога. Сплошные пальмы и банановые деревья по сторонам. Пестрые селения с пестрыми лавочками. Масса людей, многие из них на велосипедах, они степенно, не торопясь, крутят босыми ногами педали. Старые, скрипучие грузовики, роскошные современные лимузины, буйволы, запряженные в крытые, сплетенные из пальмовых листьев фургоны на двух колесах, похоронные, обвитые белым, арки и свадебные, в лентах, автомобили, звон католических церквей и молчаливые, улыбчивые будды под навесами на перекрестках — все это мелькало, мелькало мимо нас.

Потом пошли длинные улицы Коломбо, столицы Цейлона, зеленого, продутого ветрами с океана, живописного тропического города. И вот наконец отель «Тапробана», в котором после того, как его национализировали и переименовали (прежде он назывался «Гранд Ориенталь»), начались большие реконструкционные работы: слышны удары ломами — пробивают стены, и еще более ощутимые грохоты молотов — склепывают железные балки в межэтажных перекрытиях. Работают смуглые жилистые люди в белых одеждах, работают не торопясь, но упорно, тщательно, почти с рассвета до темна.

2

После таких длинных дорог, как восемь тысяч километров за сутки, после таких климатических контрастов, как ноябрьская Москва и никогда в нашем понимании не знающий зимы тропический Коломбо, хочется отдох-

нуть, отоспаться, *отойти*. Но в поездках по заграницам это совершенно невозможно. С первых твоих шагов по чужой земле тебя закручивает неизбежный, фатальный вентилятор.

Проведя какой-нибудь час в отеле, окинув взором порт и город с балкона, выпив бутылочку отлично освежающей воды под названием «тоник», мы, подхваченные ветром этого вентилятора, уже отправились на ежегодно устраиваемую выставку молодых художников. В небольшом зале было собрано несколько десятков живописных и графических работ. Среди них оказались довольно привлекательные, в которых виделось свое, самобытное, цейлонское. Своеобразно по цвету, по замыслу, по содержанию было выполнено полотно, на котором живописец изобразил молодого рабочего, почти мальчика, занятого притиркой клапанов автомобильного мотора. Нам назвали автора этой заметной работы. Им был работающий в механических мастерских сын председателя Компартии Цейлона доктора Викремасингхе Сурен. Привлекла внимание работа и другого молодого художника: «Корни» — поразительное сплетение корней какого-то крупного дерева, вгрызающихся, видно, не в очень плодородную песчаную землю, вгрызающихся упорно, со всей яростью живого, борющегося за жизнь.

Было и еще несколько заслуживающих внимания пейзажей, жанровых сценок. Но большинство — подражание. Чему? Тем западным образцам, когда стирается национальное, народное, все, что идет от жизни, от острого, пытливого глаза. Лихая кривокосая абстракция или полуабстракция, формалистика в красках. Боясь вот таких работ, как «Корни», как «Молодой рабочий», ее, эту безудержную порчу холста и красок, активно поддерживают. Кто поддерживает? А тот, кто не заинтересован в росте, в развитии национального самосознания народов, недавно вырвавшихся из-под колониальной зависимости. На выставке представлены керамические скульптуры, обожженные в специальной электропечи. Кто же молодым скульпторам Коломбо преподнес эту печь? Всюду проникающий, вездесущий, располагающий миллионами долларов так называемый «Фонд Азии», одна из множества североамериканских организаций, предназначение которых — держать народы других стран в американской узде, скупать человеческие души.

Спустя несколько часов мне пришлось увидеть и живого представителя этого пронырливого мира.

Наш соотечественник Владимир Павлович Байдаков, встретивший нас на Цейлоне, предложил вечером, после выставки, заехать домой к одному, как он отозвался, очень хорошему цейлонскому художнику-реалисту Гарри Пирису.

Дворик с проезжей частью, усыпанной гравием, густая цветущая зелень, со всех сторон обступившая довольно обширный многокомнатный дом с распахнутыми дверьми и окнами, чтобы во все комнаты мог проникнуть ночной океанский ветер. Стены комнат от пола до потолка увешаны холстами и картонами, этюдами, эскизами и законченными картинами, пейзажами, моментально зарисованными сценками и портретами.

— Тут не только мои работы, — объяснил хозяин, крепкий человек с пытливым быстрым взглядом, — но и моих друзей и учеников.

Мы ходим вдоль стен, как обычно ходят на выставках или в музеях, толпой, которая, кроме нас, состоит еще из жены художника, его красивой, статной племянницы, с которой, судя по тому, что мы видим в мастерской, написан не один портрет, из веселого бородача — газетного юмориста, из человека, профессию которого нам не назвали, сказав только, что жена его англичанка, — она тоже была в толпе и непрерывно весело говорила.

Мне показалось, что хозяин, Гарри Пирис, сильнее всего, талантливее, самобытнее в портрете. Необыкновенно выразительно он выписывает глаза, рот, руки, осанку. А чем же другим, как не этим, ярче, зримее, осязаемей передается характер человека? Манера художника точна, чиста, скупа. Видно, что цейлонский мастер прошел хорошую школу.

— Да, я учился в Париже.

Среди его работ немало и забавных проб, шалостей кисти. Есть такие, что не поймешь, где у нее верх, где низ, — из тех помянутых мною абстракций, которые так взлелеиваются хозяевами Соединенных Штатов Америки.

— А что, — сказал Пирис, прекрасно понимая цену подобной живописи. — Эти штуки чертовски удобны. Их можно вешать и так, и так, и так. — Он по-всячески вертит свою картинку.

Принесли бутылки с виски и джином, чашки с чаем, национальные сладости и даже солености — орешки

с солью. За столиком, в удобных креслах, пошла беседа. Поскольку мне, впервые попавшему на Цейлон, было интересно без исключения все, то и беседа шла, понятно, обо всем. От проблем чисто профессиональных для хозяина до того, как обращаться с кобрами, если они заползают в дом. «Батюшки! — думалось. — Кобры?.. В дом?.. Говорится об этом так, как у нас в Подмосковье говорят о комарах или мухах!»

А веселая англичанка, жена молчаливого человека, профессию которого так и не назвали, рассказывала тем временем случившуюся у них в доме историю.

— Мы оба, мой муж и я, с детства не терпели кошек. Но вот однажды муж сидел за своим рабочим столом. Одет он был в саронг, который, как вы знаете, прикрывает ноги почти до пят, как это и полагается саронгу. И вдруг, мой бог, под ноги мужу, под низ саронга, кидается забредший откуда-то кот... Муж испуган. Но что этот мелкий испуг в сравнении с той опасностью, которая ему грозила! Котище выхватывает из-под саронга... нет, нет, вы не угадаете... кобру! Да, да, это исчадие животного мира. Кто знает, еще бы мгновение — и она смертельно ужалила бы моего мужа. Какой ужас!

— Ну, а что же кот, что кобра? — не терпится мне.

— Кот ее прикончил. Мы его убедили остаться у нас. Он любезно согласился и теперь пользуется в нашем доме величайшим уважением.

Тут из глубин дома вышел хозяйский кот. Такой же короткошерстый, как все коты в тропиках, цвета песка великих пустынь Азии и Африки, с львиной мордой и тем выражением глаз, какое можно видеть у львов и тигров в зоопарках, — неподступно холодным и недружелюбным.

— У нас точно такой киса! — воскликнула рассказчица.

Она могла бы и не говорить этого, потому что все кисы жарких стран, как я заметил еще в Индии, почему-то именно «точно такие же».

В разгар беседы явилась одна шумная, броская, явно привыкшая ко всеобщему вниманию пара — американец с женой. Они только что из посольства США, где присутствовали на панихиде по президенту Кеннеди. Оба хватили по стакану виски и принялись суетиться среди

картин. Миссис вела себя нагловато, чувствовалось, что это деловая, пройдошистая дама.

Наконец она наткнулась на ту картинку, о которой сам Пирис говорил, что ее можно вешать и так и этак.

— О! — вскричала дама. — Прелестно! — Она конечно же держала картинку вверх ногами. — Мистер Пирис, я с удовольствием ее возьму. Надеюсь, вы не откажетесь поговорить об этом. О цене мы...

— Стоит ли говорить, — поспешил перебить художник. — Берите, пожалуйста, берите. Да будет с вами бог.

Американцы исчезли. Все общество вздохнуло с явным облегчением — стало спокойнее, веселей, никто не старался навязать себя другому, все были равны, чего нет в присутствии власть имущих американцев, неизменно всеми возможными средствами демонстрирующих свою исключительность, особливость, свое превосходство над людьми иных стран земли.

Когда мы возвратились в «Тапробану», было довольно поздно, можно бы и укладываться спать. Но что такое? К подъезду отеля один за другим подкатывают длинные автомобили, из них выходят дамы в роскошных сари, джентльмены, несмотря на жару, надевшие темные вечерние костюмы, в накрахмаленных сорочках, при галстуках и «бабочках».

И тут видим афишу, не замеченную днем, которая извещает, что в этот вечер в залах ресторана отеля «Тапробана» состоится некий «полис данс» — бал, который, как я понял, с целью пополнить свою кассу, устраивает полиция.

Было интересно, сидя в баре за бутылкой «тоника», рассматривать все новые и новые пары тех, кого привлекла возможность потанцевать. Мужчины были как мужчины в любой иной стране,— пиджаки и пиджаки, никаких вариантов, только что лицами смуглее, чем, скажем, где-нибудь в норвежском Бергене или шотландском Глазго. А вот женщины... О них невозможно не сказать особо. Все до одной это были поистине красавицы. Золотистый цвет кожи, какого наши модницы пытаются достигнуть, на протяжении долгих недель изжаривая себя в песках и гальке Черноморского побережья Кавказа, Южного берега Крыма, Рижского взморья, причем еще и смазываясь разными снадобьями — от орехового масла до хра-

нимых в строгой тайне домодельных смесей. Глаза у всех в необыкновенном размашистом разрезе, угольно-пламенные. А стан, а стать!.. Это же богини, королевы и принцессы; одни — хрупкие, изнеженные, как орхидеи, другие — олицетворение здоровья, могучей телесной радости, женской силы.

Удивительная одежда сари, в незапамятные времена придуманная в Индии. Несложными, но надо, чтобы очень точными, обвивами многометровых кусков ткани женщина превращается в богиню. Все, что у нее в излишестве, будет скрыто под складками сари, а то, чего недостает, будет непременно добавлено. Все, что есть красивого, подчеркнется, все, чего нет, придет. Выпрямятся ноги, прямизну пальмы пальмиры обретет спина. С помощью сари совершаются сказочные превращения. Впоследствии у меня было несколько досадных случаев, когда красавиц, просто-таки поразивших меня в таких вот божественных одеяниях, я не смог узнать, когда увидел их в будничных европейских одеждах — в юбках и блузках. Куда все и подевалось! Но подлинно красивые становятся в сари, повторяю, богинями.

Кто же были эти строгие леди и джентльмены, приехавшие, так старательно и богато разодевшись, на «полис данс»? Они не были ни высшей чиновной знатью Коломбо, ни известными промышленниками, ни крупными торговых дел мастерами. Это был мидл класс — средний предпринимательский слой коломбийского общества: держатели мелких фабричонок, мастерских, некрупных магазинов, модные юристы, маклеры, преуспевающие гинекологи и зубные протезисты — словом, люди, у которых денег, чтобы добраться до положения хозяев жизни на острове, пока что нет, а возможно, никогда и не будет, но, чтобы не отказывать себе в удовольствиях, достаточная монета завелась.

Джаз-оркестр играл незнакомые мне мелодии, с каким-то растянутым от танго к фокстроту своеобразным ритмом. Меня интересовало, как же обвитые, обтянутые красивыми пурпурными, ярко-синими, солнечно-зелеными, в золоте и в серебре, упругими тканями сари прекрасные леди смогут танцевать под эту музыку, будут ли им доступны быстрые танцы в такой не приспособленной для этого одежде.

Но нет, подвыпив за столами, закусив, пары чинно вышли на лощеный, надраенный, как корабельная палуба,

пол, и танцы начались весьма успешно. Сначала это были довольно медленные танцы, когда дамы, придерживая сари, плавными толчками вбок, подобно волнам, плыли из края в край танцевального пространства, без кружений и поворотов. По мере усиления градусов питий дело шло все свободней и проще. Даже грянуло нечто подобное твисту, но опять же рассчитанное на то, что сари есть сари...

Я уже давным-давно спал, уставший и от дороги и от всего необычного дня, когда до моей комнаты на четвертом этаже, под мою черепичную крышу долетели возгласы, крики, хохот. Вышел на балкон, взглянул вниз: «полис данс» на пороге рассвета разъезжался по домам. Красивые леди чувствовали себя прекрасно. Они разошлись и бушевали — им хотелось еще танцевать. Но мужчинам предстоял деловой день, и они были строги со своими развеселившимися подругами. Люди повсюду одинаковы, что бы они на себя ни надели — английские костюмы или индийские сари.

3

Отель «Тапробана» расположен удивительно удачно. В Коломбо есть еще два первоклассных отеля. «Маунт Лавиния», километрах в семи-восьми от делового центра города, на прибрежной скале над океаном, в привлекательной зелени. Он хорош для туристов и миллионеров. И «Голл фейс», тоже на самом берегу,— до искусственного плавательного бассейна здесь долетают натуральные океанские брызги. «Голл фейс» удобнее, чем «Маунт Лавиния», хотя тоже несколько оторван от главных центров цейлонской столицы. А вокруг «Тапробаны» кипит шумная, беспокойная до предела живая жизнь. Вокруг «Тапробаны» магазины, рестораны, харчевни, открытые толчки; развалы товаров прямо на каменных плитах под сводами торговых галерей. Близ отеля, почти примыкая к нему тыльной стеной, расположено здание цейлонского сената. Два шага отсюда до газетного треста «Таймс оф Цейлон» — перед окном моей комнаты маячит серая башня его, задуманного как небоскреб, высокого, узкого здания. А еще шаг — будет и гнездо печатной дезинформации и клеветы, называемое «Лейк хаузом», потому что свито оно на берегу внутригородского озера; а озеро по-английски — лейк.

Выйдешь на улицу — тебя тотчас хватают за руку разнообразные «комиссионеры», жаждущие заработать

рупию-другую. Они готовы отвести тебя в чайную, где подают освежающий чай со льдом, в китайский ресторан, где тебе отварят только что пойманных в океане креветок или огромных крабов, в лавки ювелиров, которым нет числа и витрины которых завалены добываемыми на Цейлоне сапфирами, аметистами, изумрудами, топазами любых форм и размеров; в этих лавочках (одни из них бедненькие, этакие каморки: два шага вдоль, два поперек, другие — сверкающие витринами царства сокровищ) перед прилавками, созерцая все, что раскинуто на кусках черного бархата, примеривая на себя, а себя, обвешанных золотом, камнями, серебром, рассматривая в зеркалах, сидят дородные золотистые леди из благополучных, благоденствующих семей.

Прямо возле подъезда отеля тебе попытаются продать полотнища цейлонских почтовых марок, подобранных сериями для филателистов, ножницы для стрижки не то овец, не то ягуаров, аляповатые изображения мадонн, шариковые авторучки, слонов из черного дерева, замысловатые пищалки и визжалки. А за плечом ты все время будешь слышать неизменное, таинственное: «Чендж мани» — «Менять деньги». Это представители черного рынка. Они отдают рупии за доллары и фунты, но, если надо, могут взамен рупий снабдить долларами и фунтами. «Чендж мани» вы услышите даже в зоологическом саду, перед террариумами с питонами, или плещась в прибойных волнах на пляже «Маунт Лавинии».

Пройдя не спеша к северу от нашего отеля минут десять, вступишь уже в ряды настоящих базаров, в узкие проезды самых бойких торговых улиц Коломбо. Полупудовые ананасы, гроздья бананов, связки ярко-желтых королевских кокосов, какая-то неведомая приманчивая снедь, переслоенная бесконечными навалами тканей — шелковых, нейлоновых, хлопчатобумажных всех расцветок, всех рисунков, какие только возможно придумать. Изделия из стекла, фарфора, кожи. Обувь, ножи, фонари... И крик, крик, крик: «Купите!» Это «купите» произносится на всех языках мира. Даже слышится и такое, на нашем родном: «Покупай, дура, дешево!» Продавец при этом радушно улыбается, он, видимо, наслушался, как возле лотков и прилавков, дружески советуясь, поговорили наши соотечественницы.

Невозможно придумать, чего бы нельзя было купить на коломбийских толчках, в этих рядах и улицах под

тропическим солнцем. Ты найдешь здесь все, что тебе понадобится. Тебе захотелось опоясать надежным ремнем чемодан, истрепанный в трюмах самолетов,— пожалуйста, вот он, этот ярко-желтый здоровенный ремнище. Отвалилась дужка от часов — ее тебе тотчас припаяют. Захотел костюм для того, чтобы пойти на прием к премьер-министру,— к утру сошьют... Все это быстро, мгновенно, на месте. Жесточайшая конкуренция подхлестывает людей. Торговцев не меньше, чем покупателей, а товаров неизмеримо больше, чем их могут купить трудовые цейлонцы. Что же делать торговцам, чтобы все-таки продать, хоть немного, да заработать? Один путь: лезть вон из кожи и делать так, чтобы человек и не хотел бы, да купил.

В другую сторону от толчков, к югу, неподалеку от «Тапробаны», на прибрежном возвышении стоит маяк, который с наступлением сумерек принимается бросать белые длинные лучи в океан; а чуть дальше, за маяком, тоже смотрится в океан — весь в колоннах — фасад здания парламента, ко входу в которое ведут широкие ступени. Это здание как бы взято вот так и целиком перенесено на тропический остров прямо из старого Лондона. Перед ним кипит могучий теплый океан, медленные и мощные волны с разгона бьют в глыбистые камни у маяка, а оно, здание, стоит себе и стоит, будто вокруг него лондонские улицы и скверы.

А между «Тапробаной» и парламентом спрятан в зелени дворец генерал-губернатора, вход во дворы которого охраняется солдатами, вооруженными массивными винтовками. Но в сад, примыкающий к этим дворам, в Гордон-гарден, вход свободный. Тут скамьи, на которых сидеть не совсем безопасно, потому что в кронах огромных деревьев над ними сотни и тысячи крикливых птиц, нисколько не заботящихся о незапятнанности костюмов посетителей сада. Тут круглый бассейн из бетона, заросший лотосами, под листьями которых плавают рыбки. Тут мало тени и много солнца. И тут, поднятая на возвышение над садом, на мраморном, в серых лишаях троне, старчески откинувшись на его спинку, сидит мраморная королева Виктория. Пышные мраморные одежды со множеством складок, одутловатое, надменное, некрасивое лицо.

На этот каменный стул близ генерал-губернаторского дворца царственная старуха была посажена скульптором-ремесленником не зря. Ее именем шестьдесят с лишним лет, более полувека, управлялись заморские владения Ве-

ликобритании, к которым принадлежал и Цейлон. Шестьдесят лет — это смена нескольких поколений в человеческом обществе. За такой срок внуки становятся не только дедами, но и прадедами. А Александрина-Виктория, немка из Ганноверской династии, все сидела и сидела на английском троне, родила четверых сыновей и пять дочек, к сорокалетию своего пребывания в королевах приняла титул императрицы Индии; через десять лет после этого состоялось пышное празднование «золотого» ее королевского юбилея, а еще через десятилетие и «брильянтового». Она пересидела не один парламент, не одного премьер-министра, десятки, сотни всяческих крикунов верхней и нижней палат. Она, мелкая, жадная, сварливая, любила наедине с собой полюбоваться на себя в зеркало. О себе она говорила и писала только в третьем лицо: «Королева желает, чтобы было так-то и так-то», или: «Королева не желает, чтобы было так-то и так-то». Однажды она взбунтовалась против ограничений власти английских королей: «Королева не может и никогда не будет королевой в демократической монархии: пусть те, кто так радикально говорит и агитирует, ищут себе другую королеву». «Королева,— было заявлено в другой раз,— не потерпит, чтобы ей диктовали. Она не хочет быть и не будет машиной».

И нет, она, королева Виктория, не была ни машиной, ни пешкой в игре британских политиков и политиканов. Она вмешивалась в дела управления, она желала их знать, и если не вершить единовластно, самодержавно, как вершили в ту пору ее родственники в России, то уж по меньшей мере непременно участвовать в них.

Взор каменной дамы устремлен из-под приспущенных тяжелых век в сторону гавани, порта. Она смотрит туда, где сегодня стоят две или три пушки, из которых бьют салюты в тех случаях, когда Цейлон океанской дорогой посещают именитые гости. Во времена Виктории пушек здесь было несравнимо больше, потому что всего лишь за четыре года до ее рождения английским колонизаторам наконец-то удалось задушить последний очаг национальной независимости на Цейлоне — горное государство канди́йских королей, и пушки все еще были остро необходимы, чтобы гасить опасные огоньки, то там, то здесь раздуваемые на развалинах и пожарищах ветром свободы.

Не одних англичан, понятно, манил, притягивал к себе Цейлон.

Сказочный остров так улегся на мировых путях из Европы к тихоокеанским соблазнительным просторам, что, огибая южную оконечность Индии, его миновать просто нельзя. В этом месте Цейлон от Индии отделяется лишь узким Полкским проливом, через который природой перекинут Адамов мост — растянутая в цепочку вереница мелких островков. По Адамову мосту, от островка к островку, пробирались и пробираются с материка не только люди, но, говорят, даже и слоны, у которых почему-либо возникает надобность навестить Цейлон. Мореплаватели всех веков, а может быть, и тысячелетий, пускаясь на поиски обетованных стран, раньше или позже, но непременно попадали на остров, покрытый зелеными джунглями. Не говоря уж о купцах из стран Арабского Востока, сюда добирались, как доказано археологами, и древние греки и древние римляне. Плавать в далекие моря, достигать дальних стран люди, видимо, стали значительно раньше, чем ныне принято думать. Подтверждается это хотя бы теми интересными находками последних лет, из которых явствует, что Америку для Европы открыли задолго-задолго до Христофора Колумба древние скандинавы, мореходы-викинги.

Драгоценные камни и жемчуг, пряности и шелк, черное и розовое дерево, перламутр и шкурки экзотических птиц грузились в цейлонских бухтах на корабли с гребцами, прикованными к скамьям и веслам. Греки называли этот остров Тапробаной, что на не совсем ясно каком языке, как утверждают, означало «Страна (или берег) бронзовых пальм». Сами цейлонцы свой Цейлон называют Ланкой, именем, тоже толкуемым по-разному, но, каждый это видит, красивым: Ланка! А Цейлон — это только по-русски он Цейлон, после переделки на наш лад английского «Силон». Силон же, в свою очередь, как полагают, идет из очень далеких веков...

Однажды я видел в Коломбо спектакль по пьесе молодого цейлонского драматурга Генри Джаясены под названием «Куэнни». В основе сюжета пьесы лежит предание (или традиция), взятое из древних цейлонских хроник, начертанных еще не на бумаге, а на листьях пальмы пальмиры. Две тысячи пятьсот лет назад (с какого времени и ведут свою историю цейлонцы) к зеленым берегам Ланки подошли корабли индийского принца Виджайи. На острове, согласно традиции, обитали в ту пору не люди, а демоны и змеи (надо полагать, что так последующие

летописцы истолковали первоначальные записи пришельцев из Индии о встреченных здесь людях — лесных охотниках, у которых тотемами были изображения злых духов и змей). Семьсот воинов Виджайи разбрелись по острову, занятые его диковинами, а принцесса демонов Куэнни (в спектакле ее роль превосходно исполняет жена драматурга госпожа Джаясена, отнюдь не похожая на демона, а совсем напротив) своими волшебными средствами устроила так, что все воины уснули. Кроме принца. У родовитого гостя и у местной принцессы началась любовь. Они сошлись на своем высоком уровне, индийский принц стал цейлонским правителем. Но с ходом времени ему все чаще стало припоминаться, что в Индии он оставил жену и деток, его потянуло назад, на родину. Как же быть, если уже и на Цейлоне у него завелось двое ребятишек — сын и дочка? Пострадал, пострадал и отбыл восвояси. А Куэнни, забрав детей, ушла в джунгли,— и там якобы от брака ее детей, сына и дочери, на смену демонам и змеям пошли первые люди Цейлона, его аборигены, лесные люди — ведды, небольшое число которых живет в джунглях восточной части острова и по сей день.

История эта никак, конечно, не объясняет происхождение названия острова. Она просто показывает, сколь далеко в глубь веков заглядывают цейлонские хроники, из которых драматург почерпнул свой сюжет.

Но в хрониках можно прочесть и другое предание, в какой-то мере объясняющее происхождение названия острова. Не скажу точно, под водительством ли принца Виджайи или иного военачальника из Северной Индии, где и поныне здравствует многочисленный народ, у которого каждый человек, помимо других имен, непременно носит еще и имя Синга (льва), когда-то через Полкский пролив, может быть, по Адамову мосту, перебрались люди «львиного» народа, обосновались тут и назвали остров «Землей сингов» — Сингалой. Сингалу время постепенно превратило в Силон. А народ, на четыре пятых составляющий население острова, так и поныне называется сингалами.

Сложны, запутанны пути истории — за документальную точность только что сказанного трудно нести ответственность: дело все-таки, как утверждают помянутые хроники, было довольно давно, в VI веке до нашей эры. Передавалось это несколько сотен лет подряд из уст в уста, порой в не очень ясно слышавшие уши. А потом записывалось и переписывалось — на не больно-то

стойких материалах, вроде пальмовых листьев. А еще позже было сведено кем-то в священные книги, как в другой части земного шара сводились в Библию предания шумеров, вавилонян, иудеев, как слагались в героический эпос сказания об Одиссее, троянцах, аргонавтах. В тех книгах тоже присутствует правда, и великая правда. Но сколько ее и плод чего она — сухой записи фактов или прекрасного вымысла?

Несравнимо точнее то, что географическое положение острова и его природные богатства столетие за столетием привлекали к себе внимание любителей поживиться за счет других народов. Еще в самом начале XVI века до Цейлона добрались португальцы; они осели в Коломбо, возведя вокруг него, конечно, форты и укрепления, и принялись планомерно прибирать к рукам окрестные земли. В Гордон-гарден, в том сквере, где позже воссела на мраморный трон Виктория, лежит большая каменная глыба. Началось с этой глыбы с гербом португальских королей, из надписей под которым явствует, что установлена она тут в 1505 году как заявочный столб на владение новыми землями, а дошло до того, что в мае 1597 года Филипп Первый Португальский объявил, что от данного числа он — «King of Kotte».

Местечко Kotte, тогда, видимо, город, ныне то ли стало частью столицы Цейлона, то ли расположено где-то поблизости от нее.

Через сотню с лишним лет по соседству с португальцами высадились и голландцы. Наиболее мощную цитадель они возвели на крайнем севере острова, в Джафне, где и сейчас сохраняется их «Королевский дом», Кингз хауз.

Поначалу и те и другие действовали на пару, удвоенными усилиями, и с жестокостью изуверов-колонизаторов вполне дружно грабили коренное население прекрасной Ланки. Позже Голландия, новая восходящая морская держава, вышибла Португалию, которая как «владычица морей» уже неудержимо двигалась к упадку, и воцарилась на Цейлоне одна.

Что же и португальцев и голландцев так манило к себе на тропическом острове? Как древние греки с древними римлянами, они рвались к природным цейлонским богатствам. Но овладевали ими не путем торговли, обмена, как делали те, древние, а шествуя по острову с огнем и мечом. Они вырубали заросли черного, сандалового, тикового дерева; они гребли лопатами рубины, изумруды, сап-

фиры, топазы, аметисты, аквамарины, добываемые и ныне в горах Ратнапуры — «города драгоценных камней»; они наживались на корице и иных тропических пряностях. Они строили укрепления, дворцы, лабазы, магазины и тюрьмы. В непрерывных походах для «усмирения» цейлонцев они истребляли хозяев острова — сингалов; об этих зверских расправах повествуют сохранившиеся в храмах и музеях каменные плиты с высеченными в те времена рельефными изображениями кровавых побоищ, когда люди с мечами в руках, одетые в латы, в железные каски, избивали людей полуголых и безоружных. Вольных, приветливых, гостеприимных сингалов превращали в рабов. В Коломбо, в самом центре, близ парламента, есть место, которое так и называется «Slave island» — «Остров рабов».

Окруженное морем колонизаторского разгула, держалось лишь, не сдаваясь захватчикам, кандийское государство — в горах, в самом центре острова. Закрыв надежными воинскими заставами горные проходы, оно хранило свою независимость и при португальцах и при голландцах.

Рухнуло это последнее царство на Цейлоне с приходом на остров англичан.

Англичане появились здесь в конце восемнадцатого века. Они уже успели прибрать к рукам Индию, могущественные их флоты шарили вокруг в теплом Индийском океане. Одним солнечным февральским днем 1796 года на виду Коломбо (вот как сейчас там, на внешнем рейде, видимые мне с моего балкона, не вошедшие в порт грузовые пароходы разных стран) появились корабли под британским флагом, перестроили свой походный строй для боя и по фортам голландцев, по этой вот земле, где стоит ныне отель «Тапробана», расположены сенат и дворец генерал-губернатора и где сидит мраморная Виктория, ударили тяжелыми ядрами. Под гул канонады на цейлонскую землю ступили немало стран истоптавшие, прочные башмаки дельцов из Ост-Индской компании. Дальнобойные английские пушки и полновесные английские фунты стерлингов довольно быстро покончили с остатками голландского влияния.

Известно, что хрен редьки не слаще. Как правило, он еще горше ее. Цейлонцев сдавила тугая петля английского рабства. На острове то и дело вспыхивали пожарища народных восстаний. Но англичане давно привыкли к этому в других захваченных ими странах; у них уже был

изрядный опыт гашения таких пожаров: на огонь отвечать тройным огнем, на удар повстанческого ножа — ударом многопушечных батарей.

Кандийских властителей англичане взяли отнюдь не в честном бою, не в схватке грудь к груди, а пустив в дело свои излюбленные приемы обмана, подкупа, вербовки предателей. В 1815 году, когда народы Европы кончали с Наполеоном, англичане на Цейлоне делали свое дело, и последнее независимое государство Ланки пало, последнего местного короля уничтожили, дабы вокруг него не поднимались новые патриотические силы.

Королева Виктория расселась здесь, в этом экзотическом садике, как на своей потомственной земле, распустив по ней подолы старушечьих юбок, удобно положив руки на подлокотники кресла. Такой порядок, думалось в Лондоне, установлен уже навечно. Английская корона уходить из этих мест не имела никакого желания и никакого намерения.

4

Вышло так, что к вечеру второго же дня пребывания в Коломбо я получил приглашение на прием к премьер-министру цейлонского правительства, известной всему миру прогрессивной общественной и государственной деятельнице госпоже Сиримаво Бандаранаике.

Пришлось надеть невыносимые в тропиках темный костюм и галстук. От этого началась невообразимая припарка.

Резиденция Бандаранаике находилась на Галле роуд, многомильной улице, которая начиналась, по сути дела, возле нашей «Тапробаны» и тянулась вдоль океанского побережья до самой «Маунт Лавинии», превращаясь дальше в шоссе, идущее в Галле, город на самом юге острова. На этой улице, точнее, на Галле роуд, в зелени, за невысокой, по грудь человеку, каменной оградой, в глубине участка стоит каменное здание в два этажа. Перед ним раскидистое дерево, все усыпанное лиловыми электрическими лампочками. Нашу машину пропустили в ворота полицейские в защитных френчах, такого же цвета шортах и лихо заломленных мушкетерских шляпах. По хрустящим гравием дорожкам мы подъехали к входу в здание резиденции. По имени огромных деревьев перед зда-

нием, которые называются «Темпл триз» — «Храмовые деревья», и сама резиденция носит официальное название «Темпл триз».

Во дворе толпилось десятка два богатых машин; под навесом возле левого крыла здания стоял черный броневичок с пулеметами.

Прием был устроен в честь советских космонавтов Терешковой, Николаева и Быковского, совершавших в эти дни поездку по Цейлону. Они уже были там, в не слишком просторной, скромной гостиной, где собрались представители высших властей острова — министры, военачальники; были тут люди искусства, дипломаты и фоторепортеры. Я разговаривал с представительным сановником, который вместе с госпожой Бандаранаике побывал в Ленинграде, когда она приезжала в Советский Союз; сановник горячо рассказывал о том, что ему удалось повидать на берегах Невы.

— Это удивительно,— вновь поражался он,— как советские люди могли столь быстро и так основательно восстановить в Ленинграде разрушенное войной! Японцы совсем немного разбили своими бомбами на Цейлоне. А сколько наделали нам хлопот!

— Да, да,—сказала подошедшая женщина в сари, с приветливым, но изучающим взглядом. — Я тоже была поражена этим. Жаль, что наше пребывание в вашем замечательном городе было слишком кратким.

Только тут я узнал ее, очень похоже изображаемую на фотографиях. Это была сама премьер-министр госпожа Бандаранаике. Разговор завязывался интересный, но она, как хозяйка, не могла отдать ему много времени, она должна была не упускать из круга своего внимания всех гостей. Она переходила от группы к группе, держась очень просто, располагающе и вместе с тем с большим достоинством.

Я смотрел на эту женщину и думал о тех многотрудных, обычно мужских делах, которые легли на ее женские плечи. Не знаю, в этом ли здании произошла трагедия, о которой мир услышал в 1959 году,— расспрашивать было неудобно, но, во всяком случае, та трагедия была трагедией и этой женщины с доброй и умной улыбкой.

Великобритания, как известно, предоставила независимость Цейлону в 1948 году. Не потому совсем, что заботилась об интересах цейлонцев, об их национальном раскрепощении, об их свободном будущем. Совсем напротив.

Революционные шквалы после второй мировой войны были так грозны в бывших колониях Англии, что сохранить свое влияние в этих странах можно было, только решительно ослабив вожжи управления. 4 февраля 1948 года Цейлон получил независимость. Но корни английского влияния по-прежнему глубоко уходили в социальную почву острова. Английские администраторы передали штурвал управления в надежные руки верных им компрадоров — крупным плантаторам, мощным оптовикам, князьям католической церкви, чиновной элите, получившей образование в средних и высших школах Англии. Их усилия объединила за два года перед тем созданная партия крупной буржуазии ОНП, Объединенная национальная партия. Премьер-министром, министром обороны и иностранных дел Цейлона стал лидер этой партии. Потом из той же партии взошел на премьер-министерское место и другой деятель ОНП и тоже повел дело так, что Цейлон лишь формально считался независимым от Англии. В превосходной бухте восточного побережья, в Тринкомали, как и прежде, дымили английские военные корабли, на скрытых в пальмах аэродромах Катунаяке и недалеко от южного Галле по-прежнему базировались воздушные английские эскадрильи. Недалек был сладостный час, когда Цейлон превратился бы в нечто подобное «второму Сингапуру», а Коломбо — в какой-нибудь «новый Гонконг».

Но в шахматной игре странами нельзя забывать о народах этих стран, нельзя делать ставку только на правителей и управителей. В ходе парламентских выборов 1956 года народ острова, как мы знаем, смел английских прислужников, отдав большинство голосов за кандидатов Цейлонской партии свободы — Шри Ланка Фридом парти. Было создано новое правительство во главе с лидером этой партии Соломоном Бандаранаике. Настали иные времена в жизни Цейлона. Уже никто тут не озирался на Лондон во внешней политике острова, уже никто не блюл интересы английских капиталистов. С английскими базами на Цейлоне было покончено: ушли крейсеры и эсминцы, снялись и отправились восвояси бомбардировщики и истребители. Всячески создавались предпочтительные условия для развития национальной экономики.

Цейлон уходил, уходил, уходил из рук Великобритании. В борьбе за национальную независимость, за национальный расцвет страны народ все теснее объединялся

вокруг Соломона Бандаранаике, поддерживая, одобряя политику его правительства

За последние годы мы получили множество примеров того, как империалисты пытаются решать проблему сохранения своих позиций в уходящих из-под их влияния странах. За несколько месяцев до первой моей поездки на Цейлон, будучи в Индии, я рассматривал в американском журнале «Тайм» снятые с экрана телевизора в одном из арабских государств жуткие снимки: убитый премьер и его приближенные, разбросанные по комнате, их отрубленные головы, которые какой-то тип демонстрирует телезрителям, и другие, как сказано в тексте, «улыбки телевидения» этой страны. А еще раньше был убит Патрис Лумумба, который успешно вел новое Конго по пути национального прогресса. Известные приемы: выстрел в главу правительства, тайно подготовленный путч — и через полчаса после убийства одного премьера по радио выступает уже другой.

В Шотландии, в кораблестроительном Глазго, я смотрел как-то грандиозный английский фильм «Лоуренс Аравийский». Ничего не скажешь, английские постановщики оказались большими патриотами: хитрый разведчик, крупнейший политический интриган, ловко натравливавший одни арабские племена на другие, чтобы Англия прибирала их по частям в руки, полковник Лоуренс был в цветном, широкоэкранном, отлично поставленном фильме превращен в радетеля и благодетеля народов Арабского Востока. Он даже ронял слезы из своих голубых печальных глаз в горячий аравийский песок, когда с плеч летели головы неугодных Англии людей.

Кто по этому поводу и где ронял лицемерные слезы, не знаю, но жарким сентябрьским днем 1959 года на прием к Соломону Бандаранаике пришли буддийские монахи из монастыря Келания, один из них выпростал из-под желтых священных одежд пистолет крупного калибра и с полдюжины раз нажал на гашетку. В книге «The Story of Ceylon», изданной в Лондоне, автор E. F. C. Ludowyk бесстрастно и даже любуясь лихо построенной фразой написал, что убийца-де «опорожнил револьвер на весь диапазон в премьер-министра». «Опорожнил револьвер!» — этим уже немало сказано.

Но тот, кто направлял руку монаха, на этот раз не получил желаемого. Соломон Бандаранаике к утру следующего дня умер — это неотразимая правда. Голоса же

избирателей по-прежнему остались за людьми, верными национальному прогрессу. Дело Соломона Бандаранаике по воле прогрессивных сил вскоре пришла продолжать вдова убитого премьера госпожа Сиримаво.

Не легка ее жизнь, нет. И не напрасно стоят броневички с готовыми к стрельбе пулеметами во дворе резиденции под «Храмовыми деревьями»: раскрыт и сорван уже не один заговор против правительства госпожи Сиримаво.

Много делает ее правительство для страны, для народа. Налажено снабжение населения рисом по льготным ценам. Прекращен импорт товаров потребления, чтобы развивалась своя промышленность, чтобы дать всем работу. Началось строительство различных государственных предприятий, которые бы смогли обеспечить остров многим необходимым, доныне неизменно ввозимым извне, главным образом из Англии, из США. Готовится серьезнейшее мероприятие — национализация торговли нефтепродуктами, с первого января заправочные бензоколонки из рук компаний «ЭССО», «Шелл», «Калтекс» и других должны перейти к государству, что принесет огромные средства на нужды острова.

Могут ли мириться со всем этим империалистический мир и те, кто ему служит? С пистолетом так, как хотелось бы, не вышло. В ход пущены меры экономического подрыва и давления.

Читаем в газетах, оппозиционных правительству, заунывные статьи и статейки о том, что приближающееся рождество — «кристмас» — будет в нынешнем году, как никогда, безрадостным. Почему? Потому что нет иностранных товаров в магазинах, и в первую очередь товаров английских. А разве можно хоть день прожить без товаров из Англии? Компрадоры, верные своим хозяевам, изо дня в день внушают цейлонцам, что настоящий товар — это иностранный товар. Газеты пестрят такими вот заметочками, как эта из «Таймс оф Цейлон»:

«В магазине «Тара» всегда толпа — мужчины и женщины; больше женщин, которым не жалко потратить время, лишь бы выбрать себе пару сандалий по сердцу. В этот магазин не приходят «посмотреть», сюда приходят купить, что является подлинным показателем качества товаров. Ведь никогда не жалко заплатить немножко дороже за пару сандалий, которые будут дольше носиться, доставлять больше удовольствия за деньги,

которых они стоят. Одна из причин, почему обувь в магазине «Тара» так хороша, заключается в том, что все, из чего она выделывается, импортное — кожа, каблук, пряжки, украшения и все другие аксессуары; даже специалист, у которого учились сапожники «Тара», получил образование за границей; рисунки всех новых моделей обуви магазин получает из других стран».

В таких вот сложных, сложнейших условиях несет на своих плечах исполнительную власть в молодом, идущем по пути национального развития государстве эта женщина, у которой после гибели мужа остались не только заботы, завещанные мужем по линии государственной, но и самые что ни на есть домашние: у нее трое детей, две девочки и мальчик, они быстро растут, их нельзя оставлять без родительского глаза. Одна девочка уже в том возрасте, когда выходят замуж.

Забегая вперед, расскажу о том, как я еще раз встретился с госпожой Бандаранаике. Это было уже в другой обстановке. Мы сидели за круглым столиком в одной из комнат резиденции «Темпл триз» и пили чай, крепкий, пахучий и бодрящий чай Цейлона.

— Это английский обычай,— сказала хозяйка, придвигая ко мне молочник,— пить чай с молоком. Его, этот обычай, принесли в Индию и на Цейлон англичане.

— А нет ли тут обратного? Может быть, из Индии и с Цейлона обычай этот перенесен в Англию?

— Нет-нет. Почему вы так думаете?

— Да потому, что у нас в Советском Союзе тоже есть любители чая с молоком, хотя англичане в их края никогда не добирались. Целые народы, целые республики пьют чай с молоком.

— Это где же, какие республики?

— Ну, например, Бурятская. За Байкалом. Далеко в Сибири.

— У вас такая огромная страна, а я побыла в ней очень мало. Правда, встречали так радушно, гостеприимно, что забыть об этом невозможно.

Госпожа Бандаранаике рассказывает о Цейлоне, его истории, экономике, советует, куда мне непременно надо съездить.

— История наша связана с несколькими замечательными местами на острове. Анурадхапура — это древние времена, древние царства. Сигирия, где вы увидите

знаменитые пещерные фрески пятого века. Но туда путь труден. Много сотен ступеней на скалу, высеченных в камне, вверх, вверх. Не каждый способен добраться, но кто доберется, не пожалеет о затраченных силах. И конечно же надо побывать в Полоннаруве. Затем в Канди. А впрочем, смотрите и решайте сами, все дороги для вас открыты. Милости просим.

По временам госпожа Бандаранаике то подпирала щеку своей полной смуглой рукой, и тогда это вновь была женщина, обремененная большими и трудными заботами, вдова трагически погибшего мужа; то выпрямлялась в кресле с удобной покойной спинкой, вокруг ее губ обозначались жесткие волевые линии, и я видел государственную деятельницу, участницу крупных международных встреч и переговоров, инициатора серьезнейших экономических и социальных преобразований в стране, руководство которой ей доверили. Все это, несомненно, очень и очень нелегко сочетать — обдумывание проблем развития своей отечественной металлургии с воспитанием собственных детей, оставшихся без отца, национализацию торговли нефтепродуктами с решением вопроса, быть или не быть буддизму государственной религией на Цейлоне, организацию рыболовства в океане с необходимостью зорко следить за тем, что замышляют элементы, враждебные курсу национального прогресса: совсем недавно был раскрыт очередной крупный антиправительственный заговор. Часто она не чувствует должной поддержки в своем правительстве, далеко не все члены кабинета ее единомышленники; есть там разные. Одних надо убедить, других разоружить силой логики, с третьими постараться не вступать в открытый конфликт до времени, хотя иной раз и хотелось бы высказать таким всю правду о них прямо в лицо. То, что называют буржуазной демократией, — коварнейшая демократия, от существа народовластия в ней не осталось ничего, в ней все устроено так, чтобы любые правительства, как только они становятся неугодными денежным мешкам, тотчас бы летели и заменялись другими, угодными. Все будет благовидно, все будет благообразно и вместе с тем беспощадно жестоко.

У правительства Сиримаво Бандаранаике нет своей печати, газет. В руках у него только радио. Это, конечно, тоже дело немалое. Но газеты — великая сила. Они, оплаченные англичанами и американцами, подтачивают,

компрометируют начинания правительства; они позволяют себе оскорбительные выходки против самой премьер-министра. Это верные, злобные псы колонизаторов, империалистов.

Трудна, необычайно трудна роль патриота, человека, хоть в какой-то мере заботящегося о народном благе, но вставшего к штурвалу государственной власти в условиях буржуазной демократии. Если он и выстоит перед натиском тайных и явных интриг, то пасть может и под пулей нанятого бандита и под тяжестью черных шаров при голосовании подкупленными голосовальщиками. А если он сильней своих противников, если это могучий человек, способный и пистолет от себя отвести и в зубчатки беспощадных машин голосования не попасть, если он преодолеет все это, то все равно идти по избранной дороге будет со связанными руками и с гирями на ногах.

Нельзя было не почувствовать большого уважения к этой сингальской женщине, поставившей перед собой светлую цель национального расцвета родной земли, родного народа.

5

Мы знакомимся с Коломбо. Побывали в двух-трех музеях. Вышли на предлиннейший бетонный мол, которым гавань ограждена от океана. У цейлонцев существует поверье, будто бы океан терпеть не может женщин, и стоит, дескать, женщине появиться на берегу, он начинает рычать и злиться.

Посмеиваясь над легендой, мы шли по высокой дамбе, в конце которой начинался сам мол. Дамба над уровнем воды поднята метров на шесть, не менее. Внизу — нагромождение каменных глыб. Зелено-синяя вода длинными языками, медленно наплывая, как бы влизывается в щели меж этими камнями. Батюшка океан спокоен, плавен, он широко и глубоко дышит, от него пахнет йодом и еще чем-то свежим, бодрящим, от чего и тебе дышится легко и радостно. Светит вовсю солнце. В небе ни облачка, ни пылинки. И вдруг, когда мы повернулись к океану спиной и принялись разглядывать гавань с кораблями, за нашими спинами, еще над нами метра на два, на три, именно только в этом месте, где

мы стояли, кипя, вскинулась длинная крутая волна и так грохнула на нас пудами воды, что мы еле удержались на ногах. Не дожидаясь второй атаки «батюшки», до питки мокрые, все бросились бежать. Часовой, стоявший у ворот на мол, видя происшедшее с нами, развел руками и показал два пальца: ничего не поделаешь, говорил он этим, океан и одной бы женщины не стерпел, а среди вас их целых две.

На молу, кстати, как всюду в мире, где есть вода и берег, сидят рыболовы и закидывают удочки. В отличие от наших подмосковных рыболовов, которые из-за пары ершей или окунька длиной со спичку готовы примерзать, если дело зимой, ко льду или, если лето, быть сожранными комарами,— да, в отличие от них у цейлонских удильщиков клюют здоровенные рыбищи, иные сантиметров в пятьдесят—шестьдесят длиной. Вытащенные из воды на мол, они едва успевают разок-другой трепыхнуться, а затем свирепое солнце их тут же превращает на раскаленных камнях в воблу.

В порту, огражденном молами, почему-то очень тихо, краны не гудят моторами, не лязгают зубчатыми колесами ледебки, не кричат буксиры. И очень мало кто входит и выходит через ворота таможни, от которых начинается этот мол. Возле ворот, что-то тщательно прожевывая, отчего быстро и мелко движется его борода, стоит огромный дымчато-серый козлище. У него гордый горбоносый профиль и небрежно откинутые назад длинные рога. За ним интересно понаблюдать и послушать, что рассказывают о нем местные жители. Козел в своем поведении до странности мудр: нетороплив, философически спокоен, созерцателен. Грузчики делят с ним ленч, рассаживаясь в перерыве на обед вдоль ограды порта; козел не отказывается от предложенного, но и не набрасывается на что попало.

Каковы анкетные данные этого постоянного стража таможенных ворот, пребывающего возле них явно на общественных началах? Давно ли он контролирует вход и выход на территорию и с территории порта Коломбо? Один из грузчиков сказал: «Когда я поступил сюда работать, он уже был здесь. А я пришел в порт лет пять назад». Другой прикинул в уме: «Я в порту одиннадцатый год и не помню, чтобы он был тут, когда меня принимали». В конце концов выяснилось, что семь-восемь лет назад из Индии на Цейлон привезли стадо тонко-

шерстых, породистых коз. Были среди них и козлята. Один из них отбился от стада, затерялся среди портовых построек и штабелей с товарами да так и остался тут на долгие годы, помаленечку рос, из козленка превратился вот в этого самого козла. Докеры его подкармливали, привыкали обоюдосторонне: они к нему, он к ним. Матросы с кораблей из Европы и Америки научили его потягивать виски и джин. Захмелевший козел поначалу буйствует, принимает боевые стойки, грозит рогами, потом укладывается возле заросшей бурьяном земляной стены, за которой спрятаны пушки для салютов, или прямо у входа в таможню и мирно спит. Его знают моряки всех кораблей, какие только заходят в Коломбо.

— А как зовут козла?

Начинается длительное совещание. Минут с десяток люди дискутируют, спорят, соглашаются друг с другом и не соглашаются. Наконец от имени всех один объявляет:

— Козел.

Этот козел, да драные, тощие коты в отеле «Тапробана», дико завывающие по ночам на крыше, да галки, норовящие стащить что-нибудь из комнаты,— пока и весь животный мир, какой я вижу в Коломбо, хотя в книгах о Цейлоне сказано, что остров кишмя кишит зверьем. Ну, правда, Мариам Салганик каждое утро вычитывает для меня из газет что-нибудь подобное этому: «В расщелину прибрежных скал свалился слон, плавал там три дня; как ни старались, вытащить не удалось, бедняга погиб». Или: «В пригородном автобусе (такого-то маршрута) на ходу из-под скамьи выполз четырехметровый удав. Пассажиры в панике повыпрыгивали из окон».

Чтобы в какой-то мере удовлетворить любопытство, пришлось отправиться в зоологический сад Коломбо. При входе в него установлена предупредительная надпись: «Если ты будешь вести себя здесь недостойно, будешь ломать растения и дразнить зверей, пусть бог напустит тебе полные штаны муравьев». Это куда более серьезная угроза, чем тупое и злобное: «Штраф три рубля».

С первого шага тебя встречают адскими криками, видимо, большие склочники — попугаи ара, облепившие столбы и коряги, вкопанные для них почти у са-

мого входа. Попугаев и дальше множество, они всех цветов, всех размеров, все орут на неведомых языках, вплоть до пали и санскрита. А за попугайниками начинается лабиринт дорожек от вольера к вольеру; все заполнено зверьем, все расположено на открытом воздухе, все под густой, цветущей зеленью. На дорожках встретишь вдруг почти черных слонов-великанов, они метут метелками сор. На турниках крутят «солнце» большие ловкие обезьяны; на весь парк леденящим душу воплем воет птица тукан, пожалуй, вся состоящая только из колуноподобного оранжевого носа; в кустах ютятся крохотные, на спичечных ножках, антилопы-мыши; спят в тине четырехметровые крокодилы; огромнейший носорог, о котором у Брема сказано, что он необыкновенно свиреп, дает себя почесать возле этого грозного рога на носу, щурит маленькие глазки и мурлычет от удовольствия. На ветках, головами вниз и завернувшись в плащи черных крыльев, висят темно-рыжие летающие лисицы. Их глаза блестят, подобно бусинам. Разомлевшие от жары, бесстыдно развалясь в клетках, совсем не по-царски храпят после дневной жратвы львы и тигры...

Если бы я взялся описывать подряд все, что можно увидеть в зоопарке Коломбо, это и было бы вторым вариантом описания животного царства, которое, слава богу, уже давно выполнено талантливым пером Брема. Не слишком преувеличу, если скажу, что объекты всех десяти томов этого отличного сочинения собраны и обитают в зоопарке столицы Цейлона — Коломбо. Едва заметно раскачиваясь и стараясь загипнотизировать тебя, стоят в террариумах этакими смертоносными боевыми пружинами кобры, плавают в аквариумах рыбы всех форм и цветов, порхают птички, подобные бабочкам. Здесь для меня материализовался рассказ, который все мы слышим в детстве, о том, как шел путник лесом, как присел отдохнуть на бревно возле дороги, а бревно вдруг зашевелилось и оказалось удавом. Рыжих удавов метра по четыре длиной мы достаточно насмотрелись и в цирках, и на экранах кино, и на картинках. Но вот как этот, землисто-серый, в лишаях, и в самом деле напоминающий ствол упавшего дерева толщиной сантиметров в двадцать пять — тридцать, а весом ни много ни мало — в двенадцать пу-

дов,— таких видеть еще не приходилось. Было это нечто поистине жуткое.

Вот, значит, что можно встретить на пути, отправившись в цейлонские джунгли, в дикие, необжитые места!

После посещения зоопарка кое-что из животного царства стало встречаться время от времени и в самом Коломбо. Мы сидели на верхней веранде дома одной сингальской семьи. Вечерело. Небо было еще светлое, опаловое, а в улицах под деревьями собирались синие тени. Над нашими головами в том опаловом небе стали плыть как-то все в одном направлении черные силуэты больших птиц размером с хорошего ястреба. Но крылья, если присмотреться внимательней, у этих птиц были странноватые, смахивающие на крылья летучих мышей.

— Да,— сказала хозяйка, разливая в чашки чай,— это и есть летучие, но не мыши, а собаки. Вы их скоро сможете очень хорошо рассмотреть. По мере того как будут сгущаться сумерки, они станут опускаться все ниже.

— А нельзя ли нам пойти в дом, в комнаты? — в шутку сказал я.

Хозяйка рассмеялась.

— Нет необходимости. Эти собачки — вегетарианки.

Она была права: через четверть часа «собачки» летали уже над самыми нашими головами, и всем нам отлично были видны их морды, сходные с мордами летучих лисиц из зоопарка.

— Днем они спят, подвесившись к ветвям тех деревьев,— хозяйка указала на темную кущу вдали,— а вечером их куда-то влечет, и они в поисках приключений всегда отправляются одной и той же дорогой над нашим домом.

Потом в ограде Исторического музея мы видели великанскую черепаху, размером раза в два большую, чем детский педальный автомобиль. Медленно, едва шевеля лапами, черепаха двигалась по газону — этакий крутой бугор под несокрушимым панцирем. Глазки на поленоподобной голове тускло смотрели в бесконечность, им все было безразлично.

Но, как выяснилось в дальнейшем, это были мелкие, мельчайшие штришки к той картине фауны Цейлона, которую мне предстояло еще увидеть. Настоящие звери ждали меня в джунглях.

ЕДЕМ В КАНДИ

1

В сером фургончике-«Москвиче», за рулем которого сам его хозяин Владимир Павлович Байдаков, покидаем провеянную влажными теплыми ветрами зеленую цейлонскую столицу. Как принято во всех странах, где столетиями владычествовали англичане, резво катим левой стороной узкой, с крутыми поворотами асфальтовой дороги.

Катим на северо-восток острова, и не просто катим, а делаем это с предельной скоростью. Навстречу нам на таких же бодрых скоростях несутся драные, облезлые, измятые лимузины всех марок мира, скрипучие грузовики и перевязанные проволокой мотоциклы. Куда бы и кто бы ни ехал на острове, все летят почему-то как на пожар. Сидишь, мотаешься из стороны в сторону на крутостях и обгонах, и тебя берет удивление: почему ты все еще цел, какие хранят тебя боги?

Последствия нетерпеливой, едва ли не конвульсивной езды видны почти в каждом селении, где есть мастерские жестянщиков и медников. Возле них густо раскиданы искореженные автомобильные кузова. Для мастерских это неплохой бизнес. Побитые, вышедшие из строя не только из-за аварий, но и по глубокой дряхлости разномастные автомобили непременно и притом тщательно ремонтируются, потому что ввоз их на остров в числе других иностранных товаров тоже прекращен по валютным соображениям.

Сразу же за окраинами Коломбо дорога наша превращается в зеленый коридор среди кокосовых пальм с искривленными змеисто-тонкими стволами и бананов с яркими, сочными листьями, посеченными тропическими ливнями, когда с неба стоймя в землю могуче бьют проволочно-жесткие струи воды.

Я сказал выше: «почти в каждом селении». Это не точно, потому что перерывов меж селениями, а следовательно, и границ, отделяющих одно селение от другого, почти нет. На Цейлоне, говоря языком географов, в большинстве «ленточное» расселение. Это такое расселение, когда на протяжении дороги строения многими десятками километров, или, по-здешнему, миль, идут

в одну линию справа и слева от обочин и ни на шаг не отступают от них дальше, потому что дальше или плантации, или просто джунгли.

Картографы с наивозможнейшей точностью подсчитали, что длина Цейлона — от северной его оконечности на мысу Педро до южной точки на мысу Дондра — всего-навсего 432 километра, а ширина — от Коломбо на западе до мыса Сагаманканде на востоке — 224 километра. По нашим масштабам это площадь одной-двух областей средних размеров. Но на такой площади ухитрились разместиться и непролазные джунгли с прегустейшим звериным населением, и непроходимые болота с двенадцатипудовыми питонами и крокодилами, и горы до двух и более километров высотой, и зоны тропической влажности, и зоны долговременных засух. И если, скажем, в нынешней столице удивительного острова, в Коломбо, всегда тропически жарко, то в одной из древних ее столиц, в Канди, по вечерам в богатых домах растапливают камины или сидят, накинув на плечи толстые шерстяные пледы.

Владимир Павлович Байдаков, знаток географии, истории и современной жизни Цейлона, везет нас именно туда, в одну из древних столиц острова, в город, который спрятался в каменной чаше, окруженной горами.

Дорога длинная, сотни полторы километров. Летим по ней, и кажется, что по сторонам нескончаемый ботанический сад, который одновременно и зоологический. В озерках не то стоят, не то лежат буйволы: над водой, плоско, только черпеют их рогатые головы. На иных из этих аспидных лбов, меж рогами, упираясь одной ножкой-спицей,— недвижные изящные белые столбики. Это цапли, которых вокруг здешних озер так же много, как чаек на рынках Скандинавии. Время полуденное, поэтому мы то и дело проносимся мимо слонов, которые, наломав аппетитных зеленых стеблей для ленча, степенно несут свою закуску уложенной ворохом на клыках. Иные из этих могучих тружеников, нередко работающих вместе с грузовиками, уже плещутся в речках, заваляcь на бок и выдувая на себя хлесткие струи воды.

Озер на острове предостаточно, и речек, рек тоже много. При длине острова, едва превышающей четыре сотни километров, и при вдвое меньшей ширине его главной реке Махавели-Ганга удается прозмеиться

по нему до восточного побережья 314 километров. Махавели-Ганга берет начало как раз там, куда мы едем,— в горах округа Канди. Есть большие реки и еще: Аруви-Ару, Валаве-Ганга, Келани-Ганга. Но они значительно короче Махавели-Ганга. Говорят и особенно пишут, что в цейлонских реках уймища крокодилов. В джунглях бродят дикие слоны, их насчитывают до полутора тысяч штук. На некоторых дорогах даже поставлены знаки, предупреждающие: «Осторожно, слоны!» Слонам, оказывается, может не понравиться шум мотора или свет фар. Тогда беда — выйдут из зарослей, остановят, опрокинут. В цейлонских газетах прошумел такой случай. Поездом задавило слоненка (был помещен и снимок этого события: слоненок размером с хорошего буйвола лежал перед паровозом на рельсах). Обозленные взрослые слоны установили блокаду поезда, изрядно перепугав пассажиров в маленьких вагончиках, типа тех, что у нас курсируют на детских железных дорогах.

Но мы пока что видим только мирных рабочих слонов; чтобы попасть к другим зверям и гадам, надо сойти с дороги; ходить же туда не советуют, и не столько из-за зверей, сколько из-за ришты, волосообразных червей, которые глубоко впиваются в босые ноги, и вытаскивать их — бесконечно долгая, мучительная операция. Надо или резать, но тут это неимоверно дорого, или долгими днями наматывать на палочку, пока не извлечется весь червь.

Основные богатства острова складываются сегодня из трех наиболее доходных сельскохозяйственных культур. Тут, правда, выращивают еще и рис и ананасы, которые видишь на любом пустыре, на любой мусорной куче, и различные овощные культуры, и те пряности, из-за которых лезли сюда португальцы и голландцы: коричное дерево, скажем. Но главные из главных — это кокосовая пальма, каучуконос гевея и чай, прославленный на весь мир цейлонский чай.

Не знаю, когда и как здесь появилась гевея. Но кокосовая пальма — это, видимо, исконная культура Цейлона. Недаром же древние греки говорили: «Тапробана» — «Берег бронзовых пальм». А что касается чая, то он на Цейлоне сравнительно молод. До последней четверти прошлого века здесь культивировали кофе. В 80-х годах на кофейные плантации навалились неизлечимые болезни, и с кофе было почти покончено. Тогда-то на смену ему и пришло культивирование чая.

Чай возделывается в горах; у каучуконосов тоже есть свои излюбленные районы; а здесь — здесь в изобилии кокосовые пальмы — кормилицы и поилицы цейлонцев. Кокосовая пальма, или ее орех,— это сырье для кондитерской промышленности; она и ценное масло; она же и волокно для циновок, одежды, веревок, твердый материал для выделки пуговиц, чашек; пальма — очень прочная древесина; пальмовый лист — это кровля; кокосовая вода лечебна; так называемое кокосовое молоко питательно; из сока цветов кокосовой пальмы делают хмельное питье — тодди и еще более крепкий после перегонки тодди — арак. Всякий сколько-нибудь солидный служащий в Коломбо, всякий сколько-нибудь удачливый делец то дальше, то ближе от столицы, но непременно имеет плантацию или на худой конец плантацийку кокосовых пальм.

Близ шоссе Коломбо — Канди, среди одного из крупных плантационных массивов кокосовых пальм,— могила Соломона Бандаранаике. Премьера похоронили на его собственной земле, под собственными пальмами. Долгий, красивый подход к пяти гранитным колоннам, у подножий которых гранитная плита, а на той плите еще одна каменная глыба. Все обдумано, все что-нибудь да символизирует собой. Плита изображает жизнь, некогда ровную, спокойную, а глыба на ней — жизнь, уже вздыбленную, взметенную деяниями того, кто похоронен под этим камнем. Пять же колонн над могилой — пять принципов — и ви́дения мира и учения Будды. Вокруг площади, занятой величественным погребением, с наступлением сумерек зажигаются фонари, и свет их, непривычный для тропического леса, хрустально взблескивает на влажных листьях окрестных зарослей.

В одном из селений вдоль дороги протянулся ряд торговых лотков, покрытых пальмовыми листьями. С этих лотков торгуют невызревшими кокосами, в которых еще нет ореха, но есть так необходимая в пути прохладная вода. Торгуют водой в орехах темнокожие, белозубые девушки. О них немало наговорено в путевой литературе об «экзотических» странах: и то, что это отборные красавицы острова, и что путники, пораженные их красотой, швыряют к их ногам доллары и фунты стерлингов, и что тут можно выбрать себе жену, которой позавидует все мужское население земного шара поголовно.

Девушки, верно, приветливые, что их отличает, скажем, от наших, торгующих газированной водой или

пивом, но в остальном — да, это они, обыкновенные продавщицы прохладительного, и все поэтические легенды, сооруженные вокруг них,— не что иное, как прозаический рекламный трюк хозяев кокосовых плантаций.

Зеленый кокосовый орех ловкие девичьи руки обтесывают тяжелым ножом так, что образуется полный воды естественный кувшин, и вы, стараясь не облиться, пьете из него воду, действительно прохладную и в самом деле отлично освежающую. Выпив, бросаете пустой орех наземь, где уже громоздятся сложенные из них конусы, подобные верещагинскому апофеозу войны.

Петляя, дорога идет все время в гору. Пальм постепенно становится меньше. На смену им возникают заросли деревьев, обвитых лианами. Что это за деревья, не знает даже Владимир Павлович Байдаков. Он знает зато дерево джек-фрут, которое обычно путают с хлебным деревом; у дерева джек-фрут прямо на стволе, подобно стволу старого ясеня, на тонкой пуповинке, вроде тех, на каких держатся наши арбузы, висят здоровенные тыквищи, зеленые и с виду шероховатые. Их можно есть, поэтому в цейлонском лесу с голоду не пропадешь. Скорей тебя съедят его рыкающие по ночам обитатели.

Видим наконец и чайные плантации, которыми заняты склоны гор вокруг Канди.

В Канди въезжаем среди дня. Город небольшой, тысяч на шестьдесят жителей, веселый, уютный и, само собой, зеленый. В центре его озеро с островками, обсаженное думаю что ивами; они уже очень стары. Близ озера — древний буддийский храм Далада Малигава, в котором хранится одна из главных буддийских святынь Цейлона — зуб Будды. Он спрятан в хранилищах из серебра и золота, и нам его не покажут. Надо или попасть на праздник перахера, когда устраиваются ночные шествия слонов, с факелами, с огнями, или быть очень знатным чужестранцем, чтобы увидеть эту реликвию. Английской королеве Елизавете Второй, приезжавшей несколько лет назад на Цейлон, зуб Будды, как утверждают, показывали в будний день.

В годы второй мировой войны Канди был еще известен тем, что здесь со всеми своими учреждениями располагался штаб вооруженных сил союзников, действовавших против японцев в странах Юго-Восточной Азии.

На перекрестке улиц Владимир Павлович Байдаков прямо из машины перекинулся парой слов с молодым

рыжим малым, стоявшим на тротуаре возле распахнутых дверей какого-то заведения.

— Мистер Ллуэллин, — пояснил Байдаков, когда машина тронулась. — Представитель так называемого «Британского совета», точнее — отделения этого «совета» в Канди. Приглашает заглянуть к нему в оффис.

Обосновавшись в хорошей, удобной гостинице «Отель королевы», мы решили воспользоваться приглашением мистера Ллуэллина. Оффис отделения «Британского совета» расположен на одной из самых людных улиц Канди, в одном из лучших зданий. Под потолками его непрерывно крутятся лопасти фенов, создавая прохладу. За десятками столов люди читают, делают выписки из книг. Библиотекарша то и дело ходит от полок к столам, снимая и подавая по просьбам посетителей все новые и новые книги.

Мистер Ллуэллин, видя наш интерес к его заведению, доволен. Заведение пропагандирует родную Ллуэллинову Великобританию. Через библиотеку, через лекции, кинофильмы оно внушает посетителям-цейлонцам, что, раздавив полторы сотни лет назад кандийское государство и посрубав головы его последним королям, Великобритания принесла сюда прогресс и процветание; что английские короли несравнимо лучше каких-то кандийских; что Англия — это страна — радетельница за другие народы, что это самая просвещенная и демократическая страна, что это страна всего самого лучшего в мире и порывать с нею нельзя, даже получив независимость.

Кроме художественной литературы, подобранной соответствующим образом, в оффисе мистера Ллуэллина много учебников, необходимых молодым кандийцам для подготовки в учебные заведения. Хочешь не хочешь, придешь к голубоглазому, приветливому, рыжему тридцатидвухлетнему уэльсцу.

Да, он родился в Уэльсе, и мы вместе вспоминаем Кардифф, морские заливы и старые замки Уэльса — родные места мистера Ллуэллина. Да, ему тридцать два года, и четыре из них он уже провел на Цейлоне, в этом старинном городке. Нет, он не женат — в Канди красивые молодые женщины. Нет, он занят не только здесь, в оффисе,— он преподает в университете. Что? Историю Великобритании и Европы.

— Как известно, Советский Союз на добрую треть расположен в Европе. Значит, вы и нашу историю преподаете?

— О нет! Советского Союза в программе моих лекций нет. Я его не упоминаю.

— Но какая же тогда это история Европы?

Мистер Ллуэллин солнечно улыбается, разводит руками; голубые глаза его полны доброжелательности. Та идеология и тот бизнес, которым он служит, складывались столетиями, они не подвержены изменениям от капризных дуновений дипломатических ветерков. Он знает, дипломатия остается дипломатией, а идеология идеологией. Дипломаты могут хоть обниматься, пить на брудершафт, провозглашать здравицы Советскому Союзу. А он, мистер Ллуэллин, будет воспевать только свою Великобританию. В курсе лекций по истории Европы, пока он их читает, никогда не будет места Советскому Союзу. Международная политика, газетная шумиха — это одно. А идеология — другое, очень другое. Этому другому хозяева Ллуэллина никогда не дадут подтаять от искусственного тепла сентиментальничающих политиков; если ллуэллины расчувствуются от дипломатических потеплений и начнут хлюпать носами, их просто уволят и найдут других, покрепче.

Этот, который сейчас перед нами, достаточно крепок.

— А что же, дорогой друг, на ваших полках нет советских авторов, из книг которых ваши читатели хоть немного, но узнавали бы о нашей жизни?

— А вы устройте здесь такой же оффис и держите в нем свои книги. — Мистер Ллуэ́ллин готов нас обнять, так он добр, щедр сердцем. — Ведь вы же стремитесь к соревнованию двух систем. Вот и соревнуйтесь с нами. Зачем же мы-то будем вам в этом помогать?

У него профессиональная, отлично натренированная память. С одного раза он запомнил наши фамилии и вот уже час, как не переврал ни буквы. Только, может быть, несколько более, чем надо, отчетливо чеканит: «Мистер Байдаков», «Миссис Салганик», «Мистер Котчетов».

Он провожает нас до гостиницы. Здоровается с каждым третьим встречным. Да, треть города у него знакомые. С одним он выпьет пива, с другим сыграет в шахматы, третьему выпишет необходимое лекарство из Лондона, четвертому принесет домой книжку о шумном деле Кристины Килер, пятому расскажет смешной свеженький

анекдотец... Все его знают, со всеми он хорош, все так или иначе, вольно или невольно, помогают ему в его хлопотливой работе.

— А когда же вы вернетесь домой, в Уэльс, мистер Ллуэллин?

— Об этом я пока не думал. Мне здесь неплохо.

2

Кто бы и зачем бы ни приехал в Канди, непременно отправится в его знаменитый ботанический сад. На громадной площади еще в прошлом веке заложено это богатейшее собрание тропических деревьев, трав, кустарников, цветов. Как в Батумском ботаническом саду, тут можно зайти в одну из аллей и только к вечеру выбраться за ворота через другую. Густые заросли бамбуков, длинные и прямые аллеи пальм пальмир, пальм капустных, каких-то еще, толстенных и высоченных; их обкиданные лишайниками седые стволы образуют нечто подобное римским колоннадам. Большой орхидейник, в котором тысячи сортов этих впитывающихся в гнилушки растений и цветущих так, будто они не цветы, а немыслимые выдумки сумасшедшего художника. На одной из полян стоит раскидистое дерево. Читаем: «Железное дерево». Посажено оно, оказывается, «последним русским царем» в 1891 году, когда Николай Второй (в ту пору он еще не имел порядкового номера, а был просто наследником русского престола) совершал путешествие по странам Южной и Юго-Восточной Азии и когда в Японии ему крепко стукнули самурайской саблей по незадачливой обывательской головенке.

Шутка истории: неподалеку от железного дерева, посаженного последним русским царем, растет деревце, которое посадил первый космонавт Земли Юрий Гагарин. Возле него, снимая друг друга на кинопленку, кривляются туристы из Западной Германии. Мясистыми оголенными руками они делают как крылышками, будто тоже летают. Малые в зрелом возрасте. Может быть, и в самом деле летали. На Ленинград, например, в зиму с 1941-го на 1942-й. Или на Лондон, Манчестер. Или на Варшаву.

То там, то здесь в зарослях деревьев, в густых обширных кронах идут птичьи собрания. Сколько пернатых участвуют в каждом таком сборище — не подсчи-

таешь. И какие это птицы — не поймешь. Верный Брем, первый мой учитель природы,— даже и он, описавший сотни птичьих пород, здесь наверняка спасует. Птицы на своих собраниях так орут, будто враз работают сотни сверлильных станков, собранных в одно место. Или скорее не станков, а тысячи ручных дрелей по металлу.

Среди этой расщедрившейся природы понимаешь вдруг, откуда взялись те, скажем, «бабьи сплетни», которые произрастают на окнах наших любительниц комнатных цветов, или безымянные веселые лопухи в горшках и десятки иных комнатных растений. «Лопухи» густо лезут из каждого болотца. «Бабьи сплетни» обвивают стволы деревьев, и все остальные «наши цветочки» на каждом шагу прут наружу из здешней плодородной земли.

В обеденный час, то есть к вечеру, к нам пришли Гунадаса Амарасекара с женой. Молодой человек, которому едва за тридцать, уже хорошо известен цейлонским читателям. Он написал роман «Падшая», вокруг которого поднялся сильный шум. Одни утверждают, что книга эта безнравственна, другие, наоборот, что она направлена против безнравственности. Судить самому трудно. Написан роман на сингальском языке и на русский не переводился. Но трезвые люди, которым верить можно и даже нужно, говорят, что прежде всего это произведение талантливо и что такие, как Гунадаса Амарасекара,— будущее цейлонской литературы.

Жизнь этого человека нелегка. Он пишет, а писание требует уйму времени. Труд же литератора на Цейлоне оплачивается скудно, так скудно, что, дабы не умереть с голоду, молодой писатель вынужден не оставлять и свою первозданную профессию — зубного протезиста, которая тоже требует времени. Но писать он уже все равно никогда не бросит: литература для него все, и он готов говорить о ней бесконечно. Он любит Канди, его окрестности, он рассказывает о городе и готов показать нам каждую его достопримечательность.

Вместе с Амарасекарой, с его женой подымаемся на нашем «Москвиче» в окрестные горы.

Черная тропическая ночь, по-горному прохладная и в самом деле располагающая к тому, чтобы посидеть у камина; всюду мелькающие светлячки, подобная светлячкам звездная россыпь в зените, и всюду веселые городские огни. Так выглядят приморские города на Кав-

казе и в Крыму, если смотреть на них с гор ночью. И удивительно, что Амарасекара так и говорит:

— Мне кажется, что это похоже на Ялту.

— Вы разве бывали в Советском Союзе?

— Нет, не бывал. Только хотел бы побывать. Но я читал рассказ вашего Чехова «Дама с собачкой».

Вот, оказывается, как можно живописать словом — с такой точностью и выразительностью, что люди, видя только буквы и слова, сложенные из этих букв, зримо ощущают неведомые им, бесконечно далекие города.

Мы говорим, естественно, о реализме, о бесплодности и бесперспективности формалистических ухищрений в литературе и в искусстве, и постепенно выясняется, что хотя и живем мы друг от друга на расстоянии восьми тысяч километров, разделенные величайшими в мире горами — Гималаями, бескрайними просторами Средней Азии, Индии, пучинами многих морей и океанов, а во взглядах наших очень и очень много общего.

Затем Амарасекара рассказывает о тех сказочных праздниках, которые устраиваются в Канди,— о перахерах — ночных шествиях слонов с факелами, огнями, громом барабанов. Праздничные слоны — их бывает несколько десятков — ярко и богато разукрашены. На спинах пестрые ковры, на головах расшитые накидки с прорезями для глаз, на бивнях наконечники из чеканного серебра; над всем этим торчат стержни с султанами из конского волоса.

Поводыри и те, кто едет на слонах, тоже, конечно, в необычных, экзотических одеждах. Пылают факелы, трещат хлопушки, сыплются бенгальские огни. Слоны шествуют по улицам не спеша, величественно, торжественно.

— Три года назад,— сказал Амарасекара,— произошла большая неприятность. Один из слонов наступил на уроненный поводырем факел. Взревев, слон кинулся бежать. А толпа была густая. Представьте себе, что такое полсотни слонов и тысяч до ста народу на улицах. Все пришло в смятение: и эти тысячи и остальные слоны. Более девятисот человек было ранено, были и задавленные насмерть. Но этот случай, конечно, редкий. А вообще-то перахера — красочный, впечатляющий праздник. На него даже наше правительство приезжает полюбоваться из Коломбо.

На грохот культовых барабанов мы спустились с гор, мимо рва с водой, которая кишела черепахами, и вошли

в буддийский храм. Там только что началась очередная религиозная церемония. Служители били в эти рокочущие барабаны, густо и пряно пахло чем-то очень похожим на жасмин, приносимым в дар храму, люди стояли на коленях, упершись лбами в пол. Они молились, они поклонялись. Кому? Будде? Но Будда, как утверждают сами буддисты, не был богом. Он был человеком. И учение его выросло, они же сами говорят, в немалой мере из чувства протеста против культовых крайностей брахманистской религии. Будда, по словам его последователей, не признавал так называемого «высшего существа», творца всего живого, вседержителя. Почему же из него, из противника царей небесных, из самого сделали бога?

Канди — вполне пригодное место для того, чтобы поразмышлять о буддизме, о судьбах одной из мировых религий, имеющей сегодня более 200 миллионов паствы. Когда-то в Индии, в Сарнатхе близ Бенареса, в местах, связанных с зарождением буддизма, я выслушал неторопливый рассказ двух ученых-буддистов о жизни самого Будды, об истории его учения, о философии буддизма. В Сарнатхе, или в «Оленьем парке», две тысячи пятьсот лет назад Будда произнес перед пятью учениками и двумя оленями свою первую проповедь — плод долгих, многолетних исканий и мыслей. В тот день, как сказано в книгах, он «привел в движение колесо дхармы», или «закона жизни». Миру явилось новое религиозное учение, предвосхитившее религию христиан уж как минимум на добрых четыре века.

Мне назвали и дату рождения Будды, или, точнее, последнего его перерождения, так как он якобы уже множество раз бывал на земле в самых внезапных образах, назвали род Готама из племени Шакьев, родясь в котором Будда принял на этот раз образ царевича Сиддхартха.

Шло бесконечное число удивительнейших историй, сходных в общих чертах с теми, какие приписываются христианами Иисусу Христу. Если в рождении Христа повинен был голубь, то мать Будды, Майя, увидела во сне, как ей в бок вошел белый слон, вследствие чего и родился Будда. Различные чудеса совершали и Будда и впоследствии Иисус Христос. Оба конечно же проповедовали непротивление злу насилием. Умер Будда, правда, по-иному. Его не распинали, не убивали. Восьмидесятилетним старцем Будда лег под деревом бодхи, или бо, ставшим с тех пор священным деревом, принял позу льва

и сказал перед тем, как навсегда смежить веки: «Теперь, монахи, мне нечего больше сказать вам, кроме того, что все созданное обречено на разрушение! Стремитесь всеми силами к спасению». Стояло полнолуние месяца вайшакха (мая), отчего и 2500-летие буддизма было, естественно, отпраздновано в буддийском мире именно в мае 1956 года.

Как раз те ученые-буддисты Сарнатха рассказывали о том, что Будда был материалистом, отвергал существование высшего создателя — бога; что буддийская религия самая гуманная из всех религий, у нее не было и нет богов злобных, кровавых, требующих жертв; что буддизм много сделал для просвещения народов Азии, для развития наук и искусств; что буддисты будут вечно прославлять индийского правителя Ашоку из величайшей династии Маурьев, который приказал жизнь и учение Будды увековечить врубленными строками на каменных колоннах, на стенах храмов, на скалах. К сожалению, от них осталось немного.

Я пересказал Гунадасе Амарасекаре все, что мне было известно о Будде и буддизме. Он ответил:

— Да, сарнатхские ученые правы. Они одного только вам не сказали: что в самой-то Индии буддизм полнокровной жизнью жил сравнительно недолго. Он уступил позже индуизму. Полторы тысячи лет яркое священное пламя буддизма горело главным образом у нас, на Цейлоне. «Типитака», или, на языке пали, «три корзины» священных записей раннего буддизма,— это наша древняя религиозная литература. Сделаны ее записи еще в начале эры. Затем тягчайший ущерб буддизму на Цейлоне был нанесен захватчиками, колонизаторами. Они разоряли храмы, уничтожали библиотеки, составленные из связок пальмовых листьев, на которых в древности записывались религиозные тексты, разворовывали памятники с буддийскими надписями. Если что и не предавали огню и разрушению, то непременно тащили в музеи своих столиц. Город Канди сыграл выдающуюся роль в деле сохранения, поддержания буддизма на острове. После тех разгромов, какие учинили у нас португальцы и голландцы, когда буддизм уже почти утрачивал дыхание, один из кандийских королей отправил своих посланцев в Сиам за толкователями и хранителями буддийской веры. Зуб Будды, который тщательно бережется в этом храме

Далада Малигава, тоже был когда-то перенесен из другой части Цейлона. Иначе и его постигла бы участь многих драгоценных святынь.

Позже, возвратясь в Москву, в интересной книге своего однофамильца А. Н. Кочетова «Буддизм» я нашел сведения о том, как по различным разрозненным текстам, собранным в монастырях Цейлона, Бирмы, Сиама, Непала, совсем еще недавно, менее сотни лет назад, уточняли и вырабатывали канонический текст «Типитаки»— главнейшего сочинения буддийской религии. Для этого в Мандалае в 1871 году был созван V буддийский собор. Не семьдесят два мудрейших, как было в свое время с Библией, а 2400 ученых монахов занялись тщательной сверкой и очисткой собранных отовсюду текстов. Канонический текст врубили затем в 729 мраморных плит. Для каждой плиты в Мандалае соорудили храмик, из этих храмиков образовался обширный комплекс Кутодо — хранилище буддийского канона.

До помянутой книги заглянул я еще и в справочную литературу — в Большую Советскую Энциклопедию и первого и второго изданий. Как, мол, тут все-таки быть, как относиться к Будде с точки зрения строго научного толкования — был ли он на самом деле или это такой же миф, как миф об Иисусе Христе?

Том 7-й первого издания, вышедший в 1927 году, так ответил мне на этот вопрос:

«Будда (буквально «просвещенный»), Сидхардха Готама, Шакья-Муни, религиозный реформатор Индии, которому приписывают основание *буддизма* (см.). Жил приблизительно в 560—480 до хр. э.; происходил из царского рода. Скудные биографические данные о Б. искажены и заслонены множеством легенд позднейшего происхождения».

Ну что ж, это близко к тому, что слышал я и в Сарнатхе возле огромной Дхемек-ступы, которая веков тринадцать назад накрыла собой еще более древнюю ступу, возведенную царем Ашокой на месте первой проповеди Будды в «Оленьем парке», и к тому, что рассказывал в Канди Гунадаса Амарасекара.

В томе 6-м второго издания, подписанном к печати в 1951 году, сказано в какой-то мере и то и вместе с тем уже совсем иное:

«Будда — в буддийской религии мифическое существо, достигшее состояния *нирваны* (см.). В буддийском

пантеоне насчитывается свыше тысячи будд. В более узком значении Б. — титул Гаутамы, мифического основателя буддийского религиозного учения. В легендах о нем говорится, что Сиддхартха Гаутама, он же Шакья (Сакья)-Муни (отшельник из рода Шакьев), был сыном владетельного индийского князя Шуддходана в сев.-вост. Индии, жил в 6—5 вв. до н. э., в возрасте 29 лет покинул дворец и стал проповедником нового учения, призывавшего к уходу от активной общественной жизни, аскетизму, непротивлению злу и покорности судьбе (см. *Буддизм*)».

Итак, здесь Будда — уже мифический основатель. Биографические его данные не просто скудны, искажены и заслонены, а и вовсе сплошная выдумка, миф.

Чей же тогда зуб веками хранится в драгоценных ларцах кандийского храма Далада Малигава? Что показывали несколько лет назад королеве Елизавете?

В конце-то концов какая разница чей!

Смотришь на всю сложную церемонию храмовой службы, на тех, кто управляет ею, организует ее, на священнослужителей, и думаешь: а культы-то всякие, дурманящие сознание человека, не сами боги и не сами владыки насаждают, а те, кто от этого имеет выгоду,— служители культов, сделавшие из этого служения бизнес. В цейлонской газете мы прочли на днях о том, как в одном из индуистских храмов Южной Индии верующие долгое время поклонялись кобре, в определенный час появлявшейся на статуе Шивы. Служители храма всячески способствовали поклонению новому божеству, поскольку вера в старое уже маленько поистратилась. Для полного торжества нового идола храм посетило очень высокое в штате лицо. Кобра пожаловала его появлением в неурочный час.

Сила служителей такова, что во имя своего бизнеса они сделают культ даже из самого атеизма. Придумают бога безбожия и опять-таки заставят неверующих бить лбами в пол перед портретами великих безбожников. Культы, по-моему, исчезнут только тогда, когда служителям предоставят полную волю раздувать свои кадила, но раздувать, увы, безвозмездно, без всякой для себя выгоды.

Церемония в храме Далада Малигава, или в Храме Зуба, закончилась тем, что молящиеся и мы вместе с ними прошли через тесное, задымленное, душное

помещение главного святилища, где в ларцах из серебра и золота, вставленных один в другой, хранится зуб Будды, как в католических храмах старой Европы хранятся куски дерева от креста, на котором распяли Иисуса, и кое-где даже части его тела, как в моем родном Новгороде в древних церквах и соборах хранились мощи наших новгородских святых.

Я уже сказал, что зуб Будды нам не увидеть, его показывают только в определенные дни в году. Но журналист Сирисена, заместитель редактора газеты «Ланкадипа», не раз, по его словам, видывал этот зуб, и, по рассказам Сирисены, зуб Будды довольно-таки крупен, покрупнее, чем у каждого из нас, и от времени желт.

После храма мы решили подкрепиться. На стандартную гостиничную еду нас не тянуло. В этих англизированных, в общем-то хороших отелях, к сожалению, и пища англизированная — английские порядки за полтора века крепко въелись в местную почву. Как всегда, утром пориджⅿ — овсяная каша без всего, даже без соли, эгз энд бэкон — яйца с беконом, джем и поджаренный белый хлеб — тосты. Во время ленча (или во время нашего обеда) какой-нибудь протертый супчик из овощей, жареная рыба и кусок мяса; то же в обед (или, по-нашему, на ужин). Однообразно, уныло, безрадостно. Где же, спрашивается, свои, цейлонские блюда? Они, понятно, есть. Но не в этих отелях. Они в закусочных, в небольших ресторанчиках, в различных забегаловках, куда англичане не хаживали и где цейлонцы сохранили свою отличную национальную кухню. Мы уже едали в Коломбо рис с острейшими подливками — карри — из мяса, креветок, рыбы, овощей. А тут Гунадаса Амарасекара сказал, что покажет нам, где готовят отличные хоперсы, тем более что это совсем недалеко.

Хоперсы оказались такого вкуса, что оторваться от них было совершенно невозможно. Это лепешки из тонкой рисовой муки, изготовляемые примерно так, как у нас пекут блины. А затем к ним подается все то же карри. Накладывай карри на блин, заворачивай и ешь. Потом это все тебе даже сниться будет. Умеет народ вкусно готовить, даже когда для этого и не очень многое надобно.

С помощью Гунадасы Амарасекары мы за короткое время побывали в различных интересных местах Канди, видели местные кустарные изделия из чеканного серебра

и меди — блюда, пепельницы, ножи, разные красивые безделицы, которыми славится этот горный район.

Затем заехали в университет в Перадении, расположенный поблизости от Канди, в цветущем уголке науки, где избирательным методом преподает историю делающий свое дело мистер Ллуэллин. Время было каникулярное, и мы увидели только пустые аудитории.

В тот день, когда мы собрались в обратный путь, дождило и было прохладно. Казалось, что так на всем острове. Но едва мы спустились с гор, миновав чайные плантации, о которых разговор будет в другой главе, едва вокруг нас отшумели горные водопады, едва кончились леса с неведомыми деревьями и вновь появились кокосовые пальмы, как холодок отступил назад. Дождь, правда, и там лил. Но был он теплый, непростудный. Земля дымилась от испарений, и с близкого океана несло влажным оранжерейным теплом.

С ПИТЕРОМ КЕЙНЕМАНОМ

1

Впервые этого человека я увидел и услышал в 1961 году, на XXII съезде партии, у нас, в Московском Кремле. Но что, собственно, я увидел? Далеко на трибуне стоял представитель Компартии Цейлона, ее генеральный секретарь, и от имени цейлонских коммунистов на английском языке приветствовал коммунистов Советского Союза. Ни черт его лица, ни осанки рассмотреть я, конечно, не мог. И уж никак не мог подумать, что когда-либо с ним встречусь.

Но вот я в его доме в Коломбо. Узкий въезд с узкой улицы. Тесный двор, такой тесный, что заехавшая сюда машина, чтобы выехать, должна пятиться задом. Зелень, само собой, из всех углов. Крытая тесная терраска, на которую ведут три-четыре ступени. С терраски вход в гостиную; там желтоватые, почти пустые стены, столик, диван, несколько кресел. В доме есть, тут же рядом с гостиной, маленький кабинет хозяина, заваленный книгами; в глубине, если пройти по коридору,— столовая, спальня, еще комнатка для женщины, которая ведает домашним хозяйством. Вот в общем-то и все. Небольшой,

скромный домик, но известен он, пожалуй, всему трудовому народу не только Коломбо, но и других частей Цейлона.

Питеру Кейнеману недалеко до пятидесяти. Но он выглядит так, как хорошо, если б выглядели многие, которым нет и сорока. В его дедах и прадедах сингальская кровь смешалась с голландской, поэтому лицо Питера смугло смуглостью здорового загара; по-нашему, это так, будто он только что вернулся из Крыма. Лицо человека сильного, волевое, глаза тебя все время испытывают: а ну, интересно, кто ты такой и чего стоишь?

Мы сидим за столиком, вокруг крутятся собаки — веселый пес Кирибат и его злобная кривоногая мама Трики. Разговор — надо же ему с чего-то начаться — заходит о собаках. Затем с собак перекидывается на то, что в цейлонской почве еще слишком крепко и цепко сидят корни влияния колониальных держав, в частности Англии. Крепкие позиции сколотили Соединенные Штаты Америки, а в последнее время в тело Цейлона начинает все глубже вгрызаться Западная Германия.

— Тоже псы. Но не столь добрые, как Кирибат. Скорее, как та старуха! — Питер кивает на Кирибатову мать. — Но она только рычит, а те рвут живое мясо.

Питер Кейнеман превосходно знает и все ветры международной жизни и все боли и слабости своего Цейлона.

Идет разговор, и я начинаю отчетливо различать образ большого, убежденного, идейного коммуниста, но путь которого в коммунистическое движение начинался не слишком просто. Питер — сын почтенного цейлонского судьи, образованного, не чуждого прогрессивных взглядов, и все же судьи, который, соблюдая законы, установленные на острове англичанами, мог отправить подсудимого не только в тюрьму, а и на виселицу. В доме царил дух закона, исключающий всякое вольнодумство. Но у отца была хорошая библиотека, книги в нее стекались со всех концов света, и среди прочих там могли оказаться самые неожиданные издания. Пытливый сын судьи, еще учась в колледже в Коломбо, читая отцовские книги подряд одну за другой, наткнулся вдруг на такую, в которой исследовалась природа империализма; написана книга была трудно, должных знаний и горизонтов, чтобы понять в ней все, у молодого читателя не было. Но уж очень об интересном писал автор, писал доказательно — и с научной обоснованностью и с политической страстью.

Многое, очень многое по ходу чтения становилось понятным в жизни Цейлона, в том, как и почему на острове хозяйничали англичане. Автором книги был некто Ленин. Питер заинтересовался им и в то же лондонское издательство, которое издало книгу об империализме, написал письмо с просьбой прислать «все, что у них еще есть этого автора».

В те времена с ним произошел неприятный случай. Как-то в компании молодых приятелей он впервые в жизни напился.

Опыт свидетельствует о том, что первые столкновения с веселящими питиями никогда не заканчиваются весело. Так получилось и у Питера. Приятели кое-как довели его до дому и всунули в дверь, но не со двора, как бы следовало, дабы не создавать лишнего шума, а прямо в парадную. Естественно, встретил отец. Он ничего не сказал при встрече: судья прекрасно знал, что с пьяными разговаривать смысл невелик. Зато утром пригласил проснувшегося сына к себе в кабинет. После мучительно долгого молчания он заговорил о том, как ему горько, что его сын...

Подумав, что отец дальше скажет слово «пьяница», Питер перебил:

— Это в первый раз, отец! Этого...

— Мне горько, — твердо продолжал отец, — что мой сын пьет, не умея этого делать. Если пьешь, так умей пить. Вот о чем я тебе хотел сказать. — И отпустил. Но от дверей вернул: — А что же ты пил?

Питер рассказал, насколько сам запомнил, о той мешанине, которую ему подливали вчера приятели.

Отец раздосадовался еще больше. И снова отпустил. Но и на этот раз вернул от двери:

— У тебя, наверно, голова трещит?

— Да, папа. Очень.

— Так вот, запомни. В таком случае отлично помогают взбитые яйца, устричный соус и немного десприна. Иди!

Тем временем пришли из Лондона заказанные книги. Их оказалось не так уж мало. Питер вчитывался, обдумывая, волнуясь, в каждую из них. С особым интересом он прочел работу «Государство и революция».

Отец был хорошим наставником во всех практических вопросах повседневной жизни. Но за тем, что читает и к чему тянется сын, он не уследил. И когда Питер приехал

учиться в Англию, в Кембридж, молодого цейлонца тотчас потянуло в существовавшие там марксистские кружки, в революционное движение; у него уже была некоторая подготовка.

А возвратясь в Коломбо, он увидел, что здесь назревает возможность возникновения партии коммунистов, такой, о которой писал Ленин. Он бросился в работу среди масс со всей страстностью молодого марксиста. Для удобства такой работы он открыл возле порта маленькую юридическую конторку, писал для рабочих прошения, жалобы, беседовал с ними, входил в их интересы, органически вживался в их среду. Обретал бесценный опыт. Надо ли удивляться, что сейчас в порту, как, впрочем, и всюду в Коломбо, даже в плавательном клубе, его знает почти каждый. Он уже не может быть вне окружения людей труда, рабочих города или деревни. Он ходит, ездит к ним, выступает на собраниях, на митингах, беседует, отвечает на сотни вопросов. Жизнь родного народа — это и его жизнь.

— Люблю Коломбо с его людьми, — сказал Питер, и по глазам его было видно, что в мыслях он обозревает какие-то дорогие ему места цейлонской столицы. — Очень сожалею, что наши писатели не пишут о Коломбо по-настоящему, во всех его гранях, во всем объеме. Обычно для них это только фон, на котором живописуются отдельные случаи и мелкие историйки.

Он принялся остро потешаться над поэтами, которые вздыхают при виде красот природы, всяких букашек и таракашек. Но сам о природе заговорил при этом как истинный поэт. Он, оказывается, любит плавать в прибрежных рифах с аквалангом, часами наблюдать подводную жизнь океана. Он так говорил о том, что можно увидеть под водой, — о кораллах, о рыбах, моллюсках, что мне тоже захотелось испытать все это. Я понял, что он совсем не осуждает лириков, а просто досадует, что лирики-то есть, а нет мастеров широких гражданских, социальных полотен. Ему, большому политическому деятелю, нужна жизнь в ее полном, огромном масштабе.

— У вас такая литература и такое искусство, которые поднимают на борьбу, есть. Я, конечно, могу судить лишь по книгам, переведенным на английский. Такая литература и такое искусство могли вырасти только при поддержке, оказываемой им партией, которая поставила себе цель и для достижения ее использует все благород-

ные средства. Литература и искусство могут быть средством и благородным и низменным. Смотря какие они. У вас они благородные. Но, повторяю, чтобы быть такими, они нуждаются в непрерывной и очень заботливой поддержке.

Он говорил о том, как точно, заботливо и умело направлял творчество Горького Ленин, как вступилась наша партия за Маяковского, как растила она, вдохновляла многих из тех, кто своими революционными книгами обессмертил советскую литературу.

— Жалко, нет Мод, — сказал он о своей отсутствующей жене. — Сегодня она выпускает газету. Она редактор еженедельника нашей партии на английском языке. Мод бы на эти темы поговорила! Она читает больше меня, и мы с ней не всегда и не во всем согласны. Я, например, считаю, что передовое, революционное искусство непременно требует поддержки партии. Оно то культурное растение, которое нуждается в заботах садовода. Культурное растение — будь это роза или чайный куст — погибнет среди бурьяна, сорняка. Сорняку не надо поддержки, ему достаточной поддержкой является то, что с ним не борются. Ему только того и надобно.

Мы сидели долго, несколько интересных, быстро пролетевших часов. На многое мы смотрели если не с одних, то почти с одних, с очень близких точек зрения. Мы никак не могли ни в чем разойтись основательно. Это было в какой-то мере неожиданно и вместе с тем очень радостно.

Псы проснулись, чтобы проводить нас во втором часу ночи. Во дворе, в листве деревьев, как лунная пыль, искрились светлячки. Небо было в крупных лучистых звездах; я не нашел в нем многих знакомых созвездий, зато сколько угодно было новых, впервые увиденных.

2

Как все здесь говорят, в этом году погода для декабря не типичная: должно бы быть сухо, а вот раз по пять на дню принимаются лить теплые, дымные дожди. В разгар очередного потопа позвонил Питер Кейнеман.

— Я бы хотел свозить вас в одно местечко. Это в так называемой сухой зоне — засушливой зоне Цейлона. Там сухо, отдохнете от дождя.

— А кроме засухи, что там есть еще?

— Предвыборный митинг левых сил. У нас идет кампания по выборам в муниципалитеты.

Через час мы мчались с Питером в его старенькой, потрепанной черной машине снова по дороге на Канди. За рулем сидел сам Питер, умелый и уверенный, хотя несколько отчаянный водитель. Снова по сторонам от дороги тянулся нескончаемый ботанический сад. В селениях на этот раз время от времени попадались какие-то эстрады, трибуны, увитые размокшими от дождя бумажными пестрыми флажками; в установленных, видимо, для такого случая громкоговорителях то гремела музыка, то слышалась крикливая речь.

— Брешут, — изредка пояснял Питер. — Это митингуют правые. Обещают златые горы. Для устройства шумихи денег у них сколько угодно.

На половине дороги Коломбо — Канди свернули влево и двинулись почти строго к северу. Тут уже не было ни шума, ни оживления, свойственных селениям при больших дорогах. Деревушки пошли бедненькие, дорога стала поплоше, извилистей и у́же. Не стало как бы одного сплошного селения, вытянувшегося вдоль шоссе на десятки километров. Группки строений сидели, как в наших северных краях, тесными кучками, окруженные буйными зарослями бананов. Огромные, килограммов по пять-шесть, ананасы росли прямо на приусадебном мусоре, как сорняки. Но уже смеркалось, и к тому же и здесь пошел дождь, и больше ничего не стало видно; только свет фар выхватывал из тьмы и ливня то крытую пальмовыми листьями хижину на повороте, то человека, который брел куда-то, не различая ни зги. Про себя размышлялось: будь я на месте этого человека, ни за что бы не вышел из дому к ягуарам и кобрам; как-то не помнилось при этом, что сами-то мы, северяне, когда надо, идем на мороз градусов в тридцать и больше, на наш студеный ветер, жмемся, ежимся, но идем. У каждого свое.

Приехали в городок, при въезде в который было написано: «Курунегала».

На пустыре, окруженном огромнейшими раскидистыми деревьями, люди под множеством черных зонтов уже ожидали Питера. В центре пустыря стояла трибунка, были тут и радиоусилители, хотя победнее и проще, чем у правых сил. В этом округе против правых объединялись

три партии: коммунистическая, правящая Цейлонская партия свободы — Ланка Фридом парти — и Ланка сама самадж парти — социалистическая.

На трибуне кто-то уже говорил.

Питера обступили десятки людей, жали руки, что-то горячо рассказывали по-сингальски.

Питер, выйдя на трибуну, тоже заговорил по-сингальски. Смысл его речи был для меня непонятен. Но было интересно следить даже за тем, как говорил этот человек. Хотя и горячо, выразительно, а без всяких ораторских эффектов, без выкриков и взмахов рук, — спокойно и доверительно, как бы ведя беседу с собравшимися вокруг трибуны. Контакт с аудиторией у него установился в первые же минуты.

Ждали кого-то еще из Коломбо — представителя одной из других партий, участвующих в левом блоке. Но тому, видимо, помешал дождь: говорили, что от ливней разлились реки и не все дороги проезжи. Мы с Питером ехали не главной, а какой-то третьестепенной, поэтому и не угодили в разливы.

И все-таки устроители митинга тянули время, посматривая на часы и в вечернюю темень: а вдруг представитель приедет?

Когда Питер уже заканчивал речь, ему сказали: «Поговори, пожалуйста, еще».

Это был боец опытный. Только на секунду он остановился — речь-то ведь уже кончена: что наметил, то сказал. Но, повторяю, пауза оказалась почти мгновенной.

— Да! — вдруг возвысил он голос. — Забыл сказать еще вот что. — И начал, как нам перевели добровольные переводчики из местного профсоюзного актива, рассказывать истории о борьбе крестьян за улучшение их положения, о политике и тактике крупных землевладельцев.

Мне объяснили, что этот район — один из наиболее прочных оплотов компартии среди крестьян и мелких предпринимателей. Левые силы тут надеются получить половину мест в муниципалитете. Правда, борьба будет немалая. Неподалеку одновременно шел другой предвыборный митинг — там митинговали, агитировали за кандидатов реакционных партий. Там было много огня, шума и натиска. В том стане тоже не дремали и делали свое дело.

После митинга к Питеру кинулось несколько десятков людей, жали руку, приветствовали, улыбались. А кто-то, впервые встретивший популярного трибуна, воскликнул:

— Давно мечтал вас увидеть! Вот вы какой! — И тряс руку Питера, улыбаясь во все лицо.

Долго шли разговоры, споры вокруг опустевшей трибуны. Наконец все так же, под мелким дождиком, мы отправились назад, в Коломбо.

— Только заедем на минутку в рестхауз, съедим хотя бы пару сандвичей, — предложил Питер.

Сидим на террасе очень удобного для путников заведения — рестхауза, в переводе с английского — «дома отдыха», а по сути своей хорошего трактира, где всегда есть чем закусить, что выпить, а если надо, пожалуйста, и комнаты, чтобы переночевать. Зверски кусаются москиты: ничего не поделаешь — тропики!

— Когда-то здесь было самое малярийное место. Почти начисто вывели эту чертову болезнь. Так что не бойтесь москитов.

— Но дело в том, что они очень больно кусаются и их не видно, где они тут, чтобы прихлопнуть.

— Надо привыкать.

Питер давно не бывал в Курунегале, он сидел и что-то вспоминал из былого. До сандвичей не дотронулся, и дело было явно не в них.

— Когда я здесь оказался впервые, — сказал он наконец, — ночевать мне пришлось в полицейском участке. Давненько это было. Мы затеяли тут небольшую забастовку...

Я понял, что на этой веранде он задержался именно из-за своих воспоминаний. Забастовки, полицейские участки — это были страницы его жизни, его борьбы, и, сколько бы их ни перелистывалось, они никогда не забываются.

Чтобы действительно подкрепиться, мы выехали на дорогу Коломбо — Канди и остановились в другом рестхаузе — в отличном доме, сверкающем чистотой и порядком, скрытом в пышной зелени. Заказали, конечно, хоперсы с острыми подливками — карри.

Питер рассказал, что этот рестхауз был построен к приезду на Цейлон английской королевы: вдруг ровно на половине дороги из Коломбо в Канди ей захотелось бы остановиться. Утверждают, что именно здесь она и

остановилась на полчасика. А так как, кроме того, что это ровно половина пути от Коломбо до Канди и что здесь мог бы понадобиться отдых королеве, никаких других оснований для постройки рестхауза в этом месте не было и нет, то в нем сейчас тихо, пусто, безлюдно. Мы одни.

— Люди есть люди, — говорит Питер, которого воспоминания так и не оставляют. — Была у меня тетка. Любила красивые вещи. И богатая была притом. Дом свой набивала дорогими вещами. А климат у нас влажный, теплый. Теткино добро гнило, теряло ценность. Вместе с ним дряхлела и тетка. Я захаживал к ней в свои молодые годы. У нас был общий день рождения. Она на много лет меня старше, но вот день рождения у нас совпал. Однажды, уже будучи совсем старушкой, она пригласила меня к себе в такой день. Искусный кондитер изготовил ей красивый, очень красивый торт. Я же говорю, в красоте она понимала. В середине торта размещался аист. Вокруг были цветы и всяческие финтифлюшки. И вот когда именинница хотела было угостить меня куском торта и уже взялась за нож, рука у нее повисла в воздухе. Я видел, что ей жаль трогать и аиста и цветочки, рушить всю сложную композицию торта. Она им любовалась, долго не могла отвести глаз. Потом улыбнулась смущенно, виновато. «Слушай, Питер, знаешь что: возьми лучше пару рупий».

Мысль его совершила какой-то поворот. Он заговорил о другом:

— Я много думаю о советских людях, о вашей жизни. Мне кажется, что вы кое-чего своего замечательного не цените. Вы режете свой торт, раздаете его кусками направо и налево. Лучше бы уж пару рупий сунули.

Снова помолчали.

— Когда я еще учился там, в Европе, шла война в Испании. У меня было партийное поручение — помогать добровольцам, которые шли в интернациональные бригады, перебираться в Испанию. И вот был один молодой парень, англичанин. Мы с ним дружили. Замечательный был парень. Он любил одну свою английскую девчонку, и у него существовали только две темы для разговоров: эта девчонка и Московское метро. Он ничего больше не видел в Советском Союзе, поскольку он и не бывал у вас никогда. Московское метро тогда гремело по всему миру, было много его фотографий в газетах и журналах.

И для этого парня, равно как и для всех нас, друзей Советского Союза, советского народа, в Московском метро как бы олицетворялись могучие преобразующие, созидательные силы, которые несут с собой Советская власть, строительство социализма... Не знаю, как относитесь к нему вы, а мы вот так относились. Да, только и разговоров было у него: девчонка и Московское метро.

Питер закурил сигарету. Откинувшись в кресле, он вглядывался в почти тридцатилетнюю давность.

— Парню помогли попасть в Испанию. Он там погиб. Мне рассказали о его гибели. Немцы, против которых Интернациональная бригада сражалась на том участке, поднялись с земли и пошли на позиции добровольцев, распустив по ветру белый флаг перемирия. Добровольцы поверили в искренность фашистов. А те, подойдя совсем близко, забросали добровольцев гранатами. Парню распороло живот. Но он еще стрелял и успел убить одного немца.

Питер взялся за вторую сигарету.

— В последнее время, перед тем, как уйти в Испанию, он уже гораздо меньше поминал в разговорах свою девчонку. Когда мы в последний раз шли с ним по улицам Парижа, он уже и вовсе ее не вспомнил, говорил только о Московском метро. Он пошел в бой и погиб за него, за ваше Московское метро. Ты меня понял?

Мы выпили по глотку джина, потому что хотя и было тепло, но все же одежда-то наша изрядно намокла во время митинга под открытым небом.

— Сейчас нашлось много любителей поболтать о революции. А настоящие бойцы революции скромнее и проще, чем все эти любители революционной позы. И потом надо иметь в виду, что часто там, где безудержным левакам мерещится революция, происходит совсем другое. Одно время у нас — давно, конечно, — подобной болтовни было особенно много. Приходит раз сообщение из провинции, что на одной из сельских фабричонок восстали рабочие, захватили фабрику, вооружились и держатся. Иным чудилось, что там происходит бог знает что. Я отправился на место как работник профсоюза. И что же увидел на том месте? Рабочие захватили сарай и швырялись из него каменьями. Даже нам, профсоюзникам, сгоряча залепили. Во главе бунтарей стояла простая, неграмотная и смелая женщина. Она подняла своих товари-

щей против администрации, когда та перешла границы в грабеже рабочих. Руководительница возмущенных делала большое дело. Но когда конфликт стали разбирать и стали беседовать с людьми, она, эта смелая женщина, чертовски испугалась, как бы ее имя не попало в газеты, тогда, мол, все узнают, что она простая и неграмотная рабочая. А ей пуще всего было страшно от мысли, что об этом узнают родители жениха ее дочери, от которых она скрывала свое положение, все стремилась выдать себя за кого-нибудь познатнее. Людей надо понимать. Каждого в отдельности.

3

— Завтра мне разрешено денек отдохнуть, — сказал как-то под вечер Питер, заехав в отель. — Часиков в семь утра будьте готовы, поедем вдоль побережья на юг в одно красивое местечко.

Может быть, конечно, он и отдохнуть решил, но я-то понял его: он хочет как можно больше интересного показать мне на острове, который любит, как самый страстный, горячий патриот, и я уже не сомневался в том, что то местечко будет интересным.

На этот раз с нами поехала и его жена Мод, накануне выпустившая очередной номер газеты и тоже получившая относительную свободу от своих редакторских дел.

Ехали побережьем океана, по той дороге, которая началась за окраиной Коломбо, когда кончилась многомильная улица столицы — Галле роуд. Дорога вела на юг, в старинный город и порт Галле. Справа, за узкой полоской песчаной прибрежной земли, заросшей кокосовыми пальмами, бился прибой океана, мощно шумя и погромыхивая. Слева тоже были пальмы, пальмы, пальмы, и под ними, среди них — каменные или оштукатуренные — дома с каменными оградами, такие, как в дачных пригородах старых европейских городов. На манер купцов и дельцов из Европы тут строились богатевшие под их крылом местные тузы, наживались на производстве и торговле всем, что может дать человеку кокосовая пальма, и прежде всего на веселящем напитке тодди и следующем за ним еще более крепком араке.

На берегу то там, то здесь лежали тяжелые океанские лодки рыбаков; рыбаки большими артелями, вытянувшись в цепь, тащили заброшенные в океан сети; в ячеях, сверкая металлом, бились большие здешние рыбины. Когда, чтобы посмотреть, как все делается, мы возле таких рыбалок выходили из машины на берег, нам слышались тягучие, стонущие песни. Видимо, всюду так, у всех народов: и песни «бурлацкой артели» и песни «рыбацкой артели» тягучи, неторопливы, печальны, как и сам труд их.

В каком-то месте, где вот так же тянули сеть из океана, на плоской корме вытащенной под пальмы лодки сидел старый, седой человек и каменным взором смотрел на то, что перед ним происходило. Кто он такой, — думалось, — старый рыбак, который уже не в силах работать? Отец рыбака? Седые его волосы клочьями шевелил живой, веселый ветерок, но в лице старика ни живинки: камень и камень; и весь он был как бы из камня, мертвый, недвижный. Кто же все-таки он? Оказалось, владелец сетей. Те, кто ловил ими рыбу, обязаны не только отдать ему немалую долю добычи, а еще и заплатить не одну рупию за пользование сетями. Это его сети, а не их. Их только руки, труд, а на результат труда уже ляжет немало охочих ладоней. Даже вот эта, может быть, столетняя мумия, глядящая на сегодняшний мир из глубин минувшего века, и та держит людей труда своей бессильной, иссохшей рукой за горло.

Мы часто слышим и говорим: «Стройна, как пальма», «Прям, как пальма». Это, надо иметь в виду, относится к каким угодно видам пальм, но только не к кокосовой и тем более растущей на берегу океана. Кокосовые пальмы, да еще с малых росточков обдуваемые муссонами, скорее похожи на змей, каким-то образом воткнутых хвостами в землю. Стволы их кривы, извилисты, змеисты. Группа пальм напоминает толпу тонкотелых существ, шарахнувшихся в панике от чего-то их напугавшего. Я обратил внимание на то, что все они на высоте своих крон соединены двумя рядами не то проволоки, не то веревок. В чем дело, не телеграф ли это какой-то особенный, или пальмы связаны одна с другой, чтобы лучше сопротивляться напору ветра?

— По этим веревкам ходят,— сказал Питер. — Вон там идет один!..

Держась руками за верхнюю, туго натянутую, как струна, веревку и переступая босыми ногами по нижней, от пальмы к пальме, на изрядной высоте, быстро и ловко скользил человек в повязке на бедрах. Оказалось, что там, вверху, работают те, кто добывает пальмовый сок, который, немного постояв, буквально несколько часов, дает освежающий, прохладный и в то же время хмельной напиток. Ударом тяжелого ножа срубают нераспустившееся соцветие пальмы, и сок, предназначенный для питания цветов, вытекает из среза. Его собирают в какие-нибудь сосуды, часто в удобные, не очень бьющиеся, легкие подобия высушенных тыкв.

Питер произносит вдохновенную речь о кокосовой пальме, которую и по сей день, хотя на ней разбогатело немало знаменитых цейлонских семейств, называют все-таки кормилицей бедняков. Несколько пальм возле хижины снабдят человека всем необходимым. Содрав верхний покров плода, человек получит из него волокно и сможет приготовить циновки, плетеные домашние вещи, одежду. Расколов орех надвое ударом ножа, он — в зависимости от степени зрелости — получит мякоть ореха, которая идет в пищу, на приготовление кондитерских изделий; получит человек и масло; а может получить кокосовое молоко. Не надо только думать, что этим молоком вот так, как бутылка, всегда наполнен орех. Немало на своем веку прочитал я книг, в которых люди, расколов кокосовый орех, тут же пили освежающее, питательное кокосовое молоко. Завидно, конечно, но на самом деле это далеко не так. Впоследствии цейлонские друзья продемонстрировали, как такое молоко получается. На специальном приспособлении, очень простом, которое есть в доме любого цейлонца, растирают, как на наших терках, довольно-таки плотную белую массу, содержащуюся в зрелом орехе. Натирают ее так, как у нас натирают хрен. Натертую массу разводят затем водой и вновь отжимают — только тогда получается знаменитое «молоко». А то, что можно пить прямо из ореха, — это сок, вода: ею наполнены незрелые, едва сформировавшиеся орехи. Эту воду — да, пей на здоровье, как пили мы по дороге из Коломбо в Канди возле лотков, где ее продают красивые девушки.

Из скорлупы ореха, когда уже все, что можно, использовано, делают чашки, ковши, всякие иные домашние вещички. Листья идут на покрытие крыши, на пле-

тение стен, стволы — на столбы, на перекладины. Словом, пальма одевает цейлонца, кормит, поит и укрывает. На дороге, по которой мы ехали, по временам были набросаны толстыми слоями содранные с орехов их внешние обертки — кожура. Колеса машин давили, размешивали эту массу, орошаемую дождями; после промывки, отмочки, размочки из нее легко извлекается койр — волокно. Из него тоже делай что хочешь, вплоть до лесок для рыбной ловли.

Жена Питера, Мод, — англичанка. Но она уже давно на острове и тоже хорошо знает местную жизнь. Она рассказала о том, как здесь пытались покончить с тодди и араком, установить «сухой закон» и что из этого вышло. Было большое возмущение, и, кроме того, началось производство самогона. Из чего только не стали гнать и изготавливать зверские пьянящие смеси! Даже из отработавших свое сухих электробатарей. Толкут содержимое, превращают в порошок, добавляют лимонного сока и еще чего-то. И пьют.

— Некоторые выживают! — говорит Мод со свойственным ей юмором.

С таким же юмором она ответила мне на давно меня волновавший вопрос: что они, местные жители, делают против москитов, против их укусов.

— Чешемся, — бодро сказала Мод.

История их женитьбы, Питера и Мод, не простая история. Встретились и полюбили они друг друга еще в бытность Питера в Англии. А потом, когда Питер вернулся на Цейлон, ее, английскую коммунистку, власти предержащие не хотели сюда впускать. Однако разными обходными путями она все-таки пробралась в Коломбо. Но пробраться-то пробралась, а по законам ей предстояла высылка в течение стольких-то часов. Одно могло спасти — немедленное замужество, официальная регистрация брака. Питер уговорил представителя мэрии, знакомого его отца, совершить такую регистрацию в неурочное время. Оделся в нарушение всех правил в самые обыденные одежды, будто собрался разгружать пароход, дабы полиция не обратила внимания на его жениховский наряд и не помешала свадьбе.

Ну, а когда брак был оформлен, тут уж с ними ничего поделать было нельзя. Англичанка Мод стала жительницей Цейлона, верным, боевым другом и соратником

Питера. Они сидят сейчас — она за его спиной, — непрерывно курят сигареты, острят или спорят, и каждый бы позавидовал дружбе и товариществу этих людей, уже десятки лет отдающих все свои помыслы народу зеленого острова.

Остановились мы, как это можно сделать в любом интересном месте Цейлона, в отличном рестхаузе, на самом берегу океана. Питер, оказывается, заранее заказал комнату. Комнат в рестхаузе Хиккадува с десяток-полтора. И устроены они так. Со стороны шоссе каждая имеет свой вход. Внутри — ванная, душ с горячей водой, удобные постели, необходимая простая и гигиеничная мебель. В сторону океана — вторая широко раскрывающаяся дверь. Хочешь — сиди перед нею в шезлонге, хочешь — сделай десяток шагов и плыви в океан. Плыви — не бойся, потому что в этом месте океанский простор отгорожен грядой коралловых рифов и акулы в лагуну через них не пройдут.

— По крайней мере взрослые, — обнадежил Питер.— Только акулы-бэби.

Об акулах я спросил неспроста. Несколько месяцев назад в Индии, в большом ее южном городе Мадрасе, остановившись в прибрежном отеле «Океаник», несколько советских писателей — почтенный Берды Кербабаев, Расул Гамзатов, Сергей Баруздин, Мариам Салганик и я — под черным, в сверкающих звездах ночным индийским небом отправились на берег Бенгальского залива. А там возникла идея: перед сном надо искупаться, уж очень в Индии жарко.

В густом теплом безлунном мраке на теплый берег накатывались черные волны. Когда же они, изламываясь, ложились на песок, от них летели зеленые сверкающие брызги. От фосфоресцирующей воды было таинственно, сказочно, как во сне.

Полезли в воду. Длинные спокойные волны сбивали нас с ног. Было весело и азартно, и хоть немного, но освежало. Друг друга мы могли видеть только в те мгновения, когда взбивали воду руками и она, светясь, стекала с наших рук и плеч.

А утром, когда о своем ночном купании мы рассказали местным жителям, те пришли в ужас. «Вы с ума сошли! У нас купаются только там, где отгорожено электрическими сетями. Акулы же!..»

— А эти бэби, — спросил я осторожно Питера, — они какого примерно размера?

— С метр-полтора, не больше. Надевай плавательные трусы и пошли! Я очень люблю это место. Хочу, чтобы и тебе оно понравилось.

Вступаем в необыкновенно ласковую, предельно чистую, прозрачную, голубовато-зеленую воду. Мелкий, тонкий песок, расплываясь под ногами, щекочет подошвы.

Питер подает маску с воздушными трубками для плавания под водой. Надеваю ее, ложусь лицом вниз на воду, соленая вода отлично держит, плыву, и... начинается сказка, широкоформатный фильм из подводной морской жизни. Подо мной проходят фантастические сады — кусты кораллов самых различных цветов и оттенков: зеленые, синие, голубые, похожие то на кочаны капусты, то на огромных ежей, то на шкуры леопардов и тигров. Меж ними неспешно, будто в аквариуме, движутся рыбки, рыбы, рыбищи, и тоже всех цветов радуги, всех ее переливов и немыслимых форм — с хвостами, с крыльями, с петушиными гребнями, с глазищами, выпученными и круглыми, как шары для пинг-понга. Они полагают, видимо, что я тоже рыба, и не боятся меня. А я, чтобы не вспугнуть их, едва-едва шевелю руками. По чистому песчаному дну меж коралловых кустов шныряют рачки, креветки, крабы, крабики, что-то ищут, за кем-то гонятся.

Солнца нет, оно в мареве, наносимом из западных океанских далей. Вода на поверхности не так чтобы сильно, но волнуется. А в подводном царстве стеклянный покой. Невозможно оторваться от того, что ты там видишь. Смотрел бы, смотрел бы, плыл бы, плыл бы, дыша через трубки, торчащие из воды над твоей головой.

Мне показалось, что я наткнулся на что-то боком. Поднял голову над водой: удаляясь от меня и тоже высовывая на поверхность черную и грубо отесанную, как полено, полузмеиную головищу, спешила черепаха размером с хороший овальный стол, за которым свободно усядутся четверо.

О морских черепахах в свое время я достаточно начитался. Знаю, что они живут сотни лет, что среди них попадаются такие, у которых на панцирях вырезаны ножами или выбиты зубилами даты чуть ли не времен от-

крытия Америки Колумбом, что они оснащены мощными челюстями и могут без особых усилий перекусить человеку руку или ногу, и еще знаю много всякого про черепах, вычитанного из книг о доблестных земле- и мореплаводцах минувших времен.

С некоторым запозданием я тоже маханул в сторону от места нежданной-негаданной встречи. Питер, которому я об этом сказал, ответил:

— Черепахи, у нас во всяком случае, еще никого не съели. Их едят. А они нет.

Потом над сказочным подводным миром мы плавали в лодке, у которой стеклянное дно, а сверху темный тент, точнее, палатка. И тоже рассматривали живые подводные картины. В завершение отправились в океан на катамаране. Ему, этому сооружению, было, наверно, лет сто, не меньше. Старое-старое, черное от времени и морской соли дерево, в изъединах, в трещинах, выдолбленное и оструганное наподобие челна, но так выдолбленное, что верхняя часть — это узкая щель, едва ноги всунешь, а внутри — пузатое пространство; такую форму потом приняли для подводных лодок. А чтобы долбленка не опрокидывалась, на выносных прочных дугах укреплен противовес, то есть просто увесистое бревно. Садись на это сооружение верхом и плыви. А хочешь, сиди, опустив внутрь ноги. Греби веслом или ставь парус из кокосовых циновок.

Ободрались мы в кровь об этот вид древнего морского транспорта, избились в синяки. А ведь на нем когда-то переплывали океаны от одних дальних островов к другим. Сделан катамаран поражающе прочно, хотя в нем нет ни одной железины, ни одного гвоздя, все связано несокрушимыми вервиями.

С катамарана мы снова спускались в океан, в другом месте, над другими коралловыми зарослями, похожими на этот раз на скопления чайных кустов.

Катамаран нас доконал. Мы вернулись в рестхауз, в свою комнату, разлеглись в шезлонгах и долго философствовали на тему, что, мол, как хорошо, что человечество уже совершило свой путь от катамаранов к таким вот комфортабельным рестхаузам и шезлонгам и если все еще существуют катамараны, то вместе с ними есть и много такого, которое пришло после них.

Смеркалось, когда мы вновь вышли на берег подышать вечерним океанским ветром. Он такой, что от него бесследно проходят хронические бронхиты, кашли, раздражения голосовых связок, все телесные ломи и рези. Берег теплого океана — это фабрика здоровья огромной мощности и неограниченной пропускной способности.

Но в эти минуты можно было позабыть о всем другом, кроме невиданных красок и тех нигде больше не возможных картин, какие создавала природа над океаном и в океане на стыке дня и ночи.

Сначала, как только солнце опустилось за горизонт, весь горизонт и все небо зажглись ярким багровым пламенем, через полыхание которого темно-лиловыми полосами с севера на юг растянулись длинные тучи. Краски от минуты к минуте сгущались, все багровей делался фон, и все чернее становились тучи, снизу пылающие, а поверху обведенные золотым свечением контуров. В считанные же минуты это все и увядало, гасло, превращалось в густую синь с узкой опаловой полоской меж тучами и водой; а на этой ясной полоске, как на японских рисунках акварелью и тушью, вычеканились черные силуэты одиноких пальм на берегу. В конце концов все стало густо-черным. Из мрака еще сильней повеяло влажным теплом, запахло водорослями, йодом, тысячемильными просторами, и тогда там, в темени, откуда-то взявшиеся, стали один за другим зажигаться огоньки — десятки, сотни, многие сотни огоньков. На ночную ловлю в океан вышли лодки и катамараны; там они пробудут до зари. Это их я видел с борта самолета тем утром, когда, миновав Индию, подлетал к берегам Цейлона.

Итак, оставалось только поблагодарить Питера за отличную поездку. Да, местечко прекрасное, он прав. Отсюда до города Галле, до самой южной оконечности острова — мыса Дондра, насчитывалось совсем немного миль.

И отсюда, от этого берега начиная, если встать лицом строго к югу, пойдет безбрежный, бескрайний океан — вода, вода, всюду только вода — на десять тысяч километров. На этом пути не будет ни клочка суши до самой Антарктиды. Поистине край земли, за которым обрыв в воду — и немая бесконечность.

НЕ ВСЕ СПОКОЙНО В ПАРАДИЗЕ

1

На Цейлоне, как мне бросилось в глаза в первый же день, люди неплохо одеты и очень любят чистоту. Все мужчины, как правило, — в белом: белый саронг — подобие тесно стянутой юбки до щиколоток — и белая сорочка; или же вместо саронга — белые брюки и опять же непременная белая рубашка. Женщины, те, понятно, любят яркое, и я уже говорил, многие из них носят сари — удивительные одежды, делающие всех красавицами.

Цейлон отделен от Индии всего лишь несколькими десятками километров Полкского пролива. Но разница в уровне жизни, доставшаяся после ухода англичан народам двух тесно соседствующих стран, весьма ощутима. Экономисты подсчитали, что доход на душу населения на Цейлоне был к тому времени в два раза выше, чем в Индии. Лондонские дельцы с немалым самодовольством высказывались о Цейлоне как о своей «Азиатской Швейцарии»: дескать, мирно все, благополучно, тихо и благообразно. Всячески раздувались легендарные версии о том, что рай, из которого бог изгнал Адама и Еву, был в те добиблейские времена именно на Цейлоне. «Парадиз! Парадиз!» прочтете вы в любом туристском путеводителе, какие в несметном числе издавались англичанами.

Словом, так или иначе, цейлонцы привыкли не отказывать себе в свежих, опрятных одеждах — будь они конторскими клерками, хозяевами фабрик и крупных плантаций, портовыми рабочими, сборщиками чайного листа. У одних подороже и изысканней, у других неизмеримо дешевле и проще, но все белое и только что выстиранное.

Перед входами на территорию порта, перед помещениями таможни с рассвета и допоздна толпятся люди в чисто отмытом белом — кто в саронгах, кто в брюках. В руках у многих из них плакаты на палках, на плакатах надписи: «Мы не просим, мы требуем», «Переговоров нет — будем драться» и т. п.

Вот почему, оказывается, тишина у причалов, вот почему два десятка грузовых судов бросили якоря на внешнем рейде и не могут дождаться очереди на разгрузку. Забастовка: порт не работает. Он мертв. Он, как всегда, пахнет мазутом, рыбой, водорослями. Но не лязгают цепи, не кричат буксиры, не гудят моторы подъемных кранов.

Пикетчики прохаживаются по улице мимо таможни, выкрикивают свои требовательные призывы, сидят возле ограждения сада, в котором памятник королеве Виктории и каменная глыба с португальскими надписями, развертывают пакеты с ленчем, закусывают. Среди них, парами, под мушкетерскими шляпами, шествуют голоногие полицейские с неизменными винтовками в руках.

Здесь же разгуливает и знаменитый страж таможенных ворот, имя которому Козел. Он объедает бумажные плакаты, прислоненные к стене, жует брошенные на землю прочитанные газеты.

Забастовка продолжается день, другой, третий... О ней пишут в газетах. Особенно, как мы замечаем, в тех, которые существуют на английские и американские деньги и принадлежат цейлонским капиталистам, тесно связанным с капиталистами иностранными. Корабли не разгружаются и не погружаются. Пришла роскошная, белая, как лебедь, огромная «Канберра» — трансокеанский английский лайнер, — постояла несколько часов, выпустила пассажиров, а дожидаться, пока с нее возьмут груз, не стала, ушла, дабы не терпеть убытки. Второй месяц стоит у причалов наш «Богдан Хмельницкий». Стоят десятки кораблей с важными для Цейлона грузами. На складах лежат товары, которые необходимо отправить к их покупателям. Убытки уже исчисляются миллионами рупий.

Кто же их терпит, эти убытки? Оказалось, не кто иной, как правительство, национализировавшее погрузочно-разгрузочные работы в порту. А кто же бастует? Нет, не грузчики, не докеры, не рабочий класс. Бастуют служащие, таможенные чиновники, клерки. Рабочие готовы и разгружать и погружать. Но поскольку грузы не оформляются в конторах, разгружать и погружать их нельзя.

Сложна политическая жизнь на Цейлоне. Все, что на первый взгляд может показаться простым и ясным, на деле невообразимо запутано и корнями своими уходит в толщу прошлого. Забастовки и массовые демонстрации потрясали цейлонскую экономику и политику на протяжении многих десятков лет: и на плантациях и на про-

мышленных предприятиях. Камни Коломбо знают немало жарких схваток трудящихся с полицией. Обильные дожди тропиков смыли кровь, но кровь здесь багрянела, и не один раз.

Не так уж и давно — 12 августа 1953 года — остров охватила всеобщая забастовка, которой руководили Цейлонская федерация профсоюзов и Конгресс рабочих Цейлона. Участвовали в ней и 9 тысяч портовиков, запротестовавших против вздорожания риса, и трамвайщики Коломбо, и железнодорожники, и рабочие плантаций. По улицам Коломбо двинулась мощная демонстрация. На ее пути из окон свисали черные флаги — в знак всенародного протеста против антинациональной политики правительства.

Буржуазные правительства в таких случаях всюду не слишком изобретательны. Не нашло ничего лучшего и цейлонское правительство: полиции был отдан приказ открыть огонь по демонстрантам. В ответ, конечно, баррикады, камни, палки. Немало людей погибло, множество было ранено.

За шесть лет до того произошла и еще более широкая забастовка; в ней участвовало почти 50 тысяч человек. В Коломбо тогда было введено чрезвычайное положение. Заседал Государственный совет, генерал-губернатор непрерывно совещался с руководителями полиции и воинских частей. Вооруженные матросы с английских военных судов патрулировали на улицах. Продажная пресса вопила о необходимости принимать самые решительные меры.

Меры были приняты. Все те же, не оригинальные, но испытанные меры. Грянули винтовочные залпы. Тогда был убит один из видных профсоюзных активистов — Кандасвами.

Я бы мог приводить и приводить подобные примеры.

Сенатор Реджи Перера, речь о котором впереди, как-то рассказал мне бытующую на Цейлоне шутливую историю возникновения острова.

— Создавая землю, бог допустил множество грубых ошибок, от которых народы мира чертовски страдают. Одни страны получились у него чересчур холодными, другие — сверхжаркими. В одних — воды по горло, в других — лишь горячие бесплодные пески. Одни пестры от красок, как драгоценные ковры, другие уныло бесцветны. Возможно, что кто-то сказал об этом богу. А может быть,

он и сам хоть и с опозданием, но увидел свои промахи. Чтобы реабилитировать себя, продемонстрировать свои истинные возможности, он создал Цейлон.

Остров прекрасен, что верно, то верно: бог поработал на славу. Но кровь на благодатной цейлонской земле проливалась так же, как и на землях других бесчисленных стран — независимо, холодных ли, жарких, пестрых от красок или однообразно тусклых, но где класс капитала, класс эксплуататоров стремится держать в жестокой железной узде людей труда. Примеры из цейлонской истории только лишний раз подтверждают это.

Нынешняя забастовка в порту отличается от забастовок иных времен. Направлена она не против отдельных капиталистов, предпринимателей, эксплуататоров, а непосредственно против правительства, проводящего политику национализации. Клерков на забастовку подтолкнули те силы, которые непримиримо выступают против новой экономической политики. Положение создается сложное и путаное. Забастовка подрывает борьбу правительства против иностранной зависимости. Но, считая себя правительством национального освобождения, служащим интересам народа, оно к тем средствам, к каким до него прибегали правительства против забастовщиков, конечно же обратиться не может. А крупная буржуазия острова, оппозиционная правительству, хотя забастовка — это путь к раскачиванию народных стихий, путь опасный, готова ее всемерно поддерживать, лишь бы дискредитировать политику правительства. Что же в такой обстановке должны делать руководители профсоюзов, в том числе и вполне прогрессивных профсоюзов? Оторваться от стачечников, от масс? Неловко будет. Раздувать огонь забастовки? Тоже не очень хорошо. Во всем мире сегодня так: возникают неведомые ранее, путаные ситуации, щедро оплачиваемые зелеными бумажками заокеанского происхождения.

2

На первой странице вышедшей утром газеты «Цейлон дейли ньюс» — крупные фотоснимки. Верхний изображает момент открытия очередного конгресса Цейлонской федерации профсоюзов; стол президиума этого высокого заседания, за ним, все в белом, члены президиума; речь

держит президент федерации М. Дж. Мендис. А внизу — автомобиль с выбитыми стеклами, и сказано, что он был разгромлен во время уличной схватки между сторонниками президента федерации и кем-то другим, а кем именно, загадочно обойдено.

Чтобы разобраться в том, что произошло между открытием конгресса и уличной схваткой, надо перелистать несколько страничек истории.

В давние довоенные годы, лет пять подряд, в каждое одиннадцатое число ноября на улицах городов и сел Цейлона продавался желтый цветок — сурия мал. Поскольку парижских белых голубей на Цейлоне нет, пожалуй, даже в зоологическом саду, то сурия мал служит здешним символом мира. Название цветка дало тогда и название антиимпериалистическому движению на острове.

Во главе движения Сурия мал стояли молодые цейлонцы, поучившиеся в Англии, познакомившиеся там с марксизмом, связавшие себя с международным рабочим и коммунистическим движением. В работу Сурия мал они вовлекали рабочих фабрик, порта, чайных и каучуковых плантаций, часть ремесленников, крестьян, представителей прогрессивной интеллигенции. К ним потянулся даже кое-кто и из национальной буржуазии, поскольку Сурия мал развивала идеи борьбы за мир, особенно на Дальнем Востоке, в Юго-Восточной и Южной Азии, выступала против японской агрессии в Китае, собирала средства для оказания помощи участникам первой мировой войны.

В 1935 году наиболее активные деятели Сурия мал, в их числе и нынешний председатель Компартии Цейлона С. А. Викремасингхе, создали Цейлонскую социалистическую партию — Ланка сама самадж парти. Была эта партия весьма и весьма неоднородна; на первых порах в ней можно было увидеть и социалистов, и коммунистов, и даже просто пацифистов. Чем же она привлекала к себе цейлонцев? Их влекла к ней ее программа борьбы за независимость Цейлона, за то, чтобы трудящиеся острова смогли построить у себя социалистическое общество, как это уже делалось тогда в далекой Советской России.

Питер Кейнеман рассказывал мне, что к началу второй мировой войны партия Ланка сама самадж стала внушительной политической силой, можно даже считать, что она развернулась в широкий единый фронт всех про-

грессивных сил Цейлона. Под ее руководством один за другим создавались все новые и новые профсоюзы. Они проводили стачки, демонстрации, митинги. Активно работали возникшие в 1939 году Союз портовых рабочих и Союз рабочих предприятий Британской цейлонской корпорации. Рабочие уже не мыслили жизни без профессионального и политического объединения. В профсоюз объединились даже те, кто был занят производством тодди.

Но поскольку состав партии Ланка сама самадж был до крайности пестр и в партии не было единства, без которого не может существовать, не может быть боеспособной организация, поставившая перед собой крупные политические задачи, — в ней началась острая внутренняя борьба. Кончилось все тем, чем и должно было кончиться. Одни, чьи классовые интересы тянули вправо, к национальной буржуазии, так и пошли вправо, а впоследствии пришли и к троцкизму. Другие продолжали твердо отстаивать революционные позиции рабочего класса, быть верными марксизму-ленинизму. Путем различных комбинаций и политических мошенничеств правые добились исключения марксистов-ленинцев из Ланки сама самадж. Те, кого исключили, по сути дела, уже давно составляли в той социально рыхлой партии твердое коммунистическое ядро. Среди них были и С. А. Викремасингхе и нынешний президент Цейлонской федерации профсоюзов, который изображен сегодня в «Цейлон дейли ньюс» открывающим конгресс, — М. Дж. Мендис.

Это замечательный человек, товарищ Мендис. Не раз его арестовывали и бросали в тюрьмы, не раз на него накидывались на улицах, на себе он испытал, что такое удар полицейской дубинки. И на этот раз именно его автомобиль разбили наемные хулиганы после того, как, уверенный в правильности своего пути, президент покинул зал заседания конгресса. Но об этом чуть позже.

После исключения из Ланки сама самадж коммунисты и не подумали о сдаче позиций в революционных профсоюзах цейлонского рабочего класса. Напротив, они усилили политическую работу. В Коломбо для объединения всех профсоюзных сил был создан Рабочий клуб. Конечно же в его организации и в его работе активнейшую роль играл и он, М. Дж. Мендис. Цейлонская печать сообщила вскоре, что на 35 предприятиях Коломбо образовались профсоюзные организации, отстаивающие

права рабочего класса. На учредительном съезде тогда же было решено создать и ныне существующую Цейлонскую федерацию профсоюзов, очередной конгресс которой был созван в дни нашего пребывания на Цейлоне.

Революционные профсоюзы, идущие в фарватере Коммунистической партии Цейлона, сильны. Поэтому ни на день, ни на час не прекращаются попытки их ослабить, разъединить, расколоть. Используются любые средства. Во время парламентских выборов 1952 года, скажем, зная, что авторитетный лидер революционных профсоюзов непременно завоюет большинство избирателей в округе, правительство лишило его и права избирать и права избираться.

На этот раз произошло нечто иное. На конгрессе с раскольническими заявлениями и требованиями выступили сторонники одного из леваков, отколовшихся от коммунистической партии. Выступил, конечно, и сам «вождь» раскольников. Мендису, как выяснилось позже, заранее подготовили обструкцию. В зале конгресса сидели наемные типы — клакеры, обструкционисты.

Мендис, естественно, видя, как все подстроено, заявил, что в такой атмосфере работать не будет, и покинул зал; вместе с ним к дверям устремилась добрая половина участников конгресса.

Что же произошло дальше?

А дальше раскольники затворили двери зала заседаний, прекратили выпуск из него, поставив у входов здоровенных верзил, и пытались повести конгресс за собой.

На улице же тем временем на сторонников Мендиса напали нанятые за деньги малые с дубинками, с камнями, с кулаками. Их здесь называют гангстерами, но, по-моему, насколько я их разглядел, это обыкновенное уличное хулиганье. Немало профсоюзников попало в больницы. У М. Дж. Мендиса пострадал вот этот изображенный в газете, старенький, видавший виды автомобиль.

Некоторое время спустя мне удалось побеседовать с одним из тех, кто остался в зале заседания.

— Эти молодцы в президиуме после ухода товарища Мендиса создали для нас режим не лучше, чем в тюрьме. Мы еще пару дней заседали. Но как! Нас выпускали из дверей прямо в автобусы. Автобусами везли в общежитие. Никуда из общежития уходить было нельзя. Утром нас снова усаживали в автобусы, везли на заседание.

Двери за нашими спинами неизменно запирались. Вот так «свободно» мы изъявили свою «волю».

Нет, это не история, не далекое прошлое — стрельба по мирным рабочим демонстрациям, дубинки, гуляющие по головам, уличные жестокие схватки. Это не из книг, не из учебников. Это борьба классов. И она идет, не прекращается. Прекрасная Ланка, зеленый, сказочный остров в теплом Индийском океане,— он рай для туристов, для заезжих досужих людей. Но для тех, кто живет на острове, здесь все так же сложно и противоречиво, как и в любой другой стране, где все еще есть эксплуататоры и эксплуатируемые.

3

В один из таких жарких в жизни острова дней Питер Кейнеман сказал, что, если у меня найдется время, он бы мог показать мне еще одно любопытное местечко на Цейлоне.

— А что там на этот раз? — Я уже предвкушал интересную поездку. — Митинг или акулы-бэби?

— Забастовка на чайных плантациях.

Мы ехали еще в одном, новом направлении от Коломбо. Все на восток, на восток и слегка склоняясь к югу. Нам надо было через «город драгоценностей» Ратнапуру добраться до южных склонов горного района, к селению, или небольшому городку, Бандаравеле.

Я уже неплохо знал одну из трех основных сельскохозяйственных культур Цейлона — кокосовую пальму. Через десяток километров от Коломбо пальмы на нашей дороге исчезли. По обеим ее сторонам пошли плантации второй главной культуры — когда-то завезенной из Бразилии каучуконосной гевеи.

Всюду рощи, рощи, рощи ее, гевеи. Дерево для глаза, насмотревшегося на щедрую буйную цейлонскую зелень, непривычное. Тусклый цвет листвы с каким-то неживым пепельным налетом, меж деревьев почти ничего, кроме чахлых кустиков и жесткой, неприятной травы, не растет. Даже птиц нет в кронах гевеи. Может быть, их тусклые листья выдыхают что-либо мертвящее? Но факт остается фактом — все живое сторонится гевеи.

Когда-то по производству каучука Цейлон стоял ни много ни мало на третьем месте в мире. Орудовало здесь

до полутора десятков крупных английских компаний. Им принадлежали плантации, им принадлежали предприятия, перерабатывавшие каучуковое сырье — латекс, им принадлежали и фирмы, осуществлявшие экспорт.

Не знаю, на каком месте Цейлон по каучуку сейчас, но что во главе производства каучука по-прежнему англичане — это видно по непрерывно мелькающим вдоль дороги английским фабрикам. Плантации англичан в большинстве обнесены колючей проволокой, на их территорию Питер заходить не рекомендует не только потому, что там можно подцепить волосяных червей — ришту, но и потому, что представители владельцев способны учинить любой скандал: частная собственность есть частная собственность, и незыблемость принципов ее священна.

Но все же не посмотреть, как добывается на свете каучук, нельзя, и мы заходим под тихую, неживую сень гевей. Почти на каждом дереве, на стволе — косая опоясывающая бороздка надреза. По ней в подвязанную чашечку — половинку кокосового ореха — медленно бежит белый, как молоко, сок. Я перехватил в надрезе ствола одну из медленно плывших молочных струек, потянул ее оттуда, и она, отделенная от дерева, стала на глазах застывать и вот уже превратилась в нитку резины — уже растягивается и почти пригодна для ребячьей рогатки.

Но это еще далеко не резина. Рабочие ходят от дерева к дереву, сливают сок из чашечек в ведра. Ведра поступают на расположенную тут же, среди гевей, фабрику; там сок превращается в пластины каучука — уже в товар, готовый к экспорту, к дальнейшей обработке и превращению в промышленную резину.

Вот так капли капают в кокосовые чашечки; чашечки сливаются в ведра; штабелями складываются полученные пружинистые буроватые пластины — и все это фунты, фунты, миллионы фунтов стерлингов.

Как была бы богата страна, если бы чужие руки сотни лет подряд не выгребали из нее такие богатства! Португальцы и голландцы рубили тик, эбеновое дерево, палисандр и увозили, не оставляя взамен почти ничего. Они набросились на свободно произраставшее в джунглях коричное дерево, и уже к концу XVIII века оно осталось только на плантациях. Сейчас его и там почти нет. Очень мало осталось арековой пальмы, плоды ко-

торой идут в состав жвачки бетеля, столь популярной и на самом Цейлоне и в Индии. Было на острове свое какао, был кардамон и много других ценных культур. Из них еще как-то существует папайя с приятными на вкус, ценными по содержанию плодами — подобиями дынь, вырастающих на древовидных, в полтора-два человеческих роста растениях. Живет, правда, еще и цитронелла — лимонная трава, высоко ценящееся эфиромасличное растение.

Кое-что из этого былого богатства мелькает по сторонам нашего пути и до Ратнапуры и после нее.

Ратнапура поистине «город драгоценностей». Во всех здешних лавчонках на подносах и в чашах ворохами лежат необработанные рубины, хризолиты, аметисты, сапфиры, гранаты, топазы... Их добывают в окрестных горах, в неглубоких примитивных шахтах и шахтенках. Обработкой, гранением камней, как рассказывают, и до сих пор занимаются по наследству перенявшие это искусство от отцов и дедов так называемые цейлонские мавры — потомки забредавших сюда в далекие-далекие времена арабов, чьими женами становились сингалки.

За Ратнапурой дорога пошла по южным склонам то зеленых, то скалистых гор, огибая центральный горный массив острова. Начались крутости, обрывы, водопады. Слева в дымке оставалась одна из наиболее значительных цейлонских вершин — Адамов пик, высотой более семи тысяч футов, что на наш счет два с четвертью километра.

Как вскоре после Коломбо кончились плантации кокосовых пальм и пошли плантации гевеи, так тут назад отошли гевеи и начались террасы рисовых полей.

В грязи по колено, голые (не видно даже никаких самых минимальных одежд) люди тяжелыми мотыгами мотыжат жидкую землю. За ними, как у нас грачи за пахарями, бродят — я видел это уже по дороге в Канди — изящные белые цапли. Появилось зверье. Через дорогу, стащив у дорожных рабочих не то молот, не то скребок, торжествуя, пронеслись две довольно крупные обезьяны. Прошмыгнул зверек наподобие лисы, только уж очень тощий.

— А я здесь не со всеми знаком, — ответил Питер на мой вопрос о зверьке.

Вихляя боками, волоча тяжелый хвост и оглядываясь, довольно резво пересек дорогу по горячему

асфальту ящер сантиметров семидесяти длиной. Я попросил остановиться и ринулся посмотреть на это существо. Ящер, отбежав от дороги, замер на мгновение, повернул ко мне голову, и я увидел его глаза, от взгляда которых стало не по себе. Он смотрел на меня и в то же время как-то сквозь меня, в неведомое мне, глазами тех первобытных чудищ, которых любили изображать в старых книгах, повествовавших о происхождении жизни на Земле. Эти хвостатые, гребнистые обитатели древней Земли такими глазами смотрели и тридцать и пятьдесят миллионов лет назад. Миллионы, десятки миллионов лет как бы застыли во взгляде уцелевших потомков давным-давно вымершего.

Питер, когда мы отправились дальше, рассказал, что рисовых полей на острове довольно много, но урожаи на них неважные, и своим рисом Цейлон едва покрывает половину потребности, а то, пожалуй, и меньше половины, остальное приходится закупать за границей.

— Две трети острова покрыты джунглями. Если бы хоть десятую часть из них разделать, окультурить, мы могли бы ни в чем не нуждаться. — Он помолчал, добавил: — Еще беда в том, что нашими реками плодородие острова уносится в океан. Вы видели наши реки, какие они мутные. Что какао. Они почти все текут с гор, из центра острова, и так радиально с дождевой водой уносят и уносят питательные вещества из почвы. В других странах — в Египте, например,— реки несут на поля плодородие. А у нас они его уносят. Не могу спокойно смотреть на наши реки. Что делать с ними?

Понемногу мы начали взбираться в горы; и гевеи и рис постепенно сменялись иной растительностью. На склонах гор открылись характерные для нашей Аджарии пейзажи: ряды округлых, оглаженных чайных кустов. Вот она, третья главнейшая сельскохозяйственная культура Цейлона.

В сторону юга, тех мест, где до самого океана, до южной оконечности острова, раскинулись сырые, болотистые джунгли и открытые пространства, изрезанные реками и озерами, с гор было видно так, как видится на рельефных картах. Там было зелено, там дымилось от испарений. Там живут дикие слоны, огромные крокодилы до семи-восьми метров длиной, ночные и дневные хищники. Там кишит живность. Простым глазом с оче-

редного поворота дороги мы разглядели озеро с островком посередине, на который многотысячными стаями-тучами садились птицы. За несколько километров был слышен их пронзительно-скрипучий грай.

Это там, вправо, к югу. А с левой стороны — все горы и горы, и на их склонах все чай и чай. Трех- четырехэтажные, почти целиком из стекла, похожие на многопалубные океанские корабли, почему-то заплывшие в горы, здания чайных фабрик отражают свет солнца в своих широких корабельных окнах, и порой кажется, что там в них бушует пожар.

Это не клочки рисовых полей и даже не плантацийки мелких хозяев кокосовых пальм. Тут край крупных землевладельцев, цейлонских феодалов, сдавших свою землю англичанам. Тут царят мощные, всемирно известные английские чайные компании. Своих позиций они сдавать не собираются. Где только в мире не увидишь желтые пакеты чая с наименованием фирмы «Липтон»! Я помню внушительное здание этой фирмы в Лондоне. Его даже с самолета различишь по надписи на крыше. Чай — это, пожалуй, еще большее число миллионов фунтов стерлингов, чем дают их гевеи, истекающие соком во имя барышей английских плантаторов.

На днях мне подарили иллюстрированный ежегодник одной из цейлонских газет. Там весьма трогательно описана история чая «Липтон». Начинается она так:

«Летом 1890 года Томас Липтон купил себе билет до Австралии. Он, по его словам, нуждался в отдыхе. Может быть, и правда, он в этом нуждался, но у него были и другие намерения. На Цейлоне при встрече со своим человеком, которого он послал туда раньше себя, Липтон спросил:

— Есть ли здесь какие-либо перспективы?

— Есть, и очень радужные, сэр!

— Тогда я, пожалуй, прерву свое путешествие».

Дальше идет интересное описание Коломбо того времени. Я узнал, что наш отель «Тапробана» существовал уже в те времена; назывался он «Большим Восточным» и, в сущности, был единственно приличным отелем в городе, потому что на месте нынешнего, тоже хорошего отеля «Голл фейс» тогда стоял загон для лошадей располагавшегося на зеленом поле «Голл фейс грин» ипподрома. А в остальном: «Та же влажная жара, тот же ослепительный солнечный свет, затененные бульвары,

индийские магазины, шелка, изящество, сапфиры, тамилки с красными кружочками на лбах, тротуары, заплеванные соком бетеля, рикши, караулы возле королевского дворца, атмосфера суматохи и процветания, всеобщей надежды...»

Липтон появился в тропиках не без неисчислимой выгоды для себя, для своей торговли, для своих магазинов. Он, рассказывалось читателям ежегодника, не мог выбрать более подходящего момента. Более двухсот лет в Англии пили чай. Его начали пить в то время, когда появились и два других «великих напитка» — шоколад и кофе, то есть с середины семнадцатого века. Супруга Карла Второго всячески поощряла употребление чая, «поскольку от спирта и вина, которыми они привыкли разогревать себя, придворные леди изрядно-таки утрачивали разум как днем, так и ночью». Но чай был очень дорог во все времена, его возили из Китая, перевозка требовала много времени и больших средств. Потом вдруг выяснилось, что в Индии чай — напиток простого люда, что чай превосходно можно выращивать в той сказочной стране. Начало девяностых годов прошлого столетия было отмечено крутой волной чайного бума. Все шумели вокруг Индии, а смекалистый Томас Липтон решил разведать возможности Цейлона.

— Вы можете, сэр, купить здесь любое поместье, любую землю за бесценок, — сказало ему его доверенное лицо.

Липтон тотчас отправился в поездку по острову. И это было началом его грандиозного процветания. Он успел скупить наилучшие участки, значительно опередив других предпринимателей и много выиграв на этом. Цейлонский чай обернулся для него чистым золотом. В золотые монеты превращался зеленый чайный лист для десятков предприимчивых англичан.

С десяток лет назад в бухте Монако, на виду знаменитого казино Монте-Карло, я видел до полусотни собравшихся там роскошных морских яхт крупнейших промышленников и денежных тузов мира. Тот, кто показывал мне это княжество, один из старых русских эмигрантов, сказал: «Вон видите ту, у которой на трубе желтая полоса? Владелец ее сколотил огромный капиталище, торгуя чаем».

Кое-что, естественно, перепадает и цейлонским держателям земли, пригодной для развития чая.

— Лет восемь назад был случай, — заговорил Питер, не оборачиваясь, потому что дорога шла по отчаянным обрывам. — Умер один из крупных феодалов. Денег он накопил уймищу. А наследников у него — одна дочь, бабуся лет этак шестидесяти, старая дева. Считалась она не слишком сильной умом. А тут разные любители поднагреть руки у чужого огня и вовсе объявили ее женщиной не в себе. Набежали всякие, учредили опекунский совет. Жулье, конечно. Облапошивали старуху, денежки ее мало-помалу переходили в карманы опекунов. Но не так уж бабушка была слаба умом. Кто-то ее надоумил подать в суд, дабы опротестовать правомочность этого опекунского совета. Подала. Идет дело, судья, чтобы убедиться в умственных способностях истицы, задает вопросики. Был он из независимых, любил щегольнуть объективностью. Ему было совершенно наплевать, какие там тузы вели интригу против старухи со стороны опекунского совета. А среди них были даже козырные фигуры — вплоть до спикера парламента. «Что вы, досточтенная леди, сделаете с деньгами, когда получите возможность распоряжаться ими по своему усмотрению?» — спрашивает судья праведный старуху. «Прежде всего, господин судья, поставлю памятник своему отцу». — «Отличный ответ. Далеко не все так поступают по отношению к своим родителям. Так-так. Затем?» — «Затем, господин судья, соберу по окрестным селениям всех бездомных кошек и буду о них заботиться». — «Ну что ж, и это дело хорошее». И присудил все большое наследство старухе на ее кошек, черт возьми! — Питер помолчал. — Кстати, — заговорил он снова, — о том спикере парламента, которого я помянул. Гуляка он был выдающийся. Утверждают, что несколько сотен девчонок перебывали у него в постели. Он умер при мне, прямо в парламенте. Сидел вот так неподалеку в кресле и вдруг повалился. Успел сказать только одно: «Вот не думал, что умру столь бездарной смертью. Все ждал, что пырнет ножом какой-нибудь ревнивый муж или любовник».

Раза два мы пересекли петляющую в горах в сторону Бандаравелы железную дорогу. Она скорее похожа на детскую дорогу: игрушечные рельсы и шпалы, игрушечные семафорики, паровозики, вагончики. Англичане перевезли ее в свое время из Африки, когда стали больше придавать значения Цейлону. Увидели мы и конечную станцию, когда проезжали Бандаравелу. Оттуда поезда

дальше в горы не идут, а нам надо дальше, хотя позади уже около двухсот километров пути.

Еще с полчаса петляния по кручам над обрывами среди чайных плантаций, чайных стеклянных фабрик, среди приземистых, убогих бараков, в которых живут плантационные рабочие. В подавляющем большинстве это тамилы, выходцы из Индии, с ее юга, из провинции, в центре которой стоит на берегу Бенгальского залива большой и красивый город Мадрас.

За очередным поворотом дороги открылся очередной склон; по нему круто в гору подымались террасы чайных кустов. А среди них, перед ними и на дороге под склоном — многие сотни обожженных беспощадным горным солнцем темнокожих людей. Не только мужчины, но и женщины, дети в стареньких, заплатанных пестрых одеждах.

Питера, как всегда, ждали; нас обступила густая толпа. Нам рассказывают, что на плантациях этой фирмы забастовало три тысячи рабочих — пропольщиков и сборщиков чая. Из возмущенных выкриков постепенно складывается картина. В то время как управляющий плантационным хозяйством, или, по-здешнему, суперинтендант, англичанин Годлер живет в роскошном бунгало, окруженном цветущими кустами и деревьями, рабочие теснятся в старых, прогнивших бараках. Школа для их детей — это скорее конюшня, чем школа. А учат детей в ней только до такого возраста, когда их уже можно отправлять на работу на чайные плантации. За день тяжелого труда под убийственным солнцем сборщик должен собрать двадцать три фунта листа, и получит он в таком случае все равно не более двух рупий.

Рабочие, забастовав, выдвинули ряд требований. Прежде всего повысить оплату труда хотя бы на рупию, на полрупии в день. Среди других есть и такое требование: чтобы в лавочке, принадлежащей хозяевам плантаций, продавали порошковое молоко. Я удивился. У нас, напротив, не очень-то любят это порошковое, требуют натурального, да к тому же еще и парного. Но то «у нас», а это «у них». «Порошковое» не прокиснет в жару, не испортится; его можно долго хранить, а значит, и накапливать на «черный день», каких у плантационных рабочих в году немало.

С приездом Питера начался митинг, тут же, среди чайных кустов, под неистовым солнцем. Ораторы один

за другим взбирались на притащенный откуда-то стол и с такой трибуны говорили горячо, страстно. Один рабочий заговорил об управляющем Годлере, называя его Гитлером и говоря о нем, как о Гитлере. Толком здесь, как я понял, о Гитлере никто ничего не знал. Знали одно: был на свете такой негодяй, творец зла людям, и это высшая степень негодяйства — быть Гитлером или похожим на него.

Странно в наши дни видеть классического для минувших веков управляющего плантациями, который ездит в фаэтоне, ходит в колониальном пробковом шлеме, всегда с увесистой палкой в руках и с пистолетом в кармане. А вот, оказывается, они еще водятся, такие типы, взирающие на рабочих почти как на своих рабов.

Протестовать против беззаконий, творимых администраторами плантаций, далеко не безопасно. Всего с десяток лет назад, во время одной из очередных забастовок на чайных плантациях, охрана, открывшая огонь по приказу управляющего, ранила более двадцати человек. Эти управляющие — немалые самодуры, и народ они жестокий. Как раз таких подбирают себе хозяева плантаций.

Годлер также оказался непростым типом. Забастовка длится уже двадцать дней. Чайный лист израстает, портится, на двадцать второй день он уже придет в полную негодность, и компания потерпит немалый убыток. Но плантаторы со своим верным Годлером готовы и на убытки, лишь бы не уступить рабочим.

На столе тонкая, стройная девушка-тамилка в стареньком, когда-то голубом, но сейчас уже и не поймешь какого цвета давно изношенном сари с трогательными заплатками. Она говорит спокойно, видимо, очень убедительно, ее слушают с напряженным вниманием. Мне рассказывают, что это дочь рабочего, активистка из профсоюзного комитета плантационных рабочих.

За девушкой выступил Питер, при появлении которого за столом очень долго аплодировали.

— Я не имею чести быть знакомым с господином Годлером, — заговорил он. — Но после того, что я тут о нем услышал, у меня не возникло ни малейшего желания знакомиться с этим джентльменом.

О многом говорил Питер, воспользовавшись большой и жадной на новое призывное слово аудиторией.

Собравшиеся рабочие постановили забастовку продолжать до победного конца. Через два дня компания примется подсчитывать убытки. Может быть, тогда хозяева будут покладистей. А два-то дня рабочие еще выдержат. Выдержат и больше, если понадобится. Они привыкли к лишениям.

Наконец-то я понял, какое значение для них имеет непортящееся порошковое молоко, которое «можно накапливать»; понятным стало и нежелание плантаторов снабжать долго не портящимся продуктом своих рабочих.

После митинга мы заехали в оффис — в домик одного из профсоюзов, ведущих работу на здешних плантациях.

Домик этот — почти сарай — стоит над обрывом на горной круче. Клок земли, на котором он выстроен, был частной собственностью человека, и сейчас являющегося профсоюзным работником. Он отдал свою землю под это профсоюзное зданьице. Из окон домика видны зеленые дали: все те же южные джунгли, в которых полно диких зверей. В самом домике до крайности бедно: деревянный простой стол, несколько очень простых самодельных стульев; на стене портреты Ленина и Сталина. За дощатой перегородкой — маленькая комнатка. Там всегда ночует кто-либо из профсоюзников. Был случай, когда на оффис напали подосланные хулиганы. Профсоюзники отстаивали свой дом. Та девушка в стареньком сари, которая только что выступала на митинге, в тот раз, как о ней рассказывают, дралась с напавшими, подобно молодой тигрице. Лупила табуреткой по головам, швырялась камнями, горшками, палками. Такова местная обстановка для профсоюзной работы, ничего не поделаешь, это вам не Советский Союз, куда, кстати, девушка очень хочет поехать учиться. Средств у нее для этого нет, а послать на казенные средства? Кто же это сделает? Господин Годлер и его хозяева? Но надежду она все-таки не теряет.

Заночевали мы в одном из горных рестхаузов, над бурной, всю ночь бушевавшей речкой. Странно, но мне было холодно на тропическом Цейлоне даже под толстым белым одеялом из ворсистой шерсти. Снова вспомнились рассказы о том, что на Цейлоне есть места, где по вечерам люди сиживают у камина.

Утром, чуть свет, разбудили птицы, в несметном множестве распевавшие на все голоса в окрестностях. В их хор время от времени вступал голос самого

обыкновенного домашнего петуха. Но, конечно, в таком голосистом окружении петька тоже старался: последние ноты своих незамысловатых мелодий он как-то растягивал — может быть, полагая, что его все-таки примут за павлина, хотя павлиньему «пению» и вовсе завидовать не к чему. Но ведь зато перо какое!

Раздвинув стену комнаты, я вышел на балкончик, который висел прямо над потоком. По камням медленно ползла пестрая озябшая змея метров двух длиной, в воде навстречу потоку пробивались большие сильные рыбы, поток их отбрасывал назад. Птицы, большие и малые, во всех направлениях резали воздух меж нависшими над водой деревьями. Было невозможно холодно, «не более» двадцати градусов выше нуля. Да, на свете все сравнительно и все относительно.

СЕНАТОР-ПОЭТ

1

За рулем плотный, грузный на вид, но на деле чрезвычайно подвижный и живой человек с легкой проседью в черных, слегка вьющихся волосах. Лицо у него смуглое, глаза серьезные, с непрерывно вспыхивающими в них огнями мысли.

Автомобиль чуть пошире нашего «Москвича», а набилось в него семь человек. Сидим почти друг на друге. Кроме самого владельца и нас в автомобиле еще трое из семьи хозяина: жена, дети и его шофер.

Хозяин везет нас вдоль океана на север — показать новые места на острове, в том числе свое именьице с плантациями кокосовых пальм.

Это сенатор Реджи Перера — плантатор, издатель, поэт, общественный деятель, создатель и держатель собственного клуба творческой интеллигенции, один из очень заметных людей Цейлона.

Сначала мы едем по знакомой нам дороге, по которой Владимир Павлович Байдаков когда-то вез нас с аэродрома Катунаяке в Коломбо. За Катунаяке начинаются места нам незнакомые, и прежде всего возникает Негомбо — прибрежный городок рыбаков. Весь берег здесь в лодках и катамаранах. Лодки и катамараны по

всему горизонту раскинуты в океане; океан шумит, сегодня он неспокоен, в пенистых синих волнах.

В сотне метров от берега под пальмами и баньянами расположился крытый рыбный рынок. Плодами моря завалены прилавки, лотки, заполнены корзины и ящики. Здесь рачки и креветки, среди которых — и маленькие, размером с мизинец, почти прозрачные, как льдинки, и клешнястые, грозные на вид, зелено-черные, угрюмые морские раки. За креветками, рачками и раками следуют крабы всех размеров, вплоть до таких, что на них можно ездить верхом. Рыбы тоже — от подобных снеткам малявок до мертвых тунцов и двухметровых акул. У акул еще дергаются их зубастые пасти, холодные, оловянные глазки злобно смотрят на толпу покупателей, движущуюся вдоль прилавков и лотков. Странно выглядят разрубленные туши дельфинов: кожа рыбья, а мясо очень смахивает на говяжье. Рыбы тут всяческие: и подобные отлично начищенным сабельным клинкам, длинные и узкие; и пузатые, как арбузы, такие же зеленые при этом и полосатые; есть темные, есть светлые, тупорылые и остроносые; есть такие, что их не отличить от змей.

Все это охотно раскупается, потому что все оно до предела свежее — только что из океана. Поддается соблазну и наш сенатор. Он, тщательно и придирчиво выбирая по штучке, покупает несколько десятков креветок какого-то особого сорта.

За рыбацким Негомбо сворачиваем на северо-восток, едем вдоль водной магистрали, в которой по строгой прямизне берегов нетрудно узнать канал.

— Да, конечно, это канал, — объясняет сенатор. — Рыли его при голландцах. Эти парни без каналов жить не могут нигде. Прорыли, вот видите, вместо того чтобы построить шоссе, и по этой воде вывозили из глубин острова драгоценное дерево, пряности — словом, наши богатства. А не задумывались над тем, какое зло, нарушая природные условия, складывавшиеся тысячелетиями, причиняют нашему народу. Видите, окрестные болота, залитый водой лес, мелкий, скорее похожий на кустарник? По каналам голландцев сюда проникла морская вода, засолила почву, и вот вам печальные результаты. С природой панибратствовать нельзя. Человек — частица природы, и, когда он начинает высокомерно полагать, что природа — частица его, он почти всегда получает весьма чувствительный удар по затылку.

Перера плотно, уверенно сидит за рулем. Мелькают мимо нас одно за другим живописные селения. Дома в них хорошие, просторные, каменные. Время от времени попадаются христианские церкви. Женщины, которых мы видим в селениях, одеты в черное, на смуглых шеях крестики: золотые, серебряные, из простого, черного металла.

— В этих краях в основном живут католики, — рассказывает сенатор. — Исстари повелась здесь христианская вера, еще, должно быть, со времен португальцев. Католиков вы можете узнать, даже не видя крестов на шеях. Католики едят мясо. Вы найдете его во всех местных лавочках. В буддийских селениях этого нет. Там почти все жители — вегетарианцы. Ну, еще едят рыбу, конечно. Католики во всех отношениях живут богаче буддистов или индуистов. У них тут, на побережье, и рыбные промыслы процветают, и веселым тодди они торгуют... Кстати, вы пробовали когда-нибудь тодди? Нет? Ну, тогда мы должны остановиться.

Останавливаемся возле лавчонки наподобие нашего пивного ларька; из глиняных кувшинов нам наливают по стакану смахивающей на кумыс голубовато-белой жидкости. Удивительно, но и по вкусу жидкость эта напоминает именно кумыс. Она прохладная, пьется легко, с приятностью, освежает. Правда, освежив, довольно скоро начинает тебя и веселить, звать к действиям, к подвигам. Сенатор закупает изрядный запас тодди. Погрузив бутыли в багажник, снова едем. Разговор становится живей. Скачем с темы на тему.

— Вот видите красивые яблочки? Верно, красивые? — спрашивает сенатор, указывая на яркие плоды, усыпавшие ветви невзрачных деревцев вдоль дороги. — Красивые-то они красивые, а откуси кусочек — и на тот свет отправишься. Это чилибуха, или рвотный орех. Из семян, которые в этих «яблочках», добывают стрихнин! — Помолчав, он добавляет: — Перед убийством Соломона Бандаранаике монахи в плоды чилибухи палили из кольтов. Учились попадать в «яблочко».

— Расскажите, что вам известно о той трагедии?

— Вы еще не были в Келании?

— Нет.

— Надо побывать. Там находится знаменитый буддийский храм. В одной из келий монастыря в Келании проживал монах Самарама. И вот, как вам известно, два-

дцать пятого сентября тысяча девятьсот пятьдесят девятого года, спокойно пройдя мимо часового, который стоял у входа, как говорится, «для мебели», в резиденцию Соломона Бандаранаике, якобы на прием, в тот час, когда к премьер-министру мог беспрепятственно явиться каждый, пришли три монаха, а среди них и помянутый мною Самарама.

— Это было в резиденции «Темпл триз»?

— Нет, не в «Темпл триз». Премьер жил на одной из тихих зеленых улиц, каких в Коломбо, вы знаете, множество, — на Росмэд плейс. Итак, пришли три монаха, и, когда премьер вышел из своего кабинета на веранду, чтобы пригласить следующего посетителя, Самарама шагнул к нему... Один за другим загремели выстрелы в упор. Тогда только вспомнил о своих обязанностях часовой. Он тоже выстрелил и ранил Самараму. Бандаранаике назавтра умер от ран. Дальше началась бесконечная канитель: следствие за следствием и всяческая путаница. В печать проникли сведения о том, что на гильзах патронов, вылетевших при стрельбе из пистолета Самарамы, были выбиты знаки полицейского арсенала в Коломбо. Выяснили, что пистолет принадлежал одному из главных персонажей «Католического действия», Осси Кореа, но Самараме его вручил чуть ли не настоятель монастыря в Келании. Темное, словом, дело и отвратительно скандальное. Уже был новый премьер, а массы, общественность не унимались, требовали разоблачения и наказания всех виновных. В парламенте шли бурные заседания. Однажды даже поставили на голосование вотум недоверия правительству и требование образовать парламентскую комиссию по расследованию обвинений, выдвинутых против нового премьера. От еще большей бучи премьера спас всего один голос. Вотум и это требование были отклонены семьюдесятью шестью голосами против семидесяти пяти.

— Ну и чем же все кончилось?

— Чем? Через тридцать четыре месяца после убийства Бандаранаике, шестого июля шестьдесят второго года, монаха Самараму вывели на тюремный двор — вы тюрьму в Коломбо видели? — и повесили. А все остальные: кто снабдил его пистолетом, патронами, кто толкнул его на убийство, кому это было надобно, — они... — Перера развел руками, выпустив на миг руль автомобиля; потом плюнул за окно. — Кстати, — добавил

он, — за сутки перед казнью буддийский монах принял католичество. Кому и на какого черта понадобилась эта комедия? Кто-то, видимо, здорово морочил ему голову.

За разговором мы незаметно добрались до имения сенатора Переры. Среди пальм стоял обычный, продуваемый ветром, со всех сторон открытый дом среднесостоятельного цейлонца. Мебель самая необходимая, простая. Ни сенатор, ни его семья здесь постоянно не живут, только наездами. Хозяйство ведется двумя-тремя работниками, которые снимают урожай кокосов, сдают продукцию соответствующим фирмам, получают для сенатора деньги. Себе они выращивают лишь различные съедобные растения, львиную долю среди которых составляют перцы и травки для нестерпимо острых приправ. Все это нам охотно показывают. Из плодородной почвы выдергивают клубни ямса, похожие на картофель, бататы, тоже подобные крупным картофелинам, маниоку (она же и тапиока) с клубнями, напоминающими нашу «земляную грушу». Мне уже приходилось пробовать эти плоды в харчевнях и ресторанах Коломбо, и все, кроме батата, который сладковат, почти неотличимы по вкусу от картофеля.

— Англичане пробыли на острове сто пятьдесят лет, — сказал сенатор, — но своими обычаями и привычками не поступились ни на дюйм. В отличие от португальцев и голландцев они не желали жениться на сингалках, предпочитая молодых местных красавиц держать в домах служанками. Они сюда, где столько превосходных плодов природы, возили черт знает откуда — из своей Англии — картофель для гарниров и овсянку для утренней каши. Ну почему бы не есть ямс и рис? Особенно противно то, что, глядя на них, подражая им, от местных плодов стали отворачиваться и мои соотечественники — из тех, которые «англизировались».

Сидя на сквознячке на веранде, мы попивали тодди, закупленное по дороге.

Сенатор захотел почитать свои стихи.

— Вы слыхали когда-нибудь о Кандасвами? — спросил он.

— О том профсоюзном активисте, который был убит в сорок седьмом году на улицах Коломбо?

— Да, именно пятого июня тысяча девятьсот сорок седьмого года. Он шел в первом ряду демонстрантов и был убит на мостовой. Послушайте!

Сенатор стал читать, Мира Салганик переводила:

Еще миг назад он был здесь.
Его сердце рвалось к эпицентру песни.
Он в такт шагам выкрикивал лозунги,
А может быть, в такт пульсации крови в его жилах?
Полдень еще не наступил,
И память утра витала над нами,
Солнце не успело выжечь всю влагу
С травы и неподвижных листьев.

Еще миг назад он был здесь.
Уносимый потоком грозных голосов,
Он шагал уверенно, несокрушимо,
Шел в будущее, шел в жизнь, а не в смерть.

Полдень еще не наступил,
Когда пуля просвистела приговор ему.
Солнце жадно пило с мостовой
Кровь тревожную,
Как с распятия Христа.

Не знаю, кому как, но мне это стихотворение цейлонского сенатора Реджи Переры понравилось, и я сказал автору, что непременно познакомлю с ним советских читателей.

— Если так, — сказал автор, перелистывая свою тетрадь, — то послушайте еще одно. Называется оно «Ярость бури».

Я понимаю ярость бури,
в ветвях ревущей
и визжащей
в паутине спутанных проводов.
Бурей взметенные,
волны хлещут берег,
неумолимые, неукротимые.
И, разлетаясь пеной, обрывки волн
шипят, как змеи
в каменных расщелинах.
Там, далеко, где угрюмое небо
опускается в свинцовый бессолнечный океан,
там в гневе
клубятся тучи.
По-разбойничьи скользят они по небу,
как мстители ночные,
закрывшие лица плащами.
А вы, вы понимаете всю ярость бури?
Вы поняли бы все, увидев
детей с несытыми и жадными глазами,
горящими на лицах, опечаленных голодом;
если б вы увидели,
как роются они в мусорных ящиках,

как ищут хлеб, хоть корочку, хоть крошку!
Вы поняли бы все, увидев
мужчин и женщин в поту
полдневного прилива их жизней,
которые сумрачно выкашливают себе путь в могилу.
Вы поняли бы все, увидев
стариков, изломанных на наковальне жизни
и выдыхающих ее последние мгновенья
среди мусорных куч и отбросов.
Раскройте сердца — и вы поймете
ярость бури,
гром в небесах
и молнию во мраке.

Это стихотворение тоже пришлось мне по душе. Сенатор буржуазной страны смотрел на явления жизни с классовых позиций, причем явно становясь на позицию трудящихся, эксплуатируемых масс. Это не был какой-нибудь треугольный кукиш в кармане, это были ощутимые удары в набатный колокол. Я вспомнил некоторых наших стихослагающих сверчков, которые видятся себе гигантами поэтической мысли. Насколько же они в общественном отношении отсталей и неразвитей этого переполненного высоким волнением человека из далекой жаркой древней страны!

— Скажите, — спросил я, — а лирические стихотворения вы пишете?

Сенатор задумался, отхлебнул из стакана тодди.

— Вот,— ответил он,— слушайте. «Апрельское солнце».

Добела раскаленные краски закипают и плавятся
под лучами апрельского солнца-алхимика.
Фламбоянт колышет свои пламенеющие лучи,
будто идет по улице женщина,
чувственная, бесстыдная,
завернутая в алое покрывало.
Храмовые цветы, потупленные, все в белом,
перевешиваются через изгородь,
как послушницы,
впервые услышавшие зов жизни.
В прозрачно-изумрудных рощах
гнется красный и пурпурный гибискус,
как танцовщица, опьяненная
ритмом извечного танца.
Как неприметно склоняется солнце,
готовясь к обильной жатве!
Уже зазолотились плоды манго,
и тамаринд налился жизненной силой.
В дремотный уют пышных листьев
откинулись тыквы и дыни,

отяжелевшие, как женщины.
Вечер заливает мир.
Долго не хочет уступить апрельское солнце,
но затихает листва,
и прячутся в нее цветы и фрукты.
Все краски дня стекают в чашу ночи.

Ничего не скажешь, интересные стихи, своеобразные, очень образные. Я стал говорить об этом Перере. Но он почти не слушал, раздумывая, очевидно, что же прочесть еще.

— Вот! — сказал. — Это размышления о возможности ядерной войны. «Последнее предупреждение».

В корчах боли
умирает огонек свечи.
Мне кажется, я слышу,
как он глотает воздух.

Мне кажется, я чувствую
агонию свечи.
Танцует огонек
зловещий танец смерти,
по стенам — теней хоровод
бредовою гирляндой.

Пламя умирает,
и тает мягкая плоть свечи,
что-то шепчет огонь в агонии,
но мир не слышит его.

Бесчувственный, непонятливый,
я смотрел на мерцание свечи...
Темнота становилась все гуще.
Я молился за угасший огонь.

Холодный ночной ветер
прошуршал умершей листвой.
Шепот умершего пламени
был стоном мертвецов из могилы.

Сенатор хочет размышлять о том, что ждет людей земли в будущем, хочет осмыслить путь человечества. Пустопорожнее чириканье в рифму — это не для него, не те времена, чтобы безмятежничать.

В тот день мы объехали в тесном автомобильчике Реджи Переры много интересных мест. На обратном пути завернули в усадьбу его друзей. В тени старых бананов перед нами предстал старый дом с верандами,

с террасами, на которых стояли удобные старые кресла. Нам подавали чай, неторопливо текла беседа, никто никуда не спешил. Глушь, провинция, до Коломбо, с его шумом и суетой, бесконечно далеко. В ветвях деревьев пасвистывают птицы, над цветочными клумбами подымаются и опускаются большие яркие бабочки. Было ощущение, будто бы смотришь старый кинофильм из жизни помещиков девятнадцатого, а может быть, еще и восемнадцатого века. Хозяева были гостеприимные, радушные, просвещенные, имеющие представление о Советском Союзе, о советских людях. Были здесь, конечно, красивые, статные женщины в сари, с благородными лицами и неспешными, изящными движениями рук, были хорошо одетые джентльмены. Так, в такой обстановке, при таком укладе быта жили когда-то на Цейлоне среди плантаций португальцы и голландцы, затем — англичане, от которых помещичий, усадебный быт переняли и состоятельные цейлонцы.

2

Спустя несколько дней мы побывали в городском доме Реджи Переры, в Маунт Лавинии, поблизости от известного отеля на прибрежной скале. Из окон дома сенатора виден океан, комнаты полны морским дыханием. Перера — собиратель местных редкостей. У него много интересных предметов цейлонской старины, среди них большая коллекция барабанов.

— Вы слышали барабаны сингалов? Только в храме в Канди? О! — Он позвал одного из своих сыновей. — Сейчас мы вам продемонстрируем сингальские барабаны. Мой сын ими отлично владеет.

Надо отдать должное, барабан в умелых, мастерских руках — впечатляющий инструмент.

Барабаны тут были и маленькие — с небольшой бочоночек, и средние — с этакую кадушку для соления рыжиков или груздей, и размерами чуть ли не с пивную бочку. Все, конечно, они удлиненной, вытянутой формы, обтянутые специально выделанными звериными шкурами, ярко, пестро разукрашенные. Одни из них боевые, предназначенные для того, чтобы, взвинтив своим грохотом войска перед боем, повести их за собой в атаку, на штурм, на врага. Другие — под ритмичный стук кото-

рых танцуют древние и современные народные танцы. Третьи — для культовых, религиозных церемоний. Четвертые — для театра... Сын сенатора священнодействовал над каждым из них. Барабаны то грозно ревели, то вовлекали тебя в такой подмывающий ритм, что ты невольно поддавался ему, и ритм барабана ходил по всему твоему телу; барабаны могут, оказывается, говорить почти шепотом, могут стонать и даже могут петь.

Потом молодой барабанщик трубил в морскую раковину. Раковина издавала тягучий нездешний звук, на память приходили страшные морские истории, фантастические романы, подобные «Человеку-амфибии», где среди волн так трубил в сумерках Ихтиандр. Раковина была красивая, отливала опалово-жемчужными цветами, весила, наверно, килограмма два. Точно такие же мальчишки вытаскивали из океана в Хиккадуве, когда мы ездили туда с Питером Кейнеманом. Можно было захватить парочку этих диковинок и привезти в Москву. Но они были так неправдоподобно роскошны, что, пожалуй, никто бы не поверил в подлинную историю их появления в твоей московской квартире. Все равно думали бы, что они из комиссионного магазина на Арбате.

Мне стало завидно, и я тоже захотел подуть в раковину. Увы, не получилось, одно шипение. Напрасно некоторые думают, что только скрипке да фортепьяно надо учиться годами.

Мы разговорились о народном, национальном искусстве. Сенатор, как и госпожа Бандаранаике, очень рекомендовал мне съездить в древние цейлонские столицы: Анурадхапуру и Полоннаруву.

— И непременно подымитесь на скалу в Сигирии, посмотрите фрески в пещере. О них немало написано, немало построено вокруг них всяческих предположений: что за феи там изображены. Это было во времена одного нашего короля, тщеславного, но просвещенного, который трон захватил, замуровав живьем своего родного отца. На верху огромной скалы, одиноко стоящей среди джунглей, он построил себе роскошный дворец. Его тянуло вверх: ему думалось, что так он приближается к небу, к божественности. В общем-то это был неплохой правитель. О правителях государств ведь нельзя судить по тому, как они поступают со своими родственниками. Для правителей существуют совсем другие критерии. Не так ли? У нас на Цейлоне, в засушливой зоне, где располо-

жена Сигирия, народ уважал и, можно сказать, даже любил тех правителей, тех королей, при которых бесперебойно действовала тамошняя сложная оросительная система. Критерий до крайности прост: есть вода, есть урожай, есть хлеб — хорош король, хорош правитель. Был в нашей истории один очень речистый владыка. Где только мог, он всюду произносил речи, всюду что-то обещал, сулил. А с водой у него не ладилось. Не было воды. Народ его убрал... Непременно побывайте в Сигирии. Подымитесь на скалу!

В ДОМЕ МАСТЕРА

1

Лил шумный цейлонский дождь. Не знаменитый тропический ливень, с любовью и прилежанием воспроизводимый американскими кинорежиссерами и европейскими романистами, при котором и в самом деле с улиц смывает не только людей, но и автомобили и даже дома, а именно дождь. Тугой, плотный, в отличие от наших худосочных, вялых северных дождишек насыщенный яростной энергией, заимствованной у океана.

«Дворники» «Москвича» изо всех последних сил скребли ветровое стекло перед глазами Владимира Павловича, тщась суетливыми пригоршнями резиновых щеток расчерпать толстые слои пенящейся воды.

Владимир Павлович Байдаков не раз бывал в этом пригороде Коломбо и все же в потоках дождя, в быстро идущей вечерней темени никак не мог решить, в какую из улочек должны мы съехать с шоссе. Все они одинаково узкие, все валятся под уклон в непроглядно черную тьму, и все скрыты дремучей зеленью пальм, бананов, папай, цветущих кустарников, от которых пахнет с такой массированной силой, с какой могло бы пахнуть только в оптовом складе парфюмерных товаров.

Несколько раз съезжали в те улочки, которые Владимиру Павловичу казались сколько-нибудь знакомыми, столько же раз выбирались обратно на шоссе, но Владимир Павлович не сдавался и упрямо нащупывал радиатором «Москвича» надобное нам направление.

В конце концов, сделав два или три замысловатых зигзага среди тесно столпившихся строений и изгородей, остановились у самого входа в дом, увитый ползучей зеленью. Возле порога, простирая над нами купол большого полосатого зонта, нас встретил тот, к кому и ехали, — господин Мартин Викрамасингхе.

До этого вечера я не был знаком с крупнейшим писателем Цейлона, хотя несколько лет назад он гостил у нас в Советском Союзе, выступал на Третьем писательском съезде СССР и даже, как известно, опубликовал позже интересную книгу «Расцвет Страны Советов», основанную на материалах своей поездки.

Мы устроились, если пользоваться общепринятой европейской терминологией, в гостиной его дома — в просторной, полной воздуха комнате, одна из стен которой (две большие застекленные рамы) была раздвинута на полный размах, и прямо оттуда, из зелени, омываемой дождевыми потоками, к нам входило влажное тепло.

Стучал дождь в крышу на высокой подставке, разгоняя своим ветром москитов, шумел вентилятор — фен, а на приземистом столике, вокруг которого мы расположились в креслах, призывно пестрели этикетками веселые бутыли разных форм и размеров.

— Вот ведь погода... — сказал хозяин. — Кости ломит. Не выпить ли нам виски или джина? Вы что предпочитаете?

В строю бутылок различались и такие, в которых содержался арак — крепкое, желтоватое по цвету цейлонское питье, перегоняемое из не раз мною помянутого выше тодди.

— Арак, конечно, — ответил я.

— Правильно, — одобрил хозяин. — Чтобы узнать незнакомую тебе страну, мало ходить по ее музеям, храмам и библиотекам, надо есть пищу, которую каждый день потребляет народ этой страны, надо пить ее напитки, надо воспринимать страну не только глазами и слухом, но и чувствовать на вкус, на запах, надо, чтобы весь ты участвовал в процессе познания. Что касается меня, то в Москве я пил водку, замечательную русскую водку.

Я всматривался в сухое смуглое лицо хозяина, будто вырезанное из темного полированного дерева, в его высокий лоб под отступившей назад белой шевелюрой, в его глаза, в которых то и дело, сбегая к губам, вспыхивала

улыбка много повидавшего, много изведавшего, большого человека.

Разговор пошел о литературе, о нашей, русской, советской, и о цейлонской, о Льве Толстом, Горьком, Чехове. Под шум дождя беседа текла неторопливо, вращалась все время вокруг этой неисчерпаемой для нас темы. И чем дальше, тем больше становилось нам обоим ясно, что на Цейлоне до крайности слабо осведомлены о современной советской литературе, а у нас, в Советском Союзе, почти не знают современной литературы Цейлона.

Почему? Причины вполне очевидны и достаточно просты. Издатели из капиталистического мира не переводят на европейские языки произведения писателей-цейлонцев: сингалов и тамилов. А прямо с сингальского или тамильского мы переводить только-только начинаем, поскольку людей, не просто знающих эти языки, но и способных осуществлять литературный перевод с них на русский, у нас пока что один-два, не более. У цейлонцев же таких, кто мог бы переводить с русского на сингальский или тамильский, и вовсе еще нет: советская литература приходит на остров лишь в переводах на английский. И хорошо, если это переведено у нас — добросовестно, непредвзято. Но таких книг мало. А то, что соизволит перевести с русского на английский капиталистический мир, оно будет так подобрано и отобрано, что может создать — и создает — самое превратное представление о нашей литературе. Капиталисты-издатели если издают, то издают только кое-что из русских классиков, стараясь представить дело так, будто бы после них в СССР и литературы-то никакой не было и нет; а если издадут современное, то непременно такое, которое по возможности оттолкнуло бы зарубежного читателя от нас. Это будут «Иваны Денисовичи», «Киры Георгиевны», потерянные мальчики и девочки, таежные одиночки, то есть добровольно отбрасывающая самое себя на полсотни, а то и на сотню лет назад третьестепенная литература, после которой снова надобны книги, подобные книгам Горького, Серафимовича, Гладкова, Фадеева, чтобы вновь выбраться на дорогу социалистического реализма. Из нашего современного капиталисты издают главным образом лишь то, от чего пахнёт вдруг нео-Арцибашевыми, нео-графами Амори, нео-Вербицкими и всяким иным неостарьем.

Мартин Викрамасингхе — выдающийся мастер слова, один из зачинателей современной, новой цейлонской литературы, ее патриарх. А что знаю о нем я?

Да, конечно, я о нем знаю. Знаю, например, что родился он 29 мая 1891 года, что учился в Коломбо, где примкнул к кружку прогрессивной интеллигенции, выступавшей за возрождение национальной культуры, что начал печататься в 1910 году, автор десяти романов, нескольких сборников рассказов, трех пьес, многих работ по вопросам литературы и культуры Цейлона. Знаю названия его романов: «Мираж», «Сита», «Времена богини Кали», «Меняющаяся деревня»... Но это же все из энциклопедических словарей (спасибо им), из немногих, весьма-таки скудных статей и газетных заметок. Понятно, это тоже кое-что составляет и кое-что означает. Но о писателе по-настоящему можно узнать вовсе не из того, что пишут о нем, а по его собственным книгам, по тому, что пишет он сам. А что я смог прочесть, переведенное на русский язык? Повесть «Грязный остров», выпущенную у нас в 1959 году под названием «Тайна Змеиного острова», и годом раньше вышедшую книжечку рассказов. Притом и переводы тех книг не больно хороши, и примечания к тексту такие, что способны лишь сбить читателя с толку. Слово «игуана», скажем, было бы и без пояснений понятно любому, кто хотя бы лет семь учился в школе и знакомился по самому первичному учебнику с миром животных. Но вот в книжке рассказов читателю объясняют: «Игуана. Плод с чешуйчатой кожурой, напоминающий ананас». Даже не встретив па дороге эту игуану, как встретили мы ее недавно, путешествуя с Питером Кейнеманом, можно припомнить по вышеупомянутому школьному учебнику, что это не плод все-таки, а ящерица. А если и плод, то плод полнейшего небрежения в работе. Или что дает пояснение: «Кадян. Дерево с крупными листьями»? И наш клен и наш каштан — деревья с крупными листьями. Что же, они родные братья с кадяном? Ведь жил же в Швеции великий систематик животного и растительного царства Карл Линней, обратиться бы к нему, назвать семейство, род, вид, к которым принадлежит кадян, и читатель получил бы отчетливое представление об этом тропическом дереве. Все знать, конечно, невозможно, и все же коэффициент пезнания, когда представляешь читателю жизнь другой страны, надо сводить

до минимума. В горьковской газете я прочел однажды заметку за подписью научной сотрудницы о том, как в Горьком в дар с Цейлона получили книгу одного из цейлонских авторов. Научная сотрудница сообщает читателям газеты, что книга написана на языке хинди, что издана в городе Марадане и принадлежит перу известного цейлонского горьковеда. Я знаю автора этой книги. Это тот журналист, который рассказывал мне о зубе Будды. Уж если кто и горьковед на Цейлоне, то совсем не он. Горького он помянул в своей книге попутно, путешествуя по нашей стране. Притом, если бы ему сказать, что он пишет на хинди, автор здорово бы веселился, так как родной его язык сингальский, как и полагается сингалу. А что касается города Мараданы, то это не город, а одно из мест цейлонской столицы Коломбо.

Так в двадцатистрочной заметочке нагромождены горы ошибок.

Список подобной путаницы можно продолжать и продолжать. Один наш советский путешественник, судя по всему симпатичный человек, в своей книжечке, выпущенной издательством «Наука», называет Цейлон республикой, а в издательстве не считают нужным его поправить *. Другой путешественник название торговой фирмы «Елефант хауз» переводит с английского как Дом слона. Есть Дом пионеров, Дом архитекторов, Дом малютки. Почему бы не быть Дому слона?

Но кого в этом винить? Некого. Разве только то обстоятельство, что мы, советские люди, и цейлонцы еще очень и очень мало и плохо знаем друг друга. Нас разделяют многие барьеры, в том числе и такой труднопреодолимый барьер, как языковый.

Но как бы там ни было, при всех несовершенствах перевода и «Тайну Змеиного острова» и книгу рассказов Мартина Викрамасингхе я читал с огромным интересом. Особенно меня поразила повесть. Поразила она тем, что, читая ее, читая о жизни и привычках цейлонских мальчишек, я вспоминал свой родной Новгород, отстоящий от Цейлона по крайней мере на девять тысяч километров. Было такое ощущение, какое испытываешь, читая и Марка Твена — его «Тома Сойера», его «Гекльберри Финна». Если за дело берется мастер, его перо,

---

* См. прим. к стр. 655.

отбросив все лишнее, случайное, из тысяч черт и штрихов жизни отберет такие, которые непреходящи, характерны, неповторимы и вместе с тем вечны. Мальчишки на Миссисипи, на южном океанском побережье Цейлона или на берегах древней русской реки Волхов — всюду мальчишки, носят ли они трусы или саронги, сражаются ли с гадюками или с кобрами, видят ли ежедневно коров или буйволов, слонов в зарослях сахарного тростника или соседских облепленных репейниками коз.

Позже, у меня дома, в Москве, я сказал Мартину Викрамасингхе о том, что герои «Змеиного острова», удравшие от родителей и обосновавшиеся на островке среди тропических зарослей, некоторые ситуации повести напомнили мне о Томе Сойере и Геке Финне. Он улыбнулся, ответил:

— Должен честно сознаться, может быть, это обеднит мою биографию, но «Том Сойер» мне в руки так никогда и не попался, прошел мимо. Бывает! — Он развел руками. — А Гека я очень любил, очень, и действительно, вы правы, кое-что в «Острове» навеяно марктвеновским Геком.

Я спросил, а не автобиографична ли повесть.

— Да, конечно. В ней много автобиографичного. Но ключ к «Острову» — повесть в рассказах «Наша деревня». К сожалению, ее нет не только на русском, а даже и на английском. В ней автобиографично почти все. Это история деревни, в которой я родился, а следовательно, и моя история, история моего детства, юности.

Разговор такой, повторяю, состоялся позже, в Москве. А тогда, в доме господина Мартина, я вспоминал «Змеиный остров» и всматривался в острое, живое лицо хозяина. Мы расспрашивали друг друга обо всем, что нас интересовало. Сверх сведений, почерпнутых из энциклопедических изданий, я узнал, что деревня, в которой он родился, расположена на самом юге Цейлона, за старинным городом-крепостью и портом Галле, основанным еще во времена голландского владычества; что нам с Питером Кейнеманом, когда он возил меня в Хиккадува плавать среди коралловых рифов, оставалось совсем немного до тех интересных мест; и еще узнал я, что родная Мартинова деревня носит название Коггалы.

— Коггала, — сказал он, — это по-нашему «журавлиный камень», «скала журавлей». Я хорошо помню, как на поднявшейся над рекой Коггалаоей каменной скале

большими стаями собирались спокойные, мирные журавли... — Он помолчал. — А теперь там одно воронье. Во время войны и еще довольно долго после нее на тихие воды Коггалаои садились английские гидропланы и навсегда распугали журавлей. Журавль — философствующая птица, журавль не любит войны. Это воронью смерть — радость. Воронье всегда там, где люди бряцают оружием. Такое бряцание сулит воронью поживу. Но, может быть, журавли еще и вернутся? — Он, кажется, спрашивал об этом у меня.

2

По книгам Мартина Викрамасингхе, поскольку он всегда пишет подлинную жизнь, каждый может представить себе его биографию. Отец его — сельский чиновник и мелкий землевладелец. Много мальчику семья дать не могла, но она и не оставила его без образования. Грамоте учили в Коггале, у сельского учителя. Вокруг были реки, болота, джунгли, полные птиц, разного зверья. Вокруг жили люди, жили трудно, борясь за существование. Познание грамоты шло одновременно с познанием окрестной природы, жизни людей деревни: бедных, выбивавшихся из сил, средних по достатку, постоянно боявшихся его потерять, и богатых, у которых только и мысли было, как бы еще больше, еще больше, еще больше нажить денег.

Потом мальчик был отправлен в одну из школ Галле, а затем, спустя семь лет, — и в Коломбо. Строгий и требовательный буддийский монах надолго стал его наставником в изучении древних, полных затейливых историй и мудрых наставлений цейлонских хроник «Махавамсы» и «Дипавамсы», всей существовавшей к тому времени сингальской литературы, родного языка, бесчисленных преданий, сказаний, богатой, тонкой, глубоко самобытной культуры Цейлона.

А еще дальше — самостоятельная борьба за хлеб насущный. Молодой человек пошагал по изнурительной служебной лестнице, и поныне чрезвычайно типичной для образованных людей на Цейлоне: клерк в торговой фирме, кассир, управляющий конторой. Вместе с тем возникало то, что в конце концов человека, одаренного этим от природы, рано или поздно захватывает всего без остатка: желание писать. Мартин пошел в журналистику,

стал пробовать себя в литературе. В те времена современная сингальская литература только-только возникала. Специалисты пишут, что первым современным сингальским романом — после многовековых уходов в религиозные мотивы — был роман А. Саймона де Сильвы «Мина», опубликованный в 1905 году. За ним следовали роман Пиядасы Сирисена «Джаятисса и Розалина», восставший против порабощения Цейлона англичанами, и роман В. А. Сильвы «Шрилатха». Сразу же за ними, в 1914 году, вышел и первый роман молодого Мартина Викрамасингхе «Лила».

— Давно, давно было дело. Очень давно. — Мой хозяин, щурясь, как бы смотрит в прошлое, что-то пристально рассматривает там.

А там было неимоверно трудно. И ныне, когда Цейлон перестал быть английской колонией, приобрел известную самостоятельность, и сейчас ни один из цейлонских писателей, кроме их патриарха, не сможет прожить на литературный гонорар. Молодой цейлонской литературе не просто единоборствовать с потоком дешевых и массовых книг на английском языке, устремляющимся сюда из Англии и США, книг, на обложках которых — люди в масках, с кинжалами и кольтами, полуголые вампирши, вставшие из гробов покойники, юные отцеубийцы и старые пожиратели детей.

На острове несколько сотен тех, кто причастен к литературе, кто пишет, стремится писать. Но только один из них, Мартин Викрамасингхе,— да, это факт — способен жить на свой писательский гонорар. Остальные должны непременно где-то служить, где-то работать; наилучший вариант, если это работа в газетах.

Однажды ко мне в гостиницу «Тапробана» пришел очень приятный, жизнерадостный молодой человек. Улыбаясь, он рассказал такую, в общем-то очень грустную, историю. В течение нескольких лет он работал над двумя книгами рассказов. За каждую книгу издатели уплатили ему по пятьсот рупий. А находясь на службе по сбору налогов, он получает ежемесячно шестьсот пятьдесят рупий. Как же тут быть? Служба не по душе, мешает его литературной деятельности, а отдаться полностью литературе — значит жестоко бедствовать.

— Все-таки я принял решение бросить службу, — сказал он. — Я уже начал приучать себя к лишениям. Я не стал курить. Я не стал выпивать. Я отказался

от европейской одежды, которая дороже нашей, национальной. Я много от чего отказался во имя того, чтобы полностью отдаться любимому делу. Теперь и жена поддерживает меня в этом, хотя вначале очень горевала, предвидя впереди только трудности.

Так обстоит дело даже сегодня. Что же говорить о тех временах, когда начинал свою литературную деятельность Мартин Викрамасингхе, когда Цейлон был колонией, когда молодой писатель проходил «лестницу» литературной карьеры, начав ее с репортерства, дойдя постепенно до поста заместителя редактора и, наконец, редактора и поныне существующей газеты «Динамина», когда сплошь и рядом были возможны истории, одна из которых случилась, например, с ним в бытность репортером. Выполняя редакционное задание, цейлонский журналист Мартин Викрамасингхе ехал в пригородном поезде из Коломбо. В том же самом купе сидели английские солдаты. Поглядывая на них, он курил сигару из черного табака, выращиваемого на севере острова, в окрестностях Джафны. Этот табак действительно не слишком ароматен, что правда, то правда, но на импортное курево у Мартина денег не было, что делать.

— Эй ты! — сказал один из солдат. — Выбрось свою вонючую дрянь за окно. Дышать невозможно.

— В соседнем купе есть свободные места, — внешне спокойно, но кипя от внутреннего возмущения, ответил будущий писатель, рискуя сам быть выброшенным за окно вместе с сигарой.

Каждой своей статьей, каждой новой книгой он мужественно сражался за национальную независимость, за родную сингальскую культуру, все свое творчество посвящая народу, который его породил. И нечего удивляться тому, что, когда национальная независимость пришла, когда широко развернулось дело народного просвещения, книги Мартина Викрамасингхе стали в народных школах одним из основных пособий изучения сингальского языка.

Мартин Викрамасингхе никогда не стремился и не стремится своими произведениями развлекать читающую публику. Известно, что его первый роман, «Лила», не имел должного успеха. Почему? Да потому, что в те времена круг читателей был до крайности узок и состоял он именно из тех, против кого, в сущности, молодой писатель и направлял свое первое большое произведение.

— В «Лиле» я попытался выступить и против тех, кто слишком цепко держался за наше средневековое национальное прошлое, не видя вокруг прогрессивного нового, и против безудержных «западников», сторонников повальной европеизации. — Мартин усмехнулся. — Народ-то меня, пожалуй, и понял бы, да он еще не умел читать. Верхушка, конечно, тоже поняла, да ей это не пришлось по вкусу.

Как народ воспринимает и понимает творчество Мартина Викрамасингхе, мне помог увидеть, ощутить Питер Кейнеман. Он и Мод заехали однажды за нами в «Тапробану» и повезли на одну из первых демонстраций одного из самых начальных произведений только-только нарождающейся ныне цейлонской кинематографии. Это был фильм по роману Викрамасингхе «Меняющаяся деревня».

Картину показывали в кинотеатре рабочего, трудового района Коломбо. Весь зал плотно заполнился рабочими порта, фабрик и фабричонок, мелкими служащими всяческих контор и конторёшек. Было жарко, душно, хотя под потолком во время коротких перерывов между частями с пропеллерным гулом вращались лопасти многочисленных фенов. Но зрители претерпевали и жару и духоту: их захватывала знакомая им жизнь, развертывавшаяся на экране. Перед ними на этот раз не было лихих ковбоев Аризоны или гангстеров Нью-Йорка, обычно властвующих на экранах Коломбо, а были они сами, цейлонцы, до жизни которых кино пока что по-настоящему не снисходит. На глазах у зрителей распадалась патриархальная сельская семья, проживающая в той самой деревне, где родился автор романа, в семью входило новое, молодежь училась, шла в город — учиться дальше, работать, старики, не воспринимая новшеств, доживали свой век в родных местах. Зал то замирал в напряжении, то взрывался аплодисментами, вздыхал с облегчением.

Недавно у нас переведена и выпущена в свет книга Мартина Викрамасингхе «Последний век» — трилогия, в которую входит и роман «Меняющаяся деревня». Это превосходная книга, стоящая в ряду лучших произведений мировой реалистической культуры. Читая ее, следя за развитием характеров героев, за ходом их трудных, сложных судеб, как бы перечитываешь страницы истории цейлонского общества первой четверти нынешнего века.

Одни бунтуют против той — и материальной и духовной — зависимости, какую для цейлонцев установил полуторавековой колониальный режим англичан; другие подобострастно служат колонизаторам, стремясь «выбиться в люди». От этого уродуются, калечатся души, сгибаются спины, тускнеют глаза.

Лишний раз убедился я там, в зале цейлонского кино, смотря фильм по одному из лучших романов Мартина Викрамасингхе, насколько верны требования к искусству быть народным, служить творящим жизнь и историю массам, а не пресыщенной кучке снобов. Мартин Викрамасингхе с его народным творчеством в тот вечер властвовал в сердцах всех, кто смотрел на экран.

— Когда я пишу, — сказал мне Мартин во время одной из последующих наших встреч, — я никогда не вижу перед собой кислого лица критиков, которые потом будут брезгливо перебирать пальцами мои строчки, как это делают стряпухи на рынке возле лотков с креветками. Я вижу лицо читателя, простого человека-труженика, вижу его глаза, устремленные в книгу, его шевелящиеся губы: может быть, он читает еще по складам. Я ведь сам когда-то был именно таким, я все помню, ничего не забываю. Между прочим, вы, русские, помогли мне найти верную дорогу в литературе. В тысяча девятьсот двадцатом году я впервые прочел Льва Толстого. Это была «Анна Каренина» на английском языке. Закрыл могучую книгу на последней странице и почти физически ощутил: какая же препустейшая литература валом валила к нам в те времена через океан из Европы, и прежде всего, понятно, из Англии! Я не говорю, вы сами понимаете, о таких мастерах, как Филдинг или Теккерей, и им подобных. Я говорю о новой европейской, английской литературе — о пустом, ничем тебя не обогащающем массовом чтиве. Толстой открыл мне до того неведомый, огромный, богатый мыслями мир. И знаете, в чем еще выразилась его сила? Он помог мне увидеть и настоящих французов, до которых я как-то не доходил, привил вкус к настоящей, да, да, именно к настоящей мировой литературе.

За Толстым к цейлонскому писателю пришли и другие русские: Тургенев, Чехов, Горький... Каждый из них нес ему новое, удивительное, щедрое.

Строгими мерками мировой литературы, создавшей образцы подлинно народных произведений, мерит Мар-

тин Викрамасингхе работу своих коллег, писателей Цейлона. Добрые слова услышал я от него о профессоре Саратчандре — драматурге, литературоведе, фольклористе, о моем кандийском знакомом Гунадасе Амарасекаре, о многих других. Мартин пристально, придирчиво и поотечески заботливо следит за их работой.

В тот первый вечер нашего знакомства мой хозяин, как это и водится у писателей, показывал мне свой рабочий кабинет. Небольшая комната, все стены в полках с книгами, удобный письменный стол и широко распахнутая — не дверь, а, как и в гостиной, вся стена, прямо в бушующую тропическую зелень. Хозяин останавливался возле полок, трогал корешки книг, рассказывал историю того, как он читал ту или иную книгу, какие мысли вызывало чтение, что он думает об авторе.

— Тут собрались не только мои друзья. Среди собравшихся есть и мои недруги,— сказал он без улыбки. — И когда я пишу, я вижу и тех и других. С одними иду рядом, с другими спорю, сражаюсь. Утром, рано, когда поют птицы, так хорошо думается!

— Мартин встает вместе с птицами, едва начнет светать, — поясняет все время присутствовавшая при разговоре жена писателя, женщина с доброй, светлой, застенчивой улыбкой, носящая прекрасное имя Према, что на санскрите означает «любовь». — Выпьет чашку крепкого чая — и за письменный стол. Пишет до завтрака.

— А потом она мне все переписывает. Иначе сам себя не разберу. Так, наверно, поступает большинство писательских жен? Не с Софьи ли Андреевны все началось?

Много, очень много написал Мартин Викрамасингхе — писатель большого, вдохновенного трудолюбия. Его собратья по перу во всем мире могут ему только завидовать...

Одного американского миллионера спросили, как ему удалось добиться его огромного состояния. Он ответил: «Я ежедневно вставал на час раньше других». Может быть, всем, кто пишет, надо вставать вместе с птицами?

Иногда, как я заметил, Мартину Викрамасингхе кажется, что он уже немолод, что ему незачем лезть в литературные и идейные схватки, что надо замкнуться и только писать, писать. Тогда он затевает, скажем, копку пруда возле дома, напустит в него пестрых экзо-

тических рыбок, пытается уйти в созерцание этого микромирка. Но его общественный темперамент торжествует над слабостями возраста, берет над ними верх. Что бы он ни делал, в конечном счете получается непременно то, о чем он сказал: «С одними иду рядом, с другими спорю, сражаюсь». Несколько лет назад за книгу «О международном взаимопонимании» ему была присуждена премия филиппинского президента. Шестьдесят тысяч рупий. Деньги немалые. На Цейлоне литературным путем их заработать очень и очень непросто. Почему бы не воспользоваться возможностью укрепить материальные дела и не получить такую значительную сумму? Но Мартин сказал:

— Пока воздержусь. Вот если вы не перемените своего намерения после того, как выйдет в свет моя новая книга — о Советском Союзе, над которой я сейчас работаю, тогда, пожалуйста, вернемся к этому вопросу.

Книга «Расцвет Страны Советов», над которой он работал, вышла. О премии филиппинского президента, понятно, разговора больше не возникало.

— Боюсь, что они меня подкупают, — объяснил он свой отказ. — Мне совсем не все равно, каким путем зарабатывать деньги, нет!

Опыт жизни у этого человека достаточный, глаз его зорок. Понимая место такого писателя в цейлонском обществе, международное звучание его слова, его то и дело стремятся завоевать реакционные силы всевозможных мастей. То хотят втянуть в какое-либо литературное жюри, то в очередную затею бизнесменов-издателей, то в редактирование дурно пахнущих сборников. Мартин стоит твердо, покачнуть его невозможно. Разве лишь возникают вот такие временные ссылки на возраст, на недуги, когда он усаживается возле своего прудка и созерцает игру синих, золотых, серебряных рыбок, но из чего в конце концов вдруг возникает замысел очередной полемической, остро проблемной статьи. Тогда рано утром вместе с пением пробуждающихся птиц — за письменный стол.

— Я всегда жил своим умом и своими чувствами, — сказал он мне. — Думаю, что с самых мальчишеских лет. Когда родители вздумали меня женить на одной богатой девице, у них тоже ничего не вышло. Я ее не любил. Я полюбил вот кого! — Он охватил рукой за плечи госпожу Прему. — Я бегал к ней из своей Коггалы за

три мили в ее Каталуву. И наперекор им, родителям — родителям! — не то что каким-то политическим и литературным комбинаторам, я женился не на той, богатой, а на этой. Так хотело сердце.

— А ты помнишь нашу свадьбу? — стесняясь, спросила госпожа Према.

— Как не помнить! Это произошло ведь совсем недавно. Каких-нибудь сорок лет назад. Ты была в белом сари...

— Верно, верно! — Госпожа Према смущается все больше. — Это было очень красивое сари.

Мартин Викрамасингхе — веселый человек, он любит жизнь со всеми ее радостями. Я спросил его как-то, не мешает ли ему его буддийская вера, его буддийская религия. Это было у меня в номере, в гостинице «Тапробана». Под потолком вращался фен, с океана дышало йодистой влагой. На столике дымился чай в чашках.

Мартин думал долго, молчал, ерошил пальцами белые волосы.

— Если говорить о буддизме по-настоящему, то разговор это бесконечный,— сказал он наконец. — Буду краток. Для меня Будда и буддизм не система догм и религиозного ритуала. Это система созерцания мира. В этой системе много ценного, в частности, для того, кто занимается литературой и искусством. Страдание, которому так много места отведено в буддизме, — источник эмоций, а следовательно, и искусства, так как искусства без эмоций быть не может.

Он сжался в гостиничном кресле, его мучали какие-то боли, но он преодолевал их, не поддавался им, они только обостряли его мысль. Я вспомнил рассказы о Толстом, о том, как Толстой особенно любил работать, когда был нездоров, когда сидел за столом с повышенной температурой, укутавшись в одеяло, отрешаясь от всего, уйдя от внешнего мира, от всех его раздражителей.

Каждый задумывающийся над смыслом жизни, а не просто проживающий ее быстро летящие дни, ищет своего бога, который вел бы его по лестнице жизни вверх, к свету, к солнцу, не дал бы юркнуть под эту лестницу, к корыту, и там самодовольно захрюкать над тюрей. Я встретил на Цейлоне человека, о котором несколько слов впереди. Он начал с буддизма, со служения Будде, а пришел к коммунизму, стал убежденным последователем коммунистических идей переустройства мира

на земле. Беспокойство, искание, они чаще всего выводят людей на верные жизненные дороги. Самоуспокоенность, самодовольство не приведут никуда, это ход в тупик.

Наша первая встреча с Мартином Викрамасингхе ознаменовалась невероятной силы грозой. Дождь на улице прекратился было на какое-то короткое время; в черни ночи замелькали, искрясь, светлячки, будто кто-то рассеивал в воздухе голубые с золотом блестки. Но затем одна за другой зазмеились молнии, и небо заревело ревом океана при двенадцатибалльном шторме. Полетели пробки из электропредохранителей, гас свет, выключался фен. Казалось, дом раскалывается на части, блеск молний бил по глазам, слепил, все гудело. Стонали, изгибаясь, деревья за порогом дома, ветер рвал листья и мокрые швырял в комнаты.

Мы выпили еще по стопке арака, раз уж такое дело вокруг, и за поздним временем пора было ехать. Гостеприимному хозяину надо было отдохнуть. До рассвета, до той поры, когда запоют птицы, когда его позовет к себе письменный стол и когда с чашкой крепчайшего чая придет к нему его верная, преданная Любовь.

ОЧАГИ КУЛЬТУРЫ

1

В связи с далекой историей Цейлона я уже поминал спектакль по пьесе Генри Джаясены «Куэнни» — о легендарной правительнице острова тех времен, когда он был населен только змеями и демонами и когда сюда прибыл индийский принц по имени Виджайя, что на санскрите означает «победа».

Для меня это был уже не первый спектакль на Цейлоне. Первое, что я увидел на местной сцене, была, как ее здесь называют, *опера* «Дикие цветы» одного молодого драматурга.

В стране древней культуры, но несколько веков пребывавшей под колониальным сапогом, современный театр только-только возникает. С Запада сюда наезжали всяческие оперетки и мюзик-холлы, оркестры и оркестрики, певцы и певички; пошумят, погремят, набьют кошельки деньгами и отбывают восвояси. За развитие

своего, национального театра никто не брался, и его как искусства профессионального не было и все еще нет. Но тяга к театральному творчеству у одаренного народа большая. Находятся режиссеры, декораторы, находятся актеры-любители, композиторы и музыканты; местные драматурги пишут для них пьесы. С великими трудами, за немалые деньги сняв какое-нибудь подходящее помещение, энтузиасты время от времени ставят спектакли.

И в тексте самих пьес и в том, как их ставят, еще много условностей, идущих от старого, традиционного культового искусства, от массовых религиозных празднеств, от театрализации легенд и сказаний. К реалистическому театру здесь еще только движутся. Реалистически пока ставят лишь зарубежное. Скажем, наших Чехова и Горького. А свое — пока довольно своеобразная смесь современных идей и традиционного их воплощения на сцене.

Вот «Дикие цветы».

Длинное сараистое помещение с таким же длинным сараистым залом, под потолком которого конечно же вентиляторы фенов. Сцена с задернутым занавесом. Перед сценой небольшой оркестрик из нескольких цейлонских народных инструментов. Он исполняет какую-то простую и вместе с тем очень музыкальную, самобытную мелодию. Раздвигается занавес. На сцене хижина деревенского кузнеца, часть изгороди; возле хижины расположен горн, перед горном стоит наковальня. Действуют в спектакле: сельский кузнец, тяжелым трудом добывающий хлеб, его брат — поэт и живописец, жена брата, не понимающая природы занятий своего мужа, женщина практическая и прозаическая, сестра кузнеца и художника и местный сельский интеллигент — учитель.

Декорации сделаны скупо и красиво, реалистично. Действующие лица то говорят прозой, то, сопровождаемые оркестриком, поют стихами. И опять музыка проста и очень мелодична, мелодии легко запоминаются, их хочется повторять.

Зрителей полон зал. Люди разных возрастов, но все смотрят и слушают со вниманием, в тишине, хорошо реагируют на шутки, переживают острые ситуации, аплодируют.

Что же происходит на сцене?

Дело там не такое уж простое, и можно подивиться тому, как близко к сердцу принимают его зрители. Это

не какая-нибудь бытовая драма, не очередная сентиментальная историйка, не водевиль и не детектив, а спектакль, ставящий и решающий ни много ни мало — проблему искусства в повседневной народной жизни.

Учитель и жена художника настаивают на том, что живопись — занятие отнюдь не для простого человека: простой человек должен всегда помнить о хлебе насущном и только тем и заниматься, что добывать этот хлеб.

Идут долгие споры, при которых брат-кузнец в основном помалкивает и только стучит своим молотом, добывая и себе и своим домочадцам помянутый насущный хлеб.

Конфликт обостряется. Страдая от отсутствия средств на наряды, рассерженная невниманием мужа, углубившегося в поэзию и живопись, жена художника уходит от него к своим родителям, благо люди они состоятельные в отличие от семьи кузнеца.

На сцене нараспев идут длинные диалоги о трудностях жизни, о ее неустройстве, о несправедливости. Брат-художник, понимая, что он обуза брату-кузнецу, тоже покидает дом, исчезает в неведомом направлении.

Учитель сожалеет о случившемся, держит монолог о том, сколь талантлив был брат кузнеца и как жаль, что деревня лишилась такого искусника. Брат-кузнец вскипает, клянет своих советчиков, говорит, что, пока дома был брат, пока он, кузнец, слушал его стихи и видел его картины, у него из-под молота выходили лучшие изделия, работалось ему лучше. Зрителям высказывается верная мысль о том, что искусство не для искусства, оно совершенно необходимо и простым людям, которым оно помогает жить и работать.

Эта мысль встречается шумными аплодисментами.

Затем наступает счастливый конец: кто-то приводит обратно в дом и художника и его беглую жену, и все устраивается должным образом, кузнечный молот весело стучит о наковальню.

В спектакле развивается не только мысль о том, что искусство — достояние народа и должно служить народу. Говорится в нем и о том, что все люди равны: и богатые и бедные. Критикуется такой порядок, когда люди, выбираемые в различные государственные органы, вплоть до парламента, до выборов обещают своим избирателям все что угодно, а будучи выбранными, лишь требуют полагающегося им по должности почета.

Зал, повторяю, на все острое, современное, заложенное в сюжете и сказанное со сцены, хорошо реагировал. Артисты — надо помнить, что все они не профессионалы, а любители,— вполне справлялись со своими ролями в пределах возможного. Единственный изъян заключался в том, что не все они хорошо пели, некоторых было почти не слышно. Видимо, они не имели должной школы и никто не занимался тем, чтобы помочь им поставить голос. Проблемой было, конечно, и то, как в музыкальном спектакле, осуществляемом хотя и на народных мотивах и песнях, но все же на европейский лад, как в таком случае использовать национальную манеру пения, решительно отличающуюся от европейской.

Видел я и еще один спектакль. Автор пьесы — профессор Саратчандра, разносторонне талантливый литератор и ученый Цейлона. Впервые мы встретились с ним близ Канди, в доме его старых друзей на горе, с которой открывался прекрасный вид на весь комплекс строений университета Перадении.

Саратчандра вышел тогда из дома встретить нас, одетый в изящное, голубоватое японское кимоно: он недавно возвратился из поездки в Японию. Мы говорили тогда о литературе, об искусстве Цейлона, о Советском Союзе, куда бы очень хотел съездить Саратчандра.

Потом мы с ним встречались в доме его родителей, недалеко от Коломбо, среди пальм и бананов. Саратчандра показывал старинные театральные маски Цейлона, исполнял народные мелодии на местных струнных инструментах. Беседы всегда были с ним интересные, неторопливые, спокойные.

И вот на сцене идет его пьеса о том, как одна молодая привлекательная особа из знатного рода вышла замуж за представителя еще более знатного рода другой страны. Идут всяческие свадебные обряды: танцы, пение. Все свидетельствует о большой, верной любви.

Но вот молодые едут в страну мужа. Едут через джунгли, в которых владычествует грозный, непобедимый царь лесного народа.

По дороге опять любовь, красоты джунглей, цветы, птицы, песни. Ну и конечно же лесные люди нападают на молодоженов. Начинается поединок между царем лесных людей, безобразным, страшным, грозным, но могучим, и благородным красавцем — мужем нашей красотки.

Сила любви велика, она удесятеряет силы человека, молодой муж вот-вот прикончит лесного великана, еще одно усилие — и конец. И что же? Красотка, восхищенная могуществом, статью, необыкновенностью лесного царя, подсовывает к его руке нож. Удар — и муж ее убит. Немного переживаний, рыданий, затем она падает в объятия победителя, который, собственно говоря, и вступил в бой из-за обладания ею. Но он в пылу схватки не понял, как в руку к нему попал нож. Она ему открывает эту мрачную тайну. Он задумывается и, подумав, отталкивает красотку. «Если ты помогла убить одного из тех, кто тебя любил и кому ты клялась в любви, то ты это же способна сделать и с другим». Убийца учит ее благородству и исчезает в дебрях. Она среди леса, среди зверей остается одна. Порок жестоко наказан.

Мне думается, что эта пьеса и у нас могла бы пойти с успехом.

2

Меня пригласили в университет Видьяланкара прочесть лекцию о советской литературе.

Университет расположен в пригороде Коломбо, он еще строится, но в нем уже две тысячи студентов. Это один из двух буддийских университетов цейлонской столицы.

В кабинете настоятеля собрались те, кто руководит университетом, человек восемь — десять, и в белых «мирских» одеждах и в желто-оранжевых, предписанных служителям буддийской религии. В шкафчике за стеклом я увидел, как мне показалось, модельку ступы — священного сооружения буддизма. Перед шкафчиком столик, весь в цветах, а перед столиком еще и коврик. Я понял, что не следует спешить с рассматриванием всего этого, не надо становиться на коврик и вообще будет лучше, если от шкафчика с моделькой ступы держаться на должном расстоянии. И не ошибся. Тут была не моделька ступы, а сама ступа с какими-то драгоценными для буддистов реликвиями, возможно даже с частицами тела Будды. И конечно же, не имея соответствующих полномочий, приближаться к этому нельзя.

После летучего разговора о том о сем мы отправились из главного университетского корпуса, обширного, вну-

штительного, вместительного, в другое помещение, видимо предназначенное для общих собраний, для больших встреч, для диспутов. По сути дела, это была крыша на столбах, но устроено все было красиво, с изяществом; сооружение продувалось ветерком.

На скамьях сидело несколько сотен студентов, и тоже, как их руководители, кто был в «мирских» одеждах, кто в монашеских — оранжево-желтых. У этих гладко обриты головы, оголено правое плечо.

На возвышении, подобном сцене (оно, надо полагать, и было сценой), стояла трибуна с микрофоном.

Я принялся рассказывать по-русски. Салганик переводила на английский, один из преподавателей университета с английского переводил на сингальский. Лекция, а попросту говоря, рассказ о нашей литературе, заняла поэтому довольно много времени. Но слушали очень внимательно, очень заинтересованно.

Немало времени понадобилось и на то, чтобы ответить на множество вопросов. Главными из них были вопросы о свободе творчества в Советском Союзе: не сковывает ли, дескать, художника не только социалистический, а вообще реализм, не ограничивает ли его художнические возможности. С одной стороны, своими вопросами цейлонские студенты демонстрировали крайнюю неосведомленность о нашей советской действительности, с другой стороны, было видно, что они ловко, тенденциозно, с большим знанием дела дезинформированы во всем касающемся нас. Тут постарались и ллуэллины из наиболее идеологически агрессивных западных стран, располагающих должным аппаратом для дезинформации, и особенно западная печать, пропускающая через свои самогонные змеевики все, что поступает в ее руки из Советского Союза, и западное радио, литература, кино, театр. На Цейлоне и в других странах, где распространен буддизм, в интеллектуальной, духовной жизни много места занимает понятие души. И вообще в том мире, который работающая против нас буржуазная пропаганда называет «свободным», духовная жизнь — в центре многих суждений, она якобы там такое святая святых, что ни общество, ни государство, никакие партии не имеют права вмешиваться в нее, ограничивать ее и т. д. и т. п. Мы в своей пропаганде и контрпропаганде жмем главным образом на свои хозяйственные, технические достижения; изда-

ния наши, рассчитанные на зарубежного читателя, пестрят фотоснимками и описаниями наших спутников Земли, ракет, счетных машин, початков кукурузы, комбайнов, доменных печей. Но отсутствуют в них, скажем, рассказы о том, как живут и работают советские писатели, советские художники, советские артисты, то есть те, кто работает для души человека. Правда, фамилии одной-двух балерин систематически, десятками лет подряд, напоминаются зарубежным читателям, фамилии одного-двух писателей зарубежные читатели нашей периодики твердо усвоили, с несколькими репродукциями работ одного-двух живописцев они познакомились. Ну, а за пределами этих трех — шести фамилий есть еще что-либо в Советском Союзе? Способствовала Советская власть росту и развитию художественного творчества? Или эти трое — шестеро существуют и создают не *благодаря, а вопреки* ей? Так называемый «свободный мир» держится не только на свободе частной собственности (хотя это истинный его фундамент), а и на спекулянтских рассуждениях о «свободе души». Мы этой «свободе души» противопоставляем в своей пропаганде слишком мало, какие-то жалкие крохи. Мы подробно рассказываем, сколько у нас на душу приходится чугуна и транзисторов, а как обстоит с самой душой, что происходит в ней, от этого досадливо отмахиваемся. Наш противник тотчас заполняет вакуум потоком дезинформации. И вот так стоишь перед несколькими сотнями молодых слушателей далекой страны и разъясняешь им всего лишь азы нашей духовной жизни, в то время как они уже с преизбытком напичканы лживыми сведениями о Советском Союзе. Работа нелегкая, но необходимая.

О том, как действует наш противник, я лишний раз убедился в тот же вечер. После лекции меня познакомили с очень симпатичным человеком средних лет, господином Самарасингхе, который выпускает литературно-художественный и общественный журнал «Санскрути», что на санскрите означает: «Культура».

Самарасингхе завез нас к себе домой, и там за чаем мы разговорились. «Санскрути» — журнал прогрессивного направления, борется за развитие национальной культуры, цейлонской культуры, но не отгораживается и от мирового прогресса. Один из номеров его был посвящен, например, творчеству патриарха цейлонской литературы

Мартина Викрамасингхе. А был и такой номер, который посвящался Антону Павловичу Чехову. Выходит журнал уже десять лет. Все в нем делается на общественных началах. Гонорара авторам нет, за редактирование никому не платится. Расходы на выпуск едва-едва покрываются средствами, получаемыми от продажи тиража. А иной раз приходится и доплачивать. Редактор-издатель за десять лет вложил в издание журнала своих личных денег более десяти тысяч рупий. Журнал выходит четыре раза в год, популярность его возрастает, влияние тоже усиливается. Вначале тираж журнала составлял всего 500 экземпляров, сейчас их 4 тысячи.

И что же? Западные «друзья» пронюхали о существовании такого прогрессивного очага национальной культуры на далеком острове в Индийском океане, и первым делом сюда была послана первая ласточка дезинформации в области мировой литературы — журнал «Энкаунтер». Правда, это не столько ласточка, сколько коршун или даже гриф. Но так или иначе он прилетел к редактору «Санскрути». Вслед за «Энкаунтером» ныне всемирно известная агрессивно-реакционная организация «Конгресс защиты культуры» (культуру он «защищает» от коммунистического влияния) прислала господину Самарасингхе подписку еще на три подобных издания. Все, конечно, бесплатно, лишь бы читали, лишь бы замутить людям головы.

Каких только изданий, какими только организациями присылаемых, из каких только стран не насмотрелся я в доме редактора цейлонского «Санскрути»! Не нашел я у него лишь ни одной газеты, ни одного журнала, издаваемых моей родной страной. Почему? Если тут соображения финансовые, то разве же нельзя обмениваться изданиями: Самарасингхе шлет нам номер «Санскрути», мы ему шлем номер, скажем, «Советской литературы» на английском языке? Разве это невозможно?

Побывал я с рассказом о наших литературных делах и во втором буддийском университете Коломбо — Видьодая. И снова сотни слушателей, тройной сложный перевод, поток вопросов.

Один из преподавателей сказал мне:

— Очень мало вашей литературы в нашей библиотеке. Читается она активно. Будь ее побольше, знала бы вас наша молодежь лучше.

На Цейлоне немало всяческих издательств и типографий — от больших, крупных, которые выпускают газеты тиражами по нескольку сотен тысяч, до тех, что довольствуются печатанием визитных карточек гинекологам и адвокатам. Далеко не все издатели издают такие журналы, как, скажем, ежеквартальный «Санскрути», или еженедельник «Трибюн», или те издания, в которых участвует сенатор Перера. Есть всякие. Но есть и еще одно прогрессивное небольшое издание — скромный внешне и вместе с тем боевой по содержанию журнал, в котором оперативно и правильно освещаются вопросы внутренней политики Цейлона, его взаимоотношений с другими странами, дается информация о всех важнейших событиях в мире, систематически и правдиво рассказывается о Советском Союзе.

Кто же издатель журнала, название которого — «Навалокая»?

Он навестил меня в «Тапробане». Вошел в номер, сопровождаемый несколькими почтительно склонившимися служащими отеля, которые смотрели на него с истинным восторгом. Он был одет в оранжево-желтое, смуглое плечо его было оголено, волосы конечно же обриты. Обращались к нему со словом «реверенд», то есть «ваше преосвященство».

Он сел в кресло, спиной к улице, к свету: солнце, отражаясь в высоких белесых облачках, слепило его, он прятал больные глаза за стеклами дымчатых очков.

Это был Удакендавала Сарананкара Тхеро — очень большой и влиятельный представитель буддийского мира, большой и страстный общественный деятель, участник международного движения борьбы за мир.

Он заговорил тихо, спокойно; спокойствие, и не просто спокойствие, а нечто прямо противоположное всяческой суете исходило и от его манеры говорить, и от его доброй улыбки, от каждого неторопливого движения. Глядя на его монашеские одежды, никто бы никогда не подумал, что этот человек вместе с председателем Компартии Цейлона доктором Викремасингхе сиживал в тюрьмах, подвергался полицейским преследованиям, участвовал в уличных массовых демонстрациях, что он глубоко изучил не только буддийские догматы, но знает и революционное марксистско-ленинское учение. Всю жизнь он

ищет дорогу к справедливому устройству человеческого общества.

Как же он познакомился с трудами Маркса и Ленина?

Это было давно, когда реверенд Сарананкара еще только учился в буддийском университете близ Калькутты в Индии. Он шел однажды, раздумывая, по дорожке парка. Навстречу ему, теряя дыхание, мчась, как лань, за которой гонятся тигры, выбежала девушка. Увидав его желтые одежды, она кинулась к нему. «Реверенд, умоляю! Сейчас здесь будет полиция. Спрячьте ради бога это!» Она подала ему большой револьвер с длинным стволом. Он взял оружие и пытался скрыть его в складках монашеских одежд. Но полиция была уже рядом. Схватили девушку, схватили и его.

Оказалось, что группа патриотически настроенной молодежи, в которую входила и девушка с револьвером, только что пристрелила какого-то крупного английского ставленника, чуть ли не генерал-губернатора штата. Последовал жестокий суд. Кому смертная казнь, кому тюрьма. Удакендавала Сарананкара получил четыре года заключения за соучастие в покушении.

— Мне повезло,— неторопливо, с улыбкой повествует этот удивительный человек.— Я попал в камеру с коммунистами. Четыре года участвовал в их беседах, диспутах, читал их книги. Они были прекрасными товарищами, идейными, убежденными людьми. Многому я у них научился. Очень многому.

На своем родном Цейлоне буддист Сарананкара участвовал в профсоюзном движении, в национально-освободительных организациях. Англичане, естественно, невзирая на священный сан, бросили его в тюрьму: это было во время второй мировой войны, когда остров был полон солдатни и японцы прилетали бомбить их базы. Англичане стремились обезопасить себя от народного взрыва в своем тылу. Но с их стороны это было просто подлостью, потому что с того момента, как гитлеровская Германия напала на Советский Союз, коммунисты в странах английского владычества и все, кто примыкал к прогрессивным организациям, объявили о своей поддержке военных усилий правительства.

От его преосвященства требовали, чтобы он в тюрьме снял одежду буддийского монаха. «Не вам этим распоряжаться,— спокойно, с величайшим достоинством отвечал заключенный.— Не вы определяли, что мне носить, чего

не носить. Сдирайте насильно!» На то, чтобы смертельно оскорбить чувства буддистов, даже пришлая военщина не решилась. Сарананкара так и пребывал в тюрьме в своих монашеских одеждах.

У него плохо со здоровьем: больны глаза, расшаталось сердце, повышено артериальное давление. Но к своему нездоровью он относится с необыкновенным спокойствием. Зато почти каждый день, когда у меня ныла печень от проперченных местных блюд, он привозил в «Тапробану» отборные «королевские» кокосы, полные прохладной приятной воды, так отлично лечащей печень и почки. Он инструктировал коридорных, как хранить орехи, как вскрывать их, как подавать.

Года полтора спустя в Москве, когда я лежал в больнице после хирургической операции, он, ненадолго приехавший в нашу страну, пришел в больничную палату, и мы вспоминали с ним эти орехи с его пальм, растущих во дворе: как бы свежая кокосовая вода помогла моему выздоровлению.

Тогда был сентябрь, погода стояла нетеплая, с дождем и ветром, а реверенд Сарананкара ходил по Москве в своем цейлонском оранжево-желтом — никто не смог уговорить его одеться иначе; он только прикрыл складками этой же одежды свое обычно оголенное правое плечо. Ему было холодно, но он держался: ни жалоб, ни какого-либо недовольства.

С первой же встречи в отеле «Тапробана» я понял, что имею дело с большим другом Советской страны, советского народа. Разговаривать с ним — большое удовольствие. У него свой ход мыслей, своя отчетливая логика, ясность суждений. Мы говорили о многом. И о буддизме и о коммунизме. О жизни Христа и о жизни Будды. О типографских шрифтах и о транзисторах. О профсоюзном движении и фресках Сигирии, которые я все еще собирался поехать посмотреть. Об индийском царе Ашоке и о выносе тела Сталина из Мавзолея.

Сарананкара во все вносил логику и диалектику. «Мертвому мертвое, живому живое,— приблизительно так сказал он о выносе тела Сталина.— Я написал книгу об этом человеке. В буддийском мире, где сильно почтение к мертвым, вынос тела Сталина был встречен с неодобрением. Но что касается меня, то на месте тех, кто из этого сделал один из поводов для решительных расхождений, я бы так не поступил. «Мертвому мертвое, живому жи-

вое» — иначе не будет движения вперед, наступит застой. Если бы передо мной встала проблема: Сталин или партия, я бы выбрал партию, отбросив свои личные, только мои точки зрения».

Много было переговорено с его преосвященством о судьбах писательского движения Азии и Африки. Вся беда в том, по мнению Сарананкары, что в этом движении участвуют не столько главные силы литературы этих частей света, а зачастую их подменяют люди, которые как литераторы мелки или даже просто ничтожны, но зато крупны и оборотисты как дельцы.

— Что делать, что делать! — сказал он со вздохом.— Настоящие писатели любят писать, их самих не видно, видны их книги. А те, которые мелькают на трибунах и перед экранами телевизоров,— плохие писатели. Так и получается... Что делать!

БЕЗ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА

1

Николай Яковлевич Тараканов, посол СССР на Цейлоне, дал мне возможность побывать в самых дальних краях острова. На одной из машин советской колонии я через день-два отправляюсь с кем-либо из наших товарищей по маршруту во много сотен миль.

Маршрут избран такой: Анурадхапура — в центре острова,— о которой мне еще говорила госпожа Бандаранаике; самая северная точка, отделенная от Индии Полкским проливом,— город Джафна; затем от Джафны вновь к Анурадхапуре — почти строго на юг; отсюда на восточное побережье в Тринкомали, где, как рассказывают, находится превосходная естественная бухта вроде Порт-Артура; оттуда на юго-запад — к Полоннаруве, которую тоже поминала премьер-министр; дальше — в Сигирию, где знаменитые пещерные фрески, поминаемые всеми без исключения; а оттуда — домой, в Коломбо. По дороге должны быть джунгли — и нетронутые и такие, где ведутся работы по расчистке и освоению; должны быть древние исторические места Цейлона, города, городки, селения, звери в заповедниках и звери просто так, где им

вздумается; будут заросли тика, красного дерева, дерева розового, дерева черного; будет все, чем богаты тропики.

Одним не слишком жарким утром наш длинный путь начался от подъезда отеля «Тапробана». За рулем почти белого «оппеля» — симпатичный веселый человек; все в нашей колонии называют его просто по имени, Костей; так же поэтому буду называть его и я.

Машина у Кости бежит резво; очень скоро мы миновали поворот к аэропорту Катунаяке, проехали рыбное царство — городок Негомбо, где не так давно останавливались с сенатором Перерой. Дальше пошли места, неведомые не только мне, но и моему спутнику. Надо было внимательно следить за маршрутом по карте, читать, не прозевывая, надписи на развилках и при въездах в селения, на перекрестках и ответвлениях дорог. Дороги и дорожки сплетались тут в сложные, замысловатые узлы, запутаться в них было несравнимо проще, чем из них выпутаться. Это усугублялось еще тем, что ни сингальского, ни тамильского языков мой симпатичный товарищ не знал совсем, а в английском тоже не был уж очень-то виртуозом.

По временам снова проблескивал по левую сторону машины синий океан, под утренним ветерком на побережье гнулись и шумели кокосовые пальмы. От городка Putталам дорога наша стала загибаться на северо-восток, океан пропал, пальмы кончились, к узкой ленте асфальта с двух сторон подступили стены дремучего, непроглядного леса. Начинались джунгли.

Селений почти нет. Летим в пустынном зеленом ущелье. По временам попадаются слоны, которые из лесных чащ выволакивают к грузовикам и автоприцепам необхватные древесные стволы. Останавливаемся посмотреть на их неторопливую работу. Вот черный слонище размером с подмосковную дачку, впрягшись в толстую железную цепь, спокойными могучими рывками волочит опутанный этой цепью отрезок ствола — некое бревнышко метра в четыре длиной и толщиной, пожалуй, не менее чем в метр с четвертью. По красноватой мелкослойной древесине, открывшейся на срезе, чувствуешь, что дерево это способно утонуть в воде, так твердо оно и увесисто.

По приставленным наклонно к кузову грузовика толстенным слегам четвероногий грузчик вволакивает огромное бревно в кузов, деловито обходит автомобиль вокруг,

осматривает, проверяет, хорошо ли бревно уложено; затем удовлетворенно обмахивается метровыми опахалами ушей.

Слон добросовестно работает, а его коричневые погонщики в одних набедренных повязках рассматривают наш щегольской «оппель».

Древесина стволов, вытаскиваемых слонами из джунглей, совсем не простая. Там, где на бревнах сделаны затесы или зарубки, мы видим и красное, и черное, и розовое. Это из запасов тех драгоценных древесных пород, на которые веками набрасывались пришельцы из далеких северных стран. В городах Европы и Северной Америки, в тиши кабинетов ученых и писателей, государственных деятелей и крупных аристократов и по сей день поблескивает полированными плоскостями красивая, прочная, никогда не стареющая мебель, исполненная мастерами — артистами своего столярного, краснодеревщицкого искусства. Письменные столы и шкафы для книг, сделанные из такой древесины, если выдвинуть их ящики, раскрыть дверцы, пахнут чем-то приятным, но незнакомым, загадочным. Это десятилетиями, даже столетиями не выветривающийся запах индийских и цейлонских джунглей. Пахнущее так дерево привезено на север отсюда, с Цейлона, и из соседней Индии; оно срублено давным-давно, но не умирает, долгие годы благоухая живыми, радостными ароматами.

В одном месте мы увидели толпу обезьян, несущихся над нами по деревьям. Обезьяны летели с ветви на ветвь, раскачиваясь, перекидываясь, прыгая. У некоторых из них, очевидно у матерей, спереди, обхватив передними лапами материнскую шею, а задние просунув мамаше под мышки, тесно и цепко держались детеныши.

Мы остановились. Обезьяны ливнем хлынули с деревьев на землю, устремились к автомобилю. Они уже были на его крыше, на капоте, хватались за щетки дворников; мы конечно же тотчас подняли все стекла в дверцах; обезьяны скреблись в окна, корчили нам рожи. Были они крупные — не какие-нибудь замухрышистые мартышки, а макаки; цвет шерсти у них бежевый, кожа на мордах угольно-черная, а вокруг морд шерсть топырится, подобно краям авиационного шлема, образуя над глазами даже нечто похожее на козырек.

Опасаясь, как бы они ни развинтили нашу машину, включаем мотор. Обезьян сдувает как ветром. Стремглав несутся они к деревьям, взлетают на ветви. Но стоит нам

выключить мотор, как черномордая банда вновь штурмом устремляется на нас.

Кое-где дело обстоит и по-другому. Обезьяны заняты своими делами, на белый сверкающий автомобиль не обращают никакого внимания. Мы останавливаемся возле них, а они преспокойно сидят на камнях и ищут в шерсти друг у друга поднадоевших им блох. Никакого почтения к своим родственникам, которые от какой-то далекой доисторической развилки пошли иными, не их путями, ни одна не проявляет. Возможно, лохматые гигиенистки убеждены в том, что за сотни тысяч лет они достигли ничуть не меньшего, чем эти бледные типы в автомобиле, завернувшиеся от москитов и солнца в цветные забавные тряпки. Типы могут только ходить по земле, а они, хвостатые и рукастые, легко летают с дерева на дерево. У типов даже и хвостов-то нет, с помощью которых можно так ловко раскачиваться в воздухе вниз головой. Но, кажется, некоторых из лесных обитательниц все-таки беспокоит мысль по поводу известных преимуществ образа жизни их вертикализировавшихся родственников. Такие стараются жить вокруг деревень, хотят человеческой еды — воруют вареный рис, печеные лепешки. Эту особенность современных обезьян я заметил еще в Индии. Обезьяны там мало-помалу покидают джунгли, селятся в городских парках, в парках монастырей и храмов, в развалинах, посещаемых туристами. Они пристают к людям, лезут к ним в карманы, требуют *приготовленной* пищи — вареной, печеной, посоленной...

Останавливаясь по дороге, все разглядывая и всему удивляясь, мы прибыли в Анурадхапуру только к вечеру, усталые, пропеченные солнцем, наглотавшиеся дорожной пыли. Нашли, конечно, спасительный рестхауз и, напившись пива со льда, принесенного мальчиком из соседней забегаловки, улеглись спать.

Все утро назавтра бродили в превосходных парках одной из древних столиц Цейлона, разъезжали по ее окрестностям, рассматривали ее архитектурные священные древности. Еще 1240 лет назад здесь была резиденция королей Ланки. Обосновались же они в этих местах, как записано в цейлонских книгах, за несколько веков до нашей эры. Именно сюда прибывали миссии индийского императора Ашоки, заботившегося о распространении буддизма в странах Южной и Юго-Восточной Азии; сюда дочь Ашоки, Сангамитта, привезла ветвь

с дерева бо, под которым размышлял Будда; здесь привезенный саженец укрепился, и вот он, превратившийся в огромнейшее дерево, окруженное каменной оградой и железными решетками, еле слышно шелестит сегодня своей сочной листвой. Утверждают что этому дереву свыше 2250 лет и что оно самое старое дерево на земле. На вид оно действительно дерево-патриарх и смотрит со своей высоты так же величественно, как на солдат Наполеона века и тысячелетия смотрели с вершин египетских пирамид.

На камнях развалин, на обломках монументов тот, кто знает санскрит или пали, может прочесть имена королей Пандухабхайи, Деванапайи Тиссы. Первый века за четыре до нашей эры закладывал здесь фундаменты будущего столичного великолепия, второй лет сто спустя обращал в буддийскую веру своих подданных. При нем, при Деванапайе Тиссе, была возведена первая ступа, или, по-цейлонскому, дагоба, во имя и во славу Гаутамы Будды.

В парке мы сначала нашли огромнейшую, высотой, пожалуй, с пятнадцатиэтажный дом, дряхлую, разваливающуюся ступу-дагобу такого же, как высота, впечатляющего диаметра. В нее въелись корни деревьев; они откололи и откалывают от каменной полусферы целые глыбы, которыми уже загромождено подножие этой искусственной горы.

Мы пошли вокруг нее по широкому кольцу, выложенному грубо отесанными каменными плитами. Плиты давно сошли с мест, взъерошились, вздыбились, стали подобны угловатым каменным волнам; надо было прыгать с одной на другую. Меж ними росли кусты, жесткие травы, проносились ящерицы с гребнями и колючками, похожие на динозавров, во всех расщелинах кишели клешнястые, шипастые, рогастые насекомые, иные — размерами с ладонь. Пекло солнце, и выветрившиеся камни потрескивали от его огня.

А когда мы прошли в другую часть парка, перед нами предстала, казалось, та же самая дагоба, но уже капитально отремонтированная, заново оштукатуренная, побеленная. Вокруг нее камни кольцеобразной мостовой лежали ровно, плотно, по всей окружности они были обнесены мраморным ограждением.

Кое-как удалось выяснить, что первая дагоба — это очень древнее сооружение, называется оно Джетаванарамой. А вторая — одна из знаменитейших в буддийском

мире дагоб, Махаступа, высотой свыше трехсот футов, или, как пишется в европейских книжках о Цейлоне, «точно такой же, как у Кампанилы на площади Святого Марка в Венеции». Цейлонское ее название — Сварапамали Чайтья.

Всюду видишь фундаменты обширнейших дворцов, сходных по огромности с дворцами императоров на римском Палатине. Дворец Лохапасада, или «Бронзовый дворец», имел тысячу комнат в девяти этажах и держался на частично сохранившихся и поныне 1600 каменных столбах. Камни покрыты резьбой, красивыми строгими орнаментами. Не надо много фантазии, чтобы представить себе, как тут было полторы-две тысячи лет назад, в каком прекрасном окружении жили властители древней Ланки, как развивались искусства сингальского народа. Вокруг Махаступы, например, как я уже сказал, идет грандиозная каменная стена, которая сплошь покрыта рельефными изображениями нескольких сотен слонов. До чего же богаты были художественной мыслью древние цейлонские камнерезы, если они сумели сделать так, что среди этих сотен вы не найдете и двух слонов, которые были бы в точности похожи друг на друга!

Милях в пяти — десяти от Анурадхапуры, в лесных зарослях, расположен знаменитый храм Махинтале. Место это известно тем, что именно здесь произошла историческая для цейлонских буддистов встреча царя Деванапайи Тиссы и посланца императора Ашоки — принца Махинды, привезшего учение Будды на Цейлон. Чтобы подняться на гору к дагобе Маха Сейя, окруженной пальмами и поставленной именно на том месте, где встретились цейлонский король и индийский принц, надо преодолеть бесконечную лестницу из 1840 широченных каменных ступеней.

Права была госпожа Бандаранаике, нельзя, приехав на Цейлон, не побывать в Анурадхапуре. Ассирия, Вавилон, Древняя Греция и Древний Рим — разве только там начиналась культура человечества, как назойливо твердят учебники, по которым преподают историю господа ллуэллины? А Индия? А вот Цейлон? Географические, природные, экономические условия сделали свое дело — те культуры могуче влияли на жизнь соседних стран и не затерялись в веках. Но кроме них на земле существовали и другие, не менее прекрасные, и они тоже — достояние всего человечества.

За Анурадхапурой держим путь строго на север. Селения здесь еще реже, движение на дороге еще меньше. Редко попадается грузовик, легковых автомобилей почти не видим. Обращаться с вопросами и расспросами к местным жителям бесполезно: английского языка никто не знает.

Зверье в этих местах — на каждом шагу. В кронах деревьев возятся обезьяны; они то и дело снуют через дорогу; перебегают дорогу и какие-то унылые, но противные хищники вроде росомах и гиен. Вот в речке плывет змея; вот мы раздавили змею колесами, она хотела скользнуть с обочины на асфальт; видим, как бьется ядовитый клубок позади нас. Вот вторая змея под колесами. Останавливаемся, выходим посмотреть. Нет, не кобра, и теряем к ней интерес.

Удивительно, как быстро заедаешься среди щедрого тропического обилия в растительном и животном царствах. Деревья манго или джек-фрут уже тебе ни к чему — подавай палисандр или черное дерево. Обычной гадюкой, даже если называть ее роскошно, по-латыни, виперой и если она длиной метра в полтора, никак уже не довольствуешься — только кобру подавай, кобру. Требования растут и растут. Желаешь видеть не кошку, а непременно тигра или, на худой конец, хотя бы леопардика; не ящерица тебе нужна, а только крокодил.

Но крокодилов, кстати, мы так все и не видим. Не врут ли книги о Цейлоне? Нет, конечно, не врут. Если отправиться на юг острова, как советуют местные жители, там крокодилов сколько угодно. Один цейлонец недавно рассказывал мне такую историю. Среди рек, текущих к югу, есть одна, носящая сан священной. К ней совершаются паломничества, в ней происходят ритуальные омовения и в ней, как на грех, водятся крокодилы. Брат рассказчика уверял всех, что в священной воде крокодилы утрачивают свои хищные привычки и ведут себя должным образом, то есть никого из совершающих омовения в той реке не трогают. «Однажды он привез меня в то место, — слушал я рассказ. — Было уже темно, мы светили электрическими фонарями в воду; в воде от этого зажигались вдали лиловато-зеленые парные огни. Брат объяснил, что это глаза крокодилов. Наутро он повел меня купаться. На другом берегу священной реки были

видны какие-то черные бревна. «Это они, — сказал брат. — Видишь, какие смирные?» И полез в воду. Но только он сделал взмах-другой руками, как черные бревна на том берегу тоже стали не спеша спускаться в воду. Курс они взяли прямо на моего брата. Мы с ним посовещались и приняли решение дальше опыт не продолжать, не подвергать проверке, насколько священная вода влияет на характер и привычки крокодилов».

Крокодилов не видим, зато вот змей предостаточно. Однако подавай нам, повторяю, не просто змею, а непременно кобру. Может быть, потому такой интерес именно к кобрам, что кобра и у жителей тропиков существо, овеянное легендами. В Индии она всегда рядом с богами; там даже празднуется особый праздник «пятого дня», когда возле своих жилищ люди специально для кобр выставляют тарелки с молоком, раскладывают фрукты. Кобры, конечно, предпочитают совсем иную пищу, но вот на же — здесь молоко им, плоды манго и ананасы!

Яд кобр — один из самых страшных ядов. Я читал, что, укусив живое существо, кобра впрыскивает в его тело до пятидесяти миллиграммов яда. Человек умрет и от половинной дозы, а лошадей эта доза убьет несколько десятков, кроликов несколько сотен. Даже слон погибнет, если кобра куснет его в кончик хобота, в самое чувствительное и нежное место, куда она обычно и норовит куснуть слона.

В тот год, когда я впервые побывал в Индии, там от змеиных укусов, как сообщала индийская печать, умерло до сорока тысяч человек.

Страшна эта танцующая под музыку гадина, а потому и привлекает к себе всеобщее внимание. Американские и английские богатые старухи, приезжающие в тропики посмотреть на «сказочные страны», непременно требуют, чтобы им показали заклинателей змей, бой кобры с мангустой, пляску кобр. К порогам дорогих отелей, оборудованных установками для охлаждения воздуха, являются змеиные поводыри с корзинками, дудят на дудочках, под звуки которых из корзин выползают и раскачиваются, стоя пружинами, страшные существа с холодными, немигающими глазками. Потом устраивается драка кобры с мангустой, вытащенной из другой корзины. Никто, конечно, не погибает. Хозяин вовремя растаскивает противников, не дает мангусте прокусить затылок змее, а что касается самой кобры, то ядовитые зубы у нее предва-

рительно выдраны. Все обходится благополучно, старые леди платят рупии и жаждут других экзотических зрелищ.

Кобры, как и все змеи, не имеют барабанных перепонок в ушах, поэтому никакой музыки они не слышат; кобра «танцует» под воздействием какого-то иного механизма, пока не изученного. А что касается зубов, то специалисты утверждают, что зубы у кобр могут отрастать вновь, как у ящериц отрастают оторванные хвосты.

Все ближе Джафна, самый северный город Цейлона. Все горячее ветер. В этих местах жарко так же, как на юге Индии, в огненных штатах Мадрас и Керала.

Стало очень мало кокосовых изогнутых пальм; всюду стоят стройные, ровные, как тонкие колонны, пальмы пальмиры, на листьях которых писались древние цейлонские и индийские книги. Кое-где вижу просто бревна, вертикально торчащие из земли. Оказывается, это отжившие свое, засохшие, мертвые пальмы. Мертвые деревья вообще страшны. Но мертвая пальма страшнее других во сто крат. У пальмы же нет ни сучьев, ни ветвей. У нее только пучком ее перистые веселые, нарядные листья. Когда она гибнет, сухие листья опадают под ветром — и вот остается стоять черное бревно.

По узким перешейкам, справа и слева от которых вода, проезжаем Елефант пасс, «Слоновый проход», и оказываемся на густо заселенном полуострове. Селения тут, как в районе Коломбо, вновь идут вдоль дорог сплошняком. Медленно по узким тенистым улицам среди пестрой толпы въезжаем в Джафну — веселый, шумный, зеленый город.

У Кости здесь оказался знакомый, который взялся показать нам местные достопримечательности. Человек это молодой, энергичный, улыбчивый, он занимается адвокатурой, времени у него достаточно. Кстати, он католик. В его доме, куда он нас пригласил отдохнуть в тени, на стене распятие и несколько картинок — иллюстраций к Священному писанию.

Прежде всего Генри (так зовут молодого жителя Джафны) повел нас в форт. Все города цейлонского побережья начинаются с фортов. Форт в Коломбо, форт в Галле, форт здесь, в Джафне; позже я увидел еще один форт — в Тринкомали. И это понятно: высаживаясь на

чужой берег, и португальцы и голландцы первым делом строили укрепления, дабы хозяева острова не вытолкали их восвояси.

Джафнинский форт могуч. Громадные земляные валы, каменные стены, перед ними глубокие рвы с водой. На стенах площадки для многих десятков пушек, бойницы для ружейной стрельбы. Эту цитадель 250 лет назад возвели голландцы. Под защитой крепостных валов и стен они построили и то суровой красоты здание, которое называется «Королевским домом» — Кинг хауз.

Генри водит нас по лабиринту больших, с очень высокими потолками комнат. Потолки лежат на черных балках из неподвластных времени пород цейлонского дерева. Заходим в спальные комнаты заезжавших сюда голландских королей и их полновластных наместников, в трапезные с длинными прочными столами, видим приемные и рабочие комнаты, громадные кухни с громадными плитами, обширные кладовые, камеры для запасов воды на случай таких осад, когда даже крепостные колодцы почему-либо могут выйти из строя. Во всех комнатах — старинная, темная от времени, превосходная мебель. Все осталось так, будто бы здесь все еще живут былые хозяева этого дома.

— Да здесь и живут, — сказал Генри. — Высокие персоны нашего острова. Когда приезжают в Джафну.

Через сумрачные, тесные коридоры, через тайники, по лестницам в стенах выходим на тесный двор. Здесь расположен колодец, половина которого во дворе, другая за стеной; если наклониться к самому краю колодца, то видна его противоположная часть. Генри рассказывает трогательную историю несчастной любви голландской принцессы. Со своим возлюбленным она могла общаться только тут, возле колодца, отделенная им. Потом молодому человеку не то отрубили голову, не то бросили его в колодец. Обычная история из жизни королевских семей.

Пересекаем двор, чтобы по каменной лестнице подняться на площадки для пушек. Подобрав увесистую палку, Генри шарит ею в траве перед нами. Ну конечно же он желает удостовериться, нет ли на нашем пути змей. Во все стороны разбегаются полуметровые ящерицы, нехотя уходят пауки и какие-то подобия скорпионов.

Со стены далеко видна морская гладь. Пушки смотрели когда-то в ту сторону. Оттуда голландские колонизаторы

ждали конкурентов. Сколько здесь сменилось поколений верных служак голландской короны! Многие из них лежат под каменными плитами в церкви форта. Пестрят, выбитые на камне, чуждые цейлонскому народу имена. Вот лежит Сусанна, жена командора ван Бломгеборна из Гарлема. Родилась она 26 февраля 1669 года в Гарлеме, вышла замуж за своего командора, отправились оба на дальний-дальний остров, за тридевять земель, служить королю и королеве Голландии, обогащать их и кое-что урывать себе. И вот 12 февраля 1693 года, двадцати четырех лет от роду, молодая фру умерла в чужом местечке Напатнам, которого я не нашел на карте, как ни старался. Может быть, его уже и нет, а может быть, оно носит ныне иное наименование. Малярия ли убила фру Бломгеборн, холера или укусила змея?

Лежат вокруг под другими камнями другие голландские дамы и господа. Загнали их сюда или военная служба, или колонизаторская алчность, рубили они тут головы, били палками, гноили в казематах цейлонцев. Вот на самом виду всей Джафны, на одном из верков крепости, острым углом обращенном к городу, возвышается заметное отовсюду под кровлей на четырех каменных столбах место публичных казней; здесь всегда болталась веревочная петля на перекладине, здесь в плаху из тикового дерева был постоянно врублен отточенный топор палача, и здесь на кольях неделями выставлялись напоказ и на устрашение живым головы казненных.

Любезный Генри предложил нам поездить по окрестностям Джафны. Заправили «оппель» горючим, проверили давление в левом переднем баллоне, который имел, как говорится, тенденцию терять его, и отправились. Полуостров маленький: миль тридцать с запада на восток и и миль пятнадцать с юга на север. Заселен, как я уже сказал, он густо. Местный пейзаж очень похож на пейзажи Южной Индии, особенно штата Мадрас. Всюду пальмы — кокосовые и пальмиры. Растут в районе Джафны такие культуры, каких в других частях Цейлона не видно. Например, виноград и табак. Табак, правда, как раз тот, из которого была сделана сигара Мартина Викрамасингхе, названная английскими солдатами «вонючей дрянью». А что касается винограда, то его очень мало, растет он главным образом на участках любителей редкостных растений.

Весь полуостров изрезан лагунами — большими, малыми, вытянутыми в длину, как реки, круглыми, подобными озерам и прудам.

В одном местечке, под названием Путтур, Генри привел нас к водоему, который похож на квадратный провал в земле; на дне его стоит тихая, чистая вода. Но то, что предстает нашему взгляду,— это еще далеко не дно. До дна, уверяют — кто-то измерил, и не раз, — 180 футов. И что удивительно, ниже 81 фута начинается слой соленой океанской воды. До 81 фута вода пресная, пригодная для питья, а ниже — соленая.

Возле водоема раскиданы старые, выветрившиеся камни каких-то развалин. Генри сказал, что лет 400 назад здесь был храм. Прежде чем войти в него, богомольцы омывали ноги в водоеме. Португальцы, побывавшие в Джафне до голландцев, разрушили храм, водоем принялись углублять. Но в нем что-то само собой от их возни провалилось, и он стал почти бездонным.

Генри с улыбкой рассказывает всяческие истории, связанные с этим водоемом в Путтуре. Утверждают, говорит он, что водоем соединен подземными протоками с океаном. Поэтому в глубине его вода океанская. Существует легенда, что один монах по этим протокам пробрался как-то на Цейлон из Индии и появился здесь, в Путтуре, выбравшись из этой ямы.

Легенда эта конечно же не простая. У нее есть свой скрытый смысл, и выдумана она теми, кто и поныне стремится доказать, будто бы северная, джафнийская, часть Цейлона — неотъемлемая территория Индии.

Одно неоспоримая правда: водоем не только никогда не оскудевает водой, но, сколько бы из него ни черпали, уровень его остается незыблемым. А черпают из него так: в воду спущены две толстые чугунные трубы, сантиметров по тридцать каждая, мотопомпы непрерывно гонят по ним воду на окрестные поля. Все нужды сельского хозяйства в воде в радиусе до четырех миль удовлетворяются из этого водоема. Нелегко поверить. Но я поверил, потому что стоял и смотрел собственными глазами на то, как трубы жадно сосали воду из водоема, а ее там ни на миллиметр не убывало.

Природа умеет загадывать загадки человеку.

Возвращаясь от этого необыкновенного колодца в Джафну, мы свернули с дороги в сторону, в открытые поля, среди которых поодиночке и группами стояли пальмы, и

подъехали к небольшой деревеньке. Издали деревенька выглядела скоплением больших муравейников. Вблизи муравейники оказались сплетенными из пальмовых листьев хижинами.

Двор цейлонского крестьянина из района Джафны обнесен подобием плетня. Но этот плетень не из сучьев, как у нас, а из тех же листьев пальмы. Он плотный, как циновка, сквозь него ничего не видно. Мы вошли в один из таких дворов. Вся семья была в сборе. Глава семьи и двое взрослых сыновей перед входом в хижину обстругивали большими ножами «лемех» деревянного плуга, сделанного из увесистого, прочного сука какого-то местного дерева. Этот сук люди волокут по земле, и он раздирает почву, разделывает ее для посева семян или посадки клубней.

Хижина похожа на корзину, опрокинутую округлым дном кверху. Кровля у нее, то есть верхняя часть, сплетена из искусно, сложным узором расположенных, широких и плотных листьев пальмы пальмиры, а нижняя, цилиндрическая часть — из менее широких листьев кокосовой пальмы. Внутри хижины есть поперечная стенка, отделяющая спальную ее половину. Всюду под кровлей развешаны здоровенные связки лука, пахнет травами. Никакой мебели нет, только циновки на полу. На них сидят, на них спят. Нет и очага в хижине. Кухня сплетена во дворе отдельно. Возле нее старая бабуся поливает водой голого внучонка, которому нет еще и года. Он визжит от удовольствия под струей, бегущей ему на голову, на плечи из глиняного кувшина.

Что они выращивают на своем поле? Вот этот лук, всякие другие овощи, в том числе ямс и маниоку. Сколько раз в год снимают урожай? Да все время его снимают. На одном участке снимут — сразу производят новый посев. Тем временем плоды поспевают на другом участке — снимают там, сеют вновь. Нет ни весны, ни осени для земледельца, ни зимы, ни лета. Никаких перерывов в сельскохозяйственных работах. Поэтому и спешки нет: когда посеял, тогда и посеял — все равно вырастет.

Одежды у всех в семье минимальные: несколько кусков ткани, у мужчин белой, у женщин пестрой, цветастой; на детях вообще ничего нет. Пища? Ее на полях вырастает достаточно. Что покупают в лавочке? Спички, соль и мыло. Но без соли и мыла обойтись можно. А спич-

ки... Если сохранять горячие угли в горшке под золой, то обойдемся и без спичек.

Не слишком-то много от своей культуры отвалили цейлонскому народу за четыре сотни лет колониального грабежа португальцы, голландцы и англичане, вместе взятые. Брать брали, гребли лопатами, а дать? И горсточки не дали.

Довольно поздно, пожалуй, уже в начале ночи, при всех экваториальных звездах и полной луне, Генри вез нас к одному, как он сказал, очень интересному человеку. Этот человек сосредоточивает вокруг себя литературное движение северной части Цейлона, является организующим центром тамильской литературы на острове. Он профессор, готовит молодые кадры, сам пишет литературоведческие статьи и книги. Большой эрудит.

Мы долго путались в пустынных и узких улицах ночной Джафны, ехали вдоль глухих изгородей, мимо домиков с темными окнами, пока не остановились наконец прямо перед воротами. Их распахнул перед нами приземистый человек, черты лица которого было не различить при свете луны, стоявшей прямо над нашими головами.

Человек ввел нас в дом; начались представления и знакомства — оказалось, что это и есть тот, к кому мы ехали.

Расположились в тесной комнатке, заваленной книгами и журналами. Трещали сверчки за распахнутыми окнами, по стенам, охотясь на москитов, прохаживались ящерицы гекко; электрический свет был не ярок, в полумраке вспыхивали белками глаза хозяина; движения его были резки, возгласы страстно-убежденные, весь тон разговора — полемический, будто человек этот встретил в нашем лице своих литературных противников и стремится нас сокрушить.

Генри тихо сказал:

— Он всегда так. Он начинен порохом. Поэтому на его лекциях полно слушателей. Студенты любят преподавателей-задир.

Кое-как Костя и Генри втолковали ему, как звучит и пишется моя фамилия. Он что-то быстро прикинул в уме, глаза его стрельнули по связкам книг и журналов.

— Вы!.. — закричал он. — Вы из той страны, где душат культуру, где регламентируют художественное твор-

чество, где... где... едят детей! — Он почти задыхался от волнения.

Мне уже давным-давно были знакомы подобные, разной остроты, приступы, в основе которых лежит злостная, хорошо рассчитанная, ловко осуществляемая дезинформация о нашей стране, о нашем строе, о наших культуре, литературе, искусстве. Передо мной была типичная жертва западных клеветников-дезинформаторов. Я знал, что собеседник мой вот-вот назовет два-три имени литературных «младенцев», которых в Советском Союзе «едят», и этими двумя-тремя именами исчерпаются все его сведения о нашей современной литературе. Так, конечно, и получилось.

— Откуда вы все это взяли? — спросил я его.

— Вот! Вот! — Он стал выхватывать из связок и пачек журнал за журналом и с треском швырял их на стол. Тут была чуть ли не вся артиллерия, изо дня в день ведущая по нас методический огонь печатной клеветы. На хорошо оснащенных огневых позициях расположились и батареи годовых комплектов пресловутого журнала «Энкаунтер», издающегося в Европе, но имеющего широкое хождение среди творческой интеллигенции стран Азии. Именно в нем наш хозяин вычитал о том, как у нас пожирают литдетей, как душат культуру, как зажимают рты истинным талантам.

Я стал называть имена — и поэтов, и прозаиков, и молодых, и немолодых, — о которых «энкаунтеры» разных мастей не пишут, стал пересказывать их стихотворения, поэмы, повести, романы, рассказывать о литературе социалистического реализма. Он то вскакивал со стула, бросался ходить по комнате, то вновь усаживался напротив меня, испытующе и остро всматриваясь в мои глаза, следил за губами. Ему, очевидно, было мало слов, их значения и смысла, он хотел видеть и то, как говорятся эти слова.

— Черт побери! — сказал он под утро, когда уже стало светать и можно было гасить лампы. — Вы мне кажетесь человеком искренним. Я не могу вам не верить. Я хочу вам верить. Но как же быть с этим?! — Обе руки его легли на груды журналов, раскиданных по столу. — Как?..

И в самом деле, как, если в его распоряжении нет никаких наших изданий, клевете Запада противопоставляющих правду о нас, о нашей жизни, о нашей литературе?

До большого селения Вавуния мы катили из Джафны на юг той же дорогой, по которой ехали и в Джафну. Снова «Слоновый проход» по перешейкам, снова лагуны справа и слева, снова джунгли, редкие селения, обезьяны и змеи.

Перед Вавунией мы остановились и начали самым тщательнейшим образом изучать карту. Нам надо было в Тринкомали, на восточное побережье острова. Путь немалый. Надежная автомобильная дорога ведет туда через Анурадхапуру, где стоят древние дагобы и развалины королевских дворцов. Но ехать от Вавунии до Анурадхапуры и только затем двинуться на Тринкомали — это значит измерить колесами две стороны огромнейшего равностороннего треугольника, совершить много десятков миль. А если от Вавунии двинуться на Хоровупатану, то это будет третья сторона треугольника, прямая, резко сокращающая наш путь. Но... но ехать надо через совершенно глухие джунгли, по дороге даже не второстепенной и не третьестепенной, а по такой, какие у нас называются проселочными; на пути в несколько десятков миль не будет не только значительных, но и вообще никаких селений.

Положение осложнялось еще и тем, что у нас не было запасного колеса, в то время как в левом переднем баллоне почему-то потихоньку падало давление, его надо было подкачивать. А вдруг баллон совсем скиснет среди джунглей и придется там заночевать?..

Испытываем муки раздвоения чувств и порывов. С одной стороны, подмывает срезать угол и сегодня же добраться до Тринкомали, возможно, что даже засветло. А с другой стороны, вот это переднее левое колесо. В джунглях, да к тому же ночью, на пустынной, неведомой дороге никто и ничем нам помочь не сможет, поскольку там никого и нет, кроме обезьян и хищников, как выразительно изображено в этих местах на автомобильной карте.

Долго чешем затылки. Побеждает в общем-то не столько возможность сократить путь, сколько любопытство, возможность увидеть *настоящие* джунгли. Может быть, второй такой возможности никогда уже и не представится.

Сворачиваем от Вавунии налево и углубляемся в леса. Дорога вначале более или менее приличная, кое-где даже со следами асфальта, а затем такая, как все лесные дороги, по которым ездят раз в год.

Поразительны эти нетронутые джунгли Цейлона. Половина деревьев в них мертва. Стоят огромные, голые, безлистные и бескорые коряги и тлеют на корню. Все пахнет тлением и вместе с тем цветами бесчисленных обильно цветущих растений: трав, лиан, кустарников, деревьев. Войти в джунгли невозможно. Не потому, что они кишат гадами, — это само собой: вон какая-то змеища как бы медленно течет по стволу дерева. А дело главным образом в том, что джунгли загромождены упавшими сучьями, ветвями, стволами, к тому же еще и оплетенными лианами. В какой-то мере это схоже с той забайкальской тайгой, какую я видел на дороге к Баргузину. Там тоже без топора в глубь леса не пробиться ни на метр.

Обезьяны носятся по стволам, по ветвям, орут, корчат рожи. В одном месте на дорогу выскользнул из травы ящер метра в полтора длиной, черный, устрашающий, с гребнем, подобный огромному тритону. Я называю их ящерами. Это не совсем точно и даже вообще не точно. Зоологи в применении к этим пресмыкающимся употребляют слово *ящерица* или что-то вроде этого. Но когда видишь такое существо, наши зеленые или коричневые ящерицы на память не приходят, вспоминаются доисторические игуанодоны, именно ящеры, да простят мне это специалисты.

Гребнистый житель джунглей поджидал нас довольно спокойно и лишь в самое последнее мгновение выскользнул из-под колес машины.

Впоследствии, когда я в Коломбо рассказывал о поездке через джунгли и помянул этого огромного тритона, Мартин Викрамасингхе сказал, что даже если бы мы его и переехали, он нисколько бы не пострадал. При первом же натиске колеса он надулся бы, как барабан, и ему бы ничего не сделалось. Ребятишки в деревне Коггала, в том числе и юный Мартин, натыкаясь на этих пресмыкающихся, били их палками как раз для того, чтобы увидеть, как те раздуваются для защиты. Их, кстати, нельзя путать с игуанами. Игуаны живут на суше, они съедобны, они коричневого цвета. А эти огромные тритоны с белыми пятнами на боках предпочитают обитать в воде. У Мартина

в пруду они постоянно воруют его рыбок. Есть гребнистых гадов нельзя. Существует даже поговорка на Цейлоне, которой выражают примерно то, что у нас выражают словами: хорошая мина при плохой игре. У цейлонцев это звучит так: «Ест водяную гадину, а говорит: как вкусна игуана!»

В двух-трех местах проехали места обитания человека. Я не называю их селениями. Это было несколько плетенных из листьев хижин, высоко поднятых над землей, над зарослями кустарников, — каждая на четырех столбах. Кое-где от такой хижины к соседнему дереву протянуты веревки, на которых параллельно земле подвешено нечто вроде веретенообразных закрытых корзин. То ли для спанья, то ли для припасов? Узнать не удалось. Встречные жители знали по-английски только «Монинг, сэр!», то есть приветствовали с добрым утром, хотя уже шла вторая половина дня.

Подростки несли на палках, как на коромыслах, тяжелые низки крупных рыб, вроде линей или карасей. Должно быть, окрестные, неширокие, но полноводные речки богаты рыбой. Мы видели в них тени крепких рыбьих спин, взблески чешуи на боках. И увидели плывущего явно же крокодила. Небольшого, с метр, но все-таки крокодила.

Потом Питер Кейнеман, когда я ему сказал об этом, попыхтел сигаретой, ответил:

— Если тебе необходима письменная официальная справка о том, что ты встречался с крокодилами, я тебе ее дам. Пожалуйста. Но не принуждай меня признать ту штуку за крокодила. Крокодилы живут на юге острова.

Несколько раз мы останавливались и выходили из машины, чтобы послушать голос джунглей. Вечерело, и джунгли кричали на все голоса. Тут было и разливистое птичье пение, и какие-то однообразные вздохи-стоны, тоже, видимо, птичьи, и ревы, и трубные басы, и треск трескучих насекомых. Сливалось все в единый лесной гул. Да, ночевать здесь не хотелось бы. Не без тревоги осматривали мы переднее левое колесо и ехали дальше.

Возле Хоровупатаны выбрались на автомобильную дорогу и, полные впечатлений от джунглей, понеслись к Тринкомали.

Успели туда до захода солнца. Остановились в отеле «Welcombe», где нас очень приветливо встретил менажер, то есть управляющий, господин Шанкар. С балкона

отведенного нам номера открывался красивейший вид на бухту, в которой когда-то стояли английские военные флоты, прикрытые со стороны океана, как кулисами, поросшими зеленью полуостровами. Город Тринкомали с его торговыми улицами раскинулся вдоль берегов бухты. На холмистых полуостровах видны вершины храмов, старинных сооружений.

На площадке перед отелем остановилось несколько автомобилей. Из них высыпала веселая, шумная толпа иностранных туристов. Мы разговорились с одной молодой парой. Белокурая девушка оказалась немкой из-под Ганновера. Спутник ее был швейцарцем. Немку звали Ингеборг Шмидт. Отец ее содержит небольшой отель близ Ганновера. Но она отправилась в путешествие на Цейлон отнюдь не на отцовские деньги. Она разводит сенбернаров и торгует щенками. Платят за таких щенков до 600 западногерманских марок.

И она и парень-швейцарец кинулись к нам с расспросами: «А, жаркие страны!.. Это очень мило. Но это можно увидеть и в кино. А вот ваш Советский Союз!..» И вопросы сыплются один за другим. Как к вам приехать? Во сколько это обойдется? Как получить визы? Сколько стоит пиво? На доллар столько бутылок?! Да это же замечательно! А какие у вас отели? Есть ли хотя бы такие, как это «Welcombe»? Есть и лучше? Ну ничего-то мы о вас, о вашей стране не знаем. Ничего! «Очень, очень надеюсь к вам приехать! — повторяла Инга. — Хотите, привезу для вас замечательного щенка?»

Наутро она вышла к завтраку в ярком, хорошего малинового цвета сари, которое купила в одной из лавочек Тринкомали. Она накрутила на себя ткань не очень-то правильно, оставив свободным не правое плечо, а левое, но все равно сияла от удовольствия.

Мы с Костей отправились изучать новый для меня город.

Запирая вход в бухту, на скалистом мысу стоит форт «Фридерик». «Anno 1676» — вырублено на одной из каменных глыб, из которых сложены его стены и казематы. В Джафне в те годы уже сидели голландцы, мало-помалу вытесняя первых европейских колонизаторов Цейлона, а здесь, на восточном побережье острова, еще укрепляли свои позиции они, эти первые португальцы.

Оценили отличное месторасположение форта и англичане, изгнавшие с благодатных земель всех своих

предшественников. Форт при них модернизировался, совершенствовался; сохранились площадки для дальнобойных орудий, видимо девятнадцатого, а может быть, еще и восемнадцатого веков. Миновать их огня и под крупнокалиберными ядрами прорваться с океана в тихую бухту было совершенно невозможно. Все они, охотники за богатствами чужой, бесконечно далекой от них страны, держались за ее берега всею мощью своих флотов и фортов, всего своего оружия.

Невдалеке от форта, на скале, еще более высокой, обросшей зеленью и заселенной ланями и мартышками, стоит индуистский храм Шивы. Идти к нему долго, по каменистым восходящим тропинкам, под жарким солнцем. Но верующие идут, идут. Каждый несет очищенный от волокнистой толщи орех кокоса. Скала, как мы прочли на табличке еще внизу, называется «Свами рок» — «Скала святого».

Перед входом в храм те, кто принес с собой орех, со всего маху бьют им о специально положенный для этого плоский, украшенный резьбой камень. Орех разлетается в куски. Это жертва Шиве. Зная суровый характер индуистских богов, невольно думаешь о том, что когда-то вот так о подобные камни, может быть, с таким же замахом и треском поклонники Шивы раскалывали человеческие головы. С ходом веков, как известно, жертвы во всех религиях упрощались. Когда-то закалывали человека, о чем повествует Библия, позже уже барана, о чем рассказывается в той же книге. А практика наших дней: гони главным-то образом монету. Или вот плати за специально очищенные орехи, которые продаются по дороге к индуистскому храму, или опускай монетки в железные кружки, которыми монахи трясут под носом у молящихся в католических церквах.

Орехи хряскают и хряскают перед входом в храм, изнутри храма пахнет пряными, сладкими благовониями. Идем с Костей мимо храма — к самому обрыву скалы. Внизу, далеко, вода океана. Океан здесь открыт на восток, на сотни и сотни долгих миль — до самой Индонезии. Тугой ветерок струится над нашими головами, освежает. Мы смотрим в воду под отвесным обрывом. Сколько тут до ее поверхности? Сотни полторы метров; может быть, и больше. Наверно, и туда сбрасывались когда-то жертвы. Люди с почтением и благоговением смотрят в сине-зеленую бездну. Там ходят тени крупных рыб, копошатся осьми-

ноги, бьют хвостами ромбовидные скаты. Местечко впечатляющее! А религия и должна впечатлять, держать в напряжении, в трепете чувства человека. На это направлены все хитрости, все ухищрения религиозных, культовых ритуалов.

4

Снова джунгли справа и слева от дороги. Раннее утро; поют птицы. Над джунглями — столбы дыма. В этих местах корчуют, расчищают тысячелетние лесные завалы. В работе принимают участие и наши советские бульдозеры и цейлонские слоны.

На острове не просто с пахотной землей. Есть места — их показывал мне сенатор Перера,— засоленные океанской водой через каналы, нарытые голландцами. Есть места — о них говорил мне Питер,— где дожди уносят в океан плодородный слой почвы. Есть зоны засух — там уже много веков идет борьба за воду, возводятся и поддерживаются сложные системы ирригации. А больше всего таких мест — две трети острова,— которые заняты джунглями. На острове до двенадцати миллионов жителей; население растет. Один цейлонец-энциклопедист сообщил мне такие данные. В день в стране рождается две тысячи ребят; умирает семьсот пятьдесят человек, женится двести пятьдесят. Если будет и дальше идти так, то к 1975 году население Цейлона достигнет двадцати миллионов. Понадобится очень много рису, который и сейчас приходится покупать в других странах. Что делать, чтобы все-таки самим прокормить свое население? Джунгли! Их расчищать и дикие, пропадающие для человека земли превращать в культурные, пахотные.

Вот и идет теперь эта работа. Много помогли цейлонцам советские машины и советские специалисты. На тех участках, где они работали год-два-три назад, зеленеют веселые плантации бананов, папай, из искусственных топей подымается яркая щетина рисовых посевов. Но пока это только начало. Нет ни конца ни края работам, которые предстоят цейлонцам. Черные тела слонов легко ворочаются в лесных чащах; могучие животные тащат к дорогам поваленные деревья, давят тумбами ног, рвут хоботами гадов, гонят с насиженных мест леопардов.

Дорога, по которой мы катим от Тринкомали на юго-запад, новая для нас. Но это уже не тот страшноватый,

неведомый путь прямо через джунгли. Это дорога государственная: Коломбо — Тринкомали. Но где-то мы с нее свернем, чтобы посетить вторую древнюю столицу Цейлона — Полоннаруву с ее знаменитыми развалинами.

Из цейлонских хроник известно, что на блиставшее царство Раджаратта, столицей которого была Анурадхапура, где мы побывали по дороге на Джафну,— на это богатое царство совершались неоднократные нашествия тамилов из Южной Индии. Тамильские войска пересекали Полкский пролив, высаживались в Джафне и в ее окрестностях, а возможно, и в районе нынешнего Маннара, откуда идет ныне морской путь в Индию, и двигались на Анурадхапуру. Сингалы мало-помалу отходили из подвергавшихся нашествиям мест; в XI веке они оставили и Анурадхапуру, царство Раджаратта пришло в упадок. На историческую арену выходят цари, образовавшие новое государство и построившие новую великолепную столицу в Полоннаруве.

Сражения с тамилами не прекращаются, но государство вокруг Полоннарувы существует и процветает. Понадобились, правда, огромнейшие ирригационные преобразования, чтобы засушливая здешняя земля родила необходимый населению рис.

Первое, что мы увидели, подъезжая к Полоннаруве,— гигантское озеро. Это был искусственный водоем, сооруженный в те далекие времена. Рассказывают, что тут были вынуты и насыпаны бесчисленные тысячи кубометров грунта. Мы и видим высоченные дамбы, опоясывающие берега озера. Озеро, утверждают, покрывает площадь в 1800 гектаров; чтобы его объехать вокруг, надо совершить путь более чем в тридцать километров.

В Полоннаруве все связано с именем и деятельностью царя Паракрамабаху I, которого в цейлонской истории называют Великим. Это он, как пишут, «маленький городок превратил в поэму из камня». Статуя Паракрамы высечена древними скульпторами в скале, близ озера. Прежде чем искать место в рестхаузе, расположенном на самом берегу, мы подъехали к ней, постояли перед внушительным изображением этого царя-строителя.

До него тут, до этого сильного властителя, после того, как нашествия тамилов заставили цейлонских королей покинуть Анурадхапуру, развертывал строительство Виджайя Баху I (конец XI, начало XII века). Тогда же воздвигли здесь и тот храм, в котором хранился зуб Будды,

несколько веков спустя, когда на Цейлоне появились завоеватели из Европы, увезенный в более надежное место — в Канди, где, как я уже рассказывал, он находится и поныне, в храме Далада Малигава.

Паракрамабаху I, Паракрама Великий, перед массивной статуей которого мы стояли раздумывая, строительству новой столицы придал совсем другой размах, чем было до него. Он был молод, полон сил, намеревался прожить долгую жизнь, поэтому, щедро тратя из казны государства, затевал одну грандиозную стройку за другой. Громадные дворцы, обширные парки, храмы, купальни, отделанные такой искусной резьбой, какую вполне можно назвать каменным кружевом, расписанные лучшими мастерами того времени, год за годом возникали близ берегов голубого озера.

Великие эпохи в жизни того или иного народа, великие цивилизации оставили человечеству такие материальные и духовные ценности, говоря о которых мы к ним тоже невольно прилагаем эпитет «великие». Великие мастера, великие строители, великие государственные деятели, может быть, потому были великими в своих деяниях, что полет своей мысли не ограничивали нуждами лишь текущего, или, как сейчас модно называть, летящего, дня, и лишь пределами того рационального, которое рациональным является только в тот день и в тот год. Это — удивительное, странное и потрясающей созидательной силы противоречие, тысячелетиями сопутствующее истории человечества. Древние египтяне кропотливо прокладывали оросительные каналы на полях, дабы не остаться без хлеба насущного. Но при этом у них возводились и никому в повседневной жизни не нужные пирамиды, вот уже четыре с лишним тысячи лет обдуваемые горячими ветрами с африканских пустынь. Древние эллины-мореходы строили корабли для доставки в амфорах оливкового масла и других продуктов питания на бесчисленные свои острова и вместе с тем украшали эти корабли такими произведениями искусства, как, скажем, Ника Самофракийская, нисколько, надо полагать, не способствовавшая судоходству, но вот являющаяся ныне гордостью парижского Лувра, а совершенство форм и роспись глиняных амфор, отнюдь не обязательные для лучшей сохранности масла, зерна и вина, привели эти изделия древних гончаров почти во все крупные музеи мира. Мои родные новгородцы когда-то сложили в центре своего кремля собор святой

Софии для того, чтобы отправлять в нем повседневные требы своей христианской религии. Но так как собор складывали великие мастера, то не одно поколение жителей Новгорода прошло под его сводами, и стоит собор вот уже тысячу лет на земле, пережил нашествие гитлеровцев, видел бомбы и снаряды в своем кирпичном теле, и никто не сможет сказать, сколько тысячелетий проживет он еще. Великие созидатели и их творения, их дела принадлежат народу и живут вечно. Временщики и их сугубо рационалистические, суетливые делишки умирают одновременно.

Мы ходим среди храмов, дворцов, скульптурных групп Полоннарувы, города Великого Паракрамы, поражаемся тем, как густо покрыты резьбой каменные колонны остатков королевского дворца, как искусно одной из каменных купален строители придали форму распустившегося цветка лотоса, как величественны и спокойны линии, формы огромных статуй лежащего Будды и Ананды, которые вырублены в скале у входа в пещерный храм Галвихара. В Полоннаруве многое сохранилось. Но многое и разрушено. Разрушено не потому, что было построено по принципу временщиков: после меня хоть потоп. Эти сооружения и по сей день не поддались бы времени. Они пострадали от войн, от пожаров, от руки человека.

Прекрасна была бы земля наша, если бы на ней сохранялось все, что за тысячелетия было создано гением великих строителей и великих деятелей; если бы люди нашли средства ограничивать суетливую энергию временщиков, если бы не позволяли им уродовать красивые города проспектами, заставленными домами-комодами, домами-этажерками, а еще хуже — домами-казармами; если бы нашли такие формы применения человеческих способностей, при которых не кто-то один, часто бесталанный, решает, как и чем занять, застроить землю, а каждый, кто предложит, придумает наилучшее, наикрасивейшее, наиболее искусное. Видимо, причины вечности созданного руками человека в том, что создавалось и создается это наиболее по своему времени талантливыми мастерами, наилучшими созидателями. Временщики таких никогда не любили, потому что такие сплошь и рядом строптивы и непокладисты. Временщики обожают, приближают и награждают таких, которые умеют им угождать. Но такие, как на грех, большей частью бесталанны. Ловки, оборотисты, но бесталанны.

Усталые, приехали мы в рестхауз. Гостиничка эта на самом берегу, среди деревьев. Тень, прохлада в той мере, как это возможно на Цейлоне.

Когда мы вошли в обеденный зал, вдруг услышали:

— Хэлло!

Наши знакомые по Тринкомали, и среди них голубоглазая Инга Шмидт, уже попивали тут холодное пиво. Значит, с неведомых туристам, не хоженных ими цейлонских дорог мы выбрались на главные магистрали острова и в такие места, которые привлекают путешественников со всего бела света.

Уселись за столик возле окна, за которым стояло неизвестное нам обильно цветущее дерево, а за ним уже была вода озера. Пока нам жарят рыбу, только что пойманную в этом озере, созерцаем окрестные красоты. Солнце в голубоватой дымке, все краски на земле от этого зеленые и голубые, мягкие, успокаивающие.

С крыши за окном, утончаясь книзу, свисают какие-то длинные палки наподобие сосулек. Но в отличие от сосулек они бурые и шевелятся.

— Что это такое? — спрашиваем официанта, откупоривающего бутылку тоника.

Проследив взглядом за нашими указующими пальцами, он быстро выбегает из зала. Затем мы видим его уже за окном. Бамбуковой палкой, явно предназначенной именно для этого, официант сгоняет с крыши обезьян, которые, как потом нам рассказывали, все время кружатся вокруг рестхауза, норовя украсть что-нибудь из съестного. Это их хвосты мы видели свешенными с крыши над окном.

Обезьяны понеслись по кровле, потом перескочили на дерево. Оттуда они принялись строить рожи официанту, щелкать, цокать; больше он с ними поделать ничего не может. Видим: развел руками, пошел на кухню за рыбой для нас.

5

Километрах в тридцати пяти — сорока от Полоннарувы находится знаменитое местечко Сигирия. О нем мне говорили и госпожа Бандаранаике и сенатор Перера, говорили и в министерстве культуры Цейлона. Мало того, я уже давным-давно знал о сигирийских пещерных, или, точнее, наскальных, фресках, видел цветные репродукции

этих улыбчивых фей, о которых в книгах сказано, что по манере письма они родственницы феям индийской Аджанты.

Путаясь среди перекрестков, поворотов и ответвлений, едем в Сигирию. С какого-то места среди джунглей меж деревьев начинает просматриваться вдали одинокая буроватая скала с плоской вершиной. Она то появляется, то исчезает, загадочная, таинственная, растворенная в дымке на фоне бледно-голубого выжженного солнцем неба.

Машина подъезжает вскоре почти под самое ее подножие, где, как водится, стоит рестхауз «Сигирия» и откуда надо начинать пеший подъем на скалу, к фрескам.

Идем бесконечными каменными ступенями, почти с каждой спугивая жуткую, как драконово дитя, ящерицу. Идем под адским солнцем; от звона цейлонских кузнечиков кажется, что это звенит у тебя в твоей перегретой солнцем несчастной голове.

Ступеней сотни и сотни. Хорошо, что это не сплошная лестница, а только отдельные ее марши, ведущие от одной горной террасы к другой.

Сил никаких уже нет, и пути нашему надо бы поскорее заканчиваться. Но, увы, он, этот путь, еще только-только начат: после очередного марша выбираемся на площадку, которая расположена под отвесной стеной вознесшейся над нами к небу гигантской скалы. Вот где подлинное-то ее подножие, а не там внизу, у рестхауза!

Осматриваемся. Да, дальше снова ступени — к высоченной узкой трубе из проволочной сетки, вплотную приставленной к скале. В трубе заметно движение. Там спрятана винтовая лестница, ведущая вверх к прилепленной как-то к камням, тоже из проволоки, небольшой прямоугольной не то корзинке, не то клетке. Люди, крутясь по лестнице, медленно поднимаются туда, вверх.

Долго тащимся по каменным ступеням к входу на винтовую лестницу. Смотрим, переводя дыхание, вниз, на джунгли, на бесконечные лиловые дали. Как тут, среди равнин, появилась эта скала? Как на нее забирались и строители и те, кто поселился на ней четырнадцать веков назад? Видим цепочки врубленных в камень маленьких ниш — поставить ногу. Неужели подымались только так? Но это же не для людей, а для коз!

Положив в рот таблетку валидола, прохожу через железную дверь, которую распахнул перед нами охран-

ник с пистолетом на боку, оказываюсь в сетчатой трубе и начинаю ввинчиваться вверх по гулким железным ступеням. Отвесно, отвесно, вдоль скалы... Страшно? Да, страшно. Висишь в общем-то на чем-то до крайности зыбком над бездной, над клыкастыми каменьями, нагроможденными природой внизу, под обрывом.

Наконец дрожащими от непривычного напряжения ногами ступаю с лестницы в то, что снизу казалось клеткой или корзинкой. На самом деле это стенка из железных прутьев, которой защищена ниша в скале. Не пещера, а просто ниша. На стене этой ниши — и прямо перед тобой, и вправо, и влево — вереница выполненных желтой, коричневой и зеленой красками удивительных фей, с прекрасными лицами, хрупкими плечами, гибкими руками; улыбки этих созданий ничуть не менее загадочны, чем улыбка Джоконды.

Забываешь о том, что ты где-то на высоте нескольких сотен футов, что тебе минуту назад было страшно в столь непривычном для нескалолаза положении. Все то отошло. Ты захвачен мощью искусства и не менее гипнотической силой, возникающей в тех случаях, когда сохранившееся по сегодня материальное дает тебе возможность увидеть духовную жизнь людей далекого прошлого.

По штукатурке, наложенной на камень, с великим мастерством выписаны фрески, изображающие двенадцать женских фигур. Первоначально их было больше. Но за четырнадцать минувших веков косые дожди, иной раз захлестывавшие в эту гротообразную впадину, сделали свое дело и кое-что унесли с собой. Оставшиеся двенадцать фугур по-прежнему живы, по-прежнему год за годом влекут к себе бесчисленных паломников со всего света.

Существует немалая литература о фресках Сигирии, немало высказано о них гипотез и предположений, часто совершенно противоположных. Все исследователи и толкователи более или менее сходятся лишь в том, что фрески запечатлели всего двух женщин, но мастер придал им почему-то несколько различных поз, поэтому они вот и повторяются парами. Исследователи сходятся, правда, еще и в том, что одна из этих женщин — госпожа, другая ей прислуживает, она служанка. Сделать такой вывод весьма нетрудно: у первой в ее тонких пальцах цветок лотоса, она любуется им, у второй в руках поднос с фруктами. Но дальше уже начинаются жестокие споры. Кто же такая

эта госпожа с цветком лотоса? Большинство утверждает, что она апсара, храмовая танцовщица и певица, существо, чуть ли не обитающее на небесах. Недаром и она и ее служанка как бы погружены по пояс в нечто подобное облакам. В этом случае становится в какой-то мере понятным появление удивительных фресок в таком, надо сказать, довольно необыкновенном месте. Выполнены они здесь, видимо, по воле того короля, о котором так образно рассказывал сенатор Перера. Это был король, стремившийся к собственному обожествлению. Его дворец вознесся на самую вершину сигирийской скалы, еще выше, чем эти феи в облаках. Жилище короля как бы витало над облаками, в горных, небесных просторах, почти там, где живут великие боги.

Другие в этом изображении хотят видеть не фею, не апсару, а придворную даму, может быть, из свиты королевы и, может быть, небезразличную королю, потому-де он и спрятал так тщательно ее портрет от глаз супруги. Королева прийти сюда никак бы не смогла. Никаких каменных ступеней, никаких винтовых лестниц в ту пору здесь и в помине не было; художник работал, видимо, спускаясь с верха скалы на веревках.

Сенатор Перера рассказал и еще об одном предположении, которое принадлежит Мартину Викрамасингхе. Мартин Викрамасингхе считает, что никакие это не дамы и вовсе не танцовщицы с небес, а поскольку Сигирия находится в засушливой зоне острова, то это феи воды. Помещены они в грот не для обозрения, а совсем напротив — для тайной работы по обеспечению окрестных полей водой. Изобразить-то их расщедрился опять-таки именно тот король, который хотя и был жесток с отцом и другими своими родственниками, но оказался любезен народу своей плодотворной деятельностью по обводнению засушливых земель. Перера согласен с предположением Мартина Викрамасингхе и порекомендовал мне повнимательней всмотреться в фигуры фей: сколько мягких, плавных, изящнейших изгибов имеют их обнаженные тела; они как бы и плывут в волнах и в то же время сами олицетворяют волны; что другие считают облаками вокруг их бедер, конечно же не облака, а вспененная, бегущая, кипящая вода.

Всматриваюсь. Да, очень похоже на волны, на фей, на богинь воды. И лотос в руках оправдан — он растет в воде, и фрукты на подносе у служанки — это символ

богатого урожая, результат обилия воды. Но и на небесную танцовщицу сигирийская красавица похожа: так легка она и воздушна. А могла быть она и любезной сердцу короля придворной дамой... Может быть, он приказал почему-либо сбросить ее со скалы, а потом скорбел перед ее изображением, спускаясь к гроту на веревках; и, приказывая художникам повторять ее портрет все в новых и новых положениях, жестоко мучился памятью о ней. В одной из книг о нем сказано, что «этот король был очень, очень хорошим, когда он был хорошим». Ну, а когда он был плохим?.. Замуровавший живьем в каменную стену отца с еще большей легкостью мог прикончить и любимую женщину.

С трудом отрываюсь от фресок, и отрываюсь совсем не потому, что уже «насмотрелся». Просто дольше здесь быть нельзя, не задерживая тех, кто внизу, возле лестницы ждет своей очереди подняться в проволочную корзину, содержащую в себе одно из сокровищ мирового искусства: более чем троих человек одновременно в хрупкое сооружение бдительные служители не пропускают.

Напоследок вновь оглядываю весь грот. Хочется как можно лучше запомнить все: ведь вряд ли когда-либо удастся подняться сюда еще раз. Сотни, тысячи людей побывали здесь за долгие века. Как и всюду, куда добираются охочие люди, многие из них оставили или просто свои росписи на камне, или высказались более или менее пространно о своих впечатлениях об увиденном, иные даже в стихах. Существует книга, в которой собраны надписи, сделанные в гроте сигирийских фресок. Надписи эти на самых различных языках, начиная с древнейших. Одни из них вот такого типа, обращенные к красавице: «Как хорошо, если бы ты ожила и присоединилась к нашей компании и вместе бы со своей красотой принесла бы и чего-нибудь выпить». Другие — лирические, взволнованные. Третьи — философские, с большой глубиной мысли. Они живут уже не один век.

Сойдя с винтовой лестницы, идем по недавно оборудованным для ходьбы тропкам-карнизам вокруг скалы, все подымаясь на ее вершину.

С площадки, на которую мы наконец-то выходим, во все стороны открывается бескрайний мир — голубые джунгли, искусственные озера... Где-то вдали в синих тучах бушуют грозы и мечутся шлейфы дождей. А над нами — яркое солнце.

Ветер гуляет по верху скалы, как ему вздумается, крепкий и освежающий.

На довольно тесном пространстве громоздятся здесь развалины, остатки дворца и крепости, вознесенной «выше облаков».

Разно толкуется природа и этих сооружений. Только ли тщеславие занесло сюда короля-отцеубийцу, или он еще и боялся мести со стороны брата? Известно, что брат, не простивший ему зверского преступления, в конце концов разгромил его войска.

Рассказывают, что несколько лет назад на сигирийскую скалу, вот сюда, где, оглядывая далекий горизонт, стоим сейчас мы, поднялся очень крупный гость из одной очень большой иностранной державы. Когда ему поведали все эти гипотезы, он так же вот, как мы, окинул орлиным взором окрестности и рек бессмертное:

— Нет, это все что угодно, но только не крепость. Отсюда же некуда отступать!

Рассказывавшие мне об этом цейлонцы и веселились и удивлялись и были, несомненно, вправе и веселиться и удивляться. Тот, кто, еще не начав боя, думает об отступлении, уже потерпел поражение, разбит и разгромлен. Великие полководцы поступали иначе: они сжигали за собой мосты, дабы некуда было отступать, они говорили: «Велика Россия, но отступать нам некуда. Позади Москва».

Смеркалось, когда мы пустились в дальнейший путь, держа курс на Коломбо. К концу подходила длинная неделя нашего путешествия по острову на автомобиле без запасного колеса. Снова по сторонам дороги завечеревшие джунгли. Кое-где они разворочены, вздыблены бульдозерами. Пылают костры, стеля дым над землей. В дыму, спасающем их от москитов, сидят люди, готовят себе ужин. Среди них величественными памятниками, распустив до земли хоботы, стоят помощники людей, большие, добросовестные труженики — слоны. Они тоже приустали за день и теперь подремывают стоя.

Людям надо спешить с их работой. Если через десяток лет население острова, как утверждают статистики, почти удвоится, сколько же надобно будет земли, чтобы она смогла прокормить эти дополнительные миллионы! Хорошо, что на острове есть такие мощные резервы — две трети суши, не тронутые ни плугом, ни мотыгой.

Заночевали мы в рестхаузе того городка, в котором бывали на предвыборном митинге с Питером Кейнеманом,— в Курунегале. Всю ночь нас жрали москиты. Утешало одно: Питер Кейнеман утверждал, что в этом когда-то чертовски малярийном месте с малярией покончено. Кусать здесь кусают, но заражать уже не заражают. Чешись себе на здоровье, как рекомендует Мод.

6

Всю ночь перед нашим отлетом из Коломбо над городом грохотала гроза. Цейлонские грозы особенные. Молнии тут не только бьют в землю, ища выхода для накопившегося в атмосфере электричества. Они и перехлестываются из одной тучи в другую горизонтально земле и сложным путем опоясывают тучу по ее контуру; они перекрещиваются, свиваются в клубки, только что не завязываются в банты.

С балкона гостиничного номера я смотрел на это буйство, как мне казалось, в последний раз, так как мысли, что когда-нибудь придется приехать на Цейлон вторично, еще не было. Над зданием управления порта Коломбо, стоявшим через улицу напротив отеля, торчал метельчатый громоотвод. Молнии, как огромные гадюки, одна за другой били в него острыми жалами. От проволочной метлы брызгами летели искры, как от сгорающих огромных предохранительных пробок. Грохот стоял такой, будто взрывались десятитонные авиабомбы.

В перерывах между вспышками грозы и потоками ливня на улицах рвались еще и петарды, хлопушки, взлетали всюду ракеты. Была рождественская ночь. Кристмас христиан Коломбо. Из-за небесной артиллерии, из-за пальбы хлопушек можно было подумать, что в городе развертывается ожесточенный уличный бой. Где уж там было спать!

Утром, провожаемые друзьями, приобретенными на Цейлоне, мы шли к самолету по бетонным плитам аэродрома в Катунаяке. Впереди была Москва, по которой мы истосковались за бесконечный месяц путешествия. Поскорее бы, поскорей домой! И вместе с тем было до странности грустно расставаться с удивительной страной, окруженной теплыми волнами Индийского океана.

На память невольно приходили слова из книги одного англичанина о том, что человека, собирающегося посетить страны Азии, надо непременно предупреждать о неизлечимой болезни, которой страдает каждый, кто провел хотя бы несколько дней на Цейлоне. Болезнь эта — ностальгия, непреодолимое желание вернуться на прекрасный остров.

С этим желанием — непременно вернуться к Питеру Кейнеману и Мод, к Мартину Викрамасингхе со всей его гостеприимной семьей, к его преосвященству Сарананкаре, к сенатору и поэту Реджи Перере, к Гунадасе Амарасекаре, к рабочим порта Коломбо, крестьянам Джафны, сборщикам чая Бандаравелы — я и поднимался по трапу в самолет теплым солнечным утром одного из последних дней декабря, рассчитывая оказаться в Москве к встрече нашего морозного, вьюжного Нового года.

ПРОШЕЛ ТОЛЬКО ГОД

1

Да, прошел только один год с того часа, когда я впервые ступил на цейлонскую землю. И вот последним ноябрьским днем, стылым, серым, простудным, когда все чихают и кашляют, мы вновь поднялись в воздух, держа курс к далекому теплому острову.

На этот раз, правда, многое было уже иным, чем в прошлом году. Пассажиры всходили в самолет возле нового сверхмодерного здания аэропорта, возведенного на другой стороне летных полей Шереметьевского аэропорта; самолет был не иностранной компании — не «боинг» и не «комета», а наш привычный «ИЛ-18»; и трасса лежала теперь не через Дели — Бомбей, а прямиком до Цейлона — через Тегеран и Карачи.

Над Тегераном «ИЛ-18» появился в сумерках, когда зажигались пестрые неоновые огни на улицах, но в озарении ушедшего за горизонт солнца еще были видны обступившие иранскую столицу древние, дряхлые горы.

Дул ветер вдоль бетонных полос аэродрома, термометр, как объявила бортпроводница, показывал на земле только три градуса выше нуля. Поэтому, выйдя размять ноги на

время стоянки в Тегеране, пассажиры устремились в тесный аэровокзальчик и стали обогреваться черным кофе.

В Карачи, где опустились среди ночи, было уже несравнимо теплее — около двадцати градусов. Мы предвкушали скорое тропическое тепло. Но ошиблись. Цейлон встретил утром погодой, непривычной не только для нас, проведших на нем всего месяц в прошлом году, но и для самих цейлонцев, живущих здесь всю свою жизнь. Было лишь восемнадцать по Цельсию при резком прохладном ветре с океана. Пиджак снимать не хотелось. Нет, он не был в тягость, как было это в прошлый раз.

Встретили нас старые наши друзья; вновь мы поселились в знакомой нам «Тапробане», на том же этаже и в тех же комнатах. Строительные работы закончились, не гремело железо в межэтажных перекрытиях, появились новые залы ресторанов и баров, видим много стекла — двери, стены; старое осовременилось. Казалось бы, все обстоит хорошо, все идет как надо.

Но где же администратор гостиницы, с которым мы когда-то имели дело? Ударом ножа его прикончил один из коридорных на почве острого трудового конфликта. Заодно погиб тут и молодой клерк, выписывавший нам счета.

Да и только ли это? Люди чего-то недоговаривали, о чем-то умалчивали, во всей общественной атмосфере ощущалось то крайнее напряжение, за которым обычно следуют оглушающие, все опрокидывающие ураганы.

— Дело в том,— сказал мне один старый знакомый,— что в минувшем году госпожа Бандаранаике пригласила в правительство нескольких представителей левых сил — из партии Сама самадж, а кроме того, ее правительство добилось немалых успехов в экономической и социальной жизни страны. Ну, например, когда вы здесь были, национализация торговли нефтепродуктами только развертывалась. Теперь же эта торговля целиком перешла в руки государственной компании «Ланка». С октября прошлого года по октябрь нынешнего это дало государству без малого тридцать миллионов рупий прибыли. Правительство стало закупать за границей больше риса, продавать его населению по льготным ценам. Предпринимались и другие меры для улучшения жизни народа. То есть позиции правительства все укреплялись и укреплялись. Это вызывало все большее недовольство наших капиталистов, связанных с иностранным капиталом,

а главное — встревожились в Соединенных Штатах и в Англии: что, как Цейлон в своей экономике полностью покончит с зависимостью от них! Что, как, скажем, вслед за бензоколонками будут национализированы чайные плантации! Плантации каучука! И так далее. Тем более что некоторые шаги в последнее время были сделаны по пути такой дальнейшей национализации. Правительство подготовило законопроект — у нас он получил название пресс-билля — о национализации проамериканского газетного треста «Лейк хауз». Вы это здание видели на берегу озера, все набитое редакциями и отлично оснащенное полиграфическим оборудованием. Там издаются самые скверно пахнущие газеты, которые выпускаются большими тиражами. Они проводят политику дезинформации, угодную империалистам, они осмеивают все, что делает наше правительство. А наше правительство своей прессы не имеет. У него в руках только радио. Шансы не равны. И вот на голосование в парламенте поставлен пресс-билль, один из основных пунктов которого — передача всего хозяйства «Лейк хауза» в руки правительства. Сейчас вокруг этого разгорелись такие страсти, что трудно даже сказать, чем дело кончится.

— Ну, а что же может случиться? Каково ваше мнение?

— Не знаю. Кстати, вы могли бы понаблюдать, как капиталисты отказываются от своих хваленых принципов, когда их начинает припекать. Они всегда утверждают, что в борьбе фирм, в делах рекламы должна быть своя этика. А что увидел потребитель нефтепродуктов на нашем Цейлоне, когда в колонки фирмы «Ланка» стал поступать импортный, заграничный, но уже из социалистических стран бензин? Вот какие пошли рекламные штучки со стороны фирм «Калтекс», «ЭССО», «Шелл»: «Есть бензин... и бензин... и бензин. Настоящий из них только один. Это наш». «*Тот* бензин приводит к преждевременному износу машины». Всеми средствами распускались слухи о том, что *тот* бензин скверно пахнет, ядовит, взрывается в баках и т. д. и т. п. Этика, как говорится, пошла под откос. Не свой хвалили и расхваливали, что предусматривает добропорядочная реклама, а принялись ругать чужой. Это уже нечто иное, чем реклама. Американским и английским фирмам в этом нечистоплотном деле всячески, понятно, помогали газеты, никогда не упускающие возможности подстроить

что-либо правительству. Во всяком случае, пресс-билль ни в коем случае не пройдет. Это-то уже ясно.

И вот каждый свой день мы начинаем сейчас с того, что спозаранку закупаем кучу газет и Мира Салганик листает их одну за другой, продвигаясь от одного кричащего заголовка к другому. Второго декабря в «Цейлон дейли ньюс», фабрикуемой в недрах «Лейк хауза», выдали крупно: «Пресса «Лейк хауза» — сторожевая собака нации»; без нее, дескать, цейлонскому народу будет плохо. Заголовки и дальше пошли такие:

«Монахов просят предотвратить национальное бедствие».

«Монах предупреждает: правительство будет распоряжаться и цейлонским радио и цейлонской печатью».

«Проект захвата прессы был продиктован правительству самасамаджистами».

«Следующий шаг — диктатура».

Дух статей под этими заголовками крикливый, рассчитанный на оглушение, на запугивание читателей.

«Если бы премьер-министр уважала демократию, общественное мнение или цивилизацию, она взяла бы пресс-билль обратно».

«Я бы посоветовал премьер-министру прислушаться к общественному мнению, но, зная ее, сомневаюсь, чтобы она прислушалась».

Подписи пестрят именами монахов: «Девараккита Тхеро», «Якдесава Силананда Наяка Тхеро»...

Под заголовком «Обращение к богу» следует текст: «Заявлено, что в храме завтра утром будет организована процессия, возглавляемая буддистскими монахами... Перед изображением бога будет прочитана петиция с требованием, чтобы премьер-министра заставили взять обратно законопроект о печати».

Нагнетаются, нагнетаются страсти, в игру против правительства втягивают монахов, всех верующих, разными средствами влияют и на буддистов, и на индуистов, и на католиков, с каких только сторон не наносят удары правительству. На первой странице «Цейлон дейли ньюс» обведено рамкой броское объявление: «Сожалеем (можно читать и как «извините»). Ограничения на импорт шрифтов сделали для нас невозможным напечатать вчера и сегодня дополнительные тиражи нашей газеты».

Никто в их дополнительных тиражах не нуждается, никто эту «Цейлон дейли ньюс» из рук газетчиков не рвал

ни вчера, ни сегодня. Но вот «Извините» — правительство-де ввело ограничения на импорт, о чем мы вас и ставим в известность. Оно, оно, правительство, во всем виновато.

— Волна провокаций против правительства нарастает,— сказал вскоре тот же общественный деятель, наш знакомый, о котором я уже упоминал. — Буржуазная демократия — прекраснейший инструмент для устройства всякого рода обструкций, для инсинуаций, для закулисных интриг. Вы, мне думается, бог знает что увидите на этот раз. Дух спекуляции, порожденный империалистами, витает над нашим островом. Видя мощные пасти заморских акул, стремятся щелкать своими зубешками и наши доморощенные щурята. Для их афер у нас золотое дно. Вот вы, например, задумали положить на Цейлоне в карман миллиончиков пяток. Что для этого надо? Прежде всего заявить, что вы основываете компанию. Для этого вы несете в соответствующее министерство проект компании, к которому прилагаете штатное расписание. Подписываетесь так, чтобы непременно было упомянуто слово «главный». «Главный специалист» по переработке морского песка в золото, скажем. Затем одновременно открываете оффис, контору, в хорошем районе Коломбо. Ах, чего требовать от министерства? Ну как чего? Денег! Вы заявляете в своем проекте, что для осуществления вашей переработки морского песка в золото надобно шестьсот миллионов рупий. Пятьсот пятьдесят из них, утверждаете вы, дает новой компании, допустим, ФРГ, сорок пять — еще кто-нибудь подходящий для этого. А от правительства вам надобно только пять миллиончиков. Можете не сомневаться, их вам и дадут. Вы кладете деньги в карман, закрываете оффис и какое-то время, смотря по вашим размахам, живете в свое удовольствие. Вам это кажется не совсем правдоподобным? Но у нас была создана такая компания по добыче пищевой соли из морской воды. Устроители ее грозились завалить солью не только Цейлон, но почему-то даже и Японию. А в итоге, чтобы посолить суп на Цейлоне, возим эту соль сейчас из Пакистана. Мы, кстати, любим перевозить. Наши сахарные заводы гонят из сахара джин, а сам-то сахар мы привозим из других стран. Да, насчет компаний!.. Этот прожектер, который решил добывать соль из океанской воды, он еще основал и такую компанию — по использованию древесины гевеи, после того как из нее взят весь,

какой только можно, каучуковый сок. Компания изготовила железнодорожные шпалы. Через год эти шпалы превратились в перегной. Древесина гевеи никуда не годится, гниет с необыкновенной скоростью. Даже дома вздумали строить из гевеи. От них остались сегодня только полы в ванных комнатах. Потому что эти полы были цементные. Ну так как,— закончил он,— не хотите положить в карман миллиончиков с пяток?

2

Третьего декабря газеты «Лейк хауза» загромыхали еще сильнее, чем накануне. Для этого у них был сильно горючий материал. «Вопрос нынешнего дня,— ударила крупнокалиберным заголовком «Цейлон дейли ньюс»,— демократия или диктатура». Подзаголовок тоже как звон набата: «Руки прочь от Цейлона!» А дальше шел кусок из вчерашнего выступления в парламенте одного из его депутатов, Дж. Р. Джаявардене. «Нам кажется, что правительство находится под влиянием и действует по совету некоторых зарубежных дипломатов и некоторых высокопоставленных чиновников. Я хочу сказать этим зарубежным лидерам: убрать руки прочь от Цейлона! У нас нет намерений следовать за ними по пути диктатуры».

Что, кого имел в виду этот депутат, выступая против правительства, проводящего национальную, разумную политику на острове? Он намекал на те страны Азии и Африки, которые уже освободились от иностранной зависимости, от власти европейского и североамериканского капитала. Оказывается, это они идут по пути диктатуры, они вмешиваются во внутренние дела Цейлона, а не заморские хозяева чайных и каучуковых плантаций, многочисленных банков, фирм оптовой торговли, различных промышленных предприятий. Парламентская демагогия и буржуазная пресса, в особенности когда они действуют рука об руку, в полном согласии и единении, способны любое дело перевернуть с ног на голову.

Повела в этот день решительный бой и религиозная буддистская организация — монашеская община острова Маха санга, точнее, конечно, какие-то ее круги, заговорившие от имени всей санги. Санга выступила в печати с «десятью пунктами» якобы в защиту буддизма и демократии на Цейлоне.

«Борьба, которую мы ведем сейчас, сходна с борьбой против былых империалистов. Следующие десять пунктов должны быть разъяснены народу».

Идут эти пункты, среди которых:

«Оскорбление Маха санги.

Политика правительства в отношении спиртных напитков.

Заговор самасамаджистов, нацеленный на уничтожение сингальского языка.

Захват печати.

Опасность военной диктатуры.

Обманная политика правительства в отношении государственной религии.

Захват земли у храмов.

Захват земли и рисовых полей, принадлежащих Маха санге».

Как видим, все обставлено удивительно ловко для того, чтобы науськать на правительство все без исключения слои населения. Помянут даже и острый для Цейлона вопрос о спиртных напитках, не говоря уж о поползновениях «уничтожить» сингальский язык, на котором говорят восемь с лишним, а может быть, уже и все девять миллионов населения.

Печать развертывает широкую кампанию возбуждения народа против правительства. А тем временем непрерывно — и днем и ночью — бурно заседает парламент. В парламенте обсуждается документ, который по образу и подобию аналогичного английского документа в странах Британского содружества наций называют в обиходе «тронной речью». Это как бы отчет правительства парламенту перед роспуском на каникулы. За речью обычно следует резолюция, в которой парламент благодарит правительство за проделанную работу.

На этот раз группка депутатов не ограничилась голосованием резолюции в целом, а предложила внести поправку. Поправка, как нам сообщили, выглядит довольно-таки своеобразно. Все, мол, хорошо в работе правительства, но парламент «сожалеет, что народ не доверяет правительству, поскольку оно жалким образом не сумело разрешить жгучие проблемы народа, такие, как безработица, дороговизна жизни и квартирная плата».

В парламенте грохот, в парламенте обсуждают эту «поправку», после которой правительству конечно же надо немедленно думать об отставке. А печать «Лейк

хауза» бушует тоже, обрабатывает общественное мнение. Газеты публикуют куски из речей депутатов, выступающих за поправку, любые высказывания против правительства. Снова от имени оппозиции звучит речь Дж. Р. Джаявардене: «В этот момент истории наш парламент призван обсудить вопрос не о том, будет ли экономическая структура нашей страны капиталистической или социалистической, а будем ли мы жить как свободный народ или нет».

По газетным полосам гуляют мутные волны любых домыслов. Особую ярость авторы речей, статей, статеек обрушивают на то, что в правительстве Сиримаво Бандаранаике принимают участие представители партии Сама самадж, то есть социалистической партии Цейлона, входящей в блок левых сил. Под заголовком «Первый шаг к диктатуре» читаем: «Если три марксистских министра могут наделать столько шуму, какова будет судьба нашей страны, если она целиком попадет в их руки? — это вопрос, который касается каждого гражданина страны. Национализация печати — первый шаг к установлению диктатуры мракобесов. Уничтожение религии и распространение доктрины атеизма — второй шаг на этом пути».

Не имеет никакого значения то, что никто и никогда на Цейлоне, в стране древнего буддизма, не только не собирался, но и не думал даже посягать на религию. Напротив, о буддизме разговор пошел как о государственной религии. Какое значение имеют факты, какое значение имеет правда для противников национального правительственного курса! Они себе знай строчат: «Эти марксисты, которые всегда уверяли, что религия — опиум народа, теперь смеют заверять, что они собираются сделать буддизм государственной религией. Кого они пытаются обмануть этим, создавая тем временем условия для диктатуры?»

В ход пускается все, что только попадает под руку. Можно прочесть слова прямых оскорблений по адресу госпожи Бандаранаике, среди которых такое, как: «Женщина премьер-министр — фатальная ошибка, — говорит монах», просто невиннейшее, почти дружеское высказывание.

Четвертого декабря весь Цейлон охватило острое беспокойство. Все слушали радио, раскупали газеты, которые — и утром и вечером — вышли увеличенным тиражом.

Что же произошло?

Правительственное радио сообщило об этом так:

— Палата представителей большинством в один голос отвергла резолюцию благодарности к тронной речи. Семьдесят четыре голосовали против резолюции, семьдесят три голосовали за нее, один воздержался. До этого в ходе дебатов по тронной речи министр земледелия, ирригации и энергетики господин Ч. П. де Сильва отказался от своего портфеля и перешел на сторону оппозиции.

Как это произошло?

Почитаем, что говорит об этом сам «герой дня», шикарное фото которого — радостная улыбка во все лицо — помещено в вечернем выпуске «Цейлон дейли ньюс».

«Это мой тяжкий долг,— воспроизводится парламентское выступление ренегата,— но я исполняю его с чувством полной ответственности. Я должен заявить, что из того, что я знал, из того, что я слышал, и из того, что я видел в кулуарах коалиции, явствует, что наш народ неудержимо толкают к неприкрытой тоталитарной системе правления. Это горькая правда, которую не замаскировать никакими ухищрениями, которую не скроет попытка отвлечь внимание народа в сторону туманных обещаний предоставить буддизму подобающее ему место».

Заглянем в пресс-коммюнике Маха санги.

«В соответствии с советом и с благословения Маха санги министр земледелия, лидер парламентского большинства господин Ч. П. де Сильва и другие патриоты, члены парламента, вчера предприняли в парламенте определенные патриотические шаги. Мы от имени Маха санги благословляем этот курс действий. Все буддисты Маха санги будут и в дальнейшем сотрудничать с этими героическими членами парламента и защищать их».

Новое фото Ч. П. де Сильвы в газетах. Вокруг него еще тринадцать выступивших против правительства. Их обнимают, жмут им руки, их приветствуют. Подпись: «Они сделали совесть своим гидом». И еще фотография: де Сильва молится в храме Келании, в том самом, при котором в келье обитал монах Самарама, убивший Соломона Бандаранаике.

Итак, разница в один голос опрокинула правительство госпожи Бандаранаике. Один, видите ли, воздержался в такой острый момент для страны; кто-то из тех, кто должен был непременно выступить на стороне правительства, легкомысленным образом уехал в деревню и к моменту голосования не возвратился. Из нескольких слу-

чайностей сложилось то «большинство» в один голос, которое легче легкого покупается за деньги.

Выходим на улицы Коломбо, встречаемся с людьми, слышим мнения:

— В газетах болтают, будто бы Че-Пи (так сокращенно называют Ч. П. де Сильву) вынесли на руках из здания парламента. А вы видели бы, как его, когда он садился в автомобиль, забросали камнями! Он предатель.

— Ему за это предательство богатые дяди — и наши и заграничные — пообещали пятьдесят тысяч рупий.

— Народ ему не простит!

В том, что деньги в машине буржуазной демократии выполняют функции смазочного материала, можно убеждаться на каждом шагу. В газетах появилось фото: сторонники Ч. П. де Сильвы пикетируют входы и выходы парламента, освистывают депутатов, поддерживающих правительственный курс. Один из наших советских товарищей, возглавляющий корреспондентский пункт АПН, всмотрелся в это фото и позвал своего клерка.

— Слушайте, это не вы ли тут свистите в четыре пальца?

— Да, я, сэр!

— Ну, как же это вы против своего законного правительства?..

— Не хотелось отказываться от пяти рупий, сэр. За то, чтобы пошляться там часа два, платят пять рупий каждому.

По городу пошли толки о том, что правительственный кризис вызван интригами американцев и немцев из Западной Германии. Это их страны рвутся изо всех сил к цейлонскому рынку, это им больше всего мешают импортные ограничения.

— Чушь,— сказал американский посол, от которого за день-два до голосования в парламенте некоторые слышали довольно определенные намеки на то, что правительство падет.— Совершеннейшая чушь. Мы, американцы, никогда не вмешиваемся во внутренние дела других стран. Я эти сутки — все знают — провел в Канди. Прелестный уголок острова!

В одном из городских автобусов произошел такой инцидент. Иностранец не заплатил за проезд. Кондуктор вышел вслед за ним на остановке, требуя плату. Иностранец не сдавался. На помощь кондуктору выскочил водитель.

— Вы нам наше правительство свергли, а теперь еще и за билет платить не хотите!.. Гони монету!

Отовсюду идут сведения, что на дорогах, на улицах, в городах и деревнях бьют монахов: дескать, это они виноваты в том, что произошло. Маха санга перестаралась со своими заявлениями, уж очень открытую заняла антиправительственную позицию, благословив Че-Пи на его «подвиг».

В «Тапробану» заехал наш друг Удакендавала Сарананкара Тхеро.

— Небезопасно стало, очень небезопасно для нас,— сказал он, поправляя складки оранжево-желтых одежд. — Так было и после убийства Соломона Бандаранаике. Вы, мол, изменники, говорят нам простые люди. Вы враги народа. На меня тоже вот только что накинулись: вот, говорят, еще один противник правительства.

Чувства страха у этого пытающегося примирить буддизм с коммунизмом и коммунизм с буддизмом удивительного человека конечно же нет никакого. Он и не такое видывал в жизни. Когда Соединенные Штаты принялись испытывать водородные бомбы, швыряя их в Тихий океан, Сарананкара Тхеро решил выехать в район острова Рождества: поступить так, как поступила молодая француженка Раймонда Дьен, помешавшая воинскому поезду пройти по рельсам.

— Маха санга делает заявление от имени всех буддистов. Но это не так, нет. Там небольшая кучка. А от ее действий страдают тысячи честных монахов.

Четвертого декабря в накаленной до крайности обстановке, давая отпор инсинуаторам, дезинформаторам, мужественно выступила по радио госпожа Бандаранаике.

«Неожиданный шаг, предпринятый господином Ч. П. де Сильвой,— читали мы текст ее выступления,— который участвовал в дебатах по тронной речи в кабинете министров и полностью принял содержащиеся в ней предложения, такой его шаг может быть квалифицирован только как удар ножом в спину. Господин Ч. П. де Сильва сказал, что наши предложения о предоставлении буддизму достойного места были лживым и сомнительным обещанием, цель которого заключалась в отвлечении внимания народа. А между тем господин Ч. П. де Сильва не только участвовал в составлении проекта тронной речи, включав-

щего в себя предложения о буддизме, но и ни на какой стадии обсуждения не выступал против нее. Я сожалею, что господину Ч. П. де Сильва не хватило отваги высказать свои взгляды раньше, что вместо этого он решил высказаться и проголосовать «против» только в последнюю минуту. И это еще не все. Именно господин Ч. П. де Сильва представил в парламент законопроект о печати, когда я была за границей, а он был фактически главой правительства...»

Симпатично выглядит лицо этого «героя дня», одними благословляемого, другими осыпаемого рупиями!

«Это не было ударом для меня лично,— продолжала рассказывать радиослушателям госпожа Бандаранаике. — Удар был направлен на простых людей нашей страны, которые боролись под руководством правительства против реакции».

3

В один из не слишком теплых дней этого бурного для цейлонского народа декабря, когда с океана все потягивал резкий ветерок, мы поднялись лифтом на крышу самого высокого в Коломбо здания — первого и пока единственного здешнего небоскреба «Селинко хауз», расположенного в двух-трех кварталах от отеля «Тапробана». С крыши «Селинко» виден почти весь город. Справа, если стоять лицом к югу,— порт и океан, слева — кварталы столицы, примыкающие к форту, а прямо, по берегу океана, начинаясь возле здания парламента и маяка,— зеленое прибрежное поле до самого отеля «Голл фейс». Это поле называется «Голл фейс грин», именно здесь в конце прошлого века был тот ипподром, о котором упомянуто в очерке об истории чайных плантаций предприимчивого англичанина Липтона.

Посредине поля видим помост вроде эстрады; вокруг помоста вьются пестрые национальные флаги, много красных полотнищ, на которых угадываются надписи; только угадываются, потому что это все-таки далеко, с километр, пожалуй, от того места, где находимся мы.

Почему нам понадобилось взобраться па такую птичью высоту? Потому что через час-полтора на зеленом поле, где вьются флаги и уже накапливается народ, состоится митинг всех левых сил цейлонской столицы, всех,

кто в эти дни стоит за правительство Сиримаво Бандаранаике, то есть в данном случае выступает за политику национальных интересов, против заокеанских империалистов и их ставленников на острове.

По улицам с севера — со стороны рабочих кварталов Коломбо — начинается движение колонн, над которыми бесчисленные транспаранты с надписями на сингальском, тамильском, а есть, хотя и немного, и на английском языке.

Колонны идут, идут с разных направлений к форту; тут могучей рекой они заполняют магистраль, выводящую их к зеленому полю «Голл фейс грин».

Тысячи и тысячи людей, десятки и еще десятки тысяч — в саронгах, в брюках; почти все, конечно, в белом. Они скандируют какие-то слова, их боевыми криками перекрывается даже шум океана.

Видим мы со своей высоты и другие группы людей. Они появляются со стороны иной части города — оттуда, где банки, магазины, редакции; они не вливаются в колонны, а густо толпятся в проездах вокруг здания парламента, наблюдая со стороны за тем, как заполняется зеленое поле демонстрантами. Это или зеваки из средних цейлонских классов, или такие, которые, получив по пять рупий, попытаются устроить что-либо вроде контрдемонстрации.

Слева от нашей высотной позиции расположены внизу полицейские казармы. В глухих дворах за каменными стенами стоят наготове грузовики со скамьями для полицейских; возле них, щелкая затворами тяжелых коротких винтовок, строятся голоногие «младшие чины» полиции в защитных шортах и широкополых мушкетерских шляпах.

Колонны все прибывают. Атмосфера накалена. В нескольких местах видим чучела Ч. П. де Сильвы. Их несут подвешенными за шею на перекладинах виселиц.

Наконец во главе колонны отыскиваю глазами Питера Кейнемана. Шагает спокойный, как всегда, слегка откинув назад плечи и голову, прямой, всем видный.

Накануне в одном буржуазном сборнике я видел статейку о нем. При всей неприязни к коммунистам и их лидерам составители сборника и автор статейки не могли умалить личность генерального секретаря коммунистической партии острова. Уже сам заголовок говорит о многом: «Комиссар де люкс» — блестящий комиссар, комиссар высшего класса!

Более или менее верно рассказав об отце Питера, о молодости самого Питера, о том, как в отцовской библиотеке он зачитывался Лениным, как учился в Кембридже и вступил там в ряды коммунистов, автор пишет: «Но когда он побывал в Испании и увидел, как течет «красная кровь», глаза его окончательно открылись». «Были и романтические дни, и тоска по родине, и поездка в вагоне для чахоточных в Мадрид, и свист осколков над головой, и мимолетная встреча с Хемингуэем, который выходил из отеля с машинкой под мышкой. Но не было потом байроновского высокопарничания по поводу всего этого».

Читать статейку было небезынтересно хотя бы потому, что о себе, как это часто водится у подобных людей, Питер рассказывает до крайности неохотно и скупо, переводя все на какие-нибудь смешные истории. А те, кто окружает его, если что и расскажут, то упуская, с их точки зрения, мелкие, незаметные детали, без которых на самом деле почти невозможно воспроизвести подлинный портрет человека. Противник же, иронизируя, как думается ему, стараясь перекосить лицо того, о ком идет речь, очень часто щедр именно на эти драгоценные детальки.

Ну, разве не сущая правда — такое высказывание: «Вернувшись на Цейлон, Кейнеман бросает многообещающую карьеру журналиста и целиком отдается делу коммунизма. Теперь у него нет ничего, кроме вечного беспокойства и тяжелой работы. Он организовывает союзы и группы коммунистов, пишет огромное число статей и памфлетов, выступает на митингах и собраниях, устраивает забастовки. С безграничной энергией и полной отдачей Кейнеман посвящает свою жизнь воплощению в жизнь идей левого крыла. Он живет лишь на 45 рупий в месяц и почти умирает от недоедания».

Питер мне никогда не рассказывал о таком тяжелом для него периоде жизни. Яркое чувство юмора у него заслоняет собой все сумрачное и трудное.

Вот он подходит к зеленому полю, он уже далеко от «Селинко хауз», но всем еще отчетливо виден на асфальтовой ленте справа от здания парламента.

Это хорошо знакомое ему здание. Питер состоит депутатом парламента с 1947 года. Баллотируясь в одном из округов Коломбо, он получил тогда пятнадцать тысяч голосов, а на выборах 1952 года за него проголосовали

уже тридцать две тысячи избирателей. Популярность его росла стремительно.

«В искусстве ведения дебатов в парламенте немногие могут сравниться с выпускником Кембриджа,— прочел я в той же статейке. — Правительство сделало вас министром,— бросил он как-то одному коммунисту-ренегату,— но не забывайте, что коммунистическая партия сделала вас человеком».

Смотрю вслед замечательному представителю цейлонского народа, и все думается, думается о нем. При общественном положении его отца, при том образовании, какое сам он получил в Англии, при его ярком человеческом таланте Питер мог сегодня иметь один из лучших особняков Коломбо, быть одним из богатейших людей острова, идти совсем иным путем. Но он выбрал путь революционной борьбы, путь, на котором и жизнь на 45 рупий в месяц, и дубинки полицейских, и решетки тюрем, и залпы винтовок прямо в грудь толпы... Не раз выписывались ордера на его арест, не одну ночь боевые товарищи провели на терраске его тесного домика, охраняя своего вожака от бандитских нападений. И все же это его путь, и он не променяет этот путь ни на какой иной.

Наконец Питер исчез с глаз: видимо, дошел до трибуны, до той увитой флагами эстрады, и поднялся на нее.

Часам к четырем дня на «Голл фейс грип» уже не стало видно зеленого поля, все пространство на берегу океана было занято людьми. «Столько народу здесь не бывало никогда,— сказал кто-то, тоже наблюдавший с крыши за происходящим внизу. — Не сомневаюсь, что сегодня в демонстрации принимает участие не менее двухсот тысяч».

Над полем загремели репродукторы: начался митинг, заговорили лидеры рабочего класса, представители рабочего класса. Тысячи людей могуче гудели, возмущенно вскрикивали — все были готовы отстаивать правительство, которое принимало меры к улучшению жизни народа.

Что там вдруг произошло, понять было трудно, но в полицейских дворах началось торопливое движение, «младшие чины» еще сильней защелкали затворами, повскакивали в грузовики, и грузовики сквозь распахнутые ворота ринулись в сторону «Голл фейс грин». Но дальше ничего не было, все они без следа растворились в гигантской толпе.

Как потом выяснилось, на митинг прибыла госпожа Бандаранаике; для всех, кто был на митинге, это оказалось полной неожиданностью. Народ встретил ее овацией.

Один из близких к правительству деятелей рассказал назавтра о том, что́ этому появлению премьер-министра предшествовало в резиденции «Темпл триз». Когда госпожа Бандаранаике узнала, что на «Голл фейс грин» собралось около двухсот тысяч народу и что они пришли туда, чтобы высказаться в пользу ее правительства, она очень взволновалась: «Я тоже должна быть там в такой серьезный час. Я должна быть с народом». Начальник ее охраны развел руками: «Ваше превосходительство, это невозможно. Ни я, ни кто другой не сможет при подобном стечении народа обеспечить вашу безопасность». — «Но я должна быть там!» Закончилось дело тем, что с нее взяли слово вернуться в резиденцию до наступления сумерек, и она приказала вызвать свой автомобиль.

Дальше рассказывали те, кто находился в тот час на трибуне и помогал премьер-министру подниматься туда по высоким, наскоро сколоченным ступеням. Начальник охраны был очень обеспокоен. «Господин Мендис, господин Кейнеман, прошу вас: заслоните ее превосходительство со спины. Мало ли что может случиться, вы же сами это знаете. А я организую безопасность с фронта».

Коммунисты заслонили собой главу буржуазного правительства, действительно зная, что в таких острых ситуациях бывает все. Начальника охраны беспокоил вид нескольких сотен буддийских монахов, плотно подступивших к трибуне. Перед ним стоял образ монаха Самарамы из храма в Келании... Но тут были другие монахи. Не те, от имени которых, не спросив у них, делала в эти дни антиправительственные заявления Маха санга, а подлинные патриоты родной страны. Ни пистолетов, ни каких-либо камней за пазухой желто-оранжевых монашеских одежд они не держали. В колоннах, сошедшихся к трибуне, предателей не оказалось. Напротив, группами подходили такие, которые предлагали тотчас ринуться на змеиное гнездо «Лейк хауз» и разгромить его до основания. «Но там же хорошие, новые машины,— останавливала госпожа Бандаранаике. — Нельзя их ломать. Они еще пригодятся народу».

Госпожа Бандаранаике, отправляясь на митинг, выступать на нем не собиралась. Обстановка же складывалась так, что не выступить уже было нельзя. «Раз вы

здесь, надо поговорить с народом». И она заговорила. Заговорила хорошо, эмоционально, умно, доверительно, обратив всю страсть речи против реакции и за национальный прогресс.

Мы уже спустились с крыши «Селинко» и, не в силах пробиться сквозь толпы пешком со стороны форта, взяли такси и городскими улицами обогнули «Голл фейс грин» с той стороны, где начинались богатые кварталы и откуда никакого натиска народа не было. Репродукторы гулко разносили выступления ораторов над берегом океана.

Говорил Питер Кейнеман. Слушатели то замирали в глубоком молчании, то взрывались смехом, то выкрикивали что-то, и Питер им отвечал. Это не была просто митинговая речь, это был какой-то необыкновенный разговор оратора с тысячами взволнованных людей.

Говорилось все, конечно, по-сингальски, и содержание этого разговора удалось узнать лишь позже.

— Я даже позабыл, что нахожусь на трибуне,— рассказал Питер. — Мне показалось, что я то ли в порту, то ли в цехе фабрики, веду там беседу одновременно со многими. Мне поддакивали, меня спрашивали...

— Ну не только поддакивали,— перебил его еще один участник митинга.— А что получилось, когда ты помянул лидера социал-предателей?

Питер усмехнулся. А тот продолжал:

— Получилось вот что. Питер помянул это имя, из толпы ему крикнули: «Это осел!»—«Кто так сказал?»— напустив суровость, спросил Питер. «А что, ты собираешься защищать его?»—«Я собираюсь защищать ослов». Смех, конечно. «Осел — очень симпатичное животное,— говорил Питер. — И нельзя на ослов валить людские мерзости. Ослы этого не заслужили. Ну-ка скажите, где вы видели, чтобы осел клялся в верности народу, а сам получал подачки от предпринимателей? Где вы видели осла, который бы выкрикивал социалистические лозунги, а на деле служил империалистам?..»

— Пожалуй, это была моя самая лучшая речь за последние пять лет,— перебил Питер. — Удивительный получился контакт с массами.

О лучшей его речи в газетах назавтра было вполне лояльно сказано: «С блестящей большой речью выступил Питер Кейнеман. Он говорил о классовой борьбе, о поддержке правительства». Вот и все. Ни к чему не приде-

решься. По законам страны печать обязана сообщать обо всем, что говорит депутат парламента с трибуны. Она и сообщила: о классовой борьбе и о поддержке правительства. Если вздумаешь с ними судиться, то что им предъявишь? О речи они высказались вполне доброжелательно: блестящая. А что не привели самой речи — ну на то есть причины: не хватает бумаги, импортные ограничения...

4

Остров бурлит. Теперь это отнюдь не родина Адама и Евы; это страна бурь. Еще хуже приходится на улицах монахам, хотя подавляющее их большинство выразило свою поддержку правительственному курсу. Примолкли дипломаты тех стран, которые заинтересованы в перемене курса,— они попивают виски в своих резиденциях, они свое дело сделали. Правительство подало в отставку, вот-вот будет назначен срок выборов в новый парламент, до которого нынешнее правительство только и просуществует. А там?.. Там будет видно.

Пресса «Лейк хауза» распоясалась окончательно. Она чувствует себя победительницей: сорвалось намерение правительства покончить с клеветой, дезинформацией, с печатным интриганством. Стесняться теперь совершенно нечего.

Прогрессивные круги острова не выдерживают такого положения дел. Начинают открываться и выходить новые газеты. Только что всю ночь не спали люди в типографии компартии: на маломощной машине печатался тираж первого номера газеты, название которой, если перевести с сингальского: «Правда». За ней приехали из дальних районов острова. Тираж неслыханный для цейлонской коммунистической прессы: несколько десятков тысяч, и все равно его не хватает.

Сенатор Перера пригласил нас в свой клуб «Сандела»; мы поднялись на второй этаж в тесные комнатки, где расположилась редакция только что открытого прогрессивного еженедельника. Перера раскидывает на столе свежий номер нового издания.

— Утром произошла такая история,— рассказывает он. — У нас тираж десять тысяч. Так вот, рано утром на автофургончике приехал один довольно благообразный тип. «Немедленно дайте тысячу, две, три тысячи экземп-

ляров! Читатели требуют. Я занимаюсь распространением». Тысяч у нас уже не было — отправили в продажу. Говорим: «Осталось пятьсот штук».— «Давайте пятьсот, что делать!» Погрузил в фургончик, отвез на соседний пустырь — вон туда — и развел костер. Не успели отстоять — сжег все пятьсот экземпляров. Теперь, как говорится, удвоим бдительность.

Большое впечатление произвело опубликованное в прогрессивной печати заявление одного из известных на Цейлоне журналистов, заместителя редактора газеты «Даваса» Хемы де Сильвы. Он выступил с письмом о том, что покидает свой пост, поскольку не может участвовать в кампании клеветы, вранья и бессовестных нападок. С ним вместе ушло еще несколько его коллег. В условиях капиталистической страны это акт выдающегося мужества. Хозяевам газетных объединений ничего не стоит сделать так, что эти честные журналисты уже никогда не получат работы в печати и будут обречены на нищенство.

В странах Южной и Юго-Восточной Азии широко распространены астрология, гадание и предсказание по небесным светилам, звездам. Гороскопы составляются по любому случаю — по поводу рождения человека, его свадьбы, постройки дома, покупки буйвола, какой-либо задумываемой аферы — чего угодно.

Ну и конечно же был составлен и опубликован гороскоп по поводу предстоящих новых выборов в парламент. Звезды указали на один из дней весны.

Итак, мы покидаем Цейлон, зная день новых выборов в парламент. Мы покидаем остров во второй раз, и снова в канун рождества, когда на улицах взрываются петарды, горят фейерверки, пахнет порохом. Год назад радовались одни — те, кто стоит за национальный прогресс,— а другие проклинали ограничения в импортной торговле. Этим вторым хотелось таких перемен, которые вот наконец-то начались. Сегодня сторонники прогресса нельзя сказать что пришли в уныние,— нет, они полны сил для продолжения борьбы; но все же каждый из них понимает и видит возникшие новые трудности и сложности. Открыто радуются зато противники новшеств, те, кто накрепко связан с иностранным капиталом. Но, думается, и им радоваться нечему. Какое бы на смену правительству госпожи Бандаранаике ни пришло новое правительство, оно уже не сможет открыто повести антинародную, антинациональную политику на острове: силы прогресса во мно-

го раз возросли сегодня против тех, что были несколько лет назад. А продолжать политику национального раскрепощения — значит неизбежно вступить в конфликт с империалистическим миром и, следовательно, быть так же неугодным тому жадному, жестокому миру, как неугодно было ему правительство госпожи Бандаранаике.

Что ж, посмотрим,— время покажет, какая судьба ожидает в недалеком будущем добрый, гостеприимный народ Цейлона. У всего есть свои законы, у общественных движений — в том числе.

Снова грозовая ночь перед отлетом. Снова ураганный ветер и молнии. Отель содрогается от ударов грома. Океан бушует. С балкона видно, как даже в хорошо защищенной от волн бетонными молами гавани тяжело раскачиваются у причалов океанские корабли. Ветер рвет крыши, ломает антенны, сбрасывает с балконов горшки с цветами.

Утром, отправляясь на аэродром, мы прочтем в газетах, что над островом пронесся ураган огромной силы, произведя немало разрушений, особенно на северо-восточном побережье; несколько дней спустя, уже в Москве, узнáем, что Советское правительство окажет помощь пострадавшему от урагана населению Цейлона.

А пока вот под этот пушечный грохот мы прощаемся в гостиничном номере с друзьями, с чудесными людьми, взволнованными, озабоченными судьбами своей родины, которой навсегда и безраздельно они с малых лет отдали свои беспокойные сердца.

1966

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ВС. КОЧЕТОВА, ВОШЕДШИЕ В СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ (1—6 тт.)

СОДЕРЖАНИЕ

УЛИЦЫ И ТРАНШЕИ
Записи военных лет

НОВЫЕ АДРЕСА
Рассказы о людях и странах

Кочетов В.

К75 Собрание сочинений. В 6-ти томах. Т. 6. Улицы и траншеи. Записи военных лет. Новые адреса. Рассказы о людях и странах. Оформл. худ. А. Лепятского. М., «Худож. лит.», 1976.

824 с.

«Улицы и траншеи» — дневниковые записи военных лет. Они повествуют о героической обороне Ленинграда в дни блокады, о мужестве советских людей, отстаивающих свой город.

Путевые повести «Новые адреса» написаны в 60-е годы после поездки В. Кочетова в Италию, Англию, на остров Цейлон.

К $\frac{70302\text{-}094}{028(01)\text{-}76}$ подписное

Р2

ВСЕВОЛОД АНИСИМОВИЧ КОЧЕТОВ

Собрание сочинений

том 6

Редактор В. Буланова

Художественный редактор
В. Горячев

Технический редактор
С. Ефимова

Корректоры
З. Тихонова и Н. Усольцева

Сдано в набор 5/VIII 1975 г. Подписано в печать 31/XII 1975 г. А15202. Бумага типогр. № 1. Формат 84×108 1/32. 25,75 печ. л. 43,26 усл. печ. л. 46,418 уч.-изд. л. Тираж 150 000 экз. Заказ № 139. Цена 1 р. 40 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Гатчинская ул., 26

